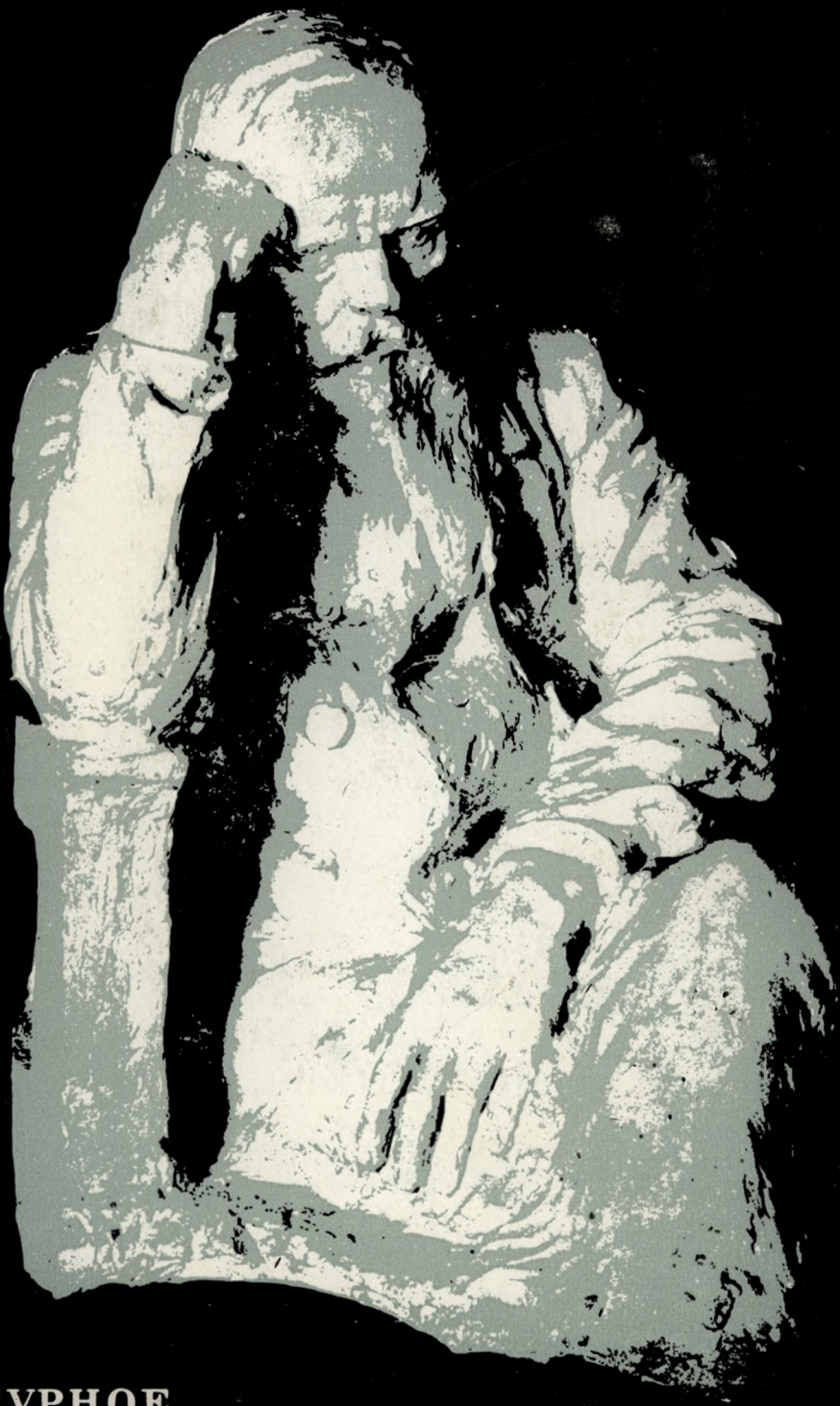
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

В настоящем томе публикуются новые материалы и исследования о жизни и творчестве Ф. М. Достоевского.

В первый раздел включены неизвестные художественные и публицистические тексты, в том числе неизданные фрагменты «Дневника писателя» 1876 и 1877 гг., подготовительные записи к «Речи о Пушкине» и др. Здесь печатаются запрещенные цензурой статьи журнала «Время», а также новонайденные и забытые письма Достоевского.

Во втором разделе — «Достоевский в дневниках и воспоминаниях современников» — центральное место и по объему, и по значению занимает впервые расшифрованный дневник жены писателя А. Г. Достоевской, сохранившийся в стенографической записи. Дневник, являющийся продолжением подготовленного самой А. Г. Достоевской и напечатанного в 1923 г., представляет уникальный биографический документ: изо дня в день подробно описывается жизнь Достоевского, его характер, интересы, литературные занятия.

Третий раздел составляет обширная публикация «Письма о Достоевском» (1837—1881 гг.), которая вводит в научный оборот множество ранее неизвестных сведений о жизни писателя, его творческом труде, о литературной борьбе эпохи.

В четвертом разделе помещены разыскания и сообщения: о деятельности Ап. Григорьева перед началом сотрудничества в журнале «Время», о связях журнала с революционным студенчеством 1860-х годов, об отношении к творчеству Достоевского, Лескова и Короленко, о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения, и др.

Обзоры материалов, характеризующих влияние Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, составляют пятый раздел тома.

В томе 115 иллюстраций.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ

РЕДАКЦИЯ
В. Г. БАЗАНОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. Н. ДУБОВИКОВ,
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН, С. А. МАКАШИН, К. Д. МУРАТОВА,
Р. М. САМАРИН, Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 3

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

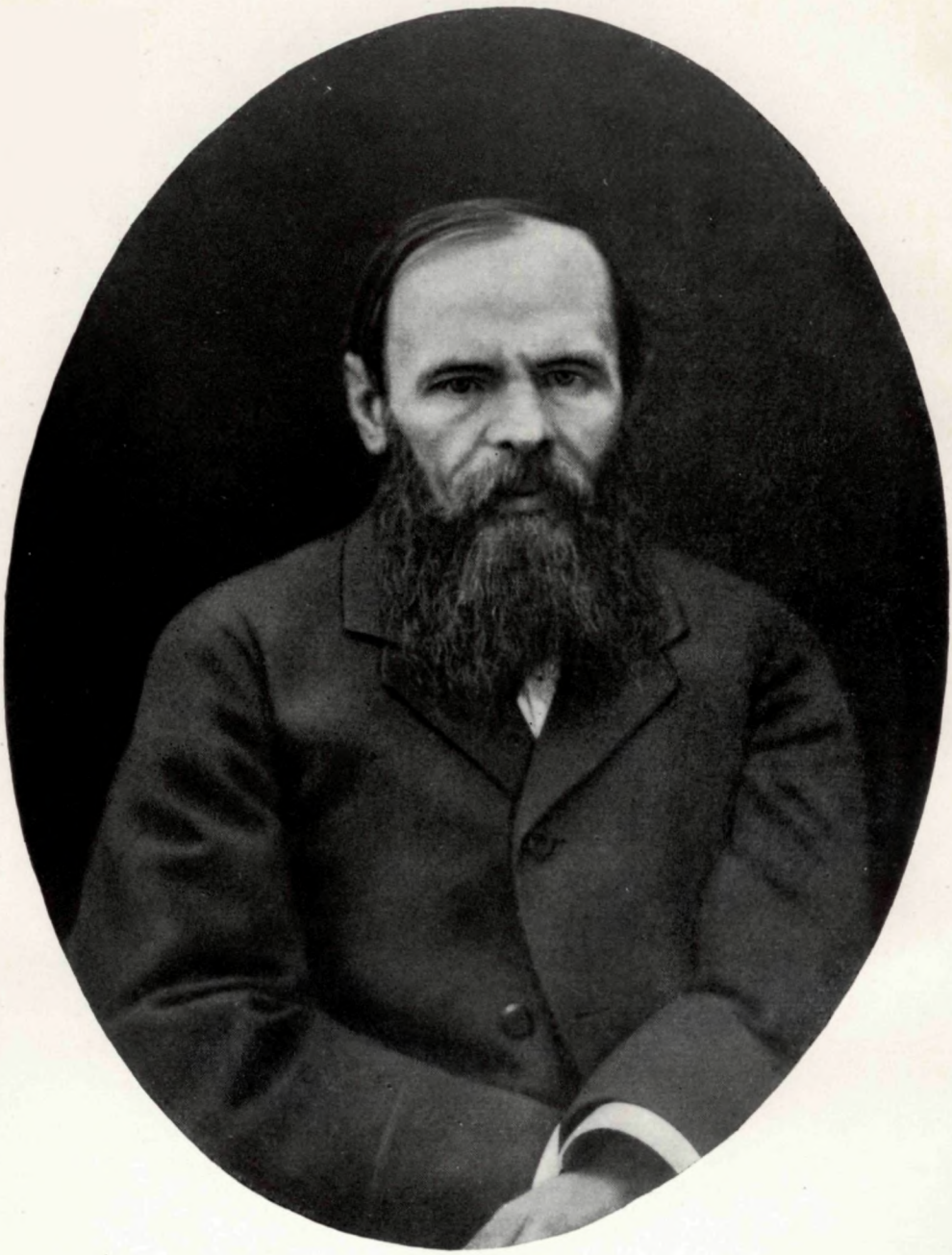
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИССЛЕДОВАНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 7 · 3

ГОД ИЗДАНИЯ СОРОК ВТОРОЙ

Л $\frac{0722\text{-}0211}{042(02)\text{-}73}$ 277-73

© Издательство «Наука» 1973 г.



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Рисунок (уголь) Н. И. Гусева, 1880-е годы, по фотографии М. Панова, Москва, 1880
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

ОТ РЕДАКЦИИ

К публикации новых материалов, освещающих жизненный и творческий путь Ф. М. Достоевского, редакция «Литературного наследства» обратилась еще на заре своей деятельности. В томе 15 (1934 г.) были напечатаны исследование Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги 1870-х годов», документальная часть которого (свыше 60 писем к Достоевскому, впервые опубликованных) сохраняет ценность и поныне, а также обширный обзор В. Л. Комаровича «Литературное наследство Достоевского за годы революции». Отмечая, что научная публикация сочинений Достоевского, его писем и творческих рукописей началась лишь в годы Советской власти, автор обзора подробно анализировал достоинства и недостатки ряда наиболее значительных изданий, вышедших в свет с 1917 по 1933 г.

Помещая обзор, редакция «Литературного наследства» отстаивала необходимость органического соединения научной текстологии со всем комплексом изучения биографии и творчества писателя. На этой основе в начале 1960-х годов мы приступили к изданию трех томов, специально посвященных Достоевскому.

В то время оставались еще не опубликованными большие рукописные массивы из архива Достоевского: черновые наброски к роману «Подросток» и записные книжки и тетради 1860—1881 гг. Их публикации с комментариями и вступительными статьями составили два тома «Литературного наследства»: «Ф. М. Достоевский в работе над романом „Подросток". Творческие рукописи» (т. 77, 1965 г.) и «Неизданный Достоевский» (т. 83, 1971 г.) Все рукописи Достоевского, напечатанные в томе 77, были изданы отдельной книгой на английском языке («The Notebooks for a Raw Youth Fyodor Dostoevsky». The University of Chicago Press. Chicago — London, 1969, p. 57).

Новые материалы, опубликованные в 77-м и 83-м томах, значительно углубили существовавшее представление о мировоззрении, идейной эволюции и творческом процессе Достоевского, они яснее обнаружили трагические противоречия его сознания, непреодоленный разрыв между политическими иллюзиями и страстным стремлением великого гуманиста к социальной гармонии, к счастливому будущему человечества. Тома, посвященные Достоевскому, еще раз показали, как важно расширение документальной базы исследования, которая помогает понять идейные и творческие искания писателя во всей их реальной сложности, отвергая тенденциозные и односторонние трактовки. В целом оба тома «Литературного наследства» впервые ввели в научный оборот около 50 листов неизданных текстов Достоевского.

В настоящем томе продолжается публикация неизвестных художественных, публицистических текстов и писем Достоевского,— этому целиком посвящен весь *первый* раздел.

До сих пор рукописные материалы к роману «Униженные и оскорбленные» оставались совершенно неизвестными, и лишь недавно в московском музее Достоевского был обнаружен пригласительный билет 1860 г., извещавший Достоевского о репетиции «Ревизора» (в этом любительском спектакле он принимал участие вместе с другими русскими писателями, членами Литературного фонда). Несколько строк, написанные на оборотной стороне билета, оказались набросками к «Униженным и оскорбленным». Небольшой отрывок, который публикует Г. Ф. Коган, не только дает возможность уточнить хронологию создания романа, он показывает, что сам тип творческой ра-

боты писателя над произведениями большого жанра был тем же самым, какой нам известен по рукописям более позднего времени.

Впервые печатаются две редакционные статьи журнала «Время» о петербургских пожарах 1862 г., запрещенные цензурой. В этих статьях редакция выражала протест против репрессий по отношению к молодежи и студентам, провокационно обвинявшимся в поджогах. Исследователи безуспешно пытались найти тексты статей, которые, по справедливому их предположению, представляли серьезный интерес для характеристики направления журнала братьев Достоевских. В настоящем томе обе статьи публикуются по корректурным гранкам, разысканным Н. Г. Розенблюмом в делах цензурного ведомства в Ленинграде. Воссоздавая исторический фон, на котором редакция «Времени» вступила в конфликт с правительственной политикой и реакционной прессой, автор привлек много архивных документов.

В первый раздел тома включены также неизданные фрагменты «Дневника писателя» 1876 и 1877 гг., в том числе высказывания Достоевского о герое и идейном замысле романа «Подросток», воспоминания о встрече с Герценом в Италии и в этой связи — рассуждения о характере и мировоззрении Герцена, наброски статьи о Некрасове, исключенная цензурой глава «Опять о петербургском баден-баденстве» и ряд других (публикации И. Л. Волгина и Г. С. Померанца). Здесь печатается отрывок черновой рукописи »Братьев Карамазовых» (публикация Е. Н. Коншиной), подготовительные записи к «Речи о Пушкине» (публикация И. В. Иваньо), а также забытая, пропущенная во всех собраниях сочинений Достоевского рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет» (публикация С. В. Белова).

Раздел завершают письма Достоевского (новонайденные или же неучтенные в четырехтомном издании писем, подготовленном А. С. Долининым). Эта публикация И. С. Зильберштейна состоит из нескольких глав-очерков, в которые включены также неизвестные мемуарные свидетельства о Достоевском, в частности, запись рассказа писателя о его присутствии на казни И. О. Млодецкого.

Большое место в томе — и по объему, и по значению — занимают дневники, воспоминания и письма современников Достоевского.

Во *втором* разделе тома впервые публикуется недавно расшифрованный женевский дневник жены писателя А. Г. Достоевской, сохранившийся в стенографической записи (публикация С. В. Житомирской и Ц. М. Пошеманской). Анна Григорьевна вела дневник в 1867 г., за границей, куда Достоевские уехали вскоре после свадьбы. Первая часть дневника, охватывающая четыре месяца (с 14 апреля по 12/24 августа), была расшифрована самой А. Г. Достоевской и издана после ее смерти, в 1923 г. Вторая часть, публикуемая в настоящем томе, является непосредственным продолжением первой: она начинается с 24 августа и заканчивается 31 декабря. Расшифровка этой части представляла значительные трудности не только потому, что жена Достоевского пользовалась системой стенографии середины прошлого века, но еще и потому, что она вводила ряд своих, только ей понятных обозначений.

Дневник А. Г. Достоевской — уникальный биографический документ: изо дня в день, со всеми подробностями описывается жизнь Достоевского, его характер, занятия, общественные интересы, быт семьи, обремененной жестокой материальной нуждой, которая усугублялась бесплодными попытками Достоевского разбогатеть с помощью игры на рулетке. Даже те описания, в которых Достоевский непосредственно не присутствует, нередко обнаруживают его взгляды и вкусы, поскольку, как отмечается во вступлении к публикации, интеллектуальное влияние писателя на его молодую жену было сильно и безраздельно. Дневник обнаруживает со всей откровенностью не только сложность семейных отношений, но все растущее чувство любви, душевной близости, тот, говоря словами Достоевского, «труд любви», которым «созидается семья».

В отличие от известных «Воспоминаний» А. Г. Достоевской, в которых отчетливо присутствует уже сформировавшаяся концепция личности писателя, впервые расшифрованная вторая часть дневника является «первозданным» источником, и в этом ее особенная историко-литературная ценность.

В этом же разделе тома печатаются несколько воспоминаний о Достоевском (публикации С. В. Белова, И. С. Зильберштейна, Г. Ф. Коган, Н. З. Серебряной, Н. Н. Фоняковой).

Наибольшее значение, несомненно, имеют отрывки из воспоминаний друга молодости братьев Достоевских доктора А. Е. Ризенкампфа. Рукопись Ризенкампфа, которая была известна О. Ф. Миллеру и частично им процитирована в «Жизнеописании Ф. М. Достоевского» (1883 г.), сохранилась в частном собрании и в юбилейные дни конца 1971 г. передана в Музей Достоевского в Москве. Мемуарист говорит о литературной работе, театральных увлечениях, знакомствах молодого Достоевского, описывает его внешность и психологический склад. Интересна характеристика личности и сочинений М. М. Достоевского. Ризенкампф приводит несколько его стихотворений, в том числе «Видение матери», о котором отзывался Достоевский в письме к брату.

При всем критическом отношении к книге Л. Ф. Достоевской об отце, заслуженно снискавшей печальную известность необъективного сочинения, мы публикуем в этом томе две главы из этой книги, впервые переведенные на русский язык, поскольку в них содержатся некоторые интересные сведения о жизни писателя конца 1870-х годов.

В воспоминаниях П. Г. Кузнецова, служившего в доме писателя, доктора Я. Б. фон Бретцеля и его жены, в дневнике художника И. Ф. Тюменева рассказывается о последних годах жизни Достоевского, о его болезни, смерти, похоронах.

Воспоминания о писателе — важный источник для его научной биографии. Сам Достоевский придавал мемуарам большое историко-литературное значение. Так, в редакционной заметке журнала «Время» (1861, № 8) подчеркивалось, что свидетельства людей, знавших писателя, необходимы для «полной, совершеннейшей биографии, такой, каких у нас почти еще нет и какие создаются из множества разных, преимущественно личных воспоминаний».

Третий раздел тома составляет обширная публикация Л. Р. Ланского «Достоевский в неизданной переписке современников», которая охватывает 45 лет (1837—1881). В результате обследования более 100 архивных фондов автор вводит в научный оборот множество ранее не известных сведений о жизни писателя, его творческом труде, журнальной деятельности, о восприятии читателями его новых произведений, о его отношениях с окружающими людьми. В комментарии к письмам включено большое количество неизданных документов. Новые материалы обогащают наши представления и о самом Достоевском, и о литературной борьбе эпохи.

В *четвертом* разделе помещены разыскания и сообщения. И. С. Зильберштейн публикует неизвестные материалы о попытке Ап. Григорьева возродить «Москвитянин» накануне вступления в журнал «Время». Предполагаемое направление «Москвитянина», как его излагает в одном из программных писем Ап. Григорьев, дает возможность понять некоторые истоки будущих разногласий в редакции «Времени».

Много важных для биографии писателя фактов содержат разыскания Г. Ф. Коган о связях редакции журнала «Время» с революционным студенчеством 1860-х годов и о надзоре за Достоевским, отразившемся в документах III Отделения.

Среди сотрудников и авторов журнала «Время» было немало людей, прямо или косвенно связанных с революционной деятельностью. Особый интерес в этом отношении представляют хранящиеся в ЦГАОР материалы из следственного дела корректора «Времени» Капитона Сунгурова, которого Достоевский ценил как сотрудника и с которым общался дружески (некоторые черты характера и обстоятельства жизни Сунгурова и его друга А. И. Баканина, причастного к студенческому движению, отразились в «Преступлении и наказании»). В бумагах Сунгурова обнаружились и гранки запрещенной цензурой статьи «Пожары», которая печатается в настоящем томе по материалам Ленинградского государственного исторического архива.

И демократическое направление журнала «Время», и непосредственное общение Достоевского с представителями революционного движения в начале 1860-х годов привели к усиленному надзору за ним со стороны III Отделения, о чем свидетельствуют публикуемые документы.

В сообщениях К. П. Богаевской «Лесков о Достоевском в 1880-е годы» и Т. Г. Морозовой «В. Г. Короленко о Достоевском» привлекаются неизвестные высказывания обоих писателей, характеризующие их сложное отношение к Достоевскому. И. А. Кронрод впервые публикует пометы Короленко на страницах произведений Достоевского.

Влиянию Достоевского на западноевропейскую литературу и театр, восприятию его творчества писателями и критиками разных направлений посвящен большой, *пятый* раздел тома. В исследовании В. В. Дудкина и К. М. Азадовского дан детальный обзор всех материалов на тему «Достоевский в Германии», начиная с самых ранних переводов Достоевского на немецкий язык и кончая юбилейной литературой 1921 г. В заключение дается краткая характеристика наиболее значительных работ о Достоевском, появившихся в последующие десятилетия. Отношение к наследию Достоевского, трактовка критиками его идей и образов последовательно рассматриваются авторами на фоне основных этапов историко-литературного процесса в Германии. Раздел завершается обзором Н. Л. Сухачева «Достоевский на французской сцене».

В подготовке тома к печати принимала участие К. П. Богаевская. Подбор иллюстраций — Г. Ф. Коган.

Редакторы тома: И. С. Зильберштейн и Л. М. Розенблюм.

ФРАГМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПИСЬМА

ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК К РОМАНУ «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Публикация Г. Ф. Коган

«Выдумыванием планов» называл Достоевский первоначальный этап своей работы над каждым романом. Публикуемый набросок — единственный известный нам фрагмент рукописи «Униженных и оскорбленных»; он представляет интерес не только для истории создания первого большого романа Достоевского, но и даст дополнительный материал для изучения некоторых особенностей творческой лаборатории писателя.

По характеру записей небольшой набросок чрезвычайно похож на черновые рукописи к «Преступлению и наказанию» и другим романам. В частности, здесь есть заметки, адресованные автором самому себе. Перед нами — не первая запись к роману (начало уже написано, но автором вносятся уточнения и к психологической характеристике героев, и к композиции, обдумывается стиль).

Возможна лишь приблизительная датировка записи. Достоевский часто делал заметки на каком-нибудь клочке бумаги, на конвертах, бланках и газетах. Запись к «Униженным и оскорбленным» сделана на повестке, присланной Достоевскому вслед за письмом П. И. Вейнберга, одного из инициаторов любительских спектаклей в пользу Литературного фонда:

«Писемский уведомил меня о готовности вашей принять участие в спектакле, устраиваемом в пользу Литературного фонда. В настоящее время у нас остались свободными в „Ревизоре“ следующие роли: почтмейстера, Добчинского и смотрителя училищ.

Если вам будет угодно принять на себя какую-нибудь из этих ролей, то потрудитесь уведомить меня с подателем этой записки — какую именно, и я тотчас же пришлю ее вам. Первая репетиция „Ревизора“ назначена в четверг, через два дня, о часе и месте я дам знать завтра». Вейнберг просил Достоевского ответить «не позже завтрашнего дня», если не с посланным, то по городской почте. Письмо не датировано [1].

В повестке, приглашающей участвующих «пожаловать» на репетицию комедии «Ревизор», указан не четверг, а понедельник и дата — 4 апреля. Как известно, первый знаменитый спектакль «Ревизора», в котором принимали участие писатели, состоялся 14 апреля 1860 г. Решение о постановке было принято Литературным фондом в середине марта. Очевидно, Достоевский получил письмо от Вейнберга в самом конце марта, тотчас откликнулся на приглашение, выбрав для себя роль почтмейстера, и в первых числах апреля, возможно уже 1-го, повестка лежала на его столе. Запись на отогнутом нижнем крае повестки могла быть сделана Достоевским до репетиции или после репетиции, до спектакля, в первой половине апреля, но всего вероятнее — в конце года, когда было уже написано начало романа (ср.: «Много вычеркнуть и перенести в другие главы» — настоящ. том, стр. 15). В середине мая Достоевский вернулся из Москвы (куда выезжал на несколько дней в конце апреля) и нашел у себя на столе письмо от Комитета Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, подписанное Е. П. Ковалевским 11 мая 1860 г., с благодарностью за участие в двух спектаклях, «данных в пользу Общества». Повестка и письмо хранятся среди документов в тетради, озаглавленной А. Г. Достоевской «Официальные документы, относящиеся до отношений Ф. М. Достоевского к Обществу для пособия нуждающимся литераторам и ученым...» [2] Тетрадь значится в «Библиографическом указателе» А. Г. Достоевской [3]. Набросок же к роману оставался незамеченным. Он сделан очень бледными чернилами, мелким почерком.

3 мая 1860 г. Достоевский писал А. И. Шуберт, что находится во «вполне лихорадочном положении», чему причиной его новый роман: «Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия» [4].

Публикуемый набросок подтверждает предположение А. С. Долинина о том, что речь в этом письме могла идти о романе «Униженные и оскорбленные» [5], а содержание наброска (например, строка:« №. 2-й раз она приходит за книгами...») является свидетельством того, что уже весной 1860 г., задолго до начала печатания романа, Достоевским была написана немалая его часть. Роман печатался отдельными главами с пометой «продолжение следует» в журнале «Время» (январь — июль 1861 г.) Отвечая в 1864 г. А. А. Григорьеву, упрекавшему редакцию «Времени» в том, что она загоняла, «как почтовую лошадь высокое дарование Ф. Достоевского», результатом чего явился его «фельетонный роман», Достоевский писал: «Я сам уверил брата, что весь план у меня давно сделан (чего не было), что писать мне будет легко, что первая часть уже написана и т. д.» [6] Возможно, что плана всего произведения у Достоевского еще не было и в начале 1861 г.: «Очень часто случалось в моей литературной жизни, что начало главы романа или повести было уже в типографии и в наборе, а окончание сидело еще в моей голове, но *непременно* должно было написаться к завтраму. Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с „Униженными и оскорбленными“» [7]. Эти признания Достоевского и дают основание предполагать, что публикуемый отрывок относится к концу 1860 г. Замечания Достоевского самому себе (например, «Уменьшить разглагольствия ее об Алеше», «Алешу серьезнее») относятся к главам VIII и IX. Записи («Меньше снисхождения и любви к Алеше со стороны поэта», «поэт независимее к Алеше») свидетельствуют о том, что еще до упреков критиков и рецензентов Достоевский «в жару работы» «сознавал и предчувствовал» недостатки романа. В 1861 г. при подготовке первого отдельного издания романа Достоевский вновь заботится о том, чтобы уменьшить «разглагольствия» Наташи и сократить мелодраматические сцены [8].

Роман «Униженные и оскорбленные» был опубликован с подзаголовком «Из записок неудавшегося литератора». В данном наброске к роману литератор Иван Петрович назван поэтом.

Образ поэта, литератора «с направлением» встречается еще в одной записи Достоевского, сделанной осенью 1859 г.,—в наброске повести «Весенняя любовь». Герои неосуществленного замысла — враждующие между собой соперники в любви «красавчик-князь» и литератор, который «имеет нравственное влияние над князем, а тот над ним физическое, денежное (и мстит ему за нравственное влияние)» [9]. Все это отчасти предвосхищает сюжет «Униженных и оскорбленных».

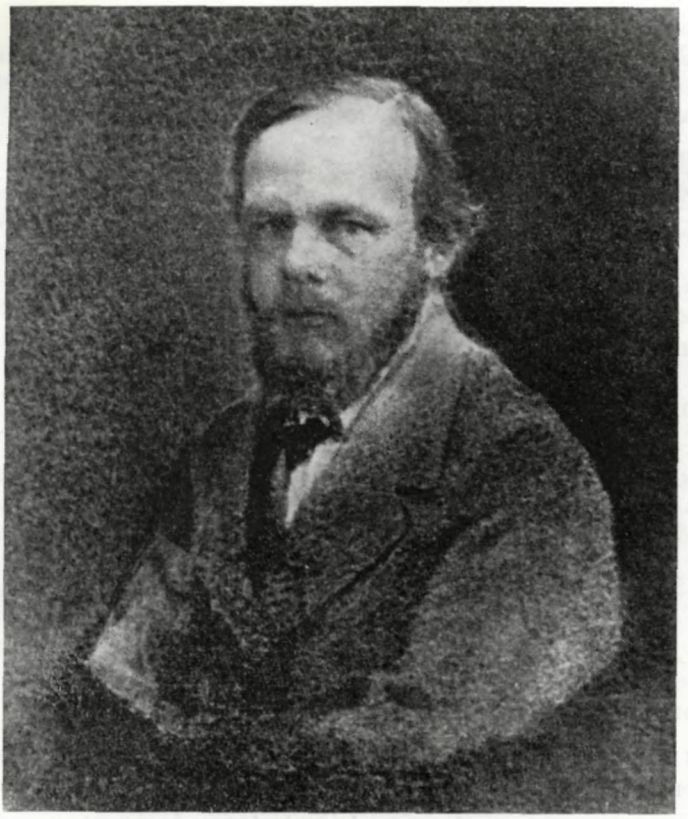
«Весенняя любовь» названа Достоевским и в его плане литературной работы на 1860 г. В конце 1859 г. на небольшом листке почтовой бумаги он записал:

«В 1860 год. 1) Миньона. 2) „Весенняя любовь“. 3) Двойник (переделать). 4) Записки каторжника (отрывок)...» [10]

Названный перед «Весенней любовью» замысел не дошедшего до нас романа или повести «Миньона» был подсказан Достоевскому гетевской Миньоной из «Вильгельма Мейстера». О сходстве Миньоны и Нелли (в «Униженных и оскорбленных») писал А. С. Долинин [11]. Черноглазая, смуглая, порывистая Нелли даже внешне напоминает гетевскую Миньону.

Публикуемый черновой набросок рукописи романа «Униженные и оскорбленные» дает представление о характерном для творческого процесса Достоевского соединении нескольких замыслов в один, свидетельствует о том, что в романе «Униженные и оскорбленные» слились замыслы задуманных, но не осуществленных романов «Весенняя любовь» и «Миньона».

О колебаниях Достоевского между двумя замыслами говорится в письме М. М. Достоевского к брату от сентября 1859 г.: «Вот ты теперь и колеблешься между двумя романами, и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании. Зачем ты мне рассказывал сюжет? Майков раз как-то давно-давно сказал мне, что тебе стоит только рассказать сюжет, чтоб не написать его.



ДОСТОЕВСКИЙ
Фотография Э. Бондонелли, Париж, 1862
Фрагмент фотографии, раскрашенной акварелью
Из коллекции А. Г. Достоевской
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

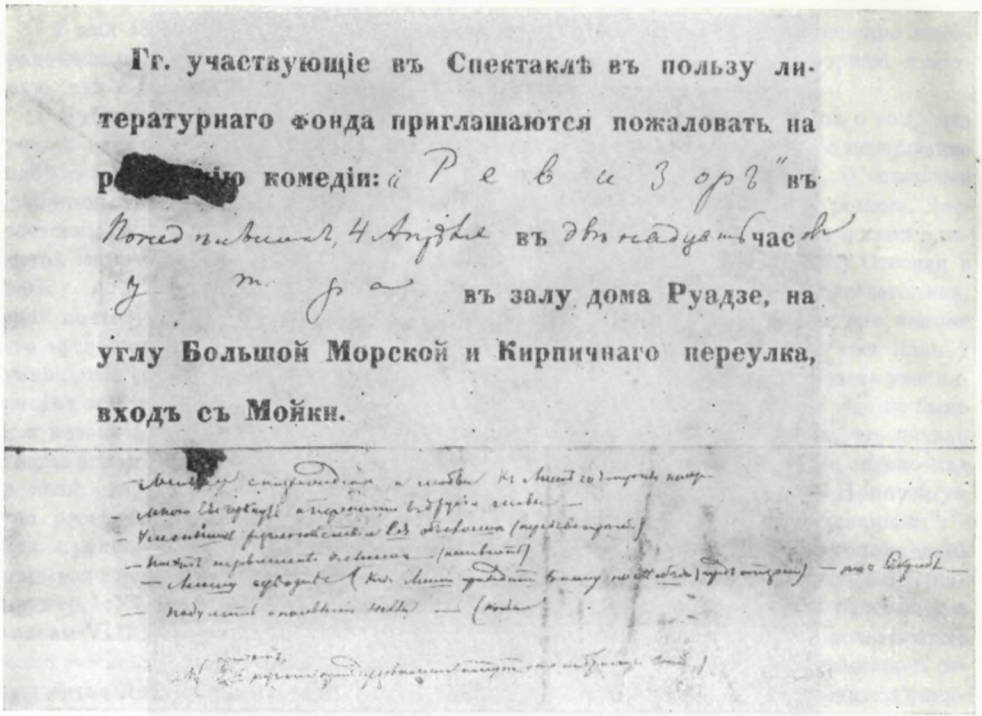
Милейший мой, я, может быть, ошибаюсь, но твои два большие романа будут нечто вроде „Lehrjahre und Wanderungen" Вильгельма Мейстера. Пусть же они и пишутся, как писался Вильгельм Мейстер, отрывками, исподволь, годами. Тогда они и выйдут так же хороши, как и два Гетевы романа» [12].

Но Достоевскому приходилось торопиться: начинавшемуся журналу, успех которого был ему «дороже всего, нужен был роман», и он спешно, «на почтовых» создавал «Униженных и оскорбленных». Публикуемый нами отрывок подтверждает это предположение. Достоевский, вероятно, рассказывал брату сюжеты «Весенней любви» и «Миньоны».

В публикуемом наброске вслед за раздумьями о том, как ввести в роман Нелли, Достоевский тут же, лишь немного отступя, набрасывает «проект» (любимое его слово в черновых записях к романам при обдумывании сюжетов) встречи Нелли с будущим Иваном Петровичем (глава X первой части и гл. III второй части).

Зафиксировано беспокойство Достоевского о том, как передать душевные движения героев, стремление найти верное психологическое отражение взаимоотношений двух соперников.

Видимо, Добролюбов был не вполне прав, говоря, что в «Униженных и оскорбленных» у Достоевского, известного любовью к рисованию психологических тонкостей, в изображении внутреннего состояния Ивана Петровича, нет «ни малейшего намека на то, чтобы автор об этом заботился» [13].


Гг. участвующіе въ Спектаклѣ въ пользу литературнаго фонда приглашаются пожаловать на р[illegible]ію комедіи: «Ревизоръ» въ Понедѣльникъ, 4 Апрѣля въ двѣнадцать часовъ утра въ залу дома Руадзе, на углу Большой Морской и Кирпичнаго переулка, входъ съ Мойки.

ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК ДОСТОЕВСКОГО К РОМАНУ «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Запись на обороте повестки, приглашавшей Достоевского 4 апреля 1860 г. на репетицию спектакля «Ревизор» в пользу Литературного фонда

Роли исполнялись писателями. Достоевский играл почтмейстера

Из коллекции А. Г. Достоевской

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

В пятой строке наброска упоминается имя Скриба: «то о Скрибе». Разговор о Скрибе в романе «Униженные и оскорбленные» происходит в IX главе первой части. Алеша рассказывает Ивану Петровичу о том, что собирается писать повести и продавать их в журналы: «всю ночь обдумывал один роман ⟨...⟩ Сюжет я взял из одной комедии Скриба». К сюжетам французского драматурга обращались многие известные русские водевилисты. Пьесы Скриба, получившие особенную популярность в 1840-е годы, были знакомы и молодому Достоевскому. «Драма теперь ударилась в мелодраму»,— писал он брату, предлагая ему «писать драмы»[14]. Имя Скриба и названия его пьес мелькают на страницах произведений Достоевского. О «скрибовской комедии» рассуждает мечтатель из «Белых ночей». В черновых записях к «Преступлению и наказанию» Достоевский вспомнит французскую оперу, одним из авторов либретто которой был Скриб. Порфирий Петрович, размышляя о сцене между Заметовым и Раскольниковым в трактире, скажет: «Зачем так шутить. Ne touchez pas à la hâche»*, перефразируя название оперы «Не прикасайтесь к королеве» [15].

В библиотеке Достоевского среди книг его любимых авторов было два издания сочинений Скриба [16].

У будущих читателей «Униженных и оскорбленных» были еще свежи воспоминания о гастролях Рашели, приезжавшей в Петербург в 1853 г. и исполнявшей главную роль в пьесе Скриба «Адриенна Лекуврер». С тех пор эта мелодрама, где цинической развращенности аристократического общества противопоставлялся образ девушки огромной душевной чистоты, бескорыстия и самоотверженности, не сходила с петербургской сцены.

* Не прикасайтесь к топору *(франц.)*.

Наташа из романа Достоевского напоминает героиню мелодрамы Скриба «Адриенна Лекуврер», жертвующую своей любовью ради счастья возлюбленного (в пьесе Скриба: «Благодаря мне он вновь получил свободу, даже свободу видеться с вами, любить вас, изменить мне... Кто из нас с вами любит его больше...»). Возможно, не без влияния комедий Скриба (например, «Соперницы») в романе «Униженные и оскорбленные» впервые появится сцена свидания двух соперниц — ситуация, характерная для поздних романов Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»). Не раз отмечалась близость «Униженных и оскорбленных» к мелодраматическим романам Ф. Сулье, Э. Сю, В. Гюго, Диккенса. В ряду этих авторов можно назвать и Скриба.

Публикуемый набросок дает представление о творческой лаборатории Достоевского в период создания им романа, стоявшего в преддверии его будущих романов-трагедий.

〈«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»〉

— Меньше снисхождения и любви к Алеше со стороны поэта
— Много вычеркнуть и перенести в другие главы —
— Уменьшить разглагольствия ее об Алеше (перед встречей)
— Поэт независимее к Алеше — (ненависть)
— Алешу серьезнее (когда Алеша приходит к нему после обеда, перед отцом) — то о Скрибе —
— Подумать о появлении Нелли — (когда)
проект
№. (2-й раз она приходит за книгами и тут-то он бросается за ней.)

ЛМ

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЛБ, ф. 93. II.2.23.
[2] Рукописный отдел Гослитмузея, ф. Ф. М. Достоевского, № 4828.
[3] «Библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, собранных в музее памяти Ф. М. Достоевского в Московском Историческом музее. 1846—1903». СПб., 1906, стр. 11.
[4] «Письма», I, стр. 293.
[5] Там же, стр. 553.
[6] «Эпоха», 1864, № 9, стр. 51.
[7] Там же, стр. 52.
[8] Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1956, стр. 706. Подготовка текста и примеч. Л. М. Розенблюм.
[9] Н. Л. Бродский. Один из замыслов Достоевского.— «Московский понедельник», 1922, № 14, 18 сентября, стр. 3.
[10] ЛБ, ф. 93.I.3.
[11] А. С. Долинин. Письма М. М. Достоевского.— В кн.: «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1935, стр. 561.
[12] Там же, стр. 515.
[13] Н. А. Добролюбов. Забитые люди.— Собр. соч., т. VII. М., 1963, стр. 231.
[14] «Письма», I, стр. 75.
[15] Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание (серия «Литературные памятники»). М., «Наука», 1970, стр. 570.
[16] Л. П. Гроссман. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919, стр. 140.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЖАРЫ 1862 г. И ДОСТОЕВСКИЙ

(Запрещенные цензурой статьи журнала «Время»)

Статья и публикация Н. Г. Розенблюма

После петербургских пожаров 1862 г. прошло более ста лет, а тайна этих событий до сих пор не раскрыта.

Массовый характер пожаров тогда же вызвал у городского населения подозрения в поджогах. Скоро эти подозрения превратились в уверенность.

Были ли поджоги единичными или они носили организованный характер, и если были организованы, то кем?

Пожары еще продолжались, Петербург еще был окутан дымом, а правая пресса, инспирируемая правительством, и примкнувшая к ней значительная часть умеренно-либеральных журналистов уже кричали, что пожары организованы, и винили в них «лондонских пропагандистов», студентов, поляков и др., т. е. оппозиционеров. В противовес им прогрессивные публицисты после закрытия «Современника» и «Русского слова», не имея возможности высказаться с полной откровенностью, писали о пожарах как об обычных, частых в России «эпидемических пожарах» или, не касаясь вовсе причины, пытались лишь опровергнуть нелепые измышления правой печати. Третья версия — о возможной провокационной роли правительства, которое само организовало пожары, чтобы обвинить в них левые круги и, возбудив тем самым против них ярость масс, пресечь нарастание революционной волны — эта версия, естественно, не могла быть высказана в то время в легальной русской печати. Это сделал несколько позднее Герцен в 149-м листе «Колокола». Он писал: «Три раза спрашивали мы, чем кончилось знаменитое следствие о зажигательствах, по которому сидели сотни человек в крепости и в частных домах. Ответа не было, а потому мы сами теперь отвечаем: все это был полицейский обман, который должен был испугать императора сверху и слабых внизу. Зажигателей вне полиции не нашли — а в полиции *не искали*... Не попробовать ли??» [1]

Тогда же эту мысль высказал П. А. Шипов в неоконченном и попавшем в руки полиции письме к И. И. Кельсиеву, в котором он сообщал: «... если надо обвинить кого-нибудь, кроме мошенников, то правительству гораздо более дела до пожаров, нежели студентам, до которых никаким образом они не касаются» [2].

Позднее П. А. Кропоткин, рассказывая о внезапной смерти в дороге сенатора Жданова и исчезновении его портфеля, в котором тот вез доказательства того, что симбирские пожары 1865 г. были делом реакционных кругов, дал понять, что пожары какими-то нитями были связаны с правительством [3].

В России эта версия могла быть высказана в печати лишь в советское время. Первым был М. К. Лемке [4], позднее осторожно высказал предположение о возможности провокации Б. П. Козьмин в статье «Причина пожаров» [5]. Эту тему широко осветил в двух работах «Петербургские пожары 1862 года» [6] и «Артур Бенни» [7] С. А. Рейсер, пришедший к выводу: считать обвинение доказанным данных нет, но правительство следует оставить «в сильном подозрении».

Версию о виновности правительства вряд ли удастся когда-нибудь доказать с документами в руках, поскольку организаторы провокации, если таковая была, не решились бы предать ее тайну бумаге ни в официальных документах, ни в личной переписке, ни даже в воспоминаниях. О таких вещах обычно не пишут, их обсуждают с глазу на глаз. И все же за эту версию говорит многое: 1) правительству, несмотря на все принятые меры, не удалось предъявить обвинения в поджигательстве ни одному представи-

Запрещено
1 июня 1862

Время.

Кем написана?

ПОЖАРЫ

Вниманіе цѣлаго Петербурга занято теперь пожарами. Съ половины мая пожары стали особенно учащаться; въ нѣкоторые дни ихъ было по два, по три, а 23 мая было шесть. Наконецъ пожаръ 28 мая въ духовъ день поднялъ на ноги цѣлый Петербургъ. Въ этотъ день сгорѣло: толкучій рынокъ, щукинъ дворъ, министерство внутреннихъ дѣлъ, лѣсные дворы на правой сторонѣ Фонтанки, щербаковъ и чернышовъ переулки. Задуматься есть надъ чѣмъ. Главная бѣда майскихъ пожаровъ въ томъ, что всѣ страшные результаты ихъ обрушились на голову преимущественно недостаточныхъ нашихъ классовъ, нашего бѣднаго народа. На Охтѣ и въ Ямской — живутъ главнымъ образомъ бѣдняки, которые не могутъ пріобрѣтать себѣ *дорогихъ* помѣщеній въ центральныхъ частяхъ города. Толкучій рынокъ — *былъ* преимущественно народнымъ рынкомъ. Тамъ одѣвался, ѣлъ и пилъ простой мужикъ, потому, что въ гостиномъ дворѣ на семь копѣекъ не найдетъ себѣ обѣда, и за какихъ-нибудь пять рублей не купишь себѣ *одежи*. Тысячи рабочихъ и торговыхъ людей съ пожаромъ толкучаго рынка и щукина двора — потеряли насущный кусокъ хлѣба

КОРРЕКТУРА ЗАПРЕЩЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ «ПОЖАРЫ», ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЙСЯ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ», ИЮНЬ 1862 г.

Сверху надпись Александра II: «Кем написана?»

Лист 1

Центральный государственный исторический архив, Ленинград

телю левых кругов, и это в то время, когда допросы шли, как известно, «с пристрастием» [8] и были использованы лжесвидетели, в большинстве своем — агенты полиции [9]. Один из членов следственной комиссии предлагал даже восстановить пытки [10]; 2) правительство запрещало все статьи, авторы которых пытались отрицать виновность левых; отказывалось в какой-либо форме реабилитировать студенчество от возведенной на него клеветы, в то время как полиция сама распространяла эту клевету; официозная и правая пресса, инспирируемая правительством, делала то же дело. Изданные в 1862 г. В. Бером в Берлине очерки «Нынешнее состояние России и заграничные русские деятели» и Юрием Голицыным в Веве листок «Adresse de la nation russe aux Russes expatriés, ennemies de leur pays» *, несомненно инспирированные III Отделением, вину за поджоги возлагали на Герцена[11]. Все это, естественно, свидетельствует против правительства, но имеются два обстоятельства, заставляющие думать о его виновности: то критическое положение, в котором очутилось правительство к моменту пожаров и которое могло заставить его пойти на риск, и выгода, извлеченная правительством из этого риска.

Начальник III Отделения князь В. А. Долгоруков почти накануне пожаров, во всеподданнейшем докладе от 27 апреля, подчеркивал, что наибольшее затруднение он видит в «шаткости ⟨...⟩ общественного положения» правительства [12]. Пожары в корне изменили это положение. После них большинство резко повернуло вправо, и этим, по отчету Долгорукова за 1862 г., облегчило правительству задачу «рассеять скопившуюся над русской землею революционную тучу, которая грозила разрешиться при первом удобном случае» [13].

Неверно, конечно, мнение Кропоткина, что пожары были «поворотным пунктом не только в политике Александра II, но и в истории России того периода» [14]. Они действительно вызвали необычайный по резкости и быстроте поворот, но только общества, а не правительства, уже ранее перешедшего к реакции. Возможности усилить ее и раздавить революционное движение способствовало изменившееся общественное мнение. Аресты и преследования многими оправдывались ссылкой на пожары. Кропоткин свидетельствовал, что после пожаров «толковать о реформах стало неприлично. Атмосфера была насыщена духом реакции» [15].

Официозная и правая пресса, учитывая желание правительства замять вопрос, постепенно прекратила нападки и даже делала попытки частично реабилитировать клеветнически обвиненное ими ранее студенчество [16].

Наконец замолкли все, и продолжалась лишь борьба между Катковым и Герценом[17]. Герцен не переставал обвинять правительство: «Отчего оно не объявляет имена тех политических фанатиков, социалистов, коммунистов, которые жгли С.-Петербург?» («Колокол», л. 141) [18]; «Что же оно не обнаружит адские ковы сатанинских участник ⁄в» («Колокол», л. 146) [19]. Наконец, 1 ноября, в л. 149 «Колокола» Герцен потребовал ответа на то, чем кончилось «знаменитое следствие о зажигательствах» [20]. Правительство молчало. Об этом времени Л. Ф. Пантелеев писал, что «малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону» [21].

Крымская кампания, обнаружившая всю гниль николаевского режима, дала сильный толчок росту оппозиционных настроений, притом и в таких кругах, которые были весьма далеки от них [22]. Период общественного оживления совпал с кризисом крепостного строя, и это создало для правительства значительные дополнительные трудности еще до наступления периода революционной ситуации 1859—1861 гг. Именно в эти годы расшатывал устои власти «Колокол», писал свою «Записку о тайном обществе» Огарев и, как определяет М. В. Нечкина, «Огарев и Герцен пришли к решению, что в России создание тайного общества „полезно, возможно и необходимо“»[23]. В 1859 г. происходит свидание Чернышевского с Герценом. В 1860 г. Огарев уже говорит об открытом выступлении [24]. Восстание приурочивается к моменту объявления реформы. К 1861 г. положение стало особенно острым, манифест об освобождении не мог удовлетворить и не удовлетворил крестьян [25]. Скоро начались крестьянские волнения. Бездненская трагедия потрясла всех [26].

---

* «Обращение русского народа к русским изгнанникам, врагам своей страны» (*франц.*).

Сохранился очень любопытный документ о том, что III Отделение сочло полезным тогда же посоветоваться с уволенным в отставку И. П. Липранди. Герцен писал позднее в статье «Молодая и старая Россия», что Липранди, которого «с омерзением оттолкнул года три тому назад» Александр II, был призван на совет в Зимний дворец [27]. Оказывается, «на совет», правда не в Зимний, он был «призван» и раньше. Среди бумаг Долгорукова нам удалось обнаружить документ, свидетельствующий о том, что в конце апреля 1861 г., сейчас же после бездненских событий, Долгоруков нашел нужным направить к Липранди своего верного помощника А. К. Гедерштерна, чтобы выяснить его мнение о положении дел в стране. 30 апреля Гедерштерн (авторство устанавливается сличением почерка) доносит Долгорукову:

Из разговоров «Липранди я мог заключить, что он предвидит для России смуты и потрясения и повторение Варфоломеевой ночи. Черные эти мысли основывает он: на общем неудовольствии всех классов народа, на шаткости правительственных мер, на дурном выборе начальствующих лиц, как о том удостоверяет каждое выходящее из обыкновенного круга событие, например, в Варшаве, особенно же на затруднениях, готовящихся положением о помещичьих крестьянах, которое не только не понятно для них, но при исполнении должно представить противоречия и непреодолимые препятствия, и тем самым даст повод к жалобам, к ослушанию, к посягательству на имущество и жизнь дворян и к открытым возмущениям. Между тем работы остановятся, окажется недостаток в хлебе, и затем один бог знает, что произойдет на Руси.

Внешние враги империи, все польское ее население и в самой России, нерасположенные к правительству и стремящиеся к его преобразованию, по учению Герцена и революционеров вообще, понимают затруднительные обстоятельства, накопляющиеся с разных сторон, и с которыми бороться правительству при безденежье и недостатке кредита почти не по силам. Посему, к несчастью, должно опасаться дурного исхода...» [28]

Между тем положение усложнилось. К непрекращающимся волнениям в Польше прибавилось еще одно: в июне появились первые прокламации. Начался, по выражению Шелгунова, «прокламационный период русской истории». Герцен призывал: «Заводите типографии! Заводите типографии!» [29] Возможность революционного взрыва становилась весьма реальной. «Мы ⟨...⟩ считали себя „накануне“»,— вспоминал Шелгунов [30]. Ленин писал об этом времени: «...При таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [31].

В сентябре ко всему добавились еще студенческие беспорядки в Петербурге. За ними последовали в конце сентября — московские, в начале октября — казанские. За неделю до студенческих беспорядков, 16 сентября 1861 г., министр народного просвещения Е. В. Путятин, адмирал от просвещения, как его назвал Герцен, писал князю В. А. Долгорукову: «С некоторого времени студенты под влиянием некоторых профессоров стали смотреть на университеты не как на учебные заведения для высшего образования, но как на учреждения, в коих должны вырабатываться *идеи о лучшем управлении государством*, а на себя самих, как на *деятелей, призванных играть роль в политическом существовании России, как на органы, чрез которые эти идеи должны раскрываться...*» [32]

Открытое выступление студенчества немало напугало правительство и реакционные круги [33]. Добровольный осведомитель, статс-секретарь В. П. Бутков, лишь недавно информировавший Долгорукова о пребывании Герцена в Париже [34], сообщая ему же 30 сентября о студенческих беспорядках в Петербурге, писал: «...Толпа зрителей была огромная. Вся набережная была запружена народом, но народом вовсе не простым. Все литераторы были тут ⟨...⟩ Уверяют в городе, что будто бы батальон Финляндского полка шел неохотно на площадь, оттого что молодые офицеры неохотно вели его и даже говорили при солдатах не совсем осторожные вещи ⟨...⟩ Дух неповиновения, дух сочувствия к университетскому делу, дух единомыслия с студентами проник во все учебные заведения. Положение их становится опасным более и более ⟨...⟩ Студенты ходят даже по кабакам, уговаривая пьяный народ стоять за них и идти против правительства...» [35]

Правительство не остановилось перед жесткими мерами в отношении студентов. В делах канцелярии министра народного просвещения сохранилось отношение от 1 октября 1861 г., заверенное генерал-адъютантом П. А. Шуваловым, следующего содержания: «В телеграмме, полученной сего числа от государя императора на имя великого князя Михаила Николаевича, между прочим, сказано: „Скажи Путятину, Игнатьеву, Плаутину и всему гвардейскому начальству, что я вполне уверен, что каждый из них исполнит свой долг с энергиею и без всякого послабления“» [36].

Сотни студентов были арестованы и посажены в Петропавловскую и Кронштадтскую крепости. Университет был закрыт [37]. Забегая вперед, скажем, что аресты и преследования студентов дали обратный результат. Освобождение их в декабре ознаменовалось заметным ростом студенческих кружков, частично превратившихся скоро в ячейки тайного общества, будущей «Земли и воли» [38].

Репрессии в отношении студентов привлекали к ним симпатии широких кругов. Волнения продолжались. «Студенческий шум не утихает. Борзо разгорается польский»,— писал о конце 1861 г. сенатор Лебедев [39]. Министр внутренних дел Валуев в своем всеподданнейшем отчете за 1861—1863 гг., говоря о положении правительства в те дни, отмечал, что оно «не имело влияния на массы ⟨...⟩ и не могло опереться ни на одну из главных частей этих масс...» [40]

С мнением Валуева интересно сравнить не известное до сих пор письмо военного министра Д. А. Милютина 1 октября 1861 г. к брату его Н. А. Милютину, лишь недавно оставившему пост помощника министра внутренних дел. В этом письме, не сдерживаемом официальным характером известных нам уже докладов и записок, положение правительства получило еще более полное освещение:

«Ты уехал отсюда недавно, но ты удивился бы, если б теперь возвратился, быстрым успехам, которые делает у нас в России оппозиционная или даже можно сказать революционная партия. Последние студенческие происшествия нельзя считать университетскою шалостью; нет, я вижу тут начало серьезных опасностей, угрожавших у нас общественному спокойствию и настоящему порядку вещей. В уличных демонстрациях, не виданных до сих пор в Петербурге, участвовала вся молодежь без разбора платья, мундира и происхождения. Тут не только соединены студенты университета и Академии, но и учащиеся в академиях военных, в Технологическом институте и множество людей, только причисляющих себя к университету ⟨...⟩ Профессора почти все защищают дело студентов, между тем литература и редакции журналов открыто заступаются за своего товарища Михайлова, который уличен в сочинении, напечатании и распространении самой яростной из всех возмутительных прокламаций, когда-либо существовавших (под заглавием „К молодому поколению“). *Между студентами и литераторами есть несомненно организованный заговор*; у них есть руководители, может быть, даже из университетского круга. Польские студенты теперь еще не выказываются очень явно в этом движении, но они так самонадеянны, что ходят здесь в П⟨етер⟩бурге в конфедератках. Полиция обессилена; она хватает кого попало, до сих пор уже посажено в крепость до 80 человек. Делают допросы, но все это ни к чему не поведет, потому что *революционные идеи охватили все сословия, все возрасты, все звания; идеи эти теперь высказываются гласно на улицах, в казармах, в министерствах, я думаю, сама полиция увлечена ими*. Трудно сказать к чему все это приведет нас. Я весьма опасаюсь каких-нибудь кровавых катастроф, но если даже и не дойдет до этого вскоре, то во всяком случае положение правительства будет крайне затруднительно. Правительственная основа поколеблена, все убеждены в бессилии правительства, в тупости и неспособности лиц, составляющих это правительство» [41].

«Сама полиция увлечена ими». Теперь становится понятной реплика царя в ответ на отказ Шувалова стать начальником III Отделения: «Кто же мне будет сообщать о революционном направлении, повсюду теперь распространяющемся, направлении, которому поддалось само Министерство внутренних дел» [42].

Конец 1861 г. и первые месяцы 1862 г. характеризуются дальнейшим ростом революционных настроений. Идут подготовительные работы по организации тайного общества «Земля и воля», открывается шахматный клуб, растет сеть студенческих революционных кружков, большое впечатление на правительство производит беспрецедентное выступле-

Три золотушныхъ школьника, изъ которыхъ старшему ужь на-
вѣрно не больше тринадцати лѣтъ напечатали и разбросали глупѣй-
шій листокъ, не справившись даже хорошо съ иностранными книж-
ками откудова они все выкрали и бездарно перековеркали. Залпъ
хохоту долженъ былъ встрѣтить глупый листокъ. Читая его всякій
сказалъ самъ себѣ: «въ семьѣ не безъ урода.» Но нѣсколько хи-
лыхъ старцевъ въ падагрѣ и хирагрѣ съ старобабьемъ умомъ, пе-
ремѣнившіе по прочтеніи глупого листка свое бѣлье и даже тутъ
переполошившіеся о настоящемъ употребленіи этого листка, — эти
старцы почувствовали страшный, паралитическій страхъ. Все это
кончилось съ кашлемъ и удушьемъ проповѣдывать гибель. Пропо-
вѣдь нашла сильную поддержку и только при этой поддержкѣ успѣ-
ли заразить общество подозрѣніями. Но мысль что три золотуш-
ныхъ ребенка, могли пуститься на такое дѣло! Ну пусть, пусть эти
три золотушныхъ преступника (чему мы положительно не хотимъ
вѣрить да и нѣтъ ни малѣйшихъ доказательствъ)! Напротивъ ка-
кимъ образомъ обвиненіе трехъ золотушныхъ передалось на всѣхъ
студентовъ. Кто смѣлъ это сдѣлать? Чьими подземными, чьими хи-
лыми старобабьими стараніями укрѣпиться могло это мнѣніе. Какъ
не подумали перемѣняющіе середи дня бѣлье, что это значитъ на-
травливать всю массу народа на бѣдныхъ, и безъ того уже тысячу
разъ оклеветанныхъ и опозоренныхъ? И неужели не поймутъ обще-
ство, не поймутъ неловкія (или ужь слишкомъ ловкіе публицисты)
что это значитъ опозорить имя студента въ темной массѣ народа
на пятьдесятъ лѣтъ впередъ, имя университета, професоровъ, нау-
ки, грамотѣ, смыслу. Вѣрить не хотимъ, чтобъ это дѣлалось умы-
шленно: необразованность, страхъ, неясное пониманіе вещей вотъ
причины затмѣнія умовъ въ обществѣ. Возвращающіеся во вре-
менности графини Хлестовой должны опомниться. Ей теперь девя-
носто лѣтъ. За ней идти стыдно. Перемѣните же свое бѣлье въ по-
слѣдній разъ и укрѣпитесь, ободритесь не смущайте народъ! весь
городъ въ волненіи. Умы возбуждены въ страшной степени. Болѣе
трехсотъ тысячъ человѣкъ думаютъ объ одномъ и томъ же, сосре-
доточены на одной и той же мысли. Ужь очень недалеко до всеоб-
щаго паническаго страха.

КОРРЕКТУРА ЗАПРЕЩЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ «ПОЖАРЫ», ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЙСЯ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ», ИЮНЬ 1862 г.

Лист 3

Центральный государственный исторический архив, Ленинград

ние в печати 106 офицеров против реакционного направления, принятого «Военным сборником» с уходом из него Чернышевского. 6 марта Долгоруков во всеподданнейшем отчете отмечает, что «настоящее внутреннее политическое положение чрезвычайно натянуто...» и приводит высказывание Мадзини «о зрелости России к политическому перевороту, с низвержением царствующей династии» [43]. 27 апреля в докладе он снова подчеркивает, что «оппозиционная партия растет и усиливается с каждым днем», а правительство приближается «более и более к разрушению, приготовляемому для него неутомимым старанием революционной пропаганды и наступательными действиями недовольных» [44].

Правительство ясно сознает грозящую опасность и продолжает готовиться к решающей битве. Вырабатываются чрезвычайные меры, подбирается тайный агент для засылки в лондонский дом Герцена [45], идет повседневная и упорная слежка за Чернышевским, которого правительство не без основания признает наиболее опасным для себя [46], в первые же дни пожаров, по инициативе Головнина, издается особое распоряжение, ограничивающее защиту студенчества от нападок за беспорядки [47].

Если осенью 1861 г. Е. А. Штакеншнейдер могла в своем дневнике записать, что «правительство явно теряло голову, спотыкалось, ловило воздух, думая схватить заговор» [48], то теперь поступки правительства приобретают более твердый характер, оно уже не спотыкается, а прямо идет к намеченной цели: подавить революционное движение.

В этой раскаленной атмосфере громовым ударом для правительства явилась распространенная 14 мая в Петербурге прокламация «Молодая Россия», в которой впервые в русской печати появилось слово «республика» и народ призывался к цареубийству.

Два дня спустя начались петербургские пожары. Правая пресса и значительная часть либеральных публицистов связали эти два события: прокламацию и пожары. Возможно, они были правы, но только в чем была связь? Толкнула ли эта прокламация на поджоги левые элементы, или правительство, подстегнутое такой прокламацией и не видя другого выхода, само решилось на них?

Посмотрим, как решали эти вопросы газеты тех дней? Только «Северная пчела» и и «St. Peterburger Zeitung» сразу, 30 мая, писали «о корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги» и «из уст в уста передается таинственный страшный слух» [49]. Другие газеты к этому приходят постепенно. Так «Русский инвалид» в номерах от 25 и 30 мая, хотя и говорит о городских слухах в отношении поджогов, но о политическом характере их нет ни слова, и только в номере от 31 мая, в статье, перепечатанной из «СПб. полицейских ведомостей», сообщение о слухах принимает более конкретную форму: «Толки ходят сбивчивые, одни говорят, что виною пожаров множество скопившихся сюда людей без дела и рассчитывающих жить грабежами, другие же, что у поджигателей главная цель производить беспорядок и довести жителей столицы до крайности...» Даже в полных самых фантастических слухов о петербургских пожарах «Письмах Петербургского старожила» и «К редактору газеты», печатавшихся в «Нашем времени» с 30 мая по 15 июня, в первом номере ничего нет о политических поджогах и лишь 5 июня впервые сообщается о том, что «целый город» толкует о «правильно организованной, многочисленной шайке поджигателей, имеющей связь с последнею гнусною прокламациею...», а в номере от 9 июня, что «во всех сословиях обвиняют в поджогах политических деятелей — уверенность в том общая!» [50]

Что касается исследователей, то они подходили к этому вопросу по-разному. Б. П. Козьмин писал: «Слухи о студентах-поджигателях проникли в печать» [51]. Источник слухов, правда, здесь не указан; неизвестно, подразумеваются ли тут городские массы или, по выражению «Искры», «читающие»? М. М. Клевенский уже точно фиксировал источник: «Среди обывателей с самого начала пожары приписывались поджогам. Больше всего винили в поджигательстве студентов-революционеров. Эти слухи проникли и в печать» [52]. М. К. Лемке держался противоположного мнения: «Правительство обезумело первое, за ним — масса общества, за ними — городская народная масса, в которую уже были брошены провокаторские указания на молодежь студенческую ...» [53] Тут вопрос разрешен четко и ясно: слухи шли сверху в массы, а не обратно. Так же считал М. Н. Покровский, говоря об «общественном мнении», приписавшем немед-

ленно поджоги студентам: «Есть все основания думать, что такое убеждение было созданием не одной только человеческой глупости, но что природе тут помогло искусство»[54]. Странно, что Лемке в примечании к заметке Герцена «Зарево», говоря о прокламации «Молодая Россия», сам себе противореча, писал: «Она вышла накануне пожаров — „левая" интеллигенция виновата в них! „Студенты — вот поджигатели!!" — кричала масса, а за нею и часть печати». Так ли это? Не вернее ли повернуть фразу и сказать: «Кричала часть печати, а за нею и масса?» [55].

Конечно, и до появления газетных статей с обвинениями город был полон самых разнообразных слухов о поджигателях; винили и студентов, и поляков, и офицеров, и помещиков, и др. Иначе и быть не могло во время такой паники. Но до появления газетных статей эти обвинения не носили политического характера. Пантелеев, повторяя слова «Северной пчелы», № 157, отмечал, что «в высших классах почти единогласно пожары связывают с последней прокламацией» [56]. Баллод подчеркивал, что толки о студентах и революционерах-поджигателях велись «с ведома царской полиции» [57].

Известно огромное число откликов на пожары (подробнее см. о них в статье С. А. Рейсера «Петербургские пожары 1862 года»); ниже мы публикуем ряд еще не известных откликов, почти все они полны обвинений против «западных пропагандистов» и студентов, но стоит всмотреться в даты этих писем, дневников и воспоминаний, как станет очевидно, что все они, за редчайшим исключением, писаны после появления обвинений в печати. Единственный, кто уже 24 мая упомянул о связи пожаров с прокламацией, был А. В. Никитенко, но его запись («Толкуют о поджогах. Некоторые полагают, что это имеет связь с известными прокламациями...» [58]) никак нельзя отнести к толкам городских масс. Не следует также забывать, что Никитенко как редактор «Северной почты» был близок к Министерству внутренних дел, дневник его за май и июнь пестрит записями о встречах с помощником министра и министром [59]. Вспомним также о дружеских отношениях Никитенко с А. К. Гедерштерном, видным сотрудником III Отделения [60].

Проследим дальше его дневник. 30 мая он записывает: «Рассказам, слухам, толкам нет конца». 31-го — уже после появления в печати определенных обвинений — Никитенко приходит к выводу, что «несомненно, кажется, что пожары в связи с последними прокламациями». И лишь 4 июня появилась запись: «Народ толкует, что поджигают студенты, офицеры и помещики» [61].

Ставился вопрос о связи пожаров с прокламацией и в двух запрещенных цензурой статьях журнала братьев Достоевских «Время», которые мы публикуем ниже.

То же, но еще более резко высказала «Искра» в № 22 от 15 июня. В заметке с характерным заголовком «Не всякая кучка людей — народ и не всякой кучки голос — голос народа», говоря о связи пожаров с прокламацией, «Искра» писала: «Народ не только не мог иметь такого мнения, а не имеет, конечно никакого понятия о самих прокламациях. Подобная мысль могла родиться в кружке людей, читающих и знающих о прокламациях. Здесь эта мысль родилась, здесь она и умерла бы. Оглашение ее посредством печати было верным средством к ее распространению».

Баллод вспоминал: «Стали говорить, что поджигают революционеры. В подтверждение своих предположений стали указывать на „Молодую Россию", где говорится, что поводом к взрывам революций обыкновенно бывают какие-нибудь народные несчастья и что несчастья эти революционеры хотят вызвать массовыми пожарами» [62].

Неужели городские массы могли быть источником таких сложных выводов?

Наглядным примером того, что мысль о связи пожаров с прокламацией — и тем самым, что поджигают революционеры,— родилась, как писала «Искра», «в кружке людей читающих» и оттуда лишь проникла в массы, могут служить и публикуемые ниже три письма М. Г. Карташевской к В. С. Аксаковой 26—27 мая, 3 и 10 июня. Все три письма полны слухов и толков, все они говорят о поджогах, но в первом нет ни слова о политическом характере, вторые два, написанные после появления газетных статей, полны бранью по адресу Герцена и «левых».

Нельзя не отметить также, что прокламация «Молодая Россия» была адресована не простому люду Петербурга — мастеровым, фабричным, ремесленникам, ла-

вочникам, а передовой студенческой молодежи. Она толковала о конституции, о Ледрю-Роллене, Луи Блане, Блюмере, Орсини, якобинцах, 48-м годе и т. д., пересыпана иностранными словами: антагонизм, диаметрально, централизация, федерация, радикализм, инициатива, эшафот, элемент и проч.

Трудно не согласиться с запрещенными статьями журнала «Время», что до обвинения студенчества «дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него извне». «Остается лишь выяснить, что следует понимать под словом «извне»? Была ли это «читающая публика» или правительство? Посмотрим, как было дело.

14 мая появилась прокламация, а 18-го Долгоруков писал Валуеву:

«Вот ⟨...⟩ экземпляр прокламации, которую я вам показывал утром. Оставьте ее у себя, если у вас ее еще нет, и постарайтесь, если возможно, установить по шрифту и бумаге, откуда может исходить листовка. Мы, со своей стороны, тоже этим займемся...» [63]

Письмо устанавливает два факта: правительству не известно, откуда идут прокламации, и разбросаны они далеко не в таком количестве, о котором говорят современники, так как в этом случае начальник III Отделения не мог бы 18 мая сомневаться в наличии у министра внутренних дел экземпляра прокламации, разбросанной 14-го числа.

Другое письмо Долгорукова к Валуеву 13 июня 1862 г., опубликованное в свое время Лемке, уже не оставляет никаких сомнений в том, что еще в середине июня правительство не знало, что прокламация напечатана в России, и думало, что она идет из Лондона. Говоря о письме Горчакову, полученном от Бруннова и прилагая его к посылаемому письму, Долгоруков писал: «Судя по их мнению, „Молодая Россия“ напечатана вовсе не в Лондоне, а в России» [64]. Всеподданнейший отчет Голицына в 1871 г. о работе следственной комиссии за 1862—1871 гг. подтверждает, что и в 1871 г. правительство не знало, кто напечатал прокламацию [65]. Почему же оно еще в конце мая через инспирируемую им печать пытается связать пожары с прокламацией и поддерживает обвинение против всего студенчества? Это может служить еще одним серьезным обвинением против правительства.

Письма современников, иногда полные ложных слухов, при критическом рассмотрении могут помочь освещению столь загадочного вопроса: кто поджигал? В письме М. Г. Карташевской В. С. Аксаковой из Петербурга (26—27 мая 1862 г.) читаем:

«...У нас такие страшные пожары, что весь город был в волнении. По семи пожаров в день. Куда ни обернешься, везде дым и пламя. Никакого нет сомнения, что это поджигательство, даже, говорят, многих схватили с зажигательными снарядами. Пожары эти недаром ⟨...⟩ от поджигательства не спасешься».

27 мая. Карташевская добавляет: «...Сегодня распустили в городе слух, что будет страшный пожар, и полиция приняла уже меры...» [66] 3 июня 1862 г. Карташевская снова писала Аксаковой:

«Накануне, в ту минуту, как надобно было посылать человека с приказанием за нами выехать, вспыхнул страшнейший пожар и так близко от нас, что на наш двор перекидывало горячие головешки. Все экипажи наши стояли заложенные, чтобы переехать к кому-нибудь из знакомых. Подожгли Апраксин двор, это толкучий рынок, занимающий огромное пространство, почти весь состоящий из деревянных лавчонок. Можешь себе представить, как страшно все вспыхнуло, но пожарная команда действовала так отлично, что пожару не дали распространиться; невозможно было спасти только Министерство внутренних дел, примыкающее к этому двору, но рядом стоящее Министерство просвещения осталось невредимо. В этот день был не ветер, а просто буря, и дул прямо на нас, оттого и перебрасывало головни, хотя собственно пожар не был очень близко ⟨...⟩

Накануне нашего отъезда мы уже не говорили маменьке, что вымазан был зажигательным составом забор деревянного дома напротив нас; только хозяева приняли меры, все соскоблили. Братья говорят, что все деревянное в Петербурге вымазано, что на улицах видишь беспрестанно толпу, стоящую перед этими вымазанными местами, рассматривают, нюхают. Полицеймейстер говорил сам Андр⟨ею⟩ Ник⟨олаевичу⟩ [67], что

Мы прочли передовую статью въ № 163 «Сѣверной Пчелы» по поводу пожаровъ въ С Петербургѣ прочли и ужаснулись до чего можетъ дойти отсутствіе всякаго такта въ обсужденіи самыхъ серьезныхъ вопросовъ.—Петербургъ горитъ ежедневно и горитъ страшно—въ этомъ нѣтъ сомнѣнья.—Петербургъ поджигаютъ—объ этомъ всѣ говорятъ, но никто ничего положительно не знаетъ. Полиціею говорятъ захвачено множество людей но полиція молчитъ и захвачены ли кто и кто захваченъ, мы ничего незнаемъ —Все слѣдовательно вѣрться на однихъ толкахъ. Мы знаемъ по предшествовавшимъ, подобнымъ настоящему, случаямъ на сколько здѣсь можно полагаться на голосъ народа.—Вспомнимъ только объ отравахъ во время первой холеры, когда народъ обвинялъ въ этомъ поляковъ, всѣ знаютъ на сколько это было вѣрно.—Нетолько потворство подобнымъ толкамъ но и такой двусмысленный отзывъ объ этихъ слухахъ, какой помѣщенъ въ передовой статьѣ Сѣверной пчелы, есть признакъ совершенной неспособности къ пониманію и объясненію совершающихся фактовъ.—Подобный отзывъ можетъ дать поводъ нѣкоторымъ думать, что въ этихъ толкахъ есть доля правды. Серьезная политическая газета говоритъ о слухахъ съ сомнѣніемъ,—чуть не въ пользу ихъ; многіе скажутъ—стало быть есть основаніе къ такимъ толкамъ. Такого вывода довольно, чтобы усилить народное волненіе и кто тогда виноватъ будетъ: прокламаціи, которыхъ народъ вовсе не читалъ и которыя ему совершенно чужды, или серьезная политическая газета, которую читаютъ во всѣхъ харчевняхъ? Что касается до насъ, то мы никакъ допустить не можемъ, что какая бы то ни была политическая партія, которая не можетъ же состоять иначе, все-таки, какъ изъ мало мальски образованныхъ людей, способна была прибѣгать къ такимъ безумнымъ, ужасающимъ своимъ звѣрствомъ средствомъ, какъ поджогъ. Мы прямо и положительно отрицаемъ возможность подобной солидарности двухъ явленій не имѣющихъ по нашимъ мнѣніямъ ничего общаго.

КОРРЕКТУРА ЗАПРЕЩЕННОЙ ЦЕНЗУРОЙ РЕДАКЦИОННОЙ СТАТЬИ «ПОЖАРЫ» ПРЕДНАЗНАЧАВШЕЙСЯ ДЛЯ ЖУРНАЛА «ВРЕМЯ», ИЮНЬ 1862 г.

Лист 1

Сбоку надпись: «Запрещено. 3 іюля»

Центральный государственный исторический архив, Ленинград

поймано человек 20 с зажигательным веществом. Теперь объявлено, что будут их судить военным судом в 24 часа и, говорят, с тех пор еще не было поджигательства ⟨...⟩

Какая сильная должна быть шайка поджигателей; схваченные объявляют, что их подкупал господин и давал по триста рублей. Между тем беспрестанно письменно возвещают, что будет гореть то и то. Последнее известие, что будет гореть Новгород, и уже, говорят, Боровичи выгорели. Разбойники! И все это бедствие падает на бедный народ, живущий в лачужках. Им хочется двинуть его отчаянием. Тут, конечно, не без Герценовского участия. Говорят тоже, что в заговоре Петрашевский; была программа пожаров и что эта программа сбывается. Между тем все ссыльные по этому делу прощены; так вот они, может быть, и благодарят за свое возвращение. Не знаешь, как и милостивому быть ⟨...⟩

Нас пугают, что и Гатчина будет гореть и что Москву будут поджигать...» [68]

Отметим в первую очередь, что сам полицеймейстер, оказывается, являлся распространителем ложных сведений о поимке двадцати человек с зажигательным веществом. Второе, что обращает на себя внимание,— это слова Карташевской о петрашевцах; они почти полностью совпадают с примечанием П. И. Бартенева к письмам Ф. И. Тютчева жене: «...Поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 г. Петрашевским с братиею. Слышано от И. П. Липранди». Такое совпадение наводит на ряд мыслей [69].

Третье письмо Карташевской (Кобрино, 10 июня 1862 г.) также полно яростных обвинений революционеров: «...Мы бежали из Петербурга, думая и считая себя здесь в безопасности, а как бы не пришлось здесь бояться еще более. Мы маменьке не говорили, что уже подбрасывали письма, что будут жечь деревни. Вследствие этого было уже предписание от правительства всякое лицо, появляющееся в деревне, допрашивать и осматривать. Когда здесь запылают пожары, это бедствие будет еще ужаснее городского! Злодеи, губители, проводящие свои собственные фантазии под предлогом усовершенствования России, сколько бедствий они уже произвели! В Петербурге все пока спокойно, но эта адская шайка так не успокоится. Много уже схвачено, и по милости их много может быть и невинных. Все это творение Герцена, его любви к России...» [70]

И современники, и архивные документы свидетельствуют о принятии правительством решительных мер, о создании комиссий, о публикации различных постановлений, и все это сводится исключительно к репрессиям. Объясняется это тем, что путь к реакции был намечен уже ранее, и теперь он только расширялся.

Уже 4 июня Долгоруков в публикуемом нами письме сообщал Валуеву: «Только вечером, вернувшись от императора, я получил вашу вчерашнюю записку, дорогой Петр Александрович. Я увижу его только в Петербурге между 11 и 12. Но аресты могут производиться, если они признаны необходимыми, без всяких колебаний и если у нас будет место для задержанных. Во всяком случае я уполномочен сегодня же посовещаться с вами, Паниным, Горчаковым и другими» [71].

Хотя аресты и допросы не дали никаких доказательств виновности левых, правительство не считало нужным опровергнуть ложные слухи. Наоборот, оно старалось подтвердить клевету. Особенно резко это выявилось в отношении обвиненных студентов.

С. А. Рейсер в статье «Петербургские пожары 1862 года» привел не известную ранее переписку министра народного просвещения Головнина с Валуевым от 30—31 мая 1862 г., в которой Головнин ставил перед Валуевым вопрос об опубликовании правительством заявления о том, что «в числе заподозренных в поджогах нет студентов» и что «обвинение, которое распускается против них в поджоге, несправедливо». Валуев ответил отказом [72].

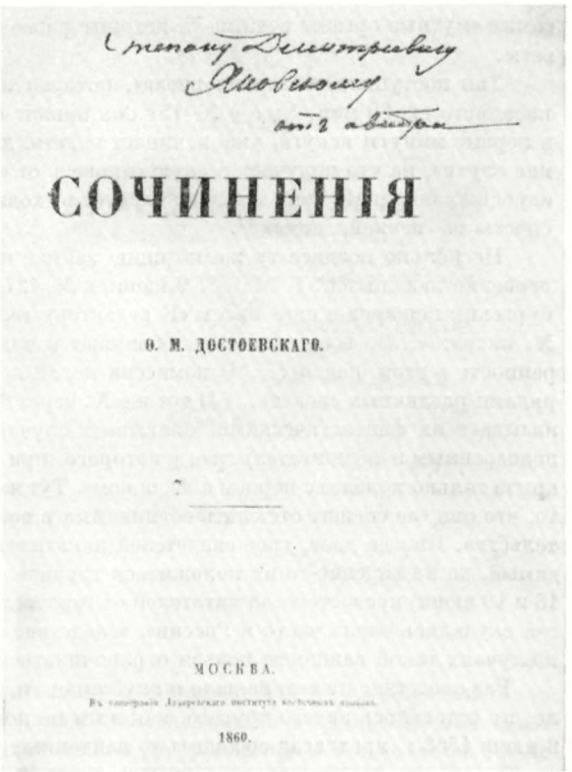
В настоящее время мы имеем возможность познакомить читателя с этой перепиской несколько шире. Головнин поднял этот вопрос в своем всеподданнейшем докладе 30 мая: «...В городе весьма распространился слух между народом, будто бы главные виновники в поджогах здешние студенты, и положение молодых людей даже сделалось опасным». Головнин одновременно ставит царя в известность, что «Общество для пособия бедным учащимся решилось приобрести на 2500 р. статского платья, чтоб раздать неимущим студентам, которые кроме старых форменных сюртуков и мундиров, не

«СОЧИНЕНИЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО», т. I, ИЗД. Н. ОСНОВСКОГО (М., 1860) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ:

«Степану Дмитриевичу Яновскому от автора»

Титульный лист

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва


Степану Дмитриевичу
Яновскому
от автора

СОЧИНЕНІЯ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

МОСКВА.

1860.

имеют другой одежды», и тем предохранить студентов от возможных последствий народного гнева [73].

Ответ Валуева уже известен. Остальные три ответа по существу совпали с ответом Валуева. Резолюция царя гласила: «Распоряжение одобряю. Вот последствие безрассудного поведения нашей университетской молодежи». Таким образом, царь ответил лишь на один вопрос и умолчал о другом, основном. На официальную защиту студенчества и он не согласился и даже косвенно возложил на него вину. Ответ Долгорукова был схож с валуевским. Это был отказ с еще более циничной формулировкой. Долгоруков писал: «...С тех пор как здешний университет закрыт, студентов нет, и если бывшие студенты будут одеваться, как прочие граждане, то между ними и сими последними разница исчезнет, а вместе с тем они освободятся и от опасности, которой теперь подвергаются. Кроме того подозрение в поджигательстве распространяется на лица всех сословий, смотря по свойству людей, которых подозревают...» [74]

Несколько иначе преподнес свой отказ петербургский генерал-губернатор А. А. Суворов. «Отвечайте студентам»,—писал он Головнину.—*Sic transit gloria mundi**. 1861 г.— вся публика была на их стороне. 1862 г.— совершенный контраст и без пожаров. Напрасно некоторые думали, что пьедестал, который им возведен был неосторожно, не разрушится, виноваты некоторые, терпят все, я говорю здесь о студентах. Нельзя сравнить их с медиками в холеру. (Сравнение было использовано Головниным в докладе царю.—*Н. Р.*) Публиковать невозможно. *Кружки* не чужды пожарам, а в *кружках* есть *и* студенты... [75]»

Итак, четыре отказа, и все они свидетельствуют о том, что не в интересах правительства было пойти на официальную реабилитацию студенчества. Лишь позднее, когда появились требования опубликовать результаты следствия, а сделать это не было возможности, поскольку в руках правительства не было ни одного доказательства виновности обвиняемых, оно вынуждено было пойти на частичную, неофициальную реабилитацию. Эту роль взяли на себя, по выражению А. Н. Пыпина, те

* Так проходит слава мира (*лат.*).

самые «мутные органы печати» [76], которые ранее способствовали распространению клеветы.

Так поступила «Северная пчела», которая постепенно начинает отходить от высказанного ею 30 мая. Уже в № 151 она пишет: «Здравый ум публики, растерявшейся в первые минуты испуга, уже начинает видеть, до какой степени преувеличены прежние слухи», на что получает резкую отповедь от «Искры»: «Кто растеривается во время народных бедствий, тому вовсе не следует выходить на общественную арену, а следует сидеть за печкой, дома» [77].

Несколько позднее ту же позицию займет и «Наше время». Поворот этой газеты особенно любопытен. В № 122, 9 июня, и № 127, 15 июня, помещены описания петербургских пожаров в виде писем «К редактору газеты», подписанных буквой Х. 9 июня Х. писал: «...Во всех сословиях обвиняют в поджогах политических деятелей — уверенность в этом общая 〈...〉В комиссии целая комната завалена зажигательными снарядами различных свойств...» И тот же Х. через 6 дней, 15 июня, высмеивает все слухи, называет их фантастическими, описывает случай «с представленным в полицию» заподозренным в поджигательстве, у которого «при обыске из зажигательных орудий открыта только колбаса с перцем и чесноком». Тут же Х. хвалит следственную комиссию за то, что она «не спешит отсылать обвиняемых в военный суд, взвешивает улики и свидетельства. Иногда двое, трое свидетелей показывают, что видели, как поджигал подсудимый, да на видение-то их положиться трудно». «Journal de St. Pétersbourg» (№ 136, 18 и 19 июня) предостерегал читателей от «преувеличенных заключений»: «пожары всегда случались очень часто в России», «следствие производится весьма деятельно, но... в случаях такой важности нельзя ограничиваться одними подозрениями».

Раз следствие ничего не дало и опубликовать результаты его правительство не могло, не оставалось ничего другого, как идти на попятный. Например, Валуев в записке 9 июня 1862 г. предлагал сообщить «о найденных у разных студентов горючих материалах», когда ни одного такого случая не было [78]. В докладе Суворова, представленном царю 11 сентября 1862 г., с предельной ясностью показано, что все обвинения «левых» кончились скандальным провалом. Очевидно поэтому в проекте высочайшего повеления вопрос о пожарах не нашел себе места [79].

«... С открытием комиссии,— писал Суворов,— полиция передала в ее распоряжение 48 лиц разного звания, взятых под стражу по подозрению в поджигательстве. В числе арестованных находились а) лиц податного состояния — 19, б) нижних воинских чинов — 5, в) солдатских жен — 1, г) детей — 1, д) чиновников — 5, е) разночинцев — 6, ж) бывших студентов С.-Петербургского университета — 1, з) студентов императорской Медико-хирургической академии — 2, і) домашних учительниц — 1 и) уроженцев остзейских губерний — 3, к) иностранцев — 3. В ведение комиссии передан был также и бывший учитель Лугского уездного училища Викторов, арестованный за поджоги, сделанные в городе Луге. Вместе с арестованными препровождаема была в комиссию и вся переписка о них, заключавшая в себе первоначальные сведения о причине заарестования лиц, взятых под стражу.

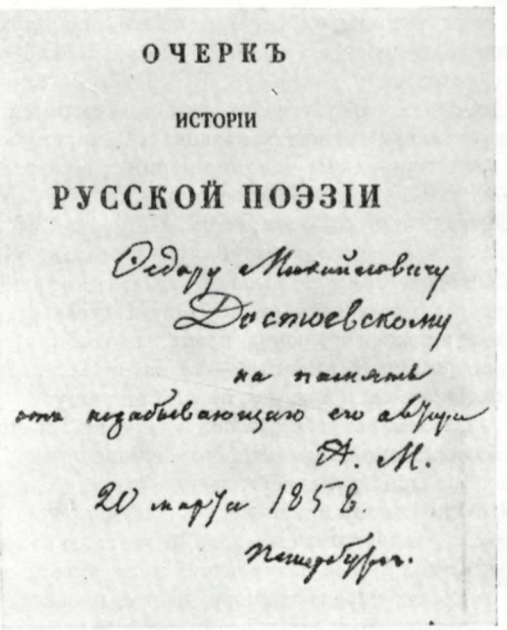
По рассмотрении в комиссии означенной переписки и по внимательном обсуждении свойства причин, возбудивших подозрение в поджигательстве или в намерении совершить иное, по некоторым делам оказалось, что подвергшиеся аресту лица были заподозрены публикою без всяких юридических обоснований и что самое задержание тех лиц произведено полициею преимущественно с целью избавления заподозренных людей от насильственных действий со стороны толпы народа, раздраженного бывшими тогда пожарами. Такие лица безотлагательно освобождались следственною комиссиею из-под стражи и затем всякое дальнейшее производство в отношении их прекращалось.

В тех случаях, когда собранные при первоначальном дознании факты представляли юридические основания к раскрытию причин бывших здесь пожаров или к обличению лиц, подозреваемых в поджигательстве, комиссия производила формальное следствие и следственные дела по окончании представляла ко мне на рассмотрение 〈...〉

В настоящее время следственная комиссия закончила свои действия и из донесения председателя оной генерал-адъютанта Ланского оказывается, что бывшие в С.-Петербурге в мае и июне сего года пожары, по убеждению комиссии, основанному на имев-

«ОЧЕРК ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ» А. МИЛЮКОВА (СПб., 1858)! С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА ДОСТОЕВСКОМУ: «Федору Михайловичу Достоевскому на память от незабывающего его автора. А. М. 20 марта 1858. Петербург»

Щмуцтитул. Книга не сохранилась Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва


ОЧЕРКЪ

ИСТОРІИ

РУССКОЙ ПОЭЗІИ

Федору Михайловичу
Достоевскому
на память
от незабывающаго его автора
А. М.
20 марта 1858.
Петербургъ.

шихся в виду ее данных, происходили большею частию от поджогов. Определить безошибочно побуждения и цели, руководившие поджигателями в их преступных действиях, по мнению следственной комиссии, весьма затруднительно, тем не менее с некоторою достоверностью можно полагать, что в числе поджогов были и такие, которые произведены исключительно с целью расхитить имущество во время пожара, или воспользоваться страховою премиею, превышающею стоимость застрахованных вещей. Допустить существование других побуждений возможно только на том основании, что некоторые из лиц, подвергшихся обвинению в поджигательстве, по своему званию и общественному положению не могут не быть изъяты от подозрения в преступно-корыстных целях. К убеждению в справедливости такого предположения служит распространение злонамеренных идей в рассеиваемых прокламациях и в особенности в известной под заглавием „Молодая Россия“. Ввиду такого брожения умов есть повод полагать, что некоторые из бывших пожаров имели связь с заблуждениями людей, стремящихся к осуществлению своих преступных целей.

Впрочем, действительные причины злоумышленных поджогов могли бы быть определены с полною достоверностью лишь в том случае, когда бы преступники были обнаружены и, сознавшись в своем преступлении, объявили о целях, руководивших ими при совершении поджигательств. Между тем почти все арестованные по подозрению в поджогах, несмотря на старание следственной комиссии привести их к чистосердечному сознанию, упорно запирались при допросах в возникшем против них обвинении и изобличить их в том не представлялось никакой возможности по неимению в виду фактов. Вообще комиссия при производстве исследования о причине бывших здесь пожаров и при собрании доказательств для улик лиц, обвинявшихся в поджигательстве, постоянно встречала препятствия к достижению своей цели по недостатку необходимых для того данных и в особенности свидетельских показаний» [80].

Итак, арестованные освобождены, поскольку невиновны, суду преданы лишь учитель Викторов, спьяну пытавшийся поджечь школу в Луге [81], и «опасный преступник» 12-летний солдатский сын Ненастьев. О таких «результатах» можно было келейно сообщить царю, но публиковать их ко всеобщему сведению, конечно, было невозможно, а потому правительство молчало.

Власти молчат, а реакционное и перепуганное умеренно-либеральное «общество» продолжает обвинять в поджогах левых. Об этом пишут не только историк А. А. Куник Погодину [82] и Тютчев жене [83], но и Тургенев Анненкову [84] и Кавелин Спасовичу [85].

Обвиняя революционные круги, все они оправдывают наступившую реакцию, большинство требует репрессий [86]. В этих письмах опять-таки чувствуется влияние газетных статей.

К известным уже ранее письмам-откликам на пожары мы добавляем еще два, публикуемые ниже: Ивана Аксакова к Самарину и Аркадия Россета к Валуеву. По вопросу о виновниках они одного мнения, расходятся лишь в тактике, которой должно придерживаться правительство. Один требует гласности, дающей возможность бороться с левыми, другой — репрессий. Второе письмо представляет особый интерес, поскольку, как мы увидим далее, Валуев не только учел высказывания Россета в своих дальнейших действиях, но мысли и отдельные фразы использовал в ряде своих распоряжений и даже в докладах царю. Это не известное нам ранее письмо показывает, как Валуев прислушивался к мнению правых кругов и в соответствии с ним поворачивал свой административный рычаг. 12—13 июля 1862 г. Аксаков в огромном письме, извлечения из которого мы приводим, писал Самарину:

«...Посылаю тебе „Молодую Россию“ и еще другие две прокламации. Последние обе совершенно бледнеют в сравнении с первой! „Молодая Россия“, к несчастью, была довольно сильно распространена в столицах, и едва ли есть в Москве лавочник, который бы не слыхал или не прочел ее. Эта прокламация (еще до пожаров) наполнила народ *ужасом*, в точном смысле слова. Я это знаю от людей наших, слышавших об ней в трактире, от полотеров, натирающих полы у нас в доме, и проч. Она заподозрила еще сильнее в глазах народа грамоту, науку, просвещение — дары, исходящие из наших, *господских* рук. Прибавь к этому слухи о заговорах на жизнь царя, создавшие целые легенды. Полотер, например, рассказывал у нас в доме людям, как царь делал смотр в Петербурге солдатам после того, как открыт был заговор, и объявил им, т. е. нижним чинам и унтер-офицерам, что он надеется на них, а не на офицеров, потому что „вы (солдаты) веруете в бога, так же как и я верую, а офицеры не веруют“. То же самое деление на верующих и неверующих применяет народ к себе и к „господам“ ⟨...⟩ Народ, разумеется, не понял прокламации, но разобрал в ней только то, что она проповедует безбожие, неуважение „*к отцу и матери*“, брак не вменяет ни во что и хочет зарезать царское семейство ⟨...⟩ Положение публицистов теперь очень щекотливо. Писать правду нет возможности: это значило бы указывать пальцем раздраженному народу на сословие и без того сильно им заподозренное — сословие ученых и учащихся. Мне говорили люди, заслуживающие доверия, что правительство затрудняется в оглашении следствия именно потому, что главными виноватыми в поджогах оказываются — студенты Медико-хирургической академии и учитель уездного училища. Впрочем, студенты, кажется, не сознаются. Тургенев рассказывал мне (он был на пожаре Щукина двора) — он *слышал собственными ушами*, как *самый простой серый мужик* кричал: это *профессора* поджигают. „Профессора, студенты“ — эти слова стали уже знакомы народу! И немудрено. Студенты своими демонстрациями в Москве и Петербурге отрекомендовались народу с самой невыгодной стороны: он тогда познакомился с ними.

Разумеется, целая партия в Петербурге и в журналистике упорно отрицает существование политического характера в поджогах и даже самые поджоги, но я думаю, что никто, по совести, этого не думает, а считает нужным так говорить, чтобы удержать правительство от реакции. Но это маневр ошибочный: самое лучшее требовать гласности суда над обвиняемыми и полнейшей свободы печати. Не знаю, что докажет следствие, но что поджог, как средство, возможен в принципе и истекает логически из учения „Молодой России“ — это вполне доказывается самою этою прокламациею. Кажется, ты получаешь „Русское слово“. Прочти в майской книжке (последней) статью о французской революции какого-то Попова. Это оправдание террора и возведение террора в учение, в принцип! [87] Разумеется, я не думаю, чтобы „Современник“ и „Русское слово“ были в связи с авторами прокламации и с поджигателями,— но что последние суть их законнорожденные духовные детища, хотя и не желаемые, в этом нет сомнения. Также нет сомнения и в том, что при свободе книгопечатания эти детища были бы убиты в самом зародыше ⟨...⟩ Конечно, лучшей услуги оказать правительству нельзя было, какую оказали эти господа — „Молодая Россия“. Действительно, народ еще теснее сблизился с царем, и не только с царем, но и с петербургским правительством. Недоверие к



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА»
Автолитография С. М. Шор, 1935
Собрание художницы, Москва

образованному сословию возросло еще более. А правительство бестолковым запрещением журналов и закрытием всех воскресных школ еще более утвердило народ в этом недоверии» [88].

Судя по письму, Аксаков мог бы протянуть руку Суворову и повторить его фразу из ответа Головнину: «1861 г. — вся публика была на их стороне. 1862 г.— совершенный контраст и без пожаров»[89]. Правда, в отличие от Суворова, он настаивает на гласности и свободе книгопечатания, но нужны они ему для того, чтобы при них — и в первую очередь благодаря последнему — враждебное направление, как он надеется, будет убито «в самом зародыше»[90]. Поневоле вспомнишь отзыв Боборыкина в письме к Пыпину: «Иван Сергеевич Аксаков, как и прежде, производит на меня впечатление тупого чиновника по славянофильским делам» [91].

Развернутую программу правых кругов дает в письме к Валуеву 3 июня (по ошибке датированного 3 мая) брат А. О. Смирновой и знакомый Пушкина и Гоголя, Аркадий Осипович Россет, в 1860-х годах генерал-лейтенант и председатель Временного распорядительного комитета по устройству южных поселений Министерства государственных имуществ:

«〈...〉Пишу под впечатлением скорбного чувства последнего пожара и толков, возбужденных им в обществе. Кажется, правительство и наше легкомысленное общество наконец убедилось, что пожары — поджоги, а поджоги — в связи с воззваниями, прокламациями и подложными манифестами, которые, как ходят слухи, десятками тысяч уже проникли во внутренние губернии. Вчера приехавший из Москвы Д. Н. Свербеев мне говорил, что там положительно утверждают, что их уже видели на улицах.

Одно из необходимых и самых редких правительственных свойств, свойство прозорливости, свойство предвидения и предупреждения. Дело теперь не в том, чтобы

толковать о расположении дровяных дворов в середине города или нападать на полицию и пожарные команды, а в том, чтобы предупредить последующие пожары в Петербурге и еще более страшные пожары разных родов и видов, которые могут разлиться по всей России. Что было — то было; как допустило правительство — не время об этом говорить. Должно надеяться, что учреждение особого Комитета с подразделением города на кварталы, деятельность городского начальства и полиции и бдительность напуганных обывателей оградят Петербург от дальнейших поджогов ⟨...⟩

Пора, право пора, прозреть, прямо глядеть на врагов, прямо на них указать, побороть их и рассеять несчастное убеждение всех и каждого, что правительство, сбитое с ног параличом, без рук и языка.

Настоящий случай самый для того удобный. Он дает правительству возможность и право, налагает даже на него обязанность зажать рты, кому нужно, уничтожить, что нужно — всё его затрудняющее и ему препятствующее. Оно доказывает положительно и ясно, что враги правительству — враги и России. Других у него нет. Прислушиваясь к толкам, люди различных мнений и партий, либералы и консерваторы, читающие и пишущие, обличители и обличаемые, все одинаково гнушаются поджогами и соединились в одном чувстве и мысли: остановить и прекратить. Кто же враги, как не те, кто в пять лет успели поджечь некоторых высоких лиц [92] и правителей, увлекшихся писателей и литераторов, всю нашу пылкую молодежь, огромное число различного рода дураков, вроде флигель-адъютанта Ростовцева, и, наконец, в настоящее время, чтобы поджечь народ, одною рукою поджигают его жилища и другою поджигают его взяться за пожары для истребления всей царской фамилии, духовенства, дворянства, всех правительственных и служебных лиц. Как не воспользоваться такими уродливыми воззваниями, соединенными с таковыми уродливыми действиями, которых не одобрят в Европе даже самые отчаянные революционеры ⟨...⟩

Как не сказать гласно народу, что те самые, которые его возмущают, сожигают его домы и добро. Подобного счастливого в бедствиях случая не представляла история революции ни одного государства...»

Дальше идет предложение опубликовать в виде манифеста или рескрипта о реформах, уже осуществленных и подготовляемых, и подчеркнуть, что «нашлись предатели, изменники ему ⟨царю⟩ и России, которые найдя приют в Лондоне, столице Англии, высылают оттуда печатные возмутительные воззвания, даже подложные манифесты, как бы подписанные собственною его рукою, возбуждая народ к мятежу и восстанию, что нашлись в самой России сообщники, которые, следуя этим воззваниям, сожигают домы и достояние бедного, несчастного народа и конечным разорением домогаются восстановить его против державной власти и существующего порядка» [93].

Правые круги больше пожаров в буквальном смысле слова боялись пожаров «разных родов и видов», о которых писал Россет. К предупреждению таковых он и призывает Валуева.

Любопытно сравнить всеподданнейший доклад Валуева 1864 г. [94], статью официозных «С.-Петербургских ведомостей» (№ 122, 8 июня 1862 г.) и воспоминания о Валуеве директора департамента полиции графа Толстого [95] с некоторыми разделами письма Россета.

В ряде строк мы обнаружим много сходного. Разве слова Валуева в докладе о связи «между поджигателями, старавшимися распространить смятение и неудовольствие в народе путем материальных опустошений, и теми другими преступниками, которые усиливались возжечь нравственный пожар правительственного и социального переворота», не напоминают фразу Россета, «что те самые, которые его возмущают, сожигают его домы и добро?» Разве утверждение «С.-Петербургских ведомостей»: «Если бедствие народа идет не от власти, то оно ведет не к разрыву, а к более тесной и близкой связи народа с властью» — не повторение мысли Россета о том, что «сопоставление действий правительства, прошлых и будущих, с действиями поджигателей и возмутителей» обратит общественное мнение? Наконец, разве за словами Толстого, что ему «приятно вспомнить, как ясно смотрел на это дело Валуев», что он «сознал, что правительство должно воспользоваться этим обстоятельством, чтобы восстановить свой авторитет, столь сильно поколебленный последнее время», мы не различаем взглядов и слов Рос-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА»
Автолитография С. М. Шор, 1935
Собрание художницы, Москва



сета? [96] Не следует думать, что только требования консервативных кругов заставили Валуева пойти еще далее по пути реакции, но они несомненно облегчили выбранный им путь, и многое он делал по прямому их указанию.

Публикуемые нами письма Карташевской, Аксакова и Россета схожи с ранее известными откликами на пожары: виновны в поджогах левые, и репрессии не только оправданны, но и необходимы. В письме 21—22 июня 1862 г. Аксаков писал Самарину: «... Но как гнусно наше общество и наше молодое поколение: только в России может быть серьезный спор о том, позволительно или не позволительно прибегать к поджогам. А немолодое поколение требует николаевщины» [97].

На этом фоне очевидно мужество редакторов журнала «Время». В дни, когда Петербург еще горел, когда газеты кричали, что поджигают студенты-революционеры, какой смелостью нужно было обладать, чтобы решиться писать, что до слухов о студентах-поджигателях дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него «извне» и еще не известно «чьими подземными ⟨...⟩ стараниями укрепиться могло это мнение?» «Время» не скрывало, что статьи — «наше обвинение, наш протест».

Обе статьи журнала «Время» были запрещены цензурой; лишь небольшие извлечения, сделанные III Отделением из первой статьи «Пожары», были впервые опубликованы Б. П. Козьминым в 1929 г. в его статье «Братья Достоевские и прокламация „Молодая Россия“»[98]. Другая статья до настоящего времени была известна лишь по первой фразе: «Мы прочли передовую статью в № 143 „Северной пчелы“». «Пожары» были запрещены 1 июня, вторая статья — 3 июня. Для публикации Козьмин пользовался выписками, сделанными в журнале следственной комиссии от 6 июня.

В настоящее время мы имеем возможность познакомить читателей с обеими статьями целиком. В ЦГИАЛ, в делах канцелярии министра внутренних дел, сохранились гранки этих двух статей с правкой и добавлением одного абзаца рукой

М. М. Достоевского. На первой статье «Пожары» имеется карандашная надпись царя: «Кем написана?» На полях чернилами: «Запрещено 1 июня 1862». На одной из последующих гранок статьи пометы: «Время» и «г-ну цензору 1 мая» (ошибочно вместо 1 июня). На гранках второй статьи «Мы прочли передовую статью в № 143 „Северной пчелы“» карандашная надпись царя: «Кем написана? Сообщить К. Долгор<укову>». На полях чернилами: «Запрещено 3 июня» [99].

Далее дело развивалось следующим образом: после запрещения Головнин, по распоряжению царя, направил статьи в III Отделение, откуда они были пересланы в следственную комиссию. Последовал допрос М. М. Достоевского, вызванного в комиссию 8 июня, после чего Голицын 10 июня, докладывая о статьях царю, предложил запретить издание журнала «Время» на срок до восьми месяцев. Предложение вызвало резолюцию царя: «Согласен» [100].

12 июня Голицын направил обе статьи Валуеву с следующим отношением, отдельные фразы которого уже приведены Лемке в примечаниях к Собранию сочинений Герцена, Б. П. Козьминым в статье «Братья Достоевские и прокламация „Молодая Россия“» и Б. В. Томашевским в Собрании сочинений Достоевского (XIII, 612—613). Голицын писал:

«*Секретно*

Милостивый государь Петр Александрович

Главный начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии передал 6 сего июня на усмотрение высочайше учрежденной под моим председательством следственной комиссии доставленные к нему по высочайшему повелению управляющим Министерством народного просвещения две приготовленные для напечатания в журнале „Время“, но запрещенные 1 и 3 июня сего года статьи, написанные редактором сего журнала Достоевским.

В одной из этих статей под заглавием „Пожары“, особенно направленной к осуждению действий правительства по случаю последних событий, автор, разбирая ходящие в Петербурге о бывших пожарах слухи, наводящие в поджогах подозрение на студентов, и упоминая о возмутительном воззвании „Молодая Россия“, выразился, что это воззвание напечатали и разбросали „*три золотушных школьника*“.

Комиссия вследствие сего призывала Достоевского в свое присутствие и требовала, чтобы он наименовал этих школьников, но Достоевский отозвался, что их не знает и что употребленное о них в статье выражение есть не что иное, как просто литературное выражение, хотя, впрочем, по его изъяснению, лучше было бы, конечно, выразиться: *три-четыре*.

Отзыв сей комиссия приняла к сведению и, вместе с тем находя, что самая статья содержит в себе вредное направление, предоставила мне представить о сем на высочайшее государя императора благоусмотрение.

Высочайше утвержденными в мае текущего года правилами предоставлено министрам внутренних дел и народного просвещения по взаимному соглашению в случае вредного направления какого-либо периодического издания запрещать печатать в оном рассуждения о несовершенстве существующих у нас постановлений и о недостатках администрации и прекращать самое издание на срок не долее осьми месяцев.

Его императорское величество по всеподданнейшему докладу моему о сем высочайше повелеть соизволил: о настоящем обстоятельстве сообщить вашему превосходительству для зависящего распоряжения.

Исполняя сим таковую высочайшую волю и препровождая к вам, милостивый государь, упомянутые выше две статьи, возобновляю уверение в совершенном моем почтении и преданности

Князь Александр Г о л и ц ы н»[101].

Получив отношение Голицына, Валуев переслал его Головнину, и 15 июня получил ответ. Головнин сообщал: «Возвращая вам, почтеннейший Петр Александрович, отношение князя Голицына, могу уведомить, что я просмотрел несколько книжек журнала „Время“ и не нашел в них вредного направления, которое могло бы оправдать какие-либо строгие меры против этого издания. Прилагаю письмо по сему предмету председа-

теля цензурного комитета с просьбой потрудиться возвратить. Преданный Г о л о в н и н».

На отношении Головнина от 15 июня имеется карандашная помета Валуева: «Возвратить письмо г. Цеэ с〈татскому〉 с〈оветнику〉 Головнину, присовокупляя, что я разделяю вышеуказанное в нем мнение и о сем лично не премину объясниться с г. Головниным, а затем и довести до высочайшего сведения [102].

Валуев докладывал царю по этому вопросу 22 июня. На отношении Голицына к Валуеву от 12 июня имеется помета Валуева: «Сообщить с.с. Головнину, что я доводил до высочайшего сведения о содержании его отзыва и о моем по сему предмету мнении. Государь император изволил разрешить не прекращать издания журнала „Время" ныне, но с тем, чтобы за ним имелось надлежащее наблюдение. Царское Село 22 июня 1862 г.»[103].

Итак, «Время» не было приостановлено, но «надлежащее наблюдение» привело к тому, что в мае 1863 г. журнал был закрыт.

Прежде чем перейти к самим статьям, необходимо в первую очередь поставить вопрос: кто же автор запрещенных цензурой статей «Пожары» и «Мы прочли передовую статью в № 143 „Северной пчелы"...»? Первым, кто упоминал о них, был Лемке [104] и он говорил о них, как о статьях Ф. М. Достоевского. Правда, при этом Лемке допустил ряд ошибок, отмеченных позднее Козьминым в статье «Братья Достоевские и прокламация „Молодая Россия"». Показания М. М. Достоевского в следственной комиссии Лемке приписал почему-то Ф. М. Достоевскому и смешал статью «Пожары» с опубликованной в «Сборнике статей, недозволенных цензурою в 1862 г.». статьей «Пожары и зажигатели», которую позднее, в полной уверенности, что она принадлежит Ф. М. Достоевскому, перепечатал в приложении к своей книге «Политические процессы в России в 1860-х годах». На наш взгляд, Лемке, спутав статьи, невсльно допустил и третью ошибку, написав в примечании: «Приводимая статья, написанная в июне 1862 г. для журнала „Время", имеет двоякий интерес: как еще одно произведение изломанного самодержавием писателя и как показатель громадного поворота, совершенного фурьеристом 1840-х годов к „почвенному" консерватизму 1860-х» [105]. Публикуемые ниже статьи и в особенности статья «Пожары» написаны с такой страстностью и мужеством, с которым никто не посмел выступить в тот момент. Даже смелая статья «Искры», местами, повторяющая высказывание запрещенных статей «Времени», написана была не в конце мая, а 15 июня, когда правительство уже было склонно к затушевыванию вопроса о виновности студенчества и левых элементов.

Публикуя отрывки из запрещенной статьи «Пожары», Козьмин приводил отношение III Отделения в комиссию Голицына, в которой автор именовался «известным литератором Достоевским», и не пояснялось, кого из двух братьев Достоевских имеет в виду III Отделение [106]. Козьмин считал, что «известным литератором» могли называть и М. М. Достоевского, хотя Ф. М. Достоевский и имел на это больше прав, но что не этим решается вопрос об авторстве, и что статью «Пожары» можно приписать скорее перу Ф. М. Достоевского, чем его брата: за авторство Ф. М. Достоевского говорит и содержание статьи, и ее стиль. Еще одно основание считать автором Ф. М. Достоевского Козьмин видел в том, что в эти годы писатель, как известно, поместил в журнале «Время» ряд своих публицистических статей, откликавшихся на события, волновавшие общество [107].

Козьмин, говоря о вызове «известного литератора Достоевского» в следственную комиссию, писал: «Решили пригласить Михаила Достоевского» [108]. Вот тут, по нашему мнению, дело обстояло несколько иначе. Ведь Михаила Достоевского следственная комиссия допрашивала 8 июня, а Федор Михайлович уехал за границу 7-го утром. Кого же, кроме Михаила Достоевского, могли вызвать?

Томашевский, перепечатывая опубликованные Козьминым отрывки из статьи «Пожары», держался мнения, что «титул „известный литератор" в канцелярском употреблении мог прилагаться к каждому из братьев», но в то же время отмечает, что эти отрывки находятся в согласии с высказываниями Ф. М. Достоевского по подобным вопросам, и ссылался на «Одну из современных фальшей» и «Старину о петрашевцах» (XIII, 612—613).

Что может служить в пользу признания Ф. М. Достоевского автором статей? Козьмин, публикуя отрывки из статьи «Пожары», подчеркивал, что «золотушные школьники и старцы со старобабьим умом, пачкающие белье», выдают перо Ф. М.» [109]. А ведь в не известной ранее части статьи «Пожары» имеются и другие места, заставляющие думать об авторстве Ф. М. Достоевского. Разве, например, не характерна для него фраза о студентах: «...Потрудитесь прежде всего различать: большинство или меньшинство на стороне этих удивительных вещей. Не есть ли искомая величина самая малая часть огромного целого; не есть ли это один прыщ, за существование которого ни в каком случае не должно подозреваться здоровье целого тела...»

Ряд свидетелей говорит о сильной тревоге и чрезвычайной взволнованности, охватившей Ф. М. Достоевского в эти дни, что, на наш взгляд, выразилось в той страстности, с которой написана статья. Не просто было, говоря о слухах, писать тогда: «В народ подозрение перешло от самого общества, скажете вы. Следовательно мы не виноваты в этих слухах? Разумеется нет, и общество не виновато, но виноваты те, которые поддерживают и утверждают в обществе такие слухи...» И кто, кроме него, решился бы, требуя гласного суда, сказать: «Тогда, пожалуй, явятся такие новые факты, каких никогда не добилась бы какая-нибудь канцелярия,— такие помощники в общем деле, которые никогда не раскрыли бы рта, чтоб дать материал для новых канцелярских тайн?»

Следственная комиссия обратила особое внимание на те отрывки, в которых говорится о «золотушных школьниках», выпустивших прокламацию, и о «старцах со старобабьим умом», испугавшихся ее. Это дало возможность Козьмину очень метко сказать, что члены следственной комиссии «мало чем отличались от тех старцев со старобабьим умом». Неопубликованная часть статьи «Пожары» написана еще более резко, чем отрывки, заинтересовавшие следственную комиссию. Об этом говорят и отчеркнутые на полях карандашом — надо думать, царем — строки.

Даже после того как первая статья была запрещена и в цензуру послана вторая, более сдержанная, даже и в ней, помимо настойчивого требования гласного суда, автор резко осуждал нелепые слухи, повторяемые к тому же низшими полицейскими властями, отвергал возможность того, что «пожары имеют что-нибудь общее с политическим движением», и заканчивал статью словами: «Мы положительно протестуем против невежественных обвинений, ни на чем не основанных. Пусть докажут нам фактами, что мы ошибаемся». Вторую статью постигла судьба первой.

То обстоятельство, что статья «Пожары» была правлена (гранки 2-й статьи не имеют правки) и один небольшой абзац, чисто финансового характера, добавлен рукой М. М. Достоевского, усиливает, конечно, неопределенность авторства, но не следует при этом упускать из виду и того, что писал о брате Ф. М. Достоевский в заметке «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском». Он свидетельствовал, что тот «был человек ⟨...⟩никому не доверявший даже на время своих редакторских обязанностей» и что «писал в журнале мало; всего было только несколько статей его, в отделении критики» (XIII, 341—342) [110].

В пользу авторства Ф. М. Достоевского говорит и быстрота, с которой была написана статья «Пожары». В начале статьи имеется фраза: «На другой и на третий день после 28 числа были новые пожары». Следовательно, статья была начата не ранее 31 мая и в тот же день закончена, так как 1 июня она, правленная редактором, была запрещена цензурой.

7 июня Достоевский уехал за границу, в конце месяца он был в Лондоне, где пробыл свыше недели и встретился с Герценом. Об этом свидании Лемке писал: «Достоевский сам указал на свое посещение Герцена в „Дневнике писателя", но так кратко и отрывочно, что и цель и содержание их беседы остаются неясными» [111]. Одно несомненно. Петербургские пожары не могли не быть затронуты в их беседах. Достоевский только что был свидетелем их, Герцена в них обвиняли. Не мог выпасть из их бесед и вопрос о прокламации «Молодая Россия», о которой Герцен подробно писал вскоре после отъезда из Лондона Достоевского в статье «Молодая и старая Россия». Характерно сходство некоторых высказываний Герцена с заявлениями редакции «Времени». Разве «„молодые люди" (а для нас не подлежит сомнению, что летучий лист этот писан очень мо-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА»
Автобиография С. М. Шор, 1935
Собрание художницы, Москва

лодыми людьми)» Герцена не напоминают «трех золотушных школьников, из которых старшему уже наверно не более тринадцати лет». А фраза «Маловерные, слабые люди! Как мало надобно вашим женским нервам, чтобы испугаться, бежать назад, схватиться за фалду квартального» не вторят ли с некоторым изменением фразе о «хилых старцах в подагре и хирагре с старобабьим умом, переменивших по прочтении глупого листка свое белье»? Наконец, мнение Герцена, что прокламация «вовсе не русская; это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика французской революции» [112], не схоже разве с мнением Достоевского, что прокламацию напечатали, «не справившись даже хорошо с иностранными книжками, откудова они все выкрали и бездарно перековеркали»? Неужели все эти совпадения дело случая, а не результат бесед Герцена с Достоевским? И не служат ли эти совпадения еще одним косвенным доказательством того, что автором двух запрещенных статей был Ф. М. Достоевский?

Суммируем все, что говорит за авторство Ф. М. Достоевского. Это в первую очередь его перо, язвительная ироничность и острота его стиля, взволнованность, страстность, а отчасти быстрота, с которой была написана статья, столь характерные для Ф. М. Достоевского. Во-вторых, содержание, находящееся, как это уже отмечалось Томашевским, в согласии с другими высказываниями Ф. М. Достоевского. В-третьих, имеющиеся у нас сведения, что в эти годы Ф. М. Достоевский написал для журнала «Время» ряд публицистических статей, откликавшихся на события, волновавшие общество, и сведения, что М. М. Достоевский был лишь автором нескольких критических статей. Добавим к этому некоторую близость статьи Герцена «Молодая и старая Россия», написанной вскоре после встреч с Достоевским, с запрещенными статьями «Времени», и, нам думается, что вопрос об авторстве может быть решен в пользу

Ф. М. Достоевского. Мы, конечно, не отвергаем возможности некоторого участия М. М. Достоевского в написании запрещенных статей. За это говорит и небольшой абзац по финансовому вопросу, внесенный его рукой в конце статьи «Пожары».

Независимо от всего за М. М. Достоевским следует признать высокое мужество, позволившее ему попытаться опубликовать подобную статью в те страшные дни. Вспомним слова Ф. М. Достоевского о покойном брате: «Выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить и о чем журналу надо дать свое мнение,— все это вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу» (XIII, 341).

Публикуя две запрещенные статьи журнала «Время», мы не можем не коснуться недозволенной тогда же статьи «Пожары и зажигатели», которую, считая ее принадлежащей Достоевскому, Лемке перепечатал в приложении к книге «Политические процессы 60-х годов», и к которой потому вынуждены с тех пор возвращаться исследователи, говоря о запрещенных статьях Достоевского. Козьмин, подчеркнув, что ни одна из запрещенных статей не может быть отождествлена со статьей «Пожары и зажигатели», все же нехотя, с оговорками, допустил возможность того, что автором ее мог быть Ф. М. Достоевский. При этом он исходил из ряда схожих высказываний и выражений в статье «Пожары и зажигатели» с извлечениями из статьи «Пожары» [113]. В. Л. Комарович в 1925 г. высказал мнение, что «авторство Достоевского в отношении статьи „Пожары и зажигатели" сомнительно», а в 1934 г. в статье «Литературное наследство Достоевского за годы революции» решительно отверг авторство Ф. М. Достоевского [114]. Отрицал авторство Достоевского и Рейсер [115]. Не нашел также возможным считать эту статью принадлежащей перу Достоевского Томашевский, указавший, что целый ряд приводимых в статье об авторе биографических данных противоречит биографии Достоевского (XIII, 612—613). Нам кажется, что известное сходство ряда высказываний статей «Пожары и зажигатели» и «Пожары» не должно в какой-либо мере влиять на решение вопроса. Однородных мнений о прокламации «Молодая Россия», о клевете, возведенной на студенчество в том, что поджоги были не в интересах революционных кругов и т. д., могли держаться разные авторы. Если говорить о совпадениях, то статья «По поводу пожара в Миюзском лесном ряду 24 мая» того же «Сборника статей, недозволенных цензурою в 1862 г.» (т. II, стр. 427—430) местами почти совпадает с тем, что писал Достоевский в статье «Пожары», и все же эту статью писал не Достоевский. Резкое отличие стиля нам представляется более существенным, чем известное сходство мнений. К тому же нет никаких указаний на то, что Достоевский написал и третью статью о пожарах.

Говоря о запрещенных в июне 1862 г. статьях «Времени», нельзя не остановиться на эпизоде, тесно связанном с тогдашними мыслями и чувствами Достоевского, приведшими его к Чернышевскому. Противоречия между тем, что будто бы, по словам Чернышевского, говорил при встрече Достоевский, и тем, о чем вспомнил позднее последний и о чем говорилось в статье «Пожары», столь разительны, что оставить их без внимания и выяснения нельзя.

В мае 1888 г. Чернышевский вспомнил свои встречи с Достоевским в заметке: «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» [116]. Комментатор сочинений Чернышевского допускает возможность того, что Чернышевский написал ответ на воспоминания Достоевского о встречах с ним («Дневник писателя» за 1873 г.— «Нечто личное»), где Достоевский, подчеркивая взаимное расположение обоих, хотел этим покончить со слухами о том, что он в свое время в повести «Крокодил» якобы посмеялся над Чернышевским. Комментатор отмечает ошибочно указанный в воспоминаниях Достоевского отъезд в Москву (вместо отъезда за границу), приводит ничего не говорящее свидетельство Страхова, что у Достоевского во время пожаров «тяжелое настроение не проходило» [117], что было естественно для всех жителей Петербурга в те дни, а не только для Достоевского, и все это комментатор указывает лишь для того, чтобы укрепить в читателе веру в точность воспоминаний Чернышевского и недостоверность таковых Достоевского. К этой же цели стремится и комментатор «Литературного наследия», т. III, говоря, что «рассказ Достоевского явно не точен» и «очень субъективный» [118]. Следует отметить, что в литературе широко распространилась версия Чернышевского.

Воспоминания Чернышевского и Достоевского полны противоречий: мелких — второстепенных и крупных — решающих, и если внимательнее вглядеться в них, то становится почти несомненным, что версия Достоевского ближе к истине. Окончательно решает вопрос статья «Пожары», написанная в день встречи.

Дело не в том, что Чернышевский вспоминал, что пришедшего к нему Достоевского он узнал по портрету, а Достоевский свидетельствует, что они неоднократно встречались и разговаривали уже с 1859 г.; не в том, сколько пробыл Достоевский у Чернышевского: несколько ли часов, по определению Чернышевского, или, как вспоминал Достоевский, в самом начале беседы «позвонил другой гость ⟨...⟩ я уехал»; не в том, прибежал ли Достоевский утром в панике, как вспоминал Чернышевский и повторяют исследователи, или, по рассказу Достоевского, пришел к концу дня и был спокоен. Важно, наконец, не то, что Достоевский будто бы, с известными комментатору целями, подчеркивает взаимное расположение, а Чернышевский многократно отмечает свое недружелюбное отношение к Достоевскому, выставляя последнего в комическом виде, вспоминая, что тот говорил потом, забыв о пожарах, часа два, а я «делал вид, что слушаю», что при ответном посещении Достоевского он просидел «сколько требовала учтивость», т. е. не так, как поступил Достоевский, и что Достоевский «говорил что-то в этом роде», а я «слушал, не противоречил, не выражал одобрения» и т. д. Даже в памяти В. Н. Шаганова рассказ Чернышевского о приходе к нему Достоевского запечатлелся в виде «потешного анекдота», хотя и тут имеется известное противоречие, свидетельствующее о неточности воспоминаний Чернышевского. Шаганов, вспоминая рассказ Чернышевского, писал о Достоевском: «Он ничему верить не хотел и, кажется, с этим неверием, с отчаянием в душе убежал обратно» [119]. Похоже ли это на то, как описывал встречу Чернышевский: «Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным...»

Еще раз повторяем, что все перечисленные расхождения имеют второстепенное значение, главное же то, что из публикуемой ныне статьи «Пожары» непреложно вытекает, что разговор шел не о поджогах, а о прокламации, и Достоевский просил Чернышевского воздействовать на революционные круги, чтобы удержать их от прокламаций, подобных «Молодой России», а не от поджогов, как вспоминал Чернышевский.

Когда Достоевский был у Чернышевского? Последний сам дает возможность уточнить дату: «Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок», а о посещении им Достоевского он пишет: «через неделю или полторы». Пожар рынка начался 28 мая к вечеру и длился два дня. Следовательно, быть у Чернышевского Достоевский мог лишь 30—31 мая, вернее 31-го, т. е. в тот самый день, когда, как мы уже установили, была написана статья «Пожары», которая сходится с тем, о чем он, по его воспоминаниям, говорил Чернышевскому, и находится в полном противоречии с рассказом последнего. «Эта прокламация в то утро как бы ошеломила меня...»,— вспоминал Достоевский и с ней-то он и пришел к Чернышевскому, прося воздействовать на выпускающих такие прокламации, настаивая, что «их надо остановить во что бы то ни стало».

Достоевский подчеркивает: «Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно ⟨...⟩ я убежден, что сам Чернышевский подтвердит точность моего рассказа о нашей встрече, если когда-нибудь прочтет его». Мог ли Достоевский просить Чернышевского воздействовать на революционные круги, будто бы виновные в поджогах, когда в редакционной статье «Пожары» выражалась совсем иная точка зрения: «доказано ли ⟨...⟩ что люди, производящие поджоги, в связи с „Молодой Россией“?» и что «они в этом случае очутились бы в положении человека, желающего гладить своего друга по голове железной рукавицей, утыканной гвоздями», а во второй статье, написанной через день, делалось уточнение: «мы положительно отвергаем», что «эти пожары имеют что-нибудь общее с политическим движением».

Остановить прокламации, подобные «Молодой России», а не поджоги, просил Достоевский Чернышевского. И так ли смешна была просьба Достоевского? Так ли не

прав он был, придя с этой просьбой именно к Чернышевскому? Разве посылка Чернышевским Слепцова в Москву с целью воздействовать на издателей «Молодой России», чтобы они предприняли какие-нибудь шаги для смягчения впечатления от некоторых излишних пунктов требований прокламации [120], не есть именно то, о чем Достоевский просил Чернышевского? А прокламация «Предостережение», которая не вышла только потому, что была в рукописи забрана при обыске у П. Д. Баллода, если и не является, как это считал Баллод, в какой-то степени результатом поездки в Москву Слепцова и Утина [121], то разве она не могла быть вызвана именно тем, что Достоевский выразил в словах: «Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них»? А обращение «К нашим лучшим друзьям», которое готовил Чернышевский и которое не вышло из-за его скорого ареста, не подчеркивало ли самим словом «лучшим» известную близость при различии взглядов с авторами «Молодой России»? И не носили ли ответы Чернышевского, как их запомнил Достоевский, особенно вначале, тактический характер? «— Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию. Он взял ее как совсем не знакомую ему вещь и прочел» ⟨...⟩ — Ну что же? — спросил он с легкой улыбкой. — Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость? Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал; — Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки? — Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю ненужным вас в этом уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско и уж, конечно, они боятся Вашего мнения. — Я никого из них не знаю. — Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично». (XI, 25). Но это уже выходит за рамки нашей темы и не подлежит нашему рассмотрению. Одно следует считать установленным, что не о поджогах, а о прокламации шла речь в беседе Достоевского с Чернышевским, и уже пора снять с этой беседы тот налет комизма, в котором предстают в рассказе Чернышевского приход, поведение, просьбы Достоевского.

Запрещенные статьи и приход к Чернышевскому явления одного порядка: оба они вызваны высоким гуманным чувством, тревогой за подозреваемых. В опасности была судьба юношества, и Достоевский молчать не мог. Было бы странно требовать от него согласия с программой «Молодой России», которую и Пантелеев называл «порывом увлечения горячих голов» [122], и Баллод, говоря о впечатлении, произведенном на его товарищей прокламацией, свидетельствовал, что «большая часть из них находила, что М. Р. хватила через край» [123], и Бакунин сперва осуждал «Молодую Россию» и только в 1868 г. на Бернском конгрессе Лиги мира встал на ее защиту [124]. Правда, Достоевский называл «Молодую Россию», «глупейшим листком», но за оклеветанных он выступил прямо и твердо, не думая о последствиях. В запрещенных статьях нет и следа того «отпечатка ⟨...⟩ *нейтральности*», который, по словам В. В. Ермилова, лежит на произведениях Достоевского конца 50-х—начала 60-х годов [125]. В статье «Пожары» он высказал все, что считал нужным сказать, и вряд ли «Современник» и «Русское слово», если бы даже они и не были приостановлены, могли бы что-либо добавить.

Статья «Пожары» дает возможность глубже и точнее понять позицию Достоевского в начале 1860-х годов.

Кончились пожары, затихли толки, постепенно перестала писать о пожарах и пресса, составил свой убийственный для властей отчет Суворов, и лишь один Валуев, вопреки тому, что обнаружилось и что он и ранее знал о невинности левых в поджогах, продолжал свою грязную игру. В 1864 г. он во всеподданнейшем докладе, касаясь петербургских пожаров 1862 г., писал: «...Ясно было, что пожары происходили от поджогов. Не менее явною *казалась* связь между поджигателями, старавшимися распространить смятение и неудовольствие в народе путем материальных опустошений, и теми другими преступниками, которые усиливались возжечь нравственный пожар правительственного и социального переворота. Несмотря на неудачу или неполный успех полицейских исследований, здравый смысл народа не усумнился в этой связи» [126].

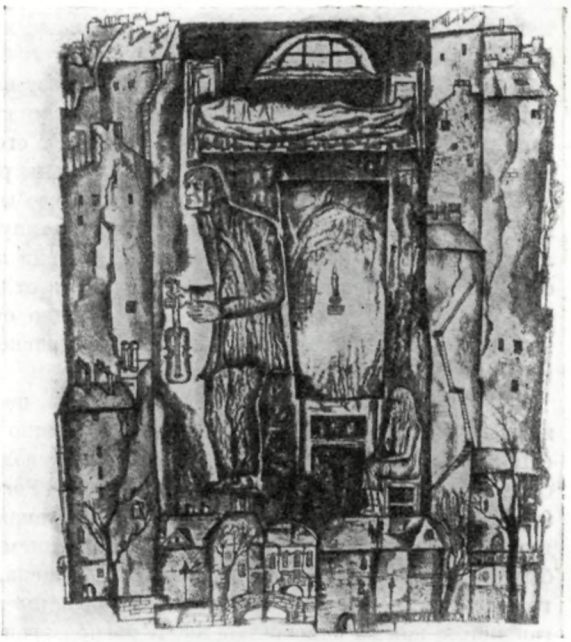


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «НЕТОЧКА НЕЗВАНОВА»
Рисунок Л. Н. Ратнер, 1971
Москва

В начале нашей статьи мы писали о двух вопросах, которые неизбежно встают перед исследователями причин петербургских пожаров 1862 г.: носили ли поджоги единичный или организованный характер, и если были организованы, то кем? К каким же выводам мы пришли?

Единичные поджоги с корыстной целью, несомненно, были. О них говорит в своем отчете Суворов и свидетельствуют материалы, сохранившиеся в делах департамента полиции исполнительной; о корыстных поджогах писал в своем дневнике В. Ф. Одоевский [127], вспоминал И. Е. Андреевский [128].

Могли ли быть совершены отдельные поджоги представителями революционных кругов? Кропоткин допускал возможность возникновения подобных намерений «в голове единичных представителей революционного лагеря» [129], но тут же рассказом о смерти сенатора Жданова давал понять, что не в этой среде следует искать поджигателей [130]. К тому же жечь Петербург революционным элементам было явно не выгодно, а тем более сейчас же после появления «Молодой России». Это подчеркивалось в статье «Пожары», об этом писала «Искра», отмечала и запрещенная статья «Пожары и зажигатели». Об этом говорят и слова Кельсиева в его «Исповеди»: «Они нам крепко досадили» [131].

Вот и все, что можно сказать о единичных поджогах; ясно, что не они вызвали те страшные, почти единовременные массовые пожары в Петербурге и провинции, которые наполнили население таким ужасом. Следовательно, кроме единичных пожаров, были несомненно и организованные. Кем? Следы как будто ведут к властям, но будем объективны и перечислим все то, что может в какой-либо мере служить в пользу подозреваемых.

Об единичных поджогах мы уже сказали. Есть еще одно, о чем вспоминают все современники,— это ветер, бушевавший в дни, когда горел Апраксин двор [132]. Ветер мог несколько расширить размеры пожара, но пожар этот был лишь одним из многих.

Наконец, последнее, что может говорить в пользу властей, это те неизбежные финансовые затруднения, которые не могут не вызывать массовые пожары. К тому же в данном случае пожары временами принимали размеры, которые независимо от любых соображений, были властям нежелательны [133].

Вот и все, что можно привести в защиту властей: единичные поджоги в корыстных целях и ...ветер. Немного! Все это, естественно, не могло вылиться в «пожарную стихию»

1862 г. Что же касается неизбежных финансовых и других затруднений, то поставленные цели их с лихвой перекрывали.

Посмотрим теперь, что говорит не в пользу властей: страна была накануне восстания, в опасности был не только режим, но и династия. Правительству необходимо было сломить революционное движение, опередить его. Главное затруднение заключалось в том, что все слои населения были недовольны режимом, правительство не имело среди них точки опоры. Единственным выходом было быстро, любым способом вырвать массы из-под революционного влияния, перетянуть на свою сторону. Такой цели могли служить пожары. Показать народу, что они и связанные с ними бедствия — это и есть пути революции, заставить отшатнуться от нее, борьбой с виновниками этих бедствий завоевать утерянный авторитет — было очень соблазнительно. Имелся в этом, конечно, и риск, но медлить было еще более рискованно. Дальнейшее подтвердило «правильность» такого пути.

Недостаточно было организовать пожары, необходимо было еще убедить всех, что жгут «левые». В этом отношении правительство сделало все возможное: инспирированная пресса выступила с обвинениями революционеров и студентов в поджогах, связывая пожары с прокламацией «Молодая Россия»; наиболее резкие статьи по указанию властей перепечатывались в других органах [134], к распространению клеветы были привлечены и инспирированные III Отделением западноевропейские издания, начата была и яростно велась кампания против Герцена, в ход были пущены гравюры и литографии, изображающие петербургские пожары и указывающие на «западных пропагандистов» как на виновников их. К распространению слухов была, как об этом свидетельствуют многие современники, привлечена и полиция. Этому же служило и огромное число подметных писем, частично даже на французском языке, которые могли идти только сверху [135]. Оттуда же, очевидно, ползли слухи о причастности к поджогам Чернышевского [136] и о попытках отравить царскую семью и др. Использованы были все средства. Клевету требовалось не только возможно шире распространить, но и не дать ослабить ее. И для этого было сделано все возможное: официальная реабилитация студенчества была отклонена, от населения скрыли, что аресты не дали никаких результатов, проект обращения к населению о результатах следствия опубликован не был [137], были запрещены все статьи, пытавшиеся оправдать и защитить невинно оклеветанных, в том числе обе статьи «Времени», которые Голицыным были охарактеризованы как служащие «к осуждению действий правительства», но которые — в особенности вторая — стремились в основном оправдать студенчество, доказать, что пожары не имеют никакого отношения к политическому движению, добиться гласного суда. Очевидно, правительство в этом именно и видело «осуждение», так как если жгут не «левые», то кто же? Не власти ли сами? Даже слухами о том, что поджигают помещики, правительство было крайне недовольно [138]. Все внимание должно было быть обращено на левые круги — они виновники; только слухи, обвиняющие их, поощрялись властями. Следовательно, слухи делились на выгодные и не выгодные для правительства.

Несмотря на все принятые меры — аресты, обыски, «изнурительные» допросы [139], использование лжесвидетелей и др.,— ни одному представителю левых кругов предъявить обвинения не удалось. И то, что виновность их доказать не удастся, стало правительству ясно в первые же дни после пожаров. Как свидетельствует И. Е. Андреевский, Суворов лишь «несколько дней находился под сильным давлением этой мысли, что это — политические поджоги» [140], и все же правительство продолжало клеветническую кампанию, а Валуев и в дальнейшие годы неоднократно поддерживал эту давно опровергнутую жизнью версию.

Таков обширный материал, свидетельствующий против правительства и заставляющий считать власти — и в первую очередь Валуева — в какой-то мере причастными к поджогам. У нас нет прямых доказательств и неизвестно, будут ли они когда-нибудь найдены, но косвенные столь многочисленны и столь весомы, что подозрение граничит с уверенностью, и прав был Ф. М. Достоевский, отрицавший виновность студентов-революционеров, упрекавший «сваливающих страшную беду на молодое поколение», отвергавший связь между политическим движением и пожарами, между «Молодой Россией» и поджогами, намекавший на «некоторые указания» и «подземные ⟨...⟩

«БЕЛЫЕ НОЧИ»

Титульный лист издания на венгерском языке (Будапешт, б. г.)



старания» и, очевидно, только обстоятельствами вынужденный умолчать о том, что мог позволить себе сказать Герцен: «Зажигателей вне полиции не нашли—а в полиции *не искали*... Не попробовать ли??» [141]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Герцен, т. XVI, стр. 262 ‹Четвертый запрос от издателей «Колокола»›.
[2] «Политические процессы 60-х годов», ч. 1. М., ГИЗ, 1923, стр. 107—108.
[3] П. Кропоткин. Записки революционера. М.— Л., «Academia», 1933, стр. 109.
[4] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. XV. Пб., 1920, стр. 224—225 (далее сокращенно: Псс Герцена).
[5] «Красный архив», т. III, 1923, стр. 240—242.
[6] «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 79—109.
[7] С. А. Рейсер. Артур Бенни. М., 1933.
[8] «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 91.
[9] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958, стр. 287.
[10] «Наше время», 1862, № 122, 9 июня («К редактору газеты»).
[11] Уже в 1861 г. ставился вопрос о заграничных русских журналах, которые должны были бы «согласовать обоюдные разномыслия правительства и общественного мнения» («Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 678).
[12] «Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные документы». Ред. и прим. Н. А. Алексеева. Саратов, 1939, стр. 12.
[13] Б. П. Козьмин. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия». М., 1932, стр. 113.
[14] П. Кропоткин. Записки революционера, стр. 108.
[15] Там же, стр. 109.
[16] «Северная пчела», «Наше время», «Journal de St. Pétersbourg» и др.
[17] «Современная летопись» «Русского вестника» № 20, 16 мая; № 23, 6 июня; «Русский вестник», июнь — «Заметка для издателя „Колокола“»; «Русский вестник», сентябрь — «Новые подвиги наших лондонских агитаторов»(за подписью Д. П.) — Герцен. Письмо гг. Каткову и Леонтьеву, 10 июня (Герцен, т. XVI, стр. 212—213); «Дурные оружия», 20 июня (там же, стр. 123—126).
[18] Псс Герцена, т. XV, стр. 369 («К следствию о пожарах»).
[19] Там же, стр. 506 («О поджогах»).
[20] Герцен, т. XVI, стр. 262.

[21] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания прошлого, стр. 276.

[22] Примером может служить неизданный дневник 20-летнего В. И. Ламанского, выросшего в консервативной семье и в дальнейшей своей жизни далекого от оппозиционных кругов. 23 сентября 1853 г. он писал: «Несколько месяцев кричали в Европе о Крымской экспедиции, а мы что делали? Кто мы? Николай что в это время делал? <...> Ездил на парады, роздал несколько важных гражданских мест разбойникам, грабителям, жаловал Георгия прусским генералам за вахтпарады и маневры, в Сибирь сослал несколько молодых людей за пару слов. Вот его дела. Насажал вокруг себя ослов; немцев, грабителей, экзекуторов, а не министров <...> Нет, голубчик, если все удачи своих верноподданных присваиваешь себе, возьми себе и гибель флота и потерю Черного моря. На тебя разразится проклятие, злодей ты этакий, ты убивал дух народный, стесняя сколько возможно литературу, науку, тратя казну безо всякого учета на Палермо, на дворцы, на балеты <...> Ты умел воровать, умей же и ответ держать...» (Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 2, ед. хр. 3, л. 23 об.).

[23] М. В. Нечкина. Новые материалы о революционной ситуации в России (1859—1861).— «Лит. наследство», т. 61, 1953, стр. 467.

[24] Там же, стр. 472.

[25] 5 марта 1861 г. В. С. Аксакова писала М. Г. Карташевской: «Народ русский слишком разумен, чтоб его мог увлечь один звук слова воля, он хотя и доволен, но очень призадумался, какая это будет воля» (ИРЛИ, 10628.XVc. 25, л. 32. об.).

[26] 6 мая 1861 г., вскоре после Бездненского расстрела, В. С. Аксакова сообщала М. Г. Карташевской: «Бедный, неграмотный народ, который вынес изо всей своей жизни только недоверие ко всем и ко всему, не знает, к кому ему обратиться. Его потрясли во всех его основаниях и он не знает, чему верить и на чем утвердиться» (ИРЛИ, 10628,XVc. 25, л. 61об.).

[27] Герцен, т. XV, стр. 199.

[28] ЦГИАЛ, ф. 930, ед. хр. 170, лл. 1—2.

[29] Герцен, т. XV, стр. 132 («Колокол», 1861, л. 105, 15 августа).

[30] Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.— Пг., 1923, стр. 34.

[31] В. И. Ленин. Гонители земства и аннибалы либерализма.— Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 27.

[32] ГПБ, архив Н. К. Шильдера, бумаги кн. В. А. Долгорукова, к. 35, № 1, л. 96—96 об.

[33] 25 сентября 1861 г. М. Г. Карташевская делилась с В. С. Аксаковой: «Пишу тебе <...> посреди страшного беспорядка и хаоса в Петербурге и еще вдобавок после порядочного испуга. Сегодня Саша вбегает и кричит: „бунт, толпа собралась у Владимирской! Кричат, двинулись войска, полиция...“ Я ужасно перепугалась, мне представились все ужасы кровопролития <...> Я держу Николку и руки у меня дрожат при мысли, что неистовая толпа сейчас ворвется в дом и нас зарежут <...> Все это плоды учения подлеца Герцена...» (ИРЛИ, 10655, XVIc. 12, л. 129).

[34] «Лит. наследство», т. 63, стр. 306—310.

[35] ЦГИАЛ, ф. 930, ед. хр. 92, лл. 21—22.

[36] Там же, ф. 735, оп. 10, ед. хр. 305, л. 284.

[37] 24 октября 1861 г. К. Д. Кавелин писал Н. А. Милютину из Петербурга: «Длинно и гадко рассказывать вам то, как два негодяя Путятин и Филиппеус в несколько месяцев погубили университет<...>Теперешний университет не существует более: 350 человек сидит в крепости петербургской и кронштадтской, 100 человек высланы с жандармами, остальные бежали или считаются студентами, не ходя в университет. И за что все это? Странно подумать, как у этих дураков не дрогнули руки зарезать целое поколение. Теперь судят студентов за какие-то никому не ведомые преступления, когда надо бы судить министерство, попечителя, Паткуля, Шувалова, Игнатьева...» (ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1142, лл. 89—90 — копия рукой М. А. Милютиной).

[38] П. И. Валескалн. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Материалы к биографии. Рига, 1957, стр. 56; Б. П. Козьмин. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», стр. 36.

[39] «Из записок сенатора К. Н. Лебедева», т. II.—«Русский архив», 1911, стр. 216.

[40] Псс Герцена, т. XI. Пг., 1919, стр. 266.

[41] ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1142, лл. 80—82.— Курсив наш.

[42] «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 116.

[43] «Процесс Н. Г. Чернышевского», стр. 11.

[44] Там же, стр. 17.

[45] «Лит. наследство», т. 67, 1959, стр. 685—697.

[46] «Процесс Н. Г. Чернышевского», стр. 24.— Любопытно сравнить с тем, что В. С. Аксакова 14 ноября 1861 г. писала о Чернышевском М. Г. Карташевской: «Иван получил замечательное письмо от одного мальчика, кадета из дальних губерний, замечательное по своему откровенному изложению profession de foi, которая есть общая всем не только университетам, всем казенным заведениям на всем пространстве России, всем офицерам, словом, всему что есть молодого, сколько-нибудь вкусившем образо-

вания, profession de foi — Чернышевский, который для них безусловный авторитет» (ИРЛИ, 10628,XVc. 25, л. 124—124 об.).

[47] Псс Герцена, т. XV, стр. 224—225. Сохранилось письмо Головнина к Валуеву 17 мая 1862 г., «pour vous seul»*, в котором Головнин сообщал: «...Следуя системе постепенного введения большей и большей строгости к цензуре, я дошел до того момента, когда должны начаться чувствительные взыскания, т. е. увольнение цензоров и прекращения журналов. Благоволите обратить внимание на циркуляры мои № 7 и 8, которые получите на этой неделе. Они будут разосланы и сделаются известны цензорам и редакциям в течение 10 дней. С того времени благоволите приказать вашим наблюдателям обращать внимание не только на частные случаи упущений, но на общее направление, *какое примут* главные журналы и газеты, дабы за общее вредное направление подвергнуть запрещению. Очень буду вам благодарен и более и более понимаю, что без вашего содействия один я не мог бы ничего сделать» (ЦГИАЛ, ф. 908, карт. 61, л. 30).

Нам пока не известны подробности о роли Головнина в деле запрещения статей «Времени» о пожарах, но сохранившаяся чрезвычайно любопытная докладная записка его царю 8 августа 1862 г., являющаяся, по-видимому, откликом на запрещение «Дня», а, может быть, связанная со статьей А. Бенни в № 203 «Северной пчелы» (направленной против катковской «Заметки для издателя „Колокола“»), бросает яркий свет на скрытую тогда от многих действительную роль Головнина в те годы. Головнин писал: «Считаю долгом всеподданнейше представить вашему императорскому величеству описание любопытного случая, бывшего на днях в Пруссии, где на основании существующего закона посажен в тюрьму редактор одной газеты за то, что отказался объявить имя автора напечатанной статьи» (ГПБ, ф. Головнина, № 100, л. 228). На докладной записке Головнина красуется в своем роде не менее характерная резолюция царя: «Хорошо бы подобный закон ввести и у нас».

Недаром К. Д. Кавелин 13/25 июля 1862 г. писал Н. А. Милютину о Головнине: «‹Егор› Ков‹алевский› меня предостерегал, говоря, что ему доверять нельзя, что он хитрит, плутует и пр.» (ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1147, л. 117 об.).

[48] Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М.— Л., 1934, стр. 306.

[49] «Северная пчела», 1862, № 143, 30 мая (статья Лескова); «St.-Peterburger Zeitung», 1862, № 114, 30 мая.

[50] «Наше время», 1862, № 118, 5 июня («Письмо Петербургского старожила»); № 112, 9 июня («К редактору газеты»).

[51] Б. П. Козьмин. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», стр. 108.

[52] «Лит. наследство», т. 41-42, 1941, стр. 450.

[53] Псс Герцена, т. XV, стр. 331—332.

[54] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, т. IV, 1934, стр. 137.

[55] Псс Герцена, т. XV, стр. 223.

[56] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 280.

[57] П. И. Валескалн. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод, стр. 57.

[58] А. В. Никитенко. Дневник, т. II. Л., 1955, стр. 274.

[59] Следует отметить, что в редактируемой Никитенко «Северной почте» не появилось ни одной заметки, в которой был бы хотя намек на виновность левых элементов в поджогах. В №№ 115, 116 и 121 от 30 и 31 мая и 6 июня печатались лишь краткие сообщения о пожарах и распоряжения; в № 134 от 21 июня была перепечатана статья из «Journal de St.-Pétersbourg» от 18—19 июня, № 136, в которой иностранные читатели предостерегались от «преувеличенных заключений».— 3 июня Никитенко записал в дневнике: «Утром у товарища министра ‹...› Просил и его доставить кое-какие факты о пожаре: иначе мы не можем ничего напечатать. Обещал» (т. II, стр. 277). Не было ли согласие министра на просьбу Никитенко освободить его от звания главного редактора связано с тем, что он настаивал на получении фактов о пожарах и, не получая таковых, воздерживался от освещения их в желательном для министерства духе?

[60] «Лит. наследство», т. 67, стр. 688, 696—697.

[61] А. В. Никитенко. Дневник, т. II, стр. 276 и 278.

[62] П. И. Валескалн. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод, стр. 134.

[63] ЦГИАЛ, ф. 908, карт. 62, лл. 10—11. Оригинал по-французски.

[64] Псс Герцена, т. XV, стр. 338—339.

[65] «Голос минувшего», 1915, № 4, стр. 197.

[66] ИРЛИ, 10656, XVIc. 12, л. 54—54 об.

[67] *Андрей Николаевич* — Маркевич.

[68] ИРЛИ, 10656, XVI,c. 12, лл. 56—58 об.—Отвечая 11 июня на письмо М. Г. Карташевской от 3 июня, В. С. Аксакова писала: «Радуюсь, что вы уже в деревне. Что за ужасы у вас делаются. Какие отвратительные замыслы; конечно, и Герцен с компанией не безгрешны в этом деле, но зачинщиков можно искать вам и поближе, в самом

* «только для вас» *(франц.)*.

Петербурге, и в лицах, далеко выше стоящих Петрашевского, а между тем они-то и торжествуют и направление, породившее все эти ужасы...» (ИРЛИ, 10629, XVc, 26, л. 42).

[69] «Русский архив», 1899, № 8, стр. 594.

[70] ИРЛИ, 10656, XVIc. 12, лл. 60—61.

[71] ЦГИАЛ, ф. 908, к. 62, л. 12. Оригинал по-французски.

[72] «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 101—102.

[73] ГПБ, ф. Головнина, № 100, л. 80—80 об.

[74] Там же, лл. 81—84.

[75] Там же, лл. 85—86.

[76] «Красный архив», 1927, № 22 («Записка А. Н. Пыпина по делу Н.Г. Чернышевского»), стр. 219.

[77] «Искра», 1862, № 22, 15 июня.

[78] «Процесс Н. Г. Чернышевского», стр. 36.

[79] ЦГИАЛ, ф. 1275, оп. 1 (93), ед. хр. 41, лл. 42—44.

[80] Там же, лл. 37—41.

[81] О дальнейшей судьбе Викторова, о жизни его в Сибири см.: П. И. Валескалн. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод, стр. 237.

[82] Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XIX. СПб., 1905, стр. 129.

[83] «Русский архив», 1899, № 8, стр. 594.

[84] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. V. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 11—12 (письмо 8 июня 1862 г.).

[85] Псс Герцена, т. XI, стр. 202. 13/25 июля Кавелин из Карлсруэ писал Н. А. Милютину: «Случайно узнав, что Ковалевский Егор в Бадене, я запиской просил навестить меня, что он самым любезным образом и исполнил, и пробыл здесь часа два. Рассказы его так же мало утешительны, как и всех, приезжающих из России: Викторов, уездный учитель в Луге, приговорен к повешению за поджигательство, в котором уличен, и приговор утвержден. Исполнение было приостановлено только для очных ставок с студентом-литовцем (забыл фамилию), против которого есть тоже сильная улика в поджигательстве и который окончательно уличен в печатании и распространении прокламаций. Ненависть народа к студентам так велика, что общество литераторов должно было сшить 200 пар партикулярных платьев, только чтоб избавить юношей от побоев на улице. Само общество было в величайшей опасности быть закрытым ‹...› только благодаря участию Конст‹антина› Ник‹олаевича› и кн. Горчакова удалось отклонить бурю...» (ЦГИАЛ, ф. 869, оп. 1, ед. хр. 1147, л. 117—117 об.— копия рукой М. А. Милютиной).

[86] В. И. Ламанский писал 2/14 июля 1862 г. Ивану Аксакову: «Не вдаваясь в оптимизм, думаю, однако, что в хорошей, честной молодежи нашей, прогрессивной, пожары произвели сильный раскол. Подлецы, настоящие тушинцы; но когда подумаешь о наших петербургских дураках, то, право, страх берет и сомненье, не усилят ли они еще этих тушинцев?...» (Архив Академии наук СССР, ф. 35, оп. 1, ед. хр. 1727, л. 52).

А. А. Краевский, в отличие от большинства, писал Погодину: «...между поджогами и тайной прессой не может быть никакой солидарности. Это я говорил с самого начала пожаров и даже напечатал... Слухов ходит, разумеется, множество, но ни один из них не может иметь основания» (Н. Барсуков. Жизнь и труды Погодина, кн. XIX, стр. 141).

[87] Василий Петрович *Попов* (1828—1866). Его статья «История террора», ч. IV, была напечатана в «Русском слове», 1862, май, стр. 1—36.

[88] ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 48, лл. 63 об.— 66.

[89] См. примеч. 75.

[90] 18 июня 1862 г. Аксаков писал Самарину: «„Современник“ и „Русское слово“ приостановлены на 8 месяцев, все равно что запрещены. Вот страшная ошибка! Теперь нельзя будет полемизировать с ними, ни с направлением их, и каждая книжка этих журналов будет продаваться на вес золота» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 48, л. 42 об.). В письме ему же 21—22 июня он добавлял:«Направление „Современника“ от этого нисколько не потеряет, напротив, выиграет, и пропаганда будет продолжаться с тою же силой» (л. 54 об.).

[91] ГПБ, собр. А. Н. Пыпина, письма П. Д. Боборыкина к А. Н. Пыпину, 15 января 1873 г.

[92] Подразумевался, очевидно, в. кн. Константин Николаевич.

[93] ЦГИАЛ, ф. 908, оп. 1, ед. хр. 559, лл. 35—38.

[94] Псс Герцена, т. XV, стр. 224.

[95] Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. XIX, стр. 133.

[96] Там же.— Из последней фразы Толстого о Валуеве; «Если меры, принятые им для сего (обнаружение поджигателей), были неуспешны, в этом виноват не министр внутренних дел, который не был главным распорядителем в этом „деле“». Рейсер в статье «Петербургские пожары 1862 г.» делает вывод, что «Последнее замечание, очень глухое и неясное, дает повод к предположениям, что Толстой знал об истинных винов-

никах поджогов больше, чем им написано» (стр. 103). Возможно, что он и знал, но эти слова следует понимать в том смысле, что «главным распорядителем в этом деле» был не Валуев, а Суворов, и его-то и винит Толстой в неуспехе.

[97] ИРЛИ, ф. 3, оп. 2, ед. хр. 48, л. 54 об.

[98] «Печать и революция», 1929, кн. 2, стр. 71—72.

[99] ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 69, лл. 8—8а.

[100] «Жизнь и труды Достоевского», стр. 114.

[101] ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 69, лл. 7—9.

[102] Там же, л. 6.— См. также «Жизнь и труды Достоевского» (стр. 115), где приведена строка из ответа Валуева Головнину. Датировка Л. П. Гроссманом этого письма 26-м июня ошибочна. Оно было, очевидно, послано 16 июня, поскольку помета о посылке его сделана Валуевым на письме Головнина от 15-го, да и само мнение Головнина о журнале «Время» было «доведено до высочайшего сведения» 22 июня.

[103] ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 69, лл. 7—9. См. также «Жизнь и труды Достоевского», стр. 115.

[104] Псс Герцена, т. XV, стр. 334.

[105] М. К. Лемке. Политические процессы в России 1860-х годов, стр. 624.

[106] Б. П. Козьмин. Братья Достоевские и прокламация «Молодая Россия».— «Печать и революция», 1929, кн. 2, стр. 71.

[107] Там же, стр. 73.

[108] Там же, стр. 72.

[109] Там же, стр. 74.

[110] О том, что общее руководство журнала лежало на Ф. М. Достоевском, он указал сам в письме к А. Е. Врангелю 14 апреля 1865 г.: «Ведь и Время *я* начал, а не брат, *я* его направлял и я редактировал» («Письма», I, стр. 401).

[111] Псс Герцена, т. XV, стр. 357. См. также: А. С. Долинин. Достоевский и Герцен.— «Достоевский. Статьи и материалы», I. Пб., 1922.

[112] Герцен, т. XVI, стр. 200, 202, 203.

[113] «Печать и революция», 1929, кн. 2, стр. 74.

[114] В. Л. Комарович. Достоевский. Л., 1925, стр. 54; «Лит. наследство», т. 15, 1934, стр. 280.

[115] «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 84.

[116] Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. I. М., 1939, стр. 777—779.

[117] Там же, стр. 819—820.

[118] Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие, т. III. М.— Л., 1930, стр. 532—534.

[119] В. Н. Шаганов. Николай Гаврилович Чернышевский в каторге и ссылке. СПб., 1907, стр. 8.

[120] Псс Герцена, т. XV, стр. 331.

[121] П. И. Валескалн. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод, стр. 61.

[122] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 280.

[123] П. И. Валескалн. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод, стр. 56.

[124] Псс Герцена, т. XV, стр. 333; Б. П. Козьмин. П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», стр. 122.

[125] В. Ермилов. Ф. М. Достоевский. М., 1956, стр. 28.

[126] Псс Герцена, т. XV, стр. 224.

[127] «Лит. наследство», т. 22—24, 1935, стр. 159 (запись 18 сентября 1862 г.).

[128] Воспоминания И. Е. Андреевского «Князь Александр Аркадьевич Суворов».— «Русская старина», 1882, № 5, стр. 538.

[129] П. Кропоткин. Записки революционера, стр. 109.

[130] Там же.

[131] «Лит. наследство», т. 41-42, стр. 344.

[132] М. Г. Карташевская: «В этот день был не ветер, а просто буря» (см. письмо 3 июня 1862 г.); Никитенко: «Вчера и сегодня ветер ревел и по временам превращался в бурю» (запись в дневнике от 30 мая 1862 г.— т. II, стр. 276); А. Я. Панаева: «Сила ветра была так сильна, что с места пожара взлетали горящие головни и, перелетая через Фонтанку, падали на крыши домов, продолжая гореть, как факелы» («Воспоминания». М.—Л., 1928, стр. 443). Сенатор М. П. Веселовский в своих неизданных «Записках», говоря о пожаре в Министерстве внутренних дел, писал: «Во время пожара вихрь был так силен, что поднимал дела на воздух, трепал их и относил некоторые листы за несколько верст...» (ГПБ, т. IV, 861, л. 517 об.).

[133] Об этом свидетельствуют две копии докладов Валуева царю 29 и 30 мая 1862 г. о пожаре в здании Министерства внутренних дел. На первом имеются пометы царя: «Крайне грустно» и «Дай бог, чтобы от этого не возникло замешательства и промедление». На втором докладе царь против фразы Валуева: «Осмеливаюсь думать, что в движении дел, имеющих некоторую важность, не произойдет ни замешательства, ни даже медленности» написал: «Дай бог!» (ЦГИАЛ, ф. Департамента полиции испол-

нительной, № 1286, оп. 23, ед. хр. 1088, лл. 3 и 9). М. П. Веселовский вспоминал: «В доме министерства царствовал хаос. В обгорелых и закопченных комнатах валялись ломаная мебель и груды дел, между которыми бродили чиновники, стараясь разобраться в этом хламе. Учреждена была комиссия для приведения в известность и порядок того, что уцелело...» (ГПБ.— I, IV, 861, л. 517—517 об.).

Нельзя согласиться с Рейсером («Артур Бенни», стр. 56), что слова Кропоткина «в архиве ⟨...⟩ хранились все документы, касавшиеся освобождения крестьян» можно считать многозначительными. Пожар в здании Министерства внутренних дел не мог быть желательным правительству.

[134] «Лит. наследство», т. 63, стр. 679.

[135] В. В. Крестовский. Собр. соч., т. III, Пб., 1904, стр. 281.

[136] Псс Герцена, т. XV, стр. 370.

[137] «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 93.

[138] См. письмо Валуева к Головнину 31 мая 1862 г. (ГПБ, ф. Головнина, № 100, лл. 82—83), а также «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 101—102.

[139] «Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 91.

[140] «Русская старина», 1882, № 5, стр. 538.

[141] Герцен, т. XVI, стр. 262.

⟨СТАТЬЯ ПЕРВАЯ⟩ *

«ПОЖАРЫ» **

Внимание целого Петербурга занято теперь пожарами. С половины мая пожары стали особенно учащаться; в некоторые дни их было по два, по три, а 23 мая было шесть. Наконец, пожар 28 мая в Духов день поднял на ноги целый Петербург. В этот день сгорело: Толкучий рынок, Щукин двор, Министерство внутренних дел, лесные дворы на правой стороне Фонтанки, Щербаков и Чернышев переулки. Задуматься есть над чем. Главная беда майских пожаров в том, что все страшные результаты их обрушились на голову преимущественно недостаточных наших классов, нашего бедного народа. На Охте и в Ямской живут главным образом бедняки, которые не могут приобретать себе *дорогих* помещений в центральных частях города. Толкучий рынок *был* преимущественно народным рынком. Там одевался, ел и пил простой мужик, потому что в Гостином дворе на семь копеек не найдешь себе обеда, и за каких-нибудь пять рублей не купишь себе *одежи*. Тысячи рабочих и торговых людей с пожаром Толкучего рынка и Щукина двора потеряли насущный кусок хлеба.

Но этого мало. Пожары и не думают прекращаться. На другой и на третий день после 28 числа были новые пожары. По два, по три, и даже более на каждый день. Пожары возобновляются с какою-то настойчивостью, и нет причин полагать, чтоб они перестали возобновляться на будущее время.

Ясное дело, что не все пожары произошли *только* от неосторожности. Неслыханное количество их самым естественным образом наводит на мысль об умышленных поджогах. Народ громко говорит о них; толкуют о пойманных мошенниках, о какой-то многочисленной шайке, которая с адскими целями поджигает столицу со всех сторон. Панический страх одолел всех. Каждый жилец, каждый домохозяин только и ждет, что вот-вот в каком-нибудь углу обнаружится пожар.

Кто же, спрашивается, эти поджигатели, мошенники, желающие на несчастье ближнего основать свое собственное счастье, или лучше, тоже несчастье?

---

* Недавно другая корректура этой же статьи была обнаружена Г. Ф. Коган в Москве, в фонде III Отделения (ЦГАОР) — см. настоящ. том, стр. 585—586. — *Ред.*

** *В верхней части гранки карандашная надпись Александра II*: Кем написана? *На полях чернилами*: Запрещено 1 июня 1862. *На другой гранке пометы*: «Время» *и* г-ну цензору 1 мая ⟨*ошибочно вместо 1 июня*⟩.

Догадок в народе ходит довольно. Одна из таких, не скажем довольно распространенная, но достоверно существующая, касается нашего молодого поколения, наших бедных студентов. Надеемся, что нам в этом случае позволят быть откровенными: дело слишком важное и затрагивает самые горячие вопросы. Там, где делается самый страшный упрек русскому юношеству, посвятившему себя науке, на которое справедливо возлагаются надежды всей мыслящей России, нельзя молчать. Тут надо разъяснять дело до конца и все выводить на чистую воду. Итак, мы будем объясняться напрямки. В пожарах между прочим обвиняют студентов. И ведь это догадки не в одном только простом народе, а кое-где и в других сферах. Мы даже полагаем, что в народе они появились не сами собою, до них дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него извне. Очень трудно предположить, что народ ни с того, ни с сего вдруг стал бы подозревать в таком страшном злодеянии студентов. Откуда же, спрашивается, это подозрение?

Недавно вышла возмутительная прокламация и, как все потаенное и запрещенное, прочитана с жадностью. По крайней мере, мы не встречали еще никого, кто не читал бы ее. Излишне было бы говорить, что она возбудила отвращение. Вот и говорят, что люди, напечатавшие «Молодую Россию», способны на все, что они не остановятся ни пред какими средствами, что поджоги — первые симптомы их деятельности. Положим так, хотя они в этом случае очутились бы в положении человека, желающего гладить своего друга по голове железной рукавицей, утыканной гвоздями. Но доказано ли, во-первых, что люди, производящие поджоги,— в связи с «Молодой Россией»... доказано ли, и это самое главное, то особенно важное обстоятельство, что настоящее наше молодое поколение и именно студенты солидарны с «Молодой Россией»? Не отвергаем, что нашлись люди, положительно доказывающие, что «Молодая Россия» принадлежит студентам. Но где эти факты, раскрытые следствием, которые ясно доказывали бы действительную солидарность студентов с подобными явлениями?

Мы понимаем всю естественность того явления, что студенты вообще упали во мнении народа и даже мало мыслящего большинства образованного общества.

Одна часть народа лишена крова, последней одежи, хлеба, другая в ожидании немедленных поджогов представляет себе в перспективе подобное несчастное положение. При всеобщем раздражении, увеличивающемся вместе со страхом за свою, какая там ни есть, собственность — ясное дело общественное мнение ищет поджигателей, и неудивительно, что при некоторых указаниях, причины которых можно искать или в жесточайшем невежестве, или в самом подлейшем, узком своекорыстии и эгоистичных целях, неудивительно говорим, что при подобных указаниях часть общественного мнения останавливается на бедных студентах. Даже [один не официальный, а официозный журнал] одна газета не постыдилась сопоставлением рядом двух статей указать на среду, где *можно бы поискать подобных мошенников*, а эта среда есть та среда, к которой обращается автор статьи в «СПб. ведомостях» «Учиться или не учиться», т. е. студенты. Мы, по крайней мере, *так* поняли две передовых статьи 143 № «Северной пчелы» и очень будем рады, если она *основательно* опровергнет наше *недоразумение*. Название студента стало теперь не только презренным словом, но даже и небезопасным, потому что в студентах, *некогда ратовавших против личной свободы, данной крестьянам 19 февраля, а теперь выжигающих народ*, он видит самых злейших своих и общих врагов. Для того, кто может скрыть свое студенчество под общепринятой тогой, подобное положение и не тяжело, но мы понимаем всю горечь и безвыходность положения бедного студента, принужденного теперь подобными

обстоятельствами сидеть в душной комнате, за неимением другого, кроме форменного платья, доколе пожар в самой его квартире не заставит искать на улице спасения.

Людям, которым приходит в голову сваливать страшную беду на молодое поколение, не мешало бы помнить, что всякое подозрение должно прежде всего быть основано на фактах, что чем страшней подозрение — тем оно должно быть основательней, потому что в противном случае делается страшная, незаслуженная обида; что нужно исследовать дело прежде, нежели указывать его виновников явно ли, словами прямо, или самым молчанием на вопрошающее обвинение. Не к простому народу, не к людям, умеющим только повторять чужие слова, относится наше обвинение, наш протест. Он касается всех тех, кто или сознательно распространяет подобного рода догадки в народе, или намерены молчать ввиду грозных толков. Они должны помнить, что в каждом молодом студенте останется навсегда горькое воспоминание о когда-то возведенной жестокой клевете на всю корпорацию, к которой он принадлежал.

Делать разглашение под рукой, втихомолку, вещь вообще очень легкая. Голословно обвинять молодое поколение в самых удивительных производствах не трудно, особенно когда оно не может отвечать на обвинение от своего имени. Наконец, положим, что оно даже солидарно с некоторыми удивительными вещами. В таком случае потрудитесь прежде всего различить: большинство или меньшинство на стороне этих удивительных вещей. Не есть ли искомая величина самая малая часть огромного целого; не есть ли это один прыщ, за существование которого ни в каком случае не должно подозреваться здоровье целого тела, да и эта уродливая форма проявления жизни — ведь и прыщ тоже доказывает присутствие в теле жизни, а не смерти — не потому ли и уродлива, что нет у него настоящего дела? Так это прежде всего. Потом, уже если окажется виновность всего молодого поколения, давайте и осудим его хором и посоветуем ему действительно учиться и учиться. Если оно виновато в страшных вещах, нечего скрывать в застенках факты, доказывающие его вину; сюда давайте их скорей. В противном случае как же не допускать во всенародном публиковании фактов публичного оправдания целой корпорации от незаслуженных обвинений?

Нам кажется, что здесь-то, в этом деле преимущественно должна быть допущена самая широкая гласность. Ведь гласно же, по уверению «Северной пчелы», произносятся на улицах обвинения студентов в поджогах. Так гласно же и опровергните их и не чрез газеты только, которых народ не читает. Пусть народ не говорит после, когда действительно обыкновенными теперешними средствами докажется невинность студентов в этом страшном деле, что бары скрыли своих виновных барчонков.

Знаете ли вы, какое страшное [уголовное] преступление восстановлять враждебно одну часть общества против другой? Тем страшнее это [уголовное] преступление, когда одна часть общества — простонародье, т. е. то сословие, которое при всех превосходных и правдивых качествах своих, содержится постоянно в темноте и невежестве; когда, напротив, другая часть — крошечное меньшинство сравнительно со всей массой народа, меньшинство, постоянно и с давних пор унижаемое и оскорбляемое, а теперь оскорбляемое чуть не всяким. Статья «Северной пчелы» тому доказательством. В ней есть намек, в ней есть сомнения (хотя и не прямые обвинения), но такой намек в такое время все равно что поджог. И это без суда, без следствия. В народ подозрение перешло от самого общества, скажете вы. Следовательно, мы не виноваты в этих слухах? Разумеется, нет и общество не виновато, но виноваты те, которые поддерживают и утверждают в обществе такие слухи,— слухи, обвиняющие всю корпорацию студентов безразлично. Вот это — преступники, уголовные преступники против

общества. В обществе такие убеждения не могли укорениться иначе как во время панического страха. Но преступник тот, который, судя хладнокровно и владея своими способностями, поддакивает в такие минуты обществу, не имея ни одного ясного доказательства своих подозрений. В обыкновенное, хладнокровное время, пожалуй, хоть излагайте и подозрения свои, но в горячее, паническое время давайте доказательств. А какие у вас доказательства?

Три золотушных школьника, из которых старшему уже наверно не более тринадцати лет, напечатали и разбросали глупейший листок, не справившись даже хорошо с иностранными книжками, откудова они все выкрали и бездарно перековеркали. Залп хохоту должен был встретить глупый листок. Читая его, всякий сказал сам себе: «в семье не без урода». Но несколько хилых старцев в подагре и хирагре с старобабьим умом, переменившие по прочтении глупого листка свое белье и даже тут не догадавшиеся о настоящем употреблении этого листка,— эти старцы почувствовали страшный, паралитический страх. Все это принялось с кашлем и удушьем проповедовать гибель. Проповедь нашла сильную поддержку, и только при этой поддержке успели заразить общество подозрениями. Но мысль, что три золотушных ребенка могли пуститься на такое дело... ну пусть, пусть эти три золотушных преступника (чему мы положительно не хотим верить, да и нет ни малейших доказательств) — студенты. Напротив, каким образом обвинение трех золотушных передалось на всех студентов? Кто смел это сделать? Чьими подземными, чьими хилыми, старобабьими стараниями укрепиться могло это мнение? Как не подумали переменяющие середи дня белье, что это значит натравливать всю массу народа на бедных, и без того уже тысячу раз оклеветанных и опозоренных? И неужели не поймет общество, не поймут неловкие (или уж слишком ловкие) публицисты, что это значит опозорить имя студента в темной массе народа на пятьдесят лет вперед, имя университета, профессоров, науки, грамоте, смыслу. Верить не хотим, чтобы это делалось умышленно; необразованность, страх, неясное понимание вещей — вот причины затмения умов в обществе. Возвращающиеся во времена графини Хлестовой должны опомниться. Ей теперь девяносто лет. За ней идти стыдно. Переменитe же свое белье в последний раз и укрепитесь, ободритесь, не смущайте народ: весь город ведь в волнении. Умы возбуждены в страшной степени. Более трехсот тысяч человек думают об одном и том же, сосредоточены на одной и той же мысли. Уж очень недалеко до всеобщего панического страха.

И потому нужно позаботиться, чтоб общество как можно поскорей успокоилось относительно причин происхождения поджогов. Кто бы там ни был поджигатель, но он должен быть открыт и в самом скором времени. Если это дело вывести из стен на публичную арену, сделать его публичным, а не просто канцелярским, то, нет сомнения, общество само же поможет к скорому его исследованию. Можно бы для такого дела сделать и *исключение* из общего правила. При публичном производстве встретится множество случаев, которые без сомнения облегчат его. Тогда, пожалуй, явятся такие новые факты, каких никогда не добилась бы какая-нибудь канцелярия,— такие помощники в общем деле, которые никогда не раскрыли бы рта, чтоб дать материал для новых канцелярских тайн. А то хватают множество личностей, но судьба их известна народу и обществу только до того времени, покуда их отводят в часть; далее все остается покрытым мраком неизвестности.

Но вы скажете, ничего до сих пор не открыто, ни на какие следы еще суд не напал. Хорошо-с. Но ведь слышно же повседневное обвинение, что в этом деле заподозревается целая корпорация? Отчего же не говорится, насколько есть основательности в этих толках, почему не опровергаются

они? Почему не принимается во внимание то обстоятельство, что подобное молчание может быть принято народом за знак *внешнего* согласия с его предположением, что в окончательных своих результатах молчание может покончиться очень дурно для многих.

Опять повторим, что успокоить народонаселение может только главное и скорое исследование дела о теперешних поджогах.

Но с пожарами мы все еще не кончили. На первых майских пожарах, да и вообще на русских пожарах и простой народ и, так сказать, *чистая* публика большею частью оставались праздною, хладнокровною зрительницею бедствий ближнего. Простой народ большею частью старается спрятаться во время пожаров. Что это действительное хладнокровие к судьбе другого? Нам думается, что тут другие действуют пружины. В деревнях, сколько нам ни приходилось быть свидетелями пожаров, старый и малый помогают тушить пожары. Там нет, положительно нет праздных зрителей как скоро загорелся дом мужика. Зато лишь только приезжает на пожар становой, вообще человек образованный и *со властью* — сцена переменяется. Мужик уж *боится помогать* ближнему, потому, дескать, тут вблизи начальство, можно попасться в беду, а после откупайся. Оказывается усердия меньше; разве уж зуботычина какая заставит мужика идти заливать пожар. Отчего это? Не оттого ли, что наш народ отучивается от собственной инициативы там, где он должен действовать в глазах начальства, или оттого, что зуботычины простому мужику при пожарах составляют уж необходимый ингредиент их? Мы очень рады, что правительство пришло, наконец, к мысли отдать защиту от пожаров в собственные руки граждан, вообще местных жителей. Надобно по возможности уменьшать опеку над народом, а то он может дойти до такого состояния, что не подвинет рукой, когда загорится его собственный тулуп и не посмеет тушить его в виду начальства, если только оно не заставит его спасти самого себя от пожара. Так дело велось и у нас в столице. Без сомнения, сгорело бы меньше домов и улиц, если народ зуботычинами и другими опекунскими мерами не отучался от собственной инициативы в общественном деле. На петербургских пожарах этот факт был особенно очевиден. Впрочем, об этом когда-нибудь можно поговорить обстоятельно.

О скорой и немедленной помощи пострадавшим мы распространяться не станем, потому что в то самое время, когда будет читаться эта заметка, иной бедный, пожалуй, три раза успеет умереть с голоду. О помощи таким людям не нужно разглагольствовать, а *ее* надобно прямо, без отлагательства делать. Хорошо бы, если б устроился комитет для пособия несчастным, как это уже предлагал г. Серно-Соловьевич. Теперь мы увидим, насколько слово и дело не отделено у нас, у русских, и насколько мы правы бываем, когда хвалимся на словах своим благоутробием, иногда именуемым гуманностью. Такого рода вещи читатели узнают, а, может быть, уже и знают из наших ежедневных газет.

Но главную помощь общество ждет [от] и имеет право ждать от нашего государственного банка. В нем теперь заключается вся будущность торговой России. Много мер предстоит ему принять и принять немедленно, чтоб немедленно успокоить весь торговый класс Петербурга. Но первою его мерою должна быть отсрочка [по], и если можно на год, всех платежей по имеющимся у него векселям, и не для одних только погоревших, а для всего петербургского купечества, потому что все они пострадали от пожара. Банк ничего не потеряет, а, напротив, выиграет, потому что спасет большинство от неминуемого банкротства *.

---

* *Весь абзац от слов* но главную помощь *до* неминуемого банкротства *вписан от руки.*

Кстати. Не можем здесь не упомянуть об одном факте, действительно стоющем некоторого внимания. В то время как каждая ежедневная газета по мере сил своих спешила сказать свое слово о замечательном событии 28 мая, одни только академические «СПб. ведомости» с действительно академическим спокойствием заметили в №, вышедшем 30 уже мая (следовательно, два дня почти спустя после пожарища 28 числа), что *был пожар в Петербурге 21 мая, и что 23 мая — был одним из самых тяжелых дней для Петербурга*. Какая цель подобной невнимательности к событиям дня? Уж не творили ли в этом случае своего рода литературный поджог «СПб. ведомости» в пользу чего-нибудь другого?

ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 69.

Отчеркнуты карандашом на полях, очевидно царем, следующие строки:

«Пожары возобновляются с какою-то настойчивостью, и нет причин полагать, чтоб они перестали возобновляться на будущее время».

«Догадок в народе ходит довольно. Одна из таких, не скажем довольно распространенная, но достоверно существующая, касается нашего молодого поколения, наших бедных студентов».

«Мы даже полагаем, что в народе они появились не сами собою, до них дошел не сам народ, а очень может быть, они перешли в него извне».

«...в студентах, *некогда ратовавших против личной свободы, данной крестьянам 19 февраля, а теперь выжигающих народ*, он видит самых злейших своих и общих врагов».

«...посоветуем ему действительно учиться и учиться. Если оно виновато в страшных вещах, нечего скрывать в застенках факты, доказывающие его вину; сюда давайте их скорей».

Слово «застенках» еще и подчеркнуто.

Два отрывка «Недавно вышла возмутительная прокламация ∽солидарность студентов с подобными явлениями» и «Три золотушных школьника ∽ до всеобщего панического страха», бывшие в журнале следственной комиссии и по поводу которых вызывался М. М. Достоевский, отчеркнуты красным карандашом.

⟨СТАТЬЯ ВТОРАЯ⟩

Мы прочли передовую статью в № 143 «Северной пчелы» * по поводу пожаров в С.-Петербурге, прочли и ужаснулись, до чего может дойти отсутствие всякого такта в обсуждении самых серьезных вопросов.— Петербург горит ежедневно и горит страшно — в этом нет сомнения. Петербург поджигают — об этом все говорят, но никто ничего положительно не знает. Полициею, говорят, захвачено множество людей, но полиция молчит и захвачен ли кто и кто захвачен, мы ничего не знаем. Все, следовательно, верится на одних толках. Мы знаем по предшествовавшим, подобным настоящему, случаям насколько здесь можно полагаться на голос народа. Вспомним только об отравах во время первой холеры, когда народ обвинял в этом поляков, все знают насколько это было верно. Не только потворство подобным толкам, но и такой двусмысленный отзыв об этих слухах, какой помещен в передовой статье «Северной пчелы», есть признак совершенной неспособности к пониманию и объяснению совершающихся фактов. Подобный отзыв может дать повод некоторым думать, что в этих толках есть доля правды. Серьезная политическая газета говорит о слухах с сомнением — чуть не в пользу их; многие скажут — стало быть есть основание к таким толкам. Такого вывода довольно, чтобы усилить народное волнение, и кто тогда виноват будет: прокламации, которых народ вовсе не читал и которые ему совершенно чужды, или серьезная политическая газета, которую читают во всех харчевнях? Что касается до нас, то мы никак допустить не можем, что какая бы то ни была полити-

---

* *В верхней части гранки карандашная помета царя*: Кем написана? Сообщить К. Долгор⟨укову⟩. *На полях помета чернилами*: Запрещено 3 июня.

ческая партия, которая не может же состоять иначе, все-таки, как из маломальски образованных людей, способна была прибегать к таким безумным, ужасающим своим зверством средствам, как поджог. Мы прямо и положительно отрицаем возможность подобной солидарности двух явлений, не имеющих, по нашим мнениям, ничего общего.

Подобные толки поддерживаются и без того слишком долго, в чем, как мы сами имели случай убедиться, несколько виноваты и низшие полицейские агенты, которые, разумеется, по собственному невежеству вместе с народом повторяют те же нелепые слухи. Не опровергать подобных слухов, значит поддерживать в народе то брожение, в произведении которого «Северная пчела» как повторением нелепого слуха, так и самим сомнением своим в этом случае обвиняет людей, рассылающих прокламации. Во имя народного спокойствия, во имя спокойствия всех образованных граждан столицы мы просим гласного, строгого и самого быстрого суда над теми, кто арестован по подозрению в поджоге. Имена и звание лиц должны быть обнародованы. На полиции лежит обязанность как можно скорее успокоить столицу. Повторяем: мы требуем суда гласного и быстрого, пусть объявят, наконец, город на военном положении, если ему угрожает опасность и если (что мы положительно отвергаем) эти пожары имеют что-нибудь общее с политическим движением. Пусть судятся обвиняемые в поджоге военным судом, но гласно! Приняв только такие энергические меры, можно отвечать за народное спокойствие, иначе мы рискуем при содействии газетных статей, подобных статье «Северной пчелы», что ни одному образованному молодому человеку не будет места в Петербурге. Может быть, мы и ошибаемся, но до тех пор пока не будет открыто и официальным путем обнародовано звание поджигателей, если они есть, мы остаемся при своем убеждении и приглашаем всех здравомыслящих людей присоединиться к нам и стараться успокоить напуганный народ. Мы положительно протестуем противу невежественных обвинений, ни на чем не основанных. Пусть докажут нам фактами, что мы ошибаемся.

ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 1, ед. хр. 69.

ЗАБЫТАЯ РЕЦЕНЗИЯ ДОСТОЕВСКОГО

Публикация С. В. Белова

Заметка Достоевского об игре Васильева в пьесе А. Н. Островского — «Грех да беда на кого не живет» является единственной театральной рецензией писателя. Эта заметка не окончена, она была впервые опубликована в «Северном вестнике», 1891, № 11, стр. 32—34 с некоторыми ошибками и неточностями, а затем не входила ни в одно издание сочинений Достоевского и осталась почти не известной советским исследователям. Лишь М. П. Алексеев в статье «О драматических опытах Достоевского» (сб. «Творчество Достоевского». Одесса, 1921, стр. 41—62), Р. В. Плетнев в статье «Eine Theaterkritik von Dostojevskij» (сб. «Dostojevskij-Studien». Reichenberg, 1931, S. 99—104) и В. С. Нечаева в книге «Журнал М.М. и Ф. М. Достоевских „Время“» (М., «Наука», 1971, стр. 222—223) обращались к этой рецензии.

В недавно вышедшей книге «Достоевский и музыка» (Л., 1971) А. А. Гозенпуд высказал вполне резонное предположение, что рецензия Достоевского предназначалась для журнала «Время» и была откликом на статью А. А. Григорьева «Петербургский театр». Статья Григорьева, напечатанная в журнале «Время» (1863, № 2), начиналась словами: «Эта *игра мочаловская*, игра, от которой забывается сколько-нибудь нервный зритель» (стр. 82), и заканчивалась повторением той же характеристики: «Это была настоящая игра трагического артиста. Настоящее имя для такой игры — *мочаловская игра*» (стр. 86). Как бы продолжая статью Григорьева, Достоевский в начале своей рецензии пишет: «*„Мочаловская игра!“* —ведь это уж слишком много сказать» (подчеркнуто везде мною.— *С. Б.*).

Достоевский, очевидно, не успел закончить рецензию ввиду закрытия журнала.

Печатается по автографу, хранящемуся в ИРЛИ,

ОБ ИГРЕ ВАСИЛЬЕВА В «ГРЕХ ДА БЕДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТ»

〈1863〉

Вы хотите, чтоб я описал вам мое впечатление от игры Васильева [1] в роли Краснова. Прежде всего (признаюсь откровенно) до этого раза я не видал его никогда. Знаете ли что? Я вошел в театр с предубеждением к Васильеву. Я слышал такие похвалы ему от тех, которые уже видели его в «Грех да беда» [2], что во мне невольно родилось сомнение. «Мочаловская игра!» — ведь это уж слишком много сказать. А между тем для меня его игра действительно оказалась чем-то невиданным и неслыханным. Да, я не видал до сих пор в трагедии актера, подобн〈ого〉 Васильеву.

Драму Островского я читал два раза и был на первом представлении, в котором играл Краснова г. Бурдин [3]. Лицо Краснова до того уже было мне понятно из чтения, что я без большого труда догадался, что господин Бурдин очень мало понял в своей роли, т. е. может быть и понял, да выразил совершенно обратно. До сих пор не могу догадаться, для чего он все старался рассмешить публику? Мне кажется, приготовляясь к представлению, он прочел предварительно в одном из последних номеров «Русского

вестника» афоризм, заключающийся в том, что можно увидеть все на свете, всякую возможную диковинку, но одного только нельзя никогда увидать: это русского купца влюбленным. Таким образом, «Русский вестник» отнимает у русского человека чуть не последнюю способность человеческую, так сказать, уже животную способность: любить и ревновать...[4]

Г-н Васильев в роли Краснова играл человека, себя уважающего, серьезного, строгого и как будто очищенного своей страстью, как будто несколько отрывающегося от своей среды. Видно, что в нем крепко засело что-то новое, что-то вроде неподвижной идеи, овладевшей всем существом его. Видно, что с этим человеком уже три года совершается что-то необыкновенное. Три года он любит без памяти и ходит как отуманенный от любви к своей пустенькой Тане, которой только разве некоторая совершенно еще детская неразвитость мешает сделаться также цивилизованною по «благородному», как ее сестрица, девица Жмигулина, и говорить ко всякому слову: «Мы к этому не привыкли, потому что мы другого совсем воспитания». Влюбленный Краснов до того ничего не понимает в жене своей, от страсти к ней, что даже готов видеть в ней до сих пор что-то высшее, что-то чрезвычайно отходящее вверх от него и от его среды. И заметьте: весь этот взгляд уживается в нем вместе с глубоким самоуважением и с уважением ко всему правдивому и человеческому, даже и в своем быте. Но разум его как-то ударился в одну сторону. Краснов до сих пор, после трех лет доказанной невозможности, верит в то, что жена еще его полюбит: «любовь через пять лет иногда приходит»,— думает он про себя. Он любит страстно, и хоть вы от него никогда не дождетесь рабского самоуничижения, но Таня видимо властвует всей душой его и стала его кумиром. Афоня, больной брат его, свидетельствует, что он перед ней на коленках стаивал и всю родню на нее променял. Любовь растет все больше и больше. Родню, хоть он и принимает у себя, но как-то больше по обычаю, чем по сердцу, как-то рассеянно; ни о чем-то он сам не заговорит; ничего-то в городе, в его среде его не интересует. Он брезгливо слушает самодурные выходки своего родственника и объявляет ему, что это все только один кураж. За язвительное слово против Тани он тотчас же выгнал сестру из дому, из-за чаю. Этому человеку такие разрывы с своей средой уже стали теперь нипочем. Таня — вот его мечта; когда-то она его полюбит? — вот его забота и мука. Что говорят о Тане, как глядят на такую красавицу другие, завидуют ли ему, что у него красавица-жена — вот покамест все его наслаждения, все его счастье... Да, актер прежде всего лицедей, а все это созданное поэтом лицо, я увидел во плоти и крови в игре Васильева и воочию убедился, что лицо это — правда.

А между тем начинается драма; в Краснове разгорается желчь и ревность. Вообще это желчный человек: он своего не отдаст, не уступит никому и в сделки не войдет ни в какие, хотя бы он был так же цивилизован, как герои «Подводного камня»[5]. Натура останется, выскажется, и это — натура, а не самодурство. Этому человеку половинок ненадобно. Таня до того пуста, что даже не понимает, не подозревает, какой ужас в судьбе ее, не понимает, как страшна эта страсть, чем она грозит, что обещает и чем все это может кончиться. Ей просто скучно и больше ничего. «Образованность» и презрение к «мужику» препятствуют разглядеть и ее сестрице, в каком крайнем положении находится Таня. От скуки, от какой-то детской тоски Таня бросается на первую встречу — на гаденького Валентина Павловича Бабаева. При встрече с ним ей вспомнились первые годы юности, ее первый рассвет, в богатом барском имении, где было столько хороших кавалеров, где барышни так хорошо одевались, так резво играли в саду, бегали с кавалерами в горелки. Воспоминания о горелках может быть нравятся ей больше всего даже и теперь, больше



НИВА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ.

№ 1 1878

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ №№ ВЪ ДВА ЛИСТА СЪ 4—6 РИСУНКАМИ И ЕЖЕМѢСЯЧН. ДАРОВЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ (отъ 30 до 40 рис.) и ЛИСТА ЧЕРТЕЖЕЙ (отъ 24 до 36) ВЫКРОЕКЪ.

Выдана 2 Января 1878 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА „НИВУ" 1878 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ „НИВА".

Безъ доставки въ С.-П.-Бургѣ . 4 р.
Съ доставкою . . . 5 „

Безъ доставки въ Москвѣ чрезъ кн. маг. г. Живарева, Соловьева и Лангъ . . . 5 р.
Съ пересылкою въ Москву и друг. города Россіи . . . 6 „

На полгода безъ доставки 2 руб., съ доставкою 2 руб. 50 коп., съ пересылкою иногороднымъ 3 руб.
На четверть года безъ доставки 1 руб., съ доставкою 1 руб. 25 к., съ пересылкою иногороднымъ 1 руб. 50 к.

КОНТОРА ЖУРНАЛА „НИВА" ПОМѢЩАЕТСЯ ВЪ С.-П.-БУРГѢ, НА Б. МОРСКОЙ, ВЪ Д. № 9.

При этомъ № прилагаются: «ПАРИЖСКІЯ МОДЫ» за ЯНВАРЬ съ 26 рисунками и отдѣльный листъ съ 27 чертежами выкроекъ въ натуральную величину и съ 32 рисунками рукодѣльныхъ работъ и 22 вензелей для мѣтки бѣлья.

Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій

Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій безспорно принадлежитъ къ самымъ талантливымъ и популярнымъ русскимъ писателямъ настоящаго времени. Но прежде чѣмъ говорить о его значеніи въ современной русской художественной литературѣ, приведемъ здѣсь нѣкоторыя біографическія свѣдѣнія о немъ самомъ.

Ѳедоръ Михайловичъ родился въ 1822 году, въ Москвѣ. Отецъ его былъ докторъ и имѣлъ большое семейство. Очень рано у Ѳедора Михайловича оказалась неудержимая страсть къ художественной литературѣ и исторіи. Въ двѣнадцать лѣтъ онъ ужь прочелъ почти всего Вальтеръ-Скотта, а исторію Карамзина училъ наизусть. Пятнадцати лѣтъ Ѳедора Михайловича и его старшаго брата отецъ перевезъ изъ Москвы въ Петербургъ, для опредѣленія въ главное Инженерное училище. Здѣсь для юноши началась совершенно новая жизнь. Говоря объ этомъ времени, Ѳедоръ Михайловичъ постоянно вспоминаетъ свою встрѣчу съ Иваномъ Николаевичемъ Шидловскимъ и благотворное вліяніе на него этого человѣка. Не смотря на большое образованіе и талантливость, Шидловскій не оставилъ по себѣ памяти въ нашей литературѣ, но онъ оказалъ ей весьма большую услугу, подготовивъ такого писателя какъ Достоевскій, а потому его имя, особенно въ этой статьѣ, стоитъ упоминанія.

Черезъ годъ по опредѣленіи въ училище, братья Достоевскіе лишились родителей, и это обстоятельство много способствовало ихъ сближенію. Съ этого времени между ними началась горячая дружба, которая продолжалась неизмѣнно до самой смерти старшаго Михайла Михайловича.

Ѳедоръ Михайловичъ прекрасно учился, но ученію все же нѣсколько вредила страсть его къ литературѣ и исторіи. Не смотря на это, онъ окончилъ курсъ третьимъ изъ 30 человѣкъ. Выйдя изъ офицерскаго класса, служилъ онъ годъ въ Петербургѣ, въ Инженерномъ департа-

Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій. Съ фотографіи рис. и грав. А. Нейманъ.

ДОСТОЕВСКИЙ

Гравюра А. Неймана, 1878, по фотографии Н. Досса. Петербург, 1876

«Нива», 1878, № 1

самого Валентина Павловича. Этот Валентин Павлович, которого некоторые наши критики приняли за человека любящего, чуть не страдающего, за жертву самодурства и во всяком случае как протест самодурству,— гораздо хуже дурака и собственно тем, что он еще не вовсе дурак, а между тем также пошл, как дурак. Этот светящийся червячок, который своему лакею, за грубость его с уездным подъячим, замечает: «как ты груб»,— в то же время безо всякого угрызения совести, даже как-то невинно, т. е. совершенно несознательно, увлекает женщину, начинает с ней любовь и даже чуть-чуть ей самой не говорит: что это все pour passer le temps*, потому только, что скучно четыре дня без клубнички сидеть в городишке; и говоря это, он считает себя совершенно правым перед своею совестью.

ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, ед. хр. 81, лл. 186–187.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Павел Васильевич *Васильев 2-й* (1832—1879) — известный трагический актер. В 1847 г. окончил московское театральное училище и в течение 13 лет играл во многих провинциальных театрах, исполняя самые разнообразные роли. В 1860 г. Васильев заменил на петербургской сцене только что умершего Мартынова и скоро прославился в ролях Любима Торцова («Бедность не порок» Островского) и Расплюева («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина). В Александринском театре Васильев играл до 1874 г., а затем поступил в московский «Общедоступный театр». Лучшие роли Васильева — в пьесах Островского.

[2] Пьеса Островского «Грех да беда на кого не живет» была впервые напечатана в журнале «Время», 1863, № 1. Первое представление состоялось 21 января 1863 г. в Малом театре в Москве; в роли Краснова выступил Пров Садовский. Второе представление было в Александринском театре 23 января 1863 г. Роль Краснова поочередно исполняли П. В. Васильев и Ф. А. Бурдин.

[3] Федор Алексеевич *Бурдин* (1827—1887)—актер и переводчик; в 1847—1883 гг.— актер Александринского театра, исполнитель ролей в пьесах Островского. Бурдин с успехом выступал в бытовых ролях, однако героические и драматические роли ему не удавались, он играл их с ложным пафосом. А. Григорьев, резко критиковавший исполнение этих ролей Бурдиным, охарактеризовал такую игру как «бурдинизм», термин этот, по словам Григорьева, «распространился в театральном мире с замечательной быстротой» («Эпоха», 1864, № 1, стр. 422; № 3, стр. 240). В июльской и сентябрьской книжках «Эпохи» 1864 г. в статьях Д. В. Аверкиева появились также отрицательные отзывы об игре Бурдина. В ответ на это Бурдин направил резкое письмо Достоевскому как редактору «Эпохи», обвинив его в закулисных интригах, клевете и т. п. Сохранился черновик ответа Достоевского Бурдину (ноябрь — декабрь 1864 г.), в котором Достоевский пишет: «Если же я пропускал неодобрительные отзывы о вашем таланте, то единственно потому, что с этими отзывами я был сам согласен ⟨...⟩ Поверьте тоже, что всякий ваш успех, всякое действительное проявление вашего дарования мы встретим в нашем журнале с радостью. Я твердо убежден, что такие роли в вашем репертуаре существуют и искренне желаю вам полнейшего достижения цели. Искусство, которому вы служите,— высокое и благородное искусство. Но оно — трудное, очень трудное искусство и даже избраннейшим талантам, даже гениям не дается даром» («Письма», I, стр. 391—392).

[4] Достоевский имеет в виду повесть беллетриста А. П. Голицынского «Шестая часть света» («Русский вестник», 1862, январь — февраль), в которой есть такие строчки: «Но я готов прозакладывать свою голову, что вам не случилось встретить когда-нибудь влюбленного русского купца!»

[5] Роман М. В. Авдеева (отдельно издан в 1863 г.), написанный в подражание Тургеневу, посвящен теме лишнего человека и трагическому положению женщины в дворянском обществе.

---

* чтобы провести время (*франц.*).

ФРАГМЕНТЫ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Публикация И. Л. Волгина

Первое появление в печати неизвестных текстов «Дневника писателя» относится к началу 1920-х годов, когда С. А. Переселенков опубликовал запрещенную цензурой главку из январского «Дневника» за 1877 г.— «Старина о петрашевцах» [1]. В 1930 г. В. Л. Комарович обнародовал небольшой фрагмент (о Петербурге) из второй главы майского выпуска «Дневника» 1876 г. [2] В 1940 г. А. С. Долинин привел несколько неизвестных отрывков из «Дневника писателя» 1876—1877 гг [3].

Значительные по объему записные тетради Достоевского к «Дневнику писателя», опубликованные в т. 83 «Литературного наследства», существенно дополняют и углубляют наши представления о творческом генезисе «Дневника», очерчивают широкий круг исторических реалий, из которых вырастало это необычное для русской журналистики издание.

В статье, посвященной цензурной истории «Дневника писателя», автор настоящей публикации воспроизвел несколько неизвестных отрывков, относящихся к июльско-августовскому выпуску «Дневника» 1876 г., а также связал публиковавшиеся ранее тексты с теми цензурными перипетиями, через которые пришлось пройти некоторым номерам моножурнала Достоевского [4].

Ниже мы публикуем неизвестные фрагменты, относящиеся к «Дневнику писателя» 1876—1877 гг., т. е. к тому времени, когда «Дневник» функционировал как периодический орган. Приведенные тексты представляют собой автографы Достоевского (за исключением двух страниц, перебеленных рукой Анны Григорьевны) и находятся в творческих рукописях писателя.

Все до сих пор публиковавшиеся фрагменты из «Дневника писателя» можно разделить на две категории: 1) тексты, исключенные цензурой и 2) тексты, по тем или иным причинам отброшенные самим автором при окончательной редакции. Публикуемые нами фрагменты относятся ко второй категории.

Весьма различна степень завершенности каждого из фрагментов. Если отрывки 1 и 2, несомненно, представляют собой наборную рукопись, подготовленную к печати, то отрывки 3—6 являются черновыми набросками, которые не получили завершения при окончательной редакции.

Отличаются публикуемые тексты и по времени своего создания: среди них имеются как относящиеся к 1876 , так и 1877 гг.

Широк тематический диапазон этих материалов. Они затрагивают различные вопросы, на первый взгляд, мало связанные друг с другом. Такая многоплановость отражает полифоничность композиционной структуры самого «Дневника писателя». Не удивительно, что публикуемые фрагменты несут на себе печать тех художественных и идейных особенностей, которые присущи «Дневнику», как некоей целостной структуре. Целостность «Дневника писателя» (при всей его полифоничности) обусловлена в свою очередь единой нравственной доминантой [5].

Нам представляется, что некоторые из приведенных ниже фрагментов не попали в окончательный текст «Дневника писателя» в силу внутренней несвободы Достоевского, в силу той борьбы, которая происходила в нем при определении главной публицистической линии его издания.

Наиболее значительный по объему отрывок (№ 1) предназначался Достоевским для первой большой главы майско-июньского выпуска «Дневника» 1877 г. (описание каж-

дого отрывка и обоснование его принадлежности к той или иной главе «Дневника» см. в комментариях). Первая малая главка этой главы в печатном тексте носит название «Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года». Достоевский приводит латинский текст (снабдив его параллельным русским переводом) из мистической книги XVI века.

В обычной для своего «Дневника» манере, избегая прямых оценок в том случае, когда это не касается «заветных убеждений», полунасмешливо-полусерьезно говорит Достоевский о процитированном им предсказании: «Конечно, темновато, но согласитесь, однако ⟨...⟩, что это как будто и похоже на теперешнее...» (XII, 126). Завершая главку, писатель роняет следующее характерное замечание: «Но оставим Иоанна Лихтенбергера. Серьезно говорить обо всем этом трудно; все это лишь мистическая аллегория, хотя бы и похожая несколько на правду» (XII, 128).

Зачем же в таком случае понадобился Достоевскому Иоанн Лихтенбергер? Отталкиваясь от старинного пророчества, Достоевский исподволь переходит к вполне серьезной и едва ли не центральной теме «Дневника» — исторической миссии русского народа.

Публикуемый отрывок является логическим и тематическим продолжением этой главки майско-июньского «Дневника». Но в отличие от самой главки, где предсказание Лихтенбергера выступает лишь как повод для более серьезных историко-философских обобщений, настоящий отрывок целиком посвящен несколько необычному и никогда более не встречающемуся в «Дневнике» вопросу о том, существует ли пророчество, т. е. «существует ли в человеке способность пророческая?»

С первых же слов Достоевский делает очень существенное, на наш взгляд, предуведомление: «Говоря так, я предполагаю лишь естественную способность, заключающуюся в организме человека (или даже нации), но, разумеется, исключаю из вопроса моего совершенно дар пророчества, о котором говорит священное писание. Та тема особенная и к настоящему вопросу не подходящая».

Эта оговорка устраняет всякую связь того явления, которое Достоевский именует «даром пророчества», не только с его возможным мистическим истолкованием, но и с самой христианской традицией. Правда, терминология остается традиционной (да и какую иную терминологию мог бы тогда употребить Достоевский!), но говоря о «даре пророчества», писатель совершенно недвусмысленно ставит вопрос на естественнонаучную основу и рассматривает его целиком и полностью в границах реально познаваемой действительности.

Это — чрезвычайно знаменательное обстоятельство.

70-е годы XIX столетия характеризовались, с одной стороны, огромным усилением интереса русского общества к успехам положительных наук и, не в последнюю очередь, — физиологии и психологии, а с другой — повышенным и обостренным вниманием к «таинственным» явлениям человеческой психики. Именно к середине 1870-х годов на отечественной почве пышно расцветает спиритизм (А. Н. Аксаков, Н. П. Вагнер, А. М. Бутлеров). В 1872—1874 гг. на страницах «Вестника Европы» между И. М. Сеченовым и К. Д. Кавелиным развернулась нашумевшая «психологическая» полемика, несомненно известная Достоевскому, в библиотеке которого была книга одного из ее участников — «Рефлексы головного мозга».

Автор «Преступления и наказания» — и в силу особенностей своего художнического сознания и по складу своей личности — всегда проявлял чрезвычайный интерес к глубинным, подспудным движениям человеческой психики. Приводимый ниже неизвестный отрывок еще раз свидетельствует об этом.

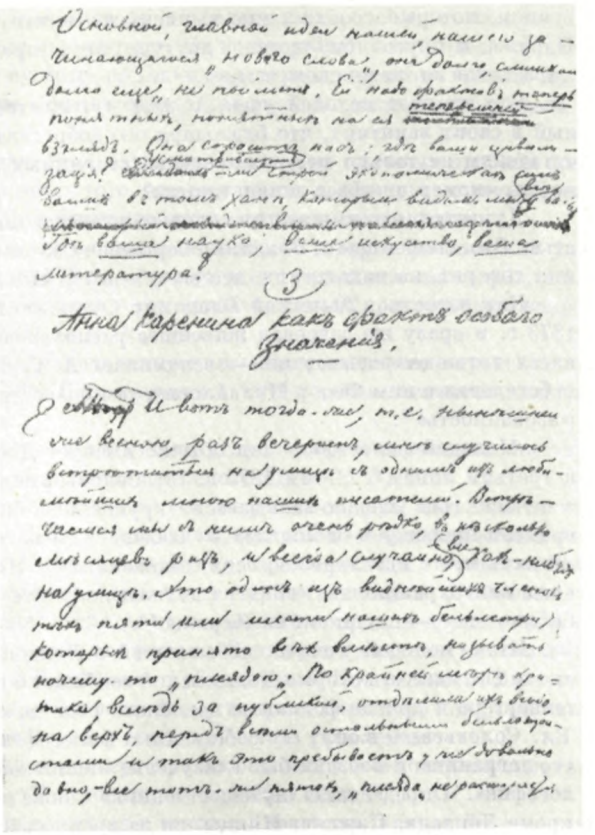
Тематически отрывок № 1 примыкает к высказываниям Достоевского по поводу спиритизма, занявшим довольно значительное место в январском, мартовском и апрельском «Дневнике» 1876 г.

Отношение Достоевского к спиритизму прослежено нами в работе «Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог»[6]. Рассуждения автора «Дневника» в публикуемом отрывке о так называемом «даре пророчества» принципиально совпадают с той позицией, которую Достоевский занял в дискуссии о спиритизме, и вытекают из нее.

РУКОПИСЬ СТАТЬИ ДОСТОЕВСКОГО О РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА» ДЛЯ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ», 1877 г.

Лист 1

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва



Основной, главной идеи нашей, нашего за-
мечающегося „нового слова", она долго, слишком
долго еще, не поймет. Ей надо фактов, теперь
понятных, понятных на ей теперешний
взгляд. Она спросит нас: где ваши цивили-
зация? Покажите — мне строй экономический ваш,
ваши в той ханже, которым видимы ваши
Где ваша наука, ваше искусство, ваша
литература?

3

Анна Каренина как факт особого
значения.

И вот тогда-то, т. е. невольно
чье-нибудь раз вечерком, много случилось
встретиться на улице с одним из любо-
пытнейших много наших писателей. Встре-
чаемся мы с ними очень редко, в каком-
нибудь году раз, и всегда случайно, где-нибудь
на улице. Это один из выдающихся умов
тех пяти или шести наших беллетристов,
которых принято все вместе, называть
нечему, то „плеядою". По крайней мере так
всегда за публикой, отличающей их всех
на вере, перед всеми остальными беллетри-
стами и так это пребывает, по-видимому
до сих пор тех пяти, „плеяда не расширяет-

Не отвергая априорно возможности подобного «дара» («дар» этот, как следует из контекста, включает в себя и круг явлений, именуемых в современной науке телепатическими), Достоевский отнюдь не выводит эту возможность из какого-нибудь потустороннего источника. Писатель лишь ставит вопрос о вероятности «пророческого дара», всецело связывая последний с естественными, органическими, но еще не раскрытыми потенциями человеческого существа.

Нельзя забывать, что в то время, когда Достоевский писал «Дневник», психология только конституировалась как самостоятельная наука, она не была еще способна с достаточной ясностью представить место психических явлений в общей картине бытия или, выражаясь словами Сеченова, черты соизмеримости психических процессов.

Если, с одной стороны, слабая изученность «мостов» между физиологическими особенностями организма и тончайшими душевными движениями создавала питательную среду для различных идеалистических представлений, то, с другой стороны, то же обстоятельство способствовало распространению в психо-физиологии теорий вульгарного материализма.

Можно лишь удивляться поразительно трезвой интуиции Достоевского, которая позволила писателю избегнуть крайностей современных ему концепций. Как и в дискуссии о спиритизме, автор «Дневника» выступает в публикуемом отрывке за объективность и непредвзятость научного исследования.

Приводя в майско-июньском «Дневнике» 1877 г. цитату из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, Достоевский пишет, что эту выписку сообщил ему «один из наших молодых ученых» и что этот «престранный документ» был найден упомянутым ученым «в Лондоне, в королевской библиотеке» (XII, 125). В публикуемом отрывке Достоевский снова ссылается на свой «источник информации»: «Тот же [исследователь] путешест-

венник, который сообщил мне выписку из книги Иоанна Лихтенбергера, отыскал в Париже, в другой библиотеке другую книгу предсказаний, тоже шестнадцатого века и тоже на латинском языке».

Кто же этот молодой ученый, этот путешественник-инкогнито, столь пунктуальный в своих занятиях, что благодаря его добросовестности Достоевский мог сообщить читателям не только местонахождение старинных фолиантов, но, в случае необходимости, «номер шкафа и номер книги»?

Думается, что имя этого «молодого ученого» можно назвать с большой уверенностью. Это, скорее всего, Владимир Сергеевич Соловьев. В пользу подобного предположения говорят, на наш взгляд, весьма убедительные доказательства.

Как известно, 20-летний Владимир Соловьев познакомился с Достоевским зимой 1873 г. и сразу же завоевал живейшее расположение писателя. «Впечатление он произвел тогда очаровывающее,— вспоминает А. Г. Достоевская,— и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность» [7].

«Молодой философ» — так обычно именует Достоевский Вл. Соловьева в письмах к третьим лицам [8]. Летом 1875 г. Вл. Соловьев получает заграничную командировку и в течение года усердно занимается в крупнейших библиотеках Европы. «Большую часть времени провожу в библиотеке,— сообщает он матери.— Библиотека Британского музея есть нечто идеальное во всех отношениях» [9]. Побывал Вл. Соловьев и во французских книгохранилищах: «Завтра должен получить билет для занятий в Национальной библиотеке»,— пишет он из Парижа [10].

Итак, молодой ученый, побывавший в Лондоне и Париже,— все это соответствует тем сведениям, которые Достоевский сообщает о своем знакомце. Книга Иоанна Лихтенбергера и другие фолианты подобного рода должны были оказаться в поле зрения Вл. Соловьева [11] в силу его собственных философских склонностей и потому, что целью его заграничной поездки было «изучение индийской, гностической и средневековой философии». Определение «путешественник» также вполне приложимо к Вл. Соловьеву: кроме Лондона, Парижа, Ниццы, он за время своей командировки успел также побывать в Египте.

Вл. Соловьев вернулся в Россию летом 1876 г., а 4 марта 1877 г. был назначен членом Ученого комитета при Министерстве народного просвещения. С этого момента он постоянно живет в Петербурге. Таким образом, весной 1877 г., когда Достоевский «вынашивал» майско-июньский номер своего «Дневника», у Соловьева было достаточно возможностей регулярно встречаться с писателем.

Публикуемый отрывок свидетельствует о том, что диапазон духовного общения Достоевского и Соловьева не замыкался одними религиозно-философскими проблемами.

Известен интерес, проявлявшийся Соловьевым к малоизученным феноменам человеческой психики, для определения которых он пытался ввести универсальный термин «психургические». Весьма близки оба мыслителя и в своем негативном отношении к спиритизму. «Правда спиритизма,— писал Соловьев А. Н. Аксакову,— по-моему, только в том, что он признает необходимость объективной основы для религии, но та, которую он в самом деле делает, т. е. явления духов, оказывается негодной, потому что она, во-первых, недостаточно объективна, а во-вторых, лишена внутреннего религиозного значения» [12]. Однако здесь можно проследить одно существенное различие. Хотя для Достоевского, как и для Соловьева, спиритизм тоже «лишен внутреннего религиозного значения», писатель отнюдь не ставит ему в заслугу того обстоятельства, что последний якобы «признает необходимость объективной основы для религии». «Нет уж лучше чистый атеизм, чем спиритизм!» — этими словами заканчивается публикуемый отрывок.

Этот, не вошедший в «Дневник писателя» текст, проливает дополнительный свет на гносеологические представления Достоевского и, как нам кажется, вступает в ощутимое противоречие с той традицией, которая, безоговорочно зачисляя писателя в число мыслителей-мистиков, всячески затушевывает рационалистические моменты его мирочувствования.

Миросозерцание Достоевского, покоящееся на религиозной основе, совсем не определялось собственно мистическими элементами. Да и сам религиозный идеал ставился Достоевским столь высоко, что суетные попытки подтверждения этого идеала через какие бы то ни было эмпирические или же сверхъестественные явления выглядели в его глазах жалкой профанацией.

Отрывок, публикуемый нами под № 2, затрагивает одну из главных проблем всей публицистики Достоевского. Он касается того, что составляло саму «душу живу» «Дневника писателя» — вопроса о народе и интеллигенции, их взаимоотношении.

«Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его,— говорит Достоевский уже во втором, февральском, «Дневнике» 1876 г.,— теперь у нас *самый важный вопрос*, в котором заключается *все наше будущее*, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь» (XI, 185.— Курсив мой.— *И. В.*).

Преодоление духовного разрыва народа и интеллигенции, достижение нравственного единства всего общества — эта idee fixe, начиная с 1860-х годов, неизменно выдвигалась и отстаивалась Достоевским.

Но публикуемый отрывок интересен не только углублением и развитием уже знакомой темы. Важно уяснить его местоположение в тексте «Дневника».

Дело в том, что этот фрагмент служит как бы введением к двум большим главам июльско-августовского «Дневника» 1877 г. Эти главы целиком посвящены восьмой части «Анны Карениной». В них дается самая развернутая характеристика творчества Льва Толстого, какая только встречается во всем литературном наследии Достоевского. Достоевский формулирует здесь свои взгляды на восточный вопрос, в корне отличные от тех, какие были высказаны Толстым в его романе. Этот пункт является чрезвычайно важным для понимания нравственной сущности публицистики Достоевского. В различном отношении двух великих писателей к восточному вопросу сказались два различных подхода к кардинальнейшим нравственным и историческим проблемам.

Достоевский гениально уловил и подверг критике зачатки того миросозерцания, которое окончательно сложилось у Толстого лишь в 1880-е годы [13].

Публикуемый отрывок, будучи сохранен в тексте «Дневника», придал бы «толстовским» главам характер весьма широкого обобщения. Его исключение из окончательного текста, несомненно, ослабило персональную направленность критики, смягчило ее общую тональность и — что важнее всего — устранило возможность соотнести позицию самого Толстого с кругом тех общественных явлений, о которых с негодованием говорит здесь Достоевский.

Отрывок № 3, предназначавшийся для майского «Дневника» 1876 г. носит, так сказать, объяснительный характер. Это объяснение было вызвано совершенно неожиданными для читателей «Дневника» словами, содержавшимися в предыдущем, апрельском, выпуске. Достоевский писал в нем о неизбежном крахе великих европейских держав, которые «все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих». В России же, по мысли Достоевского, этого не может случиться, так как «наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворен, ибо все к тому идет, общим настроением, или лучше согласием» (XI, 267).

Характерно, что писатель был вынужден вернуться к этому вопросу под влиянием читательских откликов. Отвечая в майском «Дневнике» на протестующее письмо одного из своих корреспондентов, он признает, что «получил уже сведения и о некоторых других мнениях, тоже не согласных с моим убеждением о довольстве нашего „демоса“» (XI, 306).

Автор «Дневника» счел необходимым объясниться. И немудрено: заявление о «довольстве демоса», толкуемое буквально, звучало явным диссонансом во всей публицистике Достоевского и не могло не вызвать у его читателей удивления и неприязни.

Летом 1876 г. писателю могло казаться, что сама жизнь санкционирует реализацию его идеала. Подобную возможность Достоевский усмотрел в движении солидарности с борьбой славян за освобождение — движении, которое, по мысли писателя, было призвано положить начало духовному соединению интеллигенции и народа. Со-

бытия, вызванные восточным кризисом 1870-х годов, явились для Достоевского своего рода «пророчеством и указанием».

Следует признать, что та социальная иллюзия, которую Достоевский с исключительной настойчивостью и талантом поддерживал в своем «Дневнике», не была лишь случайным порождением его писательской фантазии, а имела определенные корни в реальной действительности.

Период 1876—1877 гг. следует непосредственно после неудачи «хождения в народ» и перед второй революционной ситуацией, перед выстрелом Веры Засулич и вспышкой народовольческого террора. Это период мощного и, можно сказать, всенародного движения помощи славянам, когда в рядах русских добровольцев в Сербии Степняк-Кравчинский сражался «рядом» с генералом Черняевым и когда в самой России к солидарности со «славянскими братьями» призывали все без исключения органы печати — от «Московских ведомостей» до «Отечественных записок», хотя бы и руководствуясь при этом весьма различными побуждениями.

Но 1876—1877 гг. вместе с тем и время больших ожиданий: освободительная миссия России на Балканах не могла не породить надежд на «увенчание здания» в самой России — надежд на завершение реформ, начатых в 1860-е годы царствованием Александра II. «Куда пойдет страна?» — этот вопрос не снимался с повестки дня вплоть до 1 марта 1881 г. и последовавших за ним событий.

В создавшейся исторической ситуации Достоевский видел возможность совершенно исключительного для России социального исхода. Эта идеологическая аберрация поддерживалась помимо прочего давним убеждением писателя, что освобождение крестьян «сверху» обнаружило в России историческую потенцию нравственного, «полюбовного» решения всех социальных проблем. Недаром в приводимом отрывке, обосновывая свою точку зрения, Достоевский указывает на «этот несомненный, чистый, бескорыстный демократизм общества, начавшийся еще давно и проявивший себя освобождением крестьян с землею».

Таким образом, само общество, «начиная с самого верху», должно, по мысли Достоевского, пойти навстречу народу — вот почему «наш демос 〈...〉 чем далее, тем более будет удовлетворен». И если в настоящем,— пишет Достоевский,— еще многое неприглядно, то, по крайней мере, позволительно питать большую надежду, что временные невзгоды демоса непременно улучшатся...» (XII, 276).

Надеждам писателя не суждено было осуществиться. Его исторический оптимизм не нашел подтверждения: напрасно он полагал, будто бы «противников демократизма 〈...〉 у нас теперь очень мало». Кстати, в рукописи окончание этой фразы (и всего рассуждения) выглядит несколько иначе: «очень мало, что почти и нет, а если и есть, то попрятались» [14].

Надо сказать, что уже к 1877 г. многие иллюзии Достоевского были развеяны самой жизнью. Поэтому тон «Дневника» 1877 г. несколько иной. В этом смысле интересно сравнить отрывок № 3 (1876 г.) с отрывком № 2 (1877 г.) — между ними почти годовой интервал. И если в мае 1876 г., говоря о «временных недугах» общества, Достоевский заявляет, что оно тем не менее «становится [народным] хочет стать народом», то уже в августе следующего года, в отрывке, чрезвычайно резком по тону, писатель не находит для этого общества никаких добрых слов.

Помимо публикуемых ниже отрывков приведем здесь еще несколько фрагментов из черновой рукописи, к майскому «Дневнику» 1876 г., которые не вошли в окончательный печатный текст.

Первый из этих отрывков предназначался для главки «Одна несоответственная идея», посвященной самоубийству акушерки Писаревой. Писатель ссылается еще на один случай самоубийства:

«Под Москвой, за городом застрелился один семинарист в Богородске, кажется, нет со мной теперь этого номера газеты, он не нуждался, был обеспечен, но оставил записку, что не хочет жить вором» [15].

Любопытны неопубликованные фрагменты из главки «Нечто об одном здании. Соответственные мысли». Повествуя о своем посещении Воспитательного дома, Достоевский делает, как обычно, далеко идущие обобщения. Он пишет о судьбе детей, этих

РУКОПИСЬ
СТАТЬИ ДОСТОЕВСКОГО
О РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО
«АННА КАРЕНИНА»
ДЛЯ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»
1877 г.
Лист 2
Библиотека СССР им. В. И. Ленина,
Москва



«вышвырков», о которых, по мысли писателя, должно заботиться все общество — дать им образование, «и даже самое высшее образование всем, провесть через университеты ⟨...⟩ одним словом, не оставлять их как можно дольше, и это, так сказать, всем государством, принять их, так сказать, за общих, за государственных детей». Далее Достоевский писал: «материнство разве может исчезнуть?» Напротив, может быть, если общество возвысится до гуманной идеи о сознании своего долга к этим несчастным вышвыркам, то не может оно и само не улучшиться, а в улучшенном обществе улучшится и мать, улучшится и сознание долга родительского. Долг же общества к этим вышвыркам ясен: если государство признает, что семейство есть основание обществу, долгу, чести, всему государству, будущему его, всему человеческому целому, то чем небрежнее оно отнесется к этим вышвыркам, тем вправе лишить их средств приобресть чувства долга, чести, гражданина — т. е. всего того, что приобретается в семействе, стало быть, рискует породить негодяев самому себе же во вред».

На этой же странице рукописи располагается еще один отрывок, исключенный при окончательной редакции: «По-моему христианство едва только начинается у людей. Дело именно [в том-то и дело] должно разрешиться нравственной, т. е. самой трудной стороной. А начать разрешать, что тут законно и незаконно, другим путем — непременно провалишься. А впрочем, если в фельетоне заговоришь об этих темах, то непременно провалишься, а потому замолчу. К тому же я с самого начала объявил , что скажу только лишь по поводу, и что здание это придется еще и еще раз поглубже исследовать»[16].

Мы видим, с какой последовательностью осуществляется Достоевским единство в подходе ко всем затрагиваемым проблемам: этический критерий приобретает в «Дневни-

ке» характер абсолюта — с точки зрения нравственности оцениваются как всемирно-исторические события, так и «мелкие», казалось бы, явления общественного бытия. Этическое пространство «Дневника» нераздельно: макрокосм соединен здесь с микрокосмом, их стихии слиянны.

В связи с посещением Воспитательного дома находится и упоминание Достоевским романа Виктора Гюго «Отверженные» [17]. Достоевский развивает свою мысль о судьбе незаконнорожденных детей; «Les miserables» вспоминаются именно по этому поводу: «Поэзия иногда касается этих типов, но редко. Кстати мне припомнился сыщик Javert из романа Victora Гюго „Les miserables“ — он родился от матери с улицы, чуть ли не в укромном уголке, ⟨...⟩ и всю жизнь ненавидел этих женщин. Он за ними присматривал как полицейский и был их тираном. Он всю жизнь обожал крепкий порядок, данный строй общества, богатство, имущество, родоначальность, собственность и не как лакей, о, совсем нет. Я ничего не читал глубже в этом „отрицательном“ роде. Говорят о реализме в искусстве: Javert не реализм, а идеал, но ничего нет реальнее этого идеала» [18].

Фрагменты, публикуемые под № 4 и № 5, представляют собой тонкие социально-психологические зарисовки. В этих отрывках Достоевский как бы намечает своеобразную классификацию различных психологических типов русского общества.

Интересно, что развиваемые здесь идеи почти в том же виде присутствуют уже в черновых записках к «Подростку». В этом нетрудно убедиться, сопоставив оба текста. В записях к «Подростку» читаем: «Нигилисты — это [мы] в сущности были мы, вечные искатели высшей идеи. Теперь же пошли или равнодушные тупицы или монахи. Первые — это „деловые“, которые очень, впрочем, нередко застреливаются, несмотря на всю свою деловитость. А монахи — это социалисты, верующие до сумасшествия, эти никогда не застреливающиеся.

— Полноте, нигилисты ли не застреливаются?

— Это попавшие в нигилизм ошибкой. Нигилизм без социализма — есть только отвратительная нигилятина, а вовсе не нигилизм. Так и называй: „нигилятина“. Тут или глупость, или мошенничество, или радость праву на бесчестье, но вовсе не нигилизм. Всего же чаще радость праву на бесчестие. Настоящий нигилизм, истинный и чистокровный, это тот, который стоит на социализме. Тут все — монахи. Чистый монастырь, вера беспредельная, сумасшедшая. Потому-то и отрицается все [весь свет], что противно социализму, что веруют. Все, что не по вере их, то и отрицается. А что не по вере их? Весь наш мир. Вот наш мир и отрицается.

Подросток. Что ж, тут все разряды или есть еще?

— Есть еще третий разряд — чистокровные подлецы всех сортов, но эти всегда и везде одинаковы, так что об них не стоит и говорить» [19].

Этот же цикл идей повторяется в публикуемых фрагментах. И там и здесь сближаются нигилизм и идеализм как явления, проистекающие из одного источника, и там и здесь проводится членение на «разряды». Совпадают даже словесные формулировки («право на бесчестье»). «Идея, попавшая на улицу»,— этот мотив вновь и вновь повторяется писателем. «Высшая мысль» опошляется «золотой серединой». Как уже указывал А. С. Долинин, толкование Достоевским этого вопроса приближается к положениям известной статьи Н. К. Михайловского «Идеализм, реализм и идолопоклонство», автор которой говорит о том, что «пришлые люди, подобрав наши краткие и ясные формулы ⟨...⟩, навесили на них всевозможные грязные поползновения, всяческую низость, всякое, совсем не подходящее нравственное тряпье, подобранное ими на заднем дворе практической жизни» [20].

В последнем из публикуемых отрывков (№ 6) речь по сути дела идет о тех же нравственных коллизиях, которые занимали особенно большое место в творчестве Достоевского, начиная с «Записок из подполья» и «Преступления и наказания». Нетрудно заметить, что суждения «парадоксалиста» строятся на своеобразно трансформированных идеях «разумного эгоизма» — именно в том виде, какими они становятся, «попав на улицу». С другой стороны, рассуждения «парадоксалиста» восходят к кругу «женевских идей», т. е. к учению Руссо о нравственности, вытекающей не из «любви к ближнему» как таковой, а из некоего «нравственного эгоизма» (ср. запись к «Подростку»:

«Он ненавидит женевские идеи (т. е. человеколюбие, т. е. добродетель без Христа) и не признает в добродетели ничего натурального») [21].

Впервые публикуемые фрагменты рукописи «Дневника писателя» дополняют наши представления об этом произведении Достоевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Старина о «петрашевцах». Публикация и пояснительная статья С. Переселенкова.— В кн.: «Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Пб., Сб. 1, 1922, стр. 369—375.

[2] В. Л. Комарович. Петербургские фельетоны Достоевского.— В кн.: «Фельетоны сороковых годов». Ред. Ю. Г. Оксмана. М.— Л., 1930, стр. 118—119.

[3] А. С. Долинин. Новое о Достоевском.— «Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им. М. Н. Покровского. Факультет языка и литературы», т. IV, вып. 2, 1940, стр. 311—320.

[4] И. Л. Волгин. Достоевский и царская цензура. (К истории издания «Дневника писателя»).— «Русская литература», 1970, № 4, стр. 112—114.

[5] Подробнее см. И. Л. Волгин. Нравственные основы публицистики Достоевского. (Восточный вопрос в «Дневнике писателя».) — «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 1971, т. XXX, вып. 4, стр. 312—324.

[6] См. И. Л. Волгин, В. Л. Рабинович. Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог.— «Вопросы философии», 1971, № 11, стр. 103—115.

[7] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 254.

[8] «Письма», IV, стр. 9, 33.

[9] «Письма Владимира Сергеевича Соловьева». Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1908, т. II, стр. 5.

[10] Там же, стр. 28.

[11] Э. Л. Радлов. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. СПб., 1913, стр. 14.

[12] «Письма В. С. Соловьева», т. II, стр. 279.

[13] Об этом см. подробнее в статье «Нравственные основы публицистики Достоевского».

[14] ИРЛИ, ф. 100, № 2461. ССХб. 10, л. 21 (нумерация авторская).

[15] Там же, л. 18.— Достоевский, по-видимому, имеет в виду заметку в «Московских ведомостях», 1876, № 122, 17 мая, о самоубийстве в Останкине (а не в Богородском) Г. М. Холмогорова. Холмогоров был не «семинаристом», а имел звание сельского учителя и служил в правлении Московско-Рязанской железной дороги. Он оставил записку: «Застрелился потому, что не умею грабить». В тетради Достоевского за 1876—1877 гг. имеется запись: «Застрелившийся в Останкине учитель» («Лит. наследство», т. 83, стр. 537).

[16] Там же, л. 15.

[17] О творчестве В. Гюго Достоевский говорит неоднократно; впервые еще в 40-х годах. Так, в письме к брату: «Victor Hugo как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, и никто не сравнится с ним в этом...» («Письма», I, стр. 58). См. также «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, стр. 244 (первая пагинация); «Письма», III, стр. 206; А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 258.

[18] ИРЛИ, ф. 100, № 2461. ССХб. 10, лл. 15—16.

[19] «Лит. наследство», т. 77, 1965, стр. 125—126.

[20] Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 4. СПб., 1909, стр. 40—41.

[21] «Лит. наследство», т. 77, стр. 89.

⟨1⟩

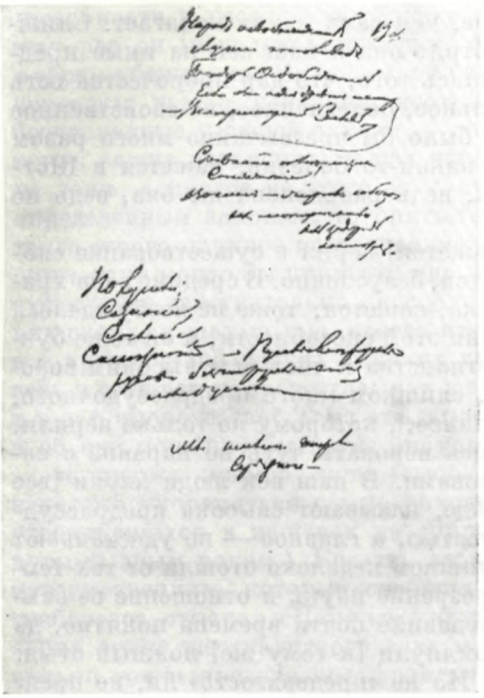
* [А кстати уж еще раз и отступая от дела, и пусть это будет глава лишняя: существует ли пророчество, т. е. существует ли в человеке способность пророческая? Говоря так, я предполагаю лишь естественную способность, заключающуюся в организме человека (или даже нации), но, разумеется, исключаю из вопроса моего совершенно тот дар пророчества, о котором говорит священное писание. Та тема особенная и к настоящему вопросу не подходящая. Современная наука, столь много трактующая о че-

* *Конец текста, находящегося в ЛБ. Далее следует текст по рукописи, хранящейся в ИРЛИ.*

ловеке и даже уже решившая много вопросов окончательно, как сама она полагает, кажется никогда еще не занималась вопросом о способности пророчества в человеке] — // [потому ли что ей некогда было или потому что не находилось достаточно фактов для начала исследования [тем не менее даже], или даже для возбуждения самого вопроса] [Тем не менее] [Кстати] В вопросе о способности пророчества в человеке, способности предчувствий и т. д. уверены очень многие в наше время [и даже слишком многие] и, главное, даже из самых образованных людей. Правда, никто не умеет ничего сказать точно, и все только разводят руками перед фактом. [Но хорошо ли так оставлять дело со стороны науки, хорошо ли оставлять нечто предвзятое, а, может быть, и совершенно предрассудочное в людях. Наука находит же бесспорно необходимым, прежде всего, искоренение предрассудков, для расчистки себе поля действия, а мистические предрассудки всех сильнее.] [А потому] Но факты, факты: * Как же начинать науке без твердых фактов? Вот для того-то их и надобно проверить, и ученый, если б пожелал ими заняться, нашел бы их сколько угодно. Он сразу вывел бы два презанимательных для него заключения: 1) чем презрительнее относится к ним наука, тем сильнее они размножаются и 2) что верующих в эти факты не одна лишь чернь, не одни лишь необразованные, а, напротив, найдутся и немало высокообразованных людей и даже ученых. Само собою, крупные и, так сказать, исторические факты, даже и [неда<вние>] столь давние, трудно проверить. Предсказание, н<а>прим<ер>, того француза, который, в семидесятых годах прошлого столетия на одном тогдашнем «ужине» предсказал смерть короля [с замеча] и всего королевского дома, с замечательною подробностью, что одному королю дадут в последние минуты перед казнью духовника,— предсказание это, несмотря на то, что засвидетельствовано одной писательницей, конечно, трудно теперь проверить и считается недоказанным. Любопытно только то, что предсказание это было высказано без малейшего мистического или религиозного оттенка, светским, хотя и весьма странным, как передано, человеком. Более, кажется, доказанными считаются предсказания Сведенберга в Швеции, [ученого много] известного ученого, много оказавшего пользы в свое время своему отечеству по минералогии и по устройству рудокопен[1]. Он написал несколько мистических сочинений и одну удивительную книгу о небесах, духах, рае и аде, как очевидец, уверял, что загробный мир раскрыт для него, что ему дано посещать его сколько угодно и когда угодно, что он может видеть всех умерших, равно как всех его духов и низших и высших и имеет с ними сообщение. Вот про него-то идет предание, что он, по смерти одной коронованной особы, по просьбе // королевы отыскал какие-то важные затерянные бумаги, отправившись нарочно затем в небеса переговорить с покойником. Что книга его о небесах, аде и рае — искренняя и не лживая — в этом не может быть ни малейшего сомнения, но в то же время нет ни малейшего сомнения в том, что она плод болезненной галюсинации, начавшейся у него лишь в летах преклонных и продолжавшейся 25 лет и, что всего замечательнее, продолжавшейся именно в эпоху самой плодотворной научной его деятельности. В том же, что книга эта есть плод галюсинации, убедится всякий, ее прочитав: в ней до того выразился протестант со всем духом протестантства и с его предрассудками, что не останется ни малейшего сомнения, по прочтении ее, что она вышла вся лишь из души и сердца самого автора, конечно, вполне веровавшего в истинность своей галюсинации. Но если б [возможно было к тому же доказать и истинность] к тому же была доказана и истинность факта об отысканных после покойника бумагах [2],—

---

* *С этой фразы начинается вставка, расположенная на лл. 7—8 (пагинация архивная).*



Гг. члены С. Петербургскаго Отдѣла Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія приглашаются въ засѣданіе, имѣющее быть въ *Четвергъ, 22 сего Января*, въ 8½ часовъ вечера, въ помѣщеніи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества, у Черныша моста, домъ бывшій Министра Народнаго Просвѣщенія.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАНЯТІЙ:

1. Продолженіе разсужденій по поводу Боинской конференціи.
2. Заявленіе по тому же предмету члена Общества А. В. Тачалова.
3. Выдержки изъ корреспонденціи секретаря Отдѣла съ Англо-Континентальнымъ Обществомъ.
4. Сообщенія Секретаря Отдѣла о старо-католическомъ движеніи въ Италіи.

Лица не состоящія Членами С. Петербургскаго Отдѣла Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія, но интересующіяся вопросами, предложенными обсужденію, допускаются въ засѣданіе въ качествѣ гостей.

Въ этомъ засѣданіи будетъ раздаваться Гг. членамъ, не бывшимъ на прошломъ засѣданіи „Сборникъ Протоколовъ за 18⁷⁵/₇₆ годъ.“

Секретарь Отдѣла покорнѣйше проситъ Гг. членовъ мѣняющихъ свои квартиры — сообщать ему новые свои адреса.

А. А. Кирѣевъ живетъ: Фонтанка, д. № 47.

ЗАПИСИ ДОСТОЕВСКОГО К «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ», 1876 г.

Сделаны на повестке С.-Петербургского отделения «Общества любителей духовного просвещения» 22 января 1876 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

то для науки получился бы важный факт, а именно болезненность того состояния, при котором возможно в человеке пророчество, или, лучше сказать, что пророчество есть лишь болезненное отправление природы человеческой. Но все это было давно. В наше время, как на крупный факт, лет тридцать или сорок сряду, указывали на гадальщицу мадмуазель Ленорман [3]. Этой еще и теперь есть свидетели и даже до сих пор помещаются иногда в газетах известия о ее чрезвычайных и точных предсказаниях иным лицам *. Если способность пророчества действительно есть в человеке, заключается в самой природе его, в организме его, положим при известных, особых усл⟨овиях⟩, но совершенно естественных условиях, то как бы хорошо и полезно было разъяснить, очистить факт, хотя бы только от мистической его примеси. Вопросы же сами собой представляются: Если действительно существует дар пророчества, то как болезнь или как нормальное отправление? Если существует способность пророчества, то во всех ли людях, более или менее разумеется, или в самых редких случаях, из множества миллионов людей в одном каком-нибудь экземпляре? И проч. и проч. Правда, заниматься даже [этим] таким вопросом, даже только ставить его как тему исследования, в наш век *недостаточно // либерально* и может *компрометировать* серьезного человека, тем более научного исследователя, но лучше что ли, если люди будут веровать про себя, тишком, да тайком, бог знает во что? Я осмеливаюсь выразить мнение, что подобные верования, оставленные без внимания и разъяснения, без расчистки, так сказать, поля, вредят делу преуспеяния человеческого

* *Конец вставки.*

и самой даже науке несравненно более, чем сама наука полагает. Слишком уж высокомерно и предвзято смотрит она в наш век на иные предметы. Если бы, например, наука добилась того, что дар пророчества есть дело естественное, хотя бы и ненормальное, болезненное, но свойственное организации человека, тогда, думаю, было бы чрезвычайно много разом порешено. (Ведь есть же, например, какая-то болезнь, кажется в Шотландии, называемая двойным зрением, ведь разъяснена же она, ведь не верят же в нее как в чудо?)

Древний мир, до христианства, [кажется] верил в существование способности пророчества в человеке, кажется, безусловно. В средние века христианства и даже в весьма недавние века, кажется, тоже не возбуждалось ни малейшего сомнения в существовании этой способности, и ей тоже буквально все верили. В эти века христианства к чистым и высоким верованиям примешивалось, как известно, слишком много предрассудочного, чудовищного и отвратительного [и, главное,], которому не только верили, но, что главное, которому повелевалось веровать чуть не наравне с самыми незыблемыми религиозными основами. В наш век люди науки [все это] много из того, чему верили прежде, называют свысока предрассудками, предвзятыми идеями, болезненностью, а главное — не удостаивают даже исследования, правда, мы еще слишком недалеко отошли от тех темных веков и влияния их, так // что презрение науки и отношение ее свысока ко многому, что было в те еще недавние почти времена понятно, да и образовался к тому же, как мы упомянули [к тому же] ложный стыд: недостойно-де науке этим заниматься. Но не «предвзятость» ли, не предрассудок ли со стороны науки так относиться к иным вещам, голословно и ничего не разъяснив в точности. Вспомните, что в человеке вообще, и кто бы он ни был, в чрезвычайной силе развито [убеждение] верование, хоть не в пророчество, но, например, в способность предчувствия. В этой способности предчувствия убеждены люди лично, про себя, чуть не все сплошь. Если же она есть (а почти ведь наверно можно сказать, что она существует) то что она такое? И удостоил ли кто из людей науки обратить на нее ⟨1 *нрзбр.*⟩ внимание серьезное? А между тем, сообразите, сколько может произойти от этого верования в способность собственного, личного предчувствия — других убеждений, например, хоть лишь убеждение в дурном глазе: т. е. в способности сглазить, прямо проистекающая из способности предчувствия,— убеждение, которому веровали и продолжают веровать столь многие из самых образованнейших людей. Кстати, один недавний анекдот о дурном глазе: нынешней весной один мой знакомый (не могу назвать его имени) зашел как-то, по встретившемуся делу, на Охту, где не был почти пятнадцать лет. Прежде и особенно в детстве своем он часто бывал на Охте и даже жил там некоторое время. Естественно, в нем разгорелись воспоминания, и он даже нарочно прошел по одной из тамошних улиц, наиболее напоминавших ему минувшее. Через два часа, встретясь со мной и рассказывая свои впечатления, он мимоходом заметил, что даже подивился, как // там, в целые пятнадцать лет ничего не изменилось, те же дома и даже почти не постарели: «И странно даже,— прибавил он,— строение деревянное, в Петербурге так часто пожары, а там — благословенное место — ни одного-то пожара, все уцелело, и я, проходя, невольно даже об этом подумал». На другой день этот знакомый приносит мне газету и указывает место, где извещали, что вчера, в таком-то часу [ровно два час⟨а⟩] на Охте (т. е. ровно два часа спустя как там был мой знакомый и именно в той самой улице, в которой он подумал о пожарах) сгорело восемь домов. Бесспорно случайность, и сомнения в том нет никакого, но так как этот знакомый и до того еще был уверен [в своем черном глазе или] в своей способности предчувствия, бессознательной угадки, и даже сам много раз перед тем и давно уже говорил мне об этой своей

способности и рассказывал множество случаев с ним в этом роде, то и в этот раз он [невольно], конечно, остался и даже утвердился еще более в своем убеждении. Положим, он сам смеется над этим, но все продолжает веровать, как-то невольно, неотразимо. Согласитесь, что если все эти бесчисленные у людей случаи — ложь, то как должна вредить эта ложь и как важно разъяснить и раз навсегда. Если же оказалось, что все это не ложь, а многое из этого есть, существует и происходит по известным определенным законам, то опять-таки, согласитесь, как важно было бы такое строго научное исследование во всех отношениях и сколько пользы опять-таки могло бы принести оно. Заметьте еще: если в природе человека существует действительно способность предчувствия, то в высших степенях своих, в maxim'уме своего проявления [она-то ведь и есть] (хотя бы и в чрезвычайно редких случаях проявления этого maxim'ума) — она-то ведь и есть дар пророчества: как же людям не веровать [в него] после того и в дар пророчества? Тема эта, впрочем, обширная и хоть не либерально, и об ней мож⟨но⟩ бы когда-нибудь особо поговорить * //.

Я привел пример лишь, чтоб наглядно показать, как могут совсем невольно укореняться самые роковые иногда убеждения. (Столь многих, утвердившихся в наш век на спиритизме, я считаю решительно постигнутыми злым роком.) Кстати, забыл сообщить. Тот же [исследователь] путешественник, который сообщил мне выписку из книги Иоанна Лихтенбергера, отыскал в Париже, в другой библиотеке другую книгу предсказаний, тоже шестнадцатого века и тоже на латинском языке. В ней довольно точно предсказана французская революция. Между прочим сказано en toutes lettres ** и еще два раза, что в 1878 *** году (т. е. в будущем году) начнется конец мира, и что этот 1878 год будет «первым годом начала конца мира». Предсказание это имеет смысл отчасти клерикальный, ибо прибавлено, что конец мира начнется именно с того, что в этом 1878 году власть святейшего отца папы перейдет в чужие, недостойные, неподобающие руки. [Без всякого сомнения и это вздор, но однако же.] Тут любопытнее всего то, что год помещен en toutes lettres, и кто же не скажет, что тут есть нечто, верно попавшее в точку, и что если папа Пий IX умрет [даже] в этом году или в будущем (что кажется несомненно), то в католическом мире может разразиться огромный спор о его преемнике, разлад и даже так, что избранный преемник его может быть не признан целою половиною католичества, как избранный неправильно и недостойно [4]. Согласитесь, что вот этакие угадки современных событий за триста лет с точным обозначением года, настолько странны ⟨*1нрзбр.*⟩, любопытны, что могут довольно влиятельно действовать на некоторых людей, особенно расположенных к восприятию иных убеждений. Факт существования этой книги не подвержен ни малейшему сомнению; за нужду я могу сообщить № шкафа и № книги. Между // тем наука прямо говорит: «Все это вздор, потому что ничего этого не может быть». Так, по крайней мере, относится наука к спиритизму, и спириты, может быть, с большею логикой возражают ей: «Все это *может быть*, потому что все это есть, т. е. потому что неразъясненные факты налицо». Но наука отвергает факты голословно и пока спокойна, а лучше, что ли, будет, когда весь темный люд, рабочие и мужики засядут за столы и начнут вызывать духов. А вряд ли этого не будет, и всякий шаг вперед отдалится лет назад ****. Кстати, про меня упомянули как-то печатно, что я тоже наклонен к спиритизму [5]. Дай бог, любому противнику спиритизма быть таким ненавистником его, как я, но я ненавижу лишь отвратительную гипотезу духов и сношений с ними, насколько

---

* *Последняя фраза приписана, по-видимому, позже, беглым почерком.*

** буквально (*франц.*).

*** *Исправлено из*: 1888.

**** Так в тексте: очевидно, слово пропущено.

может чувствовать к ней отвращение человек, не потерявший здравого смысла. Но откладывая лишь мистическое толкование фактов, я все еще остаюсь в убеждении, что факты эти требуют строгой проверки и что наука, может быть, не сказала об них не только последнего, но и первого слова. Я, разумеется, могу ошибаться, но в таком случае я ошибаюсь вместе с сотнями тысяч людей, люди же науки вместо тщательного, непредвзятого отношения к факту, говорят лишь: «Ничего этого нет, потому что не может быть».

Мне передавали, между прочим, что некоторые из нашего духовенства отчасти обрадовались спиритизму: возбудит, дескать, веру, по крайней мере, явление духов протестует против всеобщего материализма. Вот рассуждение-то! Нет уж лучше чистый атеизм, чем спиритизм!

Публикуемая главка «разорвана» на две части: ее начало хранится в ЛБ, ф. 93, I, 2. 12, а продолжение — в Ленинграде (ИРЛИ, ф. 100, № 29479. ССХб. 12). В московской рукописи на стр. 111 находится абзац, отмеченный А. Г. Достоевской красным карандашом с ее пометой: «Не напечатано». В ИРЛИ имеется копия этого начала, сделанная рукой А. Г. Достоевской с надписью: «Начало отрывка, не помещенного в мае—июне 1877 г. „Дневник писателя“. Это начало списано мною со страницы 111 отданной в музей рукописи. Май—июнь».

Таким образом, в ИРЛИ хранится основная рукопись. Она представляет собой автограф с поправками на 8-й странице. Основной текст расположен на лл. 1—6; текст на лл. 7—8 является вставкой к л. 1 (вместо зачеркнутых семи строк).

Весь текст, хранящийся в ИРЛИ, с левой стороны отчеркнут красным карандашом. На л. 6 А. Г. Достоевской написано: «Все очерченное красным карандашом не напечатано». На л. 8 об. ее же карандашная помета: «Находилась в рукописи май—июнь 1877. „Дневник писателя“. Не была напечатана».

Мы публикуем весь отрывок, восстановив его органическое единство, причем вставка, находящаяся на лл. 7—8, располагается вслед за семью перечеркнутыми строчками, место которых она должна была занимать. Месторасположение каждой части отрывка оговаривается.

Этот отрывок, скорее всего, представляет собой самостоятельную главку первой большой главы майско-июньского выпуска «Дневника писателя» 1877 г. О самостоятельности отрывка свидетельствует сам Достоевский: «А кстати уж еще раз и отступая от дела, и пусть это будет глава лишняя».

[1] Эммануил *Сведборг* (Сведенборг; 1689—1772) — член Академии наук в Упсале (Швеция). Был избран членом Стокгольмской и С.-Петербургской академии наук. Автор многочисленных сочинений по естественным наукам (горное дело, выделка железа и т. д.). С 1747 г. целиком отдался сочинению мистических книг (на латинском языке), в которых рассказывает о своих «посещениях» загробного мира. В России популяризацией личности и учения Сведенборга занимался А. Н. Аксаков. В библиотеке Достоевского имелись следующие книги Сведенборга и о нем (все — издания А. Н. Аксакова): А. Н. Аксаков. Евангелие по Сведенборгу. Пять глав Евангелия от Иоанна с изложением и толкованием их духовного смысла по науке о соответствиях. Лейпциг, 1864.— «О небесах, о мире духов, и об аде, как то слышал и видел Э. Сведенборг». Лейпциг, 1863. Перев. с латинского.— «Рационализм Сведенборга. Критическое исследование его учения о св. писании» ⟨А. Н. Аксакова⟩. Лейпциг, 1870 (см. Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. М.— Пг., 1923, стр. 42).

Интересно, что трактовка Достоевским мистических видений Сведенборга существенно отличается от писаний по этому вопросу А. Н. Аксакова. По мнению последнего, «Сведенборг может быть назван предтечею спиритизма». Аксаков считал, что «спиритизм, подтверждая фактически видения великого духовидца, снимает с него укор мистицизма и помешательства, который доселе почти что затмевал его славу, даже как глубокого естествоиспытателя и философа» («О небесах, о мире духов, и об аде...». Предисловие А. А. ⟨А. Н. Аксакова⟩, стр. XIV. В отличие от Аксакова, Достоевский отнюдь не полагал, что спиритизм подтверждает «фактически видения великого духовидца». Наоборот, мистические сочинения Сведенборга воспринимаются им исключительно как «плод галюцинации»).

[2] Рассказ о просьбе королевы к Сведенборгу, очевидно, взят Достоевским из той же книги А. Н. Аксакова. Из текста Достоевского не совсем ясно, о чем идет речь. Вероятно, он имеет в виду не один, а *два* «случая»: они как бы наложились в сознании писателя один на другой (см. стр. XXIX — XXX в книге Аксакова). Первый — это обращение шведской королевы Луизы Ульрики к Сведенборгу с поручением к ее умершему брату и исполнение Сведенборгом этого поручения; второй — помощь Све-

денборга некоей вдове в отыскании квитанции, спрятанной ее покойным мужем (см. стр. XXIX — XXXI в книге Аксакова).

Известно о большом интересе к личности и сочинениям Сведенборга Канта. О Сведенборге существует обширная литература. Достоевский мог ознакомиться также с его жизнью по книге «Этюды. Популярные чтения М. И. Шлейдена». М., 1861, стр. 184—188). См. Hands. Ein Beitrag zur Theorie der Geisterkunde von G. T. von Meyer Traukfurt. M., 1810.

[3] О Ленорман Достоевский, в частности, мог прочитать в книге М. П. Погодина «Простая речь о мудреных вещах». М., 1874, стр. 25 (вторая пагинация). Любопытно, что две главки «Дневника писателя», 1876 г. имеют заголовок, сходный с названием книги Погодина,— «Простое, но мудреное дело» (октябрь) и «Опять о простом, но мудреном деле» (декабрь).

В указанной книге Погодина вообще приводится великое множество примеров различных таинственных явлений — предчувствий, предзнаменований, пророчеств и т. п. Там же, в частности, говорится и о «двойном зрении» (second sight), упоминаемом Достоевским (стр. 32—34, вторая пагинация). Об этом явлении писатель мог прочесть и в записках А. Д. Блудовой («Заря», 1871, март).

[4] О положении в католическом мире в связи с ожидаемой смертью папы Пия IX Достоевский неоднократно говорит на страницах «Дневника писателя». Этому вопросу русская периодическая печать уделяла в 1877 г. значительное внимание.

[5] Очевидно, Достоевский имеет в виду публичные чтения Д. И. Менделеева о спиритизме, происходившие в апреле 1876 г. в Соляном городке в Петербурге. Отчет о них помещался в газетах. На чтении 25 апреля Менделеев, в частности, сказал: «Г. Достоевский в своем талантливом „Дневнике писателя“ в январском № посвятил спиритизму несколько страниц и ⟨...⟩ проходится насчет спиритизма, только берет поглубже, но все же с оттенком неуверенности ⟨...⟩ Г. Достоевский кладет на спиритизм оттенок чертовщины; но оттенок сомнения и у него остается. Это было в феврале. Читайте теперь мартовский № его дневника ⟨...⟩ Здесь вы не видите и тени сомнения ⟨...⟩ ясно, что труды комиссии оказали свое влияние на мнение литератора о спиритизме...» («Материалы для суждения о спиритизме». Издание Д. Менделеева. СПб., 1876, стр. 354). На это замечание писатель иронически откликнулся в апрельском «Дневнике»: «Г. Менделеев уже приписывает „отчету“ комиссии врачебное действие на писателей ⟨...⟩ в „Дневнике“ своем и Достоевский поправился: в январе он был наклонен к спиритизму, а в марте уже бранит его ⟨...⟩ Так, стало быть, почтенный г. Менделеев подумал, что я в январе хвалил спиритизм? Уж не за чертей ли?» (XI, 277).

⟨2⟩

Глава вторая

ОПЯТЬ ОБОСОБЛЕНИЕ. ВОСЬМАЯ ЧАСТЬ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»

Весь русский интеллигентный слой, т. е. все русские, стоящие над народом (теперь уже огромный слой, заметим это),— все, *в целом* своем,— никуда не годятся. Весь этот слой, как слой, как целое — до нельзя плохой слой. Другое дело, если разбить это целое на единицы и разбирать по единицам; единицы, т. е. частные лица весьма бывают и недурны и даже во множестве. Совсем другое в народе: в народе целое — почти идеально хорошо (конечно, в нравственном смысле и, разумеется, не в смысле образования науками, развития экономических сил и проч.). Но и единицы в народе так хороши, так бывают хороши, как редко может встретиться в интеллигентном слое, хотя несомненно довольно есть и зверских единиц, а не прямо зверских, то до безобразия невыдержанных. Да, в этом нельзя не сознаться, но не знаю почему так, но в большинстве случаев вы сами как будто отказываетесь произносить суд ваш над этими зверскими единицами, отказываетесь по совести и [не оправдывая их] извиняете, однако, народное образование. Но эту тему мы пока оставим, зато, повторяю, целое всего народа в совокупности, и все то, что хранит в себе народ как // святыню, как *всех связующее*, так прекрасно как ни у кого, как ни в каком народе, может быть. Что такое это единое и связующее — здесь не место объяснять, да и не о том я хочу говорить. Но связан и объединен наш народ пока так, что его трудно расшатать. Хомяков говаривал, гово-

рят, смеясь, что русский народ на страшном суде будет судиться не единицами, не по головам, а целыми деревнями, так что и в ад и в рай будет отсылаться деревнями. Шутка тонкая и чрезвычайно меткая и глубокая.

Зато в интеллигенции нашей совсем нет единения, никакой силы единения до сих пор не обнаружилось. Мы, например, преплохие граждане. Если б не было народа и сверху над ним царя, то мы, я думаю, и не шевельнулись бы соединиться в двенадцатом году. Вот уже где немыслимо аристократическое начало—так это у нас! У нас никогда не могло быть ничего подобного, как было когда-то в Польше, или даже как теперь в Англии. Верх нашей интеллигенции не только не может отъединить в себе, отдельно и исключительно, право изображать собою гражданство всей страны, но, напротив, без народа и сил, почерпаемых из него беспрерывно, утратил бы мигом даже и самую национальную свою личность. И как бы ни относились недоверчиво иные из нашей интеллигенции (очень многие еще) к духовным силам народа нашего и к крепости и благонадежности его национальных основ, его все же без этого самого народа никакая Европа не спасла бы // этих иных, до сих пор этот народ презирающих, от совершенной гибели и сведения на нет. Без этого народа они, в ожидании пока переродились бы в европейцев, утратили бы не только всякую национальную самостоятельность, но и просто человеческое достоинство.

Лишь беспрерывным, не останавливающимся соприкосновением нашим с народом мы, верхний слой его, существуем, тянемся кое-как, а подчас даже оживляемся и обновляемся. Это беспрерывное соприкосновение наше с народом и обновление себя его силами в большинстве интеллигенции нашей происходит, увы, до сих пор почти бессознательно. Силы-то мы из народа черпаем, а народ все-таки свысока презираем.

А граждане мы, интеллигенция русского народа,— плохие. Мы при первой неудаче сейчас же в обособление и отъединение, и так весьма часто бывает с лучшими и умнейшими из интеллигентных русских людей. Я уверен, что даже теперь, вот например, хоть после неудачи при Плевне, страшно много произошло обособлений и отъединений, не говоря уже о разочарованиях, т. е. о внезапной потере веры в русскую силу [1]. А, впрочем, и без Плевны в русскую силу еще мало кто в интеллигентном слое нашем верил. Мысль же о том, что русским [так же как и всем] по примеру всех народов пред // назначено сделать что-нибудь особое для всего человечества, что-нибудь совсем новое, *свое*, и еще неслыханное прежде ни от кого,— эта мысль до сих пор чрезвычайно удивляет, кажется дерзкою, смешит, и, прямо скажу, лично обижает огромное большинство интеллигентных русских людей. А, впрочем, что Плевна: обойди нас чином, предпочти перед одним другого, откажи в какой-нибудь просьбе, обидь нас хоть маленько и, повторяю, даже лучшие единицы из интеллигенции нашей способны тотчас же удариться из гражданства в обособление и пожелать отъединиться в свой угол. В народе не так: в народе нашем в беде и неудаче все единятся, и чем больше беды, тем крепче единение.

Кстати: у нас очень многие теперь из интеллигентных русских повадились говорить: «какой народ? я сам народ». В восьмой части Анны Карениной Левин, излюбленный герой автора романа, говорит про себя, что он *сам народ*. Этого Левина я как-то прежде, говоря об Анне Карениной, назвал «чистый сердцем Левин». Продолжая верить в чистоту его сердца по-прежнему, вижу теперь, что и он с любовью норовит в обособление.

ИРЛИ, ф. 100, № 29483. ССХб. 12. Текст расположен на 2-х лл.: л. 1—1 об.— рукой А. Г. Достоевской; л. 2—2 об.— рукой Достоевского; его же рукой написан заголовок и сделаны немногочисленные поправки. Рукопись беловая, наборная, но до типографии она, очевидно, не дошла, так как не имеет обычных в таких случаях следов типографской краски. На л. 1 в левом верхнем углу помета А. Г. Достоевской (красным карандашом): «Не напечатано».



Якову Петровичу
Полонскому
дорогому поэту от автора

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

ЯНВАРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Вмѣсто предисловія о Большой и Малой Медвѣдицахъ, о молитвѣ великаго Гете и вообще о дурныхъ привычкахъ.

... Хлестаковъ, по крайней мѣрѣ, вралъ — вралъ у городничаго, но все же капельку боялся, что вотъ его возьмутъ, да и вытолкаютъ изъ гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врутъ съ полнымъ спокойствіемъ.

Нынче всѣ съ полнымъ спокойствіемъ. Спокойны и, можетъ быть, даже счастливы. Врядъ ли кто даетъ себѣ отчетъ, всякій дѣйствуетъ „просто", а это уже полное счастье. Нынче, какъ и прежде, всѣ проѣдены самолюбіемъ, но прежнее самолюбіе входило робко, оглядывалось нахрадочно, вглядывалось въ физіономіи: „Такъ-ли я вошелъ? Такъ-ли я сказалъ?" Нынче же всякій и прежде всего увѣренъ, входя куда нибудь, что все принадлежитъ ему одному. Если же не ему, то онъ даже и не сердится, а мигомъ рѣшаетъ дѣло: не слыхали-ли вы про такія записочки:

„Милый папаша, мнѣ двадцать три года, а я еще ничего не сдѣлалъ; убѣжденный, что изъ меня ничего не выйдетъ, я рѣшился покончить съ жизнью"...

И застрѣливается. Но тутъ хоть что нибудь да понятно: „для чего-де и жить какъ не для гордости?" А другой посмотритъ, походитъ и застрѣлится молча, единственно изъ-за того, что у него нѣтъ денегъ, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Увѣряютъ печатно, что это у нихъ отъ того, что они много думаютъ. „Думаетъ — думаетъ про себя, да вдругъ гдѣ нибудь и вынырнетъ, и именно тамъ, гдѣ намѣтилъ". Я убѣжденъ, напротивъ, что онъ вовсе ничего не ду-

1

«ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ» 1876 г. (СПб., 1877)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ДОСТОЕВСКОГО:
«Якову Петровичу Полонскому, дорогому поэту от автора»
Первая страница
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Публикуемый отрывок представляет собой начало первой главки второй большой главы июльско-августовского выпуска «Дневника писателя» 1877 г. В рукописи он имеет тот же заголовок, что и вся главка в печатном тексте: «Опять обособление. Восьмая глава „Анны Карениной"».

В печати известен лишь *последний абзац* этого отрывка — именно с него начинается данная главка — как она публикуется во всех изданиях «Дневника писателя» (XII, 201; несколько фраз из этого отрывка приведены в кн.: Г. М. Фридлендер. Реализм Достоевского. М.— Л., стр. 47).

[1] Достоевский имеет в виду два неудачных штурма Плевны русскими войсками в июле 1877 г. Неудачи под Плевной, повлекшие большие людские потери, вызвали острую реакцию в России.

⟨3⟩

Вот в этом-то смысле я и выразился, что наш демос доволен или может быть доволен, если и недоволен. Я, впрочем, предчувствовал и тогда, что мнение мое вызовет недоумение.

Иной хитрый казуист, пожалуй, и теперь поймает меня на слове. «Нельзя же, скажет он, про такое общество, от которого сами же вы ждете таких надежд и таких *начал*, говорить так дурно, как говорили вы еще в этом же даже №, страницы две-три выше. Но ведь если я и говорил дурно и даже обещал еще в прошлом № целый трактат о том, чем мы хуже народа, то ведь в то же время я и заявил о той драгоценности, которую мы несем с собою народу. За эту-то драгоценность я и люблю это общество столько же, сколько и народ, несмотря на то, что с таким жаром говорил о его *временных недугах*. Что они временны, в том нет для меня никакого сомнения, и уж один этот несомненный демократизм нашего общества заявляет, опять-таки для меня несомненно, что оно становится [народным] хочет стать народом, а от народа и вылечиться. И хотя влечение [его] к народу наполовину еще и бессознательно, тем не менее чрезмерно важно и характерно. Про положение же общества я все-таки буду писать, равно как и о *драгоценности*, которою оно обладает. Я объяснюсь потом в будущем №, теперь же лишь закину вперед, чтоб не говорить загадками, что драгоценность эта есть то *огромное* расширение русского взгляда и русской мысли, которую приобрели в двести лет столкновения нашего с Европой, но от Европы однако приобрели, [ибо в Евр.] а родили из себя самостоятельно при столкновении с Европой — ибо в Европе собственно ничего нет подобного ни этому взгляду, ни этой мысли, напротив даже — все противоположное. Тем самым мы и заявили, что мы русские и что воротились из Европы русскими. Все это я объясню подробно доводами и примерами, а теперь укажу хоть на одну черту этого расширения взгляда, именно на самый этот несомненный, чистый, бескорыстный демократизм общества, начавшийся еще давно и проявивший себя освобождением крестьян с землею. Это русское дело и дело русского расширения взгляда. Но это лишь еще самая маленькая черта этого расширения, и надеюсь, бог мне поможет быть понятным и выразить в следующих [№] номерах мою мысль уже в полной подробности.

[Временные же недуги общества для меня несомненны, а теперь, в наше время, они даже безобразнее чем когда-нибудь. Что ж, с злорадством разве я говорю это? Да я сам принадлежу к этому обществу и люблю его, повторяю это, столько же, сколько и народ, а теперь так даже и не хочу различать с народом. Недуги же общества не могут не мучать тех, кто принадлежит к нему и кто его любит. Мы несомненно больше народа одарены, например, самолюбием, болезненным и ипохондрическим, и это при страшном шатании [не только] идей, убеждений и воли. Мы заражены в большинстве гадливостью к людям и циническим неверием в человека, не только в русского, но и в европейца, мы заражены жаждой безличности рядом с самым пустозвонным слабоволием, болезненною робостью перед всяким собственным мнением. Мы усвоили бесконечно много самых скверных привычек и предрассудков. Мы видим доблесть в даре одно худое видеть, тогда как это лишь подлость, но всего не перечтешь, и если можно еще ждать спасения и обновления, то, конечно, лишь от русской женщины, которая несомненно лучше русского мужчины и в которой заключена огромная наша надежда.]

ИРЛИ, ф. 100, № 29461. ССХб. 10.

Автограф представляет собой часть третьей главки второй большой главы майского выпуска «Дневника писателя» 1876 г. В печати главка известна под названием: «Несомненный демократизм. Женщины»; она заключает собой майский «Дневник».

Автограф находится в черновой рукописи главы, занимающей шесть больших листов (11 стр.). Рукопись имеет обложку, на которой рукой А. Г. Достоевской написано: «Для Федора Федоровича Достоевского автограф его отца. Дневник писателя за 1876. В рукописи встречаются ненапечатанные отрывки и тирады; они отмечены красным карандашом. Проверено с Марией Васильевной, 24 ноября 1889».

Публикуемый текст располагается на стр. 22 рукописи (авторская нумерация — от 13 до 22 стр.); в известном печатном тексте он должен следовать за фразой: «И если в настоящем еще многое неприглядно, то, по крайней мере, позволительно питать *большую надежду*, что временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и беспрерывным влиянием впредь таких огромных *начал* (ибо иначе и назвать нельзя), как *всеобщее демократическое настроение и всеобщее согласие* на то всех русских людей, начиная с самого верху». После последней фразы отрывка должно следовать: «А в заключение мне хочется прибавить еще одно слово о русской женщине»,— и т. д. по опубликованному тексту (XI, 306).

Это утверждение действительно вызвало недоумение читателей. В архиве Достоевского имеется письмо Дмитрия Карташева 10 мая 1876 г. с его возражениями по этому поводу (ИРЛИ, ф. 100, № 29737, ССХIб 6).

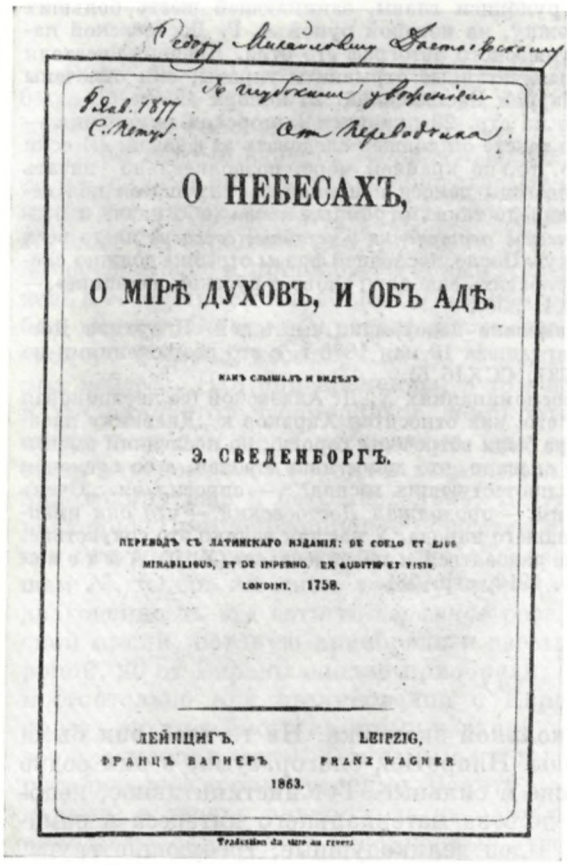
Интересный эпизод приводится в воспоминаниях Х. Д. Алчевской (ее дневниковая запись от 20 мая 1876 г.): «На вопрос его, как относится Харьков к „Дневнику писателя", я отвечала, что первые три номера были встречены хорошо, но последний вызвал протест, и я указала ему на место, где сказано, что демос наш доволен, а со временем ему будет еще лучше. „А много этих протестующих господ?" — спросил он. „Очень много!",— ответила я., „Скажите же им,— продолжал Достоевский,— что они именно и служат мне порукой за будущее нашего народа. У нас так велико это сочувствие, что, действительно, невозможно ему не радоваться и не надеяться» (Х. Д. Алчевская. Передуманное и пережитое. М., 1912, стр. 78).

⟨4⟩

⟨...⟩ места и карьеры еще со школьной скамейки. Не то чтоб они были без страстей и вечно благоразумны. Напротив, благоразумие в них редко бывает, а страстишки бывают даже и сильные. Тут инстинктивное, непосредственное ощущение почти с детства материального интереса и самосохранения во что бы ни стало. Идеи великодушные, требующие труда, страдания и жертв им могут быть знакомы, но редко волнуют их. Но есть третий разряд, [и] «самый несчастный». Это юные и чистые души, с порывом к великодушию, с жаждою идеи, высшей, сравнительно с ординарными и материальными [идеями] интересами, управляющими обществом. Этими юными душами часто овладевают идеи сильные, всего чаще чужие, всего чаще у нас — [на противо] захожие, европейские, [всего чаще нравственные, великодушные, клоня⟨щие⟩] из разряда сулящих счастье человечеству и для того требующих коренной реформы человеческих обществ. [Идеи] Эти идеи сваливаются на эти души как камень и как бы придавливают их на всю жизнь,— так что вся остальная // жизнь их состоит как бы из корчей и судорог под свалившимся на них камнем. Разумеется, все эти три разряда я привожу отвлеченно: на деле тут столько варьяций, уклонений, при благородном преследовании высшей цели; столько подчас сознательной плутни с самим собой, столько уступок подлости из видов высшего благородства, столько самолюбия и эгоизма в виде героических жертв. Политические преступники из этого разряда часто преувеличивают свою вину при допросах, единственно из самолюбия, так что жертва собою, которою думают они принести пользу обществу и «общему делу», явно обличается их эгоизмом, совершенным равнодушием к общему делу и служением лишь одному самолюбию.

Возьмите теперь ту среду, то общество, в котором возникает этот третий, «несчастный» разряд нашей молодежи и спросите себя: может ли быть что-нибудь беззащитнее, а в наше время так даже ⟨...⟩

ИРЛИ, ф. 100, № 29591. ССХб. 36.— Публикуемый отрывок представляет собой черновой автограф на двух листах, имеющих авторскую нумерацию,— 17 и 18; был исключен, по-видимому, при окончательной редакции.



Федору Михайловичу Достоевскому
9 Янв. 1877
С. Петерб.
С глубоким уважением
от переводчика.

О НЕБЕСАХЪ,

О МІРѢ ДУХОВЪ, И ОБЪ АДѢ.

ИЗЪ СЛЫШАНЪ И ВИДѢНЪ

Э. СВЕДЕНБОРГЪ.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ЛАТИНСКАГО ИЗДАНІЯ: DE COELO ET EJUS MIRABILIBUS, ET DE INFERNO. EX AUDITIS ET VISIS. LONDINI. 1758.

ЛЕЙПЦИГЪ. ФРАНЦЪ ВАГНЕРЪ
LEIPZIG. FRANZ WAGNER
1863.

«О НЕБЕСАХ, О МИРЕ ДУХОВ И ОБ АДЕ...»
Э. СВЕДЕНБОРГА
(ЛЕЙПЦИГ, 1863)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПЕРЕВОДЧИКА А. АКСАКОВА ДОСТОЕВСКОМУ:

«Федору Михайловичу Достоевскому с глубоким уважением от переводчика. 8 янв. 1877 С.-Петерб.»

Титульный лист. Книга не сохранилась

Архив Института литературы АН УССР, Киев

Определить местоположение отрывка в композиции «Дневника писателя» весьма затруднительно, так как он не обладает бесспорными признаками, могущими указать на его принадлежность к той или иной главе «Дневника». Рукопись не имеет начала и конца, она находится отдельно, а не «внутри» других текстов. Таким образом, остается руководствоваться лишь смысловой близостью этого отрывка к той или иной части печатного текста. Составители «Описания рукописей Ф. М. Достоевского» не без основания относят этот автограф к главе первой, главкам III, IV, V декабрьского выпуска «Дневника» 1876 г. («Описание рукописей Ф. М. Достоевского». Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957, стр. 70). Действительно, настоящий отрывок развивает некоторые положения первой главы, а именно — четвертой малой главки, называющейся «Кое-что о молодежи» (XI, 489—491), и, скорее всего, относится именно к этой последней.

〈5〉

Я никогда потом не мог разубедить себя в этой мысли, и однако же с тех пор прошло двадцать пять лет и утекло чрезвычайно много воды. Впоследствии я пришел к личному моему убеждению, что чем менее на твердой, естественной и народной почве стоит общество, тем сильнее в нем эта потребность «высшей мысли» [и именно в самой юной части его, еще только лишь приготовляющейся жить]* и «высшей жизни» и что в идеале нашем заключается, несомненно, как бы нечто болезненное, чего нет или мало у других наций. В этом смысле даже самый нигилизм есть, конечно, в основе своей потребность высшей мысли. Нигилизм можно в этом смысле

* *Вписано на л. 30 об. и вачеркнуто.*

отчасти сравнить с атеизмом. То же самое *беспокойство*, которое увлекает и манит жаждущую веры душу к небесам, заставляет и атеиста отвергать веру в эти небеса. Атеизм есть только обманчивое спокойствие, ибо никогда атеизм не обладает душою индифферентной (иначе он не атеизм, а лишь жалкий индифферентизм). Душа, успокаивающая себя полным отрицанием, может быть всего более жаждет положительного подтверждения.

[Но, сделав один вывод (о потребности идеализма), я в то же время сделал и другой, то же по сие время при мне оставшийся и с течением времени еще укоренившийся. Это — что нигде на свете, кроме как у нас, может быть, нет столько мошенников и лакеев мысли, столько самого низменного подбора // людей, как в так называемом классе интеллигентов. Это как бы полная и всегда присущая противоположность идеалистам. Эта так называемая золотая середина, которая, кажется, так и родится бездарною и развратною. Между тем она...] Но этот идеализм как часто становится жертвою самой грубой середины! Особенно в последнее время, вероятно с распространением полуобразования. Кажется все больше и больше является совершенно бездарных и развратных людей. При отсутствии всякой потребности в идеале и высшей мысли, они тем не менее льнут к прогрессу, потому что около него им выгоднее. И может быть нигде на свете не размножается столько лакеев мысли и промышленников в либеральном деле, как у нас в последнее время, так этим людям без сомнения живется легче на свете и так как они чрезвычайно нахальны, вследствие своего тупоумия *, то труждающаяся и ⟨1 *нрзбр.*⟩ молодежь наша, «молодежь идеала» — слишком легко подчиняется им окончательно и отделяется в полное рабство. Отрицание для них — не высшая мысль и не потребность ее, а лишь право на бесчестье. Всякая высшая мысль, до которой они прикасаются,— немедленно ими опошливается. В будущем мечтательном так называемом реальном устройстве общества они видят лишь право...

ИРЛИ, ф. 100, № 29590, ССХб. 36. Черновой автограф на двух листах, имеющих авторскую нумерацию,— 29 и 30.

Этот отрывок, не вошедший в окончательный печатный текст, обладающий теми же признаками, что описанный выше (№ 4). Судя по содержанию, он также относится к первой главе декабрьского выпуска «Дневника писателя» 1876 г. (главки III, IV, V).

⟨6⟩

... хочу, чтоб и вы не имели права [претендовать] требовать от меня стыда, глупых слез и раскаяния. Я хочу, чтоб вы сознались в том, что не имеете права этого требовать.

— Что дурного в поступке вашем. Знайте, милостивый государь, что вы имеете право на все плевать и все презирать и даже делать все, что вам вздумается, но— до известной черты, до тех пор пока поступок ваш не вредит ближнему. Вот где нравственное основание поступков человеческих!

— Вредите ближнему? А почему бы мне не вредить ближнему?

— Но это порочно, безнравственно.

— [О] нравственность вещь относительная, я уже вам сказал, и ни на чем даже не основанная. К тому же везде различная, кто только умеет всмотреться; а уж про различие в веках и временах и говорить нечего. Опять-таки все это потому, что тут старый обычай, закон — и более вы ничего не сумеете сказать. С законом мы кончили: вы меня упекли, а по-

* вследствие своего тупоумия — *вынесено на л. 29 об.*

том я вас упеку— вот результат закона. Но все-таки почему [я хочу, чтоб вы сознались?] ⟨безнравственно и порочно? * ⟩ — Не сами ли вы, то есть вся ваша мудрость, ваша наука, ваши философы давно уже согласились махнуть рукой на предрассудки и [даже] то //, что прежде считалось любовью, добродетелью, считается теперь повсеместно у людей передовых и ученых за тот же самый эгоизм. Благодеяние ближнему я делаю для себя же, для собственной выгоды и для собственного удовольствия и не иначе. И это все знают теперь, все это мыслят и трезво смотрят на вещи. Если же опять вопрос о выгоде, то опять-таки повторяю: оставьте меня самого быть судьей моих выгод.

— Но ведь соглашаетесь же вы, по крайней мере, что в вред ближнему ваша собственная невыгода и первый же страдаете вы! Вспомните слова одного английского государственного человека, сказавшего о преступнике: «Преступник это прежде всего нерасчетливый человек»,— и уже разумеется в этом великая истина! Милостивый государь! Поверьте, что поступки ваши должны именно иметь мерилом [вряд и] выгоду, вашего ближнего. Иначе [все] общество же и восстанет на вас. Вас один, а их мильоны и если б все пошли друг против друга — то вечная война и все поели бы друг друга. Напротив ассоциация, разумное определение взаимных выгод, «всякий для всех и все для каждого», A chacun selon sa capacité ** //.

— Так, так, я бы все это мог опровергнуть, но пусть [это] по-вашему, это так, ну и что же из этого: в общем, вы правы, а в частном я могу проглотить ⟨?⟩. Повторяю: я сам судья моих выгод. К тому же это мой характер и если тут риск, то риск веселит меня. Иначе жить скучно. Да и что делать на свете как не рисковать.

Вы говорите, что я всем повредю и все меня возненавидят и изгонят из общества. А хитрость: я всех надую, прикинусь общественным святым, а сам свое про себя сделаю потихоньку. Сам сделаю и вас побьют: скажу это не я сделал, а вы сделали.

— А высший идеал? А нравственность? нравственность ⟨?⟩

— Да ведь с нравственностью мы покончили, ведь вы же мне ее уступили. Ведь нравственность ведь тот же эгоизм, то же чувство самосохранения, [но] значит опять-таки только одна моя вина. А о моей выгоде позвольте мне самому [по]беспокоиться.

— Да ведь нравственность не рассуждение, не выгода, это скорее чувство, чувство неизвестное, почти инстинктивное, но природное. Венец его, последние слова этого чувства, этого влечения человечества и непрерывающегося в нем с начала веков, есть уж объявленная, открытая уже нам формула. Именно что ⟨1 *нрзбр.*⟩ есть жертва за ближнего, то положения жизни.

— Вы хотите, чтоб я положил жизнь и был счастлив...

— Ничего, ничего, идеал, а не реализм взгляда управлял человечеством. Идеал в том, что я положу жизнь и все, наконец, просветятся, догадаются, почувствуют, что выше нет счастья как это, и сами положат жизнь за меня. Тогда жизнь обратится в рай, люди будут обниматься и целоваться, всякий будет работать один для другого, разбитые силы усилятся во многие миллионы раз, жизнь увеличится, каждое мгновенье счастья, слава и подвиг личности будут вознаграждаться не утолением тщеславия, а восторгом благодарной любви и тогда — кому тогда ваш социализм, ваши формулы, ваши искания? Если я люблю всех и каждого, и всякий всех тоже самое, то мы поневоле все тотчас найдем как жить. Вот у Zola разговор Либертиста ⟨?⟩ тем драгоценнее, что это разговор массы, пример,

---

* *Над строкой.*

** Каждому по способностям (*франц.*).

как она поняла и приняла учения: 10 лет коварной диктатуры, посмотрите на брак, я... и Христос...

— Я вас слушал, но наш век есть век реализма, а не идеалов.

— Идеалы всегда управляли.

Он ведь со мной согласен. Его историю рассказать. Путешествие (больно бил Семена).

Но перед историей (вкратце) отзыв «От⟨ечеств⟩ з⟨ап⟩» и «Биржевых» о Жорж Занд и проч. Затем вдруг история. Затем Эмс—Турция—Европа, победа, о Герце⟨не⟩, Ап⟨оллон⟩ Гри⟨горьев⟩.

ИРЛИ, ф. 100, № 29587. ССХб. 36. Автограф на двух листах, имеющих авторскую нумерацию,— 7 и 8.

Публикуемый отрывок, не вошедший в окончательный печатный текст, как и два предыдущих (№ 4 и 5), представляет собой черновую рукопись, которую вследствие ее нахождения отдельно от других текстов трудно связать с тем или иным номером «Дневника писателя». Составители «Описания рукописей» полагают, что этот отрывок относится к выпускам «Дневника» либо за июнь, либо за июль—август 1876 г. («Описание рукописей», стр. 70). Мы склонны отнести его скорее к июльско-августовскому выпуску по следующим соображениям:

1) В наброске плана дальнейшей работы, которым заканчивается этот отрывок, значится: «Затем Эмс». В Эмс Достоевский прибыл 8/20 июля 1876 г., т. е. уже после выхода июньского «Дневника». 18/30 июля он сообщает жене: «Думаю описать Эмс в „Дневнике“...» («Письма», III, стр. 229). Задуманное было исполнено: июльско-августовский «Дневник» содержит подробное описание Эмса.

2) Отрывок содержит упоминание одного из героев романа Золя. О чтении Золя пишет Достоевский жене из Эмса (там же, стр. 225, 229). Кроме того, в июльско-августовском «Дневнике» есть упоминание о романе Золя.

3) Настоящий отрывок построен в форме диалога. Это, очевидно, разговор с неким «парадоксалистом» — прием, к которому Достоевский нередко прибегал в «Дневнике». В июньском выпуске «парадоксалист» отсутствует; но именно в июльско-августовском ему отведено значительное место.

ИЗ РУКОПИСИ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»

Публикация Г. С. Померанца

В томе 83 «Литературного наследства» «Неизданный Достоевский» опубликованы материалы записных тетрадей к «Дневнику писателя» 1876 г. Это — первоначальный этап работы Достоевского над «Дневником». Следующий этап — связная черновая рукопись нескольких выпусков «Дневника» за январь, февраль, апрель, июнь — август, сентябрь, октябрь 1876 г. (хранится в ЛБ). Текст рукописи в целом совпадает с опубликованным. Но при тщательном сличении рукописного текста с напечатанным нам удалось выявить отрывки, иногда довольно значительные, которые в печать не попали. Нередко эти части текста перечеркивались самим автором здесь же в рукописи, но иногда купюры, по-видимому, производились при переписывании начисто или уже в наборном экземпляре.

Многие исключенные отрывки посвящены политическим вопросам, из них мы публикуем только законченную главу о петербургском баден-баденстве, снятую по требованию цензуры.

Встречаются также ненапечатанные фрагменты литературного и философского характера. Наиболее значительные из них: о встрече с семьей Герцена, о романе «Подросток», о «Дворянском гнезде», о Некрасове (единственный отрывок, взятый нами из рукописи «Дневника» 1877 г.).

⟨О «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ»⟩

Кстати сказать, вся эта «плеяда» (40-годов) вся вместе взятая, на мой взгляд, безмерно ниже по таланту и силам своим двух предшествовавших им гениев, Пушкина и Гоголя. Тем не менее, «Дворянское гнездо» Тургенева есть произведение вечное [и принадлежит всемирной литературе,— почему?]. Потому что тут сбылся впервые, с необыкновенным постижением и законченностью, пророческий сон всех поэтов наших и всех страдающих мыслию русских людей, гадающих о будущем, сон — слияние оторвавшегося общества русского с душою и силой народной. Хоть в литературе, да сбылся. Тургенев и во всех произведениях своих брался за этот тип, но портил, везде портил и добился цели лишь в «Дворянском гнезде». Вся поэтическая мысль этого произведения заключена в образе простодушного, сильного духом и телом, кроткого и тихого человека, честного и целомудренного, в ближайшем кровном столкновении со всем нравственно грязным, изломанным, фальшивым, наносным, заимствованным и оторвавшимся от правды народной. От того безмерное страдание, но и не мщение. Кроткий человек не мстит, проходит мимо, но примириться со злом и сделать хоть малейшую нравственную уступку ему в душе своей он не может. [Страдания его не описываются, но вы чувствуете их всем сердцем своим, потому что страдаете ведь и вы] Сцена свидания этого несчастного с другою несчастной в отдаленном монастыре потрясает душу [страданием и глубоким впечатлением навеки] [Кто бы вы ни были, если уже вы раз почувствовали и это чувство] впечатлением, впечатлением безмерно для вас плодотворным. Ибо вы догадываетесь под конец, что весь этот герой и [вся красота] тип его — есть всего только народ, тип народный, вы это чувствуете и понимаете всем сердцем вашим, а потому невольно-

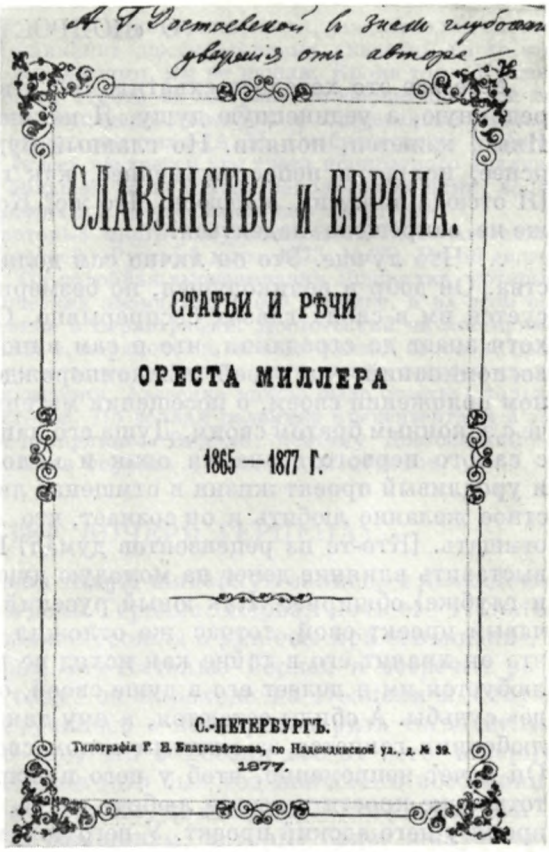
* *Над текстом зачеркнуто*: в шесть или восемь строк

О. МИЛЛЕР
«СЛАВЯНСТВО И ЕВРОПА»
(СПб., 1877)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
АВТОРА А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ:

«А. Г. Достоевской в знак глубокого уважения от автора»

Титульный лист. Книга не сохранилась

Архив Института литературы АН УССР, Киев



по и хотя бы даже бессознательно преклоняетесь перед правдой народной, так сказать, принуждены преклониться. [Вот высшая польза искусства! А главное тут пророчество возможности соединения с народом.] Уж меня-то не заподозрят в лести г-ну Ив. Тургеневу; выставил же я это произведение его, потому что считаю эту поэму из всех поэм всей русской литературы самым высшим оправданием правды и красоты народной]. Выставил же я произведение г. Тургенева и потому еще, что г. Ив. Тургенев, сколько известно, один из самых [ярых] односторонних западников по убеждениям своим и представил нам позднее дрянной и глупенький тип Потугина, с любовью нарисованный, олицетворяющий собою идеал ненавистника России сороковых годов и народа русского, со всею ограниченностью сороковых годов, разумеется. Об этом Потугине я еще поговорю, конечно потом, потому что об литературе русской надо говорить умеренно. И пусть извинят меня, что я теперь заговорил о литературе, [но ведь] я лишь по поводу народа.

ЛБ, ф. 93.I.2. 10, стр. 23.

Отрывок впервые был приведен А. С. Долининым с многочисленными пропусками и неточностями, обедняющими смысл текста Достоевского («Ученые записки» Ленинградского Гос. пед. ин-та, 1940, т. IV, вып 2, стр. 316—317).

Восторженный отзыв о «Дворянском гнезде» написан в период ожесточенной полемики с Тургеневым, взгляды которого Достоевский отождествлял со взглядами Потугина. Это противоречие не было для Достоевского чем-то неосознанным. Наоборот, он использует его, чтобы подчеркнуть принципиальный характер своей вражды к «потугинской», т. е. западнической идеологии, а не к лицам. Тургенев, по мнению Достоевского, потерял свой талант, когда стал пользоваться им для пропаганды западнических идей.

Но об «Отцах и детях» и особенно о «Дворянском гнезде» Достоевский всегда отзывался с большой похвалой.

⟨О «ПОДРОСТКЕ»⟩

Мне все это хотелось схватить [но я впрочем]... Я однако взял не серединную, а уединенную душу. Я не знаю, понятно ли [у меня] вышло. Иные, кажется, поняли. Но главный будущий роман мой будет гораздо яснее, полнее и непосредственнее, как говорили у нас при Белинском. [Я отсюда вижу и... надеюсь. Что же? Кому запрещено надеяться?] Кому же не запрещено надеяться?*

... Что лучше. Это он лично сам должен решить без всякого руководства. Он добр и великодушен, но безмерно ценит свое великодушие и рисуется им в своих глазах беспрерывно. Он обижен с детства и знает это, хотя знает до страдания, что и сам виноват. У него несколько тяжелых воспоминаний — о своей незаконнорожденности, о смешном ** социальном положении своем, о посещении матери, которую он оскорбил, о встрече с законным братом своим. Душа его наполнена ядом, и он уединился еще с самого первого сознания один и мало-помалу составил колоссальный и уродливый проект жизни в отмщение людям. В то же время у него страстное желание любить и он сознает, что он никогда и никому не захочет отмщать. [Кто-то из рецензентов думал] Некоторые приняли, что я хотел выставить влияние денег на молодую душу, но у меня цель была [и шире и глубже] обширнее. Как юный русский, он, разумеется, составив величавый проект свой, тотчас же отложил его исполнение. Довольно того, что он хранит его в тайне как исход во всяком худом случае и в тишине любуется им и лелеет его в душе своей, особенно при каждой новой «обиде» судьбы. А обиды остаются, а ему так хочется нюхнуть жизни. Он как любовник гоняется за мнимым отцом своим и хочет покорить его душу. Он хочет непременно, чтоб у него просили прощения все, для того чтоб тотчас же простить всех и любить вечно, неотразимо, страстно. И в то же время у него адский проект. У него документ, тут красавица, тут возможность господства над нею, деспотизма и...

ЛБ, ф. 93. I. 2. 10, стр. 5.

Отрывок занимает в рукописи большую часть листа. Множество помарок, вставок и перестановок делают чтение в некоторых случаях только предположительным. Чувствуется, что мысль Достоевского, совершенно ясная для него в своих истоках (это подтверждает твердый, уверенный почерк первых строк), в процессе записи начала развертываться настолько стремительно, с неожиданным богатством оттенков, что некоторые слова второпях остаются недописанными.

Достоевский не смог удержаться от полемики с «некоторыми», увидевшими в романе только один важный вопрос — о власти денег. Оспаривая это, он сжато, но ярко раскрывает свой гораздо более глубокий замысел.

Слово «некоторые» заменило первоначально написанное: «кто-то из рецензентов думал...». Кого именно из рецензентов Достоевский имел в виду, трудно сказать. В первых главах романа идея Подростка — стать Ротшильдом — разъясняется очень подробно; и так как роман печатался частями, то не было ни одного газетного фельетониста, который не оказался бы под впечатлением этого и не подчеркнул бы «идеи» в своем отзыве.

В. М. (В. В. Марков), писавший в «С.-Петербургских ведомостях», даже сожалел впоследствии, что Достоевский, введя в роман множество лиц и эпизодов (по мнению этого критика, второстепенных), отвлекся от главной темы и оставил ее нераскрытой (1875, № 272). А Новый Критик, т. е. И. А. Кущевский (газета «Новости»), статьи которого выделяются своим редким для фельетонистов 1870-х годов пониманием Достоевского,— признался, что сам он приехал в Петербург с такой же идеей, как Подросток, твердя про себя стихи Некрасова:

Да, сорок лет минуло времени —
В кармане моем миллион.

---

* *Весь абзац — на полях.*

** *Над строкой*: безобразном

Это откровенное признание талантливого молодого писателя, умершего год спустя в нищете, само по себе интересно. Но никаких документальных указаний на то, что Достоевский был знаком со статьями Кущевского, мы не нашли. Кроме того, Кущевский сразу уловил готовность Подростка отойти от абстрактной юношеской идеи во имя других, духовных, ценностей. Это совпадало с авторским толкованием романа.

Можно отметить еще отзыв Заурядного читателя (А. М. Скабичевского) в «Биржевых ведомостях» (1875, № 35), где «идее» уделяется две трети конкретного анализа романа (если отвлечься от того, что большая часть статьи наполнена общими, водянистыми и поверхностными рассуждениями о Достоевском как писателе).

Судя по записным книжкам, в которых много раз упоминается В. Г. Авсеенко, Достоевский был особенно задет его статьей («Русский мир», 1875, № 27). Но об «идее» Авсеенко говорит сравнительно мало. Он подобрал высказывания Подростка, которые позволяют судить об известных эротических аномалиях в его психике, и на этом основании бросает Достоевскому обвинение в порнографии. Достоевский не мог прямо отвечать: с точки зрения приличий XIX в. порядочный человек унизил бы себя, приняв обвинение Авсеенко всерьез; только позднее на Западе эротические психозы стали материалом фрейдистского литературоведения. Авсеенко можно было ответить только косвенно, минуя главный пункт его статьи. Но всякая полемика с рецензентами в защиту своего романа была в то время не принята. Видимо, поэтому Достоевский — в кого бы он ни метил — в конце концов опустил публикуемый отрывок.

⟨О САМОУБИЙСТВЕ ДОЧЕРИ ГЕРЦЕНА⟩

Эта молодая девица, написавшая такую шикарную записку в последнюю минуту своей жизни, была вторая дочь Герцена. Первая дочь его Наталья [любимая дочь его], которую он обожал, сошла с ума еще при его жизни[1], и это было для него страшным ударом. Эту Наталью Герцен я встречал раза два-три, последний раз в 63-м году, на пароходе из Неаполя в Геную. Она была очень грустна. Мне случилось с ней проговорить тогда целый час... [она] грустила об отце, о том, что в России все от него отвернулись, считают его изменником России (это был год польского восстания). Она не вдавалась передо мною в защиту его, не объясняла его убеждений — она видимо принадлежала к тем женщинам, которые более живут сердцем, чувством и не заботятся о том, чтобы хвалили их ум и развитие. Мне она всегда казалась чрезвычайно симпатичным существом, которое вряд ли совпадает с окружающей ее резкой и предвзятой обстановкой, в которой никак не мог воцариться порядок. Одним словом, жизнь всей этой *семьи* была странная и не по силам этой молодой душе, находившей отзыв себе лишь в сердце отца, ее обожавшего. Когда я узнал об ее помешательстве, меня почему-то не удивило это. Вторую же дочь Герцена, самоубийцу, я видел лишь однажды и именно в это же путешествие и на другой день у них за обедом в Генуе. Ей было тогда лет одиннадцать или двенадцать, но я резко ее запомнил. (Полагаю, что это была она, т. е. самоубийца, потому что у Герцена, сколько я помню, было только две дочери и сын.) Это был довольно грациозный ребенок, за столом она несколько капризилась, помню за ней очень ухаживали, после обеда она пошла и легла на кровать под предлогом, что у ней разболелась голова. Но однако ж простилась со мной смеясь и пожелала еще раз непременно увидеться. Когда я узнал о ее самоубийстве, а теперь прочел ее записку — странная мысль мне запала в голову. Мне вдруг показалось, что она должна была истребить себя именно из-за простоты и прямолинейности жизни, которую унаследовала в родительском доме.

Заметьте — это дочь Герцена, человека высокоталантливого, мыслителя и поэта. Правда, жизнь его была чрезвычайно беспорядочна, полная противоречивых и странных психологических явлений. Это был один из самых [замкнувшихся] резких русских раскольников западного толку, но зато из самых широких и с [совершенно] некоторыми вполне уж русскими чертами характера. Право, не думаю, чтобы кто-нибудь из его европейских друзей (из тех, кто потоньше и поумнее) решился бы признать его вполне своим, европейцем, до того сохранял он всегда на себе чисто рус-

ский облик и следы русского духа — его, обожателя Европы. И вот (думается и представляется невольно) неужели даже такой одаренный человек не мог передать от себя этой самоубийце ничего в ее душу [кроме холодного мрака] из своей страстной любви к жизни — к жизни, которою он так дорожил и высоко ценил и в которую так глубоко верил. Эта такая шикарная предсмертная записка от дочери такого человека необыкновенно примечательна. Убеждений своего покойного отца [и], его стремлений, веры в них — у ней, конечно, не было и быть не могло, иначе она не истребила бы себя. Немыслимо и представить даже себе, чтоб такой страстный *верующий* Герцен мог убить себя. С другой стороны, сомнений нет, она возросла [вне всякого вопроса о боге] в полном материализме, даже, может быть, вопрос этот о духовном начале души и не пошевелился [в душе ее] в уме ее во всю жизнь, но все равно, но* дочь Герцена все-таки должна была быть существом [одухотворенным], почти непременно имеющим хоть понятия о чем-нибудь высшем, чем бутылка клико,— и вдруг такое предсмертное прощание с жизнью. В этом гадком, грубом шике, по моему, слышится вызов, может быть, негодование, злоба — и... Но злоба на что же? На пустоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это как бы судьи и отрицатели жизни, негодующие на глупость появления человека на земле, на [насмешливую] бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которою нельзя помириться? Слышится душа, возмутившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой «прямолинейности», сообщавшейся в доме отца ее душе с детства. Но если так, то эта самоубийца-мыслитель. А между тем она, выросшая в полном материализме, [она] пишет: Je m'en vais entreprendre un long voyage (предпринимаю долгое путешествие) — фраза, написанная, конечно, бессознательно и именно показывающая, что она и не задумывалась о вечной жизни [если б задумывалась и в чем-нибудь сомневалась, то не написала бы]. А между тем эта фраза написалась. Таким образом, уже это одно могло бы свидетельствовать о грубости натуры самоубийцы, о том, что в ней не таилось мыслителя. Но грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, внешней, данной причины, а по записке видно, что у нее не было такой причины. Что же это такое?

[Но что] безобразнее всего — то, что она, конечно, умерла безо всяких волнительных вопросов, безо всяких сомнений. Сомнение и мучение от сомнения не посещало отчетливо эту молодую душу. Умерла от холодного мрака и скуки, вот и все. В прямолинейности [сообщенных ей невольно взглядов, она и не сомнева⟨лась⟩] всего представлявшегося ей она была, конечно, совершенно убеждена [но прямолинейность-то эта, эта-то замкнутость духовная и убила ее] бессознательно, а перенести ее не могла. И вот, что для отца было жизнью и источником [жизни] мысли и сознания, то для дочери обратилось в смерть.

Скука. Слишком душно и глупо жить. Вроде того как бы воздуху недостало. И рядом с этим неуважением к жизни (клико) — последняя мнительная, болезненная забота о том, чтобы ее не похоронили мертвую.

Одним словом, холод и мрак окружающего, слишком уже упрощенные взгляды на жизнь и бытие передались уже ей с пеленок. Душа не вынесла такой простоты ** и потребовала чего-нибудь более сложного. Но не сознательно потребовала [сознание мучения облегчает мучение] [а просто стало противно и тошно], а стало просто противно и тошно. Ничтожность переданного душе ее мира, [прямолинейность] невозможность что-нибудь в нем уважать. Существо, замученное бессознательно. Оттого и такая записка.

* *Над строкой*: общий дух.
** *Над строкой:* материализма.

ЛБ, ф. 93.I.2, стр. 148, 150.

Публикуемый отрывок сжат в печатном тексте до размеров одного абзаца (XI, 423—424). Все упоминания о Герцене опущены. Взамен введена новая глава — «Приговор».

Тема этой главы была подсказана Достоевскому письмом Победоносцева 3 июня 1876 г. (см. публикацию Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги 70-х годов».— «Лит. наследство», т. 15, 1934, стр. 130—131).

Лиза Герцен, покончившая с собой в 1875 г., была дочерью Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой. В 1863 г., к которому относятся воспоминания Достоевского, ей было 5 лет. Совершенно очевидно, что Достоевский видел не ее, а как он сам говорит — «вторую дочь Герцена», т. е. Ольгу Герцен (род. в 1850 г.).

[1] Имеется в виду нервное заболевание, которое Н. А. Герцен перенесла в 1869 г.

НЕЧТО О ПЕТЕРБУРГСКОМ БАДЕН-БАДЕНСТВЕ

Стал читать и попал как раз в «Биржевых ведомостях» на брань за мой июньский «Дневник». Впрочем не на брань, статья написана довольно мило, но не очень. Фельетонист, г. Б.[1] ужасно подшучивает надо мной, хотя и вежливо, но свысока, за то, что я насажал парадоксов, «взял Константинополь». «Итак, Константинополь уже взят,— говорит он,— как-то странно, волшебно, но взят. Мы и в войне-то не участвовали, но он все-таки нам принадлежит единственно потому, что принадлежать должен». Но, милостивый г. Б., ведь это вы все сами сочинили: я вовсе не брал Константинополя в нынешнюю войну, «в которой мы и не участвовали», я говорил, что это сбудется *во времени*, и прибавил только, что, может быть, в скором времени, и кто знает, может быть, я ведь и не ошибся. И не виноват ведь я, что ваш взгляд на Россию и на ее назначение сузился подконец в Петербурге до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже фюрстентум Нассау, в котором теперь сижу и пишу это. Вы вот думаете, что будет все один Петербург продолжаться. Уж и теперь начинается местами протест провинциальной печати против Петербурга (да и не против Петербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в Петербурге и в нем обособившихся) — и которая хочет что-то там сказать у себя новое. Так ведь что вы думаете, может, и скажет, когда перестанет сердиться, а теперь, правда, еще гнев мешает. Идея о Константинополе и о будущем восточного вопроса так, как я ее изложил, — есть идея старая, и вовсе не славянофилами сочиненная. И не старая даже, а *древняя* русская историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая, и началась она с Ивана III. Кто же виноват, что у вас теперь везде и во всем Баден-Баден. Я ведь не про вас одного говорю; если б шло дело про вас одного, я бы не заговорил, но в Петербурге и мимо вас много завелось баден-баденства. Я понимаю, что вас так шокировало. Это будущее предназначение России в семье народов, об котором я заключил словами: «вот как я понимаю русское предназначение в его идеале». Вас это раздражило. Будущее, близкое будущее человечества полно страшных вопросов. Самые передовые умы, наши и в Европе, согласились давно уже, что мы стоим накануне «последней развязки». И вот вы стыдитесь того, что и Россия может принять участие в этой развязке, стыдитесь даже и предположения, что Россия осмелится сказать свое новое слово в общечеловеческом деле. Но вам это стыд, а для нас это вера. И даже то вера, что она скажет не только собственное, но, может, и окончательное слово. Да этому должен, обязан верить каждый русский, если он член великой нации и великого союза людей, если, наконец, он член великой семьи человеческой. Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России и в ее православии (под которым я подразумеваю *идею*, не изменяя, однако же, ему вовсе) заключаются залоги того, что Россия может сказать слово живой жизни и в грядущем человечестве? И что вы говорите о славянофилах;

их надобно знать, чтоб говорить о них. А кто об них теперь знает? Все больше понаслышке и по старой памяти. У нас теперь многое люди забыли и давно уже многому разучились, хотя ни во что не переучились. У меня большая ошибка в том, что я начал прямо с конца, сказал результат, последнее слово моей веры. Беда до конца высказываться. Вот вы и глумитесь: «Ах, дескать, об этом все стыдятся говорить, а он говорит; осмеять его!» Недоговаривать лучше и выгоднее. Все писать, все намекать и никогда не высказываться: этим можно снискать большое уважение, даже можно, не имея ни одной мысли, прослыть мыслителем. Да я-то этого не хочу. Меня упрекнут, я знаю это, мои же читатели за то, что «отвечаю на критику», как уже и упрекали не раз. Но ведь это не одному ответ, а многим. Тут факт. Не ответить, так отметить его все-таки надо.

Глава публикуется по копии, сделанной для набора рукой А. Г. Достоевской и хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 212, оп. 1, ед. хр. 155). Печатание главы было запрещено цензурой. Автограф в ЛБ, ф. 93.I.2.

[1] *Б.* («Буква»)—псевдоним сотрудника «Биржевых ведомостей» И. Ф. Василевского, напечатавшего фельетон в № 182 этой газеты, 4 июля 1876 г.

После нескольких оговорок о таланте Достоевского он подвергает резкой критике не только взгляды его, но и стиль, сравнивая его со стилем анабаптистского проповедника, «между прочим, в интервалах своей речи стреляющего, для вящего эффекта, из маленькой пушки, помещенной под кафедрой,—оглушительно, громко, витиевато и очень мало понятно!»

⟨СУДЬБА КОРНИЛОВОЙ И ЕЕ РЕБЕНКА⟩

... Во-первых, сколько я понимаю, но следуя *простым* путем, которым пошло дело, матери дадут разродиться [в остроге] до ссылки, не сошлют раньше этого. Затем, так как ведь никак уж нельзя сослать вместе с нею в Сибирь и младенца, то младенца у нее возьмут и отдадут отцу: таким образом в «лишение всех гражданских прав состояния» войдет и лишение естественных прав матери. Это бы ничего, но лишение всех прав состояния матери включает и лишение права младенцу иметь мать... А, впрочем, я опять за то же, хотел было смотреть просто, а все спотыкаюсь. Далее: Если ребенка отдадут отцу (кому иначе? [разве в Воспитательный дом, но вряд ли отец отдаст], то ведь его надобно вскормить [между тем отец крест⟨ьянин⟩], и уж неужели матери и вскормить-то ребенка не дадут? А между тем где он его вскормит?

Но отдадут ли ей вскормить?

— Нет это уж стало бы похоже на насмешку.

— Да и где ей кормить.

— Эх, я законов-то не знаю. Направят в Воспитательный *.

Конечно, в таком случае он поступит на прокормление в Воспитательный дом. Я даже так думаю, что все такие с виду необыкновенные вещи на деле обделываются самым обыкновенным и до неприличия прозаическим образом.

С нашим народом никогда поэмы не будет. Это самый прозаический народ в мире... Стыдно нашего народа **.

Но для удовлетворения этих лживых людей

Мцыри

Давать ли?

И не попрекнули бы друг друга, или так только немножко, себя жалеючи.

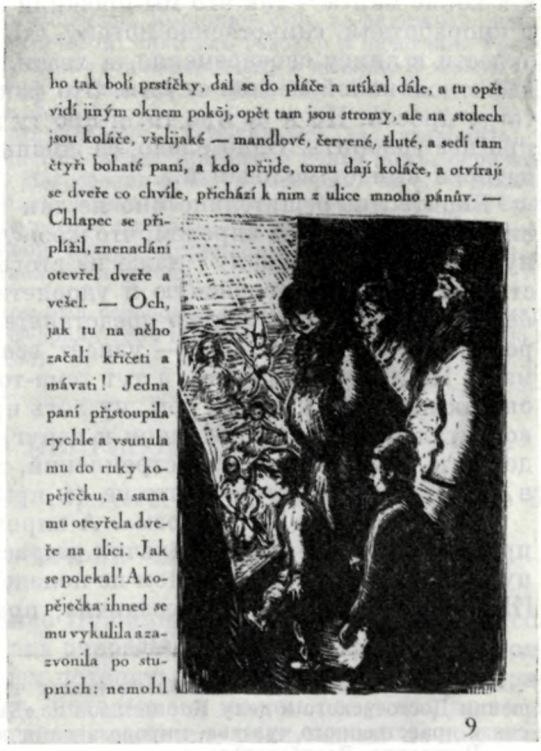
---

* Но отдадут ~ в Воспитательный — *на полях.*

** *Здесь и далее — наброски на полях.*

ИЛЛЮСТРАЦИЯ А. МЕЙЕРА К РАССКАЗУ «МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ»

Страница издания на чешском языке (Прага, 1923)


ho tak boli prstíčky, dal se do pláče a utíkal dále, a tu opět vidí jiným oknem pokój, opět tam jsou stromy, ale na stolech jsou koláče, všelijaké — mandlové, červené, žluté, a sedí tam čtyři bohaté paní, a kdo přijde, tomu dají koláče, a otvírají se dveře co chvíle, přichází k nim z ulice mnoho pánův. — Chlapec se připlížil, znenadání otevřel dveře a vešel. — Och, jak tu na něho začali křičeti a mávati! Jedna paní přistoupila rychle a vsunula mu do ruky kopějéčku, a sama mu otevřela dveře na ulici. Jak se polekal! A kopějéčka ihned se mu vykulila a zazvonila po stupních: nemohl

9

Попробуйте описать это в повести, слово в слово, черту за чертой и... а, впрочем, что ж я! Говорю: ничего не выйдет, а меж тем, может быть, выйдет и лучше даже всех [этих] поэм наших и романов с героями с раздвоенною жизнью и высшим презрением. Сколько теплоты, сколько самого естеств[енно] противуположного с нашими вымышленными формами жизни, сколько самого фантастического отражения действительности, самого непростого обнаруживается.

Конечно, все это будет дело мужицкое, простонародное, но ведь уж совсем фа⟨нтастическое⟩.

Даже, знаете ли, может быть, оно вышло бы вовсе и не так просто. Я так думаю даже, что простого вовсе и нет на свете. Правда, повыли бы над ней, когда проводили, а потом бы и стерпелось. Он человек рабочий, некогда и думать-то, а она... А она двадцатилетняя женщина [мать и жена] без мужа [и с ребенком], мать, у которой отняли первенца ребенка и которого, может быть, очень, именно в противоположность поступку с падчерицей, в какие-нибудь несколько часов успеет страстно полюбить. Она пойдет в каторгу и пойдет в партии. Я не знаю, как теперь, но прежде они шли партиями, человек по две и три сотни, по этапам, и *шли* в Сибирь месяцев восемь, и хоть женщины и мужчины особо, но в партии, я знаю это, можно сообщаться, особенно если деньги есть. Тут происходили романы. Я слыхал об ревностях, убийствах и все [дорогой] между этими преступниками. Но заметьте, что эти семь-восемь месяцев тяжелого, каторжного пути не считают за каторгу. Каторга, т. е. те 2 года 8 месяцев, на которые приговорили, начнутся ей только тогда, когда она прибудет на место, да и то бывают варьянты. Я, например, и покойный Сергей Федоров Дуров, с которым меня привезли (политических возят с фельдъегерем) в Омск в каторгу в январе, после четырех лет каторги, когда пришел наш четырехлетний срок, выпущены были из каторги не в январе,

а в конце марта [1], так что мы прожили в каторге два с $^1/_2$ месяца лишних и проработали, единственно потому, что писарь [вздумал у нас] забыл нас занести в книгу своевременно, а хватился пометить наше прибытие лишь два с половиной месяца спустя. Это факт. Удивительно, как это было все тогда просто. Но я не про то, я про ту женщину. А впрочем, что ж, что про нее говорить. Одно слово, ее жизнь только что *началась*, она еще из каторги выйдет молодая и...

Видите ли, решительно оно не так просто. Решительно можно составить целый роман. А впрочем, что же я. А уж хотите, так может самую полную и величавую поэму* даже из этого происшествия с Корниловой составить, самую европейскую и удовлетворяющую самому строгому европейскому вкусу. Вы только представьте себе этого ребенка во время дела родившегося. Выраст⟨ет⟩ — узнает все про мать и пойдет отыск⟨ивать⟩ мать. Написан же Мцыри, а тут тема-то получше. Само собою надо, чтоб он как-нибудь в барский дом, ну хоть принят из человеколюбия так, чтоб воспитался вместе с барчонком и вдруг — не хочу, дескать, с вами, хочу, дескать, демократических стремлений, пойду мать отыскивать, и все это в стихах, в таких стихах, что не ⟨1 нрзбр.⟩.

Выйдет значит целая поэма. А впрочем я *смеюсь*: обойдется все наипростейшим манером и мальчик вырастет, будет извозчиком, и к французу-гувернеру в барский дом не попадет, и сам женится, и жену прибьет. [Жизнь так пряма, так прозаична, право, лучше смотреть...]

ЛБ, ф. 93. I.2.10, стр. 144, 146.

Отрывок прибавляет несколько новых черт к тому, что мы уже знаем об отношении Достоевского к делу Корниловой из «Дневника», и дает замечательную картину связи нравственного чувства, мировоззрения и творческого воображения писателя.

Внимание Достоевского остановила заметка в два столбца в газете «Биржевые ведомости», 17 октября 1876 г. Репортер сухо, но добросовестно изложил дело, не сглаживая некоторых недочетов в ходе судебного следствия. Видно, что, во-первых, свидетели резко расходятся в оценке характера подсудимой; во-вторых, предположение врача о возможности аффекта, вызванного беременностью, не было учтено. Но эти факты не слишком колют глаза; врач на своем предположении не настаивал, а разброд в показаниях свидетелей — дело обычное. Факт покушения на убийство ребенка слишком все перевешивает. Вчувствоваться в незначительные детали, разрушающие образ преступной мачехи, и создать другой, гораздо более сложный и человечный, мог только писатель, которого простое объяснение преступления всегда отталкивало, и воображение которого искало, за что зацепиться, чтобы разрушить мнимую простоту факта, как будто вполне подходящего под соответствующую статью уголовного кодекса. (Правда при самом первом известии о преступлении Корниловой Достоевский резко осудил ее — см. XI, 296—297.)

Картина складывается в воображении Достоевского до всякого знакомства с людьми и обстоятельствами дела. Только тогда, когда глава «Дневника» была написана и напечатана, Достоевский узнает адрес Корнилова и навещает его, а потом и подсудимую (что каждый человек, больше верящий фактам, чем своему воображению, сделал бы в первую очередь).

Новые впечатления только подтвердили, по словам Достоевского, его догадку (см. письмо Масленникову 5 ноября 1876 г.—«Письма», т. III, стр. 249—251). Между тем это не совсем так. В «Дневнике» Достоевский с симпатией рисует мужа Корниловой, а тюремная надзирательница А. П. Борейша (которой Достоевский вообще очень доверял) говорила, что «муж ее вовсе не стóит, он туп и бессердечен, и что будто Корнилова два раза посылала просить прийти и он *наконец-то* пришел» (там же, стр. 251). Словцо «будто» вставлено не случайно: Достоевский не хочет факта, который разрушает созданный им образ, и тут же приводит слова Корниловой, что муж придя, плакал над ней. Но, разумеется, одно другого не опровергает.

---

* *Первоначально следовал вариант I, замененный вариантом II и затем — окончательным.*

⟨Вариант I :⟩... то чего вам лучше: написал же Лермонтов Мцыри, а тут ведь побогаче. Вырастает сын, узнает про мать, и пойдет ее отыскивать в Сибирь, какие чувства.

⟨Вариант II :⟩ то чего вам лучше; можно даже напредставить себе так, что этот мальчик, выкормленный в Воспитательном доме, а потом у отца, выросши и узнав все про мать, пойдет ее отыскивать в Сибирь. Ведь написал же Лермонтов Мцыри, а тут тема побогаче, чем у Мцыри.

Нет никаких оснований не верить Борейше. Корнилов был, по-видимому, человек по-своему справедливый, но сухой и упрямый, тяжелый резонер и начетчик. Вряд ли он был подходящим мужем для своей жены, годившейся ему в дочери. И жизнь с ним была несладкой для молодой женщины — как до тюрьмы, так и после нее. Вскоре она умерла. Сохранилось письмо об этом:

«Милостивый государь Федор Михайлович. Асмеливаюсь вас уведомить, что известная вам Катерина Прокофьевна Корнилова приказала долго жить, скончалась 6-го числа июня в 10-ть часов утра. Погребение будет в четверкь, т. е. 8 числа на Митрофановском кладбище. Скончалась у себя на квартире. Известный вам Степан Корнилов. 6 июня 1878 года в 6 часов вечера писано» (ЛБ, ф. 93. II. 6. 123).

Таким образом, идиллия семейной жизни Корниловых после оправдания, намеченная в «Дневнике», не осуществилась в жизни.

[1] Ошибка памяти Достоевского: он был освобожден из каторги не в конце марта, а примерно 15 февраля; в письме 22 февраля 1854 г. он сообщает, что уже неделю как вышел на волю («Письма», I, стр. 133).

〈О НЕКРАСОВЕ〉

Тютчев — не оставил такого горячего следа, как Некрасов, не был симпатичен 〈?〉

И я понял, что он составлял нечто в жизни моей, хотя мы редко — —

Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, и потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее. Но новейшие критики и публицисты, кажется, рассуждают не так и кривят правдой, желая подладиться к молодежи.

Умаление Пушкина, как древнего и архаически преданного народу,— почти бесчестно.

Но в этих мотивах звучит такая любовь и такая оценка народа, которая принадлежит ему вековечно, всегда и теперь... Увижу ли народ освобожденный и рабство, павшее по манию царя, разговор с Николаем, письма Пушкина, мужеств〈енный〉 человек.

Юношам, если только вы говорили юношам, следует учиться, а не учить других.

Байронизм, малосведущий и даже в самой сущности темы, на которую стал говорить.

Байронизм был великое служение человечеству.

Во всяком случае Некрасов после Пушкина. Не было бы совсем Некрасова. В Некрасове ошибки.— Убиение французов — позор.

У Лермонтова любовь к солдату.

На жатве неря〈шливо〉 перевязывать грудь, точно народ виноват в своих привычках и обычаях, приобретенных в рабстве, народ не мог быть виноват за свое рабство. Таких ошибок Пушкин не сделал бы.

Некрасов мог ошибаться в народе и во все те мгновения, когда его не мучило раскаяние [и когда он подходил к народу свысока].

Представителем искусства для искусства в самом пошлом понимании этого выражения. И не только в самом пошлом, но и подлом. Ночью плачу о народе, а на утро ставлю 〈?〉 кабак!

Огарев, кабаки, но однако проверить бы. А сколько добра он сделал? Что же, скажете вы, тоже хотите оправдать Некрасова, не то же ли самое делаете, что Скабичевск⟨ий⟩. Совсем не то, неправда есть неправда, дурное есть дурное, порок есть порок и с этим никогда нельзя примириться, но мы-то, судьи-то, лучше мы его в самом-то деле, имеем ли мы право камень поднять. Ведь если и не сделали кое-чего, то не по чистоте нашей, а по трусости, что, дескать, скажут [у Некрасова в самом подлом виде, забор, что бы ни говорили, золотом выложен⟨?⟩, а потому добывай только золото]. —

На парижскую чернь, о подвигах которой он вычитал раз на всю жизнь в томах Тьера и Рабо —

Некрасов был искусства высочайший представитель.

А между тем это было не так, потому что Некрасов был воистину *печальник горя народного*. Не извиняйте же его ухищрениями.

Самое главное спасение в том, чтобы прибегнуть к правде полной. Примем же Некрасова вполне тем, каким он был в самом деле.

Весь вопрос сводится на то, был ли он искренен.

Выкупил ли он искренностью — конечно, нет, был честным.

Удовлетворяли ли его мгновения раскаяния? Это его дело. По-нашему, страдание должно быть сильнее по мере падения, и если он удовлетворялся мгновениями и плутовал сам с собой, и говорил такие фразы, что без *практичности* я бы не удержал «Современник», то тем больше и жгучее должен был страдать после этого от презрения к самому себе, и страдал наверно и был наверно судьей себе неумолимым.

Но мы имеем ли право быть твоими судьями?

Сами, страсти наши, не так много смеем, как Некрасов.

(и тут: оправдываю ли я Некрасова — нет, нисколько).

Он не прав—это незыблемо. Но и мы-то, святые ли.—Эти две вещи— друг друга не оправдывают, а лишь на нас налагают обязанности.

Признал правду народную. Человек, который мог до такой силы возвыситься, не мог быть только... и заказным поэтом.

В воспоминаниях Сергея Аксакова звучит несравненно больше правды народной, чем в Некрасове, хотя Аксаков говорит почти только о природе русской.

— *Здесь главное.* К тому же я ведь больше для *наших*, чем для ваших писал. Я наших хотел бы научить *Некрасову*, а не ваших нашему взгляду на народ, нашему взгляду преклонения перед правдой народною, а не высокомерному обмериванию его с нашей просвещенной и гуманной высоты.

Потому что Некрасов есть редкое, замечательное и необыкновенно крупное явление.

Надо бы проверить. Правда, даже ближайшие к нему уже в печати говорят про то утвердительно, стало быть, нашли нужным поспешить, чтобы предупредить других, хотя никто еще и не нападал из противной стороны. Правда, они подтверждают темные стороны с тем, чтобы оправдать, но как они их оправдывают? Скабичевс⟨кий⟩, Сувор⟨ин⟩ одно говорили...

Конечно, во всяком случае лучше не говорить, но я пришел к убеждению, что выяснить личность

... что мы робели там, где Некрасов не робел и не останавливался, и что демон, мучивший его, был сильнее, чем наши бесенята.

Она выразилась и в песнях западных славян, хотя касалась только славян, а не русского народа.

Исход из байронизма.

Оправдывать? Ни за что. Я только ставлю обвиняемого и противников друг перед другом и оставляю обвинителей с собственной совестью.

Если б даже было и доказано, что мы и не можем быть лучше, то этим вовсе мы не оправданы, потому что вздор все это: мы можем и должны быть лучше.
Извинение не есть оправдание. В извинении кроется для извиняемого даже нечто унизительное.

До широты объема и понимания народного духа ему до Пушкина далеко. Некрасов видел лишь страдания * народа, да дурные черты его (от страдания). Но он просмотрел красоту народа, его милосердие, мужество, трезвость душевную [спасение Мезенцева], чувство государственное и необычайное собственное достоинство после освобождения от рабства. Проповедовали, что он раб, и даже неприятно были изумлены, увидев его столь свободным. Не поверили красоте его. Теперь подъем духа. До этого не доросли, исковерканные дрянным европейничаньем. Недоросля и нельзя поднять до понимания России. Не доросли мы все ни до Пушкина, ни до России, ни до народа. Не хотят преклониться перед правдой, учителя народа. Долой! Но в том и дело, что Некрасов, если не умственно, то как поэт, в страдании своем признал народную правду и преклонился перед нею. Тем только он и дорог, а не как учитель народа.

Юношам надо учиться, а не учить других. А учителям к ним не подмазываться. Это трезвое слово требует подтверждения **. Как вы думаете, вы-то вот этого не скажете, а я-то вот сказал.

Может быть и есть несколько стихотворений *фальшивых*, даже есть наверно.

Вы прививаете к ним дух непогрешимости, дух самодовольствия, а стало быть и деспотизма. Не жившему совсем на свете так легко принять свечку за солнце.

[И давая] Отнимая у них суть жизни и давая им, взамен их, такие нищие блага, которыми не выманишь и собаку из подворотни, по выражению одного современного птенца.

Вот почему я ставлю Некрасова так высоко.

Гражданином быть обязан. Это его тяготило.

Западники. Они не могли не соединиться с Европой против народа русского. И с кем стало быть они соединились?
(С Валуевым).

Главное тут:
Надо бы проверить и главное: это рыдание и битье о помост находилось ли в *спокойном* состоянии, т. е. ночью рыдание, а завтра шампанское, кабаки и стишки, или находилось в постоянном состоянии муки и усилия выбиться (добро ли было, исповедь скрыта, гордо возвещал о слезах, зачем не [скит] Иоанн Печерский?)

* *Над строкой:* правду его.
** *В автографе:* повержения.

У народа будет мысль: такой-то русский *барин* плакал горючими слезами и ничего лучше не придумал как (стать народом), хотя и не стал по легкомыслию своему и по разврату. Вот настоящая правда! Но народ это простит, народ будет шире нашего суда.

Добрым был. Г. Суворин уже сказал словечко. Скажут и другие, и я уверен в том. Я хочу быть в том уверенным.

Что они проводили симпатичнейшего из наших поэтов в могилу — это хорошо и благородно, но если поверят, что они, не учась, учены и что они-то и есть русские критики, то уж это будет дурно. А ну как они вам не поверят. Тогда ведь над вами же будут смеяться, а, может, еще хуже того.

Бессмертной и недостижимой ⟨высоты?⟩

Некрасов. Он даже писал и обличения-то наобум. Множество⟨?⟩ ужасно подделанного.

Но стихотворения бессмертной красоты.

Слабое образование (при огромном, впрочем, уме), сделало то, что ⟨...⟩ Белинского.

Будущий характер был романиста.

Барин из тех, которые не признавали [верили в] народ, даже любя его,— были даже врагами народа [печаянными, не предумышленными, бессознательными. Но они желали часто народу то, что несомненно служило ему к погибели].

ЛБ, ф. 93. I.2.13, стр. 283.

Наброски, из которых выросла глава о смерти Некрасова (в декабрьском выпуске «Дневника» 1877 г.), возникли в непосредственной связи со статьей А. М. Скабичевского, опубликованной в «Биржевых ведомостях» (1878, № 6, 6 января). Статья эта (в серии «Мысли по поводу текущей литературы» — «Николай Алексеевич Некрасов как человек, поэт и редактор») содержит ряд положений, которые Достоевский упоминает и пытается опровергнуть.

Скабичевский начинает статью обращением к молодежи:

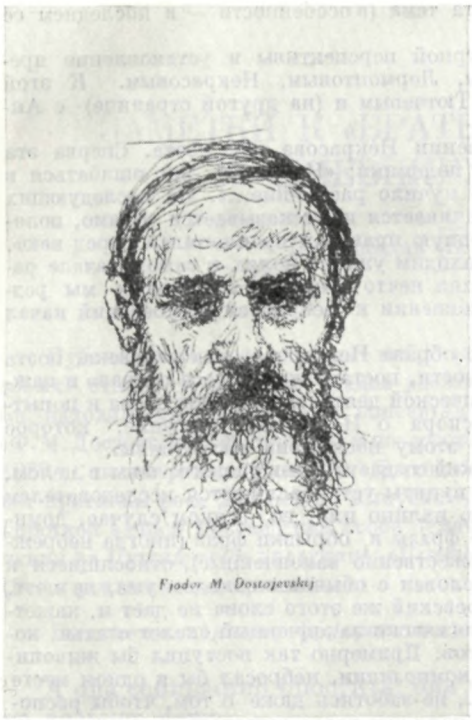
«Желая положить со своей стороны прощальный венок на могилу Н. А. Некрасова, к вам, молодые друзья мои, обращаю я речь свою, да, исключительно к вам одним, потому что для всех остальных я считаю речь свою совершенно излишнею и ненужною. Эти все остальные успели составить о Н. А. Некрасове вполне определенные и твердые понятия, и с этих понятий их не сдвинуть никакими силами...»

Тезис Скабичевского о неспособности старшего поколения понять творчество поэта Достоевский оспаривает каждым словом написанной им главы.

Далее в статье Скабичевского читаем: «И потому я решился обратиться исключительно к вам, мои молодые друзья,— тем более, что вы успели уже за меня ответить на те вышеупомянутые ошибки и заблуждения. Вы ответили на них тем, что, не колеблясь, избрали девизом для венков, несенных впереди гроба, высокое и лестное для каждого поэта название „поэта народных страданий", тем, что несли гроб поэта на плечах своих до самой могилы, как вы давно уже никого не носили из русских писателей, и тем, наконец, что когда кто-то на могиле поэта вздумал сравнивать имя его с именами Пушкина и Лермонтова, вы все в один голос хором прокричали: „он был выше, выше их..."»

Противоречия в характере Некрасова Скабичевский объясняет по шаблону: (влияние на поэта «традиционных привычек» (крепостничества) было не так велико, чтобы совершенно исказить «идеи», но достаточным, чтобы удержать от согласования идей с поступками. Достоевский, в противоположность этому, полемически подчеркивает противоречия *буржуазного* общества («Миллион — вот демон Некрасова!»).

Достоевский критикует чересчур прямолинейное одобрение Скабичевским того факта, что Некрасов, по его словам, решил «обеспечить себя какими бы то ни было средствами и на почве этого обеспечения развивать свой талант». В этом вопросе Скабичевский повторяет Суворина, высказавшего ту же мысль более подробно (и не в такой грубой форме) в своих «Недельных очерках и картинках» («Новое время», 1877, № 662; перепеч. в сб. «На память о Н. А. Некрасове». СПб., 1878, стр. 53—55. Характеристика личности Некрасова — на стр. 40—44).





ПОВЕСТЬ «КРОКОДИЛ» («НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ, ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ»)

Фронтиспис и титульный лист издания на исландском языке (Гетеборг, 1954)

Полемический тон набросков вступил, по-видимому, в противоречие с материалом и тоном надгробной речи, произнесенной Достоевским под непосредственным впечатлением смерти поэта и еще не стершейся из памяти. Поэтому очень скоро Достоевский сознает увлечение полемикой как чрезмерное, мешающее повторить и развернуть шире в печати то главное, что, по его мнению, нужно было сказать о самом Некрасове, оставляя Скабичевского, Суворина и всех остальных в стороне. Уже на второй странице набросков читаем: «Я наших хотел бы научить *Некрасову*, а не ваших нашему взгляду на народ...» Это напоминание самому себе остается, в пределах набросков, безрезультатным — вырваться из полемической колеи было не так легко. Заданный тон вел Достоевского дальше, не давая свернуть. Поворот был сделан только при переходе от набросков к связному тексту, который и по мысли, и по тону представляет собой сплав двух элементов; «некрологического» и полемического.

Детальный анализ набросков может отчасти показать, как подготовлялся этот поворот.

На первый взгляд, перед нами ряд записей, не связанных друг с другом и резко различных по форме: то это законченные афоризмы, то беглые записи мыслей, в которых некоторые слова берутся самим автором в скобки как неточные; то части фраз — начала или концы еще не написанных предложений. Но в этом хаосе есть своя система. Выделим основные темы:

1. Четко написанный афоризм: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа...» — это вступление, дающее тон главе в целом, и в то же время зачин одной из ее главных тем — полемики со Скабичевским и Суворинym. При изменении направления главы афоризм, сам по себе превосходный, остался в стороне. Он выдвигал полемику на первый план — а задачей Достоевского было подчинить ее объективному, по мере его сил, анализу поэзии и личности Некрасова. Прямые выпады против Скабичевского также были отброшены. Полемика в печатном тексте развивается приглушенно.

2. Превосходство Пушкина сравнительно с Некрасовым (и как поэта, и как человека): глубокая народность Пушкина, его гражданское мужество и т. д. С другой стороны, резко подчеркиваются те черты творчества Некрасова, которые оттал-

кивали Достоевского. В печатном тексте эта тема (в особенности — в последнем ее аспекте) звучит также приглушенно.

3. Выяснение общей историко-литературной перспективы и установление преемственности между Байроном, Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. К этой теме примыкают также беглые сравнения с Тютчевым и (на другой странице) с Аксаковым.

4. Постановка вопроса о великом значении Некрасова как поэта. Сперва эта тема только косвенно затрагивается в ходе полемики: «Некрасов мог ошибаться в народе и во все те мгновения, когда его не мучило раскаяние...». На последующих страницах это предложение как бы переворачивается и высказывается прямо, положительно: «в страдании своем признал народную правду и преклонился перед нею». Но первую положительную формулировку находим уже на полях в самом начале работы над статьей: «И я понял, что он составлял нечто в жизни моей, хотя мы редко — — ». С этой мысли о своем личном отношении к Некрасову Достоевский начал и ею окончил печатный текст.

5. Создание художественного целостного образа Некрасова как человека, поэта и гражданина, нравственная оценка его личности, постановка вопроса о праве и важности этой оценки при характеристике поэтической деятельности Некрасова и попытка предугадать окончательное решение спора о Некрасове, решение, которое должен высказать народ. В печатном тексте этому посвящена часть главы.

Таким образом, в начале работы Достоевский создает план-конспект главы в целом, но план своеобразный, в котором отдельные пункты устанавливаются исследователем посредством рассуждения, а непосредственно налицо или, во всяком случае, доминирует другое: эмоционально выразительные фразы и обрывки фраз (иногда небрежные, как дневниковая запись, иногда — художественно законченные), относящиеся к тому или иному кругу вопросов, который человек с обычным складом ума, не поэт, определил бы каким-то общим словом. Достоевский же этого слова не дает и, кажется, даже не ищет его, не пытается создать логически законченный скелет статьи, который позже бы лишь облекся плотью образов. Примерно так поступил бы живописец, который, избегая схематической общей композиции, набросал бы в одном месте эскиз уха, в другом — эскиз пальцев и т. д., не заботясь даже о том, чтобы расположить эти наброски на полотне в известном порядке: целое остается, до поры до времени только в сознании художника.

ЗАМЕТКИ К «БРАТЬЯМ КАРАМАЗОВЫМ» И «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ»

Публикация Е. Н. Коншиной

Публикуемые ниже черновые наброски к главе IV седьмой книги «Братьев Карамазовых» относятся к той же стадии работы писателя, которая представлена рукописями, находящимися в ИРЛИ и напечатанными в 1935 г. А. С. Долининым в сб. «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Продолжая работу над романом осенью 1880 г., после речи о Пушкине, Достоевский одновременно готовил к печати свой ответ критикам речи для нового выпуска «Дневника писателя». Характерно, что в этой короткой записи Достоевский особо отмечает «примирительный» пафос своего выступления на Пушкинском празднике: «Пришел с прощением всех увлечений и крайностей. (Это я усиленно подчеркиваю.)»

Печатается по автографу, хранящемуся в ЛБ.

А она собирается простить, она простить едет, это слышно, видно. Она не возьмет ножа.—
— Я ей одно только доброе слово сказал.
— Мне, может, еще и Митя нравится.
— А, может, и в тебя влюблена, Алеша, прав Ракитка.

«На смерть еду» — боялся, что у Грушеньки замысел.
И у Грушеньки счастье.
Прячет горе в *тихую умиленную радость*.
А и сколько таких, как она, господи, за всех, за все —
Кана Галилейская.
Ракитин ушел в переулок.
Пока Ракитин о своей обиде будет думать, всегда уйдет в переулок.

И матери Иисусовой — странно эта Кана.
Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости помог. Кто любит человечество, тот радость его любит.
Без радости жить нельзя,— говорит Митя.
Так и надо.
(Чтение) что это такое? Господи, откуда же пир? Где это?
Да это пир.
И тихо, безгласно совершилось радостное первое ⟨? ⟩ чудо —
К нему.
Знаю другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, матери его, что не для милости и для тихой радости людей сошел сын ее, что не доступ⟨на⟩⟨1*нрзбр.*⟩ сердцу его безгрешная простодушная радость каких-то бедных нищих, может быть, людей, позвавших его на убогий брак свой: «Вина нет у них.» «Не пришел еще час мой»,— отвечает он с тихою улыбкою, однако же пошел и сделал по просьбе ее. Прелестная повесть... Грушенька поехала — там, пожалуй, веселье, она не возьмет ножа. «На смерть еду!» Это так только крик.
— Секрет, какой такой это секрет?

— Знаешь, жест этот его, я знаю.
— Иван (Алеша стал серьезен).
— Нет, тут она, тут она, что хочешь, тут она!
Все втроем против меня замышляют.
— Это она, это она. Это Катька!
— Ну, что он завтра будет говорить. Алеша, как это судят?
Расскажи ты мне как? Кто судит — ведь это лакей, лакей убил, лакей! Господи, неужто же его за лакея осудят?
— Показания умножились.
— Приди рассказать.
— Сумасшедший он или нет?

(Письмо от поляков: ну вот опять!)
Ты говоришь: им пироги посылаешь.
Послать полякам пирогов.
— Глупый ты, Алеша, не то обидно, что ревнует, а обидно, коль не ревнует. Я такова, только меня-то он не любит. Он это нарочно. Потому он ее любит так 〈? 〉во мне вину 〈? 〉сыскать.
Под конец

Максимов — Нет-с, супруга меня очень ревновала.
— Тебя-то, да к кому тебя ревновать-то?
— К горничным девушкам-с.

— Да вот что, Алеша, что это он все такое говорит! Точно помешанный. Думаю, ну все у меня что-нибудь. (Ракитка слушает.) А потом и сомнение: да не с ума ли сошел?

— Знаешь: погубит она его на суде! Вот помяни мое слово, погубит. — Нет, она что-то готовит.

Настоящая.

— Секрет. Да сегодня сказал, ведь он добрый, только ты, Алеша, не говори, слышишь, не говори, когда пальцами начнет за висок себя теребить.
— А я и сказал, да нет 〈? 〉положись 〈? 〉
— Это не то, это у них с Катериной Ивановной.
— Это они втроем что 〈-то 〉против меня положили подвести, научили. Зимой она хочет за ним в Сибирь ехать, сама говорит. Она, дескать, зимою в Сибирь поедет.

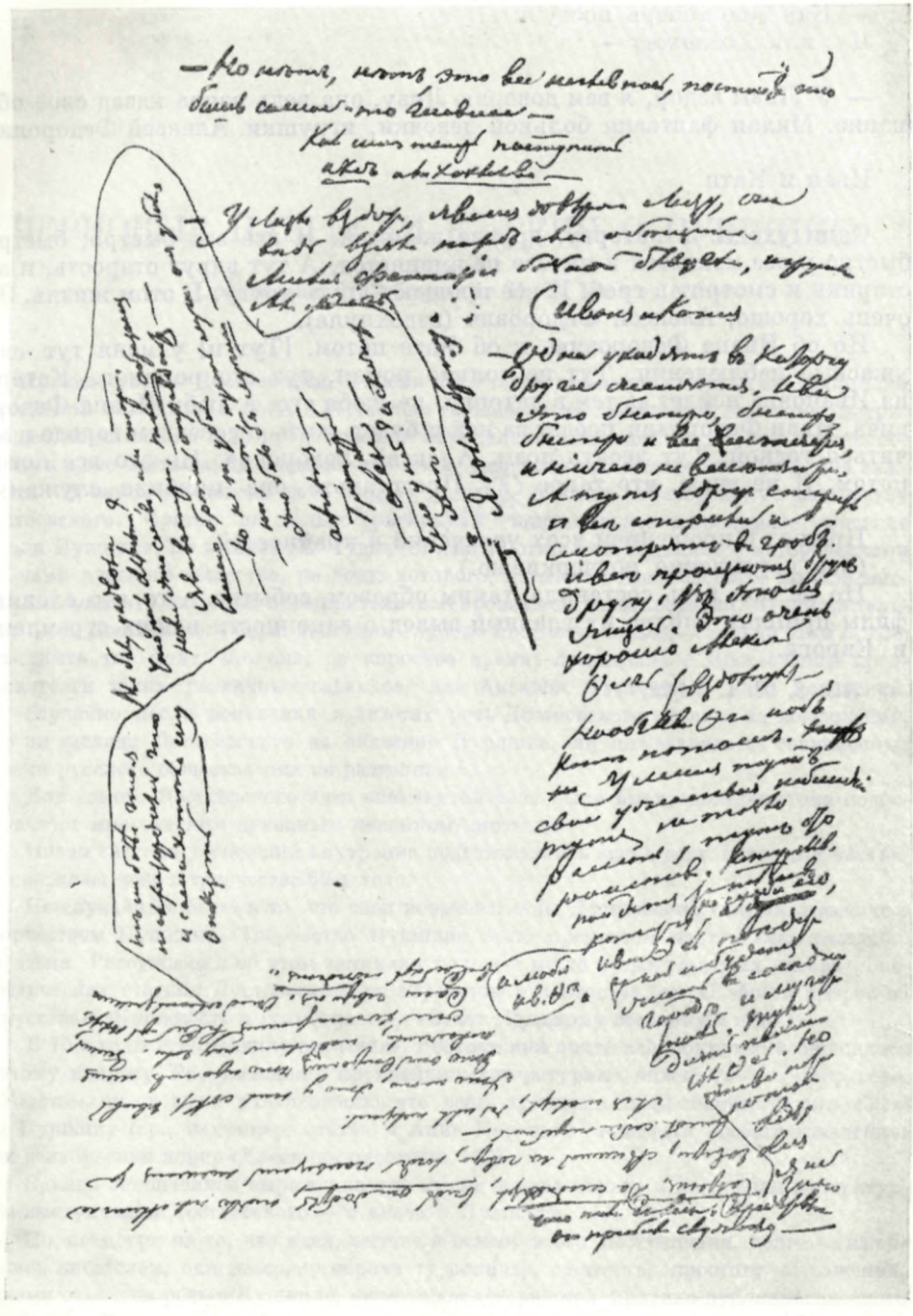
— Вы были у адвоката. Что такое аффект? Новое это слово, или старое? Я в восторге, таким образом вашего брата оправдают.
— Но не он убил.
— Нет, нет, пусть лучше он убил, это было бы лучше.

Аффект.
Григорий
— что у ней? и скажите мне.

— Тем более, что я так рассердилась, что и сама хотела ему отказать.

— Я должен к брату.

— Но нет, нет, это все не главное, постойте, что бишь самое-то главное.



ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК ДОСТОЕВСКОГО К РОМАНУ
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 1879

Лист 1

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

— Как мне теперь поступить?
Икс или *Хохлакова* —

— У Лизы вздор, я вам доверяю Лизу, она ведь взяла назад свое обещание. Милая фантазия больной девочки, игрушки, Алексей Федорович.

Иван и Катя

Одни уходят в каторгу, другие женятся. И все это быстро, быстро, быстро и все меняется и ничего не вменяется. А тут вдруг старость, и все старики и смотрят в гроб. И все прощают друг другу. В этом жизнь. Это очень хорошо, Алексей Федорович (вздохнула).

Но об Иване Федоровиче и об Кате потом. [Тут н] у меня тут свои ужасные наблюдения. Тут не только роман, тут сто романов. Катерина Ивановна пойдет за тем в каторгу, не любя его, а любя Ивана Федоровича. Иван Федорович поедет за ней и будет жить в соседнем городе и мучиться тоской. Тут десять поэм. Алексей Федорович. Но это все потом, потом. Я не знаю, что такое ⟨?⟩. Представьте, она прибила служанку.

Пришел с прощением всех увлечений и крайностей.

(Это я усиленно подчеркиваю.)

Но не моя речь составила, таким образом, событие, а то, что славянофилы приняли вполне их главный вывод о законности наших стремлений в Европе.

ЛБ, ф. 93. I. 2.1/22.

ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ К «РЕЧИ О ПУШКИНЕ»

Предисловие и публикация И. В. Иванъо

Произнесенная Достоевским 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности «Речь о Пушкине» произвела на слушателей поистине потрясающее впечатление. Как представители либерального западничества, так и славянофилы, и даже часть народнической молодежи, увидели в ней событие исторической важности. В какой-то степени речь своим успехом обязана ораторскому мастерству Достоевского. Оратор не только раскрывал национальное и всемирное значение поэзии Пушкина, но и связывал художественные открытия Пушкина с историческими задачами русского общества, на долю которого, по мысли Достоевского, выпала миссия выступить в качестве примирителя всеевропейских противоречий. «Примирительная» речь Достоевского была явлением глубоко противоречивым,— только этим можно объяснить тот факт, что она, на короткое время, примирила с Достоевским представителей таких различных взглядов, как Аксаков, Тургенев и Глеб Успенский. Не случайно после появления в газетах речь Достоевского вызвала их возражения, ибо ни взгляда Достоевского на значение Пушкина, ни его взгляда на современные задачи русского общества они не разделяли [1].

Для самого Достоевского идеи знаменитой речи были выстраданными: она подводила итог многолетним духовным исканиям писателя.

Новая система убеждений внутренне подготовлялась еще в годы каторги и частично сказалась уже в творчестве 60-х годов.

Не случайным было и то, что свои новые взгляды Достоевский связывал именно с творчеством Пушкина. Творчество Пушкина было предметом постоянных раздумий писателя. Рассуждения об этом занимают большое место в программных литературно-критических статьях Достоевского во «Времени» и в «Эпохе» (ср. «Г.-бов и вопрос об искусстве», «Книжность и грамотность», «Ответ „Русскому вестнику“» и др.).

В 70-е годы в «Дневнике писателя» Достоевский опять неоднократно возвращался к этому вопросу. Рассуждения о крупнейших литературных явлениях — о Некрасове, о Толстом, он сводит к утверждению, что всем лучшим в своем творчестве они обязаны Пушкину (ср., например, статью «„Анна Каренина“ как факт особого значения» или декабрьский номер «Дневника писателя» 1877 г.).

Однако законченное выражение эти мысли нашли только в последнем литературном выступлении Достоевского — в «Речи о Пушкине».

Но, несмотря на то, что идеи, легшие в основу этого выступления, долго вынашивались писателем, они не сразу обрели ту полноту, сжатость, простоту выражения, какими отмечена речь о Пушкине, являющаяся вершиной критико-публицистического мастерства Достоевского. Речь его художественна по построению и очень убедительна по чувству.

Недаром Аксаков назвал речь Достоевского «гениальной». Даже Тургенев, идейный антипод Достоевского, в письме к Стасюлевичу (см. стр. 113) признал, что «это очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь».

Творческая история речи любопытна во многих отношениях, но прежде всего она свидетельствует, что эта законченность далась Достоевскому только в результате длительного и упорного труда. По количеству рукописей, наиболее полно отражающих различные этапы работы над произведением, из всех сочинений Достоевского (пуб-

лицистических и художественных) с «Речью о Пушкине» может соперничать только роман «Подросток».

Самый ранний период работы запечатлен в различных черновых набросках на отдельных листах. Два этапа отражает черновик речи, переплетенный А. Г. Достоевской вместе с черновиками «Объяснительного слова» и «Ответа Градовскому» (I и III главы «Дневника писателя» 1880 г.) в общую тетрадь, которая была подарена в 1891 г. Публичной библиотеке в Петербурге, где и хранится в фонде рукописей. Центральная ее часть — очерк о Пушкине — опубликована В. Б. Враской под ред. Д. И. Абрамовича с указанием на те поправки, которые явились результатом вторичного обращения к рукописи (ср. «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л. — М., 1924, стр. 509—536). Публикация лишена каких-либо других текстологических примечаний и историко-литературных комментариев.

Наборная рукопись, также переплетенная в общую тетрадь «Дневника писателя» 1880 г., написанная рукой А. Г. Достоевской, находится в ЛБ. Ее расхождения с черновиком очень незначительны.

Наконец, сохранилась даже часть корректурных листов с авторской правкой.

Таким образом, все этапы работы Достоевского над речью о Пушкине отражены весьма полно.

Очень интересен самый ранний этап работы. Несколько черновых набросков хранится в рукописном отделе ИРЛИ (ф. 100, № 29502. ССХб. 22). Часть их (2 листка in folio), была опубликована В. Б. Враской («Вестник литературы», 1921, № 2, стр. 5—6; а также «Радуга». Альманах Пушкинского Дома. Пб., 1922, стр. 260—270).

Предлагаемые наброски из того же собрания ИРЛИ (из той же папки) представляют собой три небольших рукописи размером в 20,5 × 13,1; 20,6 × 13,1; 20,6 × 13,1 и объемом в 2,2 и 4 страницы соответственно — всего 8 страниц текста (ср. «Описание рукописей Ф. М. Достоевского». М., 1957, стр. 85—86), написанного мелким почерком в разных направлениях. Все поля, а также свободные места между первоначальными набросками заполнены записями более позднего времени. На некоторых страницах второй и третьей рукописи имеются пометки и цифры, сделанные с целью установить последовательность текста.

Записи на рукописях не единовременны. Они отражают по крайней мере троекратное обращение к ним автора. Об этом свидетельствуют как различные чернила, так и само расположение более поздних записей, вставленных в промежутках между более ранними, или вынесенных на поля.

Как известно, 2 мая 1880 г. Общество любителей российской словесности обратилось к Достоевскому с просьбой произнести речь по случаю открытия памятника Пушкину. Достоевский был внутренне давно подготовлен связать с творчеством Пушкина судьбу самых дорогих для него убеждений. Надо полагать, что он сразу принялся за работу, и тут же набросал основные мысли, которые он желал высказать. 19 мая в письме Победоносцеву Достоевский сообщал о том, что речь свою о Пушкине он подготовил. Следовательно, основная часть очерка о Пушкине была написана между 2 и 19 мая 1880 г.

Итак, рукописи отражают самый ранний этап работы. Они предшествуют черновику речи, хранящемуся в ГПБ. Однако в первой рукописи содержится запись, сделанная, вероятно, несколько ранее и, может быть, вне связи с речью о Пушкине. Она расположена в конце второй страницы в направлении, обратном основному тексту. Все остальные записи в трех рукописях объединены общей темой и единой целевой установкой. Некоторые записи повторяются на нескольких страницах с той или иной степенью различия.

В первой, наиболее фрагментарной рукописи, можно встретить в тезисной форме главные мысли всей речи, но большинство записей относится к характеристике народности Пушкина, как самой существенной черты его таланта. Здесь приведен ряд образов и сцен, в которых эта особенность Пушкина сказалась наиболее полно. Среди них обращает на себя внимание пересказ Достоевским содержания небольшого отрывка из «Капитанской дочки». В сцене расправы Пугачева над защитниками Белогорской



БИЛЕТЪ № 254

ДЛЯ ВХОДА

НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНІЕ

МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

4 Іюня
~~26 Мая~~ 1880 года,

ПОСВЯЩЕННОЕ ЧЕСТВОВАНІЮ ПАМЯТИ ПУШКИНА.

Ректоръ

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ ДОСТОЕВСКОГО НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПОСВЯЩЕННОЕ ПАМЯТИ ПУШКИНА, 4 ИЮНЯ 1880 г.
Подписан ректором Университета Н. С. Тихонравовым
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

крепости, по мнению Достоевского, Пушкин глубоко верен народности. Достоевский восхищается тем, что писатель раскрыл типичные черты русского человека, например, то удивительное простодушие, с которым казаки подбадривают обреченного на виселицу. Достоевский ставит в заслугу Пушкину то, что он, верный дворянским традициям, тем не менее не лишил человечности образ «озверевшего» Пугачева и увидел в нем не только «русского плута», но и «добродушную русскую душу».

Любопытно здесь упоминание в этом же контексте «великой государыни». Говоря о лишенном всякого высокомерия взгляде поэта на русского человека и на явления русской жизни, Достоевский проводит параллель между рассказчиком Белкиным и повествователем в «Капитанской дочке»: «Это Белкин посмотрел на Капитанскую дочку...» По мнению Достоевского, Пушкин до такой степени перевоплотился, что «всякая мысль о подделке, об идеализации исчезает, стушевывается», что «не подпишись Пушкин» под произведением, «можно подумать, что рукопись действительно найдена».

Относительно много внимания Достоевским уделено здесь «иноку-летописцу». Записи позволяют предполагать, что Достоевский думал сначала обосновать свое понимание народности Пушкина, анализируя этот образ. О том, что эта мысль не лишена оснований, говорят и фрагменты из двух других рукописей. В них упоминается о подвигах христианских подвижников, «побеждавших свою плоть» и овладевавших «духом своим до высочайших размеров свободы и нравственной силы».

Представляет интерес и уже упоминавшаяся запись (самая ранняя). Она касается очень интересного вопроса об отношении Пушкина к своему дворянскому происхождению, которое нашло выражение в «Моей родословной» и «Родословной моего героя». Может быть, эта запись возникла как впечатление от опубликованного в «Русской старине» (1879 г., декабрь) автографа «Моей родословной». Возможно, она представляет собой осколок каких-нибудь неизвестных записей. Но несомненна ее тематическая связь с теми двумя отрывками, которые были опубликованы В. Б. Враской. Подобно им, он не вошел в содержание речи. В этом отрывке Достоевский, развивающий тезис о народности Пушкина, берет под свою защиту произведения, за которые поэт подвергался

«нападкам» в демократической критике, в частности в статьях Белинского. Достоевский оправдывает гордость Пушкина своим происхождением, говоря, что поэт восхищался «доблестью» предков.

По словам Достоевского, стихи Пушкина вызваны раздражением против Булгарина и других «писак русских», дразнивших его. Однако отрывок не позволяет судить, к какому окончательному выводу пришел бы Достоевский.

Вторая рукопись носит менее фрагментарный характер.

Посредством вставок, пометок и цифр устанавливается хронология текста, целые куски которого почти без изменения были перенесены в последующие черновики речи, а потом и в самую речь.

Во многом содержание записей в третьей рукописи повторяет мысли предыдущей. Интересны записи, вскрывающие связь между сегодняшней позицией писателя и его прошлым политическим опытом. Характеризуя Алеко, Достоевский вскользь упоминает о Фурье: «Укажите ему тогда систему Фурье, который еще тогда был не известен, и он с радостью бы поверил в нее и бросился бы работать для нее, и если б его сослали за это куда-нибудь—почел бы себя счастливым...». К той же мысли Достоевский возвращался в «Ответе Градовскому» (ср. черновик ЛБ, ф. 93, II.16/2).

Интересно отметить и оказавшееся зашифрованным в окончательном тексте указание на то, что «этого страдальца, в котором отразился век и современный человек», Пушкин отыскал в себе гораздо более, чем у Байрона, а это значит, что Достоевский признавал духовное родство Пушкина с образом скитальца.

Вместе с тем образ скитальца сближается Достоевским с типом современного революционера-нигилиста:

«Наши *фантазеры* ⟨подчеркнуто автором⟩, наши скитальцы продолжают и до сих пор свою деятельность и если не ходят в цыганские таборы, то ходят в народ, ибо тот же в них недуг, что в Алеко и Онегине,— все тот же человек, только в разное время явившийся и в разных видах осуществившийся. Это общий русский тип, во весь теперешний век». Если сравнить приведенные слова с соответствующим местом окончательного текста, то можно легко обнаружить, что Достоевский смягчил свою мысль. Откровенно враждебный тон по отношению к «фантазерам» заменяется более сдержанной характеристикой. По поводу «общего русского типа» появляются оговорки, которые преуменьшают образ скитальца как типично русского человека (XII, 378).

Наброски речи о Пушкине свидетельствуют о том, что, прежде чем приняться за ее написание, Достоевский обратился к текстам пушкинских произведений. Следы чтения Пушкина обнаруживаются во всех набросках, включая и те, которые были опубликованы Враской. В фрагментах содержится около пятнадцати скрытых или явных цитат из произведений Пушкина. Перечитывая Пушкина заново, Достоевский стремился найти среди пушкинских образов такие, которые, по его мнению, наиболее полно и ярко иллюстрировали бы его нравственные идеи. Достоевский затрагивал весьма обширный круг произведений Пушкина, могущих «подтвердить» правильность выдвигаемой им концепции. Записи в виде отдельных фраз или просто упоминаний образов и произведений убеждают в том, что в самом начале речь о Пушкине мыслилась Достоевским на широком фоне критического разбора пушкинского творчества. Очевидно, предполагалось дать анализ даже тех произведений, которые могли быть выдвинуты в качестве возражений против его понимания народности Пушкина. Такова цель критического разбора стихотворения «Поэт и чернь» в рукописи, опубликованной Враской, характеристика героев «Капитанской дочки» и др. Многие из этих отрывков или вовсе не вошли даже в черновик или, будучи включенными в черновик и в наборную рукопись (по которой произносилась речь), не были произнесены, и Достоевский исключил их при печатании как в «Московских ведомостях», так и в отдельном издании «Дневника писателя» 1880 г. Из художественных произведений Пушкина в речи был оставлен только анализ «Цыган» и «Евгения Онегина» с подробной характеристикой образов Алеко, Онегина, Татьяны, вокруг которых Достоевский и сосредоточил свои основные выводы. Надо полагать, что сокращение критических наблюдений над различными произведениями Пушкина и выбор указанных двух вызван не только стремлением к цельности впечатления от устного выступления, выигрывающего от краткости. Оче-

видно, Достоевский считал, что большее значение для проповеди его идей имеют «Цыганы» и «Евгений Онегин», где дан образ скитальца и воплощен народный идеал.

Разбор же произведений, подтверждающий и без того убедительную мысль о народности Пушкина, мог дать повод для недоумений. Характерно, что, дорожа впечатлением от своей речи, Достоевский напечатал ее в том же виде, в каком она была произнесена. Так, он исключил из нее упоминание о Наташе Ростовой, имя которой хотя и было произнесено, но не было услышано среди оваций.

Вопрос о связи творчества Пушкина с его предшественниками и современниками, литературная и общественная борьба того времени находились за пределами внимания Достоевского-оратора. Однако в ранних отрывках содержались сравнения Онегина с Чацким и Мироновых с Простаковыми. Эти параллели могли вызвать посторонние ассоциации и, возможно, поэтому были исключены. Ни о Фонвизине, ни о Грибоедове в речи не упоминается.

Из критиков Пушкина Достоевский ссылается на Гоголя. Имени Белинского он не упоминает, но в целом ряде записей ведет с ним полемику; вся его характеристика образа Татьяны построена на возражениях Белинскому.

Основная часть записей публикуемых рукописей, как в этом можно легко убедиться, составила основу всего очерка о Пушкине. В фрагментарной, тезисной форме здесь содержится все то, что в более или менее развернутом виде, а иногда и без всяких изменений, было перенесено в окончательный текст.

Черновые наброски еще в большей степени, чем речь, опубликованная в «Дневнике писателя», отражают непримиримые противоречия мировоззрения Достоевского.

⟨1⟩

1. Понявший и правду его, что наметил уже в иноке-летописце.

Но ведь несчастен и Онегин? Позвольте тут другой вопрос, я вот как думаю.

Никогда еще ни один русский писатель не соединялся так духовно и родственно с народом.

До сих пор все это господа об народе пишущие.

И эта черта в Пушкине столь ярка, что ее нельзя не заметить и не отметить как главнейшую его особенность, какой ни у кого не бывало. Тут такая особенная черта, что ее нельзя не заметить.

Его умилительной любви к народу. Эти — казаки подталкивают его на виселицу: небось — нет он не пропустил этой черты.

А сам Пугачев озверел и добродушная русская душа, русский плут.

Сама великая государыня

Серьезно

Эти все, эти все картины...[2]

Всемирная отзывчивость. Пушкин — положительное подтверждение этой мысли.

Отметив так этого скитальца гениальным чутьем своим, угадав его первый в русской действительности с исторической судьбой его,— отметив этот отрицательный тип, Пушкин дал начиная с Татьяны и типы положительные —

инок [3].

Инок — не идеал, все ясно и осязательно, он есть, и не может не быть.

Даже и теперь как господа.

А главное в правду свою Пушкин верит, никогда не подпадет высокомер⟨ию⟩.

Это Белкин посмотрел на Капитанскую дочку. Один тот ⟨?⟩ рассказ.

Это рассказывает старинный человек, как будто тут и нет искусства, сам наивно написавший, не подпишись Пушкин, то можно подумать, что эта рукопись действительно найдена, можно ошибиться.

В этом сродстве духа с родною почвою и самое полное доказательство правды, пред которым всякая мысль о подделке, об идеализации изчезает, стушевывается. //

Небось, небось,— не пропустил же Пушкин этой черты.

Чуть соприкоснулся с почвой стал на великую дорогу. Великая дорога—это соприкосновение с великими идеалами общечеловеческими, это и есть назначение русское.

Славянофильство — и западничество.

Нет строгих разделений, организм.

NB. Это несет подражание, не усвоение. Это перерождение.

— NB. Дух народа — усвоение всего общечеловеческого. Позволительно думать, что природа или таинственная судьба, устроив так дух русский, устроила это с целью. С какой же?

А вот именно братского единения в апофеозе последнего слова любви, братства и равенства и высшей духовной свободы — лобызания друг друга в братском умилении.

И это нищая-то Россия.

Царь Небесный в рабском виде [4].

И Христос родился в яслях.

Это не мечта.

NB. После Пушкина это не мечта — Пушкин — факт.

Если б умер кто, на Куликовом поле, право, было бы приятно.

И Пушкин именно таких разумел:

Мстислав, князь Курбский, иль Ермак [5].

Этот и потомков не оставил и не аристократ, стало быть, Пушкин именно — разумел доблесть, доблестных предков —

не давить хотел он аристократическим происхождением.

Да и кого давил Пушкин, боже мой!

Но его раздражали, его дразнили аристократом писаки русские и между прочим Булгарин [6].

Почему не ответить хоть и Булгарину, хотя бы и в шуточных стихах?

[Дразнили его] Превозносились перед ним вельможеством и действительно происшедшие от Митюшки-целовальника.

Стихотворение могло и идти всем в ответ.

Во всяком случае гордиться [предка] происхождением от Мстислава, по крайней мере так же простительно, как и от Митюшки-целовальника, ибо есть гордившиеся демократизмом и происхождением от Митюшки-целовальника [7]— //

〈2〉

2) Слышится вера в русский характер, вера в его необъятную духовную силу, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда [в] на русского человека

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни [8],

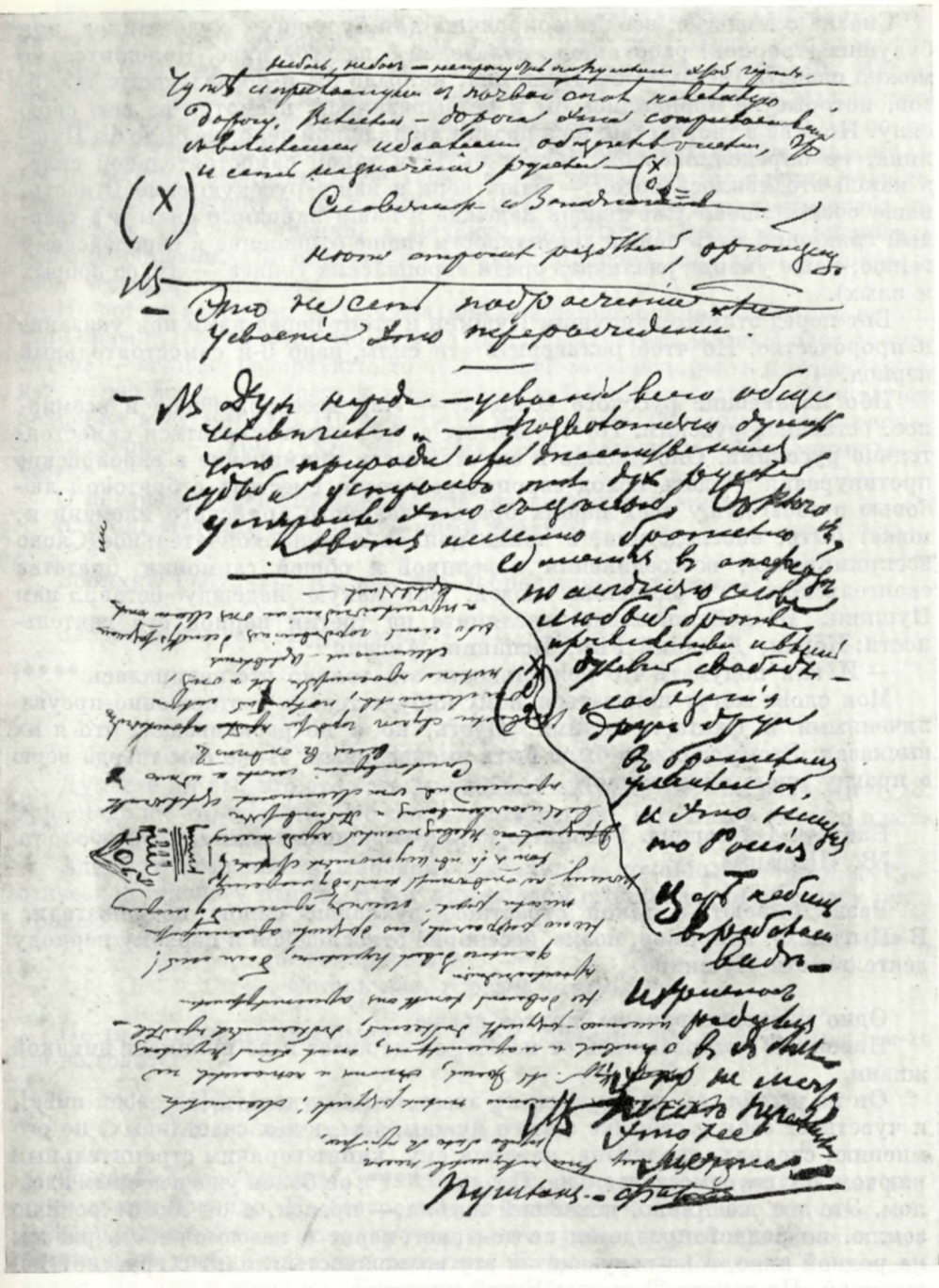
Сказал он сам потом —

Вся деятельность Пушкина в этом 2-м периоде есть...

Но что поражает, это умилительное

Я не говорю о величавом образе инока.

— Посмотрим Медведя [9]



ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ ДОСТОЕВСКОГО К «РЕЧИ О ПУШКИНЕ», 1880 г.

Лист 2

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Сказка о Медведе: все это сокровища для будущих * художников, для будущих [творцов] работников, делателей * на этой ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последующих талантов, которые не проявились бы и не выразились, несмотря на всю свою силу. Но и не в творчестве, не в поэзии лишь одной дело: не было бы Пушкина, не определилась бы, может быть, в такой самостоятельной силе, в какой это явилось потом,— наша вера в нашу русскую самобытность, наша сознательная уже теперь надежда в наши народные силы и в твердый грядущий путь нашей деятельности (наше отношение к европейскому гению, наше умение различать среди европейских гениев — духов добрых и злых).

Вот перед этим-то грядущим Пушкин и стоит перед нами как указание и пророчество. Но чтоб разъяснить эти силы, надо 3-й самостоятельный период.

Ибо назначение русского человека — есть всеевропейское и всемирное, оставаясь русским. Но что значит в этом смысле остаться самостоятельно русскими. Оно именно и значит внести примирение в европейские противуречия **, дать исход европейской тоске, вместить с братской любовью в свою душу всех наших братьев великого арийского племени и, может быть, впоследствии, в конце концов изречь окончательное Слово всепримирения, всесоединения в великой и общей гармонии братства евангельского ***, единения людей. Вот какую надежду оставил нам Пушкин. И действительно: взгляните на третий период его деятельности: Коран, Древний Рим, Испания, Англия [10].

— И как подумать что деятельность эта только что начиналась ****!

Мои слова могут показаться кому-нибудь теперь восторженно преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что я их высказал. Этому должно было быть высказанным. Я же сам твердо верю в правду мною высказанного.

Байрон. 1-й период. Говорят о каких-то подражаниях.
NB. «Цыганы»

Разве бывают с такой страстною духовною силою подражатели? В «Цыганах», например, поэме, бесспорно относящейся к первому периоду деятельности Пушкина.

Одно написано раньше, другое позже.

Навеки 〈?〉 оторвавшись от почвы, он не знает и не понимает никакой жизни.

Он не у себя, он не дома, он не знает, что ему делать [на своей ниве], и чувствует себя у себя же самого чужим, там, в тех счастливых, по его мнению, странах, где жизнь, кажется ему, кипит горячим стремительным ключом, полна, самостоятельна. Правда *****, он болен уже и вечным идеалом. Это тот же Алеко, искавший идеала,— правда, и он любит родную землю, но родной правде он не доверяет, верит в невозможность работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность глядит с грустной насмешкой. Не такова Татьяна: У той инстинкт.

У ней и крест и тень ветвей [14].

---

* *Над строкой.*

** *Над строкой*: все примирить, все европейские различия

*** *Над строкой*: Христова

**** *Слева на полях*: Молодой казак, именно молодой[11], а не старый.
Светская повесть «Пиковая дама»[12].
Ведь он забыл ее совершенно и увидя ее в светлом величии...

***** *Над строкой*: Фурье 〈?〉[13]

Но манера глядеть свысока заставила его не узнать * Татьяну, что не «нравственный эмбрион» [15] она только. Правда, мешала и светская манера, фатство, рабство и лакейство души перед авторитетом. Явись Чайльд Гарольд [16] оттудова, из своего места ** и влюбись в маленькую девочку Татьяну, покажи ей уважение, и Онегин тотчас же был бы поражен *** и удивлен, конечно, на время, ибо никакая Татьяна не наполнила бы проклятую беспредметную тоску его — тотчас же бы оценил высоко прелестную девушку и на время возвел бы ее в свой идеал. Но этого не случилось, там все Зарецкие и Ленские, которых он презирает откровеннейшим образом. Он отделался фатской проповедью, хотя и показал себя честным человеком.

Но вот он встречает ее уже знатной придворной дамой. Нет, она не то, что Онегин. Кто сказал, что ее уже успел развратить модный свет и тщеславие — если не развратить, то по крайней мере испортить и отравить — нет, у ней все те же крест и тень ветвей и 1-й идеал в душе. О, как она искренна в ту минуту! Но зачем она не отдалась Онегину? Кому верна, зачем верна? — Тому, кто ее любит. Тут трагедия — соблазнительная честь [17].

О не мщение женщины, но зачем она не отдалась ему.

Кто он? Нет, это он нравственный эмбрион.

Великий Государь. Ах как это добродушно и хорошо...

Зверства и русской доброты [18].

⟨3⟩

Думаете ли вы, что это есть в западной литературе, так ведь это чудо, ведь надо же это сознать. Это столь оригинально, [что и] и в этом-то и есть пророческое. В чем же пророчество?

Алеко, стремление к мировому идеалу. Беспокойный человек, фантастическая жизнь у цыган. И вот при первом столкновении обагряет руки кровью.

Его прогоняют.
Оставь нас, гордый человек [19]

Не то, чтобы цыганы были тот идеал общества, но даже и цыганам-то он не годится

Переделать весь мир — и чуть личность — кровь.
Мы — нет у нас закона ****

Овладей собою сначала, и увидишь рай. Это уже указание. Это уже русским духом повеяло. Не безграничная личность, а смирись, подчини себя себе, овладей собою,— что, впрочем, и есть самое сильное проявление личности, и не требуй прав человечества, не то первый позовешь на помощь закон. Да, тем и кончишь. Когда ты первый их не достоин и первый в этом идеальном обществе производишь диссонанс своей злобой и жадностью наслаждений даром, за которые ничем нравственно не хочешь платить. Такой силы мысль — не есть только подражание.

---

* *Над строкой*: не от
** *Над строкой*: туда, в эту деревню, и заметь Татьяну
*** *Над строкой*: на нее
**** *Между строк.*

Скоро Пушкин перешел во 2-й период. Еще в Онегине в 1-х главах слышится.

Это не строго отмежевано.

Но посмотрим на Онегина, разве это не всецело русский человек, русская тоска тогдашнего времени?

Это тоже Алеко — оторванный от почвы.

Европа и удел всего арийского племени нам также дороги, как Россия, удел всего арийского племени есть русское дело, родное нам, прирожденное, наша сущность, наш идеал.

4-й период. Может быть, Пушкин дал бы великие положительные типы красоты русской.

Все эти славянофильства и западничества — все это лишь одно великое недоразумение [прост]. Правда, [необ] исторически необходимое в просыпающемся русском сознании, но которое, конечно, исчезнет, когда русские люди взглянут прямо на вещи в глаза.

Овладей собой и узнаешь правду и станешь достойнейшим праведником — наступит и для тебя золотой век.

Ведь это мысль русская, ее сознает и народ. Он читает ее в жизни первых христианских подвижников, побеждавших себя и плоть свою и выраставших до страшного значения силы, видевших Христа так, что и земля не могла вместить их.

Откликнуться на все духи //

Их прошлое для нас — дорогие и родные могилы, их будущее — это наше родное дело, наш идеал братства племен и народов.

Удел той бедной и презираемой еще нами земли, которую в рабском виде царь небесный исходил благословляя.— Чего нам стыдиться — нашей бедности, нищеты. И Христос родился в яслях. Но вот мы выставляем поэта, дух которого откликнулся на все духи...

Пушкин явился как раз в самом начале правильного самосознания нашего и деятельности нашей после Петровской реформы и появление его чрезвычайно осветило нашу дорогу.

В этом смысле Пушкин есть и пророчество и указание. Я делю деятельность Пушкина на три периода, был бы, может быть, и четвертый период, но бог судил иначе, и смерть взяла нашего великого поэта в самом полном развитии его духа и сил.

Я не буду смотреть критически. Говорят, он в первом периоде (строгих разграничений нет).

Онегин как бы начинается еще в 1-й период, а кончается в самой полной силе второго.

Моя мысль о пророчестве и таинственности для нас значения Пушкина.

Фантастический Алеко (в противуположность Онегину) реальный пришел к цыганам. Это тот гордый и страдающий человек, жаждущий мирового счастья, который первый *, чуть коснется до него, потребует закона терзающего и казнящего.

О, эту мысль сознает и народ, и хоть не всегда исполняет ее в своем смрадном и угнетеннейшем разврате, но [молится ей] чтит ее со слезами как святыню, верит ей и молится ей со слезами. О, пока еще он знает ее в том, что ему всего драгоценнее в религиозных идеалах своих — в святынях, величии умерщвленной плоти и овладения духом своим до высочайших размеров свободы и [силы] нравственной силы.

---

* *Между строк*: чуть не по нем, ничего не поняли <?>

ПРОГРАММА
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В ПАМЯТЬ А. С. ПУШКИНА,
УСТРОЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНЫМ ФОНДОМ
19 ОКТЯБРЯ 1880 г.,
ПРИ УЧАСТИИ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский читал сцену из «Скупого рыцаря» и стихотворения «Как весенней теплой порою» и (сверх программы) «Пророк»

Музей-квартира Ф.М. Достоевского, Москва



ОБЩЕСТВО
ДЛЯ ПОСОБІЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ
литераторамъ и ученымъ.

Въ Воскресенье, 19-го Октября, въ 2 часа,

ВЪ ЗАЛѢ
С.-П.-Б. ГОРОДСКАГО
КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
(у Александринскаго театра).

ЧТЕНІЕ
ПРОИЗВЕДЕНІЙ ПУШКИНА.

ПРОГРАММА:

1. 19 Октября 1825 г. . . . . прочтетъ Я. К. Гротъ.
2. «Къ морю» } . . . . . П. И. Вейнбергъ.
3. «Для береговъ отчизны дальней» }
4. 19 Октября 1827 г. } . . . . . Гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ.
5. 19 Октября 1831 г. }
6. «Утопленникъ» . . . . . Д. В. Григоровичъ.
7. Изъ «Скупого рыцаря», сцена 2 (подвалъ) . Ѳ. М. Достоевскій.
8. Изъ «Евгенія Онѣгина»: главы 3-й строфы XXXI—XXXV (письмо Татьяны) . . . . М. Г. Савина.

5 минутъ антракта.

9. «Брожу-ли я вдоль улицъ шумныхъ» } . . . . . А. Н. Плещеевъ.
10. «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье» }
11. «Моцартъ и Сальери» . . . . . Д. В. Григоровичъ.
12. «Какъ весенней теплой порою» . . . . . Ѳ. М. Достоевскій.
13. Изъ «Бориса Годунова», сцена въ корчмѣ на Литовской границѣ . . . . . И. Ѳ. Горбуновъ.
14. 19 Октября 1836 г. } . . . . . Я. К. Гротъ.
15. «Памятникъ» }

Печатать дозволяется 14-го Октября 1880 г. И. д. Градоначальника Генералъ-Маіоръ Ѳедоровъ.

Тип. Имп. Спб. театр. (Эдуарда Гоппэ), Вознес. пр., № 53.

И тогда узришь Христа, не убьешь и не растерзаешь, а простишь и полюбишь, не призовешь защиты ⟨?⟩ закона себе в помощь, ибо сам исполнишь его.

Это тот же Алеко — но в более реальной постановке —

Пушкин реалист, как⟨их⟩ еще не бывало у нас.

От своих отстал, к чужим не пристал, жаждущий внешних идеалов — внешней спасающей силы.

Укажите ему тогда систему Фурье, который еще тогда был неизвестен, и он с радостью бы поверил в нее и бросился бы работать для нее, и если б его сослали за это куда-нибудь //

почел бы себя счастливым, нашлась бы внешняя мировая деятельность до 1-го разочарования, разумеется. Но тогда еще не было системы Фурье. Полюбить же работу тогда, как и теперь, было немыслимо, стать своим между своими было немыслимо. Не то что не в моде, а просто немыслимо, а просто абсурдом. Идеалов в своей земле у него не было. И вот Татьяну он не узнал *. Явись Чайльд-Гарольд —

Нет, если кто был нравственный эмбрион, так это он, Онегин.

NB! Стань она вдовой, она и тогда бы не пошла за ним.

Если б она верила в него, она бы пошла за ним [может быть]. Русская женщина идет, если верит. Это она доказала. Но во что было верить Татьяне?

---

* *Над строкой*: родной

В подражаниях никогда не появляется столько самостоятельности страдания и той глубины самосознания, которую выразил Пушкин в своем Алеко. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности духа, которой не было бы, если бы он только подражал.

Представляет уже русскую мысль, уже начало мощной самостоятельности.

Действительно, в типе Алеко слышится мощная самостоятельность.

Пушкин уже отыскал этого страдальца, в котором отразился век и современный человек [20], и [отыскал] нашел, конечно, в себе самом [гораздо более чем], а не у одного только Байрона.

Конечно, гораздо более в себе, чем у Байрона *

Наши *фантазеры*, наши скитальцы продолжают и до сих пор свою деятельность и если не ходят в цыганские таборы, то ходят в народ, ибо тот же в них недуг что в Алеко и Онегине,— все тот же человек, только в разное время явившийся и в разных видах осуществившийся. Это общий русский тип, во весь теперешний век. Правда, огромное большинство русских, как тогда, служит, и, конечно, мирно в чиновниках, или в казне, или в железных дорогах, но ведь это только... ведь главный-то нерв этих русских. Коснись этих чиновников звук и мысль, озарись их ум самосознанием, и они запоют то же самое. Что же поет Онегин. О, он тоскует, что под ним нет почвы, хотя в Алеко еще и не умеет этого правильно высказать.

Один еще на ногах, а другой уже дошел до запертой двери. Что в том, что один еще и не начал думать, [еще] а другой уже дошел до запертой двери. Всех одно ожидает, если же поворотят на спасающий путь. //

Сват Иван [21], Медведь — это любование. Это любовь.

Умилительная любовь (не в той и другой ловко и умно подмеченной черте народного быта и характера, столь мастерски явившейся в последующих писателях и у самых лучших из них, все еще с некоторой высокомерностью взгляда, все еще с оттенком чего-то из другого общества и быта, а просто какая-то умилительная любовь к народу, к душе его и вере, преклонение перед величием духа его.

Много бы сделал да и прикосновение к народу открыло вдруг Пушкину новые горизонты 3-го периода его деятельности (Европа). *Самое важное.*

3-й период. Жадная русская душа, возлюбившая столь много в народе русском, соединившаяся с ним и прикоснувшаяся к почве, как бы разом окрепла и ощутила в себе богатырские силы и невиданные широчайшие стремления. Да, воссоединение с гениями Европы есть [назначение, цель и] исход русской силы к величайшей цели.

Но однако же вот явилась душа, вместившая все духи и гении мира, не внешне, а органически, как бы свое родное — и это уже есть указание, пророчество и указание.

Финал Онегина: Русская женщина, сказавшая русскую правду,— вот чем велика эта русская поэма.

Тут другой вопрос: Не кому и чему отдана, а кому и чему отдаться? Да если б она освободилась, она бы не пошла за ним.

Прозвучал темперамент женщины, и это нам как бы дороже, что она не совсем Мадонна, не совсем идеал. Тут мучение, тут трогательно; тут человек!

---

* *На полях слева*: и вот обагряет руки кровью и что же, даже цыганам не годится, не то что для мирового идеала.

О, она уже давно поняла его, она еще там, в глуши, девушкой, почти поняла его.

Увидеть барский дом нельзя ли [22].
Уж не пародия ли он?

И Христос родился в яслях, может и у нас [явится] родится новое слово.

Пока однако у нас Пушкин.

Духи и гении Европы. Это не даром, этим многое обозначается, вот тут [и]-то и пророческое значение Пушкина.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу 13 июня 1880 г. (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XII, кн. 2. Л., «Наука», 1967, стр. 272) и вторую статью Г. И. Успенского в «Отечественных записках» (1880, № 7).

[2] «Капитанская дочка»: картина расправы Пугачева над защитниками Белогорской крепости (глава VII) и сцена встречи Маши Мироновой с Екатериной II (глава XIV). Указания на первую картину в набросках встречаются несколько раз. В черновом тексте речи и в наборной рукописи Достоевский развернул их в более широкую характеристику, которая, однако, не была произнесена и не вошла в печатный текст.

[3] Имеется в виду летописец Пимен из трагедии «Борис Годунов».

[4] Неточная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855). Повторяется и далее.

[5] Вторая строка V строфы «Родословной моего героя». Вот ее контекст:

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник, —
Вам все равно...

[6] ...Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом («Моя родословная»).

[7] См. примеч. 5.

[8] Неточное название «Сказки о Медведихе» Пушкина.

[9] Первые строки стихотворения Пушкина «Стансы» (1826).

[10] *Коран*, *Древний Рим*, *Испания*, *Англия*... — т. е. произведения Пушкина на всемирные сюжеты: «Подражания Корану», «Египетские ночи», «Каменный гость», «Пир во время чумы» и др. В черновом и печатном тексте названы произведения.

[11] Вероятно, персонаж из поэмы «Полтава».

[12] «Пиковая дама» в речи о Пушкине не упоминается.

[13] Шарль *Фурье* (1772—1837) — выдающийся французский социалист-утопист.

[14] Имеются в виду две последние строки XLVI строфы восьмой главы «Евгения Онегина»:

Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

[15] Это выражение принадлежит Белинскому. В десятой статье о Пушкине он писал, между прочим: «Да это уголовное преступление — не подорожить любовью нравственного эмбриона...» Выражение встречается во всех рукописях речи о Пушкине и всегда в полемическом плане.

[16] Герой романтической поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812). Имя Байрона и его героя встречается в набросках несколько раз.

[17] «Евгений Онегин», глава восьмая, конец XLIV строфы.

[18] Вероятно, речь идет об образе Пугачева. Ср. примеч. 2.

[19] Цитата из поэмы «Цыганы». В черновом варианте и в печатном тексте «Речи» полнее:

Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним...

[20] Слова Пушкина о книгах, которые читал Онегин:

Да с ним еще два-три романа,
В которых отразился век
И современный человек
Изображен довольно верно...

(«Евгений Онегин», глава седьмая, строфа XXII).

[21] «Свет Иван, как шить мы станем» — стихотворение Пушкина (1833).

[22] Начало XXII строфы и конец XXIV строфы седьмой главы «Евгения Онегина». В XVII—XXV строфах описано посещение Татьяной усадьбы Онегина.

НОВОНАЙДЕННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА ДОСТОЕВСКОГО

Статья и публикация И. С. Зильберштейна

В 1959 г. А. С. Долинин завершил издание «Ф. М. Достоевский. Письма» [1]. Огромный труд затратил исследователь, чтобы этот четырехтомник был осуществлен на высоком научном уровне. Здесь и продолжительные поиски в архивах и частных коллекциях, и выявление публикаций, затерявшихся на страницах дореволюционной периодической печати и редких сборников, и сверка текстов уже изданных писем с сохранившимися автографами, что подчас давало возможность восстановить ранее опущенные места, нередко значительные по содержанию. Сложнейшую работу провел А. С. Долинин по созданию широкого, всеобъемлющего комментария, отразившего богатые результаты исследовательских разысканий, к которым он приступил еще в дореволюционные годы. Это издание, сыгравшее на протяжении более сорока лет большую роль в изучении биографии и творческого пути великого писателя, еще по крайней мере в течение десятилетия, пока не будет завершено новое, академическое собрание сочинений и писем Достоевского, останется единственным и к тому же достаточно надежным источником для изучения его эпистолярного наследия. Что же касается комментариев А. С. Долинина к четырехтомнику, то многим из них суждена еще более долгая жизнь, так как они заключают в себе первоклассные исследовательские экскурсы по сложнейшим вопросам, в том числе и о взаимосвязях Достоевского с предшествующей и современной ему литературой.

Об Аркадии Семеновиче можно сказать: человек, одержимый любовью к Достоевскому. И эта его любовь как бы передавалась нам, начинающим литературоведам, еще с середины 1920-х годов, со студенческой скамьи, общавшимся с А. С. Долининым. Вспоминаю, как мы были рады чем-либо помочь ему в кропотливом труде по созданию первого тома писем Достоевского. К тому времени уже вышли в свет два сборника «Достоевский. Статьи и материалы» под редакцией А. С. Долинина; во втором сборнике (на его титульной странице указан 1924-й год) Аркадий Семенович поместил мою публикацию «Письма Ф. М. Достоевского к И. С. Тургеневу» [2]. Наша помощь А. С. Долинину в его трудной работе по подготовке издания писем Достоевского заключалась в наведении архивных справок, в сверке печатавшихся писем с автографами, а главное в поисках еще не издававшихся писем. Как мы были горды, когда могли порадовать Аркадия Семеновича такими находками! Эту помощь исследователю, которого в душе считали «стариком», хотя ему тогда было всего около 45 лет, мы считали для себя большой честью. Когда первый том писем Достоевского вышел в свет, Аркадий Семенович подарил мне экземпляр с дарственной надписью: «Милому Илье Самуиловичу Зильберштейну с благодарностью за большие услуги, оказанные мне при работе над этой книгой. А. С. Долинин. 30/XI 28».

В четырехтомнике писем Достоевского порой не по вине редактора оказались и композиционные просчеты, и неточности в текстах. Так, по бессмысленному требованию Центрархива хранившиеся там 25 писем Достоевского, которые следовало включить в общий хронологический ряд первого тома, редактор был вынужден дать в виде «автономного приложения» в конце второго тома, да еще со статьей П. Н. Сакулина и с особым шмуцтитулом: «Центрархив. Из архива Ф. М. Достоевского. Неизданные письма 1839—1865». Но ведь второй том включал письма 1867—1871 гг.! Не говорю

уже о том, что называть эту подборку «Из архива Ф. М. Достоевского» не было никаких оснований, так как все включенные в нее письма удалось выявить в архивах адресатов писателя.

В одном случае сам А. С. Долинин, к сожалению, допустил в последней книге четырехтомника редакторский произвол: некоторые из напечатанных здесь писем Достоевского к В. Ф. Пуцыковичу, К. П. Победоносцеву и жене приведены с сокращениями отдельных абзацев и даже целых страниц, имеющихся в автографах. Но эти письма в полном виде уже появлялись в печати прежде: к Пуцыковичу — в «Московском сборнике» (1887 г.), к Победоносцеву — во второй книге «Красного архива» (1922 г.), к А. Г. Достоевской — в книге «Ф. М. Достоевский. Письма к жене» (1926 г.). А при их перепечатке с пропусками в четвертом томе даже не были поставлены многоточия в угловых скобках, как обычно принято обозначать купюры в научных изданиях. Несмотря на то, что эти изъятия сделаны с целью отвести упреки по адресу писателя в отсталых, шовинистических взглядах, все же оправдать такой редакторский произвол нельзя.

Хотя А. С. Долинин не был твердо убежден, что Достоевский — автор хранящегося в Нижегородском краевом музее письма к Д. В. Григоровичу, оно все же оказалось включенным в первый том (№ 59). Бесспорным автографом Ф. М. Достоевского считал это письмо видный советский исследователь В. Л. Комарович [3]. И все же оно написано М. М. Достоевским, и его нельзя было помещать в издании.

Досадный промах допустил А. С. Долинин, не включив в вышедший в 1959 г. четвертый том два письма Достоевского к П. М. и В. Н. Третьяковым, впервые напечатанные в 1951 г. в книге их дочери А. П. Боткиной «Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве». Исследователь, видимо, не знал этой книги. Не знала и В. С. Нечаева, редактор «Описания рукописей Ф. М. Достоевского», изданного в 1957 г., о том, что в отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи хранятся автографы этих двух писем, а также о том, что они опубликованы.

Вне четырехтомника осталось и письмо Достоевского к В. Ф. Пуцыковичу 23 августа/4 сентября 1879 г., подлинник которого находится в берлинской Государственной библиотеке; напечатано оно было в 1921 г. (правда, в переводе на немецкий язык) в издании «Preußische Yahrbücher», но в дальнейшем вполне можно было получить фотографию этого письма и включить его в последний том писем Достоевского.

Кроме того, А. С. Долинину следовало напечатать в четырехтомнике записку к Г. Ф. Пантелееву на письме Д. Е. Кожанчикова к Достоевскому 7 марта 1874 г., тем более, что она была дважды опубликована (см. Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Достоевского, стр. 346 и «Описание рукописей Достоевского», стр. 262; в обоих случаях без указания адресата, который установлен С. В. Беловым) [4].

А. С. Долинин не знал некоторые частные собрания, в которых были автографы писем Достоевского. Так, в комментариях к двум запискам Достоевского к метранпажу М. А. Александрову (№№ 854 и 865 в четвертом томе) сказано, что они печатаются по оригиналам, хранящимся в ИРЛИ (см. там же, стр. 463—464). В действительности эти автографы, приобретенные у собирателя А. Е. Бурцева, вошли в состав коллекции проф. Ю. Г. Оксмана, где находятся еще три письма Достоевского: к Б. И. Утину 18 февраля 1863 г. (№ 162 в первом томе); к Н. Ф. Бунакову 5 мая 1865 г. (№ 835 в четвертом томе; здесь неправильно указана дата — 15 мая); к М. А. Александрову (№ 900 в четвертом томе, тоже с неправильной датой — вместо 1876 г. указан 1877 г.). Обращение к автографам этих пяти писем дало бы возможность не только уточнить даты, но также восстановить пропущенные и неверно прочитанные слова.

Личные коллекции примечательны тем, что в них встречается самое неожиданное. Так, я был очень удивлен, когда А. Б. Гольденвейзер, показав мне чудесный альбом Н. С. Голицыной (Апраксиной) с записями Пушкина, Мицкевича и Бальзака, вслед за этим вынул из ящика стола автограф письма Достоевского 16 ноября 1866 г. к Н. А. Любимову. А в первом томе четырехтомника напечатан лишь отрывок из этого письма, к тому же без указания адресата, по копии, сохранившейся в архиве

А. Н. Майкова. И до сих пор автограф письма Достоевского к Н. А. Любимову из коллекции А. Б. Гольденвейзера оставался не только не опубликованным, но даже нигде не зарегистрированным.

А. С. Долинину поневоле приходилось некоторые письма Достоевского печатать по тексту первой публикации, так как их автографов не удавалось обнаружить. Утраченным считался и автограф замечательного письма из Семипалатинска 18 октября 1855 г. к П. Е. Анненковой, урожденной Гебль, жене декабриста И. А. Анненкова, добровольно и самоотверженно разделившей с мужем сибирскую каторгу. Это письмо Достоевского впервые появилось 85 лет назад в «Русском вестнике» 1888 г.; текст этой публикации Долинин воспроизвел в первом томе. И лишь совсем недавно автограф письма к Анненковой обнаружил талантливый ленинградский литературовед и искусствовед М. Д. Ромм: купив в книжном магазине весьма редко ныне встречающийся первый том писем Достоевского (он ведь печатался тиражом 4000 экземпляров), Ромм увидел между страницами 162—163, где напечатано письмо к Анненковой, автограф этого письма. Какие только удачи не бывают у коллекционеров! В прошлом веке письма Достоевского публиковались не с такой тщательностью, как сейчас, поэтому обнаруженный автограф дает, наконец, возможность напечатать это письмо в более точном виде, чем это мог сделать Долинин.

Трудно было избежать неточностей и в других случаях, когда исследователь располагал не подлинником, а только копией письма Достоевского. Так произошло с большим и содержательным письмом к В. А. Алексееву 7 июня 1876 г. (автограф которого, видимо, находится за границей), включенным в третий том. Б. И. Бурсов, получивший другую копию этого письма, объявил, что в его публикации Долинин допустил около 20 неточностей. И все же никак не следовало придавать этой находке значение важного события, как Бурсов это сделал в своей статье, которую к тому же озаглавил «Достоевский неизвестный» («Литературная газета», 1970, № 39, 23 сентября). Во-первых, приведенные здесь три неточности, по-видимому, самые существенные, настолько мелки, что и в малой степени не меняют смысла этого письма, занимающего около двух страниц книжного текста. Во-вторых, ведь Б. И. Бурсов тоже располагает лишь копией письма, поэтому принять все обнаруженные им разночтения, кроме явных описок, можно будет лишь тогда, когда найдется автограф или его фотография.

Однако все неточности в тексте письма Достоевского к Алексееву в третьем томе, которые Б. И. Бурсов установил по имеющейся у него копии, покажутся несущественными, если, например, сравнить, в каком виде он опубликовал в той же статье в «Литературной газете» две заметки Достоевского — о Льве Толстом, о Фурье и Ростиславе Фадееве,— сохранившиеся в автографах. В этих двух заметках, занимающих всего лишь около сорока коротких газетных строк, приводится текст, в котором совсем не прочитаны или прочитаны неверно десять слов, да еще допущено восемнадцать других неточностей! Но ведь Б. И. Бурсов имел возможность обратиться к автографам, которые хранятся не где-либо в далеком зарубежье, а в Москве, в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР! Тот, кто пожелал бы убедиться, что в напечатанных Б. И. Бурсовым двух заметках Достоевского *общим объемом около сорока газетных строк действительно имеется двадцать* восемь ошибок, может сверить эту публикацию с точным текстом тех же заметок, приведенным на страницах 310 и 311 тома 83 «Литературного наследства» — «Неизданный Достоевский» [5].

Некоторые критические замечания принципиального характера по поводу комментариев А. С. Долинина, напечатанных в первом, втором и третьем томах писем Достоевского, высказал в свое время В. Л. Комарович. Он не соглашался с тем, как освещена в этих комментариях эволюция мировоззрения писателя. Упрекая редактора в том, что некоторые комментарии излишне подробны, Комарович приводит и примеры явных упущений [6].

И все же несмотря на невольные, а порой неоправданные ошибки, недостатки, просчеты и неточности, подготовленный Долининым четырехтомник писем Достоев-

ского — исследовательский подвиг. Это издание явилось важнейшим этапом в изучении наследия писателя и внесло большой вклад в разработку его творческой биографии, способствовало углублению дальнейших научных разысканий. Четырехтомник может быть причислен к наиболее выдающимся изданиям эпистолярного наследия классиков русской литературы.

О том, насколько добротно была в целом проделана работа по созданию первоосновы четырехтомника — выявлению писем Достоевского,— можно заключить из следующего факта: всего здесь напечатано 935 писем, записок, прошений и альбомных записей (если вычесть не принадлежащее перу Достоевского письмо к Григоровичу, остается 934 номера), а за истекшие четырнадцать лет со времени выхода четвертого тома — кроме пропущенных А. С. Долининым четырех писем — впервые было напечатано лишь тринадцать писем и прошений Достоевского, семь из которых обнаружены в зарубежных архивохранилищах.

Вот перечень публикаций этих новонайденных писем:

пять писем Достоевского к Н. П. Вагнеру 4 и 21 декабря 1875 г., 2 января и 24 октября 1876 г., 17 января 1877 г., хранящихся в литературном архиве Народного музея в Праге и обнародованных Ф. Каутманом в издании «Sbornik Nàrodniho Muzea v Praze», sv. VII, 1962, čis. 4, напечатал С. В. Белов в журнале «Советские архивы», 1969, № 2;

он же напечатал в «Вопросах литературы», 1967, № 5, еще одно письмо Достоевского к Н. П. Вагнеру 26 января 1877 г., принадлежащее Чехословацкой Славянской библиотеке в Праге и опубликованное Ф. Каутманом в издании «Literarni archiv». Praha, 1967, ročnik 2. В том же номере «Вопросов литературы» С. В. Белов впервые в русском подлиннике привел текст письма Достоевского к В. Ф. Пуцыковичу 23 августа/4 сентября 1879 г., хранящегося в берлинской Государственной библиотеке и с 1921 г. известного лишь в немецком переводе;

профессор Дж. Симмонс отыскал в библиотеке Манчестерского университета письмо Достоевского к неизвестному 5 декабря 1863 г. и опубликовал в издании «Oxford Slavonic Papers», 1960, vol. IX; это же письмо привел Б. И. Бурсов в «Литературной газете», 1970, № 39, 23 сентября, а также С. В. Белов в «Ученых записках Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена», 1971, т. 414, стр. 351—352;

письмо Достоевского к Л. В. Головиной 23 июля/4 августа 1876 г., найденное в ИРЛИ, напечатала И. А. Битюгова в журнале «Русская литература», 1961, № 4;

там же в 1963 г., № 4, С. В. Белов и А. З. Жаворонков опубликовали два прошения Достоевского исправнику г. Старая Русса 21 апреля 1875 г. и в канцелярию Новгородского губернатора 31 июля 1875 г., подлинники которых хранятся в Государственном архиве Новгородской области;

в том же издании в 1965 г., № 3, Б. Л. Бессонов напечатал письмо Достоевского к А. А. Краевскому 11 января 1874 г., обнаруженное в коллекции автографов, принадлежавшей академику Н. П. Лихачеву и ныне находящейся в ленинградском отделении Института истории Академии наук СССР;

в первой книге издания «Встречи с прошлым» (ЦГАЛИ, 1970 г.) Ю. А. Красовский напечатал письмо Достоевского к казанскому литератору Н. Ф. Юшкову 5 февраля 1876 г.;

в сборнике «Достоевский и его время», вышедшем в 1971 г., Б. Н. Капелюш опубликовала отысканное в научной библиотеке Вильнюсского государственного университета письмо Достоевского к В. М. Каченовскому 25 ноября 1880 г.

В заключение следует напомнить, что ценным источником сведений о существовавших, но ныне не известных письмах Достоевского являются письма его корреспондентов. В них порой даже цитируются строки из писем самого Достоевского, о судьбе которых никакими сведениями исследователи не располагают (см. публикацию Л. Р. Ланского «Утраченные письма Достоевского».— «Вопросы литературы», 1971, № 11).

В печатаемой в настоящем томе публикации Л. Р. Ланского «Достоевский в неизданной переписке современников» приводится письмо М. М. Достоевского к П. А. Карепину 28 ноября 1844 г., в котором широко цитируется письмо Достоевского к брату, до наших дней не сохранившееся.

Этой нашей публикацией мы вводим в научный оборот еще десять писем Достоевского, два из которых — к Третьяковым, как сказано выше, остались А. С. Долинину не известными, хотя и были при его жизни напечатаны, а одно письмо — к Н. А. Любимову — появилось лишь в отрывке и без указания адресата.

I. ДОСТОЕВСКИЙ И ТРЕТЬЯКОВЫ

В истории русской культуры навсегда сохранится имя Павла Михайловича Третьякова.

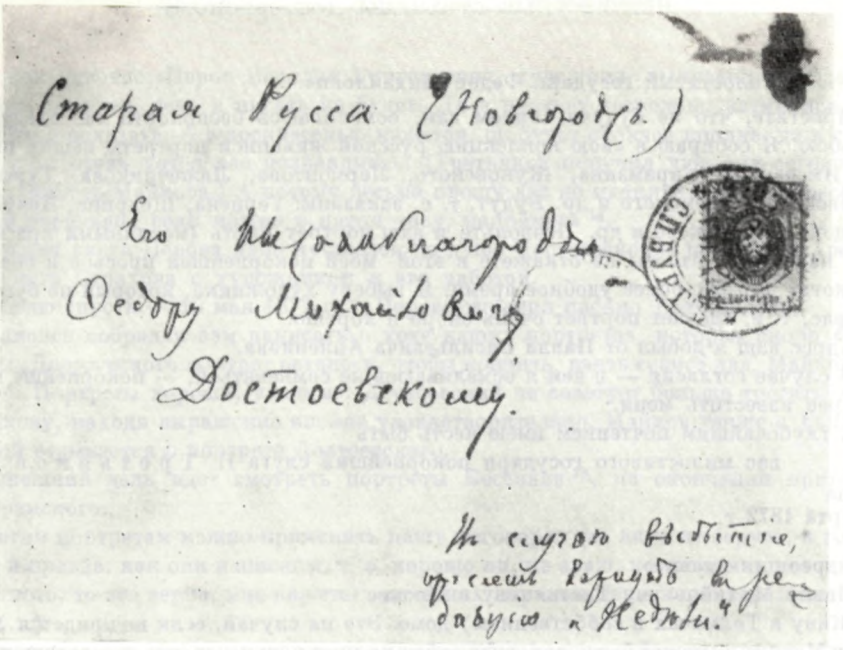
Создатель первого обширного национального музея отечественного изобразительного искусства, Третьяков тем самым во многом способствовал расцвету живописи и скульптуры в родной стране. Велика его роль и в том, что приобретая лучшие произведения передвижников, он помогал художникам целиком отдаваться творческой работе. А существует ли для подлинного мастера нечто более желанное и дорогое? И делал все это Третьяков с единственной целью: предоставить возможность своим соотечественникам любоваться лучшими достижениями русской школы живописи и скульптуры. В 1892 г. он составил завещание, в котором было сказано: «...желая 〈...〉 содействовать процветанию искусства в России и вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, ныне же приношу в дар Московской городской Думе всю мою картинную галерею со всеми художественными произведениями» [7].

Этот благородный поступок высоко оценил В. И. Ленин. В подготовленный проект декрета о национализации галереи, который утверждался 30 мая 1918 г. на заседании Совнаркома, Ленин собственноручно внес поправку: в текст «Московскую городскую художественную галерею П. и С. М. Третьяковых объявить государственной собственностью Российской Федеративной Советской Республики» Ленин вписал слово «имени» (т. е. «имени П. и С. М. Третьяковых») [8].

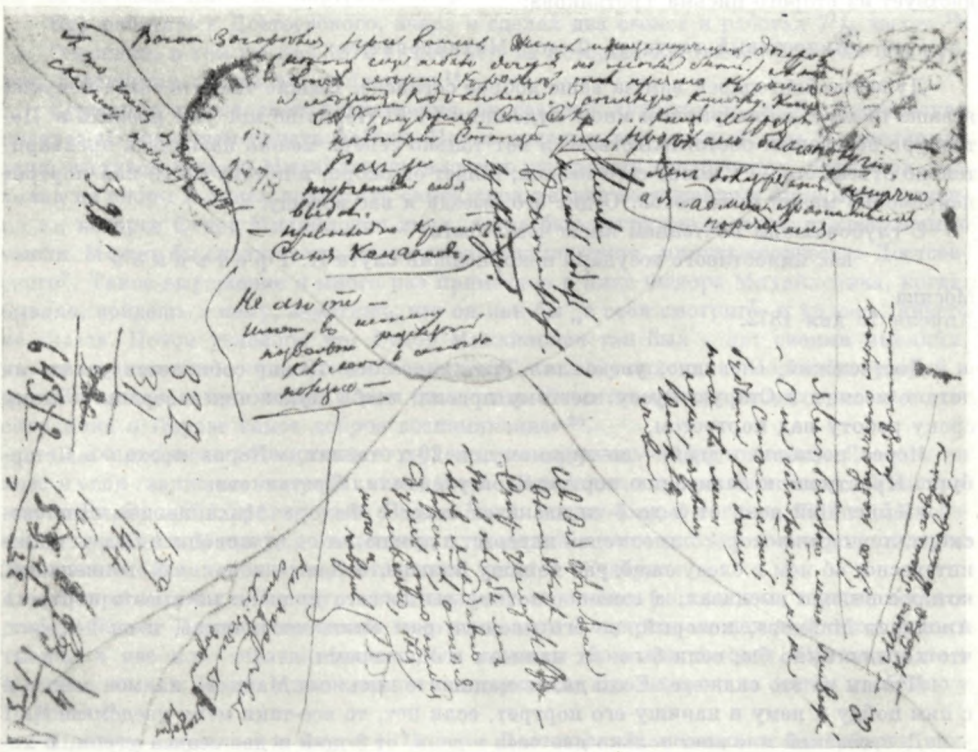
Можно назвать целый ряд замечательных начинаний П. М. Третьякова, которые он осуществлял на протяжении четырех десятилетий, создавая свою галерею. Одно из них достойно особой признательности потомства. Я имею в виду решение Третьякова собрать и с этой целью заказывать лучшим тогдашним художникам портреты выдающихся деятелей отечественной культуры. С полным основанием В. С. Кеменов утверждает: «Если бы не настойчивость Третьякова и не его высокое чувство ответственности перед народом, для которого необходимо запечатлеть силой русского искусства образы великих русских людей, мы не имели бы и десятой доли той богатейшей коллекции портретов, которой располагает сейчас Третьяковская галерея. И в этом огромная личная заслуга П. М. Третьякова перед русской культурой» [9].

Особое внимание собиратель уделял тому, чтобы были увековечены лучшие писатели того времени. Так, только И. Н. Крамской по заказу Третьякова написал с натуры Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, С. Т. Аксакова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ю. Ф. Самарина, И. А. Гончарова, Я. П. Полонского, Д. В. Григоровича, А. Н. Майкова, Г. П. Данилевского, П. И. Мельникова-Печерского, Н. Д. Хвощинскую [10]. Ряд писательских портретов, в том числе портрет И. С. Тургенева, по заказу Третьякова исполнил И. Е. Репин.

Но первым к такой работе коллекционер привлек В. Г. Перова, которому в 1871 г. заказал портрет А. Н. Островского. А в следующем году, решив украсить галерею портретом Достоевского кисти того же художника, Третьяков обратился к писателю с просьбой:



КОНВЕРТ ПИСЬМА К ДОСТОЕВСКОМУ ИЗ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «НЕДЕЛЯ» В СТАРУЮ РУССУ
(почтовый штамп 18 сентября 1878)
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград



НАБРОСОК ДОСТОЕВСКОГО К РОМАНУ «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», 1878
Оборот конверта письма Достоевскому в Старую Руссу
из редакции журнала «Неделя»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Милостивый государь Федор Михайлович.

Простите, что не будучи знаком вам, осмеливаюсь беспокоить вас следующею просьбою. Я собираю в свою коллекцию русской живописи портреты наших писателей. Имею уже Карамзина, Жуковского, Лермонтова, Лажечникова, Тургенева, Островского, Писемского и др. Будут, т. е. заказаны: Герцена, Щедрина, Некрасова, Кольцова, Белинского и др. Позвольте и ваш портрет иметь (масляными красками); смею надеяться, что вы не откажете в этой моей покорнейшей просьбе и сообщите мне, когда для вас более удобное время. Я выберу художника, который не будет мучить вас, т. е. сделает портрет очень скоро и хорошо.

Адрес ваш я добыл от Павла Васильевича Анненкова.

В случае согласия — в чем я осмеливаюсь не сомневаться, — покорнейше прошу поскорее известить меня.

С глубочайшим почтением имею честь быть

вас милостивого государя покорнейший слуга П. Третьяков

Москва
31 марта 1872 г.

Адрес для письма:

Павлу Михайловичу Третьякову в Москве.

Живу в Толмачах в соб⟨ственном⟩ доме. Это на случай, если не придется ли вам быть в Москве и, может быть, захотите зайти ко мне; письмо прошу адресовать просто: в Москву [11].

В отделе рукописей Третьяковской галереи, где находится архив коллекционера, ответ Достоевского отсутствует, хотя Третьяков бережно относился к своим бумагам, сохраняя даже денежные расписки художников. Содержание ответа Достоевского явствует из второго письма Третьякова:

Милостивый государь Федор Михайлович.

Душевно благодарен вам за ваше доброе согласие. Вышло так, что когда получил я ваше письмо, то избранный мною художник В. Г. Перов не мог уже поехать в Петербург по разным обстоятельствам, и вот только теперь можно назначить предварительно отъезд его — в конце сего месяца; пишет он скоро, и потому до 10 мая портрет непременно может быть готов. О дне его выезда я вас извещу.

С глубочайшим почтением имею честь быть

вас милостивого государя покорнейший слуга П. Третьяков

Москва
Апреля 15 дня 1872.

Достоевский, очевидно, уведомлял Третьякова, что 10 мая собирается уехать на летние месяцы в Старую Руссу, поэтому просил, чтобы художник завершил к этому сроку работу над портретом.

Через несколько дней,— по-видимому, в 20-х числах,— Перов поехал в Петербург. Приступая к написанию портрета, он уведомлял Третьякова:

«Нынешний день от 3 до 5-ти назначен сеанс с Федора Михайловича Достоевского, личность которого имеет свой интерес, и думаю, что для живописи будет также интересно; об нем в следующий раз напишу больше, а теперь исполняю его желание, которое он мне высказал, а именно, почему вы до сего времени не имеете портрета Аполлона Майкова, который, по его мнению, вам иметь необходимо, и он находит, что хорошо было бы, если бы я их написал в одно время.

Что вы на это скажете? Если да, то напишите письмо к Майкову на мое имя, и я с ним пойду к нему и напишу его портрет, если нет, то все-таки меня уведомите [12].

Достоевский мне дает только два часа в день, от 3 до 5 и два сеанса утром, о ходе дела напишу, прошу вас мне поскорее написать ответ» [13].

Сохранилось письмо Достоевского к Н. Н. Страхову 3 мая 1872 г., в котором имеются такие строки:

«...как нарочно, Перов Василий Григорьевич, художник, выпросил себе завтра в четверг льготный день и писать не будет. Да и портрет несколько затянулся, так что и нечего показать. А в воскресенье, кажется, он будет окончен вполне, да и с Перовым я бы очень хотел вас познакомить. (Третьяков поручил уже ему сегодня из Москвы снимать Майкова.) А потому весьма прошу вас не манкируйте в воскресенье. Но этак пораньше, если можно в пятом часу, например» [14].

Портрет кисти Перова явно пришелся по душе Достоевскому, поэтому он решил познакомить Страхова с художником и его работой.

Неделю спустя — 10 мая 1872 г.— Перов отправил письмо Третьякову:

«Наконец собрался вам написать о ходе наших портретов, которые скоро будут кончены. Достоевского портрет осталось, чтобы кончить, взять сеанса два, Майкова — сеанса 4. Портреты хороши, удачные. Достоевский не советует больше трогать голову Майкову, находя выражение вполне удовлетворительно. Майков также с большой похвалой отзывается о портрете Достоевского.

Нынешний день идет смотреть портреты Бессонов [15], по окончании приглашу Ге и Крамского.

К этим портретам можно применить нашу поговорку (за вкус не берусь, а горячо будет), и правда, как они написаны, т. е. хорошо ли, не знаю, но что в них нет ничего портретного, то это верно, мне кажется, что в них выражен даже характер писателя и поэта ⟨...⟩

Достоевский и Майков находят, что для вашей галереи необходимо иметь портрет старика Тютчева, как первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина, и который выше Гейне [16],— и Каткова, как первый ум России. Даже Достоевский выразился так, что, не имея их портрета, можно сказать себе: „слонов-то я и не приметил", одним словом, они Каткова считают г е н и е м [17].

Летом собираются посетить вас, а также поблагодарить вас за честь, которую вы им сделали, имея их портреты ⟨...⟩

Еду работать с Достоевского, вчера я сделал два сеанса и работал $7^1/_2$ часов» [18].

Очевидно, в том же мае 1872 г. портрет, за который Третьяков уплатил 600 рублей, поступил в состав его коллекции [19].

Суммируя позже свои впечатления от сеансов художника, А. Г. Достоевская писала: «Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете „минуту творчества Достоевского". Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы „в себя смотрит", и уйдешь, ничего не сказав. Потом узнаешь, что Федор Михайлович так был занят своими мыслями, что не заметил моего прихода и не верит, что я к нему заходила. Перов был умный и милый человек, и муж любил с ним беседовать. Я всегда присутствовала на сеансах и сохранила о Перове самое доброе воспоминание» [20].

Самое доброе воспоминание о художнике сохранил и Достоевский. Дважды он внес в свои записные тетради его адрес: «В Москве, против Почтамта, Училище живописи, Василий Григорьевич Перов» [21]. А когда осенью того же 1872 г. Достоевский приехал в Москву, он навестил художника и вместе с ним осмотрел галерею Третьякова. Вот что писал Достоевский жене 9 октября:

«Вчера заезжал к Перову, познакомился с его женою (молчаливая и улыбающаяся особа). Живет Перов в казенной квартире, если б оценить на петербургские деньги тысячи в две или гораздо больше. Он кажется богатый человек. Третьяков не в Москве, но я и Перов едем сегодня осматривать его галерею, а потом я обедаю у Перова» [22].

Полгода спустя — в марте 1873 г. — Достоевский, посетив в Петербурге выставку картин русских художников, отобранных для отправки на Венскую всемирную выставку, напечатал по этому поводу статью в «Дневнике писателя», в которой тепло отозвался и об известном произведении Перова «Охотники на привале». Считая, что

это одна «из понятнейших картин нашего национального жанра», писатель, кратко описав ее, воскликнул: «Что за прелесть!» (XI, 73) [23].

В той же статье Достоевский писал: «Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает главную идею его физиономии, тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста» (XI, 78). Здесь, несомненно, отразились впечатления писателя от работы Перова над его портретом.

А еще год спустя, работая над романом «Подросток», Достоевский, все еще находясь под впечатлениями портретных сеансов Перова, высказал словами одного из персонажей романа такую мысль: «В редкие только мгновенья человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице» (VIII, 387).

26 декабря 1872 г. в петербургской Академии художеств открылась вторая Передвижная выставка, на которой был экспонирован перовский портрет Достоевского. Все авторы статей о выставке расценили это полотно как выдающееся создание русской портретной живописи. Вот некоторые отзывы о портрете в статьях, посвященных второй Передвижной выставке:

«Что касается Перова, то лучшим, даже безукоризненно хорошим из всех присланных им портретов, следует признать портрет г. Достоевского: свободная посадка фигуры, удачно схваченное выражение и мастерская лепка лица соединились здесь с естественностью и свежестью колорита, с этим важным условием всякой, а тем больше портретной живописи, не всегда покорным г. Перову» (из статьи В. В. Стасова в «С.-Петербургских ведомостях») [24];

«Портреты любимых отечественных писателей, сделанные лучшими художниками, — чему подал пример, если не ошибаемся, г. Ге — это весьма желанная иллюстрация к их произведениям, особенно когда эти портреты так осмысленны и схожи с подлинниками, как портреты Некрасова и Салтыкова работы г. Ге, и портрет Достоевского кисти г. Перова. Последний — вместе и картина. Такой свежей, мягкой и тонкой живописи, при поразительном сходстве и глубокой верности в передаче характера, не только личного, но и литературного, мы не встречали до сих пор у г. Перова, да и вообще находим редко у наших портретистов. Автор „Записок из Мертвого дома" сидит, сомкнув руки на колене, погруженный в безвыходно-скорбную думу ⟨...⟩ Да, портретной живописи, когда за нее берутся истинные таланты, удается иногда расторгать свои тесные границы ⟨...⟩ Если бы г. Перов написал один такой портрет, как Достоевского, то его следовало бы уже признать настоящим художником» (из статьи П. М. Ковалевского в «Отечественных записках») [25];

«Портрет Ф. М. Достоевского поражает ⟨...⟩ простотою и задушевностью: романист так и вылился из-под кисти Перова, без прикрасы (как Погодин) и не рисуясь в позе (как Тургенев). В этих портретах г. Перов поднялся (особенно в последнем — Достоевского) на высоту, доступную немногим из русских портретистов» (из статьи П. Н. Петрова в «Биржевых ведомостях») [26];

«...Особенным сходством, типичностью и удачно выбранной обстановкой отличаются портреты М. П. Погодина и Ф. М. Достоевского ⟨...⟩ Сгорбленная, худощавая фигура автора „Записок из Мертвого дома", в сером пиджаке, с болезненным взглядом, впалыми щеками и болезненною же выразительностию всего лица, производит немалое впечатление на зрителя. По художественному воспроизведению характера и необыкновенно верному колориту — это едва ли не самый лучший из всех когда-либо появлявшихся в залах Академии портретов» (из неподписанной статьи в «Ниве») [27].

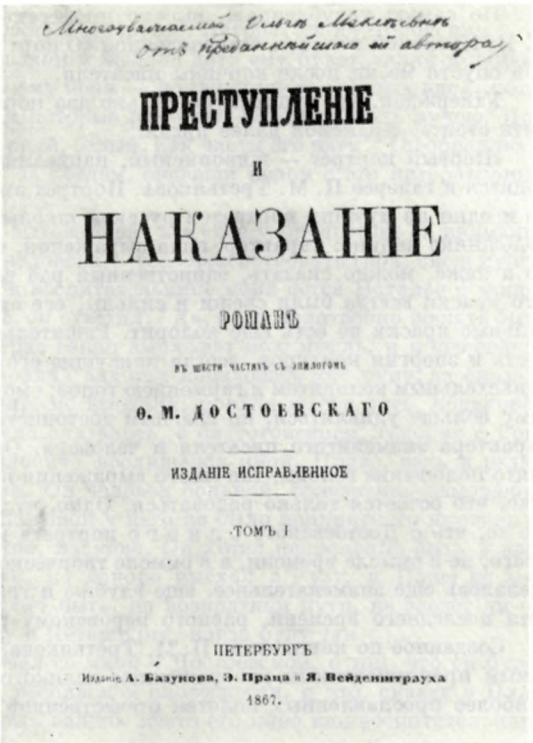
«Очень хорош ⟨..⟩ портрет Достоевского, в бледном и болезненно-утомленном лице которого отражается то нервное и напряженное настроение, которым проникнуты все произведения этого автора» (из неподписанной статьи в «Новом времени») [28];

«Перов высоко поднялся теперь в портретном роде, и изображение Ф. М. Достоев-

РОМАН «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (СПб., 1867) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ДОСТОЕВСКОГО О. А. НОВИКОВОЙ: «Многоуважаемой Ольге Алексеевне от преданнейшего ей автора»

Титульный лист

Собрание В. Г. Лидина, Москва


Многоуважаемой Ольге Алексеевне
от преданнейшего ей автора

ПРЕСТУПЛЕНІЕ
И
НАКАЗАНІЕ

РОМАНЪ

ВЪ ШЕСТИ ЧАСТЯХЪ СЪ ЭПИЛОГОМЪ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО

ИЗДАНІЕ ИСПРАВЛЕННОЕ

ТОМЪ I

ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе А. Базунова, Э. Праца и Я. Вейденштрауха
1867.

ского — творение во всех частях капитальное» (из неподписанной статьи во «Всемирной иллюстрации») [29].

Еще девять газет — столичных и провинциальных — из числа выступивших со статьями о второй Передвижной выставке дали восторженную оценку перовскому портрету Достоевского.

В Москве портрет экспонировался на третьей Передвижной выставке, открывшейся 2 апреля 1874 г. Вот что писал Г. Г. Урусов об этом произведении: «...В портретах г. Перов, по-прежнему, не имеет соперников. Портреты гг. Бородаевского и Достоевского составляют истинное украшение не только разбираемой нами выставки, но и вообще области родного искусства. Особенной силой отличается портрет г. Достоевского. Портрет этот, не говоря уже о сходстве и внутреннем выражении, совершенно живое тело,— красок нет следа» [30].

Четыре года спустя — в 1878 г.— портрет был показан на Всемирной художественной выставке в Париже. Но до отправки туда отобранных произведений, они были предварительно экспонированы в петербургской Академии художеств. В обзоре этой выставки критик А. Ледаков писал: «Хороши также портреты г. Перова с гг. Бессонова и Достоевского. Блестящий колорит, всегда верный натуре, рельеф, верная передача характера изображаемого были всегда присущи даровитой кисти г. Перова, а в последних портретах все это сказалось еще сильнее» [31].

Отзывы иностранной печати о парижской Всемирной художественной выставке не изучены, если не считать появившейся тогда же в пяти номерах «Нового времени» обширной статьи В. В. Стасова «Наши итоги на Всемирной выставке», в которой цитировались некоторые высказывания зарубежных журналистов об экспозиции русского отдела [32]. Лишь в двух из этих откликов упоминается портрет Достоевского: в статье Поля Манца в газете «Temps» говорилось, что портреты Крамского (Льва Толстого, Григоровича, Шишкина), Перова (Достоевского) «отличаются своей фактурой и особенно оригинальностью; ни один не выполнен ординарно» [33]; по словам Стасова, «хвалит портрет Достоевского» в газете «Indépendance Belge» Жюль Кларти.

Но самую углубленную, высоко профессиональную оценку дал этому шедевру И. Н. Крамской в статье, озаглавленной «О портрете Ф. М. Достоевского» и напечатанной спустя месяц после кончины писателя.

Утверждая, что существуют только два портрета Достоевского, «о которых говорить стоит», Крамской далее писал:

«Первый портрет — живописный, написанный Перовым 10—12 лет назад, и находится в галерее П. М. Третьякова. Портрет этот не только лучший портрет Перова, но и один из лучших портретов русской школы вообще. В нем все сильные стороны художника налицо: характер, сила выражения, огромный рельеф и, что особенно редко и даже, можно сказать, единственный раз встретилось у Перова,— это колорит. Его краски всегда были свежи и сильны, все его произведения этим отличаются, но сильные краски не есть еще колорит. Решительность теней и некоторая как бы резкость и энергия контуров, всегда присущие его картинам, в этом портрете смягчены удивительным колоритом и гармониею тонов; смотря на него, положительно не знаешь, чему больше удивляться, но главным достоинством остается, разумеется, выражение характера знаменитого писателя и человека. Он так счастливо посажен, так смело взято положение головы, так много выражения в глазах и во рту и такое полное сходство, что остается только радоваться. Одно, что можно сказать нам, современникам, это то, что с Достоевского о д н о г о портрета мало. Он прожил после портрета еще много, не в смысле времени, а в смысле творческой жизни. В последние годы его лицо сделалось еще знаменательнее, еще глубже и трагичнее, и очень жаль, что нет портрета последнего времени, равного перовскому по художественным достоинствам» [34].

Созданное по инициативе П. М. Третьякова, это произведение явилось не только самым проникновенным изображением великого русского писателя, но и одним из наиболее прославленных полотен отечественной портретной живописи.

В архиве Третьякова сохранился документ о том, что в 1877 г. он просил своего петербургского знакомого обратиться по какому-то вопросу к Достоевскому. Это письмо искусствоведа А. В. Прахова к Третьякову 28 февраля 1877 г., в котором говорится: «У Достоевского я не успел еще побывать, так как 1, 2 и 3 неделю поста лежал больной» [35]. В связи с чем Прахов должен был по просьбе Третьякова повидать писателя, неизвестно.

На протяжении 1879 г. в девяти номерах «Русского вестника» печатались »Братья Карамазовы» (до 9-й книги III части романа). Читали это последнее капитальное творение писателя Третьяков и его жена Вера Николаевна. В дневнике ее имеется такая запись, сделанная в Москве 5 ноября 1879 г.:

«К нам ⟨в Ялту⟩ приехал Павел Михайлович-папа 12 сентября и прожил с сыном до 23 сентября. С ним наша жизнь оживилась, он был душой нашей семьи; читала я с ним „Братьев Карамазовых" Достоевского ⟨...⟩ Эти сочинения послужили мотивом для долгих бесед его со мной и сблизили нас еще на столько степеней, что почувствовали еще бóльшую любовь друг к другу. Я благословляю в памяти это путешествие, которое дало уяснить много вопросов в жизни» [36].

В следующем году состоялось знакомство Третьяковых с Достоевским. Произошло это на торжественном «думском» обеде, устроенном от имени города 6 июня 1880 г. в честь депутатов, прибывших в Москву на торжество открытия памятника Пушкину. Вот что записала по этому поводу 5 июля того же года в своем дневнике В. Н. Третьякова:

«На обеде этом познакомилась с Достоевским Фед⟨ором⟩ Михайловичем, который сразу как бы понял меня, сказав, что он верит мне, потому что у меня и лицо и глаза добрые, и все то, что я ни говорила ему, все ему было дорого слышать как от женщины. Собирались мы сесть вместе за обедом, но, увидев, что я имела уже назначенного кавалера, Тургенева, он со злобою удалился и долго не мог угомониться от этой неудачи. Обед прошел оживленно. Мой собеседник Ив⟨ан⟩ Серг⟨еевич⟩ был разговорчив. Он взял на память мои цветы — ландыши и хотел засушить их на память. На мое заявление, что я люблю его „Фауст", он хотел рассказать мне тот факт, который дал повод ему написать его „Фауста". Напомню ему когда-нибудь это. Обещал он

непременно быть у меня в Куракине вместе с Яков⟨ом⟩ Петров⟨ичем⟩ Полонским ⟨...⟩ Во время обеда я вспомнила о Достоевском и желала дать ему букет лилий и ландышей с лаврами, который напоминал бы ему меня — поклонницу тех чистых идей, которые он проводит в своих сочинениях и которые помогают человеку быть лучше. При свидании с ним я отдала ему букет, „чистый, белый, как чисты его идеи". Он обрадовался им потому, что я вспомнила о нем за обедом, сидевши рядом с его литературным врагом — Тургеневым.

Он нервно мялся на одном месте, выговаривая все свое удовольствие за внимание мое к нему, и на мою мысль, что цель человека — усовершенствовать себя, свою душу, и что он помог нам — т. е. мне, мужу и воспитательнице моих детей Наталье Васильевне стать на несколько ступеней выше, он ответил: "Да, надо молитвенно желать быть лучше! Запомните это слово, оно как раз верно выражает мою мысль, и я его сейчас только придумал". Фед⟨ор⟩ Михайл⟨ович⟩ захотел поцеловать мне руку, да сказал, что это не делается в большом собрании, но все-таки, пройдя шагов пять, поцеловал мне руку с благодарностью и, как после оказалось, с благоговением; говорив с Григоровичем обо мне, Ф⟨едор⟩ М⟨ихайлович⟩ восхищался мной. Право, ведь и редки такие ласковые встречи, как моя с ним. Он человек больной, болезненно самолюбивый, и мог сесть прямо к женщине, с которой у него не было неприятного прошлого, а встретились мы с ним весьма сердечно, ласково. Он хотел непременно быть у нас, взял у Григоровича наш адрес на дачу, но вскоре выехал в Рузу, и Паша не застал его уже в Москве. Посмотрим, может быть, на возвратном пути, не заедет ли он к нам, я же постараюсь заехать к нему в Петербурге, когда буду там ⟨...⟩

Иван Сергеевич Аксаков побеседовал со мной о Достоевском, о том, что он будет читать завтра на заседании Общества российской словесности, и что, сказав о Пушкине как о народном поэте, он хотел дать важное место его няне как воспитательнице и няне-рассказчице, наполнявшей картинами его фантазию ⟨...⟩

Знакомство мое с Достоевским было 6 июня, и в другой раз я с ним не видалась. Муж слышал от Гр⟨игоровича⟩, что Ф⟨едор⟩ М⟨ихайлович⟩ непременно собирался к нам или на дачу или в Толмачи, только, во всяком случае, не хотел уезжать, не повидавшись с нами и не простившись. Паша заехал к нему в гостиницу, но не застал, он уже уехал в Старую Руссу. Мы пожалели» [37].

11 июня Достоевский возвратился из Москвы в Старую Руссу «ужасно усталый». Тем не менее уже через день он посылает В. Н. Третьяковой следующее письмо:

Старая Русса
13 июня 80

Глубокоуважаемая Вера Николаевна,

Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее мое уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабвенного для меня знакомства нашего. Говорю о «прекрасных» чувствах из глубокой к вам благодарности, ибо вы заставили меня их ощутить. Встречаясь с иными существами (о, очень редкими) в жизни, сам становишься лучше. Одно из таких существ — вы, и хоть я мало вас знаю, но уже слишком довольно узнал, чтоб вывести такое заключение. Тогда, 6-го числа, дал слово себе: не уезжать из Москвы, не повидавшись с вами и не простившись, но все дни, вплоть до 8-го, я был занят день и ночь, а 9-го, в последний день в Москве, у меня явилось вдруг столько неожиданных хлопот по помещению моей статьи, ввиду трех на нее конкурентов,— что буквально ни одной минуты не осталось времени, 10-го же я непременно должен был выехать. Но да послужат перед вами эти несколько строк свидетельством, как дорожу я знакомством и добрым участием ко мне такого прекрасного существа, как вы; простите за «прекрасное существо», но такое вы на меня произвели глубокое, доброе и благородное впечатление.

А теперь примите уверение в самых искренних и теплых чувствах моих к вам и в самом глубочайшем уважении, которое я когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей.

Всегдашний и искренний ваш почитатель

Ф. Достоевский

Старая Русса
Ф. М-чу Достоевскому

P. S. Простите за помарки в письме. Не умею написать без них. Не сочтите за небрежность [38].

Ответное письмо В. Н. Третьяковой гласило:

Глубокоуважаемый Федор Михайлович!

Как стану я благодарить вас за тот праздник, который вы доставили мне вашим дорогим письмом? Словами я не в силах благодарить, их недостанет для выражения моей благодарности вам, а скажу только, что я была счастлива тот день, да и семья моя радовалась со мной вместе: моя радость была ее радостью, меня поздравляли как бы я была именинница. Поверьте мне, насколько я была довольна знакомством с вами, ласковым обращением вашим со мной и тем, что я услышала от вас дорогие слова в подтверждение моим стремлениям. „Надо молитвенно желать быть лучше — это цель нашей жизни",— сказали вы. Разумеется, я не забуду эти слова, во-первых, потому, что они сказаны были вами, а во-вторых, потому, что они дороги мне своим нравственным смыслом.

Разумеется, я жалела, что не имела случая еще раз повидаться с вами, многоуважаемый Федор Михайлович, и попросить вас к себе на дачу.

Горько сожалела я также, что мне не пришлось быть на заседании в воскресенье днем, и тем лишила себя счастья слышать вас; зато бесконечно порадовалась я за мужа своего, который слышал вас и, переполненный восторга, вернулся к нам на дачу и рассказал все, что произошло в этом заседании. Скажу одно на это: ваш праздник был нашим семейным праздником.

Надеюсь, Федор Михайлович, что вы, когда будете в Москве, непременно навестите нас. Муж мой просит меня передать вам его глубокую благодарность за ваше письмо и шлет вам свой сердечный привет. Итак, позвольте пожелать вам, многоуважаемый Федор Михайлович, провести лето на пользу вашего здоровья и попросить вас хоть изредка вспоминать людей, чтущих вас.

Глубоко уважающая вас В. Н. Третьякова

P. S. Перечитывая ваше дорогое письмо, Федор Михайлович, я решительно сознаюсь, что не стóю и не заслужила столько ласки и похвал от вас, но обещаю стремиться к тому, чтобы быть достойной хотя десятой доли тех, коим полно письмо ваше. С благоговением буду ожидать от вас, хотя бы в далеком будущем, отрадных, дорогих строк ваших на помощь моим стремлениям.

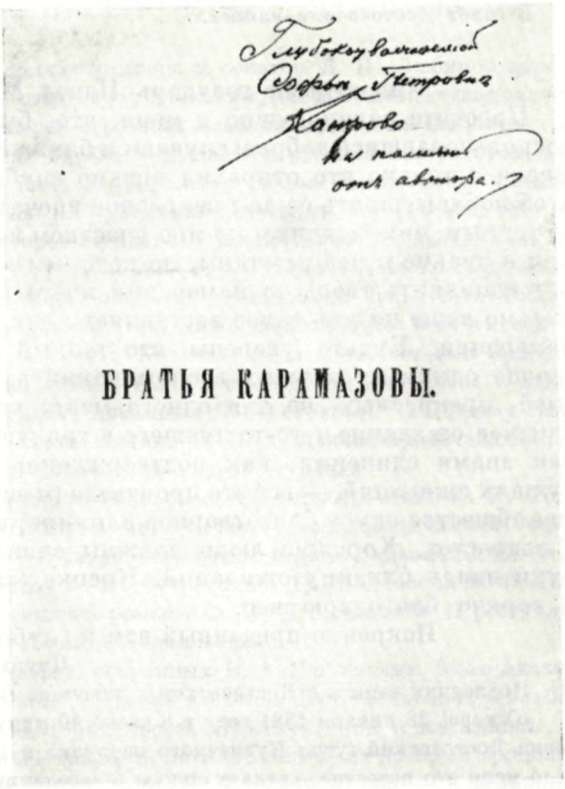
Жму благоговейно вашу руку.

22 июня 1880 года
Ярославская ж. д. Тарасовская платфома. Куракино [39]

Переписав в своем дневнике текст письма Достоевского, Третьякова далее сделала такую запись:

«Какое сильное нравственное влияние произвело на меня это письмо, не было несчастней меня и в одно и то же время не было счастливей меня, что я могла пойти попросить прощения у близких мне людей, чтобы заслужить хотя долю тех ласк и похвал, коими было полно письмо Ф⟨едора⟩ М⟨ихайловича⟩. Его письмо было в одно и то же время страшным бичом, потому что больно давало чувствовать мою собственную слабость и мои невольные и вольные прегрешения относительно живущих со мной. Я читала свое ответное письмо Ф⟨едору⟩ М⟨ихайловичу⟩ и Паше, и тете Мане, и Наталье Васильевне, они одобрили все. При чтении письма как я горько плакала от сознания своих слабостей, и, правда, страдала ужасно!

РОМАН
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»,
(т. 1, СПб., 1881)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
ДОСТОЕВСКОГО:
«Глубокоуважаемой
Софье Петровне Хитрово
на память от автора»
Шмуцтитул
Институт русской литературы
АН СССР, Ленинград



Это время я читала вещих „Братьев Карамазовых" Достоевского и наслаждалась психическим анализом вместе с Пашей, чувствуя как в душе все перебирается и укладывается как бы по уголкам все хорошее и мелкое. Благодаря „Братьям Карамазовым" можно переработаться и стать лучше. Паша тоже писал письмо Ф⟨едору⟩ М⟨ихайловичу⟩ и получил в ответ отличное письмо с надеждой в счастливое будущее и благодарностью за память и внимание. Дороги будут нам эти письма!» [40]

В бумагах Достоевского сохранилось письмо П. М. Третьякова. Вот его текст:

Милостивый государь Федор Михайлович.

Несколько раз собирался я придти к вам в Петербурге, благодарить и за портрет, и за высокое удовольствие и душевную пользу, получаемые из сочинений ваших, но боялся беспокоить и мешать вам. Здесь мне помешала болезнь быть на городском обеде; на втором же чуть пришлось пожать вам руку, так как я спешил уйти, боясь вновь простудиться.

Ваше торжество 8 июня было для меня сердечным праздником. Это лучшее украшение Пушкинского праздника. Это событие — как верно выразился И. С. Аксаков. Сегодня я пришел в гостиницу выразить вам глубокую благодарность и за 8 июня, и за все прежнее, но вы уже уехали в Старую Руссу, как мне сказали там. И вот я вслед вам шлю и благодарность, и поклон, и добрые желанья — мои и жены моей. Будьте здоровы, глубокоуважаемый Федор Михайлович,— вот чего мы более всего желаем вам.

Искренно преданный вам П. Третьяков

10 июня 1880
Москва

На конверте:
Его высокоблагородию
Федору Михайловичу Достоевскому
В Старой Руссе
Новгородской губернии [41].

В ответ Достоевский написал:

Старая Русса
14 июня 80

Милостивый государь Павел Михайлович,

Простите великодушно и меня, что, быв в Москве, не заехал к вам, воспользовавшись добрым случаем к ближайшему между нами знакомству. Вчера я только что отправил письмо глубокоуважаемой супруге вашей, чтоб поблагодарить ее за прекрасное впечатление, произведенное на меня ее теплым, симпатичным ко мне участием в день думского обеда. Я объяснил в письме к ней причины, по которым я, несмотря на все желание, не мог исполнить твердого намерения моего посетить ваш дом. Прекрасное письмо ваше ко мне вдвое заставляет меня сожалеть о неудавшемся моем намерении. Будьте уверены, что теплый привет ваш останется в моем сердце одним из лучших воспоминаний дней, проведенных в Москве,— дней, прекрасных, не для одного меня: всеобщий подъем духа, вообще близкое ожидание чего-то лучшего в грядущем, и Пушкин, воздвигшийся как знамя единения, как подтверждение возможности и правды этих лучших ожиданий,— все это произвело (и еще произведет) на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и брошенное семя не погибнет, а возрастет. Хорошие люди должны единиться и подавать друг другу руки ввиду близких ожиданий. Крепко жму вашу руку за ваш привет и горячо благодарю вас.

Искренно преданный вам и глубоко вас уважающий
Федор Достоевский [42]

Последняя запись о Достоевском в дневнике В. Н. Третьяковой:

«О горе! 28 января 1881 года в 8 часов 40 минут вечера скончался Федор Михайлович Достоевский (угол Кузнечного переулка и Ямской, д. 5/2). Как громом поразило меня это известие, когда я сидела в заседании Думы и услышала от Елизаветы Григорьевны Мамонтовой эту ужасную новость. Я горько, горько плачу об утрате, незаменимой в литературе, да и кроме того я познакомилась с ним на Пушкинском празднике ⟨...⟩ и сохраняю в себе то дорогое впечатление, которое произвел на меня сам он.

Вполне хорошо высказывают понесенное горе строки в „Новом времени", писанные Сувориным» [43].

Далее В. Н. Третьякова внесла в свой дневник текст статьи А. С. Суворина «Кончина Достоевского» и стихотворение А. Л. Боровиковского «31 января 1881 года (детям)» — о похоронах Достоевского (31 января «Новое время» вышло с траурным обрамлением.)

На похоронах писателя присутствовал Третьяков. По возвращении в Москву он отправил 5 февраля 1881 г. И. Н. Крамскому письмо, в котором были такие строки: «На меня потеря эта произвела чрезвычайное впечатление: до сего времени, когда остаюсь один, голова в каком-то странном, не понятном для самого меня тумане, а из груди что-то вырвано; совсем какое-то необычное положение. В жизни нашей, т. е. моей и жены моей, особенно за последнее время, Достоевский имел важное значение. Я лично так благоговейно чтил его, так поклонялся ему, что даже из-за этих чувств все откладывал личное знакомство с ним, хотя повод к тому имел с 1872 г., а полгода назад даже очень был поощрен самим Ф⟨едором⟩ М⟨ихайловичем⟩; я боялся, как бы не умалился для меня он при более близком знакомстве; и вот теперь не могу простить себе, что сам лишил себя услыхать близко к сердцу его живое сердечное слово. Много высказано и написано, но сознают ли действительно, как велика потеря? Это, помимо великого писателя, был глубоко русский человек, пламенно чтивший свое отечество, несмотря на все его язвы. Это был не только апостол, как верно вы его назвали, это был пророк; это был всему доброму учитель; это была наша общественная совесть» [44].

Таковы документальные материалы об отношениях Достоевского с Павлом Михайловичем и Верой Николаевной Третьяковыми, сохранившиеся в архиве писателя, в архиве коллекционера и в его переписке.

II. ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ПИСЬМО К Н. А. ЛЮБИМОВУ

В 1919 г. бывший гофмейстер царского двора и сенатор Д. Н. Любимов перед отъездом из Петрограда за границу отдал в Пушкинский Дом замечательную коллекцию автографов, размещенную в четырех огромных альбомах и в такой же увесистой папке. В основе этой коллекции были письма выдающихся русских литераторов, адресованные отцу дарителя — публицисту и профессору физики Московского университета Н. А. Любимову, являвшемуся на протяжении двадцати лет — с мая 1863 г. до ноября 1882 г.— одним из редакторов журнала «Русский вестник». М. Н. Катков, возглавлявший это издание с 1856 г., стал в 1863 г. владельцем «Московских ведомостей». Сделав вскоре эту газету рупором наиболее реакционных правительственных кругов, он уделял ей очень много времени (так, лишь напечатанные в «Московских ведомостях» с 1863 до 1887 г.— года смерти Каткова, написанные им или при его непосредственном участии передовые статьи, были впоследствии выпущены в двадцати пяти больших томах, объем которых превышал 18000 страниц [45]). Поэтому Катков передал деловое руководство «Русским вестником» Н. А. Любимову, оставаясь редактором-издателем, т. е. идейным и финансовым главой журнала.

Здесь печатали свои произведения лучшие писатели того времени: Л. Н. Толстой — «Казаки», «Поликушка», «Война и мир» («Тысяча восемьсот пятый год»), «Анна Каренина»; И. С. Тургенев — «Накануне», «Отцы и дети», «Дым»; М. Е. Салтыков-Щедрин — «Губернские очерки»; А. Н. Островский, Н. С. Лесков, А. Ф. Писемский. В «Русском вестнике» появились романы Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

Естественно, что в числе автографов, собранных Н. А. Любимовым, были письма всех этих и многих других литераторов [46]. Что же касается Достоевского, то в альбомах, кроме наборных рукописей некоторых частей «Преступления и наказания», а также «Дневника писателя», оказались тридцать пять его писем, из которых тридцать были адресованы Н. А. Любимову, четыре — М. Н. Каткову и одно — в редакцию «Русского вестника». Все эти письма Достоевского впервые опубликовал в 1919 и 1920 гг. Б. Л. Модзалевский в №№ 14 и 15 журнала «Былое». Позднее А. С. Долинин назвал письма к Н. А. Любимову, наряду с письмами Достоевского к жене, циклами «особенно ценными» [47].

Но в альбомах, которые были переданы в 1919 г. в Пушкинский Дом, находились не все письма Достоевского к Любимову. По-видимому, адресат дарил друзьям автографы Достоевского. Лишь этим можно объяснить тот факт, что некоторые из таких писем приобрел Ф. Г. Шилов, известный петербургский книготорговец, с 1905 г. имевший собственный магазин на Литейном проспекте, а в послереволюционные годы руководивший одним из крупных ленинградских букинистических магазинов. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «О том, как нуждались Достоевские, я знаю из писем Федора Михайловича к Любимову — секретарю „Московских ведомостей". У меня было много этих писем, в которых Достоевский просил денег, иногда даже очень мелкие суммы» [48]. Два письма Достоевского к Любимову в послереволюционные годы приобрел А. А. Бахрушин, создатель Театрального музея в Москве; затем они перешли в отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. А третье такое письмо в 1930-х годах было подарено А. Б. Гольденвейзеру одним из его друзей [49]. Как было сказано выше, полный текст этого письма до сих пор не опубликован, в печати появился лишь отрывок, в копии хранившийся в архиве А. Н. Майкова, причем об адресате было сказано, что он неизвестен [50]. Здесь мы впервые приводим полностью это письмо Достоевского к Н. А. Любимову 16 ноября 1866 г. (автограф ныне хранится в Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера — филиале Центрального государственного музея музыкальной культуры). Но прежде, чем привести это письмо, скажу вкратце, чем оно было вызвано.

С первой книги 1866 г. «Русский вестник» начал печатать «Преступление и наказание»; продолжение романа появилось в февральском, апрельском, июньском, июльском и августовском номерах. С завершением романа Достоевский запаздывал, к тому же ему хотелось видеть окончание в двух последних книгах журнала за этот год.

2 ноября 1866 г. он спрашивал Любимова: «...не лучше ли будет, многоуважаемый Николай Алексеевич, если вся 3-я часть романа будет напечатана в 2-х №, в 11-м и 12-м, то есть, если только возможно, в X-м № не помещать (объявив, впрочем, публике, что в следующих 2-х №, т. е. в настоящем году, непременно будет кончено „Преступление и наказание“)». В том же письме Достоевский просил передать М. Н. Каткову его просьбу о присылке пятисот рублей [51].

Вот ответ Н. А. Любимова (публикуется впервые) [52]:

Милостивый государь Федор Михайлович!

Я передал Михаилу Никифоровичу ваше желание, и он очень согласен его исполнить. На днях вы получите перевод на 500 руб. с‹еребром› согласно вашему желанию. Относительно присылки романа поступайте как найдете лучше сами. Присылайте по мере отработки. Помещение можно отложить до XI №, объявив, как вы пишете, публике. Во всяком случае надеемся скоро читать продолжение и окончание вашего романа, всеми признанного замечательным произведением и производящего такое впечатление.

С истинным почтением Н. Л ю б и м о в

Ноябрь 7 1866

Ответом на это письмо Любимова (а также еще на одно — несохранившееся — по тому же поводу) и явилось письмо Достоевского, которое находится в Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера:

Петербург. Ноябрь 16 ‹18› 66

Милостивый государь Николай Алексеевич,

С благодарностью уведомляю вас, что имел чрезвычайное удовольствие получить оба ваши, слишком лестные и обязательные для меня письма. Я написал вам тогда второй раз потому, что после первого моего письма, в котором заключалась моя просьба, получил из редакции вторичный запрос о высылке романа.

Работаю неутомимо и буду доставлять, по распоряжению вашему, по мере подготовления.

Не могу удержаться, чтобы не написать вам об одном литературном известии, хотя бы меня сочли сплетником. А. Н. Майков написал драматическую сцену, в стихах, листа в полтора печатных (не менее, может, и более). Это произведение можно назвать, безо всякого колебания, chef d'oeuvre'ом и з в с е г о т о г о, что он написал. Оно называется «Странник». Три лица, все трое раскольники бегуны. Еще в первый раз в нашей поэзии берется тема из раскольничьего быта. Как это ново и как это эффектно! И какая сила поэзии. Я слышал ее на разных чтениях (в домах) и не устаю слушать, но каждый раз открываю новое и новое. Все в восторге. Он будет читать ее здесь на юбилее Карамзина (от Литературного фонда). Изучение быта и сущности его и учений — глубокое и богатое. Много нового. Он мне говорил сам, что на этой неделе едет в Москву предложить это произведение редакции «Русского вестника». Он никому не хочет иначе. Во всяком случае — это богатое приобретание в нашей поэзии.

Примите уверение моего глубочайшего уважения.

Ваш покорный слуга Федор Д о с т о е в с к и й

Обе просьбы Достоевского были выполнены: редакция «Русского вестника» прислала ему пятьсот рублей, а читателей информировали о дальнейшей публикации романа. Это извещение напечатали в десятой книге, на цветной обложке под ее оглавлением: «Продолжение романа „Преступление и наказание“ будет помещено в следующей книге». И действительно, окончание романа было дано в ноябрьском и декабрьском номерах за 1866 г.

Рекомендация Достоевского возымела силу: в январской книге «Русского вестника» за следующий год был напечатан «Странник» — так назвал А. Н. Майков первую часть своей поэмы «Жаждущий», которая осталась незавершенной.

Несмотря на сложные, подчас драматические отношения Достоевского с «Русским вестником», его переписка с Любимовым, которого он называл «редактор-исполнитель»[53], отличалась ровным деловым тоном. Но случалось так, что редакторское вмешательство Любимова в представленные писателями рукописи вызывало к нему резко отрицательное отношение. Именно таким оно было со стороны Н. С. Лескова, печатавшего в «Русском вестнике» с октября 1870 г. и на протяжении всего 1871 г. антинигилистический роман «На ножах». Каков был характер тщательной редактуры этого романа, проделанной Любимовым, остается неизвестным, так как до сих пор исследователи не сравнивали журнальный вариант с отдельным авторским изданием. Но редакторская работа Любимова над рукописью перед печатанием романа в «Русском вестнике» не пришлась по душе Лескову. Вот что он писал 19 декабря 1870 г. публицисту реакционного направления П. К. Щебальскому, редактору газеты «Варшавский дневник»: «Скромностью Н. А. Любимова вы напрасно кичитесь (с его слов, разумеется). Это просто ужасный человек, Атилла, бич литературы!» Далее приводя несколько примеров редакторских сокращений и изменений, сделанных Любимовым в журнальной публикации романа, Лесков пишет: «Отчаяние полное и бесконечное! Я готов бросить роман недописанным, потому что все равно боюсь, что сей профессор с его резвыми руками совсем меня спутает» [54].

Свои произведения, печатавшиеся в «Русском вестнике», Достоевский по требованию редакторов журнала подвергал порой изменениям и почти всегда принужден был соглашаться с их предложениями.

III. ЗАПИСКА ДОСТОЕВСКОГО В КОЛЛЕКЦИИ К. А. ФЕДИНА

В небольшой коллекции автографов писателей прошлого века, собранной К. А. Фединым, имеются две записки Достоевского. Одна из них, адресованная С. М. Лободе, не издана. О том, что Достоевский писал ей, до сих пор не было никаких сведений.

Писательница Стефания Матвеевна Лобода выступала в печати под псевдонимом «С. Крапивина». Ряд ее рассказов и очерков Достоевский напечатал в «Гражданине», будучи его редактором-издателем. Посылая 2 октября 1873 г. редактору-распорядителю этого еженедельника князю В. П. Мещерскому статью одного офицера, Достоевский писал: «Завтра я у вас ее возьму с вашим мнением и, может быть, отправлю в типографию — если подыщу, рядом с этим, другой рассказик строк в 400 у г-жи Лободы» [55]. Речь здесь идет о рассказе «Ты и Вы (из заметок одной дамы)», напечатанном в № 41 «Гражданина», вышедшем 8 октября того же года. В январе 1874 г. Достоевский писал метранпажу М. А. Александрову, работавшему в типографии Траншеля, где печатался «Гражданин»: «В самом крайнем случае можно было бы пустить „Сердечный метод“, если он не разобран, но только в самом крайнем случае» [56]. Здесь имеется в виду рассказ Лободы, появившийся в еженедельнике № 7, 18 февраля 1874 г.

Вскоре вышло издание «Складчина», в подзаголовке которого было указано: «Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии». Все авторы печатали здесь свои произведения безвозмездно. Достоевский предоставил для сборника очерк «Маленькие картинки (в дороге)». 28 марта «Складчина» вышла в свет, а две недели спустя Достоевский получил от С. Лободы письмо (публикуется впервые) [57]:

9 апреля 1874 г. СПб.

Извините, ради бога, что попрошу вас снизойти к моему незнайству всего, что происходит в литературном мире (кроме «Гражданина», не получаю ровно никаких газет и книг).

Вчера я прочла в «Гражданине», что «Складчина» уже неделю как вышла в свет. Достать мне ее не от кого и негде, а купить — и того более; а потому, прошу вас не откажите написать на прилагаемом бланке только два слова: напечатано ли в «Складчине» то, что я в нее отослала?

Если не напечатано, то попрошу возвратить мне рукопись: чернового у меня нет, а я ею дорожу и потому еще, что очень понравилась М. П. Погодину.

Глубокоуважающая вас С. Лобода

Просто и дохнуть некогда — столько работы, слава богу!

Ответ на это письмо последовал на открытке, хранящейся теперь в коллекции К. А. Федина (публикуется впервые):

В «Складчине» вашей статьи нет; рукопись же не у меня, а вероятно, там, куда вы ее доставили. Я в редакции «Складчины» не участвовал. Полагаю, что пропасть не может.

Ваш глубокоуважающий
Ф. Достоевский

10 апреля/74.

На оборотной стороне открытки:

По Знаменской улице дом № 28/10, кв. № 17-й.
Стефании Матвеевне Лободе

Могли быть и другие письма Достоевского к С. М. Лободе, так как сохранились еще четыре ее письма к нему. Но о существовании таких писем Достоевского ничего не известно.

Второй автограф Достоевского в коллекции К. А. Федина — это записка к метранпажу М. А. Александрову, датированная 28 ноября 1877 г. Она издана в четвертом томе писем Достоевского (с неточным указанием, что автограф записки находится в собрании Ю. А. Бахрушина).

IV. ДВЕ ЗАПИСКИ К МЕТРАНПАЖУ М. А. АЛЕКСАНДРОВУ

Весьма радикально правил Достоевский не только написанное им самим, но и рукописи других авторов, поступавшие в журналы, которые он редактировал. В те времена из-за отсутствия пишущих машинок все набиралось с рукописи, и Достоевский хорошо знал о нелегком труде типографских рабочих. Поэтому, когда он принял на себя с конца 1872 г. редакторство «Гражданина», велика была его признательность наборщику и метранпажу М. А. Александрову, человеку терпеливому, трудолюбивому и культурному. Когда в конце 1875 г. Достоевский приступил к изданию «Дневника писателя», он поручил полиграфическую работу по этому журналу типографии, где тогда служил Александров. Вдобавок метранпаж владел пером и с молодых лет выступал в различных периодических изданиях. Так, в 1874 г. можно было прочитать в четырех номерах «Гражданина» его мемуарный очерк «Из воспоминаний простого человека. Мой учитель». А после смерти Достоевского Александров сказал о нем умное и доброе слово в воспоминаниях, которые напечатал в №№ 4 и 5 «Русской старины» за 1892 год. Здесь же Александров привел тексты некоторых адресованных ему записок Достоевского, связанных с типографскими делами по «Гражданину» и «Дневнику писателя». В четырехтомнике напечатано 58 записок Достоевского к Александрову. В дополнение к этому можно привести тексты еще двух записок, оставшихся неизданными; их обнаружила Г. Ф. Коган в фонде В. Я. Богучарского, хранящемся в отделе рукописей Государственного литературного музея.

Текст первой из этих записок гласит:

Люб⟨езный⟩ Александров, я из корректуры кое-что исключил, но полагаю не нарушил ваших расчетов, и в этом виде более 400 ⟨строк⟩.

Все вычеркнутые строки исключить непременно.

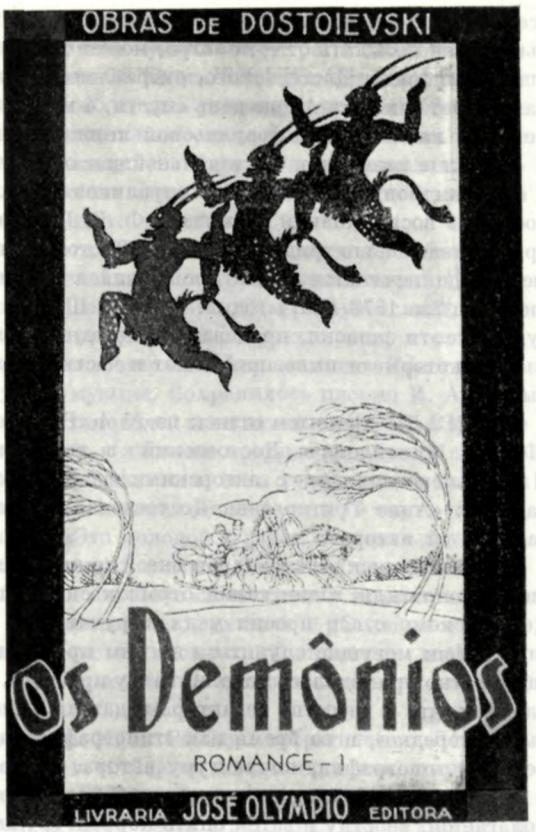
Прошу вас очень доставить прилагаемую при сем записку князю. Очень нужное.

Ваш Достоевский

(Я поправлял по князевой же корректуре).

РОМАН «БЕСЫ»

Обложка издания на португальском языке (Рио де Жанейро, 1952)



На записке карандашом рукою Александрова: «1873».

Датировать ее можно точно: по всем данным — записка связана со статьей Достоевского «Иностранные события», появившейся 17 сентября 1873 г. в № 38 «Гражданина». До публикуемой нами записки писатель отправил Александрову другую, которая датируется 15 сентября 1873 г. В ней говорится: «Люб⟨езный⟩ Александров, вместо 250 строк, я написал, кажется, до 500. Уменьшить н и ч е г о не могу. Как же быть? Непременно надо найти место и решить поскорее» [58]. По-видимому, на следующий день статья была набрана, гранки отосланы Достоевскому, он «из корректуры кое что исключил», а еще день спустя, 17 сентября, этот номер «Гражданина» появился в свет. Значит впервые печатаемую записку следует датировать 16 сентября 1873 г. Судьба записки к Мещерскому, одновременно посланной Александрову, неизвестна: в четырехтомнике ее нет.

Во второй записке, сохранившейся в бумагах В. Я. Богучарского, писатель просил Александрова:

Любез⟨ный⟩ Михаил Александрович.

Вот текст. Ради бога скорее корректуру (часа бы в три, в четыре) и ради бога рассчитайте мне страницы. Кажется, осталось [одна] три страницы или $2^1/_2$, но всего бы лучше знать в самом точном виде.

Очень прошу вас.

Ф. Достоевский

3 марта

На записке карандашом рукою Александрова: «1877».

Судя по содержанию, дело касалось подготовки к печати февральского номера «Дневника писателя» 1877 г. За день до отправки той — новонайденной — записки Достоевский послал Александрову 2 марта другую, в которой говорилось: «... вот вам

всего только 4 странички. Наберите, но цензору раньше дальнейшего окончания статьи нельзя посылать ⟨...⟩. Завтра, может быть, дам еще тексту»[59]. Публикуемая здесь впервые записка Достоевского, отправленная Александрову 3 марта, начинается словами: «Вот текст...» А еще день спустя, 4 марта 1877 г., было получено цензурное разрешение на печатание февральской книжки «Дневника писателя».

Вполне возможно, что в дальнейшем обнаружатся и другие записки Достоевского к Александрову, до сих пор не опубликованные. Такой вывод можно сделать, в частности, из воспоминаний антиквара Ф. Г. Шилова, где сказано: «Случайно мною были приобретены около тридцати записок Достоевского к метранпажу типографии А. Траншеля, где печатался редактировавшийся Достоевским „Гражданин“ с „Дневником писателя“ за 1873—1874 годы». Так как Шилов, желая выручить более значительную сумму за эти записки, продавал их по одной-две, то не исключено, что некоторые из тех, которые и ныне пребывают в частном владении, в печати остаются неизвестными[60].

В ЦГАЛИ хранится оттиск из № 4 «Русской старины» за 1892 г. под заглавием «Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика М. А. Александрова», с авторскими исправлениями и добавлениями. На обложке надпись: «Анне Григорьевне Достоевской на память от глубокоуважающего и преданного ей автора».

В этот оттиск Александров внес, по-видимому, то, что в редакции «Русской старины» сократили. Один такой отрывок сняли после абзаца, где мемуарист писал о Достоевском: «...Он просил меня выручать его при случае, то есть наверстывать в типографии могущие случиться за ним просрочки в присылке оригинала, и мне неоднократно приходилось исполнять эту просьбу». Завершался же напечатанный абзац словами, что в качестве редактора-издателя «Дневника писателя» Достоевский «опаздывал нередко», в то время как «типографии надо было иметь время на набор, корректуру типографии, корректуру автора, после которой Федор Михайлович только и допускал посылку корректуры к цензору, которого торопить, как известно, не полагается, верстку и затем опять корректуру автора и корректуру типографии и, наконец, печатание»[61]. Далее следовали строки воспоминаний Александрова, до сих пор не напечатанные:

«Много нужно было личной симпатии и уважения к издателю этого маленького и потому мало дающего заработка, но очень беспокойного журнала, чтобы отдавать все необходимое ему внимание, какое требовалось для тщательного его воспроизведения и выпусков в желаемые сроки — не жертвуя „Гражданину“ — журналу еженедельному, солидному в смысле заработка, и обусловленно срочному. Мудрено было в небольшой типографии организовать работу так, чтобы при полном отсутствии работы для „Дневника писателя“ в первые три недели каждого месяца, проделать всю вышеприведенную процедуру рабочую в последние полторы недели. Но симпатии и уважения к Федору Михайловичу и его делу у меня было много, и потому я все это делал для него».

Как хорошо эти строки характеризуют душевное отношение к Достоевскому рабочего человека — наборщика и метранпажа М. А. Александрова.

V. ДВА ПИСЬМА К К. К. РОМАНОВУ И РАССКАЗ О КАЗНИ МЛОДЕЦКОГО

Необычайно широким был круг знакомых — и тем самым корреспондентов — Достоевского. И если в предыдущей главке впервые опубликованы две его записки к типографскому рабочему, то сейчас мы вводим в научный оборот два обращения Достоевского к члену царской фамилии,— великому князю Константину Константиновичу, внуку Николая I. Эти два письма, как и дневник К. К. Романова, хранятся среди других его бумаг в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства СССР[62].

В. к. Константин Николаевич, отец Константина Константиновича, с 1855 г. управлявший флотом и морским министерством на правах министра, а с 1865 г. председатель Государственного Совета, был знаком со многими выдающимися русскими писателями. К его помощи, когда требовалось облегчить участь русских революционеров, прибегал И. С. Тургенев, хотя относился к нему весьма отрицательно. После того как Константин Николаевич посетил писателя в Париже и «рассыпался в любезностях» перед ним и Полиной Виардо, Тургенев сделал в дневнике запись, которую завершил словами: «Но какая, в сущности, ничтожность!» [63].

Сын Константина Николаевича Константин с молодых лет не только был знаком и встречался с литераторами, но и сам писал и печатал — под инициалами К. Р.— стихи, критическую прозу; его перу принадлежит драма «Царь Иудейский», текст песни «Умер бедняга в больнице военной», получившей широкое распространение. Многие выдающиеся представители культурного мира России ценили в Константине Константиновиче его любовь к литературе и музыке. Сохранилось письмо И. А. Гончарова к А. А. Фету о Константине Константиновиче, где сказано: «У него в натуре так много задушевной искренности, сочувствия к людям и природе, так много страстности к поэзии, что он может стать образцовым лириком, если условия его быта не задержат роста его сил» [64]. П. И. Чайковский, познакомившись с ним 19 марта 1880 г., писал на следующий день Н. Ф. фон Мекк: «Это молодой человек двадцати двух лет, страстно любящий музыку и очень расположенный к моей. Он желал со мной познакомиться ⟨...⟩ Впрочем, юноша оказался чрезвычайно симпатичным и очень хорошо одаренным к музыке. Мы просидели от девяти часов до двух ночи в разговоре о музыке» [65]. Чайковский считал Константина Константиновича талантливым поэтом [66], а впоследствии написал на его стихи шесть романсов, которые посвятил автору, а также хор на слова К. Р.

За два года до знакомства с композитором К. К. Романов встретился с Достоевским. Произошло это 21 марта 1878 г. в доме в. к. Сергея Александровича, четвертого сына Александра II. В тот же день Константин Константинович внес в свой дневник следующую запись: «Я обедал у Сергея. У него были К. Н. Бестужев-Рюмин [67] и Федор Михайлович Достоевский. Я очень интересовался последним и читал его произведения. Это худенький, болезненный на вид человек, с длинной редкой бородой и чрезвычайно грустным и задумчивым выражением бледного лица. Говорит он очень хорошо, как пишет» (публикуется впервые, как и приведенные ниже другие отрывки из этого дневника).

Следующая запись дневника, связанная с Достоевским, была сделана 9 марта 1879 г.: «Достал я „Идиота“ Достоевского. Когда читаешь его сочинения, кажется будто с ума сходишь. Я это еще и на „Светлане“ испытал, читая „Преступление и наказание“. Хорошо!»

Спустя шесть дней после этой записи Константин Константинович послал Достоевскому приглашение: «Многоуважаемый Федор Михайлович, я буду очень рад и благодарен вам, если вы не откажетесь провести у меня вечер завтра, 16-го марта, начиная с 9 ч. вы встретите знакомых вам людей, которым, как и мне, доставите большое удовольствие своим присутствием. Преданный вам К о н с т а н т и н» [68]. В тот же день Достоевский ответил. Вот это письмо (тексты двух неизданных писем Достоевского к К. К. Романову сообщила А. М. Козочкина):

15 марта 1879 г.

Ваше императорское высочество,

я в высшей степени несчастен, будучи поставлен в совершенную невозможность исполнить желание ваше и воспользоваться столь лестным для меня предложением вашим.

Завтра, в пятницу, 16 марта, в 8 часов вечера, как нарочно, назначено чтение в пользу Литературного фонда.

Билеты были разобраны публикою все еще прежде объявления в газетах, и если б я не мог явиться читать объявленное в программе учредителями фонда, то они, из-за моего отказа, принуждены бы были воротить публике и деньги.

Повторяю вам, ваше высочество, что чувствую себя несчастным. Я со счастьем думал и припоминал все это время о вашем приглашении прибыть к вам, высказанном мне у его императорского высочества Сергея Александровича, и вот досадный случай приготовил мне такое горе!

Простите и не осудите меня, примите благосклонно выражение горячих чувств моих, а я остаюсь вечно и беспредельно преданный вашему высочеству покорный и преданный слуга ваш

Федор Достоевский

Действительно, 16 марта 1879 г. в Петербурге в зале Благородного собрания (ныне помещение Ленинградской филармонии) состоялся вечер в пользу Литературного фонда, на котором Достоевский выступил с чтением отрывка «Рассказ по секрету» из «Братьев Карамазовых»; на том же вечере Тургенев в первом отделении прочел рассказ «Бирюк», а во втором отделении вместе с М. Г. Савиной читал сцену из пьесы «Провинциалка» [69].

21 марта того же 1879 г. Достоевский получил следующую записку: «Многоуважаемый Федор Михайлович, буду очень рад вас видеть завтра 22-го в 9 $^1/_2$ ч. вечера. Прошу вас не стесняться отказом, если вам этот день сколько-нибудь неудобен. Ваш Константин» [70].

В тот же день последовал ответ:

21 марта 1879 г.

Ваше императорское высочество,

завтра в 9 $^1/_2$ часов буду иметь счастье явиться на зов вашего высочества.

С чувством беспредельной преданности всегда пребуду вашего высочества вернейшим слугою

Федор Достоевский

Лаконичную запись об этой встрече, состоявшейся в Мраморном дворце, Константин Константинович внес в дневник 22 марта: «Вечером были у меня Ф. М. Достоевский и И. Е. Андреевский. Очень хороший и интересный был вечер».

В том же дневнике имеются две записи, сделанные в следующем месяце: «Тороплюсь одолеть „Идиота“ перед путешествием» (10 апреля); «Теперь же надо докончить укладку собственных вещей и дочитать „Идиота“. Славная вещь этот „Идиот“. Как выпукло и психически все характеры выставлены; немало помучился над ним Достоевский» (11 апреля). Еще одно упоминание о Достоевском сделано в дневнике 11 ноября 1879 г.: «Вечером был у Annette Комаровской; кроме меня там находился Н. Ф. Соколов; он читал нам последнюю часть „Братьев Карамазовых“. Есть блестящие места, но первые части лучше».

В 1880 г. Константин Константинович внес в дневник шесть записей о Достоевском. Запись от 26 февраля гласит:

«Сегодня у нас предполагается вечер с Достоевским и с дамами; так как мне неловко принимать дам у себя, то Мама предложила пригласить гостей в свои парадные комнаты, а сама она, по болезни, конечно, не будет показываться. Annette Комаровская и мы с братом allons faire les honneurs» *.

Вечер начался в 9 ч. в угловом малиновом кабинете и прошел весьма благополучно. По выражению Льва Толстого, мы подавали Достоевского его любителям как изысканное кушанье. Графиня Комаровская пригласила Юлию Федоровну Абаза и Александру Николаевну Мухартову. Я просил Татьяну Михайловну ⟨Лазареву⟩, Илью Александровича с женой, Павла Егоровича, Николая Фед⟨оровича⟩ Соколова, Сергея Васильевича Никитина.

Я люблю Достоевского за его чистое детское сердце, за глубокую веру и наблюдательный ум. Кроме того, в нем есть что-то таинственное, он постиг что-то, что мы все ⟨не⟩знаем. Он был осужден на казнь: такие минуты не многие пережили; он уже распростился с жизнью — и вдруг, неожиданно для него, она опять ему улыбнулась.

* мы будем приветствовать (*франц.*).

Тогда кончилась одна половина его существования, и с ссылкой в Сибирь началась другая.

Достоевский ходил смотреть казнь Млодецкого: мне это не понравилось, мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела; но он объяснил мне, что его занимало все, что касается человека, все положения его жизни, его радости и муки. Наконец, может быть, ему хотелось повидать как везут на казнь преступника и мысленно вторично пережить собственные впечатления. Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Федор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большею частью отрадные картины, его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой неизвестный образ... Мне так грустно стало от слов Федора Михайловича и возобновилось прежнее желание испытать самому последние минуты перед казнью, быть помилованным и сосланным на несколько лет в каторжные работы. Мне бы хотелось пережить все эти страдания: они должны возвышать душу, смирять рассудок».

13 марта 1880 г. в дневник была внесена следующая запись:

«Описания всяких ужасов у Достоевского во мне возбуждали хотя грустное, но все же возвышающее душу чувство; тут перед кровавыми картинами Верещагина на меня находило омерзение и злоба. Единственная картина мне понравилась: это „Обоз раненых".

Интересна запись 22 марта:

«Вчерашний вечер с Тургеневым расстроился; он несколько раз подвергался подозрениям в революционном направлении, и хотя эти предположения вовсе не основательны — нельзя напрасно делать Мама целью вздорных слухов. В утешение я затеял сегодня вечер с Достоевским, пригласил Евгению, Варвару Ильинишну, Татьяну Михайловну. Вечер был в малиновом кабинете Мама, а приглашения я рассылал ее именем, хотя она сама не могла показаться по болезни. Евгения была очень довольна Достоевским, проговорила с ним весь вечер. Сергей остался очень доволен».

Запись от 8 мая 1880 г.:

«Устроил у себя вечер с Федором Михайловичем Достоевским. Цесаревна слышала его чтение на каком-то благотворительном концерте, осталась в восторге и пожелала познакомиться с Ф. М. Я предложил ей вечер. Пригласил Елену Шереметеву, Евгению, Марусю, попросил Федора Михайловича привезти книги и прочесть что-нибудь из своих произведений.

Все из званных были, кроме Сергея, не знаю, что его задержало.

Ф. М. читал из „Карамазовых". Цесаревна всем разлила чай; слушала крайне внимательно и осталась в восхищении. Я упросил Ф. М. прочесть исповедь старца Зосимы, одно из величайших произведений (по-моему). Потом он прочел „Мальчика у Христа на елке". Елена плакала, крупные слезы катились по ее щекам. У цесаревны глаза тоже подернулись влагой».

Краткая запись была сделана 7 июня:

«Читаю Оле „Бедные люди" Достоевского».

И, наконец, 12 августа 1880 г.:

«Вышел единственный номер за нынешний год „Дневник писателя" Достоевского».

На этом кончаются записи в дневнике Константина Константиновича, связанные с Достоевским.

В своих воспоминаниях А. Г. Достоевская пишет

«Это был в то время юноша, искренний и добрый, поразивший моего мужа пламенным отношением ко всему прекрасному в родной литературе. Федор Михайлович провидел в юном великом князе истинный поэтический дар и выражал сожаление, что великий князь избрал, по примеру отца, морскую карьеру, тогда как, по мнению мужа, его деятельность должна была проявиться на литературной стезе» [71].

Следует отметить, что будучи в 1902 г. президентом Академии наук, Константин Константинович участвовал в избрании А. М. Горького в почетные академики Разряда

изящной словесности в соединенном заседании Отделения русского языка и словесности Академии наук и Разряда изящной словесности, а также санкционировал это избрание. Через несколько дней Николай II по представлению министерства внутренних дел отменил выборы, дав соответствующее указание министру народного просвещения, которому, в частности, писал: «Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии» [72]. О том, как тяжело реагировал Константин Константинович на это решение, можно заключить из писем выдающегося языковеда, академика А. А. Шахматова, который утверждал, что «чуткая душа» президента Академии наук очень страдала в это время, что «сам он сконфужен» [73]. Но не в его силах было противодействовать решительному приказанию царя.

Письма Достоевского и записи о нем в дневнике К. К. Романова существенно дополняют наши представления о взаимоотношениях писателя с правительственными кругами, с представителями царствующего дома. Несмотря на то что Достоевский в письмах к К. К. Романову не избежал некоторого оттенка верноподданничества, типичного для посланий подобного рода, он и здесь сохраняет независимость и чувство собственного достоинства. Писатель отказывается от визита к великому князю, так как в этот вечер обещал участвовать в публичных чтениях в пользу Литературного фонда. Когда же Достоевский читал свои сочинения во дворце, он надеялся, видимо, оказать моральное воздействие на своих слушателей. Восторги и слезы, вызываемые его чтением, например, рассказом «Мальчик у Христа на елке», где с большой художественной силой воплощен контраст между счастливой праздностью обитателей роскошного особняка и трагедией умирающего нищего мальчика, вероятно, поддерживали эти его иллюзии.

Особый интерес среди дневниковых записей К. К. Романова представляет сообщение о присутствии Достоевского на казни И. О. Млодецкого. До сих пор был известен лишь сам этот факт. Млодецкий, связанный с народовольцами, совершил покушение на М. Т. Лорис-Меликова 20 февраля 1880 г., через несколько дней после учреждения Верховной распорядительной комиссии, которую тот возглавил. 22 февраля по приговору военного суда Млодецкий был казнен. Об этом Александр II сделал характерную запись в памятной книжке: «Млодецкий повеш⟨ен⟩ в 11 ч. на Семеновском плацу — все в поряд⟨ке⟩» [74].

Узнав о предстоящей казни, Достоевский вспомнил то другое, тоже морозное зимнее утро на Семеновском плацу, последние минуты перед предстоящей казнью, и его потянуло еще раз увидеть все своими глазами. Никогда Достоевского не оставляли воспоминания о том, что он пережил 22 декабря 1849 г., когда ему и товарищам по делу Буташевича-Петрашевского был зачитан на том же плацу приговор о смертной казни расстрелянием, а затем была произнесена команда к расстрелу. Эти воспоминания всегда жили в нем, и неожиданно прорывались то в описании самочувствия Раскольникова, то в рассказе князя Мышкина. Но дело не только в психологическом потрясении, которое осталось в памяти Достоевского. Его мучительно волновали судьбы новых поколений революционеров, он не признавал смертную казнь справедливым средством политической борьбы, о чем писал в последней записной книжке в связи с казнью членов Исполнительного комитета «Народной воли» А. К. Преснякова и А. А. Квятковского [75]. Известно, что другой русский писатель Всеволод Гаршин направил Лорис-Меликову письмо, умоляя о помиловании Млодецкого, но просьба осталась без ответа [76].

Разумеется, далеко не все, что в день смерти Млодецкого пережил Достоевский, он мог объяснить своему собеседнику, но некоторые детали рассказа драгоценны, тем более, что запись сделана сразу после разговора. Характерно, например, признание, что в последние минуты перед казнью человек отгоняет от себя мрачные мысли, «ему припоминаются большею частью отрадные картины». Это совпадает с тем, что писал Достоевский брату, вернувшись в Петропавловскую крепость после обряда казни 22 декабря 1849 г.: «Вызывали по трое, след⟨овательно⟩, я был во второй очереди и жить мне осталось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый!» [77] Внутреннюю стойкость, способность не поддаваться отчая-

нию запомнил Достоевский в себе и узнал в «равнодушии» спокойно озиравшего толпу Млодецкого.

Далее Достоевский говорил, что в ожидании казни не страшна предстоящая боль, «ужасен переход в другой, неизвестный образ». Это, конечно, слова человека неверующего или, во всяком случае, колеблющегося в вере. Ф. Н. Львов, вспоминая процедуру казни петрашевцев, писал: «Достоевский был несколько восторжен, вспоминал „Последний день осужденного на смерть" Виктора Гюго, и, подойдя к Спешневу, сказал: „Nous serons avec le Christ". — „Un peu de poussière" *,— отвечал тот с усмешкою» [78]. Но судя по рассказу, записанному К. К. Романовым, настроения и мысли Достоевского в те роковые минуты были значительно сложнее [79].

Как мы видим, еще возможны находки и писем Достоевского к ранее неизвестным адресатам, и мемуарных записей о нем.

VI. АВТОГРАФЫ ДОСТОЕВСКОГО ЗА РУБЕЖОМ

В зарубежных странах хранится много автографов классиков русской литературы. Достаточно сказать, что творческих рукописей, писем и книг с дарственными надписями Пушкина там имеется около сорока. Сотни автографов Л. Н. Толстого находятся за границей. И, конечно, особенно велико за рубежом, и, в частности, во Франции, количество творческих рукописей, писем и книг с дарственными надписями Тургенева, поскольку он не только прожил там значительную часть своей жизни, но и с молодых лет вел обширную переписку с зарубежными корреспондентами. Что же касается автографов Достоевского, то в иностранных государственных архивохранилищах и личных коллекциях их немного, хотя писатель в общей сложности провел за границей около шести лет, а начало его европейской популярности восходит к 1860-м годам.

По воспоминаниям А. Г. Достоевской известно, что в июле 1871 г., после четырехлетнего пребывания в Германии, Швейцарии и Италии, писатель перед возвращением на родину сжег в Дрездене рукописи «Идиота», «Вечного мужа», а также части «Бесов», являвшейся «оригинальным вариантом», опасаясь, что они будут отобраны на русской границе. Все это погибло безвозвратно. Но еще в недавние годы за границей находилась одна драгоценная творческая рукопись Достоевского и, по-видимому, туда же попала темными путями другая еще более драгоценная и к тому же весьма объемистая его рукопись.

Стефан Цвейг, свыше трети века собиравший интересные по содержанию автографы, 29 августа 1923 г. обратился из Зальцбурга к А. М. Горькому, жившему тогда в Берлине, с письмом, в котором просил его прислать какую-нибудь творческую рукопись собственного сочинения. В этом письме, говоря о том, какими автографами русских писателей он располагает, Цвейг сообщал: «Достоевский у меня представлен двумя главами из „Униженных и оскорбленных", Толстой — двумя главами из рукописи „Крейцеровой сонаты",— оба оригинала я приобрел перед войной, в результате больших денежных затрат и усилий» [80]. Кстати сказать, в 1914 г., до первой империалистической войны, Стефан Цвейг работал над книгой о Достоевском, которого считал величайшим писателем нового времени. Что же касается собранной им коллекции автографов, то она была замечательнейшей, так как он, по его словам, задался целью «владеть в собственноручных подлинниках именно тем, что сделало бессмертных бессмертными».

В 1971 г. впервые на русском языке были напечатаны главы из книги Стефана Цвейга «Вчерашний мир», в которой он с большой любовью говорит о своем собирательстве. Какие чудесные, идущие от всего сердца слова он посвятил своей коллекционерской страсти! Называя некоторые редчайшие рукописи, им отысканные, Цвейг в этих воспоминаниях пишет, что «всегда считал себя не владельцем этих вещей, а только временным хранителем. Меня радовало не чувство собственничества, обла-

* «Мы будем вместе с Христом».—«Горстью пепла» (*франц.*).

дания, но прелесть объединения, превращения коллекции в произведение искусства. Я понимал, что создал нечто более достойное бессмертия, чем мои собственные произведения ⟨...⟩ Было у меня благое намерение завещать эту уникальную коллекцию учреждению, которое выполнит мое особое условие,— выделить ежегодную субсидию на пополнение коллекции в духе моих принципов ⟨...⟩ Но моему многострадальному поколению не дано загадывать вперед. Когда наступила гитлеровская эпоха и я оставил свой дом, радости собирательства улетучились вместе с верой в возможность сохранить что-либо навсегда. В течение некоторого времени я хранил коллекцию по частям в банковских сейфах и у друзей, но потом,— вспомнив бессмертные слова Гете о том, что музеи, коллекции и арсеналы, прекратив движение, мертвеют, — предпочел навсегда расстаться с нею, раз уж я не мог продолжать ее сотворение» [81].

Завершает Стефан Цвейг эти взволнованные строки такими словами: «Часть коллекции я передал Венской национальной библиотеке — главным образом то, что сам получил в дар от друзей-современников, другую часть распродал, а то, что случилось с остальным, не очень тревожит меня. Не создание, а созидание всегда радовало меня. И я не оплакиваю то, чем некогда владел. Ибо если уж нам, затравленным и гонимым, суждено было в эти времена, враждебные искусству и собирательству, научиться еще чему-нибудь, так это искусству расставания с тем, что мы когда-то любили и чем гордились» [82].

Еще при жизни Стефана Цвейга в зарубежных изданиях появлялись сообщения о некоторых примечательных рукописях из его коллекции. В 1930 г. подобного рода статья самого Цвейга была напечатана в венском журнале «Philobiblon («Книголюб»)[83]. Здесь было, в частности, сказано, что в собрании писателя имеются т р и главы рукописи «Униженных и оскорбленных». Вполне возможно, что за границей у какого-то лица находилась вся рукопись романа или значительная ее часть и что между 1923 г. (дата письма к Горькому) и 1930 г. (дата появления статьи) Цвейг приобрел еще одну главу «Униженных и оскорбленных». В той же статье говорится также о принадлежавшей Цвейгу рукописи «Крейцеровой сонаты» и дано воспроизведение нескольких строк одной ее страницы. В юбилейном полном собрании сочинений Л. Н. Толстого в «Описании рукописей, относящихся к „Крейцеровой сонате“» отмечено, что «часть ценной рукописи — автограф находится у Ст. Цвейга (Зальцбург)» [84]. Было ли напечатано за границей описание принадлежавшей ему рукописи «Униженных и оскорбленных»,— неизвестно. В Венской национальной библиотеке ее нет,— значит, он туда ее не передавал. После самоубийства Стефана Цвейга и его жены в 1942 г., какие-то части коллекции, им собранной, попали, по имеющимся у меня точным данным, в Швейцарию, в частные собрания, которых там много.

К большому удивлению, в комментарии к «Униженным и оскорбленным» в только что вышедшем третьем томе академического собрания сочинений Достоевского ни единым словом не упоминается о рукописях трех глав романа, хранившихся у Цвейга. А ведь составители должны были не только знать о существовании этих материалов, но и предпринять их розыски, тем более, что, в отличие от других больших романов Достоевского, из рукописей «Униженных и оскорбленных» до нас ничего не дошло, если не считать маленького отрывка, недавно обнаруженного в московском музее Достоевского и публикуемого в настоящем томе (стр. 15).

Вполне возможно, что в послереволюционные годы за рубеж была увезена полная рукопись «Братьев Карамазовых». О ней имеется такая запись А. Г. Достоевской в тетради, на обложке которой она написала: «En cas de ma mort ou d'une maladie grave»*. «Внуку моему, Федику, я подарила на память о его дедушке полный экземпляр рукописи романа „Братья Карамазовы“ (первый том 439 страниц и второй том 465 страниц). Оба тома переплетены (вес обоих более 12 фунтов). Внесены на хранение в Госуд⟨арственный⟩ банк 17 февраля 1907 г. по расписке № 1030823. Расписка эта отослана на хранение Екатерине Петровне в заказ⟨ном⟩ письме февр⟨аля⟩ 1907 г.» [85] Упоминаемая в этой записи Е. П. Достоевская (урожденная Цугаловская) — жена сына писателя и мать его внука Федика, к которой Анна Григорьевна относилась

* «На случай моей смерти или тяжелой болезни» (*франц.*).

исключительно хорошо, скончалась совсем недавно, в 1959 г., во Франции, куда она переехала из Крыма, где жила до последнего года Великой Отечественной войны. После ее смерти в пансионате для престарелых русских эмигрантов в Ментоне, по ходатайству московского музея Ф. М Достоевского было прислано, как утверждают, всё оставшееся от нее, но там, кроме домашних вещей, оказались лишь рисунки ее старшего сына Федика. Получила ли в Государственном банке Е. П. Достоевская по имевшейся у нее расписке рукопись «Братьев Карамазовых»,— неизвестно. Но получить вполне могла. К тому же эту рукопись никто и никогда не передавал Федику, как того желала Анна Григорьевна,— он умер в 1921 г., в шестнадцатилетнем возрасте [86]. А если рукопись «Братьев Карамазовых» была получена из Государственного банка Е. П. Достоевской, то не взяла ли она ее с собой, когда после изгнания из Крыма оккупантов навсегда покинула родину? Могло быть и так: рукопись «Братьев Карамазовых», безусловно находившуюся вне того сейфа, где Анна Григорьевна хранила множество записных книжек и бумаг Достоевского, затем в 1921 г. поступивших в Центрархив, мог присвоить в бурные дни Октябрьской революции один из высших царских чиновников Государственного банка,— известны случаи, когда они изымали оттуда для отправки за границу различные ценности. Но так как нет точных данных о судьбе рукописи «Братьев Карамазовых» после 1917 г., остается верить, что она не погибла и будет обнаружена.

Не зная того, что существует письмо Стефана Цвейга, к тому же опубликованное в нашей печати дважды — в 1958 и 1960 гг., где прямо говорится об имеющейся у него лишь одной рукописи Достоевского — двух глав «Униженных и оскорбленных», не зная и статьи Цвейга в журнале «Philobiblon», где говорится о принадлежавшей затем писателю рукописи трех глав этого романа, Б. И. Бурсов привел завещательную надпись А. Г. Достоевской (не говоря о том, что она впервые напечатана В. С. Нечаевой) и далее напечатал явно апокрифические сведения о судьбе рукописи «Братьев Карамазовых», сообщенные Андреем Федоровичем Достоевским, младшим внуком писателя: будто в 20-х годах ее «купил за баснословную цену немецкий писатель Стефан Цвейг, который после захвата власти Гитлером уехал в Аргентину, бедствовал, задолжал большую сумму бакалейщику и, вместе с женой, покончил самоубийством» [87]. Правда, Б. И. Бурсов называет это сообщение легендой. Но зачем распространять безусловно неверные сведения, да еще сдобренные выдумкой о бакалейщике, являющемся чуть ли не виновником самоубийства Цвейга! Кстати сказать, он был писателем австрийским.

О том, что украденные в нашей стране рукописи Достоевского оказываются за границей, красноречиво свидетельствует следующий факт. В первом томе писем Достоевского, вышедшем в 1928 г., А. С. Долинин напечатал письмо 12 ноября 1859 г. к В. М. Карепиной,— сестре писателя, указав в примечаниях, что его подлинник хранится в московском Историческом музее. А двадцать восемь лет спустя после выхода первого тома четырехтомника, в 1956 г., человек, назвавший себя С. Максимовым, через посольство СССР во Франции передал в дар Музею Ф. М. Достоевского в Москве тот самый подлинник письма к В. М. Карепиной, который ранее хранился в Историческом музее!

Из Советского Союза был увезен другой интересный автограф писателя — двойной лист большого формата, все четыре стороны которого, заполненные рукою Достоевского, являются началом второй главы второй части «Записок из Мертвого дома». Интересен автограф множеством зачеркнутых слов, вместо которых внесены поправки, отразившиеся в окончательном варианте. Наряду с автографами Державина, Жуковского, Пушкина, Александра Бестужева, Вяземского, Гоголя, Тургенева, Горького, Блока, Марины Цветаевой, этот автограф Достоевского входит в раздел рукописей большой коллекции русских изданий 1750—1920 гг., отчасти собранной Бейардом Л. Килгуром во время его пребывания в 1926 и 1927 гг. в Советском Союзе. Ему удалось вывезти в США редчайшие русские книги, в том числе по экземпляру всех прижизненных изданий Пушкина. Многие из книг этой коллекции, если судить по имеющимся на них экслибрисам и печатям, ранее были в библиотеках Александра II, Александра III, Николая II, в. к. Алексея Николаевича, Сергея Александровича

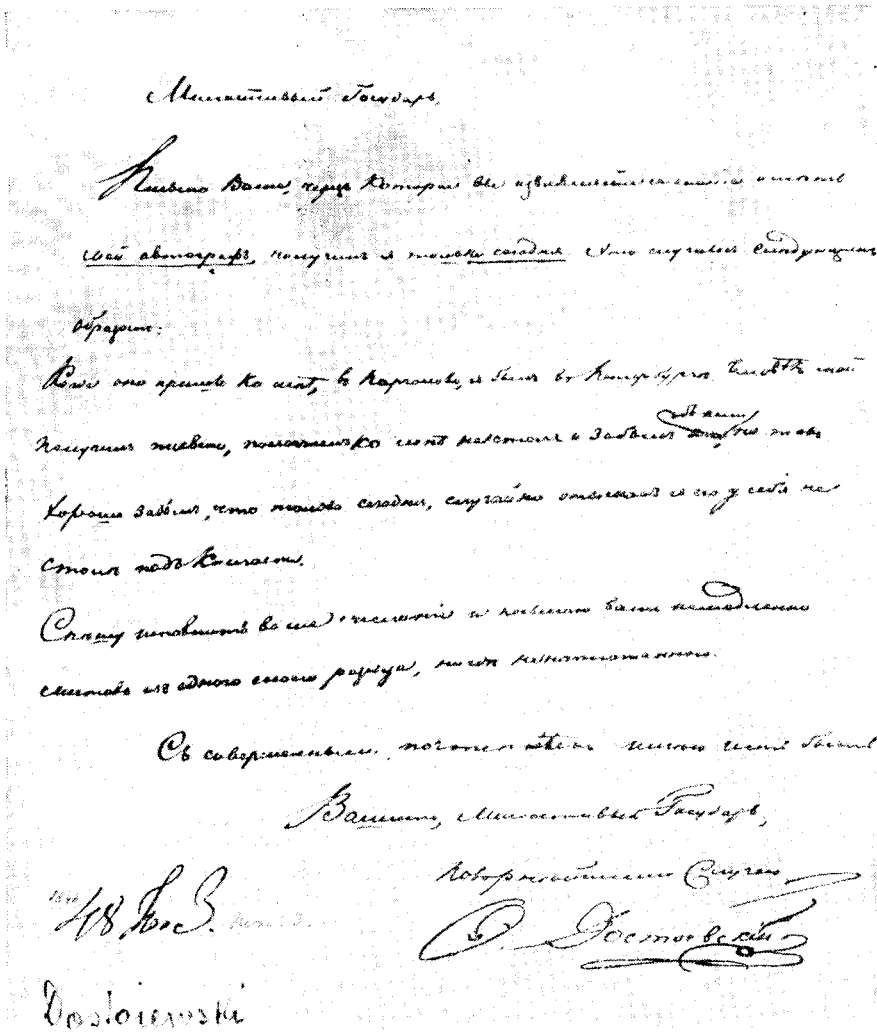
Михаила Николаевича, Константина Николаевича, Павла Александровича, в. к. Ольги Николаевны, Елизаветы Маврикиевны, в библиотеках дворцов Зимнего, Гатчинского, Аничкова, Павловского, Александровского, Михайловского, в знаменитых личных библиотеках С. А. Соболевского, Г. В. Юдина и даже в Публичной библиотеке, в Эрмитаже. На многих книгах имеются дарственные надписи русских писателей. Теперь вся богатейшая коллекция Килгура вместе с рукописями принадлежит библиотеке Гарвардского университета, выпустившего в 1959 г. огромный том, в котором все книги этой коллекции описаны, все титульные страницы воспроизведены, а также описаны рукописи и воспроизведены некоторые из них [88]. Каким образом и у кого Килгур смог достать автограф Достоевского,— неизвестно. Его первая публикация, подготовленная Д. И. Чижевским, появилась в 1955 г. в «Harvard Library Bulletin», а в следующем году в сборнике «Русский литературный архив», вышедшем в Нью-Йорке [89].

Поиски реликвий нашей отечественной культуры, проведенные мною в 1966 г. во Франции, принесли значительные результаты. Так, из числа рукописных материалов, что мне удалось там выявить, только в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР поступило около двенадцати тысяч номеров. Среди них творческие рукописи и письма, дневники и воспоминания, рисунки и фотографии, относящиеся к огромному периоду времени — от дневника Аннет Олениной с записями о ее встречах с Пушкиным, до архива Аркадия Аверченко; туда же поступили 44 иллюстрации Александра Бенуа к «Капитанской дочке», а также 43 эскиза костюмов и эскиз занавеса М. В. Добужинского к «Ревизору», которые впервые обрели жизнь на сцене в 1972 г. в постановке этой пьесы Г. А. Товстоногобым в Ленинградском Большом драматическом театре. Государственный музей А. С. Пушкина в Москве украсил свою экспозицию двумя шедеврами русской акварельной живописи — портретом М. Н. Волконской с сыном кисти П. Ф. Соколова (эта акварель была взята ею с собой в Сибирь, когда она решила разделить судьбу мужа-декабриста), а также портретом Идалии Полетики, исполненным тем же художником. В Государственный музей «Домик Лермонтова» в Пятигорске была передана картина великого поэта «Вид Крестовой горы», подаренная им своему другу В. Ф. Одоевскому. Государственный музей Л. Н. Толстого в Москве получил двадцать писем-автографов Толстого к Виктору Лебрену. Удалось найти много интересного, связанного с жизнью и творчеством Тургенева...

Но отыскать во Франции какие-либо автографы Достоевского представлялось невозможным. В отделе рукописей парижской Национальной библиотеки мне сообщили, что автографов Достоевского там нет. То же самое сказали руководители архивов Франции, с которыми я общался. Что же касается французских частных собраний, то профессор Андре Мазон, хорошо их изучивший, уверял меня, что за всю свою долгую жизнь он не видел в этих собраниях ни единой строки, написанной рукой Достоевского. О том же говорил и Андре Моруа, владевший превосходной коллекцией автографов, которую он мне показывал, разрешив фотографу Мишелю Бродскому сделать для меня снимки некоторых из них.

И все же я узнал о существовании во Франции двух автографов Достоевского, находящихся у частных лиц.

Один из парижских друзей сообщил мне, что в Ницце живет весьма почтенных лет человек, который еще в давние годы собрал коллекцию творческих рукописей и писем известных литераторов прошлого, общественных и политических деятелей, к тому же не только французских, поэтому у него могут быть и русские автографы. И так как я должен был побывать на юге Франции, где жил Виктор Лебрен, обещавший передать двадцать писем Толстого, то просил друзей, привезших меня к Лебрену, поехать затем со мной в Ниццу. Владелец собрания автографов был предупрежден о моем приезде, и я был встречен им радушно. Коллекция действительно оказалась интересной. Внимательно просмотрев автографы Монтескье и Руссо, Дидро и Бомарше, Гюго и Жорж Санд, Марата и Демулена, Карла Маркса и Франклина, Ньютона и Эйнштейна, Гете и Шиллера, я буквально впился в русские автографы. Их оказалось здесь восемь: пять писем Тургенева к Каролине Комманвиль, племяннице



ПИСЬМО ДОСТОЕВСКОГО К НЕИЗВЕСТНОМУ 3 ИЮНЯ 1848 г.
Находилось в частном собрании, Ницца

Флобера, письмо Льва Толстого к П. П. Николаеву, философу-идеалисту, переселившемуся в 1905 г. в Ниццу, письмо Горького к бельгийскому писателю Франсу Элленсу и его жене М. М. Элленс-Милославской [90]. И, наконец, письмо Достоевского, к тому же оказавшееся неизданным. На следующий день я получил фотографию этого письма.

Вот его текст:

Милостивый государь,

Письмо ваше, через которое вы изъявляете желание иметь мой автограф, получил я только сегодня. Это случилось следующим образом: Когда оно пришло ко мне, в Парголово, я был в Петербурге. Человек мой получил письмо, положил ко мне на стол и забыл об нем, но так хорошо забыл, что только сегодня случайно отыскал я его у себя на столе под книгами.

Спешу исполнить ваше желание и посылаю вам немедленно листок из одного моего рассказа, нигде не напечатанного.

С совершенным почтением имею честь быть вашим, милостивый государь,
покорнейшим слугою

Ф. Достоевский

48 Июня 3

С первого взгляда письмо не представляет интереса. И все же это не так.

Прежде всего до сих пор было известно всего лишь одно письмо Достоевского, датированное 1848-м годом. Ведь только за четыре года до того его имя впервые появилось в печати, и то лишь в качестве переводчика повести Бальзака «Эжени Гранде». В 1846 г. в «Петербургском сборнике» и в «Отечественных записках» были напечатаны «Бедные люди», «Двойник» и «Господин Прохарчин», принесшие известность писателю, а в следующем году «Бедные люди» вышли отдельным изданием. Адресат письма Достоевского, пока остающийся нераскрытым, был, по-видимому, первым из читателей, попросившим его автограф. И главное, в ответ на эту просьбу писатель отправил ему «листок» из одного своего рассказа. Достоевский работал тогда над тремя рассказами — «Елка и свадьба», «Белые ночи» и «Ревнивый муж», затем появившимися в трех последних книгах «Отечественных записок» за 1848 год. Возможно, что «листок» одного из этих рассказов, в июне 1848 г. еще «нигде не напечатанного», Достоевский и отправил своему адресату. Уцелел ли «листок», где он сейчас находится,— неизвестно. Но отыскать его было бы тем более интересно, что творческие рукописи первых лет литературной деятельности Достоевского совсем не сохранились.

Второй автограф писателя, обнаруженный во Франции, это его дарственная надпись на собственной фотографии:

Якову Фаддеевичу Сахар
на память
от Ф. М. Достоевского
16 декабря/80 г.

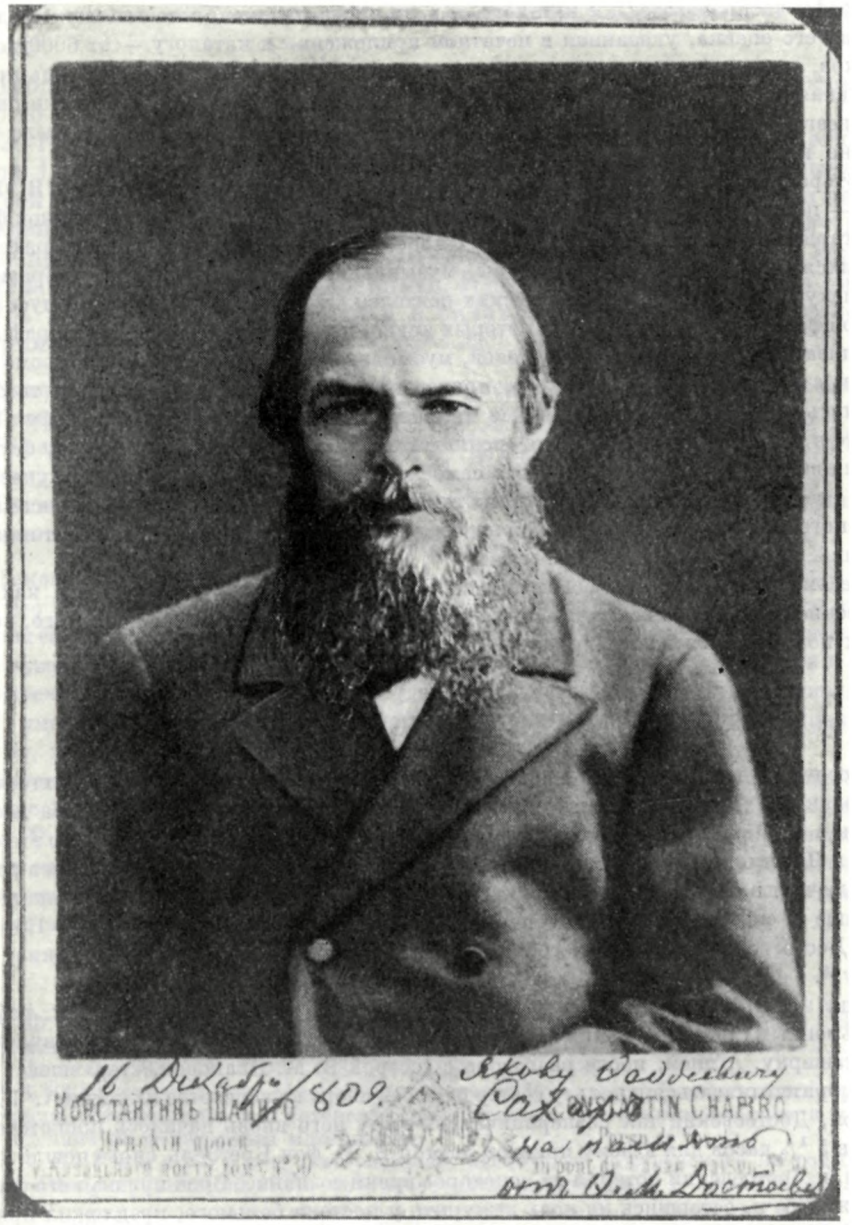
Фотография ценна уже тем, что сохранилось всего семь такого рода подарков писателя. Эта — дошедшая до нашего времени восьмая, самая поздняя по дате,— то были последние недели жизни Достоевского, скончавшегося 28 января 1881 г.

Подарил эту фотографию писатель двадцатидвухлетнему студенту Петербургского университета Я. Ф. Сахару. Впоследствии наиболее авторитетный нотариус столицы, большой любитель литературы, театра и изобразительного искусства, Я. Ф. Сахар с молодых лет стал собирать фотографии с дарственными надписями выдающихся деятелей русского и зарубежного культурного мира. Начало этой коллекции положил, видимо, Тургенев, подаривший ему 15 марта 1879 г. свою фотографию с надписью. А к концу жизни Я. Ф. Сахара (он скончался в Петербурге в 1911 г.) коллекция приобрела музейное значение.

Во время пребывания в Париже я познакомился с дочерью собирателя — Норой Яковлевной. Там я и увидел часть того, что некогда собрал ее отец,— фотографии Д. В. Григоровича, И. Е. Репина, В. Е. Маковского, Ф. И. Шаляпина, И. В. Тартакова, М. Г. Савиной, К. А. Варламова, В. В. Стрельской, В. Н. Давыдова, Сары Бернар, Люсьена Гитри — и все с дарственными надписями. Н. Я. Сахар благожелательно отнеслась к моему совету отправить эти фотографии с автографами на родину. И теперь все они находятся в ЦГАЛИ. Что же касается фотографий Достоевского и Тургенева, то Нора Яковлевна незадолго до моего приезда уступила их одному парижскому собирателю. От него я и получил пересъемку фотографии Достоевского, а затем удалось достать уже у другого лица фотографию Тургенева [91].

Какова же дальнейшая судьба тех двух автографов Достоевского, которые обнаружились во Франции? Оба уже «переселились» в другие края.

Первый — автограф-письмо — появился 1 июня 1970 г. на распродаже автографов в Отеле Друо, доме аукционов, существующем в Париже уже 165 лет. На обложке каталога этой распродажи, выпущенного на французском языке, сказано: «Сто драгоценных документов». А на титульной странице: «Драгоценные автографы, составляю-



ДОСТОЕВСКИЙ

Фотография К. Шапиро, 1879, Петербург, с дарственной надписью Достоевского: «Якову Фаддевичу Сахар на память от Ф. М. Достоевского. 16 декабря/80 г.»

Находилось в собрании Н. Я. Сахар, Париж

щие коллекцию одного любителя» [92]. Это была часть собрания, за три года до того осмотренного мною в Ницце. Самые значительные — по мнению экспертов аукциона — автографы воспроизведены в каталоге, и в их числе письмо Достоевского. Предварительная его оценка, указанная в печатном приложении к каталогу — от 6000 до 7000 франков, свидетельствует, как за рубежом редки рукописи Достоевского; ведь предварительная оценка подобного рода автографа Тургенева в том же приложении определена всего в 300—400 франков. Как мне сообщили, письмо Достоевского было приобретено на этом аукционе заокеанским коллекционером.

Второй автограф — фотография писателя, подаренная им с надписью Я. Ф. Сахару,— попал на аукцион, состоявшийся 23—24 мая 1967 г. в антикварной фирме Штаргардт в Марбурге (ФРГ), которая с 1830 г. занимается продажей автографов выдающихся представителей литературы, музыкального, театрального и изобразительного искусства, ученых и политических деятелей. К каждому аукциону выпускаются богато оформленные каталоги, из которых видно, как часто там бывают автографы русских писателей, политических деятелей, музыкантов [93]. В каталоге № 580, кроме фотографии с автографом Достоевского, приведены сведения о продававшихся тогда же двух письмах Льва Толстого и письме Чайковского. В пояснениях к автографу Достоевского в каталоге сказано, что это «исключительная редкость», да и цена ему была назначена высокая — 3500 франков. Но самое интересное в пояснениях — это указание, что за все время существования фирмы там ранее были проданы всего два письма Достоевского и книга с его дарственной надписью [94]. В литературе о писателе нет никаких сведений об этих трех его автографах.

Весьма возможно, что в частных собраниях за рубежом имеются еще какие-то творческие рукописи, письма и книги с дарственными надписями Достоевского, но они до сих пор остаются невыявленными, неописанными и неопубликованными.

VII. ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО ДОСТОЕВСКОГО

Последнее по хронологии письмо Достоевского, напечатанное в четырехтомнике, датировано 26 января 1881 г. и обращено к Н. А. Любимову; в нем просьба дослать остаток в 4000 рублей, причитающийся за «Братьев Карамазовых». Написано это обращение к Любимову обычным, почти каллиграфическим почерком. Но одна фраза в письме заключает в себе нечто настораживающее: «...могу ли надеяться еще раз на внимание ваше и содействие к моей теперешней, последней может быть просьбе?» По-видимому, Достоевский чувствовал себя серьезно больным, когда эти строки ложились на бумагу [95].

Еще в ночь на 26 января у него хлынула кровь горлом, после того как, работая за письменным столом и уронив вставку с пером, он, чтобы ее достать, отодвинул тяжелую этажерку. А днем, после разговора с сестрой В. М. Ивановой, старавшейся уговорить брата отказаться в пользу сестер от своей части в наследстве их тетки А. Ф. Куманиной, Достоевский так разнервничался, что у него вновь началось кровотечение. Когда в 5 $^{1}/_{2}$ часов дня к нему приехал доктор Я. Б. фон Бретцель, снова пошла кровь горлом, и Достоевский потерял на некоторое время сознание. Врач признал его состояние тяжелым и, оставшись на ночь дежурить у постели больного, предложил пригласить еще двух врачей — Д. И. Кошлакова и А. А. Пфейфера.

Следующий день, 27 января, прошел относительно спокойно, однако 28 января в петербургских газетах, в частности в «Новом времени», появились тревожные заметки о том, что Достоевский «сильно занемог». Прочитав об этом, графиня Е. Н. Гейден, часто встречавшаяся с Достоевским в конце 1870-х годов, написала утром 28 января Анне Григорьевне письмо, в котором просила сообщить о его здоровье посланному [96]. В тетради Анны Григорьевны, куда она вносила записи о событиях тех скорбных дней, среди сделанных 28 января имеется и такая: «Вечером до Кошлакова диктовал мне письмо к Гейден с историею его болезни» [97]. И хотя в бумагах А. Г. Достоевской, находящихся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, сохранился отдельный листок с текстом этого письма и к тому же сведения о нем при-

ведены в «Описании рукописей Ф. М. Достоевского» [98], в четырехтомнике письмо к Е. Н. Гейден отсутствует.

Вот что написано рукою Анны Григорьевны на отдельном листке (публикуется впервые):

Продиктовано мне в ответ на письмо графини Гейден в 5 часов или $^1/_2$ 6-го в день смерти:

«26-го числа в легких лопнула артерия и залила, наконец, легкие [99]. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови с задушением. С $^1/_4$ ⟨часа⟩ Федор Михайлович был в полном убеждении, что умрет; его исповедали и причастили. Мало-по-малу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровотечение может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия» [100].

Хотя написано это письмо в третьем лице, все же оно безусловно передает полностью именно то, о чем просил сам Достоевский сообщить Е. Н. Гейден.

Через два часа Достоевский скончался. Произошло это в 8 часов 38 минут вечера 28 января 1881 г.

Будущее академическое издание писем Достоевского завершится, несомненно, этим его действительно предсмертным письмом к Е. Н. Гейден.

Таковы те десять писем Достоевского, отсутствующие в четырехтомнике, а также одна его фотография с дарственной надписью, которые были обнаружены в отделах рукописей Государственной Третьяковской галереи и Государственного литературного музея, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства СССР и Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, в коллекции А. Б. Гольденвейзера и в коллекции К. А. Федина, в зарубежных собраниях в Ницце и Париже.

В такой же степени, как разнообразны места хранения этих писем, разнообразны они по содержанию. Почти каждое письмо, максимум два письма, образуют отдельный сюжет. Поэтому и пришлось говорить о них в семи главках, в вводной же главке дать оценку четырехтомнику писем Достоевского, подготовленному А. С. Долининым, а также привести перечень тех новонайденных писем, которые были выявлены и напечатаны до этой нашей публикации.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Ф. М. Достоевский. Письма». Под ред. и с примеч. А. С. Долинина. В четырех томах. I. 1832—1867. М. — Л., 1928; II. 1867—1871. М. — Л., 1930; III. 1872—1877. М. — Л., 1934; IV. 1878—1881. М., 1959.

[2] В 1928 г. издательство «Academia» выпустило мою книгу «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева», значительная часть комментариев к которой была сделана по неизданным материалам.

[3] В. Л. Комарович. Литературное наследство Достоевского за годы революции. Обзор публикаций 1917—1933 гг.— «Лит. наследство», т. 15, 1934, стр. 274—275.

[4] В т. 83 «Лит. наследства» (стр. 347) ошибочно указано, что эта записка адресована Д. Е. Кожанчикову.

[5] Так же очень небрежно напечатал Б. И. Бурсов в своем странном не только по жанру («роман-исследование») сочинении «Личность Достоевского» интереснейшую запись писателя у гроба жены (16 апреля 1864 г.). Б. И. Бурсов привел ее по весьма неточной публикации Б. П. Вышеславцева в парижских «Современных записках», 1932, кн. 50. Именно так, с пропущенными фразами, неверно прочитанными словами и грубыми ошибками перепечатал Б. И. Бурсов запись «Маша лежит на столе» («Звезда», 1969, № 12, стр. 154), не зная, что автограф входит в состав записной книжки Достоевского, хранящейся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, хотя на это указано в издании «Описание рукописей Достоевского» (1957), где запись упоминается дважды (стр. 21—22 и 133). См. полную публикацию той же заметки на 173—174 стр. т. 83 «Лит. наследства».

[6] В. Л. Комарович. Указ. соч., стр. 275—278.

Из других печатных откликов на это издание следует отметить содержательную рецензию И. З. Сермана на четвертый том писем Достоевского, появившуюся в «Вопросах литературы», 1959, № 8, стр. 205—209.

[7] А. П. Боткина. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1951, стр. 247.

[8] «Лит. наследство», т. 80. «В. И. Ленин и А. В. Луначарский. Переписка, доклады, документы», 1971, стр. 65; Декреты Советской власти, т. II. М., 1959, стр. 381—382.

[9] В. С. Кеменов. П. М. Третьяков и русская живопись.— Вступ. статья в кн.: А. П. Боткина. Указ. изд., стр. 11—12.

[10] См. изд.: «Двенадцать портретов русских писателей». Ред. и вступ. статья И. С. Зильберштейна. М., 1940,стр. 12.

[11] Это письмо Третьякова к Достоевскому, как и следующее, впервые опубликованы в кн.: А. П. Боткина. Указ. изд., стр. 294. Сверены с подлинниками, хранящимися в ЛБ.

[12] Третьяков тогда же заказал Перову портрет А. Н. Майкова; хранится в Третьяковской галерее.

[13] «Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1870—1879». М., 1968, стр. 76—77.— Письмо не датировано; составители этого издания ошибочно датировали его маем 1872 г., в то время как оно отправлено в конце апреля этого года (см. цитируемое мною письмо Достоевского к Н. Н. Страхову, в котором говорится, что 3 мая Перов уже получил согласие Третьякова на исполнение художником портрета Майкова).

[14] «Письма», III, стр. 27—28.

[15] *В. В. Бессонов* — врач, член Общества любителей художеств, художник-дилетант, находился в дружеских отношениях с Перовым. Его портрет художник исполнил в 1869 г.

[16] Когда год спустя Ф. И. Тютчев скончался, Достоевский поместил в журнале «Гражданин» заметку:

«Некролог. 15 июля, в Царском селе, скончался Федор Иванович Тютчев, сильный и глубокий русский поэт, один из замечательнейших и своеобразнейших продолжателей пушкинской эпохи.

С горестью сообщая об этом нашим читателям, мы имеем в виду в непродолжительном времени, в отдельной статье, по возможности оценить поэтическую деятельность покойного поэта» («Гражданин», 1873, № 30, 23 июля; XIII, 587).

В следующем номере «Гражданина» была помещена статья В. П. Мещерского «Свежей памяти Ф.И. Тютчева», которую Достоевский целиком переработал. Вот что он писал жене 29 июля 1873 г.: «Прошлую неделю начал писать статью и должен был бросить из уважения к Мещерскому, чтоб поместить внезапно присланную им статью о смерти Тютчева,— безграмотную до того, что понять нельзя, и с такими промахами, что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах. Сутки, не разгибая шеи, сидел и переправлял, живого места не оставил» («Письма», III, стр. 70).

[17] Два месяца спустя после смерти Достоевского Третьяков, который продолжал заказывать художникам портреты деятелей литературного мира России, попросил Репина исполнить портрет М. Н. Каткова. В ответном письме, датированном 8 апреля 1881 г., Репин категорически отказался от этого предложения, сославшись на то, что увековечивать следует лишь «лиц, дорогих нации, ее лучших сынов, принесших положительную пользу своей бескорыстной деятельностью на пользу и процветание родной земли, веривших в ее лучшее будущее и боровшихся за эту идею». Репин, называя Каткова «ретроградом <...>, набрасывавшимся на всякую светлую мысль, клеймившим позором всякое свободное слово», заканчивал письмо так: «Неужели этих людей ставить наряду с Толстым, Некрасовым, Достоевским, Шевченко, Тургеневым и другими?! Нет, удержитесь ради бога!!» («Письма И. Е. Репина. Переписка с П. М. Третьяковым, 1873—1899». М., 1946, стр. 48).

Сообщая И. Н. Крамскому 13 февраля 1886 г. о том, чьи портреты отсутствуют в галерее, Третьяков, упомянув Каткова, объяснял: «Никто не хотел написать его» («Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1869—1887». М., 1953, стр. 315).

[18] «Письма художников Павлу Михайловичу Третьякову. 1870—1879», стр. 77—78.

На портрете справа внизу подпись: «В. Перов 1872 Май».

[19] А. П. Боткина. Указ. изд., стр. 183.

[20] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 219—220.

[21] «Записные тетради Ф. М. Достоевского». Подготовка к печати Е. Н. Коншиной. Комментарии Н. И. Игнатовой и Е. Н. Коншиной. М.— Л., 1935, стр. 182 и 347.

[22] «Письма», III, стр. 45—46.

[23] Достоевскому приписывается статья «Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год», напечатанная без подписи в октябрьском номере журнала «Время» 1861 г. В этой статье сообщалось, в частности, что «г. Перов за „Проповедь в селе“ получил первую золотую медаль», и далее говорилось: «„Проповедь в селе“ г. Перова отличается

очаровательною наивностью. Тут почти все правда, та художественная правда, которая дается только истинному таланту: и мужики и бабы, и заснувший помещик, и ясное небо, и крестный ход, и ребятишки» (XIII, 544—545, 607—608).

В. С. Нечаева считает, что в этой статье Достоевскому принадлежит лишь начало, где идет речь о картине В. И. Якоби «Привал арестантов», автором же остальной части статьи мог быть Я. П. Полонский (см. В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972, стр. 263—264).

[24] ‹В. В. Стасов›. Вторая передвижная художественная выставка.— «С.-Петербургские ведомости», 1873, № 23, 23 января.

[25] П. К. ‹П. М. Ковалевский›. Вторая передвижная выставка картин русских художников.— «Отечественные записки», 1873, № 1, отд. II, стр. 94—95.

[26] П—в ‹П. Н. Петров›. Передвижная выставка в Академии художеств.— «Биржевые ведомости», 1873, № 4, 6 января.

[27] «Нива», 1873, № 5, 5 февраля, стр. 79.

[28] «Вторая передвижная выставка картин».— «Новое время», 1873, № 6, 6 января.

[29] «Передвижная выставка в Академии художества».— «Всемирная иллюстрация», № 211, 13 января, стр. 50.

[30] Г. Г. Урусов. Полный обзор третьей художественной выставки Товарищества передвижных выставок в России. М., 1875, стр. 17—18.

В 1876 г. историк литературы П. Н. Полевой обратился к П. М. Третьякову с просьбой прислать фотографию перовского портрета Достоевского для воспроизведения в одном издании. Но репродукцию портрета Полевой поместил лишь три года спустя в журнале «Огонек» (1879, № 33-34) одновременно с очерком о Достоевском (см. ниже публикацию Л. Р. Ланского «Достоевский в неизданной переписке современников», стр. 449—450).

[31] А. Л ‹е д а к о в›. Выставка в Академии художеств. Отдел портретной живописи.— «С.-Петербургские ведомости», 1878, № 69, 10 марта.

[32] В. С. ‹В. Стасов›. Наши итоги на Всемирной выставке.— «Новое время», 1878, №№ 998, 1005, 1012, 1017, 7, 14, 21, 28 декабря; 1879, № 1024, 4 января.— Перепеч. в изд.: В. В. Стасов. Избранные сочинения в трех томах, т. I. М., 1952, стр. 339—376.

[33] Статья Поля Манца появилась в «Temps» 2 октября 1878 г.; статья Жюля Кларти — в «Indépendance Belge» 13 июля того же года.

[34] Статья была напечатана без подписи в «Художественном журнале» в марте 1881 г. Переиздана в кн.: И. Н. Крамской. Письма, статьи в двух томах, т. II. М., 1966, стр. 256.

Завершал эту статью Крамской утверждением, что другим превосходным портретом Достоевского является фотография М. М. Панова, снятая 9 июня 1880 г. в Москве, на следующий день после речи писателя о Пушкине.

[35] Не издано.— Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи.

[36] Не издано.— Там же.

[37] Частично опубликовано в книге А. П. Боткиной, стр. 215—216. Приводим по подлиннику, хранящемуся в Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи.

В комментариях к изданию воспоминаний А. Г. Достоевской (стр. 444) сказано, что П. М. Третьяков «в качестве городского головы принимал активное участие в организации Пушкинского праздника» 1880 г. Московским городским головой был С. М. Третьяков, брат Павла Михайловича.

[38] Опубликовано в книге А. П. Боткиной, стр. 216—217; приводим по подлиннику, хранящемуся в Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи.

[39] Публикуется впервые.— Отдел рукописей ЛБ.

[40] Публикуется впервые.— Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи.

Тетя Маня — сестра Веры Николаевны, жившая у Третьяковых; *Наталья Васильевна* — Фофанова, воспитательница детей Третьякова. О них см.: В. П. Зилоти. В доме Третьякова. Нью-Йорк, 1954, стр. 116—117, 125—130. В той же книге на стр. 183—184 вкратце упоминается об отношениях Достоевского и Третьяковых, но здесь нет ничего нового по сравнению с книгой А. П. Боткиной.

[41] Опубликовано в книге А. П. Боткиной, стр. 217; приводим по подлиннику, хранящемуся в ЛБ.

[42] Опубликовано в книге А. П. Боткиной, стр. 217—218; приводим по подлиннику, хранящемуся в Отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи.

[43] Публикуется впервые.— Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи.

Е. Г. Мамонтова, жена С. И. Мамонтова — «замечательная в деле русского искусства личность», как охарактеризовал ее В. В. Стасов. См. о ней подробно в кн.: В. С. Серова. Как рос мой сын. Сост. и научн. ред. И. С. Зильберштейн. Статьи и комментарии И. С. Зильберштейна и В. А. Самкова. Л., 1968, стр. 205 — 206.

[44] «Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков. 1869—1887». М., 1953, стр. 276—277.

[45] Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1863—1886 гг. Тт. 1—25. М., 1897—1898.

[46] Лев Л ю б и м о в. На чужбине. Ташкент, 1965, стр. 13—16.

Коллекция была преумножена Д. Н. Любимовым, сыном редактора «Русского вестника», передавшим ее в Пушкинский Дом. Д. Н. Любимов собрал автографы Гоголя, Жуковского, Даргомыжского, Чайковского, Рубинштейнов, Чехова, Репина, Айвазовского, Листа, Мопассана, Золя, Доде и некоторых других выдающихся представителей русской и зарубежной литературы и искусства.

Воспоминания Д. Н. Любимова о речи Достоевского на Пушкинских торжествах в Москве в 1880 г. напечатаны в изд.: «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников». Сборник составлен А. С. Долининым. М., 1964, т. II, стр. 365—378.

[47] «Письма», I, стр. 29.

О Н. А. Любимове (1830—1897)) собраны сведения во вступительной статье Б. Л. Модзалевского к письмам Достоевского («Былое», 1919, № 14, стр. 34—37). Здесь, в частности, указывается, что в Петербурге в 1897 г. был выпущен сборник «Памяти Николая Алексеевича Любимова», в который были включены подробная его биография, написанная поэтом К. К. Случевским, список печатных работ, портрет.

[48] Ф. Ш и л о в. Записки старого книжника. М., 1965, стр. 107.

[49] Возможно, что у Н. А. Любимова было письмо Достоевского 1 апреля 1879 г., до нас не дошедшее. Черновой набросок первых строк этого письма сохранился в одной из тетрадей с творческими записями к роману «Братья Карамазовы».— См.: «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Под ред. А. С. Долинина. Л., 1935, стр. 119; «Описание рукописей Ф. М. Достоевского». Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957, стр. 40 и 218.

[50] «Письма», I, стр. 447—448.

Лишь в примечаниях (там же, стр. 587) А. С. Долинин высказал предположение: «Не отрывок ли это из письма к Н. А. Любимову?» Но все же это оставалось предположением до тех пор, пока не обнаружился автограф письма.

[51] «Письма», I, стр. 445—456.

В следующем письме к Любимову — 8 ноября 1866 г.— Достоевский, получив деньги, но еще не зная ответа Любимова относительно печатания заключительной части «Преступления и наказания» в последних книжках журнала за 1866 г., вновь просил его: «... нельзя ли так сделать: в октябрьском номере сделать заметку для публики, что окончание „Прест〈упления〉 и нак〈азания〉“ последует непременно в этом году, а напечатать окончание в ноябрьской и декабрьской книгах? Я прошу об этом единственно потому, что впечатление романа на публику будет гораздо полнее и эффектнее; несравненно; простите самолюбие авторское и не смейтесь над ним, потому что это дело весьма простительное» («Письма», I, стр. 447).

[52] Письмо хранится в ЛБ.

[53] «Письма», I, стр. 443.

[54] Н. С. Л е с к о в. Собрание сочинений в одиннадцати томах. М., 1958, т. 10, стр. 285.

[55] «Письма», III, стр. 86.

[56] Там же, стр. 91.

[57] Письмо хранится в ЛБ.

[58] «Письма», III, стр. 85.

[59] Там же, IV, стр. 314.

[60] Ф. Ш и л о в. Записки старого книжника, стр. 107.

[61] Перепеч. в кн.: «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. II, стр. 236—237.

[62] Краткое описание этих бумаг Константина Константиновича см. в изд.: «Центральный государственный исторический архив в Москве. Путеводитель». М., 1946, стр. 127.

Другая часть бумаг Константина Константиновича хранится в ИРЛИ; здесь находится, в частности, его переписка с И. А. Гончаровым, А. А. Фетом, Я. П. Полонским, А. Н. Майковым, А. А. Голенищевым-Кутузовым, Н. Н. Страховым, П. И. Чайковским и др. («Пушкинский дом при Российской Академии наук. Исторический очерк и путеводитель». Л., 1924, стр. 96).

[63] «Последний дневник Тургенева». Статья, комментарии и публикация И. С. Зильберштейна.— «Лит. наследство», т. 73, кн. I, 1964 («Из парижского архива И. С. Тургенева»), стр. 387, 396, 414—416.

[64] Письмо И. А. Гончарова к А. А. Фету 19 ноября 1888 г.— «Русский архив», 1900, № 5, стр. 73.

[65] «П. И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон Мекк», т. II. 1879—1881. Ред. и примеч. В. А. Жданова и Н. Т. Жегина. М., 1935, стр. 330.

[66] Там же, т. III. 1882—1890. М., 1936, стр. 448.

[67] К. Н. *Бестужев-Рюмин* — историк, был создателем и первым директором Высших женских курсов в Петербурге (1878—1882). Достоевский бывал у него на ве-

черах (см. Э. Л. Радлов. Соловьев и Достоевский. — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Т. I. Пг., 1922, стр. 161).

В дальнейших записях дневника, приводимых мною, упоминаются:

И. Е. *Андреевский* — юрист, преподавал Константину Константиновичу юридические науки.

А. Е. *Комаровская* — фрейлина в. к. Александры Иосифовны, матери Константина Константиновича (о Комаровской см. стр. 136, 349, 357, 538);

Н. Ф. *Соколов* — читал русскую словесность Константину Константиновичу;

брат — в. к. Дмитрий Константинович;

Ю. Ф. *Абаза* — певица и композитор, жена А. А. Абазы, министра финансов в 80-х годах.

Евгения — Евгения Максимилиановна, принцесса Ольденбургская, внучка Николая I (дочь герцога Лейхтенбергского и в. к. Марии Николаевны);

цесаревна — Мария Федоровна, жена в. к. Александра Александровича, будущего Александра III;

Оля — в. к. Ольга Константиновна, сестра Константина Константиновича.

[68] Леонид Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов.— «Лит. наследство», т. 15, стр. 160.

[69] Об этом вечере см. ниже в публикации Л. Р. Ланского «Достоевский в неизданной переписке современников», стр. 498.

[70] Леонид Гроссман. Достоевский и правительственные круги 1870-х годов, стр. 161.

На записке указано лишь «среда»; Л. П. Гроссман ошибочно датировал записку 1880 годом. Она была отправлена 21 марта 1879 г., что явствует из приводимого ниже ответа Достоевского.

В той же статье Гроссмана (стр. 133) под фотоснимком письма Победоносцева ошибочно указано, что это письмо Константина Константиновича.

[71] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 328.— Здесь же (стр. 329) приводится сочувственное письмо Константина Константиновича в связи со смертью Достоевского, адресованное Анне Григорьевне.

[72] Г. А. Князев. Максим Горький и царское правительство.— «Вестник Академии наук СССР», 1932, № 2, стр. 33—34.

[73] Там же, стр. 38 и 42.

См. также: Н. К. Козмин. Максим Горький и имп. Академия наук. (По неофициальным документам.)— «Историк-марксист», 1938, № 4, стр. 53—74.

[74] П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов. М., 1964, стр. 163.

[75] «Лит. наследство», т. 83, стр. 672—673; 702.

[76] Ю. Г. Оксман. Всеволод Гаршин в дни «диктатуры сердца». — «Каторга и ссылка», 1925, № 2, стр. 126—138; см. также: Всеволод Гаршин. Поли. собр. соч., т. III; ред., статьи и примеч. Ю. Г. Оксмана. М. — Л., 1934, т. III, стр. 207 и 475—477.

[77] «Письма», I, стр. 128.

[78] «Записка о деле петрашевцев. Рукопись Ф. Н. Львова с пометками М. В. Буташевича-Петрашевского». Публикация В. Р. Лейкиной-Свирской.— «Лит. наследство», т. 63, 1956, стр. 188.

[79] О реакции Достоевского на казнь Млодецкого см. также ниже в публикации Л. Р. Ланского «Достоевский в неизданной переписке современников», стр. 496—497.

[80] «Иностранная литература», 1958, № 6, стр. 241; «Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами».— Архив Горького, т. VIII, 1960, стр. 11.

[81] Стефан Цвейг. Вчерашний мир. Главы из книги.— «Нева», 1972, № 3, стр. 132—134.

[82] Там же, стр. 134.

[83] Stefan Zweig. Meine Autographen-Sammlung.— «Philobiblon». Zeitschrift für Bücherliebhaber, 1930, H. 7, S. 279—289.

[84] Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 27. М., 1933, стр. 610.

[85] В. С. Нечаева. Рукописное наследие Ф. М. Достоевского. Вступ. статья в изд.: «Описание рукописей Ф. М. Достоевского», стр. 7.

[86] М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского. 1506—1933. М., 1933, стр. 151.

[87] В. Бурсов. Достоевский неизвестный.— «Литературная газета», 1970, № 38, 16 сентября.

[88] «The Kilgour Collection of Russian literature 1750—1920. With Notes on Early Books and Manuscripts of the 16th and 17th Centuries». Harvard College Library: Distributed by the Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1959.

[89] «Harvard Library Bulletin», 1955, vol. IX, № 3; «Русский литературный архив» Нью-Йорк, 1956, стр. 59— 81.

По фотокопии, полученной ЦГАОР, этот фрагмент рукописи «Записок из Мертвого дома» был опубликован В. С. Нечаевой в журнале «Советские архивы», 1967, № 3, стр. 81—92.

[99] В дальнейшем я выяснил, что письма Тургенева к Каролине Комманвиль были в давние годы опубликованы — одно в отрывке, остальные с неточностями,— и в таком виде они перепечатаны в полном собрании сочинений и писем Тургенева (Изд-во АН СССР. Письма, т. XII, кн. 2, стр. 24—25, 256, 284, 322; т. XIII, кн. 1, стр. 12); письмо Толстого к П. П. Николаеву напечатано по копии в изд.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 82, 1956, стр. 159—160; письмо Горького к Элленсам появилось в переводе на французский язык в кн.: «Hommage à Franz Hellens». (Le dernier disque vert). Paris, 1957, p. 290.

[91] О коллекции Я. Ф. Сахара см.: И. С. Зильберштейн. Парижские находки. Просто фотографии.— «Огонек», 1968, № 11, стр. 18—23. — Здесь опубликованы, в частности, фотографии Достоевского и Тургенева с их дарственными надписями Я. Ф. Сахару.

[92] «Cent Documents précieux. Précieux autographes, composant la collection d'un amateur». Hôtel Drouot. 1er juin 1970.

[93] Об интереснейших автографах, которые появлялись на аукционах Штаргардта см.: «Ein Rückblick auf die Geschichte der Firma Stargardt. 1830—1955»; И. С. Зильберштейн. Парижские находки. Неизвестные автографы и портреты Гоголя.— «Огонек», 1969, № 46, стр. 26—29.

[94] «Autographen aus Yerschiedenem Besitz». J. A. Stargardt. Katalog 580. Auktion am 23 und 24 Mai 1967. Marburg, p. 19.

[95] Эти слова насторожили А. Г. Достоевскую, когда она прочитала письмо перед его отправкой Любимову. В записях Анны Григорьевны, имеющихся в ее черновых тетрадях, об этом письме сказано: «...написав, позвал меня и прочел его мне. Между прочим, он упомянул, что, может быть, это его последняя просьба, я на это со смехом сказала, что вот будешь писать „Карамазовых", опять будешь просить вперед». — Л. Гроссман. Жизнь и труды Достоевского, стр. 319.

То же письмо Достоевского к Любимову имел в виду Катков, когда через два дня после его получения уже готовил некролог: «Как гром поразило нас вчера ночью известие о кончине Федора Михайловича Достоевского. Еще накануне, 27 января, получили мы от него собственноручное письмо, писанное твердым почерком и не возбуждавшее никаких опасений. Было, однако, в этом письме зловещее слово, которое тогда скользнуло для нас незаметно. Прося нас об одном деле, он прибавил: „это, быть может, моя *последняя* просьба". Только теперь стал нам понятен скорбный смысл этого слова *последняя*. В нем сказалось предчувствие смерти еще прежде, чем совершилось роковое кровоизлияние, которое так быстро погасило дорогую жизнь нашего друга...» («Московские ведомости», 1881, № 30, 30 января).

[96] Это письмо Е. Н. Гейден к А. Г. Достоевской приведено на стр. 530.

[97] Л. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, стр. 321.

[98] «Описание рукописей Ф. М. Достоевского», стр. 160.

[99] В этой записи Анна Григорьевна допустила неточность: вместо «26 числа» она написала «23 числа».

[100] Начиная со слов «может начаться...» Анна Григорьевна записала стенографическими значками, которые расшифровала Ц. М. Пошеманская (о ней см. на стр. 158—160 настоящ. тома).

ДОСТОЕВСКИЙ
В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ

РАСШИФРОВАННЫЙ ДНЕВНИК А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошеманской

Подготовка текста к печати,
вступительная статья и примечания С. В. Житомирской

В 1923—1925 гг. в мемуарную литературу о Достоевском вошли две книги выдающегося значения: «Дневник» и «Воспоминания» жены писателя Анны Григорьевны Достоевской. Они были сразу оценены исследователями, переведены на ряд европейских языков и с тех пор заняли прочное место в науке как важнейшие историко-литературные источники.

Судьба этих широко известных книг сложилась, однако, не совсем обычно: обе они до сих пор не опубликованы полностью; не выяснено даже и соотношение их между собой, хотя, казалось бы, существование первоначальных дневниковых записей и последующего авторского переосмысления их в соответствующей части «Воспоминаний» требовало такого анализа.

Последняя статья, специально посвященная «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской, бегло касается этого вопроса: «„Дневник" в чем-то и более достоверный мемуарный документ, в котором с особой остротой передан драматический накал жизни Достоевских в первый год их супружества. Совсем другое — воспоминания умудренной опытом долгой и сложной жизни женщины, вполне осознающей свой долг перед памятью мужа и ответственность перед читающей публикой» [1]. Мы добавили бы: семидесятилетней женщины, вдовы великого писателя, пишущей свои воспоминания более чем через тридцать лет после смерти мужа, когда место его в русской и мировой литературе давно осознано человечеством. Надо ли говорить, как должна была за такой срок стабилизироваться ее концепция личности Достоевского и своей с ним семейной жизни и какие жесткие рамки накладывала эта концепция на отбор фактов для «Воспоминаний»?

Уже с этой точки зрения воспоминания А. Г. Достоевской заслуживают самого внимательного рассмотрения в сопоставлении с другими источниками. Речь идет не о фактических неточностях, неизбежных даже у такого организованного человека и внимательного к мелким подробностям мемуариста, каким была А. Г. Достоевская [2], но об анализе ее концепции и о восстановлении зафиксированных в ее мемуарах фактов в их первоначальном, доконцептуальном виде. Для этого нужно прежде всего попытаться понять развитие личности и авторской индивидуальности мемуаристки — и больше всего для этой цели дало бы сравнительное исследование «Дневника» и «Воспоминаний».

А. Г. Достоевскую, ее место в жизни писателя, в посмертной судьбе его наследия принято характеризовать в тоне безоговорочного панегирика этой действительно незаурядной женщине, о которой известны такие отзывы самого Достоевского: «Ты единственная из женщин, которая поняла меня!» и Толстого: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского». Но все же, — а скорее, именно поэтому, — А. Г. Достоевская заслуживает бóльшего, чем традиционные похвалы. Жизнь и личность ее не так однозначно просты, а по ее выдающейся роли в жизни Достоевского должны были бы стать предметом специального изучения.

Но даже основное мемуарное произведение А. Г. Достоевской—ее «Воспоминания», сохранившиеся полностью в виде беловой авторской рукописи [3], до сих пор никогда не издавались целиком. Опубликованные впервые Л. П. Гроссманом только в части, непосредственно касавшейся Достоевского, они и в этой части изобиловали пропусками и сокращениями; другие части, наброски и варианты (нередко очень существенные) печатались лишь в отрывках [4]. Неполно и новое издание «Воспоминаний». Вероятно в целях сокращения объема в нем опущена часть глав, посвященных юности автора, ее

семье и окружению до замужества, а также глав, рассказывающих о ее жизни после смерти мужа. К сожалению, издатели не сочли нужным подробно охарактеризовать опущенные главы, не назвав даже ни их точное число, ни заглавия.

Гораздо более сложной и тоже до сих пор не завершенной оказалась история дневника, который А. Г. Достоевская вела в первый год жизни за границей.

14 апреля 1867 г. Достоевские, свадьба которых состоялась лишь за два месяца перед этим, выехали за границу. В одном из черновых набросков своих «Воспоминаний», рассказывая о тяжелой для нее первой разлуке с матерью, А. Г. Достоевская писала: «Я утешала маму тем, что вернусь через 3 месяца, а пока буду часто ей писать. Осенью же обещала самым подробным образом рассказать обо всем, что увижу любопытного за границей. А чтобы многого не забыть, обещала завести записную книжку, в которую и вписывать день за днем все, что со мной будет случаться. Слово мое не отстало от дела: я тут же на станции купила записную книжку и с следующего дня принялась записывать стенографически все, что меня интересовало и занимало. Этою книжкою начались мои ежедневные стенографические записи, продолжавшиеся около года, пока не появились у меня более серьезные интересы, именно приготовления к нашей семейной радости, к рождению нашей старшей дочери Сони» [5].

Известно, что перед возвращением в Россию в 1871 г. Достоевские, по настойчивому желанию Федора Михайловича, сожгли большую часть своих бумаг: «Мне удалось отстоять,— писала А. Г. Достоевская,— только записные книжки ⟨...⟩ и передать моей матери, которая предполагала вернуться в Россию поздней осенью» [6]. Вероятно, этим же путем вернулись в Россию записные книжки самой Анны Григорьевны.

Другое упоминание А. Г. Достоевской о стенографических дневниковых записях мы находим в предисловии к «Воспоминаниям»: «Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком...» [7]. С этого перевода стенограмм на «общепонятный» язык и начала А. Г. Достоевская в 1890-х годах свою деятельность мемуаристки. Первоначально она, наверное, имела намерение их опубликовать, или, по крайней мере, сохранить их для потомства в таком виде, который отвечал бы ее требованиям. Во всяком случае, как мы увидим далее, она не просто расшифровывала их, но и редактировала, внося в некоторых случаях новый текст и смысловые изменения.

Расшифрованным текстом дневника А. Г. Достоевская заполнила две толстые переплетенные тетради. В них поместились записи с 14 апреля по 12/24 августа 1867 г.[8] Именно эта рукопись и была в 1923 г. издана Н. Ф. Бельчиковым [9]. Сведения об истории «Дневника» и его рукописей, сообщаемые им в предисловии, неполны и не всегда точны, что было неизбежно при тогдашнем уровне знаний о рукописном наследии Достоевского и его жены. Сейчас эта история предстает в следующем виде.

По приведенному выше сообщению А. Г. Достоевской, она вела дневник за границей примерно год. Так как этот текст принадлежит к первоначальным вариантам «Воспоминаний», начатых в 1911 г., с широким использованием стенографических дневниковых записей, то он опирается, несомненно, не только на память мемуаристки, но и на хорошо известные ей хронологические рамки этих записей. Поэтому мы исходим из того, что дневник велся с апреля 1867 г. примерно по февраль — март 1868 г.[10] Сколько же могло быть записных книжек или тетрадей и какая часть их текста дошла до нас — в виде первоначальной стенограммы или в позднейшей расшифровке?

Самые ранние свидетельства об этом находятся в письмах Достоевского из Женевы. Достоевского занимал стенографический дневник жены, который он не мог прочесть. «Сколько раз говорил мне Ф. М.: как бы мне хотелось знать, что такое ты пишешь своими крючочками. Уж наверное меня бранишь»,— вспоминает А. Г. Достоевская [11]. Этот интерес отразился и в письмах писателя, где есть некоторые данные об объеме дневника: «Анна Григорьевна оказалась чрезвычайной путешественницей: куда ни приедет, тотчас же все осматривает и описывает, исписала своими знаками множество маленьких книжек и тетрадок...»[12]; «Для нее, например, целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее (что она делает своими стенографическими знаками и исписала 7 книжек)...» [13] Отсюда сле-

дует, как будто, что не менее 7 книжек были заполнены Анной Григорьевной за первые четыре месяца жизни за границей, а общее их количество за год должно было значительно превзойти эту цифру.

К своим заграничным дневникам А. Г. Достоевская вернулась впервые через двадцать семь лет, в 1894 г., о чем она сама сделала надпись на первом листе первой тетради расшифровки [14]. Вся эта тетрадь однородна по чернилам и почерку; можно думать, что она не только начата, но и закончена в 1894 г.

Затем расшифровка дневника возобновилась в 1897 г.; расшифрованным текстом начала заполняться вторая тетрадь, на титульном листе которой также сделана запись об этом [15]. Но эта тетрадь (как и надпись), в отличие от первой, заполнялась не сразу, а частями, что заметно по перемене чернил и пера. В надписи: «Дневник записывался стенографически. Переведен и переписан чрез 30 лет, в конце 1897 г. *Затем переписывание было возобновлено летом 1909 г., зимою 1912 г.* Книга содержит „Дневник", начиная с 10 июня (22 июня) 1867 г. до *24/12 августа 1867 года*» — слова, выделенные нами курсивом, приписаны другими чернилами. Судя по внешнему виду текста, А. Г. Достоевская сперва прекратила расшифровку на записи от 3 июля, затем (в 1909 г.) расшифровала текст до записи 22/10 июля, и наконец, (зимой 1911/12 г.) внесла в эту тетрадь расшифровку текста до 24/12 августа. Таким образом, до 1911 г. вторая тетрадь расшифровки была заполнена лишь на две трети (первые 236 страниц в издании «Дневника»).

Это совпадает с данными, которые можно извлечь из тетради завещательных распоряжений, заведенной А. Г. Достоевской в 1902 г. и заполнявшейся ею в течение последующих десяти лет. В этой тетради, озаглавленной «En cas de ma mort ou d'une maladie grave»*, содержится следующий текст (известный, но не воспроизводившийся до сих пор полностью; слова, выделенные нами курсивом, вписаны сверху карандашом) [16]: «О тетрадях, записанных мною стенографически. В числе оставшихся после меня тетрадей найдутся две-три-*четыре*, исписанные стенографическими знаками. В этих тетрадях заключается Дневник, который я вела с выезда нашего за границу *в 1867 г.* в течение полутора года. Часть Дневника была мною переписана года два тому назад (та тетрадь, которая находится в несгораемом ящике в Музее [17]). Остальные тетради я п р о ш у уничтожить, так как вряд ли найдется лицо, которое могло бы перевести с стенографического на обыкновенное письмо. Я делала большие сокращения, мною придуманные, а следовательно, лицо переписывающее всегда может ошибиться и списать неправильно. Это во-первых. Во-вторых, мне вовсе бы не хотелось, чтоб чужие люди проникали в нашу с Ф. М. семейную интимную жизнь. А потому н а с т о я т е л ь н о прошу уничтожить все стенографические тетради». К этому месту, соотнесенное звездочками, на чистом соседнем листе помещено добавление карандашом: «Первая стенографическая книга (за время 15 апреля 1867 по ... 1867 г.) мною переписана в ту книгу, которая находится в Моск〈овском〉 несгораемом ящике [18]. Вторая стенографическая книжка переписывалась в 1911 и имеется толстая тетрадь, наполовину исписанная. Она находится в сундуке, увезенном мною в Сестрорецк».

Из этих записей вытекает ряд выводов. Первое распоряжение, внесенное в завещательную тетрадь при ее составлении в 1902 г., сообщает только о первой тетради расшифровки, к этому времени законченной. А. Г. Достоевская, делая эту запись, не помнила, очевидно, или не придавала значения начатой ею позже второй тетради расшифровки, и не упомянула о ней. Приписки карандашом были сделаны, вернее всего, зимой 1911/12 г., когда вторая тетрадь расшифровки сильно продвинулась, но не была еще окончена («наполовину исписанная»). Однако в этот момент А. Г. Достоевская — в разгаре этой работы, ей хорошо известно количество стенографических тетрадей и поэтому она вписывает над неопределенными словами «две-три» точное число: «четыре».

Можно с большой долей уверенности предположить, что после 1911/12 г. А. Г. Достоевская не возвращалась более к расшифровке «Дневника». Совпадение конца расшифровки «Дневника» и начала работы над «Воспоминаниями» не может быть случайным. Именно новое знакомство со своим дневником должно было привести

* На случай моей смерти или тяжелой болезни (*франц.*).

А. Г. Достоевскую к мысли о невозможности и нежелательности его издания и к решению использовать его лишь как источник для мемуаров, в которых и Достоевский, и она сама предстали бы не в свете безыскусных записей неопытной девочки, а в рамках зрелых суждений вдовы великого писателя. Она сама позднее рассказывала о своих «Воспоминаниях» А. А. Измайлову: «Во многом это только переработка записей, в свое время сделанных в дневнике, куда в первое время я целиком записывала даже разговоры с Ф. М.» [19].

Что же успела расшифровать А. Г. Достоевская, какую часть ее заграничного дневника составляет эта расшифровка? Расшифрованный и изданный «Дневник», как уже говорилось, охватывает 14 апреля — 24/12 августа 1867 г. Во второй тетради расшифровки А. Г. Достоевской отмечен переход от одной стенографической книжки к другой; на стр. 140 стоит: «Конец первой книжки», на стр. 141: «Начало второй тетради» [20]. И тут, к нашему немалому удивлению, выясняется, что за первые четыре месяца жизни за границей А. Г. Достоевская исписала не «множество» и даже не «7» записных книжек, а всего лишь две. Это делает очень вероятной цифру «четыре», указанную А. Г. Достоевской в завещательной тетради: если с апреля до августа, в период, наиболее насыщенный впечатлениями, хватило двух книжек, то вряд ли большее их количество было использовано в Женеве, в особенности зимой, накануне рождения ребенка.

Данные о количестве книжек, извлеченные из писем Достоевского, на первый взгляд противоречащие этому рассуждению, относятся, несомненно, не только к записным книжкам дневника, но и к другим книжкам, куда А. Г. Достоевская заносила сведения о достопримечательностях и произведениях искусства.

Наличие в ее обиходе таких особых книжечек отмечено дважды в ее дневнике. 12/24 мая, рассказывая о посещении Дрезденской галереи, она записывает: «Со мною была моя книжечка, и я сделала некоторые замечания о годе рождения художников и о тех картинах, которые на меня произвели особенное впечатление». Проверка стенографического оригинала той части дневника, где находится эта запись, показала, что подобных «замечаний» в нем нет — ни в тексте дневника, ни на каких-либо пустых листах. Ясно, что имеется в виду другая, не дневниковая книжечка. В другой раз (6/18 июня) А. Г. Достоевская сообщает в дневнике о том, что она «вписывала в свою книжечку» конспект романа Гюго «Отверженные» [21].

Следовательно, к концу жизни А. Г. Достоевской у нее должны были сохраниться четыре стенографические книжки «Дневника»: одна расшифрованная полностью, вторая тоже расшифрованная (но неизвестно, до конца ли), третья и четвертая, текст которых оставался неизвестным. Этот вывод не был сделан при издании «Дневника» в 1923 г.; Н. Ф. Бельчиков исходил из того, что указанные А. Г. Достоевской четыре стенографические тетради — это тетради, не подвергшиеся расшифровке; местонахождение же их, как и стенографических оригиналов расшифрованных тетрадей, было неизвестно. Развивая этот тезис, легко было предположить, что завещательное распоряжение А. Г. Достоевской выполнено и тетради уничтожены.

А. С. Долинин вскоре после издания «Дневника» указал на существование стенографических тетрадей в оставшемся после А. Г. Достоевской архиве; в своей статье «Достоевский и Суслова» он писал: «Быть может, удастся когда-нибудь расшифровать дальнейшие стенографические записи А. Г. ...» [22] В конце же 1920-х годов, когда часть архива Достоевского, хранившаяся в Историческом музее, была передана в Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, в ней оказались две стенографические записные книжки с некоторыми записями обычным письмом, доказывавшими, что это книжки 1867—1868 гг. Книжки были описаны как стенографические дневники [23], но ни соотнести их с изданным дневником, ни даже установить их последовательность возможности не было: никто не мог прочесть стенограмму.

Так обстояло дело до середины 1950-х годов, когда было начато составление сводного каталога рукописей Достоевского и материалов его семейного архива, находящихся в разных хранилищах страны [24]. По инициативе акад. М. П. Алексеева в ходе этой работы была предпринята попытка расшифровать стенографические записи А. Г. Достоевской, хранившиеся в Пушкинском Доме. За эту работу взялась стенографистка Ц. М. Пошеманская, изучившая для этой цели учебник стенографии Ольхина,



ДОСТОЕВСКИЙ

Фотография Н. Досса, 1876, Петербург, с дарственной надписью Достоевского жене: «Моей доброй Ане от меня. Ф. Достоевский. 14 июня/80 г.»

Местонахождение оригинала неизвестно

по которому занималась А. Г. Достоевская. Этого оказалось недостаточно. А. Г. Достоевская применяла особые, ею самой придуманные сокращения и условные обозначения. Вероятно поставленная перед Ц. М. Пошеманской задача вообще не была бы выполнена с таким успехом, если бы В. С. Нечаева не подсказала ей мысль сравнить стенографические книжки с текстом опубликованного «Дневника».

Сличение сразу привело все в ясность: одна из книжек (значившаяся в описи как книжка № 2) представляла собой *первую* из двух изданных книжек дневника; вторая же (обозначенная как № 1) [25], охватывавшая время с 5 сентября/24 августа по 31 декабря 1867 г., являлась не известным до тех пор продолжением изданного дневника.

Чтобы не возвращаться к этому более, прервем здесь рассказ о работе Ц. М. Пошеманской и сразу изложим те соображения, которые возникают на основе такого вывода. Между концом второй изданной книжки, стенографический оригинал которой, как теперь выяснилось, отсутствовал, и этой нерасшифрованной книжкой обнаруживалась лакуна в записях в течение 12 дней. Скорее всего, эти записи содержались в той же утраченной книжке, но не были расшифрованы, так как не помещались во второй, полностью исписанной тетради расшифровки. Если это так, то вторая из сохранив-

шихся стенографических книжек является *третьей* по счету из общего числа четырех. Возможен и другой вариант — что записи за эти 12 дней составляли особую небольшую книжечку; в этом случае вторая стенографическая книжка Библиотеки имени Ленина является *четвертой* по счету и, значит, последней. Этот вопрос останется открытым, если не обнаружатся впоследствии остальные стенографические книжки дневника.

Объем второй из изданных книжек дневника, в стенографическом виде до нас не дошедшей, легко устанавливается по расшифровке А. Г. Достоевской: на стр. 140 расшифровки, где указано: «Конец первой книжки», внизу, под текстом есть помета — «стр. 225»; на стр. 141, с которой начинается расшифровка этой утраченной книжки, внизу помечено «стр. 226», и этот счет страниц продолжается до самого конца тетради наряду с ее собственной пагинацией: на последней странице внизу помечена стр. 379. Так как первая стенографическая книжка как раз кончается страницей 225-й, то, очевидно, в следующей книжке дневника А. Г. Достоевская продолжала ту же пагинацию, и всего в ней было 153 страницы (379—225). Может быть страницей 379-й кончалась не вся книжка, а только большая часть ее, расшифрованная А. Г. Достоевской.

Установив соотношение издания «Дневника» со стенографическими записями, Ц. М. Пошеманская получила в свое распоряжение ключ к стенографической системе А. Г. Достоевской и могла теперь, изучив ее, составив словарь применявшихся ею сокращений, прочесть стенографические тексты, хранившиеся в Пушкинском Доме [26]. Тогда же мы предложили Ц. М. Пошеманской расшифровать и вторую стенографическую книжку дневника, что она и выполнила успешно в 1958—1959 гг. [27]

Подводя итоги истории рукописей дневника, можно сказать, что сохранилось, во всяком случае, не менее $^3/_4$ его текста: ни в стенографическом, ни в расшифрованном виде нет четвертой — последней или промежуточной тетради. Но и дошедший до нас текст до сих пор исследователям известен не полностью и не в своем подлинном виде. Сличение расшифрованного и изданного «Дневника» с соответствующей частью стенографических записей, выборочно проведенное Ц. М. Пошеманской, показало, прежде всего, что при расшифровке весь текст был подвергнут литературной редакции Кроме этого, А. Г. Достоевская внесла в него ряд изменений, устраняя некоторые подробности или, напротив, развивая, по своим воспоминаниям, рассказы о событиях, кратко описанных в дневнике. Вот некоторые примеры:

Сокращения текста и позднейшие примечания, внесенные в текст

В стенографической записи

Отсюда мы пошли к Helbig. Здесь Федя дал мне прочесть письма Андрея Михайловича, письма Паши и Майкова, но ничего не сказал о других письмах. Как это гадко, что он меня так обманывает, ведь тем он и меня приучает поступать не так, как следует, тем он дает мне повод также от него скрывать, что мне хочется. Это уж очень нехорошо, особенно для него, которого я считаю за образец всего.

В расшифрованном тексте

(«Дневник А. Г. Достоевской», стр. 111)

Отсюда мы пошли к Helbig. Здесь Федя дал мне прочесть письма Андрея Михайловича (Достоевского, брата Феди), письма Паши и Майкова, но ничего не сказал о других письмах. Меня очень огорчило, что он это сделал, что он не хочет быть откровенен со мной.

Вставки

В стенографической записи

Меня сильно беспокоила моя ссора с Федей и я бог знает что вообразила себе, различные глупости, и потому раньше пришла домой. Мне сказали, что он еще не приходил. Это еще более меня поразило. Окна у нас были отворены и я стала высматривать в окно, не идет ли Федя.

В расшифрованном тексте

(«Дневник А. Г. Достоевской», стр. 12—13)

Меня сильно беспокоила моя ссора с Федей и я бог знает что стала воображать. Я решила идти поскорее домой, думая, что Федя вернулся и я могу помириться с ним. Но каково было мое огорчение, когда придя в гостиницу, я узнала, что Федя заходил уже домой, пробыл несколько минут в комнате и опять ушел. Боже мой, что я только перечувствовала! Мне представилось, что он меня разлюбил и, уверившись, что я такая дурная и капризная, нашел, что он слишком несчастлив, и бросился в Шпрее (и т. д.).

Очевидно, что новая расшифровка первой записной книжки А. Г. Достоевской и издание ее первоначального текста все еще остается невыполненной задачей. Второй книжке «Дневника», стенографическая запись которой до нас не дошла, суждено остаться в ее нынешнем виде, не можем мы и заполнить лакуну в 12 дней. Третья же книжка, предварительная публикация которой помещается ниже, печатается здесь тоже лишь в части, непосредственно относящейся к Достоевскому. Таким, образом издание полного текста сохранившихся частей «Дневника» еще впереди.

Публикуемая книжка «Дневника» относится к осени и зиме 1867 г., проведенным Достоевскими в Женеве. До сих пор источниками биографических сведений об этом периоде их жизни были письма Достоевского к Майкову (3), С. А. Ивановой (1), единичные письма к пасынку, теще и Э. Ф. Достоевской, четыре его письма к жене, написанные во время двух поездок на рулетку в Саксон ле Бен, и немногие страницы «Воспоминаний» А. Г. Достоевской. И воспоминания А. Г. Достоевской, где умело отобраны все наиболее существенные черты женевской жизни (как в биографическом, так и в литературном плане)[28], и особенно письма самого Достоевского, столь значительные для раскрытия и его напряженной, замкнутой и страстной внутренней жизни, и мелочных подробностей их трудного быта, казалось бы, трудно существенно дополнить.

Знакомство с дневником А. Г. Достоевской за август — декабрь 1867 г. убеждает в обратном. Жизнь в Женеве была более одинокой и монотонной, чем предыдущие месяцы в Дрездене и Бадене. Здесь не было того обилия достопримечательностей, которое так захватило на первых порах А. Г. Достоевскую, впервые оказавшуюся в Европе; круг знакомств, и раньше крайне ограниченный, свелся теперь к одному почти Огареву; напряженная работа Достоевского над романом «Идиот» исключала возможность выйти за рамки жесткого ежедневного режима; изматывающее безденежье сковывало всякое стремление к новым впечатлениям и развлечениям.

Но, может быть, именно поэтому все мелкие события повседневной жизни, выступая в дневнике на первый план, дают очень многое для проникновения в эмоциональную жизнь, настроения, общественные реакции Достоевского в эти столь важные для его творчества месяцы, когда формировался замысел романа «Идиот» и создавалась его первая часть.

Дневник А. Г. Достоевской — двадцатилетней девушки, внезапно вошедшей в жизнь знаменитого писателя, далеко еще не готовой приобщиться к его умственной жизни, да и не допускавшейся им за пределы доступного ей,— неожиданно оказывается не только детальным отчетом о биографически важных событиях этого времени, исключительным по своей подробности источником для летописи жизни писателя, но рупором, эхом суждений Достоевского, высказанных им походя, по частным поводам, не в той обобщенной и почти всегда заостренной, драматизированной форме, какая свойственна его письмам. Разумеется, умственное влияние Достоевского на его молоденькую жену было безгранично — естественно, что, записывая в дневник впечатления дня и даже споры и раздоры с мужем, она часто не в состоянии отличить собственное мнение от суждений Достоевского. Голос его всегда звучит в разбросанных по страницам дневника оценках окружающей действительности, общественных и литературных явлений.

Лейтмотив женевского периода — отвращение Достоевского к «буржуазной жизни в этой подлой республике», к благополучному бюргерскому быту швейцарцев, к их патриотизму, который он не именует иначе, как тупым и глупым. Оно — оборотная сторона острой тоски по России, усугубляемой страхом оторваться от русской действительности, и происходившей в нем идейной ломкой, сводившей на нет возможность контактов с обитавшими в Женеве русскими и польскими политическими эмигрантами.

Безыскусные, часто наивные записи А. Г. Достоевской демонстрируют эти реакции Достоевского в эпизоде знакомства с живущей в Женеве русской девочкой (Достоевский заинтересовался ею только потому, что она бранила свой швейцарский пансион, где ей не позволяли говорить по-русски); в рассказе его о русском крестьянине, ставшем английским матросом, процветавшим за границей, но вернувшемся все-таки в Россию, где его ждало наказание плетьми; в гневе Достоевского на жену, не запротестовав-

шую, когда ей сказали, что она похожа на немку (запись 6 сентября/25 августа). Образ мыслей Достоевского отражен, несомненно, и в таких «собственных» суждениях А. Г. Достоевской, как: «Однако ведь этот город Женева славится свободой, а оказывается, что свобода-то своя вот в этом только и состоит, что люди все пьяные, горланят песни...», или: «... когда Duc de Savoy хотел овладеть Женевой, то его бароны, воспользовавшись сном женевцев, уже перелезали стену, как те проснулись и сбросили их со стены и таким образом не допустили овладеть городом; вот их самое большое национальное предание, больше у них ничего и нет, и, конечно, они этим гордятся, просто даже досадно смотреть. Одной бабе, которая вылила на голову барона помои из окна, даже сделан памятник на площади, «magnifique fontaine», как они его называют...» (запись 11 декабря/29 ноября). Невольно вспоминается фраза из письма Достоевского к Майкову: «И всё у них, каждая тумба своя — изящна и величественна» [29].

Самым крупным общественным событием этих месяцев, свидетелями которого были Достоевские, явился Конгресс Лиги мира и свободы, состоявшийся в Женеве в сентябре.

Задуманный республиканской, пацифистски настроенной интеллигенцией в условиях нараставшей опасности новой войны, провоцируемой претензиями империи Наполеона III на Люксембург, Конгресс должен был явиться внушительной демонстрацией единения прогрессивных сил против милитаризма. Половинчатость и неопределенность его программы, однако, оттолкнула от него значительную часть активных общественных деятелей. В Конгрессе — по различным, конечно, мотивам — не приняли участие ни Маркс (пытавшийся, впрочем, через Генеральный совет I Интернационала повлиять на программу Конгресса), ни Герцен, презрительно называвший Конгресс «писовкой» (от английского peace — мир), ни Луи Блан, ни Гюго. Огарев, правда, счел нужным участвовать в Конгрессе и его руководящих органах. Именно под его влиянием, как явствует из дневника А. Г. Достоевской, Достоевский пошел все-таки на одно из заседаний Конгресса. Вот как пишет А. Г. Достоевская об этом посещении, выражая, несомненно, не только свое отношение к происходившему, но, главным образом, настроение Достоевского: «И к чему этот глупый конгресс, делать людям нечего, так они и собираются на разные конгрессы, на которых только и говорится, что громкие фразы, а дела никакого не выйдет».

Еще до этого Достоевские, вместе со всеми жителями Женевы, приняли участие в торжественной встрече Гарибальди. На заседание же Конгресса они отправились только на третий день, 11 сентября, после встречи с Огаревым, объяснившим Достоевскому, что вход свободен для всех желающих. Отчет об этом заседании, занесенный в дневник А. Г. Достоевской, служит прекрасным конкретным комментарием к известным письмам Достоевского по этому поводу. Он вносит ясность и в весьма существенный момент творческой биографии Достоевского, неопровержимо доказывая, что Достоевский не мог слышать речь Бакунина на Конгрессе и, таким образом, эта речь и условия ее произнесения перед возбужденными тысячами людей не послужили первым толчком для литературного воплощения личности Бакунина в образ Ставрогина, как это доказывал в свое время Л. П. Гроссман в дискуссии о Бакунине и Ставрогине [30]. Главным документальным источником этого заблуждения послужило как раз ошибочное утверждение А. Г. Достоевской в воспоминаниях о посещении ими *второго* заседания Конгресса [31], тогда как они были на *третьем*.

Для собственно творческой биографии Достоевского этих месяцев «Дневник» дает не так много. Он освещает и детализирует, однако, ход работы над утерянной впоследствии статьей «Знакомство мое с Белинским» (особенно выпукло очерчено в дневнике раздражение Достоевского этой немыслимо трудной для него в тот период работой, лихорадочное нетерпение кончить ее и как можно скорее отправить ее в Россию); вносит он и некоторые уточнения в хронологию возникновения и смены первых планов романа «Идиот». Но зато фон этой творческой работы, душевное состояние Достоевского, темы его размышлений — в той степени, в какой он делился ими с женой, смена его настроений и намерений выясняются из дневника с такой полнотой, как ни из какого другого документа этих месяцев. Исследователь, занимающийся творческой историей «Идиота», получает в свое распоряжение источник, без учета которого эта история не

может быть достоверной. Здесь важны не только прямые свидетельства о работе над романом: «Он ужасно как тоскует, что роман у него не ладится, и он горюет, что не успеет послать его к январю месяцу» (запись 31/9 октября) или развернутая запись рассказа Достоевского жене о процессе Умецких, отчет о котором он только что прочитал в газете,— запись, передающая его непосредственное впечатление, столь значительно отразившееся потом в работе над романом. Еще важнее будет для исследователей возможность тщательного анализа каждого дня жизни Достоевского в сопоставлении с его записными тетрадями к «Идиоту», содержащими много точных дат.

Дневник дает немало сведений о чтении Достоевского осенью и зимой 1867 г.: в пересказе его жены на первый план выступают те из газетных корреспонденций, которые больше всего заинтересовали писателя — по личным ли причинам — например, предполагаемая отмена долговых тюрем, потому ли, что они поразили его творческое воображение — как дело Умецких, или, наконец, задевали его общественное сознание — например, интерес Достоевского к деятельности суда присяжных. Не менее важны, разумеется, и указания о литературе, которую читал Достоевский: от «Былого и дум» Герцена до протоколов процесса об убийстве герцогини Шуазель; быстрота его чтения; замечания его по поводу прочитанных книг.

Особое направление сведений, черпаемых из дневника, составляет литературное воспитание Достоевским своей юной жены: «К стыду моему,— пишет она на первой же странице,— я должна признаться, что я не читала ни одного романа Бальзака, да и вообще очень мало знакома с французской литературой. Вот теперь-то я и думаю на свободе, когда у меня нет никаких дел, приняться за чтение лучших французских писателей, особенно под руководством Феди, который, конечно ⟨с у м е е т⟩ выбрать мне самое лучшее и именно то, что стоит читать, чтобы не терять времени на чтение совершенно пустых вещей» (запись 5 сентября/24 августа). Бальзак, Жорж Санд, Диккенс, Купер и Вальтер Скотт — вот круг авторов, избираемых последовательно Достоевским для приобщения жены к мировой литературе. Если уже в этой первой записи А. Г. Достоевской ясно проступает назидательный тон самого писателя, то еще более очевиден он в многочисленных заметках Анны Григорьевны об отдельных книгах — заметках, расширяющих представления прежде всего не об ее вкусах, а о литературных воззрениях Достоевского.

Огромное место в дневнике занимает семейная и бытовая сторона жизни Достоевских в Женеве, непрестанная нужда в деньгах, трудный характер Достоевского, к которому еще не вполне приспособилась его жена, тяжелые и сложные взаимоотношения А. Г. Достоевской с пасынком и с вдовой М. М. Достоевского. Эта часть записей, вносящая лишь некоторые новые штрихи в биографию Достоевского, дает необыкновенно много для понимания личности его жены, ее интересов, формирования ее характера и мышления. Читатели этого дневника узнают больше об А. Г. Достоевской, чем знал о ней в то время сам Достоевский. Мы видим, как стойко и жизнерадостно переносит она трудности, как глубоко предана мужу, как настойчиво строит она семейные отношения в соответствии со своими о них представлениями; но мы видим также, как далека еще она в этот период от духовной жизни мужа, как зыбки подчас ее нравственные понятия, какими недозволенными приемами она пользуется, чтобы изменить отношение мужа к его семье. Простодушно записывает она в дневник о том, что читает тайком письма и рукописи Достоевского: «Сказать же об этом, что я читаю, было бы ужасно как глупо, потому что тогда бы он стал непременно прятать от меня все написанное. Вообще он не любит, чтобы смотрели то, что он написал еще начерно, да, я думаю, никакой человек не любит, а поэтому говорить не для чего» (запись 13/1 октября).

Стенографическая форма дневника, исключавшая для Достоевского возможность без спроса или случайно прочесть дневник жены, наложила свой отпечаток на его характер: мало сохранилось интимных документов, где отношения супругов так раскрывались бы во всех своих сложных перипетиях, как в этом. Записи дневника как бы объективно уравновешивают позднейшие оценки характера Достоевского в мемуарах его жены, своим чрезмерно восторженным, даже сусальным оттенком так противоречащие его мучительному, сложному, всегда напряженно-эмоциональному внутреннему облику и поведению [32]. Болезнь, обостренное раздражение женевскими нравами, пре-

увеличению острая реакция на мелочи быта, вечная мысль о деньгах и навязчивая идея внезапного обогащения, приводящая его к игорному столу и в результате почти к нищенству, раскаяние и недовольство собой, а, с другой стороны,— творчество и совершающаяся в нем битва идей, лишь внешние проявления которой задевают А. Г. Достоевскую,— вот каким предстает Достоевский на страницах ее дневника. Достоверность в первую очередь и определяет большое значение дневника.

Есть у него, конечно, и еще один аспект: несмотря ни на что, общий тон дневника— счастливый и светлый; растущая привязанность друг к другу, подтрунивание над своей бедностью, веселые прозвища, шутки создают этот тон, крепнущий со временем. Страницы женевского дневника А. Г. Достоевской сохранили каламбуры Достоевского и даже часть сценки в стихах «Абракадабра».

Преемственность «Воспоминаний» А. Г. Достоевской и ее стенографического дневника первых лет замужества, ясная уже с момента их издания, совсем не могла быть очевидной в той части воспоминаний, которая посвящена знакомству А. Г. Сниткиной с Достоевским, его сватовству и свадьбе: ведь дневник был начат только с момента выезда за границу. При чтении этих частей «Воспоминаний» невозможно было, однако, отказаться от мысли, что они основаны на каких-то записях, современных событиям,— то ли девичьем дневнике, то ли письмах: так подробно, до мелочей, описана квартира Достоевского, их диалоги, ежедневный ход событий. Даже отдавая себе отчет в том, как глубоко могло запечатлеться в памяти А. Г. Достоевской такое величайшее для нее событие, как знакомство с ее будущим мужем, трудно было поверить, что она в старости писала эти страницы, не опираясь на прежние записи. Теперь источник этой части «Воспоминаний» найден—это воспоминания о событиях 1866 г., записанные А. Г. Достоевской в своем дневнике под соответствующими днями октября и ноября 1867 г. Обнаруживается, что часть этих записей перенесена в «Воспоминания» почти дословно, с самой незначительной редакционной правкой, с некоторой лишь перестановкой последовательности фактов и диалогов. Но в ряде мест обобщение событий, естественное при переработке старых записей в позднейшие «Воспоминания», привело к тому, что опущенными оказались некоторые любопытные детали. Так, рассказывая в «Воспоминаниях» о своем первом знакомстве с друзьями и родными Достоевского, А. Г. Достоевская из друзей упоминает лишь А. Н. Майкова; в дневнике же появляются и А. П. Милюков и И. Г. Долгомостьев, по словам Достоевского, «человек честности удивительной, но несколько ленивый»; при этом выясняется, что «тот предлагает ему ⟨Достоевскому⟩ издавать религиозный журнал, но что они никак не могут согласиться в главных условиях».

Существенной смысловой правке подвергла А. Г. Достоевская записанные ею в дневнике и перенесенные впоследствии в «Воспоминания» беседы ее с Достоевским в период их знакомства: о разных писателях, о его семье и прежней жизни. Для уяснения характера правки достаточно сравнить отзывы о Тургеневе и Некрасове в дневнике и в «Воспоминаниях». О Тургеневе (по дневнику) Достоевский говорил, что «тот живет за границей и решительно забыл Россию и русскую жизнь». Отзыв в «Воспоминаниях» довольно близок к этому тексту: «О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей» [33]. Отзыв о Некрасове в дневнике звучит так: «Некрасова он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в коляске на рысаках»; в «Воспоминаниях»: «Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар» [34].

Трансформируя пространные записи 1867 г. в компактную форму позднейших воспоминаний, А. Г. Достоевская сократила рассказы Достоевского о своем прошлом, опуская то, что, с ее точки зрения, могло бы его компрометировать: подробности семейных отношений, поездки на рулетку в Гомбург и т. п. Исчезли при этом такие, например, высказывания писателя: «... бранил он Петра Великого, которого просто считал своим врагом и теперь винил его в том, что он ввел иностранные обычаи и истребил народность» (запись 8 октября).

При переделке вкрались отдельные ошибки в деталях: так, в дневнике в рассказе Достоевского о казни петрашевцев правильно указано его место среди осужденных, во втором ряду; в воспоминаниях — в третьем [35].

Chambésy, куда я и отправилась. Это, кажется, после станции Женевской железной дороги. Я спустилась вниз и вышла опять к озеру. Господи, что тут я увидела, это такое чудо, что просто и описать трудно. Озеро прекрасное, тихое, без волн, одно синее, прекрасного, чудного синего цвета, кругом горы, на горах деревушки, дачи, озеро большое, среди него 2 какие-то судна с парусами, которые придают вид двукрылых. Все это было удивительно как хорошо, как-то ярко, ясно и красиво, так что просто глаза не могли оторваться. Я подошла к самому берегу и села на камень, а вода приливала опять мне к ногам, так что иногда заливала башмаки. Потом я стала бросать камни и смотрела, как они производили брызги. Потом увидела на земле 2 камня, которые были поразительно хороши. Я их взяла с собой, но потом, когда они обсохли, то оказались довольно обыкновенными камнями. Федя даже расхохотался, когда я ему сказала, что принесла подарок, и сказал, что, вероятно, принесла ему камни. Вода прозрачная, чистая, прекрасная и среди того прекрасного синего цвета были волны почти совершенно розовые ⟨...⟩

Я пришла, так и повалилась, так я сильно устала. Федя сидел, писал и потому ничего не сказал при моем приходе, и я могла отдохнуть сколько было угодно. Так как он занимался, то ему показалось, что я проходила не больше часа, и он сказал, что мы непременно с ним отправимся для того, чтобы посмотреть на озеро, туда, куда я ходила. Когда я немного отдохнула, мы отправились обедать, переменили книги, отобедали и пришли домой. Федя принялся читать и он так скоро прочел, что решил, что ему на воскресенье решительно нечего будет читать, и потому мы решили сходить еще вечером и попросить у нее еще 2 книги на воскресенье. Весь мост Montblanc (я ужасно ошиблась, я считала мост, соединяющийся с островком Жан-Жака Руссо, мостом для машины, а оказалось, что это мост Берг (Bergues), а длинный другой мост, через который я не люблю проходить, оказывается мостом *Монблан* [15]. Это мне сказала старуха наша), весь этот мост украшен плакатами, потому что сначала сегодня ожидали Гарибальди, но по каким-то обстоятельствам он приедет не сегодня, а завтра в 5 часов. По сторонам то и дело появляются новые афиши, извещающие о приезде Гарибальди, говорящие о его заслугах и возвещающие также, что назначено открытие конгресса мира на 9 сентября, т. е. на понедельник. Он будет продолжаться 4 дня, а в четверг будет прогулка по озеру и затем обед на * частный счет *Виктора Гюго*, мне бы очень хотелось его видеть [16].

Потом мы отправились за покупками, сначала зашли и взяли эти две книжки, потом купили фрукты (по 15 с. ⟨за фунт?⟩), кофе и решили купить и чаю. Нагрузившись, сколько было возможно, мы отправились за чаем в новооткрытый магазин, где продают также и шоколад. Мы спросили черного чаю; дама, которая здесь торгует, сейчас позвала к нам самого хозяина и тот принялся раскрывать новый ящик. Вероятно, чай здесь решительно не идет, потому что у него все цибики были закупорены и, вероятно, мы у него одни покупатели. Он так много трудился над открыванием ящика и так управлялся с ножиком, что я просто боялась, как бы он не изрезал себе пальцев. Право, нам сделалось стыдно, что мы беспокоим человека из-за полфунта чаю, хотя они и этому были очень рады * когда мы *; право, в Петербурге очень стыдно купить половину фунта в чайном магазине, а здесь чай пьется как лекарство, а потому они были просто удивлены и даже обрадованы, когда мы вдруг взяли у них половину чаю⟨...⟩Мне хотелось шоколаду, и Федя купил мне четверть фунта по 1 франку 50 с. за фунт, здесь шоколад довольно дешев, т. е. сравнительно с петербургским. Наконец, пришли домой, и Федя отправился гулять один, но гулял очень недолго, видно, одному гулять-то очень скучно ⟨...⟩

И, конечно, в воспоминаниях совершенно исчезла непосредственность записей дневника, так откровенно передающих и смутные, тяжелые чувства, которые вызвал у Анны Григорьевны Достоевский при первом знакомстве, и процесс их постепенного преодоления.

* * *

Стенографический дневник за август — декабрь 1867 г. занимает небольшую записную книжку в коричневом коленкоровом переплете. На титульном листе надпись «Женева», повторенная дважды: стенографически и обычным письмом [36]. По современной фолиации в книжке 123 листа, но их было больше: между лл. 69 и 70 вырезано несколько листов. Текст на л. 69 густо зачеркнут теми же черными чернилами, какими написана часть расшифровки дневника и зачеркнуты отдельные места в письмах Достоевского (восстановить этот текст фотографическими методами пока не удалось).

Записи в дневнике сделаны карандашом (вероятно, из-за отсутствия второй чернильницы,— о чем сама А. Г. Достоевская пишет, собираясь ее купить, но, так и не купив, пожалев на нее денег). Даты, под которыми стоят записи,—скорее всего даты описываемых в дневнике дней: А. Г. Достоевская записывала часто гораздо позже, и за несколько дней сразу. Это улавливается в самих записях, где рядом с каким-то фактом сразу фиксируются его последствия (рассказано о покупке шляпы Достоевскому и сразу же о том, как он реагировал на новую шляпу в течение нескольких дней после ее покупки; высказаны предположения о содержании еще не полученного письма Э. Ф. Достоевской и сразу сообщается о том, что они подтвердились).

Дневниковые записи кончаются на л. 120 об., далее помещены: запись расходов, басня «Дым и Комок» с датой «12 июля 68, Vevey», «Абракадабра» (в более полной редакции, чем текст, помещенный в дневнике) и записи других стихов и шуток Достоевского, сделанные не ранее 1869 г. (это тоже подтверждает предположение, что публикуемая тетрадь — последняя, раз именно ею пользовались через год).

Расшифровка этой книжки дневника, сделанная Ц. М. Пошеманской (машинопись с ее подписью и правкой), также хранится в фонде Достоевского в Библиотеке СССР имени В. И. Ленина [37].

Как уже было сказано, текст записной книжки воспроизводится неполностью. Сокращения коснулись преимущественно записей трех родов: впечатлений А. Г. Достоевской от осмотра Женевы и окрестностей во время ее одиноких прогулок; хождений ее по магазинам и к акушеркам в связи с беременностью; воспоминаний о своей семье, жизни до замужества, знакомых, вечерах в доме ее родителей и родственников. Сокращения отмечены знаком ⟨...⟩.

Все места текста, где отдельные слова и группы слов остались не расшифрованными (отчасти вследствие того, что ряд страниц книжки в нижней своей части залит клеем, удалить который пока не удалось, не повредив текст), отмечены звездочкой. Предложенные конъектуры заключены в угловые скобки с вопросительным знаком. Слова и части слов, расшифрованные предположительно, заключены в угловые скобки и выделены разрядкой. Окончания слов отмечены подобным образом лишь в случаях, когда возможны различные варианты чтения.

Фамилии «Огарев» и «Герцен», последовательно обозначенные в дневнике начальными буквами, раскрыты без оговорок, как и прочие сокращенные имена и названия.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] С. В. Белов, В. А. Туниманов. А. Г. Достоевская и ее воспоминания.— В кн.: А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 15.

[2] Они в значительной мере указаны в примечаниях к названному изданию.

[3] ЛБ, ф. 93, III, 1.1.

[4] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 411—413.

[5] «Дневник А. Г. Достоевской». М., 1923, стр. XI.

[6] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 198.
[7] Там же, стр. 35.
[8] ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 148, 149.
[9] «Дневник А. Г. Достоевской». М., 1923.
[10] А. Г. Достоевская еще раз позже назвала в печати «год», как срок ведения своего заграничного дневника (А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (к 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского).— «Биржевые ведомости», 1916, 28 января, № 15350). В другом месте она писала, что вела дневник «около полутора года». Этот срок маловероятен: вряд ли она могла систематически продолжать свой дневник после рождения ребенка, помогая при этом Достоевскому в его спешной работе над романом.
[11] «Дневник А. Г. Достоевской», стр. XII.
[12] Письмо к С. А. Ивановой 11 октября/29 сентября 1867 г.— «Письма», II, стр. 43.
[13] Письмо к А. Н. Майкову 28/16 августа 1867 г.— «Письма», II, стр. 27.
[14] ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 148, л. 1; воспроизведено в издании Дневника, стр. 5.
[15] Там же, ед. хр. 149, л. 1; воспроизведено в издании Дневника, стр. 141.
[16] Там же, ед. хр. 224.
[17] Теперь находится в ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 148.
[18] Т. е. в несгораемом ящике в Московском Историческом музее.
[19] А. А. Измайлов. Указ. ст.
[20] «Дневник А. Г. Достоевской», стр. 192—193.
[21] Там же, стр. 76, 127—128.
[22] «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2. М.— Л., 1925, стр. 250.
[23] ЛБ,ф . 93, III, 5.15 а и б.
[24] «Описание рукописей Ф. М. Достоевского». Под ред. В. С. Нечаевой. М., 1957.
[25] Теперь эта нумерация изменена в соответствии с последовательностью текста.
[26] Главы из «Дневника писателя», биография Достоевского, личные и деловые письма А. Г. Достоевской.— «Литературный архив», 1961, № 6.
[27] О работе Ц. М. Пошеманской над расшифровкой стенографических текстов А. Г. Достоевской см. также: «Подвиг стенографистки».—«Известия», 1959, 3 июня; «Для меня самая интересная!» — газ. «Смена», 1970, 27 декабря; послесловие Б. С. Мейлаха к публикации расшифрованной ею же статьи Д. И. Менделеева «Какая же Академия нужна в России».— «Новый мир», 1966, № 12, стр. 197—198.
[28] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 164—171.
[29] Письмо 21/9 октября 1867 г. —«Ф. М. Достоевский. Письма», II, стр. 46.
[30] Л. П. Гроссман и Вячеслав Полонский. Спор о Бакунине и Достоевском. Л., 1926; Н. Отверженный. Миф о Бакунине. М., 1925; Л. П. Гроссман. Собр. соч., т. II, вып. 2. М., 1928 (ст. «Бакунин и Достоевский»).
[31] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 168.
[32] «Меня умиляет до слез трогательная доброта и снисходительность этого человека к такому неустановившемуся существу, каким была вошедшая в его дом 20-летняя девушка...» (А. А. Измайлов. Указ. ст.)», «Я часто недоумевала —как могла создаться легенда об его будто бы угрюмом, мрачном характере...» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 14).
[33] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 60.
[34] Там же.
[35] Там же, стр. 169.
[36] ЛБ, ф. 93, III, 5.15 а.
[37] Там же, 5.15 в, г.

ЖЕНЕВСКИЙ ДНЕВНИК А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Четверг 5 (сентября)/24 (августа) 1867. Сегодня я проснулась довольно рано и принялась читать роман Бальзака «История бедных родственников» [1], который мы вчера взяли в нашей библиотеке. К стыду моему, я должна признаться, что я не читала ни одного романа Бальзака, да и вообще очень мало знакома с французской литературой. Вот теперь-то я и думаю на свободе, когда у меня нет никаких дел, приняться за чтение лучших французских писателей, особенно под руководством Феди, который, конечно, (с у м е е т) выбрать мне самое лучшее, и именно то, что стоит читать, чтобы не терять времени на чтение совершенно пустых вещей.

Часу в 9-м я отправилась к нашим хозяйкам, чтобы поторопить их насчет кофею *. Они мне начали говорить о близком приезде Гарибальди [2] и о том, что все государства решительно завидуют их свободной стране и непременно желают одолеть Швейцарию, потому что здесь уж так хорошо, что всех их берет зависть. Вообще наши старушки уверены, что лучше их Швейцарии ничего быть не может, и что забота всех только в том и состоит, чтобы взять себе прекрасную гористую страну.

Потом я села писать к маме письмо, в котором уговаривала ее приехать к нам; не знаю, возможно ли это будет, потому что у нас слишком мало средств. Такие расходы, хотя, впрочем, содержание (к в а р т и р ы) будет, я думаю, гораздо дороже, чем если бы мама приехала к нам.

Федя куда-то отправился, чтобы выкупить кольца и платье. Когда он уходил, я ему сказала, шутя: «Иди и не приходи больше домой». На это мне Федя ответил, что, может быть, мои слова оправдаются, что он упадет на улице и умрет. Я, разумеется, была уверена, что это не случится, но мне все-таки было досадно, зачем я это сказала. Право, я сделалась ужасно какая суеверная, начинаю верить предчувствиям, которые, разумеется, всегда меня обманывают.

Окончив письмо, я отправилась на почту и заодно хотела купить себе эту книжку для записывания. Вышла на улицу и увидела, что сегодня все магазины заперты, хотя сегодня четверг. Тут я вспомнила, что хозяйка наша говорила, что сегодня кантональный пост (...) Я зашла в один отпертый магазин, купила себе эту книжку за один франк 25 с(антимов)**, что вовсе не дорого. Пришла домой, а Феди все еще нет. Мне припомнились его слова, я даже начала бояться, чтобы они как-нибудь не сбылись. Я села у окна и стала читать роман, но решительно ничего не понимала, потому что строчку прочитаю, а там погляжу в окно, не идет ли Федя, так что все выскользнуло у меня из памяти. Наконец он пришел, и, как я и думала, оказалось, что он был в кофейной, читал русские газеты [3]. Потом он сел писать о Б(елинском?)[4], а я читала, но у меня сегодня невыносимо болела голова, т. е. только одна часть головы, лоб, висок и глаз, а также уже несколько дней болело горло. Федя мне, кажется, не верил, говорил, что у меня горло болит чрезвычайно давно, но потом ему вздумалось посмотреть и оказалось, что у меня в горле рана. Тут он начал бояться и даже предложил мне послать за доктором. Ну это уж положительно глупо, потому что доктор бы ничего не сделал, ничем не помог, а только бы взял деньги.

Пошли мы обедать, и сегодня нас угощали какими-то изысканными кушаниями, так что я даже боялась, чтобы нам не уйти голодными, но, впрочем, этого не случилось. Потом пошли домой, потому что ходить по пустому городу решительно скучно, все одно и то же, так что дома гораздо веселее. Федя лег спать, да и я раздумывала сделать то же самое, как приш-

* *Может быть*: кофе; *далее везде принята форма* кофею *как соответствующая словоупотреблению того времени.*

** *В тексте сантимы обозначены буквой* «S», *далее везде* «с».

ла наша хозяйка и сказала, что у нее сидит m-lle Мари, дочь той ка‹с т е л я›нши, которая меня хочет видеть. В прошлый раз я уже отказалась, теперь мне не хотелось сделать ту же невежливость, тем более, что стоило выйти и поговорить с нею немного. Я пришла на кухню и разговорилась с нею. Она оказалась очень милой девушкой, лет 16, чрезвычайно здоровой, толстой и страшно веселой, кажется, хохотушкой. Она мне сказала, что ей ужасно как скучно в ее пансионе, потому что там нет русских, кроме одной из Москвы ‹а для учителей?›, русский язык как дикий, говорят, что русские совсем без образования *. Я, разумеется, с ними спорю, так что не проходит дня, в который мы бы не поругались, говорила она; ‹учительница?› говорила, что действительно в русских нет никаких достоинств, что если она приехала в Женеву, то должна уж забыть все русские привычки. В русскую церковь ее не пускают, не только одну, в пансионе, но даже и дома, т. е. ее мать, от пансиона ее водят во французскую церковь слушать проповеди. Ни в пансионе, ни дома ей не позволяют говорить по-русски, а велят постоянно говорить по-французски, так что она говорит, что она ждет не дождется, когда через 10 месяцев она поедет в Россию, т. е. после окончания курса. Она ‹т о л к у е т›, что мало того, что в пансионе оскорбляют ее родину и ее церковь, но даже бранят ее мать, называют лгуньей и воровкой, и что она после таких оскорблений ни за что не хочет оставаться здесь, а будет просить взять ее домой. Как оказывается, женевский пансион образование ‹дает?› не отличное, ходят здесь 2 учителя да классная дама, а платят за нее, как она говорит, 1200 франков, т. е. на это можно было бы достать хорошую гувернантку. Русский язык, разумеется, совершенно сделали беззаконным, так что она боится забыть читать и писать. Мы долго толковали с нею, и она уверена, что нет на свете лучше страны, как Россия, и лучшего языка, как русский, так ей надоела Швейцария. Потом, когда она собиралась уходить, я пошла разбудить Федю, рассказала ему наш разговор с этой девочкой. Мы пошли с Федей гулять, но когда проходили мимо кухни, то оказалось, что она еще не ушла, а потому Федя и просил меня ей представить. Я, разумеется, это сделала, и Федя начал с нею разговаривать. Тут она еще более воодушевилась и начала рассказывать, как ее возмущают дурные толки о России, как ей это больно, а что сделать она прямо-таки ничего не может. Меня несколько удивило то, что Федя начал ей советовать бросить пансион, как будто она это может сделать, ведь ей только всего 16 лет ‹...› Девочка эта очень мила, мне она очень понравилась, такая горячая ‹п о л ь к а› вроде Алины ‹М и л ю к о в о й›[5], но не такая восторженная. Федя так даже думает, что она очень глупа и что из нее хорошего не будет, потому что ее только раздражают этими противоречиями и постоянными ссорами, а влияния хорошего на нее никто не имеет. Она уверена, что она никогда не забудет этих тупоголовых швейцарцев, и что постоянно их будет ненавидеть. Федя сказал, что он рад, что это воспитание сделает хотя одну из русских девушек хорошей русской, т. е. которые будут понимать и дорожить Россией. Когда мы разговаривали и бранили швейцарцев, наши хозяйки помирали со смеху и, вероятно, не подозревали, что мы их ругаем напропалую. Потом мы вышли вместе и проводили ее за мост. Она, прощаясь, объявила нам, что она непременно поругается сегодня, что она не уснет, если не поссорится, не выругает этих швейцарцев. Прощаясь, она обещала притти к нам, сказала, что очень рада, что может хотя с кем-нибудь поговорить по-русски, а что ей так хочется говорить на своем родном языке, а не с кем. Вообще она мне показалась очень милой девушкой, я очень рада за нее, что она так не любит немцев и швейцарцев и так любит Россию.

Потом мы отправились гулять, прошли мимо почты и затем я нашла носовой платок, но после рассмотрели, то оказалось, что он принадлежит



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
Фотография Ш. Ришарда, Женева, 1868
На обороте надпись А. Г. Достоевской: «В начале 1868 г., незадолго до рождения дочери Софии»
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

какой-то Эльзе Flower. Федя меня нарочно упрекал, зачем, дескать, не отдала ⟨н а з а д⟩. Потом мы перешли через мост большой и пошли назад через какую-то улицу, где много кофейных и где встретили ужасно много пьяных. Однако ведь этот город Женева славится свободой, а оказывается, что свобода-то своя вот в этом только и состоит, что люди все пьяные, горланят песни [6].

6 ⟨*сентября*⟩ — *25*⟨*августа*⟩. Утром Федя сходил и наконец выкупил свое пальто и наши кольца, вчера он не мог этого сделать, потому что все было заперто. Он сегодня удивительно какой-то скучный, тосковал, говорил, что у него голова не на месте и очень боится, чтобы не случилось другого припадка. Сегодня толковал, что не миновать сумасшедшего дома, и просил, если бы с ним случилось это несчастье, то не оставить его за границей, а перевезти в Россию [7]. Я как могла утешала его, но я убеж-

дена, что это несчастье было бы слишком тяжело и что бог сохранит нас от него.

Потом Федя сел писать, а я, чтобы не мешать ему, пошла куда-нибудь бродить, сначала зашла за книгой, а потом отправилась к старому мосту и вышла куда-то за город в рю Delices за дорогу в Chatelaine [8], шла я довольно долго, все между заборами и садами, все дома закрыты ставнями, скука страшная, так что я, не зная, далеко ли это Шателен, не решилась идти дальше, а воротилась домой и где-то под деревом на скамье сидела и читала книгу. Пришла домой еще очень рано. Постаралась не делать шума и не мешать Феде писать. Потом мы отправились с ним обедать туда, куда обыкновенно ходим, отлично пообедали, теперь у нас в Женеве есть только одно единственное утешение, это обед, который вознаграждает нас за наше бездействие, да вообще мы здесь сделались ужасно какими прожорами. Утром я жду не дождусь кофею, потом ждем обеда, а после обеда только и дела посматриваем на часы, нет ли 9 часов, чтобы напиться чаю. Вот такая жизнь изо дня в день. После обеда я пошла домой, а Федя пошел читать русские газеты в отель de la Couronne [9]. Я же воспользовалась случаем и пошла на здешний аукцион, посмотреть, если что попадется хорошее и дешевое, то купить ⟨...⟩ Потом я пришла домой, Федя долго еще не приходил; потом мы немного писали[10] и отправились погулять, сначала переменить книги, а потом по берегу, и дошли очень далеко, я думаю, даже больше полторы версты. На дороге нам пришлось поссориться, да ведь из-за каких-то глупостей. Я сказала Феде, что одна немка, думая мне польстить, сказала, что я похожа на немку; я, разумеется, отвечала, что я русская, но ничего не прибавила. Тогда Федя начал говорить, зачем я не сказала, что я на немку походить не желаю; мне вовсе ее не хотелось оскорбить, пусть себе она ценит немецкое, так зачем же навязывать ⟨свои мнения?⟩ и уверять, что немецкое все дрянь, да мне, по правде, решительно все равно. Вот на это-то Федя и напустился вдруг, назвал меня деревом, что для меня разницы не существует, а что я дерево. Я, разумеется, не желала с ним ссориться, ничего ему не отвечала, и так мы гуляли, не говоря ни слова. Но потом уж дома помирились. Право, какой-то он нынче стал, все бранится; я думаю, это от того, что ему здесь скучно, ну вот он и развлекается тем, что бранит меня.

Сегодня и вчера по всем углам висели прокламации, извещавшие о приезде Гарибальди, приглашавшие сделать ему отличный прием [11]. Потом извещалось о собрании конгресса мира в будущий понедельник и о ходе этого конгресса [12]. Народа у этих афиш очень много, все * я думаю, восхищаются своей свободной страной.

⟨*Суббота*⟩ 7 ⟨*сентября*⟩ /26 ⟨*августа*⟩. Сегодня я встала довольно рано. Дочитала одну часть романа, который был взят вчера в библиотеке. День сегодня прекрасный, так что право будет жаль, если я просижу весь день дома. Я начала рассматривать путеводитель по Женеве и ее окрестностям и решилась сходить посмотреть столь хваленое место. Так как мне делать дома нечего, да к тому же я боюсь, что мое присутствие может помешать Феде писать, я и решилась отправиться в Pregny на берегу Женевского озера. Я спросила у нашей хозяйки, она указала мне как идти. Федя согласился на мою прогулку, но убеждал, чтобы я поскорей пришла домой, иначе он будет беспокоиться. Я отправилась в половине 11-го. Очень скоро вышла за город ⟨...⟩ Потом я пришла в деревушку Pregny, где жила Жозефина после своего развода с Наполеоном [13]. Деревушка эта вся застроена дачами. Между ними * улицы находится прекрасный замок барона Ротшильда [14]. Оказывается, что этот прекрасный замок не что иное, как манеж. Право, я так подумала, ведь вот сумеют же так выстроить без вкуса, а вся постройка, я думаю, денег много стоила. Отсюда я хотела сойти опять к озеру, но мне сказали, что есть еще сход к озеру в деревушке

Chambésy, куда я и отправилась. Это, кажется, после станции Женевской железной дороги. Я спустилась вниз и вышла опять к озеру. Господи, что тут я увидела, это такое чудо, что просто и описать трудно. Озеро прекрасное, тихое, без волн, одно синее, прекрасного, чудного синего цвета, кругом горы, на горах деревушки, дачи, озеро большое, среди него 2 какие-то судна с парусами, которые придают вид двукрылых. Все это было удивительно как хорошо, как-то ярко, ясно и красиво, так что просто глаза не могли оторваться. Я подошла к самому берегу и села на камень, а вода приливала опять мне к ногам, так что иногда заливала башмаки. Потом я стала бросать камни и смотрела, как они производили брызги. Потом увидела на земле 2 камня, которые были поразительно хороши. Я их взяла с собой, но потом, когда они обсохли, то оказались довольно обыкновенными камнями. Федя даже расхохотался, когда я ему сказала, что принесла подарок, и сказал, что, вероятно, принесла ему камни. Вода прозрачная, чистая, прекрасная и среди того прекрасного синего цвета были волны почти совершенно розовые ⟨...⟩

Я пришла, так и повалилась, так я сильно устала. Федя сидел, писал и потому ничего не сказал при моем приходе, и я могла отдохнуть сколько было угодно. Так как он занимался, то ему показалось, что я проходила не больше часа, и он сказал, что мы непременно с ним отправимся для того, чтобы посмотреть на озеро, туда, куда я ходила. Когда я немного отдохнула, мы отправились обедать, переменили книги, отобедали и пришли домой. Федя принялся читать и он так скоро прочел, что решил, что ему на воскресенье решительно нечего будет читать, и потому мы решили сходить еще вечером и попросить у нее еще 2 книги на воскресенье. Весь мост Montblanc (я ужасно ошиблась, я считала мост, соединяющийся с островком Жан-Жака Руссо, мостом для машины, а оказалось, что это мост Берг (Bergues), а длинный другой мост, через который я не люблю проходить, оказывается мостом *Монблан* [15]. Это мне сказала старуха наша), весь этот мост украшен плакатами, потому что сначала сегодня ожидали Гарибальди, но по каким-то обстоятельствам он приедет не сегодня, а завтра в 5 часов. По сторонам то и дело появляются новые афиши, извещающие о приезде Гарибальди, говорящие о его заслугах и возвещающие также, что назначено открытие конгресса мира на 9 сентября, т. е. на понедельник. Он будет продолжаться 4 дня, а в четверг будет прогулка по озеру и затем обед на * частный счет *Виктора Гюго*, мне бы очень хотелось его видеть [16].

Потом мы отправились за покупками, сначала зашли и взяли эти две книжки, потом купили фрукты (по 15 с. ⟨за фунт?⟩), кофе и решили купить и чаю. Нагрузившись, сколько было возможно, мы отправились за чаем в новооткрытый магазин, где продают также и шоколад. Мы спросили черного чаю; дама, которая здесь торгует, сейчас позвала к нам самого хозяина и тот принялся раскрывать новый ящик. Вероятно, чай здесь решительно не идет, потому что у него все цибики были закупорены и, вероятно, мы у него одни покупатели. Он так много трудился над открыванием ящика и так управлялся с ножиком, что я просто боялась, как бы он не изрезал себе пальцев. Право, нам сделалось стыдно, что мы беспокоим человека из-за полфунта чаю, хотя они и этому были очень рады * когда мы *; право, в Петербурге очень стыдно купить половину фунта в чайном магазине, а здесь чай пьется как лекарство, а потому они были просто удивлены и даже обрадованы, когда мы вдруг взяли у них половину чаю⟨...⟩Мне хотелось шоколаду, и Федя купил мне четверть фунта по 1 франку 50 с. за фунт, здесь шоколад довольно дешев, т. е. сравнительно с петербургским. Наконец, пришли домой, и Федя отправился гулять один, но гулял очень недолго, видно, одному гулять-то очень скучно ⟨...⟩

Воскресенье 8 ⟨сентября⟩/27 ⟨августа⟩. День сегодня прекрасный, не слишком жаркий, я проснулась очень рано и читала книгу в постели. Сегодня день приезда Гарибальди и, следовательно, президента [17]; он начался тем, что палили из пушек, потом начался барабанный бой и по городу прошлась пожарная команда, вероятно, из граждан. Все они шли очень важно, с полным достоинством, и несколько человек тоже очень важн⟨ых⟩ тащили за собой 2 машины или лестницу; они ходят по городу в полном параде. Решительно не понимаю эти их ленточки с золотыми эполетами, разве только для параду, а мне кажется, что для дела они решительно не годятся и, вероятно, они тоже ⟨такими?⟩ важными шагами идут и на пожар, и пока идут на место, там успеет выгореть вся улица. Эти процессии пожарных я видела уже раза 2 и решительно не понимаю, что у них за польза пройтись важно по всему городу при звуке барабана и перебудить всех добрых обитателей свободной Женевы.

Обедать пошли несколько раньше и думали найти библиотеку открытой, чтобы переменить книги, потому что Федя успел уже все прочитать, но библиотека заперта. Пошли искать другую, но решили сначала пообедать, а потом вместо прогулки поискать, нет ли где-нибудь другой библиотеки. Все улицы и дома украшены разными флагами, из которых большею частью попадаются флаги из других цветов, красного и желтого и красного и белого. Но есть флаги и иных цветов. Отправились на поиски и вспомнили, что когда искали квартиру, то по дороге, тоже в воскресенье, попалась библиотека, где мы хотели записаться, и пошли ее искать, прошли мы, кажется, до самого Каружа [18], но так как все магазины были заперты, то мы нашей библиотеки не нашли, вероятно, и она заперта, а так как вывески нет, то найти невозможно.

Народ попадался толпами, все спешили смотреть на разные депутации, которые отправляются встречать Гарибальди на железную дорогу. Собраться назначено было ровно в 5 часов. Когда мы проходили по Коратери [19], то нам навстречу попалось несколько депутаций со знаменами в руках, очень довольных тупых лиц. Ведь охота же людям тешить себя всеми этими процессиями. Я думаю, куда как приятно покрасоваться где-нибудь в процессии, неся какой-нибудь значок.

Я пошла домой, а Федя читать газеты. Сговорились, что он скоро придет. На лестнице * встретились мне старушки, которые, одевшись очень парадно, в шляпах, шли тоже смотреть, но шли по обыкновению старуш⟨ечье⟩му очень рано, т. е. за полтора часа до начала церемонии. Они мне дали ключ от двери, потому что дома оставалась только их одна знакомая, ну а мне было совестно беспокоить ее, уходя и выходя. Я сидела дома все время, пока на мосту Монблан не показалась депутация. Тогда я тоже пошла и вышла на улицу Монблан, но так как мне не хотелось толкаться, то я тоже прошла довольно далеко, вдруг оказалось, они повернули куда-то в боковую улицу, так что мне не пришлось их увидеть, ну, да, ведь очень мало ви⟨де⟩ть. Я стала прогуливаться по улице и ждать. Ждать пришлось довольно долго. Жара страшная, пить хотелось тоже ужасно. Я зашла в какой-то магазин и мне предложили выпить сиропу с водой, заплатила за нее 3 су.

Улица Монблан очень широкая, но она была решительно наполнена народом до невозможности, особенно много было ребятишек и, как я заметила, они-то больше всех и суетились, когда началась процессия. Окна здешних 5- и 6-этажных домов были заняты дамами в нарядах и мужчинами. Мне было ужасно скучно ходить по улице одной, и я, право, жалела, что не было со мной Феди. Наконец раздалась пушка, и я увидела, как подъехал поезд. Публику особенно занимало то, когда локомотив начинал свистеть. Тут начался ужасный смех и разные глупые шутки. Однако Гарибальди довольно долго после приезда поезда не по-

казывался, вероятно депутации говорили ему речи, ну, а он отвечал, следовательно, время-то и шло, а мы тут стой и жди его. Наконец проехала карета с багажом Гарибальди. Тут решительно нет полиции, а потому, несколько минут до приезда Гарибальди, по этой улице, занятой народом, проехали, кажется, возов 5 огромных, может быть, у них не было другой дороги или они не могли подождать. Наконец показались знамена, но они долго не двигались. Наконец едва могли тронуться, так много занимал народ, который стоял перед ними, не пропуская. Наконец шествие кое-как пошло, и за депутациями ехал в открытой коляске в 4 лошади и с жокеем впереди Гарибальди. Издали, когда я увидела его лоб, мне показалось, что это Федя, так у него был похож на лоб Гарибальди. Наконец показался и он, одетый в красный камзол и в полосатом плаще, с серой шляпой, которою он махал во все стороны. Какое у него доброе, прекрасное лицо, лет ему 55, мне кажется, он с лысиной *. Но что за доброе, милое, простое лицо, должно быть, он удивительно добрый и умный человек. При его проезде все начали махать платками. Право, даже было трогательно видеть, как все эти 5—6-е этажи, полные дам, колыхались, он был, видимо, тронут этим и очень раскланивался шляпой во все стороны. С ним сидел какой-то господин, который тоже раскланивался, должно быть, это его сын. Впрочем, не знаю. Все махали платками, а он раскланивался шляпой. Когда народ несколько отхлынул, я отправилась домой и пришла гораздо раньше Феди и всех наших хозяек, которые, как потом говорили, отправились слушать речь, которую говорил Гарибальди с балкона дома президента [20]. Когда воротился Федя, я начала бранить, зачем он за мной не зашел, но он меня уверял, что если бы я даже и пошла, то ничего не видела, то и лучше, что сидела дома, вот я и видела; действительно, я его видела очень близко, так что отлично могла рассмотреть это благородное лицо.

Потом вечером мы ходили искать, нет ли где открытой библиотеки, потому что у Феди не было книг, но эта библиотека, которую мы видели в улице Монблан, была уже заперта, так без книг и воротились домой. Весь этот вечер по городу ходила музыка и эти отдельные части этих депутаций расходились по улицам и кричали ура. Я думаю, Гарибальди не дали уснуть, все, вероятно, стояли под его окнами и пели какие-нибудь гимны или играли. Весь город изукрашен флагами, что довольно красиво.

Понедельник 9 ⟨сентября⟩/28 ⟨августа⟩. Сегодня я вздумала написать письмо к Ольхину [21], теперь на свободе я могу заняться письмами и думаю написать всем, которым еще не писала, а то решительно даже совестно, что так ленюсь, никому не пишу, ну, а Ольхину-то и подавно нужно было уже давно написать, потому что это самый благородный человек, он так много мне помогал, когда я училась стенографии, и жена, и все его семейство было ко мне так любезно, что, право, забывать их вовсе не следует, да и бог знает, я даже вполне уверена, что мне придется непременно заниматься стенографией, потому что ⟨это?⟩ только и есть мой хлеб, а Ольхин мне может достать работу, словом, следует его держаться. Вот я сегодня и написала ему письмо и просила у его жены ответ, если возможно скорей, и просила ее сообщить мне обо всем, что там есть нового.

Федя сегодня хотя писал, но у него голова что-то болит, а потому мы решились сегодня пораньше идти, чтобы до обеда прогуляться по городу. Зашли мы в библиотеку и хотели взять 9-й том «Истории бедных родственников», именно «Cousin Pons», но не было времени поискать этой девушке, которая лицом страшно похожа на Ивана Александровича [22]. Она 9-й том не нашла, и нам пришлось записаться именно для этого тома в другой библиотеке. Мы, пообедав, пошли искать библиотеку

и по дороге встретили Гарибальди, который ехал вместе с президентом в коляске из конгресса. За ним и перед ним бежала толпа мальчишек, а он предобродушно раскланивался. Мы были в нескольких библиотеках, но одна была заперта, а в других не было именно этих книг, которые мы спрашивали. Я хотела идти на почту, чтобы принести письма, и так как у меня денег не было, то я и спросила у Феди, тогда он сказал, что ведь у меня есть, и что теперь, если я возьму, то опять скажу, что отдала хозяйкам за 6 дней. Разумеется, это он шутил, но мне были досадны даже и такие шутки, потому что должен же поверить, что я не беру его денег на ненужное, а трачу именно только на то, что нам необходимо. Я, не отвечая ему, отправилась на почту, но там было так много народу, что решительно добиться было нельзя. Я стояла уже несколько минут, как вдруг ко мне подошел Федя, я даже и не узнала его, он отвечал, что и ему необходимо за письмами, хотя здесь он еще ни от кого не получал. Федя стоял в стороне, а я подавала записку. Я увидела, что он отложил какое-то письмо в сторону и думаю, что это ко мне, но, не желая получить при Феде, я, не дождавшись, пока он выдал, сказала Феде, что письма нет, и мы отправились домой. По дороге взяли 9-й том в другой библиотеке, но как назло оказалось, именно отсюда-то роман делается таким скучным, что читать его нет никакой возможности. Потом Федя пошел читать газеты, а я отправилась домой, поскорее написала записку с моим именем и пошла опять на почту. Здесь мне встретился тот самый почтмейстер, который отыскал мое письмо, он спросил, отчего я ушла, и дал мне письмо. Оно было от мамы, в нем мама поздравила меня с полугодием [23] и говорила, что в этот день была в церкви, говорила, что желала бы так и полететь к нам, посылала портрет и извещала еще о том, что Паше [24] представляется какое-то место, а он не хочет его брать, а говорит, что Федей обещано его содержать до 21 года, а там уж другое дело, что будто бы Федя будет сердиться, когда узнает, что он принял место. Когда я прочитала письмо Феде, то он рассердился на Пашу и начал говорить, что вовсе не обещано его содержать; я желала этим воспользоваться и начала уверять, что, напротив, Паша совершенно прав, что он должен его содержать, что это его обязанность. Федя ужасно как рассердился, говорил, что у него у самого нечем жить, что если он содержит, то только как благодетель, а вовсе не из обязанности, начал бранить Пашу, я же все его защищала, и когда Федя назвал его подлецом, и негодяем, и дураком, говорила, что Федя решительно несправедлив, что Паша умный мальчик, а что, вероятно, он на что-нибудь да надеется, если не хочет служить, а что это мама такой смешной человек, который хлопочет, чтобы он непременно служил, что это нелепо, а что я напишу, чтобы она вовсе оставила эти хлопоты о Паше. Потом мы ходили несколько гулять, и Федя сделался ужасно грустный, он говорил, что его ужас как беспокоит участь Паши, что дела наши так плохи, что все это его мучает, убивает. Бедный Федя, как мне его жаль, ведь навязалась же эта проклятая обуза ему на шею, мало ему своей, так нужно еще кормить разных чужих щенят [25].

Вторник 10⟨сентября⟩/29 ⟨августа⟩. Сегодня в 10 ⟨минут⟩ 6-го с Федей сделался припадок, который был, по-моему, очень сильный, сильнее прежних, т. е. гораздо сильнее были судороги в лице, так что голова качалась, потом он довольно долго не приходил в себя, а потом, если спал, то просыпался через каждые 5 минут. Это припадок ровно через неделю, это уж слишком часто; мне кажется, не виновата ли тут погода, которая теперь переменилась, т. е. сегодня поутру был дождь; бедный Федя, как он всегда бледен, расстроен после припадка, но я вот что заметила, он вовсе не такой мрачный после припадка, не такой раздражительный, как был прежде дома, когда я не была еще его женой и как было в первое

Ане от меня
в память о том
как мы вместе
сочиняли и до чего
досочинились. Ф.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

Новое, дополненное изданіе



Изданіе и собственность

О. СТЕЛЛОВСКАГО,

Поставщика Его Императорскаго Величества. Коммиссіонера Придворной Пѣвческой Капеллы и Дирекціи Императорскихъ театровъ, и владѣльца извѣстнаго торговаго дома И. Пеца, существующаго съ 1785 года.

Въ Большой Морской, въ домѣ Лауферта, № 27, въ С. Петербургѣ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: НОВОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ. ИЗД. И СОБСТВЕННОСТЬ Ф. СТЕЛЛОВСКОГО (СПб., 1866) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПИСАТЕЛЯ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ: «Ане от меня в память о том, как мы вместе сочиняли и до чего досочинились»

Титульный лист. Книга не сохранилась

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

время нашего брака. Сегодня он хотел работать, но писал очень немного, вот опять 4 дня пропало для работы, потому что теперь у него сильное бывает умопомрачение после припадка, дня 4 или 5 он решительно не может прийти в себя; бедный Федя, как мне его бывает жалко, просто ужас, что бы я только не дала, чтобы с ним не было припадка, господи, кажется все бы отдала, лишь бы этого не было.

Сегодня пошли раньше обедать, но сегодня нам прислуживал не наш обыкновенный слуга, который куда-то ушел, а мальчик, лет, казалось, шести, такого он был небольшого роста, белокурый, с ужасно озабоченной физиономией, я его это спросила, он мне отвечал: «Oui, monsieur», вероятно, принимая меня за мужчину. Решительно меня никто дамой считать не хочет, все решительно называют мадемуазель, а этот так вздумал даже назвать мсье. Так и в продолжение всего обеда, когда он подавал какое-нибудь кушание, то он непременно, обращаясь ко мне, говорил мне: «Voici *, мсье». Меня это ужас как смешило. Потом Федя отправился читать газеты, а я пошла домой и здесь читала роман Бальзака «Eugénie Grandet», превосходнейший роман, который мне очень понравился. Вечером мы отправились немного погулять, но очень немного, заходили на почту, писем не получили ⟨...⟩ Сегодня Федя встретил Огарева, и тот спросил, был ли Федя на конгрессе, Федя отвечал, что он ведь не член, тот отвечал, туда пускают за 25 с. Ну, Федя сказал: «Тогда я, конечно, пойду» [26]. Оба эти вечера вчера и сегодня я чувствовала себя не совсем хорошо, мне что-то жгло в груди и я очень стонала, Федя ко мне часто подходил и говорил, что меня очень жалеет ⟨...⟩

Среда 30 ⟨августа⟩/11 ⟨сентября⟩. Сегодня 30 число, день моего рождения. Вот думала ли я в прошлом году в этот же день, что через год буду замужем уже 6 с половиной месяцев, что буду беременна, и что буду в это время жить в Женеве, ведь это мне и в голову не могло прийти, и я помню в этот день в октябре 66-го я рано утром отправилась к Сниткиным[27], чтобы отправить к ним шляпу, которую я взялась было доставить им на дачу, да так и не доставила ⟨...⟩ Я ушла от них часу в 3-м* на дороге купила у Иванова сладких пирожков и пришла домой грустная. У окна увидела милую мамочку, которая сидела и все ждала меня ⟨...⟩ ведь милая мамочка, она даже не садилась за стол, поджидая меня, я принесла ей обед и тоже пообедала с нею, а также просила сделать кофей, что мамочка исполнила с большой охотой. Бедная голубушка мамочка, думала ли я, что это будет в последний раз, когда мы с нею будем жить, что в другой раз того не будет, а что я через несколько времени выйду замуж. Как бы желала я ее теперь видеть, право, вот тогда только то и ценишь, чего теперь нет, так и я ценю милую мамочку, потому что она от меня очень далеко. Господи, как бы я желала, чтобы исполнилось наше желание и мамочка могла приехать к нам к тому времени, когда мне кончится срок [28], право, это была бы для меня такая огромная радость, что я больше бы, кажется, ничего и не хотела ⟨...⟩

Сегодня я встала с больной головой, потому что пере⟨п и с ы в а⟩ла уж слишком много, потом я решилась прогуляться и хотела сначала ехать в Каруж, но потом отдумала, потому что Федя предложил идти нам послушать на конгресс мира. Но сначала мне захотелось погулять, чтобы несколько освежиться. Наши хозяйки, у которых я спросила о часе, в который начинается заседание, дали мне би⟨ле⟩т и потом сказали, что Гарибальди уже уехал сегодня утром; мне пришло на мысль, что, вероятно, они здесь что-нибудь не поладили, что он уехал, не дождавшись окончания конгресса. Я пошла и увидела на всех стенах прокламации, в которых объявлял-

* *В тексте слово* Voici *написано стенографически.*

ся протест против слов, произнесенных Гарибальди, говорилось, что его слова это оскорбление, сильнейшее оскорбление, которое нанесено было им католической церкви и папству, и что этим он оскорбил половину жителей кантона, а поэтому-то они и протестуют против него. Вот тебе и раз, то встретили бог знает с какими радостями, то вдруг протест, что, дескать, убирайся-ка, братец, туда, откуда приехал; как это все смешно, право; с этим конгрессом мира, ничего разумеется, путного не выйдет, а они-то все толкуют [29]. Я пошлялась по городу, потом воротилась за Федей, мы отправились в Palais Electoral *, большое здание на place Neuve. Здесь мы купили билеты, но заплатили не по 25 с., а по 50. Наконец, вошли в это место **, это огромное серое, вроде конюшни, высокое светлое здание, испещренное гербами кантона. Наверху хоры, посредине стоит большой цветок с ⟨б у к е т а м и⟩ цветов, который решительно загораживал всем вид на ораторов. Тут были отдельные места для дам, где я и села, а Федя сел 3 скамьями сзади меня. Шум был страшный, а потом, когда оратор какой-то взошел на кафедру, народ долго не мог успокоиться. Ораторы говорили очень тихо, так что наполовину нельзя было расслушать, говорили несколько ораторов, но все больше громкие фразы, вроде следующих: «нужна свобода», «для злодейства свобода», «стыдно воевать», вообще все громкие фразы, которые решительно невыполнимы, и на все это были ответом страшные рукоплескания, так что просто зал дрожал от шума. Какой-то оратор прочел 10 пунктов по поводу войны, написанных какой-то немкой, ничего особенно не представляющих, вообще рассуждение о неприемлемости войны. Но все эти 10 пунктов были встречены страшными рукоплесканиями, как будто они говорили о чем-нибудь действительно новом. Потом говорил какой-то видно ⟨и т а л ь я н е ц⟩ почти *, «прочь папство», на что одни хлопали, а другие не одобряли. Президент, видно, был недоволен этим ⟨и т а л ь я н ц е м⟩ и несколько раз замечал ему, чтобы тот перестал говорить. Наконец, кое-как ему удалось угомонить этого глупого оратора, который так сильно жестикулировал, что он свалил стакан с водой на голову какому-то господину. Вообще речи нельзя было расслушать, потому что шумели страшно и с половины заседания стали уходить вон, да к тому же, когда только оратор начинал оканчивать фразу, его прерывали рукоплесканиями и решительно не давали дослушать, что такое он сказал. Около меня сидела одна дама, очень толстая и жирная, и я решительно не знала, почему она попала на конгресс. Когда стали очень шуметь, одни рукоплескать, другие унимать оратора, то она обратилась ко мне и спросила, нет ли опасности, я уверила, что все спокойно. Она, вероятно, думала, что нет-нет, да и доберутся и до ее кошелька и, вероятно, уж хотела убежать по-добру, по-здорову. Мы не подождали до конца заседания, да и не для чего было, потому что все было до такой степени глупо, что и сказать досадно. И к чему этот глупый конгресс, делать людям нечего, так они и собираются на разные конгрессы, на которых только и говорится, что громкие фразы, а дела никакого не выйдет. Право, я пожалела о том, что мы потратили силы там [30].

С конгресса пошли обедать, читали газеты. Что я заметила нынче, нас в нашей гостинице ужасно эксплуатируют, именно, теперь вместо 7 кушаний стали подавать сначала 6, а сегодня уже всего 5, этак когда-нибудь дойдет до того, что нам подадут один только суп и фрукты. Я хотела заметить нашему слуге, но Федя объявил, что положительно сыт, а потом⟨у⟩ не хочет говорить и просить, говорит, что * не замечать. Делать было нечего, я не сказала, но вышла от обеда совершенно голодная, так что потом ночью не могла спать от голода и должна была встать, чтобы что-нибудь съесть.

* Избирательный дворец (*франц.*).

** *Переправлено из* святилище.

Я думала, что мой день окончится мирно, как вдруг под вечер случилась у нас ссора, и вот каким образом: мы пошли немного погулять, хотели зайти на почту. Когда мы проходили мимо дома почты, я вспомнила, что я не взяла своей записи с нашими именами, а без записей спрашивать письма было неловко, потому что он не может запомнить имена и тогда требуют визитную карточку. Я сказала Феде, что у меня записей своих нет, тогда он посмотрел в своем кармане, вынул какую-то маленькую бумажку, на которой было что-то написано карандашом. Мне захотелось знать, что это было именно, и я схватила записку; вдруг Федя зарычал, стиснул зубы и ужасно больно схватил меня за руки; мне не хотелось выпустить записки, и мы так ее дергали, что разорвали на половины, и я свою половину бросила на землю, Федя со своей сделал то же; это нас и поссорило, он начал бранить, зачем я вырвала записку, меня это еще больше рассердило, и я назвала его дураком, потом повернулась и пошла домой. Это я сделала для того, чтобы поднять остатки бума⟨ж⟩ки и знать, что такое она содержала. Я ужасно дрянной человек! У меня раздражение, подозрительность и ревность, мне сейчас представилось, что это очень новая записка, а главное, что эта записка одной особы с которой я ни за что на свете не желала бы, чтобы сошелся снова Федя [31].

Когда Феди не стало видно, я подбежала к тому месту, где была брошена бумажка, подняла 3 или 4 клочка, с которыми и побежала домой, чтобы прочитать. В каком я шла домой волнении, так это и описать трудно. Мне представилось, что эта особа приехала сюда в Женеву, что Федя видел ее, что она не желает со мной видеться, а видятся они тайно, ничего мне не говоря, а разве я могу быть уверена, что Федя мне не изменяет? Чем я в этом могу увериться? Ведь изменил же он этой женщине, так отчего же ему не изменить и мне? Но вот этого-то я решительно не могла к себе допустить. Мне нужно было знать это непременно, я не хотела, чтобы меня обманывали. Они думали, что я ничего не знаю, смеялись бы надо мной, нет, этого никогда не будет, я слишком горда, чтобы позволить над собой смеяться, да смеяться, должно быть, особа *, которая меня и не стоит, потому-то я дала себе слово всегда наблюдать за ним и никогда не доверяться слишком его словам. Положим, что это должно быть и очень дурно, но что делать, если у меня такой характер, что я не могу быть спокойной, если я так люблю Федю, что ревную его. Да простит меня бог за такой, должно быть, низкий поступок, что я хочу шпионить моего мужа, к которому я по-настоящему не должна была бы иметь недоверия. Но дело в том, что Федя сам не хочет мне много доверить, ведь, например, он не сказал мне ни слова о известном дрезденском письме и вообще сохраняет на этот счет полнейшее молчание [32]. Так разве я могу быть спокойна. Нет, пусть даже это будет нечестно, но я постоянно буду наблюдать, чтобы не быть обманутой. Я просто бежала и плакала дорогой, так я боялась, чтобы мне не узнать чего-нибудь дурного из этой записки. Я прибежала домой раньше Феди, я желала поскорее прочитать разорванную записку, а тут как назло наша хозяйка начала мне ⟨надоедать? ⟩ с вопросами, и я ее выпроводила из комнаты. Начала старательно складывать записку, кое-как сложила, прочитала rue Rive, Mr Blanchard dessous **, записочка мне показалась написанной рукой этой особы, совершенно ее почерком, положим, что это может быть и неправда, потому что таких почерков может быть бездна, да вот, например, у Андреевой [33] решительно такой почерк, но это меня еще больше взволновало. Мне представилось, что он вместо того, чтобы ходить в кофейню читать газеты, ходит к ней,

---

* *Исправлено из* человек.

** внизу (*франц.*).

что вот она дала ему свой адрес, а он, по своему обыкновению, по неосторожности, вынул и таким образом чуть-чуть не выдал свою тайну мне. Особенно меня поразило то обстоятельство: зачем ему было так вырывать от меня записку, если он не боялся мне показать эту записку. Значит, ему не хотелось показать записки, значит, ее не следовало мне показать. Меня это до такой степени поразило, что я начала плакать, да так сильно плакала очень редко, я кусала себе руки, сжимала шею, плакала и просто не знала, боялась, что сойду с ума. Мне было до такой степени больно подумать, что вот человек, которого я так сильно люблю, и этот человек вдруг изменяет мне. Я решилась непременно завтра идти, идти по адресу и узнать, кто живет именно там, и если бы я узнала, что там живет известная особа, то я непременно бы сказала об этом Феде, тогда, может быть, мне бы пришлось уехать от него. Но до завтра еще оставалось довольно много времени, я ужасно как мучилась. Я плакала бог знает как и страдала невыносимо. Одна мысль об этой подлой особе, которая меня, вероятно, не любит, что она способна нарочно ему отдаться для того, чтобы только насолить мне, зная, что это будет для меня горько, и вот теперь, должно быть, это действительно и случилось, и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну [34].

Пришел Федя и ужасно удивился, увидя, что я плачу, сначала он спрашивал причину, но я была так огорчена, что очень грубо ему отвечала, просила оставить его* в покое и продолжала плакать. Успокоиться я не могла, так мне было горько. Федя начал браниться и как-то сказал, что он был просто фраппирован, когда я бросилась к нему, чтобы вырвать от него записку, что это была записка, данная ему закладчиком, т. е. адрес другого закладчика и проч. Вообще он ужасно как на меня рассердился. Это меня еще больше ⟨рассердило? ⟩, потому что нет ничего хуже, когда человек раздражен или расстроен, и вдруг ему начинают говорить колкости и смеются над ним.

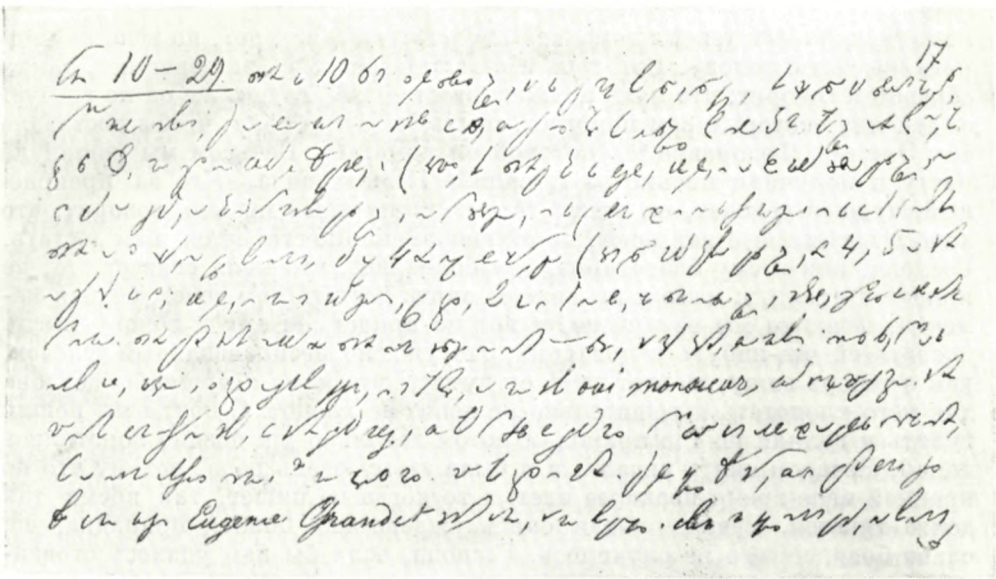
Я стала писать письмо к Ване, хочу его поскорее отправить и просить его узнать, там ли известная госпожа [35], узнать наверное, может быть, она уж оттуда уехала. Потом, когда я заснула, Федя не пришел ко мне прощаться. Вот это так было очень дурно с его стороны, неужели он не может быть снисходителен ко мне, когда он знает, что я в таком положении, право, должен бы был быть ко мне гораздо милостивее. Потом, когда мы на другой день помирились, то Федя мне объяснил, что мы поссорились оттого, что ходили на конгресс мира. Да и вообще на этом мирном конгрессе гораздо больше было ссор, и провозглашали все ораторы не мир, а войну. Ночь я спала дурно, ночью проснулась и думала: что-то решит завтрашний день, неужели завтра будет для меня несчастье, неужели она здесь, неужели все мое счастье рушилось? Господи, я, кажется, умру, если это так будет.

Четверг 12 ⟨сентября⟩/31 ⟨августа⟩. Сегодня утром я отправилась сначала к почте, и думала как бы поднять целые лоскуточки, чтобы узнать номер дома, в котором живет Blanchard, а оттуда думала идти искать и разыскать непременно, кто именно там живет. Зашла я на почту, получила здесь письмо от Маши [36] ⟨... ⟩ Прочитав на почте письмо, я отправилась искать дом на rue de Rive, это у того самого места, где мы постоянно обедаем. Я спросила у какой-то магазинщицы, и она мне сказала, что на углу улицы есть дом, в котором живет Blanchard, портниха. Я отправилась и действительно нашла и портниху и ее мужа*. Я вошла

* *Так в тексте.*

в подъезд, потому что зайти на квартиру я не могла, так как дама имеет довольно представительную наружность, а, следовательно, очень могло случиться, что они там оставались, и потом я была бы в очень ложном положении, попавшись Феде. Я нашла, где живет консьержка, но квартира ее была не заперта, а самой ее не было. Мне сказали, что она бывает дома около 12 часов. Я отправилась гулять по улице и пришла снова в 12 часов. Но и на этот раз не нашла ее, я спросила в магазине, и мне сказали, что ее если можно застать, так это вечером. Такая досада, просто ужас, пришлось идти домой, но я все-таки, пока не узнала человека, решилась примириться с Федей, потому что уж очень грустно сегодня. Когда он стал одеваться к обеду, я к нему подошла, расхохоталась, и, как он ни хотел удержаться и представиться серьезным и холодным, но улыбка потом невольно явилась на его лице и он расхохотался. Я села к нему на колени, начала ему говорить, чтобы он на меня не сердился. Так мы совершенно помирились и пошли обедать. После обеда он читать не пошел, а пришли домой и лег спать. Я воспользовалась тем временем, когда он спал, чтобы снова сходить туда, но и на этот раз тоже неуспешно, потому что опять ее дома не застала. Такая была мне досада, понапрасну хожу, а я было хотела дать ей полфранка, разузнать хорошенько. Потом вечером мы отправились гулять и вышли к католическому кладбищу, в котором в это время звонили к выходу, потому что было уже 7 часов и совершенная темь, как ночью. Потом мы обошли вокруг Plainpalais [37] и вышли на улицу Corateric. Здесь на улице встретили Огарева. ⟨...⟩ В последний раз ⟨...⟩ Федя с ним встретился на пароходе и Огарев оставался с ним на несколько минут [38]. Тут Федя спросил его, не знает ли он где-нибудь хорошего доктора. Тот указал нам на доктора *Mayor*, живет на площади Molard № 4 и просил, если мы адресуемся к нему, то сказать от имени Огарева, говорил, что тот принимает к себе на дом, и тогда следует ему заплатить 2 франка, а если звать на дом, то надо дать больше, т. е. франка 3 или 4. Удивительно, как они мало получают, ну разве возможно дать хотя бы самому плохому доктору в Петербурге 1 рубль ⟨с е р е б р о м⟩, ведь это положительно невозможно, а тут 4 франка, так и за глаза довольно. Воротились домой и говорили довольно дружелюбно между собой, хотя сердце у меня так и ⟨п р ы г а л о⟩. Мне все казалось, что он меня обманывает, что я не могу узнать, а между тем хотелось как можно дальше отложить время, когда я узнаю эту ужасную для меня новость ⟨...⟩

Пятница 13/1 ⟨сентября⟩. День сегодня отличный. Встала я довольно рано и опять отправилась, чтобы застать эту подлую консьержку, наконец, сегодня застала. Она мне сказала, что она не знает, чтобы кто-либо приехал туда, и очень удивлена, если это действительно случилось, потому что у него очень маленькая квартира, что несколько месяцев тому назад к ней приехала ее тетка, старуха, так и то едва досталось место, а уж отдать кому-нибудь, так и положительно нет никакой возможности. Так что этим она меня несколько успокоила, а то я была в таком волнении. Сегодня я была целый день почти больна, но вовсе не физически, а морально, так было тяжело, все казалось грустно и мертво, так что, должно быть, я окончила бы физической болезнью, если бы вдруг не решилась успокоиться. Я положила, что это все сочинила сама, что вовсе не следует печалиться, ничего не узнав, но все-таки я решилась следить за Федей, чтобы знать, неужели он мне изменяет. Когда он после обеда пошел в читальню, я высмотрела, как он действительно туда вошел. Потом я отнесла домой книги и поспешила через другой мост в ⟨Английский?⟩ парк, из которого было очень хорошо видно, если бы он вышел, но дожидаться там, пока он прочитает все газеты, было бы, право, глупо,



СТРАНИЦА ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
Запись 10 сентября/29 августа 1867 г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

потому что иногда он читает часа 2, а стоять на одном месте 2 часа очень тяжело, потому я решилась тихонько пройтись мимо кофейни, вполне уверенная, что он меня и не заметит. Так и случилось, я прошлась и увидела, что он смирнешенько сидит себе у стола и читает газету, так что тут мои подозрения решительно рушились. Я решила больше его не наблюдать и отправилась глазеть по магазинам ⟨...⟩ Вечером мы немного гуляли и потом сели писать. Я очень рада, что Федя начал мне диктовать, по крайней мере работа теперь пойдет скорей и, может быть, мы скоро сможем отправить к Бабикову эту статью [39]. Я с большим удовольствием писала, мне все вспоминалось прежнее время, когда я была еще его невестой.

Суббота 14/2 ⟨сентября⟩. Вчера вечером Федя очень боялся, чтобы с ним не было припадка, он очень трусил, но оказалось, что только он лег, как сейчас очень спокойно заснул, зато я с 2-х часов не спала до 4-х и все время думала о разных разностях. Утром я села писать, но в 1 час Федя меня прогнал от его стола, потому что самому понадобилось писать, а у нас, как назло, всего только одно перо и одни чернила, нужно непременно сегодня купить еще, иначе нечем писать. Так что пришлось мне не писать, а читать в это время. Читала я «Père Goriot» Бальзака, очень хорошая вещь. Потом пообедали, Федя опять не пошел читать, он весь день боится, чтобы с ним не было припадка или удара. Он говорит, что у него сонливость, голова тяжелая, не ходит ⟨как у⟩ и руки зудят, особенно в ногтях, а это, говорит, признак удара. Я ужасно этого боюсь, просто ужас, ведь это будет уже такое несчастье, если это с ним случится.

Потом пришли вечером на почту и здесь получили письмо от *Майкова* [40]. Федя все меня пугал, распечатывая письмо, говорил, что, ну, вероятно, отказ, вероятно, не пришлет. Тогда ведь мне бы пришлось опять писать к бедной мамочке, опять ее беспокоить. Федя только и говорит

мама должна нам теперь помочь. Положим, что у нее нет, но ведь не умирать же нам с голоду. Вот ведь всегда так, когда у нас денег нет, таким образом и говорит, что мама должна нам помочь, отчего же он не требует от тех лиц, которым сам помогает, пусть бы и требовал, чтобы доставала ему Эмилия Федоровна [41], которой он помогает. Вечером мы пошли на почту и получили письмо от Аполлона Николаевича. Что за прекрасный, чудный человек, он пишет, что получил наше письмо, говорит, что хотя у него самого нет денег, но он непременно постарается нам достать. Господи, как я ему благодарна, тем более еще, что меня спасает это, не придется писать к маме и просить ее опять достать нам денег, бедная мамочка, вечно-то мы ее мучаем, а вот не придет же ему в голову мысль послать ей что-нибудь в подарок. Это ужасно несправедливый человек, как я теперь вижу, на этот счет, он думает, что мама непременно обязана для него хлопотать и решительно не ценит ее хлопот. С почты мы пошли гулять и гуляли по Plainpalais, а потом довольно уж поздно воротились домой. Вечером опять писали, и я была этому очень рада, потому что по крайней мере время поскорее идет, а то когда не пишет, так время так долго тянется. Вечером Федя опять ужасно как боялся припадка, но, слава богу, ничего не случилось. Господи, если бы нам удалось отодвинуть припадок подальше, как бы я была этому рада.

Воскресенье 15/3 ⟨сентября⟩. Сегодня 15 число. Федеральный пост, т. е. пост во всей Швейцарии. Оказывается, что сегодня ни одного магазина не отперто, все решительно заперто, и мы отправились гулять за город. Сегодня сделался сильнейший дождь, но что странно, несмотря на такой сильный дождь, в воздухе довольно тепло, хотя это-то хорошо, а то просто такая досада, если бы к дождю да присоединился бы еще холод. Мы отправились обедать, сегодня нам вздумали подать еще меньше кушаний, всего, кажется, 3, это у него идет диминуендо, т. е. каждый день уменьшают число кушаний, наконец, Федя заметил ему об этом, и тогда нам принесли еще курицу. От обеда мы отправились домой, но по дороге я вздумала идти на почту, и хотя Федя мне и отсоветовал, но я не послушалась и отправилась; за непослушание я была очень наказана, ибо дождь меня вымочил ужасно, до костей, и когда я пришла на почту, то, оказалось, и почта сегодня заперта. Ну, это ведь просто курам на смех. Даже почта, самое необходимое место, и то заперта, и все из-за каких-то их дурацких праздников. Мало того, что все магазины заперты, но закрыты даже и кофейни, мы ⟨даже?⟩ очень боялись, чтобы не остаться без обеда, потому что думали, что эти дураки швейцарцы, пожалуй, запрут и гостиницы. Потом я долго сидела у окна, читала книгу и смотрела, как шел дождь. Я иногда люблю, когда идет дождь, мне тогда вспоминается жизнь моя у мамы в моем *гнезде*, какая, право, это хорошая была жизнь, несмотря на все невзгоды и разные денежные неприятности; а теперь разве не то же самое, то же самое безденежье, а к тому же еще и другие неприятности. Вечером Федя опять мне диктовал, а продиктованное вчера я переписала еще утром; потом, так как мне нечего было делать, то я вздумала переписать вечером сегодня, что он мне только что продиктовал.

Понедельник 16/4 ⟨сентября⟩. Записываю я нынче очень мало, а это потому, что решительно нечего записывать ⟨...⟩ Утром переписала продиктованное Федей и этим несколько убила время, потом мы ходили обедать, ели отлично. Вообще день у нас проходит таким образом, что просто и описывать нечего, все, как всегда, по обыкновению скучно. Ходили на почту, получили от мамы письмо, но не франкованное. Пришлось заплатить 90 с., Федя не мог не заметить мне это, что письмо было

нефранкованное, я очень удивилась этому и сказала, что обыкновенно письма она франкует; он несколько раз повторил, что ему пришлось заплатить 1 франк, как будто бы это так много значит, что следует мне говорить об этом. Мне это было, право, больно, так я молчала. Письмо пришло в субботу, но вчера взять нельзя было, так что оно пролежало все воскресенье там.

Вторник 17/5⟨сентября⟩. Решительно эти 3 дня только и делает, что идет дождь, да такой сильный, что выйти нельзя. Голова у меня болит невыносимо, а пройтись нет никакой возможности, потому что дождь идет из ручья, решительно не знаем как мы пойдем обедать. Хотели было сходить обедать в кофейную Роланд, что напротив нас, где мы раз пообедали, но решили, что это уж слишком гадко, так лучше, хотя и по дождю, но идти в отель д'Ор.

Утром Федя немного писал, а я все валялась на постели, так у меня сильно болела голова. В 2 часа пошли обедать, взяв от хозяек зонтик, который сделался причиной ссоры между нами, именно, так как под одним зонтиком под руку идти было гораздо удобней, то Федя и взял меня под руку и, очень весело распевая, мы пошли через мост. Но тут мне случилось поскользнуться, но так сильно, что я было чуть не упала; вдруг Федя раскричался на меня, зачем я поскользнулась, как будто я это сделала нарочно, я ему отвечала, зонтик не панцирь, и что он дурак. Так мы дошли до библиотеки, где Федя отдал книги, но потом мне сделалось так досадно, да и было неприятно идти под руку с человеком, который на меня сердит. Я и пошла без зонтика, а он под зонтиком. Потом ему показалось, что какие-то торговки смеялись, видя, что он идет покрытый, а я нет, и он перешел на другую сторону улицы, я решительно не знала, к чему это и отнести; и когда он вздумал пройти нашу гостиницу, то напомнила ему, что у меня денег нет и обедать я одна не могу. Он перешел на мою сторону и, идя по улице, ругался ⟨...⟩ Мне ругаться не хотелось, я молчала, потом только мы, не разговаривая, отобедали, Федя пошел за книгами, а я домой. Вечером мне не хотелось с ним ссориться, я расхохоталась, заставила его тоже расхохотаться и не сердиться на меня. Потом он лег спать и спал часа 2. Когда он проснулся, то попросил папироску и я ему поспешила подать ее, но так как я в папиросах толку не знаю, то и подала такую, какая не курится, он просил положить ее на стол и подать другую. Я так и сделала, но пока я вынимала из портсигара другую папиросу, он мне закричал, чтобы я несла поскорее, тогда я почти бросила к нему на постель и портсигар и спички. Вдруг Федя начал кричать, как, бывало, он кричал у себя дома ⟨...⟩ Я молчала, но потом сказала ему, что не хочу терпеть, чтобы он меня так ругал, что я к этому не привыкла, что если он не мог ⟨до сих пор?⟩ отвыкнуть от брани, то я все-таки не намерена его слушать. Так мы довольно сильно побранились, но потом мне не хотелось браниться, я постаралась примириться с ним, что мне совершенно удалось. Но Федя очень злопамятный нынче стал, он меня долго упрекал и потом обидел, сказав, что считал меня 10 из 1000, а я оказалась 100 из 100. Но полно об этом говорить, ведь известно, что никакой муж не считает своей жены и умной, и доброй, и развитой, ведь это так уж известно, что, право, и говорить-то не следует. Вечером он диктовал, а я писала и плакала, так мне было грустно, просто ужас, от одной только мысли, что он, тот человек, которого больше всего на свете люблю, тот-то и не понимает меня, тот-то и находит во мне такие недостатки, которых во мне решительно нет. Потом Федя просил меня объяснить, почему я плачу, но так как говорить было долго, да и что говорить, ведь его не убедишь, то я кое-как отделалась от разговоров⟨...⟩

Среда 18/6 ⟨сентября⟩. Сегодня утром встала опять с больной головой, право, не знаю, когда это у меня кончится. Потом писала несколько времени и в 9 часов разбудила Федю к кофею. Он каждый вечер боится припадка, но вот, слава богу, все проходит благополучно. Потом в 12 часов он отправился заложить наши обручальные кольца, потому что у нас сегодня нечем обедать. Но потом он через час воротился, сказал, что не застал закладчика, да и очень рад этому, потому что получил деньги от Майкова. Майков прислал деньги, 125 рублей русскими деньгами, это было, пожалуй что, и неудобно, потому что ⟨х о д и л и⟩ разменять у одного банкира за 100 рублей 330 франков, но Федя пошел по другим банкирам и ему разменяли за 335, так что он получил 418 франков. Вместе он получил письмо от мамы и принес мне, но тут он никак не мог удержаться, чтобы мне не заметить, что письмо было нефранкованное, что он опять заплатил франк. Как это скверно, право; он, разумеется, нисколько не понимает, что мама для нас делает, сколько она для нас хлопочет, это он решительно не ценит, а тут ценит какой-нибудь маленький франк, считает, что вот, дескать, пришлось мне заплатить за письмо. Как это низко, право, такая подлая скупость; разумеется, если бы у нас франк был последний, ведь нет же, ведь у нас теперь 420 франков, следовательно, один жалеть нечего. Да, наконец, если бы даже действительно было жалко, то ведь это меня оскорбляет, его замечание, неужели он не может удержаться, чтобы мне так не заметить. Он ответил, что, может быть, у мамы денег нет, чтобы послать, а послать хочется; мне так досадно. Неужели мне, чтобы избавиться от упреков, придется написать бедной мамочке, чтобы не присылала мне нефранкованных писем, мне написать это будет так тяжело, как один бог только знает.

Федя сел писать, а меня послал за сахаром и чаем, который у нас весь вышел ⟨...⟩ Потом ходили обедать. Вечером, когда Федя лег немного отдохнуть, я села писать дневник. Он спал часа 2 с половиной. Наконец, ко времени чаю я его разбудила и, дав ему папироску, села молоть кофе. Как будто он совершенно проснулся, но когда начал курить, то опять заснул, папироса выпала у него из рук, и если бы я не заметила скоро, то, вероятно, бы произошел пожар. Мне почему-то вздумалось спросить его, я подбежала и отняла папироску. Но было уже поздно, он успел уже прожечь простыню и небольшую дырочку на их синем тюфяке. Мне опять было до такой степени смешно это происшествие, но я удержалась смеяться, чтобы его не рассердить. Мы решили, что как-нибудь надо поправить дело, сделать или заплату или как-нибудь, а так, чтобы наши старухи не заметили и не рассердились на нас. Потом мы стали писать, и когда пришла старуха поправить постель, я ужасно боялась, как бы она чего не заметила. Федя опять боялся очень, чтобы не случилось припадка, но его, слава богу, не было. Сегодня, когда рассчитали наши деньги, то Федя сказал, откладывая 100 франков в стол: «А вот на эти я отправлюсь в Саксон ле Бен»[42]. У него есть решительно намерение отправиться туда, ведь вот странный человек; кажется, судьба так сильно наказывает, так много раз показала ему, что ему не разбогатеть на рулетке, нет, этот человек неисправим, он все-таки убежден, и я уверена, что всегда убежден, что непременно разбогатеет, непременно выиграет, и тогда может помочь своим ⟨п о д л е ц а м⟩.

Четверг 19/7 ⟨сентября⟩. Сегодня день превосходный, я постаралась пораньше окончить мое писание и так как у меня довольно сильно болела голова, то я и решилась куда-нибудь пойти погулять. Федя остался писать, а я отправилась. Дал он мне денег 20 франков, чтобы я могла купить себе вуаль, потому что он все меня бранит за неровности кожи. Пошла я сначала на почту, где ничего не получила, оттуда хотела идти

в здешний музей, но раздумала и решила прогуляться в Каруж, куда мне давно хотелось съездить ⟨...⟩ На дороге я нашла несколько каштанов на земле, совершенно спелых, мне вздумалось их собрать и отнести в подарок Феде. У меня только и есть подарки, что камни или еловые шишки. Я набрала штуки 4, хотела, придя домой, попросить спечь их и попробовать, потому что мне никогда не случалось их есть ⟨...⟩ От станции дилижанса отправилась я по магазинам попытаться купить ⟨в у а л ь?⟩, но оказалось, что он стоит 4 $^1/_2$ франка, синий, вовсе не такого сти⟨л я⟩, как бы я желала. Так я и отложила намерение купить, потому что не знаю, могу ли я так много истратить⟨...⟩

Пришла домой. Федя еще продолжал писать. Он говорит, что эта статья ему не даром досталась, что она ему так трудна, что писать ему не хочется ее, так что он ужас как теперь мучается [43]. Пошли обедать, а после обеда я убедила Федю купить себе шляпу. Правда, у него шляпа не слишком чтобы уж такая дурная, но он все толковал, что ему нужна шляпа, а потому и я решилась настоять на том, чтобы он приобрел себе новую. Зашли мы в один магазин, и здесь Федя начал примерять разные шляпы, но все они оказались ему узкие ⟨...⟩ Федя выбрал шляпу черную, не особенно чтобы уж хорошую, но ничего. Она даже к нему не идет, и в ней он очень похож на те пирожки, которые продают, такие славные пирожки, в Гостином дворе. Заплатили за нее 10 франков, но я стала уверять Федю, что шляпа удивительно как хороша и как идет к нему, а он несколько даже кокет⟨ливо⟩ потом целые 3—4 дня после покупки поглядывал на себя в зеркало ⟨...⟩ Он пошел читать, а я зашла за бумагой (по 15 с. за 6 листов) и здесь спросила, что стоят резные коробочки с живописью, самая маленькая стоит 2 франка, игольник тоже, набор ложек для салата стоит 10 франков и т. д. Тоже я заходила спросить, что стоит 1 веер из коричневого дерева, резной, с изображением разных костюмов Швейцарии на каждом листочке веера. Коричневый стоит 30 франков, и, судя по работе, это право недорого, а белый 22. Жаль, что у меня денег нет, а то бы я непременно купила себе такой веер. Потом зашла я за галстуком и купила себе синий, очень хорошего цвета, за полтора франка, так что даже и Федя остался им доволен, да это гораздо и лучше, потому что галстучки так скоро мараются, а все-таки полтора франка вовсе не так жаль, как если бы пришлось заплатить 6 франков.

Вечером мы опять ходили гулять несколько времени очень дружно. Я забыла сказать, что по дороге я набрала несколько каштанов, которые отнесла домой и вечером предложила нашим старухам их испечь, чтобы попробовать, что это такое. Старухи ужасно как расхохотались и объявили мне, что это дикие каштаны, что настоящие каштаны будут готовы только через месяц, а этими только кормят свиней, и убедительно просили меня не есть их. Я тоже расхохоталась над своим незнанием и, смеясь, рассказала это Феде. Я и забыла сказать, что мы отлично сплутовали насчет простыни. Если бы мы сказали нашим старухам, то они, вероятно бы, рассердились, а я сделала так: так как на простыне было несколько дырочек, то я эту прожженную дырочку вырезала побольше, сделала вроде обыкновенно как бывает от вырванного и таким образом беда была поправлена. Вечером мы диктовали и я вечером немного переписывала.

Пятница 20/8 ⟨сентября⟩. Сегодня утром несколько времени переписывала, а потом, чтобы несколько успокоить голову, отправилась погулять; сначала пошла на железную дорогу, но ничего там не узнала, да и ждать тоже особенно не хотелось. Отсюда почти в 2-х шагах находится церковь Notre Dame de Cenève ⟨...⟩ Я стояла там минут 15, все слушала музыку органа ⟨...⟩ Наконец я вышла и отправилась на почту. Сегодня ничего нет опять и мне вздумалось идти на кладбище, оно находится на

Plainpalais. В середине его находится отличный костел *[44]. Мне здешнее кладбище понравилось и, право, если бы уж умереть за границей, то я бы желала быть похороненной здесь, на этом кладбище, чем где-нибудь в другом. Здесь мне казалось до крайней степени спокойно, просто чудно, посидела я несколько времени на скамейке, потом ходила, рассматривала памятники. Хороших здесь нет, все простые, но большею частью убрано плющом и цветами. Проходила я там с полчаса, потом воротилась домой; Федя еще продолжал писать, но потом мы отправились обедать, зашли в библиотеку, взяли книги. Теперь я читаю роман Диккенса «La petite Dorrit», самый превосходный роман, который я только знаю. Федя тоже читает это самое. Вечером ходили опять на железную дорогу узнавать, что стоит туда билет [45], узнали, что езда туда 6 часов, а стоит во 2-м классе 10 франков. Следовательно, нужно взять непременно с собой, по крайней мере, 140 франков. Нам это рассказал один очень услужливый кондуктор, который даже для этого влез на стену, чтобы рассмотреть хорошенько, когда именно идет поезд. Отсюда мы пошли за фруктами к нашей неизменной старушке, с которой Федя постоянно ссорится. У нее купили фрукты и яблоки. Здесь фунт яблок стоит 20 с., а на фунт идет 4 яблока, и я так много наелась, что после почти была больна. Дорогой мы разговаривали с Федей о возможности или невозможности ехать ему туда, и когда я, не желая его обидеть, сказала, что это ⟨н е⟩возможно, то он ужасно как обиделся и начал шуметь, но как-то уж слишком развязно, например, уверял, что вот это такой вид, какой обыкновенно рисуют на подносах, т. е. это он повторил именно то, что мы как-то решили * на днях. Потом толковал про какой-то герб, вообще был очень развязен. Потом мы воротились домой, Федя несколько диктовал, я писала. Я нынче взяла привычку каждый вечер ложиться очень рано спать, часов в 9, спать до 2, когда Федя меня разбудит, чтобы проститься, от 2-х никак не могу уж заснуть, и потом не сплю часов до 4, если не более. Это очень дурная привычка, но я так привыкла, что просто не знаю, что мне делать, никак не могу отстать. Сегодня, когда Федя пришел проститься, я продолжала еще бредить и сказала ему: «Un gant qui valait» *, потом он несколько раз повторил эту фразу, о⟨д н о⟩вр⟨е м е н н о⟩ужасно удивившись, что я ему на какой-то вопрос отвечала этим выражением. Оказывается, что я только что видела его во сне и видела, что он мне изменил; тут gant qui valait было решительно в связи; но вот когда я проснулась, то, начав с ним разговаривать, я решилась его в чем-то упрекнуть и потому и сказала эту фразу. Потом мы с ним много смеялись и я окончательно проснулась.

Суббота 21/9 ⟨сентября⟩ ⟨...⟩ Утром я переписала то, что он мне диктовал, потом ходили на почту, но ничего не получили, вероятно, получим завтра. За обедом прочитали, что в Петербурге собирается комиссия, которая будет рас⟨с у ж⟩дать о том, чтобы не сажать должников за долги в отделение. Право, как бы это было хорошо, если бы это вошло в употребление. Я была бы так рада за маму, по крайней мере, она могла бы не трепетать, что вот-вот ее посадит какой-нибудь подлец в долговое отделение. Надо ей будет написать об этом, порадовать ее [46]. После обеда Федя пошел читать, а я воротилась домой, здесь меня ожидала прачка, и мне было так досадно, что у меня не было денег ей отдать ⟨...⟩

Вечером мы пошли гулять и ходили по Ботаническому саду, который находится у Palais Electoral. Прошлись * по саду и по дороге Федя мне рассказал о том, что прочитал сегодня в газетах, именно про жизнь одно-

* Перчатка, которая дорого обошлась (*франц.*).

го крестьянина Архангельской губернии, который много странствовал, много видел и, попав в Россию, был наказан плетьми, потому ⟨что⟩ он будто бы бежал из России, между тем как он сам пожелал воротиться домой, несмотря на очень выгодные условия, которые ему предлагали, чтобы остаться на мысе Доброй Надежды [47]. Вот это и всегда так. Гуляли мы очень дружно, и мне было приятно: днем сад этот нехорош, но вечером довольно темный и прохладный. Дорогой Федя мне говорил, что я стыжусь, вероятно, его, а потому никогда с ним не хожу под руку. Я уверила его, что это решительно несправедливо, потому что если я так и не делала, то только потому, что боялась, что надоем ему, что, по моему мнению, мне кажется, что для мужа ничего нет скучнее, как гулять с своей женой под руку. Он был с этим не согласен, и я, чтобы не рассердить его, предложила ему вести меня. Вот уже 2 или 3 дня как Федя постоянно мне толкует, что я очень дурно одета, что я одета как кухарка, что на кого на улице ни поглядишь, все одеты, туалеты, только одна я одета, как бог знает кто. Право, мне это было так больно слушать, тем более, что я и сама вполне хорошо понимаю, что я одеваюсь ужасно, из рук вон плохо. Но что же мне делать, разве я могу что-нибудь сделать: ведь если бы он мне давал хотя бы 20 франков в месяц для одежды, то и тогда бы я была хорошо одета, но ведь с самого нашего приезда за границу он мне не сделал еще ни одного платья, так как же тут еще можно упрекать меня за то, что я дурно одеваюсь. Мне кажется, что надо бы было это ценить, что я еще не требую себе наряды, а вовсе не браниться, потому что тут уж я положительно не виновата.

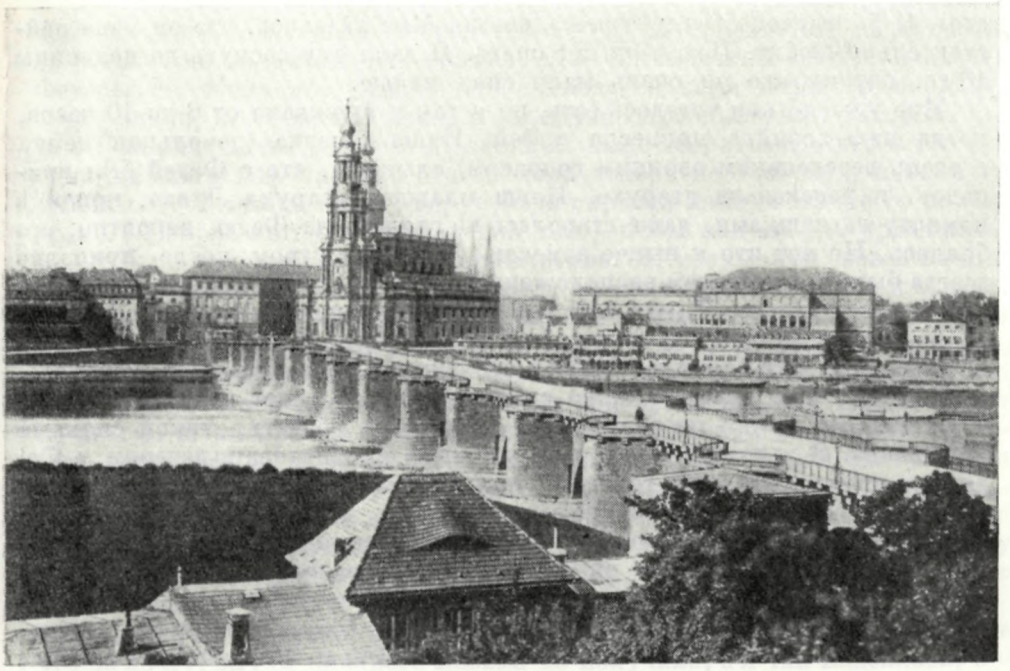
Воскресенье 22/10 ⟨сентября⟩. Утро сегодня прекрасное, мне сидеть дома не хотелось, я часу во 2-м отправилась куда-нибудь побродить ⟨...⟩ На почте мне подали мамино письмо, и я так была рада, что со мной не было Феди. Он бы был опять недоволен, что письмо не было франковано ⟨...⟩ С почты я отправилась погулять по городу и зашла на *плас Нова.* Здесь я вышла на террасу, которая выходит над дорогой, и много ходила по разным улицам. Между прочим, я вышла к собору *Святого Петра,* здесь Cathedrale, очень старинный собор, окруженный высокими домами ⟨...⟩ Я довольно долго здесь бродила, но когда вышла к часам, то увидела, что не было еще и 2-х часов. Воротиться домой, вероятно, потому не хотелось, что Федя занимается и я боялась ему помешать, хотя он мне всегда говорит, что я ему никогда не мешаю ⟨...⟩ Пришла я домой часа в 3, показала Феде присланную маме корреспонденцию с Майковым, какие они, право, подлые, эти люди, нужно оскорбить такого прекрасного, превосходного человека [48]. Потом мы отправились обедать, и когда шли, то дорогой Федя считал, сколько нам нужно денег, чтобы несколько получше жить. Оказалось, что если бы мы вздумали теперь проехать во Флоренцию и прожить там месяц, а оттуда проехать в Париж и там прожить 2, еще нужно на сотню франков сделать одежду, тысячу франков послать домой родным и 400 франков разделить между должниками, т. е. ни больше ни меньше нам нужно иметь, по крайней мере, 10 тысяч франков, да и то это решительно пустяки и мы бы все-таки не стали хорошо жить. Федя рассудил, что тогда бы (имея тоже 10 тысяч франков и послав тысячу родным) могли бы там сделать мне 2 платья: одно расхожее, а другое получше. Меня и насмешило и оскорбило, право, такое предположение. Положим, что этих 10 тысяч у нас нет, что их у нас и не будет, что даже при простом предположении богатства, так себя обольщать, право, даже слушать досадно. Как будто бы я для него решительно не так дорога, как эти подлые твари.

Пообедали, Федя сходил почитать, а я сидела дома. Потом вечером, эдак часу в 7-м, мы отправились погулять. Но куда? Все-таки так скучно,

ходить решительно некуда, мы и пошли наудачу по дороге в Chêne [49]. Там сегодня какой-то праздник, раздача наград, бал и пр. и пр. Мы прошли, я думаю, с полверсты и вышли уж решительно за город, где начинались дачи, шли довольно долго, но, наконец, стало вечереть, и мы воротились домой. По улицам, право, идти было довольно скучно. На пути мы зашли в один парк по виду, но он оказался небольшим садом, а в нем кто-то живет, так что мы, чтобы не разговаривать, ушли из сада. Пришли домой усталые и недовольные. Федя всю дорогу мне рассказывал о Венеции и Флоренции, и мне ужасно было больно и досадно, что я, должно быть, так ничего не увижу. Господи! Как бы я желала что-нибудь увидеть побольше, чем я до сих пор видела. Вечером, когда мы стали ложиться спать, я стала молиться, молилась, не думаю чтобы уж слишком долго. Но Феде это не понравилось, впрочем, его нынче все раздражает, и он мне это заметил. Я тотчас встала и, не желая с ним ссориться, простилась поскорее и легла спать. Но я не могла удержаться, чтобы не возмутиться. Федя сейчас заметил, что он меня обидел: он встал и пришел проститься со мной. Потом еще раза 2 подходил ко мне и просил, чтобы я его простила, что он очень грубый, что ему вовсе не следовало бы мне так замечать и пр. и пр., так что мы решительно помирились. Сегодня мы не диктовали, потому что у Феди не было ничего готово.

Понедельник 23/11 ⟨сентября⟩. Сегодня утром мне было ужасно грустно: со мной это нынче часто бывает, мне кажется, что причина этому мне понятна, он заставляет меня сильно все принимать к сердцу. Мне сегодня припомнились его постоянные замечания о том, что у меня дурное платье, подумал он, кто из нас тут виноват, ведь уж, конечно, не я. Я с самого утра принялась чистить свое платье, потом попросила у наших хозяек дать мне утюги, чтобы отгладить его. Они были так любезны, что мне тотчас дали, и я выгладила свое платье, но все-таки оно вовсе не имело нового вида, это правда, да и какой может быть вид, ведь я его уж так давно ношу, что, право, и пора ему состариться. Как я уже сказала, мне было очень грустно. Федя меня несколько раз спрашивал, что это со мной. Я отвечала, что у меня голова болит и просила его не приставать и не замечать, что я грустна. Так день прошел у нас грустно. Грустно сходили мы обедать, но я старалась понемногу развеселиться, и это к вечеру мне удалось. Но потом Федя рассердился на меня. Ему представилось, что я разыгрываю боль, что мне вовсе не грустно, а что я это только желаю к нему показать презрение. Поэтому он, как мне потом сказал, целый день мучился, раздражался и страдал. Странный, право, человек! Ведь я же уверяла его, что я нисколько и не думаю сердиться, что это он ⟨сердится?⟩.

Вечером мы пошли на почту, потом купили фрукты и пошли немного прогуляться. Я шла с ним под руку, чтобы он не мог опять мне сказать, что я его стыжусь. Пошли мы по дороге в Каруж, но потом повернули мимо укреплений, которые теперь ⟨огорожены?⟩* [50] и воротились назад к Ботаническому саду. Мы подошли к театру, и тут Федя сказал, что нам нужно будет когда-нибудь туда сходить, потому что, вероятно, билеты здесь очень дешевы, а мы здесь решительно без всяких удовольствий. Смотрели на афиши, что такое дают завтра, но билетов, разумеется, не взяли. Я вполне убеждена, что во все пребывание наше в Женеве нам ни одного разу не придется здесь быть. Ведь мы всё так, на всё собираемся, всё хотим видеть, и всё это оканчивается пустяками. Вечером мы опять немного поссорились, потому что, как я ни старалась с Федей разговаривать, он все утверждал, что я злая, что я нарочно его мучила и пр. и пр. Так мы и расстались довольно холодно.



ДРЕЗДЕН. ОБЩИЙ ВИД
Фотография, подаренная Достоевскому в 1867 г. А. Н. Сниткиной
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

Вторник 24/12 ⟨сентября⟩. Так как я легла вчера довольно рано, то несколько раз в ночь ⟨просыпалась⟩ и нисколько и не спала. Так без 25 минут 5 часов я проснулась и еще не совсем могла прийти хорошенько в себя, как вдруг услышала, что с Федей припадок. Право, бог, вероятно, услышал мои молитвы о том, чтобы Сонечка или Миша могли родиться здоровыми; потому что я несколько раз уже замечала, что я или не сплю, или только что проснулась, или не испугалась, когда с ним бывает припадок, так что ребенку моему через это ничего не будет дурного. Я тотчас вскочила, зажгла свечу и села к нему на постель. Припадок, по моему мнению, был не слишком сильный, потому что Федя даже не очень кричал, и довольно скоро пришел в себя, но потом у него лицо было до такой степени в эти мгновенья страшное, что я просто его испугалась (или я, может быть, сделалась такая, что на меня нападает страх). Право, мне до сих пор ни разу не случалось пугаться его, когда с ним это сделается, но сегодня до крайней степени страшное, такое страдающее лицо, что я побоялась за него. К тому же вдруг у него похолодело совершенно лицо, и главное, нос. Мне вдруг представилось, что он умрет. Как мне это было больно и как я молилась, чтобы припадок поскорее кончился! Федя довольно скоро очнулся и узнал меня. Он назвал мое имя, но я не расслышала, и чтобы знать, может ли он назвать имя мое, спросила, как меня зовут, и он, еще хорошенько не придя в себя, сказал мне, что меня зовут Анна. Потом он как будто бы пришел в себя ⟨...⟩ Он все говорил, что боится так страшно умереть, и просил, чтобы я посматривала за ним, я уверена, что с ним ничего не будет, да к тому же я не буду и спать, буду все слушать, если с ним что-нибудь случится. Он называл меня множеством хороших имен, называл ангелом своим, что он меня очень любит и благодарит, что я за ним хожу и сказал: «Да благословит тебя бог за

это». Я была очень тронута его словами. Мне казалось, что он меня действительно любит. Потом он лег спать. Я дала ему заснуть до половины 10-го, потому что он очень мало спал ночью.

Мне ужасно как хотелось есть, но я так и прождала от 6 до 10 часов, когда нам хозяйка принесла кофей. Наша соседка (довольная немка с очень веселеньким звонким голоском) слышала, что с Федей был припадок, и рассказала старухе. Наша младшая старуха Луиза, придя в комнату за чашками, даже старалась не глядеть на Федю, вероятно, его боялась. Но вот что я нынче замечаю: что Федя утром после припадка всегда бывает в хорошем расположении духа, т. е. смеется, хотя зато потом ему бывает грустно. У него этот раз болит очень плечо, вероятно, не очень ловко лежал. Да, вот еще, у него больше чем неделю болит левое плечо, но он говорит, что болит так сильно, что ужас, и он не перестает жаловаться. Сегодня как назло страшно скверная погода, идет дождь, довольно холодно. Мы просто не знали, как нам выйти обедать, такой сильный был дождь. Я утром написала все, что было продиктовано вечером, а Федя сел поправить, хотя голова у него положительно несвежая сегодня и заниматься вовсе не следует.

На завтра наш срок, но мы хотим отдать сегодня деньги. Я спросила старшую старуху, сколько ей следует. Она отвечала, что ей нужно за услуги 5 франков. По моему мнению, это довольно дорого, но что же делать. Потом она намекнула, что следует также дать ее сестре за услуги. Когда они принесла потом нам в комнату сдачи с 40 франков, то Федя, начав с нею говорить, сказал, что мы тогда дадим ее сестре, когда станем уезжать, потому что денег теперь у нас довольно мало, и старуха отвечала, что это пусть так и будет 〈...〉 Когда мы, наконец, решились идти обедать, то нам они дали зонтик, и мы, хотя и вымочились, но все-таки кое-как дошли до гостиницы. (Федя меня вздумал уверять, что он думает, что главным образом его болезнь произошла от того, что вчера он целый день мучился и страдал, думая, что я на него сержусь.) Потом Федя ходил читать, а я одна воротилась домой и читала что-то 〈...〉 После обеда Федя лег спать, я очень было хотела этим заняться, но потом мне вздумалось, несмотря на дождь, идти на почту, хотя я и не рассчитывала от кого-нибудь получить письмо. Я отправилась и действительно получила от Вани. Правда, особенно интересного он мне ничего не писал, так что, право, могла бы я обойтись и без его письма, но все-таки была рада этому 〈...〉 Ветер все становился сильнее и сильнее. Право, ужасно грустная погода, как-то даже тяжело действует на душу. Я уж как-то сказала, что я здесь очень рано ложусь спать, так что это даже сердит Федю. Вправду, это очень досадно, я думаю, видеть, как человек заваливается спать с 9 часов вечера. Затем я обыкновенно часто просыпаюсь ночью и несколько времени, иногда даже очень долго, не сплю.

Среда 25/13 〈сентября〉. Сегодня я проснулась часов в 9, оглянулась на Федю, и вдруг мне показалось, что он слишком уж бледен и слишком неподвижен. Я тотчас сошла с постели, подошла к нему, и чтобы удостовериться, взяла его за *нос*, который оказался холодным. Это меня несколько испугало, но он тотчас открыл глаза и этим меня убедил, что жив. Он был очень удивлен, когда увидел, что я его взяла за нос, и спросил, что мне такое нужно. Потом немного поспал и встал, чтобы пить кофей. Но сегодня только два дня после припадка, следовательно, он в дурном расположении духа. Когда он сидел за кофеем, то сказал: «Как я прежде пил». Мне показалось, что это он сказал с тоном сожаления; я спросила его: «Что же, разве кофей не хорош», и спросила это совершенно обыкновенным тоном. Ему показалось, что я на него закричала, вот он и сам раскричался на меня, сказал, что я постоянно ссорюсь с ним (а, между тем,

кто постоянно-то начинает ссоры, как не он). Я просила его не кричать, он назло мне закричал так громко, как обыкновенно дома кричал на Федосью [51]. Меня это ужасно как обидело, я пила кофей и плакала. Феде, видно, было жалко меня, и он начал оправдываться, говорил, что не он закричал, что у него и в голове не было ссориться, а что я все тут одна виновата. Я просила его со мной теперь не говорить, пока я не успокоюсь. Я читала книгу, вдруг Федя спросил меня: «Что же ты не ешь масло?» Вопрос этот был сделан для того, чтобы как-нибудь примириться, чтобы с чего-нибудь начать примирение. Я, разумеется, вовсе не стала представляться, что сержусь, и когда он меня привлек к себе и сказал, что ему так бывает тяжело после сильной ссоры со мной, то я подошла к нему и мы помирились. Я очень рада, что у него такое доброе сердце, он хотя и посердится, но сейчас сознается и постарается примириться. Я заметила, что в последнее время он как будто бы стал на этот счет лучше, т. е. он прежде непременно дожидался, когда я подойду попросить прощения, а теперь он это и сам сделает. Право, какая бы тут была жизнь, если бы мы постоянно только и делали, что сердились и дожидались, кто из нас первый подойдет примириться и толковали бы, что я ни за что не подойду первый, пусть она это сделает, а я уж только снизойду примириться. Право, это так уж по-детски, даже, мне кажется, только портит жизнь, ничего больше.

Сегодня я дописала письмо, которое хочу послать Маше, и снесла его на почту, но там никакого письма не получила, а я так надеялась, потому что мама обыкновенно присылает письма в субботу и в среду. На почту я едва дошла, до такой степени был сильный ветер. Они называют это la bise, т. е. северный ветер ⟨...⟩ Река сов⟨ершенно⟩ из прекрасного синего цвета обратилась в какую-то сер⟨ую⟩ мутного цвета, с огромными волнами, деревья на островке Жан-Жака так и качаются, грустно, страшно, да к тому же у нас в комнате страх как холодно, так что я сидела в пальто. Я решительно не знаю, что мы тут будем делать зимой, если уж и теперь так страшно холодно, просто хоть умри.

Пошли обедать, на дороге все время хохотали. Федя вел меня под руку, потому что одной идти было решительно невозможно. Там так сильно сдувало ветром, что я решила, что в эту минуту к нам более, чем когда-нибудь подходят стихи:

Вихрем бедствия гонимы
Без кормила и весла [52].

Право, эти стихи сочинены точно для нас. Уж именно без кормила, подразумевая под словом *кормило* деньги. Денег немного, надежды нет откуда-нибудь получить. Сходили обедать, а потом пошли в библиотеку выбирать книги. Здесь Федя выбирал ужасно как долго, точно какая разборчивая невеста: то нос широк, то ноги тонки, т. е. или небольшого формата книга, или слишком велика, или мелкая печать, просто перебрал несколько книг, так что меня просто вывел из терпения. Терпеть я не могу хозяйку нашей библиотеки M-lle Odier. Эта девица лет 36, если не больше, очень плотная, толстая, но, как мне кажется, очень злая. Она всегда ужасно притворно улыбается и насмешливо на меня и на Федю поглядывает. Федя даже уверен, что она терпеть его не может, да это очень может быть, потому что он так разборчив и постоянно с нею бранится, т. е. всегда упрекает ее, что у нее ни спросит, ничего нет. Потому я терпеть не могу сидеть в библиотеке в это время, когда Федя выбирает книги, потому что она тогда с таким вниманием рассматривает мой костюм, а он, как известно, у меня уж в таком скверном виде, что, право, совестно и глядеть.

Потом Федя пошел читать, а я отправилась покупать кофей. Но ветер был до такой степени сильный, а уж у меня силы стало мало, не только меня постоянно сносило, волосы растрепало, шляпу хотело сорвать, так что я едва-едва дошла до лавки, где мы обыкновенно берем кофей и потом оттуда едва могла дойти домой, всю дорогу страшно ру⟨г а л а⟩сь. Затем пришел и Федя, и так как я купила кофей, то он начал молоть его. Это сделалось нынче его обязанностью: он постоянно мелет, ему это даже очень приятно. Мне бывает всегда смешно на него смотреть, когда он с самым серьезным видом мелет кофей, точно какое важное дело делает. Весь день он был удивительно как весел, все хохотал и меня смешил, особенно хохотали мы, когда он пришел со мной прощаться вечером. Он объявил мне, что он ни за что не допустит, чтобы я его *водила за нос*, как это было утром, а непременно хочет остаться с *носом* и т. п. глупости, но хохотали мы как безумные. Я была так этому рада, потому что думала, что после припадка у него будет страшно скверное, по обыкновению, расположение духа. Но на этот раз, слава богу, все обошлось благополучно.

Четверг 26/14 ⟨сентября⟩. Сегодня ветер продолжается, хотя с несколько меньшей силой, но все-таки до такой степени несносный, что едва можно ходить. Старуха уверяет, что он окончится завтра, это просто ужас, просто нельзя жить в этой стране, так холодно и такой страшный ветер, что двинуться из комнаты нельзя. Пошли обедать, а после обеда ходили за разными покупками, так, между прочим, Федя мне купил шоколаду 2 плитки, т. е. полфунта, $^1/_4$ фунта, который стоит 2 франка, и $^1/_4$ фунта в 35 с. Взял он сегодня читать «Corricolo» Александра Дюма и уже когда читал, то ужасно как хохотал, т. е. я, кажется, еще ни разу не видела, чтобы он мог так сильно хохотать. После каждого хохота он обыкновенно рассказывал мне, что именно тут было смешного, и даже несколько раз читал мне. Вообще я начала замечать, что Федя нынче очень часто рассказывает мне, что такое он прочитал в книге ли, или в газетах, особенно в газетах, потому что я не читала сама, ну так он мне почти всегда рассказывает, что такое он там вычитал. Меня это ужасно как радует. После обеда я ходила опять на почту, но ничего не нашла; право, была такая досада, что ужас. ⟨Теперь?⟩ меня очень мучает одна вещь: мама просит дать ей доверенность на перезалог двух займовых билетов, но не написала № квитанции, а срок билетам будет 20 сентября. Так что, так как я не послала доверенность, то очень может быть, что билеты эти пропадут. Право, это меня до такой степени мучает, что я решительно не знаю, что мне и делать. Постоянно * мысль об этом, только и дело, приходит ко мне, а помочь решительно никак не могу, потому что, как я сегодня узнала на почте, консула здесь русского нет, а следует послать доверенность для засвидетельствования в Берлин.

Сегодня Федя занимался пересмотром своей статьи и очень много что вычеркнул или переменил, так что после обеда он предложил мне переписать по крайней мере 20 страниц. Просил, чтобы это было готово к завтра, потому что он думает завтра послать статью в Москву. Уж, право, давно пора это сделать. Ведь деньги были взяты в январе, а теперь уж сентябрь месяц, может быть, этот человек не может без этой статьи издать свой сборник, может быть, он терпит убытки, так что мне, право, ужасно как перед ним совестно. Я переписала несколько страниц, но остальное оставила до завтра, а сама весь вечер читала «Corricolo». Вообще Федя нынче со мной очень нежен и добр, у нас всегда так мирно: иногда мы ругаемся, особенно я называю его дураком, но сейчас расхохочусь, так что и он, понимая, что я его не желаю обидеть, тоже рассмеется, и в ответ тоже как-нибудь обругает. У Феди страшно болит левая рука, так что

* *Исправлено из* просто.

он решительно не знает, что с нею и делать. Сегодня 5 месяцев как мы уехали из России.

Пятница 27/15 ⟨сентября⟩. Погода несколько переменилась и хотя совершенно не тепло, но все-таки не такая дурная, как вчера. Сегодня утром я опять пошла на почту, но по обыкновению ничего не получила. Отсюда я решилась идти и добиться от кого-нибудь насчет доверенности, которая меня мучает ужасно, пошла я мимо Palais Episcopal * и нашла какой-то Hôtel de Ville **. Здесь я спросила у одного жандарма в наполеоновской шляпе, нет ли консула русского здесь, он сходил куда-то узнать, но потом предложил мне пойти в Chancellerie *** и узнать, говоря, что, вероятно, там мне могут рассказать. Я пошла в Hôtel, это очень старинное здание, с различными каменными лестницами. Сначала я блуждала, но потом кое-как нашла Chancellerie. Зашла туда и нашла какого-то пьяного человека, который меня проводил к другому. Другой, по счастью, не был пьян. Он мне сказал, что доверенность должна быть, во-первых, засвидетельствована им, непременно им, а потом она пойдет на засвидетельствование в консульство в Берлин, что одна их подпись русского подданства не будет действительна, потому что оно их не знает, следовательно, подпись консула необходима. Он мне предложил, если я сама не желаю послать в Берлин, то принести бумагу к нему и он это сделает не больше как в 3 дня. Вообще он был очень любезен, если мне уж непременно придется послать доверенность, то я непременно обращусь к нему, поговорив с ним, я вышла из Hôtel и пошла по какой-то улице, по которой еще никогда не ходила, улица прекрасная, с хорошими магазинами, но не слишком широкая. Заходила я сегодня в один магазин кружев ⟨...⟩ Потом заходила еще в один магазин, где висело серое, довольно светлое платье, как нынче носят. Я хотела спросить только цену, но она заставила меня примерить, и хотя на мне было в это время мое синее простое платье, но оно наделось сверху, и так удобно, что совершенно закрыло синее. Стоит оно 38 франков, но если бы поторговаться, то, вероятно, отдали бы дешевле, это наверное. Но у меня ведь денег этих нет, чтобы купить, так что я очень досадовала, что не имею такой возможности, чтобы приобрести себе платье, мое синее совершенно вышло из моды. Носят такие только одни кухарки, а вот и я принуждена за неимением денег носить такую же дрянь. Когда я воротилась домой, то стала переписывать то, что меня Федя просил переписать вчера, но оказалось, что надо было даже переписать и больше. Федя ужасно спешил, уверяя, что вот из-за меня не придется послать, что мы так давно не посылаем и решительно свалил беду на меня, как будто я была виновата в том, что он больше, чем полгода, не мог написать статью, а тут один день для него стал такой важный, что непременно нужно было окончить сегодня. Я ужасно как торопилась и дописала, но зато мы пошли часом позже обедать и нам подали кушанья почти совершенно холодные. Отсюда мы пошли за конвертами, заходили в несколько магазинов, но такой величины конвертов достать не могли; наконец, после долгих исканий, нашли в каком-то магазине желаемой величины конверты, но зато такие тонкие, что пришлось положить в 2 конверта, адресованные на имя мамы, прося ее передать Аполлону Николаевичу, а он уж перешлет в Москву [53]. Отнесли на почту и там пришлось нам заплатить 6 франков 75 с. Это ужасно как много, да, я думаю, и бедной мамочке придется еще приплатить ⟨...⟩ Потом Федя проводил меня домой, а сам отправился читать. Я все время поджидала его и ужасно жалела, что отпустила читать, потому что сегодня мне го-

* Епископский дворец (*франц.*).
** Ратуша (*франц.*).
*** Канцелярия (*франц.*).

ворили, что у него даже днем чуть было не случился припадок. Но он довольно скоро воротился. Он сегодня такой веселый, как и вчера, и я этому очень рада. Вечером он был очень добр ко мне и весел, так заботлив, все укрывал меня одеялами. Милый Федя, право, я его ужасно как люблю.

Суббота 28/16 ⟨сентября⟩. Сегодня утром Федя принялся писать письмо к Эмилии Федоровне [54]. Мне очень хотелось узнать, в чем оно заключается, и потому я предложила, что не оставит ли он мне несколько места, чтобы я могла тоже что-нибудь ей приписать. Он мне сказал, что оставит. Я же сама отправилась на почту, боясь, что может ко мне прийти письмо в это время, когда мы понесем это письмо на почту, и если письмо мамино будет опять нефранкованное, то Федя опять мне заметит, что у нас только на ее письма выходят деньги. По дороге купила сахару и, спеша, воротилась домой. Он все еще продолжал писать, и когда кончил, то я тоже приписала еще целую страницу. Мы сегодня с Федей поспорили. Я его уверяла, что он очень дурно делает, что не напишет ничего Паше, тем более, что он должен знать, что Паше будет очень приятно получить от него письмо, следовательно, его упреки, может быть, совершенно и несправедливы. Но Федя отвечал, что это все пустяки, а что он тогда-то и напишет, когда получит от него письмо. Все мы на этот счет спорили. Потом отправились обедать. Сегодня после 2-х или 3-хнедельного промежутка опять спросили вина. Но я думаю, что это будет иметь дурное влияние на Федю. Потом снесли на почту письмо и заходили в библиотеку, где Федя опять ужасно как долго выбирал книги. Меня это ужасно как рассердило, я это ему заметила, но он отвечал, что нарочно будет как можно дольше выбирать книги сегодня. Я, разумеется, не могла ссориться с ним в библиотеке, но когда мы, наконец, вышли на улицу, то я ему сказала, что ни за что больше не пойду с ним в библиотеку, если он не хотел согласиться на мою просьбу и непременно хотел рассердить меня. Когда мы шли по улице, Федя все подсмеивался надо мной и потом сказал, уходя в читальню: «До свидания», я в шутку отвечала: «Хоть не приходи совсем». Я видела, что это слово на него очень дурно подействовало, он отвернулся и пошел, не оглядываясь. Мне самой было больно, что я это сказала, но делать было нечего. Через час он пришел домой, и так как я лежала на диване, потому что болел у меня сильно бок, то он подошел и с самым веселым видом предложил мне гулять. Я, разумеется, ссориться не стала, и мы собрались, опять заключили мир очень весело. Тут Федя предложил мне переменить «Крошку Доррит», которую я еще не дочитала, и взять какую-нибудь другую книгу. Я, чтобы ему угодить, сказала, что согласна ⟨на это?⟩, но с тем, чтобы переменил он сам, так как мне вовсе не хотелось заходить опять к этой отвратительной m-lle Odier. Он так и сделал. Потом мы долго бродили, ходили по Ботаническому саду, где было очень хорошо, свежо, чисто, никого не было. Когда мы шли назад, то опять остановились у театра, и Федя решил, что нам непременно следует когда-нибудь сходить туда, потому что он мне никаких удовольствий не делает. Я отвечала ему, что это все пустяки, что никаких удовольствий мне не надо, что я уверена, будь у него деньги, то бы сделал, чтобы мне было весело. Сегодня мы все высматривали мне туфли. Федя несколько раз предлагал зайти, но я не хотела, потому что знала, что туфли непременно будт стоить франков 10, если не больше, а ужасно гадких мне брать не хотелось; потому я отговорила его. Долго он все вздыхал и говорил, что даже туфли мне не может купить, видно было, что это его огорчало (но, право, я вполне уверена, что получись у нас деньги, напротив, разговоры были бы не о одежде нам, а о том, чтобы послать деньги в Петербург тунеядцам). Потом мы зашли опять



ЖЕНЕВА. ДОМ, В КОТОРОМ ДОСТОЕВСКИЕ ЖИЛИ С АВГУСТА ПО ДЕКАБРЬ 1867 г. (УГОЛ УЛ. ВИЛЬГЕЛЬМА ТЕЛЛЯ И УЛ. БЕРТЕЛЬЕ)

Фотография из коллекции А. Г. Достоевской

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

в другую кондитерскую, и Федя купил мне пирожок (оказался дурной) и какой-то пряник с орехами, но такой черствый, что просто я боялась переломать все зубы.

Вечер опять провели весело, мы нынче очень дружно живем, дружно, как нельзя лучше, и, господи, как бы я была счастлива, если бы это у нас продолжалось долго. Мне кажется, что он действительно меня любит, особенно в последнее время, и что, может быть, я могу и не опасаться теперь, что он полюбит кого-нибудь другого. Вечером мы разговаривали о прежних днях, т. е. о том, как я пришла к нему, как я его полюбила, как была счастлива, что он приехал [55], и о разных разностях. Вообще очень дружно, мирно разговаривали. Потом, когда у меня заболел бок или начало ноги, то Федя с беспокойством расспрашивал меня, что со мной, и потом укрывал меня одеялом и даже мне принес сам стакан воды, чтобы я не простудила ноги без башмаков или туфель.

Воскресенье 29/17 ⟨сентября⟩. День сегодня хороший, хотя несколько холодный, ходили утром на почту, думали что-нибудь получить, но ошиблись, писем нет как нет. Такая досада. Сегодня по старому стилю 17-е число, и я весь день припоминала день прошлого года, во всех его подробностях ⟨...⟩

Сегодня и здесь день прошел довольно скучно, ходили обедать, ходили несколько гулять, читали и под конец я залегла рано спать, так что проспала часов, я думаю, не меньше 10, если не больше. Потом вечером, после нашего с Федей прощания, я не могла заснуть, потому что у меня болел живот. Федя был удивительно как ласков со мной сегодня, да вообще и в эти дни, так что я просто не знала, как мне и бога благодарить. Он очень жалел обо мне, просил меня вертеться, сколько мне угодно, если мне от того хоть несколько легче, беспокоился, одним словом, показывал, что он меня очень и очень любит. Господи, как нынче я счастлива, право, я никогда не ожидала и не мечтала, чтобы я могла так тихо и спокойно жить бы с ним. У нас такое согласие, или Федя соглашается, или я, спо-

ров нет, а если случится кому-нибудь рассердиться (большею частью мне), то я обругаю его дураком, но сейчас расхохочусь, и он вполне уверен, что я это его назвала вовсе не по злобе, а просто так вырвалось, и что я решительно не сержусь на него. Сегодня написала и отправила к маме письмо с просьбой о деньгах. Вечные просьбы. Господи, когда-то я не буду ее беспокоить.

Понедельник 30/18 ⟨сентября⟩. Сегодня утром я как-то особенно беспокоилась, так мне хотелось получить письмо. Вот я часов эдак в 11 пошла на почту и действительно получила от мамы записку. В ней она мне пишет, что Паша явился в нашу лавку и спрашивает, нет ли на имя Сниткиной из-за границы письма и сказать адрес. Я пожалуй что и уверена, что он, пожалуй, и не посовестится решительно взять себе письмо. Это такой уж человек. Мне это было до такой степени неприятно, что ужас; но я решительно не так поступила, как мне было бы нужно поступить. Именно, идя домой, я расплакалась и сказала об этом Феде. Он по духу противоречия, разумеется, начал заступаться за Пашу. Мне следовало бы сначала похвалить Пашу, тогда бы, конечно, другое было бы дело. Это уж Федя когда-то бы начал бранить его. Мне было досадно на Федю, и так как дома сидеть не хотелось, то я объявила ему, что пойду куда-нибудь гулять в окрестности, взяла с собой книжку по обыкновению * и отправилась по набережной lex Eaux vives по правому берегу Женевского озера ⟨...⟩ Прошла я деревушку Cologny, которая на половине, и продолжала все идти по берегу, желая дойти до конца мыса, который уже виделся недалеко. Но я вздумала спросить у кого-то, который теперь час, и мне вдруг сказали, что теперь уже 3 часа. Ну, разумеется, я вспомнила, что ведь Федя один не пойдет обедать, следовательно, он теперь сидит и, может быть, очень голодает. Я поворотила назад и через час пришла домой. На наших часах (которые отстают) было $^3/_4$ 4-го. Федя, давно уже готовый, сидел и ждал меня. Но нисколько мне не заметил, только ласково рассмеялся при моем приходе и расспрашивал, где я была. Вообще у него теперь всегда для меня очень ласковая улыбка, он меня ужасно как радует. Потом пошли обедать, а вечером, несмотря на мою усталость, опять гуляли, кажется, в Ботаническом саду.

Вторник 1 октября/19 ⟨сентября⟩. Сегодня у меня страх как была налита голова кровью, просто я решительно не знала, что мне и делать. Начала чинить Феде его сюртук, но должна была несколько раз остановиться, так у меня сильно болела голова. Потом пошли обедать и у меня от воздуха несколько голова ⟨прошла⟩. Сегодня Федя дал мне 2 полфранка, чтобы я могла себе купить очень мне нужное. Я забыла сказать, что вчера я купила себе кольдкрем на 20 сантимов ⟨...⟩ Сегодня я зашла опять в аптеку и купила себе на 50 с. пудры ⟨...⟩ Вечером, когда Федя воротился из кофейни, он предложил мне пойти с ним на железную дорогу. Я отвечала, что, пожалуй, пойдем. Тогда Федя заметил: «Коли ты согласна».— «На все согласна»,— я отвечала. Он вот это согласие мое должен очень ценить, что я никогда ни о чем не спорю, а всегда стараюсь как можно скорее согласиться, чтобы не было ссоры. Федя отвечал, что во мне надо ценить не одно только согласие, а то во мне очень много, что следует ценить и дорожить, что я такая славная. На железной дороге мы узнали опять то самое, что и прежде, и когда шли дорогой, то все разговаривали о том, ехать ли или нет. У нас теперь денег 225 франков, ему следует взять с собой на все 150, остается 75, а счет с кольцами 100 франков; больше же ничего в виду не предвидится, решительно ничего, кроме тех денег 50 рублей, которые может прислать мама, но ведь и это совершенно ненадежно, я ее просила отыскать мне деньги к 1-му ноябрю

или к 15 октябрю, т. е. их стиля, но не раньше, а что будет 27 октября нашего стиля, а теперь только 1-е, следовательно, чем же мы проживем эти все дни, я решительно, право, не знаю. Что же до моих золотых вещей, которые заложены в Бадене, то об этом теперь и говорить нельзя, потому что нечем послать. Я и теперь предлагала Феде, чтобы послать туда деньги, вещи оттуда пришлют, и тогда их здесь заложить, уж если не 120, то по крайней мере 100-то франков дадут. Но он не согласился; что же делать, надо покориться, хотя мне очень и очень жаль, если придется потерять эти вещи, а что придется, так это уж наверно, про это и говорить нечего; я даже предлагала, чтобы Федя теперь выкупил, а что тогда я попрошу маму прислать мне деньги на выкуп и выслать ей эти вещи, чтобы она могла мне их заложить. Но Федя все не хотел, а теперь они и пропали. Ведь я права, и у меня также нет решительно никаких украшений, были только одни эти серьги и брошь, но теперь и их нет. Вот они что значит, подарки-то; а когда я дождусь новых серег, ведь этого уж решительно никогда не будет [56]. Прежде надо будет одеть всю эту поганую орду, а потом уже надеяться себе что-нибудь завести. Надо прежде долги все отдать и этих подлецов успокоить, а тогда только покупать себе вещи. Ах, боже мой, как это все скверно *, ну да что же делать, разве я думала прежде, что это так будет, ведь должен был сам очень хорошо это знать, следовательно, мне и печалиться об этом теперь решительно нечего. Федя все еще думает отправиться; но так как, когда мы разговаривали, то он заявил даже, что должен выиграть несколько тысяч, то это меня решительно убеждает, что он ни гроша не выиграет, мы опять будет бедствовать. Я не старалась его особенно уговорить ехать, у меня даже есть какое-то предчувствие, что поездка окончится худо, т. е. проигранием. Но что тут делать, ведь его не разубедишь.

Сегодня он начал программу своего нового романа; записывает он его в тетради, где было записано «Преступление и наказание» [57]. После обеда, когда Феди нет дома, я всегда прочитываю, что он такое записал, но, разумеется, ни слова не говорю ему об этом, потому что иначе он бы на меня ужасно как рассердился. Зачем его сердить, право, мне не хочется, чтобы он прятал от меня свои тетради, лучше пусть он думает, что я решительно ничего не знаю, что такое он делает. Понятно, что человеку очень неприятно, если читать то, что он написал нагрязно. Когда мы пришли домой, то Федя сказал, что мы довольно хорошо живем друг с другом, что он даже не ожидал такой спокойной жизни, как здесь, что мы очень редко ссоримся, что он счастлив. Вечером, когда он прощался, то сказал, что если он умрет, то чтобы я его вспоминала хорошим и думала о нем. Я просила его не говорить так, потому что это меня всегда ужасно как беспокоит. Тогда он сказал: «Нет, зачем умирать, разве можно оставить такую жену, нет, для нее нужно жить непременно». Он нынче меня называет «М-me Достоевская», и я очень люблю это слушать, когда он это говорит. Потом вечером у нас обыкновенно идут разговоры; так, вчера мы говорили о Евангелии, о Христе, говорили очень долго. Меня всегда радует, когда он со мной говорит не об одних обыкновенных предметах, о кофее, да о сахаре, а также, когда он находит меня способной слушать его и говорить с ним и о других, более важных и отвлеченных предметах. Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне и толковал, что ей непременно следует поставить памятник. Не знаю, за что только? Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет.

Среда 2 ⟨октября⟩/20 ⟨сентября⟩. Сегодня я хватилась и увидела, что у нас нет чаю, Федя еще спал, а я отправилась покупать чаю, купила по 3 франка за полфунта. Мы брали постоянно по 4 франка, но вот я уж

раз брала по 3, и он оказался такой же, какой и в 4. Потому я решила брать по 3. По дороге я зашла и спросила в магазине себе иголок. Мне показали маленькую коробочку с 4-мя бумажками иголок, 5, 6, 7 и 10 номеров, т. е. иголок должно быть 100, если не больше, и вся эта коробочка стоит 60 с. Это очень недорого. Я купила себе. Теперь у меня иголок будет, право, на целый год, если не больше. Потом купила себе пуговиц белых 2 дюжины по 20 с. за дюжину и наконец купила себе воротничков французских, вместо 60 с. за 50, но они оказались короче прежних. Вообще я очень рада, что могла себе завести, все-таки у меня уж давно не было иголок, и пуговиц, и я все не могла собраться купить себе их. Сегодня отличная погода, и я вздумала отправиться опять гулять, как прежде; Федя меня отпустил, убеждал беречься. Когда я вышла, то он долго стоял у окна и смотрел, как я иду, и кланялся мне ⟨...⟩ У всех прохожих я расспрашивала дорогу, и наконец дошла, решительно нисколько не устав, до местечка Chêne. Так как было уже довольно поздно, и я знала, что Федя ждет меня обедать, то я, не осматривая Chêne, пошла к станции здешней конной железной дороги. Села в дилижанс. Взяли до города 20 с. Это очень мало, взяв во внимание длинное расстояние от города. В дилижанс, кроме меня, села еще одна дама, которая мне рассказала, как проехать на гору Grand Salève — огромную каменную гору, которую мы постоянно видим перед глазами. Выйдя из дилижанса, я поскорее пошла домой, и пришла, кажется, в половине 4-го, страшно запыленная и голодная, Федя уж меня дожидал давно и нисколько не выбранил, что я его так долго заставила ждать обедать. Пошли обедать, потом Федя пошел в кофейню, а я воротилась домой и отдыхала. Федя принес мне книгу «Последний из могикан», великолепную вещь Купера, которого я еще совершенно ни одного романа не читала. Вечером мы ходили немного гулять, потом пришли, и так как я была несколько сегодня нездорова, то Федя был еще внимательнее ко мне, чем всегда.

У меня сильно налились груди, Маша писала, что на 5-м месяце появляется молоко, должно быть теперь оно и появилось. Но груди сделались очень велики и как-то болят, т. е. зудят, чешутся и горят. Федя был очень, очень мил ко мне, и когда я как-то подошла к нему, то поцеловал меня в живот и сказал: «Вот тут Сонечка или Миша, мои милые». Он очень меня любит, это видно, он говорит, что очень любит Сонечку и так желает, чтобы все это кончилось благополучно. Вечером, когда он пришел прощаться, то, увидев груди, ужасно начал беспокоиться, говорил, что они ужасно как налились, непременно требовал, чтобы я пошла завтра к доктору. Милый Федя, как он заботится обо мне. Право, я так ценю это, так этому рада. Он как-то мне говорил, когда мы легли спать, что он ценит, что я его *единственный* друг, что он ценит, что я его люблю, что я всегда буду его, что это так приятно и хорошо знать, что вот имеешь такого человека, который тебя очень и очень любит.

Четверг 3 ⟨октября⟩/21 ⟨сентября⟩. Сегодня утром Федя меня убеждал, чтобы я пошла с ним к доктору, но я сказала, что я лучше пойду к M-me Renard, повивальной бабке здешней, чем к доктору, что это решительно ничего и все пройдет. Но сегодня у меня груди опять ужасно как болели, и мне было очень тяжело их носить, так что я должна была надеть корсет, который меня ужасно как стеснял. Утром я решилась выйти погулять, сначала пошла на почту, но писем не получила, а потом отсюда пошла в здешний музей Rath какого-то ⟨русского?⟩ генерала Лалетина [58], женевского уроженца, который выстроил этот музей ⟨...⟩ Федя лежал на постели, когда я пришла, и расспрашивал меня, что такое я видела в музее, потом мы пошли обедать, и сегодня нам подали яишницу с тухлыми яйцами, так что мы и не ели и сказали об этом девушке, которая

нам сегодня прислуживала. Потом пошли на рынок; здесь Федя купил фруктов и яблоков (забыла, Федя вчера был так любезен, что принес мне яблоков, зная, что я их люблю, сам же он их не ест). Я до сих пор никогда не едала фиги, и так глупо, что вчера только узнала от Феди, что фиги в высушенном виде есть винные ягоды, которые так хороши. Федя мне предложил как-то одну фигу, я взяла, заплатили 5 с., но когда начала ее есть, то она мне до того не понравилась, что я другую половину и не доела. Читала книгу и сидела у окна, ждала Федю, когда он придет, и от нечего делать пела песни, т. е. укачивала Соню или Мишу различными колыбельными песнями. Я нынче о них только и думаю, и все представляю их в разных видах, то очень маленькими, то подрастающими, то даже большими, и так, право, счастлива, что и сказать трудно. Пришел Федя, и мы пошли опять гулять. Дорогой Федя мне все рассказывал о том, что он прочитал в газетах, как это он мне всегда делает, так что и я все знаю, что такое случается в России. Мы много ходили, но было довольно холодно и я просила воротиться домой. Потом, так как у меня груди продолжали болеть, то я легла спать, потом Федя меня разбудил прощаться, говорил что он меня ужасно как любит, что он будет тогда очень счастлив, если я такая буду всегда, что тогда он будет награжден не по заслугам. Я сказала ему, что он теперь по утрам стал гораздо ласковее, чем прежде, он отвечал, что разве с тобою можно быть не ласковым, ведь ты всех побеждаешь, всех покоряешь своим обращением. Потом ночью, когда уже лежали в постели, *сказал, что он никогда еще никого так сильно не любил*, как меня и Соню. Вот того-то я всегда и дожидалась, вот этих-то слов, потому что мне всегда хотелось, чтобы он сам сознался, что я доставляю ему счастье, что он никогда не был так счастлив, как со мною, и чтобы это убеждение, что он любит меня больше, чем всех, вошло ему в кровь и плоть, чтобы он был сам совершенно в этом уверен. Вот тогда я буду довольна и счастлива. (Я все забывала записать, что так как Феде нынче кажется холодно, то мы купили дрова, целую корзину небольших полешек за 2 франка 35 с. и теперь каждый вечер топим понемногу.) Но вот какое неудобство, у нас постоянно дым в комнате, так что приходится растворять окна, чтобы выпустить дым. Нынче главное занятие Феди состоит в том, чтобы подходить к термометру и смотреть, сколько теперь градусов, он бывает очень утешен, если градусы хоть немного повысились. Смешной, право, этот Федя, так его это занимает. Тепла все-таки я не замечаю, но угар каждый день бывает и голова моя от него очень болит. Сегодня спала очень хорошо, кажется часов 10, если не больше, и все видела какие-то несообразные сны, просто из рук вон какие смешные.

Пятница 4 ⟨октября⟩/22 ⟨сентября⟩. День сегодня очень хорош, но довольно холодно; у меня с утра болела голова, так что я никуда сегодня не ходила, а сидела дома и шила что-то, Федя каждый раз, когда я прилягу, непременно подходил ко мне, и спрашивал с беспокойством, что со мной, видно, его очень заботит мое положение. Пошли обедать, а оттуда он отправился читать, а я сходила на почту, но по обыкновению ничего не получила и воротилась домой, где стала читать опять «Le dernier des Mohicans». Потом, после кофейни, Федя пришел и предложил мне идти гулять, и хотя было довольно холодно, и я почти дрожала, но мы отправились. Дорогой мы начали говорить о том, ехать ли ему или не ехать. Я особенно сильно не советовала, и когда мы гуляли по Ботаническому саду, то мое молчание даже рассердило Федю и он сказал: «Ведь вот молчит, неужели нечего сказать, или ты * очень осторожна». Я ему отвечала, что если мы раз решили, чтобы ехать, то пусть он уж едет. Он был в ужасном волнении и очень колебался. Действительно, имея 200 франков денег всего-навсего и не видя ничего больше в будущем, отдать 150 франков,

на которые мы бы могли все-таки прожить несколько времени, к тому же пропадут серьги и моя брошь. Но что же делать, ведь если Федя взял эту мысль в голову, то ему будет уж слишком трудно расстаться с нею. Потому отговорить его не ехать почти невозможно; пошли мы разменять 100 франков, купив один фунт кофею за 2 франка и потом воротились домой. Федя сделался необыкновенно ласковый, он уверял меня, что если он и поедет, то будет ужасно как беспокоиться, что такое со мной, что я делаю, уж не случилось ли какого со мной несчастья. Я стала собирать ему чемодан, но он был все еще в нерешительности, ехать или нет. Когда я легла немного полежать и почти уснула, он подошел, чтобы тихо посмотреть на меня и, увидев, что разбудил, ужасно жалел об этом и толковал, что меня очень любит.

Сегодня у нас зашел разговор о том, что если бы у него было 200 тысяч, я сказала, что тогда бы, должно быть, мы очень дурно бы жили, и что я, вероятно, украла бы эти деньги у него. Он отвечал, что счел бы за счастье дать мне эти деньги, был бы счастлив, если бы я только их взяла. Потом он жалел, зачем ему не 30 лет и нет у него 40 тысяч. Я начала стирать шелковые полоски от юбки и гладить платки, тогда он сказал, что вот тебе бы следовало на креслах сидеть, а я отвечала: «Есть фрукты и пить пиво, вот бы была жизнь-то, а то что теперь». Он говорит, что никогда не забудет, что я теперь стираю и глажу для него, и это в первом же году нашей жизни. Потом, когда я легла спать, то спросила, любит ли он меня. Он отвечал, что любит.— «Так ли как всех?» — «Я не отвечу. Нет, я люблю тебя больше всех, почти так, как любил и люблю покойного брата, а к этому ревновать уж нельзя; нет, даже больше, чем брата; умри ты, мне кажется, я ужасно бы тосковал, все припоминал твое личишко, как ты тут сидела, говорила; нет, мне кажется, что я бы просто не мог даже жить, просто бы умер, так мне было бы тяжело». И эти слова он говорил с видимым волнением. Я видела, что это, должно быть, так и было бы, если бы я умерла. Меня это даже тронуло. «Ты бы, пожалуй, женился бы, и у моей Сони была бы злая мачеха. Пожалуй, и не злая, но к Соне будет злая». «Нет, ты можешь быть спокойна, *у твоей дочери не будет мачехи*, у нее будет Сонечка * и то под моим близким присмотром [59]. Но зачем мы говорим об этом, этого и случиться не может. Я сказала, что тогда мама присмотрит за Соней. Он отвечал: «Да, твоя мама, вот кто будет за нею смотреть». Но потом прибавил: «Зачем же мы говорим об этом, какие мы дураки».

Я заснула, и он старательно меня закутал. Это он делает с большим удовольствием, как я вижу; вообще прислуживает мне очень. Как я его люблю, право, еще больше, когда вижу, что он меня так любит. Когда он пришел прощаться, то много и нежно меня целовал, говорил, что решил, если ехать, то непременно приехать в воскресенье, потому что долго без меня пробыть не может.

«Я жить без тебя не могу,— говорил он,— как мы срослись, Аня, и ножом не разрежешь, а еще мы расходиться иногда хотим, ну, где тут расходиться, когда друг без друга жить не можем». Потом уже в постели он говорил: «Вот для таких, как ты, и приходил Христос. Я говорю это не потому, чтобы любил тебя, а потому что знаю тебя. Вот будет еще Соня, вот будет 2 ангела, я себе представляю, как с нею будешь, как это будет хорошо». Потом он много меня просил, чтобы я берегла его Соню, его дочку, называл меня мамашей. Я теперь знаю, что Федя чем дальше, тем больше начинает меня любить, и вполне уверена, что при ребенке его любовь будет ко мне еще больше. Господи, как я счастлива! Я так счастлива, так счастлива, как никогда и не надеялась быть. Право, у других всегда бывает, что после года супружества муж и жена становятся холодней и холодней друг к другу. Авось бог поможет, что у нас не будет



ЖЕНЕВА. ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛИ ДОСТОЕВСКИЕ

Фотография с надписью А. Г. Достоевской: «Дом в Женеве, rue de Mont-Blanc. В 1868 г. здесь жил Ф. М. Достоевский и здесь же родилась его старшая дочь София»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

так, авось у нас любовь будет укрепляться, и чем дальше, тем больше, как я бы была счастлива, если бы мне удалось хоть бы сколько-нибудь украсить его жизнь. У него так было мало радостного в жизни, что хоть под конец-то ему было бы хорошо. А я уверена, что если он будет меня любить, то я нисколько не изменюсь к нему, да даже если он меня и разлюбит, то вряд ли я переменюсь. Федя просил меня разбудить его в 7 часов завтра утром.

Суббота 5 ⟨октября⟩/23 ⟨сентября⟩. По Фединой просьбе я разбудила его в 7 часов, и первое слово, которое он мне сказал, это было: «Кажется, это нелепость», т. е. говорил это он про поездку. Но однако встал, хозяйка сварила нам кофею. Он начал собираться. Я тоже решилась проводить его на машину. Рассказал он мне свой сон, видел какую-то отроковицу, знакомую Соловьева [60], и видел еще брата. А это очень дурной знак, потому что всегда, когда Федя видел брата, то непременно бывала какая-нибудь неудача, ну, а на этот раз неудача о⟨че⟩ви⟨дна⟩. В половине 9-го мы уже вышли из дому и пришли туда задолго до прихода поезда. Федя взял билет 2-го класса, стоит 10 франков 40 с., а взял он с собою 148 франков, оставив у меня 55 франков. Какой здесь смешной обычай: например, в залу, где ждут, пускают только тех, у которых есть билеты, а провожающих не пускают. Зала вся разгорожена, точно конюшня, и билетами означено, где место 1-го, а где 2-го и 3-го классов. Что это за пустяки, точно провожат⟨ые⟩ ⟨не найти?⟩ могли залу или перепутать. Федя, разумеется, и не пошел в залу почти до самого звонка, но потом, желая занять себе хорошее место у окна, пошел в залу, а я оставалась дожидаться у двери. Уйти мне не хотелось, хотела ждать, пока не уйдет поезд. Но положение мое было преглупое. Стоять у двери и не знать, уйти или нет. К тому же, я очень боялась, чтобы Федя на меня не

рассердился, зачем я дожидаюсь. Наконец, он подошел к двери и сказал, что теперь я могу уйти домой. Я простилась с ним и отправилась, но все-таки еще не домой. На дебаркадер выходить не позволяют. Здесь уж такой обычай. Я обошла двором, но и здесь попался какой-то человек, который сказал, что дальше идти нельзя, а если я хочу остаться, то пусть посижу у будки и увижу, как пойдет поезд. Я села на скамейку и ждала минут 10. Когда поезд тронулся, я встала и тут увидела Федю. Он видел меня тоже, начал мне раскланиваться, снимает шляпу и машет рукой. Он, кажется, был очень доволен, что я не ушла. Он раскланивался до тех пор, пока поезд не скрылся из виду. Шел небольшой дождик и было страшно холодно, решительно как зимой.

Я пришла домой, думая согреться чаем, но оказалось, что наша предупредительная хозяйка уже убрала чай. Делать было нечего, спрашивать стыдно, и я решила как-нибудь так согреться. Потом начала шить свою юбку и все старалась как-нибудь продолжить время. Наконец, часу эдак в первом я вышла из дому, сказав нашим хозяйкам, что пойду обедать, потому что сегодня очень рано встала. Пошла сначала я на почту, но писем нет, оттуда, несмотря на холод, решилась пройтись несколько раз по улицам, чтобы выгадать время и не подать повода старухам думать, что я не обедала сегодня. Зашла в Palais Electoral на выставку цветов и плодов ⟨...⟩ Потом отправилась покупать себе что-нибудь съест⟨н о е⟩. Зашла в колбасную и там спросила про пирог с говядиной. Оказалось, что стоит 1 франк за фунт. Мне она свесила один и вышло 1 франк 30 с. Я взяла. Потом решила, так как этот пирог мне на два дня, то следует купить еще чего-нибудь. Купила сыру на 25 с., больше чем полфунта, довольно порядочного, 3 яблока за 10 с. Следовательно, весь мой обед за 2 дня обошелся мне 1 франк 65 с. и самое многое обойдется 2 франка. Это все-таки выгодней, чем платить по 2 франка в день. Пришла домой и начала обедать и, право, так хорошо пообедала, просто чудно, одно было жаль, нечем было запивать. Потом я сходила к хозяйке и забыла, что она спит в 4 часа, просила сделать мне кофею. Она мне и сделала, и я пила черный кофей, потому что сливки все вышли утром. Выпила с горя я 3 чашки и несколько согрелась, потому что холод был ужаснейший. Потом принялась читать, оканчивать 4-ю часть «Могикан». Сегодня непременно надо отнести и взять что-нибудь другое, потому что завтра воскресенье, следовательно, все будет заперто. Но как я ни спешила, а едва могла дочитать до сумерек, так что последние страницы читала почти невнимательно, позже же боялась идти, потому что, очень может быть, мог кто-нибудь пристать, а так как Феди теперь дома нет, то, следовательно, и заступиться некому. Взяла я в библиотеке 2 части романа Бальзака «César Birotteau». Хозяйка говорит, что это хорошая вещь, не знаю, очень может быть. По дороге купила себе катушку черных ниток за 18 с., дали 2 с. сдачи, я еще никогда не видела этой монеты, нужно ее будет сохранить. Пришла домой и просила затопить печку, а то было уж слишком холодно. Мадам это сделала и очень мне надоела, и весь вечер приходила то за тем, то за другим, и все уверяла, что Федя приедет сегодня и что, следовательно, следует сделать постель. Чтобы поскорее прошло время, я начала опять шить, но все-таки было так скучно, право, до крайней степени грустно все, что не знала, за что мне и приняться, даже от скуки принялась гадать, но сколько раз ни гадала, все выходило, что будет ⟨неудача?⟩. Да это и без гадания видно: я вполне спокойна именно потому, что заранее уже уверилась, что из этого ничего не выйдет, что это будет пустая попытка, что мы вовсе не так счастливы, чтобы что-нибудь выиграть, а главное, если и выиграем, то выигранное удержать здесь, а потому заранее уверившись, что проиграем, я так и спокойно смотрю на все это. Что он проиграет, то это так вероятно, что я готова просто

голову отдать на отсечение, до такой степени это вероятно. Завтра утром надо будет послать ему письмо, но, пожалуй, оно его и не застанет, потому что, вероятно, он сегодня уж успеет все проиграть (да и проиграть-то ведь немного, всего-навсего 100 франков, самое большое), а следовательно, он и отправится завтра утром в 11 часов и будет уже дома в 6 часов вечера. Но на всякий случай отправлю ему письмо, чтобы самой успокоиться. Он тоже обещал написать мне сегодня. Напишу записочку, чтобы я могла послать ее завтра. Но чтобы моя записка пошла завтра утром, следует ее очень рано принести на почту, а потому я и думаю отправиться на почту эдак часов в 8, если не раньше, чтобы если надо, принести ее на железную дорогу.

Воскресенье 6⟨октября⟩/24 ⟨сентября⟩ ⟨...⟩ Получила письмо от Феди. В нем он пишет, что с ним случилась история, именно, что он пропустил сойти Саксон, а вышел в Sion, так что еще сам не знает, что из этого выйдет, а написал мне в 6 часов вечера [61]. Впрочем, он мне писал, что, вероятно, приедет сегодня, и я думаю идти его встречать на железную дорогу в 6 часов. В письме он меня просит очень беречь Соню, целует меня, и мне кажется, что действительно он ее очень любит, дай-то бог, как я буду рада, когда она у меня будет, просто и сказать трудно. Потом гуляла несколько времени и прошлась на железную дорогу узнать, в котором часу приходит поезд; по дороге купила себе винных ягод. Здесь фунт стоит 50 с., это довольно дешево, купила полфунта за 25. Пришла домой, но часы ужас как тихо идут, до кофею дожидаться долго, я решила пойти посмотреть, как будут пускать шар, отправилась, но потом как прочитала, то оказалось, что шар полетит ровно в 4 часа, а это было всего только половина 3-го, я ходила несколько времени по католическому кладбищу, но все-таки мне ужас как надоело ⟨...⟩ Так я и не дождалась, когда пустят шар, пришла домой, напилась кофею. Немного спустя я видела из окна, что на небо смотрели, следовательно, шар полетит; вдруг множество народа побежало ужаснейшим образом; и я, чтобы убить время, тоже пошла, думая, что, может быть, для моего удовольствия и шар упал где-нибудь на улице, я поспешно вышла, прошла 2—3 улицы, но шара нет, а народ все бежит и бежит, да идет все за город. Ну, уж туда я и не пошла, что мне там делать. Написала я письмо к Сонечке ⟨И в а н о в о й⟩, надо будет послать. В 6-м часу пойду на железную дорогу встречать Федю, хотя он мне и не велел, но я знаю, что он будет мне рад, если я приду ⟨...⟩ Федя, вероятно, сегодня приедет и уж, разумеется, проигравшись как только возможно, иначе и быть не может. Я буду очень рада, когда он вернется, одной тоска страшная, когда вспоминаю, что денег-то у нас решительно нет. Ходила на железную дорогу. Пришла чуть ли не за полчаса. Поезд приехал, но Феди нет. Тогда мне пришло на ум, не вздумал ли он мне прислать письмо, и вот я тихим шагом отправилась на почту, чтобы дать возможность письму прийти раньше меня. Шла я очень тихо и осторожно, чтобы как-нибудь не ушибиться. Но на почте письма нет. Пришла домой, у нас было очень тепло. Но мне сделалось до такой степени грустно, что Феди нет, что просто ужасно. Делать мне ничего не хотелось, все было скучно, и я решительно не знала, как и быть. Я думаю, он поехал на вечернем 5-часовом поезде, но должен бы был ночевать в Лозанне, потому что оттуда последний поезд идет только в 6 часов, следовательно, должен ждать до 8 часов утра. Если это так, то, как я думаю, ему досадно остаться ночевать в Лозанне; должно быть даже у него и денег нет, вот это хорошо будет, денег нет, а ночевать где-нибудь да надо. Бедный Федя, как мне его жаль ⟨...⟩ В 11 часов я легла, но не могла заснуть до половины 12-го. Ночью проснулась в половине 6-го и уж спать больше не могла. Так пролежала в постели до 7 часов. Потом встала, попросила мне сде-

лать кофею, потому что сидеть так, ничего не пивши, тоже нехорошо. Не знаю, приедет ли Федя сегодня утром. Я пойду его встречать и повстречаю непременно.

Понедельник 7 (октября) / 25 (сентября). Утро сегодня тревожное, я решительно никак не могла дождаться, когда, наконец, придет 10 часов, чтобы я могла идти его встречать (...) Ровно в 10 часов вышла из дому, но пришла на машину все-таки рано. Пришлось ждать с полчаса. Наконец, поезд пришел. Я стояла у двери и смотрела, не идет ли Федя. Давно народ уже прошел, так что я почти была уверена, что Федя сегодня не приехал, как вдруг он показался у двери с страшно расстроенным лицом. Я сейчас поняла, что это значит полнейшая неудача. Он был чрезвычайно бледен, как-то измучен и расстроен, сначала он меня не видел, но потом приметил и с радостью подал мне руку. Мы вышли, и я начала его утешать. Он мне говорил: «Вот беда-то какая, вот беда. Видишь, что у меня даже пальто нет, там оставил, хорошо, что еще теперь тепло, а я бы мог простудиться». Мы вышли из вокзала и пошли, он держал меня за руку. Я стала его утешать, но он говорил: «Нет, ведь у меня было 1300 франков, в руках было 3-го дня, я велел себя разбудить в 9 часов, чтобы ехать на утреннем поезде, подлец лакей не думал меня будить, и я проспал до половины 12-го. Потом пошел в вокзал и в три ставки все проиграл. Потом заложил свое кольцо, чтобы расплатиться в отеле. Потом на остальные тоже проиграл. Потом узнал на железной дороге, в котором часу пойдет поезд, сказали в 5, нужно остановиться ночевать в Лозанне, а у меня всего было 12 франков, разве возможно было ехать, я отыскал какой-то пансион. Там заложил свое пальто за 13 франков, мне предложили у них остаться, дали мне маленькую скверную комнату, где я всю ночь не мог уснуть, потому что в соседней комнате какая-то собака визжала и выла все время, и ее били; потом в 4 часа меня разбудили и я отправился в Женеву». Он сказал, что даже во 2-й раз, когда он пошел с деньгами, полученными от заложенного пальто, и тогда он отыграл даже 70 франков, но потом опять стал ставить по 5 франков и в несколько ударов все кончилось. Он был в страшном отчаянии, мне было тоже горько, и хотя я его и утешала, но мне было так тяжело, что я просто не знаю готова была что сделать. Я даже почти не слушала его, не могла понять, что он такое говорит, так меня это поразило. Ведь вот, подумала я, давалось счастье в руки, сам виноват, если не мог привезти домой выигранного. (Я про себя вполне уверена, что лакей его разбудил во время, что ему самому не захотелось приехать. Тут явилась мысль, что вот, дескать, я непременно выиграю не только что одну какую-нибудь тысячу, а уж наверно 10 тысяч, чтобы облагодетельствовать всех, ну, разумеется, дикие мысли пошли, вдруг разбогатеть, вот и пошел и в 3 удара все проиграл [62]. Я спросила его: «Я ведь писала тебе, чтобы ты прислал мне 200 франков, а там на остальное мог бы рисковать, сколько угодно, почему ты этого не сделал?» Федя и тут нашелся сказать, будто бы там почта заперта утром, потому он не мог отправить). Но это тоже неправда. Я этому ни капельки не придаю веры, больше ничего, пошел, чтобы было с чем бóльшим играть. Нет, я этого решительно не понимаю. Как! Знать, что дома всего-навсего 40 франков, что следует неизвестно откуда достать деньги, что достать решительно нельзя, и вдруг, выиграв так много денег, не послать 200, 300 франков, зная, что это меня сильно как успокоит, и вообще даже в случае проигрыша может нам очень помочь. Мне нисколько, право, не досадно и проигрыш 1000 франков, но ужасно больно за те 300 или 200 франков, которые я просила прислать. Господи! Как я много на них надеялась. Во-первых, что для меня главное, не следовало бы посылать мне письмо к маме, опять ее бедную, несчастную беспокоить и тревожить, прося, чтобы она нам непременно отослала хоть

сколько-нибудь денег, 125 рублей. Боже мой, что бы только я не дала, чтобы не просить ее, не беспокоить моего бедного ангела, мою бедную старушку. Как мне это больно, как я и представить себе не могу, так мне это тяжело. Во-вторых, надо опять будет писать и клянчить у Каткова, человека, который нас так много обязал и просить которого теперь от меня, несмотря на то, что я его решительно не знаю, очень грустно и тяжело [63]. Таким образом, как я уже сказала, я ушла домой с ним под руку и решительно ничего почти не слушала, что такое он говорил. Я была так сильно поражена, что только и думала, как бы нам дойти домой и мне сесть в постель, уткнуться головой в подушки, чтобы как-нибудь да забыться.

Старухи наши встретили Федю радостно. Я просила, чтобы они сделали опять чаю и кофею, и пока они это приготовили, я сидела и разговаривала с Федей, все утешала его, но самой было так тяжело, так сильно тяжело, как никогда. Правда, мне еще никогда не случалось так тосковать, даже в Бадене при наших огромных проигрышах я вовсе не так сильно тосковала, как тут [64]; раз у меня слезы были на глазах, Федя начал меня просить не плакать, и я постаралась, конечно, успокоиться. Старуха принесла чаю и кофею, который оказался нехорош. За кофеем мы с Федей все говорили, и он мне рассказывал о своей поездке и уверял, что он поедет непременно еще раз. Тут мы рассудили с ним, что теперь делать и у кого просить денег. Решили просить опять у Каткова 500 рублей и просить его высылать эти деньги каждый месяц по 100 рублей, а кроме этого просить выслать 60 рублей в Петербург Майкову, чтобы он их выдавал Паше. Тут Федя решился еще написать письмо к Яновскому [65] и просить у него 75 рублей, а я между тем попрошу у мамы 50 или по крайней мере 25. Вот этими-то деньгами и жить. У нас же наличными было всего 49 франков, но так как Федя заложил в Саксон пальто за 13, а кольцо за 18, то это следовало выслать и непременно сегодня для того, чтобы вещи не могли пропасть. Мне хотелось чем-нибудь непременно развлечься, и я предложила Феде сейчас написать письма и я сейчас отнесу на почту письма, он это сделал, сам лег полежать и боялся припадка, приближение которого он чувствовал, просил меня поскорее отнести на почту. Кольцо было заложено у M-me Dubuc, а пальто в пансионе Orsat. Я отправила mandat * и, получив на почте письмо, которое вчера Федя адресовал мне, с горечью прочитала его. Господи, как мне жизнь была скучна сегодня, как мне все это надоело. Я не знаю: ведь я, кажется, предчувствовала, что Федя ничего не выиграет, что эти 150 франков пропадут, даже ведь они бы для нас особенно не помогли, довольно было бы только на 2 недели, а там все равно пришлось бы просить у мамы, но я почему-то надеялась, что Федя выиграет те 150 франков, это было бы 200 рублей, и, следовательно, хоть на несколько времени, а мы были бы спокойны. С горечью шла я домой, но пришла и нашла, что Федя лежал на постели, думая заснуть, потому что всю эту ночь он не спал (собака спать не давала) и ужасно как мучился мыслью, что все проиграно, и что теперь следует делать. У нас всего-навсего 17 франков, больше ничего нет, придется опять вещи закладывать, опять эта подлая необходимость.

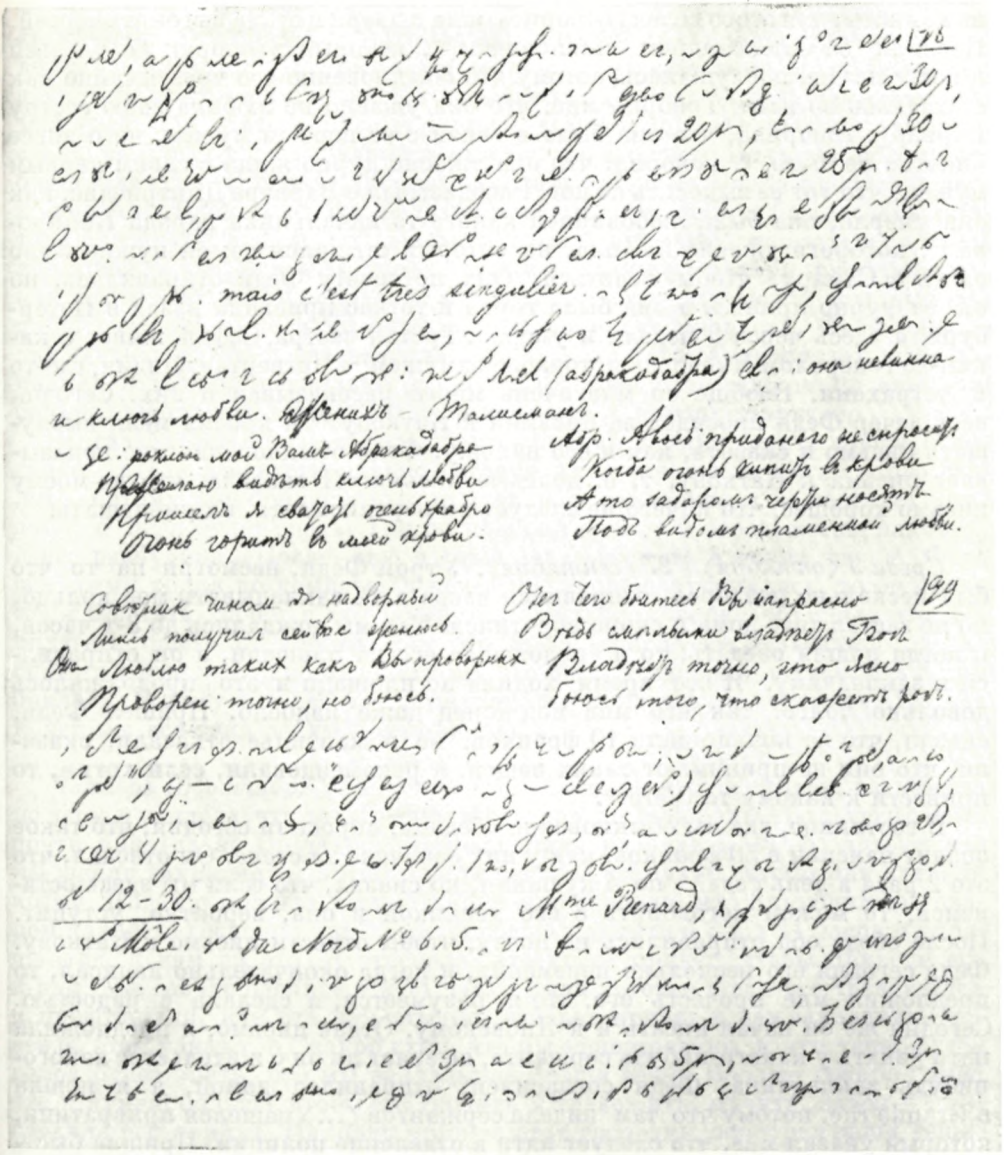
Пошли обедать, день ужасно грустный, ничего не могу делать, все меня давит мысль, зачем он мне не прислал 300 франков. Ну уж пусть бы эта 1000 пропала, что за важность, я на них и не рассчитывала, но вот эти-то, эти-то 300, как бы я была теперь счастлива, могла бы что-нибудь себе приобрести из одежды, а то у меня ничего нет, так много нужно, а нет денег, чтобы купить. От обеда Федя пришел домой и лег спать, а я предложила ему, что я пойду и заложу свои рубашки (собственно говоря, рубашки я не закладывала, а у меня были скоплены деньги, 12 франков, вот я и

* почтовый перевод (*франц.*).

решилась их выдать за деньги, полученные за рубашки, чтобы потом, когда у нас будут деньги, получить их назад. В случае нужды опять их дать Феде или дать в виде полученных от залога платьев, потому что мне так больно закладывать мои платья, просто ужас). Пока он спал, я сходила на почту и отнесла маме письмо, в котором умоляла ее непременно прислать мне 25 рублей, откуда она хочет их взять, да прислать. Когда Федя проснулся, я отдала ему деньги, 12 франков, и сказала, что взяла на месяц. Вечер прошел ужасно грустно, до невыносимости грустно, тоска страшная, и одна мысль терзает меня, все постоянно одна только мысль о проигрыше приходит мне на ум, от нее я решительно не могу отвязаться, вот опять, думаю, надо написать и умолять Каткова, опять унижаться, опять злоупотреблять его к нам добротой; ведь он нас хорошенько не знает, он может о нас подумать, как о людях, которые неблагодарны и злоупотребляют его доверенностью к нам.

Вторник 8 ⟨октября⟩ / 26 ⟨сентября⟩. Ночью в 10 минут 3-го я почему-то проснулась и вдруг услышала, что с Федей сделался припадок. Мне показалось, что он был мал, но Федя говорил мне после, что он себя очень дурно чувствовал и, следовательно, припадок был из сильных. Через 10 минут Федя уже пришел в себя и говорил со мной, но очень долго не мог припомнить, что это такое за Саксон ле Бен и где он там был. Это его очень мучило, что припомнить он того не может, наконец, кажется через полчаса, кое-как насилу припомнил. Потом мы заснули, он предложил, не хочу ли я заснуть у него на постели, я легла, но он спит ужасно как скорчившись и все ударял меня коленями в живот. Я очень боялась, что засну, а он во сне толкнет меня и я могу слететь с постели. Я только что капельку заснула, как действительно он меня довольно сильно толкнул, тогда я перешла на свою постель⟨... ⟩ Господи! какой опять сегодня день был грустный, я только о том и молила бога, чтобы как-нибудь день поскорее прошел, такой он был мрачный и скучный, и все одни только печальные мысли приходили на ум.

День был дождливый, тоскливый, Федя от обеда пошел в кофейню читать газеты, а я, несмотря на дождь, отправилась на почту и получила там письмо от мамы. На этот раз оно было франкованное, мама извинялась, что писала, не франкуя, сказав, что Маша сказала, будто бы эдак скорее доходит. Милая мамочка писала, что она стала очень старая и очень поседела, бедная моя старушка, как мне ее стало жалко. Я была очень рада письму и, придя домой, опять прочитала его. Тут только я заметила ее выражение насчет доверенности, меня это так сильно поразило, что я ужасно как расплакалась и очень долго плакала. Вообще как вчера, так и сегодня я ужасно как раздражена и расстроена, все меня волнует, все меня мучит, так что я весь день вчера и сегодня плакала; особенно на меня письмо это подействовало, так что я плакала, кажется, с час. Пришел Федя, я ему сказала про письмо и сказала, что оно для меня живой упрек; потому что я должна была пожертвовать собой, что я обязана была жить с нею, а я ее бросила и за то мне и счастья не будет. Федю это несколько обидело, хотя я вовсе не хотела его ничем обижать. Потом я прочитала ему письмо, в котором мама говорит, что она так была рада получить его драгоценное письмо [66]. Это его польстило. Вечером он меня бранил, зачем я не иду к бабке, говорил, что этого он понять не может, что ребенок через это может умереть, что это вовсе я его не люблю, и ужасно настаивал на том, чтобы я пошла к доктору. Я ему отвечала, что потому только не иду, что у нас денег нет, а что я бы и сама желала успокоиться и увериться, что все идет благополучно. Вечером я несколько спала, потом после чаю, когда я лежала в постели, Федя мне рассказывал про свою прежнюю жизнь, про Марью Дмитриевну, про ее смерть. Она умерла в 6 часов вечера, он



СТРАНИЦА ИЗ СТЕНОГРАФИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ.
11 октября/29 сентября 1867 г.
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

все сидел у нее, потом вдруг ему сделалось скучно и он пошел на минуту к Ивановым [67], пробыл у них не более 5 минут и, когда пошел домой, то к нему прибежали и сказали, что она кончается. Когда он подошел к дому, дворник сказал, что она уже умерла. Перед смертью она причастилась, спросила, подали ли Федору Михайловичу кушать и доволен ли он был, потом упала на постель и умерла. Потом он рассказывал про ее последнее время, что ей уже года за 3 до смерти представлялись разные вещи, виделось то, чего вовсе и не было. Например, представлялся какой-нибудь человек и она уверяла, что такой человек был, между тем решительно никого не было. Перед его отъездом * в Петербург [68] она выгоняла чертей

* *Может быть*: приездом.

из комнаты, для этого велела отворить окна и двери и стала выгонять чертей. Послали за Александром Павловичем [69], который уговорил ее улечься в постель. Она послушалась, потому что обыкновенно его чрезвычайно как слушалась во всем. Говорил мне, что она ужасно не любила свою сестру Варвару, говорила, что она была в связи с ее первым мужем, чего вовсе никогда не было [70]. Говорил, что она ужасно дурно жила с своим первым мужем, что тот ее выносить не мог. Рассказывал о Варваре Дмитриевне, как она умерла, она была любовницей какого-то начальника парада Комарова [71], которого ужасно любила, но который стыдился ее; ей нужно было ехать в Самару, чтобы лечиться. Она по совету Феди отправилась, но он ее дурно принял, а она была горда и тотчас приехала назад в Петербург, а здесь через 3 недели и умерла. Третья сестра, Софья, живет с каким-то генералом Яковлевым, тоже не замужем[72]. Четвертая, Лидия, где-то в Астрахани. Вообще он мне очень много рассказывал о них. Сегодня весь вечер Федя просидел за письмом к Каткову [73] и просил меня выслушать письмо и сказать, как я его нахожу. Федя обыкновенно мне показывает письма к Каткову, т. е. деловые письма. Я сказала, что по-моему письмо хорошее, что ничего не следует ни переписывать, ни уменьшать.

Среда 9 ⟨октября⟩ / 27 ⟨сентября⟩. Утром Федя, несмотря на то что был несколько нездоров, отправился часов в 12 закладывать мое кольцо, но не застал того дома и скоро воротился. Так мы дождались до 3-х часов, и когда пошли обедать, то я подождала его на площади, а он отправился к закладчику. Я все время ходила по площади и это продолжалось довольно долго, так что мне под конец даже надоело. Пришел Федя, сказал, что за кольцо дали 10 франков, но в мантилье отказали, сказали, что они не принимают таких вещей, а рекомендовали, если хотим, то принести к какому-то Clère *.

В гостинице, где мы обыкновенно обедаем, спросили сегодня, что такое значит пансион в 50 франков, как у них означено на стене. Он отвечал, что это 2 раза в день ⟨еда?⟩ по 4 кушания, но сказал, что если мы здесь останемся, то можем поговорить с его хозяйкой и она, вероятно, уступит. После обеда оба отправились на почту, чтобы отнести письмо к Каткову. Федя сегодня его несколько переменил, и когда окончательно написал, то предложил мне прочесть его, что я, разумеется, и сделала с радостью. Сегодня же он начал писать и к Яновскому. Отдав письмо, я предложила идти узнать у какого-нибудь сержанта, не знает ли он о жительстве какого-нибудь закладчика. Федя согласился, отправился домой, а я пошла в Grande rue, потому что там видела сержантов ⟨...⟩ нашелся привратник, который указал мне, что следует идти в отделение полиции. Пришла быстро туда, нашла несколько растрепанных чиновников, которым рассказала, что мне нужно, но один отсылал к другому. Наконец привели к начальнику полиции, порядочной физиономии человеку; он очень вежливо предложил мне стул и начал рыться в книгах, но никак не мог найти; потом объявил, что если мне угодно, то ко мне пришлют закладчика, только бы я сказала свой адрес. Я имела глупость сказать, потому что рассудила, что лучше пусть придет на дом и посмотрит, чем ходить по городу с узлом и носить самой мои платья. Обещал прислать сегодня или завтра. Я поспешила домой, чтобы сказать об этом Феде, так он спрашивал, это у меня, да, может, забыл. Но когда сказала Феде, что придет он к нам, Федя вдруг вздумал объявить, что это ужасно, что это значит себя афишировать, что значит объявить всему городу, рассказать всем, что теперь это известно полиции и пр. и пр., вообще говорил разные пустяки. Я ему сказала, что если это ему так неприятно, то я схожу опять туда и скажу, чтобы не присылали. Федя еще сильнее рассердился и сказал, что это я говорю со злости. Я говорила очень тихо, но он уверял, что я на него кричу, тогда я дей-

ствительно раскричалась. Положим, я тут была сильно виновата, что кричала, но что же мне было тут делать: я так сильно раздражена в этот день, мне так тяжело от всего этого, что мне, право, можно было простить мой гнев. Тут я его обругала дураком и болваном. Он сначала лег в постель, но потом у него стали сильные боли в сердце и он встал, потому что боялся лежать. Я сейчас же опомнилась и пришла, начала просить у него прощения. Но он ни за что не хотел простить. Право, это было очень жестоко ⟨ко мне?⟩, ведь нужно же взять и то во внимание, что я теперь очень нездорова и что, наконец, такие вещи и меня могут теперь расстраивать, как будто мне не тяжело ⟨идти?⟩ закладывать свои вещи, которые так дорого стоили маме и которые так легко могут пропасть. Федя ужасно как обиделся, что я его назвала дураком, до того обиделся, что даже заплакал и плакал несколько времени. Это уж было для меня слишком больно, видеть его слезы. Но я постаралась с ним примириться.

Когда он лег спать, я села писать письмо к маме, опять прося у нее денег; хотела я отнести письмо сегодня на почту, но не могла этого сделать, потому что боялась, что придет наш закладчик и не застанет меня дома, а Федя будет спать. Так он проспал от 6 до 9 часов, когда, наконец, я его разбудила. После чаю я тоже легла заснуть и спала часа 2. Федя все время ходил по комнате, и когда я, наконец, проснулась, то он начал меня бранить, зачем я его оставила, зачем не говорю, объявил, что я и сплю-то просто от злости. Все это было ужасно несправедливо: легла спать я вовсе не от злости, а потому что была нездорова, а говорить с ним боялась, потому что все ему не нравилось и на все он сердился. Но под конец мы все-таки с ним примирились ⟨...⟩

Четверг 10⟨октября⟩/28 ⟨сентября⟩. Сегодня я проснулась, взглянула на часы и увидела, что мы проспали сегодня до половины 11-го, чего с нами почти никогда не случалось. Я поспешила разбудить Федю, потому что мы ждали закладчика, потом пошли сказать старухам, чтобы они сделали кофей. Когда я пришла к ним, то они мне сказали, что приходил за товаром какой-то господин уж 2 раза, и обещал прийти в 3-й в 11 часов и спрашивала, к нам ли это. Я отвечала, что когда придет, чтобы привели его к нам. Мы сейчас оделись и к 11 часам были готовы. Федя все тревожился и представлял, как это нам стыдно, что вот придет к нам закладчик, что все об этом узнают, о, какой стыд, что мы афишированы и что теперь весь город будет знать, что мы закладываем наши вещи. Вообще говорил мне, что я думаю больше, чтобы его сердить и тревожить, мучить, зачем я пригласила его прийти. Наконец пришел этот господин, осмотрел наши вещи, 2 мои платья и мою черную кружевную мантилью, и сказал, что, если угодно, то он даст 50 франков, но больше дать не может: что здесь все ужасно дешево дают и что нам же будет легче меньше заплатить, чтобы получить эту вещь назад. Это все они говорят, не понимая одного, что когда получим деньги, тогда все равно будет, больше дать или меньше. Но за такую малую сумму мы отдать не могли, а потому сказали, что поищем другого. Он обещал прислать другого какого-то господина Dupuis, но так как нам не хотелось, чтобы наши хозяйки знали, то мы просили не присылать, а просто сказать адрес; он нам и сказал. Когда он ушел, Федя начал говорить, что мы осрамились, что теперь все знают, что мы закладываем, что нас уважать не станут, так что даже сделалось ужасно больно и обидно. Ведь он же сам довел до того, что пришлось закладывать мои же платья. Зачем было доводить до такой бедности, а тут при этом горе он начинает еще тревожить меня. Когда закладчик ушел, я сходила на почту и узнала, что из Саксон пришли 2 вещи, т. е. Федино пальто и кольцо, но отдать они мне не могли, а просили, чтобы пришел сам Федя. Я воротилась домой и сказала Феде. Тут у нас как-то зашел разговор, и когда он меня

начал опять упрекать, зачем я позвала этого закладчика, и говорил, что мне, вероятно, приятно ходить закладывать, что, вероятно, мне не стыдно, то я отвечала, что мне даже потому неприятно, что это мне случилось в первый раз, что прежде мне никогда так не случалось делать, а, следовательно, о приятности не может быть и речи. Тогда он мне сказал, что нам между собой нечего гордиться состоянием, что и я ничего не имела. Мне это было до такой степени обидно слышать, что я чуть было не расплакалась. Это уж было ужасно обидно. Ведь я говорю это не для упреков его, а он сейчас принял это за упреки и решил непременно * и меня упрекать. Да даже если бы и я была так недобросовестна, что позволила бы себе его упрекать, то неужели же у него нет настолько деликатности и любви ко мне, чтобы мне так не сказать.

Из дому я пошла к Dupuis, про которого говорил мне закладчик, видела его жену и его, они удивились моей мантилье, сказали, что если бы купить, то они, пожалуй, купили, но под залог денег не дают. Были очень вежливы и указали мне магазин Lion, где продают различные вещи, говоря, что там непременно примут. От него я отправилась в сказанный магазин и дождалась, покуда оттуда выйдут 2 покупавшие там что-то госпожи. Я вошла и показала мантилью. Сначала они спросили, сколько я хочу за нее, а потом отказались взять, сказав, что этим не занимаются, но дали мне адрес Clere на rue des Allemands, который будто бы этим занимается и берет такие вещи. От него я отправилась домой, и мы пошли с Федей обедать, а после обеда, несмотря на дождь, я пошла отыскивать Clere. Это какой-то старичок, который сначала объявил мне, что у него все уже заперто и чтобы я пришла завтра, потом, когда узнал, что у меня шелковое платье, а не золотые вещи, дал мне адрес какого-то купца Crimisel, который торгует платьями и который, по его словам, берет заклады. Я к нему и отправилась ⟨... ⟩ его не было дома; жена посмотрела мантилью, сказала, что она не особенно понимает в кружевах и что это, должно быть, и не настоящие, но что она верит мне на слово. Я с нею разговорилась, и она предложила мне принести сегодня или завтра платья к ней, когда будет ее муж. Тут пришел и он, посмотрел на мантилью и сказал, что пусть я принесу завтра платье, тогда он примет и мантилью в тот счет ⟨... ⟩

Пришла домой, сказала Феде, что вот каким образом это устраивается. Был дождик, и Федя тоже воротился из читальни. Я просила нашу хозяйку сделать нам кофей, который сделала она ⟨п р е в о с х о д н о⟩. Потом вечер прошел довольно весело. Я легла спать в 11 часов. Федя еще тоже лежал на своей постели, я еще не спала, как вдруг в 25 минут 12-го вечера я в первый раз *почувствовала, что ребенок у меня забился*, т. е. я почувствовала какие-то острые толчки в живот в разных местах, не постоянно, а через несколько времени. Я не сказала Феде, думая, что это я сама обманулась и что, может быть, это у меня просто-напросто расстройство желудка. Потом, когда он меня разбудил в 2 часа, и я все еще продолжала чувствовать это биение, я сказала Феде, он пощупал, но ощупать этого не мог. Как я была рада и счастлива, этого и сказать нельзя. Вот, наконец-то, бьется, наконец живет мой ребенок! Теперь уже не кусок мяса, а, может быть, сын, он тесно связан со мной, милый сын, которого я еще не знаю, но которого ужасно как люблю. Я нынче постоянно мечтаю о Мише или Соне. Мне все кажется, то они маленькие, то подросли немного, то, наконец, большие, и я так рада представить их, я так люблю их, что бог только один знает. Федя несколько раз меня целовал, и мы довольно долго с ним об этом поговорили. Потом, когда он лег в постель, то в темноте мы долго разговаривали. Я говорила, что желала бы, чтобы Соня или Миша походили совершенно на него, а он, напротив, говорил, что желал, чтобы Соня была такая, как я. А чтобы от меня, говорил он, она *наследовала быстроту бега*. (Оказалось потом, что Федя решительно не

умеет бегать.) Потом заговорили о ловкости ⟨...⟩ Мы очень долго хохотали, но я до того проснулась, что заснуть уж потом не могла и не могла спать всю ночь.

Пятница 11⟨октября⟩/29⟨сентября⟩. Мы вчера так много хохотали, что я окончательно проснулась и заснуть уж не могла ни крошки, так что, может быть, и могла бы заснуть часов в 7, но так как мне следовало идти в 9 часов заложить платье и я боялась, что он уйдет, то я и решилась лучше не спать, чтобы опять не проспать так долго. В $^3/_4$ 9-го я разбудила Федю, чтобы он встал и пил кофей, и в $^1/_4$ 10-го уже вышла из дому, связав два мои платья, зеленое и лиловое с полосками, в один узелок, под видом посылки. Сегодня был опять la bise, т. е. северный ветер, так что меня просто сшибало с ног. Я кое-как дошла до купца. Они осмотрели мои платья и хотели дать мне за 2 платья и мантилью 60 франков, но я сказала, что это мне мало. Тогда они сказали, что вот если бы у вас было бы еще платье, я отвечала, что готова вместо мантильи принести еще платье, которое будет такое же хорошее, как и первое. Тогда они мне решили дать по 25 франков за 2 платья, следовательно, 50 и за 3-е — 30, всего 80 на два месяца, но сделали такое условие, что если через 2 месяца не выкуплю, то платья они продают. Но пока я еще не принесла платье, они заставили меня записать эти 2, я получила 50 франков и отправилась домой, зайдя в магазин купить чаю ⟨... ⟩ Пришла домой, принесла деньги, но сейчас не пошла опять с платьем, потому что было уж слишком холодно. Пошли обедать, а после обеда я зашла домой и, взяв платье, отправилась опять к закладчику. Его не было дома, но жена была, она уже хотела мне дать деньги и заставить меня расписаться; конечно, я была так глупа, что разговорилась с нею, расспрашиваю ее о платье, и таким образом дождалась-таки, что пришел муж. Она, вероятно бы, дала мне 30 франков. Но он был ⟨скупее? ⟩, чем она и, посмотрев платье, объявил, что оно изношено и что он может дать только всего 20 франков, тогда как я надеялась получить 30. Он долго рассматривал и продолжал уверять, что оно старое и что им будет убыток, когда придется им продать. Наконец, после долгих разговоров, дал мне 25 франков. Тут я могла себя бранить ⟨одну? ⟩, потому что решительно была одна виновата в том, что не дал больше. В большой грусти пошла я домой, купив по дороге бумаги для заштопывания наших чулок, которые очень разорвались. Но я так долго ходила, что уже стемнело и Федя начал беспокоиться, не видя меня так долго. Вечером, когда Федя меня разбудил, я ему говорила что-то про сны и потом сказала по-французски: mais c'est très singulier *. К чему это относилось я, право, не знаю, вообще я нынче больше разговариваю по-французски, чем по-русски, ночью. Ребенок продолжал биться целый день, но я все еще боялась этому поверить, думала, что это происходит при раздражении желудка. Федя был сегодня очень весел и мы все сочиняли «Абракадабра»:

Главные лица: Абракадабра **. Дочь ее: она невинна и Ключ любви. Жених — Талисман.

О н в х о д и т: Поклон мой вам, Абракадабра,
Желаю видеть Ключ любви,
Пришел я сватать очень храбро,
Огонь горит в моей крови.

А б р⟨а к а д а б р а⟩: Авось приданого не спросит,
Когда огонь кипит в крови,

---

* Но это очень странно (*франц.*).

** *Слова* Абракадабра ∞ Талисман, *а также все стихи написаны обычным письмом.*

А то задаром черти носят
Под видом пламенной любви.

⟨О н⟩: Советник чином я надворный,
Лишь получил, сейчас женюсь.

О н а: Люблю таких как вы, проворных,

⟨О н⟩: Проворен точно, но боюсь.

О н а: Чего боитесь вы напрасно?
Ведь смелыми владеет бог.

⟨О н⟩: Владеет точно, это ясно,
боюсь того, что скажет рог.

И в этом роде еще много стихов. Нынче Федя все говорит каламбуры, так, например: я его просила, чтобы он посидел со мной; он мне ответил: «Вы просите с вами посидеть, а я боюсь с вами поседеть». Или «влез в лес», «до рожи — дороже». Вообще он нынче очень весел. Когда мы легли уж спать, я думала, что он заснул, он думал, что я сплю, вдруг я ему сказала, что вот я присочинила еще стих⟨и⟩, сказала ему, а он в ответ сказал мне другой. Нам сделалось ужасно смешно, как мы вместо того, чтобы спать, занимаемся сочинением глупых стихов. Федя все эти стихи поет на один голос, который сам же сочинил. Вообще нынче мы опять с ним страшно дружны и он меня, кажется, ужасно любит.

Суббота 12⟨октября⟩/30 ⟨сентября⟩. Сегодня утром я решилась непременно идти к бабке M-me Renard, которая имеет где-то здесь в Женеве дом здоровья в улице Môle и улице du Nord, № 6 и 5. Я много раз читала ее объявления в гостинице о том, что она принимает к себе на попечение беременных женщин и что дает советы. Я давно уже собиралась идти и меня ужасно мучила мысль, что, может быть, из-за моей неосторожности может умереть ребенок, и я буду так несчастлива. Не шла же я потому, что Федя постоянно толковал идти к доктору, а я хотела непременно к бабке, да к тому же у нас и денег не было. Но сегодня я решилась непременно идти. У меня на этих днях все ужасно как болело горло. Сегодня Федя мне непременно велел купить себе вуаль и дал для этого 3 франка, а для бабки дал на всякий случай 5 франков, он сказал, чтобы я дала ей только 3 франка, уверяет, что это совершенно довольно. Я очень долго собиралась. Федя постоянно меня торопил. Наконец, я вышла и пошла сначала покупать себе вуаль в том магазине, где я купила себе платок. Вуаль такой, какой я носила в Петербурге, стоил здесь 1 франк 95 с., без 5 с. 2 франка, что очень дешево ⟨... ⟩ Наконец, кончив покупать, я отправилась отыскивать ее и сначала думала, что на противоположной стороне Роны, но потом оказалось, что она на нашей стороне. Я долго шла по берегу, наконец, какая-то женщина мне показала, как пройти на улицу Môle, и через 5 минут я нашла этот дом. Это в каком-то переулке, довольно небезупречном; я вошла во двор, пришла в какой-то дом, где слышались крики ребят, но никого не видно было. Наконец, когда я хотела подняться наверх, то встретила девушку, которую и спросила, могу ли я видеть M-me Renard ⟨... ⟩ она привела меня в комнату, где сидела довольно пожилая женщина за завтраком и, кажется, очень мало обращала на меня внимания, вероятно, это их манера задавать тон. Но мне решительно все равно. Она просила меня сесть, и я начала ей рассказывать, что я беременна, но не знаю, на котором месяце. Она мне сказала, что надо считать с последних месячных через несколько дней, т. е. на следующей неделе, т. е. в конце мая, и по моим рассказам заключила, что у меня ребенок должен биться, рассказала мне, как именно. Я отвечала, что я это именно чувствую. Мы долго пого-

ворили с нею ⟨... ⟩ Я сказала, что приду к ней советоваться, если что-нибудь со мной будет. Пошла я домой ужасно радостная, тем более, что теперь я была вполне уверена, что я не ошиблась и действительно беременна. Меня смутил мой небольшой живот, все приходила мысль, что я себя обманываю, что вовсе не беременна, а что месячные пропали по какой-нибудь другой болезни, а потому, может быть, у меня даже и чахотка. Но тут она мне вполне опровергла мои глупые предположения и, главное, решительно успокоила меня, сказав, что уверена, что все пройдет хорошо. Действительно, ведь я очень хорошо себя чувствую и мне кажется, что даже и конец будет легкий.

Когда я вернулась к Феде, то он сейчас спросил, что она сказала, и был тоже очень рад, когда я ему рассказала, как меня нашла бабка, он в это время доканчивал писать письма к Александру Павловичу, Сонечке и Яновскому [74], и мы из-за этого сегодня пошли гораздо позднее обедать и ели все холодное. После обеда Федя пошел на почту, но по дороге мы купили фруктов. Был сегодня довольно холодный день, опять la bise, и так как мне было холодно стоять на площади, пока он выбирал фрукты, то баба предложила мне сесть в ее деревянную бочку. Я села, что было, должно быть, очень смешно; барыня в круглой шляпе, в синей вуали сидит в деревянной бочке и, может быть, торгует фруктами. Я просидела с четверть часа, совершенно согрелась, потому что бочка сколочена из плотных досок и довольно тепло. Я пошла домой, а Федя один снес письма на почту.

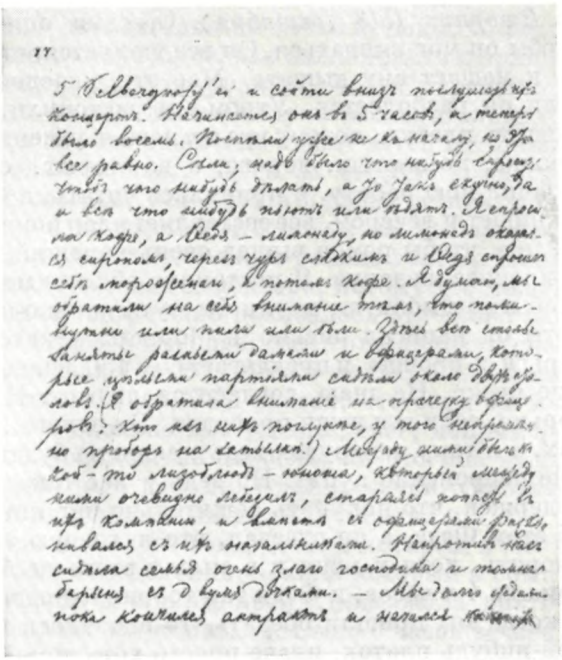
Воскресенье 13/1 ⟨октября⟩. Утром Федя продолжал сочинять Абракадабру, а потом сел писать. Нынче он каждый день что-нибудь да пишет, составляет план романа, а когда его дома нет, то я все это прочитываю, потому что мне ужасно как интересно знать, что такое он пишет, как это у него выходит. Сказать же об этом, что я читаю, было бы ужасно как глупо, потому что тогда бы он стал непременно прятать от меня все написанное. Вообще он не любит, чтобы смотрели то, что он написал еще начерно, да, я думаю, никакой человек не любит, а поэтому говорить не для чего.

Я ужасно как рада моему ребенку; когда он у меня долго не шевелится, то я начинаю думать: «Что это моя Сонечка не бьется», и в это мгновенье она начинает сильно биться, т. е. особенно коленями, как будто желая мне сказать: «Полно, мама, ведь я здесь, ведь я не ушла, не беспокойся обо мне». Я забыла сказать, что вчера, когда Федя ходил на почту, он получил там письмо от Майкова и когда пришел домой, то предложил мне его прочесть [75]. Федя нынче дает мне прочесть все, что он получает, и меня это ужасно как радует, такая доверенность, потому что это избавляет меня от необходимости читать стороной его письма, даже без всякого согласия. (Ведь не могу же я оставаться равнодушной к тому, что делает мой муж.) Майков прислал несколько слов о Паше и называет его ⟨обузой, упрям, ленив, а как все, кто?⟩ вкусил жизнь, не искусится наукой. Он говорит, что Паша приходил к нему спрашивать адрес и за деньгами, у Майкова хотя и было 25 рублей, но он их не дал, а спросил, на что ему деньги. Тот отвечал, что надо отдать 15 руб. за право ходить в университет, где он будет заниматься стенографией, т. е. записывать лекции по римскому праву и потом составить и продавать их по 2 рубля за лекцию. Майков пишет, что он, бывши сам юристом, знает очень хорошо, что для записывания лекций по римскому праву необходимо знать много древней жизни и древних наук, а также латинский язык. Паша отвечал, что он знает по-латыни чуть ли не отлично. Майков, разумеется, ему не поверил и денег не дал. Потом, когда он пришел через 2 дня, то дал ему только 15 рублей, а 10 рублей оставил себе, отдаст, когда будет время. Оказалось, по словам Майкова, он уже разочаровался в римском праве, не внеся еще 15 рублей, и думает теперь уж о другом.

Майков велит Феде поцеловать меня в ручку. Вот его истинные слова: «Милую Анну Григорьевну за все, что вы о ней пишете, поцелуйте в ручку от меня». Милый и добрый Аполлон Николаевич. Этот человек понимает меня и не считает интриганкой, он понимает, что я очень люблю Федю и любовь моя истинная, хорошая, вечная, а не минутная прихоть, уже если Федя пишет про себя, что считает меня гораздо выше и глубже, чем прежде думал, а Федя ведь ужасно как скуп на похвалу. Я была очень рада прочесть письмо Аполлона Николаевича, очень, очень рада; но он ужасно как дурно пишет, так что я едва сумела разобрать, что именно такое было написано.

Все утро я просидела дома, потом пошли обедать, а от обеда я пошла узнать, нет ли для меня письма. Почтмейстер, который нам раздает письма, сказал мне, что поутру был какой-то господин, который спрашивал письма на наше имя, но писем не было, а потому он не дал. Это, может быть, ваш муж, но я сказала ему, что мой муж был вчера вечером, а сегодня он целый день сидел дома; тот продолжал утверждать, что не вчера вечером, а сегодня утром был какой-то господин, но письма не получил, потому что письма не было. Я его попросила не давать никому, кроме меня. Потом я пошла домой и читала книгу, роман George Sand «L'homme de neige», первый роман, нет, второй, который я читала. Один был, между прочим, в русском переводе. Но он мне чрезвычайно не понравился, потому что и перевод был скверный, да и роман не произвел на меня впечатления. Это отличный роман, и я читала его с удовольствием, хотя Федя, читая его, постоянно критикует и находит большие недостатки [76]. Потом пришел Федя и предложил мне идти гулять. Мы отправились, по дороге я ему сказала, что на почту кто-то приходил, и в доказательство, что я не говорю неправды, предложила зайти. Мы пришли туда, и почтмейстер и Феде сказал, что действительно кто-то приходил. Тогда Федя оставил записку со своим почерком и просил не давать никому писем, исключая его и меня. Потом воротились домой и вечером были очень дружны друг с другом; Федя мне говорил, что ему лучшей жены и придумать нельзя, даже если бы он захотел выдумать себе, такая у него хорошая жена, но, правду, ее иногда следует посечь; я с ним согласилась, что посечь действительно иногда нужно, ну, да это невозможное дело ⟨...⟩

Понедельник 14/2 ⟨октября⟩. Сегодня, так как Федя мало спал, я дала ему проспать еще с полчаса, потом, когда у нас кофей уже был готов, я вспомнила, что у нас нет сахару и решилась сейчас бежать. Вышла на улицу, и что это была за чудная погода: настоящее лето, какое бывает только в хороший июльский день. Пришла домой в 12 часов. Пошли на почту и немного прогуляться. (Хотела я сегодня идти в более длинную прогулку, но не знала, куда именно идти, так и отложила в полной надежде, что такие прекрасные дни будут во всю эту неделю.) Пошла сначала на почту и мы получили письмо от Феди [77] на имя Федора Михайловича. Немного погуляла, потом отнесла ему, думая, что, вероятно, ему будет приятно поскорее узнать о них и прочитать его письмо. Он прочел и потом передал письмо мне, по обыкновению, прочитать, ничего особенного нет; говорит, что Эмилия Федоровна пришлет на днях письмо, разумеется, с жалобами, как и оправдалось по письму. Потом пошли обедать, Федя от обеда пошел читать, а я отправилась домой и по дороге видела, как отправлялся шар; я в первый раз видела шар так невысоко, постоянно же видела его только одну черненькую точку, потом я отправилась за свечами в какой-то Cormoran, где наша хозяйка покупает свечи не по 1 фр. 20 или 25 с., как мы, а по 1 ф. 10 с. Я решила сходить туда, хоть 10 с. да выиграть, но мы узнали, что наши свечи, которые мы берем, стоят 25 с., а ⟨у них?⟩ 1 франк 10 с.



СТРАНИЦА ДНЕВНИКА, РАСШИФРОВАННОГО А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

Вечером мы отправились с Федей гулять, он мне долго рассказывал то, что прочитал в газетах, именно, историю Ольги Умецкой, бедной девушки, как мне ее было жаль, что за твердый характер: сказала, что я поджигала, да так и стояла на этом, хотя никто того не подтвердил, она могла бы отказаться от своего показания. Несчастная девушка два раза хотела броситься в окно, один раз повеситься, уж с веревки сняли, так ей было хорошо дома жить, а эти подлые отец и мать, это не люди, это какие-то звери, когда приходится родить, отправляются в другую деревню, там родят, потом забрасывают детей до 7—8 лет, чем хотите, тем и питайтесь, а сами богатые люди, сами имеют состояние и хвастаются им [78]. Как это этих людей ничем не наказали. Если бы мне дали волю, я бы, кажется, повесила их, так мне они отвратительны. Своих родных детей, несчастных, матери мучают; заставлять работать, не давать есть, это подло. И как это их бог не накажет. И бог дает таким зверям детей. Господи! Как это тяжело даже подумать, какие бывают еще люди, да еще из благородного сословия. Меня этот разговор ужасно как возмутил. И неужели эта несчастная девушка опять попадется им в руки, они, бедную, ее опять замучают, будут мстить за ее жалобы на их обращение. Вечером Федя мне говорил, что он жалеет, что нет в живых брата [79], как бы он тебя любил, ценил и уважал. Я ведь у тебя что у Христа за пазухой, так ты меня бережешь. Разговаривали мы много о Сонечке, он ее очень любит, говорит, что еще больше будет любить. Он хотел со мной пошутить и нечаянно ударил меня довольно больно по лицу. Ему сделалось так больно это, что он стал на колени и с $^1/_4$ часа стоял, прося прощения и говоря, что вовсе не думал так сильно меня прибить, так меня обидеть, говорил, что очень меня любит, ужасно, ужасно. И Сонечку тоже. Я вполне уверена, что когда он ее увидит, то еще больше полюбит, еще больше нами будет дорожить. Он всегда только горюет, что у нас денег нет, что у нас слишком мало денег, а нужно довольно много для родни и для Сонечки. Вижу я во сне постоянно Сонечку и то, как она у меня родилась, но именно бывают всегда какие-то странные обстоятельства; право, даже смешно видеть, что это за чепуха.

Вторник 15/3 ⟨*октября*⟩. Сегодня опять разбудила Федю попозже, чтобы он мог выспаться. Он все жалуется, что у него сердце останавливается и мешает ему дышать. Мне это ужасно как грустно слушать, право, если он разболеется. Утром мы растопили печку, и я начала стирать и гладить платки, потому что и у него, и у меня сильный насморк, а отдавать прачке, по-первых, дорого, а во-вторых, она не ходит раньше недели. Кончив мою работу, я принялась читать, а Федя сел опять писать. Нынче он пишет и вечером, все составляет план романа. Господи, как я ему от души желаю, чтобы роман вышел очень хороший. Это мое единственное и самое искреннее желание. Я постоянно об этом молилась, хотя вовсе не считаю, чтобы мои молитвы могли бы тут сколько-нибудь действовать. После работы он написал письмо к Moppert, у которого в Бадене заложены мои серьги и брошка, и предлагает ему 150 франков, чтобы только он подождал еще месяц. Не знаю, согласится ли тот. Но мне будет до такой степени горько, если эти вещи пропадут. Во-первых, и память дорога об этих серьгах, а к тому же других ведь у меня не будет, хотя Федя и говорит, что он мне непременно купит. Но ведь у нас так много других расходов, других издержек, что покупать решительно нет никакой возможности. Я сказала об этом Феде, а он отвечал, что я говорю это только для того, чтобы его укорить, хотя у меня и в мысли этого не было. Из-за письма просидели дома до 4-х часов, и Федя так торопился одеваться, что забыл свои платки, и когда мы пришли обедать, то оказалось необходимо взять хотя бы какой-нибудь платок, иначе просто хоть домой иди. Федя затем меня выбранил, да и стоило. Подали нам все почти холодное, потому что мы уж слишком поздно пришли. От обеда я хотела идти на почту, но когда начала говорить об этом Феде, то начала как-то странно ⟨заговариваться? ⟩, т. е. говорить не те слова, которые бы следовало. Федя рассердился, и мы разошлись в разные стороны. (Я заметила, что нынче я говорю очень часто совсем не то, что хотела сказать, совершенно не те выражения, это просто меня обижает, если эта способность за мной останется.) На почте ничего не получила, но отдала письмо и взяли за него 40 с. Пришла домой, пришел скоро и Федя и хотел мне представиться сердитым, но я расхохоталась, и он тоже не мог не рассмеяться. Пошли мы гулять и на дороге все разговаривали о том, как подло, если мужчина изменяет своей жене. Зашел этот разговор по поводу одной девушки, довольно красивой, которая мне очень нравится; Федя сказал, что он ее знает (не знаю, правда ли это) и сказал, что он был друг ее. Начал оправдываться, говорил, что это не в⟨а⟩ж⟨но⟩сть⟨? ⟩, что это просто было желание, а чтотут преступления нет, потому что было без любви; что скорее преступление будет, если он будет любить кого-нибудь или носить деньги кому-нибудь из дому, вот это так преступление. Я же отвечала, что, по моему мнению, даже просто измена ужас как оскорбляет жену, и если бы я была мужчиной, то, кажется, ни за что, никогда бы не изменила своей жене; что мне было бы даже совестно взглянуть ей в глаза, если бы мне пришлось ей изменить. Мне даже ужасно больно подумать, о том, что если бы Федя действительно мне изменил, право, это уж так грустно, хотя как тут узнаешь. Право, лучше быть незамужем, никого не любить, по крайней мере тогда не станешь беспокоиться, что кто-нибудь мне изменяет и меняет на другую. Но я постаралась как-нибудь отделаться от своей этой мысли, тем более, что Федя был очень внимателен ко мне и, кажется, очень меня любит.

Вечером Федя сел писать, а я легла полежать, да немного и заснула. Так у нас было хорошо в нашей комнатке, право, что, может быть, так хорошо никогда и не будет. Тепло, тихо, Федя работает, так светло и так приятно лежать. Он также такой ласковый, милый. Правда, я заметила, что он немного стал раздражительный в последнее время, и я думаю, что это решительно происходит от климата, потому что уж климат слишком

дурной и страшно переменчивый. У нас сегодня не хватило воды, и Федя пошел в кухню хлопотать насчет нее. Старухи сейчас захлопотали и принесли воды. Тут Федя сказал нашим двум старушкам, что я беременна. Я отвечала, что это неправда, что он все лжет. Старуха расхохоталась и, вероятно, не поверила, хотя уверяла, что она очень любит детей и что она будет за мной ухаживать, предлагала взять здесь их вторую комнату, сказав, что она прогонит наших соседей, потому что они им не нравятся 〈... 〉 Федя сказал, что теперь пока не надо, а что потом мы возьмем их 2-ю комнату 〈... 〉 Как-то на днях, когда у меня очень болела голова, наша старушка сказала, чтобы я ничего не делала без доктора, потому что может быть я par hasard * беременна. Мне так смешно показалось это слово par hasard, когда я уже, может быть, больше 5 месяцев, как готова. Федя сказал, что ребенок будет кричать как un turc **. Какая похвала для моей Сонечки. Как-то мы тут говорили с Федей, и он сказал, что если бы мы выиграли 10 тысяч, то он дал бы мне сколько мне угодно денег, например, дал бы мне на мои расходы 1000 франков, не спросив, на что мне надо. Я сказала, что тогда бы я бог знает чего накупила для Сонечки. Он отвечал, что если для Сонечки, то он не пожалел бы даже 4 тысячи.

Теперь расскажу про 3 октября прошлого года, день, в который я была удивительно как счастлива. Это был понедельник, день, в который я обыкновенно ходила учиться стенографии, т. е. в это время приезжала диктовать, потому что я довольно уж сильно тогда писала. Было 6 часов вечера, когда я пришла в 6-ю гимназию, урок еще не начинался, и я уселась на свое место, раскладывала свои тетради, приготовившись писать. Вдруг ко мне подошел Ольхин, попросил подвинуться, потому что сказал, что имеет со мной много поговорить.

— Не хотите ли вы получить стенограф〈ическую〉 работу,— сказал он мне.— Мне поручена одна работа, и я думаю, что, может быть, вы согласитесь принять ее.

— Я еще не знаю, довольно ли я сильна в стенографии, чтобы взять на себя какой-нибудь труд.

Он сказал, что это не потребует больше 200 букв, а вы совершенно хорошо пишете, чтобы успевать писать под диктовку и чтобы вполне надеяться, что я могу взять на себя эту работу. Я спросила, в чем суть.

— Это работа у одного писателя, Достоевского, который пишет теперь роман и которому нужно писать под диктовку всего 7 листов [80], и за работу просил я 30 рублей. Ну так вы знаете, необходимо условие насчет платы, от труда 10%, которую я должен получить за отыскание работы.

Я отвечала, что я решительно не буду нисколько на этот счет спорить. Потом он сказал, что у него есть 2 ученицы, которые желают догнать его курс, и что думает, что я могла бы их приготовить, а получу я за них по 5 рублей, т. е. по 2 урока, вероятно, мне это не мало. Я согласилась, он вынул из кармана небольшую записку, адрес Достоевского: «Столярный переулок и Малая Мещанская, дом Алонкина [81], кв. № 13. Спросить Достоевского». Я решительно не знала, кто именно писал эту записку, Федя или Ольхин, вероятнее всего, что Федя, потому что он дал этот адрес. Я взяла его и сейчас спрятала, ужасно боясь, как бы мне его не потерять. Потом он прибавил, что мне непременно следует быть там в половине 12-го, ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда он мне назначил. Потом он отошел, потому что класс должен был скоро начаться, и оставил меня в ужасной радости.

Урок уж начался, когда пришла госпожа Иванова [82] и обыкновенно села около меня. Я сейчас ей сказала, что Ольхин нашел мне работу, что

---

* случайно (*франц.*).
** турок (*франц.*).

она будет стоить 30 рублей [83], дал мне адрес, и что даже обещал мне 2-х учениц. Она, видимо, была поражена моими словами и даже сразу, как мне кажется, не поверила мне. Она выслушала меня с завистью, сказала, что очень рада за меня и все старалась выспросить, когда именно, в котором часу и к кому. Я сказала — к Достоевскому, в половине 12-го, но адреса не сказала: я боялась, чтобы ей не вздумалось идти туда вместо меня, чтобы меня заменить или как-нибудь постараться помешать мне взять на себя эту работу, и адреса я ей все-таки не сказала, а сказала, что знаю, что в Столярном переулке, а адрес вынимать уж слишком долго. Урок кончился, я подошла к Ольхину спросить его, на какой бумаге, какого формата и какие оставлять поля. Он отвечал, что это он уж предоставляет Достоевскому, потом прибавил, что он надеется, что я буду очень внимательна к работе, тем более, что это первая, постараюсь приходить вовремя и потом, что, вероятно, мне придется идти раз 10, не больше. «Это чрезвычайно угрюмый господин, ужасно мрачный, я решительно не знаю, как вы с ним сойдетесь». Я отвечала, что это меня нисколько не заботит. Да и действительно, что мне было за дело до характера человека, я ведь вовсе не для замужества с ним пришла, а для работы, следовательно, исполни я только верно свою работу, и я могу быть уверена, что буду жить в ладу с ним.

Вышли мы с Ивановой, и все мне казалось такое хорошее, такое светлое, уютное, какое-то особенное, новое; даже и погода скверная, и дождь показались мне сносными. Сели мы на извозчика. Она в своем меховом салопе так заняла много места, что я едва не вывалилась из дрожек. Всю дорогу она меня выспрашивала, что сказал мне Ольхин, где живет Федя, говорила, что она за меня ужасно как рада, что мы уж начинаем работать, что это показывает, что наш труд не останется бесполезным, что это подает нам надежду и заставляет больше заниматься. Говорила, что, может быть, если бы несколько больше занималась, то он поручил бы ей эту работу. Вообще видно было, что она была очень недовольна, что работа поручена не ей, может быть, даже завидовала мне, потому что по всем ее разговорам можно было судить, что она себя считала самой лучшей ученицей из всех его учениц. Я довезла ее до угла Николаевской и Колокольной, потом заплатила извозчику, кажется, 15 копеек и пересела в дилижанс, чтобы скорее доехать до дому.

Когда я ехала домой, я была так рада, так счастлива, что и представить себе этого нельзя. Вот, наконец, и я начинаю зарабатывать деньги, думала я, наконец-то мое постоянное всегдашнее желание исполнилось, как это хорошо, как я буду счастлива! Как обрадуется бедная мама, что, наконец, мои старания увенчались успехом, и я буду тоже полезна, буду зарабатывать свои трудовые деньги. Я не понимаю, как * эти мысли имели на меня сильное влияние. У меня постоянно, всю мою жизнь было одно только страстное желание, это иметь свой кусок хлеба, иметь возможность не обременять мою семью, а быть самой ей полезной, стать самой на ноги, и в случае нужды суметь найти себе деньги. Теперь я могу помогать маме. Какая это была чистая радость! Право, навряд ли у меня будет в жизни много таких прекрасных часов, как были эти. Эта мысль, что я теперь полезна, она так меня радовала и так меня восхищала, что я бы, кажется, меньше радовалась, если бы узнала, что получила наследство в 500 рублей, чем этим трудовым, *своим*, своим трудом заработанным 30 рублям.

Когда я вышла из дилижанса, меня встретил дворник, посланный проводить меня, мы вместе пошли, и я нарочно ускорила шаги, чтобы поскорее дойти домой и рассказать об этом маме. Я быстро прошла нашу лестницу, притворила растворенные двери. Мама в это время ставила самовар и стояла над ним, нагнувшись; она очень обрадовалась, когда увидела, что я пришла, потому что уж начала беспокоиться, встретил ли меня

дворник, а идти одной вечером в наших местах было довольно страшно. Я позвала ее в другую комнату и сказала ей: «Поздравьте меня, мама, я получила работу». «Неужели»,— сказала моя бедная мамочка, ужасно обрадовавшись. Тут я рассказала, что работы будет не слишком много, а платить будут 30 рублей. 30 рублей, мне эта сумма казалась до того великой: я так много могла на нее сделать, так много истратить, пополнить много в моем туалете. Мы очень весело с мамой разговаривали, толковали о том, как я пойду; я рассказала, что это Достоевский, очень известный писатель и что я читала его прекрасные произведения; мы очень радостно и долго говорили об этом; очень весело напились чаю, и моя добрая мамочка была так обрадована, что я даже и сказать не знаю. Я легла в постель в моей комнате (мама спала тут) и сказала мамочке, что мне кажется, я бы сейчас пошла работать, вот сейчас, не дождавшись до завтра, такое во мне было нетерпение поскорее приняться за труд. Я дала себе обещание исполнять мою работу как можно тщательнее и лучше, чтобы не даром получить эти деньги; я не могла дождаться, когда придет это завтра, это милое, дорогое завтра, важный день, что я начну новую деятельность. От волнения я даже и заснуть долго не могла, а между тем, тут мне бы, кажется, нужен был сон для того, чтобы завтра руки были свежие и не усталые. Наконец, как-то мне удалось заснуть, спала я крепко и проснулась ⟨бодрая в этот? ⟩ день, замечательный в моей жизни, потому что в него я в первый раз увидела Федю.

Среда 16/4 ⟨октября⟩. Встала я довольно рано, напилась весело кофею и тотчас принялась за осмотрение моего черного шелкового платья и кофты и кое-что зачинила. Мне хотелось явиться как можно приличнее, чтобы не быть в глазах его нищей; мне вообще хотелось оставаться в независимом положении, стать на ровную ногу. В половине 10-го я уже вышла из дому. Мама провожала меня до низа, и здесь мы встретили Ольгу Васильевну [84], которой тоже рассказали, что я получила работу. Я села в дилижанс и отправилась в Гостиный двор и, доехав до лавки Морозова, вышла из дилижанса. Здесь я выбрала себе зонтик черный ⟨к о л е н к о р о в ы й⟩ за рубль серебром с очень хорошей деревянной красивой ручкой; купила потому, что подумала, пойдет дождь, а мне вовсе не хотелось приходить на работу в мокром виде. Заходила я себе купить калоши или башмаки, но было довольно мало времени и потому я отложила покупки до другого раза. Когда я ходила по Гостиному двору, мне встретился Grünberg [85], которого я уже не видала года с полтора и который мне очень обрадовался. Он мне сказал, что у всех выспрашивает, не знает ли кто, где я, но никто будто бы не мог дать ему ответа. Я ему сказала, что я оставила педагогические курсы, на что он мне ответил, что сделала я очень хорошо, потому что там решительно ничего не делают; теперь же я занимаюсь стенографией, и вот теперь иду на работу. Потом я спросила его, где он живет; он отвечал, что в этом же доме на ⟨Т в е р с к о й⟩, но в квартире, которая выходит на двор, и прибавил, что будет очень рад, очень рад, если я когда-нибудь зайду к нему. Я сказала, что непременно приду. Я действительно была тогда намерена прийти когда-нибудь к нему, он был всегда так добр ко мне и считал меня всегда своею лучшей ученицей; да и теперь он встретил меня очень радостно, так что, право, грех забывать его. Мы расстались, и я отправилась на Невский проспект в лавочку купить себе бумаги и карандаши. Тут мне попался на глаза портфель и я решилась его купить (стоил всего 60), потому что в этом случае бумага не будет мяться, а мне хотелось показать вид порядочности. Купила себе карандаши, и летом мне подарили коробочку.

Было тогда 11 часов, я отправилась потихоньку по Большой Мещанской, поглядывая на часы, не желая прийти ни раньше половины 12-го да не

прийти и позже; вообще мне представлялось, что это такая*и на первый раз хотелось выказать как можно больше точности и деловитости. Наконец, оставалось всего 10 минут. Я вошла в Столярный переулок, принялась отыскивать дом Алонкина. В этом переулке я была всего только первый раз в жизни; дом я скоро нашла, это был очень большой каменный дом, выходящий на Малую Мещанскую и Столярный переулок, с трактиром и с постоем извозчиков, с несколькими пивными лавочками. Тут жил Б⟨енардаки?⟩[86], фамилия которого мне почему-то запомнилась. Ворота находились по Малой Мещанской, я вошла, здесь было очень много извозчиков и попадались довольно неприличные хари. Я прошла вглубь двора, увидела дворника и спросила, где живет Достоевский. Он отвечал, что в 13-м номере, первый подъезд направо. Я поднялась во 2-й этаж по довольно грязной лестнице, на которой тоже мне попались несколько человек очень неприличных и 2 или 3 жида. Я позвонила, через минуту мне отворила дверь девушка, довольно смазливая, но страшно растрепанная и с ужасно хитрыми, как мне показалось, злыми черными глазами, с черным в клетку платком, накинутым на голову. Я спросила, тут ли живет Достоевский, и на ее утвердительный ответ просила сказать ему, что пришла стенограф от Ольхина и что он уж знает. В эту самую минуту, когда я входила в дверь в передней, в другой комнате, прямо против двери, выскочил какой-то молодой человек в туфлях и с открытой грудью, выскочил, но увидев незнакомое лицо, тотчас спрятался. Я тотчас заключила, что это, должно быть, его сын. Федосья проводила меня в следующую комнату и попросила меня сесть, сказав, что сейчас выйдет. (Я забыла сказать: дорогой и весь вечер я себе представляла его, мне казалось, что это непременно будет или просто небольшого роста человечек с брюшком и лысой головой, очень веселый и смешливый, или, наконец, задумчивый, суровый, угрюмый господин, как его обрисовал Ольхин, высокого роста, бледный, худой. Тут я много припомнила его сочинений, то, что читала: «Неточка Незванова», «Униженные», «Мертвый дом», «Бедные люди», одним словом все, что я читала и чем я восхищалась.) Я села, сняла шляпу, свои черные перчатки, распустила платок, при этом мне пришлось взглянуть на часы, которые висели прямо над диваном; было уж с лишком половина 12-го, и я была ужасно как довольна, что пришла так ровно, как мне назначено. Прошло, мне кажется, с 5 минут, как я села, а, между тем, никто не входил; в это время я осматривала комнату, которая показалась мне очень невзрачной, довольно мещанской комнатой. Все стены были заставлены шкафами, у самых дверей находится какой-то деревянный безобразный сундучок. В комнате было 3 двери: одна, в которую я вошла, 2-я левая, откуда выскочил растрепанный молодой человек, а 3-я направо, вероятно, в гостиную, подумала я, но я видела только часть комнаты, именно, цветок с каким-то вьющимся растением. Около двери направо стоял комод, покрытый белой салфеткой, по-мещански. На нем стояли 2 старых подсвечника ⟨н а п о л к е⟩ и лежала щетка. У окна стоял обеденный складной стол и несколько стульев. Вообще по комнате мне показалось, что здесь живет довольно небольшая семья, и мне вдруг представилась вся его жизнь. Мне показалось, что это вроде Ушинского[87], у которого Ваня раз был и рассказывал, что у него очень и очень бедно. Мне почему-то показалось, что Достоевский непременно женат, что вот вместо него выйдет его жена, что у него есть дети, что я непременно услышу сейчас где-нибудь детские крики или шумную детскую воз⟨ню⟩. Вообще эта комната как-то не оправдывала то, что я ожидала встретить. Федосья просила подождать, сказав, что сейчас *идут*.

Так прошло минут с 10, как вдруг, теперь не припомню из которой именно комнаты, но кажется, что из кухни (вероятно, Федя был в это время в кабинете и через кухню возвратился в квартиру) явился Федя.

Я раскланялась, и он пригласил меня пройти в следующую комнату; сам он поворотил в Пашину комнату; я, не зная ничего, пошла за ним, но он показал, что не в эту, а в его кабинет, куда я и вошла. 2-я комната была значительно лучше 1-й, больше, высокая, длинная, с 2-мя окнами, но какая-то мрачная, хотя довольно было дневного света; но это, вероятно, происходило от обоев. В глубине комнаты стоял диван, покрытый какой-то клетчатой материей, перед ним стол, покрытый красной салфеткой, на столе лампа и лежали 2 или 3 альбома. Над диваном висел портрет какой-то дамы в черном чепчике, вероятно, его жены. Это, вероятно, жена его, подумала я, как-то взглянув наверх. Кругом стола стояли стулья, покрытые той же темной ⟨клетчатой?⟩ материей, довольно уже поношенной. На этот раз* комната все-таки казалась довольно светлой, но в другой день она производит ужасно тяжелое впечатление, как-то в ней слишком тихо, слишком сумрачно и даже тяжело. Между двумя окнами стояло зеркало в черной ореховой раме, но простенок был значительно шире зеркала и потому оно стояло как-то криво, не симметрично; мне же, привыкшей к симметрии, это показалось несколько странно; у одного окна стоял цветок, тот самый, который виделся из первой комнаты, перед ним столик, какая-то шкатулка. На окнах были 2 прекрасные китайские вазы, прекрасной формы; у другого окна стояло 2 стула (замечательные потому, что на них-то произошло объяснение), на один-то из них я и положила свой портфель и шляпу, когда вошла. Тут я заметила в углу стол, заваленный разными бумагами, и небольшой еще столик, на котором была какая-то шкатулка с черепаховой крышкой и с отличной инкрустацией. У входной двери стоял огромный диван зеленого сафьяна, очень удобный, и около него столик с графином воды. Среди комнаты, ближе к стене, стоял письменный, довольно обыкновенный стол, а перед ним деревянное кресло, на котором я потом очень много раз сидела, когда диктовали. Я сидела уж несколько времени в комнате и могла ее хорошо рассмотреть (на первый взгляд она мне показалась довольно порядочной, особенно в сравнении со столовой), как снова вошел Федя; он выходил, вероятно, чтобы что-нибудь приказать Федосье. Чтобы чем-нибудь начать разговор, он меня спросил, давно ли я занимаюсь стенографией. Я стояла у окна; но подошла к столу и сказала, что уж учусь с полгода (действительно, 4 апреля начала в первый раз уроки, а 4 октября уже начала работать, т. е. ровно через полгода, а Ольхин, между тем, говорил мне, что работать нельзя иначе, как через 2 года). На его вопрос, много ли учеников, я отвечала, что было 150, на́чало-то много, а что теперь осталось всего 25, потому что все думали, что это очень легко, а как увидели, что в один раз и в несколько недель ничего не сделаешь, то и побросали стенографию. Он сказал, что это бывает, как и во всяком деле, многие принимаются, а больше половины и оставляют, потому что видят, что надо трудиться, а трудиться кому же хочется.

Странным мне показался этот человек! Довольно старообразный с первого взгляда, но потом сейчас кажется, что ему не более 37 лет; среднего роста, какое-то измуч⟨енное⟩ болезн⟨енное⟩** лицо, с светлыми, слегка даже рыжеватыми волосами, сильно напомаженными и как-то странно зачесанными, точно в парике; в довершение всего у него было в это время два совершенно различных глаза (тогда он лечился у Юнге от раны в глаз [88] и один зрачок у него был положительно расширен), один прекрасного цвета черный, а другой зрачок как-то странно расширен, что придавало его физиономии решительно какое-то странное выражение и не позволяло увидеть выражение его глаз. Вообще он мне показался похожим на педагога, и лицо его показалось мне довольно злым. Одет он был

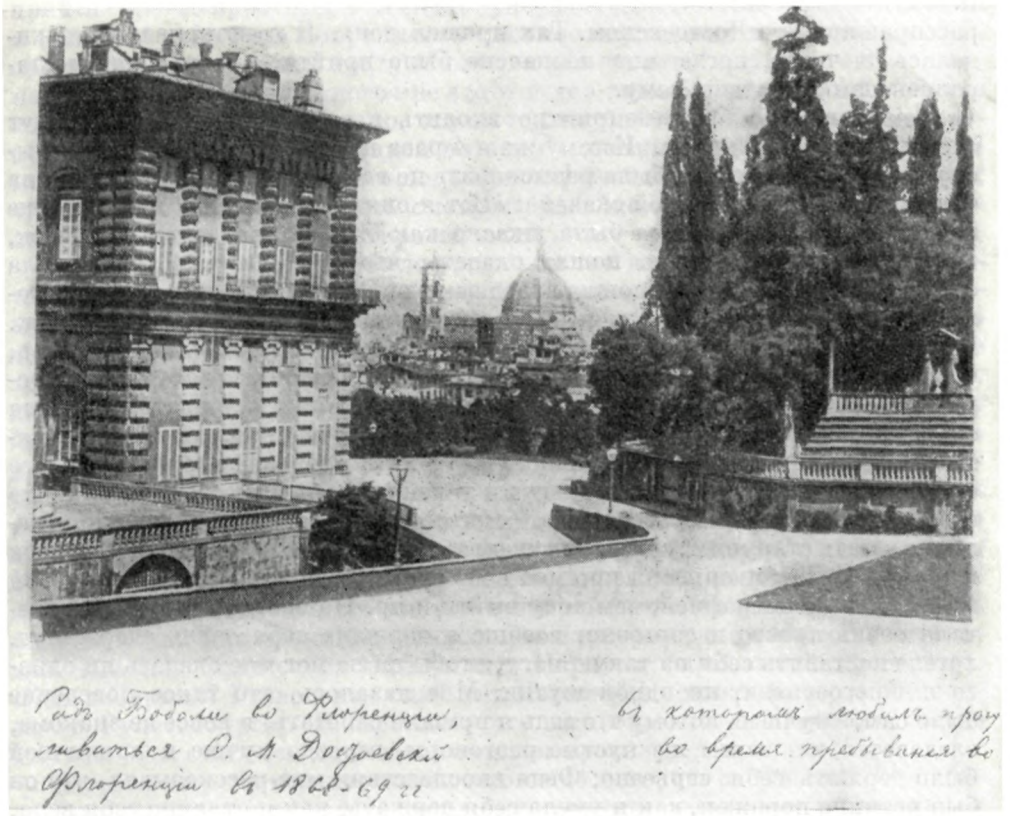
* *Может быть*: на первый раз.
** *Может быть:* измененное болезнью.

в синей куртке, довольно уж засаленной (он говорит, что носит ее 6 или 7 лет), и в серых панталонах, но в очень чистом белье. В этом нужно было ему отдать справедливость, я его никогда не видала ходящим в грязном белье. Лицо его носило удивительно какое-то странное выражение, и право, он даже мне не понравился сразу.

Через 5 минут после моего прихода вошла Федосья и принесла 2 больших стакана с чаем, чрезвычайно крепким, почти черным; на подносе лежали 2 булки. Я взяла один стакан и булку и хотя решительно не хотела пить, было даже почти жарко, но чтобы не обидеть, я взяла и начала пить. Я сидела на стуле противоположного письменного стола около двери. Мы начали разговаривать, он сидел за письменным столом. Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможенным, больным, тем более, что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падучей. Он то сидел, то расхаживал по комнате, куря папиросы, причем предложил и мне, но я отказалась, сказав, что никогда не курю. «Может быть, вы это из учтивости не хотите курить?» Но я отвечала, что даже не люблю смотреть, когда дамы курят. Да, он мне показался чрезвычайно странным. Я тут припомнила слова Ольхина, назвавшего его очень угрюмым человеком. Мне даже показалось, что наше дело расстроится, что мне даже не придется у него писать, потому что он говорил: «Мы посмотрим, как это сделать, мы увидим, возможно ли это, попробуем». Потом он спросил меня, как мое имя, я сказала: «Анна Григорьевна», впоследствии он несколько раз забывал его и снова выспрашивал, как меня зовут.

Мы довольно долго разговаривали, я уж несколько досадовала, что мы не принимаемся за дело: наконец, он для пробы попросил меня написать ему что-нибудь, он стал мне диктовать что-то из «Русского вестника», сказав, чтобы я ему точно потом перевела на обыкновенное письмо. Начал он диктовать ужасно скоро, но я тотчас его остановила, сказав, что я так скоро не привыкла писать, он начал реже. Потом я тотчас села переписывать ему это, а он начал опять ходить по комнате. Я из всех наших стенографов читаю скорее всех, даже гораздо скорее Ольхина, то, что я написала, и потому я сейчас переписала это. Но он заметил, что я это довольно долго делаю. Вообще он был какой-то странный, не то грубый, не то уж слишком откровенный. Потом он начал сверять и нашел, кажется 2 пропуска в предлогах и чрезвычайно грубо заметил мне об этом [89]. Вообще с первого взгляда он мне не понравился. Он как бы был уж слишком расстроен и, кажется, даже не мог собраться с мыслями. Несколько раз он принимался ходить, как бы забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чем-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать. Наконец, он мне сказал, что теперь диктовать не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему эдак сегодня вечером часов в 8. Я сказала, что приду, надела шляпу, взяла свой портфель и распрощалась с ним. Когда я уходила, то мне сказал: «Знаете, я даже рад был, когда Ольхин мне сказал, не может ли он ко мне прислать даму, а не мужчину работать; вы, вероятно, удивитесь этому, вы спросите, почему; вероятно, это показалось вам странным. А потому, что мужчина непременно запьет, уж наверно запьет, а вы, я надеюсь, не запьете». Я отвечала, что в этом он может быть уверен.

Он проводил меня до дверей своей комнаты. Я вышла в переднюю, и когда девушка стала застегивать мне платье, то я дала ей 20 копеек. Надо сказать, что на первый взгляд он мне как-то даже очень не понравился, мне было даже отчего-то очень неприятно. Мне казалось, что все это ни к чему не приведет, что я не сойдусь с ним в работе и что, может быть, моя мечта заработать деньги окончится просто пустяками. Мне это было тем более больно, что я вчера и милая мамочка так сильно радовались. Было, я думаю, больше 2-х часов, когда я вышла от него и дошла пока



ФЛОРЕНЦИЯ. САД БОБОЛИ

Фотография с надписью А. Г. Достоевской: «Сад Боболи во Флоренции, в котором любил прогуливаться Достоевский во время пребывания во Флоренции в 1868—69 гг.»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

к Сниткиным, потому что возвратиться домой мне не хотелось, во-первых, потому, что во всяком случае, нужно будет сегодня вечером снова идти, а во-вторых, мне хотелось похв⟨а л и⟩ться * перед Сниткиными, что вот и я под конец получила себе работу, чтобы они не думали, что я только задаром живу и ем мамин хлеб, они всегда намекали на это, что я ничего не делаю, а только лишняя обуза для мамы и, вероятно, в душе смеялись над стенографией и над тем, что я учусь; по их мнению, это были совершенные пустяки и решительно не стоило тратить времени на то, чтобы учиться такой вещи. По дороге я зашла в какой-то магазин подержанных вещей (у меня есть такая страсть к дешевым покупкам) и спросила, нет ли у них сита серебряного, но у них не было; день был прекрасный, очень ясный. Пришла я к ним (жили они тогда в доме Воронина в Фонарном переулке и на углу Глухого переулка) и сказала, что буду у них обедать, потому что вечером отправляюсь к Достоевскому писать (всю дорогу к ним я шла очень печальная, с каким-то особым тяжелым чувством, с совершенно противоположным настроением, с каким давеча шла работать; мне все казалось, что мы не сойдемся и что работа от меня будет отнята). Девицы были одни дома. Я им рассказала, что Ольхин мне достал работу и сказала, что он уж мне немного диктовал, а что следует мне еще прийти к нему вечером. Маша Сниткина начала тотчас просить, чтобы я ее стала учить стенографии, непременно давала бы уроки, я обещала, но это потом как-то у нас и улетело в трубу. Потом пришли Саша и Маша [90], и те меня много

расспрашивали о Достоевском. Так прошел день. Я с нетерпением дожидалась 8 часов, когда мне назначено было прийти, и я нарочно постаралась не опоздать к нему.

Мне довольно было неприятно входить в этот дом, потому что тут всегда так много народу. К тому же я 4 раза никак не могла сначала отыскать его и принуждена была разыскивать по всем 4-м углам. Мне отворила Федосья, и я ей с улыбкой сказала: «Вот я опять к вам». Она помогла мне раздеться (она мне давеча была ужасно как благодарна за те 20 копеек, которые я ей дала). Она пошла сказать, что я пришла. Я подождала с минуту в столовой и уж вошла вслед за нею. Он сидел за письменным столом. Я опять раскланялась и села на мое обыкновенное место у двери. Но он мне предложил переместиться за его письм⟨енный⟩ стол, сказав, что мне там будет гораздо удобнее писать, чем за маленьким столом. Я пересела; он же сел на мое место у двери и там начал разговаривать. Он снова спросил, как меня зовут, и захотел узнать, не родственница ли я тому писателю Сниткину, который недавно умер [91]. Я отвечала, что нет, что это однофамилец. Потом спросил, есть ли у меня отец и мать. Я отвечала, что отец мой умер в апреле этого года [92] и что я по нему ношу траур, что у меня есть мать старушка, сестра замужем за цензором и брат, который учится в Москве. Потом спросил про мое воспитание, где я училась, давно ли занимаюсь стенографией, чем хочу выйти и пр. На все эти вопросы я отвечала очень просто и серьезно; вообще я держала себя очень сдержанно, хотела поставить себя на такую ногу, чтобы он не мог мне сказать ни одного лишнего слова, ни одной шутки. Мне казалось, что такое поведение было самое лучшее, потому что ведь я пришла работать, я вовсе не знакома, следовательно, зачем же пустые разговоры, гораздо лучше и приличней было держать себя серьезно; Федя впоследствии мне рассказывал, что он был истинно поражен, как я умела себя держать, как я отлично себя вела, так что в нем ни в ⟨каком случае?⟩ не могло ⟨явиться?⟩ ни одного вольного слова, так заставил молчать мой хороший серьезный тон; я, кажется, даже ни разу не засмеялась; Федя говорил мне, что это умение держать себя ему очень понравилось, что умение поставить себя сразу в почтительные отношения; он же привык так много раз видеть нигилисток, и, вероятно, ожидал, что и я буду такая. Когда мы разговаривали, Федосья приготовила в другой комнате чай, внесла его к нам и подала по целой булке. Принесла на блюдечке и лимон. Я стала пить. Тут Федя опять спросил, не хочу ли я курить, я отвечала, что никогда не курю. Потом он встал, подошел к окну, где у него в бумажном мешке лежали груши, вынул их 2 и просто из рук подал мне одну. Мне показалось это несколько странным, такая бесцеремонность, ведь мог бы он положить ее хотя бы на тарелку. Я преспокойно взяла и без всякой церемонии съела.

Он начал рассказывать про себя, говорил о том, как он четверть часа стоял под боязнью смертной казни и как ему оставалось жить только 5 минут, наконец он доживал минуты и как ему казалось, что не 5 минут осталось, а целых 5 лет, 5 веков, так ему было еще ⟨долго?⟩ жить. Разделены они были на 3 разряда по 3, он был во 2-м ряду; первых уже подвели к столбу, одели в рубашки, через минуту они были бы расстреляны, а затем была бы и его очередь. Как он желал жить, господи, боже мой! Как ему казалась долгой жизнь, сколько доброго и хорошего можно сделать; тут припомнилась вся прежняя жизнь, ее не совсем хорошие употребления, и так захотелось все испытать, так захотелось еще пожить много, много. Но вдруг послышался отбой, тут он ободрился. Затем 3-х приговоренных отвязали и всем прочитали смягчение приговора, его же на 4 года в каторгу в Омск. Как он был счастлив в тот день, он такого и не запомнит другого раза. Он все ходил по казематy (в Алексеевском равелине) и громко пел, все пел. Так он был рад дарованной жизни. Потом допустили

прийти брата проститься и накануне рождества Христова отправили в ⟨Сибирь?⟩. У Феди сохранилось письмо, написанное в тот день, в день прочтения приговора, к брату Мише (он его недавно достал от своего племянника [93]). Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен. Казалось бы, этот такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал все с такими подробностями и так искренно и откровенно, что даже странно становилось смотреть. Мне же это ужасно как понравилось, эта доверенность и откровенность.

Мне несколько досадно было то, что он так долго не начинает мне диктовать; становилось поздно, а мне сегодня приходилось ехать домой, потому что маму я не видела с самого утра, а обещала, между тем, прийти сейчас после работы; к Сниткиным ночевать мне не хотелось идти. Мне даже хотелось об этом ему заметить, но, наконец, он сам предложил начать диктовать; я опять очинила свои карандаши (самое мое любимое занятие было очинка карандашей , и таким образом у меня руки были постоянно ужас⟨н о⟩ как гряз⟨н ы е⟩, все в грязи). Он ходил по комнате довольно быстро из одного угла в другой, от печки к двери, куря папиросы и быстро их меняя, окурки же бросал в папиросницу у меня на столе. Диктовал он мне очень медленно, потому что диктовал изустно, так что у меня оставалось очень много времени, чтобы сидеть, ничего не делая, и смотреть на него или рассматривать что-нибудь в его комнате. Продиктовав немного, он предложил мне прочитать написанное и с первых его слов меня остановил. Вначале были слова «Мы были в Париже», или что-то вроде того. «Как в Париже? Разве я вам сказал: в Париже? Не может быть. Я вам сказал: в Рулетенбурге». Я отвечала, что мне сказали «в Париже», иначе с какой бы я стати это написала; он меня просил переправить [94].

В этот вечер он мне рассказал всю свою историю со Стелловским, какой это мошенник, как он не хотел ему уступить, какая ему решительная необходимость успеть написать роман к первому ноября непременно, а между тем, говорил, у меня решительно еще не составился план, что такое писать, я решительно не знаю, что это будет за роман; знаю только, что ему следует быть в 7 печатных листов Стелловского, а в каком это будет роде, решительно не знаю [95]; потом мы очень много говорили о разных литераторах, например о Майкове, которого он называл как самого лучшего человека, как одного из прекраснейших людей и литераторов. Потом о Тургеневе, про которого он говорил, что тот живет за границей и решительно забыл Россию и русскую жизнь [96]. Потом про Некрасова, которого он прямо называл шулером, игроком страшным, человеком, который толкует о страданиях человечества, а сам катается в колясках на рысаках [97], и вообще много-много говорили о различных литературных знаменитостях.

Когда пробило 11 часов, я сказала, что мне пора идти, он спросил, куда именно, где я живу, я отвечала: «На Песках», он отвечал, что никогда ему в жизни не приходилось там бывать, что решительно не знает, где это; но я сказала, что на этот раз я пойду ночевать к моим родственникам Сниткиным, которые живут очень недалеко отсюда. Он меня просил переписать продиктованное к завтра к 12 часам. Я обещала непременно быть. Одела шляпу и вышла; когда мы выходили из его кабинета в столовую, то он меня ужасно как поразил своей бесцеремонностью: «Какой вы большой шиньон носите, разве не стыдно носить чужие волосы». Я этому ужасно как удивилась и сказала, что у меня решительно небольшой шиньон и что это мои собственные волосы. На этот раз он меня проводил до передней и сказал Федосье посветить мне на лестнице. Когда я сходила, то спросила ее, как зовут барина, она отвечала: «Федор Михайлович». Я знала хорошо, что его зовут Федором, но не знала его отчества.

Было больше 11 часов, когда я вышла в Столярный переулок. Было ужасно как пуст⟨ы н н о⟩, проходили только разные пьяницы из рабочих, и мне было довольно страшно идти в этих местах. Наконец, в конце я нашла извозчика-старичка, которого наняла за 40 копеек. Я его очень торопила, чтобы поскорее доехать домой, и так как это был очень добрый старичок, то с ним разговаривала о разных предметах и преимущественно о деревне. Потом ему сказала, что за мной хотели прислать человека, а не прислали, так вот я и запоздала. Наконец, он привез меня домой, и я должна была еще стучаться, потому что мама, полагая, что я ночую у Сниткиных, заперла на ночь дверь. Она услышала стук и отворила дверь. Я ей рассказала весь мой день, хотя в сущности была вовсе не так довольна им; но маме показала, что очень довольна и рада, что познакомилась с этим человеком, с знаменитым писателем, рассказывала с восторгом о его откровенности со мной; потом я легла поскорей и просила маму разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать продиктованное и принести ему.

Теперь этот же день нынешнего года. Федя вчера мне говорил, что мне ни за что не встать завтра и не отнести письмо на почту; я с ним об этом поспорила и сказала, что непременно завтра это сделаю. Встала я довольно рано, сейчас села оканчивать письмо и в 9 часов уж вышла из дому. Наша хозяйка дала мне свой зонтик, и я была этому ужасно как рада, потому что дождь шел как из ведра. На почте я получила письмо от Паши, но, разумеется, не распечатала. Он обещал большую *, а по весу письма оказалось, что письмо уж слишком маленькое. Мне было, право, гораздо приятнее получить письмо от мамы, чем от Паши; я получила свое письмо нефранкованное и отправилась домой. Федя еще спал, когда я пришла. Я подала ему письмо, но он его только распечатал, а не прочел и встретил его вообще очень равнодушно. Мне представилось, что он сейчас так и набросится на письмо; но это было совершенно напротив; он оделся, напился кофею и даже рассердился, когда я ему заметила, что̀ он не прочитает письма. Уже напившись кофею, эдак, пожалуй, через час после получения письма, он наконец, сел его читать. В нем было еще письмо от Эмилии Федоровны. «Она пишет по-немецки,— сказал он,— вот за это спасибо, так я и пойму». Я отвечала, что в таком случае я возьмусь читать его и переводить. Впрочем, это совершенно хорошо, что она пишет на своем языке, потому что русского решительно не знает. Начал он читать Пашино письмо и даже немного подосадовал на него. Оказывается, что Маша и мама предлагали ему 2 места: одно в Ладогу, к мировому судье, а второе на железную дорогу, оба по 25 рублей в месяц. Это меня заставило призадуматься, говорит он. Только призадуматься, а еще не взять место. Это, право, даже смешно. Мальчик вообразил себе, что ему так и будут валиться места, и вдруг решается раздумывать и просить 3 различные отсрочки для решения, между тем, как место могут сейчас занять. Право, этот человек не понимает, в чем дело. Вот если бы ему пришлось самому ходить да хлопотать за местом, если бы у него не было средств и человека, который его кормит, если бы ему пришлось самому целые дни ходить, просить и ничего не получать, никакого места, тогда бы он, должно быть, и понял, как нужно дорожить местом. А то ему эти 2 бабы, Маша да мама (право, как они меня любят, ведь они вовсе не для него стараются, а только желают, чтобы он нас освободил от своего присутствия), стараются для него, ищут ему место, а он еще кобенится и смотрит, выбирает. Правду Майков говорит: «Вот место министра он, пожалуй, возьмет, а что вот ⟨когда?⟩ ему отыскали * маленькое хотя в 12 рублей, так это ему не годится»[98]. Теперь уже не в 12, а в 25, так он и тут кобенится; право, ведь не хлеб за брюхом ходит, а брюхо за хлебом, пора бы, кажется, это было понять. Паша пишет,

* *Может быть:* приискали

что, по его мнению, место по железной дороге ему кажется выгодней, а Федя так думает, что для него гораздо было бы лучше, если бы он поехал в Ладогу; может быть, нет ли тут какого-нибудь тайного со стороны Феди желания избавиться от его присутствия. Не знаю хорошенько, а я бы желала даже очень, чтобы так было. Мою просьбу насчет Ольхина он не исполнил, и я понимаю почему. Стенографией он решительно не занимается, следовательно, как же он может являться к Ольхину, понятно, что очень стыдно. Меня это обидело, и я непременно ему напишу и извинюсь, что осмелилась обеспокоить его своей просьбой. Паша просит непременно, чтобы Федя написал свой адрес, потому что имеет к нему какую-то просьбу. В чем она может состоять, это понятно,— разумеется, просить денег, но ведь у нас у самих нет, откуда же мы возьмем этому мальчику, который не может управиться с деньгами, которые ему дают на содержание. Письмо Эмилии Федоровны полно разного рода упреков, т. е. что ей не давали адреса, что у нее не было ни гроша, с чем переехать с дачи, что они там жили до 26 сентября, что она заложила салоп и не знает, с чем его выкупить. Вот это смешно, ведь и у меня тоже мой салоп заложен, вот уж больше полгода, так ведь прежде чем выкупить ее салоп, необходимо мой выкупить. Экая важность, что какая-нибудь дрянь, с позволения сказать, отрепье, баба, которая желает еще молодиться, желает иметь хороший салоп, что за важность, что ей неприятно ходить в гости в дурном салопе 〈...〉 Федя не хотел читать по-немецки и просил это сделать за него; я начала читать, но с расстановкой, как бы очень затруднялась ее почерком. Вдруг я вижу, что она что-то говорит о маме. Я посмотрела, и боясь, чтобы тут не было какой-нибудь жалобы, я преспокойно пропустила это место и начала читать ниже. Так что эта жалоба ее так-таки и осталась для Феди неизвестной. И какая это подлая женщина, как я теперь вижу; мало ей того, что Федя передал ей и еще платит за квартиру, так нет, непременно нужно лезть со своими жалобами, со своими нуждами, между тем как Федя писал ей, что он сам без денег, что у него у самого только на один месяц житья, а что потом он решительно не знает, что ему будет делать. Она говорит, что Анна Николаевна через Пашу передала ей, что Федя перестанет платить за их квартиру, однако, так как это было передано через других, то она не придает никакой веры и продолжает жить в его квартире. И какой это гнусный Паша, непременно нужно ему было передать, если он действительно это и слышал от мамы. Мальчишка, занимающийся бабьими сплетнями, так это красиво. Ну уж семейка, нечего сказать. Я только должна отдать справедливость Феде, что он не решился взять на себя, чтобы написать эти сплетни Феде, а предоставил это сделать своей мамаше. Это было сделано очень умно и деликатно. Такое было письмо; я начала сейчас охать да ахать, что у них денег нет, но Федя как-то это принял довольно хладнокровно. Господи, если бы это было на самом деле, как бы я была счастлива. Но нет, разве на это можно рассчитывать, чтобы он стал больше заботиться о своем семействе, чем о чужом, ведь это решительно невозможно, он решительно не такого характера, поэтому мы всегда можем надеяться жить в нищете и что у меня всегда будет заложен салоп и только для того, чтобы у его невестки салоп был выкуплен, и чтобы у нее были за столом сладкие пирожки. Ах, как это все гадко и подло!

Потом Федя принялся писать, а мне было немного нехорошо сегодня, но потом все-таки прошло. Пошли обедать, после обеда Федя зашел к одному доктору Mayor, про которого говорил нам Огарев. Но оказалось, что того нет дома и не будет до понедельника. У Феди сегодня ужасно как сжимает сердце, так что я до ужаса начинаю побаиваться, чтобы как-нибудь он не заболел. Поэтому-то я уговаривала его непременно зайти к доктору 〈...〉 Нашли и доктора, но девушка его объя-

вила, что он принимает только от 1 до 2-х, а что в другое время его и застать нельзя. Федя спросил ее: «А если бы человек умирал в 2 часа ночи, то доктора и застать нельзя?» — «Нельзя». «Никогда нельзя?» — «Никогда нельзя, кроме указанных часов».

Ну что это за подлецы, как возможно это? Да эдак человек может умереть без доктора, которого по всему городу будут искать и ни один не согласится идти не в отведенный час. Ведь это варварство, а не ⟨о б р а з о в а н и е⟩. Ведь доктор должен быть готов идти каждую минуту, каждый час, как и священник. Эдакий подлый обычай. Гуляли мы довольно долго. Потом пришли домой. Я села писать. День был сегодня такой, какой бывает у нас в великом посту, когда Нева расходится и когда льдины бывают желтого цвета, а ветер ужасно резкий, юго-западный, кажется. Ужасно грустно глядеть; это будет, я думаю, иметь влияние и на роман Феди; тем более, что никого не видеть, ни с кем не говорить, все-таки очень дурно будет на него действовать. Федя сегодня сказал за обедом, что ему очень бы не хотелось умереть, не увидев Сонечки. Кажется, он ее очень любит, милую мою девочку или милого моего мальчика, а я так ужасно люблю. Как-то сегодня Федя мне сказал, что с тех пор, как он на мне женился, у него ничего не удается, ни денег нет, ни роман не ладится; точно, право, я какой-нибудь Jettatore* как несчастная *. Дома я много читала, потом легла спать после чаю, и Федя несколько раз очень ласково подходил ко мне и говорил, что он только мною и дышит, только и живет мною. Милый Федя, дай бог, чтобы он меня любил так, как я его люблю.

Четверг 17/5 ⟨октября 18⟩(66). Встала я довольно рано, был хороший день, я напилась поскорее кофею и принялась писать, но оказалось, что письма гораздо больше, чем я думала, и потому я едва могла окончить переписывание к 11 часам, тем более, что к нам приходили жильцы и все мне мешали. Так что вместо того, чтобы идти пешком, как я располагала, мне пришлось ехать на извозчике и то, кажется, я опоздала на 20 минут. Когда я вошла к нему, он мне заметил, что думал, что я уж не приду к нему, потому что опоздала; я спросила, почему; он отвечал, что, может быть, работа показалась слишком трудной, невыполнимой, а потому и не явилась; а я, как назло, не знаю вашего адреса. Это многие так делают, и со мной бывало: возьмутся работать, а потом видят, что силы нет сделать, так и бросают. Я отвечала, что в этом случае непременно известила его, а не поставила бы его в ложное положение. Он взял принесенное мною и начал читать и поправлять, и тут заметил мне, что я не так написала, как было нужно мне это сделать. (Он мне дал бумагу, по которой обыкновенно пишет, с небольшими линейками.) Я села напротив него и стала читать газету, но потом спросила, не мешает ли ему шелест газеты; он отвечал: «Какая вы щепетильная».

Мы много разговаривали с ним; Федосья снова принесла кофей, потом я стала писать; диктовал он мне немного и снова просил прийти сегодня вечером. Хотя мне это было немного и неприятно, потому что ночью довольно страшно идти, но я отвечала, что приду, что же тут было делать; я в это время даже немного подосадовала на Ольхина, зачем он не условился с ним, когда приходить, а самой мне замечать было неловко. Мне было даже немного странно подумать, что неужели он сам не понимает, что приходить 2 раза в день очень затруднительно, и что мне гораздо выгоднее было больше продиктовать, но зато только один раз прийти. (Вчера он меня спросил, что это будет стоить, чтобы мы потом не стали спорить, чтобы мне не было обидно. Я отвечала, что так, как условлено с Ольхиным, т. е. 30 рублей, и что он может быть уверен, что я потом не стала бы спо-

* Человек с дурным глазом (*итал.*).

рить.) Просидела я у него, кажется, 2 часа и потом пошла к Сниткиным, у них обедала и просидела до вечера; у них же и переписала; Маша Снитки-на читала начало и из него заключила, что роман наш никуда не годится; право, такая дура. Когда пробило 8 часов, я поспешно пошла, чтобы опять не опоздать. На этот раз пришла, кажется, 5-ю минутами раньше, так что даже похвасталась своей точностью. Его Федосья, кажется, должна была разбудить, потому что когда я пришла, то на диване у него лежала белая подушка и одеяло. На этот раз у нас было тоже больше разговоров, чем диктовки; положим, хотя мне эти разговоры и были приятны, но, право, было несколько досадно, зачем мы не диктуем и что у нас это дело так слабо подвигается. Опять при моем приходе принесли чай и он подал грушу, но сегодня я почему-то ее не съела. Он меня расспрашивал, почему я занимаюсь стенографией, разве я бедна, я отвечала, что у матери имеется 2 дома и мы получаем около 2-х тысяч, но есть и долги, а что если теперь у нас и есть чем жить, то, может быть, случится в будущем того не будет, а следовательно, работать следует приняться заранее. Потом говорила ему, что хочу самостоятельности, потому-то и хочу работать.

Он мне много рассказывал про заграницу, про свои путешествия, как он играл на рулетке, как проигрался и как должен был заложить свой чемодан в Гомбурге. Потом спросил меня, хочу ли я ехать за границу. Я отвечала, что это мое самое задушевное желание, и что я, может быть, даже и поеду. Он спросил, что же я хочу там смотреть; я отвечала, что природу, горы, наконец, произведения искусства, хочу поучиться. Он вдруг мне сказал: «Поедемте на будущее лето вместе за границу, я вот поеду, вы бы согласились ехать, вас бы отпустили?» Я отвечала, что я того решительно не знаю, отпустили бы меня или нет. Потом много разговаривали про разных литераторов, про свою прежнюю жизнь, и как-то зашел у нас разговор об имени Анна. Он сказал, что как-то ему случалось постоянно видеть, что Анны бывают нехороши; я отвечала: «Да, это правда, я сама знаю, что я нехороша собой». Он ужасно как удивился и сказал: «Неужели вы могли подумать, что я мог бы вам сказать, что вы нехороши. Я совсем не то хотел сказать, я хотел сказать, что характером они бывают нехороши, холодные, скрытные, сдержанные и пр.» Он несколько раз повторил, что не понимает, как я могла подумать, что он способен прямо мне сказать, что я нехороша собой. Что меня опять поразило, так это его страшная откровенность со мной, его откровенные рассказы о своих несчастьях. Вот, думала я, какой это странный человек, он меня решительно не знает, а между тем, как сильно откровенен; впрочем, мне это очень нравилось.

Пришла я к Сниткиным поздно, очень плутала по улицам и вышла на Канаву вместо того, чтобы выйти на Вознесенский проспект. У Сниткиных я сказала, что ⟨он⟩ велел меня проводить девушке, потому что иначе им бы показалось это странным, а ему сказала, что у моих родственников, которые живут на Фонтанке, ждет меня человек, который проводит меня до дому. У Сниткиных я много разговаривала про него, про его разговоры и рассказы, и они очень интересовались узнать о нем. Тогда я еще не знала, за что он был сослан, а Сниткины начали меня уверять, что он сослан был за убийство кого-то, а кажется, что за убийство своей жены. Но не знаю, почему все время мне было ужасно как грустно: эта ли беспорядочная жизнь, т. е. что я очень часто и по целым дням не бываю дома, решительно не знаю, а это меня начало ужасно как тяготить.

1867. День сегодня прелестный, чудный. Я сегодня насилу могла уговорить Федю, чтобы он пошел к доктору Strelin, Федя все не хотел, уверял, что придется отдать 5 франков, а что гораздо лучше, если он не пойдет. Я его, однако, послала. Перед уходом мы чуть не поссорились. Старухи

наши не купили дров нам и сказали мне, что ведь мы им ничего не сказали; когда меня Федя спросил о дровах, я ему передала их слова; он ужасно как рассердился и побежал к ним; я его остановила, но он пошел и там побранился (чем старухи потом очень обиделись, но я просила их не сердиться, потому что теперь он болен). У меня болела голова, и я легла в постель; Федя начал в волнении ходить по комнате. Наконец, сказал про меня, что я злючка. Я расхохоталась, подбежала к нему, поцеловала его, он как ни старался сохранить серьезный вид, ему не удалось, он тоже расхохотался, сказал мне, что на меня решительно нельзя сердиться.

Воротившись от доктора, он сказал, что тот не нашел никакого серьезного расстройства сердца или легких, но объявил, что Федя ужасно раздражен и прописал какие-то пилюли, велел принимать по 3 раза вдень, просил прийти через 8 дней; потом, говорит, мы посмотрим, нельзя ⟨ли⟩ приняться за припадки. Меня эти слова несколько обнадежили; может быть, он примется лечиться и, бог даст, вылечится. Федя, сходив к доктору, как-то успокоился, и я тоже. Мы пошли до обеда прогуляться, сходили на почту, но, разумеется, ничего не получили, а потом заходили в аптеку за лекарством. Взяли 1 франк. Федя по одной дороге к доктору сходил заложить свое золотое кольцо и воротился не в духе. Какие это подлецы: прежде за 2 кольца давали 24 франка, а теперь за одно его большое кольцо дали только 11, даже хотели дать 10. Да к тому же с таким презрительным видом, с такой дерзостью, просто ужас. Вот еще удовольствие сносить презрение закладчика, а что же делать, иначе ведь и нельзя; должно быть, у нас так на роду написано быть постоянно в бедности, да в нищете. Тут на дороге Федя и принял свое лекарство, одну пилюлю за полчаса до обеда ⟨...⟩ Как мы ни экономили, а деньги все-таки выходят, так что, пожалуй, завтра выйдут те деньги, которые у нас есть, и тогда мне придется опять идти к этому портному и просить денег ⟨...⟩ Идти с такой вещью, которая в глазах их не имеет никакого значения, именно, с кружевной косынкой, с белой тальмой и с черной шелковой кофточкой. Разумеется, они осмотрят все эти вещи, объявят, что они старые и никуда не годятся, а, пожалуй, и совсем откажут дать нам денег. Мне страму-то, страму-то не хотелось бы переносить; уж и так много горя, а тут какой-нибудь подлец портной смеет взять над тобой вид превосходства. Вечером мы с Федей ходили гулять по городу, но все так грустно, так грустно, что и представить себе нельзя. Я здорова. Федя, прощаясь со мной, сказал мне, что он вполне уверен, что сегодня с ним припадка не будет, потому что так он чувствует. Но мне почему-то не поверилось ему, и я была права.

Пятница 18/6 ⟨октября⟩. Прощались мы с Федей в $2^1/_4$, и я слышала, что он еще ворочался на постели, когда была половина 3-го. Я не могла сначала заснуть хорошенько, но потом, чуть только завела глаза, как ровно в 3 часа услышала его крик [99]. Несмотря на его увещание не пугаться, я до такой степени испугалась, что перевернулась раза 3 на постели. Наконец, вскочила, и у меня до такой степени сильно сердце билось, что я принуждена была выпить стакан воды, чтобы несколько успокоиться. За себя-то я решительно не боялась, но вот за Сонечку или за Мишу я ужасно как боялась, чтобы не исполнились слова Стоюниной [100], которая мне говорила, что она очень за меня боится, если у меня будет ребенок, то я во время припадка испугаюсь и выкину. Я зажгла свечку и подбежала к Феде. Припадок был, кажется, не из очень сильных, но глаза страшно скосились и зубы скрипели; я начала опасаться, чтобы у него вставные зубы как-нибудь не выпали в это время и чтобы он их не проглотил. Тогда бы он, верно, подавился; потом, как только он очнулся немного, я сейчас просила открыть рот, он открыл, и я могла успокоиться. Но тогда Федя пристал ко мне, зачем я его просила открыть рот, да почему, да с какой



МИЛАНСКИЙ СОБОР. ФОТОГРАФИЯ, ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ ДОСТОЕВСКОМУ, С НАДПИСЬЮ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ:

«Вид Миланского собора, который Ф. М. Достоевский признавал за одно из величайших произведений архитектуры H. Duomo Di Piazza», 1869 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

стати, просто я не знала, что мне и ответить. Мне казалось, что он еще не пришел хорошенько в себя, когда пожелал мне долгого счастья на свете. Я сказала: «Ну так пожелай Сонечке или Мише». «Ну да, Сонечке или Мише»,— сказал он, улыбаясь, так что это он совершенно ясно понял. Потом, когда он очнулся, я легла поскорей в постель, потому что у меня начал болеть живот. От 4-х до 6 часов я спала довольно хорошо, как вдруг мне сделалось ужасно как тяжело, и я не помню, как я очутилась на полу и как меня начало рвать. Но что это была за боль: просто невыносимая, грудь раздирающая, так что мне казалось, что меня внутри ножиком режут. Рвало меня много и желчью; вероятно, это следствие испуга, и я была даже рада, что меня вырвало, потому что иначе это все легло бы на ребенка. Федя проснулся от моих стонов и зажег свечку; но потом, через четверть часа, мы легли и проспали до 10 часов.

Утром, еще в дождик, я сходила на почту, мне так хотелось получить письмо и деньги, чтобы не ходить к этому портному. Но ничего не получила. День сегодня дождливый, пришлось идти обедать чуть ли не по дождю, после обеда Федя отправился немного почитать, а я пошла будто бы узнать к портному, когда он будет завтра дома; в сущности, я пошла побродить, потому что у меня была какая-то тайная надежда, что деньги, может быть, завтра придут и что я таким образом хотя на одну неделю избавлюсь от этого страму, от этой необходимости бежать и сходиться с подлецами ⟨...⟩ Когда я пришла домой, то сказала Феде, что не застала

ни мужа, ни жены, а что мне сказали прийти завтра. Федя вместо прогулки лег спать и проспал часа 2, а я в это время перебирала в комодах⟨...⟩

Вечером читали «André», какой это мне показался скучный роман, право, хотя Федя говорит, что это один из лучших ее романов, удивительно скучный; и, должно быть, причина этого заключается в том, что у меня на душе тоска и что мне жизнь не очень-то сладка, вот от того-то все это кажется дурно. Право, я только и желаю, хотя бы день сегодня прошел, думаю я, вот еще бы день, да только поскорей, пока какие-нибудь денежки придут и мы не станем так сильно нуждаться; потом напились чаю, вытопили печку, которая у нас очень нагрела комнату. Федя сегодня выходил из себя, и вот по какому случаю. У наших хозяек младшая имеет привычку каждый день ставить стулья не к столу, как следует, а всегда друг за другом, что выходит ужасно неудобно. Правда, это неудобство уж не так важно, чтобы стоило о нем беспокоиться, но Федя выходит почему-то из себя и каждый раз бранится. Мне же было как-то неловко сказать ей об этом, ведь это такие пустяки, что стоит ли об этом напоминать, точно мы уж никак сами не можем переставить этих стульев, а непременно это нас бесит. Но сегодня Федя окончательно вышел из себя и начал ходить в бешенстве по комнате и объявил мне, что если это будет продолжаться, то он непременно удавится от меланхолии, так это сильно на него действует. Сегодня в кофейне он видел Огарева и собирался с ним ⟨поговорить⟩ насчет того, куда бы нам переехать. Тот сказал, что в Vevey, например, очень хорошо, и что туда бы можно, и что если мы хотим, то он может даже там кому-то написать, чтобы приискали* квартиру. Федя сказал, что теперь он еще не думает переезжать, потому что не при деньгах, а что разбогатеет через месяц. На это тот отвечал: «Ну, если уж переезжать, то следует переезжать теперь, не позже, потому что, вероятно, квартиры возьмутся».

6 число ⟨октября⟩ 1866. Сегодня я пошла к Феде стенографировать от Сниткиных и постаралась, так как это очень близко, то прийти в назначенное время, а не как прежде, опоздать на целый час. Когда я условливалась (я ходила всегда в черном шелковом платье), то он меня спросил: «А вы опять-таки в одном и том же платье?» Меня это ужас как удивило. (Вот странный вопрос, подумала я, а почему он знает, может быть, у меня только одно это платье и есть). Я спросила, что ему кажется странным. Он сказал: «Да вы все приходите в шелковом, я думал, что вы наденете попроще». Я отвечала, что это мое обыкновенное платье, что я его всегда ношу.

— А вы ведь меня вчера обидели,— сказал он.

— Чем это?

— Да я дал вам грушу, а вы ее не съели; зато я ее съел и сегодня вам не дам.

Я отвечала, что сделала это, вовсе не желая его обидеть, а просто потому, что забыла съесть ее. Пока он поправлял, я просила позволенья посмотреть его карточки и села к столу и стала рассматривать, но чтобы ему не помешать, старалась сидеть очень смирно. В этот раз он меня выбранил за то, что я забыла поставить на одном листочке №. Сначала сказал, что это забывать нельзя, а потом понес разную чепуху насчет того, что женщина ни на что не способна, что женщина не может нигде служить, ничем заниматься, хлеб себе зарабатывать, что она вечно испортит и пр. и пр., так что мне под конец даже стало это несколько обидно, его бесцеремонность, и я даже одну минуту подумала: «Нет, зарабатывать хлеб тоже иногда приходится горько, когда начинают говорить такие неприятности, и это даже один из лучших людей, а что будет у других, менее развитых людей. Нет, уж лучше выйти за кого-нибудь замуж, чтобы не подвергаться

* *Может быть:* отыскали

этим неприятностям». Наконец, он кончил, а во мне осталось ужасно какое неприятное впечатление, какая-то незаслуженная обида, несправедливость. Потом он меня спросил, не хочу ли я получить от него теперь деньги, что, может быть, мне теперь они нужны, а что потом, пожалуй, у него и у самого их не будет. Я отвечала, что покамест мне не надо, потому что ведь я могу же обмануть его, и что я никогда не беру заранее за то, что еще не сделала. Сегодня вечером я просила позволения не приходить, потому что нужно было быть на стенографии непременно, так как ведь должен же знать Ольхин, как идет моя работа, даже это было бы очень неловко в его глазах, если бы я сегодня не пришла. По правде сказать, эта неделя для меня была такая сумасшедшая, что я просто и не знаю, просто меня не было дома, постоянно моя бедная мамочка сидела дома одна; я ее оставлять одну не привыкла и мне было даже немного скучно без нее. Почему я была очень рада, что могу провести вечер один дома.

Когда я вышла от Феди, то пошла по Мещанской. Здесь мне встретился тот молодой человек с голой грудью, в туфлях, которого я видела при первом моем приходе к Феде. Я не знала, да и потом долго не знала, что это был его пасынок, а думала, что это племянник. Молодой человек очень грубо со мной раскланялся и объявил, что ему не хочется входить в комнаты Федора Михайловича, а что очень хотелось бы видеть, что это за стенография, взял мой картон из рук и, развязав, начал смотреть написанное. Эта развязность меня очень удивила (я не знала, что не входил он в комнаты, потому что Федя имеет привычку на него кричать, так что и ему бывает стыдно, и другим неловко). Потом он спросил адрес Ольхина и объявил, что скоро присоединится к числу его учеников. Потом раскланялся, нахлобучил шляпу набекрень и отправился домой (в первый раз издали он мне показался недурен, но здесь я его разглядела хорошенько: какой он желтый, с какими-то черными пятнами по лицу, совершенно цыганское или татарское лицо).

Я пошла домой, села в дилижанс и приехала только на одну минуту, чтобы повидаться с мамой. Я была ужасно как усталая; мама сейчас дала мне поесть, кажется бифстекс, и я, ⟨немного?⟩ посидев, отправилась на стенографию. Усталая я была страшно, до невыносимости, так что мне эта бродячая жизнь ужасно как надоела. На улице встретился мне Ольхин и спросил меня, как идет моя работа. Я отвечала, что очень тихо подвигается, потому что он мало диктует, так как у него еще не готово, а что потом он надеется больше диктовать; а до тех пор пока мне приходится ходить к нему 2 раза в день. Ольхину это не понравилось, и он сказал, что об этом даже следует поговорить с ним. Вот это уж било мне карты. Я боялась, чтобы Ольхин не явился к нему и не вздумал сказать, что это против нашего уговора, одним словом, показать, что будто бы я ему жаловалась на трудность работы, а это могло бы мне повредить в мнении Феди. Наконец урок кончился. Я пришла домой и так была рада посидеть дома, хотя мне пришлось довольно много писать. За это время я ужас как * и мне это было ужасно совестно и досадно, такая небрежность. Дома я все рассказала маме про него, и про его ко мне любезность и откровенность, которая была для меня очень приятна; пересказала все его разговоры, одним словом, всю его жизнь, которую только знала из его рассказа. Он уж начинал мне тогда очень нравиться *

8 октября 1866 ** Я помню, в этот день я была утром по обыкновению у Феди и так как уж 2 дня не случалось приходить вечером, то на этот раз нельзя было ничем отговориться и я обещала непременно прийти, чтобы

---

* *Следующие 12 страниц (137—148) стенограммы вырваны; 3 строки, сохранившиеся на вырванной 138-й странице, вачеркнуты.*

** *В стенограмме*: 1867, *позднейшее исправление чернилами на* 1866.

диктовать. Утром от него я отправилась к Сниткиным, у которых осталась обедать, а после обеда принялась писать, чтобы вечером отнести продиктованное ⟨...⟩ Когда пробило 8 часов, отправилась к Феде. В комнате у него было полутемно по обыкновению, потому что 2 свечи, стоявшие на его письменном столе, не могли вполне осветить ярко всей комнаты; но мне по вечерам эта комната удивительно как-то нравилась, или потому это было, что уж и Федя начинал мне тогда нравиться и мне было ⟨всегда?⟩ приятно говорить с ним. Он сидел за письменным столом и тотчас встал, когда я вошла; я села на свое обыкновенное место за его стол *, а он поместился напротив меня, и мы начали разговаривать. В этот вечер диктовали мы очень мало, а все больше говорили, и все о разных, разнообразных предметах; опять были рассказы о заграница, о разных наших литераторах, бранил он Петра Великого, которого просто считал своим врагом и теперь винил его в том, что он ввел иностранные обычаи и истребил народность. Потом толковали о том, что у него в жизни будет 3 случая: или он поедет на Восток, или женится, или же, наконец, поедет на рулетку и сделается игроком. Я сказала, что если уж что выбирать, то, конечно, пусть женится.

— А вы думаете, что я не могу еще жениться? Вы думаете, что за меня никто не пойдет?

Я отвечала, что этого решительно не думаю, а скорее думаю, что решительно напротив.

— Скажите же, какую же выбрать: умную или добрую?

Я отвечала, что возьмите умную.

— Нет, если уж взять, то возьму добрую, чтобы любила меня.

Опять много очень расспрашивал про меня, про мою семью и очень часто во всю эту неделю повторял разные вопросы, на которые я ему уж несколько раз отвечала, но так как у него очень плохая память, то он скоро это забыл и потом снова меня спрашивал. Рассказал о своих долгах, о неблагодарности семейства своего брата, как оно рассказывает, что будто бы дядя промотал их состояние, что у них было оно большое, а все пропало через дядю; как жених, дочь и мать собирали совет, желая отстранить его от дела, а когда он сам отстранился, то мать же пришла просить, чтобы он ее не оставил, а опять начал бы помогать, как это было и прежде. Говорил, что он после смерти брата начал один издавать журнал и положил на него 10 тысяч рублей, которые взял от тетки, назначенные ему по завещанию, а когда журнал не пошел, то деньги его лопнули и ему пришлось еще взять на себя ужасно много журнального долга и долга его брата [101]. Что в 63-м году, когда он принужден был заключить этот контракт с Стелловским (по которому он и обязался написать этот роман), то из полученных за это 3 тысяч отдал за долги 2 тысячи, потом в продолжение зимы отдал еще долг на 1000 рублей, а теперь еще осталось у него тысяч на 10 долгу; но именно из них он намерен сделать * 2-е издание своего нового романа «Преступление и наказание», рассказал он про Корвин-Круковскую, говорил, что это очень прекрасная девушка, что она недавно уехала, теперь за границей и он недавно получил от нее письмо [102]. Рассказал о Москве, о своих многих родственниках, о Сонечке, Мусиньке, Юлиньке и о Елене Павловне, которую он представил за ужасную страдалицу и за удивительно нежную и добрую и ⟨умную?⟩ (потом, когда мне пришлось увидеть ее, она мне вовсе не показалась такой, так что я решительно думаю, что он это придумал [103]). Рассказывал про каторгу, про Петропавловскую крепость, про то, как он переговаривался с другим⟨и⟩ заключенным⟨и⟩ через стенку и про очень, очень многое. Тут он мне в первый раз сказал, что он был женат и что жена его умерла, что она была

* *Может быть*: у его стола.

страшная ревнивица, и показал мне ее портрет. Право, она мне очень не понравилась, какая-то старая, страшная, почти мертвая. Правда, он говорил, что она снималась за год до своей смерти и потому такая страшная. Мне она ужасно как не понравилась, и мне по первому взгляду показалось, что, должно быть, она очень злая была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив. Но в это время говорит о своих изменах ей; если бы уж любил ее, то ничего не стал бы изменять, а что это за любовь, когда при ней возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких.

Вечер для меня прошел удивительно как приятно, так что, мне кажется,он останется навсегда в моей памяти,как один из самых лучших и хороших дней в моей жизни. Диктовали мы действительно уж слишком мало, а все больше толковали так дружно, так хорошо, что мне просто уходить не хотелось. Так я просидела до 11 часов, он мне дал с собой том своих сочинений для того, чтобы я переписала одну страницу, чтобы могли рассчитать, сколько в листе Стелловского моих страниц. Я пришла к Сниткиным ⟨...⟩ Маша Андреева и Саша тотчас начали меня расспрашивать про него, какой он, что говорил сегодня со мной, о чем, как я отвечала, и пр. и пр. Потом мы начали читать повесть ⟨Феди?⟩ о крокодиле, про которую Саша сказала, что это было написано на Чернышевского, а что дама, выставленная тут, — жена Чернышевского [104] ⟨...⟩

Понедельник 21/9 ⟨октября⟩ Сегодня утром мы примирились с Федей, но все-таки еще не совсем, утром я отправилась на почту, вполне уверенная, что получу от мамы деньги. Но ужасно испугалась, когда мне сказали, что на мое имя ничего нет ⟨...⟩ Когда я сказала Феде, что деньги еще не пришли, то он меня начал успокаивать, что это еще ничего, что, вероятно, деньги завтра придут. Пошли обедать, и сегодня был такой превосходный обед, какой редко бывает, просто чудный, вкусный, разнообразный и с прекрасным виноградом. После обеда Федя пошел читать в кафе, а я пошла погулять немного по городу ⟨...⟩ Придя домой, я начала писать письмо к Анне Ивановне Майковой [105], Федя завтра думает ей послать и Аполлону Николаевичу, мне и хотелось тоже вложить свое письмецо к Анне Ивановне, потому что я ей обещала писать, а в продолжение целого полгода никак не могла собраться. Потом Федя пришел за мной и мы пошли гулять. Шли, разумеется, по нашей обыкновенной улице Corraterie, гуляли по саду и встретили здесь Огарева; он куда-то спешил, но увидел нас и раскланялся; Федя говорит, что он его всегда видит в кофейной, попивающим кофе с коньяком, от чего все они какие-то пьяненькие. Федя был сегодня удивительно как весел и все острил и шутил; мы с ним гуляли и заглядывали во все магазины, особенно в те, где продаются шляпы, и Федя все выбирал, какую именно мне купить ⟨...⟩ Пришли домой и много разговаривали друг с другом очень дружно. Федя мне говорил, что я у него славная жена.

9 октября прошлого года ⟨...⟩ Хотя я и обещала Феде быть к нему сегодня, но так как было уже 5 часов, я была ужасно уставши, то я и решилась на этот раз не ходить; мне так хотелось посидеть и поговорить с мамой, поговорить о нем. Не знаю почему, но мне казалось, что он на мне непременно женится, я даже почему-то боялась, чтобы он даже вчера мне не сделал предложения, таким он мне показался странным; я не знаю, как бы я тогда на это и ответила, мне кажется, я бы сказала, что слишком мало его знаю, чтобы выйти замуж, но что пусть он даст пройти несколько времени и когда я его несколько узнаю, то, может быть, и пойду за него. Какой я тогда провела вечер с милой мамочкой, как она мне была рада и как я была рада ей, господи, боже мой, и теперь припомнить, так как-то радостно на душе станет ⟨...⟩

Вторник 22/10 ⟨октября⟩. Сегодня я пошла довольно рано утром узнать на почте, нет ли какой-то ко мне посылки. Оказалось, что есть ко мне письмо и, кроме того, есть посылка в 10 рублей серебром; я должна была дать за кожаный конверт 1 фр. 85 с., которые и приняла на себя, т. е. заплатила скопленными деньгами, чтобы Федя не забранил, что так много приходится платить за присылку. В конверте я нашла 10 рублей серебром красной бумажкой. В письме мама очень жалела меня и писала, что присылает мне 10 рублей серебром, что продала для этого мое серое платье и что больше прислать не может. Когда я прочла в первый раз письмо, то я хорошенько его не поняла. Так как письмо и посылка пришли вместе, то мне пришло в голову, что мама пишет именно про те деньги, которые я только что получила. Я только на другой день поняла, что, вероятно, мама говорит о другой посылке, которую тоже послала. Денег было довольно мало; я зашла к банкиру и предложила ему разменять, он хотел это сделать за 33 франка, но я подумала, что могу получить больше, и сказала, что не могу отдать ему теперь, а спрошу, не найду ли дороже.

Пришла я домой и сказале Феде, что получила только 10 рублей и что мама пишет, что пришлет еще побольше. Федя сказал, что хотя это и мало, но если она пришлет еще немного, то мы, пожалуй, и можем прожить несколько времени. Он очень пенял, зачем деньги не в простом конверте, а в кожаном, я ему отвечала, что мама тут не виновата, что, вероятно, ей сказали, что иначе нельзя, и что для нее же гораздо затруднительнее посылать в кожаном, чем в простом письме, и что тут на нее пенять решительно нечего. Напилась я кофею и отправилась менять деньги, думая отыскать какого-нибудь банкира, у которого я бы могла сменять подороже. Но я заходила к 2-м — 3-м банкирам, а разменять не могла, потому что было часов 12, а здесь конторы именно в это время и бывают заперты до 2 часов, так что мне пришлось, чтобы не возвращаться домой, ходить гулять по городу. Я ужасно устала и сделалась до такой степени слабой, что едва могла передвигать ноги. Наконец, я зашла к какому-то банкиру Paravin и здесь разменяла за 33 франка 60 сант., т. е. 60 сант. дороже, но ведь и это деньги, и это хорошо. Потом зашла за чаем и воротилась домой чуть ли не в 3 часа. Федя говорит, что я до такой степени долго ходила, что он начал сильно беспокоиться и если бы я не пришла еще с полчаса, то он непременно бы пошел меня отыскивать. Он ужасно беспокоился, ему представилось, что я сделалась нездорова, что я на улице выкинула, и пр., и пр. Я ему объяснила, почему мне пришлось пробыть так долго.

Так как теперь у нас есть деньги, то Федя сегодня посылает письмо к Майкову; когда он стал запечатывать, то потребовал и мое письмо; я его положила в особый конверт и так хотела послать, но Федя непременно требовал, чтобы другого конверта не было, а письмо было вложено просто. Мне этого не хотелось, я боялась, чтобы Федя не вздумал его прочитать, а там я говорила про Пашу. Но так как мне все-таки не хотелось с ним ссориться, то мы скоро помирились, и я сама вложила письмо в конверт, он при мне запечатал и, следовательно, знать, что такое было в письме, не мог. Пошли обедать, но за вчерашний хороший обед нас накормили сегодня самым скверным обедом, которым только можно было накормить. Был суп с яйцом, ужасное кушанье, которое я терпеть не могу, были пирожки с телячьими ножками, очень холодные, тоже нехорошие, было 3-е какое-то кушанье, не знаю, заяц ли это или что другое, но в таком вонючем соусе, что я решительно даже поднести ко рту не могла. Федя, однако, ел, хотя очень морщился. Под конец подали 3 небольших кусочка говядины холодной и виноград. Это виноград-то на пустой желудок, ведь это просто мученье; решительно мы встали из-за стола голодные, и Федя даже мне предлагал идти куда-нибудь в другое место обедать, но мне жалко было денег и я согласилась лучше быть голодной, чем идти и пла-

тить еще ⟨...⟩ Когда мы выходили, нам попалась хозяйка гостиницы, какая-то горбатая женщина, по виду очень добрая. Федя начал ей выговаривать и объявил, что ее обед terrible, abominable *, что мы такого никогда еще не едали. Она очень извинялась, что это так случилось, и сказала, что этого больше никогда не будет, а всегда нам будут подавать обед очень старательно. Мне даже было несколько ее жалко, так ей было совестно, что ее обед был нехорош. Она, должно быть, очень хорошая женщина и, право, ее жаль, что мы ее обидели. Когда мы вышли на улицу, Федя начал меня уверять, что 3-е кушанье в бараньем соусе было не что иное, как кошка и что он чем больше ел, тем более уверялся, что это была кошка, но отстать не мог, потому что был голоден. Тут мы пели песню: «Бедный Федя кошку съел». Пошли мы на почту отдать письмо, заплатили за него 1 франк 50 с. Когда мы шли домой, то Федя предложил мне купить сегодня ветчины и колбасы, чтобы не так сильно чувствовать голод; зашли мы в колбасную и купили полфунта отличной колбасы за 75 с.;нам дали ужасно как много, и все это было очень хорошее. Федя пошел читать, а я пошла несколько прогуляться по городу. Здесь в одном магазине я увидела ночные чепчики по 1 франку 50 с. ⟨...⟩ Я так соблазнилась этим, что сейчас и купила себе один чепчик. Это удивительно как дешево ⟨...⟩ Я всегда радуюсь, как ребенок, если мне удастся что-нибудь завести себе, потому что как-то странно и смешно приехать из-за границы и не привезти самых различных вещиц; а ведь надеяться на Федю, чтобы он мне что-нибудь купил, это ведь ужасно трудно. Он все готов обещать, а когда дело дойдет до покупки, то он уверяет, что даже и не думал ничего подобного обещать. Да ведь у него и денег никогда для моих нужд не будет, всегда ведь у него на первом плане будут стоять разные его обязанности, родственники и пр. и пр., а вовсе не жена и ее желания. Теперь я так хорошо знаю этого человека, что понимаю, что ему всегда будет все равно для своей жены именно потому, что она своя, лишь бы было хорошо родственникам ⟨...⟩ Федю я просила погулять одного, потому что сегодня ужасно как устала и сил во мне решительно никаких нет. Он отправился, и я думала, он очень долго проходит, а он воротился чуть ли не через четверть часа. Сегодня я отнесла письмо к маме, но мне очень жаль, что я в нем писала насчет денег; всему виной мое непонимание, я ведь не поняла, что ко мне были уже посланы ⟨вторые⟩ деньги, а потому и писала ** еще ⟨...⟩

Среда 23/11 ⟨октября⟩. Сегодня, когда я пришла в кухню заказать кофе, мои старухи начали жалеть ужасно Федю: «pauvre homme malheureux» *** и объявили мне, что он был болен. Я спросила, кто же был болен? «Да ваш муж». Я отвечала, что он, напротив, отлично спал всю ночь и ни капельки не был болен. Старуха же сказала, что она слышала страшный шум и ей представилось, что это Федя свалился с постели, и она до такой степени испугалась, что даже боялась посмотреть в окно. Я их уверяла, что это решительно вздор и что он совершенно здоров. Когда я рассказала это Феде, то он придумал, что, вероятно, когда мы уедем, они начнут рассказывать, что у них жили русские: «une jeune intéressante personne (это про меня) qui était toujours si gaie. И ее муж был un vieux idiot ⟨...⟩il était si méchant, qu il tombait de son lit et c'est par méchanceté qu'il faisait cela. Ah, il était si méchant, si méchant, cette pauvre jeune intéressante personne»****. Наша младшая старуха почему-то считает Федю за человека, ничего

---

* Ужасный, мерзкий (*франц.*).

** *Может быть*: просила

*** Бедняга (*франц.*).

**** Молодая интересная особа, всегда такая веселая... старый идиот ⟨...⟩ он был такой злой, что падал с постели и делал это назло. Ах, он был такой злой, такой злой, эта бедная молодая интересная особа (*франц.*).

не понимающего. Она мне раз говорила, что она потому со мной говорит, parce qu'il ne comprend rien, rien *. Мне это бывает ужасно как смешно ⟨...⟩ Денег у нас было не слишком много, и я придумала, чтобы как-нибудь их продлить, не ходить сегодня обедать, вот был удобный случай, да, может быть, и в действительности было лучше не есть сегодня и не выходить, чтобы не получить лихорадки. К тому же мне до такой степени надоели кушанья в нашей гостинице, что, право, один день здесь не есть было какое-то облегчение. Федя пошел обедать, а я осталась лежать ⟨...⟩ Федя сегодня кончил письмо к Паше, и так как письмо к Эмилии Федоровне еще не готово, то он решил послать его отдельно [106]. Он наскоро пообедал и, купив разных фруктов, винограда, зеленого и черного, и несколько груш, пришел домой меня спроведать. Он мне объявил, что ему сказали, что виноград через неделю кончится и что его уже не будет. Право, как ни надоел нам здесь виноград, а, право, будет жаль, если его не будет, он такой хороший и такой полезный для здоровья. Посидев со мной немного, объявил, что у меня все по-прежнему лихорадка, Федя отправился читать газеты, но довольно скоро воротился ⟨...⟩ Когда Федя воротился, то лихорадка у меня совершенно прошла, осталась только одна ужасная слабость, слабость решительно как после какой-нибудь тяжелой болезни, и нервы расстроены были ужасно, так что мне ужасно как хотелось плакать. Ложась, я ужасно как боялась, чтобы с Федей не было припадка, до страсти боялась, до ужаса; мне казалось, что если я только услышу его крик, то просто с ума сойду. Как я, право, себе расстроила нервы, просто даже гадко смотреть. Однако все кончилось благополучно, и Федя и я проспали очень хорошо.

Четверг 24/12 ⟨октября⟩. Сегодня я встала в 6 часов, утром ужасно мучилась голодом до половины 10-го, когда, наконец, разбудила Федю; хотя мне и было ужасно неприятно его будить, но делать было нечего: мне уж слишком хотелось есть, я даже боялась, чтобы со мной не сделалось тошноты от того, что я так долго ничего не ела. К тому же я вчера не обедала, следовательно, голод был еще больше. Утром я все гладила и стирала платки и мое черное шелковое платье, чтобы оно было в порядке. Оно уж так разорвалось, что сколько его ни починяй, ничего не выходит. Я просто не знаю, в чем я скоро буду ходить. Хотела идти утром на почту узнать, но потом отдумала, потому что ⟨ужасно?⟩ устала гладить платье и силы во мне решительно не было. В 3 часа пошли обедать, обедали ужасно плохо по обыкновению (как мне наскучили наши обеды, это просто невыносимо). Потом пошли на почту. Федя отнес письмо к Эмилии Федоровне, а я получила еще 10 рублей. Пришлось опять заплатить 1 франк 85 с. Когда я Феде сказала, что только 10, он мне заметил, что, вероятно, нам нечего надеяться на присылку от мамы больших денег; я отвечала, что гораздо лучше, что она присылает хотя понемногу, чем совсем не присылала бы; что она, вероятно, думает, что у нас денег нет и что нам чрезвычайно трудно выжидать, когда она еще соберется побольше выслать, а что, следовательно, хотя ей и невыгодно и беспокойно посылать в этих конвертах, но она это делает. Право, даже смешно сказать: был бы счастлив, что еще помогает, а он тут еще недоволен, что посылает не в простых конвертах, а в кожаных. Конверт я так и не распечатала и не знала, какое сокровище в нем находится.

Когда мы шли с почты, нам попался Огарев. Мы уже давно собирались спросить у него русских книг, но Федя как-то все забывал, я сегодня и спросила. Он отвечал, что с удовольствием даст, кое-какие там выберет,

---

* Потому что он ничего, ничего не понимает (*франц.*).



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ С ДЕТЬМИ ЛЮБОВЬЮ И ФЕДОРОМ У МОГИЛЫ ДОСТОЕВСКОГО НА КЛАДБИЩЕ В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

Фотография, 5 февраля 1881 г.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

что непременно даст. Вчера, когда Федя его видел там с каким-то поляком в кофейной, то как-то заговорил о своем романе [107]. «Какой-такой роман?», — спросил Огарев ⟨...⟩ Он просил Федю принести ему его роман, и Федя принес ему сегодня в кофейную 1-ю часть. Потом Федя пошел в кофейную, а я отправилась домой. Дома я распечатала конверт, чтобы достать деньги, и вдруг оттуда выпал мамин портрет. Мне сделалось так больно, так грустно, что я вскочила с места и, рыдая, побежала на постель и много, много раз целовала ее милый портрет. Вот какая милая мамочка, какая прелесть, голубушка, мамочка, как она меня сумела обрадовать, прислав свой портрет. Как я ему была рада, боже мой ⟨...⟩ Когда Федя пришел, я показала ему, и он очень пожалел, зачем он измят, говорил, что можно отдать его поправить, но мне поправки не нужно, нужно только, чтобы был портрет, на который я бы могла глядеть и любоваться, а что тут он измят или нет, это решительно все равно. Я сказала Феде, что когда у нас будут деньги, то он должен непременно мне купить рамку для портрета. Он сказал, что купит. Пошли мы гулять, ходили с $^3/_4$ часа и воротились домой. Тут Федя, у которого нервы чрезвычайно как расстроены, сказал, что он ляжет спать, это было в 8 часов, до чаю, и просил меня, чтобы я не спала, а разбудила его ровно в это время. Я обещала, сначала очень старалась, чтобы не заснуть, но так как я нынче сделалась ужасной соней, то скоро заснула. Когда наша старуха пришла к нам, чтобы заварить чай, я достала и заварила чай, но мне кажется, что я все время

спала; Федя еще просил меня, чтобы я сделала теплый чай, следовательно, он тоже не спал. Сделав чай, я прилегла и опять заснула, проснулась я уже в 10 часов, т. е. меня разбудил Федя, который был в решительном отчаянии, он ходил быстро по комнате и бранил меня, зачем я не разбудила его. Мне и самой это было досадно, но все-таки вовсе не следовало бы так много и долго сердиться, как это он делал. Я ведь старалась не заснуть, но что же мне было с собой делать, если уж так случилось, что я заснула. Федя (вероятно, спросонья) имел такой смешной, обиженный вид, что мне хотелось хохотать, на него глядя. Чай, несмотря на лишний час, был все еще горячий, но Федя продолжал дуться и говорил, что меня нельзя ни о чем попросить, что я никогда не исполняю его просьбы, что на меня нельзя ни в чем понадеяться. Мне это было очень обидно слышать, я несколько раз просила у него простить меня, не сердиться, но он все-таки не мог успокоиться и все твердил, что вечер для него решительно пропал, что мы даже не успели затопить печки. Но под конец мы все-таки с ним примирились и он согласился забыть мое преступление.

Пятница 25/13 ⟨октября⟩. Сегодня я встала довольно рано и доканчивала письмо к маме, потому что надо ее было известить о посылке к Майкову денег и просить ее сходить к нему и заговорить с ним об этом [108]. Федя проспал до 10 часов, и я нарочно его не будила, чтобы он не мог жаловаться, что я не даю ему хорошо выспаться, потом напились кофею и я пошла отдать письмо на почту, а также разменять деньги, 10 рублей, на франки. Письмо я отдала, спросила там, как посылаются посылки, и разменяла за 33 франка 60 с. По дороге зашла в магазин канцелярских принадлежностей и купила там бумаги очень тонкой и конвертов, которые Федя нашел неудобными ⟨...⟩ Часа в 3 пошли обедать, и когда шли, то разговаривали о том, как Федя опять хочет ехать попытать счастья. Я сказала ему на этот раз, что я бы вовсе этого не желала, что прежде я всегда хотела и одобряла это, а теперь говорю, что все это пустяки и что ехать решительно не следует. Это значит, что к огромному числу золотых, похороненных там, положить еще 100 или больше франков, к чему это? Ведь это решено, что нам выиграть решительно невозможно, не такого мы характера, нам необходимо нужно иметь тысячи, а никогда мы не будем довольны 2 или 3-стами франков. Федя отвечал, что, несмотря на это, он непременно поедет, потому что хочет еще раз попытать счастья. Он говорит, что если будет хорошая погода, то можно будет и мне ехать, что это будет стоить только 20 франками лишних, т. е. за мой проезд. Но что он мне даст 20 франков золотом, пусть я их разменяю на 2-франковики и начну играть и, вероятно, выиграю то, что проезжу. Решительно тем, что он хочет меня взять с собой, он хочет меня задобрить, чтобы я согласилась и не говорила, что дурно, что он едет. Может быть, это так и будет, потому что ведь если я теперь не поеду, то я всех мест и не увижу, ведь когда же мы иначе соберемся отправиться в Chillon и в те места. Обедали очень хорошо и ели сегодня какой-то ⟨сыр⟩ Gruet ⟨...⟩ Потом я пошла домой, а Федя пошел в кофейную и хотел идти один гулять. Придя домой, я сейчас села за письмо к Вере Михайловне и Сонечке и думала его дописать, когда пришел Федя и позвал гулять, сказав, что одному скучно. Он принес стихотворения Огарева, который видел его в кофейной и дал ему эту книгу [109]; а насчет других книг обещал непременно к нам прислать. Он говорил, что прочел половину романа и, как кажется, он ему очень понравился. Ходили мы гулять и все разговаривали о различных наших знакомых, очень много толковали о Никифоровой [110], которую и Федя очень хвалил. Потом говорили о свадьбе и решили, что наша свадьба была хоть куда. Он об одном жалел, что не был у * с визитом. Весь вечер мы с Федей были ужасно как дружны, под вечер я заснула: мне обыкновенно бывает

ужасно как приятно поспать в это время, когда он садится работать перед чаем, свеча горит на столе, или я ее потушу и сплю. Это до того приятно, что, право, пробуждаться не хочется. Он был ко мне очень ласков, и когда я стала ложиться спать, то мы как-то заговорили о Сонечке или Мише. Он мне сказал, и говорил, что это искренне, что будет рад появлению как одного, так и другого, что появление Миши совершенно его утешит, уж не менее Сонечки. Потом он говорил, что я славная, говорил, что любит меня ужасно, очень, очень, а боится только, чтобы я его не разлюбила, говорил, что я его живой ангел. Я тоже была чрезвычайно ласкова с ним, я ведь очень его люблю. Видела во сне сегодня всю ночь Майкова, но какого-то чрезвычайно грозного, будто бы меня за что-то карающего; потом видела, что Яновский прислал нам деньги. Вот это уж очень дурной знак, вероятнее всего, как говорит Федя, что он нам откажет. Господи! Как это будет ужасно, право, чем мы тогда будем жить, особенно если и Катков решительно ничего не пришлет. Ведь это значит, мы просто погибли, нас тогда уж никто не выручит. Мне даже и подумать об этом страшно. Господи, помоги нам, дай нам возможность как-нибудь поправиться, встать на ноги.

Суббота 26/14 ⟨октября⟩. Встала довольно рано, но не разбудила Федю, а начала писать письмо к Сонечке и к Вере Михайловне, и оба письма кончила. Я была так рада, что могу, наконец, послать к ним, мне ужасно совестно, что я так долго не писала, у меня при каждом посылаемом письме точно с плеч гора сваливается, так я бываю рада, что кому-нибудь отвечу. Теперь мне остается написать: Николаю Михайловичу, Александре Михайловне, Александру Павловичу, Кашиным, двум Милюковым, Андреевой и Никифоровой [111]. Это еще целая тьма писем, но мне вовсе не лень написать, а главная остановка за деньгами; денег у нас теперь нет, чтобы послать им, но лишь только какие-нибудь деньги будут, непременно нужно все это сделать ⟨...⟩ Федя сегодня пошел в баню, а я отнесла на почту, взяли, несмотря на то, что дала 2 письма, только за одно письмо, т. е. 75 с. ⟨...⟩ Когда я пришла домой, Федя был уже дома. Он очень весел и помолодел на 10 лет после бани. Он жалуется, что ванна очень узкая и комната была холодная, так что он чуть было не простудился. Какое это все здесь скверное устройство. Ходили обедать, ели опять хорошо, потом Федя пошел читать, а я домой ⟨...⟩ Ах, если бы нам куда-нибудь, право, отсюда уехать, ведь этот климат просто убивает бедного моего Федю. Он пришел часу в 6-м, и мы отправились гулять, но он сегодня был такой необыкновенно скучный, право, он так здесь грустит, просто ужас, мне его бывает ужасно жаль. Гуляли мы молча, я не люблю прерывать его, когда он о чем-нибудь думает, потом он много говорил, что так жить нельзя, что тут просто с одной тоски умрешь. Пришли домой, он сел писать, а я легла полежать, да и заснула; разбудил он меня уж к чаю, но мне до такой степени хотелось еще немного поспать, просто я не знала, как мне оторваться от подушки. Федя все со мной разговаривал и просил, чтобы я встала; я, наконец, кое-как проснулась, напилась чаю (наш чай производит на меня всегда удивительно нехорошее влияние, именно как-то волнует меня и давит грудь, надо будет, вероятно, переменить и брать чай где-нибудь в другом месте) и потом несколько времени писала в своем дневнике. Потом легла на постель, думала о своем будущем ребенке, мне сегодня почему-то начало казаться, что у нас будет непременно Миша, а не Сонечка, но кто бы ни был, я буду ужасно как рада. Старухи наши сказали, что у меня будет сын швейцарец, не дай-то бог, уж пусть будет русский, я лучше русских никого не знаю. Когда я лежала, Федя все на меня поглядывал и очень ласково спрашивал, не сплю ли я. Он подходил несколько раз и говорил мне, что я такая скучная, что ему бывает иногда ужасно жаль меня, нет у меня ни нарядов, ни костюма, ничего нет у бед-

ной. Я отвечала, что за то только меня вовсе не следует жалеть, что это все пустяки; говорил, что я сделалась какая-то мечтательница, жена мечтательница у него. Потом говорил: «А у нас какой-то большой стал пузинишко», это про Сонечку, я отвечала, что у нас пузинишко еще больше будет. Потом в 12 часов я легла, но заснуть довольно долго не могла, все ворочалась. Федя просил меня, чтобы не будить меня, потому что иначе я опять долго не засну, но я отвечала, что лучше мне не спать целую ночь, чем не проститься с ним. Он был ужасно ласков со мной. Я ему сказала, что сейчас видела сон, что мы с тобой поссорились, он же отвечал, что только что молился, чтобы бог дал ему сделать меня счастливой ⟨п р и н е с я⟩ мне помощь, сделать меня лучше; потом просил любить его, потому что ведь ему недолго со мной пожить. Я отвечала, что это вздор, а что проживет он еще до Сонечкиной свадьбы. Тут мы начали представлять, каким он тогда будет старичком, старичком страшно белым и разговорчивым, но так как памяти к этому времени у него окончательно не будет, то он будет как-то заговариваться. Сонечка про него будет говорить: «Папаша чудный человек, но он ужасно скучно рассказывает». Тут Федя принялся рассказывать как что-то такое было в Женеве, в какой-то улице, на какой-то реке, все забывал названия, и, наконец, решил, что это, может быть, было и не в Женеве. Вообще долго рассказывал и ничего не рассказал. Другие, еще не знающие его люди, уважающие его как литератора, начинают его слушать, но с намерением, нельзя ли точно записать, и будут за то ужасно как наказаны, потому что Федя начинает говорить ужасно долго, а ничего не скажет. Мы ужасно этому смеялись и легли спать очень дружно. Федя меня упрашивает, что если что со мной будет, то непременно разбудить его, потому что иначе он будет беспокоиться, что для него встать для меня будет радость, истинное счастье. Я отвечала, что непременно, если что случится, то разбужу его.

Федя сегодня вечером говорил, что ему будет ужасно как жаль, если его девочка, его Сонечка, будет нехороша собой. Если это будет мальчик, то это еще ничего, а если девочка некрасивая, то это так нехорошо. Он желает лучше, чтобы Сонечка была похожа на меня; «Но ты мила и у тебя чрезвычайно доброе лицо, но ты далеко не красавица». Я отвечала, что ничего, что дочка * у нас будет вовсе нехороша, что у нее будет чрезвычайно умное и доброе лицо, что похожа она будет на Федю непременно, его же глаза, его лоб умный, его добрая улыбка. В самом деле, я себе представляю, что Сонечка будет похожа на Федю, т. е. с черными глазками, одним небольшим, и с белокурыми волосами; правду, она не должна быть, чтобы была хороша, но миловидная будет непременно; если у нее будет золотуха, то я стану ее непременно лечить, и к тому времени, когда подрастет, она будет очень здоровый ребенок. Я в этом уверена.

Прошлый 1866 год. Я не помню хорошенько, как прошла эта неделя; я каждый день ходила к нему, но уж только по одним утрам, а от вечеров отказалась, да и ему самому надо было работать вечером. Приходила я с большим удовольствием, но почему-то вечно опаздывала, так что приходила не в 12, а в 1 и даже в 2 и сидела у него до 4-х, так что после меня он тотчас собирался ехать обедать. Сначала, когда я приходила, то он принимался перечитывать принесенное мной, я в это время брала кофей (очень густой и мне почти никогда не нравился) и потом читала его газеты; но потом он перестал перечитывать, а сначала ** мы долго говорили, а потом уж принимались за диктовку.

---

* *Может быть*: девочка.

** *Слова*: сначала *и* обыкновенно *написаны одно на другом*; *ив какого слова переправлено, неясно.*

Он каждый день меня допрашивал, как я думаю, успеем ли мы кончить к 1-му ноябрю. Я его успокаивала, что нам еще много остается и что кончить, разумеется, непременно успеем; мы тогда пересчитали, сколько у нас написано листков и ужасно радовались, когда число их прибавлялось. Мы очень много говорили между собой, он мне рассказывал про свою жизнь и про житье в Москве, про Сонечку, про Елену Павловну, говорил, кого он прежде любил, и пр. и пр. Мне было тогда чрезвычайно приятно его слушать, и я очень любила к нему приходить. Но не знаю, почему, мне, когда я возвращалась домой, становилось удивительно как грустно, решительно я этого даже и понять не могу, и дома было отчего-то очень грустно. Мне и тогда уж казалось, что он мне непременно сделает предложение, и я решительно не знала, принять ли мне его или нет. Нравился он мне очень, но все-таки как-то пугала его раздражительность и его болезнь. Он очень часто кричал при мне на Федосью, которая его трепещет и, кажется, ужасно боится, но она здесь нерадива, ее почти никогда нет в передней, вечно у кого-нибудь в соседях, в лавочке, а в кухне оставляет свою дочку Клавдюшку. Впрочем, несмотря на свои очень нехорошие глаза, она, может быть, и хорошая женщина. Пашу я решительно почти не видела, он в кабинет не входил, а слышала иногда, как он там шаркает в передней. Я здесь всегда боялась, чтобы кто-нибудь к нему не пришел в это время. Пожалуй, кто-нибудь и подумает, что я вовсе хожу не для диктовки. Но вот в это-то время у нас ни разу не было разговору ни о любви, ни одного нескромного слова. Он иногда меня называл голубчиком, доброй Анной Григорьевной, милочкой, но я принимала эти слова тогда очень равнодушно, даже как-то строго. Иногда мне он казался очень странным. Так, раз заметил мне, когда у меня была на голове Андреевой шляпка: «Какая у вас старомодная шляпа»,— хотя это была совершенно новая и модная зимняя шляпа. Я отвечала, что он, вероятно, ничего в этом не понимает, а шляпа это модная. Потом как-то спросил меня, когда я надену зимний салоп; как это было странно, почему он знает, может быть, я так бедна, что у меня салопа и нет. Я отвечала, что не скоро, и что я даже зимой салопа не ношу, потому что не люблю носить, а что это чрезвычайный груз. Спрашивал, отчего я не выхожу замуж, я отвечала, что потому, что еще никого не люблю, а хотела бы непременно выйти замуж по любви.

Как-то раз, когда мы сидели и диктовали, в наших дверях показался Майков, в шляпе и пальто. Вероятно, он не нашел Федосьи в кухне и вошел, чтобы узнать, дома ли Федя. Увидев меня, он ужасно как-то смутился. Я решительно не понимаю, может быть, он что-нибудь дурное и подумал. Федя тоже как-то ужасно сконфузился, я уж не знаю тоже, почему; вероятно, тоже боялся, чтобы Майков что-нибудь про него не подумал. Майков уж хотел воротиться, как Федя пригласил его в комнату, представил ему меня; он сказал: «Вот это Анна Григорьевна Сниткина, стенографистка, а это Аполлон Николаевич Майков». Он и я протянули друг другу руки, и я сказала ему, что я очень рада его видеть и что уж знаю его по его произведениям. Он меня спросил, не родственник ли мне какой-то Сниткин, я отвечала, что нет. Потом они стали ходить по комнате в столовой, а я принялась переписывать. Майков хотел сейчас уйти, чтобы не помешать нам, но я ему сказала, что я могу в это время заняться перепиской и время для меня не пропадет. Они ходили эдак минут с 15, потом Майков опять вошел в комнату, чтобы проститься со мной. Вдруг ему вздумалось попросить Федю подиктовать мне, сказав, что для него это чрезвычайно любопытно видеть. Федя начал диктовать, я написала и тотчас прочитала написанное. Майков посмотрел, посмотрел, заметил, что вот он так тут ничего не прочитает. Потом подал мне руку, раскланялся и ушел. Я была рада его увидеть, потому что никогда еще до сих пор этого

не случалось. Федя как-то потом приосанивался; мне, право, было ужасно на него и досадно и смешно, что он так сконфузился, точно мы какое-то дурное дело делали. Федя говорил, что Майков про меня выразился очень хорошо, сказал, что нашел чрезвычайно хорошую девушку, что я, правда, ему очень понравилась, чрезвычайно хорошо умею держать себя, вообще я на него произвела хорошее впечатление.

Как-то раз, когда я пришла, я застала у него Долгомостьева [112], но когда потом уходила, то решительно бы его не узнала. Мне он показался очень высоким, когда он на самом деле среднего роста. Он что-то толковал с Федей, потом взял какую-то рукопись и пошел читать ее в комнату Паши; потом прочитал и принес в эту комнату, где мы писали, и отдал Феде, раскланялся и ушел. Федя мне объяснил, что это был Долгомостьев, литератор*, человек честности удивительной, но несколько ленивый, говорил, что тот предлагает ему издавать религиозный журнал, но что они никак не могут согласиться в главных условиях.

Раз как-то был еще Милюков, который мне очень не понравился. Это маленький, рябенький старичок, очень ядовитого свойства, он очень почтительно со мной раскланялся, и Федя меня представил ему как стенографистку. Он тоже спросил, не родственница ли я поэту Сниткину, который недавно умер в Максимилиановской лечебнице. Я отвечала, что нет. Они несколько времени ходили по комнате, разговаривали о политике. Потом он ушел и больше я его ни разу не видела. Да больше никто, кроме них, к Феде и не приходил. Я была этому очень рада, потому что мне все-таки не хотелось, чтобы меня очень многие видели у него, ведь он мужчина вдовый, а люди так злы, что они непременно начали бы говорить, что у нас между собой дело не чисто ⟨...⟩

Воскресенье 27/15 ⟨октября⟩. Сегодня целый день шел дождь, скука была страшная, просто невыносим ⟨а я⟩. Ходили обедать, хотя был дождь, а оттуда прошли, несмотря на дурную погоду, на почту, нет ли писем, но ни одного нет, просто такая досада. Федя отправился читать в кофейную, а я пошла домой и кончила читать книгу Жорж Занд «L'homme de neige», раньше легла спать и видела во сне Яновского, будто бы он посылает нам деньги, так что из этого вывела такое заключение, что денег он, вероятно, нам не пришлет.

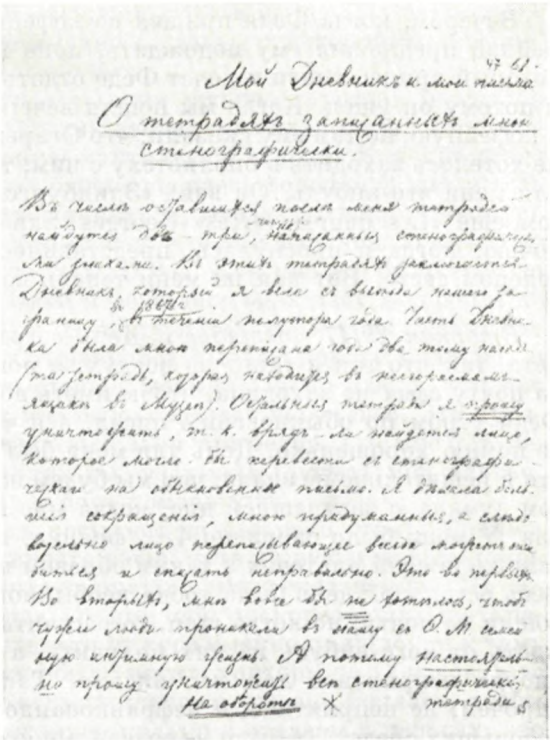
Сегодня я была целый день ужасно какая скучная, такая грустная *, просто не знаю, что мне и делать, все думаю об наших обстоятельствах, о маминых делах, даже больно становится, когда подумаю, что ничем ей помочь не могу, а только от нее же требую помогать, чтобы она прислала мне что-нибудь. Федя все эти дни называет меня женой *мечтательницей*, говорил, что только и делаю, что мечтаю, спрашивает, зачем я все задумываюсь и вообще очень беспокоится этим. Любит он меня очень, я это вижу, всегда меня укрывает, чтобы мне не было холодно; сегодня вечером он писал, когда я легла спать, я с ним и не простилась, он, услышав, что я легла, оставил писать и пришел проститься, упрекал меня, зачем я с ним не хотела проститься. Потом, когда я спала, я проснулась от того, что Федя стоял подле моей постели на *коленях* и много-много целовал меня. Как меня это поразило, мне было от того так хорошо; он с такой любовью стоял подле меня, просто я не знаю, как мне и выразить, как я счастлива. Говорил мне, что если я умру, то он будет очень плакать, что ничем не утешится. Говорил, что он счастлив со мной, что большего счастья ему и не нужно. Вообще, несмотря на недостаток денег, мы с ним живем очень и очень дружно, он меня любит, а я его так просто без памяти. Сегодня

---

* *Может быть*: грусть.

ЗАПИСЬ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ В ТЕТРАДИ «ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ»

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва



Мой Дневникъ и мои письма 47 61.

О тетрадяхъ записанныхъ мною стенографически.

Въ числѣ оставшихся послѣ меня тетрадей найдутся двѣ-три, написанныя стенографическимъ моимъ способомъ. Въ этихъ тетрадяхъ рукописный Дневникъ, который я велъ со времени нашего заграничнаго, въ 1867 г. въ теченіи полутора года. Часть Дневника была мною переписана (тогда же тѣмъ самымъ стенографическимъ моимъ способомъ, которымъ написаны эти тетради, въ которыхъ находятся и мои письма изъ Швейцаріи). Остальныя тетради я прошу уничтожить, т. к. вѣроятно не найдется лица, которое могло бы перевести ихъ стенографическіе знаки на обыкновенное письмо. Я писала быстро, безъ сокращеній, много придуманныхъ, а слѣдовательно лицо перепечатывающее всѣ мои тетради должно будетъ читать и спрашивать непремѣнно. Это во первыхъ. Во вторыхъ, мнѣ вовсе бы не хотѣлось, чтобы чужіе люди проникали въ нашу съ Ѳ. М. семейную интимную жизнь. А потому настоятельно прошу уничтожить всѣ стенографическія тетради.

на оборотѣ ×

было 8 месяцев как мы женаты, мы это вспомнили и решили, что мы очень хорошо живем друг с другом.

Понедельник 28/16 ⟨октября⟩. Сегодня день довольно скверный, т. е. ветреный и дождливый. Ходили обедать, оттуда на почту, но, разумеется, ничего не получили. Не знаем, чем мы будем жить теперь, у нас только и есть, что на сегодня, а на завтра и не хватит. Как мне кажется, наши хозяйки начали на нас несколько не так посматривать, очень может быть, они видят, что у нас денег все нет, да нет, так тут. пожалуй, и доверие все лопнет.

Днем я писала несколько стенографии, всего 6 страниц, мне следует, право, приняться гораздо усердней за нее, потому что, как я подумаю, так мне, вероятно, придется ею хлеб себе добывать. Как-то мы говорили сегодня с Федей, он толковал, что если бы у него был какой-нибудь капитал, т. е. если бы он был в состоянии что-нибудь оставить, то он оставил, конечно бы, Паше, а не Сонечке, потому что будто бы он к Паше имеет гораздо больше обязанностей, чем к своей собственной дочери. Как это несправедливо, так это и сказать нельзя. Я ему отвечала, что как можно так, если бы у меня был небольшой капитал, я бы ему в руки не дала, а спрятала бы для Сонечки, чтобы у Сони было хотя бы что-нибудь, чтобы она, если бы я умерла, могла бы не нуждаться и не жить на чужом хлебе. Федя этим ужасно обиделся и вывел заключение, что я считаю его дурным отцом, что потом я буду отговаривать ребенка любить его под тем предлогом, что будто бы отец ничего для тебя не делает, а я вот делаю, так незачем его и любить. Он ужасно как сердился и бранил таких матерей. Я отвечала, что ведь он еще решительно не знает, какая из меня выйдет мать, что, может быть, выйдет очень хорошая, а потому браниться заранее не следует, а что я все-таки так бы поступила, так это непременно. Право, смешно несколько: ни денег у нас нет, ни Сонечки, а мы уж бранимся из-за нее.

Вечером, когда Федя пришел из кофейной, он сказал, что кельнер кофейной предложил ему подождать, пока придет кто-то, кажется, Огарев, который принес книги и хочет Феде отдать их. Но Феде не хотелось ждать и потому он ушел. Когда мы пошли вечером гулять, Федя опять заходил в кофейную, но там ему сказали, что Огарев уже ушел. Так как мне очень не хотелось заходить в библиотеку с ним, то я просила Федю зайти и взять для меня что-нибудь. Он взял «Эдинбургскую темницу» Walter Scott, потом еще «Les dames vertes» Georges Sand. Когда я прочитала, то мне ночью, когда я проснулась, представилось, что вся комната в каком-то зеленом свете. Вот как на меня теперь все действует.

Вторник 29/17 ⟨октября⟩. День сегодня великолепный, решительно лето, так что так и тянет на воздух, я пошла несколько прогуляться, но на почту сама не заходила, чтобы иметь возможность зайти после 5 часов. Федя утром по обыкновению писал, а я что-то делала, кажется, стирала, не помню хорошенько. День для меня был ужасно какой скучный, потому что я решительно не знала, чем мы будем жить завтра ⟨... ⟩ Я просто с ужасом думала о завтрашнем дне, когда мне придется идти закладывать еще раз. У меня было скоплено 4 $^1/_2$ франка, я выдумала сказать Феде, что я заложила свой платочек и таким образом получить чем иметь завтра обед. Весь остальной день была тоска необыкновенная; сходили обедать, потом пошли на почту, но когда шли, то рассчитали, что решительно нельзя еще ждать от кого-нибудь из них получить, а что, пожалуй, получим какое-нибудь неприятное для нас письмо. Так и случилось, т. е. я получила, впрочем, не неприятное, а нефранкованное письмо, что при наших очень небольших средствах было не совсем приятно. Федя захотел сейчас узнать, от кого оно, я хотя и видела, что оно от Стоюниной, но мне поэтому вовсе того сказать не хотелось, тем более, что я знала, что ее почерк сходен с почерком известной особы. Федю это очень рассердило, и он раскричался на меня; я отстала от него и читала по дороге письмо, он остановился у книжного магазина, и когда я подошла к нему и сказала, что письмо от Стоюниной, он сказал: «Будь она проклята, только вышло 90 с.» Меня это ужасно как обидело, я отвечала ему, что если ему так жалко денег, то я пойду продам что-нибудь, отдам ему эти деньги. Меня действительно это ужасно как возмутило; как это ему не стыдно было сказать. Я заметила и прежде, что он как-то всегда нехорошо смотрит, когда приходится платить деньги из-за меня, т. е., например, послать письмо, или платить за нефранкованное, что случалось, правда, всего только раза 2, не больше. Но тут меня это просто взбесило. Я так мало требую у нас денег, так мало трачу и стараюсь сохранить деньги, а он тут еще смеет бранить моих знакомых и посылать их к черту из-за того только, что ему пришлось заплатить 90 с. Я на него рассердилась, и мы расстались. Я пошла за свечами и кофеем, а он пошел читать ⟨... ⟩ Когда Федя воротился из кофейной, то он обнял меня и просил, чтобы я не сердилась на него за его слова, что он это сказал сгоряча, а что тут речь шла вовсе не о деньгах, а о том, что ему очень хотелось поскорее узнать, от кого это письмо, а я ему не так скоро сказала. (Мне кажется, не боялся ли он, что это письмо от той дамы его сердца, а потому и рассердился, когда я ему не скоро сказала.) Я назвала его скупым, и мы помирились. Он принес с собой 4 книги «*Былое и думы*», которые получил от Огарева [113]. Тут он познакомился с каким-то *господином Спиридовым* [114], которого я очень не люблю, хотя видела не больше 2-х раз на улице, но терпеть не могу его физиономии. Ходили немного гулять, а пришли и я начала читать книгу. Как нарочно, запечатан конверт известной печатью с маминым * именем; Федя рассматривал конверт. Рука ему, ка-

* *Может быть*: моим.

жется, показалась знакомой и долго тоже смотрел и на печать; очевидно, у него было подозрение, что письмо именно от дамы, с которой он в ссоре.

Среда 30/18 ⟨октября⟩. Встала я сегодня ужасно грустная и ужасно горевала о том, что мне придется сегодня непременно идти к этой портнихе и закладывать у нее мою кружевную мантилью. Господи! Как мне этого не хотелось, мне кажется, я готова была просидеть голодом 3 дня и есть только один хлеб, чем идти опять кланяться, чтобы дали каких-нибудь 40 франков, да вряд ли и это дадут, тем более, что они ведь ничего в этом не понимают. Хотели тогда взять ее за 20 франков. Как мне это было тяжело идти, один бог только это знает. Идти я решилась эдак часу в первом, не раньше. Но прежде решила сходить на почту и узнать, нет ли письма, не пришли ли деньги от Яновского. Отправилась я и всю дорогу молилась и почти плакала, мне было до такой степени невыносима та мысль, что мне придется идти и закладывать, так мне было совестно перед нею. Эти дураки непременно подумают, что я действительно так бедна, что мне так непременно* нужны деньги, и, пожалуй бы, вздумали продать мои платья. Я всю дорогу молилась и просила у бога помочь мне.

На почте мне сказали, что есть посылка, но что надо, чтобы пришел мой муж. Я была так этому рада, просто ужас, чуть ли не бегом шла домой и, придя домой, сказала Феде, что что-то пришло. Федя сказал мне: «Не обманываешь ли, о ты, какая чудачка». Он пил чай, поскорее допил и отправился на почту, чтобы скорее узнать, что от кого именно пришло; да к тому же, чтобы разменять деньги, нужно было идти в конторы до 12 часов, а то все они запирают до 3-х часов. Когда он ушел, я ужасно боялась, чтобы не пришло просто одно рекомендованное письмо с отказом в деньгах, это было бы просто ужасно, особенно в нашем положении. Денег нет, осталась одна надежда на заклад мантильи, а тут еще отказ. Это просто хоть умирай! Федя, однако, довольно скоро пришел, сказал, что это письмо от Яновского, что он был так добр, что прислал не 75 или 50, как Федя у него просил, а 100 рублей [115]. Как я была благодарна этому человеку, вот уж именно спас нас, вот уж именно помог в такую минуту, когда у нас решительно ничего не было, а, главное, меня избавил от страшной неприятности идти просить денег. Он писал, что письмо его застало на отъезде куда-то в Курск, куда бы он уехал на 2 недели. Господи! Как это хорошо, что письмо застало его, иначе он проездил бы 2 недели и только тогда мог собраться послать к нам. Федя не заходил разменять, а торопил меня одеться, чтобы идти разменять вместе деньги. Мы отправились, зашли к Paravin, где я обыкновенно меняю деньги, но выдали не 336, как я думала, а 334 франка, следовательно, понизился курс.

Проходили мимо сапожного мастера и Федя припомнил, что у него сапоги ужасно дурные, и мы тут решили непременно купить ему новые. Федя как-то пришел нынче вот к какому убеждению: нужно покупать, пока деньги есть, а то деньги выйдут, и не будет ни денег, ни одежды. Вот если бы он так всегда руковод⟨и л с я⟩ этой мыслью, то, право, я бы была очень хорошо одета и у него были бы часы, а то в других случаях имеем мы у себя 300 франков, считаем себя бедняками и говорим, что денег у нас нет, а когда действительно нет денег, то рады ужасно 10 франкам и считаем, что у нас все-таки еще деньги есть. Зашли к сапожнику, Федя выбрал сапоги (здесь торговала дама, я ужасно не люблю те магазины, где продают дамы, а особенно сапожные, это уж совершенно неприлично для женщины). Сапоги действительно хорошие, но Феде показалось, что они для него немного узкие. Эта дама обещала ему непременно что-то такое там изменить, одним словом, сделать так, чтобы ему было ловко. Сапоги стоят

* *Исправлено из* сильно

24 франка. Федя отдал только 2 и сказал ей, что ведь он, может быть, даже до завтра и умрет, а потому для чего ему тогда будут нужны сапоги. Они будут готовы завтра, и Федя обещал за ними зайти сам.

Потом Федя сказал, что мне необходимо нужна шляпа зимняя, что в этой ходить решительно невозможно, а что, следовательно, мы теперь же поедем и будем высматривать в магазинах, нет ли какой-нибудь хорошенькой шляпки. Прошли мы всю улицу rue Basses, глядели в магазинах, но не было ни одной сколько-нибудь приличной шляпы ⟨... ⟩ Так, купив шаль, и находившись вдоволь по городу, мы пришли страшно усталые домой. Тут сейчас позвали наших старушек и просили их подать нам счет, они нам подали, оказалось около 60 франков, но мы прибавили 5 франков нашей младшей старушке за услуги ⟨... ⟩

Федя был сегодня ужасно как скучен, просто не знаю, что это с ним сделалось, его ужасно мучит мысль, ехать или нет ему в Саксон опять или подождать других денег. Сначала у него было решительно намерение ехать и поэтому он был такой задумчивый, но потом, когда мы рассчитали, то вышло, что если он сейчас поедет, то если будет в проигрыше, то нам опять нечем будет жить, а теперь они у нас будут, хотя кое-какие денежки. Когда он под конец решился не ехать, то мученье его прошло и он сделался несколько веселее. (Мне сначала пришла мысль, что не происходит ли его тоска от того, что он истратил на меня деньги, я ему это сказала, а он отвечал, что я даже не знаю, как ему приятно и сколько ему доставляет счастья то, что он мог мне сделать небольшой подарок.)

Отдохнув немного, мы отправились обедать ⟨... ⟩ После обеда Федя опять пошел в кофейную, а я домой и дома, как какой-нибудь ребенок, рассматривала свою шаль и несколько раз ее примерила ⟨... ⟩ Федя пришел довольно рано из кофейной, и мы отправились гулять; Федя твердил, что мне необходимо купить новые перчатки, так как эти решительно износились, зашли мы в магазин, и я хотела себе выбрать перчатки потемнее цветом, так, чтобы они гораздо дольше проносились, Федя на это мне заметил, что я решительно человек без вкуса. Ах, господи! был бы и у меня вкус, если бы у меня были средства одеваться хорошенько, а то когда перчатки приходится покупать через 3 месяца, так и поневоле пожелаешь иметь потемнее цветом. Я просила Федю не кричать на меня в магазине, он на это рассердился и потом дулся на меня всю дорогу, сказав, что он на меня не кричал и что поэтому я очень к нему несправедлива. Заплатили мы за перчатки $2^1/_2$ франка, посмотрим, долго ли они у меня проносятся. Долго Федя все на меня сердился, я просила успокоиться, мне действительно было больно, потому что, может быть, и я погорячилась, но ведь надо же и мне иногда простить. Зашли мы в магазин фланели и здесь я спросила, сколько именно нужно на фуфайки, мне сказали, что если с короткими рукавами, то нужно только 1 аршин, я так и купила ⟨... ⟩

Феде хотелось ради получения денег непременно купить нам чего-нибудь к чаю, зашли в кондитерскую и купили в один франк небольшой кон⟨дитерский⟩ пирог с кремом в середине, облитый каким-то розовым настоем ⟨... ⟩ Вечер провели довольно дружно, пирог дали нашим старушкам. Старушки пришли за него благодарить и объявили, что они нам непременно купят кофей и сами зажарят, что будто бы кофей купят особенно хороший, а стоит 1 франк ⟨... ⟩ Старушки сказали, что это продается в каком-то магазине, хозяин которого какой-то Suisse* и живет в Лозанне, а присылает оттуда. У них что ни слово, то какой-нибудь Suisse; кажется, в их мнении нет людей лучше этого глупого народа[116]. Так, младшая хозяйка объявила мне, что в Англии только и есть, что один кондитер, да и тот швейцарец, просто смешно ее слушать, такой уж у них глупый патрио-

* Швейцарец (*франц.*).

тизм. Старушка, услышав, что я хочу купить себе фланели, объявила мне, что у них есть какая-то amie *, которая очень дешево берет за работу поденно, что она отлично шила, что поэтому фуфайку я могу ей отдать шить. Я вовсе не располагаю это сделать, кроме того, что она непременно спросит вместо одного аршина 2, я и сама могу ее отлично сшить, а не платить ей еще деньги. Федя сомневается, что я умею шить, но я ему докажу ⟨... ⟩Спала я хорошо, вечером мы очень дружно простились с Федей, были большие друзья и он говорил, что я очень мила, несмотря на то, что меня следует иногда даже посечь.

Четверг 31/19 ⟨октября⟩. Вчера вечером мы заговорили с Федей о наших долгах и решили сделать таким образом, чтобы покамест у нас есть деньги, выкупить вещи мелкие, заложенные в разных местах, т. е. 2 кольца, мои рубашки, платок и черную шелковую мантилью. (Эти 3 последние вещи были заложены только в моем воображении, а в сущности они преспокойно лежали себе в сундуке, а деньги я выдавала из скопленных, говоря, что это получила за заложенные вещи.) Этим способом я получила несколько денег, и могу в случае нужды опять дать ему под видом заложенных вещей, по крайней мере, вещи пропадать не будут, да и проценты не будут идти на них. К тому же, мне ужасно как хочется сделать небольшой подарок маме, а как спросить на это у Феди деньги; у меня ужасно робкий характер, я и для своей необходимости ужасно как затрудняюсь сказать и просить, на что мне действительно надо, а тут еще на подарок; он же будет считать, что мама ему обязана, а скажет, что если уж посылать маме, то следует послать и Эмилии Федоровне и прочим и прочим. Так вот я решила⟨с ь⟩ сделать так, скопить деньги и послать маме или платок или что-нибудь. Так как я объявила, что заложила рубашки за 14 франков и платок за 4, а мантилью за 10, то всего следует с процентами дать мне 31 франк. Он мне дал, я отправилась, взяв с собой мантилью.

Так как была отличная погода, то я решилась непременно сегодня сняться, чтобы послать маме мою карточку; зашла я для этого в лучшую здешнюю фотографию и просила снять теперь же. Взяли за полдюжины 6 франков. Это по-здешнему довольно дорого ⟨... ⟩Я была в моей обыкновенной шерстяной кофте, с волосами, зачесанными кверху, не знаю, каково-то будет портрет, я думаю, неудачный, хотя фотограф меня и уверял, что портрет удивительно как удался. Я отдала ему 6 франков и просила, не приготовит ли он мне карточки к субботе, чтобы я могла их послать к моей маме. Он отвечал, что, вероятно, они будут готовы. Потом оттуда пошла на почту и здесь получила письмо из Москвы на имя Федора Михайловича.

Мне показалось, что это, должно быть, от Сонечки и потому я, разумеется, не распечатав, поспешила домой, чтобы отдать его Феде. Федя был на меня несколько сердит за ужасно долгое приготовление к уходу, и потому я пришла и сказала, чтобы он на меня не сердился, а что я дам за это ему письмо. Письмо действительно было от Сонечки, Федя прочитал и потом передал мне. Она писала к Феде, говорила о своем тягостном положении в семье, говорила, что мать ее принуждает идти замуж и видит в этом счастье не только ее, но и всего семейства, говорит, что детей много, что они небогаты, одним словом, старается, видимо, силком, чтобы та вышла замуж. Я понимаю, какое это скверное и тяжелое положение! Бедная Сонечка! А та говорит, что не может же до такой степени убить себя, сломать свою жизнь, чтобы, не любя человека, решительно никого не зная, идти замуж. Что ей самой очень тяжело быть в тягость семейству, что она для того, чтобы самой зарабатывать деньги, нарочно изучила английский язык, чтобы переводить что-нибудь, но что переводов у нее нет. Она просит Федю

* приятельница (*франц.*).

посоветовать ей, что бы ей делать. Меня она упрекает за неисполненное слово, за обещание писать к ней очень часто [117]. Когда я читала, мне сделались ужасно больны ее упреки, и я была ужасно как рада, что она уже получила от меня мое письмо и, следовательно, упреки ее ко мне несправедливы. Тут же она писала, что Елена Павловна теперь вдова; вот если бы Федя не был теперь женат на мне, то он, наверно бы, женился на ней.

Весь сегодняшний день он был ужасно как скучен и боялся, что будет припадок; я сначала подумала, что не происходит ли это от того, что жалеет, что не может на ней жениться, что я ему в этом помешала, но потом я убедилась, что задумчив он от того, что думает о своем романе, а поэтому обвинять его вовсе не следует и решительно нечего беспокоиться, если он скучный. Хотя, впрочем, он сегодня говорит, что у него сильно расстроены нервы и тоска его решительно физическая, а не нравственная ⟨...⟩ Сходили за сапогами Феди, и здесь ему вдруг они не понравились. Действительно, надо сказать, что его не слишком большая нога имеет вид просто слоновый в этих огромных с некрасивым носком ботинках, очень, даже очень некрасиво, но так как он их вчера выбрал, то, право, сегодня находить, что они дурные, решительно было невозможно, потому что она их переделала и не взять было нельзя. Федя говорил, что зачем осталась такая же подкладка серая из какой-то дрянной материи, но ведь подкладку переменить нельзя было, потому что тогда следует переделать все сапоги. Он долго ворчал, и хозяйка продолжала его уверять, что он ведь эти же самые выбрал вчера и что вчера ему они были хороши, а сегодня нет. Я его тоже уверяла, что, по-моему, сапоги довольно хороши, так что он, наконец, их взял и мы поручили, чтобы сапоги были отнесены к нам на дом, а сами отправились высматривать шляпу.

Мы были в нескольких магазинах, но нигде не было готовых шляп, а все предлагали отделать. Брали за простую касторовую шляпу с отделкой перьями 15 франков; мы решили пойти посмотреть эту бархатную шляпу, черную с белыми страусовыми перьями, которую мы уж давно заметили в одном магазине, и отправились туда. Спросили, что она стоит, сказали нам, что стоит 17 франков ⟨... ⟩ но потом все, и шляпу, и вуаль уступила за 18 франков. Шляпа была из хорошего черного бархата, так что имела чрезвычайно приличный вид и очень шла ко мне. Федя пошел читать, а я осталась у модистки, пока она переменяла перья и пришивала вуаль. Как-то она меня назвала M-lle (надо заметить, что несмотря на мой старообразный вид, меня все называют M-lle, это, право, даже смешно и особенно в моем положении, да и неприлично, потому что какая же M-lle, когда такой большой живот). Федя заметил ей, что M-me, M-me. Она отвечала, что, право, не понимает, почему она меня назвала M-lle, когда имеет всегда привычку говорить всем M-me. Когда Федя ушел, я спросила, сколько она мне дает лет. Она отвечала, года 22, и что так как муж не молод, то можно было подумать, что это не муж с женой, а отец с дочерью. Бедный Федя, хорошо, что он это не слышал, это совершенно не было бы для него лестно. На мои же глаза ему не больше как 38, а она опять сказала, что ему лет 45 непременно. Потом я купила свечи и отправилась домой, нагруженная разными покупками ⟨... ⟩ Федя пришел ужасно усталый и скучный, бедный он, мне, право, его жаль, он ужасно как тоскует, что роман у него не ладится, и он горюет, что не успеет послать его к январю месяцу [118]. Сегодня, когда я к нему вечером зачем-то подошла, он мне сказал, что хотел за что-то побранить меня, но потом, когда я стояла белая, да он вспомнил, что со мной Сонечка, так и язык не поднялся сказать мне дурное слово. «Какое-то странное ощущение у меня, какое-то уважение к ребенку»; потом вечером он мне говорил, что меня ужасно как любит, и Сонечку любит, т. е. любит меня и Сонечку как-то нераздельно, и кажет-

ся, и потом, всегда так будет нераздельно с нею любить. Были мы с ним в этот день очень дружны и он говорил, что счастлив со мной.

Каждое утро и каждый вечер он топит печку, и это у него такая забота, просто смешно даже смотреть, он так рассчитывает, как бы все сгорело, и размышляет, прогорит или не прогорит какое-нибудь полешко. Себя и меня он называет «веселые истопники, или жизнь в Женеве». Придумывает разные смешные вещи, ужасно как меня смешит. Вечером как-то разговаривал со мной о Сонечке, ужасно жалея о ней, говорил, что за кого же она выйдет замуж, ведь она никого не видит, если ее и вывозить в собрание 3—4 раза в год, ну, кто там ее увидит. А своих знакомых у них нет, что он помнит, как было раз еще при нем, ей сватали жениха, приехал какой-то инженер, над которым все они смеялись; потом же он оказался каким-то просто карманным воришкой. Я говорила, что жаль, что нас нет в Петербурге, а то бы она могла приехать к нам, он отвечал, что не отпустят, а когда я заметила, что, может быть, она могла бы настоять на этом, то он отвечал, что ее отец не таков, что если ей переступить через ров, так мост сзади ее сломают они, что за нею, как за мной, не побегут родные, а просто отец рассердится на нее. Мне ужасно было больно, что он так резко отозвался, именно, будто бы я не любила своей семьи и захотела бы разрыва с нею. Как он меня мало знает.

Пятница 1 ноября/20 ⟨октября⟩ ⟨... ⟩ Федя и сегодня все утро был в ужасном грустном расположении духа, но когда я оделась и показалась перед ним, то он как-то развеселился, поправил мой платок и сказал, что ко мне шляпа идет; а когда я вышла из дома, то отворил нарочно окно и смотрел, как я пойду на улицу. Милый Федя! Как я люблю, когда он так внимателен ко мне. Сначала пошла на почту, но писем ни от кого не получила. Потом пошла несколько пошляться по городу, много ходила ⟨...⟩ Заходила я спрашивать меховую мантилью серого барашка, стоит она 140 франков, а муфта, тоже серая барашковая, но очень небольшая, стоит 22 франка. Когда я сказала насчет муфты, то Федя сказал, куда же нам девать ее будет после, я отвечала, что ведь это Сонечке пригодится, он засмеялся и сказал, что нашу Сонечку и всю-то можно будет уложить, упрятать в муфту. Сегодня я воротилась домой, порядочно устав от моего гулянья. Пошли обедать, по дороге Федя ходил к ростовщику, у которого заложены наши кольца, но так как сегодня какой-то католический праздник, то его не было дома, да и многие магазины сегодня заперты. После обеда я пошла поскорей домой, а Федя пошел в кофейную ⟨... ⟩ Федя пришел из кофейни, предложил мне идти гулять, но я не пошла, потому что просто сильно устала. Федя пошел один, но воротился чуть ли не через 20 минут. Весь вечер он был ко мне чрезвычайно внимателен. Непременно требовал, чтобы я легла спать, потому что у меня болела голова. Я легла и заспалась, так что ему было ужасно трудно меня разбудить, вечером, когда он меня разбудил прощаться, то стоял передо мной на коленях. Меня это ужасно как обрадовало, я так бываю всегда рада, когда вижу, что он меня любит.

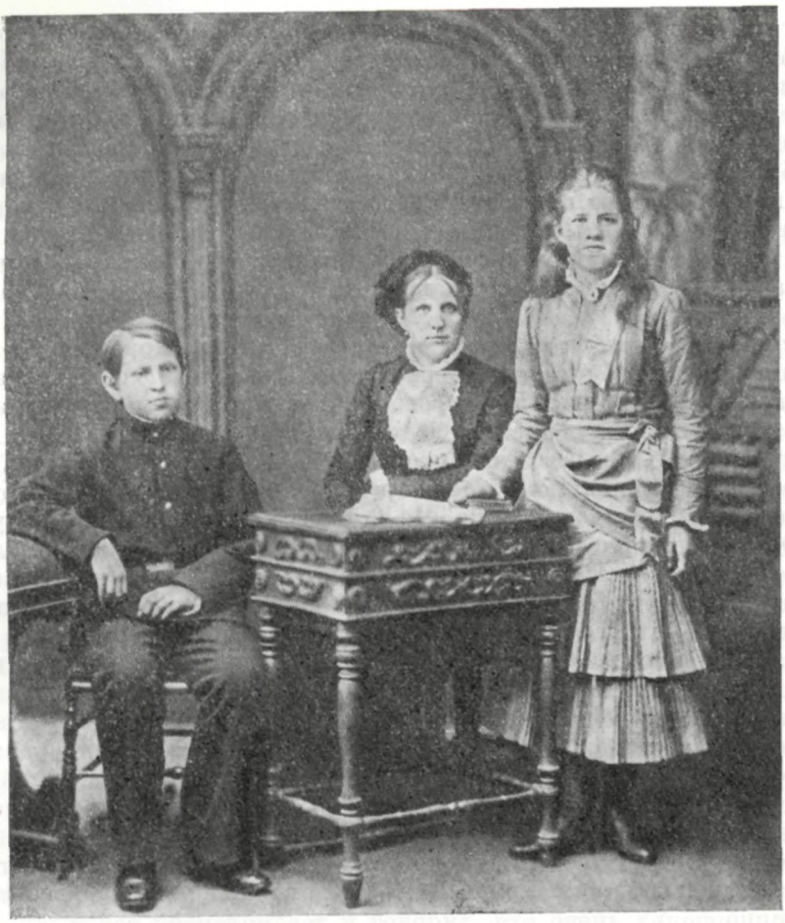
Суббота 2 ноября /21 ⟨октября⟩. Сегодня день очень хороший, т. е. был с самого утра, потом эдак часов в 12, когда Федя пошел, чтобы выкупить кольца, сделался теплый дождь, сделалось пасмурно, но довольно хорошо, так и у нас бывает, например, эдак в это время, когда расходится лед. Воротившись, Федя предложил мне сходить гулять. Я сейчас отправилась, пока не было дождя, но все-таки он меня застал, так, несмотря на дождь, я гуляла несколько времени. Потом, когда мы пошли обедать, то с удивлением заметили, что погода ужасно как изменилась, именно, из дождливой, но теплой погоды, сделалась страшная биза, так что решительно

нельзя было стоять на ногах, и холод до такой степени пронзительный, что, право, так, как у нас бывает разве в декабре месяце. Мне, несмотря на мою теплую одежду, было очень холодно.

После обеда Федя пошел в кофейную, а я отправилась в фотографию спросить, не готовы ли мои карточки. Дама, которая тут была, очень долго искала их, и я уже стала думать, что, вероятно, они не готовы. Наконец, они нашлись, и она мне их вручила в длинном черном футляре, который дается, кажется, только для целой дюжины. Она мне заметила, что портреты ужасно как похожи, хотя мне самой они не очень понравились. Я здесь очень худа, лицо страшно длинное; под глазами темно, лицо темное, и горло толстое, и воротник ужасно как дурно сидит. Но, вероятно, я такая уж и есть. Я пришла поскорей домой и села писать письмо к маме, чтобы ей сегодня отослать мой портрет. Я думаю, что она будет ужасно рада получить его, моя милая, добрая мамочка, и, вероятно, найдет, что портрет не похож на меня. Написав письмо, я отправилась на почту, спросила, нет ли писем, и, не получив, опустила в ящик на этот раз франкованное письмо; мне, право, совестно перед мамой, что я никогда не франкую. Она тоже бедная, чтобы платить за мои письма.

Когда я пришла домой, старушка мне сказала, что Федя приходил домой и потом ходил меня искать и не нашел. Федю я нашла недовольным, он сказал, что был на почте, но меня не встретил. Потом он стал топить печку, его обыкновенное занятие; его ужасно как интересует всегда, сгорит или нет такое-то полешко, и страшно беспокоится, если видит, что оно не догорает, Я как-то показала ему свой портрет и спросила, похож ли, он меня спросил: «Кто это?» Вот доказательство, что я решительно непохожа. И когда я сказала, что это я, то он отвечал, что тут решительно нет ни малейшего сходства, и что если такие бывают жены, то ему такой жены вовсе не нужно. Потом посмеивался, что глаза у меня ужасно страшные, и что это глаза решительно *рака*. Потом спросил, сколько я сделала, я отвечала, что сделала 2 карточки, одну для мамы, а другую для себя. «А для меня-то не могла сделать, хотя бы одну для меня?» Я отвечала, что знала, что будет портрет нехороший, а что если он хочет, то пусть возьмет себе этот. «Ну, хорошо», сказал он, и тотчас отнес и положил его в свою тетрадь, в которой он теперь постоянно записывает.

Вечером я прилегла спать, Федя тоже, и уж я спала несколько времени, как вдруг отворяется дверь и влетает наша хозяйка и подает мне письмо. Письмо это было запечатано, но без надписи. Она мне сказала, что это принес какой-то мальчик, который просил передать письмо русской даме, живущей здесь. Я распечатала письмо, Федя вскочил тоже, и мы стали рассматривать, что это было такое. Это был какой-то адрес, адрес какого-то пансиона на улице Монблан, с полным означением адреса, и написано это было на какой-то особенно красивой бумажке; адреса моего, как я сказала, тут не было. Мы решительно не могли понять, что бы это такое было? Федя начал меня уверять, что это ко мне и что, следовательно, я должна знать, кто это пишет. Я его уверяла, что решительно никого в городе не знаю, ни с кем не говорила, у меня знакомых нет, следовательно, я точно так же, как и он, решительно в этом ничего не понимаю. Он как будто бы на меня рассердился, уверял, что я должна знать, что это такое. Я ему сейчас предложила сходить по этому адресу и спросить, что это такое значит, объяснить, что мы здесь приезжие и никого не знаем, и попросить объяснения этого письма, а также, чтобы он узнал, нет ли там какой-нибудь приезжей дамы русской, потому что мне почерк показался знакомым, именно детским, и именно той госпожи; Федя говорил, что, вероятно, мне надо с ним идти, чтобы узнать, и что, может быть, хотят сказать мне что-нибудь про него. Я отвечала, что я не пойду, а просила его очень идти самому и даже, если возможно, теперь. Он оделся и отправился, но у него было какое-то



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ С ДЕТЬМИ ЛЮБОВЬЮ И ФЕДОРОМ
Фотография И. Грюннера, Петербург, 1883 г.
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

недоверие ко мне и он просил, чтобы я никого не принимала, пока он будет ходить. Я даже предложила ему меня запереть, если он уж так не доверяет ко мне. Когда он ушел, меня взяло сильнейшее беспокойство, мне пришло на мысль, что это, может быть, только какая-нибудь ловушка, что это сделано для того, чтобы заманить Федю куда-нибудь, где его встретят * и, пожалуй, еще отколотят, но, слава богу, мое беспокойство не продолжалось слишком долго, потому что Федя воротился назад и сказал, что видел самую хозяйку, что она сказала, что записка написана ею, и что будто бы ей какая-то дама сказала, что я желаю переменить свою квартиру, а так как у нее есть квартира, то и послала нам свой адрес. Феде почему-то показалось, что она хотела скрыть истину, а сказала это так, чтобы что-нибудь ответить, и что, может быть, ее просили так отвечать, если приду не я сама, а мой муж. Я сказала ему, что так как мы решительно не хотим съезжать с нашей квартиры, то поэтому-то самому решительно никому не могли сказать, что должны переменить квартиру, но главное, что у меня ведь решительно нет никого знакомых и ни с кем я не говорила. Тогда Федя сделал предположение, что, может быть, считают нас за бедняков и потому хотели попробовать, не соглашусь ли я на какое-нибудь дурное дело. Но мне кажется, что все это пустяки, а что так как наши соседи съез-

жают, то очень вероятно, что говорила это она, а они ошиблись адресом, и вот записка попала ко мне. Вообще этому нечего было придавать большое значение, тем более, что я решительно никому не говорила о моем желании съехать, и чувствовала себя совершенно невиновной в этой записке. Федя меня уверял, что ему и в голову не могло войти подозревать меня в чем-нибудь, но что он боится, чтобы кто-нибудь не подшутил над нами, так как, например, кто-то приходил спрашивать за нас письма. Вечер у нас все-таки прошел довольно мирно, а когда Федя пришел прощаться, то сказал, что портрет мой он рассмотрел и нашел, что он похож, но что все-таки глаза у меня точно, как у рака.

Воскресенье 3 ⟨*ноября*⟩/22 ⟨*октября*⟩. Сегодня день хороший, но ужасно ветреный, опять биза, так что просто с ног сваливает, обыкновенно она продолжается дня 2 или 3, это просто ужасно, в это время никуда и выйти нельзя ⟨...⟩ Сегодня я собралась идти в церковь, но из-за бизы не пошла, и мне это так больно; мало того, что я так давно не была в церкви, я дала себе слово непременно идти в это воскресенье, и вот не пошла; но в будущее воскресенье я пойду непременно. Из-за бизы мы не выходили все утро из дома, Федя несколько раз смотрел на мой портрет, когда принимался писать (это мне очень лестно), и сказал, что я очень похожа, но что все-таки глаза нехороши; упрекал меня, зачем я получше не оделась, а в простой кофте, говорил, что у меня очень хорошее, доброе выражение, такая по обыкновению встрепанная, как и всегда. Ходили обедать, потом на почту, где, разумеется, ничего нет, тогда Федя пошел читать, а я домой. Гулять мы уже вечером не пошли, потому что возможности решительно никакой не было. Вечером Федя как-то, не помню что-то заметил о моем портрете, я отвечала: «А, ты смеешься, так отдай мне его назад», тогда он отвечал, что не отдаст мне его *ни за что на свете* (меня это очень порадовало), потом как-то сказал, что я похожа на портрете, и что он потому это напоминает, что уж портрет чрезвычайно хорош, что он все на него глядит и находит, что я ужасно как похожа. День у нас прошел довольно весело, т. е. очень мирно ⟨...⟩

Понедельник 4 ⟨*ноября*⟩/*23* ⟨*октября*⟩. Сегодня биза перестала, сделалась отличная погода. Мы как-то рассматривали Федино теплое пальто и нашли, что непременно следует прикупить шелковой материи на подкладку, чтобы его починить, и тогда оно ему будет служить еще много времени. Федя на починку положил уплатить 5 франков и я, пользуясь хорошей погодой, отправилась покупать, взяв с собой образец ⟨... ⟩ В 2-х или 3-х магазинах мне подыскали такую материю, но брали за метр не меньше 7 франков, а следовало непременно взять не меньше метра. Сколько я ни ходила, но дешевле нигде не брали, так что под конец я решила лучше сходить домой и спросить у Феди, могу ли я купить за 7 франков. Он меня выбранил, зачем я это не сделала без его спроса, и я снова отправилась за покупками ⟨... ⟩ Те деньги, что у меня теперь есть, я должна беречь их, во-первых, на тот случай, если Катков нам не пришлет, то выдать их за деньги, присланные от мамы, а ⟨во⟩ вторых, опять давать их как деньги, вырученные под залог вещей, таким образом несколько поддержать себя, а если бы все было хорошо, и все нам удалось, то чтобы иметь возможность послать маме хороший платок ⟨... ⟩ Я купила материи $^{3}/_{4}$ метра за 5 франков и потом форму шляпы за франк. Но сегодня еще не шила, потому что очень скоро стемнело, а мне хотелось, если делать, то делать очень хорошо, чтобы Федя не мог сказать, что я не умею шить. Ходила на почту, но ничего не получила, просто не знаю, что такое и подумать, что мы так давно не получаем писем ⟨...⟩

Вторник 5 ⟨ноября⟩/24 ⟨октября⟩. Встала сегодня пораньше и начала примерять, как подложить подкладку, сначала у меня как-то не выходило, но потом дело пошло на лад. Я нынче не бужу Федю, по обыкновению, до 10 часов, хотя в это время очень страдаю, потому что пить кофей ужасно как хочется. Потом, когда он встал, я попросила затопить печку и начала гладить подкладку, т. е. подводить к ней полоски, так что было если бы возможно ⟨вовсе? ⟩ не заметить, что тут подкладка. Потом начала шить и одну половину сделала сегодня, но потом пошла обедать, а вечером уж было настолько темно, что шить было нельзя. С Федей мы были очень дружны, но очень горюем, что никак не можем получить ниоткуда письма. Это просто поразительно, вот уж сколько времени как отправили ко всем письма и ни от кого еще до сих пор ответа не получили, это уж слишком даже странно. Особенно меня беспокоит молчание мамы, уж не больна ли она, не сделалось ли у них какого-нибудь несчастья, что она так долго молчит. Но вот что мне кажется, очень может быть, что так как Федя писал Паше, что мы, может быть, скоро отсюда уедем, то этот глупый мальчик и сказал маме, что мы уезжаем, а она не получила от меня письма, убедилась в этом предположении и потому и не пишет, но меня это ужасно как беспокоит, так что я решительно не знаю, что мне и сделать.

Федя был сегодня очень ласков⟨ый⟩ ко мне, сказал, что очень любит и меня и ребенка, думает, что это будет непременно не Сонечка, а Миша, что будет мальчик страшно резвый, который будет постоянно ходить в синяках; когда легли в постель, то сказал, что благословляет и меня и нашего будущего ребенка. Сегодня мы толковали о том, чтобы когда получим небольшие деньги, то начать понемногу шить для ребенка, а то покупать ⟨сразу все? ⟩ будет гораздо дороже и вовсе не так, чтобы уж слишком лучше.

Среда 6 ⟨ноября⟩/25 ⟨октября⟩. Сегодня рано утром встала и окончила ту половину пальто, потом выгладила утюгом вторую половину и прибавила к ней полоски, так что сегодня у меня работа значительно подвинулась вперед; Федя все посматривает и говорит, что очень хорошо, вообще он нынче приходит к убеждению, что и я могу кое-что шить и говорит, что я шью хорошо. Я очень рада этому мнению в нем, потому что у него почему-то составилось мнение, что я решительно ничего не умею делать, что я не хозяйка и что вообще на меня очень много идет. Пошли сегодня опять вечером на почту и я как-то особенно надеялась получить письмо от мамы, но вдруг нам сказали, что письма нет. Меня это просто поразило, зачем я не богата, зачем у меня нет лишних 40 франков, чтобы послать в Петербург телеграмму и знать, что там такое случилось, что она ничего мне не пишет ⟨... ⟩ Федя меня утешал и уверял, что, вероятно, там ничего не случилось, а так какое-нибудь недоразумение. Ему видно было жалко меня. Он был очень добр⟨ый ⟩ и мил⟨ый ⟩ ко мне. Когда он прощался, то он сказал, что меня ужасно *любит, что жить без меня не может*, что когда тогда он отправился в Саксон ле Бен, то дорога его как-то развлекала, но там ему сделалось до такой степени грустно без меня, так что он не знает, как бы он стал без меня жить. Я очень рада таким словам его, мне такие слова точно бог знает какой подарок.

Четверг 7 ⟨ноября⟩/26 ⟨октября⟩. Сегодня я окончила его пальто, оно вышло очень хорошо, все места, которые были худые, поправлены, и пальто опять может много времени проноситься. Федя мной остался очень доволен. Потом до обеда я сделала свою шляпу ⟨к а к в ы ш л а⟩, положила на вату, вышла она довольно недурно, но в ней недостает еще цветка, а разве без украшения она будет так хороша. Федя ужасно удивился, когда он увидел, как я скоро ее сделала. Погода сегодня отличная. Ходили

обедать, нас опять кормили ужасно дурно, но зато десерт был очень хорош⟨ий⟩. От обеда пошли на почту. Дорогой Федя шутя бранил меня, зачем я не ношу своего платка, а я его уверяла, что потому не ношу, что мне запрещают носить его. На почте ничего нет опять, господи, что это такое за мука, право, вот сколько времени как не получала ответа от мамы, а тут и деньги выходят, а Катков не шлет никакого ответа. Господи! неужели от него не придет никакого ответа, это просто будет ужасно, потому что, что мы тогда будем делать? Опять начнем просить маму, чтобы она достала нам денег, опять тормошить бедную мамочку, несчастную мою мамочку, вместо того, чтобы ей помогать, опять будем ее тревожить ⟨... ⟩

Вечером мы с Федей поссорились и из-за какой-то глупости. Сначала мы оба легли спать и проспали до самого чая, потом я встала и заварила чай. У нас, несмотря на нашу огромную топку, бывает ужасно как холодно, вот я и прилегла опять на постель. Федя, вероятно, хорошенько не выспался, да и вообще после сна он был какой-то суровый, он начал уверять, что воды чрезвычайно как мало у нас в чайнике; мне, право, было решительно все равно, и я, чтобы что-нибудь ответить, сказала, что только мне кажется, что воды довольно; сказала я это для того, чтобы он не ходил и не бранил старушку. Федя это принял за намеренное противоречие, надулся на меня, так что я даже того и не заметила. Пить же чай мне не хотелось, потому что у меня была сильнейшая изжога, как и во все эти дни. Когда он предложил мне пить, то я отказалась. Тогда он ужасно как на меня закричал и объявил, что с ним прежде дрались, но дрались открыто, а не по⟨тихоньку?⟩, не скрываясь, и что если браниться, так браниться. Меня это ужасно как взбесило, особенно когда он закричал, если я не стану пить, то он все побросает на пол. Я ⟨...⟩ изругала его ужасно, и к моему ужаснейшему удивлению, он даже этим нисколько не обиделся, а как будто бы даже и успокоился. Меня же это так взволновало, что сердце начало сильно биться и вообще я сделалась нездорова и сейчас легла в постель, чтобы это как-нибудь поскорее прошло. Федя несколько раз подходил ко мне узнать, лучше ли мне, и просил успокоиться; что же до моих ругательств, то, кажется, он их и не заметил. Вообще эта ссора нас не особенно рассорила и мы расстались довольно дружелюбно ⟨...⟩.

Пятница 8 ⟨ноября⟩/27 ⟨октября⟩. Сегодня день чудесный, делать мне нечего, вот я и отправилась прогуляться немного по городу, а чтобы не гулять даром, зашла в один магазин узнать, что стоит детское приданое ⟨...⟩ Ходили обедать и сегодня подали все до такой степени жирное, что я просто исстрадалась после обеда. Изжога была страшная, невыносимая, грудь и горло горели; я решилась сегодня поступить таким образом, что ни завтра, и ни послезавтра, а если возможно, даже несколько дней, не обедать в том трактире, а приказать сделать мне молочный суп и купить себе курицу, таким образом, чтобы в моем обеде не было ни капли жирного. Я до такой степени страдала, что готова была лучше ничего не есть, ⟨чем⟩ их противные жирные кушания. Федя, видя, что я сегодня такая печальная, сказал мне: «Подождем еще несколько дней, а если не получим от мамы письма, заложим что-нибудь и пошлем к ней телеграмму, чтобы узнать, что с нею такое». Я отвечала, что теперь я несколько поспокойней и уверена, что письмо придет, если не ⟨в⟩ воскресенье, то в понедельник наверно, т.е. это ответ на получение портрета. Спала я ночь хорошо, но ужасно у меня как горело горло.

Суббота 9 ⟨ноября⟩/28 ⟨октября⟩. День был сегодня отличный, но дома ужасно как скучно, решительно не знаю, что мне делать. Во-первых, и делать-то нечего, нечего шить, а во-вторых, все приходит на мысль, отчего это не приносят мне писем от мамы и от Каткова, просто это меня ужас

как беспокоит. Ведь если Катков ничего не ответит, то придется опять посылать и клянчить деньги у бедной моей мамочки; господи! как бы мне этого не хотелось, просто и сказать не могу. Ходили сегодня за покупками, за курицей, но готовой не было, я * велела заколоть и приготовить ее. Потом Федя пошел обедать, а я пошла за курицей, купила превосходную за 2 франка ⟨... ⟩ Поела я курицу и теплое молоко, так отлично и так сыта, как редко ела в трактире. Сегодня Федя несколько раз ходил разговаривать со старухами, вообще когда он с ними несколько поссорится, т. е. покричит на них, то сейчас бежит и начинает с ними разговаривать о разных разностях, но главное о * в которых они, я думаю, решительно ничего не понимают. Как мне все это надоело. Вечером ходили на почту и опять ничего не получили; просто это решительно я не знаю, как и объяснить. Я с ужасом думаю, что не пропало ⟨ли⟩ письмо к Каткову. Это решительно убьет нас. Федя обыкновенно после неполучения письма становится все серьезнее и скучнее ⟨... ⟩

Воскресенье 10 ⟨ноября⟩/29 ⟨октября⟩. Сегодня день тоже отличный, и я этому чрезвычайно как рада, потому что, по крайней мере, ничего мне не помешает идти к обедне, а я еще в прошлое воскресенье хотела сходить, но по случаю ветра не пошла. Я нарочно пораньше разбудила Федю, оделась и отправилась в русскую церковь, желая поспеть к самому началу. Русская церковь находилась здесь на горе и от нее превосходный вид на Женевское озеро. Довольно большое расстояние. Сегодня особенно хорошо, потому что день чрезвычайно ясный, церковь эта небольшая, но довольно красивая, белая с золотой крышей. Внутри она очень маленькая, так что, мне кажется, едва ли могло там поместиться человек 200. С цветными стеклами в окнах и с живописью по стенам. Иконостас мраморный. Вообще она чрезвычайно красивая, вроде домашней церкви. Мне она очень понравилась ⟨... ⟩ Обедня мне очень понравилась, и я с удовольствием помолилась. Я была уверена, что непременно сегодня же получу от мамы письмо. После обедни я довольно скоро вышла из церкви и поспешила домой. По дороге я заходила в J* и здесь спросила, чтобы они мне показали те евангелия, про которые они публиковали, спросили за них они 30 франков, но я бы, кажется, не купила, потому что * нехороши, а это в евангелии главное.

⟨Домой? ⟩ я пришла, Федя еще был за чаем и расспрашивал меня о церкви. Потом он несколько времени работал и пошел обедать, а так как я обедаю сегодня дома, то я и сидела дома и не помню, что делала после обеда. Прочитав газеты, Федя пришел, чтобы взять меня и пойти вместе на почту, узнать, не пришло ли мне письмо. Я была уверена, что непременно или сегодня или непременно завтра получу от мамы письмо. Это так и случилось. Мама прислала письмо, но на этот раз не франковала, и мне было несколько досадно, что это случилось при Феде, он как-то особенно не любит, когда нам приходится платить за нефранкованные письма. Я распечатала тут и почитала письмо и прочитала его поскорее, чтобы знать, отчего она так долго не писала. Мама, видно, сердится и на меня и на Федю, положим, что ее неудовольствие на нас даже очень справедливо, потому что ведь мы ее заставляем платить проценты за салоп, пальто, ⟨билеты? ⟩ и прочие вещи. Положим, что ей больно, что Федя больше заботится о невестке, чем обо мне, но мне все-таки было тоже больно, что она сердится, потому что мне никак бы не хотелось, чтобы мама была моим или Фединым врагом. Все ее письмо было наполнено жалобами на то, что Федя платит за их квартиру. Правда, и мне это неприятно, потому что у нас у самих есть долги, но что же ведь делать, ведь того переменить нельзя; письмо ее для меня было больно, потому что ведь что же она мне это пишет, разве я могу что-нибудь тут сделать, как-нибудь это переменить, ведь я решительно ничего

тут не могу сделать, так зачем же мне напоминать об этом. Федя ждал все время, когда я прочитаю письмо и по дороге спросил, отчего мама не писала. Я отвечала, что будто бы она была больна, и что она пишет, что, вероятно, пришлет нам деньги. Мама писала, что будто бы Аполлон Николаевич хотел попросить для нас деньги из Литературного фонда; Федя сказал, что это пуст⟨ое⟩ и что даже ему самому не хотелось бы, чтобы это было так сделано. Потом вечером я легла спать, Федя меня разбудил эдак часов в половине 11-го. и очень недовольный тем, что я так долго сплю, просил сейчас лечь и раздеться. Я спросонья почему-то так сильно на него рассердилась, что ужасно начала бранить его, зачем он меня разбудил, зачем не дает спать и вообще у нас вышла удивительно глупая сцена; Федя уж начал ходить шибкими шагами по комнате и уж через несколько минут, вероятно, начал бы говорить о своей несчастной жизни, я тоже легла в постель и сильно с ним разбранилась, но потом расхохоталась, совершенно проснувшись, уговаривала, что ссориться чрезвычайно как глупо. Вот я и подозвала его и сказала, что у меня сердце начало сильно биться и что я тогда только успокоюсь, когда мы с ним помиримся. Он сначала было не хотел подходить, но потом мы с ним через 10 минут были большие друзья, весь его гнев прошел, он сделался по-прежнему ласковый и добрый, и мы тут рассмеялись, как мы могли сердиться друг на друга. Я его в шутку выбранила, как он мог принять так к сердцу слова сонной бабы. Так что через несколько времени, когда я заснула, то мы расстались с ним страшными друзьями, и когда Федя пришел прощаться и я ему напомнила нашу ссору, то он отвечал, что он даже и не помнит, чтобы у нас была какая-нибудь ссора. Теперь я припомню этот же день в прошлом году.

28 октября 1866. В этот день я тоже была у Феди, чтобы писать, мы в это время уже доканчивали нашу повесть и очень спешили, так что мне пришлось у него пробыть часов до 4 вечера, все диктуя. За все это время мы особенно с ним подружились, мы иногда впрочем не так много диктовали, как говорили, он мне рассказывал о своей жизни прежде, расспрашивал меня, как я живу, кто мне нравится, отчего я не иду замуж, мы много спорили, и я чрезвычайно как весело и счастливо проводила время. Он меня несколько раз называл голубчиком, милой Анной Григорьевной, а мне такие слова были донельзя приятны, и каждый раз, когда я приносила к нему несколько новых исписанных листков, он клал их в большую тетрадь на столе и спрашивал меня потом: «Как вы думаете, а мы поспеем или нет?» Я его уверяла, что вероятно поспеем, чтобы он только не горевал, что нам остается еще довольно дней и что, по моему мнению, мы наверно успеем все сделать. Как-то он мне сказал, что это будет ужасно как жаль, что после нам не придется больше нигде увидеться, потому что где же он меня увидит? Я отвечала: «Приезжайте к нам». Он отвечал, что очень рад, что я приглашаю его, и он непременно воспользуется случаем, чтобы приехать ко мне. Он сейчас спросил мой адрес и прибавил, что адрес тем более ему нужен, потому что я могу заболеть или что-нибудь со мной сделается и я не приду, а он, между тем, даже моего и адреса не знает. Я ему сказала, и он записал его в своей синей тетрадке. Сказал, что у него есть такая тетрадь для записывания адресов, но потому-то он в нее и не записывает, потому что она для того пред⟨н а⟩зн⟨а ч е н а⟩, этот адрес цел и до сих пор у него в синей книжке.

Я помню, он всегда один; когда я к нему приходила, то он иногда продолжал еще писать, но потом обыкновенно шел ко мне навстречу. Тут я стала замечать, что при моих быстрых и маленьких шажках, как он их называл, он вставал поскорей с места и встречал меня; иногда я замечала, что у него кусок ⟨яйца⟩ на лице, когда я войду. Глаз у него начинал поправляться, но все еще по-прежнему был расширен, и при моем приходе он



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
Фотография, Петербург, 1914 г.
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

постоянно начинал мазать глаз кисточкой, как будто бы без меня того сделать не мог. Меня это ужасно забавляло. Он говорил, что по окончании романа обещал устроить обед для своих приятелей и что он думает, что я, вероятно, не откажусь также присутствовать на его обеде, и спросил, обедала ли я когда-нибудь в ресторане, я отвечала, что нет, но что, вероятно, буду у него. Сама же я решилась наверно не быть, потому что ведь в самом деле это было бы очень дурно, если бы я на это согласилась ⟨...⟩

Понедельник 11 ⟨ноября⟩/30 ⟨октября⟩. Сегодня день рождения Феди, хотя он это совершенно забыл. Я встала сегодня довольно рано для того, чтобы иметь время пойти и купить ему пирог. Я заметила, что он чрезвычайно как любит сладкий пирог за чаем вечером и потом утром за кофеем. Вот мне и хотелось теперь сделать ему этот небольшой подарок. Я забыла сказать, что в субботу я ходила в магазин, чтобы отыскать ему подарок, и выбрала бронзовую папиросницу в форме кадочки, не то, чтобы уж важн⟨а я⟩, но вместе с тем довольно красив⟨о й⟩ ⟨золоченой?⟩ бронзы, я думала, что такая вещь может стоить не больше 4-х франков, но оказалось, что стоит 9, потому что он уверял, что это золочение не парижское, которое скоро сходит, а венское, которое будто бы целый век продержится. Я все-таки выторговала у него 1 франк и отдала ему 8 франков. Было у меня еще намерение купить ему кашемиру на кашне, но так как я еще тогда не знала, получим ли мы деньги от Каткова или нет, то тратить деньги мне вовсе не хотелось, а то они бы вышли, а потом я бы и не знала, какие деньги дать под видом залога белья ⟨...⟩

Было довольно еще рано, когда я пришла в булочную купить пирог, он стоил один франк, небольшой, но свежий и чрезвычайно вкусный, облитый каким-то розовым веществом, булочница мне сказала, будто бы этот пирог есть произведение Женевы, но мне что-то не верится, вероятно, такой же пирог отличный можно найти и везде. Я успела прийти домой еще до того времени, пока Федя проснулся, потом в 10 часов я его разбудила, заварила кофей, и он встал. Встал он довольно весело, и когда сел за стол, то хотя и заметил пирог, но ничего мне не сказал, а говорит, что подумал: «К чему это она так раскутилась, денег мало, а она пирог покупает». Тут я ему сказала, что разве он не знает, что он сегодня рожден, он сначала мне не поверил, а потом сказал, что ведь и в самом деле это так. Я сказала ему, что так как он мне недавно говорил, что в день рождения у него всегда был пирог с клубникой, то мне хотелось, чтобы и в этот день был у нас пирог. Он, кажется, с большим удовольствием ел его, потому что он действительно был вкусный. Стали мы рассчитывать, сколько ему теперь лет, родился он в 22-м году, следовательно, 45, а он тогда в Москве, сердя Машеньку [119], говорил, что ему всего только 43 года, та ужасно как на него сердится и бранит, зачем он себе уменьшает года. Так мы завтракали, я ему папиросницу не показала, а поставила ее на стол, чтобы он мог сам ее увидеть, потому что, что мне было лезть с таким незначительным подарком вперед. Когда он начал зажигать печку, то зачем-то подошел к своему столу и, увидев папиросницу, сказал: «Что это такое? Это что значит?» Я отвечала, что это ему подарок. Он снял, стал смотреть, сказал, что это хотя не так хорошо сделано, но что все-таки очень хорошо, и в заключение поцеловал край папиросницы. «Где же ты взяла деньги, ведь это дорого стоит?» Я отвечала, что деньги прислала мне мама, еще 3 рубля исключительно на подарок, как я у нее и просила. «Ах ты подлая, ах ты подлая,— продолжал он меня ругать,— ведь надо же было подарить». Вообще видно было, что ему было очень приятно, что я ему подарила. Мне вовсе не хотелось ничего не подарить ему, потому что он постоянно говорит, что ему в именины и рождения обыкновенно Марья Дмитриевна дарила разные вещи, ну а почему же я-то отстану от того обычая. Он несколько раз назвал меня подлой, но, разумеется, чрезвычайно ласково и добро. Вообще утро у нас прошло чрезвычайно дружно.

Деньги у нас сегодня выходили, так что непременно нужно было идти сегодня заложить кольцо. Феде ужасно как не хотелось идти к прежним ⟨...⟩, потому что они чрезвычайно ⟨дурные?⟩ люди, я ему предложила снести эти вещи к Clere, который, вероятно, больше даст, но так как у него запирают от 12 часов, то я и пошла эдак в половине 2-го. Пришла к нему, его кухарка сказала, что следует прийти через час, потому что теперь контора закрыта. Я все время ходила по улицам, дожидаясь половины 3-го, когда я могу наконец видеть его. Когда я пришла, контора была уже отперта, у него стояла какая-то женщина и упрашивала его подождать еще с месяц. Когда он кончил с нею дело, я ему подала кольца, он их свесил, и спросил, сколько мне под них нужно, я отвечала, что они были заложены на 35 и что мне хочется 35. Он отвечал, что в них золота на 32 франка, следовательно, 35 дать не может, а даст 30, я и этому была ужасно как рада, потому что тот ⟨...⟩, где был Федя, давал сначала 24, а потом 20, каждый раз сбавляя, так что, вероятно, отнеся к ним еще раз, они дали бы не 20, а пожалуй 15, да еще с глупостями. Он дал мне 30 франков и записку с сроком на месяц. Я очень радостно вышла, пошла купить чаю и себе курицу, потому что опять решила⟨сь⟩ обедать дома, это и дешевле, да и горло по крайней мере не сожжет. Но я так долго проходила, что когда пришла, Федя был уже одет и дожидался моего прихода, чтобы идти обедать. Он был очень рад, что я принесла 30 франков, и даже похвалил Clere, потом ушел обедать; перед его уходом к нам пришел небольшой трубочист * пье-

монтец, небольшой мальчик лет 11, с очень веселой и смеющейся физиономией. Мы с ним разговаривали и потом, когда Федя ушел, я его расспрашивала о его занятии ⟨... ⟩ Сажи у нас накопилось ужасно много, и теперь, по крайней мере, Федя не будет беспокоиться и говорить, что у нас может случиться пожар. Деньги он принял, кажется, радостно. Потом пресмешно взвалил себе огромный мешок с сажей на плечи и ушел от меня. Пресмешной мальчик, мне было, право, ужасно жаль его, силиш⟨к и⟩-то, вероятно, нет нисколько, а должен работать.

Вечером Федя пришел за мной после обеда, и мы отправились за письмами. Сегодня пришло письмо от Феди, но в нем ничего не было сказано о присылке Катковым денег. Дорогой мы поссорились с ним и, кажется, из-за самой глупой причины; дело в том, что Федя нынче удивительно как охает постоянно, то ему холодно, то ему кажется какой-то запах в кухне, одним словом, он ужасно как надоедает нашим старухам, жалуясь им постоянно на это. Вот и сегодня, когда мы собрались уходить, он зашел в кухню и там бранил старух за запах, ну, что бедным старухам делать, разве они в этом виноваты, а он им говорит. Я его начала торопить, чтобы он шел, вот когда мы вышли, то он и начал меня бранить, зачем я не могла подождать, что я всегда, когда захочу, то непременно, чтобы по-моему было, одним словом, у нас эта глупая история продолжалась ужасно долго. Я наконец рассердилась и сказала, что, вероятно, ему хочется, чтобы его ругали подлецом, мерзавцем, тогда он будет доволен, потому что когда его не ругают, то вот он теперь пристает и напрашивается на ругательства. Он отвечал, что его никто так не ругал, я отвечала, что ведь Марья Дмитриевна его и каторжником ругала.

«Ругала она и хуже, но ведь все знают, что она из ума выжила, как говорят в народе, что она была полоумная, а в последний год и совсем ума не было, ведь она и чертей выгоняла, так что с нее спрашивать».

Должно быть я очень зла, потому что мне было несколько приятно, что он так отозвался об этой женщине, которую он, бывало, постоянно ставил мне в пример. Но вечером потом мы кое-как помирились, да и стоило ли сердиться из-за таких пустяков.

В тот же день в прошлом году у меня, как я сказала, ночевали Андреева и Ганецкая [120] и мы, кажется, эдак часов в 12 отправились из дому, хотя я все еще не успела докончить переписывать продиктованное Федей вчера ⟨... ⟩ Потом я проводила Машу Андрееву почти до дому и отправилась к Феде, у которого диктовали в этот день в последний раз. Завтра надо было отнести написанное. Уходя от него, мне было почему-то ужасно как грустно, так же как и весь остальной день.

Вторник 12 ⟨ноября⟩/31 ⟨октября⟩. Сегодня погода превосходная, теплая, без ветра, я вздумала воспользоваться ею, чтобы несколько прогуляться. Федя, разумеется, был рад, когда я пошла погулять, он всегда стоит у окна и смотрит, как я выйду на улицу, мне это очень нравится, я люблю такое внимание с его стороны, а когда он уходит один обедать, а я остаюсь дома, то я, в свою очередь, стою у окна и смотрю, когда он пойдет, сначала по нашей улице, а потом далеко по мосту. Он хотя ничего не видит, но непременно остановится на мосту и поклонится мне, что мне очень ⟨приятно? ⟩, и я бываю ужасно рада, что все-таки он вспомнит, что оттуда можно увидеть наши окна и вспомнит обо мне ⟨... ⟩ Воротилась домой, но пришла до такой степени усталая и бледная, что даже это и Федя заметил. Устала я действительно чрезвычайно, так что, кажется, ни за что бы никуда больше не пошла. Федя пошел обедать, а я осталась дома обедать моим цыпленком и после обеда села писать письмо к Александре Павловне [121], которой я уж раз написала, но так давно и так долго собиралась послать его, что оно вышло старым и мне пришлось переписывать его, но

это у меня заняло так много времени, что я не успела отнести его до Феди, а при Феде мне не хотелось продолжать его, потому что оно было франкованное, следовательно, он был бы, может быть, недоволен, что я посылаю письмо.

Вечером мы пошли на почту, но ничего не получили. Когда мы шли назад, то Федя начал опять говорить, что вот мы ходим на почту, чтобы получить какое-нибудь важное письмо, и вдруг получаем письмо от какой-нибудь Стоюниной, черт бы ее взял. Я ему отвечала, что от нее письма быть не может, что он решительно напрасно сердится на нее, и что если он будет продолжать ее бранить, то я решительно буду думать, что это потому, что ему пришлось заплатить 90 с. Он начал ее бранить и ее мужа, назвал его подлецом, говорил, что знает его по его ⟨мнениям?⟩ о Пушкине, я же спорила и уверяла, что знаю его по его делам и знаю за отличнейшего человека [122], так что под конец Федя даже обиделся, зачем я его так хвалю, так что мы и тут поссорились, решительно это была не длинная ссора, но, к счастью, все наши ссоры здесь недолговечны, так что и эта прошла очень скоро. Вечером я была ужасно как грустна и задумчива, Федя несколько раз приходил ко мне и говорил, что, вероятно, я теперь его не люблю, потому что хандрю и что человек никогда никого не любит в такие часы. Я отвечала, что люблю его, но что ужасно тоскую. Он несколько раз подходил и утешал меня. Тут мы решили, что если еще несколько времени не придет письмо от Каткова, то написать ему еще раз письмо и попросить хотя какого-нибудь ответа. Господи, думала я, что с нами будет, ведь если Катков не пришлет, или если письмо пропало, а Федя понимает так же ⟨как я?⟩, что письма пропадают на почте, то чем мы будем жить? Федя опять потребует, чтобы я попросила маму прислать нам деньги, а ведь это просто ужасно, мне так больно ей писать, один бог только знает, как мне это тяжело.

Вечером Федя назвал меня своим *перстеньком* золотым, в котором находится *бриллиантик*, это наш Миша или Сонечка. Мы разговаривали о нем, о нашем будущем ребенке, и Федя говорил, что, вероятно, будет ужасно любить. Ночью я проснулась и увидела, что Федя лежит на полу, это он молился, я его подозвала, он сейчас подбежал и сказал, что я его ужасно испугала, а я укорила его, что он ужасно меня испугал, потому что я думала, что с ним припадок на полу. Он подошел очень ласково и сказал, что это ничего, когда я просила его простить меня, что я его ругала, вообще он был со мной чрезвычайно ласков и любезен. Живот у меня растет не по дням, а по часам. Просто ужас да и только.

31-е число прошлого года, понедельник. В этот день я пришла последний раз и принесла Феде конец повести, продиктованной вчера, так что сегодня мы уж не диктовали, а только разговаривали. Он был еще любезней и милей со мной, чем всегда; когда я вошла, я видела, что он вдруг поднялся с места и даже краска показалась на его лице. Мне это показалось, что, значит, он меня любит, что, может быть, даже очень любит меня. Говорили мы с ним сегодня очень много. Я нарочно, не знаю почему — кажется, что шла на именины,— надела свое лиловое шелковое платье, так что была очень недурна в этот день, и он нашел, что ко мне цвет платья удивительно как идет, это случилось в первый раз, что он видел меня не в черном платье.

Показал он мне сегодня письмо Корвин-Круковской, где она называла его другом своим. Потом показал мне портрет Сусловой. Она мне показалась удивительной красавицей, так что я сейчас это и выразила. Он отвечал, что она уж изменилась, потому что этому портрету лет 6, не меньше, и что его просили назад, а он не хочет с ним расстаться и отдать его. Потом он меня расспрашивал, сватаются ли ко мне женихи и кто они такие, я ему сказала, что ко мне сватается один малоросс, и вдруг он начал

с удивительным жаром мне говорить, что малороссы люди все больше дурные, что между ними очень редко когда случается хороший человек. Вообще видно было, что ему очень не хотелось, чтобы я вышла замуж. Потом я говорила про доктора, который ко мне сватается и сказала, что, может быть, за него выйду замуж, потому что он меня любит, и хотя я его не так сильно люблю, но только уважаю, но все-таки думаю, что буду за ним счастлива.

Не помню хорошенько, в который раз Федя мне сказал, что как жаль, что вот скоро у нас работа кончится и тогда он меня никогда не увидит. Я ему сказала, что если он хочет, то я буду очень рада видеть его у нас. Он тогда поблагодарил меня за приглашение и сказал, что он непременно воспользуется этим случаем и придет к нам. Вот сегодня, так как это был уже последний раз, когда я к нему прихожу работать, то он и просил меня назначить, когда к нам приходить. Я сказала ему, чтобы он приходил к нам в четверг, хотела назначить раньше, но потом так и отложила до четверга, и он сказал, что непременно придет и будет даже с нетерпением ждать того дня. Вообще в этот день мне показалось, что Федя меня очень любит, с таким он жаром говорил со мной, видно было, что ему так хотелось со мной говорить.

Я сидела у него уж часа с 2, как пришла Эмилия Федоровна, это было в первый раз, как я ее видела. Он представил меня ей и, что меня сильно поразило, она как будто с каким-то презрением и с удивительной холодностью приняла меня, так что меня это просто даже обидело. Меня еще до сих пор никто не принимал так холодно и презрительно, как будто бы она делала мне честь, что удостаивала своего знакомства; меня просто это рассердило, вероятно, она меня считала за какую-нибудь авантюристку, и мне это было ужасно обидно, так что она на меня произвела удивительно неприятное впечатление. Он начал с нею разговаривать о разных делах своих, рылся в бумагах и ничего не находил. Я забыла сказать, что сегодня ему вдруг пришло на мысль показать мне свой паспорт, чтобы я могла узнать, в каких науках он сделал самые большие успехи. Он долго еще отыскивал паспорт и ужасно удивлялся и твердил, что вот я потерял такую важную вещь, как мой паспорт, наконец, нашел, и мы вместе с ним читали его, и я могла видеть, как много наук он произошел.

Прошло эдак с полчаса, я уже собиралась идти домой, как вошел Аполлон Николаевич Майков. Он вошел в комнату, раскланялся, но, видимо, не узнал меня, вероятно, потому, что я была в светлом платье. Он несколько раз прошелся по комнате и спросил у Феди, кончен ли роман; так как тот был занят в это время разговором с Эмилией Федоровной, то я отвечала, что мы вчера окончили, и что я вот сегодня принесла окончание. Тут-то он меня припомнил и, поклонившись, извинился, что не узнал меня, сказав, что он ужасно как близорук, а следовательно, и не рассмотрел меня хорошенько. Он спросил моего мнения о романе, я сказала, что, по моему мнению, роман очень хорош⟨ий⟩. Я посидела еще несколько минут и потом поднялась, сказав Феде, что мне пора идти домой, Майков и Эмилия Федоровна остались в кабинете, а Федя пошел меня провожать. Когда я одевалась, он как-то уж очень страстно прощался со мной и завязал мой башлык. Он мне говорил: «Поедемте со мной за границу». Я отвечала, что нет, я поеду лучше в Малороссию. «Ну, так поедемте со мной в Малороссию». Я отвечала, что если поеду, то с малороссом, но, вероятно, лучше останусь в Песках. Он отвечал: «Да, действительно, Пески лучше». Тут он мне еще раз повторил, что непременно придет к нам в четверг и что ждет с нетерпением того дня. Очевидно, я ему очень тогда нравилась и он был уж очень тогда страстный. Мне показалось, что ⟨он⟩ меня очень любит. Пока мы с ним с четверть часа разговаривали в передней, пришел Миша, племянник его [123], но я его видела только мельком,

когда он прошел в комнату и только впоследствии могла разглядеть несколько лучше.

Ушла я домой, хотя счастливая, но поэтому-то ужасно грустная, до того грустная, что просто тоска берет припоминать это. Так грустно прошел весь этот конец дня, что мне почему-то даже больно было припоминать, что вот он, наконец, придет к нам. Мне казалось, что когда он будет бывать у нас, ему будет скучно, ну кто может у нас его знать *, и если у него теперь есть ко мне хоть небольшая любовь, то она исчезнет, а мне казалось, что я начинаю его любить, и потому мне было бы ужасно больно, если бы небольшая его привязанность ко мне совершенно исчезла.

Среда 13/1 ⟨ноября⟩. Сегодня день был великолепный, просто чуд⟨ный⟩ так что я решилась пройтись немного. [Сначала пошла на железную дорогу, но туда ходить ужасно ⟨с к у ч н о⟩, и вот я отправилась]. День сегодня прошел решительно не знаю как, т. е. не помню, он был что-то уж больно скучный и тяжелый, потому что деньги от Каткова не пришли, да еще и когда придут, а между тем деньги выходят, и вот завтра, кажется, больше не останется ни копейки. Вечером мы ходили на почту, но ничего по обыкновению не получили; я теперь припомнила, что сегодня был дождь и ходил на почту один Федя; мне сделалось еще грустней, когда он пришел и сказал, что ничего нет на почте, потому что я почему-то ужасно как надеялась, что сегодня получим. Ну, а если письмо пропало, если Катков даже ничего не знает о нашем желании и просьбе, ну чем мы тогда будем жить, просто одна эта мысль способна свести меня с ума, так мне больно даже и подумать, что нам опять придется просить маму и умолять ее прислать нам хотя сколько-нибудь. Весь вечер я в ужаснейшем раздумье лежала на диване, Федя несколько раз подходил ко мне и убеждал не беспокоиться, говорил, что он непременно пошлет еще письмо, и хотя тогда придется ждать еще с месяц, но он думает, все-таки, что пришлет.

1 ноября прошлого года. В этот день я уже не ходила к Феде, а вечером пошла к Ольхину, и хотя я еще не получила денег от Феди за диктовку, но я ужасно боялась, чтобы он не вздумал пойти к Феде и спросить у него деньги за работу. Мне бы было ужасно тогда совестно, во-первых, потому, что Федя мне сказал, что у него денег теперь нет, а что он скоро получит, следовательно, попросить теперь — было бы поставить его в чрезвычайно затруднительное положение, а во-вторых, он мог бы подумать, что Ольхин действовал по моей просьбе, и это значительно повредило бы мне в его мнении. Потом я выпросила сегодня у мамы 5 рублей, и на 2 рубля купила конфет для ребят Ольхина, а 3 рубля приготовила отдать ему, сказав, что вот эти деньги я получила за работу.

Когда я пришла к нему, то нашла на столе у него записку, в которой он извещал, что уехал на именины, а что очень просит кого-нибудь продиктовать вместо него до его приезда. Я сейчас взялась диктовать вместо него, а потом меня заступил какой-то из его учеников. Конфеты я положила на рояль и ужасно досадовала, что мне не пришлось отдать их в руки, потому что мне все представлялось, что девушка могла их взять себе и не отдать самому Ольхину. Но к концу урока пришел Ольхин и жена его, я ему сказала, что получила деньги и отдала 3 рубля, он сначала не хотел брать, сказал, что пусть они у меня останутся, но я настояла, потому что сказала, что так следует, так как было сказано по уставу. Он взял. Тут сам Ольхин увидал конфеты и развязал их сейчас и попотчевал ими меня. Я с ним поговорила несколько времени и ушла домой вместе с Александрой Ивановной Ивановой. Она, видимо, была недовольна тем, что я принесла

* *Может быть*: занять.

ребятишкам конфеты. Она меня спросила о Достоевском, и я с спокойствием вздумала сказать, что он у нас будет в четверг. Вдруг эта госпожа, которой, верно, во что бы то ни стало хотелось увидеть Федю, объявила мне, что она ужасно как рада бы была увидеть писателя, что она видела Писемского, что ей хочется увидеть и Достоевского, и вот так как этому представляется удобный случай, то она придет ко мне в четверг, случится у меня точно совершенно не нарочно. Мне это было уж решительно неприятно, но как было устранить эту госпожу? «Когда он у вас будет, утром или вечером», спросила она; я сказала, что решительно того не знаю, а что, может быть, он даже первый раз приедет утром с визитом. «Ну, так чтобы застать его наверно, я приду к вам утром и останусь обедать, и так до вечера, так что, придя к вам, он уже застанет меня у вас». Ну как принять эту нахальную гостью, делать было нечего, я сказала ей, что пусть она приходит. У меня решительно недоставало совести сказать ей, что мне решительно будет неприятно, когда она придет ко мне в этот день, потому что мне все-таки хотелось бы поговорить с ним, и что писатели обыкновенно не любят, когда ⟨приезжают?⟩ смотреть их. Приехала я домой ужасно раздраженная и огорченная, решительно не зная, как мне от нее избавиться. Мама была тоже очень недовольна ею, потому что ведь мама еще Федю не знала, следовательно, мне бы хотелось лучше, чтобы мама могла с ним поговорить на свободе. Вообще я легла спать в страшной досаде, придумывая, как бы мне устроить так, чтобы Александры Ивановны не было у нас в этот вечер.

Четверг 14/2 ⟨ноября⟩. Сегодня утром мне вздумалось отнести на почту письмо, когда я пошла прогуляться. Это было эдак часов в 11 утра. Я вышла рано, потому что погода была уж очень хорошая. Федя меня просил не заходить на почту, чтобы нам вместе сходить вечером узнать, не пришло ли к нам чего. Я так и обещала и решила⟨сь⟩ не заходить, потому что 2 раза спрашивать в один и тот же день ужасно как неудобно. Но когда я проходила площадь, чтобы положить письмо в ящик, наш почтмейстер, который очень хорошо нас знает, показал мне письмо, и я тотчас к нему отправилась. Он мне сказал, что письмо пришло на имя Феди и показал, что это было из «Русского вестника». Потом, чтобы не тревожить Федю приходить самого, дал мне квитанцию, чтобы он мог подписать ее дома, а я потом могла принести и получить письмо. Я тотчас отправилась, почти бегом пришла домой, так мне хотелось поскорей сообщить Феде новость, что мы, наконец, получили письмо. Федя был очень рад. Он сказал, что почему-то очень надеялся получить именно сегодня, во-первых, видел во сне, что получил от Каткова деньги, а во-вторых, уж очень горячо молился богу, и получил какую-то уверенность, что непременно получит деньги. Он тотчас подписал квитанцию и я отнесла ее и получила письмо. Федя же в это время оканчивал свое письмо к Яновскому, которого извещал о получении денег. В письме Яновскому Федя очень часто упоминал о мне и называл меня своей *доброй Аней*, единственной его радостью и утешением здесь, и говорил, что я через 3 месяца рожу. Вообще он говорил очень хорошо о мне [124]. Яновский в своем письме просил поцеловать мне руку и благодарил за память. Я очень рада, что Майков и Яновский имеют хорошее о мне мнение, а вся вина этому Майков, который постоянно так хорошо о мне говорит и Феде, и другим. Пока я ходила на почту, к нам приходили смотреть нашу соседнюю комнату ⟨...⟩, когда я воротилась домой, то Федя разговаривал с нашей старшей старухой и говорил ей, что мы бы к тому времени непременно бы наняли эту комнату, потому что в одной комнате нам решительно нельзя, а, следовательно, надо будет переехать ⟨...⟩ а то ведь без этой комнаты решительно нам и жить нельзя, потому что ведь наш маленький крикунчик Мишенька или Сонечка будет

порядочно покрикивать, следовательно, Феде работать решительно невозможно будет. Но, вероятно, мы куда-нибудь тогда уедем или же придется переехать на другую квартиру, чего бы мне вовсе не хотелось, во-первых, что наши старухи прекрасные старухи, каких мы нигде не достанем, одна из которых, хотя и глухая, но все-таки ужасно добрая; мне бывает всегда ужасно смешно, когда она называет Федю le diable méchant va* ⟨...⟩

Получили полисный билет на 345 франков на парижского банкира, но, вероятно, можно разменять и здесь, хотя, разумеется, возьмут что-нибудь за промен. Мы сейчас и отправились, зашли к нашему банкиру, у которого постоянно меняем. На этот раз вышел сам хозяин, М-r Paravin, должно быть, жид, но человек чрезвычайно утонченной вежливости, просто даже досадно его слушать, который извинялся и кланялся перед нами, как бы мы ему оказали ужасное одолжение, что пришли разменять у него билет. Взял он за размен 5 франков, так что у нас осталось 340, это довольно мало*.

Потом Федя пошел обедать в ⟨отель?⟩, после почти 2-недельного обеда дома решила⟨сь⟩ идти в ресторан. Сегодня по случаю моего прихода нам подали обед получше, но опять все жирное, так что я даже и раскаялась, что пошла обедать; после обеда купили фруктов и винных ягод ⟨...⟩ идя обедать, мы зашли к нашей ⟨деве?⟩ Odier, у которой мы берем читать книги. Я готова биться о заклад, что она уже решила, что так как мы давно не идем, то что мы уж больше не придем и что мы решительно украли ее книги. Это мнение подтверждает то обстоятельство, что она покраснела, когда мы пришли. Федя сейчас сказал ей, что мы пришли расплатиться и просил ее сосчитать, сколько мы должны. Нам представляется, что мы должны эдак франков 20, если не больше, так что мы просто удивились, когда пришлось отдать только 5 франков уплаты, а еще 5 франков положить залога за новое чтение. Мне кажется, что по расчету она взяла с нас за целую неделю лишнее, но все-таки ничего, слава богу, что нам удалось расплатиться с ней и что можно безбоязненно ходить по этой улице и брать книги, не стыдясь того, что мы так давно не платим, и вообще у меня просто от сердца отлегло, когда мы заплатили ей, как будто это был такой ужасный долг. После обеда мы ходили гулять и купили в кофейной розовый пирог к чаю и поделились опять с нашими старушками, которые, кажется, были от него в восторге ⟨... ⟩Между собой мы живем очень дружно, так что просто у меня сердце радуется и ⟨хотела бы⟩ всегда так жить ⟨...⟩

Пятница 15/3 ⟨ноября⟩. Сегодня утром я пошла, чтобы выкупить наши кольца у закладчика, залож⟨енные⟩ несколько дней назад за 30 франков. Он несколько удивился, что я беру так скоро и взял процентов 1 франк 50 с. ⟨...⟩ Пришла домой и тотчас принялась за работу, но, впрочем, мы скоро пошли. Федя пошел обедать и по дороге решил непременно зайти купить мне башмаки. Надо отдать ему справедливость, он нынче лучше как-то, больше стал заботиться о моем костюме и нуждах; прежде он как-то на это слишком равнодушно смотрел, как будто даже того и не замечал. Зашли мы сначала в один магазин, но там спросили за ⟨в ы с о к и е⟩ сапоги 27 франков, мы так и ахнули и решили, что такую громадную сумму ни за что не заплатим. Зашли в другой на нашей улице, здесь нас продержали довольно долго, потому что никак не могли подобрать на ногу, все были велики. У них страшно огромные ноги, просто почти в две мои, а у меня не слишком маленькая нога. Наконец выбрали очень хорошие, ⟨в ы с о к и е⟩, хотя не фланелевые, но они предложили положить туда теплую подошву пробковую с шерстяным верхом, говоря, что зимой вы носите такие подошвы. Заплатили мы 20 франков и, мне кажется, это, довольно дешево, принимая в соображение, что сапоги очень хорошие.

---

* Зловредный идет (*франц.*).

Федя пошел обедать, а я домой, сапоги же обещали принести сегодня вечером, потому что пришлось перешить все пуговицы, так как они ужасно быстро отваливались.

Вечер прошел у нас с Федей в разговорах о его будущей поездке в Саксон, и я сегодня намекала ему, что, может быть, можно было бы поездку и отложить, но, видимо, это уж ему не понравилось, и я уж настаивать на этом не стала, потому что он и так сегодня заметил, что вот если бы ему возможно было остаться в Саксон несколько дней, то, конечно, он стал бы выигрывать каждый день понемножку и в несколько дней у него было бы порядочное число денег. Смешно мне было его даже и слушать, потому что ведь вот в Бадене было так возможно поступить, так отчего там так проиграл, а выиграть ничего не могли. Все это пустяки, но отговаривать его не стану, потому что иначе скажет, что вот я служу ему помехой в том, что он может выиграть. Решено, что поедет послезавтра, а не завтра. Я было хотела попросить, чтобы он меня взял с собой, потому что мне ужасно бы хотелось посмотреть виды на Женевском озере, но так как это все-таки стоит не меньше 20 франков на одну меня, то я решилась отказать себе в этом удовольствии.

3 ноября 1866. Эту ночь ⟨...⟩ я ночевала у Стоюниной и вот нарочно встала пораньше, чтобы поспеть поскорее домой. Лежа в постели, я слышала как Стоюнин пил чай, как оделся и ушел на уроки, потом я вышла и одна напилась чаю, со Стоюниной я простилась и оставила ее еще нежиться в кровати, потому что ведь делать-то ей нечего, так ⟨обленилась⟩ вставать слишком рано. Был довольно холодный, но очень хороший день. Я пришла домой и тут мама мне рассказала, что хотя за мной и обещала прислать дворника, но он напился пьян и, следовательно, прислать было некого, вот по какому случаю я и осталась ночевать у Стоюниной.

Я поспешно напилась кофею и отправилась к Александре Ивановне обмануть ее, сказать ей, что будто бы Достоевский был у нас вчера вечером, следовательно, сегодня не придет, а потому ей вовсе незачем к нам и приходить. Я нарочно спешила быть у нее, потому что ужасно боялась, чтобы она не успела уж приехать к нам. Тогда выпроводить ее было бы ужасно трудно. Ее я застала еще в постели, и когда сказала, что Достоевский был у нас вчера, то она отвечала, что все-таки она сегодня не пришла бы, потому что несколько нездорова. Я видела, что она говорила неправду, а что сказала это только для приличия, чтобы показать, что будто бы она и сама не хотела к нам ехать. Я посидела у нее несколько времени, напилась кофею и, сказав, что мне надо кое-куда еще зайти, ушла. Мне надо было купить свежего масла, калачей, потом варенья, потому что, как он мне сказал, он любит пить чай с вареньем. Потом купила * яблок крымских, очень сладких, и несмотря на сделавшийся большой снег, отправилась домой пешком.

Дома я нашла маму в большой уборке, все было убрано и прибрано, потому что неприятная вообще наша квартира приняла очень хороший вид. Я разложила масло, яблоки и варенье на тарелки и стала с большим нетерпением дожидать вечера, когда он придет. Так как у нас на это время прислуги не было, то мы взяли ⟨Степана⟩ Маркелыча, который обыкновенно прислуживал у нас в подобных случаях. Потом я оделась и стала поджидать гостя. Прошло 6, 7 часов, а его все нет как нет, я переходила от одного окна к другому, смотрела в форточку, решительно никто не приезжал, так что мне под конец решительно пришло в голову, что, может быть, он или позабыл про свое обещание приехать или потерял адрес. Так прошло, кажется, до половины 8-го, я до такой степени была в волнении, так сильно устала, что прилегла на наше кресло у окна и заснула. Не успела я хорошенько вздремнуть, как мама сказала, что какая-то линейка подъ-

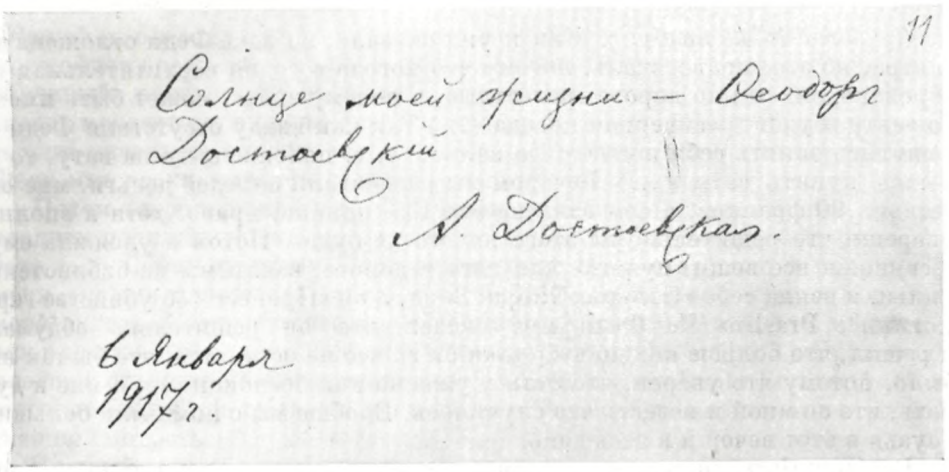
ехала к дому, и что это, вероятно, он приехал. Я сейчас вскочила с места, вытерла поскорей глаза, чтобы не казаться такой сонной, вышла в переднюю, но он все не шел, потому что прежде всего заходил спросить в лавочку, тут ли живут Сниткины. Наконец-то он приехал и, войдя в переднюю, начал снимать шинель и калоши. Первые мои слова были: «Как это вы нашли нас?»

«Вот странный вопрос,— сказал он мне,— просто я могу подумать, что вы очень недовольны, что я приехал, потому что сказали это таким тоном, как будто бы даже ожидали, что я не найду вас и не при⟨е⟩ду».

Он вошел в залу, и тут я познакомила его с мамой, он раскланялся, пожал руку и начал снимать очки. (В это время он ходил в очках, потому что глаз все не поправлялся, и ему было запрещено выходить на улицу без очков. Они к нему удивительно не шли, потому что совершенно скрывали глаза, а глаза у него хорошие, особенно хорошо выражение глаз, следовательно, скрывать их грех.) Я просила его садиться, и он начал свой рассказ о том, как он долго не мог нас найти, как он ездил решительно по всем улицам в околотке, везде спрашивал Костромскую улицу и везде ему отвечали, что такой улицы здесь нет, так что он под конец начал думать, что не вздумала ли я ему дать неточный адрес, не желая, чтобы он пришел к нам. Я ему отвечала, что, во-первых, того бы ни за что не сделала, чтобы заставить человека проискать напрасно и потерять несколько часов, а во-вторых, я ужасно рада его видеть. Мама вышла хлопотать с чаем, потому что мне хотелось, чтобы он мог поскорей согреться. Сидели мы в зале против картины, которая изображает какой-то сельский вид и на первом плане* ⟨с е л о⟩. «Откуда у вас эта картина?»,—спросил он. Я отвечала, что эта картина у нас с незапамятных времен и что я помню ее с самого моего детства. Тогда он сказал, что точно такую картину он помнит у одной ⟨г о с п о ж и⟩, у которой был в детстве вместе со своей матерью, а этому было уже лет 30. Потом, увидев рояль, он спросил: «А вы играете?» Я отвечала, что играю, но очень дурно и только для себя. «Сыграйте мне что-нибудь, хотя бы даже дурно». Мне не хотелось показаться перед ним упорной, заставлять себя упрашивать, поэтому я села за рояль и сыграла не знаю что-то такое, но на этот раз без ошибок. Он меня выслушал, сказал, что у него есть 2 племянницы, которые отлично как играют, и потом объявил мне, что играю я довольно плохо. «Право, какой он откровенный,— подумала я,— хотя бы скрыл свое мнение, ведь я могла бы даже и обидеться, когда так откровенно говорят, что я дурно играю».

Потом мама нас позвала в другую комнату пить чай. Стол был накрыт, и я села разливать чай, кажется, в первый раз. Он сначала не хотел сесть в кресло, но я усадила его, говоря, что там гораздо мягче. За чаем мы много разговаривали о разных разностях, он мне рассказал, как он привез нашу рукопись к надзирателю и сдал под расписку, потому что отдать прямо Стелловскому в руки не пришлось. Потом рассказал, где был, что делал в эту неделю. Говорил, что был недавно, кажется во вторник, у Милюкова, своего знакомого, и там был один господин, который вздумал читать свою повесть, но так монотонно и скучно читал, что решительно никто не мог вынести его чтение и что под конец Федя предложил заменить его, начал читать, но автор остался недовольным его чтением и сам принялся читать самым похоронным тоном. Потом много рассказ⟨ы в а⟩л о заграничной жизни, говорил с мамой, которой он очень понравился. Потом он сказал мне, что без меня скучал это время и говорил, что нам непременно следует работать, потому что без меня он никак не может написать своего «Преступления и наказания» 3-ю часть, так как для него переписка решительно запрещена.

Когда мама вышла из комнаты, он просил меня прийти к нему в гости, просто в гости, я отвечала, что, может быть, и приду к нему условиться о



«СОЛНЦЕ МОЕЙ ЖИЗНИ — ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. А. ДОСТОЕВСКАЯ». 6 января 1917 г.
Запись А. Г. Достоевской в альбоме С. С. Прокофьева
По просьбе композитора все записи делались только на тему о солнце
Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

работе. Я ему сказала, как я провела всю неделю. Потом он смотрел мои книги и просил меня прочитать ему стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу», желая знать, как я читаю. Я просила его избавить меня от чтения, он настаивал, но так как я ужасно дурно читаю, то я решительно отказалась и как-то сумела свести разговор на другой предмет, и чтение было оставлено до другого раза.

Когда мама вышла, я сказала ему: «А знаете, что такое я сделала, ко мне обещала прийти одна моя знакомая, а я сказала ей, что вы у нас вчера были и что сегодня не будете, только для того, чтобы она ко мне не приходила».

«Для чего вы это сделали?» — спросил он.

«Потому что я боялась, чтобы она на вас не произвела слишком хорошего впечатления, а мне этого бы вовсе не хотелось». Это ему ужасно понравилось, показало ему, что он мне нравится. Потом он мне рассказал о своей двоюродной сестре, которая сгорела [125], и еще несколько рассказал.

Просидел он у нас, кажется, часов до 9. Наконец поднялся, чтобы уходить. У него был нанят извозчик на весь вечер, потому что он боялся не найти от нас дорогу. Наконец мы распрощались, я обещала когда-нибудь прийти к нему, он дружески простился с мамой и ушел. Какова была моя досада, когда ⟨С т е п а н⟩ Маркелыч, вошедший через 10 минут, сказал мне, что у рысака, которого он нанял на вечер, украл кто-то подушку от санок в то время, когда тот на минуту отлучился от лошади, и бедный кучер не знает, что ему делать, говорит, что ему очень достанется от хозяина за такую покражу. Как мне это было досадно. «Что подумает он про нас,— говорила я,— ведь это решительно заставит его к нам не ездить в такие страшные воровские места, где нельзя оставить лошадь на минуту, чтобы чего не случилось». Вообще мне это было ужасно как неприятно и ужасно жаль бедного извозчика. Вообще же вечер произвел на меня удивительно хорошее впечатление, и вот я теперь, через год, с уд⟨и в и т е л ь н ы⟩м удовольствием вспоминаю о нем. Вообще это было очень счастливое время, как я припоминаю, и дай бог всякому быть таким счастливым, как я была в это время.

Суббота 16/4 ⟨ноября⟩. Как я уже сказала, поездка Феди отложена до завтра, но это, право, жаль, потому что погода сегодня восхитительная и, вероятно, вид⟨ы⟩ по дороге прелестные, а почему знать, может быть именно завтра будет прескверная погода ⟨...⟩ Так как ввиду отсутствия Феди я решилась занять себя шитьем его пальто, т. е. положить его на вату, то и пошла купить ваты ⟨...⟩ Вечером мы рассчитали с Федей деньги, мне он оставил 90 франков, а сам взял на все 135, однако, право, хотя я вполне уверена, что решительно из этого ничего не будет. Потом я уложила ему в саквояж все вещи, нужные для него в дороге, взяли мы из библиотеки книги, я взяла себе «Uscoque» Жорж Занд, а он «Процесс ⟨об убийстве герцогини?⟩ Praslin» [126]. Федя мне сказал, что он решительно обдумал и решил, что больше как до вторника ни за что не останется, что бы там ни было, потому что уверен, что станет ужасно как беспокоиться о мне и думать, что со мной и невесть что случилось. Вообще мы с ним были большие друзья в этот вечер и в весь день.

Вечером Федя, придя из кофейной, предложил мне идти на почту, мы отправились и получили там письмо от мамы, нефранкованное. Я ужасно на себя подосадовала, зачем я не сходила сама на почту, так как мне всегда бывает неприятно, когда я получаю письма нефранкованные, Феде это тоже было неприятно, я только раскрыла письмо, но читать было нельзя, потому что было довольно холодно. Федя предложил мне зайти купить пирог к чаю, потому что мы давно уж не покупали ⟨... ⟩ В булочной я начала читать мамино письмо. Она мне говорила, что не помнит, когда она была так сильно рада, как в тот день, когда получила мой портрет, что будто бы я не только не подурнела, но даже очень поправилась и даже похорошела, что мама была ему очень рада. Бедная милая мамочка, я верю, что она была от души рада, получив мой портрет. Господи, как бы я была счастлива, если бы могла чем-нибудь обрадовать ее побольше, например, посылкой какого-нибудь подарка, господи, и все это так недорого стоит, а между тем у нас решительно на это средств нет, вот, например, я очень хорошо знаю, что я бы теперь могла отлично послать ей что-нибудь, но так как я вполне тоже знаю, что Федя непременно проиграет, то следовательно, покупать теперь подарки невозможно, непременно нужно копить деньги, чтобы дать их в виде залога своих ⟨вещей⟩ для него. Как все это грустно, просто ужас. Бедная мамочка между прочим пишет, что ей ужасно как трудно платить проценты за серебро, за бумаги и ⟨билеты?⟩, что это возьмет 27 рублей, что ей неоткуда взять. Бедная, бедная мамочка, как мне ее жаль. Мало того, что у нее у самой дела ужасно плохи, я еще тут со своими делами, еще за меня следует приплачивать. Мама писала мне также, что мадам Фрик, которой я должна за рояль, приходила несколько раз к Маше и к Стоюниной, а так как Стоюнина знает мой адрес, то, может быть, сказала ей, и вот она может переслать мою записку для взыскания. Вот я теперь придумала, что когда Федя завтра поедет, дать ему письмо на имя Стоюниной и просить его бросить это письмо куда-нибудь по дороге на станции, а если нельзя, то в Саксон. В письме я писала, что мы уезжаем из Женевы и что решительно не знаем, где будем жить, таким образом наш адрес будет как будто бы потерян.

Воскресенье 17/5 ⟨ноября⟩. Наша старушка по нашей просьбе постучала нам в дверь в 7 часов утра, и мы тотчас встали и оделись, я тоже, потому что пойду Федю провожать. Когда он одевался, ему все как-то не удавалось, так что он ужасно как бранился и призывал чертей. Даже наша старушка, которая всегда удивительно как скоро делает нам кофей, и та сегодня, что-то замешкалась, так что утро у нас было ужасно какое бурное. Наконец, мы собрались и, кажется, в половине 9-го вышли и через 10 минут пришли на железную дорогу ⟨... ⟩ Мы скоро распрощались

с Федей, и он отправился садиться в вагон, а я вышла на двор смотреть, как пойдет поезд, так, чтобы и Федя мог меня видеть. День сегодня великолепный, просто чудо, так что я просто завидовала Феде: ему придется видеть прелестные виды во всю дорогу, право, счастливый он, а я-то решительно ничего не видела, ничего не знаю. Через 5 минут поезд пошел, и Федя мне раскланивался долго из окна вагона.

Потом я пошла домой и тотчас, чтобы не видеть, как идет время, начала гладить подкладку пальто, делать складки, чтобы мне удобно было стегать ⟨...⟩ Перед отъездом Федя зашел к старшей старушке и поручил ей меня, просил наблюдать, послать за бабкой, если я заболею, и посылать меня гулять. Старушке это чрезвычайно как понравилось, это доверие, и они приняли это близко к сердцу и просто наскучили мне ⟨...⟩ Прощаясь с младшей старушкой, Федя сказал ей: «Adieu, ma mechante Louise» *, а она отвечала: «C'est le méchant qui s'en va» **. Вообще на них было ужасно смешно смотреть.

Я целый день сидела за шитьем и простегала очень быстро одну половину пальто, дома пообедала, а потом, еще засветло, пошла на почту, чтобы отнести письмо к Феде, потому что он очень просил, чтобы я написала ему именно сегодня, чтобы он завтра уж мог его получить. Мне ужасно было сегодня досадно, что какой-то господин вздумал было меня преследовать, т. е., разумеется, ничего не говорил, но шел впереди и дошел совершенно без всякой для него надобности до почты. Меня это просто испугало, потому что вдруг бы вздумал пристать, а Феди и дома нет, некому за меня заступиться. Потом, когда вечером мне было темно шить, я сначала читала, потом что-то писала, так что время у меня прошло довольно скоро, и я этому была ужасно как рада, потому что обыкновенно без Феди бывает невыносимо скучно. Потом часов в 10 я заснула и проспала отлично всю ночь.

Понедельник 18/6 ⟨ноября⟩. Сегодня я встала довольно рано и тотчас принялась за шитье, мне хотелось, чтобы если бы Федя приехал даже и сегодня, пальто было бы готово, если не все, то хотя бы наполовину. Но когда я посмотрела на пальто, то оно оказалось до такой степени грязное, что решительно не стоило ставить его на подкладку; вычистить же не было никакой возможности. Мне пришло в голову отдать его в стирку, но, во-первых, это заняло бы время, а во-вторых, главное, надо было бы непременно заплатить франка 2, а у нас франков-то ведь ужасно мало. Вот я и решилась, несмотря на то, что мало силы, выстирать его пальто ⟨...⟩ На почте я получила письмо от Феди, он извещал, что только что приехал, сходил на рулетку, сначала все было проиграл, но потом как-то отыгрался и даже выиграл лишних 100 франков, хотел было их послать мне, да подумал, что мало, а что если у него будет хотя еще 100, то непременно пришлет мне[127]. «Ну,— подумала я,— это все пустяки, больше ничего, ничего-ты, батюшка, мне не пришлешь, это известное дело». Потом я пришла домой, пообедала, и опять принялась за шитье, так что пальто сильно подвинулось. Потом, после 5 часов, видя, что Федя не приехал, я понесла на почту мое письмо к нему на тот случай, если бы ему случилось там остаться, то чтобы он не был в беспокойстве, что такое со мной. Спросила там, нет ли письма, отвечали, что нет ⟨...⟩

6 ноября 1866. Это было воскресенье, довольно ясный день; так как в этот день именины Александры Павловны Неупокоевой, то мы обыкновенно, а особенно ⟨мама?⟩ непременно бывали у нее, даже приходили прямо к обеду и оставались до вечера. В этот день единственный раз в году я бывала у моей матери крестной, так что раз как-то Владимир Александрович

---

* Прощайте, моя злая Луиза (*франц.*).
** Злой тот, кто уезжает (*франц.*).

заметил, что тут бывает годовщина моим визитам. Скука у нее бывает обыкновенно ужасная, а потому я ходила к ней очень редко. Сегодня я тоже решилась пойти к ней, так как мы ведь ей должны, следовательно, нужно сохранить с нею хорошие отношения.

Было эдак часа 2, и я сидела в зале и играла, несмотря на страшный холод, на рояле, и вдруг мама прибежала мне сказать, что приехал Федор Михайлович. Я выбежала поскорей в переднюю и увидела, что он входит в дверь. Он несколько времени стоял у двери, не зная, как быть, потому что казачка не заметил. (Припоминаю теперь, что у меня были на ногах прескверные башмаки и я быстро побежала их переменить.) Я раскланялась с Федором Михайловичем и сначала увела его в зал⟨у⟩. Когда мы входили в нее, он мне сказал: «Знаете, что я такое сделал?»

«Что такое?»— спросила я.

«Да я вот был у вас в четверг, да и сегодня приехал».

«Ну, это решительно ничего,— отвечала я.— Я опять очень рада, что вы приехали».

«Но ведь это неловко, бывать так часто, что из того можно много вывести».

Я отвечала, что мы люди простые и это решительно ничего не может значить в глазах наших. В зале было уж слишком холодно, чтобы сидеть, мы просили его в столовую и там мы уселись, я у окна, закутавшись в башлык, а он у стола. Хотя я несколько обрадовалась его приходу, но не знаю почему, меня это очень смутило, и я решительно не знала, что такое говорить с ним, как его занять. (Вообще надо заметить, что я почти совсем не умею разговаривать днем, вечером у меня всегда является большая живость и большое желание разговаривать.) Так у нас очень не вязался разговор и, как мне казалось, я ему в этот день решительно не нравилась, и это очень возможно, потому что я была страшно неловка и страшно как-то путалась в разговорах. Между прочим, он мне сказал, что нам непременно следует опять начать писать, я отвечала, что я еще решительно не знаю, позволит ли Ольхин мне принять эту работу, так как он мне ее доставил. Тот отвечал, что ведь это скорее зависит от него, потому что если он уж привык ко мне, то зачем переменять, но что совсем другое дело, если я сама того не хочу, тогда нечего и говорить. Потом он мне сказал, что он говорил с одной дамой и спросил ее, что значит, если девушка нарочно постаралась сделать так, чтобы другая не могла прийти, дама отвечала, что это доказывает, что мне был дорог он и что вообще это очень много значит. Потом рассказал, что когда рассказал Милюкову, что был у нас, то Милюков сказал: «Ну, вот видите: значит вы должны быть мне благодарны, что вы с нею познакомились, вот вы теперь к ним и ездите». Но как я уж сказала, разговор наш очень не вязался, я ему, видимо, в этот день не нравилась. В комнате у нас было страшно холодно, и он это сильно ощущал.

Когда он меня спросил, как я думаю провести этот день, я отвечала, что должна отправиться сегодня на обед к моей родственнице, спросил, в какую сторону и когда узнал, что в Коломну, то предложил меня довезти. Сначала мне не хотелось ехать с ним, потому что, что могли сказать наши жильцы, но потом, чтобы как-нибудь переменить его о мне мнение, я согласилась, он предложил мне одеться, и я просила его выбрать, какое мне надеть платье, потом довольно быстро оделась и вышла к нему, а он все ходил по комнате и повторял: «Как у вас холодно, как у вас холодно». Наконец мы распрощались с мамой и вышли. Он и на этот раз взял извозчика, должно быть, на все время. Это ему очень дорого стоило, потому что извозчик был рысак и стоил, кажется, полтора или два рубля. Мы сели, и лошадь очень быстро помчалась. Когда мы проехали наш переулок, Феде вздумалось поддержать меня, хотя мне это было и не совсем приятно, по-

тому что он несколько раз меня сильно к себе притянул. Дорогой он меня расспрашивал, что со мной, что я такая нелюбезная и сумрачная и все прячусь в башлык. Он мне говорил, что все утро сегодня думал, ехать ли ко мне или нет, решил, что ехать ужасно рано и неловко, что решительно не поедет, вышел из дому с твердым намерением не быть у нас, но, выйдя, тотчас нанял извозчика и приехал к нам. Я отвечала, что очень хорошо это сделал. Когда мы проезжали Песками, то Федя мне говорил, что никогда еще не бывал в этих местах, и сказал, что тут где-то недалеко живет Краевский, я отвечала, что Краевский живет вот в этой улице [128].

«И все-то она знает»,— говорил он, прижимая меня к себе. Мне, наконец, сделалось несколько досадно на него, и я ему сказала, что пусть он меня не придерживает, потому что я, вероятно, не свалюсь. Это его ужасно * Мне вовсе не хотелось, чтобы у нас были с ним короткие отношения, тем более, что если бы мне потом пришлось ходить к нему писать, то всего лучше было бы сохранить прежние чрезвычайно строгие и почтительные отношения, в которые я с первого раза поставила. Слова мои его ужасно обидели, он быстро выдернул свою руку и отвернулся от меня. Я, желая переменить разговор, сказала ему, что вот дом Краевского, но он ничего не отвечал, а говорил, что желал бы, чтобы я вывалилась из саней за мое упорство. Потом он был опять ласков со мной и спросил, как меня зовут уменьшительным именем, когда я сказала, то он отвечал, что имя Анна ему не нравится, а что он когда-нибудь будет меня называть *Аня*, Анечка. Потом он меня очень просил непременно прийти к нему во вторник, сначала я не хотела, но так как мне вовсе не хотелось, чтобы он снова так неожиданно приехал, как в этот раз, и так как у него дома я чувствовала себя гораздо свободней, чем у нас, как-то легче говорилось, то я ему и обещала, он меня довез до Кокушкина моста и хотел везти дальше, но я просила меня высадить и не согласилась, чтобы он меня проводил до Александры Павловны. На мосту мы простились, он очень страстно, и просил меня дать честное слово, что я непременно при⟨е⟩ду к нему во вторник. Так мы расстались ⟨...⟩ Дома мне было очень тоскливо, мне казалось, что или я ему совершенно теперь не нравлюсь или все-таки у нас будет свадьба. Вообще на меня этот день произвел ужасно тягостное впечатление, хотя я теперь все-таки припоминаю его с нео⟨быкновенны⟩м удовольствием.

Вторник 19/7 ⟨ноября⟩. Сегодня я встала опять очень рано, чтобы докончить Федино пальто, но потом видела, что уже часов 9 и, не зная хорошенько, в котором часу приходит машина, я оставила пальто, как оно было, и отправилась на железную дорогу встретить его. Какой-то поезд только что пришел, и я, не видя в числе прибывших Федю, уже заключила, что его не будет, но мне как-то вздумалось спросить у носильщика, в котором часу приходит поезд из Сион и мне отвечал, что еще придет через час. Делать на машине было нечего, и вот я отправилась побродить, чтобы как-нибудь убить этот час ⟨...⟩ Потом, когда я шла по улице, какой-то оборванец ужасно следил за мной, я ужасно этому испугалась и поспешно побежала домой и дома прождала эдак с полчаса, пока опять пошла на железную дорогу, но Федя не приехал, и я с машины пошла на почту, вполне уверенная, что непременно получу от него письмо с просьбой о высылке денег и с извещением, что все проиграл и без денег приехать домой не может. Право, я удивительная угад⟨ы в а т е л ь н⟩ица: как я себе сказала, так и случилось. Письмо, по обыкновению, было отчаянное, говорилось, что это в последний раз, что теперь все будет лучше, что он заслужит мое уважение и пр. и пр., и в заключение просилось прислать теперь же, не теряя времени, 50 франков для выезда, причем он писал, что все-таки ему при-

* *Фраза вычеркнута.*

ехать раньше четверга нельзя [129]. Вот, подумала я, ведь я это так и знала, что это будет, как это все подло!

Поскорей пошла я домой, чтобы, если возможно, сейчас разменять золотой на банковый билет, вложить его в конверт и послать сейчас к Феде, чтобы оно могло прийти, если не сегодня, то непременно завтра утром. Пришла поскорей домой, но как назло вдруг не знаю, куда дела ключ от Федина чемодана, именно от того, где лежат деньги. Я целых 10 минут металась по комнате, как угорелая, старухи ахали и удивлялись, куда девался ключ, я, наконец, вышла из терпения и приказала привести слесаря, который в минуту открыл чемодан и взял за свой слишком небольшой труд 25 с., что очень дорого, как я нахожу. Вот еще удовольствие, если я окончательно потеряла ключ, мало того, что у нас денег нет, а теперь придется новый ключ приделать. Но по счастью, я через 2 дня ключ нашла. Сейчас снова оделась и пошла сначала в табачный магазин, где Федя покупает папиросы, купила у них пачку и просила их, не могут ли они мне дать 50-франковый билет, он поговорил и сказал, что у них есть 100-франковый, но 50 нет.

Я шла и всю дорогу ужасно бранила Федю, так мне было на него досадно за его проигрыш и за то, что мне приходится теперь отдавать последние деньги. Собственно проигрышем я не была слишком расстроена, я уж заранее приготовила себя к этому, что все будет проиграно, и потом, когда уверилась в этом, то не стала тосковать. Что мне было за мученье найти этот проклятый банковый билет! Ни у одного банкира не было его, все говорили, что это такая редкость, что все, получившие его, спешат его куда-нибудь сбыть, потому что он здесь теряет в цене; я обходила все большие магазины, и в некоторых из них для меня даже просили в разных местах отыскать билет, но повсюду неудачно, наконец-то, обходив весь город, часа через полтора, мне удалось-таки найти билет в здешнем банке de commerce, где мне разменяли в минуту. Теперь пришлось бежать домой и вложить в письмо и запечатать. Господи! Как я устала в этот день, просто ужас. Никогда не запомню такой усталости, и мне за это еще больше стало досадно на Федю. Наконец все это уладилось, я принесла на почту и мне сказали, что он получит завтра рано утром.

Пришла домой, но тоска была порядочная, все представлялось наше будущее положение. Что теперь с нами будет. Было у нас 90 франков, теперь пришлось послать 50, осталось всего 30*, а между тем, надо послать 50 франков на выкуп колец и пальто. Вот положение-то. Денег до 15-го числа будущего месяца нет, вещи все заложены, серьги и брошь пропали, потому что, если мы не вышлем к 22-му числу, то они пропадут, платье и все-все пропало. Господи, как ужасно, даже и подумать-то об этом мучительно. Ну, да что толковать, ведь этим ничему не поможешь. Легла я спать очень грустная и озабоченная всеми этими нашими обстоятельствами.

Среда 20/8 ⟨ноября⟩. Я встала довольно рано и отправилась на почту, чтобы получить от Феди письмо и, действительно, получила, он опять повторяет свою просьбу о присылке денег. На ⟨вокзал?⟩ я уж не пошла, вполне уверенная, что сегодня никоим образом приехать не может. На почте я получила письмо с утешением, с просьбой не печалиться, он говорил, что все хорошо устроится и что, следовательно, горевать особенно нечего. Право, я не особенно и горевала, я так это приняла философски хладнокровно, потому что того ожидала и заранее приучила себя к мысли, что все будет проиграно. Потом я опять принялась за шитье его пальто, хотя не очень торопилась, так как мне оставалась еще целая половина суток. Потом пообедала и читала какую-то книгу.

* *Так в тексте.*

Было около 7 часов и я только что собиралась идти на почту, думая, не пришлет ли он еще письмо, как услышала свисток, который здесь означает пожар и служит для того, чтобы собрать пожарных граждан. Я подошла к окну и несколько времени стояла, потом пошла, чтобы одеть пальто, как вдруг послышался звонок и быстрые Федины шаги в коридоре. Я бросилась к дверям и страшно обрадовалась, увидев Федю. Он меня выбранил, зачем я сейчас стояла у окна, он делал мне различные знаки, кланялся, а я ничем ему не ответила. А на самом деле я решительно никого и не видела и его не приметила. Несмотря на то, что я была очень спокойна и очень терпеливо дожидалась его приезда, я была ужасно как рада и просто от радости бегала по комнате. Федя был тоже очень рад. Он посмотрел на меня и сказал, что я вместо того, чтобы похудеть без него, ужасно как растолстела; я отвечала, что это потому, что я ем постоянно poulet *, и уж наши хозяйки придумали, что так как это постоянная моя пища, то очень может быть, что я вдруг сама обращусь в пуль.

Федя мне объяснил, что сегодня рано утром, т. е. эдак без 10 минут 11 часов, пошел на почту, чтобы отнести ко мне письмо; тут ему подали мое письмо с деньгами. Возможность уехать была получена, и хотя оставалось всего только 10 минут до отхода ** поезда, но Федя сейчас бросился в гостиницу, спросил счет и, собрав вещи, уехал. Счет оказался очень невелик, т. е. за 3 дня всего-навсего 17 франков, так что вместе с дорогой Феде стоило 25 франков и больше 22 франков он привез домой. Так как я сказала Феде, что сегодня решительно не ожидала его домой, то он начал ужасно горевать, зачем он не остался еще на день, не пошел играть на эти 20 оставшихся франков, он был уверен, что непременно выиграет на эти деньги. Но он не сделал этого, потому что думал, что я его ужасно как жду домой и потому что уж очень хотел меня видеть. Мне это было очень приятно, что он при первой же возможности поспешил домой; да ведь хорошо, что и не остался там, потому что 22 франка все-таки деньги, а если бы он остался, то они были бы непременно проиграны. Мы очень весело разговаривали. Федя рассказал мне о своем тамошнем житье, как он скучал без меня, он там не терял времени даром и записывал разные мысли из романа. Стали мы также говорить и о наших теперешних средствах. Было у нас всего-навсего 49 франков с его и с моими, а следовало непременно сейчас выслать этой дурной бабе, у которой заложено его пальто, 50 франков, а там решительно нечем жить. Федя очень надеялся попросить у Огарева 300 франков, хотя я решительно не надеялась на успешное занятие; какие у него средства, может быть, он и сам нуждается, это ведь еще неизвестно, но если он нам не даст, что тогда мы станем делать [130]? Федя вот надеется, что мама пришлет нам, но я ему сказала, что мама сама просит, чтобы мы прислали ей деньги за билеты и бумаги. Закладывать решительно нечего, билеты пропали, а также вдруг могут пропасть мои шелковые платья, одним словом, тогда решительно все, что у меня есть несколько лучшего, все пропадет. Как мне это больно, я просто и сказать не могу. Особенно мне жалко билетов, они мне так нравились, я их так любила, и вот теперь они пропали, но что делать, у людей бывают и поважней несчастья.

Вообще мы довольно весело провели этот вечер, я, право, не ожидала даже того, потому что мне все казалось, что я стану очень тосковать об этих деньгах. Федя по дороге не ел. Поэтому я предложила ему мою курицу и отдала старухам спечь 2 яблока, так что он хотя несколько покушал. Да, положение наше уж как не хорошо, но как-нибудь мы проживем. У меня слишком мало места, а событий в ⟨эти дни?⟩ было вовсе не так много,

* Цыпленка (*франц.*).
** *Может быть*: прихода.

чтобы стоило о них говорить постоянно. Скажу только, что 21-го числа я послала на Саксон деньги за пальто и кольца. 22-го числа он написал письмо к Каткову, что все еще не кончил, вечером он дал мне прочесть. Вообще письма Каткову он всегда мне читает и советуется со мной, хорошо ли письмо написано. Я сегодня дала ему 22 франка под видом заложенных вещей, эти деньги я кое-как скопила понемногу, 23-го он послал письмо к Каткову [131]; в воскресенье 24-го была страшная биза, ветер невыносимый, так что просто сбивал с ног. Я пошла на почту и получила письмо от Маши. Там же мне сказали, что на имя Достоевского пришел пакет из Саксон; это очень хорошо, потому что бедному Феде ходить не в чем. Маша писала о своем бедственном положении, говорила, между прочим, что мама поехала в Москву к брату и хочет просить его взять домой под⟨н а б л ю д е н и е⟩, вот почему я, вероятно, теперь долго от нее письма не получу. Дай-то бог, чтобы мама могла как-нибудь там устроить дел⟨о⟩, чтобы хотя 1 год могла содержать бедного Ваню, пока я приеду и буду в состоянии помогать. Бедная мама, дела у нее ужасно плохи. Право, из всего нашего семейства я, несмотря на все мои неприятности и даже неудачи, гораздо их счастливее! Маша, между прочим, написала мне реестр тех вещей, которые я должна сделать моему маленькому. *В понедельник* 25 ⟨ноября⟩ я ходила закладывать кольца и получила за них 30 франков; я спросила, не знает ли он, кто здесь дает деньги под залог вещей, он дал мне адрес Кримселя, ну а это уж очень скверно, потому что мы и так заложили мои 3 платья, следовательно, если я приду еще с закладом, то они преспокойно продадут мои вещи. Но когда я стала очень просить, то Clere сказал мне принести эти вещи к нему, обещая, может быть, и дать за них что-нибудь. Я пойду к нему послезавтра.

Вторник 26 ⟨ноября⟩. Сегодня вечером, когда я сидела и читала, а Федя писал за своим письменным столом, к нам вошла Ремонден и сказала, что ее знакомая бабка M-me Barreaud пришла к своей пациентке и, если я желаю ее видеть, то она сейчас ко мне зайдет; я сейчас же хотела переменить белье, но M-me Barreaud уже вошла и застала меня в дезабилье. Мы сидели с нею и довольно долго разговаривали. Федя тут тоже вступился и спросил ее под конец, как она думает, мальчик или девочка, она отвечала, что того решить теперь нельзя, но кого бы он хотел; тот отвечал, что он будет счастлив, кто бы у него ни родился. Когда мы спросили ее о цене, то она отвечала, что об этом после, мы с нею условились, что я ей дам знать, и что, кроме того, она и сама будет ко мне заходить. После Ремонден меня бранила, зачем я спросила ее о цене, будто бы это здесь не делается, а что, как она мне сказала, ей надо дать 50 франков и сделать какой-нибудь подарок.

Среда 27 ноября. Я ходила к Clere закладывать ему мой кружевной платок и шаль и небольшую шелковую кофту; сначала они не хотели взять, но потом, справившись о цене, решили дать 55 франков, и у меня было скоплено 50 франков, на них я выкупила свои 2 шелковые платья и была этому очень рада, по крайней мере, они не пропадут, а в случае необходимости их ведь можно и опять заложить.

Четверг 28/16. Федя видел Огарева и просил у него денег, хотел спросить 300 франков, но тот даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме; наконец, сказал, что, может быть, даст франков 60, но не раньше как послезавтра, да и то не наверно, так что, может быть, даже и не принесет ⟨...⟩

Суббота 30/18 ⟨ноября⟩. Ходила утром отнести письмо на почту и получила письмо из Москвы от Александра Павловича и Веры Михайловны. Вера Михайловна пишет, что будто бы видела, что у меня родилась дочь.

Послала к Ване мой портрет. Вечером был у нас Огарев; Феди не было дома, так он со мной сидел и много разговаривал о разных разностях. Потом пришел Федя и затопил печь. Огарев дал ему 60 франков. Мы обещали воротить через 2 недели.

Воскресенье 1 декабря/19 ⟨ноября⟩. Сегодня был страшный ветер, биза, я ходила на почту и за курицей. Вечером начали диктовать; но надо сказать, что все продиктованное на этой квартире было потом забраковано и брошено [132].

Понедельник 2 ⟨декабря⟩/20 ⟨ноября⟩. Был опять страшный дождь; вечером диктовали.

Вторник 3 ⟨декабря⟩/21 ⟨ноября⟩. Я обманула Федю насчет курицы, сказала, что курицу купила, а сама ела что-то другое; вот обман мой и открылся. Федя ужасно начал приставать, почему курицы нет, так что мы чуть было из-за того не поссорились. Вечером я ходила на почту и получила от Вани письмо ⟨...⟩

Пятница 6 ⟨декабря⟩/24 ⟨ноября⟩. Сегодня, когда Федя топил печку, то ужасно бранился, я ему об этом заметила, он рассердился, и мы с ним поссорились. Ссора была довольно значительная. Получила от мамы письмо и сегодня же отвечала.

Суббота 7 ⟨декабря⟩/25 ⟨ноября⟩. Ссора у нас все еще продолжается; я сидела целый день дома, читала какой-то роман. Хозяйки нам дают знать, что мы должны искать себе квартиру.

Воскресенье 8 ⟨декабря⟩/26⟨ноября⟩. Ссора продолжается по-прежнему, мы не говорим, не конч⟨ а е м⟩ ссоры, не знаем, чем это кончится; ссора кончилась, Федя ужасно беспокоился, что я нынче была нездорова.

Понедельник 9 ⟨декабря⟩/27 ⟨ноября⟩. Ночью был припадок в 20 минут 5-го; лицо все ужасно покраснело, звал меня Саша, но потом все вспомнил и много и разумно говорил, а потом сказал, что ничего не помнит.

Вторник 10 ⟨декабря⟩/28 ⟨ноября⟩. Он ужасно какой разбитый; денег нет; пришлось идти заложить у Crimsel недавно выкупленное у него платье за 25 франков; меня там очень хорошо приняли, дали мне 3 ⟨чепца⟩.

Среда 11 ⟨декабря⟩/*29 ⟨ноября⟩*. Получила письмо от мамы, бедная мама все горюет. Сегодня по всему городу прибиты были афиши, возвещавшие ⟨о⟩ Escalade — национальном празднестве женевцев, именно, когда Duc de Savoye* хотел овладеть Женевой, то его бароны, воспользовавшись сном женевцев, уже перелезали стену, как те проснулись и сбросили их со стены и таким образом не допустили овладеть городом; вот их самое большое национальное предание, больше у них ничего и нет, и, конечно, они этим гордятся, просто даже досадно смотреть. Одной бабе, которая вылила на голову барона помои из окна, даже сделан памятник на площади, «magnifique fontaine» **, как они его называют, где она представлена с горшком на голове [133]. Сегодня наши старушки нам уши прожужжали тем,

---

* Герцог Савойский (*франц.*).
** Великолепный фонтан (*франц.*).

что дескать, надо непременно идти смотреть Escalade, что это будто бы так хорошо, что все здешние молодые богатые люди истратили бог знает какие суммы для того, чтобы явиться на праздник в богатых будто бы костюмах. Мы действительно соблазнились, и я Федю уговорила идти смотреть. Часов в 8, когда стемнело, мы отправились гулять, и там каждую минуту попадались целые толпы разряженных мальчишек, которые в разных рожах с необыкновенной радостью бегали по улицам (у них наряжаются в этот день) и пели песни. Потом мы выбрались наконец на большую улицу, где было порядочно много народу. Тут мимо нас прошла процессия очень плохо одетых рыцарей и дам, просто хуже, чем у нас бывает в самых плохих балаганах на святой неделе. Тут было довольно тесно, и мы даже несколько боялись за меня. Тут в толпе ходили какие-то молодые люди и звенели кружками, приглашая положить туда. Но мы решили с Федей, что вместо кружки гораздо лучше пойти и купить пирог, и хотя у нас было довольно мало денег, но, однако, отправились и на возвратном пути купили клубничный пирог и наскоро спрятали* потому что иначе наши старухи ужасно на нас рассердились бы, если бы увидели, что мы едим пирог, а деньги им еще не заплатили. Чтобы понравиться старухам, мы рассказали Escalade. Мне этот вечер очень помнится, луна так хорошо сияла, вечер был довольно теплый, и, главное, мы были очень дружны с Федей. Он мне вчера сказал, что «ты и славная мать будешь», что я ему очень нравлюсь и вообще был очень ласков⟨ый⟩.

Четверг 12 ⟨декабря⟩ /30 ⟨ноября⟩. Ходили на почту, думали получить деньги, а ничего нет, это меня ужасно как огорчило. Он вечером был со мной очень ласков, называл меня милочкой и сказал, что очень меня любит и будет любить.

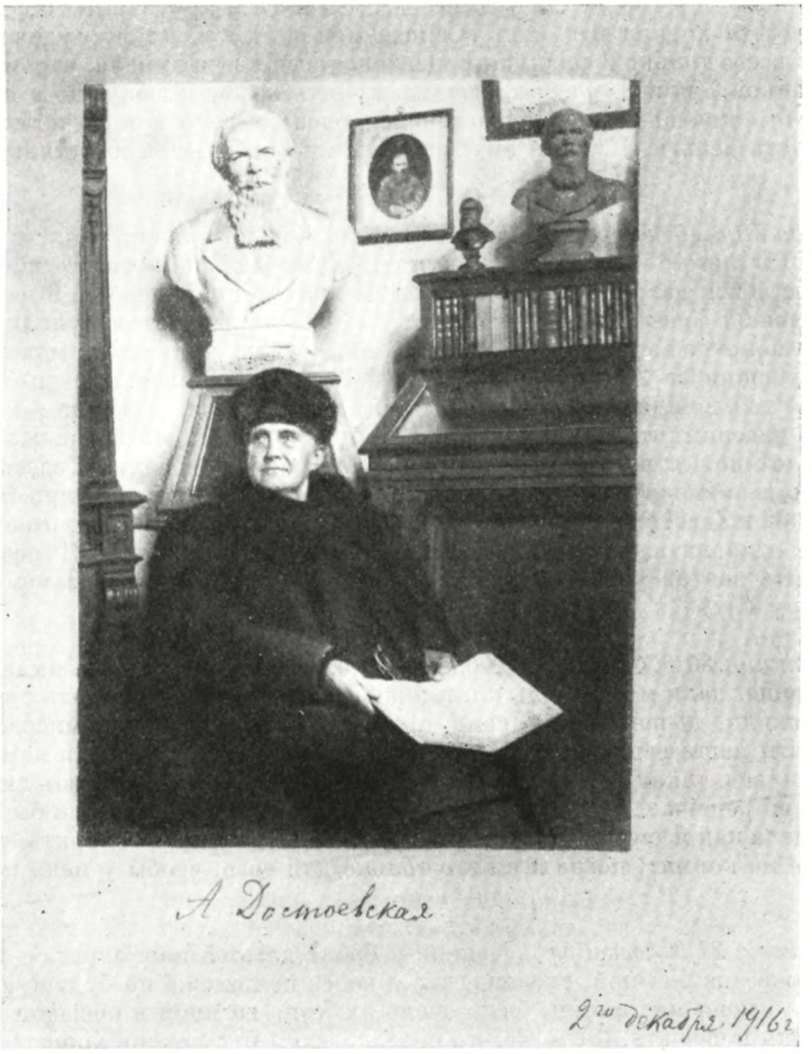
Пятница 13/1 ⟨декабря⟩ Опять ничего на почте нет ⟨...⟩

Суббота 14/2 ⟨декабря⟩ ⟨...⟩ на почте опять ничего нет. Я просто с ума схожу, не знаем, что и делать; Федя весь день ходил и думал.

Воскресенье 15/3 ⟨декабря⟩. Сегодня с Федей опять был припадок в 10 минут 8-го ⟨...⟩ Сказали нам решительно, чтобы мы искали себе квартиру. Мы уж несколько раз отправлялись искать себе квартиру, но поиски наши оканчивались обыкновенно полным неуспехом. Так, меня, как беременную, почти нигде не пускали, отказывались, говоря, что тут очень много хлопот, непременно хотели отдать нам квартиру вместе с пансионом, но мы того уж решительно не желаем. Потом, когда мы уже прожили несколько месяцев, те самые квартиры, что мы смотрели, все еще оставались пустыми, да, вероятно, пробудут пустыми еще несколько месяцев.

Понедельник 16/4 ⟨декабря⟩. Ходила закладывать 2 шелковых платья у Crimsel, получив деньги, сказала, что будто бы это прислала мне мама; ужасно не хотелось идти закладывать, да делать было нечего, а уж как не хотелось. Ходили опять отыскивать квартиру, нашли себе на улице Montblanc во 2-м этаже у M-me Josslin; квартира нам очень понравилась, состоит из 2-х комнат: маленькая спальня и большая комната, с кроватями и мягкой мебелью, и хозяйка нам показалась с первого взгляда очень милой и простой, хотя потом мы и поняли, что это была за женщина. Спросила с нас 100 франков в месяц, но потом отдала за 86, мы обещали дать ей знать в среду, возьмем ли мы или нет.

Вторник 17/5 ⟨декабря⟩. Сегодня мы уж положительно не надеялись получить деньги, так как обыкновенно получаем их по четвергам, и я



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ В МОСКОВСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ, В ОРГАНИЗОВАННОЙ ЕЮ КОМНАТЕ-МУЗЕЕ «ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО»

Фотография с подписью и датой: «А. Достоевская. 2-го декабря 1916 г.»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

отправилась в библиотеку, чтобы взять «Jil Blas»; конечно, я тихонько пошла на почту и уж, разумеется, никак не ожидала денег. Но я даже и не удивилась и не обрадовалась, когда узнала, что деньги пришли; Федя мне просто не поверил, когда я ему принесла записку для подписи; он подписался, и я отнесла на почту и получила конверт; Федя тотчас оделся, и мы пошли получать деньги; всего 680 франков, но взяли 10 франков за промен. Потом пошли покупать муфту, здесь спрашивали с нас 30 и 35, так что мы даже думали и не покупать, но потом купили маленькую серую барашковую за 25 франков и даже толковали, что, может быть, она пригодится и Сонечке или Мишеньке. Потом купили фруктов, изюму, груш и наконец, *раков*, которых баба принесла нам с рынка. Старухи, услышав, что мы собираемся есть *раки*, просто пришли в ужас. Вечером пришел Федя, принес пирог сладкий и мне $^1/_4$ фунта засахаренных фруктов, просто

у нас пошел пир горой. Старухам отдали деньги и прибавили 10 франков за службу. Я ходила выкупить у Crimsel мои платья и, к моему удивлению, он взял всего только 2 франка процентов, тогда как я думала, что он возьмет франков 7 или 8. Федя хотел мне купить кофту и юбку, но я отказалась, и было очень глупо. Вечер прошел очень весело и в расчетах, куда нам девать деньги. Купили ему кашне и мне небольшой шерстяной платок.

Среда 18/6 ⟨декабря⟩. Ходили выкупить кольца и шаль, взяли процентов 3.75 и потом отправились купить маме подарок, такую шаль, на которую я уж давно мечу; за шаль и за платье коричневое в 9 метров я заплатила 55 франков и оставила их у колбасницы. Потом купили очень тонкого полотна на детские рубашечки, на 6 рубашек и купила модель детской рубашки за 2.50 франков. Когда Федя отправился в свою очередь обедать, то я пошла взять от колбасницы мамину шаль и зашла в магазин разных изделий, чтобы купить какой-нибудь подарок для Вани. Народу у них было множество, потому что теперь наступает рождество и здесь обыкновенно делают друг другу подарки. Купила на стену календарь Ване за 6 франков и ⟨две?⟩ колоды карт за 1.80 с.; сделался дождик. Я хотела было сегодня отправить, но оказалось, что нельзя, что уж поздно. Я решилась отправить завтра утром ⟨...⟩ Сказали M-me Josslin, что возьмем у нее квартиру ⟨...⟩

Пятница 20/8 ⟨декабря⟩. Ходила утром покупать фланель на пеленки и платьице, дали мне модель платьица. Потом стали укладывать сундуки, все уложили. M-me Josslin сама пришла к нам в 2 часа с комиссионером перенести наши вещи. Я тоже ходила на новую квартиру, она нам очень понравилась, такая веселая, большая; хозяйка была с нами очень любезна, отдали ей деньги ⟨...⟩ Пошли с Федей обедать, мне не хотелось бы, чтобы она видела как я ем мою poulet, она будет, как Ремонден, говорить, что Федя меня не кормит, когда я ем это только для того, чтобы у меня не было изжоги.

Суббота 21/9 ⟨декабря⟩. Ходила к бабке дать ей наш адрес, она была очень любезна со мной, сказала, что я вовсе не похожа на будущую мать, называла меня мон анфан, была очень любезна со мной и обещала приходить меня навещать. Федя как-то сказал, что я буду очень хорошая мать, сказал: это, надеюсь, ⟨служит⟩ испытанием, в Петербурге мы, может быть, дурно бы жили, ссорились, я бы тебя ревновал, а тут я тебя всю узнал. Федя довел меня до бабки.

Воскресенье 22/10 ⟨декабря⟩. Ходила в церковь молиться, а сначала поссорилась с Федей, который меня бранил, зачем я его раньше разбудила. Потом мы помирились. Шила Сонечке платьице. Была у Ремонден, она мне так много дурного наговорила о нашей хозяйке, что просто страх берет! Наполовину, я думаю, неправда. В субботу 21/9 ⟨декабря⟩ были мои *именины*. Федя еще накануне купил большой сладкий пирог, а утром подарил мне 4 пары перчаток разных цветов, заплатил 10 франков, а между тем у нас очень мало денег. Начал диктовать новый роман, старый брошен. *От 23 до 31 числа* время прошло очень быстро; вечером диктовали, а вечером переписывала, потом много шила разных детских вещей. 31 числа пошла закладывать кольца, оказалось, что у Clere заперто, пришлось идти к Crimsel заложить платье, жена была очень любезна, но муж не очень.

1867 год кончен.

Записи после текста Дневника (обычным письмом)

12 июля 68 Vevey

Басня

Дым и Комок

На ниве мужика Комок земли лежал,
А с фабрики купца Дым к небу возлетал.
Гордяся высотой, Комку Дым похвалялся.
Смиренный же Комок сей злобе удивлялся.
— Не стыдно ли тебе,— Дым говорил Комку,—
На ниве сей служить простому мужику.
Взгляни, как к небу я зигзагом возлетаю
И волю тем себе всечасно добываю.
— Ты легкомыслен,— ответствовал Комок.—
Смиренной доли сей размыслить ты не мог.
Взлетая к небесам, ты мигом исчезаешь,
А я лежу века, о чем, конечно, знаешь.
Плоды рождать тебе для смертных не дано,
А я на ниве сей рождаю и пшено.
Насмешек я твоих отселе не боюсь.
И с чистою душой я скромностью горжусь.

Абракадабра[134]

Ключ любви
ее дочери
Она невинна
Талисман, жених

Он. Поклон тебе, Абракадабра,
Пришел я сватать Ключ любви.
В сей омут лезу слишком храбро,
Огонь кипит в моей крови.

Она. Авось приданого не спросит,
Когда огонь кипит в крови.
А то задаром черти носят
Под видом пламенной любви.

Он. Советник чином я надворный,
Лишь получил, сейчас женюсь.

Она. Люблю таких, как вы, проворных.

Он. Проворен точно, но боюсь.

Одна из дев. К чему сей страх в делах любви,
Когда огонь кипит в крови.

Он. Сей страх, о дева, не напрасен.
Дева. Твоих сомнений смысл ужасен.

Он. Вопросом дев я удостоен,
Вопрос сей слишком непристоен.

Абракадабра. Не отвечайте, коли так.
Ведь не совсем же вы дурак.

Он. Сей комплимент мне очень лестен,
Я остроумием известен.

Одна из дев. Зачем пришел к нам сей осел?
Он (с остроумием). Осел жениться б не пришел.
Но к делу: кто из них невинна
И кто из них Любови ключ,
Скажи скорее и не мучь.

Она. О, батюшка, ты глуп, как гусь.
Невинны обе, в том клянусь.
Он. Увы! Кто клятвам ныне верит?
Какая мать не лицемерит.

Одна из дев, в негодовании показывая на Абракадабру
Не лицемерит мать сия.
Он (с насмешкой). Не потому ли, что твоя?
Доколе с нами сей
Она. Клянусь еще, что ты болван.
Он. Болван, но не даюсь в обман.
Одна из дев. Довольно, прочь беги, мерзавец.
Ты скот, осел, христопродавец.
Он с глубоким остроумием.
Мог продать,
Осел не продал бы Христа.
Дева. Оставь сейчас сии места.
Он. Довольно, дева, дружба дружбой.
Идти на службу
А мне пора тащиться к службе (*Уходит.*)

* * *

Вся в слезах негодованья
Я его хватила в рожу
И со злостью
Я прибавила, о боже, похожа.
Я писал жене про мыло,
А она-то и забыла
и не купила
Какова ж моя жена,
Не разбойница ль она?
Вся в слезах негодованья *
Рдеет рожа за границей
У моей жены срамницы,
И ее характер пылкий
Отдыхает за бутылкой.
Я просил жену о мыле,
А она и позабыла,
Какова моя жена,
Не разбойница ль она?
Два года мы бедно живем,
Одна чиста у нас лишь совесть.
И от Каткова денег ждем
За неудавшуюся повесть.
Есть ли у тебя, брат, совесть?
Ты в «Зарю» затеял повесть,
Ты с Каткова деньги взял,
Сочиненье обещал [135].
Ты последний капитал
На рулетке просвистал,
и дошло, что ни алтына
Не имеешь ты, дубина! ** 〈...〉

---

* *Слева на полях:* Милан. *Справа на полях:* Женева. *Далее текст написан обычным письмом.*

** *Следуют записи каламбуров и шуток, которые мы невоспроизводим, так как они частично встречались в предшествующем тексте.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Имеется в виду эпопея Бальзака «Les parents pauvres», объединяющая два романа: «Кузина Бетта» и «Кузен Понс». «Федор Михайлович высоко ставил таланты Бальзака и Жорж Занд, и я постепенно перечитала все их романы. По поводу моего чтения у нас шли разговоры во время прогулок, и муж разъяснял мне все достоинства прочитанных произведений» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 166). Об отношении Достоевского к Бальзаку см. Л. П. Гроссман. Бальзак и Достоевский. Собр. соч., т. II, вып. 2. М., 1928. Творчеству и значению Жорж Санд Достоевский посвятил две статьи в «Дневнике писателя» («Смерть Жорж Занда» и «Несколько слов о Жорж Занде».— «Дневник писателя», 1876 г., июнь.— XI, 307 и сл.).

[2] Гарибальди первоначально ожидали в Женеве 7 сентября, потом срок приезда отодвинулся; он должен был приехать для участия в конгрессе Лиги мира и свободы,— см. ниже примеч. 29, 30. Хозяйки квартиры, где жили Достоевские осенью 1867 г.,— Луиза и Шарлотта Реймонден (Raymondain).

[3] О систематическом чтении Достоевским в Женеве русской прессы см. его письма к А. Н. Майкову 15 сентября 1867, 12 января 1868 г./31 декабря 1867 г. («Читаю газеты, каждый № до последней литеры, „Моск‹овские› вед‹омости›“ и „Голос“»), к С. А. Ивановой 1/13 января 1868 г. («Письма», II, стр. 37, 64, 72).

[4] Статья «Знакомство мое с Белинским», заказанная Достоевскому К. И. Бабиковым для литературного сборника «Чаша» (см. настоящ. том, стр. 286).

[5] Ольга Александровна *Милюкова* (1850—1910), дочь А. П. Милюкова (см. примеч. 111).

[6] Ср. в письме Достоевского к Майкову 21/9 октября 1867 г.: «Все здесь пьяно! Стольких буянов и крикливых пьяниц даже в Лондоне нет» («Письма», II, стр. 46).

[7] Первые месяцы пребывания в Женеве были тяжелы для Достоевского. «Климат в Женеве не по мне: тут беспрерывные ветры и перемены погоды. Припадки мои обнаружились с самою полною силою»,— писал он Э. Ф. Достоевской 23/11 октября 1867 г. («Письма», II, стр. 52), а в письме к Майкову двумя днями раньше добавлял к аналогичному сообщению: «...Начинается, кроме того, какое-то скверное сердцебиение» (там же, стр. 46). Мрачным прогнозом близкого безумия Достоевский решился поделиться лишь с женой. Нельзя не поставить эту запись в связь с творческой реализацией подобного прогноза в «Идиоте».

[8] Délices — предместье Женевы, где находилась старая усадьба Вольтера с парком; Chatelaine — деревушка близ Женевы.

[9] Café de la Couronne на Большой набережной (Grand Quai), где постоянно бывал и Н. П. Огарев (оно упоминается в письме Герцена к Огареву 19/7 сентября 1867 г.: Герцен, т. XXIX, кн. 1, стр. 201).

[10] В своих воспоминаниях А. Г. Достоевская так описывает распорядок дня во время жизни в Женеве: «Федор Михайлович, работая по ночам, вставал не раньше одиннадцати; позавтракав с ним, я уходила гулять, что мне было предписано доктором, а Ф. М. работал» («Воспоминания», стр. 166); к вечеру Достоевский диктовал текст Анне Григорьевне, которая расшифровывала стенограмму и переписывала текст к следующему дню.

[11] Текст прокламации, опубликованной женевским комитетом по приему Гарибальди, гласил: «Граждане, мы будем иметь честь принять в нашем городе генерала Гарибальди, этого знаменитого человека, столь много совершившего в пользу народа и посвятившего жизнь свою делу свободы ‹...› Выйдем же к нему навстречу, граждане женевские, приветствовать самого великодушного и бескорыстного из людей нашего времени...» (Цит. по корреспонденции в «Голосе» от 3/15 сентября 1867 г.). Далее извещалось о порядке встречи. Гарибальди приехал в Женеву 8 сентября (см. ниже).

[12] Прокламация женевского подготовительного комитета, изданная 7 сентября, содержала программу Конгресса мира: открытие 9 сентября в 2 часа дня, заседания в те же часы 10 и 11, 12 сентября утром заключительное заседание, в 2.30 прогулка на пароходе, в 7 часов вечера — банкет («Annales du Congrès de Genève». Genève, 1868, p. 103).

[13] Жозефина *Богарне* (1763—1814) —первая жена Наполеона I, в разводе с ним с 1809 г.

[14] Замок в окрестностях Женевы, во второй половине XIX в. принадлежавший баронессе А. Ротшильд, отмечен в путеводителях как одна из достопримечательностей этих мест.

[15] Правый берег р. Роны, где жили первые месяцы Достоевские (угол ул. Вильгельма Телля и ул. Бертелье), соединен здесь с левым берегом тремя мостами: Montblanc, Bergues, de la Machine; между первыми двумя находится островок, носящий имя Руссо, с памятником ему.

[16] При переговорах в июле 1867 г. Гюго дал согласие участвовать в Конгрессе (см. его письмо к Э. Аколла: V. Hugo. Correspondance, t. III. Paris, 1952, p. 64); на этом основании в Женеве было объявлено о его предстоящем приезде. В начале сентября он, однако, написал президенту инициативного комитета Ж. Барни о сво-

ем отказе приехать; письмо это неизвестно, но о нем упоминается в неотправленном письме Гюго к Гарибальди: «Дорогой Гарибальди, я до последней минуты надеялся, что смогу участвовать в Женевском конгрессе, Г. Б⟨арни⟩ сообщил вам, что мое здоровье вынуждает меня воздержаться от этого...» (там же, стр. 73).

[17] Президент инициативного комитета по созыву Конгресса мира Жюль *Барни* (1818—1878), французский политический деятель, с 1851 г. эмигрант, профессор Женевского университета.

[18] *Каруж* — предместье Женевы, средоточие русской революционной эмиграции в конце XIX — начале XX в.

[19] *Rue de la Corraterie* — одна из центральных торговых улиц Женевы.

[20] Гарибальди в 1867 г. было 60 лет (р. 1807 г.). Внешность его описана в корреспонденции о его встрече, напечатанной в «Journal de Genève» (цит. по газ. «La voix de l'Avenir», 1867, 15 сентября, № 37): «Гарибальди одет, как на всех своих фотографиях: красная рубашка, светлосиние панталоны, серая фетровая шляпа и на плечах американский пончо в черную полоску...». Рядом с ним в карете сидел Ж. Барни, впереди один из членов Женевского комитета Соллер. Поезд, которым Гарибальди прибыл, опоздал, потому что на всех станциях возникали приветственные митинги. По прибытии в Женеву Гарибальди произнес речь с балкона отеля (бывший дворец Фази). Д. Фази, швейцарский политический деятель, был председателем Женевского комитета по приему Гарибальди. Этим объясняются слова А. Г. Достоевской: «с балкона дома президента». Запись А. Г. Достоевской исправляет соответствующее место ее «Воспоминаний», где рассказано о совместной с мужем прогулке для участия в встрече Гарибальди. Переданное там впечатление Достоевского от внешнего облика Гарибальди почти дословно совпадает с записью собственных впечатлений Анны Григорьевны в дневнике («Воспоминания», стр. 168).

[21] Павел Матвеевич *Ольхин*, преподаватель курсов стенографии, где училась А. Г. Достоевская, автор «Руководства к русской стенографии по началам Габельсбергера». СПб., 1866.

[22] Возможно, И. А. Гончаров, с которым А. Г. Достоевская познакомилась в Бадене (см. письмо Достоевского к Майкову 28/16 августа 1867 г.: «Письма», II, стр. 27 и «Воспоминания», стр. 164). Скорее же всего Иван Александрович Мерц, архитектор, предполагавшийся жених сестры А. Г. Достоевской Марии Григорьевны (см. отрывки из воспоминаний А. Г. Достоевской в кн.: «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2. Л., 1925, стр. 288).

[23] Полугодие со дня свадьбы Достоевских, состоявшейся 15 февраля 1867 г. Мать А. Г. Достоевской — Анна Николаевна *Сниткина* (урожд. Мильтопеус, 1812—1893).

[24] Павел Александрович *Исаев* (1846—1900), пасынок Ф. М. Достоевского.

[25] Весь этот инцидент — один из многих, вызванных недовольством А. Г. Достоевской моральными и денежными обязательствами, принятыми на себя Достоевским по отношению к пасынку и к семье умершего брата, М. М. Достоевского.

Ф. М. Достоевский был неправ, утверждая в споре, что вовсе «не обещано содержать» П. А. Исаева; такие обещания ему давались не раз: см. в письме 30/18 сентября 1863 г. «Друг мой, покамест я жив и здоров, ты на меня можешь, конечно, надеяться, но потом?» («Письма», I, стр. 336); позже, в письме 3 марта/19 февраля 1868 г.: «Покамест я жив, ты будешь сын мой, и сын дорогой и милый, я твоей матери клялся не оставить тебя еще накануне ее смерти («Письма», II, стр. 83). Через несколько дней после этого письма, связанного с сообщением А. Н. Сниткиной о том, будто П. А. Исаев просил у Каткова денег, Достоевский в письме к последнему так формулирует свои обязательства по отношению к пасынку: «Обязанность эту я признаю, но только свободно в сердце потому что искренне люблю его, возростив его с детства ⟨...⟩ Обязанности же официальной, формальной тут нет ни малейшей; она давно кончилась, если и была» («Письма», IV, стр. 284).

[26] Имя Огарева упоминается здесь А. Г. Достоевской впервые. Однако из контекста ясно, что встреча эта не первая. Это подтверждается письмом Огарева к Герцену 3 сентября 1867 г.: «Сейчас был у мертвого дома, который тебе кланяется. Бедное здоровье» («Лит. наследство», т. 39-49, стр. 469). На Конгрессе Огарев был избран одним из вице-президентов от русских представителей.

[27] *Сниткины* — семья дяди А. Г. Достоевской, Николая Ивановича Сниткина.

[28] А. Г. Достоевская имеет в виду свои предстоящие в конце зимы роды.

[29] 9 сентября на первом заседании Конгресса мира Гарибальди произнес речь, содержавшую программу из 12 пунктов, главными из которых были братство народов, неприемлемость решения конфликтов военным путем, республиканское правление и демократия. Папство объявлялось павшим.

Этот последний пункт вызвал бурю возмущения как посягательство на религиозную свободу католиков, и буржуазная политическая верхушка Женевы, возглавляемая Д. Фази и А. Бесселем, выступила с протестом на Конгрессе. На публичное осуждение Гарибальди, после небывалого приема, устроенного ему городом, они отважились только после его отъезда: через два часа после этого на улицах были расклеены афиши с такими, в частности, заявлениями: «Под предлогом Конгресса мира мы услышали речи, подстрекающие к гражданской войне ⟨...⟩ мы решительно заявляем, что

намерены видеть уважение к нашим свободам и особенно нашим религиозным свобо дам...» («Annales du Congrès de Genève». Genève, 1868, p. 203—204).

Гарибальди, однако, уехал не вследствие этого конфликта: его отъезд был заранее намечен на 11 сентября (J. G u i l l a u m e. L'Internationale. Documents et souvenirs, t. 1. Paris, 1905, p. 52). Огарев писал об этом Герцену: «На конгрессовке президентом выбран был Гарибальди, два дня был, раз говорил — тоже общие места, на 3-й день уехал. Слухи ходят, будто его швейцарское правительство попросило уехать. Не знаю, кто пустил это в ход по городу, но сомневаюсь в истине, ибо накануне сам Гарибальди ‹...›говорил мне, что он просто не может дольше остаться, потому что некогда» («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 470—471). Реакция Достоевского («Видел и Гарибальди. Он мигом уехал». — «Письма», II, стр. 38) и его жены — отражение этих слухов.

[30] В заседании Конгресса 11 сентября, на котором присутствовали Достоевские, председательствовал бернский адвокат Жолиссен, избранный президентом Конгресса. В первой половине заседания выступали деятели I Интернационала У. Р. Кример и Д. Оджер; Карл Фогт прочел на французском и немецком языках «Dix articles contre la guerre» немецкой писательницы Фанни Левальд-Стар, затем два делегата-итальянца — Ченери и Гамбуччи — выступали против папства. Бурная реакция зала, прервавшая заседание, произошла как раз после речи Гамбуччи («Annales du Congrès de Genève», p. 222). О выступлении Гамбуччи см. также письма Огарева к Герцену 12 сентября 1867 г. («Лит. наследство», т. 39-40, стр. 470). Затем Ш. Л. Шассен предложил проект резолюции (J. G u i l l a u m e. Указ. соч., стр. 55). Дальнейшей дискуссии Достоевские, вероятно, уже не слышали.

Из записи о посещении Конгресса Достоевскими 11 сентября ясно, что они не слышали и не могли слышать выступления Бакунина: он выступал на Конгрессе один раз, 10 сентября.

[31] Аполлинария Прокофьевна *Суслова* (1839 или 1840—1917 или 1918), писательница. О ее отношениях с Достоевским см.: А. П. С у с л о в а. Годы близости с Достоевским. М., 1928; А. С. Д о л и н и н. Достоевский и Суслова.—«Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2.

[32] В мае 1867 г. в Дрездене, в то время, когда Достоевский уехал на рулетку в Гомбург, А. Г. Достоевская получила адресованное ему письмо Сусловой и, узнав почерк, прочла его. Это был ответ на письмо Достоевского 23 апреля/5 мая 1867 г., в котором он извещал Суслову о своей женитьбе («Письма», II, стр. 3—5). По возвращении Достоевского жена отдала ему письмо: «За чаем он спросил, не было ли ему письма, и я ему подала письмо от *нее*. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но только едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбнулся» («Дневник», стр. 48).

[33] Мария Михайловна *Андреева*, подруга А. Г. Достоевской.

[34] Мария Дмитриевна *Достоевская* (урожд. Констант, в первом браке Исаева, 1825—1864), первая жена писателя.

[35] Иван Григорьевич *Сниткин* (1849—1887), брат А. Г. Достоевской, в 1867 г.— студент Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. А. П. Суслова в 1867—1868 гг. жила, вероятно, в Москве, так как в 1868 г. сдала при Московском университете экзамен на звание учительницы. Адрес Сусловой в Москве А. Г. Достоевская узнавала через брата еще раньше, во время пребывания в Дрездене и Бадене («Дневник», стр. 267).

[36] Мария Григорьевна *Сватковская* (урожд. Сниткина, 1841—1872), сестра А. Г. Достоевской, жена цензора Петербургского цензурного комитета Павла Григорьевича Сватковского.

[37] Plainpalais—поле для военных маневров в центре Женевы на левом берегу Роны.

[38] Известна встреча Достоевского с Герценом на пароходе во время путешествия по Италии вместе с Сусловой в 1863 г. (по пути из Неаполя в Ливорно 13 октября 1863 г.). Герцен был на пароходе с дочерьми и М. Мейзенбург. Об этой встрече см.: А. П. С у с л о в а. Указ. соч., стр. 65 и настоящ. тома стр. 85. Встреча Достоевского с Огаревым на пароходе неизвестна. Очевидно, А. Г. Достоевская не совсем поняла рассказ мужа.

[39] Статья «Знакомство мое с Белинским», см. примеч. 4.

[40] Письмо А. Н. Майкова 27 августа не опубликовано (ЛБ, ф. 93, II, 6. 42, *л.* 1—2).

[41] Эмилия Федоровна *Достоевская* (урожд. Дитмар, 1822—1879), вдова М. М. Достоевского.

[42] *Саксон ле Бен* (Saxon les Bains) — курортный городок в нескольких часах езды от Женевы, где находилась рулетка.

[43] Ср. в письме Достоевского к Майкову 15 сентября 1867 г.: «...эту растреклятую статью я написал, если все считать в сложности, раз пять и потом все опять перекрещивал и из написанного опять переделывал» («Письма», II, стр. 36).

[44] Церковь Сен-Жорж на бульваре рядом с кладбищем.

[45] В Саксон ле Бен.

[46] Угроза долговой тюрьмы («долговое отделение», «дом Тарасова») висела над Достоевским еще до выезда за границу и была одной из причин его отъезда («Кредиторы ждать больше не могли, и в то время, как я выезжал, уже было подано ко взысканию»,— писал Достоевский Майкову 28/16 августа 1867 г. («Письма», II, стр. 25—26). Отмена этого института могла означать для Достоевского возможность немедленного возвращения в Россию. Так понимали эти газетные известия и друзья его. Майков писал ему 3 ноября 1867 г.: «Но вот, постойте, пишут, что скоро отменят Тарасов дом, т. е. сажание за долги — я вас тотчас уведомлю: мне все кажется, что в России, при вашем безденежье, все лучше» («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342).

[47] Корреспонденция в «Голосе» 5/17 сентября 1867 г. о крестьянине И. П. Спехине (р. 1775), жившем близ Емецка Архангельской губ. и обучавшем детей грамоте. Внимание Достоевского привлекла необыкновенная биография этого крестьянина, с 1804 г. служившего в английском флоте матросом под именем Джон Петерсон, затем ставшего солдатом британских войск в Вест-Индии, дослужившегося до унтер-офицерского чина; по выходе в отставку вернулся в 1817 г. в Россию, где был судим «за самовольную отлучку», наказан плетьми и водворен затем на родину. Желание Спехина вернуться в Россию, несмотря на угрозу наказания и на предложения продолжать службу в английских колониях, отвечало настроениям самого Достоевского и его отношению к проблеме эмиграции.

[48] В конфликтах между родственниками Достоевского и А. Н. Сниткиной А. Н. Майкову, выполнявшему ряд денежных поручений Достоевского, приходилось не раз выступать в роли арбитра, причем он принимал сторону последней («...я полагаю, что самое преданное вам лицо есть Анна Николаевна, кажется, бесподобная женщина...»—«Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342). По-видимому, речь идет о каких-то жалобах Э. Ф. Достоевской на А. Н. Сниткину.

[49] Деревушка на берегу Женевского озера по направлению к Лозанне.

[50] У Бастионов (укреплений в центре Женевы) в 1867 г. строилось здание университета.

[51] Служанка Достоевского в Петербурге.

[52] Кому принадлежит стихотворение, установить не удалось.

[53] В письме к Майкову 15 сентября 1867 г. Достоевский дал точные указания о способе доставки Бабикову статьи о Белинском: ее следовало послать для передачи ему в Москву в книжный магазин И. Г. Соловьева («бывший Базунова».— «Письма», II, стр. 37). Обстоятельства пропажи рукописи неизвестны: обычно указываемые сведения о пропаже ее «вместе с другими рукописями» несостоявшегося сборника «Чаша» восходят к примечанию А. Г. Достоевской к письму Достоевского 21 мая 1867 г., неточность которого отмечена еще А. С. Долининым («Ф. М. Достоевский. Письма к жене». М., 1926, стр. 313—314; и «Письма», II, стр. 377). Несомненно только, что статья была доставлена в магазин Соловьева («С Бабиковым — сделано, как вы писали, но об нем ни слуху ни духу. Говорят, пьет»,— писал Майков Достоевскому 3 ноября 1867 г. — «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342); несомненно также, что до конца 1867 г. статья до Бабикова не дошла и он даже не знал, что она окончена и послана ему. 31 декабря 1867 г. Бабиков обратился к Майкову с просьбой вернуть задаток, данный им за обещанное стихотворение, в связи с тем, что «издание сборника должно было остановиться». К этому письму было приложено другое, адресованное Достоевскому. Бабиков писал ему: «В письме вашем от февраля ныне проходящего года и при личном свидании в Москве вы говорили, что если я не согласен дожидаться вашей статьи, то вы готовы возвратить мне взятые вами за оную деньги. Тогда я надеялся; теперь предприятие это рушилось и, находясь сам в величайшей крайности, я питаю полную надежду, что вы исполните вами обещанное и возвратите полученные вами с меня 200 рублей серебром» (см. Л. Ланский. Утраченные письма Достоевского.—«Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 201).

[54] См. «Письма», II, стр. 38—40.

[55] Речь идет о первом посещении Достоевским дома Сниткиных 3 ноября 1866 г.

[56] Серьги и брошь, заложенные в Бадене, были свадебным подарком А. Г. Достоевской от мужа.

[57] Эта запись важна для уточнения датировки работы Достоевского над первым планом романа «Идиот». П. Н. Сакулин датировал его (по пометам писателя) промежутком времени между 14 сентября ст. ст. и 4/16 октября («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы». Под ред. П. Н. Сакулина и Н. Ф. Бельчикова. М.— Л., 1931, стр. 194—195). Первые записи к «Идиоту» действительно делались писателем в переплетенной тетради, уже служившей для заметок к «Преступлению и наказанию» (там же, стр. 7). Перед первыми записями

стоит дата 14 сентября, а затем, вписанная Достоевским позднее помета: «14 сентября. 22 октября» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 5, стр. 26). Возможно, что замеченная А. Г. Достоевской интенсивная работа писателя началась именно 19 сентября, хотя такой даты в сохранившихся материалах к «Идиоту» нет. Заслуживает внимания тот факт, что уже в этом раннем дневнике А. Г. Достоевская точно отмечает, в какой именно тетради находятся записи к новому роману.

[58] Музей, содержащий коллекцию произведений искусства, принадлежавшую генералу русской службы, женевцу по происхождению, подарен городу Женеве его сестрами (K. B a e d e k e r. La Suisse et les parties limitrophes. Leipzig, 1893, p. 229—230).

[59] Софья Александровна *Иванова* (в замужестве Хмырова, 1846—1907), племянница Достоевского.

[60] Вероятно, Николай Иванович *Соловьев* (1831—1874), врач; литературный критик, сотрудничавший в журнале «Эпоха».

[61] См. письмо Достоевского к жене 5 октября («Письма», II, стр. 41).

[62] Обстоятельства этой поездки Достоевского в Саксон ле Бен были описаны им в письме 6 октября, не полученном еще А. Г. Достоевской к моменту его возвращения («Письма», II, стр. 42).

[63] К этому времени Достоевский был уже в большом долгу у редакции «Русского вестника». В начале 1867 г. Катков, у которого Достоевский взял до этого аванс под роман «Преступление и наказание», согласился выдать ему новый аванс в тысячу рублей. Этой суммой Достоевский обеспечил на некоторое время своих родных, сам же уехал с молодой женой за границу на деньги, полученные от заклада домашних вещей и ценностей. За границей, еще до приезда в Женеву, Достоевский дважды получал деньги из «Русского вестника» («Воспоминания», стр. 136—144, 161, 164). О долге Достоевского «Русскому вестнику», накопившемся к марту 1868 г., несмотря на начавшееся уже печатание «Идиота», см. в «Заявлении» Достоевского: «Заявляю, кроме того, что я взял в редакции „Русского вестника“ от издателя этого журнала в Москве до пяти тыс. руб. в продолжение прошлого 1867 и в нынешнем 1868 году» («Письма», IV, стр. 329). Из этого долга Достоевский выплатил к моменту составления «Заявления» (первой частью «Идиота») только 1900 руб.

[64] О проигрышах Достоевского в Бадене см.: «Воспоминания», стр. 161—162, письмо Достоевского к Майкову 28/16 августа 1867 г.—«Письма», II, стр. 29—30.

[65] Степан Дмитриевич *Яновский* (1817—1897), военно-медицинский инспектор Московского военного округа, муж артистки А. И. Шуберт, приятель Достоевского.

[66] Письмо Достоевского к А. Н. Сниткиной неизвестно.

[67] Семья сестры Достоевского Веры Михайловны Ивановой. М. Д. Достоевская с осени 1863 г. жила в Москве, где и скончалась 15 апреля 1864 г.

[68] Вероятно — последний перед смертью М. Д. Достоевской отъезд Достоевского в Петербург в середине февраля 1864 г. (28 февраля он вернулся в Москву и оставался там до смерти жены).

[69] Александр Павлович *Иванов* (1813—1868), врач Константиновского межевого института в Москве, муж В. М. Ивановой.

[70] Варвара Дмитриевна *Констант*. Первый муж М. Д. Достоевской — Александр Иванович *Исаев* (ум. 1855), губернский секретарь в Семипалатинске, затем в Кузнецке.

[71] В переписке Достоевского с свояченицей В. Д. Констант упоминается Юрий Егорович — может быть, Комаров, о котором идет речь («Письма», I, стр. 339, 345).

[72] Софья Дмитриевна *Констант*, гражданская жена Федора Акимовича Яковлева, помещика Псковской губ.

[73] Письмо Каткову неизвестно.

[74] Из указанных писем известно только письмо к С. А. Ивановой («Письма», II, стр. 42—45).

[75] Письмо 20—24 сентября 1867 г. см. в кн.: «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 340; опубликована только часть письма, хранящаяся в Пушкинском Доме. Конец этого письма, хранящийся в ЛБ (ф. 93, II, 6. 42, л. 3), не был опознан при составлении «Описания рукописей Ф. М. Достоевского» (М., 1957, стр. 421) и описан там как отдельное письмо. Цитируемая А. Г. Достоевской фраза находится как раз в этой отделившейся части письма.

[76] Достоевский отмечал слабые стороны высоко ценившегося им в целом творчества Жорж Санд, в частности, в письме к Майкову 18 января 1856 г.: «Скажите, почему дама-писательница почти никогда не бывает строгим художником? Даже несомненный колоссальный художник George Sand не раз вредила себе своими дамскими свойствами» («Письма», I, стр. 167).

[77] Федор Михайлович *Достоевский* (1842—1906), племянник писателя, пианист, впоследствии владелец магазина музыкальных инструментов, директор саратовского отделения Русского музыкального общества.

[78] Отчеты о судебном процессе Умецких («Дело о дочери помещика Ольге Умецкой, обвиняемой в поджогах, и о родителях ее Владимире и Екатерине Умецких, обвиняемых в злоупотреблении родительской власти») Достоевский прочел, вернее всего, в «Голосе» 26—28 сентября 1867 г. (в «Московских ведомостях» отчет был напе-

чатан позже, 1/13 октября). О значении этого дела и образа Ольги Умецкой для творческой истории романа «Идиот» см.: «Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 204—209, 219—223. Сопоставление этой дневниковой записи А. Г. Достоевской с записными тетрадями Достоевского к «Идиоту» показывает, что первые записи, связанные с Ольгой Умецкой, возникают уже через два дня после прочтения судебного отчета.

[79] Имеется в виду М. М. *Достоевский* (1820—1864).

[80] Объем романа «Игрок», который Достоевский должен был сдать издателю Ф. Т. Стелловскому к 1 ноября 1866 г., был оговорен в условии.

[81] Иван Максимович *Алонкин* (ум. 1875), домовладелец, у которого Достоевский снимал квартиру в 1864—1867 гг. Во время пребывания Достоевских за границей квартира оставалась за ними, и ее заняла Э. Ф. Достоевская с семьей.

[82] Дополнительных сведений о сокурснице А. Г. Достоевской Александре Ивановне Ивановой найти не удалось.

[83] В «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской — 50 рублей (стр. 47).

[84] Соседка Сниткиных.

[85] Карл Андреевич *Гринберг* — учитель немецкого языка в Мариинской гимназии, которую окончила А. Г. Достоевская.

[86] На углу Столярного пер. и Малой Мещанской был также дом Д. Е. Бенардаки.

[87] К. Д. Ушинский в 1862—1867 гг. жил по преимуществу за границей, но ежегодно бывал в Петербурге, где и мог его посетить младший брат А. Г. Достоевской.

[88] Э. А. *Юнге*, врач-окулист, лечивший осенью 1866 г. глаз, поврежденный Достоевским во время припадка («Воспоминания», стр. 50).

[89] Ср. в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской: «Нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак...» (стр. 51).

[90] Девицы: Мария, Глафира, Людмила Николаевны, Саша — Александр Николаевич Сниткин, врач,— двоюродные сестры и брат А. Г. Достоевской; вторая Маша — М. М. Андреева.

[91] Алексей Павлович *Сниткин* (псевд.: Амос Шишкин, 1839—1866), поэт-юморист, писатель, сотрудничал в «Современнике», «Светоче», «Библиотеке для чтения» и др.

[92] Григорий Иванович *Сниткин* (1799—1866), чиновник.

[93] Письмо Достоевского к брату 22 декабря 1849 г. («Письма», I, стр. 128—131).

[94] Ср. в «Воспоминаниях»: «Как „воротился из Рулетенбурга"? Разве я говорил про Рулетенбург?» (стр. 32).

[95] Историю договора Достоевского со Стелловским об издании собрания его сочинений в трех томах и романа «Игрок» см. в кн.: А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, стр. 231—235. См. также рассказ А. Г. Достоевской в публикуемом дневнике, стр. 000.

[96] Ср. письмо к Майкову 28/16 августа 1867 г.: «Заметил я, что Тургенев например (равно как и все, долго не бывшие в России) решительно фактов не знают (хотя и читают газеты) и до того грубо потеряли всякое чутье России, таких обыкновенных фактов не понимают, которые даже наш русский нигилист уже не отрицает...» («Письма», II, стр. 31).

[97] Об отношении Достоевского к Некрасову см. В. Е. Евгеньев-Максимов. Некрасов и Петербург. Л., 1947; А. Н. Михайлова. Достоевский о Некрасове и Щедрине.—«Лит. наследство», т. 49-50, 1946; А. С. Долинин. Последние романы Достоевского. Л., 1963; В. А. Туниманов. Достоевский и Некрасов.— В сб. «Достоевский и его время». Л., 1971. Отзыв Достоевского о Некрасове, приведенный здесь А. Г. Достоевской и относящийся ко времени их полного разрыва, следует в первую очередь соотнести с его позднейшим и более объективным мнением, выраженным в «Дневнике писателя» 1877 г.: «...я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного по крайней мере, половина, а, может быть, и все три четверти — чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, — не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случалось — то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое?» (XII, 358).

Анализируя это «нечто», искренне стремясь снять с памяти Некрасова несправедливые обвинения, Достоевский и в конечном своем выводе сохраняет все же какую-то долю нравственного неприятия Некрасова: «Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время» (там же, стр. 363).

[98] Неточная цитата из письма А. Н. Майкова 20—24 сентября 1867 г. («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 340).

[99] Припадок в ночь с 17 на 18 октября отмечен самим Достоевским в записной тетради № 3 («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 22).

[100] Мария Николаевна *Стоюнина* (урожд. Тихменева, 1846—не ранее 1924), гимназическая подруга А. Г. Достоевской, педагог, с 1881 г. владелица частной гимназии.

[101] В письме к И. Л. Янышеву Достоевский писал об этом: «По глупости своей я переписал тогда эти векселя на себя, в надежде помочь вдове и детям покойного; из них только вдова знается со мной, а дети даже мне теперь и не кланяются...» («Письма», I, стр. 434). Дочь М. М. Достоевского — Мария Михайловна (1843—1888), пианистка; жених ее, а с июля 1867 г. муж — Михаил Иванович *Владиславлев* (1840—1890), профессор философии, впоследствии ректор Петербургского университета. Вернувшись из-за границы, Достоевский помирился с племянницей.

[102] Анна Васильевна *Корвин-Круковская* (в замужестве Жаклар, 1843—1887), писательница, впоследствии участница Парижской Коммуны. Письмо ее от начала ноября 1866 г.—см. Лит.-худ. сборник «Красной панорамы», 1929, май, стр. 40—41.

[103] Софья Александровна *Иванова* см. примеч. 59; Мария Александровна *Иванова* (1848—1929), пианистка, Юлия Александровна *Иванова* (1852—1924), племянницы Достоевского; Елена Павловна *Иванова*, жена Константина Павловича Иванова (брата А. П. Иванова).

[104] «Крокодил. Необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже»; напечатан (неполностью, вследствие закрытия журнала) в «Эпохе», 1865, № 2. Рассказ был воспринят либеральной и демократической прессой («Голос», 1865, 3 апреля; «Искра», 1866, № 13) как личный выпад против Чернышевского, находившегося уже в ссылке. Опровержение Достоевским этого обвинения см. «Дневник писателя», январь 1873 г. («Нечто личное»).

Изданная теперь записная тетрадь Достоевского за 1864—1865 гг. с материалами к этому рассказу документально опровергает эти несправедливые слухи о пародийном изображении личной судьбы Чернышевского (см. Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского.— «Лит. наследство», т. 83, 1971, стр. 45). Достоевский писал, в частности, в статье «Нечто личное»: «Между тем эта низость, мне приписываемая, так и осталась в воспоминаниях иных особ несомненным фактом, имела ход в литературных кружках, проникла и в публику...» (XI, 23). Отмечая в своих мемуарных записях беседу в доме Сниткиных о повести «Крокодил», А. Г. Достоевская явно не оценила значения этого слуха; по-видимому, она ни тогда, ни после замужества не рассказала об этом Достоевскому,— иначе в дневнике, несомненно, последовала бы возмущенная оценка им этих слухов.

[105] Жена А. Н. Майкова.

[106] Письмо 22/10 октября 1867 г.— См. «Письма», II, стр. 48—51.

[107] О романе «Преступление и наказание», напечатанном в 1866 г. в «Русском вестнике», а в 1867 г. вышедшем отдельным изданием. Судя по дальнейшему тексту, Достоевский дал Огареву прочесть первую часть романа, т. е. часть журнального текста.

[108] О посылке ему денег из редакции «Русского вестника» для раздачи П. А. Исаеву, Э. Ф. Достоевской и А. Н. Сниткиной (см. письмо Майкова 3 ноября 1867 г.— «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 342).

[109] Вероятно, сборник стихотворений Огарева, изданный в Лондоне в 1858 г.

[110] Мария Васильевна *Никифорова*, подруга А. Г. Достоевской, впоследствии ее помощница по издательским делам.

[111] Николай Михайлович *Достоевский* (1831—1883), инженер; Александра Михайловна (в замуж. Голеновская, 1835—1889), брат и сестра писателя; А. П. Иванов; Александр Петрович *Кашин* (1813—1869), врач, знакомый Достоевского, его жена Ольга Алексеевна; Ольга Александровна и Людмила Александровна (ум. 1901) *Милюковы* — дочери А. П. Милюкова (1817—1897), педагога, писателя, мемуариста, приятеля Достоевского.

[112] Иван Григорьевич *Долгомостьев* (ум. 1867), сотрудник журналов «Время» и «Эпоха».

[113] Едва приехав за границу, Достоевский, по словам его жены, «решился перечитать все запрещенные издания, чтобы знать, что пишут за границей о России. Это необходимо для его будущих произведений» («Дневник», стр. 91). Особое место в чтении Достоевского заняли «Былое и думы» Герцена, которые он начал читать весной 1867 г. (там же, стр. 17). Здесь, вероятно, идет речь о 3-й и 4-й частях «Былого и дум».

[114] Петр Александрович Спиридов, политический эмигрант с 1866 г., упоминается в переписке Герцена и Огарева этого времени, см. «Лит. наследство», т. 39-40, стр. 478.

[115] «Деньги отдадите по возвращении: дай бог, чтобы они вас хоть немного успокоили — посылаю 100 руб.»,— писал С. Д. Яновский («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 371).

[116] Ср. в письме Достоевского к Майкову 21/9 октября 1867 г.: «И какие здесь самодовольные хвастунишки! Ведь это черта особенной глупости быть так всем довольным» («Письма, II, стр. 46).

[117] Это письмо С. А. Ивановой не сохранилось. Переписка Достоевского с ее семьей не дает данных об этом эпизоде.

[118] Во второй половине октября в записных тетрадях Достоевского сменяются один за другим три плана романа, впоследствии полностью отвергнутые («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 219—223).

[119] Достоевский родился в 1821 г. Машенька — вероятно, приятельница племянниц Достоевского Мария Сергеевна Иванчина-Писарева (в замужестве Бердникова). Об отношениях Достоевского с ней см. воспоминания М. А. Ивановой.—«Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1964, стр. 370.

[120] Мария Ганецкая, знакомая А. Г. Достоевской.

[121] Александра Павловна Неупокоева, крестная мать А. Г. Достоевской.

[122] Владимир Яковлевич *Стоюнин* (1826—1888), педагог, писатель, в 1858—1859 гг. редактор газеты «Русский мир», муж М. Н. Стоюниной. Из его трудов, которые мог иметь в виду Достоевский, осуждая «мнения» Стоюнина о Пушкине, можно назвать лишь книгу «О преподавании русской литературы». СПб., 1864, и отдельные заметки литературного характера в газете «Русский мир». Известная популярная биография Пушкина, принадлежащая Стоюнину, была написана много позже. Его жена пишет в своих воспоминаниях: «Федор Михайлович сразу не взлюбил Стоюнина за его тяготение к Западу и не скрывал этого» («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 578).

[123] Михаил Михайлович *Достоевский* (1847—1896), племянник писателя, с 1869 г. служил в банке.

[124] Это письмо к С. Д. Яновскому неизвестно.

[125] Речь шла не о двоюродной сестре, а о тетке Достоевского Екатерине Федоровне Ставровской, умершей в 1855 г. от ожогов (в церкви на ней загорелось платье),— см. М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского. М., 1933, стр. 82. Младшая сестра матери Достоевского, она была моложе племянника на два года.

[126] Протоколы нашумевшего судебного процесса об убийстве пэром Франции Теобальдом Праленом, герцогом Шуазёль (Charles Laure Hugues Théobald Praslin, duc de Choiseul) своей жены были изданы в 1847 г. отдельной книгой (Cour des Pairs. Assassinat de M-me la duchesse de Praslin. Procédure. Procès-verbaux... Paris, 1847).

[127] См. «Письма», II, стр. 54—55.

[128] А. А. *Краевский* (1810—1889), издатель «Отечественных записок» и «Голоса».

[129] См. «Письма», II, стр. 55—57.

[130] Сам Огарев в это время очень нуждался. «Зачем ты оставляешь Огарева совершенно без средств? Я пишу с его ведома и прошу тебя — как бы ни было трудно — выслать сейчас вексель в Ниццу. Я делаю все, что могу — но есть граница»,— писал Герцен Сатину 9 октября/27 сентября 1867 г. (Герцен, т. XXIX, кн. 1, стр. 210), а 28/16 октября сообщал Огареву: «От Сатина ничего. Я могу 1 числа прислать 400 fr.» (там же, стр. 220).

К письму Достоевского, где речь идет о возможном займе у Огарева, А. Г. Достоевская сделала впоследствии примечание: «Заем 300 фр. не состоялся, так как были получены небольшие деньги из Петербурга от моей матери» (Ф. М. Достоевский. Письма к жене, стр. 314). Здесь все неверно: как видно из дальнейшего текста Дневника, заем у Огарева состоялся — правда, не 300, а всего 60 франков; деньги же из России были присланы только 17/5 декабря, но не А. Н. Сниткиной, а редакцией «Русского вестника» (письмо 28.XI 1867 г.— ЛБ, ф. 93, II, 8.20).

[131] Это письмо неизвестно.

[132] К началу декабря 1867 г. была написана первая часть романа «Идиот» по первоначальному плану. Достоевский писал А. Н. Майкову о том, что «4 декабря ‹...› бросил все к черту», и в середине декабря роман был начат заново («Из архива Ф. М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы», стр. 203).

[133] 12 декабря в Женеве отмечался национальный праздник — годовщина неудачной попытки герцога Савойского Карла-Эммануила овладеть Женевой приступом (Escalade) в ночь с 11 на 12 декабря 1602 г.

[134] Стихи, судя по пометам, сочинены не раньше сентября — октября 1868 г. (Милан).

[135] Стихи сочинены не ранее февраля — марта 1869 г., когда Достоевский предложил журналу «Заря» повесть, рассчитывая одновременно предложить «Русскому вестнику» (долг которому оставался и после окончания печатания «Идиота» в 1868 г.) новый роман («Атеизм») для публикации в 1870 г. (см. письма к Страхову, С. А. Ивановой и Майкову — «Письма», II, стр. 171—177, 182—183, 194). Оба замысла не были осуществлены, «Заре» в конце концов был послан рассказ «Вечный муж». «Неудавшаяся повесть» — «Идиот».

Л. Ф. ДОСТОЕВСКАЯ ОБ ОТЦЕ
(Впервые переведенные главы воспоминаний)

Публикация С. В. Белова

Перевод с немецкого Е. С. Кибардиной

17/29 сентября 1869 г. Достоевский писал из Дрездена в Петербург своему старому другу А. Н. Майкову: «...три дня тому (14 сентября) родилась у мень дочь, *Любовь*. Все обошлось превосходно и ребенок большой, здоровый и красавица. Мы с Аней счастливы» («Письма», II, стр. 211). Анна Григорьевна Достоевская в «Воспоминаниях» писала: «С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Н. Н. Страхову: „Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом $^3/_4$ счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть“» (стр. 188).

Достоевский очень любил свою вторую дочь и проявлял к ней большую нежность. 14/26 декабря 1869 г. он писал о ней С. А. Ивановой: «Не могу вам выразить, как я ее люблю ⟨...⟩ Девочка здоровая, веселая, развитая не по летам (т. е. не по месяцам), все поет со мной, когда я ей запою, и все смеется; довольно тихий некапризный ребенок. На меня похожа до смешного, до малейших черт» («Письма», II, стр. 239).

Сохранилось 11 записок десятилетней Любы к отцу и две записки Достоевского к дочери: «Милая Лиля, папа тебя очень любит и пишет тебе из Москвы. Веселись и играй, об тебе думаю и тебя целую. Твой папа» (письмо 26 апреля 1874 г.—«Письма», III, стр. 96). Во втором письме 7/19 августа 1879 г. Достоевский пишет ей из Эмса в Старую Руссу: «Милый ангел мой Лиличка, целую тебя и благословляю и очень люблю. Благодарю за то, что ты пишешь мне письма. Прочту и поцелую их и о тебе подумаю каждый раз, как получу. Здесь мне скучно без вас, и никого у меня знакомых, так что все молчу и боюсь, что разучусь говорить. Недели через три к вам приеду. Милая Лиля, слушайся маму и с Федей ⟨сын Достоевского.—*С. Б.*⟩ не ссорься. Да и не забывайте оба учиться. Молюсь об вас всех богу и прошу вам здоровья. Передай от меня поклон батюшке ⟨хозяин старорусской дачи, священник И. Румянцев.— *С. Б.*⟩, да поцелуй за меня Федю. Пожалуйста, слушайтесь все маму и не огорчайте ее. До свиданья, милая Лиличка, очень люблю тебя. Поцелуй маму. Твой папа Ф. Достоевский» («Письма», IV, стр. 90).

Б. М. Маркевич, присутствовавший при кончине Достоевского, вспоминает, что за несколько часов до смерти Достоевский, «позвав детей — мальчика и девочку, старшая девочка, которой 11 лет, говорил с ними о том, как они должны жить после него, как должны любить мать, любить честность и труд, любить бедных и помогать им ⟨...⟩ Двое детей их, сын и дочь, тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: „Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы если у него были грехи, бог ему простил!“—проговорила она с каким-то поразительным, недетским выражением и залилась истерическими слезами. Я ее, всю дрожавшую ознобом, увел из кабинета, но она вырвалась из моих рук и убежала опять к умирающему» («Московские ведомости», 1881, № 32, 1 февраля). И долго еще одиннадцатилетняя девочка вспоминала любимого отца: «Мне грезилось, что мой отец не умер, что он похоронен живым в летаргическом сне, что он скоро проснется в своем гробу, позовет на помощь кладбищенских сторожей и вернется домой. Я представляла себе нашу радость, наш смех, поцелуи, которыми мы обменяемся, и милые слова, которые скажем друг другу. Недаром я была дочерью писателя: потреб-

ность выдумывать сцены, жесты и слова жила во мне, и это детское творчество причиняло мне много счастья. Но чем больше уходили дни, недели, тем больше в моем детском мозгу просыпалось благоразумие и разбивало мои иллюзии; оно говорило мне, что люди не могут жить долго под землей без воздуха и пищи, что летаргический сон моего отца продолжается дольше этого срока и что, может быть, действительно он умер. Тогда я стала ужасно страдать» («Достоевский в изображении его дочери». М.— Пг., 1922, стр. 105).

Ранняя потеря отца, грандиозные похороны Достоевского, вероятно, подействовали на характер впечатлительной Любови Федоровны. Однако в гораздо большей степени на его склад оказывало влияние ее слабое здоровье. Любовь Федоровна росла очень болезненным ребенком. Это в какой-то мере предчувствовал сам Достоевский, когда сообщал А. Н. Майкову через год после рождения дочери: «Девочка моя здорова 〈...〉, но очень нервный ребенок, так что боюсь, хотя здорова» («Письма», II, стр. 293). Опасения Достоевского оправдались: значительная часть жизни Любови Федоровны, начиная с раннего возраста, когда Достоевский возил ее лечиться в Старую Руссу, прошла в различных, в основном, заграничных санаториях и на курортах, где она лечилась от многочисленных недугов. Письма ее полны жалоб на здоровье. «Моя спина в эту зиму гораздо лучше,— пишет она матери в 1917 г.,—но мускулы возле конца позвоночного столба все еще болят. Если нельзя будет ехать в Италию, то придется лечиться в Baden возле Цюриха». «Пишу тебе из Додена, маленького городка возле Цюриха, где я лечусь серными ваннами 〈...〉 Здешний доктор уверяет меня, что мои мигрени происходят оттого, что шея и затылок поражены артритизмом, заставляет меня сидеть в ванне по губы и говорит, что впоследствии, когда я окрепну, необходимо будет лечить затылок световыми лучами. Сердце мое так слабо, что после каждой ванны я отдыхаю день, а иногда и два» (М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского. М., 1933, стр. 131).

Вечные болезни, неудачи в личной жизни (Любовь Федоровна до конца своих дней осталась одинокой) сделали ее неуживчивой, недоброжелательной. Не выдержала Любовь Федоровна и бремени славы как дочь Достоевского. В то время как ее мать продолжала трудиться (выпускала собрания сочинений писателя, организовывала музейные выставки, издавала библиографический указатель произведений Достоевского и литературы о нем), Любовь Федоровна все больше тянулась к великосветским салонам и почти не интересовалась тем, что делает Анна Григорьевна. Вот что вспоминает близко знавшая семью Достоевских М. Н. Стоюнина, жена известного педагога В. Я. Стоюнина: «После смерти Федора Михайловича картина жизни в семье Достоевских меняется. В отношениях дочери, Любови, с матерью постепенно происходит охлаждение, возникают крупные несогласия в убеждениях, склонностях и вкусах, что и приводит потом к разрыву 〈...〉 Разлад между ними дошел до того, что Анна Григорьевна, видя однажды, как выносят из церкви девичий гроб, воскликнула: „Зачем не мою дочь это хоронят!“ Любовь Федоровна льнет к аристократическому кругу; у нее развилось страстное честолюбие, жажда жить открыто, устраивать светские приемы; скромная квартира на Ямской стесняет ее, снимается, по ее настоянию, новая: на углу Знаменской и Невского. Перемена в условиях жизни совершилась: обстановка роскошная, появилась голубая шелковая гостиная, жардиньерки, поэтические уголки, ценные вазы, шали, саксонские лампы, фарфоровые статуэтки 〈...〉 Связь с дочерью вскоре окончательно порывается, и они разошлись. Дочь поселяется на Фурштадтской, мать — на Спасской. В салоне дочери гости стали поважнее, дочь царит остроумием, пишет легкие пьески для театра, однако скучает от шумной пустоты света. Мать украдкой следит за дочерью и трагически переживает неудачную ее судьбу» («Ф. М. Достоевский». Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Пб., 1925, стр. 581).

Болезненный характер Л. Ф. Достоевской сказался и на ее литературном творчестве, когда она стала автором романов: «Эмигрантка» (СПб., 1912), «Адвокатка» (СПб., 1913). В центре этих произведений — вопросы наследственности, угроза вырождения. Романистка высказывает мысль о том, что больные люди, в интересах человечества, должны быть изолированы от здоровой части общества, не должны производить потомства. В предисловии к сборнику рассказов с характерным

заглавием «Больные девушки» (СПб., 1911) Л. Достоевская пишет: «В наше время, вследствие ненормального положения женщин в обществе, число больных девушек увеличивается с каждым годом. К сожалению, люди мало обращают на них внимания. Между тем большинство таких девушек выходит замуж и заражают своею нервностью и ненормальностью последующие поколения». Литературные достоинства ее произведений очень невысоки, и они интересны лишь тем, что их написала дочь Достоевского.

В 1913 г. Любовь Федоровна, как обычно, выехала для лечения за границу, однако больше уже в Россию не вернулась. За границей жила литературным трудом и издала на немецком языке книгу об отце под названием «Dostojewski, geschildert von seiner Tochter» (München, 1920). В русском переводе под редакцией А. Г. Горнфельда эта книга вышла в сильно сокращенном (больше чем наполовину) виде под названием «Достоевский в изображении его дочери» (М.—Пг., ГИЗ, 1922).

Публикуемая ниже глава «Первые шаги» также была наполовину сокращена в русском издании, а глава «Салон графини Толстой» вообще не вошла в это издание и сейчас впервые печатается на русском языке. Свою книгу Любовь Федоровна написала по-французски, но книга ее вышла в Мюнхене в немецком переводе, сделанном Г. Кноп с французской рукописи; перевод был одобрен Л. Ф. Достоевской. Таким образом, публикуемые ниже главы, как и русское издание 1922 г., переведены с немецкого языка.

Книгу Л. Ф. Достоевской нельзя назвать мемуарной в точном смысле этого слова: ведь когда умер ее отец, ей было всего 11 лет. Да и сама Любовь Федоровна это понимала, озаглавив свою книгу «Достоевский в *изображении* его дочери». И там, где Любовь Федоровна «в изображении» Достоевского строго придерживается документальных фактов, мемуаров современников, семейных преданий и, наконец, что самое важное, запомнившихся ей рассказов отца и матери,— там это изображение является верным.

Однако там, где Любовь Федоровна сознательно извращает известные факты из жизни Достоевского, там ее книга приобретает нелепо тенденциозный характер. Вопреки всем фактам и документам, Любовь Федоровна почти в каждой главе, по любому поводу и без всякого повода, утверждает, что ее отец не был русским, а был норманолитовского происхождения. Вероятно, это объясняется тем, что вымышленное норманно-литовское происхождение давало возможность Любови Федоровне высказывать претензию на потомственное дворянство, что больше всего и превыше всего ценилось в той среде, где она вращалась, когда в 1920 г. появилась ее книга.

Но не исключено, что это объясняется также и тем, что Любовь Федоровна большую часть своей сознательной жизни прожила за границей. Она настолько отвыкла от России, что даже на вопрос: «К какому народу желали бы вы принадлежать?» — ответила: «К англичанам» (М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского, стр. 127).

Однако, если отбросить маниакальную идею автора книги о происхождении Достоевского, то работа ее, несомненно, представляет интерес, так как она сообщает много неизвестных фактов из жизни Достоевского.

Сравнивая публикуемый нами перевод главы «Первые шаги» с переводом издания 1922 г., можно убедиться в том, что многие важные моменты из жизни и творчества Достоевского в молодости опущены в этом издании; в переводе оборваны куски текста, пропущены целые абзацы и отдельные фразы.

Читатели найдут в публикуемой ниже главе «Первые шаги» неизвестные подробности о жизни и творчестве Достоевского и прежде всего—новые данные о создании Достоевским повести «Неточка Незванова». Некоторые из этих сведений она, несомненно, получила от своей матери, а та, в свою очередь, от мужа. Ведь «Неточка Незванова» была любимым произведением Анны Григорьевны в молодости, недаром родные и друзья звали ее «Неточка Сниткина». И, конечно, когда двадцатилетняя Неточка Сниткина стала женой Достоевского, она постаралась узнать у мужа подробности создания столь любимой ею повести.

Безусловно, творческий процесс у Достоевского был неизмеримо сложнее, чем его изображает Любовь Федоровна. Наивно, например, ее заявление, что повесть была написана «для Виельгорского» (вообще историко-литературные суждения Любови Федоровны трудно принимать всерьез), но мы полагаем, что исследователи «Неточки Незвановой» не могут не учесть и некоторые приводимые ею сведения.

Л. Ф. Достоевская указывает также, что прототипом бабушки в «Игроке» послужила тетка писателя А. Ф. Куманина. Это, очевидно, сообщила дочери А. Г. Достоевская — ведь «Игрок» был первым произведением, которое ей диктовал Достоевский, когда она в 1866 г. пришла работать к писателю в качестве стенографистки. С «Игрока» и началось знакомство Анны Григорьевны с Достоевским. До сих пор же считалось, что основой этого образа послужила вторая жена деда писателя — О. Я. Антипова (Нечаева). Скорее же всего это образ собирательный.

Большой интерес имеет глава «Салон графини Толстой». И не только потому, что дружба Достоевского с С. А. Толстой — еще не раскрытая полностью страница в биографии писателя, но и потому, что и после смерти отца Любовь Федоровна продолжала бывать в салоне Толстой, многое узнала от нее и передала подробнее, чем это сделала в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская.

Дружба и встречи с С. А. Толстой — одна из самых светлых страниц в последние годы жизни Достоевского. Софья Андреевна Толстая (1824—1892), жена поэта Алексея Константиновича Толстого, была незаурядной женщиной. Она знала 14 языков, была в дружеских отношениях со многими выдающимися людьми своего времени: Гончаровым, Тургеневым, Вл. Соловьевым и др. А. Г. Достоевская вспоминает: «Но всего чаще в годы 1879—1880 Федор Михайлович посещал вдову покойного поэта гр. Алексея Толстого, графиню Софию Андреевну Толстую. Это была женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин. Но, кроме выдающегося ума, гр. С. А. Толстая обладала нежным, чутким сердцем, и я всю жизнь с глубокою благодарностью вспоминаю, как она сумела однажды порадовать моего мужа». И далее Анна Григорьевна рассказывает о том, как Толстая выполнила заветное желание Достоевского — иметь хорошую репродукцию его любимого произведения — «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Подарок Толстой был бесконечно дорог Достоевскому, он «был тронут до глубины души ее сердечным вниманием,—пишет Анна Григорьевна,— и в тот же день поехал благодарить ее. Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича я заставала его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета. Понятна моя сердечная признательность графине Толстой за то, что она своим подарком дала возможность моему мужу вынести пред ликом Мадонны несколько восторженных и глубоко прочувствованных впечатлений!» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 355—356).

Имя С. А. Толстой неоднократно упоминается в письмах О. А. Новиковой, Вл. С. Соловьева, С. П. Хитрово к Достоевскому. В архиве писателя сохранилась записка С. А. Толстой к нему, относящаяся к 1878 г. (ЛБ, ф. 93, П. 9.52).

«Федор Михайлович, пожалуйста, пожалуйста, приходите к нам хоть на минуту — или сегодня в 10 часов вечера я буду дома, или завтра утром — очень мне хочется вас видеть. Жалею очень, что не видела жену вашу — надеюсь, в другой раз познакомимся. До свидания, не правда ли?

С. Толстая»

Именно Толстая послала Достоевскому коллективную телеграмму от почитателей его таланта в связи с триумфом его Пушкинской речи. В ответ Достоевский направил Толстой письмо 13 июня 1880 г., которое свидетельствует о том, что он неизменно относился к ней с большим уважением и теплотой; оно заканчивалось словами: «Примите, глубокоуважаемая графиня, мой глубоко сердечный привет. Слишком, слишком ценю ваше расположение ко мне и потому ваш весь навсегда» («Письма», IV, стр. 176).

Кроме Толстой, Достоевский в конце 70-х годов часто встречался и беседовал с С. П. Хитрово и Е. Н. Гейден. Софья Петровна Хитрово, племянница С. А. Толстой, была женой известного дипломата. А. Г. Достоевская пишет: «Федор Михайлович любил посещать гр. С. А. Толстую еще и потому, что ее окружала очень милая семья: ее племянница, София Петровна Хитрово, необыкновенно приветливая молодая жен-

щина и трое ее детей: два мальчика и прелестная девочка. Детки этой семьи были ровесниками наших детей, мы их познакомили, и дети подружились, что очень радовало Федора Михайловича». Имя С. П. Хитрово упоминается в письмах к Достоевскому Ю. Ф. Абазы, А. А. Киреева, известно также одно дружеское письмо Достоевского к С. П. Хитрово 8 января 1880 г. (см. «Письма», IV, стр. 126). Сохранились также 11 писем С. П. Хитрово к писателю, свидетельствующих о том, что в 1880 г. Достоевский довольно часто бывал в доме Хитрово. Из публикуемого ниже впервые письма С. П. Хитрово к Достоевскому 15 июня 1880 г. (ЛБ, ф. 93. II.9.103) видно, что он сразу после Пушкинского праздника написал к ней еще одно письмо, местонахождение которого нам до сих пор неизвестно.

«Милый, милый Федор Михайлович. Вчера получили ваше письмо и все мы говорим вам большое спасибо за все подробности. Спасибо очень — вы знаете, как мы хотим знать все, что с вами и через вас, и так все это было хорошо и приятно. Дай вам бог и нам пережить еще такие минуты хорошие и настоящие в жизни. Я сейчас еду в Красный Рог и пишу вам несколько слов — и я еду одна и мне скучно всех оставлять даже на неделю; Вл. Сергеевич [1] остается и будет за меня восхищаться зелеными деревьями и самым голубым небом. Спасибо вам еще и еще — я бы очень желала быть между теми женщинами, которые вас так крепко за руки держали; авось — когда-нибудь. А пока до свидания, мой милый Федор Михайлович.

Ф. М. Очень много можете над людьми и надо делать [2] особенно для нас бедных — женщин.

До свидания непременно. Отчего не едете в Эмс — вам это нужно. И заехали бы к нам. Кланяюсь очень жене вашей и дети мои вашим.

С. Хитрово

Пустынька. 15 июня ⟨1880⟩

Юлия Федоровна [3] плакала, когда я читала ваше письмо, а графиня [4] сама будет писать».

Как вспоминает В. Микулич в книге «Встречи с писателями» (Л., 1929, стр. 139—148), на одном из субботних вечеров зимой 1879/1880 г. у Е. А. Штакеншнейдер был разыгран «Каменный гость». Достоевский привел на спектакль С. А. Толстую и С. П. Хитрово. Незадолго перед смертью писатель подарил Хитрово только что вышедший том романа «Братья Карамазовы» с надписью: «Глубокоуважаемой Софье Петровне Хитрово на память от автора».

А. Г. Достоевская сообщает: «Из лиц, с которыми Федор Михайлович любил беседовать и которых часто посещал в последние годы своей жизни, упомяну графиню Елизавету Николаевну Гейден, председательницу Георгиевской общины. Федор Михайлович чрезвычайно уважал графиню за ее неутомимую благотворительную деятельность и всегда возвышенные мысли» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 357). В библиотеке СССР им. В. И. Ленина сохранилось пять писем Е. Н. Гейден к Достоевскому, в которых она делится с ним своими религиозными мыслями, просит у него поддержки и совета. Наиболее характерно письмо 9 августа 1880 г. (ЛБ, ф. 93, II.2.73):

«Шершни, 9 августа 1880

Надеялась ли я когда-нибудь получить от Достоевского, которого высоко чтила не как писателя, не как таланта, а как человека с пророческой душой, с отзывчивым сердцем — такое письмо, какое лежит теперь перед моими глазами, которое я перечитала несколько раз, которое прямо, лично и близко ко мне относится? Знаете ли, когда я его получила и с трепетом радости прочла, во мне заходило самомнение, гордость, торжество — его читали и другие, потому, что все из моей семьи захотели видеть и прочесть, что пишет маме Достоевский — мне показалось, что вы меня подняли на пьедестал какой-то в их глазах, и стало совестно. Тот ли я человек в самом деле, к которому пишет Достоевский, которому он предлагает свою дружбу: нет ли во мне чего такого, что в самом корне подсекает божественные дарования. Я хочу познать ваш характер, говорите вы, а что, если узнав его поближе, вы заклеймите его, как содержащий слишком много пустоты и себялюбия? Я в борьбе, это правда, и благодаря божиему наставлению, через посредство обстоятельств и услышанных слов, путем чужого горя и соб-

ственных испытаний, я дошла до трезвости души, часто омрачающейся, но вновь прозревающей во мне, по милости божией. И вот этого прозрения я всегда жажду и потому ищу общения с теми людьми, которые могут способствовать этой трезвости, подтягивая во мне препоясание чресел. Достаточно ли этого состояния, чтобы получить доступ к вашей дружбе, Федор Михайлович? Или, может быть, ратуя за величайшую идею— христианства — вам нужны только люди сильные вокруг себя? Вот что я спросила у себя, когда остыл во мне первый пыл после прочтения вашего письма; мне слышался в нем какой-то призыв делить могучие интересы, но могу ли я? Не заблуждаетесь ли вы относительно моего нравственного содержания, из-за моей восприимчивости? Не вредно ли мне, несовершенной христианке, пить вино возбуждения? Я отложила на несколько дней дорогие ваши строки и не заглянула в них, пока не улеглось мое волнение и я не вошла опять в свое будничное настроение, где я не отличаюсь, кажется, от всех окружающих меня. И вот, прочитав теперь ваше письмо, я чувствую себя умиленной, мне радостно каким-то тихим, полным чувством,— хожу с своим спокойным созерцанием по живописным дорожкам своего сада, все вокруг меня еще так полно здоровой жизнью, солнце греет, но не жжет, воздух и тепел и свеж, всякое веяние притаилось, всякая травка, всякое дерево так привольно живут своею жизнью и душа моя вторит им, объята невозмутимым счастьем. Переходя от этой внешней оболочки, где я занимаю свое место наряду с каждой козявкой,— я переношусь в иной мир отвлеченных отношений и тут мне кажется, что я обогатилась новым сокровищем, сулящим мне радости живые, в общении мысли и духа...»

Местонахождение письма Достоевского к Гейден, о котором она упоминает, до сих пор неизвестно. Возможно, оно находится у кого-нибудь из ее потомков. Сохранилось лишь одно черновое письмо Достоевского к Гейден, которое он продиктовал своей жене в ответ на обращение к ней Гейден. Будучи уже смертельно больным, он пожелал сам сообщить ей о своем здоровье и продиктовал 28 января 1881 г. для нее Анне Григорьевне несколько строчек (см. настоящ. том, стр. 147).

Вторая часть главы «Салон графини Толстой», где Любовь Федоровна рассказывает о встречах писателя с наследниками русского престола, в какой-то степени дополняет статью Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги 70-х годов» («Литературное наследство», т. 15, 1934). Тем интереснее то замечание, которое делает Л. Ф. Достоевская: «Очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как он привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной ⟨...⟩ Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным».

Любовь Федоровна Достоевская скончалась в 1926 г. в Гризе (Тироль) от белокровия. О последних днях ее жизни оставила воспоминания жена ее брата, Ф. Ф. Достоевского, Екатерина Петровна Достоевская: «Любовь Федоровна стала болеть с мая 1926 года, о чем она несколько раз писала мне.⟨...⟩ Судя по ее последним письмам, она к концу жизни стала мягче и отзывчивее. Она настойчиво звала меня с Андреем ⟨сын Е. П. Достоевской.— *С. Б.*⟩ за границу, обещая свою поддержку и поддержку и участие многочисленных почитателей Федора Михайловича. Она интересовалась судьбой моего сына Андрея и старалась утешить меня в моей потере моего старшего сына. Одним словом, судя по этому, она очень изменилась, так как раньше я и мои дети были существами, ее не интересовавшими. Я рада, что наши отношения до ее смерти значительно смягчились» (М. В. Волоцкой. Хроника рода Достоевского, стр. 131—132).

[1] Владимир Сергеевич Соловьев.
[2] Дальнейший текст на полях письма.
[3] Юлия Федоровна *Абаза*, жена министра финансов, близкий друг семьи Достоевского и Хитрово.
[4] Софья Андреевна Толстая.
[5] Дальнейший текст, т. е. две последние строки записаны А. Г. Достоевской стенографически.

ПЕРВЫЕ ШАГИ *

После окончания своих занятий в Инженерном замке Достоевский получил место в инженерном ведомстве. Но он не долго оставался здесь и скоро вышел в отставку. К тому времени уже умер его отец, который мог бы заставить его служить на государственной службе; военная служба его не привлекала, тем более, что у него было желание стать писателем. Молодой Григорович последовал его примеру. Они решили поселиться вместе, сняли холостяцкую квартиру и наняли слугу [1]. Григорович получал деньги от своей матери, жившей в провинции, а мой отец — из Москвы от своего опекуна, предоставлявшего ему средства, достаточные для скромного образа жизни [2]. К сожалению, отец всегда имел фантастическое представление о бережливости. Всю жизнь он ⟨...⟩ сразу растрачивал все деньги, имеющиеся в его кармане, не задумываясь о том, на что он будет жить завтра. Он не изменился и в старости. Мне вспоминается одна поездка с отцом на Украину, предпринятая нами в его последние годы, чтобы провести лето у моего дяди Ивана [3]. На несколько дней мы должны были остановиться в Москве, и, к большому неудовольствию моей матери, Достоевский снял номер в лучшей гостинице города в первом этаже, тогда как в Петербурге мы жили в очень скромной квартире. Как ни протестовала моя мать, но она никогда не могла справиться с расточительностью своего супруга. Когда на семейные праздники приглашали родных, отец всегда вызывался покупать деликатесы для закуски, занимающей столь большое место на русских обедах, а также фрукты и десерт. Если мать имела неосторожность позволить ему это, Достоевский шел в лучшие магазины города и покупал все хорошее, что ему попадалось. Я смеюсь каждый раз, когда читаю, как Дмитрий Карамазов делает покупки у Плотникова перед поездкой в Мокрое. Я вижу себя опять в Старой Руссе в той же лавке Плотникова, куда я иногда ходила с отцом и с любопытством лакомки следила за его оригинальным способом делать покупки [4]. Когда я шла туда с матерью, мы выходили оттуда со скромным пакетиком в руке. Но если я сопровождала туда отца, мы покидали магазин с пустыми руками, но несколько маленьких мальчиков шли перед нами или за нами и несли довольные, в ожидании хороших чаевых, большие корзины ⟨...⟩

Достоевский подавал милостыню всем бедным, встречавшимся на его пути, и никогда не мог отказать в деньгах, если кто-нибудь говорил ему о своем несчастье и просил его о помощи. Чаевые, которые он раздавал за малейшую услугу прислуге, были баснословны и приводили мою бедную мать в бешенство.

Неудивительно, что отец при таком образе жизни тратил больше, чем мог ему посылать из Москвы опекун. Он делал долги, и, чтобы избавиться от своих кредиторов, предложил своему опекуну отказаться от своих прав наследства за довольно скромную, но сразу же выплаченную сумму.

Не зная сути газетного и издательского дела, Достоевский был столь наивен, что думал зарабатывать себе на жизнь писательством. Опекун согласился на эту сделку, хотя он ни в коем случае не должен был это делать. Мои тетки заметили, что их брат Федор ничего не понимает в делах и ему можно делать самые невыгодные предложения. Позднее они и попытались это сделать, когда семье Достоевского досталось другое наследство, и борьба, которую отец должен был вести против притязаний своих сестер, омрачила конец его жизни. На этом я остановлюсь подробнее в последних главах моей книги [5].

---

* *Главы «Первые шаги» и «Салон графини Толстой» публикуются с незначительными сокращениями, касающимися рассуждений Л. Ф. Достоевской о происхождении писателя.*



Л. Ф. ДОСТОЕВСКАЯ
Фотография, 1915—1916 гг.
Почтовая открытка с надписью на обороте:
«Любовь Федоровна Достоевская. В 1915—16 г.
В Италии или на Ривьере»
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

Выплатив долги, Достоевский быстро истратил остаток своих денег. Он попробовал переводить *, но это давало мало денег. Тут к нему на помощь пришла тетка Куманина и назначила ему пенсию. Она была сестрой его матери, удачно вышла замуж и жила в прекрасном доме в Москве, окруженная толпой преданных слуг, бесчисленными приживалками, бедными женщинами, трепетавшими перед ней и угождавшими всем прихотям богатой деспотической барыни. Она протежировала своим племянникам и племянницам, выделяя особенно моего отца, который всегда оставался ее любимцем. Она одна из всей семьи знала ему цену и всегда была готова ему помочь. Отец любил свою старую тетку Куманину, хотя несколько и подсмеивался над ней, как это бывает обычно с молодыми племянниками.

* В это время он сделал отличный перевод «Евгении Гранде» Бальзака. (*Примеч. Л. Ф. Достоевской.*)

Он изобразил ее в «Игроке» в образе старой московской бабушки, которая приезжает в Германию, играет в рулетку, теряет половину своего состояния и так же быстро, как появилась, возвращается в Москву. В то время, когда в Германии процветала игра в рулетку, моя бабушка Куманина была слишком стара, чтобы путешествовать. Но вполне вероятно, что она играла в Москве в карты и проигрывала большие суммы денег. И, отправляя ее в Германию и заставляя играть там в рулетку, Достоевский, вероятно, хотел показать, от кого он унаследовал страсть к игре.

Но было бы ошибкой утверждать, что отец тратил много денег, предаваясь удовольствиям праздной жизни. Достоевский в молодости был очень прилежным и трудолюбивым. Он мало выходил, все дни проводил за письменным столом, беседовал со своими героями, смеялся, плакал и страдал с ними. Его друг Григорович, обладавший бо́льшим житейским опытом, пытался наряду со своим писательством приобретать знакомства, которые могли бы оказаться полезными для его дальнейшего преуспевания, добился того, что его ввели в литературные круги и представил там своего друга Достоевского. Григорович был красивым, веселым и элегантным, ухаживал за дамами и восхищал каждого. Отец был неловким, робким, нелюдимым, скорее некрасивым; он мало говорил и больше слушал. В этих салонах оба друга встречались также с Тургеневым, которого привела в Петербург тоже литературная карьера. Отец был его большим почитателем. «Я влюблен в Тургенева»,— писал он наивно своему брату Михаилу, служившему после окончания военного училища офицером в Ревеле. «Он так красив, так привлекателен, так элегантен» [6]. Тургенев самодовольно принимал почитания моего отца — для него он был совершенный нуль [7].

Григоровичу удалось познакомиться с поэтом Некрасовым, собиравшимся издавать литературный журнал. Григорович стремился тем или иным путем принять участие в журнале. Его первые произведения еще не были окончены — он слишком много времени уделял обществу, — но он знал, что отец написал роман, который постоянно переделывал, боясь, что он еще недостаточно хорош. Григорович убедил его доверить ему рукопись и показал ее Некрасову. Тот спросил его, знает ли он произведение своего друга, и услышав, что у Григоровича еще не было времени прочесть его, предложил ему просмотреть вместе с ним две или три главы и проверить, стоящая ли это вещь.

Они прочли не отрываясь этот первый роман * отца. Уже рассвет брезжил за окном, когда они подошли к концу. Некрасов был восхищен. «Пойдем к Достоевскому,— предложил он Григоровичу.— Я хочу ему сказать, что я благодарен ему за его роман».—«Но он спит, еще ночь»,— ответил Григорович.— «Ну и что из этого! Это важнее сна». И энтузиаст бросился в сопровождении Григоровича на улицу, разбудил отца в 5 часов утра, чтобы сообщить ему, что он — большой талант.

Потом рукопись отдали знаменитому критику Белинскому, который, прочтя ее, пожелал увидеть молодого писателя. Достоевский, охваченный дрожью возбуждения, предстал перед ним. Белинский принял его строго. «Знаете ли вы, что вы написали, молодой человек? — сказал он ему.— Нет, вы не знаете. Вы еще не можете понять это» [8].

Некрасов опубликовал «Бедных людей» в своем сборнике, и они имели большой успех. С этого момента отец стал знаменит. Все хотели с ним

---

* Этот роман назывался «Бедные люди». Перед тем как его писать, он начал трагедию «Мария Стюарт», которую отложил, чтобы сочинить драму «Борис Годунов» <...> Достоевский отложил в сторону «Марию Стюарт» и «Бориса Годунова» и дал нам «Бедных людей», проникнутых нашим удивительным славянским состраданием. (*Примеч. Л. Ф. Достоевской.*)

познакомиться. «Кто он — этот Достоевский?» — раздавалось со всех сторон. Отец уже с давних пор посещал литературные салоны, и никто на него не обращал внимания. Этот робкий человек всегда забивался в угол или в нишу окна, или пытался укрыться за какой-нибудь ширмой. Теперь ему больше не позволяли прятаться. Его окружали, всячески ему льстили; заставляли его говорить и находили его восхитительным. Наряду с литературными салонами, где принимали тех, кто хотел стать писателем или интересовался литературой, в Петербурге были еще и другие интересные салоны, куда допускались поэты, художники и известные музыканты. Таким был салон князя Одоевского, выдающегося поэта, графа Соллогуба, романиста с большим вкусом, очень тонко описавшего свои наблюдения над русской жизнью первой половины XIX века; кроме того, салон графа Виельгорского, обрусевшего поляка. Все эти господа старались познакомиться с Достоевским, приглашали его к себе и сердечно принимали. Отец особенно хорошо чувствовал себя у Виельгорских, у которых можно было послушать отличную музыку. Достоевский страстно любил музыку. Но я не думаю, чтобы у него был собственно музыкальный слух, так как он не воспринимал неизвестные вещи и предпочитал уже знакомые ему. Чем чаще он их слушал, тем большее наслаждение он получал.

Граф Виельгорский был большим любителем музыки, покровительствовал музыкантам и умел отыскивать их в закоулках столицы. Вероятно, тот особый тип бедного, спившегося, честолюбивого и ревнивого скрипача, которого граф Виельгорский отыскал на чердаке и заставил играть на своих музыкальных вечерах, произвел впечатление на фантазию отца, так как для графа Виельгорского он издал свой роман «Неточка Незванова». Он дал в нем истинный шедевр женской психологии, но возможно из-за своей молодой неопытности он не смог быть достаточно понятен публике. Говорят, что графиня Виельгорская была урожденной княгиней Бирон. Князья Бироны, происходившие из Курляндии, считали своими родоначальниками скорее европейских государей, чем европейских дворян. При внимательном чтении «Неточки Незвановой» можно скоро заметить, что князь Х., оказывающий гостеприимство бедной сироте, конечно, человек из хорошего общества и хорошего воспитания, но что именно благодаря его жене, гордой и высокомерной, дом приобретает княжеский вид. Все окружающие ее говорят о ней, как о государыне. Ее дочь Катя — это настоящая маленькая принцесса, избалованная и капризная, терроризирующая своих подданных, а потом осыпающая их милостями. Дружба ее с Неточкой с самого начала страстная, даже несколько эротическая. Русские критики строго порицали эту эротику в творчестве Достоевского, и все же отец совершенно прав, потому, что эти бедные немецкие принцессы, не имевшие права на брак по любви и всегда приносившие себя в жертву благосостоянию государства, часто питали подобную страстную и даже эротическую дружбу к какой-нибудь женщине. Эта болезнь у них — наследственная и могла естественно возникнуть и у их отпрыска, маленькой Кати, не по возрасту развитого ребенка. У Виельгорских не было дочерей; образ Кати весь создан Достоевским, этот образ возник у него, когда он ближе познакомился с княжеской супружеской парой. Этим образом маленькой нервной принцессы Достоевский демонстрирует знание женской психики, удивительное в таком робком молодом человеке, не осмелившемся даже приблизиться к женщинам. Его талант к этому времени уже вырос, но, к сожалению, у него еще не было настоящих художественных типов. Нет ничего более блеклого, потухшего, чем эти несчастные петербуржцы, родившиеся и выросшие в болоте. Они не более, чем копия, пародия, карикатура на европейские типы. «Эти люди все давно уже умерли,— говорил русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.— Они продолжают жить только потому, что полиция забыла их похоронить».

Друзья Достоевского, молодые писатели, начинавшие литературную карьеру, не могли примириться с его неожиданным успехом. Они завидовали моему отцу, выходили из себя при мысли, что этот скромный и робкий молодой человек был принят в салонах знаменитостей, куда кандидаты на звание писателя не имели доступа. Они не могли оценить его роман. «Бедные люди» казались им скучными и смешными. Они писали на них пародии в прозе и в стихах и безжалостно насмехались над молодым автором [9]. Чтобы повредить ему в общественном мнении, приятели Достоевского распространяли смешные анекдоты о нем.Они утверждали, что успех вскружил ему голову и он потребовал, чтобы каждая страница его второго романа, который должен был появиться в журнале Некрасова, была взята в рамку с целью выделить его из других произведений этого журнала. Само собой разумеется, это было ложью; роман «Двойник» появился без каких бы то ни было рамок [10]. Друзья Достоевского высмеивали его робость перед женщинами и рассказывали, что он от волнения в обморочном состоянии упал к ногам юной красавицы, когда ей его представляли [11]. Отцу было очень больно терять свои иллюзии в отношении дружбы. Он иначе понимал дружбу; он наивно полагал, что его друзья должны радоваться его успеху, так же как и он, конечно, был бы рад их успеху. Особенно тяжела для отца была злость Тургенева, который, вне себя от успеха «Бедных людей», не знал уже, что и придумать, чтобы навредить Достоевскому. Он так его любил, почитал его так искренно! Именно здесь начало их вражды, длившейся всю их жизнь и вызвавшей в России столько разговоров 〈...〉

Первый роман отца, несомненно, был очень хорошо написан, но он не был оригинален. Это было подражание гоголевскому роману, который в свою очередь имитировал французскую литературу этой эпохи.«Отверженные» Виктора Гюго с их знаменитым Жаном Вальжаном — вот символ этого нового литературного движения. Конечно, «Отверженные» были написаны позднее, но фигура каторжника, человека большого благородства, уже начала появляться в Европе.

Демократические идеологи, пробудившие французскую революцию,стремились поставить писателей, бедных людей, крестьян и мещан на одну ступень с дворянами и интеллигенцией из крупной буржуазии. Это новое литературное направление очень пришлось по душе русским, никогда не имевшим феодальной аристократии и чувствовавшим поэтому всегда влечение к демократическим идеям. Русские писатели, бывшие в это время людьми света и хорошего воспитания, не хотели больше описывать салоны; они искали своих героев на чердаках. Они не имели ни малейшего представления об этих людях и вместо того, чтобы описывать их такими, какими они были в действительности, собственно, невежественными и придавленными нищетой, они наделяли своих новых героев рыцарскими чувствами, заставляли писать письма, достойные мадам Севинье [12].

Это было фальшиво и бессмысленно; и все же это были романы, принадлежавшие к той великолепной литературе XIX столетия, которая составляет славу нашей страны. Уже позднее поняли, что надо знать ту среду, которую собираешься описывать. Начали наблюдать жизнь крестьян, духовенства, купцов и горожан, давали отличные зарисовки русской жизни, которую еще мало знали. Но это было гораздо позднее. В тот период, о котором я говорю, русские писатели писали скорее элегантной моды ради и оставили после себя в высшей степени забавные произведения.

Отец, без сомнения, понимал фальшь этих романов, так как пытался в своем втором романе отойти от нового литературного направления. «Двойник» — несравненно более значительное произведение, чем «Бедные люди». Это уже оригинальный, настоящий Достоевский. Психиатры нашей страны чрезвычайно восхищаются этим маленьким шедевром и по-

ражаются, как молодой романист, никогда не изучавший медицину*, смог так хорошо описать последние дни сумасшедшего.

И однако этот второй роман отца не имел такого успеха, как первый. Это было слишком ново; тогда еще не был понятен этот детальный анализ человеческого сердца, завоевавший позднее столь большую популярность. Люди с больной психикой еще не вошли в моду; этот роман без героя и героини находили скучным. Критики не скрывали своего разочарования. «Мы ошиблись,— писали они,— талант Достоевского гораздо менее значителен, чем мы думали». Если бы отец был старше, он не обратил бы внимания на критиков, продолжал бы писать в своей новой манере, приучил бы к ней публику и дал бы нам уже тогда превосходные психологические этюды. Но тогда он был еще слишком молод; критика сбила его с пути. Отец боялся, что выдающийся успех его первого романа может не повториться более, и вернулся к ложному жанру Гоголя.

Теперь он уже не желал черпать материал для своих произведений только в самом себе. Он изучал новых героев русской литературы, отыскивал обитателей чердаков в трактирах и пивнушках. Он беседовал с ними, наблюдал их, изучал до мельчайших подробностей их нравы и привычки. Так как Достоевский был робок и не знал, как подойти к ним, он предлагал им сыграть с ним партию на бильярде. Сам он не умел играть, бильярд его не интересовал, поэтому он, конечно, проигрывал крупные суммы. Но Достоевский не жалел об этом, ведь игра на бильярде давала ему возможность наблюдать любопытные сцены и записывать оригинальные выражения**.

Изучив за несколько месяцев эту своеобразную среду, не известную ему прежде, он стал описывать этих маленьких людей такими, какими они были в действительности, и думал доставить этим радость читателям, но, к сожалению, он имел еще меньше успеха, чем прежде.

Русская публика соглашалась проявлять интерес к этим несчастным только при условии, что они будут изображены автором в духе Жана Вальжана. Их реальная, ничтожная и обыденная жизнь никого не интересовала.

Тогда Достоевский стал сомневаться в своем таланте. Здоровье его пошатнулось, он стал нервным и истеричным. В нем уже пустила корни эпилепсия, и хотя припадков еще не было, он уже чувствовал себя чрезвычайно подавленным***. Теперь он избегал салоны, часами отсиживался дома или блуждал по самым темным и пустынным улицам Петербурга. Гуляя, он разговарил сам с собой, жестикулировал, так что прохожие оглядывались на него. Друзья, встречавшие его, считали его сумасшедшим. В этом бесцветном и отупляющем Петербурге его талант угасал 〈...〉

---

* Достоевский очень высоко ценил «Двойника». В письме, отосланном брату Михаилу после возвращения из Сибири, отец говорит о «Двойнике» следующее: «Это была превосходная идея, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я был провозвестником». (*Примеч. Л. Ф. Достоевской*[13].)

** Друзья Достоевского рассказывают в своих воспоминаниях, что он часто приглашал к себе неизвестных, с которыми он завязывал знакомство в кафе, и весь день беседовал с ними, выслушивал их рассказы. Друзья отца не могли понять удовольствия, испытываемого им от разговора с простыми людьми; читая потом романы Достоевского, они узнавали там тех субъектов, с которыми встречались у него. Вероятно, отец, как все молодые таланты, умел тогда писать только с натуры. Потом ему уже не нужны были прототипы, и он сам стал создавать своих героев. (*Примеч. Л. Ф. Достоевской.*)

*** Доктор Яновский, очень любивший моего отца, который часто обращался к нему за советом по поводу своего здоровья, рассказывает, что задолго до каторги Достоевский страдал нервной болезнью, очень похожей на эпилепсию. Как я уже отмечала, семья отца утверждала, что первый припадок случился с ним, когда он узнал о трагической смерти моего деда Михаила. Очевидно, Достоевский страдал эпилепсией с 18 лет. Но только после каторги она приобрела свою явно выраженную форму. (*Примеч. Л. Ф. Достоевской*[14].)

У него не было денег, чтоб уехать в Европу, на Кавказ или в Крым — путешествие в то время было очень дорого. Отец чахнул в Петербурге и чувствовал себя счастливым только у брата Михаила, также осевшего в столице и собиравшегося оставить военную службу, чтобы посвятить себя литературе. Он женился на немке Эмилии Дитмар, и у них было много детей. Отец мой очень любил своих племянников; их детский смех рассеивал его меланхолию.

Удивляются тому, что в период первой молодости, которую большинство людей посвящает любви, у Достоевского не было ни одной женщины. ⟨...⟩

Коллеги отца, изобретавшие анекдоты о том, как он падает в обморок при виде прекрасных женщин, конечно, заметили эту удивительную робость его перед женщинами *. Период страстей у отца начинается только после каторги, и тогда уже в обмороки он не падает.

Героини первых романов Достоевского — бледные, словно призраки, они неживые. В этот период он создал только два замечательных женских портрета: маленькой Неточки Незвановой и Кати, детей десяти и двенадцати лет. Этот роман вместе с «Двойником» — лучшее, что написал Достоевский в этот период ⟨...⟩

САЛОН ГРАФИНИ ТОЛСТОЙ

Из литературных салонов Петербурга, посещавшихся Достоевским в последние годы его жизни, самым значительным был салон графини Софьи Толстой, вдовы писателя Алексея Толстого. Ее семья была монгольского происхождения, и графиня Толстая обладала тем проницательным умом, «острым, как сталь», по выражению Достоевского, который встречается в России только у потомков монголов ⟨...⟩ Графиня относилась к числу тех женщин-вдохновительниц, которые, не будучи сами творческими натурами, умеют, однако, внушать писателям прекрасные замыслы. Алексей Толстой очень высоко ценил ум своей жены и ничего не публиковал без ее совета. Став вдовой, графиня обосновалась в Петербурге. Она была богата, и у нее не было детей; она очень любила свою племянницу [16], которую воспитала и выдала замуж за дипломата. Этот дипломат вел тогда наши дела в Персии, и графиня Толстая, ожидая, что ему предоставят место в более цивилизованной стране, оставила племянницу со всей ее семьей у себя. Поселившись в Петербурге, графиня Толстая стала принимать в своем доме всех прежних друзей своего мужа, поэтов и писателей, и попыталась завязать новые литературные знакомства. Встретив моего отца, она поспешила пригласить его к себе и была с ним очень любезна. Отец обедал у нее, ходил на ее вечера, согласился прочесть в ее салоне несколько глав из «Братьев Карамазовых» до их публикации. Вскоре у него вошло в привычку заходить к графине Толстой во время своих прогулок, чтоб обменяться новостями дня. Хотя моя мать и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы. Всегда одетая в черное, с вдовьей вуалью на седых волосах, совсем просто причесанная, графиня пыталась пленять лишь своим умом и любезным обхождением. Она очень редко выходила и к четырем часам всегда была уже дома, гото-

* Доктор Ризенкампф, хорошо знавший моего отца в этот период жизни, пишет в своих воспоминаниях: «В 20 лет молодые люди ищут обычно идеал женщины и бросаются за каждой юной красавицей. Ничего подобного нельзя было заметить у Достоевского. Он был равнодушен к женщинам, питал почти антипатию к ним». Ризенкампф, однако, добавляет, что Достоевского интересовали сердечные дела его друзей и он охотно пел сентиментальные песни. На всю жизнь Достоевский сохранил привычку петь песни, которые ему нравились. Он пел их вполголоса, особенно, когда думал, что один в комнате. (*Примеч. Л. Ф. Достоевской*[15].)

вая предложить Достоевскому обычную чашку чаю. Графиня была очень образованна, много читала на всех европейских языках и часто обращала внимание моего отца на какую-нибудь интересную статью, появившуюся в Европе. Достоевский тратил много времени на создание своих романов и, естественно, не мог так много читать, как бы этого хотел. У графа Алексея Толстого было плохое здоровье, и больше половины жизни он провел за границей. Он приобрел там многочисленных друзей, с которыми графиня поддерживала постоянную переписку. Они, в свою очередь, посылали к ней своих друзей, приезжавших в Петербург, и они становились усердными посетителями ее салона. Благодаря беседе с ними Достоевский соприкасался с Европой, которую всегда считал своим вторым отечеством. Вежливый и любезный тон, царивший в салоне графини, приятно отличал его от тривиальности других литературных салонов. Некоторые его старые друзья из круга Петрашевского разбогатели и охотно приглашали теперь к себе знаменитого писателя. Отец принимал эти приглашения; но назойливая роскошь недавно приобретенного богатства не нравилась ему; он предпочитал комфорт и сдержанную элегантность салона графини Толстой.

Благодаря отцу, салон этот вскоре вошел в моду и привлекал многих посетителей. «Когда графиня Софья приглашала нас на свои вечера, мы приходили, если у нас не было более интересных приглашений; когда ж она писала: „Одной из нас Достоевский обещал прийти“, тогда забывались все другие вечера, и мы прилагали все усилия, чтобы явиться к ней»,— рассказывала мне недавно одна старая дама из высшего русского общества, бежавшая в Швейцарию. Почитатели Достоевского, принадлежавшие к высшим кругам петербургского общества, просили Толстую познакомить их с отцом. Она всегда соглашалась, но это не всегда было легким делом. Достоевский не был светским человеком и совсем не старался казаться любезным людям, которые ему не нравились. Если он встречал людей доброжелательных, чистые и благородные души, он был настолько мил с ними, что они никогда не могли забыть его и даже через двадцать лет после его смерти повторяли слова, сказанные им Достоевским. Когда же перед отцом оказывался один из снобов, которыми были полны петербургские салоны, он упорно молчал. Напрасно старалась тогда графиня Толстая прервать его молчание, искусно задавая ему вопросы; отец отвечал рассеянно «да», «нет» и продолжал рассматривать сноба как удивительное и вредное насекомое. Подобной нетерпимостью отец нажил себе множество врагов, что его обычно мало беспокоило. Это высокомерие Достоевского находилось в поразительном противоречии с изысканной вежливостью, восхитительной любезностью, с которой отец отвечал на письма своих почитателей из провинции. Достоевский знал, что все его мысли, его советы принимались с благоговением этими сельскими врачами, учительницами народных школ и священниками из маленьких приходов, в то время как петербургские фаты интересовались им только потому, что он был в моде.

Возможно, скажут, что такой великий писатель, как Достоевский, должен был бы быть снисходительнее к этим глупым и плохо воспитанным людям. Отец, однако, имел право презирать их, потому, что снобизм, который ввели у нас бароны из балтийских провинций, причинил России большие беды. Воспитанная на феодальном праве, Европа в течение многих столетий привыкла пресмыкаться перед людьми с титулами, перед капиталистами и крупными чиновниками. Во время своих путешествий за границу я часто удивлялась этой позорной субординации, господствующей в Европе. Славянский идеал братского равенства не может понять этого снобистского чувства превосходства и восстает против него. Мои соотечественники считают высокомерные позы снобов вызовом и оскорблением, никогда не прощают их и пытаются мстить. Два столетия балтийского снобизма привели

к расколу всю Россию. Накануне революции у нас смертельно враждовали все классы. Родовое дворянство ненавидело аристократию, которая окружила двор китайской стеной; купцы боролись с дворянством, которое их презирало и не хотело иметь с ними ничего общего; духовенство устало от жалкого положения, занимаемого им в государстве; вышедшие из народа представители интеллигенции были в оппозиции, так как они видели, что русское общество все еще считает их крестьянами, несмотря на высокую образованность ⟨...⟩

В салоне графини Толстой так же, как и на студенческих вечерах, Достоевский имел больший успех у женщин, чем у мужчин, и все по той же причине: потому что он всегда относился к слабому полу с уважением. Русские до сих пор сохранили восточное отношение к женщинам. Правда, со времен Петра Великого они не угрожают им больше кнутом, они кланяются им, целуют у них руки, ведут себя с ними, как с королевами, и стараются всегда быть на уровне европейской цивилизации. Но в то же время они смотрят на женщин как на больших детей, которые, будучи невежественными и легкомысленными, хотят, чтоб их занимали более или менее остроумными шутками и анекдотами. Они отказываются говорить с женщинами о серьезных вещах и насмехаются над их дерзким желанием заниматься общественными делами. Это восточное отношение очень злит моих соотечественниц. Нет ничего оскорбительнее для умной женщины, чем видеть, как дураки и невежды ведут себя с ней, словно высшие существа. Этой ошибки Достоевский никогда не совершал. Он не развлекал женщин и не собирался их обольщать; он говорил с ними серьезно, как с равными. Никогда не хотел он следовать русской моде и целовать у женщины руку; он утверждал, что это целование унизительно для нее. «Мужчины, целующие женщине руку, считают ее рабыней и хотят ее утешить тем, что обращаются с ней, как с королевой,— говорил он обычно.— Если они позднее увидят в ней равную себе, они удовольствуются тем, что пожмут ей руку, как своему товарищу». Эти слова отца привели петербуржцев в большое изумление, они не понимали, что он хотел сказать ⟨...⟩

Успех Достоевского у женщин можно объяснить и иначе. Как считает один из его товарищей по заговору Петрашевского г. Ястржембский, отец принадлежал к того рода мужчинам, которые, как высказался по этому поводу Мишле [17], «обладают очень сильной мужественностью, но имеют многое от женской натуры...»

Достоевский искренне любил графиню Толстую, предложившую ему литературную дружбу, в которой так нуждаются писатели, и все же, умирая, он не ей доверил свою семью. У Достоевского был еще один друг — женщина, которую он, правда, реже видел, но к которой относился с еще большим почтением. Это была графиня Гейден, урожденная графиня Зубова. Ее муж был генерал-губернатором Финляндии, она же жила в Петербурге, где основала большую больницу для бедных. Она проводила там целые дни, занималась больными, интересовалась их судьбой и пыталась их утешить. Графиня Гейден была большой почитательницей Достоевского. Встречаясь, они говорили о религии; мой отец излагал ей свои идеи о христианском воспитании. Так как графиня Гейден знала, какое большое значение Достоевский придавал нравственному воспитанию своих детей, она подружилась с моей матерью и пыталась оказывать влияние на меня. Только после ее смерти, образовавшей в моей жизни большую пустоту, я поняла, как многим я обязана этой истинной христианке.

Литературные вечера, которые устраивала в Петербурге учащаяся молодежь, вскоре вошли в моду в большом петербургском свете. Вместо того чтобы ставить живые картины или любительские спектакли, русские дамы, занимавшиеся благотворительностью, организовывали литературные вечера в своих салонах. Наши писатели предоставляли себя в их рас-

поряжение и обещали свою помощь, так как речь шла все же о хорошем деле. Достоевский был основной приманкой этих вечеров. Так как он имел дело с публикой, совершенно отличной от той, которая присутствовала на студенческих вечерах, мой отец предпочитал не читать монолог Мармеладова, а выбирал другие отрывки из своих произведений. Достоевский, верный своей идее приблизить интеллектуальное общество к народу, читал на аристократических вечерах предпочтительно главу из «Братьев Карамазовых», в которой старец Зосима принимает бедных крестьянок, пришедших к нему на богомолье. Одна из этих крестьянских женщин, потерявшая своего сына, ребенка трех лет, покидает свой дом, мужа, бродит по разным монастырям, не находя утешения своему горю. Достоевский описал в этой главе свою собственную боль; он также не мог забыть своего любимого, маленького Алешу [18]. Он вложил столько чувства в этот простой рассказ бедной матери, что все женщины, слушавшие его, бывали потрясены до глубины души. На одном из таких вечеров присутствовала великая княгиня Мария Федоровна, будущая русская императрица. Она тоже когда-то потеряла маленького сына и не могла его забыть. Услышав чтение моего отца, цесаревна принялась горько плакать, вспомнив о маленьком умершем. Когда Достоевский окончил чтение, она обратилась к дамам, организовавшим вечер, и сказала, что хотела бы с ним поговорить. Дамы поспешили удовлетворить ее желание. Очевидно, они были не слишком умны; зная несколько недоверчивый характер Достоевского, они боялись, что он откажется выполнить требование цесаревны, и решили вынудить его к этому хитростью. Они приблизились к моему отцу и сказали ему с таинственным выражением лица, что «одна очень, очень интересная личность» хотела бы поговорить с ним о его чтении.

— Что за интересная личность?— спросил Достоевский удивленно.

— Вы сами увидите... Она очень интересная... Пойдемте скорее с нами!— ответили молодые женщины, завладели моим отцом и, смеясь, повлекли его за собой в маленькую гостиную. Они ввели его туда и закрыли за ним двери. Достоевский был очень удивлен этим таинственным поведением. Маленькая гостиная, в которой он находился, была слабо освещена лампой, затененной ширмой; молодая женщина скромно сидела у столика. В этот период жизни мой отец уже не заглядывался больше на молоденьких женщин. Он приветствовал незнакомку, как приветствуют даму, которую встречают в салоне своей знакомой, а так как он подумал, что две юные шалуньи позволили себе его мистифицировать, то вышел из комнаты через противоположную дверь. Достоевский без сомнения знал, что цесаревна присутствовала на вечере, но подумал, что она уже ушла, или, возможно, он уже забыл по своей обычной рассеянности о ее присутствии. Он вернулся в большую гостиную, был сразу же окружен своими почитателями, вступил в разговор, который его интересовал, и совершенно забыл о «мистификации». Четверть часа спустя молодые дамы, которые привели его к дверям маленькой гостиной, бросились к нему.

— Что она вам сказала? Что она вам сказала? — спрашивали они с любопытством.

— Кто она? — спросил отец удивленно.

— Как это кто она? Цесаревна, конечно!

— Цесаревна? Но где же она? Я ее не видел...

Великую княгиню не оттолкнула эта неудачная встреча [19]; она знала о дружбе между Достоевским и великим князем Константином [20], и обратилась к последнему с просьбой познакомить ее с моим отцом. Великий князь немедленно организовал вечер и пригласил Достоевского, сообщив ему предварительно, кого он встретит у него. Отец был несколько смущен тем, что не узнал цесаревну, фотографии которой висели тогда во всех витринах; он принял приглашение и постарался быть любезным ⟨...⟩

Достоевский произвел на нее глубокое впечатление; она так много говорила о нем своему мужу, что и цесаревич захотел познакомиться с отцом. Через посредничество Константина Победоносцева он передал ему приглашение посетить его [21]. Будущий Александр III очень интересовался всеми русофилами и славянофилами, ожидавшими от него крупных реформ. Достоевский также хотел с ним познакомиться, чтобы поделиться своими идеями по русскому и славянскому вопросам, и отправился в Аничков дворец, который был обычно резиденцией наших наследных князей. Его и ее высочества приняли его вместе и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу [22]. Очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиняться этикету двора и вел себя во дворце, как он привык вести себя в салонах своих друзей. Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и ее супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной ⟨... ⟩

Наверное, это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моем отце с уважением и симпатией. Этот император видел в своей жизни так много холопских спин! ⟨...⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. об этом в кн.: Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., 1961, стр. 86.

[2] Опекуном Достоевских был муж старшей сестры писателя Варвары Михайловны, Петр Андреевич *Карепин* — правитель канцелярии московского военного генерал-губернатора.

[3] Иван Григорьевич *Сниткин*, брат А. Г. Достоевской; его имение находилось в Курской губ., в 10 верстах от с. Мирополье, Суджанского у. Достоевские отдыхали там летом 1877 г.; в конце июня Достоевский уехал в Петербург, а А. Г. Достоевская с детьми отправилась в Киев.

[4] А. Г. Достоевская в примечаниях к «Братьям Карамазовым» также пишет: «„Лавка Плотниковых". Федор Михайлович говорит о бакалейном магазине Павла Ивановича Плотникова в Старой Руссе, в который сам любил заходить за закусками и сластями» (Л. П. Гроссман. Семинарий по Достоевскому. М.— Пг., 1923, стр. 68). Подробнее о пребывании Достоевского в Старой Руссе — см.: Л. М. Рейнус. Ф. М. Достоевский в Старой Руссе. Л., 1971.

[5] По завещанию тетки Достоевского А. Ф. Куманиной, скончавшейся в 1871 г., Достоевский в январе 1881 г. был введен во владение частью рязанского ее имения при условии выплаты денежных сумм своим сестрам, не участвовавшим в разделе. Сестра В. М. Иванова просила Достоевского отказаться в пользу сестер от своей доли в рязанском имении. По воспоминаниям Л. Ф. Достоевской, между братом и сестрой произошел бурный разговор. У Достоевского из горла хлынула кровь, а через два дня его не стало (См. «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской», стр. 96—97).

[6] Неточная цитата из письма Достоевского 16 ноября 1845 г.: «Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет,— я не знаю, в чем природа отказала ему?» («Письма», I, стр. 84).

[7] Даже в период острой вражды Тургенев высоко ценил писательское дарование Достоевского. 28 марта /9 апреля 1877 г. Тургенев писал Достоевскому: «Я решился написать вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое вы по праву занимаете в нашей литературе» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. М.—Л., «Наука». Письма, т. XII, кн. 1, 1966, стр. 129).

[8] О первой встрече с Некрасовым и Белинским и о чтении ими «Бедных людей» Достоевский рассказал в «Дневнике писателя» 1877 г. (XII, 29—32), а Д. В. Григорович в «Литературных воспоминаниях».

[9] В феврале 1846 г. в «Отечественных записках» напечатана статья Белинского о «Бедных людях» и «Двойнике», в которой похвалы, расточаемые второй повести, сопро-

вождаются мягкой критикой. Эта вполне благожелательная рецензия привела мнительного Достоевского в полное уныние. Отношения его с кругом «Современника» становятся все более натянутыми. Свою новую повесть «Господин Прохарчин» Достоевский отдает не Некрасову, а Краевскому в «Отечественные записки». Происходит ссора, посыпались насмешки и эпиграммы. Тургеневу и Некрасову принадлежит «Послание Белинского к Достоевскому», начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...

Подробнее об этом см. в «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой. М., 1956, а также: И. С. Тургенев. Указ. изд. Сочинения, т. I. М.— Л., 1960, стр. 360 и 607—609.

[10] Легенда, которая относится к «Бедным людям». Впервые об эпизоде с «каймой», не называя имени Достоевского, рассказал И. И. Панаев в «Современнике» (1855, № 12). Об этом якобы высказанном желании Достоевского вспоминал также П. В. Анненков в «Замечательном десятилетии» («Вестник Европы», 1880, № 4). А. С. Суворин возразил Анненкову в «Новом времени» (1880, 4 апреля и 2 мая), сообщив, что в «Петербургском сборнике», 1846 г. «Бедные люди» напечатаны без всякой «каймы». В письме к Суворину 14 мая 1880 г. Достоевский просит еще раз выступить с заявлением по поводу «каймы» («Письма», IV, стр. 143). 18 мая 1880 г. в «Новом времени» появилось заявление: «Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в „Вестнике Европы" П. В. Анненковым насчет „каймы", не было и не могло быть».

[11] По воспоминаниям Григоровича, этот эпизод действительно имел место в начале 1846 г., когда на вечере у Виельгорских Достоевский был представлен известной красавице Сенявиной (Д. В. Григорович. Отрывки из записной книжки.— «Ежемесячные литературные приложения к „Ниве"», 1901, XI, стр. 392—394).

[12] Мари *Севинье* (1626—1696) — французская писательница, прославилась своими письмами к дочери.

[13] Неточная цитата из письма Достоевского 1 октября 1859 г. («Письма», I, стр. 257).

[14] Л. Ф. Достоевская имеет в виду «Воспоминания о Достоевском» С. Д. Яновского, напечатанные в «Русском вестнике», 1884, № 4, а также письма в редакцию «Нового времени» о болезни Достоевского С. Д. Яновского и младшего брата писателя, А. М. Достоевского («Новое время», 1881, 24 февраля и 1 марта).

[15] Л. Ф. Достоевская неточно цитирует воспоминания о Достоевском А. Е. Ризенкампфа, напечатанные в кн.: «Биография, письма и заметки», стр. 64—65.

[16] Речь идет о Софье Петровне Хитрово.

[17] Жюль *Мишле* (1798—1874), французский историк.

[18] Сын писателя, умер в трехлетнем возрасте в 1878 г.

[19] По свидетельству А. Г. Достоевской, первая встреча Достоевского и Марии Федоровны произошла 22 декабря 1880 г. в доме гр. Менгден, где писатель выступал с чтением своих произведений в пользу приюта св. Ксении. Однако А. Г. Достоевская излагает эту встречу совсем иначе, указывая, что Мария Федоровна долго беседовала с Достоевским (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 368).

[20] Константин Константинович (1858—1915), великий князь, президент Академии наук, пианист, критик и поэт, подписывавший свои стихотворения: «К.Р.». Подробнее о взаимоотношениях Достоевского с ним см. в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской (гл. «Знакомство с великими князьями») и в статье Л. П. Гроссмана «Достоевский и правительственные круги 70-х годов» («Лит. наследство», т. 15, 1934). Здесь же опубликованы письма Константина Константиновича к Достоевскому (стр. 160—162). См. также в настоящ. томе стр. 134—139.

[21] Записка К. П. Победоносцева к Достоевскому 15 декабря 1880 г. — «Жизнь и труды Достоевского», стр. 313.

[22] Эта встреча Достоевского с будущим императором Александром III состоялась 16 декабря 1880 г.

Я. Б. ФОН БРЕТЦЕЛЬ

О ДОСТОЕВСКОМ

Публикация Н. З. Серебряной

Публикуемые воспоминания Я. Б. фон Бретцеля, домашнего врача Достоевских, сохранились в архиве А. В. Жиркевича. Александр Владимирович Жиркевич (1857—1927), военный юрист, литератор, был знаком со многими писателями, художниками, музыкантами, историками. Долгие годы он собирал материалы, связанные с жизнью и творчеством своих друзей и знакомых: автографы, рисунки, документы, фотографии. В 1926 г. он передал их в Толстовский музей.

Яков Богданович фон Бретцель (1842—1918) окончил Медико-хирургическую академию и много лет работал в Петербурге. Он заведовал тифозным отделением Обуховской больницы, а в 1868 г. был послан в Тверскую губернию на борьбу с тифом, служил сначала участковым врачом, а потом инспектором Врачебно-полицейского комитета. Девять лет Бретцель был ассистентом в детской клинике М. С. Зеленского, одного из крупнейших педиатров того времени, и до конца жизни оставался членом Общества детских врачей. Я. Б. Бретцель был опытным врачом, специалистом по внутренним и инфекционным болезням, много лет он занимался также частной практикой.

Бретцель знал Жиркевича с детства; снова встретились они в Военно-юридической академии, где Бретцель был врачом. Об их близком знакомстве свидетельствует приглашение на семейный вечер к Бретцелям («в тесном кругу моих друзей, родных и знакомых, конечно, без мундира и эполет» — открытка 7 октября 1888 г., полученная Жиркевичем перед выпускными экзаменами). С отъездом Жиркевича на службу в Вильну их дружеские отношения сохранились — они переписывались, сообщая друг другу о своих делах и планах. В 1888 г. Жиркевич послал Бретцелю извещение о своей свадьбе, в 1894 г. писал ему о своих литературных занятиях. Бретцель заинтересовался его сочинениями: «Очень вам благодарен за ваше желание познакомить меня с вашими поэтическими произведениями, после того тяжелого реального труда, который ежедневно выпадает на мою долю, я с удовольствием иногда отдыхаю за чтением беллетристических статей» (письмо 28 марта 1894 г.). Возможно, переписка продолжалась и после 1894 г., но письма не сохранились, во время первой мировой войны переписка, по-видимому, прервалась. В 1915 г., перед самым вступлением немецких войск в Польшу, Жиркевич уехал из Вильны в Симбирск. Вскоре он узнал о постигшем Бретцеля горе — о гибели на фронте его сына. Жиркевич тут же написал Бретцелю искреннее сочувственное письмо. В ноябре 1916 г. Бретцели жили в своем имении Шастово Новгородской губернии. Впервые старый врач проводил зиму не в Петербурге, но и в деревне он не бросил своего любимого дела: «Мне уже 74 года, которые дают себя чувствовать разными недугами, но в общем я еще настолько бодр, что не отказываюсь от деревенской практики, в которой крестьяне так нуждаются, и счастлив, что еще могу быть полезен ближнему»,— писал Бретцель Жиркевичу 10 ноября 1916 г. И в старости он сохранил ясность духа, любовь к людям и сознание честно прожитых лет: «Мысленно пробегая всю мою прошлую трудовую жизнь, могу чистосердечно сказать, что с пролетариата никогда ничего не брал за свой труд и работал не за страх, а за совесть...»(письмо 16 декабря 1917 г.).

Все чаще Бретцель обращался к прошлому — «ведь в старости воспоминания особенно дороги...» (письмо 22 января 1918 г.). Желание Жиркевича запечатлеть давние встречи и интересные события было ему понятно и дорого. «Жена моя находит вашу

идею — „стариковский альбом", как вы его называете, блестящей»,— сообщал Бретцель в этом же письме. Он с удовольствием исполнил просьбу Жиркевича и написал для его альбома свои воспоминания о Достоевском, которые отправил в Симбирск в том же письме 22 января 1918 г. «Исполняя вашу просьбу относительно воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском, я заранее извиняюсь за литературные недостатки моего автографа, так как никогда не упражнялся в этой области»,— писал он Жиркевичу. Вскоре пришло ответное письмо, где было еще несколько вопросов о Достоевском, о его болезни и смерти. Бретцель дополнил свои воспоминания в письме 3 марта 1918 г.

Благодаря любознательности и энергии Жиркевича дошли до нас эти интересные воспоминания о Достоевском, написанные старым петербургским врачом буквально в последние его дни. Бретцель скончался 4 апреля 1918 г. О его смерти Жиркевичу сообщила жена Бретцеля Анна Алексеевна; она писала: «Позвольте поблагодарить вас за ту радость, которую вы доставили Якову Богдановичу вашими письмами и приветом, лаской, а дорогими воспоминаниями невозвратных прошлых дней доставили ему много хороших минут».

22.I.1918

Мое знакомство с Федором Михайловичем Достоевским произошло по поводу заболевания его детей, когда я был приглашен в качестве врача [1]. Вероятно, я произвел благоприятное впечатление, так как с этих пор я сделался домашним врачом в семье Федора Михайловича.

Здоровье Федора Михайловича было сильно расстроено тяжелыми годами, проведенными на каторге, да и от природы он был слабого телосложения, и ему часто приходилось прибегать к медицинской помощи.

Болезнь и тяжелые жизненные испытания развили у Федора Михайловича раздражительность; мне нередко приходилось быть свидетелем этой раздражительности, а иногда и объектом ее. Я всегда невозмутимо выслушивал его, не возражая ему... Гнев скоро проходил, и он делался особенно ласков, вероятно, желая загладить свою несправедливую вспышку. Помню, как однажды я ему посоветовал есть побольше мяса; он вдруг разгорячился и повышенным голосом стал говорить: «Вы советуете мясо... Телятина — мясо, свинина — мясо, баранина — мясо, дичь — тоже мясо. Если вы говорите о бычьем мясе, то скажите: побольше говядины!»

Федор Михайлович в то время жил на Серпуховской улице, в более чем скромной квартирной обстановке, окруженный попечениями его любящей и энергичной жены — Анны Григорьевны, которая была и его секретарем и вела его дела по отношению изданий его произведений. Благодаря ее неусыпным трудам и практическому, деловому характеру она привела в порядок финансовые дела Федора Михайловича, и к концу его жизни их материальное благосостояние значительно улучшилось. Семья Достоевских с Серпуховской улицы переехала в более комфортабельную квартиру на Кузнечный переулок, угол Ямской, где он и скончался в 1881 году на моих руках.

Посещая Федора Михайловича, я часто встречал у него известного писателя Ореста Миллера и Николая Николаевича Страхова, который был моим преподавателем во Второй гимназии и о котором я сохранил самые лучшие воспоминания как о выдающемся педагоге и человеке.

Федор Михайлович был в это время занят своим «Дневником писателя», который брал у него немало времени и труда и, конечно, вызывал утомление его надломленного организма.

Федор Михайлович очень любил детей, и его отношения к ним всегда отличались особенною нежностью.

Прежде чем описывать последние минуты жизни Федора Михайловича, мне хочется упомянуть о той встрече с ним в зале Благородного собрания весною 1880 года, когда он согласился читать свое произведение на бла-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Рисунок В. И. Порфирьева

Внизу на листе факсимильное воспроизведение отзыва Достоевского: «Помещенный вами эскиз весьма недурен. Федор Достоевский».— «Осколки», 1881, № 2

готворительном вечере, который устраивали слушательницы Педагогических курсов; на этом же вечере читал и И. С. Тургенев [2], и тут, в комнате артистов произошла их встреча после долгой и тяжкой размолвки [3]. Моя жена, которая была одной из устроительниц этого вечера, рассказывает, что когда Тургенев вошел и на минуту остановился в дверях и окинул взглядом комнату, Федор Михайлович углубился в просмотр своего «Подростка», который был выбран им для чтения публике. Тургенев быстро и решительными шагами подошел к Федору Михайловичу и протянул первый ему руку. Федор Михайлович нерешительно приподнялся со стула, исподлобья взглянул на Тургенева и быстро подал руку. Ни слова не было сказано, и они расстались. Когда Достоевский вышел читать, Иван Сергеевич тоже пошел в залу и по окончании чтения громко аплодировал. Прием публики, конечно, был восторженный, учащаяся молодежь бурно выражала свой восторг, и Федор Михайлович выходил к публике и удалялся с просветленным лицом, какое мне редко приходилось у него видеть.

Я попросил провести меня в комнату для артистов, чтобы выразить Федору Михайловичу лично мое удовольствие по поводу его выступления, а также узнать и о его самочувствии после утомительного чтения. Он сиял, когда я вошел, особенно приветливо со мной поздоровался и тотчас спросил, достаточно ли громко он читал [4]. Я, в свою очередь, спросил, как он себя чувствует, не утрудил ли он себя продолжительным чтением, а он с добродушной улыбкой вытащил из кармана коробочку моих облаток с порошками и сказал: «Принял перед чтением и сейчас опять приму». Он был особенно в духе, и, я думаю, что внимание, оказанное ему Тургеневым, было также одною из причин, содействовавших его счастливому настроению.

Не прошло года с этого памятного для меня вечера, как однажды, приехав поздно с практики и едва успев сесть за обед, мне принесли записку Анны Григорьевны: «У мужа хлынула горлом кровь, приезжайте, ради бога!» [5] Конечно, я немедленно поспешил к больному. Увы, я уже застал Федора Михайловича в безнадежном состоянии; обильная потеря крови ослабила его настолько, что можно было принять только паллиативные меры. Следом за мною прибыли врачи Н. П. Черепнин [6] и профессор Кошлаков [7], и устроенная консультация подтвердила только мое печальное заключение о невозможности спасти больного. Федор Михайлович был в полном сознании, попросил привести детей, благословил их, потом стал что-то говорить слабеющим голосом жене, а потом просил читать Евангелие[8]. Мало-помалу сознание стало покидать его, и к утру он тихо скончался [9].

Всем известно, сколько любви и уважения к памяти Федора Михайловича было выражено со всех концов России и какие грандиозные похороны были устроены великому писателю.

Когда я приехал на одну из панихид, Анна Григорьевна жаловалась: «У меня отняли моего мужа, я не имею возможности ни на минуту остаться с ним одна, он теперь принадлежит всем, кроме меня».

3/III 1918

Теперь перехожу к ответам на интересующие вас вопросы относительно Федора Михайловича. Вы спрашиваете, чем он был болен. В то время еще микроб чахотки не был найден, поэтому строгого определения быть не могло, тем более что болезнь протекала хронически; объективное же исследование не оставляло сомнения, что это был туберкулезный процесс. В обоих легких были значительные разрушения (каверны), и разрыв легочной артерии в одну из каверн дал столь сильное кровотечение, остановить которое было не в наших силах, и вызвало смертельный исход. У меня в записной книжке сохранился рецепт кровоостанавливающей микстуры, прописанный профессором Кошлаковым, но книжка эта в Петрограде.



ДОСТОЕВСКИЙ

Гравюра Д. Рыжова, 1881, по фотографии К. Шапиро

Петербург, 1879

«Газета А. Гатцука», 1881, № 7, 14 февраля

Евангелие читала жена Федору Михайловичу, а что он ей говорил, я не мог слышать, так как он шептал ей на ухо, да и считал невежливым прислушиваться к интимному разговору.

Похороны я видел в одной из улиц; это была необычайно грандиозная процессия, так как хоронил, можно сказать, весь Петербург, и бесчисленные депутации несли венки на высоких штангах. Было огромное количество духовенства, потому что церковь считала Федора Михайловича ревнителем православия. Я не мог принять непосредственного участия в похоронах, так как меня ждали другие страждущие... Это был период самой напряженной врачебной деятельности, и я часто поступался своими личными желаниями ради исполнения долга. Помню, что особенный почет был оказан Федору Михайловичу судебным ведомством.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Я. Б. Бретцеля, по-видимому, рекомендовали Достоевским в самом начале 70-х годов как опытного детского врача, ассистента детской поликлиники доктора М. С. Зеленского. В 1873 г. Бретцель уже был домашним врачом Достоевских — он лечил и Федора Михайловича и Анну Григорьевну. Достоевский писал жене 26 июля 1873 г.: «А я серьезно было расхворался и даже немного лежал... Подожду немного и позову Бретцеля, если в Петербурге» («Письма», III, стр. 68). 22 мая 1874 г. Бретцель выслал для Достоевского в Старую Руссу рецепт травы от кашля (Л. П. Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского, стр. 226). 6 июня 1874 г. Достоевский писал Анне Григорьевне: «Бретцель расспрашивал о твоем здоровье и настоятельно сказал мне, что в Старой Руссе тебе бы надо было пить железную воду Швальбах Вейтбрун... Я просил его немедленно написать тебе с медицинским расписанием правил, как пить...» («Письма», III, стр. 99).

[2] Литературно-музыкальный вечер в пользу слушательниц Педагогических курсов состоялся 21 марта 1880 г. в зале Благородного собрания. Ни в книге М. К. Клемана «Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева» (М. — Л., «Academia», 1934), ни в работе Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского», ни в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской нет упоминания о том, что на этом вечере читал Тургенев. Однако это был не первый вечер, на котором Достоевский выступал вместе с Тургеневым (см. настоящ. том, стр. 316—321). Воспоминания Бретцеля дополняют эти сведения.

[3] Имеется в виду разговор Достоевского и Тургенева в Баден-Бадене в 1867 г., кончившийся полным разрывом (см. письмо Достоевского к А. Н. Майкову 16 августа 1867 г. — «Письма», III, стр. 30—32).

[4] Об этом пишет и А. Г. Достоевская: «Пред чтением Федор Михайлович всегда *боялся*, что его *слабый голос* будет *слышен лишь в передних рядах*, и эта мысль его огорчала. Но нервное возбуждение Федора Михайловича в этих случаях было таково, что обычно слабый голос его звучал необыкновенно ясно, и каждое слово было слышно во всех уголках большой залы» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 352—353).

[5] Жена Я. Б. Бретцеля Анна Алексеевна писала А. В. Жиркевичу об этой записке: «...Где-то, может быть, найду письмо его жены с приглашением Якову Богдановичу приехать как раз накануне его смерти» (письмо 20 мая 1918 г.).

[6] Николай Петрович *Черепнин* (1841—1906) — петербургский врач.

[7] Дмитрий Иванович *Кошлаков* (1835—1891) — профессор Медико-хирургической академии, к которому Достоевский иногда обращался за советом.

Бретцель не упоминает доктора А. А. Пфейфера, за которым, по словам А. Г. Достоевской, сам просил послать 26 октября 1881 г.

[8] Это Евангелие было подарено Достоевскому по дороге на каторгу, в Тобольском остроге женами декабристов. «Федор Михайлович не расставался с этою святою книгою во все четыре года пребывания в каторжных работах» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 375).

[9] Бретцель ошибается. Достоевский скончался в 8 часов 38 минут вечера 28 января 1881 г.

А. Г. Достоевская писала, что все врачи, лечившие Достоевского, надеялись на выздоровление. Из воспоминаний Бретцеля видно, что врачи считали положение Достоевского безнадежным.

А. А. ФОН БРЕТЦЕЛЬ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ И ТУРГЕНЕВЕ

Публикация И. С. Зильберштейна

В 1920—1940-х годах в зарубежных русских изданиях печаталось немало историко-литературных документов и мемуарных свидетельств о русских писателях прошлого века. Среди таких публикаций были и воспоминания о Достоевском. Но ни одно из них не зарегистрировано в вышедшей в 1968 г. книге «Библиография произведений Ф. М. Достоевского и литературы о нем. 1917—1965». Нет указаний на подобного рода мемуарные свидетельства, напечатанные за границей, и в библиографическом своде С. В. Белова «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» [1].

Одно из таких мемуарных свидетельств, написанное Анной Алексеевной фон Бретцель и опубликованное в парижской газете «Возрождение» (1930, № 1710, 6 февраля), здесь печатается впервые в нашей стране.

В рассказе о том, как Достоевский и Тургенев выступали в 1880 г. в зале петербургского Благородного собрания на литературно-музыкальном вечере в пользу нуждающихся слушательниц Женских педагогических курсов, мемуаристка красочно описала все перипетии приглашения писателей на этот вечер, как проходило чтение ими своих произведений и как каждый из них реагировал на выступление другого. Рассказ приобретает большое значение еще и потому, что до сих пор в литературе о Достоевском и Тургеневе об этом сведений не было.

Перед слушательницами Женских педагогических курсов Достоевский не выступал ранее. Тургенев же встречался с ними за год до того — 15 марта 1879 г. В его тогдашний приезд в Петербург стихийно возникли устроенные прогрессивными кругами, и прежде всего молодежью, чествования Тургенева, хотя для этого не было никакого конкретного юбилейного повода. Это было данью искреннейшего уважения к великому художнику слова. Сообщая Полине Виардо об одном из таких чествований в письме, недавно отысканном во Франции, Тургенев, в частности, писал: «Вообразите себе более тысячи студентов в грандиозном зале Дворянского собрания; вхожу; шум, способный обрушить дом; ура, шапки летят к потолку; затем два громадных венка; затем речь, выкрикиваемая мне в ухо юным делегатом от учащихся, речь, каждый оборот которой задевает недозволенное, взрывчатое; ректор университета в первом ряду кресел, весь бледный от страха; я, старающийся ответить так, чтоб огонь не оказался поднесенным к пороху, и в то же время старающийся высказать нечто большее, нежели банальности; затем, после чтения, вся эта толпа, движущаяся за мною по соседним залам, вызывающая меня с неистовством 20 раз подряд; девушки, хватающие мои руки... чтобы поцеловать их!!! То было подлинное безумие» [2].

Нечто подобное произошло спустя пять дней — 15 марта того же 1879 г., когда Тургенев впервые выступил на вечере в помещении Женских педагогических курсов. Об этом свидетельствует подробный отчет о вечере, появившийся в одном периодическом издании [3]. Приветственный адрес писателю прочла курсистка Е. М. Гедда, принимавшая участие в организации и второго литературно-музыкального вечера в следующем году и упомянутая в связи с этим в воспоминаниях А. А. фон Бретцель.

Мемуаристка пишет, что этот вечер состоялся в Благородном собрании в конце марта 1880 г. Точную дату называет А. Г. Достоевская — 21 марта. В своих воспоминаниях она сообщает: «В 1880 году, несмотря на то, что Федор Михайлович усиленно работал над „Братьями Карамазовыми“, ему пришлось много раз участвовать в литера-

турных чтениях в пользу различных обществ. Мастерское чтение Федора Михайловича всегда привлекало публику, и, если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят».

Говоря далее о запомнившихся ей публичных выступлениях Достоевского того года, Анна Григорьевна называет и состоявшийся 21 марта в зале Благородного собрния вечер в пользу Женских педагогических курсов: «Муж выбрал отрывок из „Преступления и наказания" — „Сон Раскольникова о загнанной лошади". Впечатление было подавляющее, и я сама видела, как люди сидели бледные от ужаса, а иные плакали. Я сама не могла удержаться от слез» [4].

Характерно, что А. Г. Достоевская не упоминает о выступлении Тургенева на этом вечере. Кроме того, по ее словам, Достоевский читал тогда отрывок из «Преступления и наказания». Бретцель же утверждает, что то был отрывок из «Подростка». И все же она права. Установить это удалось следующим образом.

В поисках анонса или сообщения о вечере 21 марта 1880 г. пришлось просмотреть почти все ведущие столичные газеты, но в десяти из них таких сведений не оказалось. И лишь в одиннадцатой — «Петербургской газете» — удалось отыскать заметку об этом вечере, к тому же весьма интересную. И так как в литературе о Достоевском она неизвестна, привожу ее полностью:

«В пятницу, 21 марта, в зале Благородного собрания состоялся литературно-музыкальный вечер в пользу недостаточных слушательниц педагогических курсов. В нем приняли участие: гг. Тургенев, Достоевский, Вейнберг, Плещеев и Потехин, а в музыкальной части: г-жи Велинская, Кузнецова, Бичурина, гг. Гольдштейн и Корякин. Нельзя не отнестись с особым сочувствием к цели этого вечера — дать средства недостаточным девицам получить высшее образование. С особою благодарностью должно обратиться к просвещенному начальству, благосклонно резрешившему этот вечер, к писателям и артистам, в нем участвовавшим, и к самим распорядительницам — курсисткам, принявшим на себя немаловажные заботы и хлопоты по его устройству. Вечер удался вполне, зала была полна, и сбор превысил две тысячи рублей, несмотря на то, что о вечере не было оповещено ни в афишах, ни в газетах.

К сожалению, нельзя умолчать, что наш высокоталантливый романист Ф. М. Достоевский сделал не особенно удачный выбор для чтения. Он прочел эпизод из своего романа „Подросток", и именно рассказ, как одна бедная молодая девушка, кончившая курс с золотой медалью в гимназии, ищет уроков, чтобы иметь хоть какие-либо средства к существованию. Вследствие ее публикации в газетах об уроках, она получает предложение поступить на содержание и обманным образом попадает в дом терпимости. Оскорбленная злонамеренными людьми и гонимая судьбою и крайностью, несчастная честная труженица кончает самоубийством: она повесилась. Нечего говорить, что рассказ в талантливом изложении автора и его прекрасном чтении производит тяжелое впечатление на слушателей. Но насколько уместно рисовать такую мрачную, хотя единично возможную, картину при молодых девушках, из которых многим предстоит борьба с жизнью и нуждою, и, может быть, наводить их на ложную мысль, что исход подобной непосильной борьбы один — самоубийство; насколько приличен на подобном литературном вечере, хотя и в сокращенном виде, рассказ, что произошло с его героинею в доме на Вознесенском проспекте,— это вопрос другой и вопрос весьма серьезный. Мы слышали, что выбор чтения будто бы опробован г. попечителем учебного округа, но сомневаемся в правдивости такого слуха. Мы готовы скорее всего отнести эту ошибку к болезненности г. Достоевского, весьма часто заставлявшей его забывать подробности своих многочисленных произведений. Что у чтеца никакой задней мысли не было, доказывает то, что он сам во время чтения заметно спохватился и сделал в некоторых местах значительные сокращения своего повествования» [5].

О том, что этот вечер был незабываемым событием в жизни слушательниц Высших педагогических курсов, свидетельствует одна из них — Серафима Васильевна Карчевская, вскоре ставшая женой великого физиолога И. П. Павлова. Вот что она пишет в своих воспоминаниях:

«Праздник! Литературный вечер! Да еще какой: принимали участие выдающиеся люди — писатели, певцы, певицы, музыканты! ⟨...⟩

Вхожу в зал и от волнения не узнала никого из своих друзей. Мчусь к подъезду, с которого приезжали приглашенные гости.

В небольшом зале на белоснежной скатерти, покрывающей длинный стол, сервирован чай с бутербродами, холодной закуской, дорогими печеньями, фруктами, конфетами и винами. Мне и в ум не приходит обратить внимание на угощение, когда в одной комнате со мной находятся Достоевский, Тургенев, Плещеев, Мельников, Бичурина...

Достоевский молча прохаживался вдоль комнаты, прихлебывая крепкий чай с лимоном. Тургенев старается казаться спокойным, но как-то неудачно подшучивает над хорошенькими делегатками, окружающими его. Мельников усердно закусывает, а Бичурина, придвинув к себе графинчик с коньяком, выпивает рюмку за рюмкой.

Тогда Мельников встает, подходит к ней, хлопает ее по плечу и говорит:

— Сократись, Аннушка! Помни, что ты на детском празднике.

— Да я только, чтобы согреться,— говорит она, встает из-за стола и идет в зал полюбоваться на этих „детей".

Первым читал Тургенев, величественный человек с красивой осанкой, с гривой седых волос над выразительным, умным лицом. Раздался его звучный голос. Читал Тургенев артистически — на разные голоса — и умел интонацией охарактеризовать каждое лицо. „Певцы" встали перед публикой как живые. По окончании гром аплодисментов и возгласы приветствовали Тургенева.

Когда все стихло, на эстраде появился маленький человек, бледного, болезненного вида, с мутными глазами, и начал слабым, едва слышным голосом чтение.

«Пропал бедный Достоевский!»— подумала я.

Но что случилось? Вдруг я услышала громкий голос и, выглянув на эстраду, увидела „Пророка"! Лицо Достоевского совершенно преобразилось. Глаза метали молнии, которые жгли сердца людей, а лицо блистало вдохновенной высшей силой!

По окончании чтения началось настоящее столпотворение. Публика кричала, стучала, ломала стулья и в бешеном сумасшествии вызывала: „Достоевский!".

Я не помню, кто подал мне пальто. Закрывшись им, я плакала от восторга! Как я дошла домой и кто меня провожал, решительно не помню. Уже позже узнала я, что провожал меня Иван Петрович. Это сильно сблизило нас.

Музыка, пение на этом вечере была только прелюдией пророческой речи Достоевского. Все время твердила я:

— Да, он зажег сердца людей на служение правде и истине!

Тут же я решила пойти к Достоевскому за советом относительно моих верований, что и исполнила впоследствии.

Должна сознаться, что подобного душевного подъема я никогда потом не испытывала» [6].

Несмотря на то, что воспоминания А. А. фон Бретцель были написаны спустя полвека после встречи с Достоевским и Тургеневым, эти немногие страницы сохранили, несомненно, всю непосредственность впечатлений, пережитых мемуаристкой на том вечере, оставшимся ей столь памятным. (Описание этого вечера см. также в воспоминаниях Я. Б. фон Бретцеля в настоящ. томе, стр. 310—312.)

Спустя некоторое время после встречи 21 марта 1880 г. на литературно-музыкальном вечере с постоянным домашним врачом Достоевского Я. Б. фон Бретцелем, Анна Алексеевна вышла за него замуж.

Умерла она в Париже 12 июня 1932 г.[7]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Проблемы жанра в истории русской литературы».— «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического ин-та имени А. И. Герцена». Л., 1969, вып. 320, стр. 274—316.

[2] И. С. Зильберштейн. Тургенев. Находки последних лет.— «Литературная газета», 1972, № 25, 21 июня.

Полным непониманием того, что происходило в 1879 г. в Петербурге во время чествования Тургенева, можно объяснить ошибочный перевод последних строк этого письма

в статье В. Я. Лакшина «„Почтовая проза“ И. С. Тургенева»: «девушки хватали меня за руки..., чтобы я их поцеловал!!!» («Иностранная литература», 1972, № 8, стр. 213).

[3] «Из жизни и литературы. (Хроника). И. С. Тургенев на музыкально-литературном вечере в Женских педагогических курсах».— «Женское образование». Педагогический листок для родителей, наставниц и наставников, издаваемый при С.-Петербургских женских гимназиях. 1879, № 3, стр. 203—206.

[4] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 350—351.

[5] *А. С.* Литературное чтение.— «Петербургская газета», 1880, № 59, 25 марта.

[6] С. В. Павлова. Из воспоминаний.— «Новый мир», 1946, № 3 стр. 116—117.

[7] «Возрождение», 1932, № 2569, 14 июня.

Благодаря напечатанному здесь извещению о смерти А. А. фон Бретцель удалось установить ее девичью фамилию — Любимова.

В 1880 году на Женских Педагогических курсах устраивался литературно-музыкальный вечер, память о котором оставила во мне неизгладимое впечатление.

Я была на словесном отделении первого курса, в числе некоторых других слушательниц меня выбрали распорядительницей вечера. Подобные вечера с благотворительной целью устраивались у нас часто, но редко удавалось соединить две таких знаменитости, как Достоевский и Тургенев.

Кроме «словесниц» — так было принято у нас называть слушательниц словесного отделения,— были выбраны распорядительницами и «математички», т. е. слушательницы математического отделения.

Мы обрадовались, когда узнали, что Тургенев приехал в Петербург, и тотчас собрались к нему, а математички решили обратиться к Ф. М. Достоевскому.

К Тургеневу мы отправились втроем: Е. М. Гедда, Гроссман и я. Тургенев остановился тогда на Малой Морской (впоследствии улица Гоголя) в меблированных комнатах. При Тургеневе состоял некто Топоров, которого мы и попросили объяснить Ивану Сергеевичу повод нашего приезда. Он тотчас же ввел нас в приемную.

Е. М. Гедда, самая смелая из нас, объяснила Тургеневу цель нашего посещения. Она сказала также, что помимо той радости, какую всем нам доставит его приезд, мы рассчитываем, что этот вечер даст большой сбор и облегчит материальную нужду многих наших слушательниц.

Со свойственной Ивану Сергеевичу любезностью он ответил:

—Вы знаете мое всегдашнее расположение к учащейся молодежи; вы не можете сомневаться в моем желании прийти вам на помощь, но, к сожалению, обстоятельства зависят не от меня: я дал подписку не участвовать ни в каких публичных выступлениях.

Но Е. М. не смутилась:

— А если мы все-таки попросим и нам разрешат?

Вероятно, Тургеневу показалась забавной самоуверенность Гедды, он спросил:

— На что же вы надеетесь?

— Мы обратимся к директору всех женских гимназий и педагогических курсов,— ответила Гедда,— который высказывал нам всегда сочувствие, он объяснит принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому, а принц наверное разрешит.

— Я от своего слова не отказываюсь,— сказал Тургенев,— и желаю вам успеха.

Он проводил нас до двери и сам открыл ее.

Мы вышли от Тургенева окрыленными, точно и не было никакого сомнения в успехе. Е. М. поехала просить Ивана Терентьевича Осина, директора всех женских гимназий и педагогических курсов, он в свою очередь обратился к принцу Ольденбургскому, и, к нашей великой радости, желанное разрешение вскоре было дано. Мы поехали опять к Тургеневу.

К сожалению, И. С. был болен, но тем не менее принял нас, извиняясь за свое беспомощное положение от припадка подагры, которого он опасался в день первого нашего посещения. Он был в коричневой вязаной фуфайке и лежал на диване под большим пледом.

Поздравив нас с успехом, он выразил надежду, что недуг его скоро пройдет и не помешает ему принять участие в нашем вечере, но просил не ставить его имени в программе.

Радостно вернулись мы на курсы, ничуть не ожидая, какая готовится нам встреча. А вышло так. Пока мы ездили к Тургеневу, математички, которым поручено было пригласить Достоевского, получили от него решительный отказ. Они с нетерпением ждали нас на первой площадке лестницы курсов и тотчас забросали упреками, взваливая на нас вину своей неудачи.

— Достоевский отказал нам,— кричали наперебой математички.— Это вы виноваты! Зачем вы были у Тургенева раньше, чем мы пригласили Достоевского? Вы обидели его. Теперь поезжайте сами. Он прямо сказал: «Вы были у Тургенева, зачем я вам? Или вы хотите собрать у себя всех писателей? Боитесь, что сбор будет неполный? Не беспокойтесь, имя Тургенева на афише соберет полную залу. Оставьте меня в покое. Я не поеду».

— Кто же помешал вам предупредить нас?— вмешалась я в спор.— Было условлено, что мы едем к Тургеневу, а вы к Достоевскому. Мы успели два раза съездить, а вы собрались только сегодня. Чья же вина?

Не помню, как мне пришло на мысль убедить математичек вторично навестить Достоевского. Говорила я это без всякой надежды на согласие с их стороны, просто, чтобы кончить эту неприятную историю. К нашему удивлению, пошептавшись между собою в стороне, они вдруг собрались и уехали.

Часа через два математички вернулись сияющие, встретив совсем другой прием у Федора Михайловича. Вероятно, пожалев о своей горячности, он обрадовался, увидев их вновь.

— Ну вот, я вижу, что вы добрые,— сказал он,— любите меня... Ну, будьте спокойны, я приеду к вам... приеду.

Он предложил чаю, усадил к самовару, угостил печением, варением, ласково поговорил с ними и отпустил их счастливыми и довольными домой.

Наступил день, которого мы ожидали с таким нетерпением. По настоянию тетки, у которой я жила и воспитывалась, я должна была надеть голубое барежевое платье с вырезом и полуоткрытыми рукавами (какие тогда носили). Это платье, помню, волновало меня и портило счастливое настроение — оно казалось мне слишком нарядным в сравнении с платьями подруг...

Конец марта, на улицах еще светло, каплет с крыш, из водосточных труб стекает вода и струится по лужам. Все в моих глазах так празднично и весело. Волнуясь, я вхожу в еще почти пустой зал Благородного собрания... На меня выпали обязанности по приему артистов. Ожидаемый приезд Достоевского и Тургенева вызывал у меня нервную дрожь. Кроме них, на концертное отделение были приглашены выдающиеся артисты и певцы, как, например, известное контральто Бичурина, виолончелист Вержбилович и другие.

Достоевский, который должен был читать в первом отделении, прибыл заблаговременно. Я поспешила к нему навстречу. Он оглядел меня с ног до головы и спросил отрывисто:

— Поете?

Вероятно, он принял меня за одну из приглашенных певиц, подумала я, и густо покраснела.

— Нет, я слушательница курсов.

— Вот,— сказал Достоевский,— не успел дома прочитать, а не прочтя заранее, нельзя выходить на эстраду. Всегда могут случиться неподходящие места, которые придется, может быть, выкинуть...

Я предложила ему сесть у столика, а сама опустилась на стул недалеко от входной двери, чтобы не пропускать любопытных.

И Тургенев не заставил себя долго ждать. Высокий, с седыми волосами, зачесанными назад, он появился в дверях. Приостановился, окинув быстрым взглядом отведенную для артистов комнату. Я поднялась навстречу. Он протянул руку и, осмотревшись, направился прямо к Достоевскому, погруженному в чтение «Подростка», отрывок из которого он собирался прочесть.

Достоевский даже вздрогнул от неожиданности быстрого движения Тургенева и неловко привстал. Молча они протянули друг другу руки, а Тургенев двинулся к молодежи, которая тотчас окружила его.

— Иван Сергеевич, я перед вами виновата,— шутливо сказала Леля Гедда,— я забыла предупредить вас, что вы записаны во второе отделение.

— Как хорошо было бы жить на свете, если бы все преступницы были похожи на вас,— улыбаясь, ответил Тургенев.

Я вспомнила, что обещала оставить место доктору Якову Богдановичу фон Бретцель, постоянному врачу Достоевского, и провести его в комнату для артистов, так как доктор непременно желал видеть Федора Михайловича после чтения, боясь за его самочувствие.

Музыкально-вокальные номера были исполнены, и пришла очередь Достоевского выйти на эстраду. Перед его выходом Тургенев выразил мне желание слышать его чтение, я прошла в залу, чтобы приготовить место.

Как полна была зала! Не только все места заняты, но стоят во всех проходах; очевидно, курсистки продали билеты без мест. По счастью, в первом ряду оставлено несколько кресел для официальных лиц. Одно из них я предложила Тургеневу.

Достоевский вошел в зал под шумные аплодисменты, долго не стихавшие. Тургенев сел и стал внимательно слушать чтение.

Достоевский читал то захватывающее место из «Подростка», где несчастная Оля, приехавшая из провинции в Петербург, напрасно ищет места, и, наконец, отец «подростка», без всякого злого умысла, предлагает ей, до приискания места, 30 рублей, которые она принимает. Но изверившаяся в добрых чувствах людей и их бескорыстии, она начинает сомневаться, следовало ли брать эти деньги, возвращает их после дикой сцены с отцом «подростка», и, придя домой, ночью вешается на гвозде, с которого случайно было снято зеркало.

Достоевский читал не очень громко, но таким проникновенным голосом, что становилось как-то жутко и казалось, что эту страшную сцену действительно переживаешь сама. Впечатление было так сильно, что аплодисменты раздались не сразу. Только когда прошло первое тяжелое впечатление, раздались аплодисменты. И Тургенев громко хлопал Достоевскому.

Когда Ф. М. вернулся в комнату для артистов, его уже поджидал доктор фон Бретцель.

— Как вы хорошо читали,— сказал он,— и не разу не кашлянули!

— А все благодаря вашим лепешкам,— сказал Достоевский и, вынув из кармана коробочку, сейчас же принял лекарство. Тут только узнали, какому риску подвергал себя Достоевский, исполняя свое обещание читать.

Пока он сидел и разговаривал с доктором, мы говорили с Тургеневым. Леля Гедда приставала к нему:

— Нет, мы не можем допустить, чтобы вы чего-нибудь не написали... Мы все ждем!

Тургенев, как бы шутя, ответил:

— Чего вы требуете? Ведь и старик Гете исписался под конец жизни. Неужели вы желаете и мне такой же участи?

Помню, он спросил меня:

— Вы приезжали ко мне в коричневой шляпе?

Я удивилась его памяти и опять сконфузилась.

— Вы действительно намерены себя посвятить педагогической деятельности? — спросил еще И. С.

Опять виновато мое голубое платье, подумала я, и поспешно ответила:

— Да, я серьезно готовлюсь к педагогической деятельности.

Достоевский захотел на любезность Тургенева ответить тем же и, когда тот пошел в залу навстречу шумной овации, Достоевский тоже вышел его слушать.

Тургенев выбрал «Певцов». Он читал громко, ясно, очень выразительно. Мне и теперь кажется, что все изображенные им лица запечатлелись во мне, как живые, не говоря уже о пении «певцов» рядчика и Яшки, носившего кличку Турка.

Несмотря на превосходное пение рядчика, победа оказалась на стороне Яшки. Рядчик и сам сознавал, что Яшка взял верх над ним и незаметно удалился из среды собравшихся. После пения в этом рассказе — попойка. Сцена произвела бы тяжелое впечатление на слушателей, если бы автор внезапно не перешел к комической сцене между двумя мальчишками. Один звал другого к отцу, и на вопрос «зачем?» коротко отвечал: «отец тебя высечь хочет». Эту сцену великолепно прочел Тургенев, она вызвала общий смех, который сменился бурей хлопков.

Вечер окончился. Довольные, счастливые, мы покидали зал, провожая гурьбой любимых писателей до выходных дверей.

Тогда мы не предвидели, что в январе следующего года придется идти за гробом Достоевского, а через три года и тело Тургенева привезут к нам из далекого Парижа.

А. Е. РИЗЕНКАМПФ

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Публикация Г. Ф. Коган

Воспоминания А. Е. Ризенкампфа в печати полностью не появлялись. Впервые они были частично процитированы и пересказаны О. Ф. Миллером в «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского» [1]. Эта публикация оставалась единственным источником воспоминаний о писателе друга его юности [2].

Доктор А. Е. Ризенкампф, ревельский друг М. М. Достоевского, сблизившийся с Федором Михайловичем в годы своего учения в Петербургской медико-хирургической академии, был одним из тех, кто первым откликнулся на опубликованное в газетах обращение ко всем «лицам, близко стоявшим к Достоевскому в ту или иную пору его жизни», предоставить в распоряжение издателей воспоминания и записки о великом писателе [3]. Ризенкампф прислал О. Миллеру свои записи в декабре 1881 г. из Пятигорска, где он безвыездно жил в последние годы жизни, занимаясь ботаникой [4]. Рукопись, переданная Миллеру, была до сих пор не известна. Недавно выяснилось, что она хранилась в частном собрании. Приложенное к ней сопроводительное письмо Ризенкампфа к Миллеру свидетельствует, что это первая тетрадь *воспоминаний* о Достоевском. Вторую тетрадь (воспоминания о встречах с Достоевским в Сибири) автор обещал выслать «в возможной скорости», если первая «удостоится» одобрения Миллера. Неизвестно, выполнил ли Ризенкампф свое обещание.

В «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского» приведены отрывки из воспоминаний Ризенкампфа, которые относятся к годам поступления и учения Достоевского в Инженерном училище и началу его литературной деятельности (1837—1844). Соединяя иногда отрывки воспоминаний из разных мест тетради, Миллер упустил некоторые существенные детали. Так, остались неуказанными многие не известные в биографии Достоевского адреса (дома, в которых он бывал в Петербурге и в Ревеле), имена тех лиц, с которыми он встречался и которые его особенно интересовали, имена авторов и названия книг, привлекавших в ту пору особый интерес Достоевского, библиотеки, в которых он абонировался, имена артистов балета и Александринского театра, увлекавших юного Достоевского.

Рукопись Ризенкампфа представляет собою тетрадь большого формата (27 X 21) в 67 страниц. В общей сложности материалы, приводимые О. Миллером из воспоминаний Ризенкампфа, составляют половину текста рукописи. Наиболее значительные страницы, не вошедшие в «Жизнеописание», мы публикуем ниже.

Отметим, что рукопись Ризенкампфа дает возможность уточнить и некоторые даты в биографии Достоевского. Так, Миллер, а вслед за ним и Л. П. Гроссман, указывают, что Достоевский вместе с Ризенкампфом был на представлении оперы «Руслан и Людмила» в апреле — мае 1842 г. [5] Однако опера «Руслан и Людмила» была поставлена на петербургской сцене весною 1843 г. [6] Рукопись Ризенкампфа позволяет сделать уточнение: в опере они были 18 апреля 1843 г. У Ризенкампфа находим и точную дату, когда Достоевский впервые читал друзьям отрывки из своих драматических опытов «Мария Стюарт» и «Борис Годунов».

В тетради Ризенкампфа содержатся ценные *воспоминания* о старшем брате писателя Михаиле Михайловиче Достоевском. До сих пор о различии характеров, литературных интересов и занятиях братьев в годы их детства и отрочества было известно лишь из воспоминаний их младшего брата Андрея Михайловича Достоевского [7].

Рукопись Ризенкампфа начинается со сравнительной характеристики братьев Достоевских, их облика и характера в годы юности и содержит несколько стихотворе-

ний Михаила Михайловича. «Мы с братом мечтали ⟨...⟩ о поэзии и поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три»,— писал Достоевский в «Дневнике писателя» 1876 г., вспоминая о поездке из Москвы в Петербург в мае 1837 г. (XI, 169). Стихи М. М. Достоевского считались утраченными. О них было известно лишь из писем Достоевского и их общего друга И. Н. Шидловского. В архивах сохранились только некоторые переводы М. М. Достоевского из Шиллера, сделанные им в поздние годы [8]. У Ризенкампфа находим переводы М. М. Достоевского из немецкой поэзии и те его лирические стихотворения, которые были написаны летом 1837 г. и в 1838—1840 гг. Ими тогда восхищались Достоевский и его друзья. «...Я никогда не был равнодушен к тебе; я любил тебя за стихотворения твои, за поэзию твоей жизни...» — писал Достоевский брату 1 января 1840 г. [9] С ним Достоевский любил беседовать о литературе и философии, потолковать о форме его стихов, иногда и «кое-что подчистить» [10] в них. В воспоминаниях Ризенкампфа М. М. Достоевский предстает мечтателем и возвышенным поэтом.

«Поэзия моя содержит всю мою жизнь, все мои ощущения, горе и радости. Это дневник мой!» — писал М. М. Достоевский к отцу [11]. Отражения душевной жизни искал и Достоевский в стихах брата: «Какая живая повесть о тебе, милый! И как близко она сказалась мне» [12],— писал ему Достоевский, получив из Ревеля «прелестные» лирические стихотворения, согревавшие сердце «приветным нашептом воспоминаний» [13]. Шидловский знал эти стихи наизусть [14]. Достоевский называет стихотворения «Прогулка», «Утро», «Роза», «Фебовы кони» и «много других» [15].

У Ризенкампфа, по его словам, хранилось около тридцати юношеских стихотворений М. М. Достоевского. В тетради мемуариста находятся лирические стихотворения, посвященные невесте, из которых одно написано в размере «клопштокских од», перевод из Гердера («Однажды сидела Забота задумчиво возле ручья...»), переводы из Гете.

Наибольший интерес представляет стихотворение «Видение матери», приведенное Ризенкампфом без последней строфы. Достоевский писал о нем брату 31 октября 1838 г.: «В твоем стихотворении „Видение матери" я не понимаю, в какой странный абрис облек ты душу покойницы. Этот замогильный характер не выполнен.— Но зато стихи хороши, хотя в одном месте есть промах. Не сердись за разбор» [16].

Однако в этом стихотворении выступают и реалистическая картина похорон матери, и грустное возвращение всей семьи с кладбища домой на Божедомку, и облик кроткой, поэтичной женщины, с «небесной улыбкой» и «светлым взглядом», много страдавшей от незаслуженных обид со стороны мужа. Предпоследняя строфа стихотворения говорит о том, что в памяти старших сыновей глубоко запечатлелись «слезы в ее приветливых очах» и «укоры обманчивой надежде», которые ощущаются и в сохранившихся ее письмах к мужу [17]. Форма «видений», «сновидений» была характерна для романтической поэзии 1830-х годов. Так писал свои стихотворения и Шидловский. К образам таких фантастических видений обращался и Достоевский в своих ранних произведениях. В тетради Ризенкампфа приведены неизвестные строки из стихотворений Шидловского («О дар поэзии, ты казнь, не наслажденье, С тобой постыл нам свет, ужасен жизни путь...»), которые, по свидетельству современников, «с увлечением читались и выучивались наизусть его поклонниками» [18]. Как указывает Ризенкампф, эти стихи были рекомендованы ему Достоевским для перевода на немецкий язык.

Ризенкампф приводит и свое, посвященное М. М. Достоевскому, стихотворение — подражание Гете, в котором, как он сообщает, Ф. М. Достоевскому особенно понравилась последняя строфа:

Ближних, как себя любить,
Зло, чтоб ненавидеть;
Для добра, для пользы жить,
Слабых не обидеть;

Быть защитой им от зла
И от оскорблений,
И нажить нам до конца
Дань благодарений.

Воссоздавая атмосферу, в которой жили братья Достоевские, вспоминая их друзей, Ризенкампф, кроме Григоровича и Шидловского, называет имя Станислава Осиповича Сталевского, до сих пор остававшееся неизвестным. С ним, по словам мемуариста, Ф. М. Достоевский «искренно подружился».

Ризенкампф пишет и о творческой манере Достоевского, о его настроениях и болезненном состоянии [19].

Многое в идейных интересах Достоевского осталось Ризенкампфу чуждым (так, он, как и другие товарищи Достоевского этих лет, например, Трутовский, не понял причин, приведших Достоевского к петрашевцам). Но его воспоминания, написанные о друзьях юности, много лет спустя, с глубоким уважением и сердечной теплотой, являются достоверным источником для биографии писателя.

В настоящее время рукопись Ризенкампфа хранится в Музее Ф. М. Достоевского в Москве, куда ее в юбилейные дни 1971 г. передал искусствовед Л. И. Гутман.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О. Ф. Миллер. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского.— «Биография, письма и заметки», стр. 30, 34, 41 42, 48—51, 64, 65, 139, 140.

[2] «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 111—116. Воспоминания Ризенкампфа (лишь те, которые относятся к началу литературного поприща Достоевского) напечатаны по материалам Миллера и с его замечаниями. См. также стр. 548—551 настоящ. тома.

[3] См., например «Новое время», 1881, № 1945; О. Миллер. Биография, письма и заметки...

[4] «Врач», 1895, № 50. Некролог А. Е. Ризенкампфа; Е. Польская. Пятигорский друг Достоевского.— «Ставропольская правда», 1965, 20 июня.

[5] «Жизнь и труды Достоевского», стр. 36.

[6] «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 396.

[7] «Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского». Л , 1930, стр. 43.

[8] «Из Шиллера», 1857.— Альбом Н. В. Гербеля.— ГПБ. «Дон Карлос».— ЛБ.

[9] «Письма», I, стр. 56.

[10] Там же, стр. 58, 72.

[11] Письмо М. М. Достоевского к М. А. Достоевскому 28 ноября 1837. — ЛБ, ф. 93, II. 4.29.

[12] «Письма», I, стр. 56.

[13] Там же, стр. 51.

[14] Там же, стр. 56.

[15] Там же, стр. 51.

[16] Там же, стр. 51.

[17] В. С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, стр. 109.

[18] Н. А. Решетов. Люди и дела минувших дней.— «Русский архив», 1886, кн. X, стр. 226—228.

[19] Миллер эти материалы упоминает. Не называя имени Ризенкампфа, он говорит лишь о том, когда началась эпилепсия у Достоевского. Полемика по этому поводу развернулась в феврале 1881 г. на страницах газеты «Новое время» (№№ 1778 и 1793); «Биография, письма и заметки...», стр. 139, 140.

Приступая к изложению моих воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском, я поневоле должен начать со старшего его брата, Михаила Михайловича, не только потому, что первоначальное мое знакомство было заключено с сим последним, но и потому, что влияние старшего брата на Федора Михайловича было огромное и жизнь их почти постоянно находилась в тесной связи, скрепившейся их неизменной дружбой и братскою любовью. Замечательно, что оба брата отличались в значительной степени друг от друга сложением, характером и типом физиономии. Михаил Михайлович на шестнадцатом году был таков же, каковым он остался во всю жизнь: невысокого роста, худощав, с несколько впалою грудью, лицо его было очень красивое, умное, продолговатое, слегка смуглое, осененное длинными каштановыми волосами; несмотря на постоянную бледность, цвет его был здоровым; глаза темно-голубые, открытые, весьма выразительные, часто оживленные, почти огненные; нос продолго-

ватый, слегка сгорбленный; губы тонкие, подвижные, нередко сжимавшиеся в виде насмешки. Разговор его был при первой встрече, особенно в кругу незнакомых людей, сдержанный, осторожный; затем, коль скоро удалось возбудить его сочувствие или затронуть живую нотку по которому-нибудь из любимых предметов, например, литературе, музыке, он делался более сообщительным и, наконец, вдохновлялся; в декламации не было ему подобных.

Федор Михайлович, напротив, был в молодости довольно кругленький, полненький, светлый блондин, с лицом округленным и слегка вздернутым носом. Ростом он был не выше брата; светлокаштановые волосы были большею частию коротко острижены; под высоким лбом и редкими бровями скрывались небольшие, довольно глубоко лежащие серые глаза; щеки были бледные, с веснушками, цвет лица болезненный, землистый; губы толстоватые. Он был далеко живее, подвижнее, горячее степенного своего брата, который при совместном жительстве нередко его удерживал от неосторожных поступков, слов и вредных знакомств; он любил поэзию страстно, но писал только прозою, потому что на обработку рифмы не хватало у него терпения; хватаясь за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, он, казалось, весь кипел; мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил до какого-то исступления, природная прекрасная декламация выходила из границ артистического самообладания; сиплый от природы голос его делался крикливым, пена собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около себя. Притом ему вредили испорченные от постоянной привычки к курению трубки зубы. Михаила Михайловича я никогда не видел сердитым; в минуту неудовольствия он разве пустит бывало какую-нибудь тонкую, нередко едкую насмешку; это был человек общества, не увлекавшийся, большею частью ласковый, хотя часто и холодный, обходительный, вследствие природной доброты всегда склонный к оптимизму; Федор Михайлович был не менее добр, обходителен, но будучи не в духе, он часто смотрел на все сквозь черные очки, разгорячаясь, он забывал приличие и увлекался иногда до брани и самозабвения.

Это было в июле месяце 1837 года ⟨в Ревеле.— *Г. К.*⟩ ⟨...⟩ Михаил Михайлович, пригласив меня в занимаемую им кондукторскую комнату, сообщил мне многие из своих юношеских стихотворений и между прочими: «Видение матери».

Уж было заполночь. На тверди голубой
Луна стыдливая средь хора звезд купалась,
И в пене облачка, бежавшего струей,
Она задумчиво, беспечно полоскалась.

А небо синее в бездонных высотах
В нее влюбленное, вздыхая в утомленьи,
То закрывалося в серебряных венках,
То вновь являлося в лукавом отдаленьи.

И ясный свет луны смутился на лугах,
И тканью белою, скользящею ложился;
Казалось островов златых архипелаг
На море зелени причудливо носился.

Какой-то грустию подернулася даль,
Чуть-чуть рисуяся в серебряном тумане,
Вблизи ж нагих лугов стемневшая эмаль
Очам являлася в пленительном обмане.

И я задумчиво очами обнимал
Окрест так сладостно дремавшую природу,

Покуда сон меня крылами не обнял
И я уснул,— уснул, как не спалось мне сроду.
И видел я во сне: в бездонных высотах
Казалось, будто бы все небо всколыхнулось,
Разверзлося на миг — и в розовых лучах
Ко мне видение на облачке спускалось.
А в небе слышались еще аккорды лир
И гасли в воздухе, сюда не долетая,
И он безмолвствовал, воспетый в небе мир;
И он безмолвствовал, как будто умирая.
И все вокруг меня со святостью немой,
С каким-то трепетом чего-то ожидало,
И мне все чудилось, что музыкой одной
Все царство сфер свое теченье совершало.
Но ближе облачко прозрачное к земле,
Чуть колыхаяся, торжественно подходит
И на темнеющей ночной туманной мгле
Узоры светлые причудливо выводит.
Ни звука в воздухе. Лишь только вдалеке
Туманно-белое является виденье,
И чу! мне слышится в небесной вышине
За ним архангелов торжественное пенье.

Встаю, гляжу, и что ж? То матери моей
Умершей с год тому бесплотное явленье!
Гряди, гряди ко мне, подруга юных дней;
Гряди, о лучший друг, мне дать благословенье!
О! если бы я мог, о если бы я смел
Тебя хоть раз обнять, как прежде то бывало!
Но нет, мой друг! Зачем? Теперь иной предел,
Иную жизнь тебе блаженство даровало.

О тень, мне милая! А сколько было слез,
Когда я, горестный, с тобою расставался,
Когда я в божий храм твой гроб отверстый нес
И там в последний раз с тобой, мой друг, прощался!
Когда в могильный ров я бросил горсть земли,
Когда пропели вдруг: «Покойся со святыми!»
И в землю поклонясь, домой все побрели,
Толкуя кой о чем с домашними своими.

Но нет! Зачем, мой друг, слезами отравлять
Часы свидания желанного с тобою!
Ты вновь, ты вновь со мной! Чего ж еще желать?
Ведь ты останешься теперь всегда со мною.
Скажи мне, милая, когда на небесах
Одною жизнию с тобою жить я буду?
Когда я к господу, на ангельских крылах
Взлетев, все горести земные позабуду?

Мне грустно на земле! Мне тяжко на земле,
И часто я грущу и часто я здесь плачу!
Мое грядущее сокрылось в черной мгле,
А настоящее ловлю я наудачу!
Порой задумчиво смотрю на небеса,
Где звезды пущены десницею владыки,
Где солнце светится, где вечная краса,
Где слышны ангелов торжественные клики.

Смотрю и думаю: мне все здесь говорит,
Что, лишний гость земли, я должен здесь томиться,
Я должен видеть здесь, что все меня бежит,
Как даже самая судьба меня дичится.
Скажи, мой друг, скажи: что ждет нас в небесах
На лоне божием, в садах роскошных рая,
И скоро ль к господу на ангельских крылах
Взлетит душа моя, о горе забывая?..
Но гостья светлая таинственно молчит,
И ясный лик ее, на небо обращенный,
Лучами лунными казалось был налит,
А взор покоился на тверди полуденной.
Все та ж небесная улыбка на устах,
Все тот же светлый взгляд, все тот же, как и прежде,
Но слез уж не было в приветливых очах,
Укоров не было обманчивой надежде.
Прозрачный лик ее был к звездам устремлен
И их алмазными лучами озарялся . . . . . .
. . . . . .

Последние заключительные строфы этого стихотворения, к сожалению, у меня затерялись. Михаил Михайлович все свои опыты сообщал молодому поэту Шидловскому, состоявшему и с Федором Михайловичем в постоянной переписке ⟨...⟩

В июле месяце, после производства кондукторов Мусселиуса (служившего впоследствии в Омске и покровительствовавшего там по возможности Федору Михайловичу во время его ссылки) и Ритчера в первый офицерский чин, Михаилу Михайловичу и мне предоставлено было занять обе кондукторские вакансии при ревельской Инженерной команде. Михаил Михайлович был годом старше меня (он родился в 1820 году). Я уже сказал, что он тогда занимал один обширную кондукторскую комнату в третьем этаже ревельского Инженерного дома на Новой улице (Neugasse). Служебные занятия предоставляли ему довольно свободного времени, чтобы предаться поэзии, и все его стихотворения, написанные чисто и четко (красивым почерком, чрезвычайно сходным с почерком Федора Михайловича) на гладко и стройно обрезанных осьмушечках, лежали открыто на рабочем столе молодого поэта. Он тогда верил глубоко в свое поэтическое призвание и нередко повторял переведенные им стихи Гете:

Не знаю, чем бы я был, не имей я поэзии дара,
Но с ужасом вспомню о том, что тысячи суть без него.

Не мерещилось ему тогда, что через 15 лет ему придется поместить над одним из окон своего магазина у Банковского моста в Петербурге другие стихи:

Сей магазин открыт писателем одним,
Который, видя, что его творенья плоски,
А слава лишь мечта и дым,
Пустился делать папироски.

⟨...⟩ Часы, проведенные в июле, августе и сентябре месяцах 1837 года в обществе Михаила Михайловича Достоевского, останутся навсегда одним из приятнейших воспоминаний моей жизни. К сожалению, им суждено было скоро прекратиться. Михаил Михайлович был уже в июле месяце утвержден кондуктором ⟨...⟩

В октябре я отправился в Петербург с целью поступления в императорскую Медико-хирургическую академию, и Михаил Михайлович, провожая меня до парохода, дал мне письмо к младшему брату с просьбой немедленно по прибытии в Петербург познакомиться с Федором Михайловичем ⟨...⟩

В ноябре месяце 1837 года я посетил в первый раз Федора Михайловича и Инженерном училище ⟨...⟩

Свидания мои с Федором Михайловичем в конце 1838 и в начале 1839 года сделались довольно редкими. К счастью, новый президент ⟨Медико-хирургической академии.— *Г. К.*⟩ Шлегель по высокому своему просвещению и сердечной доброте был настоящим отцом для студентов; он был страстный любитель музыки; с целью распространения ее он дал в мое распоряжение отдельную комнату (24-й номер), в которой помещался рояль. Во время летних вакаций 1839 года Федор Михайлович нередко приезжал ко мне, и мы здесь восхищались вместе не только новостями литературы, но и музыки. Немало было любителей, присоединившихся к нашему времяпровождению. В числе их упомяну о незабвенном товарище, Станиславе Осиповиче Сталевском, искренно подружившимся с Федором Михайловичем.

В декабре 1840 года приехал в Петербург Михаил Михайлович держать экзамен на чин прапорщика полевых инженеров ⟨...⟩ Квартира его была на Васильевском острове (кажется, по 9-й линии) у вдовы Изуматовой ⟨...⟩ Здесь мы встречались часто с Федором Михайловичем. Михаил Михайлович ⟨...⟩ нам читал отрывки своих переводов Шиллеровского «Дон Карлоса» и «Германа и Доротеи» Гете. Много было у него новых лирических стихотворений ⟨...⟩ Из них запечатлелись в моей памяти последние строфы одного:

Поэт! один лишь ты родишься без наследства,
И без защитников свершаешь жизни путь!
Приемыш мира ты; мир холит твое детство,
Чтоб после от груди тебя же оттолкнуть;

Чтоб омрачить твой дух холодностью, презреньем,
Чтоб ты весь век стонал под ношей адских мук.
Мир смотрит на тебя с улыбкой, с восхищеньем
За тем, что стон твой — песнь, а плач твой — райский звук.

⟨...⟩ 16 февраля 1841 г. Михаил Михайлович, покончив с прощальными визитами, собрал немногочисленных своих знакомых и друзей на прощальный вечер. Здесь был и Федор Михайлович, который в первый раз нам читал отрывки из двух драматических своих опытов: «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова». Михаил Михайлович читал нам довольно пространное стихотворение «Беседа двух ангелов» и некоторые другие. После дружного ужина мы расстались. Рано утром 17-го числа Михаил Михайлович уехал в Ревель.

После отъезда Михаила Михайловича мы в 1841 г. с Федором Михайловичем виделись довольно редко. Я знал, что он готовился к выходному экзамену из училища и потому усиленно занят был изучением требовавшихся при этом экзамене предметов. По окончании экзамена он был выпущен в числе лучших офицеров. Два года оставалось ему еще пробыть в офицерских классах училища ⟨...⟩

Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 годах в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не бывал, но Федор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлении, которое на него производили танцовщицы Тальони, Шлефахт, Смирнова, Андреянова и танцовщик Иогансон. Преимущественно

процветал тогда Александринский театр. Такие артисты, как Каратыгины, Брянский, Мартынов, Григорьевы, г-жи Асенкова, Дюр и пр. производили неимоверное впечатление, тем более на страстную, поэтическую натуру Федора Михайловича. На французской сцене мы одинаково восторгались такими талантами, как супруги Алланы, Vernet и его сестра m-me Paul Ernest, Mondidier, Bressant (которого впоследствии заменил не менее даровитый Deschamps), Tétard, Dumenel, m-me Louisa Mayer, m-lle Mila, Malvina и пр. На немецком театре тогда выдавались двое: г. Кунст и г-жа Лилла Леве. Впечатление, произведенное последней актрисою на Федора Михайловича в роли Марии Стюарт, было до той степени сильно, что он решился разработать этот сюжет для русской сцены, но не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно с данными истории. В 1841 и 1842 годах это была одной из главных его задач, и то и дело он нам читал отрывки из своей трагедии «Мария Стюарт».

Второе место в числе петербургских удовольствий занимала музыка. В 1841 году публика восхищалась концертами известного скрипача Оле-Буля. С 9 апреля 1842 года начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов (сначала по 25, после по 20 рублей ассигнациями), мы с Федором Михайловичем не пропускали почти ни одного концерта. Федор Михайлович нередко посмеивался над своими друзьями, носившими перчатки, шляпы, прическу, тросточки à la Liszt. После одного из концертов, в тесноте при выходе из залы, у него была оторвана кисточка от шпажного темляка, и с тех пор до самой отставки он ходил без этой кисточки, что, конечно, было замечено многими, но Федор Михайлович равнодушно отвечал на все замечания, что этот темляк без кисточки ему дорог, как память о концертах Листа. Впрочем, собственно к музыке Федор Михайлович никогда не относился с тем восторгом, как старший брат его. Михаил Михайлович во всю жизнь был страстным любителем музыки ⟨...⟩ Кроме этих удовольствий молодые люди находили еще развлечение на вечеринках в частных домах. Но Федор Михайлович имел мало знакомств и вообще чуждался их, чувствуя себя в семейных домах не в своей сфере. Оставались балы и маскерады в Дворянском собрании. Наконец, для так называемой jeunesse doreé* существовали еще танцклассы с шпицбалами: Марцынкевича, Буре́, мадам Кестениг, Рейхардта и пр., и в летнее время загородные гулянья. Понятно, что Федор Михайлович при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать, кидался без разбора в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маскерадов и пр., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу и его приманкам. Непостижимы были мне непомерные его расходы, несмотря на сравнительную умеренность в удовольствиях ⟨...⟩

Весною 1843 года здоровье Федора Михайловича стало поправляться. По-видимому, и материальные его средства улучшились; во время великого поста он навещал концерты вновь прибывшего Листа, знаменитого тенора Рубини и кларнетиста Блаза. 18 апреля мы были на представлении «Руслана и Людмилы». С привычным увлечением он мне декламировал отрывки из сочинений Гоголя, также Ламартина «Le poete mourant», но более всего он занимался чтением французских романистов, особенно «Confession générale» Фредерика Сулье, «Deux contes bruns» Бальзака, «Japhet a la recherche d'un père» Марриэта и т. п.

⟨...⟩ Скажу несколько слов об обыкновенном ежедневном препровождении времени Федора Михайловича. Не имея никаких знакомств в семейных домах, навещая своих бывших товарищей весьма редко, он почти

* золотой молодежи (*франц.*).

все время, свободное от службы, проводил дома. Служба ограничивалась ежедневным (кроме праздников) хождением в Инженерный замок, где он с 9 часов утра до 2-х часов пополудни занимался при Главном инженерном управлении. После обеда он отдыхал, изредка принимал знакомых, а затем вечер и большую часть ночи посвящал любимому занятию литературой. Какую ему принесет выгоду это занятие, о том он мало думал. «Ведь дошел же Пушкин до того, что ему за каждую строчку стихов платили по червонцу, ведь платили же Гоголю,— авось и мне заплатят что-нибудь!»— так выражался он часто.

Когда были деньги, он брал из кондитерской последне-вышедшие книжки «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» или другого журнала, нередко абонировался в которой-нибудь библиотеке на русские и французские книги. У меня были из новеньких немецких беллетрических сочинений творения Карла Бека, Фрейлиграта, Рюккерта, Ник. Ленау, Эм. Гейбеля, А. Грюна, Иммермана, Ферстера, Гервега, Ланге, Г. фон Фаллерслебена, Гейне и Берне и пр. Федор Михайлович считал истраченные на эти сочинения деньги брошенными; единственные интересовавшие его стихи были: «Es kamen nach Frankreich zwei Grenadier» Гейне и «Janko, der ungarische Rosshirt» К. Бека. Во время безденежья (т. е. всего чаще) он сам сочинял, и письменный стол его был всегда завален мелко, но четко исписанными цельными или изорванными листами бумаги. Как жаль, что он в хранении своих листков не соблюдал порядка и аккуратности своего старшего брата!

〈...〉 Я старался познакомить его в некоторых семейных домах. Первым в том числе был дом почтенного бельгийца Монтиньи, служившего механиком при арсенале 〈...〉 Монтиньи жил в соседстве с нами в Эртелевом переулке в доме аптекаря Фромма 〈...〉 На Выборгской стороне была известная ситцевая фабрика швейцарца Шугарта. Еще будучи студентом, я нередко проводил праздничные вечера в этом прекрасном семействе, где кроме образованных иностранцев, собирались и ученые люди, например, известный писатель доктор Максимилиан фон Гейне (брат поэта), профессор Хоменко, товарищ мой, живописец и скульптор Андерсон и пр. Служившие в фабрике брат известного естествоиспытателя и туриста фон Чуди и писатель Г. Фрей навещали меня нередко и познакомились с Федором Михайловичем.

Но будучи не совершенно тверд во французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться, и в один вечер разразился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то «enragé» * и почли за лучшее ретироваться. Несколько дней сряду Федор Михайлович просил меня убедительно оставить всякую попытку к сближению его с иностранцами. «Чего доброго,— женят меня еще на какой-нибудь француженке и тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!»

Гораздо лучше Федор Михайлович сошелся с некоторыми товарищами моими из поляков. Первое место в том числе занимал выше уже упоминаемый незабвенный друг мой Станислав Осипович Сталевский. Он происходил из хорошего семейства Витебской губернии и провел юношеские лета в военной службе. Неудачи заставили его через покровительство своего дяди Солтана пристроиться к Медицинской академии, когда ему был уже 23-й год. Военная выправка, стройный высокий стан, красивое лицо с выразительно польским типом, в котором просвечивало истинное добродушие, соединенное с замечательным умом, приятные манеры — все это сделало Сталевского любимцем хорошего женского общества. Разговор его был увлекательный, но всегда обдуманный и осторожный.

---

* безумца (*франц.*).

Опытность жизни отличала его перед товарищами, которые все были моложе его летами. Он был одинаково любим и уважаем равно своими товарищами, как и начальниками. Посещения его были Федору Михайловичу особенно приятны, так что, услышав голос его, он нередко бросал свои занятия, чтобы наслаждаться умною и приятною беседою. Сталевский знакомил нас обоих с сочинениями Мицкевича, и многие из прекрасных его сонетов тогда же были мною переведены на немецкий язык.

〈...〉 Я выше говорил о постоянной болезненности Федора Михайловича. В чем состояла эта болезненность и от чего зависела она? Прежде всего он был золотушного телосложения, и хриплый его голос при частом опухании подчелюстных и шейных желез, так же землистый цвет его лица указывали на порочное состояние крови (на кахексию) и на хроническую болезнь воздухоносных путей. Впоследствии присоединились опухоли желез и в других частях, нередко образовывались нарывы, а в Сибири он страдал костоедой костей голенных. Но он переносил все эти страдания стоически и только в крайних случаях обращался к медицинской помощи. Гораздо более его тревожили нервные страдания. Неоднократно он мне жаловался, что ночью ему все кажется, будто бы кто-то около него храпит; вследствие этого делается с ним бессонница и какое-то беспокойство, так что он места себе нигде не находит. В это время он вставал и проводил нередко всю ночь за чтением, а еще чаще за писанием разных проектированных рассказов. Утром он тогда был не в духе, раздражался каждой безделицей, ссорился с денщиком, отправлялся расстроенный в Инженерное управление, проклинал свою службу, жаловался на неблаговоливших к нему старших инженерных офицеров и только мечтал о скорейшем выходе в отставку. О болезненной его раздражительности, об опасении наступления какого-то летаргического сна пишет и брат его Андрей Михайлович в № 1778, 8 февраля 1881 года газеты «Новое время». Впрочем, и обстоятельства расстраивали его. То и дело он нанимал писарей для переписки черновых своих сочинений и выходил из себя, видя их ошибки и бесполезно им истраченные деньги. Между тем время шло, и Федор Михайлович до 23-летнего возраста не заявил о себе еще ни одним печатным сочинением.

Друзья его, как-то Григорович в 1844 году поставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом; Патон оканчивал перевод «Истории польского восстания Смиттена», Михаил Михайлович оканчивал перевод «Дона Карлоса» Шиллера; я сам помещал разные статейки на немецком языке в «Магазине для немецких читателей в России» Л. Т. Эльснера, а Федор Михайлович, глубоко веривший в свое литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов, но не успел еще составить ни одного вполне оконченного литературного труда. Притом денежные его обстоятельства со дня на день более и более приходили в упадок. Все это расстраивало его нервы и производило припадки какого-то угнетения, заставлявшие опасаться нервного удара или, как он выражался, кондрашки. Я как врач давно заметил его расстройство, требовавшее необходимо деятельного медицинского пособия, но я приписывал все это неправильному образу жизни, бессонным ночам, несоблюдению диеты. Федор Михайлович любил скрывать не только телесные свои неудачи, но и затруднительные денежные обстоятельства. В кругу друзей он казался всегда веселым, разговорчивым, беззаботным, самодовольным. Но немедленно по уходе своих гостей он впадал в глубокое раздумье, затворившись в уединенном кабинете, выкуривал трубку за трубкой, обдумывал печальное свое положение и искал самозабвения в новых литературных вымыслах, в которых главную роль играли страдания человечества.

П. Г. КУЗНЕЦОВ

НА СЛУЖБЕ У ДОСТОЕВСКОГО в 1879—1881 гг.

Публикация И. С. Зильберштейна

Общеизвестно, что воспоминания и дневниковые записи являются ценнейшим источником для биографии и творческой истории произведений писателя. И несмотря на то, что зачастую мемуары грешат неточностями, субъективными и даже предвзятыми оценками, в них интересен каждый содержательный факт, каждое меткое наблюдение, помогающие понять и личность выдающегося писателя, и его художественные искания.

Количество воспоминаний о Достоевском сравнительно невелико. Так, до последнего времени их насчитывалось 190 (в то время как о Тургеневе опубликовано свыше 350 мемуарных свидетельств). Воспоминания и дневниковые записи о Достоевском заключают весьма значительный материал для познания внутреннего мира писателя и его творческих устремлений; прежде всего это относится к написанному о нем А. Г. Достоевской, на протяжении почти пятнадцати лет бывшей другом и верной помощницей мужа.

При существующем огромном интересе к Достоевскому внимание читателей и исследователей не могут не привлечь и те воспоминания о нем, которые оставались неизданными или малоизвестными. К их числу принадлежат воспоминания Петра Григорьевича Кузнецова, с юных лет — с конца 1879 г.— служившего у Достоевских и помогавшего Анне Григорьевне в ее занятиях торговлей книгами. Для того чтобы сообщения Кузнецова были понятны, приведу текст объяснения, появившегося в начале 1880 г. в ряде петербургских и московских газет, а также в журнале «Российская библиография»:

«С 1 января 1880 года открыта книжная торговля Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних), С.-Петербург, Кузнечный пер., дом № 5.

Иногородним покупателям высылаются всевозможные книги на русском языке, учебники, учебные пособия. Принимается подписка на все журналы и газеты. Иногородние покупатели прилагают за пересылку приблизительно по 10 коп. с рубля. Учебные заведения пользуются бесплатной пересылкой. Поручения исполняются немедленно.

Там же продаются следующие сочинения
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО:

„Униженные и оскорбленные", пятое издание, 1880 г. Один том (30 лист.). Ц. 2 р. 50 к.; роман „Бесы", три тома, ц. 3 р. 50 к.; роман „Идиот", 2 тома, ц. 5 руб.; роман „Преступление и наказание", 2 тома, ц. 3 р. 50 к.; роман „Записки из Мертвого дома", 1 том, ц. 2 р.; „Дневник писателя" за 1876 год, 1 сброш. том, ц. 2 р. 50 к.; „Дневник писателя" за 1877 год, 1 сброш. том, ц. 2 р. 50 к.; „Подросток", 3 тома, ц. 3 р. 50 к.

Гг. иногородние, выписывающие от автора, за пересылку не платят».

Вела все эти дела по книжной торговле А. Г. Достоевская. Рассказывая об этом предприятии в своих воспоминаниях, она пишет: «От меня лично книжная торговля не отнимала много времени: приходилось лишь вести ⟨конторские⟩ книги, записывать требования и писать счеты. Мальчика же мне рекомендовали уже служившего в книжном магазине, и Петр, несмотря на свои пятнадцать лет, отлично справлялся с покупкой книг и их отправкою». Петр и есть автор печатаемых ниже воспоминаний.

В бумагах Достоевского, бережно собранных его женой и ныне хранящихся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, имеется

подлинная доверенность от 3 января 1881 г., по которой Петр Кузнецов получал на столичном почтамте все присылаемое на имя писателя. На лицевой стороне документа оттиснут резиновый штамп, а в оттиск писарской рукой внесены слова, которые даются нами в разрядку; сверху слева в документе стоит « № 382», сверху справа — «на 1881 г.» (публикуется впервые):

«Билет

на получение по нижеуказанным правилам из С.-Петербургского почтамта в течение 1881 г. чрез предъявителя сего билета имеющей поступить на имя Федора Михайловича Достоевского, его книжной торговли и редакции «Дневник писателя» корреспонденции всякого рода.

Билет выдан из С.-Петербургского Почтамта
января 3 дня 1881 г.

Адрес: Ямская и Кузнечный пер., д. № 5/2, кв. 10.

Помощник почт-директора ⟨Подпись⟩
Экспедитор ⟨Подпись⟩

На обороте рукою писателя:

«По сему билету доверяю получать денежные письма и посылки Петру Кузнецову.
Отставной подпоручик Федор Михайлович Достоевский»

Ниже отметки почтамта о получениях:

11 п. 44 р.—	10 января 1881 г.	24 п. 141 р. 50—	19 января 1881 г.
17 п. 54 р.—	12 —»—	8 п. 98 р.—	21 —»—
21 п. 80 р.—	14 —»—	8 п. 30 р.—	22 —»—
11 п. 45 р.—	15 —»—	12 п. 39 р.—	25 —»—
8 п. 48 р.—	16 —»—	31 п. 123 р. 35—	26 —»—
		14 п. 51 р.—	28 —»—

Как явствует из этой доверенности, в последний раз Петр Кузнецов получил на почтамте присланные на имя Достоевского деньги 28 января 1881 г.— в день смерти писателя. Выданная им доверенность утратила законную силу, и Кузнецов вернул ее Анне Григорьевне. Таким образом этот документ сохранился до наших дней.

26 января, когда Достоевский заболел, Анна Григорьевна, как она пишет в своих воспоминаниях, «послала нашего мальчика Петра к доктору Я. Б. Бретцелю, который постоянно лечил мужа, просить его немедленно приехать».

Кузнецов, впоследствии ставший профессиональным столичным книгопродавцем, написал в 1934 г. воспоминания о Достоевском. В книге «Записки старого книжника» известный ленинградский букинист Ф. Г. Шилов, рассказывая о знакомстве с А. Г. Достоевской и о ее книжной торговле, писал: «Собственно, магазина как такового не было, а при квартире Достоевских в Кузнечном переулке (ныне улица Достоевского) был склад его изданий. Достоевским помогал подросток, который заделывал бандероли и посылки и относил их на почту. Этот подросток был некто П. Г. Кузнецов, умерший в 1943 году. Он был хорошо знаком со мною и много рассказывал о работе книжного магазина Ф. М. Достоевского. Разумеется, магазином руководила А. Г. Достоевская ⟨...⟩ Кузнецов написал краткие воспоминания о своей работе у Ф. М. Достоевского, которые в 1940 году отдал мне». Ф. Г. Шилов, очень ценивший наше издание, через несколько лет после войны передал мне совсем выцветшую машинопись этих воспоминаний, со словами: «Когда-нибудь напечатайте в „Литературном наследстве" и скажите доброе слово о Кузнецове». И только теперь, спустя четверть века, довелось сделать это.

Полученную мною машинопись — всего два листа, густо напечатанные с обеих сторон,— заключают строки: «Петр Григорьевич Кузнецов, крестьянин Тверской губернии, Весьегоньского уезда, родился 28 июня 1863 года. Проживает в Ленинграде, Старорусская ул. (уг. Мытнинской), д. 5/2, кв. 26». И дата: «4 мая 1935 г.»

Значит, воспоминания были написаны через пятьдесят с лишним лет после того, когда Кузнецов работал у Достоевских, общался с писателем. И все же в этих кратких заметах памяти сохранился некий трепетный отзвук былых встреч деревенского па-

ренька с писателем, о величии которого он узнал, видимо, лишь после его смерти. Какой-то непосредственностью и трогательностью исполнен рассказ Кузнецова о домашнем быте и укладе жизни в доме Достоевских, о том, как строился обычный рабочий день писателя. Будучи еще подростком, Кузнецов почувствовал незаурядные человеческие качества Достоевского. Характерен в этом отношении рассказ Кузнецова о том, как он удивился и растерялся, когда писатель неожиданно пришел на квартиру, где юноша жил в чужой семье. Не забыл он и о том, как Достоевский тайком от жены ежемесячно посылал деньги своему другу О. Ф. Миллеру, попавшему в весьма стесненное материальное положение.

В воспоминаниях Кузнецова имеется ряд неточностей, но это не удивительно, так как он писал по памяти, без обращения к печатным источникам; эти неточности оговорены в примечаниях.

Нет сомнений, что печатаемые воспоминания будут прочтены с интересом и окажутся полезными для биографов великого писателя.

В конце 1879 г. я, по рекомендации приказчика Н. Г. Тюнтина и управляющего Мартынова в магазине Я. А. Исакова в Гостином дворе, поступил на службу к Федору Михайловичу Достоевскому. Так случилось: жена Анна Григорьевна Достоевская часто ходила в магазин Я. А. Исакова, им понадобился мальчик, и меня они взяли и положили жалованья 25 рублей в месяц, кушанье готовое. Моя обязанность была: если Анны Григорьевны дома не было, то принимать подписку на «Дневник писателя», отпускать книги книжникам, отправлять на почту посылки и бандероли, получать из Главного почтамта по повесткам деньги. Помещения для меня (жилья) не было, и я приходил к 9 часам утра и до 7 или 8-ми часов вечера работал, только домой уходил.

Первое время на меня произвело впечатление, что Федор Михайлович очень сердитый и как я буду у него служить, но, прослуживши некоторое время, я привык, и Федор Михайлович оказался для меня не сердитым. Комната, где я занимался, была рядом со столовой, а в прихожей была кладовая с книгами: «Записки из Мертвого дома», «Идиот» (2 тома), «Преступление и наказание» (2 тома), «Подросток», «Братья Карамазовы» и другие книги.

Федор Михайлович вставал в 1 час дня, спал у себя в кабинете. Пока он моется и откашляется, жена Анна Григорьевна, кухарка Матрена и горничная Дуня — Новгородской губернии — Федор Михайлович нет-нет над ней смеялся, если встанет в хорошем расположении: «Дуня, ты плохо пахала» (вместо «мести пол» она говорила, что пахала), если заметит, что пол плохо щеткой выметен, то Ф. М. закричит: «Дунька, что ты пол плохо вспахала». И вот втроем они, пока он моется, должны были кабинет, где он спал, убрать и выветрить и чтобы чистота была. Как умоется, оденет куртку, приходит в столовую, чтобы самовар был на столе и вовсю кипел, и никогда не накроет колпачком. На стол ставят чайницу и кофейницу, что он пожелает, сам заваривает — чай, так кладет в чайник чаю очень много, пьет совершенно черный чай, или в кофейницу положит кофею несколько ложек — чуть не густой пьет кофей. Любил пить черный без сливок, очень редко когда со сливками. Закуска была: сухари московские крупные, посыпаны миндалем, масло, сыр, иногда сиг копченый и булки.

Пил чай и закусывал один и не смела Анна Григорьевна войти, когда пьет и закусывает. Я, где занимался, комната была рядом со столовой, Ф. М. мне закричит: «Петюшка» или «Пьер», «иди чай» или «кофей пить», нальет очень крепкого, скажет: «Пей и закусывай». Я сперва не смел.— «Раз тебя зовут, должен идти», и ежедневно я с Фед. Мих. завтракал. Во время чаепития он спрашивал, как в деревне мужички живут, и спросил мой адрес, где я квартиру имею. И я объяснил — на Загородном проспекте

у пяти углов, № 22. По истечении некоторого времени, часов в 8 вечера приходит ко мне на квартиру Федор Михайлович. Я очень удивился и растерялся; я дал ему табуретку, он сел и спрашивает хозяйку, как я живу и когда прихожу вечером домой и чем дома занимается. Хозяйка сказала, что в карты играем, в «дурачки» и в «свои козыри». Федор Михайлович на второй день при завтраке мне говорит: «Ты больше в карты не играй, а читай книги». Первую книгу дал мне Загоскина «Юрий Милославский». Когда я возвращаю прочитанную книгу, спрашивал — понравилась ли и расскажи вкратце и всегда давал другую читать. Потом дал мне «Записки из Мертвого дома» — «тебе, пожалуй, будет трудная, но прочти,— что в книге написано, я сам все испытал».

Федор Михайлович при питье чая всегда что-нибудь меня расспрашивал, а я по обязанности службы должен ехать в Главный почтамт по повесткам получать деньги, а время остается до закрытия почтамта немного. Тогда просишь Ф. М. подписать повестки и всегда подписывал доверенности в получении денег так: «Отставной подпоручик инженерных войск Ф. Достоевский».

Федор Михайлович меня посылал ежемесячно с письмом, т. е. вложены деньги, Оресту Миллеру, в Поварской переулок, и мне говорит, что «не говори жене Анне Григорьевне, что я посылаю ему деньги, Орест Михайлович Миллер очень стал бедный, а раньше он мне помогал»*.

Федор Михайлович очень любил хорошо пообедать, очень любил рябчики, т. е. больше что из дичи, но Анна Григорьевна очень была жадная, нет-нет его своей беднотой расстраивала. Раз Ф. М. сам накупил всего много, из-за этого вышла целая баталия, и Ф. М. раскричался и затопал ногами, что «все тебе мало, все себя изображаешь нищей». Ф. М. вставал в час дня, в 4 часа ходил гулять, а в 5 часов обедал. Ф. М. печатал свои произведения в типографии Пантелеева. Ф. М. ездил на литературные вечера и изредка его приглашал государь император Александр II и великий князь Константин Константинович[1]. Его обратно привозили в придворных каретах, после этого он был очень доволен. Его посещали писатели Тургенев, Толстой[2], Григорович и много других и посещал Победоносцев, но иногда бывала жена Победоносцева, Екатерина. Он очень ее ненавидел.

Анна Григорьевна была взята Ф. М. в стенографистки. После знакомства, как он мне сказал, повенчалися. Свадьба была и венчались в Троицком соборе в Измайловском полку. Венцы подержать попросили, кто был в церкви, и на извозчике приехали домой и никаких балов не было. Ф. М. со своей женой не так был ласковый и всегда стоял на своем твердо. Анна Григорьевна иногда пустяками, т. е. мелочью, расстроит его, он из себя выходил ⟨...⟩ И всегда она ему во всем уступала. У них было двое детей: сын Федя 10 лет и Люба 11 лет. Фед. Мих. очень их любил и всегда им всего накупит после приезда от великого князя Константина Константиновича. Дети спать ложились в 9 часов вечера. Когда будет тишина, начинают работать. Анна Григорьевна садится за стол, и Фед. Мих. ходит и диктует, т. е. говорит, а она, стенографистка, пишет. Фед. Мих. рукописи просматривал, исправлял и посылал в типографию.

Для Фед. Мих. настал роковой год 1881. Он заболел и был чахоточный. В январе месяце, 29 числа, он скончался, и не стало больше Федора Михайловича в живых. Его из горла задушила кровь. Последнее время — до смерти остался один день — он не мог говорить, только глядел своими ласковыми глазами. Для меня был очень хороший человек и как отец,— пусть для тебя земля будет пухом за доброе ко мне наставление в жизни.

---

* *По словам П. Г. Кузнецова, Достоевский посылал ежемесячно О. Ф. Миллеру 100 руб.—И. З.*

Похороны состоялись общественные — торжественные, часто были панихиды от организаций. Был на панихиде великий князь Константин Константинович со своим сыном и с придворным духовенством. Приезжала делегация из Москвы. Вынесли гроб в 9 часов утра из квартиры угол Кузнецкого переулка и Ямской. Была панихида у церкви Владимирской божьей матери и шествие тронулось к Невскому, по Невскому проспекту в Александров-Невскую лавру, где он и почивает. Было народу масса, ни проехать, ни пройти, была цепь из зелени и кругом гроба и народ на полверсты. Несли студенты и все время пели и только вошли в Лавру в 4 часа дня. Пускали в Лавру по билетам. Поставили гроб в церкви Духа святого, а на второй день было отпевание и похороны. Венков, венков было сотни, на память у меня было оставлено несколько лент с надписями. С Федора Михайловича было гипсовое снятие Репиным[3]. Похороны были на казенный счет.

Анна Григорьевна осталась вдовой и двое ребят Федя и Люба. Она благодаря Победоносцеву получила пенсию 500 рублей в год. Летом уехала в Старую Руссу, а я к себе в деревню. На похороны Федора Михайловича приезжал Анны Григорьевны брат Иван Григорьевич Сниткин (маленькое поместье в Курской губернии). И у Анны Григорьевны еще был брат Сниткин, доктор, в Воспитательном доме работал[4].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] У Александра II писатель никогда не был; о его встречах с Константином Константиновичем см. выше в моей публикации «Новонайденные и забытые письма Достоевского».

[2] Ни Тургенев, ни Толстой в доме Достоевского не были ни разу.

[3] Гипсовую маску с лица Достоевского снимал скульптор Л. А. Бернштам, исполнивший впоследствии бюст писателя, по словам Анны Григорьевны, «поразительно похожий» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 387).

[4] Отрывки из воспоминаний П. Г. Кузнецова привел С. В. Белов по копии, полученной им от ленинградского книжника А. И. Аникеева, в журнале «Книжная торговля» (1964, № 5, стр. 40—41).

И. Ф. ТЮМЕНЕВ. ИЗ ДНЕВНИКА

Публикация Н. Н. Фоняковой

ПАМЯТИ Э. Э. ЯЗОВИЦКОЙ

Среди авторов мемуарной литературы о Достоевском имя Ильи Федоровича *Тюменева* (1855—1927) до сих пор не было известно. Между тем, в истории русской культуры этот человек — литератор, композитор и либреттист — оставил заметный след. Его неопубликованный дневник в десяти томах со многими дополнениями («Моя автобиография)», а также другие материалы по истории, географии, фольклору, истории театра, музыки, искусства, хранящиеся в ГПБ[1], являются ценным источником сведений для советских музыковедов и искусствоведов; они уже использованы в разных работах [2].

«Моя автобиография» содержит не только свидетельства современника о людях и быте своего времени, о музыкальной, театральной, художественной и литературно-общественной жизни Петербурга более чем за полвека (с начала 1870-х годов до 1927 г.), но и ряд документов эпохи: письма композиторов и художников, портреты разных лиц, программы литературных и музыкальных вечеров, театральные афиши, рисунки самого разнообразного содержания (в том числе виды Петербурга и других городов России и заграницы, иллюстрации к произведениям классиков русской и зарубежной литературы, бытовые сцены, интерьеры и пр.), а также фотографии и газетные вырезки.

В 1880 г. Тюменев поступил в Академию художеств на живописное отделение. Здесь он учился под руководством П. А. Черкасова (см. о нем ниже) и закончил курс в 1883 г.[3]

Многочисленные автоиллюстрации Тюменева и рисунки, вклеенные в рукопись «Дневника», говорят о том, что хотя он и не получил звания художника, однако обучение в Академии развило его способности рисовальщика и дало необходимые профессиональные навыки.

Воспоминания Тюменева о похоронах Достоевского представляют большой интерес. Живой, непосредственный и образный рассказ его вносит новые штрихи в описание похорон по сравнению с уже известными мемуарами. Он выражает также отношение учащейся молодежи к писателю, дополняя общую картину, вводя новые имена участников похоронной процессии, новые подробности, а зарисовки автора дают и ее зрительное изображение.

Кроме того, самый дух и характер этих выдержек из дневника Тюменева, писавшего для самого себя, наглядно свидетельствуют, насколько злободневным было творчество Достоевского, насколько остры были для современников поставленные им вопросы.

К «Автобиографии» Тюменева приложены рукописные журналы «Дело и шутки», «Баян», «Непризнанный», «издававшиеся» Тюменевым и его друзьями.

Из них журнал «Непризнанный» № 12 за 1881 г. целиком посвящен памяти Достоевского. В статьях отразилось восприятие современниками творчества и личности писателя. Заслуживают внимания и иллюстрации к романам «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и к рассказу «Честный вор» (одни из самых ранних к произведениям Достоевского) с их типажами и бытовыми аксессуарами конца 1870 — начала 1880-х годов.

〈КОНЧИНА ДОСТОЕВСКОГО〉

〈*1881 г.*〉 *29 января, четверг.* Сегодня мы с глубоким прискорбием узнали из газет, что вчера в 8 ч. 40 м. вечера скончался Федор Михайлович Достоевский.

Мне кажется, скончайся теперь Тургенев, Гончаров, Островский, никого бы не было так жалко, как именно Федора Михайловича, который только что начал завладевать вниманием общества, только что крайне заинтересовал всех своими «Карамазовыми», только приготовился повествовать дальше о судьбе Алеши, этого, по его намерению, нового русского евангельского социалиста, только было все мы приготовились слушать его вдохновенное слово... Как вдруг смерть разбила все замыслы, все ожидания, все надежды...

Венок. У нас в Академии собрали 110 р. на венок незабвенному писателю.

Дело было так: вечером в рисовальном классе подходит ко мне ученик нашего курса Архипович [4], малоросс, простоватый парень, но в сущности теплый и задушевный.— «Вы знаете, что Достоевский умер?» — обратился он ко мне.— «Знаю».— «Что же вы на это скажете?» — «Что же сказать? Грустно!» — «Да этого мало,— заговорил он.— Надо что-нибудь сделать, давайте соберем ему на венок».— Я удивился, почему эта мысль не пришла мне раньше, и, конечно, отнесся к предложению с полным сочувствием, подписав тут же на венок 5 рублей. Сбор начался сразу во всех трех рисовальных классах (в головном — Архипович, в фигурном — Вершинин [5], в натурном — Чирка [6]; они все трое живут вместе на казенной квартире в Академии). Все ученики с большой готовностью внесли свои посильные лепты на венок великому учителю. (Подписав 5 р. Архиповичу, я встретил Чирку с листом — и тому внес еще добавочный рублик.) Конечно, и у нас нашлись люди, которые спрашивали сборщиков:—«Кто же это такой, Достоевский?» — но таких было очень мало и с таких собиратели денег не спрашивали, а просто шли дальше, оставив их без ответа (кто-то из них, услыхав такой вопрос, будто бы даже плюнул с досады).

За два дня собрано 110 р., из которых часть решено употребить на венок, а остальные сдать в «Новое время», где уже открыт сбор на памятник [7].

30 января, пятница. Вынос тела Ф. М. Достоевского в Лавру. Депутация от наших учеников была на панихиде в квартире покойного (на Кузнечном — ныне улице Ф. М. Достоевского [8]) и со слов Дмитрия Васильевича Григоровича [9] объявила в классах, что вынос тела будет завтра в $10^1/_2$ ч. утра и что понесут прямо в Невскую лавру (в газетах время выноса и церковь были показаны неверно; вероятно, после напечатания произошла перемена) [10].

Вечерние классы прошли у нас в приготовлениях к завтрашнему дню и в переговорах: где, как и когда собираться. На вынос наших обещалось прийти человек до 60-ти, все больше живописцы.

31 января, суббота. Часов в 10 утра подъехали мы с Федором Федоровичем [11] ко Владимирской церкви и принуждены были оставить извозчика: весь Кузнечный и даже часть Владимирской площади были покрыты народом. По Кузнечному стройными линиями стояли уже десятка два или три венков, вплоть до самого дома, где находилась квартира Федора Михайловича.

У одного венка густою толпою стояли гимназисты. (Д. Н. Соловьев [12] рассказывал, что ученики их первой гимназии, несмотря на *запрещение* директора [13], собрали деньги на венок и старшие из них ушли тайком из гимназии, чтобы участвовать в процессии.) Другой венок окружали ученики реального училища. Тут же неподалеку был венок от Бестужевских

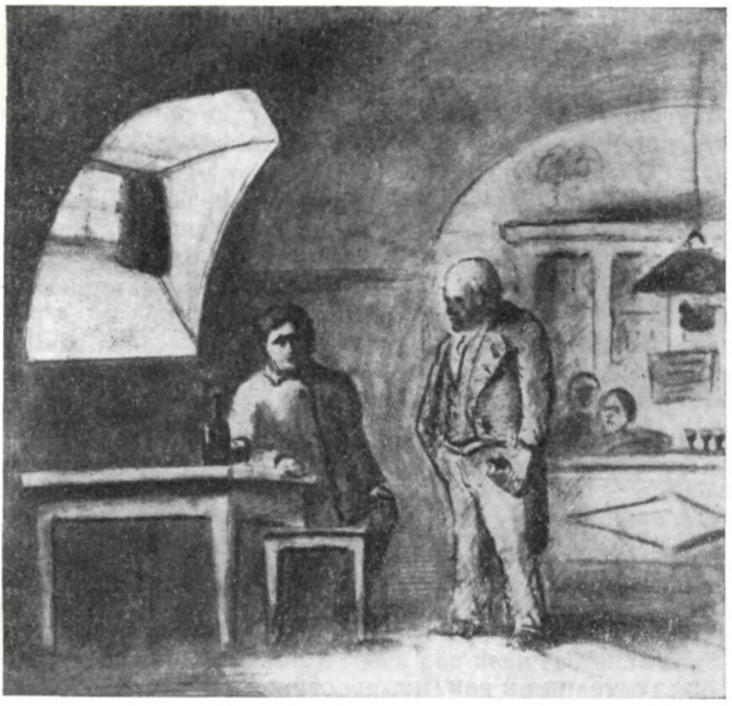


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Рисунок И. Ф. Тюменева, 1881
Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

курсов, окруженный дамами и девицами. Далее в глубину, по направлению к дому, находился венок от Общества выставок, около которого о чем-то хлопотал И. Н. Крамской[14], тут же был Лемох [15] и другие художники. За ними стоял венок от артистов русской оперы и подле него виднелась длинная фигура В. И. Васильева 1-го[16], рассуждавшего о чем-то с Морозовым [17] и Мельниковым [18] (потом рассказывали, будто бы Мельников получил от Кистера [19] выговор, что пошел на вынос без разрешения: он мог там простудиться, осипнуть, заболеть и нарушить репертуар). За оперным стоял венок от русской драматической труппы. Здесь мы увидели Бродникова, Сазонова [20], Петипа [21] и др. Тут же стоял Каразин [22] с венком от Клуба художников, уже дышавшего на ладан и существовавшего чуть ли не в лице одного Николая Николаевича, который, кажется, перевез к себе и всю движимость Клуба за неимением средств платить Павловой[23] за помещение,— остальные члены разбрелись «розно».

Мы принялись разыскивать наших учеников и, наконец, увидели их подле венка от передвижных выставок. Но нашего венка еще не было; его ждали с нетерпением, почти с тревогою. Почти вместе с нами явился и венок. Прибежал запыхавшийся Архипович (которому поручено было заказать венок и распорядиться его доставкою). Нетерпение и ажитация были так велики, что, не дожидаясь, пока артельщик развяжет бумагу, обертывавшую ленту, Архипович сам ухватился за веревку с целью сразу разорвать ее и так сильно стал ее дергать, что в кровь изрезал себе руку. Наконец бумага была снята, синяя лента, на которой серебряными буквами было напечатано: «Ученики императорской Академии художеств», распущена, венок поставлен в ряд и сердца наши поуспокоились.



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Рисунок И. Ф. Тюменева, 1881
Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

С шумом и громким говором прибыли студенты университета, неся свой громадный венок, украшенный пальмовыми ветвями наподобие лиры, и стали впереди нас. Они оканчивали 4-ю группу по церемониалу, мы начинали 5-ю. Распорядителем у них был любимый ими профессор Орест Федорович Миллер. Из толпы студентов выделился хор и занял место в цепи, составленной нами и студентами; хор стал позади своего венка, к нему присоединилось человек 20 наших певцов.

Распорядитель нашей группы Дмитрий Васильевич Аверкиев [24] принес толстую пачку листков с автографом Федора Михайловича и начал раздавать их [25]. Идея была прекрасная: выходило, будто бы сам покойный писатель благодарит нас за посещение и посылает на память свой автограф. Я вообще толкаться и протискиваться не мастер и потому, когда дошел по очереди до Аверкиева, листки были уже все розданы. Но Федор Федорович ⟨Светлов⟩ отдал мне свой (помещен в «Непризнанном»), а вечером Михаил Андреевич [26] дал мне еще листок, который и приложен рядом [27]. (М. А. взял этот листок специально для меня.)

Между тем публика все прибывала. Часы показывали уже четверть двенадцатого. В глубине от дома послышалось пение: гроб вынесли из квартиры.— Вперед!— раздались голоса; венки поднялись, толпа заколыхалась, и через две-три минуты процессия тронулась.

На колокольне Владимирской церкви загудел колокол, и почти вслед за первым ударом рядом с нами раздалось торжественное «Святый боже»: пел университетский хор, подкрепленный десятками голосов из окружающей, движущейся толпы. При первых звуках молитвы головы всех обнажились. Медленные печальные звуки «Святый боже» так сильно хватали за душу, что у многих из нас к горлу подступили слезы. На меня эти звуки подействовали с особенною силою ⟨...⟩

Наш думский первый бас с видом богатыря, Михаил Павлович Иванов [28], бывший в толпе, рассказывал потом Берману, что принужден был отойти к сторонке, так как расплакался как ребенок. Такие минуты, подобные вышеописанной, случаются, конечно, редко и озаряют нас недолго, так было и здесь. Хотя пение не умолкало до самой Лавры, но того потрясающего впечатления оно уже не производило. По мере движения и шапки при новом запевании «Святый боже» стали сниматься все туже и туже, а в самой цепи на Невском стали и покуривать (как будто нельзя было отходить на это время к панели). Вскоре и сами певцы перестали во время пения снимать шапки и, в конце концов, молитва в шапках, под гул и разговоры окружавшей толпы, над которой носились облачка папиросного дыма, обратилась в какую-то холодную формальность, занимавшую разве одного только дирижера, который почему-то именно теперь яро размахивал руками, пятясь задом во время пения. Словом, теперь впечатление куда-то расплылось и точно испарилось, но первого момента «Святый боже» на Кузнечном я не забуду никогда. В тот момент все действительно как-то ощутили веяние божества, и верующие, и неверующие, это чувствовалось всеми, а чувство подчас является тоньше и прозорливее самого зрения глазами.

У Владимирской церкви была отслужена лития [29], процессия на некоторое время остановилась. Я в это время встал в цепь вместе с двумя другими нашими учениками и все время до Лавры шел уже боком, держась за руки с соседями. Вокруг самого гроба род цепи составляли гирлянды из еловых ветвей, которую несли на палках, как один громадный венок, окружавший и гроб, и провожающих.

Погода была прекрасная: 1 или 2° тепла; ветра ни малейшего, сырости под ногами тоже не было. День выдался исключительно теплый, точно по заказу для проводов Федора Михайловича. На другой же день настал опять мороз и задул ветер; ранее такого тепла также не было.

Невский был буквально запружен народом. Экипажи могли двигаться только на узком пространстве для двух рядов, остальная часть проспекта была занята процессией и толпами народа, сплошною стеною стоявшего по сторонам.

На вопросы некоторых старушек: «Кого это хоронят?» — студенты демонстративно отвечали: «Каторжника». Одно время между ними произошло движение, послышались голоса: «Господа, пропустите, пропустите ректора». Толпа их раздвинулась, давая место старику с седой бородою, в шубе, который, несколько как бы конфузясь, поспешил пройти вперед. Это был ректор университета Бекетов [30].

Процессия растянулась на огромное расстояние и походила на какое-то триумфальное шествие: гроб только что выносили на Невский, а первые венки подходили уже к Знаменью [31]. Тротуары, окна, балконы были покрыты зрителями. На остановленных вагонах конки вверху происходила форменная давка. Во время движения процессии к ней присоединились еще два венка из Москвы от студентов Московского университета и от Катковского лицея.

Венок от русской драматической труппы несла вместе с Сазоновым М. Г. Савина, и эта дань уважения к покойному пришлась многим по сердцу. Молодежь вела себя безукоризненно, вполне покойно и прилично (если не считать курения, но в нем повинны и артисты, и многие из публики). У Знаменья была отслужена новая лития.

На время литии наше пение замолкало и все останавливались; затем снова крики: «вперед!», снова «Святый боже», и процессия трогалась в путь.

На Лаврской площади я вышел из цепи и пропустил гроб и всю процессию. Перед гробом несли венки от литераторов и редакций разных



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РАССКАЗУ «ЧЕСТНЫЙ ВОР»
Рисунок И. Ф. Тюменева, 1881
Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

журналов. (Венок «Русской речи» ⟨рисунок ниже⟩ помещался на хоругви, которую, как говорили потом, поставили в Духовской церкви [32] на хорах, и она красиво склонялась над толпою молящихся). Были венки от «Нового времени», «Петербургского листка», «Всемирной иллюстрации» и от некоторых других, которых я уже не помню.

Сам гроб, вместе с провожавшим его народом, как я уже говорил, был очень красиво окружен зеленою гирляндой, тянувшейся от венка Славянского общества [33], несенного впереди самого гроба.

Тут я земным поклоном простился с дорогим умершим и долго провожал глазами золотую, покрытую венками крышку гроба, которая высоко в воздухе как бы царила над окружающей толпой.

У ворот Лавры гроб встретил лаврский наместник [34], по слухам бывший хорошим знакомым покойного. У ворот произошла давка. Говорят, чуть было в тесноте не задавили маленькую дочь Федора Михайловича, которая на другой день произнесла такой чудный, трогательный экспромт. Алексей Потехин [35] вытащил ее на руках из толпы. Григорович в воротах просил публику не входить в Лавре в самую церковь, так как места едва ли хватит на 2000 человек.

Когда процессия прошла ворота, в них послышались крики, оханье и пр. Это толпа тискалась в ворота.

Я повернулся и пошел домой. На углу против Лавры какой-то писатель продавал по полтиннику 5-копеечные Везенберговские карточки [36] покойного. Не утерпел, чтобы не купить и себе карточку на память об этом дне, и до самого вечера мы оба с Федором Федоровичем ⟨Светловым⟩ были полны впечатлениями пережитого. Я много играл подходящих к настроению вещей Бетховена, Шуберта, а он сидел и слушал.

Вечером Соловьевы [37] справляли новоселье. Были Берман и Черкасов [38], оба присутствовавшие на выносе. Понятно, что целый вечер речь шла только о впечатлениях дня. После ужина гости разошлись, а мы: Михаил Андреевич ⟨Берман⟩, Светлов, хозяин Костя и я, продолжали

разговоры, говорили об идеализме и реализме, проводили параллель между Достоевским и Щедриным, между Шиллером и Гейне и добеседовались незаметно до 7½ ч. утра! Пример даже в наших летописях небывалый!

Похороны Ф. М. Достоевского

На другой день (1 февраля, воскресенье) Федора Михайловича похоронили. В церкви были только два депутата от наших, при венке и П. А. ⟨Черкасов⟩.

Схоронили его неподалеку от ворот на правой стороне при самом въезде в Лавру [39]. Место будто бы бесплатно дано митрополитом. Говорят, очень сильное впечатление произвел экспромтный крик маленькой дочери Федора Михайловича, кричавшей к нему в могилу: «Прости, милый, добрый, хороший папа! Прости!»

В газетах писали, что университетский венок обвил могилу, а наш академический помещен в головах.

Относительно оставшихся от покупки венка 48 рублей в собрании кассы учеников был поднят вопрос, куда их лучше употребить. Толковали, толковали и ни на чем не решили. На этом собрании я не был и пишу по рассказам участников. Проектов и предложений (даже порою комичных) была масса. Один предлагал на эти деньги купить сочинения Достоевского, а на остаток — еще другого писателя и основать ученическую библиотеку (!). Другой (из евреев) с большим апломбом предложил отдать деньги вдове какого-то титулярного советника, на которую обращается внимание благотворителей в какой-то газете. Шум, гвалт, споры, крики, а толку никакого. Ни о школе имени Федора Михайловича, ни о стипендии никто, очевидно, не читал, а о памятнике как будто позабыли.

Третий экзамен и вечер, посвященный Ф. М. Достоевскому

⟨...⟩ 7 февраля, в субботу был у нас третий экзамен.

⟨...⟩ В этот же день наш субботний вечер был посвящен памяти Ф. М. Достоевского. Из журналов вышел один «Непризнанный», но весь номер целиком был посвящен покойному. Вот программа вечера: Marche funèbre из 3-й симфонии Бетховена — на двух роялях — мы с Нюшей [40].

Чтение номера «Непризнанного» — читали авторы. В номере были статьи: Ф. М. Достоевский — характеристика писателя — моя. Из дневника ученика Академии художеств (о выносе — моя же). Мои впечатления при чтении произведений Достоевского (Костя Соловьев). Памяти Ф. М. Достоевского (С. Ф. Светлова) [41]. Стихотворение — папаша [42]. Рисунки: портрет Федора Михайловича (Ф. Ф. Светлов). Эскиз к рассказу «Честный вор» (мой). Эскиз к «Братьям Карамазовым» (Митя и Грушенька — Ф. Ф. Светлов). Эскиз к «Преступлению и наказанию» (Мармеладов и Раскольников) — мой.

Духовные песни Бетховена пел я.

Квартет «Над могилой» — Даргомыжского.

Чтение рассказа «Честный вор» — и после ужина — Исповедь Мармеладова — читал я (и, кажется, сносно).

Народу было мало, но вечер провели прекрасно [43].

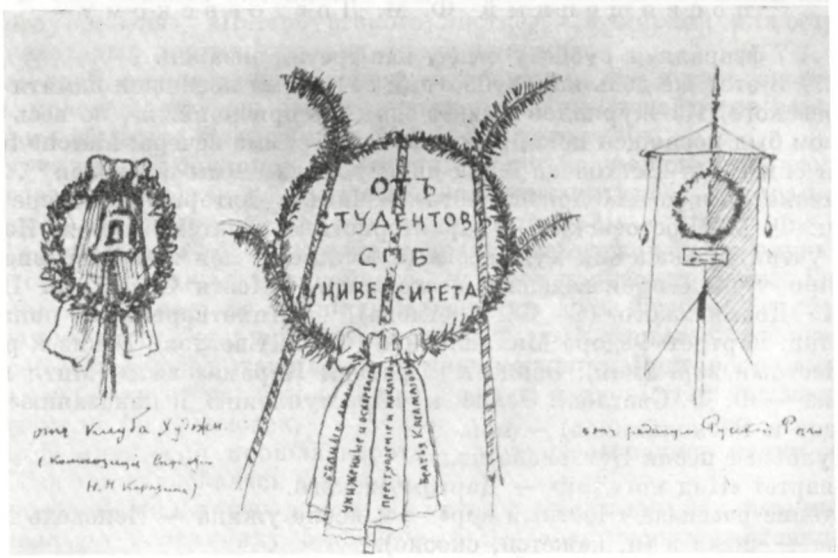


ПОХОРОНЫ ДОСТОЕВСКОГО

Ученики Академии художеств в похоронной процессии

Рисунок (перо) И. Ф. Тюменева, 1881

Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград



ПОХОРОНЫ ДОСТОЕВСКОГО

Венки от клуба художников, студентов Петербургского университета и редакции газеты «Русская речь»

Рисунок (перо И. Ф. Тюменева, 1881

Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Ленинград

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Архив И. Ф. Тюменева.— ГПБ, ф. 796, оп. 1, ед. хр. 1—285; оп. 2, ед. хр. 1—807.

[2] Например: А. Орлова. Труды и дни М. П. Мусоргского. Летопись жизни и творчества. М., 1963; М. А. Балакирев. Летопись жизни и творчества. Сост. А. С. Лапунова и Э. Э. Язовицкая. Л., 1967.

[3] С. Н. Кондаков. Юбилейный справочник имп. Академии художеств. 1764—1914. ‹СПб., 1914› ч. II, стр. 201.

[4] Афанасий Алексеевич *Архипович* (1860—1889) — ученик Академии художеств, окончил курс в 1883 г.

[5] Илья Евгеньевич *Вершинин* (1859—1913) — ученик Академии художеств; впоследствии (с 1887 г.) художник-мозаичист.

[6] Филипп Антонович *Чирка* (род. 1859 г.) — ученик Академии художеств с 1879 по 1891 г.; получил звание классного художника 2-й степени.

[7] «Кончина Ф. М. Достоевского».— «Новое время», 1881, № 1768, 29 января. В дальнейшем сбор пожертвований продолжался по призыву Д. В. Григоровича, выступившего от имени друзей и почитателей покойного на Пушкинском вечере в зале Кононова (ныне Мойка, д. 61), где был выставлен только что написанный И. Н. Крамским (см. примеч. 14) портрет Достоевского на смертном одре и собравшиеся почтили его память (там же, № 1769, 30 января).

[8] Автор ошибается: не Кузнечный пер., а Ямская ул., на которую также выходит д. 5, переименована в улицу имени Достоевского.

[9] Д. В. Григорович был главным распорядителем на похоронах Достоевского.

[10] Это объясняется тем, что по желанию Достоевского его жена предполагала похоронить его тело в Новодевичьем монастыре, рядом с Некрасовым, но во время переговоров с настоятельницей монастыря наместник Александро-Невской лавры предложил бесплатное место на любом из кладбищ Лавры (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 383—384; «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской». Перев. с нем. Л. Я. Круковской. Под ред. и с предисл. А. Г. Горнфельда. М.— Пг., 1922, стр. 100—103).

[11] Федор Федорович *Светлов*, близкий знакомый Тюменева; окончил научный курс Академии художеств в 1880 г. по классу живописи.

[12] Дмитрий Николаевич *Соловьев* — преподаватель латинского языка в 1-й Петербургской мужской гимназии, брат К. Н. Соловьева (см. примеч. 37). О нем — в «Моей автобиографии» Тюменева, т. III, лл. 145, 439 об.

[13] Первой мужской гимназии в списке похоронного шествия за гробом Достоевского нет («Новое время», 1881, № 1770, 31 января). Директором гимназии, помещавшейся на углу ул. Кабинетской и Ивановской, в 1881 г. был действительный статский советник Александр Иванович Чистяков.

[14] Иван Николаевич *Крамской* (1837—1887) написал портрет Достоевского на смертном одре, исполненный с натуры 29 января 1881 г. (итальянский карандаш, соус); ныне хранится в Литературном музее ИРЛИ.

[15] Кирилл (Карл) Викентьевич *Лемох* (1841—1910)—художник, живописец-жанрист, один из учредителей Товарищества передвижных выставок и активный его член.

[16] Владимир Иванович *Васильев* 1-й (1828—1900)—певец (бас) и общественный деятель. С 1858 по 1882 г. пел в Мариинском театре в Петербурге. Один из лучших исполнителей партии Сусанина.

[17] Вероятно, Александр Яковлевич *Морозов* (1839—1915) — режиссер оперной труппы; служил в Мариинском театре с 1857 г. почти до своей смерти.

[18] Иван Александрович *Мельников* (1832—1906) — певец (баритон) и педагог. С 1867 по 1892 г. пел в Мариинском театре; первый исполнитель ряда партий в операх Чайковского.

[19] Карл Карлович *Кистер* (ум. 1893)—помощник управляющего имп. театрами в Петербурге.

[20] Константин Григорьевич *Бродников* и Николай Федорович *Сазонов* (1843—1902) — драматические артисты Александринского театра.

[21] Мариус Иванович *Петипа* (1822—1910) — балетмейстер, танцовщик и педагог; с 1862 по 1904 г. — главный балетмейстер Мариинского театра.

[22] Николай Николаевич *Каразин* (1842—1908) — художник, этнограф, писатель. Основатель и действительный член Общества русских акварелистов, о котором, вероятно, и идет речь.

[23] *Зал Павловой* — театрально-концертный зал на Троицкой ул. (ныне ул. Рубинштейна, д. 13).

[24] Дмитрий Васильевич *Аверкиев* (1836—1906) — писатель, драматург и театральный критик. Сотрудничал в журналах «Время» и «Эпоха».

[25] Траурный листок был отпечатан по заказу А. Г. Достоевской, как она пишет, «по желанию почитателей таланта Ф. М. Достоевского» («Музей памяти Ф. М. Достоевского в имп. Российском историческом музее им. имп. Александра III в Москве. 1846—1903. Сост. А. Достоевская, с портретами и видами». СПб., 1906, стр. 68).



ПОХОРОНЫ ДОСТОЕВСКОГО

Похоронная процессия перед Александро-Невской лаврой

Рисунок (перо) И. Ф. Тюменева, 1881

Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

[26] Михаил Андреевич *Берман* (род. 1841) — учитель пения; служил в петербургской городской училищной комиссии с 1877 г., руководил певческим хором при Городской думе («Русская старина», 1887, № 10, стр. 179—180).

[27] В «Мою автобиографию» Тюменева, т. III вклеен траурный листок (л. 439).

[28] *М. П. Иванов* — участник кружка любителей хорового пения, устраивавшего музыкальные вечера с благотворительными целями в зале петербургской Городской думы в конце 1870 — начале 1880-х годов.

[29] *Лития* (*греч.*) — усердная молитва в православном богослужении. Особый ее род установлен для моления об умершем, совершаемый при выносе тела из дома и по дороге на кладбище.

[30] Андрей Николаевич *Бекетов* (1825—1902) — ботаник, общественный деятель, профессор Петербургского университета (1863 — 1897), в 1876—1883 гг. был его ректором, дед А. А. Блока.

[31] Церковь «Знамения Пресвятой Богородицы» была на углу Невского пр. и Знаменской ул. и площади (ныне ул. и пл. Восстания); на ее месте сейчас станция метро «Площадь Восстания».

[32] Церковь Святого духа в Александро-Невской лавре, где происходило отпевание Достоевского.

[33] «Славянское благотворительное общество» образовалось в Петербурге в 1877 г., во время русско-турецкой войны и имело целью помощь балканским славянам и добровольцам, отправлявшимся на войну.

[34] Гроб встречали наместник монастыря архимандрит Симеон и ректор Духовной академии И. Л. Янышев.

[35] Алексей Антипович *Потехин* (1829—1908) — беллетрист и драматург.

[36] «Везенберг и К°» — фотографическая фирма в Петербурге (отделения на Вознесенском пр. 26/30 и на Фонтанке № 55), специализировавшаяся на изготовлении переснимков с портретов деятелей русской культуры и особенно писателей. Переснимки были разных размеров, увеличенные и уменьшенные. Последние, на визитных паспарту, стоили очень дешево.

[37] *Соловьевы* — Константин Николаевич (дирижер хора) и его жена Анна Федоровна (Нюша) — близкие друзья Тюменева.

[38] Павел Алексеевич *Черкасов* (1834—1900) — академик живописи, автор картины «Вид на Неву и Зимний дворец». С 1869 по 1875 г. исполнял обязанности инспектора академических классов; с 1875 по 1892 г. состоял надзирателем академических классов.

[39] Достоевский похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, у самой ограды, отделяющей кладбище от дороги, ведущей от ворот к собору.

[40] Жена К. Н. Соловьева.

[41] Брат Ф. Ф. Светлова, приятель Тюменева.

[42] Федор Ильич *Тюменев* (ум. 1893) — отец И. Ф. Тюменева.

[43] И. Ф. Тюменев. Моя автобиография. Дневник с автографами, т. III (1877 сентябрь— 1881).— ГПБ, ф. 796, оп. 1, ед. хр. 12, лл. 438—442 об.

ПИСЬМА О ДОСТОЕВСКОМ

ДОСТОЕВСКИЙ В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ (1837 — 1881)

Выдержки из писем и дневников И. С. АКСАКОВА, М. А. АЛЕКСАНДРОВА, Х. Д. АЛЧЕВСКОЙ, П. В. АННЕНКОВА, К. И. БАБИКОВА, Н. П. БАРСУКОВА, П. И. БАРТЕНЕВА, М. С. БЕРДНИКОВОЙ, К. Н. БЕСТУЖЕВА-РЮМИНА, А. Ф. БЛАГОНРАВОВА, В. А. БОБРОВА, С. П. БУРЕНИНА, А. М. и А. С. БУХАРЕВЫХ, Н. П. ВАГНЕРА, М. А. ВЕНЕВИТИНОВА, П. А. ВИСКОВАТОВА, М. И. ВЛАДИСЛАВЛЕВА, Ю. А. ВОЛКОВА, А. Е. ВРАНГЕЛЯ, Е. Н. ГЕЙДЕН, Л. ГИСЛЯНЗОНИ, А. А. ГОЛОВАЧЕВА, П. Д. ГОЛОХВАСТОВА, Г. П. ДАНИЛЕВСКОГО, М. Ф. ДЕ ПУЛЕ, А. Г., А. М., Д. И., М. А., М. М., Н. М. и Э. Ф. ДОСТОЕВСКИХ, Н. П. ЕЛАГИНА, И. ЖЕЛТОВА, П. И. ЖИТЕЦКОГО, Ю. Д. ЗАСЕЦКОЙ, И. К. ЗЕМАЦКОГО, И. Ф. ЗОЛОТАРЕВА, В. Р. ЗОТОВА, А. Е. ЗУРОВА, А. А. и В. М. ИВАНОВЫХ, К. Д. КАВЕЛИНА, В. М. и П. А. КАРЕПИНЫХ, В. М. КАЧЕНОВСКОГО, С. С. КАШПИРЕВОЙ, А. А. КИРЕЕВА, Ф. Н. КИТАЕВА, С. П. КОЛОШИНА, А. Е. КОМАРОВСКОЙ, Н. И. КОСТОМАРОВА, А. КРАНИХФЕЛЬД, А. А. КУМАНИНА, В. С. КУРОЧКИНА, В. И. ЛАМАНСКОГО, Н. К. ЛЕБЕДЕВА (МОРСКОГО), К. Н. ЛЕОНТЬЕВА, Н. А. ЛЮБИМОВА, А. И. и А. Н. МАЙКОВЫХ, Б. М. МАРКЕВИЧА, Н. А. МЕЛЬГУНОВА, В. П. МЕЩЕРСКОГО, О. Ф. МИЛЛЕРА, А. П. МИЛЮКОВА, Д. Л. МОРДОВЦЕВА, М. И. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА, А. Н. НЕВЕДОМСКОГО, Е. С. НЕКРАСОВОЙ, О. А. НОВИКОВОЙ, Н. Л. ОЗМИДОВА, Л. Н. ПАВЛЕНКОВА, В. К. ПЕТЕРСЕНА, А. Н. ПЕШКОВОЙ-ТОЛИВЕРОВОЙ (ЯКОБИ), А. Н. ПЛЕЩЕЕВА, К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА, М. П. ПОГОДИНА, М. П. ПОКРОВСКОГО, П. Н. ПОЛЕВОГО, М. А. ПОЛИВАНОВОЙ, Я. П. ПОЛОНСКОГО, Б. Б. ПОЛЯКОВА, В. И. ПРИБЫТКОВОЙ, А. Е. РАЗИНА, Н. И. РЕМЕРОВА, А. Е. РИЗЕНКАМПФА, П. А. РОВИНСКОГО, И. И. РУМЯНЦЕВА, В. К. САВОСТЬЯНОВА, А. П. САЗАНОВИЧ, Е. А. САЛИАСА, Н. СВИРИДОВА, М. И. СЕМЕВСКОГО, А. Н. СНИТКИНА, Вл. С. и Вс. С. СОЛОВЬЕВЫХ, Н. А. СОЛОВЬЕВА-НЕСМЕЛОВА, К. М. СТАНЮКОВИЧА, М. М. СТАСЮЛЕВИЧА, Н. И. СТОРОЖЕНКО, М. Н. СТОЮНИНОЙ, Н. Н. и П. Н. СТРАХОВЫХ, А. С. СУВОРИНА, Д. ТИТОВА, А. И., С. А. и Ф. М. ТОЛСТЫХ, Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ, А. П. ФИЛОСОФОВОЙ, Н. В. ХАНЫКОВА, С. П. ХИТРОВО, И. Е. ЦВЕТКОВА, Е. А. ЦЕРТЕЛЕВОЙ (ЛАВРОВСКОЙ), М. М. ЧЕРЕНИНА, Ф. В. ЧИЖОВА, В. Д. ШЕРА, И. А. ШЕСТАКОВА, И. Н. ШИДЛОВСКОГО, А. А. ШКЛЯРЕВСКОГО, Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР, Н. Ф. ЩЕРБИНЫ, А. И. ЭРТЕЛЯ, Е. Ф. ЮНГЕ, С. А. ЮРЬЕВА, З. Ю. ЯКОВЛЕВОЙ и С. Д. ЯНОВСКОГО

Приложение: Н. Н. СТРАХОВ о ДОСТОЕВСКОМ

Статья, публикация и комментарии Л. Р. Ланского

Имя Достоевского было известно каждому образованному современнику. Не все, конечно, понимали истинные масштабы его дарования; никто, или почти никто, не догадывался о роли, которую суждено было сыграть творческому наследию Достоевского в истории мировой культуры. На многое в продолжение своей труженической и страдальческой жизни мог бы пожаловаться Достоевский—но только не на отсутствие интереса к себе как к художнику, мыслителю, публицисту и просто как к человеку. С первых же шагов на литературном поприще он привлек к себе внимание всей читающей России. Произведения его горячо обсуждались. Знакомства с ним добивались. Его личность, его творческие планы, его образ жизни возбуждали живое любопытство. Трагический перелом в судьбе Достоевского, превращение одного из корифеев молодой литературы в политического «преступника», смертника, каторжника, солдата углубил этот сочувственный интерес. Возвращение к литературной деятельности, совпавшее с зарождением и бурным развитием общественно-политической жизни в России, с расширением и демократизацией читательской аудитории, появление «Записок из Мертвого дома», «Униженных и оскорбленных», «Преступления и наказания» превратили Достоевского в одну из центральных фигур 1860-х годов. В последнее десятилетие жизни Достоевского его популярность приобретает еще большие размеры. Три события возносят до апогея его славу и влияние: издание «Дневника писателя», печатание в «Русском вестнике» романа «Братья Карамазовы», державшее в продолжение двух лет десятки тысяч читателей в состоянии неослабевающего напряженного ожида-

ния, и, наконец, потрясшая современников речь на Пушкинских празднествах 1880 г. Это выступление, закончившееся беспримерным апофеозом, торжественно завершило тридцатипятилетнюю литературную деятельность писателя; ее неслыханный успех явился как бы зарницей, предвещавшей всемирно-исторический характер посмертной славы Достоевского.

Подобно Белинскому, Достоевский был «человеком экстремы», человеком с темпераментом трибуна и общественного деятеля, борца. Писатель-пролетарий, прикованный к своему письменному столу, обреченный на непрерывный, лихорадочный, изнуряющий труд, он никогда не терял связи с современностью, чутко воспринимал все, что волновало общество, и отвечал на запросы жизни своим художественным творчеством и воинственной публицистикой.

«Дневник писателя», как известно, пользовался огромным и все возраставшим успехом. Значительная часть подписчиков поддерживала это уникальное издание *вопреки* его политическим тенденциям. Большинству импонировала своеобразная форма задушевной беседы умудренного жизнью старого писателя с «другом-читателем» о проблемах текущей действительности. Вызывала симпатию не столько идеологическая интерпретация этих проблем, сколько субъективность оценок, *проявление личности Достоевского*, теплота и сердечность тона. Известная деятельница в области народного образования Х. Д. Алчевская вспоминала впоследствии: «Достоевский всегда был одним из моих любимых писателей. Его рассказы, повести и романы производили на меня глубокое впечатление. Но когда появился в свет его „Дневник писателя", он вдруг сделался как-то особенно близок и дорог мне. Кроме даровитого автора художественных произведений, передо мною вырос человек с чутким сердцем, с отзывчивой душой, человек, горячо откликавшийся на все злобы дня» («Передуманное и пережитое». М., 1912, стр. 63). «Любящее сердце, душу, понимающую всё» особенно ценила в «Дневнике писателя» и талантливая корреспондентка Достоевского, Е. Ф. Юнге (стр. 497).

Достоевский получал в эти годы особенно много писем от читателей. В нем видели не только художника и публициста, но и мудрого руководителя в запутанных лабиринтах современности, чуть ли не пророка. Разрыв создателя «Бедных людей», бывшего «мечтателя-социалиста», бывшего петрашевца, со свободолюбивыми традициями 1840 — 1860-х годов болезненно и остро воспринимались революционной молодежью, «семидесятниками». Зато те, кому претили демократические и «филантропические» (как выражались некоторые критики) тенденции ранних произведений Достоевского, рассыпались в похвалах, надеясь закрепить этот благоприятный для них поворот в мировоззрении писателя, являвшийся, быть может, лишь этапом в развитии его взглядов.

Сложность идейной эволюции Достоевского не могла не отразиться в основных биографических источниках — в воспоминаниях современников и в их переписке.

Вся (или почти вся) мемуарная литература о Достоевском уже выявлена и опубликована. С эпистолярными материалами, т. е. с перепиской современников, содержащей упоминания о Достоевском, дело обстоит иначе. Я имею в виду не письма крупнейших деятелей литературного мира, эпистолярное наследие которых издается и переиздается в собраниях их сочинений и публикуется на страницах периодических изданий в дни юбилеев или просто как дань уважения к громкому имени, а письма «маленьких», забытых и полузабытых людей из окружения Достоевского, рядовых читателей и свидетелей его публичных выступлений. За девяносто лет, протекших со дня смерти Достоевского, подобного рода материалы появлялись в печати чрезвычайно редко. Планомерного изучения архивных фондов в этом направлении никогда не производилось. Между тем, эпистолярные свидетельства современников не только обогащают биографию писателя новыми фактическими данными — они воссоздают ту общественную и психологическую атмосферу, в которой проходили его жизнь и деятельность.

В «Былом и думах» Герцен красноречиво доказывает, что письма — «больше, чем воспоминания»: «На них запеклась кровь событий, это само прошедшее, как оно было,— задержанное и нетленное».

П. А. Вяземский, выдающийся мастер эпистолярного жанра, как бы развивает эту мысль Герцена: «Самые полные, самые искренние Записки не имеют в себе того выражения истинной жизни, какими дышат и трепещут письма, написанные беглою, часто

торопливою и рассеянною, но всегда, по крайней мере, на ту минуту, проговаривающеюся рукою. Записки, то есть мемуары ⟨...⟩, все-таки не что иное, как обдуманное воссоздание жизни. Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам ее» (Полн. собр. соч. П. А. Вяземского, т. VII. СПб., 1882, стр. 135). В отличие от мемуаров, письма почти всегда пишутся без расчета на их опубликование, без заботы о цензуре. Они гораздо более достоверны, чем мемуары, которые создаются уже в другую эпоху, под влиянием посторонних, нередко эгоистических факторов и порой испытывают на себе, вольно или невольно, воздействие литературных источников и печатных историко-биографических материалов.

Публикуемая работа — итог изучения эпистолярной части архивных фондов современников Достоевского в основных архивохранилищах Москвы, Ленинграда и Киева. Выдержки из писем родственников писателя—отца, братьев, сестер, племянников— и многочисленных литературных деятелей, журналистов, художников, ученых, педагогов, студентов, курсисток,врачей, редакторов, книготорговцев, адвокатов, финансистов, светских дам, типографских рабочих и пр.— образуют основной фонд публикации.

Как моя аналогичная публикация «Гоголь в неизданной переписке современников» («Лит. наследство», т. 58, 1952), она построена по плану, разработанному редакцией «Литературного наследства» еще в 1934 г. при подготовке пушкинского тома (т. 16-18),* а также в двух коллективных (при моем участии) публикациях 1949 — 1952 гг.— «Белинский в неизданной переписке современников» (т. 56, 1949) и «Пушкин в неизданной переписке современников» (т. 58, 1952). Эти обширные своды не известных ранее документальных материалов, сопровождаемых подробными комментариями, также насыщенными неизданными документами, широко используются и, вероятно, еще будут использоваться исследователями. Ни одна сколько-нибудь полная биография Пушкина, Белинского и Гоголя не может обойтись без этих историко-литературных и бытовых материалов. Можно надеяться, что и предлагаемая работа окажется полезной в этом отношении, тем более, что подлинно научная биография Достоевского до сих пор еще не создана. Читатели, интересующиеся отдельными аспектами жизни и деятельности Достоевского и историей его эпохи, также найдут здесь многообразные факты.

Публикация охватывает почти всю жизнь Достоевского — с момента поступления его в Инженерное училище. Юность и молодость писателя представлены преимущественно письмами родственников. Суровая кара, которой подвергся Достоевский в 1849 г., репрессивная политика царизма в последующие годы заставили многих перепуганных и просто осторожных людей, так или иначе соприкасавшихся с петрашевцами, подвергнуть уничтожению все следы своего знакомства с «крамольным» писателем. Следующее десятилетие — когда Достоевский был заживо погребен в Сибири, также не отличается обилием откликов. Резко меняется картина после возвращения писателя в Петербург. Его личность, его взаимоотношения с родными и близкими, семейная жизнь, горестные утраты, литературные успехи, идейные искания, материальные невзгоды, цензурные преследования, подвижнический творческий труд, редакторская и издательская деятельность находят отражение в выявленных письмах, расширяя границы прежде известных фактов и по-новому их освещая.

Семидесятые годы, как я уже отмечал, характеризуются огромным ростом популярности Достоевского, и число выявленных свидетельств современников увеличивается в соответствующей пропорции, причем на кульминационные пункты последнего периода жизни писателя приходится особенно значительная в количественном отношении и наиболее содержательная часть откликов современников.

Как же вырисовывается личность Достоевского из новонайденных писем?

Шестнадцатилетний юноша после тягостных хлопот и изнурительных экзаменов принят, наконец, в число воспитанников Петербургского Инженерного училища. По словам его старшего брата Михаила, он «выглядит молодцом» в своем новеньком «кондукторском» мундире. Но с первых же дней Достоевский томится, «скучает фронтом; ибо перед всяким офицером надобно вытягиваться!» (п. 3). Этот штрих предве-

* Публикации М. А. Цявловского «Пушкин по документам архива М. П. Погодина», В. Б. Враской «Пушкин в переписке родственников» и др.

щает многое. Здесь уже намечается та неожиданная для посторонних, но вполне закономерная коллизия, которая завершится выходом в отставку двадцатитрехлетнего военного инженера, ненавидящего свое служебное ярмо. Брат характеризует молодого Достоевского как человека «очень, очень» доброго, «с сильным, самостоятельным талантом, с глубокою эрудицией», «с сильною душою и энергическим характером» (п. 11 и 13).

После долгих лет, проведенных на каторге и в солдатских казармах, Достоевский возвращается к насильственно прерванной литературной деятельности.

«Как этот человек в душе сохранил все добрые качества! — восклицает в одном из писем его младший брат Николай.— Столько еще у него надежд на будущее! Он, кажется, спит и бредит о своей литературе. Его призвание настоящее, он не ошибся в нем» (п. 22). «Это превосходнейший человек во всех отношениях, — пишет о Достоевском в 1860 г. его брат Михаил.— Талант его вы знаете, знаете отчасти его мягкую душу из его сочинений, но не знаете вполне всей доброты, всего ума, всей обворожительности разговора этого человека» (п. 24). В его произведениях «вся его душа, вся его жизнь видна, как на ладони. Этот человек готов всегда жертвовать собою для блага ближнего»(из письма брата Николая, 1862 г., п. 37). «Он такой добрый, прекрасный и любящий человек, что, право, невозможно его не любить и не быть с ним вечно счастливой»,— пишет молодая жена Достоевского Анна Григорьевна в 1868 г. (п. 66).

Не все характеристики Достоевского, выявленные в письмах его современников, апологетичны.

Аполлона Николаевича Майкова Достоевский относил к числу своих ближайших друзей. Письма, публикуемые ниже, дают возможность несколько уточнить и объективировать характер их взаимоотношений. В письме к своей жене, датированном 26 мая 1879 г., Майков высказывает убеждение, будто Достоевский готов помогать друзьям «только *в идее*». «А на практике и оскорбит, и обидит, и рассердит, это уж такой человек». «Он в вечной лихорадке,— добавляет Майков,— и сам нуждается в уходе за собой от всех близких ему людей, которые в состоянии оценить и высоту его понятий, и высоту его таланта» (п. 171). Отнюдь не дружеским настроением проникнуто одно из следующих писем Майкова, в котором он говорит о «невозможности» характера Достоевского, о «грубом проявлении» им «любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии». Любопытны строки, завершающие эту характеристику: «Насчет расточаемого им титула дураков — ключ вот какой: все, что не есть крайний славянофил, тот дурак. Словом, он в своей логике такой же абстракт, как и все *головные* натуры, как и нигилисты, такой же беспощадный деспот, судящий не по разуму жизни, а в силу отвлеченного понятия» (п. 175).

«Дружба-вражда» Достоевского с его соратником по журнальной деятельности и будущим биографом Николаем Николаевичем Страховым проанализирована Л. М. Розенблюм в статье «Творческие дневники Достоевского» («Лит. наследство», т. 83, стр. 16—23). Публикуемые ниже письма Страхова вносят немало нового в историю их отношений.

«С Достоевскими я чем дальше, тем больше расхожусь. Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя не замечает этого»,— пишет Страхов брату 25 июня 1864 г. (п. 49). Это высказывание — не след минутного раздражения: тонкая, но прочная нить ведет от него к проникнутой ненавистью характеристике Достоевского, которую Страхов изверг через двадцать лет в письме к Л. Н. Толстому.

В *Приложении* я привожу текст незаконченной статьи Страхова «Наблюдения. Посвящается Ф. М. Достоевскому», написанной в эпистолярной форме (начало 1860-х годов). Эта статья воссоздает картину его идейных разногласий с Достоевским, обсуждавшихся во время их совместного пребывания во Флоренции в 1862 г. Как отмечает Л. М. Розенблюм по поводу этого документа, обнаруженного мною в киевском архиве Страхова, «спор во Флоренции затронул один из главнейших вопросов мировоззрения Достоевского и его творчества 〈...〉 Страхов, спокойно прокламирующий презрение к человеку, был идейным антагонистом Достоевского в гораздо большей мере, чем революционные демократы, хотя и выступал в качестве его союзника. От рассуждений Страхова веяло ненавистным Достоевскому схематизмом отвлеченной

мысли, пренебрежением к живым интересам человека» («Лит. наследство». т. 83, стр. 17—19).

Исторический романист, критик и мемуарист Всеволод Сергеевич Соловьев не без основания относил себя к числу молодых друзей и учеников Достоевского. Его письма и дневниковые записи дают возможность проследить различные фазы его отношений с писателем. Получив в ночь на 1 января 1873 г. визитную карточку Достоевского с несколькими дружескими словами, он сообщает своей матери: «Еще никогда я не был так счастлив — на карточке стоит имя человека, которого я признаю гениальным, перед которым я благоговею, о знакомстве, о дружбе которого я несколько лет мечтал, как о недосягаемом счастье» (п. 77). В дальнейших письмах Соловьев, привлеченный Достоевским к деятельному сотрудничеству в «Гражданине», сообщает, что у него «чуткость слуха только теперь развивается под строгим влиянием» его «замечательного, но, к несчастию, часто раздраженного учителя». «Моя школа подчас мне трудно дается, но я не унываю»,— заключает Соловьев (п. 90). Время развело Достоевского с Соловьевым. К отдельным произведениям прославленного мастера молодой критик начинает относиться с некоторым пренебрежением, находя, что Достоевский «в последние годы страдает художественной лихорадкой и пишет так: удачная вещь, потом неудачная, потом опять удачная» (п. 153). Это строки из письма Соловьева к реакционному беллетристу и религиозному философу К. Н. Леонтьеву. Попытку Леонтьева поставить себя как художника в один ряд или даже выше Достоевского Соловьев, однако, встречает резкой отповедью, рискуя навсегда оборвать свою дружескую связь с ним (п. 173).

Характерны высказывания о Достоевском в письмах самого Леонтьева, ревниво следившего за литературными успехами автора «Братьев Карамазовых» и раздраженно критиковавшего его за «отвратительные грубости и *ненужные реальности*» (примеч. к п. 158), так же как и за недостаточную, по его мнению, последовательность в области религиозно-философских построений.

В ряде документов упоминаются не дошедшие до нас письма Достоевского к разным корреспондентам и частично раскрывается их содержание. Драгоценен отрывок из неизвестного письма Достоевского к брату Михаилу (от двадцатых чисел ноября 1844 г.), приводимый последним текстуально. В нем идет речь о самовольном выходе Достоевского в отставку, вопреки желанию его родных и опекуна:

«Итак, я со всеми рассорился. Дядюшка, вероятно, считает меня неблагодарным извергом, а зять с сестрою — чудовищем. Меня это очень мучает. Но со временем я надеюсь помириться со всеми. Из родных остался мне ты один. Остальные все, даже дети, вооружены против меня. Им, вероятно, говорят, что я мот, забулдыга, лентяй, не берите дурного примера, вот пример — и тому подобное. Эта мысль мне ужасно тяжела. Но бог видит, что у меня такая овечья доброта, что я, кажется, ни сбоку ни спереди не похож на изверга и на чудовище неблагодарности. Со временем, брат, подождем. Теперь я отделен от вас от всех со стороны всего *общего*; остались те путы, которые покрепче всего, что ни есть на свете, и движимого и недвижимого. А что я ни сделаю из своей судьбы — какое кому дело? Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни — на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь. А если не ошибаюсь?

Итак, бог с ними! Пусть говорят, что хотят, пусть подождут. Я пойду по трудной дороге!..» (п. 13).

Семейная жизнь Достоевского, ее трудовые будни, радости и невзгоды отражены в ряде писем жены писателя — Анны Григорьевны. Первые из них относятся к заграничному периоду жизни Достоевского. «Женева — место невеселое, и бедный Федор Михайлович просто пропадает здесь без людей от скуки» (п. 62). После смерти дочери Сони (1868) Анна Григорьевна пишет А. Н. Майкову: «Как мы были счастливы в эти три месяца, пока у нас жила Соня ⟨...⟩ Федор Михайлович любил ее больше всего на свете и говорил, что никогда он еще не был так счастлив, как при Соне. Бедный, он так теперь горюет, что и сказать нельзя» (п. 66). «Федор Михайлович по целым дням без устали работает и ужасно измучился» (там же).

Последняя из приведенных строк становится настойчивым лейтмотивом писем Анны Григорьевны после возвращения Достоевских в Россию: «Я теперь арестована:

очень много пишу для Федора Михайловича, поправляю корректуры и езжу по его поручениям. Он же решительно не имеет ни минуты свободной, так сильно занят в редакции» (п. 93). «Мы ужасно спешим работать; недавно у Федора Михайловича был сильный припадок от усиленной работы, и от припадка он не может еще поправиться» (п. 170). «Вечером же никогда не свободна, так как диктуем напропалую и спешим отослать в „Русский вестник" „Братьев Карамазовых"» (п. 194). И так продолжается все время. В письме, написанном за два месяца до смерти Достоевского, Анна Григорьевна сообщает брату мужа: «...Федор Михайлович жалуется несколько на грудь. Но работы ужас как много, просто не остается ни минуты свободной 〈...〉 Каждый час, каждая минута занята, и как ни работаешь, а видишь, в конце концов, что не сделала и половины из того, что предполагала 〈...〉 Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а все при здешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережешь на старость. Право, иной раз руки опускаются и приходишь в отчаяние 〈...〉 Я хочу уговорить Федора Михайловича переехать куда-нибудь в деревню: меньше заработаем, зато меньше и проживать будем да и работать меньше придется, жизнь приглядней станет, в отчаяние не будешь приходить, как теперь» (п. 218). «Все 14 лет нашей общей жизни мы работали с ним, как волы 〈...〉,— писала после смерти Достоевского Анна Григорьевна Е. Ф. Юнге.— И вечно-то мы нуждались, вечно едва сводили концы с концами, тревожились и мечтали хоть о самом крошечном обеспечении. И вот, он умирает,— и я обеспечена, у меня пенсия. Ну не горькая ли это насмешка? Когда было дозарезу надо, когда человек убивал себя над работой — обеспечения не было, и вот оно явилось для меня, когда оно совсем не нужно» (п. 267).

Достоевский с начала 1870-х годов был втянут своими московскими родственниками в бесконечный судебный процесс в связи с наследством, оставленным его богатой теткой А. Ф. Куманиной. Подробности этой мрачной имущественной тяжбы в духе Диккенса и Бальзака занимают весьма заметное место в письмах современников. Последнее десятилетие жизни Достоевского было буквально отравлено этим делом и той атмосферой ненависти и подозрительности, которая окружала сонаследников. Непрекращающиеся распри, совещания, переговоры с судебными крючкотворами, адвокатами, поверенными, переписка, составление контрактов, векселей и т. п.— отнимали у писателя бездну времени и сил. Спором о «куманинском наследстве» была вызвана и скоропостижная смерть Достоевского (визит сестры Веры Михайловны, бурный ее разговор с Достоевским об имущественных делах, кровотечение из легких и смерть через два дня).

Одна характерная подробность невольно наводит на размышления об изумительных прозрениях, к которым способен в своем творчестве гений, и о полной беспомощности его в практических, порой незамысловатых личных делах. В «Преступлении и наказании» Достоевский с поразительной диалектической тонкостью и глубокой проницательностью анализирует запутанный ход следствия; книга его может служить своего рода пособием по криминалистике. На практике же писатель становится втупик перед самыми несложными казусами.

Доменика Ивановна, жена брата Достоевского Андрея Михайловича, женщина без образования и без претензий на иронию, сообщает мужу 23 октября 1877 г. о Достоевском: «От него я узнала, что он получил повестку, кажется из суда, о взыскании с него денег по куманинскому наследству; дело будет разбираться 11 ноября 〈...〉 Получил он эту повестку 18 октября и до сих пор еще ничего не предпринимал делать по этому делу. Но, как я заметила, что это его очень волнует 〈...〉 Федор Михайлович, как видно, ничего в этом деле не понимает, говоря, что он не юрист, а боится, что оно будет проиграно» (п. 131).

Отклики современников на публичное чтение Достоевским своих произведений представляют интерес как для характеристики самого Достоевского, так и отношения к нему широких слоев столичной интеллигенции. Особенно часты были эти выступления в 1879 г. Они всегда проходили с шумным успехом и оканчивались овациями. После одного из таких чтений Х. Д. Алчевская писала жене Достоевского: «Я недоумевала, откуда этот громкий, сильный голос, эта безграничная энергия, потрясающая нервы слушателя; неужели этот бледный, болезненный, слабый человек, которого я видела вчера, и неужели сила духа может творить подобные чудеса?» (п. 163).

И. С. Тургенев, во время своих приездов в Петербург, также выступал с публичными чтениями — нередко на тех же литературных вечерах, что и Достоевский. Враждебные отношения, установившиеся между обоими писателями, не составляли тогда секрета и невольно наталкивали читателей и слушателей на своего рода «плутарховы параллели». Судя по документам, выявленным мною, сравнение это чаще делалось в пользу Достоевского, творческая мощь которого явно перевешивала филигранное мастерство Тургенева. Сторонников Достоевского особенно возмущали «западнические» тенденции автора «Дыма». Особенную остроту и резкость это антагонистическое сопоставление приобрело после выхода в свет «Нови» Тургенева, разочаровавшей оба противоположных лагеря русской общественности.

Ни один из романов Достоевского не вызывал у читателей такого напряженного и всеобщего интереса, как «Братья Карамазовы». Каждая книжка «Русского вестника», в которой роман печатался, бралась прямо с бою. Временный перерыв в публикации, вызванный просьбой самого Достоевского, воспринимался читателями как мошенническое ухищрение издателя журнала. «Протестуйте же снова хоть сто раз против приемов, применяемых Катковым,— писал один из нетерпеливых читателей «Братьев Карамазовых».— Никто не насмехается так над публикой, как он, заставляя ожидать, затаив дыхание, все интеллигентное население России» (п. 179).

Читатель этот — не кто иной, как романист и музыкальный критик Ф. М. Толстой, незадолго до того почти равнодушно отозвавшийся о «Братьях Карамазовых» в письме к историку литературы О. Ф. Миллеру. Восторженное отношение Миллера к гениальному произведению Достоевского заставило Толстого внимательно перечитать напечатанные к тому времени главы, и вот что он пишет своему корреспонденту 14 августа 1879 г.: «Последний роман Достоевского, действительно, *как вы это говорите,— идеальное произведение*, и все наши беллетристы-психологи — со Львом Толстым во главе — не больше чем детишки в сравнении с этим суровым и глубоким мыслителем. Перебирая в уме чудовищные бессмыслицы, которые я позволил себе высказать в своем первом письме, *я краснею от стыда*, и только одну фразу я считаю возможным отстаивать и теперь — это параллель между „Человеком с содранной кожей" Микеланджело и некоторыми местами в творениях Достоевского, но с той, однако, разницей, что произведение Микеланджело — это анатомический этюд, а произведение Достоевского — это этюд психологический, или, вернее, *вивисекция*, производимая над живым человеком. Те, кто присутствует при этом эксперименте in anima vili, видят, как трепещут мускулы, течет ручьем кровь, и — что еще ужасней — они видят себя отраженными в глазах, „этом зеркале души", и в мыслях человека, вскрытие которого производит автор».

Великие критики, революционные демократы, руководители русского общественного мнения — Белинский, Добролюбов, Писарев — подвергли в свое время глубокому и сочувственному разбору ряд произведений Достоевского 1840-х — 1860-х годов («Бедные люди», «Двойник», «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание»). В 1870-х годах подобных критиков в России уже не было. Мелкотравчатые, поверхностные и зачастую недоброжелательные рецензии, появлявшиеся в периодической печати, вызывали у Достоевского едкое чувство неудовлетворенности и досады. Читая письма своих многочисленных корреспондентов, он по временам с отрадой сознавал, что все же понят и ценим, что восприятие его произведений совпадает с авторским замыслом.

Екатерина Федоровна Юнге, молодая художница, дочь бывшего президента Академии художеств гр. Ф. П. Толстого, в письме к Достоевскому с неподдельным энтузиазмом, взволновавшим писателя, говорит о «Братьях Карамазовых» как о шедевре истинного реализма, сочетающегося с поэзией, философией и гуманностью. Реализм Достоевского она ставит гораздо выше реализма Золя, Гонкуров и Доде. «Ведь это почти достижение идеала искусства,— восклицает Юнге,— человек, который реалист, точный исследователь, психолог, идеалист и философ〈...〉— у него совсем философский ум». Корреспондентка особенно отмечает умение Достоевского «войти в скверное, преступное сердце и выкопать там нечто и прекрасное» (примеч. к п. 193).

Мать Юнге, ознакомившая Достоевского с этим письмом, сообщила своей дочери о впечатлении, произведенном на него чтением:

«По мере того, как жена его читала (...), лицо его прояснялось, покрылось жизненною краской, глаза блестели удовольствием, часто блестели слезами. По прочтении письма мне казалось, что он вдруг помолодел (...) Когда я уходила, он просил меня передать тебе его глубокую признательность за твою оценку к его труду, прибавив, что в письме твоем полная научная критика, и лучшая какая-либо была и будет и которая доставила ему невыразимое удовольствие (...) Все время, покуда я одевалась в передней, он только и твердил, чтобы я не забыла передать тебе его благодарность за то, что так глубоко разбираешь его роман „Карамазовых", и сказать тебе, что никто так еще осмысленно его не читал» (п. 193).

Участию Достоевского в Пушкинских торжествах 1880 г., являвшихся, по словам И. С. Аксакова, «великим фактом в истории нашего самосознания», «победой духа над плотью, силы и ума и таланта над великою, грубою силою, общественного мнения над правительственною оценкою, до сих пор удостоивавшею только военные заслуги своей признательности» (п. 208), посвящен ряд писем и дневниковых записей. Особенно интересен с фактической стороны обширный отчет, сделанный археологом М. А. Веневитиновым. Он отмечает «гул восторга», с которым публика встретила появление на эстраде Достоевского. «Блестящие места речи,— пишет он,— невольно захватывали дух у слушателей своею глубиною и заставляли залу неоднократно прерывать оратора взрывами восторженных рукоплесканий» (стр. 504).

Энтузиастическое отношение Веневитинова к Достоевскому сочеталось в нем с крайней антипатией к Тургеневу, разделившему триумф Достоевского на Пушкинских торжествах.

Речь Достоевского наэлектризовала аудиторию; призыв к слиянию интеллигенции с народом, утверждение, что «ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено», вызвали овацию. Но проповедь смирения «свела весь смысл речи почти на нуль»,— отмечал в «Отечественных записках» Г. И. Успенский. Революционно-демократическая и значительная часть либеральной печати вскоре выступили с критикой прославленной речи.

Не удовлетворило выступление Достоевского и наиболее реакционных публицистов. К. Н. Леонтьев, высокомерно осуждавший оратора за его веру в грядущее земное счастье, сближавшую ее с социалистическими идеалами, противопоставил этой вере «истинно христианское учение» о возможности счастья для человечества только в загробном мире. Политический интриган и бездарный романист Б. М. Маркевич 16 августа 1880 г. в письме к Леонтьеву с притворным пафосом заявил, что «христианское разумение» Леонтьева «и чище, и плодотворнее» «расплывчатой *любви*» Достоевского, «так как оно расцветает на чисто евангельской почве» (п. 210). Маркевич определил при этом основное положение речи Достоевского как компромисс между христианским учением и социализмом.

Славянофилы, и, в первую очередь, И. С. Аксаков, искренно восторгаясь речью Достоевского, признавали, однако, что выраженные в ней мысли «не новы ни для кого из славянофилов»: «Глубже и шире поставлен этот вопрос у Хомякова и у брата Константина Сергеевича,— писал Аксаков.— Но Достоевский поставил его на художественно-реальную почву, но он отважился в упор публике, совсем не под лад ему и его направлению настроенной, высказать несколько мыслей, резко противоположных всему тому, чему она только что рукоплескала, и сказать с такою силой суждения, которая, как молния, прорезала туман их голов и сердец,— и, может быть, как молния же, и исчезла, прожегши только души немногих» (п. 211).

Откликами на смерть Достоевского в письмах его друзей, знакомых и родственников, а также представителей мира литературы и искусства завершается основной раздел публикации.

Сквозь традиционную, банальную фразеологию, в которую обычно облекаются официальные, а порой и неофициальные выражения скорби, в эпистолярных материалах о Достоевском ощутимо пробивается струя неподдельного горя и сознание колоссальной утраты, понесенной русской литературой и русским народом.

Увидев, насколько силен резонанс, вызванный кончиной Достоевского, правительство и церковные власти взяли на себя руководство общественным мнением. Офи-

циальные и официозные газеты, в частности «Новое время», превратились в своего рода амвоны, с которых непрестанно возвещалось, что у Достоевского особенно были «крепки основы веры, народности и любви к отечеству» (слова К. П. Победоносцева). Вдове и детям покойного была назначена крупная пенсия. Александро-Невская лавра безвозмездно предоставила покойному писателю почетное место на своем кладбище. Члены царствующей фамилии и министры «удостоили своим присутствием» скромную квартиру Достоевского. Траурной церемонии пытались придать сугубо официальный характер; были приняты меры, чтобы погребальная процессия не превратилась — стихийно или сознательно — в антиправительственную демонстрацию; на кладбище впускали строго по билетам и т. п. Но самый факт оказания беспримерных посмертных почестей писателю с революционным прошлым был весьма красноречив. Характерный эпизод отмечен А. Н. Энгельгардт:

«Его похороны были событием. Ни с чем не сравнимая пышность его похорон обратила на себя внимание даже людей из народа, осведомлявшихся, что же собой представляла эта великая личность, этот генерал, которому отдают столь блистательные почести? На вопрос подобного рода, заданный человеком из народа, который спросил, кого ж это хоронят с такой небывалой торжественностью, один студент ответил: „Бывшего каторжника“» (стр. 541).

Украинский филолог П. Г. Житецкий писал сыну 10 февраля 1881 г.:

«...Так не хоронят ни богачей, ни власть имущих — так хоронят только любимцев народной массы, которые всю свою жизнь боролись за этот народ, защищали его от всяких напастей и долгими годами страдания приобрели себе любовь народа. Это даже мало напоминало похороны — это было какое-то народное празднество; как-то легко на душе, потому что видишь перед собою не смерть с ее вечным сном и забытьем, а лишь преходящий момент в жизни человека, который еще долго, долго будет жить в своем народе» (п. 256).

* * *

Выявление материалов для публикации производилось мною в следующих архивах: Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Центральном государственном архиве литературы и искусства, Отделе рукописей Государственного литературного музея, Центральном государственном архиве древних актов, Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства, Отделе письменных источников Государственного исторического музея, Архиве Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина, Архиве Государственной Третьяковской галереи, Архиве Л. Н. Толстого, Архиве Института русской литературы Академии наук СССР, Центральном Государственном историческом архиве СССР, Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и Архиве Центральной научной библиотеки Академии наук УССР. Просмотрено свыше ста фондов.

В комментариях к публикации также приводятся неизданные письма современников Достоевского и свыше 50 писем разных лиц, адресованных самому писателю (полностью и в выдержках): Н. С. Абазы (1881), И. С. Аксакова (1880—1881), Н. П. Аловерта (1879), Х. Д. Алчевской (1876), К. И. Бабикова (1868), А. Ф. Благонравова (1880), Н. П. Вагнера (1876), П. А. Висковатова (1871), М. И. Владиславлева (1871—1872), А. Е. Врангеля (1867), Е. Н. Гейден (1880), М. М. Достоевского (1841), Н. М. Достоевского (1874 и 1880—1881), А. Г. Достоевской (1872—1875), И. Желтова (1873), А. Е. Зурова (1879), К. А. Ислявина (1880), В. М. Карепиной (1878), А. А. Киреева (1879—1880), М. Н. Климентовой-Муромцевой (1880), С. П. Колошина (1864), А. Е. Комаровской (1880), В. М. Лаврова (1880), Н. К. Лебедева-Морского (1880), А. В. Лохвицкого (1877), О. Ф. Миллера (1879), О. А. Новиковой (1879—1880), М. П. Погодина (1864), П. Н. Полевого (1876), Е. А. Рыкачевой (1875), Вл. С. Соловьева (1878), Н. Н. Страхова (1862, 1874), А. С. Суворина (1880), И. Тришина (1878), Е. А. Чертелевой-Лавровской (1880), В. Д. Шера (1880), И. Н. Шидловского (1864), А. А. Шкляревского (1873), Е. Ф. Юнге (1879 и б/д), С. А. Юрьева (1880) и неустановленных лиц (1879 и б/д).

I

В ИНЖЕНЕРНОМ УЧИЛИЩЕ. — ВЫХОД В ОТСТАВКУ. — «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». — АРЕСТ И КАТОРГА. — ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. — «ВРЕМЯ». — «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ». — «ЭПОХА». — СМЕРТЬ М. М. ДОСТОЕВСКОГО. — ВТОРОЙ БРАК (1837—1867)

1. М. А. ДОСТОЕВСКИЙ — К. Ф. КОСТОМАРОВУ

⟨Москва⟩ 8 ноября 1837 г.

...Утешительное для меня письмо ваше [1] я имел удовольствие сего 7 ноября получить, душевно благодарю вас за оное ⟨...⟩ Уверен будучи из писем детей моих [2] в вашем всегдашнем к ним расположении, нимало не сомневаюсь, что вы употребите все нужное для их пользы.

В прошедшем моем письме [3], не имев никакого сведения о детях моих, я терзался сомнением и был в отчаянии, а потому прошу вас простить мне, что я так часто обременяю вас моею перепискою. Но я пишу к отцу и с сей стороны остаюсь покоен. Впрочем, поручая себя и детей моих в ваше доброе расположение, честь имею пребыть, милостивый государь, с должным уважением, ваш покорнейший слуга Михаил Достоевский.

Автограф. ЛБ, ф.93.II.10.45.

Михаил Андреевич *Достоевский* (1789—1839) — отец писателя.

Коронад Филиппович *Костомаров* (1803—1873) — содержатель подготовительного пансиона для юношей, поступающих в Инженерное училище. Михаил и Федор Достоевские были приняты в его пансион в мае 1837 г. («Жизнь и труды Достоевского», стр. 291). В 1839 г. Достоевский уверял отца: «Костомаров обморочил вас и только взял с вас деньги за нас, тогда как мы могли бы и без приготовленья поступить в Училище» («Письма», IV, стр. 242).

[1] Это письмо Костомарова, как и все его остальные письма к М. А. Достоевскому, неизвестно.

[2] См. «Письма», I, стр. 41—45; IV, стр. 228—232. Некоторые письма к отцу из Петербурга, подписанные братьями Достоевскими, принадлежат перу Михаила. Об этом свидетельствуют не только характерные черты эпистолярного стиля старшего брата в эти годы. Начав с местоимения «мы», автор писем, т. е. Михаил, нередко тут же переходит к своим личным делам и до конца письма ведет его уже от своего собственного имени. То обстоятельство, что на письмах стоит подпись обоих братьев, не делает Достоевского их автором и даже соавтором. Помещение этих писем в одном ряду с письмами, действительно написанными самим Достоевским и выдержанными в совсем другом ключе,— нелогично. Они должны помещаться в *приложениях* к собраниям писем Достоевского или, в крайнем случае, в разделе «Коллективное».

[3] Упоминаемое письмо М. А. Достоевского к Костомарову неизвестно.

2. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 19 января 1838 г.

... Брат уже поступил в Училище[1], как, я думаю, вы и видите по тому, что я пишу к вам от своего имени. В воскресенье надеюсь видеть его во всей амуниции. Не знаю, как-то он ознакомится с своими товарищами ⟨...⟩

Насчет наших писем не беспокойтесь; они целы и невредимы. На почту я их ношу сам, потому что пишу всегда не в узаконенное время! Я было и сам сперва насчет этого беспокоился,— но теперь совершенно покоен! Может быть, читают иногда на почте, что случается, но до этого нам дела нет! Пусть читают — ничего не вычитают...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382.

[1] О своем поступлении в Инженерное училище сам Достоевский сообщил отцу 4 февраля 1838 г. («Письма», IV, стр. 234).

3. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 29 января ‹1838 г.›

...Брата я нынче видел! Сегодня рожденье Михаила Павловича[1] — и в Училище генерал [2] делает бал! Они теперь, я думаю, подняли пыль до небес! Кондукторы [3] с ним очень ласковы! Какой он молодец в своем мундире! Только скучает фронтом; ибо перед всяким офицером надобно вытягиваться![4] ‹...›

Как жаль! Мы лишаемся теперь на несколько месяцев нашего доброго, любезного поэта Ивана Николаевича Шидловского![5] Он едет в Харьков, чтоб отдохнуть от *петербургской*, *дурацкой* жизни, как вы сами, бывши здесь, ее назвали! ‹...›

Брат с будущею почтою будет писать к вам [6]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382.— Отрывок напечатан в сб. «Достоевский и его время». Л., 1971, стр. 280.

[1] Великий князь *Михаил Павлович* (1798—1849) — младший брат Николая I, начальник военно-учебных заведений.

[2] Генерал-лейтенант Василий Львович *Шарнгорст* (1798—1873) — начальник Инженерного училища.

[3] *Кондукторами* назывались воспитанники Инженерного училища.

[4] Ср. письмо Достоевского к отцу, датированное 4 февраля («Письма», IV, стр. 234—236). Отклик М. А. Достоевского на эти строки см. в его письме к Михаилу, написанном 12 февраля (В. С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, стр. 118—119).

В письме (б.д.), относящемся к этому времени, Михаил Достоевский сообщал отцу: «В субботу и в воскресенье я видел брата! Ну, папинька! каким он стал молодцом в своем новом мундире! Я надеюсь также, ежели не на этой неделе, то на той непременно надеть мундир! ‹...› Брату все нужное будет куплено; он тысячу раз просит у вас прощения, что не мог написать к вам! потому что не успел! в будущем письме он напишет!» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382).

[5] Иван Николаевич *Шидловский* (1816—1872) — приятель Достоевского, «откровенная чистая душа» («Письма», I, стр. 56 и 463—464). Шидловскому посвящена брошюра М. П. Алексеева «Ранний друг Ф. М. Достоевского». Одесса, 1922. Братья Достоевские сильно преувеличивали творческие способности этого молодого человека, находившего, в свою очередь, крупный поэтический талант в М. М. Достоевском.

Из письма М. М. Достоевского к отцу (Ревель, конец января 1839 г.): «Вы изъявили желание, любезный папинька, читать мои стихотворные попытки! Итак, посылаю вам бедное блюдо из моей поэтической поварни! По своему содержанию, я знаю, оно будет вам по сердцу. Я не могу вспомнить покойной маминьки без сильного душевного движения! Летом я видел ее во сне: видел, будто она нарочно сошла с небес, чтоб только благословить меня, и это было причиною рождения моего стихотворения. Я посылал его брату; он читал его Шидловскому, и Ш‹идловский› в восхищении от него; он так хвалит мой талант, что я, право, не знаю, достоин ли я всех похвал его. Я переслал уже ему стихотворений с десять; он пишет ко мне огромнейшие письма...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382). Об упоминаемом в этом письме стихотворении М. М. Достоевского «Видение матери» см. на стр. 325—327 настоящ. тома. 31 октября 1838 г. Достоевский писал брату: «В твоем стихотворенье: „Виденье матери“, я не понимаю, в какой странный абрис облек ты душу покойницы. — Этот замогильный характер не выполнен. Но зато стихи хороши, хотя в одном месте есть промах. — Не сердись за разбор» («Письма», I, стр. 51). См. также примеч. 4 к п. 5.

[6] Михаил Достоевский сообщал отцу 17 февраля 1838 г.: «Брат к вам писал уж. Он мне сказывал, что вы боитесь, чтоб его не прикомандировали к какому-нибудь кадетскому корпусу? Этого никогда не может быть, будьте совершенно покойны!» И 28 февраля: «Брат очень доволен также своим Училищем. У них чудеснейшие учителя» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382).

4. М. А. ДОСТОЕВСКИЙ — К. Ф. КОСТОМАРОВУ

‹Москва› 1 марта 1838 г.

... Давно уже следовало бы мне возблагодарить вас за оказанные вами сыну моему пособия в определении его в инженерные юнкера [1]; но, во-первых, открывшаяся старая болезнь — ревматизм, от января месяца до сих пор продолжающаяся; во-вторых, не имев от сына моего ни-

какого известия от 29 прошедшего января по 27 число сего февраля, лишен был удовольствия исполнить сие. Теперь приятнейшею поставляю для себя обязанностию принесть вам, милостивый государь, мою душевную благодарность за ваши благодеяния, оказанные детям моим, в особенности старшему моему сыну — прошу вас покорнейше не оставить их и в предбудущее время вашими советами, а вместе с сим позвольте вас еще утруждать моею покорнейшею просьбою, постараться о переводе его в Инженерный замок [2]. Еще мне за несколько пред сим временем прискорбно было прочесть в письме сына моего, что будто бы вы полагали меня способным написать что-то предосудительное к одному из начальствующих лиц на ваш счет [3]. Поверьте, что ежели бы и написал, то кроме душевной моей благодарности я не мог бы более ничего написать. Уповаю, что вы сим перемените обо мне ваше мнение и равным образом довершите ваше доброе расположение к сыну моему, споспешествуя в переводе его в Инженерный замок, для совместного или, по крайней мере, близкого нахождения с меньшим моим сыном; сим пожизненно обяжете пребывающего к вам, с душевною благодарностию и таковым же уважением, милостивый государь, вашего покорнейшего слугу Михаила Достоевского.

Писарской текст с автографической подписью. ЛБ, ф. 93. II.10.45.

[1] М. М. Достоевский, не принятый в Инженерное училище, был зачислен 25 января 1838 г. «кондуктором 2-го класса» в С.-Петербургскую инженерную команду, о чем поспешил сообщить отцу (сб. «Достоевский и его время», стр. 280).

[2] Поступить в Инженерное училище Михаилу Достоевскому не удалось и впоследствии.

[3] В конце января 1838 г. Михаил Достоевский извещал отца: «Костомаров очень беспокоится, узнав, что вы кое-что написали об нем к Геруа! Я ничего не знаю об этом. Он просил меня, чтоб я написал к вам об этом и чтоб вы насчет этого успокоили его своим письмом и написали ему, в каком смысле вы к Геруа писали» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382). Александр Клавдиевич *Геруа* (1785(?)—1852) — генерал-лейтенант, управляющий Инженерным департаментом и инспекторской частью Инженерного корпуса.

5. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨Ревель [1]⟩ 8 мая ⟨1838 г.⟩

...Благодарю, много, много благодарю я вас за всё: и за деньги и за письмо, а особливо за известие (хотя и неполное) о брате! [2] Вот уже более полгода, как я об нем ничего не знаю; это меня мучило — и я, как и вы, папинька, стал бог знает что придумывать о его молчании; даже — сказать ли вам эту глупость — стал прилежно читать приказы, думая найти его имя в списке или отживших или живущих, но как живущих?! Можете вообразить, каково мне было успокоивать вас, писать, что он здоров, и тому подобное, когда я сам знал об нем еще менее, нежели вы! Но скажите, ради бога, что это за причина, какая это была причина, заставившая его изломать перо свое для нас? Вот загадка! Слава богу, что я не любопытен, а то пришлось бы ломать голову до тех пор, пока хотя одна светлая отгадка вылетела бы из ее обломков! Как я рад, что наша маленькая драма развязалась по крайней мере хорошо, без катастроф! [3] ⟨...⟩ Напишите, сделайте милость, брату, чтоб он писал ко мне; меня теперь все позабыли; один только я всех помню! [4]

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382.

[1] Через три месяца после вступления Михаила Достоевского в Петербургскую инженерную команду он был откомандирован в Ревельскую инженерную команду («Вопросы литературы», 1971, № 5, стр. 249; ср. сб. «Достоевский и его время», стр. 281).



ДОСТОЕВСКИЙ

Рисунок (карандаш) К. А. Трутовского, 1847. Рукою художника: «К. Трут. 1847. Ф. М. Достоевский —1847»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

[2] Это письмо М. А. Достоевского к сыну неизвестно.

[3] 26 мая Михаил Достоевский писал отцу: «От брата я еще не получал писем: думаю, что они в лагерях и потому лишены удовольствия в переписке. Я сам не знаю, куда адресовать свои письма к нему. Я думаю, в Инженерное училище, оттуда есть сообщение с лагерями, следовательно передадут. Брата я также ссужал деньгами: на книги; с них брали также подписку за исповедь и за коньки! Это уж всегда бывает! Да и так ему иногда надобились деньги на мелочи» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382).

[4] 27 мая в письме к Достоевскому его отец замечал о Михаиле: «Я его в нескольких письмах разбранил, что он, ведя переписку с Шидловским, об тебе писал глухо, что ты здоров и не имеешь никаких неприятностей, не имея сам о тебе ни малейшего сведения; но я на него и сам сердит, что он употребляет время на пустое, на стихокорпание» (В. С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских, стр. 121—122).

6. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — М. А. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Ревель. Начало октября (?) 1838 г.›

... О брате Феде не беспокойтесь. Он мне писал то же самое, но это только одни его догадки [1]. Это больше зависит от экзамена, нежели от чертежей. Притом же, ежели б его и оставили еще на год в третьем классе, то это еще совсем не беда, а, может, было бы и к лучшему. Положим, что он пробудет лишний год кондуктором, но зато он может тогда выйти из училища первым и получить прямо поручика, а это не шутка! Поверьте мне: я очень хорошо знаю все их учреждения и обряды и потому наверно говорю вам, что многие, даже из моих знакомцев, сами просят, чтоб их не переводили, но их хитрость почти всегда угадывается. Что же касается до его выключки, то я, право, не знаю, чем побожиться вам, что этого никогда не может быть. Выключают тех, кто гадко ведет себя и кто сидит по четыре, по пять лет в одном классе! И то по благоусмотрению великого князя, который докладывает об этом государю. Выключить кондуктора — дело не совсем легкое, а тем более совсем невинно, ни за что, ни про что. Неужели вы полагаете, что там один только он худо чертит? Поверьте, что там гораздо более половины таких, которые не только чертить, но и учиться не умеют! ‹...›

Шидловский пишет ко мне часто и огромнейшие, умные письма. Он меня все так же любит: несравненный человек!..[2]

Посланный мною вам каталог содержал необходимые мне книги, чтоб приготовиться к экзамену [3] ‹...› Конечно, лучше всего адресоваться к Шидловскому; я напишу к нему об этом, он, посоветовавшись с братом, наверно обделает все как нельзя лучше, притом же многие книгопродавцы ему знакомы [4]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 126.

[1] В недошедших до нас письмах к отцу и брату Достоевский высказывал предположение, что его могут оставить на второй год. Предположение это вскоре оправдалось (см. «Письма», IV, стр. 446).

[2] Одно из писем Шидловского к Михаилу Достоевскому сохранилось. См. п. 7.

[3] Этот «каталог», составленный Михаилом Достоевским, находится среди его писем к отцу (ЛБ, ф. 93.II.4.27). В нем перечислено десять учебников и указаны цены на них, общей суммой в 132 р.

[4] 16 декабря 1838 г. Михаил Достоевский сообщал отцу: «Брат так долго молчит, невзирая на все мои воззвания, что я уже перестал сам писать к нему. Он, верно, еще не испытал грусти, когда не получаешь ниоткуда писем!» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 382).

7. И. Н. ШИДЛОВСКИЙ — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 17 января 1839 г.

... На днях получил письмо от вашего папиньки: он, подобно вам, жалуется на молчание Федор Михайловича, хотя Федор Михайлович утверждает, что он писал недавно [1]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.9.143-б. Письмо процитировано (без приведенных выше строк) в «Биографии...», стр. 38—39.

Об *И. Н. Шидловском* см. в примеч. 5 к п. 3.

[1] Отец Достоевского был в это время крайне обеспокоен отсутствием писем от сына и беспрестанно осведомлялся через Шидловского о причине его молчания. 23 марта Достоевский сообщил отцу, что в связи с какой-то «ужаснейшей историей», происшедшей в Инженерном училище, переписка учащихся подвергается перлюстрации со стороны начальства, а «часть писем, должно быть, задерживали на почте» («Письма», IV, стр. 238—239 и 446).

8. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — В. М. ДОСТОЕВСКОЙ

Ревель. 1 сентября ‹1839 г.›

Прости меня, милая сестра моя, что я так долго заставлял тебя удивляться моему молчанию! ‹...› Я нахожусь теперь в совершенном неведении наших обстоятельств. Что делается у нас в деревне, выбраны ли у нас опекуны, нет ли каких-нибудь препятствий? [1] — Я ничего, о всем этом ничего не знаю. Если б я мог поехать сам в деревню, то наверно все бы устроил,— или, по крайней мере, вывел бы себя из этого мучительного незнания. Время идет, вот уже четвертый месяц, как скончался папинька,— а еще ничего не устроено. У нас, я думаю, ужаснейший беспорядок; староста не знает, к кому относиться в делах своих; все запечатано: Григорий [2] писал ко мне, что ему даже не позволили выколотить папинькины шубы и он боится, чтоб в них не завелась моль. Дворовые люди гуляют, между тем как они могли бы быть отпущены по паспорту и приносить оброк; в нашем теперешнем положении и это было бы значительною помощию. Притом же, кто будет опекуном нашим? Чужой! Что ему за дело до нас?! Боюсь, сестра, боюсь, чтоб крохи, собранные покойником, не разлетелись вместе с его кончиной.

Мне все советуют ехать. Я и сам знаю, что это необходимо, но как я поеду? с чем я поеду? где возьму я денег на мою поездку? Между тем, из каширского суда получил я бумагу, в коей вызывают меня в деревню. Ей-богу, я не знаю, что мне делать? Брат мне также пишет, чтоб я немедленно ехал! [3] Ах, Варинька, ты не поверишь, какую нужду терпит он теперь. Два месяца не писал он ко мне ни слова, не имея денег на почту... Наше положение ужасно... Мы не знаем, к кому адресоваться, к кому относиться с нашими просьбами! Если б не помощь дядиньки [4]— я бы и сам не знал, что мне делать. По крайней мере я расплатился теперь с долгами и потому покоен, хоть и сам терплю нужды. Ох, папинька, папинька! Сколько мы потеряли в тебе!..

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.4.25. Дата уточняется по содержанию: отец Достоевского был убит своими крепостными в начале июня 1839 г. («Жизнь и труды Достоевского», стр. 33).

Варвара Михайловна *Достоевская* (в замужестве Карепина, 1822—1893) — сестра Достоевского. «Я ее люблю; она славная сестра и чудесный человек»,— писал о ней Достоевский в 1880 г. («Письма», IV, стр. 214).

[1] Летом 1839 г. опекуном семьи Достоевских был назначен каширский исправник Н. П. Елагин. «Став опекуном имения, он занялся прилежным его обкрадыванием и в полтора года нанес много вреда наследникам»,— отмечает В. С. Нечаева, высказывая предположение, что это опекунство могло быть «формой взятки за утаенное убийство» М. А. Достоевского («В семье и усадьбе Достоевских», стр. 60—61).

[2] Григорий *Васильев* — дворовый Достоевских, прототип Григория Васильевича (слуги Федора Карамазова). Упоминаемое письмо его к М. М. Достоевскому неизвестно.

[3] См. письмо Достоевского к брату, датированное 16 августа 1839 г. («Письма», II, стр. 549—551).

[4] Александр Алексеевич *Куманин* (1792—1863) — муж тетки Достоевского. Он вскоре стал опекуном братьев и сестер Достоевских.

9. Н. П. ЕЛАГИН — А. А. КУМАНИНУ

⟨Кашира⟩ 28 ноября ⟨1839 г.⟩ [1]

... При исходатайствовании пансиона малолетним детям вашей покойной сестрицы встретилась надобность знать, Михайла и Федор Михайловичи на казенном ли содержании воспитываются или нет, и также, когда кто из детей в какое время рожден. Об меньшей дочери я справки имею, также и о трех старших детях метрические свидетельства; об трех же средних нужно бы сделать партикулярную выправку в Марьинской больнице; впрочем, последнее обстоятельство не такой важности; но об том, на казенном ли содержании воспитываются старшие дети, я просил бы вас теперь меня уведомить [2]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 408.

[1] Публикуемое письмо является ответом на следующее письмо Куманина от середины ноября 1839 г.: «... Неоднократно писал я к вам о немедленной высылке в Москву дворового малолетних Достоевских человека Григория с надлежащею доверенностию для заключения условий с теми мастерами, которым отданы в ученье присланные вами мальчики. Не получив доселе от вас никакого уведомления по этому предмету и не видя развязки этого дела, я за нужное счел еще раз написать вам и поставить вас в известность о том затруднении, в каком теперь находятся мастера, принявшие к себе в ученье мальчиков без всяких видов. Не говоря о хлопотах, какие обыкновенно бывают при спросах и допросах полицейских, они рискуют подвергнуться платежу штрафа за каждого мальчика по пяти рублей в сутки ⟨...⟩ Сверх того, покорнейше прошу сообщить мне: начато ли вами дело об исходатайствовании малолетним пансиона, и если начато, то на чем оно теперь остановилось и куда от вас подана о том просьба» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 411).

[2] Куманин писал Елагину в конце ноября — начале декабря: «... На письмо ваше от 28 ноября спешу вам, милостивый государь, ответствовать, что из детей покойной сестры Михаил состоит юнкером, а Федор воспитывается в Инженерном училище, но на казенном ли содержании, того утвердительно сказать не могу, потому что, по окончании экзамена, казенных вакансий в училище не было,— и он принят пансионером за внесенную тогда от меня сумму денег. Что же касается до времени рождения Андрея, Веры и Николая, то первый родился, как это оказалось по партикулярно взятой выписке из метрических книг, 15 марта 1825 года, вторая — 21 июля 1829, а третий — 13 декабря 1831 года...» (там же).

10. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — В. М. ДОСТОЕВСКОЙ

⟨Ревель⟩ 23 марта 1840 г.

... В прошлом письме моем я писал тебе о моем намерении выйти в местные инженеры [1]. Этому, видно, не быть. Порядочный нагоняй от брата выгнал эту блажь из головы моей, и я опять завален книгами, занимаюсь и днем и ночью. Что-то будет, но в августе я еду в Петербург и надеюсь выдержать этот страшный, огромный экзамен [2]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 401.

[1] Это письмо неизвестно, так же, как упоминаемое ниже письмо Достоевского.

[2] М. М. Достоевский приехал в Петербург в конце 1840 г., чтобы держать экзамен на чин прапорщика полевых инженеров. Произведен в офицеры в январе 1841 г. См. «Биография...», стр. 41.

11. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — П. А. КАРЕПИНУ

Ревель. 25 сентября 1844 г.

... Из письма вашего я с крайним удивлением узнал о том, что брат Федор подал в отставку. Вам, может быть, покажется странным, что я ничего не знал об этом. Но это так. Не стану скрывать, что знал о его про-

екте оставить службу, но не знал, что нынешний же год приведет его в исполнение [1]. В прежних письмах своих к нему, еще весною, я просил его подождать годик-другой, пока он крепче не утвердится на новом своем поприще. И потому вы можете представить себе все мое удивление, когда спустя почту после вашего я получаю от него письмо, в котором он уведомляет меня, что вот уже четыре месяца как он подал в отставку [2]. Причин мне не пишет никаких. Вам он писал об откомандировке. Если точно это побудило его к тому, то я готов с ним согласиться, что ему нечего было делать, как подавать в отставку [3]. Он не может покинуть Петербурга, не разорвав всех связей, которые сулят ему в будущем широкую дорогу славы и богатства. Он желает вполне предаться литературе; до сих пор он работал только для денег, т. е. переводил для журналов («Отечественные записки», «Репертуар»), за что ему очень хорошо платили [4]. Я ему много пророчу в будущем. Это человек с сильным, самостоятельным талантом, с глубокою эрудицией. Прочитав почти всех классиков Европы, я, по крайней мере, могу составить себе мнение об хорошем и дурном. Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене [5]. Развивающийся талант должен учиться, и потому Петербурга ему нельзя и не должно оставлять; в нем одном в России он только и может образоваться. Ему предстоит теперь трудное дело — проложить себе дорогу, завоевать имя. Он пожертвовал всем своему таланту, и талант — я знаю, я уверен — его не обманет. Дай бог, чтоб он только не пал, чтоб он только вынес первые удары, а там... кто может знать, что будет впереди?

Он *хочет* во что бы то ни стало продать нам свою часть. Согласитесь сами, что отдает он нам ее за бесценок. Даже совестно покупать у него за эту цену: просит он единовременно 500 рублей серебром и потом по 10 рублей серебром в месяц. Но вы ему и без того в год перешлете эти 500 рублей, стало быть, почти он продает капитал за годовой доход. Ваша правда, судейским порядком слишком затруднительно кончить это дело, но нельзя ли домашним, семейным образом? Он дает подписку, что отказывается от своей части; вы пошлете ему деньги, а потом через год, через два, даже, пожалуй, через пять лет, мы привели бы это все в порядок. Брат так честен, что ему можно и без расписки дать эти деньги. Я за него, если хотите, в качестве второго опекуна,— ручаюсь [6].

Подумайте-ка, Петр Андреевич. И вам бы было гораздо приятнее, избавившись разом от хлопот. Рублей 500 серебром можно бы было как-нибудь призанять. Уплачивать мы бы стали из его же части доходов. Я очень бы рад был, если б все это к общему нашему удовольствию могло уладиться. Брату деньги нужны дозарезу. У него есть еще несколько долгов, которые требуют немедленной уплаты. Вы его приведете в отчаяние отказом [7]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 405. Это письмо так же, как п. 12, 13 и 24, опубл. А. З. Писцовой в «Вестнике Ленингр. ун-та», 1972, № 2, вып. 1, стр. 152—157, когда настоящ. том уже находился в производстве.

Петр Андреевич *Карепин* (1796—1850) — чиновник, муж Варвары Михайловны, опекун Достоевских.

[1] В одном из писем, относящихся к апрелю 1844 г., Достоевский писал брату: «Служба надоедает. Служба надоела, как картофель <...> Приеду на 2 недели в сентябре, когда выйду в отставку» («Письма», IV, стр. 71).

[2] Это письмо Достоевского остается неизвестным. Прошение об отставке он подал в середине августа («Жизнь и труды Достоевского», стр. 39).

[3] В нескольких письмах, адресованных П. А. Карепину, Достоевский по-разному объяснял причины своей отставки. В первом из них, от 20-х чисел августа, он писал: «Меня назначили в командировку на крепость. Должен я был около 1200 руб., должен был наделать про запас платья, должен был жить в дороге, может быть на пути в Оренбург или Севастополь или даже подальше куда-нибудь, да, наконец, иметь средства обзавестись кой-чем на месте...» («Письма», IV, стр. 247). 30 сентября он писал

брату: «Подал я в отставку оттого, что подал, т. е. клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром ⟨...⟩ Зачем терять хорошие годы? А наконец главное: меня хотели командировать — ну скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга? Куда бы я годился? — Ты меня хорошо понимаешь?» («Письма», I, стр. 72—73).

[4] Переводы Достоевского, помещавшиеся в «Отечественных записках» и «Репертуаре русского и пантеоне всех европейских театров», полностью не выявлены. Во втором из этих журналов был напечатан его перевод «Евгении Гранде» Бальзака (1844, № 6 и 7). В апреле Достоевский сообщал брату: «Перевожу Жорж Занд и беру 25 руб. асс. с листа печатного» («Письма», I, стр. 71). Речь идет о романе «Последняя Альбини».

[5] Драмы Достоевского до нас не дошли. 16 февраля 1841 г., накануне отъезда Михаила Михайловича из Петербурга в Ревель, Достоевский прочел у него на прощальном вечере отрывки из двух своих драм — «Мария Стюарт» и «Борис Годунов» («Биография...», стр. 41). О них ли говорится в публикуемом письме,— неясно. Во всяком случае, сообщение о предстоящей постановке в Петербурге пьес Достоевского сильно преувеличено. Цель этого сообщения совершенно очевидна: Михаил Михайлович хотел убедить Карепина в прочности литературного положения брата. 30 сентября Достоевский писал Михаилу Михайловичу: «Ты говоришь, спасение мое — драма. Да ведь постановка требует времени. Плата также» («Письма», I, стр. 73).

В открытом письме к издателю «Нового времени» А. С. Суворину, датированном 5 февраля 1881 г., младший брат Достоевского Андрей отмечал: «Еще в 1842 г., то есть гораздо ранее „Бедных людей“, брат мой написал драму „Борис Годунов“. Автограф лежал часто у него на столе, и я — грешный человек — тайком от брата нередко зачитывался с юношеским восторгом этим произведением. Впоследствии, уже в очень недавнее время, кажется в 1875 г., я, в разговорах с братом, покаялся ему, что знал о существовании его „Бориса Годунова“ и читал эту драму. На вопрос мой: „Сохранилась ли, брат, эта рукопись?“, он ответил только, махнув рукой: „Ну, полно! Это... это детские глупости!“ Оценять достоинство означенной драмы, конечно, я не буду ⟨...⟩ Талант брата сказывался уже и в нем. Может быть, каким-либо чудом эта рукопись и сохранилась между бумагами, отобранными от брата при арестовании его в 1849 г.» («Новое время», 1881, № 1778, 8 февраля).

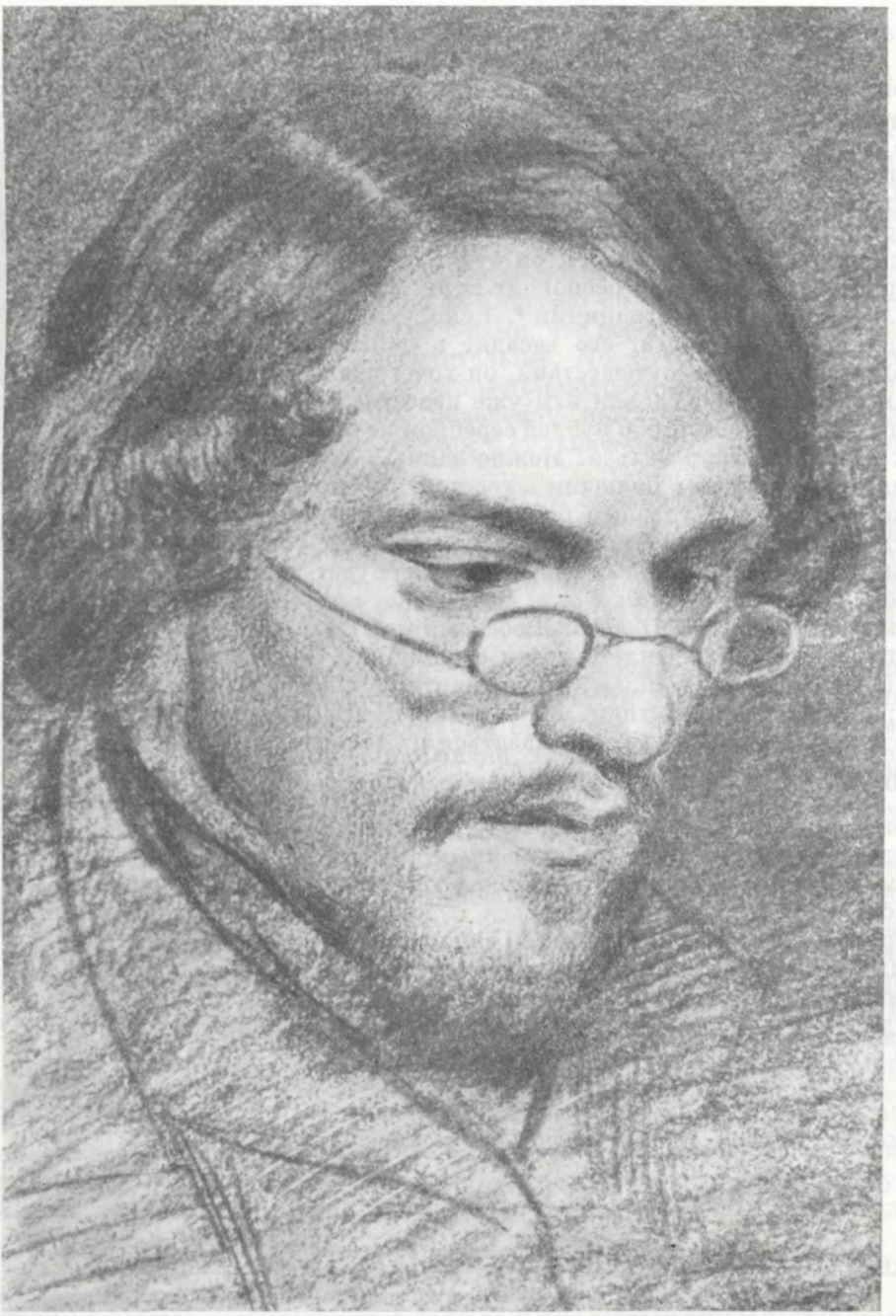
[6] В двадцатых числах августа 1844 г. Достоевский писал П. А. Карепину: «Так как я хочу, чтобы никто не смел говорить, что я разоряю все семейство наше, то я теперь говорю, в последний раз, по моей собственной воле, по моему собственному желанию сделать так, чтобы всем было хорошо, *что я отказываюсь от всего участка моего* (приносящего до 1000 руб. дохода) *за 1000 руб. серебром*, из которых половина должна быть выплачена разом, а остальные — на сроки...» («Письма», IV, стр. 248).

[7] См. след. письма.

12. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — П. А. КАРЕПИНУ

Ревель. 3 октября 1844 г.

... Сейчас получил я из Петербурга от брата Федора письмо, которое привело меня в крайнее беспокойство [1]. Не теряя почты, спешу поделиться с вами, любезный брат, этим беспокойством — доля не совсем приятная, но необходимая, потому что касается общего нашего родственника, нашего дорогого брата, с которым я, кроме из родства, связан еще неразрывною дружбою. Он подал, как вы уже знаете, в отставку. Но это меня не много беспокоит; человек с его дарованиями без хлеба не останется. Он избрал для себя новую, лучшую дорогу, и так как два дела делать вдруг нельзя, он вполне предался тому, к которому чувствовал более склонности. Вы, любезный брат, не зная лично брата Федора, вероятно судите об его поступке как о малодушном капризе ребенка, который с бухты-барахты, не спросясь рассудка, решился на дело, могущее иметь влияние на целую жизнь [2]. Я, зная хорошо брата, зная его как человека с правилами, как человека опытного — не улыбайтесь, ради бога, это так,— я скорее готов видеть в его поступке необыкновенную силу души и характера, великое самопожертвование новому призванию. Разве он не предвидел, каким неприятностям, каким лишениям он отдает себя в добычу, по крайней мере на первое время? Поверьте, любезный брат, он все это предвидел, на все приготовился и все-таки сделал этот шаг, потому что следовал своему убеждению. Он до того боялся всех наших демонстраций и представлений, что даже мне, лучшему своему другу,



М. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Рисунок (карандаш) К. А. Трутовского, 1848
(На обороте: «Рисован моим отцом, академиком Трутовским в Курске в 1848 г. В. Трутовский»).

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

сказал об этом уже тогда, когда дело было давно сделано и пособить уже не было никакой возможности. Но еще раз повторяю вам — не это беспокоит меня. Потому что если он даже займется одними переводами для журналов, то будет иметь тысяч до восьми в год. Ему теперь хотя платят по 25 р. за лист, а полтора листа он очень легко переведет в день. Кроме того, он кончил прекрасный роман и две драмы, которые, уверяю вас, удивительны. Это все принесет ему хоть небольшие деньги, но все-таки принесет, а что всего важнее — сделает его известным [3]. Поверьте, любезный брат Петр Андреевич, он будет богаче всех нас. Мы будем еще им гордиться. Но вот что беспокоит меня: это его настоящее положение. Он должен 1500 р. ассигнациями [4]. Ясно, что, если, выйдя в отставку, он не заплатит этого долга, его засадят в долговую тюрьму. Чтоб избежать этого неприятного путешествия, он хочет сделать с нами сделку, уступить нам свою часть. Условия вам уже известны. Выгоднее этого для нас ничего не может быть. 500 рублей серебром не так уже огромные деньги, чтоб их и достать было нельзя. Можно занять, а уплачивать из его же части. Таким образом не с большим в год долг бы этот уплатился, и все бы остались довольны. Судебным порядком дела этого, вы говорите, решить покуда нельзя. Но семейным всегда можно. Одно только и есть затруднение: если, получа эти деньги, брат все-таки будет иметь еще притязания на свою долю. *Но в этом я вам, как угодно, письменно, форменно, ручаюсь, что этого никогда не будет.* Любезный мой Петр Андреевич! Вы ведь и без того ему в год перешлете почти столько же. Требования его самые умеренные. Притом же ни вы, ни я и никто не имеет права запретить ему этого; он совершеннолетний, он сам знает, что делает; если б он вздумал подарить нам свою часть, отказаться от доходов, кто в свете имеет право удержать его от этого?

Видя эту беду неминучую, которая ему угрожает, я решился еще раз поговорить с вами, любезный брат, об этом. Другим способом ему помочь нельзя. Он просит у нас только своего. Отказать ему мы не вправе. Притом же, выведенный из терпенья, ну как он отдаст своим кредиторам свою часть, чтоб только расплатиться с долгами? А это можно. Кредиторы, верно, не захотят терять и сами станут хлопотать об этом. Отставка его выходит к 15 октябрю. К этому времени ему необходимо нужны деньги. Как бы и я вам был благодарен, любезный брат, если ⟨бы⟩ вы как-нибудь все это уладили. Мне ужасно подумать, что он будет сидеть в тюрьме ⟨...⟩

Брат Федор вам готов дать Акт, свидетельство или подписку, все, что угодно, что он торжественно отказывается от своей части; я же, с своей стороны, какое угодно вам поручительство [5]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 405.

[1] Письмо Достоевского, датированное 30 сентября 1844 г. («Письма», I, стр. 72—74).

[2] См. письмо Карепина к Достоевскому (без даты) в ответ на его просьбу выслать тысячу рублей взамен полного отказа от своей доли в наследстве родителей («Письма», IV, стр. 449—450). Упрекая своего шурина в «заносчивости и грубости», в чрезмерности требований и неуважении к памяти родителей, Карепин писал: «Вы едва почувствовали на плечах эполеты, довольно часто в письмах своих упоминали два слова: наследство и свои долги; я молчал, относя это к фантазии юношеской...» В заключение он рекомендовал Достоевскому оставить «излишнюю мечтательность» и приняться за усердную службу.

[3] См. предыдущее письмо.

[4] Достоевский конфиденциально сообщил брату, что долгов у него только на 800 рублей: «Я написал домой, что долгов у меня 1500 р., зная их привычку присылать $^1/_3$ чего просишь» («Письма», I, стр. 73).

[5] Дать это денежное поручительство за себя настойчиво просил брата сам Достоевский.

13. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — П. А. КАРЕПИНУ

⟨Ревель⟩ 28 ноября 1844 г.

Представить себе не можете, любезный брат Петр Андреевич, как я обрадовался, узнав из письма вашего [1], что вы, наконец, порешили с братом Федором. Этой суммой он удовлетворит, по крайней мере, минутным нуждам и проживет целый год — а это много значит в его положении. В этот год судьба его может значительно измениться. Что ни говорите, любезный брат, а я слепо верю в его необыкновенное дарование и уверен, что на избранном им поприще рано или поздно он составит себе славное имя. Правда, я совершенно согласен с вами, что все это можно бы сделать иначе, не вдруг, осторожнее, рассудительнее. Но и то сказать, все зависит от того, с какой точки зрения станешь смотреть на предмет: с одной стороны, брат может показаться человеком ветреным, нерассудительным... не спорю; с другой — человеком с сильною душою и энергическим характером.

Впрочем, любезный брат, в случае, если бы он ошибался, он во всякое время будет принят опять в инженеры; хоть завтра, пожалуй, подавай просьбу — не откажут. Вот по статской службе — это дело десятое. Там надо искать *места*, которого не скоро приищешь. Итак, будем лучше надеяться, что бог его не оставит и все устроит к лучшему. Брат отставлен поручиком.

Вы сердитесь на него, любезный брат, за невежливое письмо его, но, поверьте, он и сам теперь в этом раскаивается. Послушайте, что он пишет: «... нужно заметить тебе, любезный брат, что последнее письмо мое в Москву было немножко слишком желчно, даже грубо. Но я был ввергнут во всевозможные бедствия, я страдал в полном смысле слова, я был без малейшей надежды — немудрено, что физические и нравственные мучения заставили меня писать желчную, резкую правду...»

«Итак, я со всеми рассорился. Дядюшка, вероятно, считает меня неблагодарным извергом, а зять с сестрою — чудовищем. Меня это очень мучает. Но со временем я надеюсь помириться со всеми. Из родных остался мне ты один. Остальные все, даже дети, вооружены против меня. Им, вероятно, говорят, что я мот, забулдыга, лентяй, не берите дурного примера, вот пример — и тому подобное. Эта мысль мне ужасно тяжела. Но бог видит, что у меня такая овечья доброта, что я, кажется, ни сбоку, ни спереди не похож на изверга и на чудовище неблагодарности. Со временем, брат, подождем. Теперь я отделен от вас от всех со стороны всего *общего*; остались те путы, которые покрепче всего, что ни есть на свете, и движимого и недвижимого. А что я ни сделаю из своей судьбы — какое кому дело? Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, риск целой жизни — на шаткую надежду. Может быть, я ошибаюсь? А если не ошибаюсь?..

Итак, бог с ними! Пусть говорят, что хотят, пусть подождут. Я пойду по трудной дороге!..» [2]

Из этого уж вы можете видеть, любезный брат, что он не злой человек; о, он очень, очень добр. Жаль, что вы не знаете его лично — вы переменили бы свое мнение. В январе выходит в свет его роман [3]. Он замечателен оригинальностью — вещь превосходная!

Из письма вашего, любезный Петр Андреевич, я *понял*, что деньги на выдачу брату вы употребили свои собственные. Примите за это мою наиглубочайшую благодарность...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 405.

[1] Это письмо Карепина к М. М. Достоевскому неизвестно.

[2] Цитируемое письмо Достоевского до нас не дошло. Это придает письму М. М. Достоевского особую ценность.

[3] «Бедные люди» вышли (в сильно переработанном виде) только 15 января 1846 г.— в «Петербургском сборнике» Некрасова.

14. Н. А. МЕЛЬГУНОВ — М. П. ПОГОДИНУ

⟨Москва. Февраль 1846 г.⟩

... Павлов, окончив теперь повесть Достоевского «Бедные люди», от нее в восторге. Находит, что даже и я не довольно хвалю ее. Попроси его написать на нее рецензию. Я думаю, он от того не откажется [1]. Да, кажется, ты ему не послал еще билета на «М⟨осквитяни⟩на». Пошли *на его имя*; ведь стыдно же его обойти.— Право, поговори с ним о рецензии [2].

Автограф. ЛБ, ф. 231.II.20.86. Первые строки письма приведены Н. П. Барсуковым в «Жизни и трудах М. П. Погодина», кн. 8. СПб., 1894, стр. 349, в контаминации с отрывком из письма Мельгунова, датированного 15 февраля 1846 г.

Николай Александрович *Мельгунов* (1804—1867) — московский литератор и музыкант. См. о нем: «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 308—322.

Михаил Петрович *Погодин* (1800—1875) — известный историк, профессор Московского университета, издатель «Москвитянина».

[1] Сочувственный интерес Н. Ф. Павлова к «Бедным людям» легко объясним: герои произведений этого популярного в 1830-х годах беллетриста принадлежат к той же социальной среде, что и герои раннего Достоевского; психологический склад этих униженных, несчастных людей имеет в себе много общего. Разумеется, социальные тенденции и углубленный психологизм, проявляющиеся с огромной силой в «Бедных людях», у Павлова находились лишь в зачаточном состоянии (см. Н. А. Трифонов. Повести Н. Ф. Павлова.— «Ученые записки кафедры русск. лит-ры Моск. пед. ин-та», вып. II. М., 1939, стр. 130—131). Статьи для «Москвитянина» о «Бедных людях» Павлов не написал.

[2] 15 февраля того же года Мельгунов осведомился у Погодина: «Читал ли ты „Бедных людей“? Если Ш⟨евырев⟩ разбранит их, то я попрошу тебя дать местечко моей защите, где я разберу художественное и общественное значение этого романа» (ЛБ, ф. 231.II.20.86).

Шевырев посвятил «Бедным людям» часть своей критической статьи о «Петербургском сборнике» («Москвитянин», 1846, № 2, стр. 164—172; ц. р. 3 марта). Признавая, что «на поле, почти пустом, нашей современной изящной словесности повесть „Бедные люди“ есть явление, конечно, замечательное», критик в то же время утверждал, будто «филантропическая сторона этой повести заметнее, чем художественная», и намекал на тлетворные западные влияния, породившие эту тенденцию.

Об отношении самого Погодина к «Бедным людям» можно судить по следующей записи в его дневнике 16 февраля 1846 г.: «Читал „Петербургский сборник“, Достоевский не без достоинств и надежд. А впрочем, сколько гадостей» (Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 8, стр. 349).

15. В. М. КАРЕПИНА — М. М. и Э. Ф. ДОСТОЕВСКИМ

⟨Москва. Начало 1846 г.⟩

... В письме твоем, милый брат, я увидела, к удивлению моему, что ты не знаешь еще о свадьбе сестры Верочки ⟨...⟩ Помолвка ее была еще 2 декабря 1845 года, а свадьба — 7 генваря 1846 года. Муж ее, Александр Павлович Иванов — очень добрый и умный человек тридцати двух лет ⟨...⟩ Он так любит и обожает сестру, что весело на них посмотреть. У него есть мать, которая также не наглядится на Верочку; одним словом, она так счастлива, как, кажется, и желать нельзя ⟨...⟩

Не знаешь ли, милый брат, чего-нибудь о брате Фединьке? Мы от него не имеем ни слуху, ни духу, не знаем, здоров ли он. Напиши, пожалуйста, не хочет ли он опять вступить на службу?..

Автограф. ИРЛИ.30397.с.CXIII 66.



ДОСТОЕВСКИЙ И К. А. ТРУТОВСКИЙ

Рисунок (перо) К. А. Трутовского, начало 1890-х годов

Внизу помета Трутовского: «Я у Ф. М. Достоевского. 1842 год»
(Достоевский стоит)

Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

О жене М. М. Достоевского *Эмилии Федоровне* см. выше, на стр. 286.

В архиве Достоевского сохранилось одно неизданное письмо к нему брата Михаила (5 декабря 1841 г.), написанное в связи с его предстоящей женитьбой на Эмилии Федоровне:

«Я в ужасных хлопотах. Сердце мое не покойно ‹...› Мне кажется, что я делаю глупость, что женюсь; но, когда я посмотрю на Эмилию, когда вижу в глазах этого ангела детскую радость — мне становится веселее. Трудно мне будет, брат, особенно первый год, но что делать, как-нибудь перебьемся. Второй год уж будет легче. От тысячи моей останется не более ста. Ты удивишься, может быть, но, ей-богу, это правда. А как мы экономничаем-то! Я во всем себе отказываю...» (Авт. ЛБ, ф.93.II.4.29).

16. Н. СВИРИДОВ — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 20 февраля 1847 г.

... Не припишите моей лености, нерадению и рассеянности замедление моего ответа на ваше письмо. Вы мне задали задачу, которую сначала нужно было обсудить — по силам ли она моим? А потом — приняться, решить и отправить ее в таком виде, который был бы удовлетворителен для нашего вопроса: а для этого всего потребно было время. Вы сами отчасти неправы в том, что довели до самого позднего времени отправление вашего ответа. Пред отправлением моим из Ревеля вы думали мне дать содер-

жание вашего вопроса и забыли, и я забыл, а потому дело ваше продлилось до сего времени — нерешенным, т. е. нерешенное — для вас, но, что касается до меня, то мне кажется, что я решил ваше дело, по крайней мере на аттестацию, *удовлетворительно*. Посылаю вам черновые скорописные записки, которые я составлял на вопрос, заданный мне лет тому назад восемь,— слово в слово схожий с вашим вопросом. Я помню, что я прямо писал с них представленный мною по начальству беловой ответ; и так как я знал свои ошибки, то я и поправлял их на чистописном ответе, не заботясь об составлении чернового. Кроме того, некоторые части моего ответа были написаны на маленьких лоскутках бумаги, которые по времени затерялись. Сначала я было пожалел себя и отправился с моими записками к Федору Михайловичу, прося его, чтобы он поручил ваше дело своим товарищам-математикам. Так как они занимаются математикою ex-professo*, то я полагал, что им легко исправить мой ответ и дополнить в нем все, что недоставало для удовлетворительного изложения. Федор Михайлович привез мои записки ко мне с отзывом его товарищей — что выводы все верны — и только. А о пропусках и окончании ответа, которое я не мог нигде найти, перерыв весь мой архив,— не было и помину, а потому — пришлось мне выправить и дополнить мои записи самому [1]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.8.33.

Николай *Свиридов* — петербургский знакомый Достоевских, о котором никаких дополнительных сведений разыскать не удалось.

[1] Достоевский писал брату Михаилу в недатированном письме, относящемся к этому времени:

«Вот сейчас меня прервал своим остроумно-светским визитом несносный болтун *Свиридов*. Он, брат, кажется, самый назойливый дурак. Привез вопрос из Аналитики и привез какие-то дряннейшие, старые, разрозненные листы, из которых, кажется, ничего нельзя сделать. Просит меня похлопотать у Бекетова о поправке этих листов. Смешной человек. Сам в них ничего не разбирает и хочет, чтобы другие что-нибудь сделали. Я как-нибудь похлопочу о твоем ответе. Поеду ко всем, у кого есть записки ‹...› Проклятый Свиридов. Уже почти два часа. Вообрази: я всеми силами давал ему заметить, что у меня нет времени. Он все сидел и болтал о том, как он вопрос твой составлял, давал знать, как важно тебе его в этом помощничество, как он на Кавказ поедет и напишет о тамошней флоре такое сочинение, какого и не бывало. Черт с ним, шут!» («Письма», I, стр. 106—107).

17. В. М. ИВАНОВА — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Москва. Май 1847 г.›

... Не знаю, за что сердятся на меня братья Миша и Фединька. Вот два письма как я им послала, они ни на одно мне не отвечали. Когда увидишься с братом Фединькой, попроси его написать мне хоть пять строчек, они меня обрадуют до крайности [1]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 77. Помета о получении: «1847 года. Июня 3 дня».

Андрей Михайлович *Достоевский* (1825—1897), младший брат писателя, в это время учился в Петербурге.

[1] Письма Достоевского к сестре Вере Михайловне за 1840-е годы до нас не дошли.

13 июня 1847 г. В. М. Карепина писала брату Андрею:

«...Ежели будешь писать к нам, то уведомь, здоров ли брат Фединька и где он, в Петербурге или нет, ничего не слышишь о нем и по литературному его поприщу...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 81).

* по роду своих занятий (*лат.*).

18. П. А., В. М. КАРЕПИНЫ и Н. М. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Москва. Около 16 марта 1849 г.›

Рукой П. А. Карепина:

... Жаль, что не упоминаешь о брате Федоре [1]; он, верно, поэтизирует но не думаю, чтобы так охолодел хоть к тебе, что не хочет завернуть и взглянуть на тебя. Впрочем, не сетуй, а все-таки люби как брата и с своей стороны не давай повода быть недовольным. Если и увлекся он в область мечтательную, в вихрь ласкательств, авторских и артистических,— наступит, несомненно, время, что права крови заговорят, и он сам удивится: почему чуждается ближних...

Рукой В. М. Карепиной:

... Ежели увидишь брата Фединьку на празднике, то не позабудь передать ему поздравление мое с наступающим праздником и поцелуй его за меня покрепче. Бог с ним, не хочет никогда написать ни строчки. Ежели б он видел и знал Петра Андреевича, то не утерпел бы и полюбил бы его всей душой, потому что этого человека не любить нельзя. Ты знаешь, любимый брат, его душу и доброту и сам можешь оценить его [2]...

Рукой Н. М. Достоевского:

... Когда увидите брата Федора Михайловича, скажите ему мой усердный поклон; он меня так любил маленького, надеюсь, что он и теперь меня любит...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 81.

Младший брат Достоевского *Николай Михайлович* (см. стр. 289 настоящ. тома) жил в это время у Карепиных; вскоре он переехал в Петербург.

[1] Письмо А. М. Достоевского, на которое отвечает Карепин, неизвестно.

[2] 12 января 1849 г. В. М. Карепина писала А. М. Достоевскому: «Напиши, не был ли ты у брата Фединьки, и согласились ли они делиться поровну...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 81).

19. П. А. КАРЕПИН — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Москва› 8 декабря 1849 г.

... Николя порадовал нас двумя письмами ‹...› Он хвалит и прием Эмилии Федоровны по праздникам. Грустит только о брате Федоре [1]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 82.

[1] Письмо Коли Достоевского к Карепиным с упоминанием о Достоевском, находившемся с 23 апреля 1849 г. в Петропавловской крепости, неизвестно.

20. В. М. и П. А. КАРЕПИНЫ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Москва. 5 января 1850 г.

Рукой В. М. Карепиной:

... Мы все, слава богу, здоровы, но только чрезвычайно грустно провели праздники — ты, верно, еще не знаешь общего нашего горя, и я с ужасом помышляю, каково тебе будет узнать эту горестную для нас всех, братьев и сестер, весть [1]. Мы, по крайней мере, хоть все вместе разделяем горе наше. Погрустим и поплачем вместе и с тетинькой [2] и с сестрой Верочкой, а ты, мой милый, неоцененный брат, один, и не с кем тебе будет ни потолковать, ни погрустить. Мысль эта меня очень мучает, и, знавши твой тоскливый характер, умоляю тебя, милый брат, беречь себя, не предаваться унынию и тоске, потому что этим ничем не поможешь. Нам только остается молиться богу за Брата и просить помощи создателя к пе-

ренесению всех этих несчастий. Я беспрестанно о нем думаю, но нечего делать, надобно покориться воле провидения. Пожалуйста, милый брат, не огорчайся очень, береги себя, пиши к нам чаще, я также постараюсь еще чаще переписываться с тобой. Ах, если б мы могли это время быть вместе! По крайней мере вместе бы погоревали, вместе всегда легче переносить горе. Тетинька также очень огорчается ⟨...⟩

Рукой П. А. Карепина:

... Мы не знаем подробностей, но скорбим бесконечно ⟨о⟩ жалкой участи брата Федора. Конечно, ты чужд также подобных сведений, да и старайся, чтобы ни одним словом, ни же помышлением тебя не коснулось, а скорбеть неизбежно. Возверзи печаль свою на господа и горю бесконечно не предавайся. Милосердие, оказанное в настоящем решении, объявленном ведомостями [3], не отъемлет упования и надежд на то же милосердие в будущем, да послужит это к исправлению. Терять надежды не должно. Брат молод, снисхождение неограниченно: статься может, что и величайший грешник способен к исправлению. Да будет упование на милость Создателя и Начальства неизменным, и ему и всем нам в отраду несчастному.

Скорбь сестры и родных так велики, что не решаюсь распространяться в этом жалком предмете [4]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 82.

[1] Имеется в виду отправление Достоевского на каторгу 24 декабря 1849 г.

[2] Александра Федоровна *Куманина* (1796—1871).

25 января 1850 г. сестра Достоевского Вера Михайловна писала Андрею Михайловичу:

«Раза два были у сестры Вариньки, столько же у тетиньки, которая, по своей доброте и горячности к нам, ужасно сокрушается о брате Фединьке, да как и не горевать, мы сами с сестрой Варинькой много поплакали...» (там же, ед. хр. 77).

Накануне, 24 января, В. М. Карепина сообщала А. М. Достоевскому:

«У тетиньки я была на прошедшей неделе в субботу, она поручила расцеловать тебя, письмо твое они получили, дядинька сам прочел его, чего тетинька не ожидала, потому что несчастие брата еще более, кажется, охладило его ко всем нам» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 82).

[3] 24 декабря 1849 г. в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции» (№ 139) был напечатан указ Николая I по делу Петрашевского. О Достоевском там говорилось: «За участие в преступных замыслах, распространение одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти и за покушение к распространению посредством домашней литографии сочинений против правительства» — «лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в крепостях на 4 года и потом определить рядовым».

В указе сообщалось, что генерал-аудиториат «определил подвергнуть смертной казни расстрелянием» всех подсудимых, но что царь «изволил обратить всемилостивейшее внимание на те обстоятельства, которые могут в некоторой степени служить смягчением наказания», и даровал им жизнь (цит. по кн.: «Жизнь и труды Достоевского», стр. 63—64).

[4] Письмо адресовано в Елисаветград, куда в конце 1849 г. был направлен на должность городского архитектора А. М. Достоевский. Впоследствии он вспоминал: «Сведение о том, что я—брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу, и, конечно, никто мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и притом во взглядах только меньшинства встречал сочувствие... Большинство же долгое время чуралось меня...» («Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского», стр. 238).

21. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 12 августа 1854 г.

... Теперь еще приятная новость. Брат Федор с января месяца служит *рядовым* в 7-м линейном батальоне, в Семипалатинске. Нам дозволено с ним переписываться, и мы довольно часто меняемся письмами [1]. Я помогаю ему сколько могу, потому что сам ты знаешь, как я люблю его. Он

всегда спрашивает о тебе, и ты сделал бы доброе дело, если б написал к нему, адресуя в Семипалатинск, рядовому 7-го линейного батальона такому-то. Это совершенно дозволено. Он писал к сестре Вариньке, но не знаю, отвечала ли она, хотя я, переслав его письмо к ней, и просил ее об этом [2].

Не хочешь ли быть в складчине и тоже изредка помогать ему?..[3]

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 82.

[1] См. «Письма», I, стр. 132—141, 144—147.

[2] Это письмо Достоевского неизвестно.

[3] Ответ А. М. Достоевского до нас не дошел. «Я, не откладывая в долгий ящик, написал первое письмо к брату Федору Михайловичу и отправил его 14 сентября»,— писал он впоследствии («Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского», стр. 245).

В. М. Карепина сообщала в это время А. М. Достоевскому (письмо без даты): «Вместе с твоим письмом пишу к брату Федору Михайловичу. Верно, тебе самому захочется написать ему, то прилагаю его адрес: в Семипалатинск, в 7-й батальон, Отдельного Сибирского корпуса рядовому такому-то...» (ф.56, ед.хр. 82).

22. Н. М. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. Январь 1858 г.›

... От брата Феди на днях получили письмо, которое заключается в желании переехать куда-нибудь на жительство [1]. Жена его Марья Дмитриевна, по умершему первому мужу Исаева, по показанию приезжающих оттуда, наипрелестнейшая и умнейшая женщина. Брат знал ее еще при жизни первого мужа и когда сам он был еще в ужасном положении. Она принимала в нем большое участие, помогала ему, быв сама не в слишком хороших обстоятельствах. По смерти мужа она осталась совершенно в беспомощном состоянии с шестилетним ребенком, и тогда-то брат женился на ней и живет очень счастливо. Не забудь, что брат одержим теперь падучею болезнью и вообще расстроенного здоровья; она ходит за ним с непоколебимою ревностью, и вообще, как слышно, они живут душа в душу. Дай-то бог! После стольких ‹...›* пора, наконец, успокоиться и быть по возможности счастливым. Ты не поверишь, как этот человек в душе сохранил все добрые качества! Столько еще у него надежд на будущее! Он, кажется, спит и бредит о своей литературе. Его призвание настоящее, он не ошибся в нем. Дай бог, чтобы наш милостивый монарх не оставил его просьбы перевести куда-нибудь на жительство, тогда бы ему была возможность лечиться. Дай-то бог!..

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 75.

[1] Вероятно, письмо из Семипалатинска (3 ноября 1857 г.), в котором Достоевский, сообщая о своем намерении выйти в отставку, выражал надежду, что ему позволено будет переехать в Москву и целиком отдаться литературному труду («Письма», II, стр. 584—588).

23. А. Е. ВРАНГЕЛЬ — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Брест. 20/8 февраля 1858 г. France

... Воображаю себе ваше удивление получить от меня письмо отсюда, когда вы меня полагали где-нибудь в Африке или Ост-Индии; разные случаи задержали мое кругосветное плавание. Я писал вам из Копенгагена и приложил письмецо брату вашему Федору Михайловичу; не знаю, получили ли вы его [1], прошу вас очень давать мне иногда весточку о себе и о нем чрез брата моего [2] ‹...›

* Автограф поврежден.— *Л. Л.*

Ради бога, что делает и где брат Федор? Вот уже десять месяцев, что не получаю писем [3]. Напишите ему, чтоб он писал моему отцу [4], тот доставит мне его послания ⟨...⟩ Прощайте, не забывайте меня и, если увидите Федора раньше, чем я, то обнимите и поцелуйте его, ибо он мой брат и друг [5]...

Автограф. ИРЛИ.30389.с.CXIII66. В автографе: *20/2 февраля.*

Барон Александр Егорович *Врангель* (1833—19?) — юрист, дипломат, путешественник, автор известных мемуаров о Достоевском. Достоевский писал о Врангеле А. Н. Майкову 18 января 1856 г.: «Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень ⟨...⟩ Добра он мне сделал множество. Но я его люблю и не за одно добро, мне сделанное» («Письма», I, стр. 164—165).

[1] Это «письмецо» Врангеля к Достоевскому неизвестно.

[2] Имеется в виду либо Василий Егорович *Врангель* — чиновник особых поручений при Морском министерстве, либо Егор Егорович — вице-директор департамента юстиции.

[3] См. письма Достоевского к Врангелю, датированные 25 января и 9 марта 1857 г. («Письма», I, стр. 211—213, 215—219). Следующее его письмо датировано 22 сентября 1858 г. (там же, стр. 253—255).

[4] Егор Ермолаевич *Врангель*.

[5] В ЦГАЛИ хранится шестнадцать писем Врангеля к Достоевскому. Приводим отрывок из одного его неизданного письма, датированного 8 мая 1867 г.: «Вообразите: я недавно только прочел, проглотил ваши „Записки из Мертвого дома". Прекрасно! Как хорошо схвачен характер русского человека! Сколько правды, сколько пользы принесла эта книга в отношении бедных *несчастных*. Читая ее, я вспомнил наши долгие беседы в Семипалатинске — все это были личности, мне известные из ваших рассказов. Описали ли вы в ваших романах нашу семипалатинскую жизнь? Вы ведь собирались это исполнить?..» (Авт., ф. 212, оп. 1, ед. хр. 63).

24. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — НЕУСТАНОВЛЕННОМУ ЛИЦУ

С.-Петербург. 1 февраля 1860 г.

Браните меня, дорогой Степан Иванович, браните больше: вполне заслужил, хотя и существуют некоторые облегчительные обстоятельства в вине моей перед вами. О них-то я и поговорю с вами, потому что говорить о них — значит не только оправдываться, что было бы глупо, а рассказать вам, как жил и что делал все это время ваш покорнейший слуга. Письмо ваше несказанно меня обрадовало, хоть и получено было мною в смутное для меня время. Я каждый день тогда ждал приезда брата из Сибири в Тверь [1]. И точно, на другой или третий день я получил известие об его прибытии [2]. Нездоровье продержало меня целую неделю в постели, между тем как я всеми помыслами души моей порывался к брату. Наконец я отправился в Тверь и, вместе с поездкою в Москву, прожил там две недели [3]. Можете представить себе, как все эти ожидания, опасения, свидания, неустроившаяся жизнь и дела брата поглотили меня. В это же время я должен был, сейчас же по приезде в Петербург, хлопотать о помещении братнина романа [4]. Все это до того заняло меня, до того поглотило меня, что я, признаюсь откровенно, совершенно забыл о письме вашем ⟨...⟩ Одно уж переселение брата из Твери в Петербург [5] и хлопоты, сопровождавшие его, могло отнять у меня не только память, но и самую охоту заниматься чем-нибудь не касающимся брата. Вы поймете это, потому что знаете, как я люблю его. Но теперь, слава богу, все устроилось, а письмо Александры Филипповны, напомнив нам о вас, заставляет меня сейчас же приступить к приятной беседе с вами, Степан Иванович. Сам же я в потере, что не сделал этого раньше. Еще раз простите.

Итак, мы опять теперь, после долгих лет разлуки, соединились с братом. Это превосходнейший человек во всех отношениях. Талант его вы знаете, знаете отчасти его мягкую душу из его сочинений, но не знаете вполне всей доброты, всего ума, всей обворожительности разговора этого

человека. Само собою разумеется, что мы видимся чуть не каждый день. Не удивляйтесь, что я так много говорю вам о нем. Приезд его и свидание с ним, повторяю, есть величайшее событие в моей жизни, и я еще до сих пор не пережил его ⟨...⟩

Дело идет к масленице. У нас порядочные морозы. Милюков [6] сделался редактором критического отдела журнала «Светоч». Это будет хороший журнал. Будете встречать знакомые имена [7]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 401.

Личность адресата — иногороднего корреспондента М. М. Достоевского — установить не удалось. Письмо, на которое отвечает М. М. Достоевский, до нас не дошло.

[1] Достоевский выехал из Семипалатинска в Тверь 2 июля 1859 г. и прибыл туда около 19 августа («Жизнь и труды Достоевского», стр. 92).

[2] Письмо Достоевского к брату о прибытии в Тверь остается неизвестным. Его следующие письма (24 и 25 августа) см.: «Письма», II, стр. 599—602 и I, стр. 250—251.

[3] М. М. Достоевский приехал в Тверь 28 августа («Жизнь и труды Достоевского», стр. 93).

Старый друг Достоевского врач С. Д. Яновский впоследствии вспоминал в письме к А. Г. Достоевской: «В Твери он жил в том же доме, где жил и Пушкин, занимал хороших три комнаты; я видел всю обстановку, пил у него чай ⟨...⟩ В Петербурге мы все бывали у него тотчас по приезде его; были на его новоселье: тут были Аполлон Николаевич ⟨Майков⟩, Александр Петрович ⟨Милюков⟩, брат Михаил Михайлович с семейством, много других, а также и Спешнев, в тот только день приехавший в Петербург⟨...⟩ Наконец, я виделся почти каждый день с Федором Михайловичем, когда он после смерти брата и уже вдовцом, приезжал в Москву...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.10.26.— Письмо от 2/14 марта 1884 г.)

[4] О переговорах М. М. Достоевского с редакторами «Современника» и «Отечественных записок» — Некрасовым и А. А. Краевским по поводу публикации романа «Село Степанчиково и его обитатели» — см.: в сб. «Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1935, стр. 512—534.

[5] Достоевский переехал в Петербург в середине декабря 1859 г. («Жизнь и труды Достоевского», стр. 100).

[6] О приятеле Достоевского Александре Петровиче *Милюкове* см. на стр. 288.

[7] «*Светоч*» — «учено-литературный» ежемесячный журнал, издававшийся Д. И. Калиновским в 1860—1862 гг. Среди его сотрудников были М. М. Достоевский, печатавший на страницах «Светоча» свои стихотворные переводы, А. А. Григорьев, Вс. В. Крестовский, Н. Н. Страхов и другие литераторы из кружка Достоевского. Сам Достоевский в «Светоче», по-видимому, не участвовал. См. «Лит. наследство», т. 83, стр. 160; Г. М. Фридлендер. У истоков почвенничества (Ф. М. Достоевский и журнал «Светоч»).—«Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1971, № 5, стр. 400—410.

25. М. И. СЕМЕВСКИЙ — М. П. ПОГОДИНУ

С.-Петербург. 11 декабря 1860 г.

... «Прасковья» будет из десяти глав: 1) брак, 2) жизнь в Москве, переселение в Петербург. 3) Царевна Анна. 4) Нежный братец (В. Ф. Салтыков). 5) Царевна Катерина. 6) Домашняя жизнь царицы. 7) Цифирное письмо. 8) Мщение старушки (известный вам эпизод — мести Прасковьи). 9) Суд. 10) Смерть. Первая половина труда уже печатается... в журнале «Время» [1]. Изданье новое, и редакторы (Достоевские) христомбогом просили «Прасковью» к себе [2].— Журнал этот не знаю — увидите ли вы, но оттиск, как и всегда, я непременно к вам пришлю.

Вторая половина статьи будет в феврале ...

Автограф. ЛБ, ф. 193.II.29.52.

Михаил Иванович *Семевский* (1837—1892) — историк, впоследствии издатель журнала «Русская старина».

[1] Очерк из русской истории «Царица Прасковья» Семевского печатался в журнале «Время», 1861, № 2—5.

В объявлении от редакции на обложке первой книжки «Времени» отмечалось: «В февральской книге мы напечатаем историческую монографию М. И. Семевского „Царица Прасковья“, не вошедшую по некоторым причинам в первый номер нашего журнала».

[2] О переговорах братьев Достоевских с Семевским насчет публикации его исследования в переписке Достоевского не сохранилось никаких упоминаний. Среди бумаг писателя хранится три письма к нему Семевского, относящихся к 1866—1876 гг.

26. Ю. А. ВОЛКОВ — А. А. КРАЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 12 июня 1861 г.

Мне истинно прискорбно было, что вы, Андрей Александрович, даже не дочитали моей большой статьи до конца — потому только, что она, как показалось вам, слишком много занимается «Временем»,— и вы неправы [1]. Я думаю, нет человека вокруг вас, который бы больше меня ценил и уважал ваше мнение и не старался бы согласиться с ним сколько можно — и это потому, что я глубоко уважаю доказанное долгим трудом направление, но это же самое чувство заставляет меня сказать вам, что вы ошиблись вдвойне — и насчет меня и особенно насчет «Времени». Ход этого журнала очень силен, и вы весьма напрасно смотрите на него как на ничтожность: Достоевские сами работники спорые, и за них много молодых бойцов нового поколения — это раз.

Подтверждение моих слов вы скоро увидите и непременно к концу этого и к началу того года. Помешать им нельзя, но поучить их — можно. То *я* и делал.

Теперь обо мне, то есть о моей статье — даже не прочитанной вами. Вы закрыли страницы «Отечественных записок» моим мнениям — хорошо; я говорил, что не хочу быть постоянным участником не ваших изданий — и это очень верно. Стало быть, мне приходится складывать руки и бросать перо, как пятнадцать лет тому назад,— и это потеря не важная ни для кого — так; но теперь сложить руки уже не так легко, как в молодости; мысль-то окрепла и просится наружу, потому что она обратилась в сущность жизни, а выполнение мысли — есть цель. И ставите вы мне трудную задачу — приобретать для этой цели средства, т. е. упорно добиваться своего журнала — а на это меня хватит ...[2]

Автограф. ГПБ, ф. 391, ед. хр. 249.

Юрий Александрович *Волков* (? — 1862). — второстепенный литератор.

[1] Статья Волкова о «Времени» в библиографии о Достоевском не отмечена.

[2] В начале 1862 г. Волков издавал еженедельную газету «Русский листок»; вскоре в связи с тяжелой болезнью вынужден был покинуть Петербург.

27. А. П. МИЛЮКОВ — Г. П. ДАНИЛЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 15 июня 1861 г.

... Отвечаю на ваши вопросы. Критику во «Времени» писал Ап. Григорьев, до отъезда в Оренбург. Теперь пишут сами Достоевские и Страхов ‹... › Проект просить от имени всех журналистов смешанной цензуры, полупредупредительной, полуответственной, до сих пор не двигается благодаря апатии москвичей. Чернышевский ездил в Москву и ничего с ними не сделал [1]. В литературе нового ничего: читающая чернь ждет с подобострастием появления нового романа Тургенева, привезенного им из Парижа в «Русский вестник» [2]. Читали ли вы «Мертвый дом» Достоевского? [3] Славная вещь!..

Автограф. ГПБ, ф. 236, ед. хр. 104.

Григорий Петрович *Данилевский* (1829—1890)— исторический романист.

[1] Чернышевский отправился в Москву вместе с Г. З. Елисеевым как делегат от петербургских журналистов. Подробности этой неудавшейся кампании см. в кн.: М. К. Лемке. Эпоха цензурных реформ 1859—1865 годов. СПб., 1904, стр. 57; Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XIV. М., 1949, стр. 425—426; «Звенья», VI, стр. 609—613. Несколько ранее, 30 марта того же года Милюков писал Данилевскому: «...Что вам сказать о наших новостях?.. Предполагался литературный обед в честь решения крестьянского вопроса — не разрешили. Господи, и пообедать-то нам не позволяют! Готовится проект — просить у правительства нового цензурного положения, наполовину предупредительного, наполовину карательного. Не знаю, уладится ли просьба, а если и уладится — то поведет ли к чему. Щербина на днях уехал за границу... Читали ли вы воспоминания Панаева в „Современнике?" По-моему — это грязное дело, и так литераторы у нас не в почете, а он их вовсе в грязи затирает. Достоевские сильно заняты своим изданием, и, кажется, оно пойдет... У вас весна, а здесь гадости и скверности — и под ногами, и над головой, и на плечах... Тяжело подействовали здесь варшавские события: того и гляди, что они нам насолят...» (Авт. ГПБ, ф. 236, ед. хр. 104).

[2] Роман «Отцы и дети». Напечатан в № 2 «Русского вестника» 1862 г. Милюков писал Данилевскому 23 апреля:

«...Представьте, что я еще не прочел конца ваших „Беглых"! „Время" мне уже не присылают, ибо денег не внес, а меняться на „Светоч" не хотят...» (там же).

[3] Печатание «Записок из Мертвого дома» началось в апрельской книжке «Времени», затем был перерыв до сентября. Первые главы «Записок» до того публиковались в газете «Русский мир». См. А. П. Могилянский. К истории первой публикации «Записок из Мертвого дома».— «Русская литература», 1969, № 3, стр. 179—181.

28. Н. Н. СТРАХОВ — П. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 22 июня ‹1861 г.›

... Участвую я, главным образом, во «Времени», журнале молодом, но весьма недурном, подающем большие надежды. Там была полемика с *Лавровым*, нынешним редактором «Энциклопедического словаря». Дело это, однако, пустое. Но я *под забралом* вел и веду там полемику с господами Авдеевым, Веселовским, Панаевым, Вейнбергом, Чернышевским, Писаревым и т. п. Находят, что дело идет хорошо [1] ‹...›

Живу я по-прежнему. Много книг, много народу, куча новых знакомых. Все это, однако же, составляет не много счастья ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III.19146.

Николай Николаевич *Страхов* (псевд. *Косица*, 1828—1896) — критик, биограф Достоевского и сотрудник его изданий. См. о нем: «Лит. наследство», т. 83, стр. 16—23, в ряде писем настоящей публикации и в *Приложении* к ней.

Петр Николаевич *Страхов* — его брат, чиновник.

[1] В своих воспоминаниях о Достоевском Страхов писал, что ему «не терпелось и хотелось скорее стать в прямое и решительное отношение к нигилистическим учениям», к которым он питал «постоянно какое-то органическое нерасположение», и что сотрудничество во «Времени» предоставило ему, наконец, возможность начать последовательную борьбу с нигилизмом («Биография...», стр. 235). См. А. Л. Будиловская, Б. Ф. Егоров. Библиография печатных трудов Н. Н. Страхова. — «Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по русской и славянской филологии, вып. 184. IX. Литературоведение. Тарту, 1966, стр. 213—229.

29. А. С. СУВОРИН — М. Ф. ДЕ ПУЛЕ

‹Москва› 13 июля 1861 г.

Добрейший Михаил Федорович, писать и есть что, да, изволите ли видеть, какое обстоятельство останавливает: тут, говорят, в Москве есть почтовые цензора, которые распечатывают и читают десятое письмо ‹...›

Цензура беснуется — № 57 «Речи» задержан цензором, и, верно, вовремя вы его не получите. Дело в том, что для этого номера была набрана статья Лескова «О современном недобросовестном направлении русских

журналистов и литераторов». Лесков говорит против паясничества. Цензура не пропустила статью на том основании, что она написана не спокойным тоном, как бы следовало, и что автор позволил себе площадные ругательства в ней. А заметьте себе, что там и тени ругательства не было [1]. Феоктистов [2] сейчас же написал дерзкое письмо к цензору, в котором прямо сказал, что г. Петров *лжет* [3]. На это цензора не обижаются, а редакция хочет еще, по настоянию Лескова, подавать на цензора жалобу. Из «Внутреннего обозрения», которое писал также Лесков, половина уничтожена [4], и Петров, цензор «Русской речи», увидав вчера Феоктистова, воскликнул: «Что у вас за сотрудники — это ужас: критикуют распоряжения правительства!» Но что милее всего — так это то, что этот же самый Петров сказал вчера Феоктистову: «Я вам ужасную статью пропустил».— «Какую?» — «А статью Сухарева». — «Да что ж в ней ужасного?» — «Как же, она восстает против „Современника". А до нас доходят слухи, что „Современник" — в стачке с правительством» [5]. Каково это вам покажется? Правительство в стачке с *красными*. Каковы цензора! 〈...〉

Кстати, графиня просила меня передать вам, что она сама пишет критику на роман Достоевского «Униженные и оскорбленные». Она уже начала писать. Не знаю или, лучше сказать, не помню, поручила она вам писать об этом романе или нет. Мое дело, впрочем, сторона — передаю, что мне сказано было, а вы, знаю, и не читали еще романа — ожидали конца — следовательно не в большой потере [6]. Критика на «Старое старится, молодое растет» [7]— также поручена кому-то. Сотрудников у ней пропасть, и делается все как-то по-домашнему, своим кружком [8]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 587.

Алексей Сергеевич *Суворин* (1834—1912) — в это время секретарь редакции «Русской речи» (переехал в Москву из Воронежа по приглашению редактора этой газеты, беллетристки Евгении Тур — графини Елизаветы Васильевны *Салиас де Турнемир*, 1815—1892). Впоследствии — издатель-редактор реакционного «Нового времени».

Михаил Федорович *Де Пуле* (1822—1885) — воронежский литератор, друг и биограф И. С. Никитина, сотрудник «Русской речи». См. ниже, на стр. 554—556 его письмо о Достоевском (1881).

[1] Эта статья Н. С. Лескова появилась в № 60 «Русской речи и Московского вестника» 27 июля за подписью *В. Пересветов* и под названием «О замечательном, но не благотворном направлении некоторых современных писателей».

[2] Евгений Михайлович *Феоктистов* (1829—1898) — журналист, историк, мемуарист; впоследствии — крайний реакционер, начальник Главного управления по делам печати. С июля 1861 г., после реорганизации «Русской речи» и слияния ее с «Московским вестником», стал редактором этой газеты (вместо Евгении Тур, взявшей на себя заведование отделом литературы и критики).

[3] Письмо Феоктистова к цензору Петрову неизвестно.

[4] В собрание сочинений Лескова не вошло.

[5] Полемическая статья А. Сухарева «Нечто о лавочках журнала „Современник"», в № 54 «Русской речи и московского вестника» от 6 июля. Она направлена против Чернышевского и других ведущих сотрудников журнала, обвиняемых им в развязности, недобросовестности, неуважении к читателям и т. п.

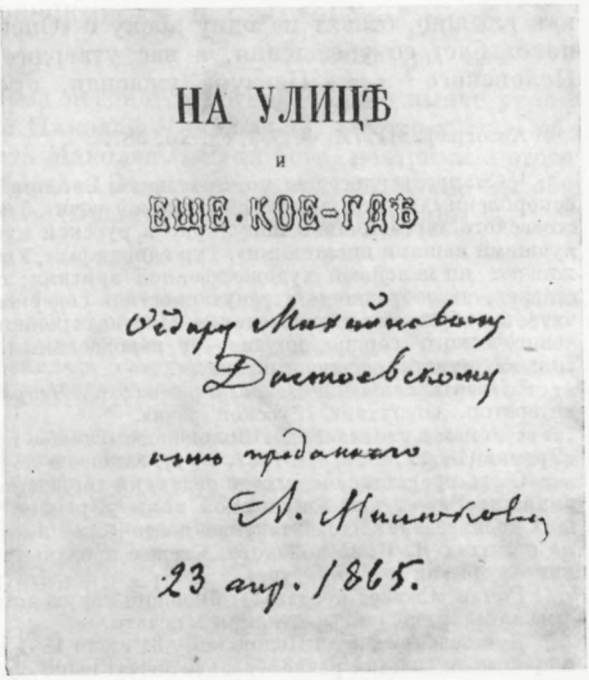
21 сентября того же года Суворин писал Де Пуле: «Я не принадлежу по своим убеждениям ни к конституционистам, ни к красным, ни к Каткова партии, ни к партии Чернышевского, ни к партии „Времени" 〈...〉 Прежде всего, не принимайте на свой счет того, что я буду говорить о людях, которые теперь сходят со сцены 〈...〉 Здесь я насмотрелся и, главное, наслушался о том кружке, который окружал графиню 〈Е. В. Салиас〉 и окружает теперь. Все это люди образованные, не невежды, все это люди, мерзостей не делающие и не делавшие. И все-таки скажу, что все это люди, совершенно бесполезные в настоящее время 〈...〉 Современной литературе у них один приговор — невежество, мерзость и проч. Полно, невежество ли? Добролюбов, например, господин очень ученый, отлично знает не только новые, но и древние языки, постоянно читает, точно так же, как и Чернышевский. Про личный характер последнего и говорить нечего — он не уступит нисколько лучшим характерам прошлого времени. А невеждами их называют потому, что, скованные цензурою, они резко проводят свое направление побочными путями и потому, что они осмелились выйти из пеленок западной мысли и стали говорить от себя, стали говорить *свои слова*, а не чужие. Понятно, что первая попытка

«НА УЛИЦЕ И ЕЩЕ КОЕ-ГДЕ» ЛИСТКИ ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ А. МИЛЮКОВА (СПб., 1865) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ АВТОРА

«Федору Михайловичу Достоевскому от преданного А. Милюкова. 23 апр. 1865».

Шмуцтитул. Книга не сохранилась

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва


НА УЛИЦѢ
и
ЕЩЕ·КОЕ-ГДѢ
Ѳедору Михайловичу
Достоевскому
отъ преданнаго
А. Милюковъ
23 апр. 1865.

во всяком деле удачна особенно быть не может. То же вышло и с Чернышевским — он зарапортовался, как говорится...» (там же). Суворин в последних строках имеет в виду «Полемические красоты» Чернышевского.

[6] В ответном письме из Воронежа (3 августа) Де Пуле следующим образом откликнулся на это сообщение Суворина: «Все это очень досадно, что ваша редактриса то заказывает, то отказывает статьи. Ну пускай ‹И. С.› Некрасов, а она лучше бы сделала, если бы занялась чем-нибудь другим, а не критикой (конечно, это между нами) ‹...› Нет, это просто свинство — просить через секретаря писать о Достоевском, а потом отказывать! Пожалуйста, внушите этой госпоже, что неделикатно поступать таким образом с сотрудниками» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3514).

28 сентября он писал ему же: «Что бы вам вздумалось заказать мне такую тему о современных поэтах? Да и как говорить о них? О Некрасове, например, не позволят. Объяснитесь. Вот об *Униженных* я бы написал. О Полонском что же писать теперь? Надобно подождать выхода его романа. Безденежье совсем одолело меня. Что бы, в самом деле, приготовить для „Русской речи“?..» Отметим, что Де Пуле предложил свою статью об «Униженных и оскорбленных» М. М. Достоевскому для публикации во «Времени». М. М. Достоевский ответил на это 9 октября 1861 г.: «О романе брата, который просил *меня поклониться вам*, писать для „Времени“ неудобно» («Достоевский. Статьи и материалы. Сб. I. Пг., 1922, стр. 511). О поэме Я. П. Полонского «Свежее преданье» см. в п. 30 и 53.

[7] «*Старое старится — молодое растет*» — роман Григория Николаевича *Потанина* (1835—1920), напечатанный в «Современнике» в 1861 г.

[8] В том же письме Суворин подробно изложил содержание распространявшейся в Москве революционной прокламации «Великоросс», которую ему удалось прочесть.

30. А. С. СУВОРИН — М. Ф. ДЕ ПУЛЕ

‹Москва› 17 июля ‹1861 г.›

... Я уже писал вам, что о романе Достоевского она пишет сама [1]— о романе Потанина рецензия также заказана,— кажется, Некрасову [2], точно так же, как и о романе Потехина «Бедные дворяне». Следовательно, для «Русской речи» нет вам надобности писать об этих вещах. О Полонском графиня просит вас написать непременно, но при этом она говорит, что *невысокого* она мнения о таланте этого поэта, что вы, конечно, должны принять к сведению. Впрочем, его роман в стихах, который петербуржцы,

как слышно, ставят на одну доску с «Онегиным» Пушкина, может быть, поколеблет ее убеждения, а вас утвердит в значительности дарования Полонского [3] ⟨...⟩ Цензура ужасная, просто поворот к старому [4]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 587.

[1] См. предыдущее письмо. Речь идет о Евгении Тур. Ее рецензией на «Униженных и оскорбленных» открылся № 89 «Русской речи», 5 ноября 1861 г. Отмечая, что имя Достоевского «чрезвычайно популярно в русской публике и известно почти наравне с лучшими нашими писателями», Тур заявляла: «„Униженные и оскорбленные" не выдерживают ни малейшей художественной критики; это произведение преисполнено недостатков, несообразностей, запутанности в содержании и завязке и, несмотря на то, читается с большим удовольствием. Многие страницы написаны с изумительным знанием человеческого сердца, другие — с неподдельным чувством, вызывающим еще более сильное чувство из души читателя...»

[2] Иван Степанович *Некрасов* (псевд.: *Н. Некрасов*) — третьестепенный московский литератор, сотрудник «Русской речи».

[3] Роман в стихах Я. П. Полонского «Свежее преданье» печатался тогда в журнале «Время» (1861, № 6 и 10; 1862, № 1); закончен не был.

О его предстоящем выходе редакция торжественно сообщила на обложке майской книжки: «В следующей, июньской, книге „Времени" мы печатаем одно из замечательнейших произведений нашей текущей поэтической литературы — первые три главы из романа в стихах Я. П. Полонского „Свежее преданье". Мы говорим об этом произведении как о событии в литературе».

Роман «Свежее преданье», имевший явную антидемократическую направленность, вызвал многочисленные отклики в печати.

Достоевский писал Полонскому 31 июля 1861 г.: «3 главы ваши вышли еще в июне и произвели сильное разнообразное впечатление ⟨...⟩ В публике отзывы (как я слышал) различные, но что́ хорошо, что ценители делятся довольно резко на две стороны: или бранят, или очень хвалят — а это самое лучшее: значит, не пахнет золотой серединой, черт ее возьми! Иные в восторге, хвалят очень и ужасно бранятся, что нет продолжения ⟨...⟩ Друг Страхов заучил все эти три ваши главы наизусть, ужасно любит цитовать из них, и мы, собравшись иногда вместе, кстати иль некстати, приплетаем иногда к разговору ваши стихи» («Письма», I, стр. 302). См. п. 53.

[4] Отметим, что в двух неизданных письмах Де Пуле к Суворину (18 февраля и 11 марта 1863 г.) содержатся чрезвычайно резкие выпады против М. М. Достоевского, которого Де Пуле характеризует как «порядочного мерзавца», «мошенника и барышника» (ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 3514). Ср. письма М. М. Достоевского к Де Пуле в сб. «Достоевский». Статьи и материалы. Сб. I. Пг., 1922, стр. 507—516.

31. А. С. СУВОРИН — М. Ф. ДЕ ПУЛЕ

Москва. 27 декабря 1861 г.

... Относительно народа я вполне сочувствую «Времени» [1]. Но, кстати, неужели безусловно вам нравится этот журнал? Ведь он держится беллетристикою, а не чем другим. Ведь критический отдел его вельми слаб, ведь что-то новое только и есть в статьях Ф. Достоевского («Книжность и грамотность»)[2]. Относительно искусства я вам скажу только одно, что в наше время, как хотите, а искусство отложить бы в сторонку и не трогать его ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 587.

[1] В более раннем письме, 28 августа того же года, Суворин писал Де Пуле:

«Вы хотите бросить всякую солидарность с славянофилами — напрасно, это значит бросить жизнь, или, по крайней мере, предчувствие жизни, которой нет у наших умеренных западников и мало у неумеренных, вроде „Современника", мало и у таких, которые сочувствуют „Времени." А у „Времени", по крайности, инстинкты пробуждаются, хоть оно не в состоянии еще формулировать своих убеждений, потому что их не выработано еще. Нужно новое что. Вы не видите, где жизнь пробуждается и где она закипит» (там же).

[2] Статья Достоевского «Книжность и грамотность» напечатана в № 7—8 «Времени» 1861 г.

32. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург, 1861 г.?›

Брат был у меня вчера весьма поздно, и потому только нынче утром могу уведомить вас, добрейший Николай Николаевич, что, по зрелом обсуждении, мы боимся напечатать Маколея [1]. Ради бога, не примите этого обстоятельства за что-нибудь другое. Вы знаете, какое уважение мы оба с братом питаем к вам, и потому ‹будьте› на этот счет покойны [2]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 5.

[1] Вероятно, не дошедшая до нас статья Страхова об известном английском историке Томасе Бабингтоне *Маколее* (1800—1859), в связи с выходом в свет его собрания сочинений (Лондон, 1860) или же перевод его статьи.

[2] Среди бумаг Страхова сохранилась следующая его записка, адресованная М. М. Достоевскому и относящаяся к периоду издания «Времени» (или первого года «Эпохи»):

«Кажется, Михаил Михайлович, придется вам выходить без моей статьи. Веселаго сам не знает, чего ему хочется и чего он боится. Завтра он хотел показать статью председателю. Посмотрим. По-моему, лучше не печатать. Пропадай они совсем к чёрту! Ваш *Н. Страхов*» (Авт. ЦНБ АН УССР. I. 5239а). Феодосий Федорович *Веселаго* (1817—1895) — член совета Главного управления печати.

33. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 7 января ‹1862 г.?›

Вы страдали по «Времени», а я всю неделю по вас. Очень нужно было вас видеть; во-первых, потому, что необходимо было учинить окончательный расчет; во-вторых, чтоб поговорить о следующей книге, а в-третьих, просто потому, что я всегда счастлив и рад, когда вас вижу у себя. Прислать книги сейчас не могу, потому что завтра праздник и люди мои гуляют — просто некого послать. Завезу вам экземпляр завтра к брату, где с вами надеюсь увидеться, и передам его вам [1]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 5.

[1] В своих воспоминаниях Страхов отмечал, что в период издания «Времени» он встречался с Достоевским почти ежедневно — то в редакции журнала, то у писателя дома, то у себя («Биография...», стр. 224—225).

34. М. П. ПОКРОВСКИЙ — Н. Н. СТРАХОВУ

Онега. 30 января — 2 февраля ‹1862 г.›

... Я теперь дошел, так сказать, до апогея моих бедствий — и колесо скоро должно начать вертеться в другую сторону. Либо эта, либо следующая почта должна принести мне известие о моем переводе в Архангельск ‹...›

Господи, спаси мою душу! Если прочитать здесь на публичном чтении «Мертвые души», то это выйдет решительно личностью! А ведь сколько лет прошло с тех пор! Подобострастие, унижение перед высшими, давление низших, подлость, взятки, сплетни, дрязги ‹...› Губернатор и вообще власти решительно покровительствуют взяткам и взяточникам, находя людей, не берущих взятки, опасными ‹...›

Пишите, кланяйтесь Шестаковым [1], Достоевским [2] и т. д. ‹...›

А что же «Время»? Я просил, чтобы вы выслали мне и за прошлый год ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III. 17898.

Михаил Павлович *Покровский* (184? — до 1883) — один из руководителей студенческого революционного движения 1860-х годов. См. о нем. в кн.: А. А. Шилов и М. Г. Карнаухова. Деятели революционного движения в России, т. I. М., 1928, стр. 324—325; Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М.— Л., 1958, стр. 252 и 532—535; «Биография...», 171 (в пагинации опечатка: *271*);«Письма», IV,стр.63.Покровский был арестован 5 октября 1861 г. и заключен в Петропавловскую крепость, где

просидел два месяца. После этого его выслали в Онегу. Публикуемый отрывок извлечен из его огромного письма к Страхову, в котором он подробнейшим образом описывал свое пребывание в ссылке.

[1] *И. А. Шестаков* — петербургский знакомый Страхова. См. ниже п. 54, 85 и 123.

[2] Покровский был восторженным почитателем Достоевского и его творчества. Он встречался с писателем и до своей ссылки и после ссылки, в 1870-х годах (см. Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.— Л., 1934, стр. 460—461).

35. М. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Н. Н. СТРАХОВУ

С.-Петербург. 18 июля 1862 г.

Спешу уведомить вас, добрейший Николай Николаевич, что нынче я получил письмо от брата. Он все еще в Париже и 15 числа нашего стиля оттуда выезжает. Писать к нему он просит во Флоренцию, poste restante, где он будет к 1 августа или в первых числах. Стало быть в двадцатых июля — он в Женеве [1]. Он очень жалеет, что вы не отвечали ему на письмо его, и потому он не знает даже, уехали ли вы за границу или нет [2]. Если не встретитесь с ним в Женеве, напишите к нему во Флоренцию и назначьте отель, в котором остановитесь [3].

Все по-старому у нас. Новостей никаких.

Как бы я желал, чтоб вы встретились с братом!

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 5.

[1] Это письмо Достоевского к брату остается неизвестным. Публикуемый отрывок дает возможность частично восстановить содержание утраченного письма.

[2] Письмо Достоевского к Страхову (26 июня/8 июля 1862 г.) из Парижа («Письма», I, стр. 309—312).

[3] Страхов писал Достоевскому 10 июля 1862 г. (письмо это не попало в публикацию писем Страхова в сб. «Шестидесятые годы». М.— Л., 1940, стр. 259—280):

«Вы писали мне: „20, 21 или 22-го я в Женеве". Ну и я буду в Женеве. Я выезжаю — увы! — 14-го июля! Сегодня 10-е; если до отъезда не будет от вас известий, то я постараюсь догнать вас в Женеве. Не захвачу — буду гоняться за вами, а догнавши уж не отстану, не отделаетесь.

Вот и всё! А затем мог бы посвятить страницы три на нетерпение видеть вас, страницы три на здешнюю мерзость — и пр. Но скоро, скоро — обо всем переговорим! Я до сих пор ничего не писал для журнала; не знаю, что со мной сделалось—какой-то перелом. Зато обещаю себе и вам усердно работать осенью. Дайте только установиться, не зовите меня *рыхлым*... А впрочем, нет! Браните, браните сильнее, милейший мой Федор Михайлович!

Был я в Москве.

Приехал сюда А. Григорьев. В одно из первых свиданий, заговорив о „Мертвом доме", он выразился так: „В настоящее время у нас два великих писателя, Островский и Достоевский..."

Начались „Мысли без концов", но, несмотря на желание Михаила Михайловича, я не решился их печатать —

И много, много, и всего
Пересказать во мне нет силы...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.9.19).

См. в *Приложении* к настоящ. публикации статью Страхова о его идейных спорах с Достоевским во время пребывания во Флоренции.

36. Е. А. САЛИАС — ЕВГЕНИИ ТУР

Царское Село. 3 октября 1862 г.

... Публика любила последнее время и, может быть (?????), и теперь (???) любит действительность, реализм Щедрина и К°. А *этой* действительности у меня нету ⟨...⟩

Вы пишете: «Пришлите денег, я без гроша, и скорее». Денег нет. Сенковский вместо *70* должен *45*. ⟨М. М.⟩ Достоевский (врет или нет?) не должен [1] ⟨...⟩ Где достать денег? Если отдать статью Усову [2], который не отдаст (тогда) даже и старого долга,— это глупо. Деньги надо сейчас. У него их нету. «Современное слово» (т. е. «Инвалид») — кабак, выстроен-

ный из бревен, оставшихся после балагана — «Современника» [3]. Остается невинная и тупо смирная «Библиотека» [4] ⟨...⟩ Вам литературным трудом (одним) жить за границей будет трудно не потому, чтобы вы не могли написать в год достаточно листов, чтобы прожить, но потому, что писать постоянно, появляться в журналах часто, подписывая свое имя под *беспрестанными мелочами*, не следует. Не надо приучать публику к тому, чтоб она, увидев ваше имя, *могла* подумать, что содержанье — мелочь, или перевод, или резюме чужой книги. Наконец войдите в положенье редактора. Времена переменились. Теперь сократить что-нибудь, прибавив два слова от себя, может много народу, которые возьмут мало, чтó дадут ⟨...⟩

Сначала были Загоскины, Лажечниковы. Они удовлетворяли. Потребовалось новое. Явился Гоголь. Там есть грязное, но оно плачет. Этого не поняли, схватились за грязное и давай разворачивать, но теперь оно уже хохочет и хвастает и заявляет право на существование. Тургенев показал другую дорогу, но нашим Писемским и Григоровичам, т. е. безграмотным талантам, необразованным, идти так не приходилось по силам. Надо было или не писать, или превратить литературу в гоголевского Петуха, выходящего из озера, только не прикрываясь на манер Венеры Медицейской. За Щедриным, увидев, что писатель должен описывать жалкую грязь и что чем она сильнее, тем лучше,— бросилась в литературу целая толпа, сволочь грязная, с грязью в руках ⟨...⟩ Красивая литература явилась ⟨...⟩

О гласном судоустройстве вы уж знаете [5]. Я становлюсь совершеннейшим не монархистом, а Романистом (Романовы). Действительно, с одной стороны я вижу прокламации, фиглярничество Чернышевского и Антоновича, с другой — подчас умное и *благонамеренное* правительство ⟨...⟩ Правительство плохо и глупо, но *лучше* и *умнее* общества. Прогресс не в гостиных Чернышевских, Достоевских, Трубецких, Голицыных, не в усадьбах помещиков, теперь он во дворце ...

Фотокопия с несохранившегося автографа Рапперсвильского музея (Варшава). ЦГАЛИ, ф. 447, оп. 1, ед. хр. 19.

Граф Евгений Андреевич *Салиас де Турнемир* (1840—1908) — сын писательницы Евгении Тур, студент, исключенный из Московского университета; вращался среди революционно настроенной молодежи, но вскоре перешел на реакционные позиции. Впоследствии — популярный исторический романист.

Постоянно живя во Франции, Е. Тур остро нуждалась в деньгах. Она просила сына устроить в какой-нибудь петербургский журнал посылаемые ею корреспонденции и договориться о постоянном сотрудничестве. В начале 1862 г. Салиас сообщал ей: «... Вы не писали о „Время". Тут платят за стр⟨оку⟩ 9 1/4 копеек. Это, кажется, довольно. Впрочем, если есть возможность, то как-нибудь передадим во „Время", если та сторона (Достоевский) согласится. Я к нему поеду. Корр⟨еспонденции⟩ — семь копеек. строка. Если невыгодно, перемените названье писем иначе и высылайте во „Время"» (Фотокопия. ЦГАЛИ, ф. 447, оп. 1, ед. хр. 19).

[1] В апрельской и июньской книжках «Времени» 1862 г. были напечатаны очерки Евгении Тур «Шесть недель в гостях и дома» и «Воспоминания и размышления». В «приходо-расходном» журнале «Времени» А. В. Лохвицким сделана расписка: «Получил для передачи г-же Евгении Тур двести рублей 00 к. А. Лохвицкий» (Авт. ЛБ, ф. 93.I.3.22).

[2] Павел Степанович *Усов* (1828—1888) — в 1860—1864 гг. редактор «Северной пчелы».

[3] С июня 1862 г. некрасовский «Современник» был приостановлен правительством на восемь месяцев. С 1 июня того же года неофициальная часть правительственной газеты «Русский инвалид» была выделена в отдельную газету, выходившую под названием «Современное слово» (редактором ее был Н. Г. Писаревский). В этом издании, имевшем открыто оппозиционный характер, участвовали некоторые сотрудники приостановленного «Современника». Недовольство правительственных кругов направлением газеты привело к ее закрытию в начале июня 1863 г.

[4] «Библиотека для чтения».

[5] Отклик на публикацию в печати «Основных положений нового судоустройства», положивших начало судебной реформе в России. Проект новых судебных уставов был утвержден царем 20 ноября 1864 г.

37. Н. М. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 18 ноября 1862 г.

... Ты удивишься, получивши от меня такое огромное послание. Да, оно будет огромное, потому что, после долговременной обоюдной тишины между нами, я намерен нарушить эту тишину и разговориться так, как говорит наша бабушка Ольга Яковлевна [1], когда у ней есть кое-что поговорить насчет другого. Упоминая о бабушке, я должен сказать, что она недавно изволила ни с того, ни с другого посетить нашу столицу, и, как ты думаешь,— всего на два дня. Вероятно наскучил ей московский преферанс и бостон и приехала поиграть в петербургский; но, к несчастию, между нашими не было ей товарищей; одни, как, например, брат, за неимением времени, не играют, другие, как, например, Николай Иванович Голеновский (муж сестры Саши), за неимением денег тоже не предается этому удовольствию. Это-то и было, кажется, скорой причиной ее отъезда. Странное дело, все стареются, но она — конь-конем, даже и не помышляет о вечной разлуке с преферансом и другими старческими удовольствиями мира сего. Курит (крепкие папиросы) напропалую. Бранится и ссорится тоже (хотя добрейшая в сердце). Одним словом, что было прежде, то и теперь. Впрочем, не думай, чтобы я говорил о нашей бабушке с какою-нибудь насмешкою. Нет, вовсе нет, просто я восхищаюсь этой вечной суетливости и постоянной заботливости пожить получше. Представь себе: она даже идет за веком — бранит то, что бранят все в настоящее переходное и полное треволнений время. Конечно, не всё, да, впрочем, и между нашими найдется *сто* кружков и партий различных мыслей и суждений.

Заболтавшись так долго о бабушке и о всяком вздоре, я перехожу к нашему житию и бытию. Говоря к *нашему*, я тесно соединяю жизнь братьев (хотя она далеко не походит на мою) с моею. Их жизнь идет уже своим чередом, а моя начинается. Начинаю со старшего, Мих-Миха, как называют его многие из наших знакомых. Нарочно начну с новой строчки, потому ‹что›, чтобы объяснить всю его жизнь, надо начинать тоже говорить с начала.

Почтенный и добрейший наш брат Михаил Михайлович начал свое купеческое поприще за год до моего выхода из корпуса, и начал блистательно, т. е. начал жить и живет до сих пор прекрасно и счастливо. Награжден от бога добрейшею женою и прекрасными детьми, и, надо сказать,— прехорошенькими. Почти два года назад, т. е. по приезде брата Федора Михайловича, по совету его, начал издавать прекраснейший журнал по своему направлению, «Время». Издают они пополам, т. е. выгоду делят пополам. Все это тебе известно, но что делать, у меня такая привычка, говоря о чем-нибудь, начинать всегда с Адама. Так вот: начали они журнал, который, вероятно, ты получаешь и читаешь, как и я, с наслаждением; подписка на него, т. е. сочувствие публики, с первого же года была огромнейшая. Первый год было две тысячи подписчиков, а в нынешнем году более четырех с половиной тысяч. Казалось бы, тут-то бы и наживать деньги, по крайней мере, по 20 тысяч в год, как по расчету и должно быть, но выходит наоборот. Первая причина, что журнал начат без копейки денег, а во-вторых — по множеству занятий в журнале явились упущения на фабрике. Брат занят с утра до вечера и так, что я удивляюсь, как он не заболеет до сих пор. Впрочем, фабрику он хочет передать кому-нибудь или просто закрыть, и тогда в будущем году он сделается Крезом, потому что подписка на журнал, судя по-теперешнему, будет блистательная. Вот тебе отчет о брате. Теперь начинаю описывать семейство. Эмилия Федоровна сделалась полною и красивою женщиною, добра до бесконечности, со всеми нашими родными дружна. Старший сын Федя — красивый юноша, ростом выше брата на целую голову, добрый парень

с огромнейшим музыкальным дарованием. Играет на фортепиано лучше многих у нас в Питере довольно известных пьянистов. Вот почему брат взял его из пятого класса гимназии и отдал в музыкальную консерваторию, где, кроме специального музыкального образования, преподают гимназический курс. *Маша* — очень и даже очень хорошенькая семнадцатилетняя барышня, умненькая, очень мило образованная, добрая, и в музыкальных сведениях превзошла своего старшего брата. Прошлую зиму она участвовала на двух больших концертах и произвела фурор. Эти-то дарования детей доставили брату знакомство со многими известными талантами, так что чуть не каждую неделю составляются у брата трио, квартеты, вообще маленькие музыкальные праздники, кроме обязательных литературных вечеров по субботам, где собираются тоже тузы в своем роде. Вот тебе в кратких словах про брата Мих-Миха ⟨...⟩

Про брата Федора я и писать не берусь. Теплая, ангельская душа, характер... Одним словом, если ты еще не читал последних двух его сочинений — «Униженные и оскорбленные» и «Записки из Мертвого дома», прочти, и ты увидишь, что вся его душа, вся его жизнь видна, как на ладони. Этот человек готов всегда жертвовать собою для блага ближнего. Жена его очень добрая особа, но жаль, что очень больная женщина. У ней чахотка, и только тридцатилетний возраст не дает скоро развиться этой болезни.

Теперь начинаю про сестру Сашу и ее семейство, про ее горькую жизнь и ужасное положение в настоящее время ⟨...⟩ Я пишу это письмо потихоньку от всех, чтобы и тебя умолить как-нибудь помочь сестре. Я бы не *тревожил тебя, если бы я окончательно усвоился* в Питере. Я как холостой брат прежде всего должен бы стараться о сестре; но что делать, последнее время я был совершенно без дела и должен был продать все лишнее: лошадь, экипаж и всю к этому утварь. Не думай, чтоб я жаловался на свою судьбу. Вовсе нет. Дела мои теперь поправляются, и я вовсе не нуждаюсь. Живу своим хозяйством с двумя слугами, не ради роскоши, а ради того, что я второго слугу взял к себе: мальчика для обучения (бедного сироту). Я был бы Крезом, если бы имел твердость характера. Я все принимаю к сердцу как-то по-женски, тряпично, и всякая мелочь тревожит меня так, что я, несмотря на множество частных дел, хожу, как угорелый, ничего не делая. Через это только я теряю многое, но все-таки не всё, и, слава богу, не сижу без дела, а следовательно и без куска хлеба. Ну, обо мне впоследствии. Вообще местоимение *я* тут не у места, когда дело идет о более важном ⟨...⟩

Все тебе кланяются, хотя и не знают, что я пишу к тебе, потому что все тебя очень часто вспоминают, и не далее, как вчера, в день твоего ангела, у брата Мих-Миха, где первый начал тост за твое здоровье брат Федя и все дружески приняли его и залпом осушили рюмки с *шато-лафит* ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 75.

[1] Ольга Яковлевна *Нечаева* (1794— 1870) — мачеха покойной матери Достоевского. По всей вероятности, она послужила писателю прототипом Антонины Васильевны Тарасевичевой, героини романа «Игрок» — «бойкой, задорной, самодовольной, прямо сидящей, громко и повелительно кричащей, всех бранящей» «бабуленьки», страстной любительницы азартных игр.

38. М. П. ПОКРОВСКИЙ — Н. Н. СТРАХОВУ

Онега. 18 ноября 1862 г.

... Наконец, еще просьба, за которую я всего больше боюсь, а между тем сильно бы хотел успеха, и притом поскорей. Дело в том, чтобы вы достали мне в каком-нибудь журнале работу, например компилятивную.

При ваших связях с «Временем», «Библиотекой для чтения» и др. это возможно. Мне хотелось бы именно компилятивную, так как сочинять мне нечего, а перевод всегда плохо вознаграждается да и слишком уж трудная работа ‹...›

У меня есть Бокль, компиляция которого тоже была бы украшением сего журнала (например, взгляд на историю революции 1789 года по Боклю). Наконец, М. М. и Ф. М. Достоевские, так же, как и редакторы «Библиотеки для чтения», могли бы присылать мне другие статьи и книги для компилирования [1]...

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.17873.

О *М. П. Покровском* см. в примеч. к п. 34.

[1] Редакция «Времени» заказала Покровскому какую-то компиляцию, которая, однако, помещена в журнале не была вследствие его запрещения.

15 июня 1863 г. Покровский писал Страхову:

«...Пишу к вам, милый Николай Николаевич, во-первых, для того, чтоб попросить вас переслать платье (если устроится это дело) в Архангельск, а не в Онегу, а во-вторых, чтоб узнать, что с „Временем". Напишите, пожалуйста, есть ли надежда на его возобновление, хотя бы под другим именем? Мне лично запрещение его тем печальней, что в каких-нибудь две или три недели я рассчитывал окончить свою компиляцию, половина которой уж готова, а теперь всё к чёрту...» (Авт. ЦНБ АН УССР. III.17875).

[2] Интересные подробности о популярности «Времени» сообщил М. И. Семевский Страхову из Великих Лук 31 декабря 1862 г.: «...Ф. М. и М. М. *Достоевским*, пожалуйста, передайте мой искренний поклон. Журнал их везде читается с удовольствием, даже мелкие купчики в лавках по городкам — кто выписывает, а кто, например, платит по десять копеек переплетчику-жиду — и тот дня по два, по три ссужает их помещичьими экземплярами, которые ему отданы в переплет...» (Авт. ЦНБ АН УССР.III. 18245).

39. В. С. КУРОЧКИН — В. П. БУРЕНИНУ

‹С.-Петербург› 26 февраля 1863 г.

Извините меня, что я так долго не отвечал вам.[1] Во-первых, я был болен, а во-вторых, не то что затерял ваш адрес, а потерял первое ваше письмо, в котором было обозначено ваше имя и отчество. Пожалуйста, не замедлите просветить меня в этом отношении.

Я все хотел писать к вам подробно, но если ждать свободного времени, то, пожалуй, никогда и не соберешься. Я не напечатал окончания вашего «Литературного маскарада» [2], потому что мы несколько расходимся с вами во взгляде на деятельность Каткова. Мы уже несколько раз писали, что он отрекся от Англии и всего западного и *возвратился на родину* в Армянский переулок, т. е. встал во главе защитников всего неподвижного, старого, а по вашим стихам выходит, будто бы он только в 1862 году открыл Англию. Только по поводу этого противоречия я и не поместил всего стихотворения.

Посылаю вам за №№ 1, 4 и 7 — 120 рублей (считая по 25 копеек за строчку стихов и по 9 копеек за строчку прозы, следует 119 р. 21 к.). Если же согласны работать на этих условиях, позвольте считать вас постоянным участником «Искры» и рассчитывать на возможно частую присылку ваших статей.

Не возьметесь ли вы сообщать в «Искру» постоянных корреспонденций из Москвы — в стихах и прозе, и в какой форме найдете удобным? Это было бы очень кстати для «Искры».

Я приделал окончание к «Ванне», потому что нужно было высказать несколько истин Достоевскому. Я подписал под статьей *Хлеб‹ный ›Свистун*, потому что не был уверен, что вы согласитесь на вставки и добавления в статье, подписанной вашим псевдонимом [3]. Напишите, пожалуй-

ста, откровенно ваше мнение об этих вставках. Лучше всего, если при присылке статей вы будете указывать, когда, в какой статье не желаете изменений. Так делают петербургские участники «Искры». Кланяйтесь Плещееву. Что он забыл «Искру»?

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1024, оп. 2, ед. хр. 21. Письмо на бланке редакции «Искры».

Василий Степанович *Курочкин* (1831—1875) — известный поэт и переводчик, редактор иллюстрированного сатирического революционно-демократического журнала «Искра».

Виктор Петрович *Буренин* (1841—1926) — поэт и публицист, сотрудник «Искры», «Современника», «С.-Петербургских ведомостей». Впоследствии — один из столпов реакционного «Нового времени».

[1] Это письмо Буренина к Курочкину неизвестно.

[2] Стихотворные «сцены из комедии» «Литературный маскарад», появившиеся за подписью *Владимир Монументов* и с ремаркой «Продолжение будет» в № 1 «Искры» 1863 г. Достоевскому там посвящены следующие строки, пародирующие высказывания А. А. Григорьева:

Достоевский — хвала богам!—
Своим протеевским талантом
Нанес удар всем свистунам
И всем табачным фабрикантам!..

[3] Этим письмом устанавливается, что стихотворный фельетон, напечатанный в № 7 «Искры» 1863 г. под рубрикой «Домашний театр „Искры“»: «Ванна из „Почвы“, или Галлюцинации М. М. Достоевского. Фантастическая сцена» принадлежит перу Буренина и что в нее сделан ряд вставок редактором «Искры» — Курочкиным. В «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова (т. III. М., 1958) псевдоним *Хлебный свистун* ошибочно приписан Д. Д. Минаеву (со ссылкой на сообщение П. В. Быкова).

Появление этого фельетона было вызвано нашумевшими полемическими статьями Достоевского во «Времени». В обширном «Объявлении» (1862, № 9) и «Необходимом литературном объяснении по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» Достоевский резко осудил, между прочим, «свистунов, свистящих из хлеба», т. е. обличителей, готовых ради своих материальных интересов подвергнуть нападкам любые идеи. Откликом на эти статьи явился фельетон Буренина, высмеявшего и «почвенническую» программу журнала, и его редакторов, и сотрудников. Как выясняется из публикуемого письма, соавтором Буренина был в данном случае сам Курочкин, которому принадлежат, в частности, следующие заключительные строки:

ХОР ВИДЕНИЙ

Слушай притчу, Достоевский:
Жаба некогда была
И, в трясине сидя Невской,
Увидала раз вола.

Загорелося у жабы
Самолюбье, — и она
Говорит: и я могла бы
Быть, как этот вол, тучна.

Жаба дулась, надувалась,
И вдруг лопнула она,
И от жабы лишь осталась
Почва, так сказать, одна!

В этих куплетах, несомненно, содержится намек на соперничество «Времени» с «Современником».

40. Н. Ф. ЩЕРБИНА — М. Н. КАТКОВУ

С.-Петербург. 16 марта 1863 г.

... Я вчера лишь на одном вечере прослушал новый роман А. Ф. Писемского [1] и нахожу те главы, которые мне удалось слышать, художественными и общественно-полезными в смысле нашего *политического са-*

мосознания,— тем более в наш ребяческий момент, среди взбаламученного школярства, офицерства, пустозвонства, нигилизма и прочего тому подобного. Этому роману именно место в «Русском вестнике», где были напечатаны «Отцы и дети», в «Русском вестнике», родившем наше политическое понимание и государственное и общественное самосознание ⟨...⟩ Чтоб дать большее *влияние* журналу и еще больше распространить его в публике, в видах патриотических, при главном есть еще и кое-что аксессуарное. Публика, видя в «Русском вестнике» все *лучшее силы литературы*, заподозрит нигилистические периодические издания. Увидит, что *все таланты* пристали к «Русскому вестнику,— а это *недаром*, значит все умное, честное и даровитое на Руси ему исключительно сочувствует и на его стороне,— а петербургские журналы, потакающие темным инстинктам болванства и стихийным чувствам недорослей, спекулирующие даже интересы отечества — мало-помалу станут падать и падать ⟨...⟩ Роман Писемского пойдет, вероятно, на шесть книжек журнала: тут еще экономический расчет [2]. Вы теперь находитесь в весьма *благоприятном положении*: ни И. С. Тургенев, ни Л. Н. Толстой, ни Гончаров, ни Писемский уже невозможны для «*Современника*», им только и осталось, что печататься у вас [3]. Разве еще есть у вас соперник — ловкий заискиватель, комедиант — «Время» Достоевского. Он может кое-что переманить от вас, несмотря на безграмотность и тупость [4]. Но петербургский зазыватель «знаи штуку», по выражению Тредьяковского [5]. Постарайтесь, чтоб и новая повесть Тургенева попала к вам, а не в «Время» [6]. Да нужно было бы заблаговременно и объявить об этом: тут есть своего рода экономические выгоды, без которых журнал держаться не может ⟨...⟩

Теперь о новых отношениях к роману Писемского. В Петербурге толковали, что вы платили ему за роман его «баснословную цену». Говорили, что из-за этого романа нужно скостить деньги — тысячи с подписчиков. Роман, правда, хороший, но вы дали очень дорого, тем более, что перебить его у вас было нелегко. «Время» бы не могло дать этого, Краевский тоже. На вашей стороне были шансы — вы все-таки дали дорого ...

Автограф (обгоревший по краям). ЛБ, ф.120.13.53 и рукописная копия. ЛБ, ф. 120.21.

Николай Федорович *Щербина* (1821—1869) — поэт. В 1850-х и начале 1860-х годов печатался в «Современнике», переписывался с Герценом. После событий 1862—1863 гг. он, как и многие другие либералы, перешел в лагерь реакции, резко выступая против «нигилистов» и их духовных вождей.

Михаил Никифорович *Катков* (1818—1887) — реакционный публицист, редактор «Русского вестника» и «Московских ведомостей».

[1] «Антинигилистический» роман А. Ф. Писемского «Взбаламученное море», охарактеризованный Герценом как «взболтанная помойная яма» (Герцен, т. XVII, стр. 298—301).

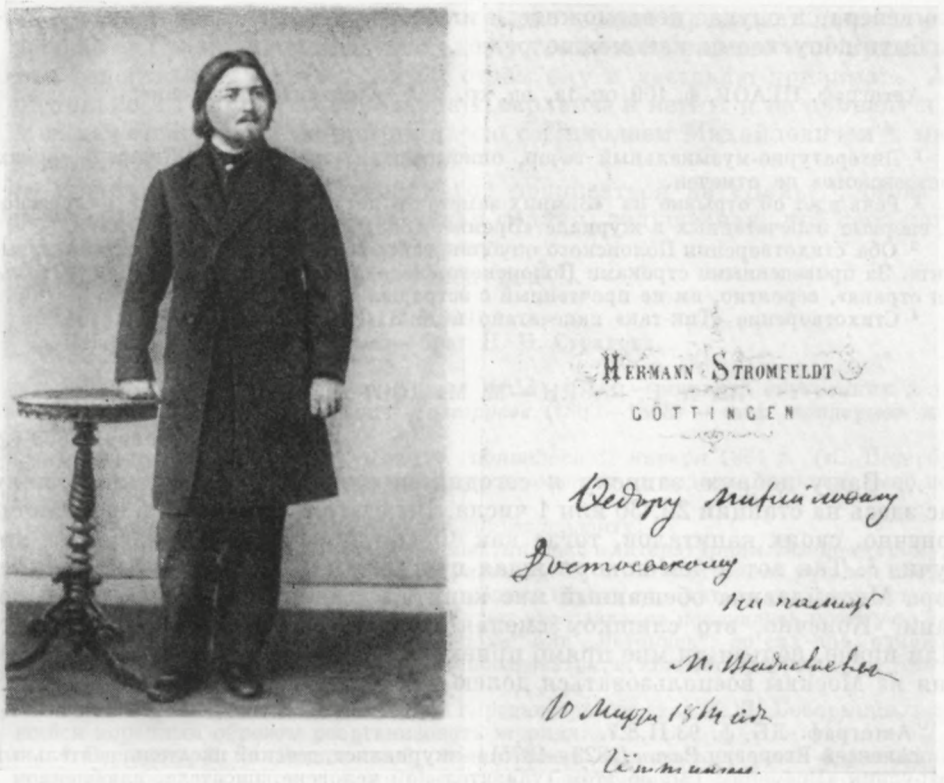
[2] «Взбаламученное море» публиковалось в «Русском вестнике», 1863, № 3—8.

[3] См. В. Евгеньев-Максимов и Г. Тизенгаузен. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 5—67 и 178—202.

[4] Отрицательное отношение Щербины к органу Достоевского «Время» характерно для литературных кругов, в которых он вращался. Ср. характеристику «Времени» в дневнике Е. А. Штакеншнейдер — запись 30 мая 1863 г.: «... бледный, невысказанный журнал, добродушный и туповатый».— Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки. М.— Л., 1934, стр. 332.

[5] Из стихотворения В. К. Тредьяковского «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских школах, на мои выезд в чужие краи».

[6] Повесть И. С. Тургенева—«Призраки», законченная 1/13 июня 1863 г. и предназначавшаяся для «Времени». Появилась в № 1 «Эпохи» 1864 г.



М. И. ВЛАДИСЛАВЛЕВ
Фотография Г. Штромфельдта. Геттинген, 1864
С дарственной надписью на обороте: «Федору Михайловичу Достоевскому на память. М. Владиславлев. 10 марта 1864 года. Гёттинген»
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

41. НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО — НАЧАЛЬНИКУ III ОТДЕЛЕНИЯ

〈С.-Петербург. 11 апреля 1863 г.〉

Литературно-музыкальный вечер, данный 10 апреля 1863 г. в зале Благородного собрания в пользу Литературного фонда, привлек довольно многочисленную публику, хотя зала и не была совершенно полна. Распорядителями были студенты Медицинско-хирургической академии, в пользу которых — по их словам — и предназначен сбор [1].

Вечер начался чтением отрывка из ненапечатанного романа Помяловского «Брат и сестра» 〈...〉 За Помяловским следовал Федор Достоевский, который вместо назначенной девятой главы из «Мертвого дома» прочел очерк семейной жизни французского буржуа [2].

Стихотворения Полонского «Твой скромный вид» и «Одному из усталых» не произвели никакого впечатления, хотя последнее и оканчивалось стихом, явно рассчитанным на эффект:

... нужна
Для счастия законная свобода [3]...

Первую часть заключил Курочкин своим стихотворением «Тик-так», напечатанным в «Искре», кажется, нынешнего года [4] 〈...〉

Общее впечатление вечера нельзя назвать утешительным 〈...〉 По моему мнению — если только я имею право его высказать, — подобные литератур-

ные вечера, в случае невозможности или неудобства запрещать их, должны быть допускаемы как можно реже ...

Автограф. ЦГАОР, ф. 109, оп. 1а, ед. хр. 2006. Агентурное донесение.

[1] Литературно-музыкальный вечер, описываемый агентом, в «Жизни и трудах Достоевского» не отмечен.

[2] Речь идет об отрывке из «Зимних заметок о летних впечатлениях» Достоевского, впервые напечатанных в журнале «Время», 1863, № 1—2.

[3] Оба стихотворения Полонского опубликованы в 1863 г. в книге «Кузнечик-музыкант». За приведенными строками Полонского следовал стих: «А для свободы — вольная страна», вероятно, им не прочтенный с эстрады.

[4] Стихотворение «Тик-так» напечатано в № 8 «Искры».

42. А. Е. РАЗИН — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Любань. 28 ‹ноября 1863 г.›

... Вашу добрую записку я сегодня получил [1] и непременно увижу вас здесь на станции 29, 30 или 1 числа. Вы едете в Москву за получением, конечно, своих капиталов, тогда как Федор Михайлович свои уже получил [2]. Так вот в чем покорнейшая просьба: нельзя ли вам взять у Федора Михайловича обещанный мне капитал и дать его мне здесь, на Любани? Конечно, это слишком смелая просьба, но смелым бог владеет. Или иначе, нельзя ли мне прямо приехать в Питер и до вашего возвращения из Москвы воспользоваться долею капитала Федора Михайловича?..[3]

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.8.7.

Алексей Егорович *Разин* (1823—1875) — журналист, детский писатель, деятельный сотрудник «Времени». См. об этом «удивительном человеке, писателе, влюбленном в свое дело, истинном просветителе юношества и народа» в воспоминаниях П. В. Быкова «Силуэты далекого прошлого». М.— Л., 1930, стр. 46—51.

[1] Эта записка М. М. Достоевского неизвестна.

[2] Речь идет о наследстве, которое Достоевским предстояло получить в связи со смертью А. А. Куманина. Достоевский писал из Москвы брату Михаилу 19 ноября 1863 г.: «Мое мнение: лучше как можно позже приезжай в Москву, в самом конце ноября; тут, может быть, и приедешь прямо к разделу...» («Письма», I, стр. 341).

[3] В неизданном письме к М. М. Достоевскому, датированном 30 декабря того же года, Разин упоминает о полученных от него 150 рублях и обещанной к новому году такой же сумме. «Кстати, когда будете так великодушны, напишите мне: „Приезжайте“,— напишите и два слова о „Почве“. Не подписался ни на одну газету, и потому объявления вашего не увижу» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.8.7).

«*Почва*» — новый журнал, который Достоевские собирались издавать после запрещения «Времени» (окончательное название — «Эпоха»), — см. след. письмо. О выдаче Достоевским денежной суммы Разину в его переписке упоминаний нет.

16 марта 1864 г. в письме к М. М. Достоевскому из Варшавы Разин писал: «Прошу вас передать мой нижайший поклон Федору Михайловичу».

43. Н. Н. СТРАХОВ — ПАВЛУ Н. СТРАХОВУ

С.-Петербург. 2 декабря 1863 г.

... Журнал Достоевских будет называться «Почва». «Время» не позволили, хотели было назвать «Правда», но и это оказалось возмутительным и нетерпимым. Теперь все затруднения кончены, то есть согласие Валуева [1] и Долгорукова [2] получено, и остаются только формальности. Скоро, вероятно, будет объявление [3]. Как я устроюсь, не знаю. Меня тянут в «Библиотеку», предлагая сверх платы за статьи ежемесячное жалованье. Но едва ли это состоится [4] ‹...›

Я непременно пришлю тебе свои статьи: «Новый поборник нравственности» (против Щедрина) и «Спор об общем образовании».

Ф. Достоевский очень жаловался, что у него пропадает память и что вообще она разрушается. Я сказал ему твой совет; знаешь что? пришли-ка мне рецепты твоих средств, я их отдам ему и заставлю принимать. А то он только и говорит: «А вот Павла Николаича и нет! А я не помню!» и пр. Мне кажется, тут та же история, что с Николаем Михайловичем [5]: малодушие! Неуменье владеть собою!

Советую тебе на следующий год подписаться на «День» [6]; стоит это недорого, а между тем газета такая теплая, задушевная, что дает истинную отраду, просто согревает душу.

«Библиотека», верно, будет недурна ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III. 19091.

Павел Николаевич *Страхов* — брат Н. Н. Страхова.

[1] Граф Петр Александрович *Валуев* (1814—1890) — министр внутренних дел.

[2] Князь Василий Андреевич *Долгоруков* (1803—1868) — шеф жандармов и начальник III Отделения.

[3] Объявление об издании «Эпохи» появилось 31 января 1864 г. («С.-Петербургские ведомости» и др. газеты)—«высочайшее изволение» на издание журнала было получено только 24 января.

15 января Страхов писал тому же корреспонденту:

«...Новостей нет—ни в кругу знакомых, ни даже в литературном. Все по-старому, все едва тянется. Говорят, подписка на журналы здесь, в Петербурге, из рук вон плоха — и поделом! В другое время, пожалуй, публика и рада заниматься разглагольствиями; но теперь не такое время. „Почвы“ не будет; это название показалось почему-то таинственным, и потому будет издаваться „Эпоха“ или „Летопись“; до сих пор, однако ж, не разрешили! Впрочем, не завтра, так послезавтра, а, конечно, разрешат...» (там же, III.19092).

[4] «Библиотека для чтения». В 1863 г. редактором ее стал П. Д. Боборыкин, пытавшийся коренным образом реорганизовать журнал.

[5] Вероятно, Н. М. Достоевский, талантливый архитектор, рано опустившийся, вследствие болезни и пристрастия к вину. «Он был милый и жалкий человек,— отмечает в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская,— я любила его за доброту и деликатность...» (стр. 217).

[6] «*День*» — еженедельный славянофильский орган, издававшийся в Москве И. С. Аксаковым с 15 октября 1861 г. по 1865 г.

44. А. Н. МАЙКОВ — А. И. МАЙКОВОЙ

‹Москва. Январь 1864 г.›

... Посетил я всех моих знакомых в Москве — Яновского [1], Андреевых [2], Рамазановых [3], Уварова [4], Мокрицкого [5], Достоевского ‹... › Марья Дмитриевна ужасно как еще сделалась с виду-то хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице [6]. Очень, очень мне обрадовалась, о тебе расспрашивала, но кашель обуздывал ее болтливость. Федор Михайлович все ее тешит разными вздориками, портмонейчиками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей. Стихотворения мои печатаются то там, то здесь, и, разумеется, я поисправил. Видел Фета, Боткина, которые ехали в одном поезде со мной; завтра пойду к ним... Много здесь я спорил, до многих дошел результатов, так что голова моя обогатилась очень многими идейками, не заимствованными от других, а выяснением моих собственных, так что с этой стороны я очень доволен ...

Рукописная копия. ИРЛИ. 17017.с.IX61. На полях помета: *До смерти Веры.*

Анна Ивановна *Майкова* (1830—1911) — жена А. Н. Майкова.

[1] О С. Д. *Яновском* см. на стр. 287 настоящ. тома.

[2] О ком идет речь — не установлено.

[3] Николай Александрович *Рамазанов* (1815—1867) — известный скульптор, автор бюста Гоголя.

[4] Алексей Сергеевич *Уваров* (1828—1884) — археолог.
[5] Аполлон Николаевич *Мокрицкий* (1811—1870) — художник.
[6] Мария Дмитриевна Достоевская умерла 15 апреля 1864 г.

45. Н. Н. СТРАХОВ — ПАВЛУ Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург. 22 февраля 1864 г.›

... В настоящую минуту дело стоит хорошо. Мы производим *Эпоху* в литературе. Подписка идет очень хорошо, и дело двигается. Ф. Достоевский приехал из Москвы[1] больной‹...› — зато лицо его не имеет в себе ничего эпилептического. Я работаю, и стоит только работать — все дело пойдет отлично. Жаль, что работается не с прежнею охотою, не с тем рвением. Вообще Петербург нынче дохлый, и скучно в нем сильно ‹...›

Григорьев[2] пьет без перерыва.

Долгомостьев[3] ему вторит.

Аверкиев держится твердо. Пишет драму в стихах[4] ‹...›

1 марта

Щеглов[5] поселился у Шестаковых[6]. Они тебе усердно кланяются. Еще настоятельно просил кланяться тебе Ф. Достоевский.

Автограф. ЦНБ АН УССР. III. 19093.

[1] Точная дата возвращения Достоевского из Москвы в Петербург неизвестна.
[2] Аполлон Александрович *Григорьев* (1822—1864) — известный литературный критик, сотрудник «Времени» и «Эпохи». См. п. 53.
[3] Об Иване Григорьевиче *Долгомостьеве* (псевдоним — *И. Григорьев*) см. на стр. 289 настоящ. тома.
[4] Пьеса Дмитрия Васильевича *Аверкиева* (1836—1905) — «Мамоново побоище»; опубликована в № 10 «Эпохи» 1864 г.
[5] Дмитрий Федорович *Щеглов* (? — 1902) — публицист и экономист, сотрудник «Эпохи» (псевдоним *Охочекомонный*).
[6] Вероятно, семья педагога Ивана Алексеевича *Шестакова*, приятеля Страхова. См. п. 34.

46. В. Р. ЗОТОВ — А. П. МИЛЮКОВУ

‹С.-Петербург. Начало марта 1864 г.›

... Позвольте попросить у вас следующие части «Josephe Balsamo»[1]. Первые томы я прочел и передал Достоевскому: он мне сказал, что вы обещали одолжить и ему этот роман. Возвращаю вам с благодарностию «Савонаролу»[2], прочие две тетради не замедлю доставить[3]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 184. Годовая дата проставлена неустановленным лицом.
Владимир Рафаилович *Зотов* (1821—1896) — журналист, беллетрист, мемуарист.

[1] «*Жозеф де Бальзамо*» — первая часть «Записок врача» А. Дюма-отца (1846—1848).
[2] Сочинение проф. Н. А. Осокина «Иероним Савонарола. Опыт исторической монографии» («Эпоха», 1864, № 1—2). 26 марта 1864 г. Достоевский писал брату Михаилу: «Не читал еще „Савонаролы“. Очень бы желал знать, какого рода эта статья» («Письма», I, стр. 352).
[3] В другом письме Зотова к Милюкову, относящемся примерно к этому же времени и датированном «вторник», также встречается упоминание о Достоевском: «Позвольте поблагодарить вас за книги. Возвращаю вам «Collier de la Reine» и тетрадь; «Ange Pitou» на днях я получил от Достоевского и на этой неделе возвращу» (там же).
«*Ожерелье королевы*» и «*Анж Питу*» — вторая и третья части «Записок врача» А. Дюма.
Не исключено, что оба упоминания о Достоевском относятся к М. М. Достоевскому.

47. И. С. АКСАКОВ — М. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Москва. 20 марта 1864 г.›

... Вот вам две статьи Сергея Колошина [1]. Пригодятся они вам — напечатайте их и пошлите деньги, сколько там придется, по расчету, прямо к нему в Рим, poste restante. Не пригодятся — возвратите их мне для передачи М. П. Погодину. Колошин предлагает вам быть вашим корреспондентом из Рима и вообще из-за границы. Он очень болен и очень нуждается ‹...›

Передайте от меня поклон Федору Михайловичу [2].

Автограф. ЛБ, ф.93.III.14.58.

Иван Сергеевич *Аксаков* (1823—1886) — публицист, один из идеологов позднего славянофильства. См. о нем ниже в ряде писем.

[1] Сергей Павлович *Колошин* (псевд. *Не я*, 1825—1868) — московский публицист-славянофил, находившийся в это время в Италии (см. «Лит. наследство», т. 83, стр. 235). Ему протежировали М. П. Погодин и Аксаков. Ряд писем Погодина и Аксакова к М. М. Достоевскому по поводу Колошина и письма самого Колошина к тому же адресату от весны 1864 г. сохранились в *ЛБ*.

[2] В недатированном письме к М. П. Погодину, относящемся к весне 1864 г., Аксаков писал:

«О Колошине ответа нет. Я ведь вовсе не в приятельских отношениях с Мих. Достоевским, видел его всего раза два у Плещеева. А Федор Достоевский в дела журнала и в денежные соображения своего брата не вмешивается. Да и его здесь нет, он уехал. Колошин — издатель „Зрителя“, а это плохая рекомендация для серьезного журнала или претендующего на серьезность...» (Авт. ЛБ, ф. 231.II.1.22). Упоминаемый Аксаковым еженедельный журнал «Зритель общественной жизни, литературы и спорта» издавался Колошиным в Москве с 16 декабря 1861 г. по 1863 г. Это был консервативный орган, открыто поддерживавший репрессивную политику правительства по отношению к революционно-демократической прессе и польским повстанцам. Хотя по своей политической программе и симпатиям «Зритель» примыкал к аксаковскому «Дню», Аксаков, как мы видим, был весьма невысокого мнения об этом журнале.

В «Эпохе» было помещено несколько компилятивных статей Колошина («Рим, папа и Антонелли»— 1864, № 3; «Иезуиты и их уложение»— № 6) и др.

Летом 1864 г. М. П. Погодин писал братьям Достоевским:

«Не угодно ли будет милостивому государю Михаилу Михайловичу или Федору Михайловичу повидаться со мною и получить от меня статью г. Колошина? Я остановился в Бассейной в доме Кокорева. Ныне *середа*, весь день дома. Завтра — утром и вечером. А в пятницу думаю выехать за границу.

Я был бы у вас сам, но с бумагами неудобно. Пришлите, и без церемоний, пожалуйста...»

Приписано М. М. Достоевским И. Г. Долгомостьеву:

«Сделайте одолжение, добрый мой Иван Григорьевич, съездите к М. П. Погодину и скажите ему, что мне очень жаль лишиться случая познакомиться с ним. Я болен и приеду в город разве дня через три» (ЛБ, ф. 93.2.7.101).

В приходо-расходной книге по изданию «Эпохи» рукой М. М. Достоевского под датой 15 мая 1864 г. отмечена посланная Колошину через Аксакова сумма 65 руб. 62 коп. (ЛБ, ф. 93.I.3.21).

О намерении Достоевского написать Колошину — см. «Лит. наследство», т. 83, стр. 201—202.

48. А. Н. НЕВЕДОМСКИЙ — А. Н. ОСТРОВСКОМУ

‹Москва› 28 марта 1864 г.

... Был у вас, не застал вас дома и потому обращаюсь чрез почту: не откажите участвовать в литературном утре, которое предполагается устроить в пользу даровой школы — в зале Кокорева, что на Маросейке, в воскресенье, 5 апреля, в два часа пополудни. Будут участвовать: Плещеев, Достоевский, Шумский, Чаев, Лонгинов и, вероятно, Горбунов. В понедельник или во вторник предполагается сделать первую публикацию. Ожидаю вашего ответа [1].

Автограф. ЦТМ, ф. 200, ед. хр. 1309.
Сведениями об Александре Николаевиче *Нееедомском* мы не располагаем.

[1] Литературное утро состоялось не 5-го, а 4 апреля 1864 г. Программа была опубликована в «Московских ведомостях», № 75, 3 апреля:

«*Литературное утро* в субботу 4-го апреля в доме Кокорева, что на Маросейке.

Начало в 2 часа пополудни.

Будут читать:

Достоевский — из «Мертвого дома».
Лонгинов — сказку Даля «О Шемякином суде».
Чаев — «Князь Александр Тверский».
Плещеев — стихи.
Островский — «Праздничный сон до обеда».
Шумский — из сочинений Щедрина».

5 апреля Достоевский сообщал брату Михаилу Михайловичу: «Читал на публичном чтении. Читал и Островский...» («Письма», I, стр. 358).

49. Н. Н. СТРАХОВ — ПАВЛУ Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 25 июня 1864 г.

Не могу сказать, милейший мой Паша, чтобы дела мои шли хорошо. Мне запрещают вот уже сряду третью большую статью. Первая называлась «Перелом», вторая — «Воздушные явления»; и та и другая должны были идти под общим заглавием «Статьи о русской литературе». Третья статья была «Опыты изучения Фейербаха», чисто философская. Вчера ее запретили [1]. Невозможно рассказать, до каких нелепостей дошла наша цензура. Таким образом, кроме *письма Косицы* [2] и скудных «Заметок летописца» [3] ты ничего не найдешь моего в «Эпохе» ‹...›

С Достоевскими я чем дальше, тем больше расхожусь. Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя не замечает этого; а Михайло просто кулак, который хорошо понимает, в чем дело, и рад выезжать на других.

Все это очень печально. Так как я очень задолжал и впереди предстоит мне то же, что и назади, то я, наконец, начинаю задумываться и размышлять, знаешь ли о чем? Как бы разбогатеть. «Дурные мысли!» — ты скажешь. Но я вовсе не думаю скряжничать и выжимать соки из других, я только мечтаю освободиться от долгов и не быть в таких беспрерывных попыхах, в каких я теперь...

Достоевский Федор уехал в Москву, а потом едет за границу до сентября.

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.19095.

[1] 26 апреля 1864 г. Страхов писал брату Павлу: «Мне запрещают вот уже вторую статью. И очень досадно и очень невыгодно. Цензора в ужасном страхе, что я их *подведу*, и потому просто теряют голову: всякое слово у меня им кажется опасным» (Авт. ЦНБ АН УССР. III. 19094). Такое отношение цензуры к Страхову объяснялось скандалом, вызванным в 1864 г. его статьей «Роковой вопрос», приведшей к запрещению «Времени».

Статья Страхова «*Опыты изучения Фейербаха*» появилась в № 6 «Эпохи» (ц. р. 20 августа 1864 г.), по-видимому, после некоторой переработки.

[2] *Косица* — псевдоним Страхова. В майской книжке журнала, о которой он здесь говорит (ц. р. 7 июля), открытое письмо Косицы не напечатано.

[3] В отделе «Заметки летописца» № 5 «Эпохи» помещены статейки Страхова «Русские немцы» и «Немцы сердятся».

50. Н. Н. СТРАХОВ — ПАВЛУ Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 15 июля ‹1864 г.›

... Умер наш редактор, как, верно, милый Паша, ты знаешь уже из газет. Умер Михайло Михайлович прямо от редакторства [1]. Был он слаб и до издания журнала, но журнал его совсем доконал. Он все бодрился

и помалчивал; но запрещение журнала, брань, которая на него сыпалась, наконец неудача новых книжек, придирки цензуры — все это на него сильно действовало. В половине июня у него случилась желтуха, разлитие желчи. Он не очень берегся и не опасался. 7 июля он получил неприятное известие — задержали мою статью [2]— он не спал ночь; на другой день заснул и уже не выходил из беспамятства. Желчь отравила кровь — впрочем, тебе лучше знать, как это делается.

Дела оставил он не в дурном положении. Долгов малость; есть небольшие деньги [3]. Журнал, разумеется, будет продолжаться. Издательницей будет жена, редактором — какое-нибудь почтенное лицо, а мы будем работать. Пока — все в расстройстве и много хлопот и сумятицы. Пришли мне рублей пятьдесят; как ни совестно, а я решаюсь просить тебя ⟨...⟩

Впрочем, все по-старому. Получил ли ты книги и «Эпоху»? ⟨...⟩

16 июля

Новая редакция уже почти совершенно свояна. Как кажется, настоящую редакторскую работу буду делать я [4]...

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.19086.

[1] М. М. Достоевский умер в Павловске 10 июля 1864 г.

[2] См. примеч. к предыдущему письму.

[3] Страхов был в это время плохо осведомлен о состоянии дел покойного. И «Эпоха», и табачная фабрика, принадлежавшая Михаилу Михайловичу, были обременены долгами, которые целиком легли потом на Достоевского.

[4] 16 июля Страхов писал брату Петру: «Хлопот у меня нельзя сказать чтобы было мало. Цензура запретила мне одну за другою четыре статьи. До запрещения их нужно было написать, а после запрещения отстаивать. Одна, первая, доходила до министра Валуева и погибла безвозвратно; другие еще надеюсь отстоять. А тут умер редактор, как ты, вероятно, знаешь из газет. Никто этого не ожидал, и сам он не успел ничем распорядиться. Теперь мы устраиваем новую редакцию, и, кажется, все дело пойдет благополучно...» (Авт. ЦНБ АН УССР III.19153).

11 августа С. П. Колошин (см. примеч. к п. 47) писал Достоевскому из Милана: «Увидев в „Siècle“ известие о кончине М.М.Достоевского, я бы этому не поверил, но так как я в два месяца не мог дождаться на несколько писем ответа от редактора „Эпохи“, то должен допустить, что на этот раз французская газета не соврала. Душевно сожалея о смерти М. М., если он умер, я, тем не менее, не имея в Петербурге корреспондента и находясь в стесненных обстоятельствах, вынужден просить Федора Михайловича или то лицо, которое заведывает теперь „Эпохою“: 1) уведомить меня, продолжать ли мне доставку статей для журнала; 2) если какие-либо рукописи мои напечатаны или даже еще не напечатаны, выслать сколько-нибудь денег. Пусть просьба моя выходит из ряда обыкновенных, я надеюсь, что „Эпоха“ не вменит мне ее, ради исключительности моего заграничного положения, и со своей стороны обязуюсь употребить все силы, чтобы отплатить ей за чрезвычайное одолжение, которое буду ожидать с нетерпением» (Авт. ЛБ, ф.93.II.5.87).

51. А. Н. МАЙКОВ — А. И. МАЙКОВОЙ

⟨С.-Петербург⟩ 29 сентября 1864 г

... Был на похоронах Григорьева [1]. На похоронах были только Достоевские, Страхов, Аверкиев, Долгомостьев, Крестовский [2], Владимирова [3] и Васильев [4]; из литературы больше никого. Схоронили около Мея [5], где, конечно, и мне будет место, ибо мы все принадлежим к одному направлению и служим одному богу — Искусству. Теперь уж в литературе петербургской у меня нет друзей, т. е. душевно меня понимавших. Аполлон Григорьев все собирался разбирать мои стихи — да так и не успел; теперь уж никто не в состоянии написать мой литературный портрет. Ну да бог с ней, с литературой! Уж что-то не пишется; видно довольно! [6]...

Рукописная копия. ИРЛИ.17017.с.IX61.

[1] См. описание похорон А. А. Григорьева, состоявшихся 28 сентября 1864 г., в кн.: П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I. М.— Л., 1965, стр. 395.

[2] Всеволод Владимирович *Крестовский* (1840—1895) — беллетрист и поэт. Некоторые его стихотворения нравились Достоевскому.

[3] Елизавета Васильевна *Владимирова* (1840—1918) — актриса Александринского театра.

[4] Павел Васильевич *Васильев 2-й* (1832—1879) — актер Александринского театра, выдающийся интерпретатор образов Островского.

[5] Лев Александрович *Мей* (1822—1862) — поэт и драматург.

[6] В другом, недатированном письме Майкова к жене встречаются следующие строки об А. А. Григорьеве: «Я тебе во всяком письме писал, что Григорьев все еще в тюрьме; он был выпущен, но дня через четыре — умер. Ты знаешь, что сколь ни безобразно сложился этот человек, в нем были такие силы, утрата которых отзовется на всей литературе; и действительно, с ним кончилось целое направление нашей мысли, нашей критики, именно эстетической — и в связи со всеми жизненными явлениями. После Белинского — критика раздвоилась, как и Белинский, представляя два направления: 1) Белинский натуральный, как он был, и 2) Белинский, сбитый с толку политическими тенденциями. Последнее продолжалось Добролюбовым и окончательно теперь достигло своего апогея в „Русском слове", а первое, т. е. хорошая сторона Белинского,— в Григорьеве. Ты знаешь, что я очень его любил, и потеря его для меня очень прискорбна... Сходит наше поколение со сцены! Заменяется новым... и, право, сам ли глупеешь, что нового никак принять не можешь, или новое так *ново*, что зелено и молодо, что и хорошо, что не принимаешь? Во всяком случае, разлад в жизни невообразимый и *что любить*, *во что верить*? — вопросы, которыми наболевает сердце, не могущее не любить, не могущее не верить в то, что любит...» (там же).

52. А. П. МИЛЮКОВ — Г. П. ДАНИЛЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 1 ноября ‹1864 г.›

...Много воды утекло с того времени, как мы виделись с вами. Вот и М. М. Достоевский отправился в Елисейские. Это был такой неожиданный удар для его семьи и приятелей! Болезнь его началась разливом желчи и при других обстоятельствах кончилась бы, конечно, благополучно. Но разные беспокойства, особенно со стороны цензуры, которая сильно тревожила его, дурно подействовали на ход болезни — отравленная желчь бросилась на мозг, и он, пролежав три дня в беспамятстве, умер [1]. «Эпоха», как вы знаете, продолжает издаваться его семейством, т. е. собственно Федор Михайлович издает ее под номинальной редакцией Порецкого (это один из старых знакомых и сотрудник по отделу внутренних известий [2] ‹...›.

Федор Михайлович был при больном постоянно; я также навещал по нескольку раз в день; мы жили друг от друга домов через пять. Вот какой год выдался на семью: весной умерла жена Федора Михайловича, потом у Михаила Михайловича дочь, а летом и сам он. Вы спрашиваете: кто будет главным двигателем «Эпохи»? Конечно, Федор Михайлович с прежними сотрудниками. Впрочем, я не хорошо знаю теперь дела журнала и не участвую в нем: недавно там напечатана моя статьишка [3], но она была отдана еще Михаилу Михайловичу. Меня, кажется, считают там недостаточно крепким почве [4]. Семейство покойного осталось на той же квартире, где жило и прежде, а потому и сношения — по прежнему адресу. Федор Михайлович живет на другой квартире, но редакция осталась по прежнему, и он ходит туда всякий день. Записочку насчет неполучения вами журнала я отдал в редакцию, и обещали немедленно справиться ...

Автограф. ГПБ, ф. 236, ед. хр. 104.

[1] См. примеч. 1 к п. 50.

14 декабря 1864 г. И. Н. Шидловский (см. о нем в примеч. 5 к п. 3) писал Достоевскому:

«...Михайла-то Михайловича уже нет на свете! Слишком недавно нет его для того, чтобы вполне сознать его отсутствие. Я верил теплому его чувству ко мне; последнее



ДОСТОЕВСКИЙ
Гравюра А. Даугеля ⟨1869⟩
С рисунка Н. П. Соколова
из композиции портретов бывших
воспитанников Главного
инженерного училища
«Всемирная иллюстрация», 1869,
№ 52.

его письмо поручилось мне в том. Искренняя память такого человека возвышает наше существование при всей бедности жизненного достоинства. Я все мечтал еще свидеться с вами обоими. И вдруг так разом и так рано не стало одного из вас. Кажется, большая часть сердца моего замерла. Слышал я от племянников моих и о вашей потере, еще более близкой. Редакция „Времени“ по поводу печатания „Записок Мертвого дома“ два раза извещала о вашем нездоровье. Все это не по-моему. Грустно и очень, право, грустно!

Покойник уведомил меня о ваших сборах написать ко мне, я радовался и ждал, но, верно, сладкий досуг словесного творчества не жалует урывок. Не рощу на вас и не хотел задирать вас моими строками, отнимать хоть минуту у труда вашего, сладостного и дельного. Но теперь — другое дело. Отношусь к вам, как проситель покорный, униженный, но жалобно-горячий. У вас, верно, есть фотографические карточки ваши и Михаила Михайловича. Пришлите мне по одной похожей и, если можно, в виде самом простом. Продажных переснимков мне бы не хотелось. Ведь вы не можете не верить моей любви к вам обоим; отдайте ж мне мое, как божие богови, как кесарево — кесареви. Пожалуйста! Дело невеликое и нетрудное! ⟨...⟩ Не откажите душе моей!

Не забыл я песнь заветную,
Песню дружбы юных дней!..»

(Авт. ЛБ, ф. 93. II.9.143а).

Анонимный агент доносил в III Отделение 13 июля 1864 г.:

«На похоронах бывшего редактора журнала „Эпоха“ *М. Достоевского* не произошло ничего особенного. На кладбище покойного сопровождали литераторы: *Милюков, Полонский, Зотов, Майков и Миллер*. Посторонних лиц было очень мало. Надгробной речи никто не говорил.—Достоевский похоронен в Павловске» (Авт. ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 72).

[2] Александр Устинович *Порецкий* (1819—1879) — публицист, сотрудник и официальный редактор «Эпохи».

[3] Статья Милюкова «Вопрос о малороссийской литературе» в № 4 «Эпохи» (ц. р. 3 июня 1864 г.). В том же номере журнала были помещены заметки Милюкова «Листки из памятной книжки».

[4] Милюков пародирует известное выражение «быть крепким земле», т. е. быть крепостным. *Почва* — символическое определение основного направления «Эпохи».

53. Я. П. ПОЛОНСКИЙ — Н. Н. СТРАХОВУ

9 декабря 1864 г.

И я благодарю вас, милый Николай Николаевич, за воспоминания об А. А. Григорьеве — и за помещение его писем [1]. Благодарю вас — *во-первых*, за то, что статья ваша как нельзя лучше напомнила мне мои первые, юношеские отношения к покойному Аполлону Александровичу — мою веру в его гениальные способности,— в его призвание быть критиком или замечательным мыслителем. Вы кончили тем, с чего я начал, но гораздо меня счастливее... никогда не кончите тем, чем я кончил...

Во-вторых, статья ваша, т. е. письма Григорьева, — вероятно заставит меня опять приняться за «Свежее преданье» и продолжать его [2] ...

В-третьих, письма, вами напечатанные, утвердили меня в том мнении, какое в последнее время я составил себе об Аполлоне Григорьеве.

Если оно и несправедливо — то да не убоюсь я вам его высказать — моя несправедливость не оскорбит и не обидит мертвого, тогда как его несправедливость или ваша может еще обидеть меня как живого. Впрочем, на святой Руси принято за правило: обижай человека пока он жив — т. е. пока он это чувствует и понимает; а когда умрет,— тогда не смей! Тогда воздай ему все то, чего ты лишал его при жизни,— ибо мертвый этого не почувствует.

Не менее вас я жалею о кончине вашего друга [3],— он верил во многое, во что и я сохранил еще веру.— Он не принадлежал к числу тех, к которым я когда-то обратился с следующими стихами:

Остановись! ужель намедни,
Безумец, не заметил ты,
Что потушил огонь последний
И смял последние цветы...

Григорьев был человек замечательный — был одарен несомненно громадными способностями, и если б *ум его не был подвержен беспрестанным разного рода галлюцинациям*,— он не остался бы непонятым и, быть может, был бы единственным критиком нашего времени...

Призраки беспрестанно мешали ему: истины он не видал,—он иногда только ее вдохновенно угадывал — он верил там, где надо мыслить, и мыслил там, где надо верить. Рутина была ему невыносима; он искал нового пути —быть может, даже не раз находил его, но ни сам не мог хорошо разглядеть его, ни другим указать...

Конечно, не он был виноват — виновата природа, или сущность его личности. Он был человек двуличный — двуличный не в пошлом смысле слова, но двуличный, как Янус,— глядел назад — глядел вперед — и это мешало ходить ему — спутывало иногда в мозгу его все эти в одно и то же время воспринятые и *задние и передние* впечатления.

Двойственнее человека трудно было найти. В одно и то же время он совмещал в себе и попа и скомороха, и Дон-Кихота и Гамлета...

Если б Григорьев родился в XVII столетии — он надел бы на себя вериги и босой, с посохом, ходил бы по городам и селам, вдохновенно проповедуя пост и молитву, и заходил бы в святые обители для того, чтоб бражничать и развратничать с толстобрюхими монахами—и, быть может, вместе с ними глумиться и над постом и над молитвою...

В наше время Григорьев упивался православными проповедями — уединенным мышлением Киреевского, погодинскими письмами, и в то же время переводил Байрона... В 1856 году говорил мне в Москве, что *целует конец кнута*, и наизусть читал патриотические стихотворения Майкова; а в 1860 году клал на музыку и пел известное стихотворение:

Долго нас помещики душили

и окрашивался в красный цвет на студенческих попойках того времени.

Конечно, для человека, который не более, как *веянье* [4],— все простительно. Кто спросит, где зарождается ветер и куда он будет дуть через полчаса времени?..

Никто так страстно не искал популярности, как Григорьев,— и пишет, что не сходится с Погодиным, потому что тот ищет популярности [5]... Сам называет Тургенева — поэтической ж...[6] и находит неприличными слова мои, что

суждено ему недаром
Ходить с больною головой [7].

Совершенно неумышленно раза два в жизнь мою я оскорбил самолюбие Григорьева — и этого он никогда мне простить не мог...

Глядя на все в жизни — на литературные же произведения в особенности — то в увеличительные, то в уменьшительные стекла,— он не только на меня, он и на Гоголя в последнее время стал глядеть в уменьшительное стеклышко,— и не заметил, что *последствие Гоголя* — вовсе *не Гончаров и не Писемский* [8] — а скорей *Островский*.— Будь жив Гоголь, он пришел бы в умиление от Кузьмы Минина Островского — увидел бы в нем плоть от плоти своей — а что значит этот самый Минин для Гончарова и для Писемского?.. В Гоголе были *те же веянья, какие и в Григорьеве*,— и этого он не заметил! Вообще Григорьев менее всего способен был иногда угадывать тех, которые были по духу, стремлению и складу своей натуры — родня ему.

К приговору друга вашего о моем романе «Свежее преданье» [9] я разве только потому неравнодушен, что вижу в нем одну только тайную интригу против меня, как против человека, который, чего доброго, будет иметь какой-нибудь голос в редакции «Времени» и который в то же время перестал быть его страстным поклонником...

Интрига эта ему удалась — так же, как и у Кушелева...[10] Вы не могли не поверить великому критику...

На его замечания или приговор я отвечаю вам следующее:

1. Кружок *зеленого наблюдателя* [11] был в то время самый живой — свежий и увлекательный кружок. Этот орган был единственным в то время поклонником того же кумира, которому *поклонялся Григорьев — а именно Мочалова*. Этот орган был колыбелью Белинского... и, подобно «Москвитянину», не остался гласом, вопиющим в пустыне. Влияние Клюшникова [12] было на многом заметно. Его знала вся образованная часть московского общества — *об Огареве же не было еще ни слуху, ни духу — сам Григорьев не имел об нем ни малейшего понятия* [13].

2. Рисуя Камкова, я не хотел его идеализировать — напротив, сам смотрел на него как на лицо, уже отошедшее — и ненужное. Моя *героиня* только что еще появлялась в романе — именно *княжна* — и почему Григорьев догадался, что Камкова я срисовал с Клюшникова?— я никогда ему этого не говорил.— Видно, портрет верен!

3. Перечел стихи Огарева — про ту, которая шла

Как Норма, вся в одежде белой [14],

и скажу только одно — что под этими водяными стихами я не захотел бы видеть своей фамилии. Прочтите их сами на странице 158 сочинений Огарева...

Плохой был судья Григорьев, когда пристрастие заменяло ему вкус.

4. Откуда я взял, что такие фигуры, как Камков, могут попасть *в остроге*? [15] Оттого, что в прошлое царствование много таких фигур пропадало (могу привести факты). Герой мой не был героем Дела, но героем Слова мог быть — а, стало быть, и мог и пострадать в такое время, когда из столиц высылали вон за нескромное слово о полиции [16]... (!)

Если б Григорьев не сквозь стекла с фантастическими отражениями глядел на жизнь — а просто, как и аз грешный, то не упрекнул бы меня в тупоумии...

5. Какой такой особенный характер видел Григорьев в Случевском?[17] Он рассыпался от одной насмешки «Искры» — а я не рассыпался и от насмешки Белинского [18], в которого верил — и которому когда-то поклонялся. Орленок Случевский не мог не сделаться орлом, если он был орленок,— отчего же он им не сделался?..

6. Григорьев пишет, что я только и жил в салонах московских бар,— это самое обидное и самое несправедливое обвинение!..— Григорьев был студентом, во всем обеспеченным, ездил в своем экипаже, на своих лошадях — был маменькин сынок и нигде не смел засиживаться позднее девяти часов вечера — я же жил без всяких средств, часто не знал, где преклонить свою голову,— ночевал беспрестанно в чужих домах, и если посещал салоны, то именно те самые, где было *веянье той могучей мысли*, о которой пишет Григорьев. Меня влекло туда любопытство — жажда послушать, о чем беседуют *глубокие мыслители*.

У кого я бывал в салонах? — У Чаадаева, у Хомякова, у Киреевского, у Аксакова, даже раза два был у Герцена. Но туда ходил я не танцевать и не волочиться. Чем же я виноват, что глубокие мыслители Москвы только и жили, что в салонах — только салоны и наполняли своими речами и спорами. Если б они пошли на площадь, или в кабак, или за Москву-реку — и я тогда пошел бы за ними, ибо в них была вся тогдашняя умственная жизнь Москвы...

Остальная жизнь или дух Москвы ничего не давал нам, кроме самодуров + взяточников + приказных — да еще поклонниц сумасшедшего Ивана Яковлевича [19]... Григорьев, как Дон-Кихот, не одну московскую Дульцинею мог принять за высокое идеальное создание [Он и не знал реальной Москвы — он то обожал ее бессознательно, то она становилась ему противна] — и наоборот — встретить идеал и оплевать его — или отнестись к нему с гамлетовским недоверием. Вот *пока* все, что могу я вам написать,— знаю, что это с моей стороны, быть может, дерзость непростительная, но то, что я писал к вам,— не новость... Если я был несправедлив к Григорьеву — то и он платил мне такою же несправедливостью... Так, например, в одной из статей своих он намекает, что мой *идеал — ложь, которая ходит в виде женщины*[20], — он сказал это по поводу стихотворения «Иногда»:

Ложь иногда ходит в виде
Женщины милой и скромной.

Какой, дескать, легкий, пустой идеал у этого Полонского!

Не говоря уже о том, что все стихотворение не понято,— Григорьев как критик мог бы хоть вспомнить мою Аспазию — мой действительный идеал — Гражданку, не потерявшую женственности — окруженную изяществом и в то же время демократку по духу [21]...

Но довольно! — Повторяю, письмо мое Григорьева обидеть не может. Он уже вне всякой обиды... Если же оно вас обидит за него, то простите меня великодушно [22]...

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.17906. Черновик и перебеленная копия — ИРЛИ 11769.XVIIIб16.

Яков Петрович *Полонский* (1819—1898) — поэт, сотрудник «Эпохи».

[1] В № 9 «Эпохи» (ц. р. 22 ноября 1864 г.) Достоевский поместил (со своим обширным «Примечанием») статью Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве». Страхов ввел в свою статью адресованные ему Григорьевым письма, которые и цитируются ниже по этой публикации во «Времени».

[2] См. примеч. 3 к п. 30.

[3] Из статьи Страхова: «Теперь, когда его нет с нами, когда вдруг мы почувствовали пустоту, *оставленную по себе этим глубоким человеком, этим веянием*, как он сам любил называть себя, на нас невольно нападает тяжелое раздумье ‹...› Теперь, когда его нет с нами, мы невольно отдаемся печальной отраде воспоминаний, невольно вдумываемся в урок, завещанный нам его совершившеюся жизнью».

[4] См. примеч. 3. «*Веянье*» принадлежало к числу любимых и часто повторяемых Григорьевым слов.

[5] Намек на следующее выражение из письма Григорьева (18 июля 1861 г.): «Погодин — единственный *мой* политический вождь — так *падок до популярности, что из* рук вон».

[6] 19 октября 1861 г. Григорьев писал: «От „Отцов и детей“ не жду я многого в отношении к содержанию. Тургенев *весь* сказался, и больше сказать ему, право, нечего. Мы ведь им балуемся, балуемся его поэтическою струею... Действительно, самая поэтическая..., какую я знаю, но ...!..»

[7] 12 августа Григорьев писал по поводу «Свежего преданья» Полонского: «Место о Тургеневе просто непристойно,— кроме того уж, что фигура Тургенева, *если* бы она попала в рапсодию о Камкове, убила бы эту несчастную фигуру...» *Камков* — герой поэмы Полонского «Свежее преданье».

[8] Из письма Григорьева, датированного 19 октября 1861 г.: «Не многого (кроме разъяснения) жду я и от новооткрытых сочинений Гоголя ‹...› Ведь прямое, хоть несколько грубое последствие Гоголя — Писемский, а косвенное — Гончаров».

[9] «Роман Полонского,— писал Григорьев 12 августа 1861 г.,—произвел на меня приятное *впечатление*,— но только приятное, и это скверно. Во-первых, это не роман, а рассказ, повесть ‹...› Ни в герое, ни в круге жизни „Свежего предания“ нет типического захвата‹...› Ты найдешь мой взгляд, может быть, слишком строгим, но ведь вспомни, что „Время“ заявило об этом манкированном кузнечике, как о *событии*». Сам Страхов отмечал в своей статье: «Прав был Григорьев, говоря, что роман Полонского „Свежее предание“ не составляет события в русской литературе».

[10] В ноябре 1858 г. Полонский принял предложение гр. Г. А. Кушелева-Безбородко стать соредактором нового петербургского журнала «Русское слово». «Григорьева я когда-то разыскал во Флоренции и привел его к графу Кушелеву-Безбородко, с тем, чтобы тот пригласил его в сотрудники „Русского слова“ ‹...›,—писал Полонский впоследствии (14 августа 1889 г.) А.А. Фету.—Затем он прибыл в Петербург и, сделавшись присяжным критиком „Русского слова“, вытеснил меня из редакции...» См. ниже статью И. С. Зильберштейна «Аполлон Григорьев и попытка возродить „Москвитянин“».

[11] Имеется в виду журнал «Московский наблюдатель», выходивший в 1838—1839 гг. под фактической редакцией Белинского. Вокруг журнала в это время группировался кружок передовой молодежи. «Московский наблюдатель» выходил тогда в зеленой обложке.

[12] Поэт и беллетрист Иван Петрович *Клюшников* (1811—1895) — деятельный сотрудник «Московского наблюдателя».

[13] «Жизнь той, т. е. нашей с Полонским, эпохи, далеко не исчерпывал кружок зеленого наблюдателя ‹...›—писал Григорьев Страхову 12 августа того же года.—Герой той эпохи—покрупнее Камкова. Герой той эпохи даже не Рудин, по крайней мере не двойственный тургеневский Рудин. Герой той эпохи, герой вполне, т. е. тип наилучший — в лице Н. П. О‹гаре›ва».— Прототипом Камкова в поэме Полонского являлся И. П. Клюшников.

[14] Из поэмы Н. П. Огарева «Зимний путь», процитированной Григорьевым.

[15] См. письмо Григорьева (12 августа): «И откуда взял наш милый кузнечик, что такие фигуры, как его Камков, могут попасть в *острог*? Разве из того, в сущности, комического факта, что ‹Н. Ф.› П‹авло›в в остроr попал?»

[16] Намек на Герцена, высланного в 1841 г. из Петербурга за упоминание в письме, подвергшемся перлюстрации, об убийствах, совершенных каким-то петербургским будочником (полицейским солдатом).

[17] Григорьев замечал в письме от 12 августа: «Ты, может быть, даже попрекнешь меня, что я, когда-то так *наивный* в отношении к Случевскому, так строг по отношению к человеку, бесспорно талантливому?.. Увы! *там* — опять повторю,— была оригинальная натура, *характер*, особенность... Впрочем, и хорошо, коли мой молодой орленок не сделает *ничего*, *ровно ничего*. Это ведь лучше, чем сделаться В.... К....»‹?›

[18] Имеется в виду отзыв Белинского на книжку Полонского «Стихотворения 1845 года». В Полонском Белинский увидел «ни с чем не связанный, чисто внешний талант»,

который «можно рассмотреть и заметить только через микроскоп — так миниатюрен он...» («Отеч. записки», 1846, № 4). В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IX. М., 1955, стр. 598.

[19] Известный в свое время юродивый Иван Яковлевич *Корейша* (1780—1861).

[20] В статье «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“ («Русское слово», 1859, № 8) Григорьев писал: «Самые лирики наши в этом отношении то причудливо капризничают, как Фет ‹...›, то — как Полонский — туманно любят „ложь в виде женщины милой“...» и т. д.

[21] Стихотворение «У Аспазии», впервые напечатанное в «Современнике», 1855, № 2, под заглавием «Аспазия».

[22] Ответ Страхова остается неизвестным. См. ниже, на стр. 554 еще одно письмо Полонского Страхову о Достоевском. Ср. письмо Полонского к А. Н. Островскому (3 апреля 1876 г.) — «Неизданные письма к А. Н. Островскому». М.—Л., 1932, стр. 454—456 и 716.

54. И. А. ШЕСТАКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 2 июня ‹1865 г.›

Поездка моя в Воронеж, кажется, состоится; но я поеду 15 июня, а возвращусь 5 июля — как видите, время очень короткое. Поэтому я бы просил вас, если можно, устроить дело насчет сына Федора Михайловича в мою пользу. Мне кажется, что те три недели, которые я не буду в Петербурге, молодой человек, живя у нас, будет отдыхать, а там, когда я возвращусь, примется за дело. По словам вашим, за юношею не требуется такого надзора, чтобы он ходил со двора с провожатым; следовательно, он может жить у нас некоторое время и без меня. Впрочем, представляю усмотрению Федора Михайловича, но скажу, однако ж, что мне желательно было бы не упустить случая приобрести что-нибудь — в моем положении всякое подспорье — много значит [1]...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III.18770.

[1] В связи с предстоящим отъездом за границу Достоевский, как видно из этого письма, собирался устроить своего пасынка П. А. Исаева на полный пансион к какому-нибудь педагогу, чтобы обеспечить ему не только надлежащий уход, но и продолжение образования. Вероятно, предложение Шестакова по каким-то причинам не было принято Достоевским.

55. Э. Ф. ДОСТОЕВСКАЯ — А. П. ИВАНОВУ

‹С.-Петербург. Август — сентябрь 1865 г.›

Ваше письмо [1] ужасно обеспокоило меня, потому что при теперешних наших обстоятельствах именно только в некоторой мере несправедливых упреков со стороны людей, которых я издавна привыкла любить и уважать, я была бы в отчаянии, если б не могла объяснить их вашей отеческой заботливостию о своих детях, которые совершенно безвинно должны отчасти перенести постигнувшее нас несчастие. Мне, может быть, самой также не легка мысль, что мы послужили причиной такого несчастного события. Я уверена, что вы сами этому поверите, когда пройдет первая вспышка негодования на нас: ибо, по крайней мере, до сих пор я ничего не сделала, что могло бы заставить вас сомневаться в чести, совести и долге, к которым вы обращаетесь в своем письме ко мне [2]. Вероятно вы, как и многие, думаете, что у меня есть еще средства, скрытые мною от всех, по всей вероятности, — честнейшим и благороднейшим словом, что *никаких* средств нет, и если б Маша [3] не давала теперь уроков в институте, нам было бы нечего есть. Я это говорю вам для того, чтоб не было сомнения, что я, имея возможность выкупить акции, берегу свои средства и заставляю вас лишиться денег. При всем моем желании, чтобы родные не были вовлечены в наше горе, я, к несчастию, ничем не могу *предотвратить* того. Мне остается,

правда, слишком небольшое утешение, что в этом несчастном деле я вовсе не так виновата, как вы думаете. Еще покойному мужу я советовала возвратить как можно скорей ваши акции, лишь только узнала, что они взяты у вас: я узнала об них гораздо позже, чем когда они были заложены, и потому что Михаил Михайлович в последнее время почти ничего не говорил мне ни о своих планах, ни о средствах к их выполнению. Когда, по смерти его, акции были свободны, я никак не хотела пускать их в дело. Но так как все дела были ⟨в⟩ распоряжении у Федора Михайловича и все делалось по его внушениям и желанию, то и акции были снова заложены [4]. Тут я ничего не могла сделать: потому что, доверившись ему, я почти нисколько не вмешивалась в его распоряжения. Конечно, ответственность и на меня· я этого не отвергаю,— но падает потому только, что журнал был собственностию нашего семейства. И я величайшим счастием почитала бы для себя, если бы могла как-нибудь расквитаться с вами. Но у меня ничего нет. Могу ли я считать себя нравственно чистой в этом горестном событии,— решите сами.

О самом же деле я должна вам сказать, что если перезаложить акции, то это будет стоить денег, которых у меня теперь решительно нет. Если же денег не платить, то на акциях будут только накопляться деньги, которые, пожалуй, покроют самый капитал. О Федоре же Михайловиче ни слуху, ни духу. Обещал писать письмо к 10-му числу, но до сих пор никаких известий нет от него [5].

Автограф. ЛБ, ф. 93.III.12.13. Письмо написано на бланке журнала «Эпоха». Адресат установлен мною.

[1] Это письмо А. П. Иванова неизвестно.

[2] 23 апреля 1864 г. Достоевский сообщил брату Михаилу из Москвы, что А. П. Иванов «вполне из радушия и родственного участия» предлагает ему приобрести (для поправления его дел) сорок акций Московско-Ярославской железной дороги, на общую сумму 6000 руб., приносящие его дочерям Маше и Соне, которым они предназначаются в приданое, по восемь рублей в год на акцию. «Процентами они платят за уроки на фортепьяно и одеваются» («Письма», I, стр. 374). Как видно из публикуемого письма, эта сделка состоялась, но денег от М. М. Достоевского Иванов не успел получить.

[3] Мария Михайловна *Достоевская*, в замужестве Владиславлева, дочь М. М. Достоевского.

[4] В письме проявляется обычная тенденция Эмилии Федоровны — исподтишка натравливать на Достоевского его родных. Ненависть, которую она испытывала к Достоевскому, ей удалось привить своим детям: они считали Достоевского виновником разорения отца и находили, что он не оказывает им достаточной материальной помощи. «Враг мой исконный (не знаю, за что)»,— говорил Достоевский об Эмилии Федоровне («Письма», II, стр. 152).

[5] Достоевский находился в это время в Висбадене.

Н. М. Достоевский сообщал своему брату Андрею 10 октября 1865 г.: «Брат Федор до сих пор не приезжал из-за границы, и никаких писем от него нет...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 75).

56. Н. М. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨С.-Петербург⟩ 25 марта 1867 г.

... Брат Федор Михайлович женился. Свадьба была 15 февраля. Жена его двадцати лет, очень миленькая, отлично образованна и, главное, бесконечно добрая. Брат Федор принял на себя все долги покойного брата да, кроме того, один содержит семейство покойного. Вот почему я не могу обращаться к нему о помощи.

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 75.

57. А. Н. МАЙКОВ — М. П. ПОГОДИНУ

‹С.-Петербург. 30 марта 1867 г.›

Вы объявили в газете, чтобы вас не беспокоили знакомые, но вот, почтеннейший Михаил Петрович, поехал в Москву Федор Михайлович Достоевский [1] с желанием вас посетить и просил меня предупредить вас и просить, чтоб вы его приняли; пожалуйста, не откажите, это человек сочувственный, до страсти русский и очень вас уважающий. Увидите сами. Не обращайте внимания на некоторые странности его, а только поймите их ‹...›

(Вот с ним бы вы отправили мне историю-то, хоть в листах [2].)

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 373, оп. 1, ед. хр. 220. Дата почтового штемпеля.

Об отношениях М. П. Погодина с Достоевским см. в публикации Л. Е. Барсуковой «Переписка Ф. М. Достоевского с М. П. Погодиным».— «Звенья», VI, стр. 439—454.

[1] Достоевский с женой Анной Григорьевной приехал в Москву 30 марта 1867 г. и пробыл там до 8 апреля («Жизнь и труды Достоевского», стр. 164—165).

Возможно, к этому времени относится письмо И. С. Аксакова к А. Н. Плещееву, без даты:

«Любезнейший Алексей Николаевич!

Я изъездил всю Старую Басманную, отыскивая Достоевского, но нигде дома Белоиегркина или Безнегркина не нашел. Не можете ли вы мне описать точнее местность, где стоит сей дом? Или, может быть, я переврал адрес? Или ошибся сам Достоевский? До свидания, надеюсь.

Ваш Ив. Аксаков. Четверг ночью» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.1.24). На Старой Басманной жила сестра Достоевского — В. М. Иванова.

[2] Речь идет об «Историко-критических отрывках» Погодина, кн. 2-я. М., 1867 (кн. 1-я вышла в свет еще в 1846 г.).

58. А. Н. МАЙКОВ — М. П. ПОГОДИНУ

‹С.-Петербург. Март 1867 г.›

... Вчера забыл отправить письмо и вдруг получаю от вас. Действительно, плохи сотрудники — кому я ни говорил, все одобряют, да языком, не подвигнутся. Дело в том, что у нас как-то разделился люд пишущий — на художников и журналистов или сотрудников. Даже враждебно смотрят друг на друга. Кто виноват? Конечно, последние, ибо сотворили из своего дела ремесло. В нашем скептическом Петербурге я не ожидаю вам большого успеха в публике. Это только мы с Достоевским разом в голос сказали — что ноты, которая слышится в вашем «Русском», недоставало в хоре нашей журналистики. Притом, погодите, надо время [1]. Петербург вдруг не устанавливает мнения и приговоры. Его надо завоевать. Довольно про него сказать, что вообще он много обрусел в последние годы...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 373, оп 1, ед. хр. 220. Дата поставлена рукой М. П. Погодина.

[1] Отклик на просьбу Погодина привлечь петербургских литераторов к участию в издаваемой им с 1867 г. еженедельной «газете политической и литературной»— «Русский».

Характерна оценка газеты Погодина, данная издателем «Русского архива» П. И. Бартеневым в письме к своему племяннику, будущему биографу Погодина Н. П. Барсукову, 1 октября 1868 г.:

«Газета „Русский“ — это, прежде всего, старческая забава для Погодина и дает ему возможность бесконтрольно помещать все, что ему взбредет в голову. В другие издания его не принимают с разными выходками...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 87, оп. 1, ед. хр. 65, л. 1607а об.).

59. М. П. ПОГОДИН — А. Н. МАЙКОВУ

‹Москва. 1 апреля 1867 г.›

... Достоевский до сих пор не был [1]. Я спрашивал об нем кое-кого, но никто не мог сказать мне ничего. Очень рад бы я был с ним познакомиться, особенно после вашего свидетельства. Праздник весь буду сидеть дома [2]...

Автограф. ЛБ.М.9515.9.

[1] 5 апреля Майков осведомлялся у Погодина: «Был ли у вас Достоевский? Напоминаю об истории».
[2] Достоевский так и не побывал у Погодина. См. след. письмо.

60. А. Н. МАЙКОВ — М. П. ПОГОДИНУ

‹С.-Петербург. 25 апреля 1867 г.›

... Достоевский не успел к вам заглянуть, ибо случился с ним в ассигнованный для того день припадок падучей ‹...› Роман Тургенева [1] носит на себе печать отсутствия автора несколько лет из России. Дыхания жизни, черноземной силы уже нет. Выработалось много нового, можно сказать — новый период начался в жизни общества, он его не понял и едва заметил. Он является брюзгливым западником, для которого цель только цивилизация, а народов нет. Грустно и противно читать, особенно когда он учит, с каким благоговением нам, ученикам, должно смотреть на Запад и когда видеть недостатки его, то делать вид, что не замечаешь, молчать и, подобно Ноевым благонравным сынам, прикрыть наготу и стыд родителя, а не смеяться, как Хам. Ну уж как хотите, тут лучше поступать по-хамовски: пусть старый батько проклинает. Если Запад — отец и его должно уважать, то за что матери-то (России) подымать подол и срамотине ее зло радоваться? Нет, Иван Сергеич, забыли другую басню — об Антее, которого сила в стоянии на земле. Это миф, более всего годный помнить поэтам ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 373, оп. 1, ед. хр. 220.

[1] «Дым» (1867).

61. А. М. БУХАРЕВ — А. А. КРАЕВСКОМУ

‹Ростов-Ярославский› 28 июня 1867 г.

... Препровождая к вам две мои статьи, покорнейше прошу не отказать поместить их в вашем журнале — в заботливом внимании к важности настоящей минуты в ходе дела русской мысли и жизни [1]. Вам легко удостовериться, что мои статьи не лишни в вашем издании и после помещенных уже в нем критических статей о последних произведениях Тургенева и Достоевского [2],— напротив, нужны по своему направлению к тому, чтобы журналистика не пустилась опять по прежней дороге *эгоистической полемики*, ровно ничего не выяснившей нашему обществу. Такие честные дельцы мысли, как г. Страхов, стóят лучшего дела, чем бороться против *своих*, как и «Отечественные записки» заслуживают того, чтобы не было на них пятна — ратовать против таких писателей, которые навсегда останутся честью для нашего отечества. Не говорю уж об общей задаче журнала помогать русской мысли и жизни выходить из всяческой умственной и нравственной путаницы на настоящее русское дело.— Духу же вашего журнала, судя по «Чающим движения воды» [3] и историческому роману о женихе Ксении Годуновой [4] и по самым статьям г. Страхова, мои статьи не противны [5] ‹...›

Статьи писаны мною так, чтобы избегнуть надобности посылать их в духовную цензуру. На случай, однако, если вы сочли бы нужным обратиться к ней, благоволите обозначить на самых статьях — что в статье о «Преступлении и наказании» может подлежать духовной цензуре — разве стр. 29—30, а в статье о тургеневской повести — стр. 1, 19 и 23.

Автограф. ЦНБ АН УССР. III. 16944.

Александр Матвеевич *Бухарев* (в монашестве Феодор, 1824—1871) — бывший профессор Московской и Казанской духовных академий, автор исследования об Апокалипсисе и ряда других сочинений, в том числе «Трех писем к Н. В. Гоголю, писанных в 1848 году» (СПб., 1861). Летом 1863 г. расстригся из монахов и целиком отдался литературной деятельности.

[1] Посланные Краевскому статьи Бухарева (среди них была статья о «Преступлении и наказании») в «Отечественных записках» не появились.

[2] Имеются в виду статьи Н. Н. Страхова о Достоевском «Наша изящная словесность».— «Отеч. записки», 1867, январь, кн. 2-я; март, кн. 2-я; апрель, кн. 1-я, и «Новая повесть Тургенева» (о «Дыме»), май, кн. 1-я.

[3] «Романтическая хроника» М. Стебницкого (Лескова) «Чающие движения воды» в № 3 «Отеч. записок» 1867 г.

[4] «Приключения королевича Густава Ириковича, жениха царевны Ксении Годуновой»— исторический роман Ел. Вельтман, напечатан в № 1—3 «Отеч. записок» 1867 г.

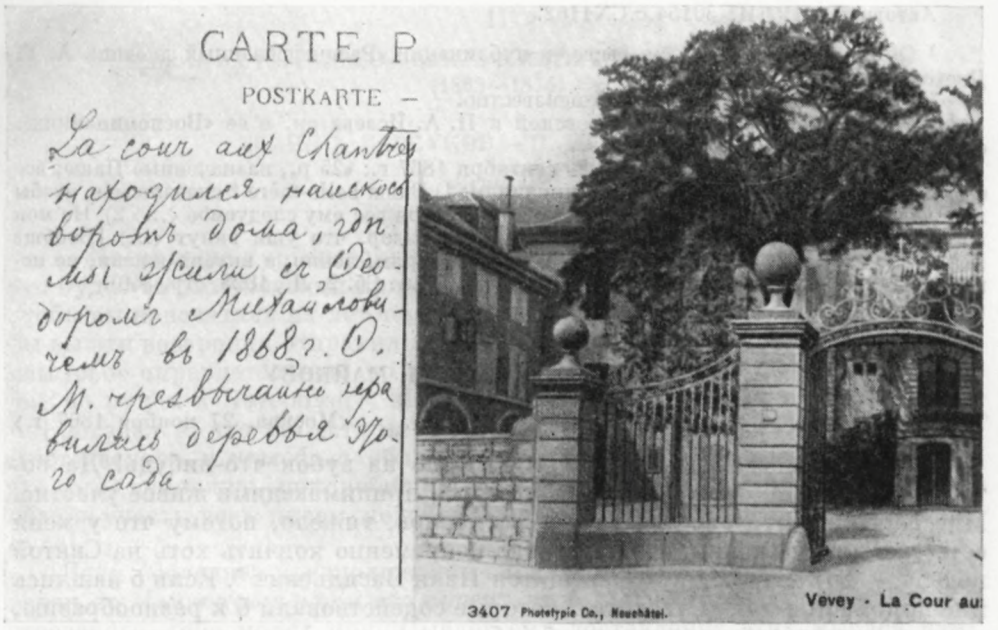
[5] Рукописи этих статей Бухарева, по-видимому, не сохранились.

22 января 1870 г. Бухарев писал Погодину: «...Если же вы все-таки не удовлетворяетесь моим общим объяснением отчуждения от меня светских и духовных в деле мысли и слова, то благоволите принять к сведению, что, кроме „Русских ведомостей“ и „Современных известий“, я обращался во все московские редакции, и без успеха⟨...⟩ В Петербурге я относился в „Отечественные записки“при прежней редакции, по-видимому, склонявшейся к русским воззрениям (с критическими статьями о романах „Преступление и наказание“ г. Достоевского и „Дым“ г. Тургенева) ⟨...⟩ — мои статьи были возвращены мне. Случалось мне развивать свой образ мыслей пред кое-кем из деятелей других петербургских изданий: мне изъявляли только (уважительное, пожалуй) участие, но о моем сотрудничестве не заикались ⟨...⟩ По всему-то этому я и находил достаточным указать вам вообще на мое совершенное одиночество в нашей литературе...» (Авт. ЛБ, ф. 231.II.6.5).

62. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. И. МАЙКОВОЙ

Женева. Октябрь 1867 г.

Давно хотела написать я вам, многоуважаемая Анна Ивановна, но, право, все не было материалу: описывать вам заграничную жизнь — дело лишнее; вы здесь сами живали и, вероятно, лучше меня ее знаете, рассказывать же наши заграничные похождения и маленькие несчастьица было ⟨бы⟩ слишком долго да и как-то тяжело. Вы не можете себе представить, как я вам благодарна за ваш радушный прием моей матушке. Моей милой, доброй старушке, постоянно жившей в семье [1], так скучно и тяжело жить одной, что доброе, ласковое слово для нее теперь особенно дорого. Она мне с восторгом писала о вас и вашем семействе [2], и, поверьте, мне это доставило много радости ⟨...⟩ Вы, вероятно, знаете от моей матушки о моем положении; я, слава богу, здорова, выношу все легко, разве только стала несколько впечатлительнее и ближе все принимаю к сердцу. Женева — место невеселое, и бедный Федор Михайлович просто пропадает здесь без людей от скуки. Для меня же все равно. Я как-то удивительно скоро привыкаю к месту и всегда найду, чем занять себя, чтобы не скучать. Правда, я иногда очень сильно тоскую по семье, от которой мне ни разу в жизни не приходилось уезжать так надолго. Но представьте себе: о возвращении в Петербург я думаю просто с ужасом: я здесь так счастлива, мы так спокойно, мирно и дружно живем, что я боюсь, что в Петербурге все это кончится: наши кредиторы, родственники с своими нуждами и Павел Александрович с своими вечными придирками и объяснениями решительно расст-



ВЕВЕ. УЛИЦА, НА КОТОРОЙ ЖИЛИ ДОСТОЕВСКИЕ

Почтовая открытка с надписью А. Г. Достоевской: «La cour aux Chantres находился наискось ворот дома, где мы жили с Феодором Михайловичем в 1868 г. Ф. М. чрезвычайно нравились деревья этого сада».

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

роят нашу славную, дорогую мне жизнь [3]. Федор Михайлович здесь несравненно спокойнее, раздражительности прежней и следа нет, исключая, правда, того времени, как мы живем в Женеве. Здешний климат ему положительно вреден, припадки бывают чуть ли не каждую неделю, и вы не поверите, как меня это мучит и беспокоит. Но, может быть, нам удастся куда-нибудь переехать, как вы нам советовали, и здоровье его несколько поправится. Поблагодарите Аполлона Николаевича за его манеру выдавать Павлу Александровичу деньги; вот именно так-то и следует делать; вот в каких руках надо ему было бы быть [4]. Этот малый положительно делать ничего не желает. Матушка и сестра достали ему два места по двадцати пяти рублей в месяц; он пишет, что «это заставило его призадуматься», но еще не взять место; решительно, он метит в министры. Человек, чуть ли не безграмотный, пишущий к нам с такими ошибками, что за него совестно, еще затрудняется, взять ли ему место в такую ничтожную для него сумму. Нет, если б ему пришлось, как другим, самому себе отыскивать места, ходить по целым месяцам, просить, кланяться и все-таки не получить, тогда бы он был рад и не двадцати пяти, а десяти, пятнадцати рублям. А то ведь гораздо легче и приятнее сидеть на чужой шее и ничего не делать, чем за что-нибудь приняться за дельное. Стенография, я полагаю, ему не далась, так мне писали, тут все-таки надо трудиться, а трудиться ему лень. Право, даже и подумать об этих вещах больно. Простите, добрая Анна Ивановна, что я вам надоедаю своими рассказами 〈...〉

Если б вы попросили Аполлона Николаевича писать Федору Михайловичу почаще; ведь его письма — просто клад для нас на чужой стороне 〈...〉

Извините за нескладицу письма, решительно не умею писать да и по-русски говорить разучилась совсем.

Автограф. ИРЛИ. 30154.с.СХ11б2.

[1] Об *А. Н. Сниткиной* см. выше, в публикации «Расшифрованный дневник А. Г. Достоевской».

[2] Это письмо А. Н. Сниткиной неизвестно.

[3] Об отношениях А. Г. Достоевской и П. А. Исаева см. в ее «Воспоминаниях», стр. 116—123.

[4] Майков писал Достоевскому 20 сентября 1867 г.: «25 р., назначенные Паше, все еще у меня ‹...› Не дал я ему по 2-м причинам: 1) Ваша belle-mère * сказала мне, чтобы я не давал, так как он от нее получил по 25 сентября все ему следуемое ‹...› 2) На мои вопросы, на что ему деньги? он говорил такой вздор, что уши вянут ‹...› [Вообще вижу, что это для вас обуза самая печальная. Упрям, ленив, а вкусил жизни, не искусясь наукой]» («Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2. Л., 1925, стр. 340).

63. М. П. ПОГОДИН — А. Н. МАЙКОВУ

‹Москва. 27 ноября 1867 г.›

«Русский» возобновляется [1]: ему нужно на зубок что-нибудь! Да потолкуйте об нем хорошенько с знакомыми, принимающими живое участие. Мне одному нести эту ношу, я вижу теперь, тяжело, потому что у меня есть еще другие ноши: Историю надо непременно кончить хоть на Святой неделе — до татар [2]. А там мерещится Иван Васильевич [3]. Если б нашлись мне помощники для «Русского», которые содействовали б к разнообразию, то число читателей увеличилось бы, без сомнения. Условия пусть предлагают какие угодно. Поговорите же с кем заблагорассудите. Например, рецензии примечатель‹ных› книг, беспристрастные и в нашем духе, было бы очень полезно ввести. Не примет ли участия г. Достоевский, которого все-таки до сих пор не видал. Как его здоровье?..[4]

Автограф. ЛБ. М9515.9.

[1] В заявлении «От редактора», напечатанном в № 1-2 «Русского» 1 января 1868 г., Погодин писал: «Извиняясь перед читателями в замедлении издания, которое случилось совершенно нечаянно, по причине моего заграничного путешествия (других причин, повторяю, не было никаких), я могу обещать в нынешнем году бóльшую исправность». В 1867 г. вышло 26 номеров «Русского» вместо 52-х.

[2] Исследование Погодина «Древняя русская история до монгольского ига», над которым он работал, вышло в свет только в 1872 г.

[3] Исследование о царе Иване III.

[4] Достоевский, находившийся в это время за границей, в «Русском» не сотрудничал. В письме из Женевы, датированном 21/9 октября, он осведомлялся у Майкова — «издается ли „Русский“?» («Письма», II, стр. 48).

64. К. И. БАБИКОВ — А. Н. МАЙКОВУ

Москва. 31 декабря 1867 г.

... Еще просьба: я не знаю адреса Федора Михайловича и никого из старых моих знакомых, а потому обращаюсь к вам как к единственному человеку, адрес которого мне известен, с самою покорнейшею просьбою передать сию записку г. Достоевскому, за что я вам буду глубоко признателен [1].

Автограф. ИРЛИ. 16714. с.VII 69.

Константин Иванович *Бабиков* (1841—1873) — московский беллетрист, сотрудник «Времени» и «Эпохи». См. ниже п. 67.

[1] См. письмо Бабикова к Достоевскому, датированное 31 декабря, в нашей статье «Утраченные письма Достоевского». — «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 201: ср. настоящ. том, стр. 286.

---

* теща (*франц.*).

II

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ. — ОПЯТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ. — «ГРАЖДАНИН» (1868—1874)

65. Н. П. БАРСУКОВ — П. И. БАРТЕНЕВУ

Черновое

Петербург. 19 января 1868 г.

... Из кружка тургеневских друзей до А. Н Майкова домчался слух, что будто бы Достоевский прислал вам свои воззрения на Тургенева с тем, чтобы вы напечатали их лет через двадцать в «Русском архиве» и что будто бы вы эти воззрения отправили на проверку Тургеневу. Тургенев написал вам [свое оправдательное] по этому поводу письмо, которое, говорят, ходит по рукам в Петербурге. Майков [подозревает, незлобиво обличая меня] догадался, что это есть не что иное, как выдержки из письма к нему Достоевского, и *незлобиво* обличил меня в доставлении оных вам. Сперва это его немножко покоробило, а потом я его успокоил тем, что это общая участь всех писем подобного рода [1] [и что Достоевский, вероятно]

[Если последнее предположение справедливо и если упомянутый слух верен, то Майков вот о чем вас просит, чтобы вы выгородили из оного Достоевского, [ибо молва приписывает ему доставление этих мыслей вам], т. е., если можно, написали бы к Тургеневу письмо [что-де до вас дошел слух, что будто в Петербурге приписывают], в котором его уверили бы, что отзыв о нем вы получили не от Достоевского, а случайно выдержку из одного его частного письма [2]...

Черновой автограф. ЦГАЛИ, ф. 87, оп. 1, ед. хр. 65 (чистовой автограф: ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 76).

Николай Платонович *Барсуков* (1838—1906) — историк, впоследствии автор двадцатидвухтомного (не завершенного) труда «Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888—1910).

Петр Иванович *Бартенев* (1829—1912) — редактор-издатель журнала «Русский архив» и хранитель Чертковской библиотеки в Москве.

[1] Достоевский в письме к А. Н. Майкову, датированном 28/16 августа 1867 г., подробно описал свое посещение И. С. Тургенева в Баден-Бадене, приписав ему резкие выпады против России и всего русского («Письма», II, стр. 30—32). Как вскоре стало известно Тургеневу от П. В. Анненкова, это письмо (вернее, выписка из письма), касающееся визита Достоевского, было доставлено Бартеневу для обнародования в 1890 г. В полной уверенности, что этот компрометирующий документ был послан Бартеневу самим Достоевским, Тургенев 3 января 1868 г. /22 декабря 1867 г. обратился к издателю «Русского архива» с письмом, в котором категорически заявлял, что своими взглядами на Россию с Достоевским он не делился, видя в нем человека, «не вполне обладающего собственными умственными способностями», и протестовал против искажения его образа мыслей (И. С. Тургенев. Письма, т. VII. М.— Л., 1964, стр. 17—18). Письмо это было послано через Анненкова. См. публикацию материалов, относящихся к этому конфликту, в работе И. С. Зильберштейна «Встреча Достоевского с Тургеневым в Бадене в 1867 году» («Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка». М.— Л., 1928, стр. 141—187).

Из публикуемого письма Барсукова явствует, что именно он переправил выписку своему дяде — Бартеневу (ранее это известно не было). 31 декабря 1867 г. П. В. Анненков писал В. П. Боткину: «Покамест для развлечения вашего прилагаю копию с письма Тургенева к Бартеневу в Москву, по поводу наветов Достоевского. Оно, конечно, пустое, да неприятное дело» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 54, оп. 2, ед. хр. 1).

[2] В ответном письме, датированном 22 января, Бартенев сообщал: «Тургеневу я на днях пишу, что никогда Достоевский ничего не присылал на хранение, а что действительно получена мною выписка из частного письма об их разговоре в Бадене. Ты будь покоен. Никогда не позволю себе показать не только Тургеневу, но и кому бы то ни было эти выписки. Читали только я, жена моя и Чертков как владелец» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 87, оп. 1, ед. хр. 65).

66. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Vevey. Сентябрь 1868 г.

... Вы не поверите, как мне тяжело и совестно вспомнить, что я обещала вам писать и до сих пор не исполнила еще своего слова. Мне часто приходит в голову, что вы на меня сердитесь и перестали считать своим другом, и эта мысль меня очень мучит. Я много раз принималась вам писать, но все по разным причинам не удалось послать. Сколько времени мы с вами не видались, Николай Михайлович! Вот уже полтора года, как мы из России; поехали на четыре месяца, а остались на два года, да и сами еще ⟨не⟩ знаем, когда нам удастся вернуться домой. Скажите, как вы провели этот год, здоровы ли вы, что поделываете? Вы не знаете, как я буду рада что-нибудь узнать о вас! У нас же было много счастья, но было и ужасное горе, т. е. смерть Сони [1]. Ведь вы знаете, что у нас была маленькая дочка, Соня, милая, хорошенькая девочка, как две капли воды похожая на Федора Михайловича [2]. Я всегда думала, что если мы приедем в Россию, то вы непременно полюбили бы ее, а она бы наверно вас тоже любила, вы ведь такой добрый и простой человек. Как мы были счастливы в эти три месяца, пока у нас жила Соня; это была такая полная жизнь, что я ничего не желала больше. Какая милая, тихая девочка была моя Соня; она нас уже узнавала, смеялась нам и ужасно любила, когда Федор Михайлович ей пел. Федор Михайлович любил ее больше всего на свете и говорил, что никогда он еще не был так счастлив, как при Соне. Бедный, он так теперь горюет, что и сказать нельзя, и только тем себя утешает, что у нас другая будет. Я знаю, Николай Михайлович, вы очень добры, вы, вероятно, нас от души пожалеете и пожелаете нам такого же счастья.

Мы живем теперь, как вы знаете, в Вевее, на берегу Женевского озера; местность здесь до того хороша, что и во сне такой не увидишь; живем мы здесь три месяца, но вывели заключение, что воздух здесь положительно не годится для таких нервных, как мы с Федором Михайловичем. Поэтому мы хотим, если только удастся, непременно уехать, хотя еще и сами не знаем, куда; но вообще думаем в Италию, т. е. в Милан или во Флоренцию. А как бы мне хотелось воротиться в Россию, но покамест это решительно невозможно. Дела наши ужасно как плохи, долги не уменьшаются, а только нарастают, и приехать в Петербург — значит прямо сесть в долговое отделение. Несмотря на нашу чересчур скромную жизнь, нам часто приходится нуждаться и закладывать вещи. Федор Михайлович по целым дням без устали работает и ужасно измучился; здоровье его за границей несравненно лучше, и припадки не бывают недель по шести, по семи. Живем мы с ним очень ладно, и я чрезвычайно счастлива; он такой добрый, прекрасный и любящий человек, что, право, невозможно его не любить и не быть с ним вечно счастливой [3].

В Швейцарии мы прожили больше года и, право, с такой радостью хотим ее бросить!..

Автограф. ИРЛИ. 30413.с.CXIIIб9.

[1] Соня Достоевская умерла в трехмесячном возрасте 12 мая 1868 г. (см. «Жизнь и труды Достоевского», стр. 178).

[2] Достоевский 20 марта /7 апреля 1868 г. шутливо писал А. Н. Майкову о живой еще тогда Соне: «Ребенку только что месяц, а совершенно даже мое выражение лица, полная моя физиономия, до морщин на лбу,— лежит — точно роман сочиняет!» («Письма», II, стр. 97).

[3] «Анна Григорьевна — моя истинная помощница и утешительница,— писал в это время Достоевский Майкову.— Любовь ее ко мне беспредельна, хотя, конечно, есть много различного в наших характерах» («Письма», II, стр. 63).

67. К. И. БАБИКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

Москва. 10 ноября 1868 г.

... Пишу я вам вот по какому поводу: в сентябре нынешнего года я дал два рекомендательных письма: к вам и к Аверкиеву — одному моему знакомому, г. Коврейну [1], и в то же время просил его узнать нечто о Ф. М. Достоевском, который поступил со мной весьма неделикатно, и до сих пор не выслав статьи, за которую почти два года назад получил вперед деньги [2], и этой своей неаккуратностью совершенно уничтожил возможность выхода предполагавшегося сборника. Коврейн был у Аверкиева (не знаю, был ли он у вас) и писал мне, что редакция (тогда еще только предполагавшегося) журнала «Заря» (да сияет она немеркнущим светом!) готова перекупить у меня статью Федора Михайловича под названием: «Мое знакомство с Белинским». Я, с своей стороны, буду очень рад, если дело устроится таким образом, то есть если вы и Федор Михайлович придете к соглашению, ибо, с одной стороны, я вовсе не желаю терять еще двухсот рублей, выданных вперед за статью, а с другой — мне было бы неприятно иметь хоть малейшее столкновение с Федором Михайловичем.

Итак, если вы изъявите желание приобресть, а Федор Михайлович — уступить вам предназначавшуюся статью для нашего сборника (вечная ему память!), то это будет лучшая комбинация, какую только возможно измыслить 〈...〉

При сем прилагаю, если для вас может понадобиться, письмо к Федору Михайловичу [3]...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III.16882.

[1] Эти письма Бабикова неизвестны; не установлена и личность Коврейна.

[2] 15 сентября 1867 г. Достоевский писал А. Н. Майкову по поводу своей статьи о Белинском: «Перешлите, родной мой, статью мою Бабикову в Москву, вместе с письмом, которое тут же прилагаю незапечатанное 〈...〉 У меня совесть нечиста по поводу этой статьи» («Письма», II, стр. 37). Письмо Достоевского к Бабикову неизвестно. Из того, что Бабиков через год считает нужным жаловаться на неполучение статьи, можно сделать вывод, что она так до него и не дошла и застряла у книгопродавца Соловьева, которому ее переслал А. Н. Майков, или же что Бабиков возвратил ее Достоевскому для переделки и вторично уже не получил.

[3] Приводим текст письма Бабикова к Достоевскому, сохранившегося в бумагах Страхова:

«Москва. Ноября 10 дня 1868 года

Милостивый государь Федор Михайлович!

Сборник, для которого когда-то предназначалась обещанная вами статья „Мое знакомство с Белинским“ — в настоящее время состояться не может. Редакция журнала „Заря“ изъявила желание приобресть эту статью; на это желание я изъявляю полнейшее согласие, а потому, если с вашей стороны не воспоследует никакого препятствия относительно этого соглашения, то, полагаю, это будет лучшее средство для устранения всяческих недоразумений. Впрочем, я согласен буду и на то, чтоб вы сами возвратили мне взятые вами у меня двести рублей серебром. Предоставляя вам полное право на окончание этого дела по вашему выбору, я позволяю надеяться себе, что вы почтите меня ответом.

Искренно уважающий вас, готовый к услугам К. Бабиков.

P. S. *Адрес*: Москва, Большая Дмитровка, д. Ладыженского, в книжную торговлю „Комиссионер“ для передачи К. Ив. Бабикову» (ЦНБ АН УССР. III.16883).

В архиве Достоевского сохранилось следующее письмо к нему московского книготорговца И. Желтова на бланке книжной торговли «Комиссионер», датированное 29 января 1873 г.:

«...На письмо, посланное вам, я не удостоился ответа. Посланному моему отвечали, что вы меня не знаете,— но перепишетесь с Бабиковым по поводу выданной ему записки в получении денег 200 рублей серебром за статью „Мое знакомство с Белинским“. Рассчитывая на вашу высокую честность, я возвращаю вашу расписку на невыполненное обязательство и надеюсь, что вы или пришлете мне деньги, или на эту сумму за известной уступкой нового вашего романа „Бесы“. После столь долгого ожидания смею думать, что вы чем-нибудь развяжете этот узел и удостоите своим ответом владельца значащейся здесь фирмы, вашего покорного слугу И. Желтова» (Авт. ИРЛИ. 29642. с.CXI62).

63. Н. В. ХАНЫКОВ — В. П. БОТКИНУ

Париж. 5 мая 1869 г.

... Я получил извещение от И. С. Тургенева.

Тургенев ни на волос не переменился, он столько же завиардован, как и прежде [1], и трепетал 18 апреля, дня, где оперетка m-me Viardot должна была быть дана на Веймарском театре [2]. Я предсказывал ему полный успех, и предсказание мое сбылось, но я нисколько не горжусь этим предвидением ⟨...⟩ Между тем последняя повесть его носит явные следы отчуждения от России; типы ее, полинявшие очерки виденного когда-то и не раз переданного гораздо рельефнее, так что, прочтя эту повесть, я невольно повторял за автором: «Несчастная! Несчастная!» [3]. Воспоминания о Белинском очень водянисты и поправляются только концом [4]. Читали ли вы «Обрыв» Гончарова [5] и «Идиота» Достоевского? [6] Н. А. Милютин сделал видимые успехи после того, как вы его видели [7] ⟨...⟩ Внутренняя обстановка в его семействе тоже тускнеет. Марья Аггеевна [8] видимо изнемогает под крестом, она становится все раздражительнее и желчнее; нередко плачет, чего прежде с нею не было; с Марьею Алексеевной они на ножах, и я очень рад, что та уезжает в Одессу. Она женщина добрая, сердечная, прямая, но не без русской распущенности и в особенности не без той привычки всегда и черт знает о чем волноваться, привычки, так рельефно обрисовываемой Достоевским в героинях его романов. Это какое-то душевное пьянство, принимаемое нашими дамами за страстность!..

Автограф. Архив Л. Н. Толстого (Москва), ф. В. П. Боткина, ед. хр. 84.

Николай Владимирович *Ханыков* (1822—1878) — известный ученый-востоковед, брат петрашевца А. В. Ханыкова. В течение долгих лет он поддерживал приятельские отношения с Тургеневым, Герценом, Салтыковым-Щедриным и другими видными деятелями русской литературы.

[1] Ср. письмо Ханыкова к Герцену, датированное 22 сентября 1868 г. («Лит. наследство», т. 62, стр. 699—701).

[2] Премьера оперетты Полины Виардо на текст Тургенева «Последний колдун» состоялась в Веймарском театре 27 марта (8 апреля) 1869 г. Тургенев писал Ю. Шмидту 4/16 апреля 1869 г.: «Я провел в Веймаре неделю. Оперетку г-жи Виардо „Последний колдун" ставили с большим успехом. Музыка, действительно, очаровательна, и — чего я, откровенно говоря, сильно боялся — либретто не производит впечатления чересчур большой наивности. Все было весело и привлекательно. Исполнение тоже по большей части отличное» (И. С. Тургенев. Письма, т. VIII. М.— Л., 1964, стр. 9). См. статью Тургенева «Первое представление оперы г-жи Виардо в Веймаре».—И. С. Тургенев. Полн. собр. соч., т. XIV. М.— Л., 1967, стр. 286—296 и «Лит. наследство», т. 73, кн. 1, 1964, стр. 177—224.

[3] Повесть Тургенева «Несчастная» появилась в «Русском вестнике», 1869, № 1.

[4] «Воспоминания о Белинском» Тургенева были напечатаны в № 4 «Вестника Европы» 1869 г. Резко отрицательно отнесся к ним и Герцен (см. Герцен, т. XXX, стр. 101 и 120).

[5] К этому времени в «Вестнике Европы» появилось пять частей «Обрыва» (№ 1—5).

[6] «Идиот» печатался в «Русском вестнике», 1868, январь — декабрь. Главы VIII—XII четвертой части романа были выпущены в феврале 1869 г. как приложение к «Русскому вестнику».

[7] Николай Алексеевич *Милютин* (1818—1872) — один из виднейших деятелей крестьянской реформы — был в это время тяжело болен.

[8] Марья Аггеевна *Милютина* (рожд. Абаза, 1834—1903) — жена Н. А. Милютина.

69. М. Н. СТОЮНИНА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

⟨С.-Петербург. Весна 1869 г.⟩

... Голубка моя дорогая, не откладывайте своего приезда в Петербург до осени. Приезжайте хоть в конце мая или в июне, чтобы ты здесь родила, а не там, а то если ты там родишь в сентябре, то как же ты повезешь такого маленького ребенка в холодную осень, ведь это значит наверное просту-



ВЕВЕ. НА ЭТОЙ УЛИЦЕ НАХОДИЛСЯ ДОМ
В КОТОРОМ ДОСТОЕВСКИЙ ЖИЛ В 1867 г.
Почтовая открытка
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

дить ребенка ⟨...⟩ Поверь мне, Неточка, что и для Федора Михайловича переход из хорошего климата в наш не будет так резок летом, как осенью. Ах, если б мои увещеванья, т. е. доводы, на вас подействовали! [1]...

Автограф. ИРЛИ. 30282.с.CXIIб6.
О *М. Н. Стоюниной* см. на стр. 289 настоящ. тома.

[1] *Достоевские возвратились в Россию только в 1871 г.*

70. А. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Д. И. ДОСТОЕВСКОЙ

Москва. 29 ноября 1869 г.

... Вчера я узнал, между прочим, почему сестры так дуются и недовольны Веселовским [1]. Дело в том, что брат Федор Михайлович вместе с письмом к Веселовскому (которое он, т. е. Веселовский, переслал мне) [2] писал таковое же письмо и к Сонечке Ивановой, в котором говорит, что ему передали Кашперов и Майков, что Веселовский готов по протекции кого-либо из наследников руководить в иске об уничтожении духовного завещания как составленного не при здравом смысле завещательницы [3]. Ясно, что письмо это брат Федор Михайлович написал с тех же *верных* переданных известий, как и письмо к Веселовскому, в котором говорится о смерти тетушки, об опеке над семейством брата Михаила Михайловича и прочих нелепых слухов.— Когда я сам показал письмо брата Федора Михайловича Веселовскому и мой ответ к брату и объяснил им, что ежели Веселовский захотел бы действительно хлопотать о уничтожении духовного завещания, то он не пересылал бы мне письма брата, а сам вошел бы с ним в сношения ... то сестры, кажется, немного поуспокоились ... Но, впрочем, я заранее объяснил им, что я вовсе не хочу стоять и быть защитником

перед ними за Веселовского; что они сами выбрали его опекуном, я же только познакомил его с ними в критическое время смерти Александра Павловича [4].

Автограф. ЛБ, ф.93.III.10.7.

[1] Владимир Иванович *Веселовский* — адвокат, член Московского окружного суда, с 1868 г. официальный опекун (совместно с А. М. Достоевским) над впавшей в детство теткой Достоевского А. Ф. Куманиной. См. о нем подробно в «Воспоминаниях Андрея Михайловича Достоевского», стр. 318—319.

[2] См. письмо Достоевского к Веселовскому, под датой 14 (26) августа 1869 г. («Письма», IV, стр. 286—288; ср. II, стр. 241—242).

[3] Письмо Достоевского к племяннице Софье Александровне Ивановой (Хмыровой), датированное 29 августа /10 сентября 1869 г.— «Письма», II, стр. 204—210.

[4] См. письмо Достоевского к брату Андрею Михайловичу из Дрездена (16/28 декабря 1869 г.)с подробным изложением всей истории, связанной с завещанием Куманиной и попыткой его оспорить («Письма», IV, стр. 288—293). Подробно об этом эпизоде см. также в «Воспоминаниях Андрея Михайловича Достоевского», стр. 326—351.

71. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. Н. МАЙКОВУ

Дрезден. 17/29 октября 1870 г.

Не посетуйте на меня, многоуважаемый Аполлон Николаевич, что я решаюсь обеспокоить вас одною очень важною для меня просьбою, за исполнение которой я буду вам чрезвычайно благодарна. Вы были так обязательны, что доставили Павлу Александровичу Исаеву работу по составлению статистических списков г. Петербурга; он, кажется, надеется получить по вашему ходатайству такую же работу и в Москве в нынешнем декабре месяце. Я хотела просить вас, многоуважаемый Аполлон Николаевич, если только это возможно, доставить это занятие и моему брату Ивану Григорьевичу Сниткину [1] 〈...〉 Но, пожалуйста, Аполлон Николаевич, если моя просьба хоть немного может затруднить вас, не исполняйте ее. Я ни за что в мире не захочу поставить вас в неприятное положение. Если же просьбу исполнить легко, то будьте столь обязательны, известите меня в письме к Федору Михайловичу или напишите два слова к моему брату в Москву 〈...〉

Как ваше здоровье? Как здоровье милой и доброй Анны Ивановны? Передайте ей мой поклон и мое горячее желание поскорее ее вновь увидеть. Я редко встречала такое прекрасное и доброе существо, как Анна Ивановна. Мое знакомство с нею навсегда останется для меня одним из лучших воспоминаний в жизни. Мы очень часто вспоминаем ваше семейство с матушкой и Федором Михайловичем. Как поживают ваши дети? Как, я думаю, они выросли! Прилагаю карточку вашей крестницы и буду очень счастлива, если моя Люба вам понравится. Ей уже более году; у нее десять зубков, она уже умеет немного говорить и ходит, хотя не очень твердо. Здоровья она довольно крепкого и бодро вынесла зубки и неважные детские болезни. Мы все ее очень любим; она же, кажется, больше всех любит Федора Михайловича, который ее чрезвычайно балует и ни в чем ей не отказывает; я волей-неволей должна играть роль строгой матери, иначе с нею сладу не будет.

Ах, Аполлон Николаевич, как нам хочется воротиться в Россию, какая ужасная тоска здесь [2], особенно теперь, когда, после побед, немцы стали еще грубей и наглей. Как мне наскучили эти вечные переезды, неименье своего, постоянного угла. А еще находятся люди, которые тоскуют, что не могут век жить за границей, я здесь встречала таких. Когда мне удастся, наконец, воротиться домой и устроиться, тогда, мне кажется, меня никакими калачами, никакими заграницами из России не выманишь. Но пока возвращение — прекрасная мечта, которая неизвестно когда осущест-

вится. Наши кредиторы непременно засадят Федора Михайловича в долговое. Вот если б они согласились меня посадить вместо Федора Михайловича, то я бы ни минуты здесь более не осталась. Вся надежда на работу Федора Михайловича, а тут в последнее время у него начались довольно частые и сильные припадки, что очень останавливает работу. Мы живем очень дружно и счастливо, и я считала бы себя счастливее всех в мире, если б не эта вечная тоска по России ⟨...⟩ Моя матушка и Федор Михайлович просят меня передать вам и доброй Анне Ивановне их низкий поклон. Пишите почаще, вы не знаете, что значит получить письмо с родины; мы оживаем, читая ваши письма ...

Автограф. ИРЛИ.16643. с.VIIб6.

[1] Об Иване Григорьевиче *Сниткине*, брате А. Г. Достоевской, см. на стр. 285 настоящ. тома.

[2] «А мне Россия нужна, для моего *писания* и труда нужна (не говорю уже об остальной жизни, да и как еще! Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься)», — писал в это время Достоевский («Письма», II, стр. 25).

72. П. Д. ГОЛОХВАСТОВ — С. А. ЮРЬЕВУ

С. Рубцово. 7 декабря 1870 г.

... Если вы успели узнать наверное, где живет Достоевский, в Швейцарии ли и в каком именно месте, то напишите мне [1] ⟨...⟩ К празднику буду писать отцу Петрову [2], напишу кстати и про Достоевского ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 636, оп. 1, ед. хр. 192.

Павел Дмитриевич *Голохвастов* (1839—1892) — историк и литератор, сын двоюродного брата Герцена.

Сергей Андреевич *Юрьев* (1821—1888) — критик, переводчик и драматург, впоследствии редактор журнала «Русская мысль», один из устроителей пушкинских торжеств 1880 г.

[1] Местопребывание Достоевского (находившегося тогда в Дрездене) интересовало Юрьева в связи с предпринятым им изданием журнала «Беседа», к авторскому участию в котором он хотел привлечь Достоевского. С аналогичным запросом Юрьев обратился к известному публицисту, сотруднику «Эпохи» Алексею Адриановичу *Головачеву* (1819—1903), ответившему ему 10 декабря 1870 г.: «Сейчас получил вашу записку, мой многоуважаемый Сергей Андреевич, сию же минуту навел справки и посылаю вам адрес Ф. Достоевского: Dresde. Poste restante...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 636, оп. 1, ед. хр. 191).

[2] Женевский священник Афанасий Константинович *Петров*, по убеждению Достоевского, — агент русской тайной полиции (см. «Письма», II, стр. 411).

73. А. А. ИВАНОВ — В. М. ИВАНОВОЙ

⟨С.-Петербург⟩ 20 февраля 1872 г.

... В четверг я был зван к Федору Михайловичу дяде на именины [1]. Провел там вечер, наблюдая во все глаза и уши наружность и нравы литераторов. Удостоился лицезреть следующих представителей этой породы людей: Полонского, двух Ламанских [2], Всеволода Крестовского, Страхова, Кашпирева [3], Майкова, Владиславлева [4] и еще какого-то старичка привлекательной наружности, имени которого я не узнал. Если хотите, то вот вам маленькая опись этих представителей.

Полонский — высокого роста, болезненного вида, ходит прихрамывая, находит непонятным содержание стихотворения Фета «Мороз на стекле», помещенного в № 1 «Зари». Старший Ламанский — низенький, толстый, совсем седой, бóльшую часть вечера горячился насчет спиритизма и рассказывал о сеансах Юма, на которых присутствовал.

Младший Ламанский, филолог, сухощавый человек, совсем черноволосый, с орлиным носом, меланхолической наружностью, относился с недоверием к рассказу своего брата, а потом толковал втихомолку со Страховым о дарвинизме.

Крестовский — среднего роста, уланский офицер в усах и бакенбардах и с своим неизменным стеклышком, болтающимся на шнурке,— бойкий человек. Рассказывал много жидовских сцен очень забавно.

Страхов — среднего роста, довольно полный, розовый, волосы с проседью. Голос тоненький и очень гибкий. Держит себя необыкновенно деликатно, так что напоминает собою чичиковское «Вы изволили пойти с валета, я имею честь покрыть вашу двойку» [5]...

Кашпирев, злополучный издатель угасающей «Зари»,— наружность артиста, волосы в длинных завитках, ниспадающих на плечи, небрежный костюм. Средних лет, краснощекий, очень смеялся рассказам Крестовского. Кажется, добродушный человек.

Майков — наружность артиста, т. е. длинные волосы. В жестах его и речи видно что-то юношеское.

Владиславлева вы уже несколько знаете, так что я его не описываю.

Вечер закончился обильным ужином, за которым литераторы вспомянули старые времена русской литературы.

Тут же виделся с Иваном Григорьевичем, которого привела его жена, у которой он, кажется, совсем под башмаком [6]...

Федор Михайлович и Анна Григорьевна просили меня напомнить вам о даче и что им надо знать наверное еще в апреле, будут или нет они жить в Монагорове.

Автограф. ЛБ, ф.93.III.12.27. Письмо опубликовано на немецком языке в газ. «Moskauer Rundschau», 1931, № 17, 22 марта.

Александр Александрович *Иванов* (1850—1894) — племянник Достоевского, инженер-путеец. Письмо адресовано его матери — сестре Достоевского.

[1] Именины Достоевского отмечались 17 февраля. Накануне, 16 февраля, он писал Я. П. Полонскому: «Не посетите ли вы меня завтра (в четверг, 17 февраля) вечером по поводу Федора Тирона, чем сделаете мне великую честь и чрезвычайное удовольствие. У меня будут только близкие, всем вам известные» («Письма», III, стр. 24).

[2] Евгений Иванович *Ламанский* (1825—1902) — видный экономист. Достоевский с ним познакомился еще в 1840-х годах на собраниях у Петрашевского. Его младший брат — Владимир Иванович (1833—1914) — известный ученый-славист, впоследствии академик.

[3] Василий Владимирович *Кашпирев* (1836—1875) — петербургский литератор, издатель журнала «Заря».

[4] Муж племянницы Достоевского, проф. Михаил Иванович *Владиславлев*. А. Г. Достоевская указывает, что Достоевский встречался у Владиславлева «со многими лицами из ученого мира» («Воспоминания», стр. 219).

23 ноября 1871 г. Владиславлев писал Достоевскому: «Не соберетесь ли, достоуважаемейший Федор Михайлович, к нам в четверг 25 числа? У нас будет Владимир Иванович Ламанский, не из едва неизвестных вам, наши молодые профессоры, из которых один — большой почитатель вашего таланта. Если вы можете располагать этим вечером и решитесь мужественно преодолеть расстояние, то вы доставили бы тем всем нам большое удовольствие» (Авт. ЛБ, ф. 93.II. 2.43). 12 февраля 1872 г. Владиславлев снова писал Достоевскому: «Позвольте просить вас, достоуважаемейший Федор Михайлович, пожаловать к нам вместе с Анною Григорьевною в среду 16 февраля вечером. Я говорил уже вам, что на этом вечере‹В. В.›Григорьев хотел поближе познакомиться с вами. Он будет непременно у нас, и вам нужно уж как-нибудь собраться‹...› Будет у нас Майков, Ламанские и некоторые из профессоров. Приезжайте, дядя, пожалуйста» (там же). А. Г. Достоевская отмечает в своих воспоминаниях, что Достоевский в этот вечер беседовал с В. В. Григорьевым «с особенным удовольствием» (стр. 219).

[5] Ср. записи о Н. Н. Страхове в «Записных тетрадях» Достоевского 1870-х годов: «Неискренность в общественных сходках (Страхов у меня на вечере)»; «Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом», и др. («Лит. наследство», т. 83, стр. 466 и 619).

[6] И. Г. Сниткин со своей молодой женой Ольгой Кирилловной незадолго до того переехал в Петербург из Москвы.

74. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 9 июня ‹1872 г.›

... Как вы распорядились с вашим летом, Николай Николаевич? Если вы еще ничего не решили, то не забудьте нашего общего с Федором Михайловичем приглашения и приезжайте к нам погостить в Старую Руссу [1]. У нас есть две свободные комнаты, где вы можете отлично работать; нас вы стеснить ничем не можете, а для Федора Михайловича вы будете сущим кладом [2]. Он и теперь начал тосковать, и я без ужаса не могу подумать, что с ним будет дальше [3]. Знакомств у нас там никаких, да и вообще с новыми лицами Федор Михайлович трудно сходится, так что ваш приезд будет для него благодеянием. Уезжая, он просил меня передать вам его приглашение. Федор Михайлович здоров, но в ужасном, тревожном состоянии: скучает и беспокоится о нас, то умоляет воротиться, не сняв перевязки с ручки, то просит прожить здесь целый месяц; работа у него не идет; вообще мы ужасно плохо начали лето [4]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 6.

[1] В конце апреля 1872 г. Достоевские отправились в Старую Руссу, где намерены были провести все лето. На следующий день после приезда их малолетняя дочь Люба (Лиля) сломала себе руку. Вскоре выяснилось, что кость у девочки срослась неправильно. Достоевский с женой повезли ее в Петербург, где около 20 мая врачом И. М. Барчем произведена была операция. Достоевский вскоре возвратился в Старую Руссу, а Анна Григорьевна вынуждена была еще долго оставаться с больной Любой в Петербурге («Воспоминания», стр. 227—229).

[2] Как отмечал впоследствии Страхов, в периоды «невыносимо тяжелого настроения», когда Достоевского все «раздражало и пугало и он тяготился присутствием самых близких людей», брат его и жена посылали за Страховым — «со мной ему было легко, и он по-немножку оправлялся» («Биография...», стр. 225).

[3] «Кроме боязни за Лилю,— писала в своих воспоминаниях Анна Григорьевна,— у меня не выходила из головы мысль о том, что-то теперь с моим мужем, не случилось ли с ним припадка? Из его писем я видела, что он тоскует и беспокоится о нас, а я ничем не могла ему помочь» («Воспоминания», стр. 231).

«Мне нестерпимо скучно жить,— писал Достоевский в это время жене.— Если б не Федя, то, может быть, я бы помешался...» («Письма», III, стр. 37).

1 июня 1872 г. А. Г. Достоевская писала мужу:

«Желаю тебе заниматься с успехом, приготовь побольше, и за раз побольше продиктуешь, я берусь очень скоро переписать. Не вздумай сам переписывать, это меня огорчит, лучше пиши и приготовляй побольше к моему приезду...» (Авт. ЛБ, ф. 93. II.3.35).

[4] Страхов, вероятно, по каким-то причинам приглашения не принял и в Старую Руссу не поехал.

75. Н. А. ЛЮБИМОВ — Н. С. ЛЕСКОВУ

‹Москва› 22 октября 1872 г.

... Рукопись вашу получил и очень благодарю. Относительно порядка помещения вот мои соображения. Имея в виду ваше желание чтоб рождественский рассказ был помещен в декабре, я в уме положил, что «Монашеские острова» лучше перенести в следующий год с января, чтоб и их поприберечь — то, что предполагалось поместить в нынешнем году (а сего немало), успеем действительно поместить. Теперь вы находите, согласно моему первому мнению, что рассказ удобнее включить в январскую книжку. Не рассечь ли узел, перенеся то и другое на следующий год? Удобно ли, во всяком случае, начать «Остров» в декабре и переносить на другой год [1] — в номер уже очень много набрано, к тому же Достоевский просит пустить «Бесов» возможно больше [2], чтоб в декабре кончить [3]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 256.

Николай Алексеевич *Любимов* (1830—1897) — профессор Московского университета, редактор беллетристической части «Русского вестника». См. о нем в воспоминаниях его внука Льва Любимова «На чужбине». М., 1963.

[1] «Монашеские острова» Лескова в «Русском вестнике» не появились.

[2] 9 октября 1872 г. Достоевский писал жене из Москвы о публикации «Бесов»: «С Любимовым по виду все улажено, печатать в ноябре и декабре, но удивились и морщатся, что еще не кончено». В ноябре было напечатано четыре главы третьей части, в декабре — остальные шесть («Письма», II, стр. 45).

[3] Историк литературы, один из первых биографов Лермонтова профессор Павел Александрович *Висковатов* (1842—1905) писал Достоевскому 6 марта 1871 г. из Петербурга:

«Не могу не написать вам своей горячей благодарности за то удовольствие, которое вы дали мне вкусить при чтении вашего нового романа „Бесы". Я сказал удовольствие — этого мало, потому что чтение это натолкнуло меня на много серьезных дум. История развития нашего общества за последние десятилетия вами ясно рисуется, и к счастливому выражению А. Н. Майкова, что вы представили конец тургеневских героев, я прибавлю свою надежду, что вы похороните и еще некоторых героев, обессмертив в то же время их тип. Один в своей комнате я страшно хохотал, читая о Степане Трофимовиче и людях, с которыми он проводит время и встречается. Публика наша очень капризна. Не знаю, как она примет ваше превосходное произведение, но все мыслящие и искренние люди с интересом и нетерпением будут следить за дальнейшим развитием романа. Я знаю, что Степан Трофимович не может быть одною из главных личностей романа, тут выйдут на сцену другие; может быть, не последнюю роль будет играть Шатов, хотя главная, конечно, будет принадлежать не ему...» (Авт. ЛБ, ф. 93. II.2.38).

76. А. Н. МАЙКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 12 декабря 1872 г.

... Мещерский [1] назначил по вторникам обеды у себя для Федора Михайловича, Филиппова [2] и меня; вы должны бы были замыкать квинтет, если бы были налицо. Цель — после обеда прослушать готовящуюся для следующего номера его статью и ругать ее до тех пор, пока он ее не выработает. Плодом этого всего можете считать его статью о женском вопросе в одном из последних номеров «Гражданина» [3]. Три раза он ее переделывал, и статья-то вышла недурна. Вы были бы тут очень нужны, вас часто поминаем ‹...›

17 декабря

Я забыл отослать письмо когда следует,— и вышло, что могу сообщить вам новость, которая и до вас касается, ибо требует от вас скорейшего возвращения: Градовский [4] вышел из редакции «Гражданина». Место его занимает Ф. М. Достоевский. По представлении о нем в III отделение граф Шувалов [5] на письме Мещерского надписал: «Отвечать, что с его стороны согласие»,— так что завтра или послезавтра дело обформится и может быть объявлено [6]. Разумеется, рассчитывается на вас, а именно под вашим главенством устроить библиографию, что, при месте, если вы его не прогуляете [7], вам будет очень с руки. Тогда и я, пожалуй, напрошусь к вам в сотрудники, т. е. для краткого изложения содержания книг и замечательных статей. Вот вам новость [8].

Автограф. ГПБ, ф. 747, ед. хр. 21.

[1] Князь Владимир Петрович *Мещерский* (1840—1914) — издатель еженедельной «газеты-журнала» «Гражданин», выходившей с января 1872 г.

[2] Тертий Иванович *Филиппов* (1825—1899) — один из видных идеологов славянофильства, член редакции «Гражданина», крупный правительственный чиновник. См. его письма к Достоевскому: «Лит. наследство», т. 15, 1934, стр. 149—156.

[3] Имеется в виду статья Мещерского «К делу! Ответ русской женщине», помещенная в № 31 «Гражданина» 4 декабря 1872 г. вслед за открытым «Письмом русской женщины за женский вопрос», подписанным *К. Соколовская*.

[4] Григорий Константинович *Градовский* (1842—1915) — журналист; был редактором «Гражданина» с января 1872 г.

[5] Граф Петр Андреевич *Шувалов* (1827—1889) — шеф жандармов с 1866 по 1874 г.

[6] См. «Лит. наследство», т. 83, стр. 51—52, 325—342.

ся в Руссе детях и не зная ничего о Федоре Михайловиче. Не поехать же в Эмс я не могла: я бы здесь измучилась и захворала, зная, что он, бедный, там страдает и может умереть, оставленный всеми, на руках квартирной хозяйки. Слава богу, что все это скоро разъяснилось, а то бы могло выйти много беспокойств и хлопот. В настоящее время Федор Михайлович у нас в Руссе, приехал всего неделю назад. Он остановился было в Петербурге, чтобы отыскать нам зимнюю квартиру, но вдруг заболел холериной и, боясь расхвораться окончательно, поспешил домой, пробыв в Петербурге всего полтора дня. Таким образом, он не имел ни малейшей возможности увидеться с кем-нибудь из родных. Все мы собираемся в конце этого месяца (если не случится непредвиденного обстоятельства) приехать в Петербург, остановившись в меблированных комнатах, отыскать себе удобную квартиру.

Вы пишете, что дело о наследстве туго подвигается вперед. Но ведь этого следовало ожидать, тем более, что у всех наследников мало средств, чтобы подвинуть дело. Наш поверенный часто нас извещает, как много он хлопочет, но до сих пор из его хлопот не вышло никакого результата. Вообще, по моему мнению, трудно ожидать чего-нибудь в близком будущем. Из вашего письма мы с удовольствием узнали о свадьбе Александры Михайловны и от души желаем ей полного счастья [3].

Федор Михайлович хотел приписать вам несколько строк, но я не решаюсь его ждать, так как и без того запоздала с ответом на ваше письмо. Федор Михайлович очень вам кланяется, а детки крепко вас целуют. Вы Федю не узнаете, до того он вырос ...

Автограф. ИРЛИ. 30413. с. CXIII69.—Ответ на письмо от 9 июля (Авт. ИРЛИ. 30361.с.CXIII62).

[1] 20 июня 1875 г. в хронике № 159 «С.-Петербургских ведомостей» появилось краткое сообщение: «Мы слышали, что наш известный писатель Ф. М. Достоевский серьезно захворал». Это известие о Достоевском, находившемся в Эмсе, сильно встревожило его родных, в особенности жену. Вскоре ей, однако, стало известно, что слух о болезни Достоевского был газетной уткой. См. след. письмо.

23 июня/5 июля Достоевский писал жене из Эмса: «Сегодня, в час пополудни, получил от тебя телеграмму. Она меня очень удивила и измучила. С чего ты взяла, что я болен? Значит, ты совсем перестала получать мои письма, т. е. пропало одно письмо‹...› Поверь, бесценный друг мой, что со мной ровно ничего не может случиться‹...› Я ответил тебе сейчас же телеграммой, которая и пошла во 2-м часу ‹...› Я написал в телеграмме „Ich bin gesund"» («Письма», III, стр. 190—191). Подлинник телеграммы Достоевского не сохранился.

[2] Анна Григорьевна ожидала в это время ребенка.

[3] Сестра Достоевского Александра Михайловна Голеновская, вторично вышедшая замуж — за Владимира Васильевича *Шевякова* (? — 1889). Она не сочла нужным сообщить о своем замужестве Достоевским, к которым питала самые недружелюбные чувства. «В кого она так грубо развита?» — писал Достоевский о сестре еще в 1857 г. («Письма», II, стр. 581).

Рельефно характеризуют личность Александры Михайловны следующие строки из ее письма к брату Андрею Михайловичу и его жене (октябрь 1852 г.): «Представьте себе мое горе: я уже больше не помещица, мне совсем не жалко деревни, но жалко как-то расставаться с титулом помещицы, и я уже теперь вполовину унизилась, как потеряла столь дорогое для меня имечко...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 51).

106. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 22 сентября 1875 г.

... Мы приехали в Петербург и очень будем рады, если вы нас посетите. Живем мы по Греческому проспекту (Пески), рядом с Греческим садом, в доме Струдинского, квартира № 6, в третьем этаже. Федор Михайлович просит передать вам его низкий поклон, дети целуют вас ‹...›

P. S. Кстати, не знает ли добрая Наталья *хорошей* няньки для моих

[7] Страхов собирался поступить на службу в Публичную библиотеку.

[8] Согласие Достоевского принять на себя обязанности официального и фактического редактора «Гражданина» чрезвычайно обрадовало Мещерского. «Жизнь глядит светлее с тех пор, что вы были так добры предложить себя в хозяева „Гражданина"», — писал он Достоевскому 15 ноября 1872 г. («Письма», III, стр. 301).

14 января 1873 г. Страхов отвечал Майкову:

«...Я давно уже послал письмо к Федору Михайловичу и очень усердно вам кланялся в этом письме. Но он не отвечает — и теперь я понимаю, почему (если даже письмо мое не пропало). Я надеялся, впрочем, если не на его письмо, то, по крайней мере, на получение „Гражданина"; но и его не получаю, а теперь уже готов просить, чтобы ничего не посылали —так вы меня напугали... Да, очень я обрадовался вашему письму, но — злодей вы! — вы совсем разрушили мое спокойствие. Я тут было расположился читать, работать — как будто буду жить здесь без конца, а с вашего письма мне все грезится телеграмма, и я чувствую себя в положении человека не на месте, которому нельзя ни за что приняться, потому что его завтра же позовут.

Мои беды начались, впрочем, еще раньше. В „Московских ведомостях" я прочитал объявление о *главном сотрудничестве* Федора Михайловича и сейчас же понял, в чем дело: то есть, что мне следует садиться за стол и писать статью. Я даже хотел в точности исполнить столь ясное требование долга, но... приехала бабушка с дочкой, и начались святки ‹...›

Будьте уверены, что я буду ревностным сотрудником „Гражданина". Федор Михайлович — истинное счастье для этого журнала. Можно будет начать непрерывный ряд статей под заглавием „Летопись книг и журналов" с эпиграфом из Пушкина:

«Не бойтесь! Мы не будем слишком строги!..»

Можно будет... Нет, нет и нет! Знаете ли, дорогой Аполлон Николаевич, что я нахожусь в истинном затруднении. Я было решился: 1) не иметь никакой срочной журнальной работы; 2) Не заводить никогда полемики; заниматься философскими вопросами ‹...›Вы с Федором Михайловичем можете отдыхать на лаврах (какая жалость, что я не могу здесь перечесть вашего „Дения"! Но я уж рад и тому, что мог дочитать „Бесов". Смерть Кириллова — поразительна, и то место, которое мне читал в Петербурге Федор Михайлович, не потеряло своей страшной силы и при чтении. Как хороша смерть Лизы! Степан Трофимыч с книгоношею и весь его конец— очарование. Я удивляюсь теперь цельности этого романа. Николай Ставрогин, очевидно, вставное лицо, как и Свидригайлов в „Преступлении и наказании", но не лишнее, а как будто из другой картины, писанной в том же тоне, но еще страшнее и печальнее. С нетерпением буду ждать отдельного и полного издания).

Итак, вы видите, в чем дело. Место в Библиотеке мне уже кажется благополучием великим; оно сделает меня свободным. Но, с другой стороны, я все-таки журналист по привычкам и по некоторой страстишке к этому делу. Если притом такие чудесные люди, как вы и Федор Михайлович, очень усердно будут заняты „Гражданином", то я не вытерплю и примусь строчить, пожалуй, не хуже прежнего ‹...›

‹Н. Я.› Данилевский в настоящую минуту уехал по службе, а то он, без сомнения, велел бы усердно кланяться вам и Федору Михайловичу; узнав о редакторстве Федора Михайловича, он сказал: „Теперь я охотно бы напечатал в „Гражданине", если бы что-нибудь написал». Увы! Он ничего не напишет! ‹...›

Анне Ивановне мое усердное почтение. И Федору Михайловичу...» (Авт. ИРЛИ. 16947.с.VIII66).

6 февраля Страхов писал ему же:

«А ваше второе письмо возбудило во мне много мыслей — горьких — о нашей любезной литературе; но теперь некогда их расписывать. Так и быть — опять придется окунуться в эту грязь — и охота была Федору Михайловичу добровольно связываться со стаею прогресса! Скажите ему, что он все еще слишком много важности придает этой стае...» (там же).

77. Вс. С. СОЛОВЬЕВ — П. В. СОЛОВЬЕВОЙ

‹С.-Петербург. 1 января 1873 г.›

Дорогая моя, я бесконечно счастлив в эту минуту,— я только что вернулся домой; двенадцать часов ночи; на столе я видел вашу телеграмму, твое письмо и визитную карточку, оборотная сторона которой вся исписана. А взглянул на карточку — и мое сердце так задрожало, что я едва не упал; я прочел, что на ней написано, и с горячими слезами благодарил бога, услышавшего мою молитву. Еще никогда я не был так счастлив — на карточке стоит имя человека, которого я признаю гениальным, перед которым я благоговею, о знакомстве, о дружбе которого я несколько лет мечтал, как о недосягаемом счастье. На карточке стоит: *Федор Михайлович*

Достоевский. Его рукою, написавшею столько дивных произведений, которыми я зачитывался и заплакивался, написано следующее:

«Любезнейший Всеволод Сергеевич, я все хотел вам написать, но откладывал, не зная моего времени. С утра до ночи был занят. Теперь заезжаю и не застаю вас, к величайшему сожалению. Я дома бываю около восьми часов вечера, но не всегда. И так у меня спутано теперь все по поводу новой должности моей, что не знаю сам, когда бы мог вам назначить совершенно безошибочно. Крепко жму вам руку. Ваш Ф. Достоевский» [1].

О!! Как я счастлив — другие не поймут этого; но ты должна понять, потому я сейчас же сел и пишу тебе. Это случилось вот как: я узнал, что он здесь, и, сам не знаю как, решился — написал ему большое письмо, где вылил всю душу, потому что знал, что он поймет меня. Я слишком хорошо его сам понимаю. Я не ошибся в человеке — он не знает, какой роскошный подарок сделал он мне в день моего рожденья. Вчера мы смеялись, что в «Voix prophétiques»* мне вышло сердце с надписью «Свидание». Гаданье оправдалось. Постоянная греза моя сбывается. Ты не знаешь, какой я дурак,— меня считают холодным и благоразумным, неувлекающимся, а у меня совсем мокрые глаза [2]...

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, ед. хр. 97.

Всеволод Сергеевич *Соловьев* (1849—1903) сын историка С. М. Соловьева, беллетрист, критик и поэт, автор мемуаров о Достоевском и ряда критических статей о нем, появившихся еще при жизни писателя.

Полина Владимировна *Соловьева* — его мать.

[1] 1 января 1873 г. Соловьев сделал в дневнике следующую запись:

«Вернулся домой в четверть первого. На столе поздравительная телеграмма отца с матерью, ее письмо, дорогое письмо, какое только она написать может „своему дорогому, родному волчонку" ‹...› У меня посветлело на сердце от этих родных приветов. Но тут же, на столе лежала визитная карточка, оборотная сторона которой вся исписана. Я взглянул: „Федор Михайлович Достоевский". У меня сильно забилось сердце. Я стал читать следующее»... Приведя текст письма Достоевского, Соловьев продолжает: «Я благодарил бога за то, что одно из горячих желаний моих исполнено, я испытал минуты счастья и взял перо, чтоб поделиться с лучшим, не изменяющим другом—мамой— этими минутами счастия. А поговорил с ней и успокоился. Прочел первый номер „Гражданина", подписанный Достоевским, прочел в нем начало его „Дневника". „Вернулись дед и Вадим, поговорили, дед сел ужинать, я лег спать, было три часа, я не мог заснуть.

Первый день моего нового года, начавшийся так тоскливо, закончился хорошей улыбкой, а я давненько не видал этой улыбки. Привет Достоевского — это залог многого нового в моей жизни. Я, наконец, нашел человека: он имел на меня огромное влияние своими творениями, он будет иметь на меня великое влияние своей личностью. Несколько дней тому назад, когда я узнал, что он делается редактором „Гражданина" и что, стало быть, находится в Петербурге, я, как сумасшедший, кинулся подписаться на „Гражданин" и узнать его адрес. Я сел и писал всю ночь человеку, которого не знаю; вот что, между прочим, писал я ему; помню, кажется, слово в слово эту часть письма моего...» Далее следует большой отрывок из письма Соловьева к Достоевскому, датированного 28 декабря 1872 г. (опубликовано в примечаниях к письмам Достоевского.— «Письма», III, стр. 299—300). Соловьев завершает свою запись словами: «Написал я это письмо и послал, и жутко мне стало — я так часто ошибался, так часто ожидал от людей того, что они не могли мне дать, и получал от них то, чего они не должны были давать мне. Прошел день, другой, третий — и он сам приехал ко мне. Я в нем не обманулся. Это одна из немногих удач моих. Много значит для меня привет его — да пошлет ему бог счастия! Вперед! Вперед! Что-то начинает светлеться...» (Авт. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 87).

[2] См. об этом эпизоде в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» Вс. Соловьева: «В то время Достоевский имел на меня решительное влияние, и я придавал большое значение почти каждому сказанному мне им слову. Поэтому я имел обычай тогда же записывать многие наши разговоры, его рассказы и по преимуществу рассказы о себе самом. Я храню некоторые его интересные письма ‹...› Мне только жаль, что я не могу в настоящее время рассказать всего, что у меня записано и что я помню,— я не хочу обвинений в нескромности, не хочу много говорить о живых еще людях...» («Исторический вестник», 1881, № 3, стр. 603).

* «Пророческих голосах» (*франц.*).

78. Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ — А. С. СУВОРИНУ

‹С.-Петербург. 1/13 января 1873 г.›

... Я положительно готов ждать вашего возвращения и поступлю так: сперва дам вам прочесть третью часть романа, и, если вы ее найдете достаточно обработанною, уполномочу вас окончательно переговорить со Стасюлевичем, и если он скажет, что дает, в случае одобрения, 200 рублей серебром с листа (но непременно вперед пусть скажет вам это: «в случае, если потом одобрит»), я немедленно вручу вам три части разом для его просмотра и решения [1] ...

Господа «Русского вестника», не зная о наших переговорах (прошу их держать между нами, пока дело не кончится),— считают, что только и света, что в их окне. Прилагаю сегодняшнюю тираду из передовой статьи «Русского мира» [2]. Не правда ли, в хорошее соседство меня садят? А по неволе придется туда отдать вещь свою, в случае, если Стасюлевич не даст более ста пятидесяти рублей с листа, уже получаемых мною и Достоевским у Каткова. Иначе не будет предлога оставить этих господ. Да, я нахожу, что плата 150 рублей за вещь, обработанную и с любовью,— недостаточна [3]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 1154.

[1] Речь идет о романе Данилевского «Девятый вал».

[2] В № 1 газеты «Русский мир» от 1 января 1873 г. была помещена редакционная заметка о предстоящем выходе в свет первой книжки «Русского вестника» с «Запечатленным ангелом» Лескова и романом Б. Маркевича «Марина из Алого рога». «В дальнейших книжках „Русского вестника“,— сообщалось далее,— появятся романы г. Крестовского ‹...›, г. Лескова ‹...› Г-н Данилевский, как мы слышали, занят окончательной обработкой чрезвычайно интересного романа „Девятый вал“ и, кроме того, трудится над материалами для другого исторического романа, из времени императора Петра III. Оба эти произведения, вероятно, найдут место также в „Русском вестнике“».

[3] 15 мая 1873 г., пересылая Каткову выписку из этого письма Данилевского и вставив имя Достоевского рядом с именами Лескова и Крестовского, Маркевич писал из Петербурга:

«Посылаю вам ходящее здесь по рукам письмо Гришки Данилевского к Суворину, переданное сим последним в Париже, где оно было им получено, мужу Лавровской — князю Цертелеву, который и сообщает его кому угодно. Из него вы увидите, почему этот негодяй и пролаз не прислал своего романа в „Русский вестник“ и как мнит он, подличая пред Суворинym, попасть к Стасюлутину в милость. Что всего куриознее это то, что статья в „Русском мире“, писанная Лесковым и весьма разумно доказывавшая, что в лагере *либералов* нет талантов, между тем как вокруг „Русского вестника“ группируются даровитые люди,— что эта статья главнейшим образом писана по инициативе и настоянию самого Данилевского. И против этой статьи он якобы „хотел протестовать!“ Эка шушера подлая! А Стасюлутин, действительно, по признанию Суворина, потерял в этом году более тысячи подписчиков. Беллетристики у него в запасе никакой, и он, по рассказам, заказал Хвощинской (Крестовскому) роман за большую плату вперед,— только напиши! Суворин забегает к Лескову— я сам его там встретил,— предлагает свести с Михаилом Матвеевичем...» (Авт. ЛБ, ф.120.8.3). *Стасюлутиным* Маркевич называет редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, женатого на дочери петербургского богача И. О. Утина.

79. ИЗ ДНЕВНИКА ВС. С. СОЛОВЬЕВА

‹С.-Петербург› 2 января 1873 г.

... Я поехал обедать к Александру Николаевичу Попову [1] ‹...› Я поделился с ним моей радостью, которую он принял очень к сердцу. Я прочел ему многое из первого номера «Гражданина» и, разумеется, прежде всего «Дневник писателя». Он остался очень довольным, но согласился со мною, что Достоевскому не следовало начинать с фарса, с Китая. Вторая же главка произвела на него впечатление, и он сказал, что Достоевский

верно понял Герцена и прекрасно объяснил ему Белинского, которого он до сих пор не мог совсем понять ни по личным воспоминаниям, ни из «Воспоминаний» Тургенева ⟨...⟩

В начале восьмого я простился и поехал к Достоевскому. Он живет далеконько: в Измайловском полку во 2-й роте. Я нашел дом № 14, прошел в ворота на большой двор и спросил — мне указали отдельный флигелек. Я позвонил, сейчас же отворила горничная. «Дома Федор Михайлович?»— «Дома-с».— Я вошел по небольшой лестнице и сложил свое платье на какой-то сундук в передней. Просторно и чисто, но обстановка почти бедная. «Да вот и они сами»,— сказала горничная. Передо мною стоял Достоевский. Я назвал себя. Он сжал мне руку и посадил к своему столу, сказавши: «Ну, поговорим». Передо мною был человек небольшого росту, скорее плотный, чем худощавый, казавшийся моложе своих пятидесяти лет, с довольно длинною русою бородою, с большим лбом, у которого сильно поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с неправильной и совершенно простой физиономией, с тонкой, похожей несколько на восковую кожей, с почти постоянной добродушной улыбкой. Странное дело — но он живо напомнил мне лица, мелькнувшие передо мною во время осмотра моего тюремных заведений, лица сектантов, лица скопцов. Решительно то же впечатление! В его лице столько простоты и добродушия, он так хорошо сказал мне: «Ну, поговорим», что моей постоянной конфузливости, смущения как не бывало. Я просидел у него два часа, говорили много — и я, и он. Началось невольно с «Гражданина»; он хвалил Мещерского и находил в нем талант — не может этот человек говорить не по убеждению... увидим. Он сказал, между прочим, что у него есть сюжет для повести, что он передал его Мещерскому и тот умоляет его написать для «Гражданина», но в таком случае это помешает «Дневнику» — он сам не знает, на что решиться, и «продумает об этом всю ночь». Я отстаивал «Дневник», насколько такт допустил это. Боюсь я, боюсь страшно — а вдруг он не выдержит с «Гражданином», вдруг ругань подлых газет раззадорит его, вызовет на полемику, доведет до болезненного состояния и т. д. А он наверное из таких, из раздражающихся, из порывистых. По поводу «Дневника» он заговорил о Белинском и сказал, что хотел побольше написать об нем, привести его собственные слова, но что не сделал этого ⟨...⟩

Я пробовал защитить Белинского, упирая на то, что от слова до дела очень далеко, что у каждого человека бывают иногда быстролетные, самые чудовищные мысли, которые неизвестно как являются и сейчас же исчезают, и никогда не могут пройти в жизнь, и что есть такие люди, которые с напускным цинизмом любят похвастаться подобной дикой мыслью. Но Достоевский убежден, что Белинский, если сказал, то мог и сделать, что это была натура простая, цельная, несоставная, у которой слово и дело вместе. Он говорит, что теперь, в последнее время, много развелось подобных натур; сказал — и сделал, застрелюсь — и застрелился. Упаси господи от такой цельности! Трудно передать разговор наш — как он переходил от одного к другому, касался многого и постоянно прерывался вопросами и ответами о нас самих. Когда он спросил меня, сколько мне лет и я ответил, что вчера исполнилось двадцать четыре года, он задумался: «Значит, вы родились 1 генваря 1849 года — где я был тогда... В Перми... мы шли в Сибирь... да, это в Перми было» [2]. Он рассказал, между прочим, об одном человеке, о *большом* для него человеке, в котором мирилась бездна противуречий, громадный ум и талант, не выразившийся ни одним писаным словом, умерший вместе с ним, кутеж и пьянство и пострижение в монахи; умирая, он сделал бог знает что; он был тоже в Сибири, на каторге; когда его выпустили, то из железа своих кандал он сделал себе кольцо, носил его постоянно и, умирая, *проглотил его*...—

Черта интересная. Тоже цельная натура [3]. Достоевский почувствовал первый припадок падучей болезни на каторге (было от чего [4]); все, что с ним случилось, все читанное, слышанное, до мельчайших подробностей, до первого припадка он помнит, а затем стал забывать многое, иногда забывает людей, которых знал хорошо, забывает физиономии («Вот ваше лицо я не забуду»,— сказал он; я сразу заметил, что он изучает мою физиономию); забыл все свои сочиненья, написанные после каторги; когда дописывал «Бесы», то должен был перечитать все с начала, потому что перезабыл даже имена действующих лиц. Он провел четыре года за границей, недавно женат, двое маленьких детей, я их слышал, но не видел, жена уехала в театр. Прошлое лето он провел в Старой Руссе. Он сразу увидел, что это название произвело на меня какое-то впечатление — он просто спросил, и я просто ответил, сжавши как можно сильнее мой рассказ. «Да, да, я хорошо понимаю»,— сказал он; мы говорили о женитьбе, он испытывал меня на некоторых пунктах. «Хорошо, что так кончилось,— говорил он,— потому что вы не любили ее; вы могли рассуждать, а кто любит, тот не рассуждает; знаете ли, как любят?— говорил он тихим, дрогнувшим голосом.— Если вы любите чисто и любите в женщине чистоту ее и вдруг убедитесь, что она публичная женщина,— вы полюбите в ней ее публичность, эту гадость, вам омерзительную, вы будете любить в ней,— вот какая бывает любовь». Я сказал, что понимаю это, но никогда не испытал вполне... Да... один раз... но это забытые воспоминания.

А он прав — я не любил Лидию ⟨...⟩

Достоевский рассказал мне, между прочим, следующий психологический случай. В Киеве (или возле Киева — не помню) есть монах, известный своей жизнью, к которому со всех концов России идут исповедоваться в таких грехах, признаться в которых не смеют священнику. «Привык я ко всему,— говорил этот монах,— слышал я такие грехи, которые трудно даже представить себе, видел страшные, гнойные раны души человеческой, но все же иногда услышишь такое, что сердце перевернется и духу не хватит дать молитву и допустить человека до причастия. Раз ко мне *ползком приполз* один крестьянин, и вот в чем признался: был у них на масленице праздник, народ гулял; собрались они, три или четыре человека, и стали предлагать, чтоб кто-нибудь из них на спор решился сделать такую дерзость, такое святотатство, чтоб хуже и придумать нельзя было. И взялся за это дело кающийся крестьянин. Он должен был всю первую неделю поста проговеть, аккуратно ходить в церковь, исповедаться и, причащаясь, удержать во рту причастие и вынести его из церкви, затем с товарищами пойти в поле, положить причастие на известное место, зарядить ружье и в него выстрелить. (Дойти до подобной мысли!—просто писать невыносимо.) Крестьянин отговел, удержал во рту причастие, собрал товарищей, выложил причастие, зарядил ружье, прицелился и в ту секунду, когда хотел спустить курок, совершенно спокойно и весело, вдруг ясно, отчетливо увидел, что целится в распятого Спасителя. Ружье выпало из рук, и он упал без чувств». Мы долго говорили по поводу этого случая, но приводить наш спор я не имею времени [5].

Под конец мы говорили о самолюбии и о конфузливости как об одном из проявлений самолюбия. Достоевский сказал, что я, должно быть, очень самолюбив! Он высказал одну мысль, которая мне очень понравилась: «Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека; вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами, и — непременно ошибаетесь; впечатление, произведенное вами, непременно другое, а все это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть,— люди несравненно мельче, простее, чем вы себе представляете».

Я собрался. Он сказал, чтоб я приезжал к нему через неделю в среду и что мы вместе поедем к князю Мещерскому, у которого собираются по средам.

Новый кружок, новые люди, новая струя свежего воздуха в моей душной атмосфере, которая меня совсем было морить стала.

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 87. См. выше запись от 1 января 1873 г. Эта дневниковая запись частично использована автором в его «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском».— «Исторический вестник», 1881, № 3, стр. 602—616 и № 4, стр. 839—853.

31 января 1873 г. Достоевский писал своей племяннице С. А. Ивановой о Соловьеве: «Я с ним недавно познакомился и при таких особенных обстоятельствах, что не мог не полюбить его сразу〈...〉 Он довольно теплая душа» («Письма», III, стр. 48—49).

[1] Александр Николаевич *Попов* (1821—1877) — историк и археолог.

[2] Ошибка Достоевского: 1 января 1849 г. он еще жил на свободе в Петербурге.

[3] В своих воспоминаниях Соловьев пояснил, что речь идет об *И. Н. Шидловском*. См. примеч. 5 к п. 3.

[4] См. примеч. к п. 261.

[5] Рассказанный Соловьеву случай лег в основу очерка Достоевского «Влас», напечатанного в «Гражданине», 1873, № 4, 22 января.

80. В. П. МЕЩЕРСКИЙ — М. П. ПОГОДИНУ

〈С.-Петербург. Начало января 1873 г.〉

... Сделайте великую милость — потерпите без гнева и злобы на нас, грешных, еще недельки две — относительно находящихся в редакции «Гражданина» статей ваших, ибо прошло три недели пока вступил новый редактор, человек пожилой и больной, к которому — потому что он Достоевский — я не могу относиться иначе как с величайшею деликатностью [1]. Ваши статьи задержались в беспорядке прежней редакции, и г. Достоевский взял их и прочтет ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 373, оп. 1, ед. хр. 235.

[1] См. п. 76.

81. М. П. ПОГОДИН — Н. П. БАРСУКОВУ

〈Москва〉 11 января 〈1873 г.〉

... Что говорят о «Гражданине»? Достоевского вещи прекрасные [1]. Надобно поддержать газету всеми силами [2], но жаль, что попадаются вещи нехорошие, например, насмешки над профессором Градовским, о котором я слышал очень много хорошего [3]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 87, ед. хр. 66.

[1] Погодин пишет под впечатлением от двух первых номеров «Гражданина» 1873 г. (1 и 8 января). В них напечатаны под рубрикой «Дневник писателя» статьи Достоевского «Вступление», «Старые люди» и «Нечто личное». Об участии Погодина в «Гражданине» см. «Лит. наследство», т. 83, стр. 328—329.

В связи с изданием «Гражданина» Погодин отправил Достоевскому ряд одобрительных писем. «Жму вам крепко руку,—писал он в одном из них.— Надо работать всеми силами против легиона. Я, хоть на старости, буду присылать ко всякому нумеру» («Звенья», VI, 1936, стр. 445).

[2] В июне 1873 г. Погодин писал Т. И. Филиппову: «... Его („Гражданина") надо поддержать. Соберитесь все, господа, кто принимает к сердцу, т. е. кому противны нынешние оргии...» («Лит. наследство», т. 15, стр. 151—152).

[3] В № 2 «Гражданина» опубликована в разделе «Ералаш» ироническая заметка о «писателе передовых статей„Голоса" — бывшем редакторе «Гражданина» Г. К. Градовском, будто бы явившемся на юбилейный обед по случаю десятилетия газеты, держа под мышкой что-то «вроде простыни». Это был текст его речи. По просьбе испуган-



А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ
Фотография 1870-х годов
С надписью на обороте неизвестной рукой: «Из медальона в Дрездене 1870 г. В. Н.»
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

ного редактора «Голоса» А. А. Краевского речь эта не была произнесена; автор должен был переделать ее в серию передовых статей. В письме без даты Погодин писал Достоевскому по поводу этой заметки: «Но напрасно „Гражданин" против „Голоса" ‹...› О пр‹офессоре› Градовском я слышал только хорошее» («Звенья», VI, стр. 445).

Высказывалось предположение, что Достоевский — автор этой заметки или, во всяком случае, в ней видно его «редакторское вмешательство» (см. В. В. Виноградов. Достоевский и А. А. Краевский. Сб. «Достоевский и его время». Л., 1971, стр. 26—28).

82. М. П. ПОГОДИН — Н. П. БАРСУКОВУ

‹Москва› 20 января ‹1873 г.›

...Статьи г. Достоевского представляют много любопытных разоблачений. Как приняты они в Петербурге? [1]

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 97, ед. хр. 66.

[1] Погодин, по-видимому, ознакомился уже с третьим номером «Гражданина», в котором Достоевским помещена была под рубрикой «Дневник писателя» статья «Нечто личное». В ней он подробно говорил о своих отношениях с Чернышевским и обличал «окололитературных и литературных» сплетников.

83. А. Н. МАЙКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 20 января 1873 г.

... Ввиду того, что скоро увидимся, я и писать вам ничего не буду. Не могу только не сказать, что, кроме Бычкова [1], вас поджидает Федор Михайлович Достоевский, на которого теперь залаяла вся свора прогресса. Господи, как ругаются! Но ругательства бы еще ничего: как клевещут! [2] Этого я не понимаю. А полемике публика верит. Отсутствие серьезного отношения к жизни ужасно ...

Автограф. ГПБ, ф. 747, ед. хр. 21.

[1] Афанасий Федорович *Бычков* (1818—1899) — историк и археолог, автор ряда крупных археографических трудов.

[2] Резкие нападки на Достоевского, появившиеся в это время в революционно-демократической и либеральной печати, были вызваны выходом в свет отдельного издания «Бесов», а также тем, что Достоевский стал редактором такого обскурантистского издания, как «Гражданин».

84. А. А. ШКЛЯРЕВСКИЙ — А. С. СУВОРИНУ

‹С.-Петербург› 23 февраля 1873 г.

Итак, в конце концов выходит, что мне нельзя в данный час выбраться из Петербурга, невозможно и остаться; затем один исход: лечь в больницу. Его требует не только одна болезнь, но и другие расчеты, так как больница может поставить меня и в очень хорошее денежное положение. У меня есть несколько начатых рассказов, из которых один особенно удачен и почти готов. Я предполагаю его сдать в «СПб. ведомости»; для того, чтобы его закончить и поправить, нужно не более четырех дней усидчивой работы, но, верите, вовсе не от лени; напротив, я теперь постоянно работаю,— я в продолжение трех или четырех недель не могу взяться за это: так сложились обстоятельства. Сначала черт поднес Траншеля [1] с предложением продать все томы сочинений новой редакции и состав статей (которые я приготовил Турбе [2]) — Печаткину [3]. Печаткин проводил меня недели полторы, я ходил к нему каждый день, и дело не то чтобы разошлось, но и не сошлось, потому что Печаткин отложил до удобного для него времени. Затем тот же Траншель, в типографии которого печатается «Гражданин», передал мне, что Достоевский говорил ему, будто бы он с удовольствием принял бы от меня рассказ. Вследствие сего, польстившись на гонорар от восьми до десяти копеек строка, я дня в три из бывшего у меня напечатанного рассказа сделал новый, лучше сказать, не рассказ, а размышление присяжного поверенного, и отдал ему для передачи Достоевскому, с тем условием чтобы мне получить ответ *на днях* [4]. Между тем, вот уже три недели я не добьюсь никакого толка, а я Мещерского никогда не застаю дома, на письма не отвечают и рукопись не возвращается, несмотря на неоднократные требования. Будь же она у меня, Маркс [5] и Клюшников [6] взяли бы ее с удовольствием и сейчас бы выдали гонорар вперед [7] ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 4764.

Александр Андреевич *Шкляревский* (1837—1883) — беллетрист, автор нескольких «уголовных» романов. О его встрече с Достоевским рассказывает со слов последнего в своих воспоминаниях В. В. Тимофеева (О. Починковская) — «Год работы со знаменитым писателем».— «Исторический вестник», 1904, № 2, стр. 523—525. См. также «Лит. наследство», т. 83, стр. 344—345.

[1] *А. И. Траншель* — петербургский издатель и владелец типографии.

[2] Василий Петрович *Турба* (1849—1888) —в это время издатель журнала «Сияние».

[3] Вячеслав Петрович *Печаткин* (1819—1898) — бумажный фабрикант, книгопродавец и издатель.

[4] Рассказ «Накануне защиты преступника (из записок присяжного поверенного)» появился в № 12 «Гражданина» 19 марта 1873 г.

[5] Адольф Федорович *Маркс* (1838—1904) — издатель еженедельного иллюстрированного журнала «Нива».

[6] Виктор Петрович *Клюшников* (1841—1892) — беллетрист, автор «антинигилистического» романа «Марево». В 1870—1876 гг.— редактор «Нивы».

[7] В архиве Достоевского (ЛБ) сохранилось семь писем к нему Шкляревского 1873—1874 гг. Первое из них, датированное 8 марта 1873 г., непосредственно связано с публикуемым письмом. Оно раскрывает и содержание первого, не дошедшего до нас письма Шкляревского и ответа Достоевского. Привожу текст этого письма с небольшими сокращениями:

«Я так нездоров и расстроен своею болезнею <!>, что написать связно письмо для меня, в настоящую минуту, составляет нелегкий труд, который вызвало лишь мое глубокое уважение к вам, чувствуемое не на одних словах. Поэтому вы извините нескладицу этого письма ради моей болезни. Мое первое письмо, к сожалению, вами не вполне понято; сетуя, может быть, как больной, и в резких выражениях о длинной процедуре получения ответа о своей статье, весьма понятно, я вовсе не считал вас виновником, тем более, что, как справедливо и вы сами замечаете, я не вам передавал статью. Отвечая на письмо мое к вам, кн. Мещерский благодарит меня за него и называет его *любезным* в отношении к себе. С своей стороны и я посылаю свое согласие на помещение статьи в „Гражданине", сожалея только о происшедших между нами недоразумениях. Кроме того, нравственно я нисколько не виноват перед вами за недоставку своей статьи вам, потому что, во-первых, *я отдал ее г. Траншелю для передачи именно вам*<...> Следовательно, я не особенно повинен, что г. Траншель самопроизвольно вместо вас передал рукопись кн. Мещерскому; а вследствие такой передачи я уже и не смел обращаться к вам до тех пор пока у меня не лопнуло всякое терпение мирным путем, хотя бы получить статью обратно... Главная причина недоразумения произошла чрез болезнь мою, помешавшую мне представиться вам лично: путем разговора мы бы, конечно, прекратили их, если бы мне удалось застать вас дома. К сожалению, и после моего письма к вам произошло два новых недоразумения: 1) не получая от вас ответа до 4 марта, я поручил, из своей квартиры, сходить к вам за ним, на другой день, 5-го числа, что и было исполнено утром этого же дня; между тем, когда посланная ходила к вам, я в то же время получил в клинике письмо кн. Мещерского, уведомившего меня, что рукопись моя будет напечатана в 11 № „Гражданина", на что я тотчас же и послал свое согласие; 2) заключается в разносодержании писем вашего и кн. Мещерского. Он пишет мне, что ответ мне не последовал потому, что рукопись моя была отдана вам на прочтение, вы же уведомляете, что „никогда не видели ее в глаза и понятия о ней не имеете..." Недоумеваю!.. Но, как бы то ни было, дело о рукописи уже кончено, и я бы искренно желал, чтобы оно не только осталось между нами, так как оно никому не известно, но чтобы и предано было всецело забвению. Теперь мне более всего важно то, что, судя по вашему письму, вы считаете себя как бы обиженным. Серьезно, мне это больно, и я далек был от такой мысли, очень хорошо, даже, может быть, более других, понимая, что редактору недельного издания нет никакой надобности корпеть в редакции, а особенно человеку с вашим талантом. Кое-что вы еще можете прочесть и между строк моего письма...

Что же касается до моих чувств к вам, выраженных в конце предыдущего письма, то это не слова, а полнейшая правда, так как всему кругу моих знакомых известно, что я принадлежу к числу самых жарких поклонников ваших сочинений за их глубокий психологический анализ, какого ни у кого нет из наших современных писателей... Это полное мое убеждение... Если я кому и подражаю из писателей, то вам... Ваше влияние слишком ясно даже отразилось в одном моем рассказе „Отчего он убил их? (рассказ Следователя)" — „СПб. ведомости" за 1871 год, где я не удержался, чтобы не упомянуть вашу фамилию. Следовательно, обвинение ваше очень мне тяжело. Мое письмо к вам написано было, может быть, неудачно, но в смысле скорей жалобы, чем чего другого» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.9.146. Ср. «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 211—212).

29 марта Шкляревский известил своего корреспондента, что выслал ему для публикации в «Гражданине» свою статью «Сосновая школа».

11 сентября 1873 г. Шкляревский отправил Достоевскому свой рассказ «Чрез преграды» с просьбой напечатать его в «Гражданине» и выдать аванс. В постскриптуме к письму он добавил: «Рассказу моему можете переменить заглавие по своему усмотрению. Вообще как хотите, так и поступайте с ним, потому что я вам беспредельно верю».

Из дальнейших писем, в которых также говорится о посылаемых Достоевскому произведениях Шкляревского, видно, что оба писателя неоднократно встречались и вели устные переговоры.

В письмах Шкляревского к Суворину 1873 г. также находим упоминания о Достоевском. 6 мая: «Я лишь сейчас уселся за рассказ „Телеграмма", который отдам либо Достоевскому, либо Турбе»; 8 августа: «Дела мои стоят в скверном положении: рассчитывал на Достоевского и Турбу, но у первого денег нет, а второй и вовсе закрыл свой журнал на время» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 4764).

85. И. А. ШЕСТАКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

Петрозаводск. 10 мая 1873 г.

... Только из прочитанной вчера газеты я заключил, что вы здоровы: это отзыв о вашей работе в «Гражданине» [1]. Итак, вы опять примкнули к княжескому журналу. Верно, Федор Михайлович втянул; что до меня, я об этом сожалею. Впрочем, вам лучше знать вещи. Я знаю «Гражданина» только по отзывам газет и, говоря по правде, сильно негодую против него [2] ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III. 18726.
Об *И. А. Шестакове* см. в п. 34.

[1] О какой газетной заметке говорит здесь Шестаков — не выяснено. Об участии Достоевского в «Гражданине» сообщали в это время многие газеты.

[2] В июне 1873 г. Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «Мещерский тоже уехал, к моему удовольствию. Достоевский один заправляет делом, и, кажется, много ему выпадет на долю неприятностей. Охота была соваться в такое дело! Судя по рассказам, он принял на себя редакторство впопыхах, не подумавши, а мысль об этом подал Майков. Ну, счастье Мещерскому! Понять невозможно, чем он мог заслужить такое большое усердие» («Русский вестник», 1901, № 1, стр. 130).

86. И. И. РУМЯНЦЕВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

⟨Старая Русса⟩ 25 мая 1873 г.

... Прежде всего усердно прошу вас засвидетельствовать мою искреннейшую глубокую благодарность доброму Федору Михайловичу за его благорасположение ко мне, которое я могу только чувствовать, но за которое я ничем не могу платить ⟨... ⟩ Федору Михайловичу дай бог добрый успех в его трудах ...

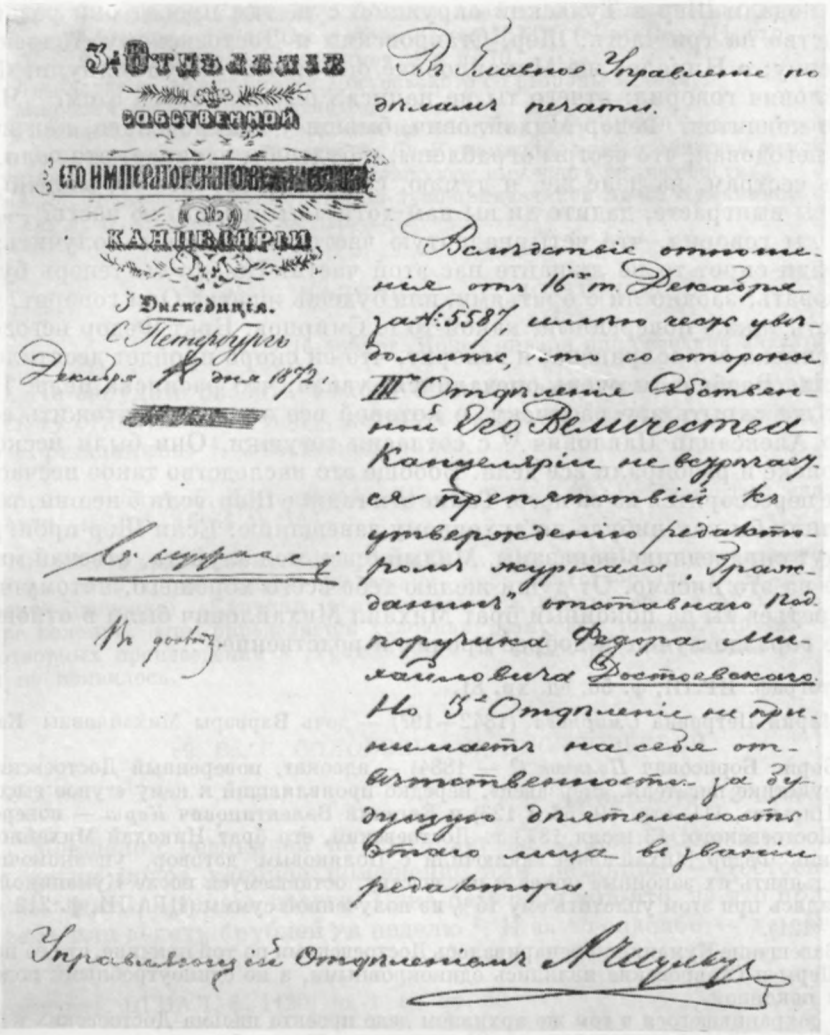
Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 208.

Иван Иванович *Румянцев* (? — 1904) — священник в Старой Руссе, у которого Достоевский снял дачу. «Батюшка Румянцев есть мой давний и истинный друг, достойнейший из достойнейших священников, каких только я когда-нибудь знал»,— писал о нем Достоевский («Письма», IV, стр. 187). См. «Исторический вестник», 1895, № 4, стр. 135—136. По отзыву знавшего его актера П. П. Гайдебурова, Румянцев «был человеком незаурядным. Вступив давно когда-то в управление Егорьевским приходом, он не продвинулся ни на шаг по пути духовной карьеры, за всю свою жизнь не заслужил ни одного знака отличия ⟨...⟩ Ум у отца Ивана был светлый и острый, а язык — и того острее. Немало соли сыпал этот язык на головы духовенства, доставалось и обывателям, не спускал он и начальству» (см. Н. Ф. Скарская и П. П. Гайдебуров. На сцене и в жизни. Страницы автобиографии. М., 1959, стр. 255—256).

87. В. М. КАРЕПИНА — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨Москва⟩ 28 мая 1873 г.

... 19 мая меня не было дома; по возвращении моем прислуга моя говорит, что без меня были какие-то двое господ из Петербурга, один из них раза три наведывался, не воротилась ли я, а другой дознался, что я у Машеньки[1], и прибыл к ней, чтоб переговорить со мной. Оказалось, что это оба поверенные и адвокаты братьев: Федора Михайловича и племянников-сыновей покойного брата — и Николая Михайловича [2]. Братья, узнав, что Шер так распорядились с наследством, решились, как более близкие родственники, отбить наследство от Шер в свою пользу [3]. 20 мая вслед за своим адвокатом приехал и Федор Михайлович [4]; от Веселовского [5] они узнали, что Шер подали уже от себя заявление в Тульский окружной суд еще в марте месяце; каковы хитрые, если б не Казанские [6],



ОТВЕТ III ОТДЕЛЕНИЯ НА ЗАПРОС ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ О ВОЗМОЖНОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО РЕДАКТОРОМ «ГРАЖДАНИНА», 18 ДЕКАБРЯ 1872 г.

Центральный государственный архив Октябрьской революции Москва

которые из злорадства разболтали об этом Александре Михайловне [7], никто ничего бы и не знал, а Тульский окружной суд решил бы в их пользу. Веселовский, как заметил брат, был против того, чтоб они отбили в свою пользу, и говорил, что они проиграют, но они твердо решились начать дело, а брат Федор Михайлович тем более, что его расписка сохраняется [8], и в случае, если Шер выиграют, то они по своему грабительству могут требовать с него эти деньги, то он хочет начать дело, будучи убежден, что получит более десяти тысяч. Адвокат Николая Михайловича ленивее, все время пребывания в Москве собирал повсюду справки; из Консистории ему хотели прислать свидетельство о рождении и браке нашей маменьки, чрез десять дней хотел приехать опять, собравши справки, и подать просьбу, также, кажется, в Тульский окружной суд; они заметили, что Веселовский покровительствует Шер. Они читали копию бумаги, ко-

торую подали Шер в Тульский окружной суд, там просят они разделить наследство на три части: Шер, Ставровским и Достоевскому Андрею Михайловичу; о Николае же Михайловиче они ничего не упомянули. Федор Михайлович говорил: отчего ты не написал ему ничего об этом? [9] Чем-то все это кончится? Федор Михайлович, бывши у Веселовского, как я слышала, негодовал, что сестры ограблены, и будто бы начинает это дело, чтоб помочь сестрам, на деле же, я думаю, совсем не то. Что-то, милый брат, когда вы выиграете, дадите ли вы нам хотя четырнадцатую часть? — помнишь, ты говорил, что четырнадцатую часть мы должны получить; уж хоть ради сирот-то не лишайте нас этой части. Как-то ты теперь будешь действовать, заодно ли с братьями, или будешь ждать? Они говорят, что у тебя есть также поверенный, какой-то г. Смирнов. Брат Федор негодовал, что расписка его сохранена, и говорит, что ей скоро пройдет десятилетняя давность. Вообще он очень опечалился, узнав, что расписка цела. Но ты не мог же скрыть эту расписку, о которой все знали; уничтожить ее мог только Александр Павлович [10] с согласия тетушки. Они были несколько раз в опеке и разбирали все дела. Вообще это наследство такое несчастное, что все перессорятся из-за него. Такие эти гадкие Шер, если б не они, то ведь разделили бы как-нибудь по духовному завещанию. Если Шер проиграют, то будут справедливо наказаны. Милый брат, пожалуйста, отвечай мне поскорее на это письмо. От души желаю тебе всего хорошего, потому что из всех братьев ты да покойный брат Михаил Михайлович были в отношении ко мне гораздо лучше и добрее прочих и родственнее ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 81.

[1] Мария Петровна *Смирнова* (1842—19?) — дочь Варвары Михайловны Карепиной.

[2] Борис Борисович *Поляков* (? — 1884) — адвокат, поверенный Достоевских, по характеристике писателя, «мерзавец», нередко проявлявший к нему «тупое высокомерие» («Письма», III, стр. 19, 56 и 123) и Евгений Валентинович *Корш* — поверенный Н. М. Достоевского. 13 июня 1873 г. Достоевский, его брат Николай Михайлович и племянник Федор Михайлович заключили с Поляковым договор, уполномочивший его предъявить их законные права к наследству, оставшемуся после Куманиной. Они обязывались при этом уплатить ему 15% из полученной суммы (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 121).

[3] Завещание Куманиной оспаривалось Достоевскими по той причине, что ее наследники Шеры и Ставровские являлись единокровными, а не единоутробными родственниками покойной.

Из сохранившегося в том же архивном деле проекта письма Достоевских к Полякову (б/д) уясняются подробности продолжительной тяжбы, в которую втянут был Достоевский:

«Случайно узнали мы, что после родной сестры покойной матери нашей, а нам родной тетки Александры Федоровны Куманиной, умершей в 1871 году, остались в разных губерниях недвижимые имения и капиталы, к которым мы по закону состоим единственными наследниками, так как после смерти тетки нашей не осталось нисходящего потомства, почему уполномачиваем вас предъявить в надлежащем судебном месте наши законные права на наследство...»

В проекте доверенности Полякову от тех же лиц говорится:

«Известно вам как поверенному нашему, что к недвижимому благоприобретенному имению, оставшемуся после смерти вдовы дворянки Александры Федоровны Куманиной, урожденной Нечаевой, Тульским окружным судом утверждены в правах наследства в порядке охранительного судопроизводства вдова коллежского секретаря Ольга Федоровна Шер, в 1/3 части, поручик Федор и студент Михаил Дмитриевич Ставровские, каждый в 1/6 части, я, отставной подпоручик Федор, братья мои статский советник Андрей, коллежский асессор Николай — каждый в 1/12 части, и мы, дворяне Федор и Михаил как законные дети умершего отца нашего Михаила Достоевского, каждый в 1/24 части, почему уполномочиваем вас получить из Тульского окружного суда исполнительные листы и ввести нас во владение присужденными частями в недвижимых имениях умершей дворянки Куманиной и к соглашению с прочими наследниками находящийся каменный дом в г. Туле и 2 части с принадлежащею к нему землею и имение Тульской губернии ⟨...⟩ и пр. ⟨...⟩ и продать за цену, какую вы найдете для нас выгодною ⟨...⟩ Равномерно уполномочиваем вас на продажу и прочих доставшихся нам частей в имениях Куманиной Смоленской губернии и Рязанской губернии...» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 121).

[4] Свое пребывание в Москве и хлопоты, связанные с делом по наследству, Достоевский подробно описал в письме к жене 20 мая 1873 г. («Письма», III, стр. 52—54).
[5] О *В. И. Веселовском* см. в примеч. 1 к п. 70.
[6] *Казанские* — родственники Достоевского со стороны матери.
[7] Младшая сестра Достоевского.
[8] Расписка или, вернее, векселя на общую сумму 10 000 руб., которые в мае 1864 г. Достоевский дал своей тетке А. Ф. Куманиной, предоставившей ему вперед эту сумму для издания «Эпохи» как полагавшуюся ему часть ее наследства.
[9] А. М. Достоевский был одним из душеприказчиков А. Ф. Куманиной.
[10] Об *А. П. Иванове* см. на стр. 287.

88. А. Н. МАЙКОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. Конец января или середина августа 1873 г.›

... Не забудьте сказать Федору Михайловичу, чтобы остановились печатать ту стихотворную воду, которая разлилась на 4-х страницах последнего «Гражданина» [1]. Это невозможно!..

Копия рукой А. Г. Достоевской. ЛБ, ф. 93.II.6.46. Годовая дата указана ею. Черновик: ИРЛИ, 16641.cVIIб6.

[1] Имеется в виду либо стихотворение П. А. Козлова «Май», напечатанное на пяти колонках № 5 «Гражданина», 29 января, либо стихотворение В. Н.-Д. (Вас. Немировича-Данченко) «Капуцин (с итальянского)», занимающее в № 33 (13 августа) четыре колонки. Этим определяется условная датировка письма. Других длинных стихотворных произведений в «Гражданине» за время редактирования его Достоевским не появилось.

89. Вс. С. СОЛОВЬЕВ — П. В. СОЛОВЬЕВОЙ

С.-Петербург. 3 ноября 1873 г.

... Мое дело с редакцией не выгорает за положительной невозможностью найти новое удобное помещение для редакции.— Достоевский из себя выходит, да делать нечего. Пока помещаю кой-что, за что приходится мне семь или девять ‹рублей› в неделю [1]. И за то спасибо — на обеды хватает ...

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 88.

[1] За подписью *Вс. С — в* в «Гражданине» 1878 г. напечатано только несколько стихотворений: «Зимнее утро» (№ 46), «Побледнели уж краски заката», «Старый домик под сенью берез», «Разбиты старые кумиры» (№ 51). Остальные сочинения его печатались анонимно.
О редакторском вмешательстве Достоевского в эти публикации см. «Лит. наследство», т. 83, стр. 336.

90. Вс. С. СОЛОВЬЕВ — П. В. СОЛОВЬЕВОЙ

С.-Петербург. 10 ноября 1873 г.

... Я действительно поместил в «Гражданине» несколько маленьких смешных рассказцев, и «Воспоминания студента» также принадлежат мне[1]; меня уговорил их написать Достоевский по одному случаю. Я не вижу в этом ничего предосудительного: пошлость — всегда пошлость, и пошлость некоторых наших преподавателей вредно отозвалась на нашем образовании — так неужели мы не имеем права откровенно посмеяться над нею?! Эти господа охлаждали наш юный пыл и веру в значение Университета, и я рад возможности пустить в них моим маленьким смехом. Долго ли мы будем бояться публичного суда, долго ли будем скрывать грязь и вину только потому, что, по неизбежным обстоятельствам, имели несчастие прийти

с нею в невольное соприкосновение?! Пошлость отдельного человека не марает целого учреждения, и я не вижу в моих словах ничего обидного для папá [2]. Впрочем, во всяком случае, я теперь о профессорах кончил и в следующем номере перейду к студентам. В следующем номере будет также мое стихотворение [3] ‹...›

Познакомился с володиной статьею [4] и ловко обратил на нее внимание кого следует. Буду радоваться его успехам, но нахожу выступление его в печати в такой форме — преждевременным и именно по твоему выражению относительно пера и топора. Зачем также он не подписал *Вл.*, а просто *В.*—нас уже начали смешивать, а я вовсе не хочу отнимать у него его философии, ни богословия; не хочу также отдавать ему моих распускающихся цветов, моих слез и моего смеху — завидовать друг другу мы не можем, потому что наши дороги так различны — это две очень трудные дороги; но нету времени распространяться... Что-то будет с нами? Достигнем ли мы своих целей? Я начинаю много работать и скажу тебе по секрету, что забавлять читателей и заставлять их задумываться — вовсе не так легко, как кажется,— одного дару мало — нужно много учиться, много всматриваться и думать и переиспытать многое — без этого зазвучат фальшивые ноты. У меня чуткость слуха только теперь развивается под строгим влиянием моего замечательного, но, к несчастию, часто раздраженного учителя [5]. Моя школа подчас мне трудно дается, но я не унываю ...

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 88.

[1] Почти в каждом номере «Гражданина» публиковались мелкие юмористические заметки под общей рубрикой «Последняя страничка». Здесь, по-видимому, Соловьев и печатался преимущественно. Его заметки «Из воспоминаний студента» опубликованы в этом же разделе, № 44—45, 29 октября — 5 ноября 1873 г. В них приводились смешные казусы из преподавательской практики старых профессоров, читавших лекции в Московском университете, в частности ряд анекдотов о законоведе С. И. Баршеве. Хотя имена профессоров Соловьевым не были названы, их нетрудно было угадать.

В № 47, 19 ноября, появилось продолжение «Из воспоминаний студента». В нем изображались характерные «ископаемые» из студенческой среды.

[2] Как известно, отец Соловьева, знаменитый историк С. М. Соловьев, также читал курс лекций в Московском университете.

[3] См. примеч. к предыдущему письму.

[4] Соловьев говорит о статье своего брата Владимира (1853—1900) — впоследствии известного философа-богослова и поэта (ею он дебютировал в печати): «Мифологический процесс в древнем язычестве» («Православное обозрение», 1873, № 11, стр. 635—665).

[5] Имеется в виду Достоевский.

91. П. Н. СТРАХОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹Конец ноября 1873 г. (?)›

... Возвращая тебе часть журнала «Гражданин», я считаю долгом предупредить тебя и Федора Михайловича, что неприятно было не только мне, и, я полагаю, другим, не находить недельного политического обозрения, а напротив, весьма много о духовном просвещении [1]. Докажи Федору Михайловичу, что симония в сем обществе так искусно и многообразно действует, запутывая других и ссылая архиереев в Сибирь и Архангельск, что надуть его, Федора Михайловича, весьма может, как до тонкости не изучившего фактов церковной истории ...

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.18580.

[1] Статьи о церковных вопросах занимают значительное место на страницах «Гражданина» 1873 г. Возможно, что П. Н. Страхов откликается на статью Х... «По вопросу об устранении церкви от народного образования» («Гражданин», № 47, 19 ноября).

92. В. П. МЕЩЕРСКИЙ — М. П. ПОГОДИНУ

‹С.-Петербург› 9 декабря 1873 г.

... В Петербурге с вчерашнего дня зародилась мысль в кружке литераторов издать под названием «Кру́жка» *сборник* с участием всех представителей литературы, живописи и музыки, *сборник* оригинальных вещиц в пользу голодающих [1]. Участвуют пока: Достоевский, Кохановская, Лесков, Майков Ап. Ник., Б. Маркевич, ваш слуга, Некрасов, Победоносцев, Погосский и Щедрин (Салтыков), подписка продолжается [2] ‹...›

Без вас русское доброе дело затевать грешно. Хотите ли участвовать? *Пришлите ответ по телеграфу* [3]. Николаевская, 6. Дело не терпит отлагательства, произведение должно доставить к 25 января.

Позвольте крепко пожать вам руку. Дело пока не оглашается [4] ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 373, оп. 1, ед. хр. 235.

[1] Окончательное название сборника, выпущенного в Петербурге в 1874 г.: «Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии».

[2] В «Складчине» приняло участие около пятидесяти литераторов, среди них Гончаров, Тургенев, бр. Курочкины, Островский, Плещеев, А. К. Толстой. Достоевский напечатал в сборнике «Маленькие картинки (В дороге)». Из писателей, перечисленных Мещерским, на страницах «Складчины» не появились только Лесков и Б. Маркевич.

[3] Погодин поместил в «Складчине» статью «Кто первый в России имел мысль об освобождении крестьян с земельным наделом (воспоминания о князе Василии Васильевиче Голицыне, русском государственном деятеле XVII столетия)».

[4] Н. Н. Страхов писал 6 января 1874 г. Н. Я. Данилевскому: «Кн. Мещерский пожинает лавры. Везет ему удивительно. Мало того, что Майков в него влюбился, и Достоевский пошел к нему в работники. Теперь ему удался сборник „Складчина“, в пользу самарцев. Это его затея. Он снаскока успел соединить литераторов и сам попал не только в их избранную компанию, но и выбран *казначеем*» («Русский вестник», 1901, № 1, стр. 132).

93. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. 1873 г.›

... Простите великодушно, что я распечатала и прочла ваше письмо [1]; Федора Михайловича нет дома, а он поручил мне распечатывать приходящие на его имя письма. Прилагаю при сем пять рублей и прошу извинения, что не могу прислать более. Если вы этими деньгами не обойдетесь, то будьте добры, напишите нам по почте, и мы как-нибудь достанем еще. Ужасно жалею, что вы не поправляетесь. Увидеть вас очень бы хотелось, да я теперь арестована: очень много пишу для Федора Михайловича, поправляю корректуры и езжу по его поручениям. Он же решительно не имеет минуты свободной, так сильно занят в редакции [2]. До свиданья, многоуважаемый Николай Михайлович, еще раз прошу извинить, что посылаю так мало ...

Автограф. ИРЛИ. 30413.с.CXIII69.

[1] Одно из многочисленных писем Н. М. Достоевского к брату с просьбой о материальной помощи.

«Сильная нужда заставляет меня, несмотря на твое запрещение, опять обращаться к тебе,— писал Н. М. Достоевский в недатированном письме к брату.— Третий день формально я не имею крохи во рту. *Черного* хлеба и то не было. Про чай и сахар и говорить нечего. Перебрался в одну комнату, и то нетопленную. Задолжал всем кухаркам в доме. Положим, долг небольшой — ‹около› трех рублей, но для меня ‹...› это слишком большая сумма ‹...› Не знаю, лихорадка ли или просто от холода, но я дрожу немилосердно. Пишу это письмо, лежа в постели, и с пяти часов не могу согреться» (Авт. ИРЛИ. 29701.с.CXI64).

[2] 16 августа 1873 г. Анна Григорьевна писала Достоевскому: «Я стала просто ненавидеть „Гражданин“ за то, что он требует так много работы. Эх, лучше бы от него отвязаться!..» (Авт. ЛБ, ф. 293.II.3.35).

III

«ПОДРОСТОК». — «КУМАНИНСКОЕ НАСЛЕДСТВО». — «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ». — ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. — В СТАРОЙ РУССЕ. — РАБОТА НАД «БРАТЬЯМИ КАРАМАЗОВЫМИ». — ПОПУЛЯРНОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО
(1874—1879)

94. Н. Н. СТРАХОВ — Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР

‹С.-Петербург› 19 февраля 1874 г.

От меня требуют «Пугачевцев» [1], Елена Андреевна. Что делать — книга чужая. А если вы хотите сделать при этом величайшее одолжение мне, то, прошу вас, отошлите их завтра же, даже утром, даже сейчас же в редакцию «Гражданина» (на углу Итальянской и Надеждинской, д. № 21), а еще лучше и ближе к вам — к Ф. М. Достоевскому (на углу Лиговки и Гусева переулка, дом по Гусеву № 8).[2] ...

Автограф. ИРЛИ. PIII, оп. 2, ед. хр. 2050.

Елена Андреевна *Штакеншнейдер* (1836—1897) — петербургская знакомая Достоевских, автор известных мемуаров и дневника, в которых заметное место занимает Достоевский. «В 1873 году Федор Михайлович возобновил старинное знакомство с семейством Штакеншнейдер, центром которого была Елена Андреевна, дочь знаменитого архитектора. Она была умна и литературно образованна и соединяла у себя по воскресеньям общество литераторов и художников. Она была всегда чрезвычайно добра к Федору Михайловичу и ко мне, и мы очень сошлись» (А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 256).

[1] «*Пугачевцы*» — исторический роман Е. А. Салиаса (СПб., 1874).

Страхов писал Достоевскому в неизданном письме 30 января 1874 г.: «И сегодня мне не удастся увидеть вас, многоуважаемый Федор Михайлович! Может быть, вовсе не выйду, так как я опять и упал и простудился ‹...› Если выйду, то нужно будет хоть на полчаса навестить Каширева — он именинник. Да и не с чем мне явиться в редакцию — я сегодня только отнес свою статью „Заметки о Пушкине" в „Складчину". Писанье статьи меня убедило, что писатель я плохой и что моя служба — большая помеха. Все это я веду к тому, чтобы сказать вам, что мое усердие по „Гражданину" (которого вы редактор) никак не ослабело, что я только был очень затормошен. В следующую среду постараюсь явиться со статьей. Но „Гражданин", кажется, мало нуждается; он выпускает номера один интереснее другого. О двух последних номерах сужу по заглавиям — еще не успел ничего прочесть.

Читали ли вы у Некрасова, *как анатомируют ребенка, которого заели свиньи*? Это в январской книжке ‹«Отечественных записок»›. Скажу вам, что, перечитывая Пушкина, я исполнился злобы к Некрасову и Щедрину. Бессильная злоба! Потому что я ведь и высказать ее не сумею, как следует. И „Пугачевцы" — воля ваша — по прочтении оставляют некоторую пустоту в голове. Обо всем этом очень хотелось бы поговорить с вами. Во всяком случае, не вздумайте винить меня в лености, бессердечии, апатии и неблагодарности; право, я стараюсь вести себя хорошо...» (Авт. ЦНВ АН УССР. III.19007).

[2] В недатированном письме к А. Г. Достоевской, относящемся приблизительно к этому времени, Штакеншнейдер писала:

«Отчего вы с детками не приехали? Алеша при каждом звонке все бегает в переднюю и кричит: „Достоевские!" Каждый раз еще.— Не приехал ли Федор Михайлович? В таком случае прощаю и радуюсь ‹...› Есть у меня и просьба к вам: если можно, пришлите тот номер „Гражданина", где статья Федора Михайловича, потом еще Тэна — его последнее произведение, а главное — скажите, отчего не были?..» (Авт. ИРЛИ. 29907.с.CXIб13).

6 января Страхов писал Н. Я. Данилевскому: «... несчастный Достоевский совсем измучился. Я его очень ценю и многое ему прощаю, но при теперешней его раздражительности просто избегаю с ним видеться» («Русский вестник», 1901, № 1, стр. 131—132).

95. П. А. РОВИНСКИЙ — А. А. КРАЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 28 марта 1874 г.

Честь имею представить почтенной редакции статью «По поводу чтений О. Миллера» и просить, если она найдет возможным, напечатать ее в редактируемой ею газете «Голос» [1]. При этом считаю необходимым сделать

следующее пояснение: не придавая никакого значения лекциям г. Миллера, слишком бессодержательным, лишенным всякой критики и живой мысли [2], не надо отнестись к ним равнодушно из уважения к той многочисленной публике, которая так жадно слушает их; предлагаемая статья относится к двум лекциям о Достоевском и указывает на ту реальную, имеющую практическое значение сторону сочинений Достоевского, которая лучше всего выражается в «Записках из Мертвого дома» и которая профессором совершенно игнорирована. Этим, по моему мнению, для публики осмысливается сюжет чтения и во всей наготе обнаруживается их бессодержательность, и цель достигается таким образом без всяких резких выходок против личности профессора, который как человек заслуживает всякого уважения, но как профессор относится к своей задаче односторонне и отчасти легкомысленно относится к слушающей его публике.

Насчет гонорария предоставляю решить самой редакции по ее усмотрению, а в случае непринятия статьи, прошу переслать в ту же контору для передачи мне по требованию ...

Автограф. ГПБ, ф. 391, ед. хр. 666.

Павел Аполлонович *Ровинский* (1831—1916) — ученый-славист, член «Земли и воли». Был близок к Чернышевскому и его семье; сделал безуспешную попытку тайно увезти его из ссылки. См. заметку Л. Ф. Пантелеева «К биографии П. А. Ровинского» в его кн. «Воспоминания». М., 1958, стр. 557—559.

[1] Статья Ровинского в «Голосе» помещена не была. Ср.: Вл. О. Михневич. Пятнадцатилетие газеты «Голос» (1863—1877). СПб., 1878.

[2] Цикл публичных лекций О. Ф. Миллера «Русская литература после Гоголя» был издан в Петербурге в 1874 г. и неоднократно переиздавался. Лекции III и IV были посвящены Достоевскому.

96. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. Середина апреля 1874 г.›

... Я все поджидала, когда вы захотите прийти к нам, чтобы дать мне обещанную вами бумагу, так как я знала, что вы здоровы и что вас встречают на улице. На случай, если вы не отдумали дать бумагу, пишу вам проект ее:

«1874 года, апреля дня, я, нижеподписавшийся, дал сию расписку отставному подпоручику Ф. М. Достоевскому в том, что по выданным им двум векселям от 1864 г. дворянке Александре Федоровне Куманиной суммою в десять тысяч рублей, я как наследник никакой претензии по этим векселям к нему, Достоевскому, иметь не буду, а равно не стану возбуждать никакого дела.— Николай Достоевский».

Эту бумагу надо засвидетельствовать у нотариуса. Успокойте меня, Николай Михайлович, напишите эту бумагу и докажите, что вы от вашего слова не отказываетесь [1].

Автограф. ИРЛИ.30413.с.CXIII69.

[1] См. примеч. 8 к п. 87 и п. 99.

97. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. Не позже 24 апреля 1874 г.›

... Сегодня мы были с Федором Михайловичем на Васильевском и заходили к Баранову [1]. Оказалось, что Губин [2] сошел с ума и лежит в больнице; значит, теперь заходить к Башмакову [3] незачем. К Унковскому [4] тоже не надо ходить, потому что Федор Михайлович хочет к нему поехать

сам, узнать, где находятся бумаги Губина. Поэтому, многоуважаемый Николай Михайлович, ждите моего извещения о том, где вам узнавать о Губине, а пока приходите к нам почаще ⟨...⟩

Простите, что пишу на клочке; нечего сказать, хороша редакция, бумаги нет ни листочка!

Автограф. ИРЛИ.304.с.CXIIIб9. Письмо датируется условно—по упоминанию о «редакции», т. е. редакции «Гражданина», возглавлявшейся Достоевским до 24 апреля 1874 г.

[1] *Баранов* — по-видимому, адвокат.

[2] Василий Иванович *Губин* — адвокат, член С.-Петербургского славянского благотворительного комитета; ему адресовано письмо Достоевского, датированное 8/20 мая 1871 г. и связанное с предстоящим судебным процессом Достоевского против издателя Стелловского. Поверенным Достоевского по этому делу был Губин. Несколько не дошедших до нас писем к Губину упоминается в ответах последнего, хранящихся в ИРЛИ (см. статью «Утраченные письма Достоевского». — «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 203). Участие Губина в распре со Стелловским Достоевский резюмировал следующим образом: «Губин все *погубил*» («Письма», III, стр. 123).

[3] По-видимому, Александр Дмитриевич *Башмаков* — гофмейстер двора, чиновник министерства внутренних дел.

[4] Алексей Михайлович *Унковский* (1828—1893) — присяжный поверенный, один из близких друзей Салтыкова-Щедрина.

98. А. С. БУХАРЕВА — М. П. ПОГОДИНУ

1 мая 1874 г.

... Не умею как и выразить вам, как глубоко я вам благодарна за Воспоминания и как до глубины души вы меня обрадовали, прислав их мне. От всего сердца благодарю вас, Михаил Петрович! Награди вас бог!

Очень сожалею, что отзыв, послуживший поводом к вашему прекрасному и благородному ответу, напечатан был именно в «Гражданине» [1]. Г-н Достоевский сам, еще во время издания «Эпохи», сочувственно отзывался об Александре Матвеевиче и с укором относился к другим за враждебное к нему отношение. Я это попомнила и сохраняла в душе уважение и признательность к г. Достоевскому — и мне всего более грустно, что выражение пренебрежения к Александру Матвеевичу нашло себе место именно в его журнале ...

Автограф. ЛБ, ф. 231.II.6.7.

Анна Сергеевна *Бухарева* — вдова А. М. Бухарева. См. п. 61.

[1] Статья М. П. Погодина «Воспоминание об Александре Матвеевиче Бухареве (Архимандрит Феодор)» напечатана в «Московских ведомостях», № 84, 7 апреля 1874 г. Погодин оспаривал в этой статье суждения о Бухареве, появившиеся еще в 1872 г. в № 12 «Гражданина», в статье «Духовная литература и церковная проповедь». Вдова Бухарева, которую Погодин характеризовал в «Московских ведомостях» как «ревностную ученицу» покойного, «слушательницу, разделявшую все его убеждения, проникнутую его духом, благоговевшую к его памяти, смотревшую на него, как на идеал», ошибочно считала Достоевского виновным в помещении статьи, направленной против Бухарева: в 1872 г. он еще не был редактором «Гражданина».

99. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

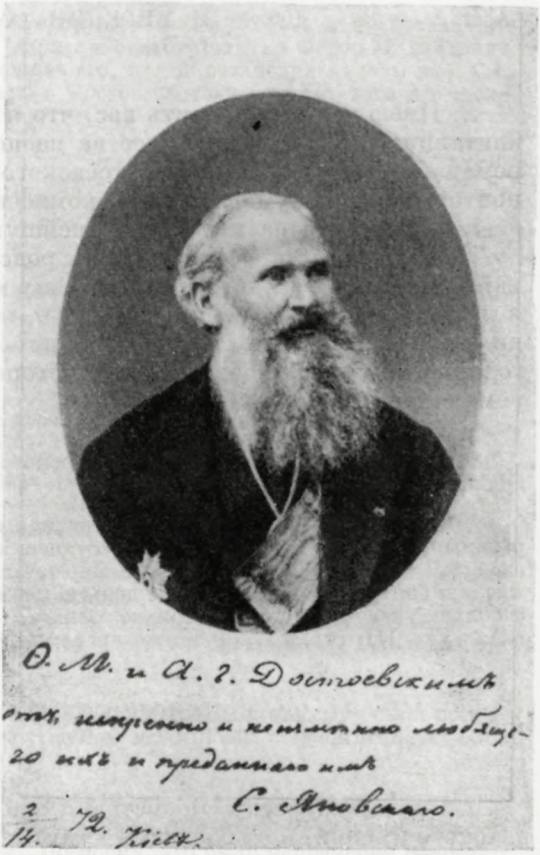
⟨С.-Петербург⟩ 5 мая 1874 г.

... Вот уже прошло три недели, как я послала вам через Наталью Ивановну [1] письмо [2], и я все еще не получила от вас ответа. Не знаю,что тут и думать. Вы дали мне честное слово при Полякове [3], что отказываетесь от своей части по векселям Федора Михайловича [4]. Неужели вы захотите отказаться от вашего слова? Теперь у нас дело идет о перемирии, и нам согласны возвратить векселя; остановка за вами: нужно, чтобы вы подписа-

С. Д. ЯНОВСКИЙ

Фотография 1872 г. с дарственной надписью: «Ф. М. и А. Г. Достоевским от искренно и неизменно любящего их и преданного им С. Яновского» $\frac{2}{14}$72. Киев»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва



лись, что отказываетесь получить ту часть, которая вам придется из векселя, т. е. около восьмисот рублей. Если вы не подпишетесь, то перемирие не состоится, и с нас станут взыскивать десять тысяч. Если вы любите вашего брата и не хотите причинить ему много горя, приезжайте завтра с Михаилом Михайловичем [5] к нам. У нас будет Корш [6], и мы подпишем перемирие. Вы, вероятно, не так слабы, чтоб не приехать. Приезжайте *непременно*. Вы понимаете, что дело иначе не может идти. Если вы не приедете завтра с Михайлом Михайловичем, я приеду к вам сама [7]...

Автограф. ИРЛИ. 30413.с.CXIIIб9.

[1] *Наталья Ивановна* — прислуга Н. М. Достоевского.
[2] См. п. 96.
[3] *О Б. Б. Полякове* см. в примеч. 2 к п. 87.
[4] См. примеч. 8 к п. 87.
[5] Племянник Достоевского. См. о нем на стр. 290.
[6] Евгений Валентинович *Корш* — адвокат Н. М. Достоевского.
9 февраля Достоевский сообщал брату Николаю: «Завтра (наверно) воротится из Москвы Корш и привезет тебе *часть твою* за проданный в Туле дом и сообщит тебе все счеты ‹...› Получить приходится всем до безобразия мало, за огромными расходами и взносами казне и проч.» («Письма», III, стр. 91).

[7] К этому письму Достоевский сделал приписку, в которой настаивал, чтобы брат к нему зашел («Письма», III, стр. 96).
На следующий день, 6 мая, Н. М. Достоевский писал брату:
«...Я сам не могу сегодня быть; но завтра, как бы ни был болен, буду непременно. Этим письмом я утверждаю в том: что я никогда не буду ‹иметь› претензий о взыскании по векселям как твоим, так и брата покойного, Михаила Михайловича, претензий не имею — и все, что может по этим векселям, выданным дворянке Александре Федоровне Куманиной, произойти,— *я отказываюсь*. Остаюсь уважающий тебя брат Н. Достоевский» (Авт. ИРЛИ. 29701.с.CXIб4).

100. М. М. ЧЕРЕНИН — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Москва. 18 мая 1874 г.

... Имею честь уведомить вас, что я получил письмо ваше от 15 мая и квитанцию Российского общества на посланные вами в комиссию книги: романа «Бесы» соч. Ф. М. Достоевского. Хотя я еще и не получил книг из конторы, но спешу послать вам комиссионную квитанцию нашего магазина и при этом выразить вам полнейшую благодарность за ваше доверие.

Позвольте вас просить (если вы родственница или супруга Федора Михайловича Достоевского) передать ему мое глубочайшее почтение, так как я лично знал его в Твери в 1859 году, потом в Москве нередко беседовал с ним; но они, вероятно, не помнят меня... все-таки я считаю долгом еще благодарить их за то удовольствие, которое я получал при чтении всех его романов [1]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.9.119.

Михаил Михайлович *Черенин* — московский книгопродавец. Письмо написано на бланке его магазина.

[1] В переписке Достоевского встречаются отдельные упоминания о встречах с Черениным, бравшим на комиссию его сочинения. 19 декабря 1874 г. Достоевский писал жене: «Я послал тебе вчера письмо Черенина. Неважно спрашивает: 5 экземпляров! Все они боятся отдавать должные деньги, и наверное у него не 6 экземпляров „Бесов", а больше, так что он, чтоб только деньги не отдавать, и не спросит еще „Бесов"» («Письма», III, стр. 144). В тексте опечатка: Черешина.

101. Б. Б. ПОЛЯКОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 19 января 1875 г.

... Г-ну Пантелееву [1] я доставил все нужные сведения по продаже рязанского имения, но желающих купить, как оказывается, ныне у него нет.

Г-н Пантелеев положительно отказался доставить мне сто рублей, и я жду их от вас. На приезд Федора Михайловича рассчитывать также трудно, он, конечно, не приедет ранее, покуда новый роман его не будет кончен [2]. Деньги я брал на срок, и я прошу вас, будьте столь добры возвратить их к 29 или 30 числу настоящего месяца ‹... › Федору Михайловичу прошу передать мое уважение [3].

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 206.

[1] Возможно, Петр Фомич *Пантелеев* — владелец типографии, в которой было напечатано первое отдельное издание «Записок из Мертвого дома». О встрече с ним Достоевского см. «Письма», III, стр. 157—158.

[2] Достоевский в это время работал в Старой Руссе над «Подростком».

22 июня 1874 г. Анна Григорьевна писала Достоевскому:

«...Милый и дорогой мой Федочка, вот что я скажу тебе насчет твоей работы: прошу тебя, не торопись начинать работы, лучше дай пройти несколько времени, план сам явится; торопливость только помешает. Я помню как было с „Идиотом" и „Бесами". Ты долго мучился над планом романа, а когда он у тебя составился, работа пошла очень быстро. Пред тобою времени много. Если бы только в сентябре в Петербурге ты сел за работу, то и тогда ты успел бы много наработать. А то с торопливостью можно испортить дело, придется переделывать план, а это помешает художественности. Прости меня, голубчик мой, что я даю тебе советы, но я делаю это от чистого сердца и как твоя большая почитательница, которой было бы больно, если бы роман не удался. Что же касается до того, что ты будто бы потерял от падучей воображение, то это наверно не так, я верю, что у тебя все тот же великий талант и что ты ничего не утратил‹...› Дорогой ты мой, я тебя очень сильно люблю, ценю тебя и уважаю; я знаю, что ни с кем я не была бы так счастлива, как с тобою; знаю, что ты лучший в мире человек...»

В постскриптуме Анна Григорьевна добавляла: «Мне вовсе не нравится твоя подпись: „Твой вечный муж Достоевский". Какой ты „вечный муж"? Ты мой милый муж навеки, а не вечный муж!» (Авт. ЛБ, ф. 93. II.3.35).

[3] Подобного рода приветы встречаются почти в каждом из сорокачетырех сохранившихся писем.

10 февраля 1875 г. Поляков писал: «Федор Михайлович был у меня вчерашний день и отдал мне последние 50 рублей, за что вас и благодарю ‹...› Федор Михайлович был у меня вчера вечером, и я забыл спросить его, где он остановился» (там же). См. упоминание о встрече с Поляковым в письме Достоевского к жене от того же числа («Письма», II, стр. 153—154).

102. К. М. СТАНЮКОВИЧ — Л. Н. СТАНЮКОВИЧ

‹С.-Петербург. 17 февраля 1875 г.›

... Читала «Подростка»? Не правда ли, чудо что такое! Здесь все говорят (все, т. е. Чуйко [1], газеты, и Юрковский [2], и Мартьянов [3]) об «Анне Карениной» Толстого [4] как о чудо-романе [5]...

Автограф. ГПБ, ф. 736, ед. хр. 40.
Константин Михайлович *Станюкович* (1843—1903) — писатель.
Любовь Николаевна *Станюкович* (1845—1907) — его жена.

[1] Владимир Викторович *Чуйко* (1839—1899) — литературный критик, автор книг о Шекспире и Данте.

[2] Возможно, Федор Николаевич *Юрковский* (1851—1896), революционер-народник, впоследствии автор романа «Булгаков».

[3] Петр Кузьмич *Мартьянов* (1827—1899) — второстепенный литератор, прозаик и стихотворец, автор воспоминаний о Достоевском.

[4] «Анна Каренина» печаталась в это время на страницах «Русского вестника».

[5] Отметим следующие два упоминания о «Подростке» в письмах А. Г. Достоевской к мужу.

10 февраля 1875 г. она писала:

«Я очень рада, что ты дружески встретился с Некрасовым и что ему роман понравился; а каков прием Майкова и Страхова! Каковы люди!!! Мы с тобой и прежде это угадали!»

Из письма, датированного 12 февраля:

«Вчера я получила твое письмо от 9 февраля, мой дорогой и золотой Федичка, и очень рада, что ты здоров. Но всего более ты меня обрадовал, описав свидание с Некрасовым и его восторг по поводу „Подростка“. По-моему, это было непременно искренно с его стороны, ибо зачем ему льстить тебе, когда он тебя уже имеет. Я ужасно счастлива, что ему понравился роман и особенно рассказ матери. Позвольте вам заметить, милостивый государь, что это я первая назвала рассказ матери „верхом совершенства“, а не Некрасов...» (Авт. ИРЛИ. PI, оп. 6, № 169).

103. Ф. Н. КИТАЕВ — Е. С. НЕКРАСОВОЙ

Веселовка. 18 мая 1875 г.

... «Подросток» Достоевского я не мог понудить себя прочитать; это каша хуже «Бесов», весь рассказ переполнен какими-то старческими субъективными рассуждениями. В «Отечественных записках», кроме английского романа [1] и статей Щедрина и Демерта, читать нечего. Вообще из журналов последнего времени мне только и понравились романы Эмиля Золя ...

Автограф. ЛБ, ф. 196. 14.2.

Федор Николаевич *Китаев* — многолетний корреспондент Е. С. Некрасовой, ученик ее сестры — Марии Степановны. «Не кончил в университете ‹...›, женился на крестьянке и живет себе честно, благородно около земли» (из пояснительной заметки Некрасовой.— ЛБ, ф. 196.14.1). О литературных симпатиях этого демократически настроенного «шестидесятника» можно судить по выдержкам из других его писем к Некрасовой (см., например, п. 184).

Екатерина Степановна *Некрасова* (1847—1905) — историк литературы, впоследствии сотрудница Румянцевского музея в Москве, создательница «Комнаты 1840-х годов», усердная собирательница и публикатор творческого и эпистолярного наследия Герцена и Огарева.

[1] В приложении к «Отечественным запискам» в это время печатался роман Э. Линтон «Патриция Кембаль».

104. А. И. ЭРТЕЛЬ — М. И. ФЕДОТОВОЙ

‹Не позже весны 1875 г.›

... Наш истинный бог — проклятый случай — сумел распорядиться так, что я принужден покинуть Усманский уезд, а вместе с тем и отрешиться от моего величайшего утешения в моей прозябательной жизни в этом затхлом угле Всезатхлой Российской империи — это быть подписчиком вашей библиотеки. Да! я, несмотря на мою полнейшую неспособность к благодарным излияниям, принужден, в отношении вас, сделать это в высшей степени, потому что вы сделали в моей темной, пошлой жизни то, что не смогли сделать в ней ни жалкая среда, окружающая меня, ни пошлые традиции семейства, в котором я вырос тем нравственным уродом, тем духовным недорослем, которых, благодарение богу, так много на Руси ‹...› Я начал в вашей библиотеке самым пошлым выбором ‹...› Но вот на первых строках привезенного журнала я нахожу имя Писарева, хотя я положительно до тех пор не слыхал ничего о нем, но вспомнил, что Богомолов [1] говорил мне, что-де Дмитрий Иванович Писарев — великий человек, но, как теперь помню, имя его сделало на меня удивительное, магнетическое впечатление, я бросил все мои погони за веселыми рассказцами и начал читать с страстным нетерпением его сочинения, с каждой страницей, с каждой строкой этого гения я чувствовал, что идеалы мои прежние, буржуазные идеалы, улетучиваются, как мыльные пузыри. Его статьи о Пушкине разбили мои любезные авторитеты, а вместе с ними и мои наивные эстетические верования. Его статья о «Мертвом доме» Достоевского и о сочинениях Помяловского [2] показала мне всю безвыходную подлость современного общества ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 576, оп. 1, ед. хр. 17.
Александр Иванович *Эртель* (1855—1908) — писатель.
Мария Ивановна *Федотова* — библиотекарша, вскоре ставшая женой Эртеля.

[1] *И. И. Богомолов* — купец, снабжавший Эртеля книгами.
[2] Статья Д. И. Писарева «Погибшие и погибающие» (о «Записках из Мертвого дома» и «Очерках бурсы»), впервые напечатанная в сб. «Луч» (СПб., 1866). Ср. «Письма А. И. Эртеля». М., 1909, стр. 11.

105. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Старая Русса. 16 июля 1875 г.

От души благодарю вас, многоуважаемый и милый брат Николай Михайлович, за ваше доброе письмо и за участие, которое вы в нем выказали. Вы упоминаете о болезни Федора Михайловича. Вероятно, вы о ней узнали из газет. Но, к счастию, это было только недоразумение, Федор же Михайлович все лето чувствовал себя как нельзя более здоровым. Я сама, прочитав в «С.-Петербургских ведомостях» извещение о *серьезной* болезни Федора Михайловича, была ужасно поражена и испугана; хоть я и получала очень часто письма, но со времени последнего письма с Федором Михайловичем могло произойти что-нибудь серьезное, вроде сильного и продолжительного припадка; мне не могло прийти в голову, чтоб газетное извещение не имело положительно никакого основания. Я тотчас отправила в Эмс телеграмму, а сама решила, в случае неполучения ответа или в случае подтверждения слуха о серьезной болезни Федора Михайловича, отправиться на следующий день к нему и даже достала все необходимые для отъезда бумаги. Но, к счастью, телеграмма из Эмса, хотя сильно перевранная, пришла в тот же вечер и совершенно меня успокоила; из нее я узнала, что Федор Михайлович совершенно здоров и ничем не был болен [1]. Вы можете себе представить, что бы могло произойти, если б я в теперешнем моем положении [2] поехала к Федору Михайловичу, беспокоясь об оставших-

ся в Руссе детях и не зная ничего о Федоре Михайловиче. Не поехать же в Эмс я не могла: я бы здесь измучилась и захворала, зная, что он, бедный, там страдает и может умереть, оставленный всеми, на руках квартирной хозяйки. Слава богу, что все это скоро разъяснилось, а то бы могло выйти много беспокойств и хлопот. В настоящее время Федор Михайлович у нас в Руссе, приехал всего неделю назад. Он остановился было в Петербурге, чтобы отыскать нам зимнюю квартиру, но вдруг заболел холериной и, боясь расхвораться окончательно, поспешил домой, пробыв в Петербурге всего полтора дня. Таким образом, он не имел ни малейшей возможности увидеться с кем-нибудь из родных. Все мы собираемся в конце этого месяца (если не случится непредвиденного обстоятельства) приехать в Петербург, остановившись в меблированных комнатах, отыскать себе удобную квартиру.

Вы пишете, что дело о наследстве туго подвигается вперед. Но ведь этого следовало ожидать, тем более, что у всех наследников мало средств, чтобы подвинуть дело. Наш поверенный часто нас извещает, как много он хлопочет, но до сих пор из его хлопот не вышло никакого результата. Вообще, по моему мнению, трудно ожидать чего-нибудь в близком будущем. Из вашего письма мы с удовольствием узнали о свадьбе Александры Михайловны и от души желаем ей полного счастья [3].

Федор Михайлович хотел приписать вам несколько строк, но я не решаюсь его ждать, так как и без того запоздала с ответом на ваше письмо. Федор Михайлович очень вам кланяется, а детки крепко вас целуют. Вы Федю не узнаете, до того он вырос ...

Автограф. ИРЛИ. 30413. с. CXIIIб9.—Ответ на письмо от 9 июля (Авт. ИРЛИ. 30361.с.CXIIIб2).

[1] 20 июня 1875 г. в хронике № 159 «С.-Петербургских ведомостей» появилось краткое сообщение: «Мы слышали, что наш известный писатель Ф. М. Достоевский серьезно захворал». Это известие о Достоевском, находившемся в Эмсе, сильно встревожило его родных, в особенности жену. Вскоре ей, однако, стало известно, что слух о болезни Достоевского был газетной уткой. См. след. письмо.

23 июня/5 июля Достоевский писал жене из Эмса: «Сегодня, в час пополудни, получил от тебя телеграмму. Она меня очень удивила и измучила. С чего ты взяла, что я болен? Значит, ты совсем перестала получать мои письма, т. е. пропало одно письмо⟨...⟩ Поверь, бесценный друг мой, что со мной ровно ничего не может случиться⟨...⟩ Я ответил тебе сейчас же телеграммой, которая и пошла во 2-м часу ⟨...⟩ Я написал в телеграмме „Ich bin gesund"» («Письма», III, стр. 190—191). Подлинник телеграммы Достоевского не сохранился.

[2] Анна Григорьевна ожидала в это время ребенка.

[3] Сестра Достоевского Александра Михайловна Голеновская, вторично вышедшая замуж — за Владимира Васильевича *Шевякова* (? — 1889). Она не сочла нужным сообщить о своем замужестве Достоевским, к которым питала самые недружелюбные чувства. «В кого она так грубо развита?» — писал Достоевский о сестре еще в 1857 г. («Письма», II, стр. 581).

Рельефно характеризуют личность Александры Михайловны следующие строки из ее письма к брату Андрею Михайловичу и его жене (октябрь 1852 г.): «Представьте себе мое горе: я уже больше не помещица, мне совсем не жалко деревни, но жалко как-то расставаться с титулом помещицы, и я уже теперь вполовину унизилась, как потеряла столь дорогое для меня имечко...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 51).

106. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨С.-Петербург⟩ 22 сентября 1875 г.

... Мы приехали в Петербург и очень будем рады, если вы нас посетите. Живем мы по Греческому проспекту (Пески), рядом с Греческим садом, в доме Струдинского, квартира № 6, в третьем этаже. Федор Михайлович просит передать вам его низкий поклон, дети целуют вас ⟨...⟩

P. S. Кстати, не знает ли добрая Наталья *хорошей* няньки для моих

двух шалунов; если у ней есть такая в виду, попросите ее к нам прислать; мы сидим теперь без няньки.

Автограф. ИРЛИ. 30413.с.CXIIIб9.

107. Н. П. ВАГНЕР — Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

‹С.-Петербург› 2 февраля ‹1876 г.›

... Будьте столь любезны — привезите с собой сегодня В. В. Крестовского.— Мне было бы весьма желательно, чтобы световые явления получили определенный характер, чтобы можно было приступить к фотографии. Я звал также сегодня Достоевского, обещал быть[1].

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 96.

Николай Петрович *Вагнер* (1829—1907) — зоолог и беллетрист, писавший под псевдонимом *Кот Мурлыка*. Вагнер был увлеченным спиритом. Он настойчиво старался убедить Достоевского в научном характере связей с «потусторонним миром». Вскоре после смерти Достоевского Вагнер вознамерился вызвать «с того света» его дух, чтоб узнать «изменились ли его взгляды там, в той стране, где утоляется жажда истины», и «смотрит ли он на дело спиритизма так же, как здесь». Анна Григорьевна, к которой Вагнер обратился с просьбой разрешить ему этот «научный» эксперимент, ответила решительным отказом (Авт. ЛБ, ф.93.II.2.4).

[1] Присутствовал ли Достоевский на этом спиритическом сеансе — не установлено. 14 февраля он был вместе с Лесковым, Боборыкиным, Вагнером, Бутлеровым и др. на сеансе у спирита А. Н. Аксакова (см. «Жизнь и труды Достоевского», стр. 245).

27 июня 1875 г. Анна Григорьевна сообщала Достоевскому: «В прошлую субботу относила сама тебе письмо и узнала на почте, что меня или тебя спрашивал какой-то господин, именно твой адрес. Я решила, что это кто-нибудь из твоих знакомых, и принялась ждать. Во вторник господин этот явился с письмом от Я. П. Полонского. Это оказался профессор зоологии при Медицинской академии Николай Петрович Вагнер (спирит, отличившийся в эту зиму, его статья в „Вестнике Европы" и споры с Марковым), он же автор сказок Кота Мурлыки. Полонский рекомендует и просит его полюбить, говорит, что нуждается в беседе с людьми. Он, кажется, очень возжелал с тобою познакомиться, ибо только что приехал как разыскал тебя. На вид это человек с женским визгливым голоском, с огромною соломенною пастушескою шляпою и с огромнейшим пледом в руках. Просидел он у меня три четверти часа и все расспрашивал о подробностях жизни в Старой Руссе ‹...› По-видимому, очень простой, хотя несколько смешной человек. На другой день я видела его в парке на скамье читающим письмо (вероятно от кого-либо с того света) и до того погруженного в чтение, что никого не видел (меня тоже не видел). Затем вскочил и три раза пробежал взад и вперед по длинной аллее, а затем пропал. Вообще, в этот раз имел вид полусумасшедшего человека (как и следует спириту). Если увидишь его, то об этом напиши» (Авт. ИРЛИ. PI, оп. 6, № 169).

108. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ Е. С. НЕКРАСОВОЙ

‹Москва› 10 февраля 1876 г.

Сейчас пересмотрела № 1 «Дневника писателя» Достоевского. Видно, что автор—очень больной человек: он останавливается только на болезненных явлениях. Несмотря на все его желание быть комичным в некоторых местах и посмешить публику — ему это вовсе не удается. Те прыжки, которые делает автор от одной мысли к другой, вполне изобличают в нем психически больного человека; эти скачки не все преднамерены автором. Рассказ его о Христовой елке хорош по мысли, его проникающей, выполнен же он плохо, как бы новичком в деле писательства. Заметка о спиритизме выдает, что автор уж порядком устарел: он хочет донести читателю и убедить, что он не верит в чертей?!!! [1]

Автограф. ЛБ, ф.196.7.4.

О *Е. С. Некрасовой* см. в примеч. к п. 103.

[1] Некрасова имеет в виду «Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти» в главе третьей «Дневника писателя», 1876, январь.

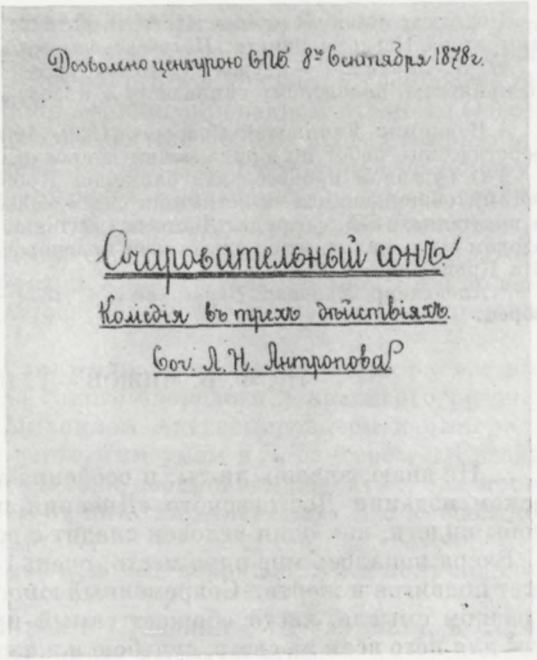
Как видно из дальнейших писем, Некрасова вскоре стала восторженной почитательницей Достоевского и его творчества.

ЦЕНЗУРНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР КОМЕДИИ Л. Н. АНТРОПОВА «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ СОН», 1878

Написана по роману Достоевского «Дядюшкин сон»

Титульный лист

Государственная центральная театральная библиотека, Москва


Дозволено цензурою СПб. 8-го сентября 1878 г.

Очаровательный сонъ

Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ

Соч. Л. Н. Антропова

109. И. К. ЗЕМАЦКИЙ — А. СТРАВИНСКОМУ

Перевод с польского

С.-Петербург. 20 февраля 1876 г.

... Расскажу тебе о событии, которому в нашем студенческом быту я придаю некоторую важность: говорю о студенческом бале! Важность тут, собственно, не в самом бале, не в увеселениях, а в результате, возникшем из приготовлений к балу, то есть в спорах по поводу приготовлений.

Каждый курс представил своих депутатов; их всех собралось человек с лишком пятьдесят, которые составили комиссию, решавшую спорные вопросы большинством голосов. Нужно было слышать громкие речи господ юристов (считавших себя чуть ли не Цицеронами и Демосфенами), произнесенные ими в разъяснение вопроса: следует ли взымать за бутылку пива 15 или 20 копеек, за бутерброд 5 или 10 копеек?

Несравненно сильнее, однако, вышли прения и столкновения, когда коснулись выборов почетных гостей, которым студенты в знак особенной к ним симпатии решили послать печатные пригласительные билеты.

Первый единогласный выбор пал на Некрасова, известного либерала, поэта-писателя. Спасовича [1] сначала выбрали тоже большинством голосов, но после защиты им Кронеберга, нанесшего безмилосердно побои тринадцатилетней своей дочери, он всех нас вооружил против себя, так что никто и слышать о нем не хотел [2].

Более же всего шума произошло по поводу выборов двух личностей, как мне, так и тебе едва ли известных. Первая из них — адвокат Боровиковский [3], а вторая — писатель Достоевский. Боровиковского хотели избрать за пожертвование им в пользу студентов 1000 рублей, но тут восстала партия, выразившая мнение, что студентов деньгами не подкупить. Против Достоевского мы, с своей стороны, протестовали, так как он изменил первоначальному своему либерализму; итак, Достоевского тоже не избрали ...

Перлюстрационная копия. ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, ед. хр. 1546.— Перевод перлюстратора. Наверху помета: *Получено от его величества 25 февраля 1876 г.*

И. К. Земацкий — студент С.-Петербургского университета. Письмо адресовано его приятелю, виленскому гимназисту 5 класса *А. Стравинскому.*

[1] Владимир Данилович *Спасович* (1829—1906) — известный адвокат, автор ряда теоретических работ по юридическим вопросам.

[2] О судебном процессе над банкиром Кроненбергом (у Достоевского — Кронебергом), обвинявшимся в истязании своей малолетней дочери, см. в гл. II «Дневника писателя», 1876, февраль. Достоевский также был возмущен оправдательным приговором суда, являвшимся следствием красноречивой защиты Спасовичем своего клиента Кроненберга.

[3] Александр Львович *Боровиковский* (1844—1905) — юрист, публицист, стихотворец.

110. Ф. В. ЧИЖОВ — Г. П. ГАЛАГАНУ

Москва. 4 марта 1876 г.

... Не знаю, знаешь ли ты, и особенно моя милая Правда [1], о периодическом издании Достоевского «Дневник писателя» — я его прочитываю, чтобы видеть, как один человек сладит с годовым изданием.

Вчера попалось мне одно место, очень существенное: «Юношество наше ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете, судьбою и жизнию; но ведь все это единственно потому, что считает свой парадокс за истину» [2].

Не могу я безусловно бранить современное юношество; знаю, что в мое юношество не было и помину об идеале общественном, не было и тени протеста против страданий крепостного произвола. Положим, мы не были виноваты сознательно; мы принимали по преданиям личные и всего более сердечные идеалы наших отцов; не могу и бросать грязью в эту молодежь, которая идет в ссылку единственно потому, что стремится осуществить свой общественный идеал. Положим, в нем много общественной уродливости, много крайне перевернутых утопий, закон не может не карать их, но сердце человека не может не сочувствовать увлечению, в котором нет и тени личных выгод. Разумеется, я как наблюдатель шестидесятишестилетний дал бы побольше рассудительности, — да что делать? На что же и молодость, как не на то, чтоб быть безрассудною ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III.704.

Федор Васильевич *Чижов* (1811—1877) — писатель-славянофил, финансист и железнодорожный деятель. См. о нем: «Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 776—785.

Григорий Павлович *Галаган* (1819—1888) — украинский общественный деятель, в прошлом — воспитанник Чижова.

[1] По-видимому, обращение к жене Галагана.

[2] Из статьи Достоевского «О том, что мы все хорошие люди. Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном» в «Дневнике писателя», 1876, февраль.

111. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨С.-Петербург⟩ 11 марта 1876 г.

Давно собиралась я писать вам, многоуважаемый брат Андрей Михайлович, но все ждала выхода «Подростка», чтоб иметь возможность исполнить мое обещание: послать его вам. Вы не поверите, как я жалею, что моя несносная болезнь лишила меня случая познакомиться с вашею глубокоуважаемою супругою. Это для меня такая потеря! ⟨...⟩

Мы все, слава богу, теперь здоровы, деточки поправляются, и у нас начинает возобновляться прежний порядок. Но зато теперь мы завалены делами: «Дневник» пошел сильно в ход [1]; кроме годовых подписчиков (их

у нас до полутора тысяч), у нас отлично идет розничная продажа; мы издаем «Дневник» в шести тысячах и почти все продаем. Но, не довольствуясь тем, что «Дневник» расходится в Петербурге и в Москве, я распространяю его в провинции и разослала знакомым книгопродавцам в Киеве, Одессе, Харькове и Казани. Оттуда приходят ко мне добрые вести: например, в Казани Дубровин в несколько дней продал 125 экземпляров по номеру и просил высылать ему по сто экземпляров ежемесячно, в других городах продажа идет тоже очень успешно. Но зато хлопот страх как много, и, к моему сожалению, я не могу подыскать себе хорошего помощника. Но со временем все это уладится и, вероятно, хлопот будет меньше. Да и поработать не жаль, лишь бы были хорошие результаты, по началу на это можно надеяться.

У милой Евгении Андреевны мы были на масляной. Какая у вас прелестная внучка! Я редко видела такого здорового и красивого ребенка. Федор Михайлович сошелся с Михаилом Александровичем и был рад в нем встретить человека с таким серьезным умом и характером [2]. Евгения Андреевна была у нас на днях, и мы тоже собираемся поехать к ним провести вечерок. Жаль, что мы живем от них так далеко; это нас лишает возможности видеться с ними чаще 〈...〉

Федор Михайлович пишет особо, и вы, вероятно, уже получили его письмо [3].

Кстати: исправно ли вы получаете «Дневник»? Пожалуйста, в случае неполучения какого-либо номера, дайте знать об этом.

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 56.

[1] «Дневник писателя» начал выходить с января 1876 г.

[2] Евгения Андреевна *Рыкачева* (1852—1919) — дочь А. М. и Д. И. Достоевских. 8 декабря 1875 г. она писала Достоевскому:

«... Недавно только я узнала, что вы поселились на зиму в Петербурге; имея сильное желание повидаться с вами, решаюсь писать вам, чтобы узнать, когда и в какое время вас можно застать дома. В последний раз мы виделись с вами, когда я была еще двенадцатилетнею девочкою,— теперь же я уже мать семейства; впрочем, я думаю, вы имеете уже сведения об нас из письма папы, который недавно писал вам из Ярославля. Полтора года тому назад я вышла замуж за Михаила Александровича Рыкачева, служащего в Главной физической обсерватории,— и с тех пор мы поселились в Петербурге. Уже давно хотелось мне повидаться с вами и с вашею дорогою супругою — моею тетушкой. Но я не могла узнать вашего адреса, теперь же он мне известен, и потому я решаюсь писать вам...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.8.55). К этому письму сделал приписку М. А. Рыкачев. Ответ Достоевского от 9 декабря — «Письма», IV, стр. 307.

[3] Письмо Достоевского под датой 10 марта 1876 г.—«Письма», III, стр. 204—205. Одновременно Достоевским была послана брату «весьма беспорядочно изданная книгопродавцем Кехрибарджи книга» — «Подросток».

112. Х. Д. АЛЧЕВСКАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

〈С.-Петербург. 1 июня 1876 г.〉

... Говоря вам, что я буду у вас во вторник в три часа, я совсем не сообразила, что, уезжая в шесть, невозможно быть в три, так много предстоит всегда хлопот перед дорогой, поэтому позвольте искренно, сердечно благодарить вас заочно за тот радушный прием, которого я так боялась не встретить. Воспоминания о нашей встрече останутся навсегда самыми дорогими в моей жизни, а моею любимою мечтою будет увидеть вас у нас в Харькове [1] 〈...〉

Благодарю вас за «Дневник писателя». Прочла. Плакала над Каировой, плакала над Писаревой, плакала над Воспитательным домом — удивительно, как может *один* человек вмещать в себе столько теплоты и чувства, что стало бы, кажется, на тысячу [2]. Вот за что только, я уверена, его будет осуждать молодое поколение — это стр. 145: «Дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась» [3].

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 166. Дата уточняется по содержанию (см. ниже) и по указанию, что письмо написано во вторник, приходившийся на 1 июня.

Христина Даниловна *Алчевская* (1843—1918) — активная деятельница в области народного образования. Переписывалась и встречалась с Достоевским, охарактеризовавшим ее как «редкое, доброе и умное существо» («Письма», III, стр. 211). «Мы оба, я и жена, редко кого так полюбили и оценили, как вас, и любим вас искренно»,— писал Достоевский Алчевской 1 июня 1879 г. («Письма», IV, стр. 309). Перу Алчевской принадлежат мемуары «Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания». М., 1912. Алчевская была автором двух корреспонденций, напечатанных в «Колоколе» Герцена в 1859 и 1863 гг. под псевдонимом *Украинка* (см. Н. Я. Фридьева. Жизнь для просвещения народа. М., 1963, стр. 11—13 и 20—21).

[1] Алчевская приехала в Петербург 19 мая 1876 г. Целью ее поездки было свидание с Достоевским, подробно описанное затем в ее мемуарах.

10 марта 1876 г. она сообщала Достоевскому из Харькова:

«...Отправляя к вам свои несколько строк, я и не мечтала об ответе. Я чувствовала только непреодолимое желание высказать вам свой привет и не находила причин отказать себе в этом. При чтении 2-го № „Дневника писателя" я не без грустного раздумья остановилась на строках „*Хорошо или не хорошо, что я всем угодил?*" Сказать правду, я приняла это немножко на свой счет. Тем понятнее станет для вас та радость, которую доставило мне ваше письмо. Нам, провинциалам, каждый писатель представляется чем-то чуть не мифическим, недосягаемым, неслыханным и невиданным. Нам доступно *читать* его, и *только*! Видеть, слышать, переписываться — мы лишены возможности. И в самом деле, что сталось бы с писателем, если бы провинциалам вздумалось атаковать его своей перепиской?! Какой-то остряк уверял, что будто бы Писарев утонул не в реке, а в море писем, получаемых им из провинций.

Я сказала: *каждый* писатель—и спешу оговориться:„каждый соответствующий созданным нами в жизни идеалам и проповедующий их". У меня два таких кумира: вы как человек талантливый, честный, независимых убеждений, с той „искрой божией", которую не в силах потушить ни рудники, ни невзгоды жизни, ни время, и Лев Толстой, в котором, кроме его оригинального языка и оригинального таланта, я признаю глубокую и неподдельную любовь к народу, которою и сама я заражена немножко ‹...›

Февральский номер понравился нашему кружку еще более первого, особенно дело „Кронеберга". Что же касается лично до меня, то, отдавая ему полную справедливость, я, тем не менее, остаюсь верна рассказу „Мальчик у Христа на елке" и признаю его chef d'œuvr'ом *„Дневника писателя"*. Впрочем, и *„Мужик Марей"* мне очень, очень нравится, и, говорят, что и то и другое я прочла с большим пониманием и увлечением на наших литературных вечерах. Самое приятное для меня одобрение моему чтению было старушки Ишимовой, которая теперь в Харькове и была у нас на последнем вечере ‹...› Приходилось мне еще слышать и такое мнение относительно вашего издания „Дневник писателя": *„Что*, если Достоевский, вместо того, чтобы создать вновь что-либо цельное, грандиозное, разменяется на мелочи, на обзор текущих событий, маленькие рассказцы — и только!"

Мне лично такое мнение кажется до крайности странным: *как* жизнь со всеми ее разнообразными явлениями отнести в разряд мелочей и *как* художественность и силу рассказа мерить величиной?!— Нет, я присоединяюсь к той части публики, которая с энтузиазмом встретила вашу мысль об издании „Дневника". Перед нами ряд ваших художественных рассказов и романов, которыми гордится каждый любящий русскую литературу, но нам не менее дороги ваши взгляды на текущие события, ваша личная жизнь, которая так или иначе выглядывает на страницах „Дневника". Мы желаем знать о вас как о дорогом и любимом нашем писателе от вас самих, а не от каких-нибудь спекулянтов в литературе, вроде составителя вашей биографии В. З‹отова› ‹...›, которому вы делаете поправки в № 1 вашего „Дневника".

Что касается того, что „писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати"— то это понятно, мне часто из-за пространных фельетонов разных „Заурядных читателей" мерещатся пятачки, получаемые ими от строчки ‹...› Впрочем, бог с ними. Ваше „первое предостережение за мое многословие может быть выражено и словами и молчанием. И то и другое признаю вполне основательным» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 56). *Заурядный читатель* — псевдоним А. М. Скабичевского.

[2] Отклик на содержание майской книжки «Дневника».

[3] Из главы второй «Дневника писателя», 1876, май — «Одна несоответственная идея» — о самоубийстве молодой девушки Писаревой. Этими строками Достоевский заключает свой анализ ее предсмертного письма.

В упомянутых выше мемуарах Алчевская писала: «Достоевский всегда был одним из моих любимых писателей. Его рассказы, повести и романы производили на меня глубокое впечатление. Но когда появился в свет его „Дневник писателя", он вдруг сделался как-то особенно близок и дорог мне. Кроме даровитого автора художественных произведений, передо мною вырос человек с чутким сердцем, с отзывчивой душой, человек, горячо откликавшийся на все злобы дня» (стр. 63).

113. П. Н. ПОЛЕВОЙ — П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

С. Алексеевка. 1 июня 1876 г.

... Позвольте обратиться к вам с покорнейшею просьбою следующего рода:

Приготовляя к печатанью третье издание моей «Истории литературы» [1], я вношу в него, между прочим, еще несколько биографий современных писателей. В числе их и биографию Ф. М. Достоевского. Для этой биографии мне бы очень был нужен фотографический снимок с портрета Федора Михайловича, сделанного Перовым для вашей галереи [2]. По крайней мере, Федор Михайлович сам указал мне на этот портрет как на единственный снятый с него в течение всей его жизни. Не будете ли вы столь добры, не доставите ли вы мне фотографической копии с принадлежащего вам портрета? Вы бы меня этим крайне обязали и вывели из большого затруднения, так как Федор Михайлович ни за что не хочет вторично снимать с себя какого бы то ни было портрета, а портрет мне необходим, потому что все биографии будут снабжены портретами (кроме биографии графа Л. Толстого), и очень хорошими. Надеюсь, что вы мне дадите ответ, по возможности, в скором времени, так как рисовка и гравирование портрета возьмет, вероятно, около трех месяцев (скорее более, нежели менее этого срока) [3] ...

Автограф. ГТГ, ф. 1, ед. хр. 2673.

Петр Николаевич *Полевой* (1839 — 1902) — историк литературы и беллетрист, сын Н. А. Полевого.

Павел Михайлович *Третьяков* (1832—1898) — основатель картинной галереи в Москве. См. о нем выше в публикации И. С. Зильберштейна «Новонайденные и забытые письма Достоевского».

[1] «*История русской литературы в очерках и биографиях*», *сочинение П. Полевого*. Третье, значительно дополненное издание. СПб., 1878.

7 июня 1876 г. Полевой писал Достоевскому: «В одном из №№ вашего „Дневника“, который я постоянно читаю с большим удовольствием, я прочел вашу записку о тех промахах и ошибках, которые вкрались в вашу биографию, помещенную в Энциклопедическом словаре Березина. При этом вы выражали вашу полную готовность сообщить каждому желающему достоверные биографические данные касательно важнейших фактов вашей жизни и литературной деятельности.

Смею надеяться, что вы не откажетесь сообщить мне эти факты для третьего издания моей „Истории русской литературы в очерках и биографиях“, которое я исподволь приготовляю к печати, и в числе дополнений к этому третьему изданию имею в виду, на первом плане, биографию вашу и Л. Н. Толстого. Так как в книге моей (вероятно, хоть понаслышке вам известной) все биографии авторов украшены их портретами, то я был бы вам очень благодарен, если бы вы указали мне на хорошую фотографию вашу, *или, если это невозможно, разрешили бы мне снять фотографию с вашего портрета* в галерее П. М. Третьякова, моего хорошего знакомого.

Буду признателен вам, уважаемый Федор Михайлович, за все сведения, какие вы мне о себе доставите. Даю вам заранее слово в том, что ничего в них не изменю и не искажу» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.7.104).

Получив письмо от Достоевского (неизвестно), Полевой пишет ему снова 26 июня того же года:

«*Весьма и весьма благодарен вам за скорый и любезный ответ ваш. В свою очередь* спешу вас уведомить, что я никак не тороплюсь с составлением дополнений к третьему изданию „Литературы“ моей и что за обработку вашей биографии не примусь ранее первых чисел сентября. А потому, если, по обещанию, выраженному в вашем письме от 18 июня, вы доставите мне биографические данные к концу августа,— мне придется только еще раз и от души поблагодарить вас не столько от себя, но и от лица всей русской учащейся молодежи, для которой распространение вполне достоверных сведений *о жизни и деятельности наших образцовых писателей так полезно и так важно* ‹...›

Относительно портрета вашего тотчас по получении от вас письма написал я к П. М. Третьякову; с портретом медлить нельзя: пока он нарисуется да выгравируется за границей — пройдет месяца три, никак не менее ‹...›

P. S. На всякий случай прилагаю при настоящем письме программу важнейших данных, по которой доставлены были мне биографические сведения от Тургенева, Островского, Гончарова, Григоровича и других...» (там же). Ср. «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 208—209. Портрет Достоевского, упоминаемый в письме, был написан Перовым весной 1872 г. Находится в Государственной Третьяковской галерее.

[2] 2 августа 1876 г. Третьяков сообщал Полевому: «Спешу препроводить вам фотографию с портрета Ф. М. Достоевского, только что, сию минуту полученную» (Маш. копия. ГТГ, ф. 1, ед. хр. 4618).

[3] Заключительный «период восьмой» третьего издания книги Полевого «От Пушкина до нашего времени» составляют главы о Пушкине, Грибоедове, Н. А. Полевом, Лермонтове, Гоголе, Белинском, С. Т. Аксакове, Кольцове и о «важнейших представителях новейшей литературной школы» — Гончарове, Тургеневе и Островском. Главы о Достоевском в книге нет.

В № 33-34 журнала «Огонек» 1879 г. Полевой напечатал обширный критико-биографический очерк о Достоевском, «стоящем совершенно особняком по своему таланту и в то же время пользующемся сильным влиянием на общество», и его портрет работы Перова.

114. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. и Д. И. ДОСТОЕВСКИМ

‹С.-Петербург› 20 сентября 1876 г.

... Вчера, в воскресенье, я ‹...› ходил к Федору Михайловичу и провел там очень приятно время в разговорах с дядей и Анной Григорьевной. Они меня так радушно приняли, что я думаю у них часто бывать. Рассказывала мне, между прочим, Анна Григорьевна, что они это лето купили в Старой Руссе дом и заплатили за него очень дешево; именно они заплатили за двухэтажный дом с большим садом, огородом, конюшнями, коровником, банею и, одним словом, со всем скарбом, 1100 рублей. Это мне кажется удивительно дешево в таком городе, как Старая Русса, куда летом съезжается более восьмисот семейств на лечение. По совету дяди, я сегодня ходил к Эмилии Федоровне Достоевской ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 26.

115. А. Н. СНИТКИН — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 23 сентября 1876 г.

Любезнейшая Анна Григорьевна! Помоги, ради бога, совсем без денег и ничего не имею в виду, дай мне сто рублей денег. Попроси для меня у Федора Михайловича. Поправлюсь — отдам все, а теперь надо платить за квартиру, а у меня не на что и есть.

Прости меня, что беспокою тебя, но, видит бог, обратиться не к кому. Нужда крайняя ‹...› Помоги, ради бога ...

Автограф. ИРЛИ.30373.с.CXIII65.

Александр Николаевич *Сниткин* (1842 — ?) — двоюродный брат А. Г. Достоевской. Сохранилось множество писем к ней Сниткина с описанием его горестного материального положения и с настойчивыми просьбами о помощи. См. п. 130, 138, 143.

116. А. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Д. И. ДОСТОЕВСКОЙ

С.-Петербург. 8 ноября 1876 г.

... Вчера, в воскресенье, мы до завтрака, т. е. до часу дня, провели все дома, я больше сидел с Машенькой или читал, а после завтрака мы с Сашей отправились к брату Федору Михайловичу. Доехав на тройковых санях до угла Невского, мы весь Невский и потом вплоть до квартиры брата прошли пешком. Как брата, так и Анну Григорьевну застали дома, и они оба были нам очень рады; а меня так вовсе не подозревали могущим приехать. Приняли нас очень любезно и просто заговорили; хотели было в четыре часа распрощаться с ними, но нас непременно удержали обедать, и мы пробыли у них до семи с половиной часов вечера ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.III.10.14.

117. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. и Д. И. ДОСТОЕВСКИМ

‹С.-Петербург. 23 ноября 1876 г.›

... На днях я на минуту заходил к Федору Михайловичу, который мне говорил об каком-то процессе, который Александра Михайловна начала против Николая Михайловича, требуя от него каких-то денег после наследства. Не знаю, знаете ли вы об этом что-нибудь. Федор Михайлович говорит, что если Шевякова выиграет дело, то очень легко может случиться, что она потом потребует денег и от него, Федора Михайловича, и от вас, а после нее и Вера Михайловна не отстанет. Не знаю, чем все это кончится...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 26.

118. Н. И. ВАГНЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. Декабрь 1876 г.›

... Сообщите мне, где печатались адресы «Дневника писателя» — и что стоили... Спросите Федора Михайловича, не найдены ли в № 7 «Дневника» несколько свободных строк для извещения о выходе 1-го номера «Света», который родится, бог даст, в субботу [1].

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.2.4.

[1] *«Свет»* — «орган общечеловеческого развития» — научно-художественный иллюстрированный ежемесячник, первый номер которого Вагнер готовил в это время к изданию.

24 октября 1876 г. он писал Достоевскому: «Обращаюсь к вам с низким поклоном и большой просьбой, исполнение которой для меня существенно важно. На будущей неделе я делаю публикацию об издании моего журнала, о котором мы с вами уже говорили. Для меня в высшей степени важно, чтобы эта публикация появилась также и в вашем *„Дневнике"*. Желательно было бы, чтобы вы пожертвовали на нее полстранички. Но если это невозможно, то отведите хотя несколько строчек, чем крайне меня обяжете» (Авт. ЛБ, ф.93.II.2.2).

В тот же день Достоевский отвечал Вагнеру: «Непременно постараюсь отвести требуемые полстранички, а вас поздравляю с предприятием» («Советские архивы», 1969, № 2, стр. 114).

Вся последняя страница октябрьского номера «Дневника писателя» занята длинным и напыщенным объявлением о предстоящем издании «Света». В объявлении отмечалось, что в журнале примут участие Достоевский, Полонский, Менделеев, Бутлеров, Сеченов и А. Н. Бекетов.

Помещение этого объявления в органе Достоевского вызвало у многих его читателей уверенность, что писатель «переходит» в «Свет», вследствие чего он вынужден был дважды и очень резко «отмежеваться» от журнала Вагнера, заявив в «Дневнике писателя», что «ни в замысле, ни в соредактировании его» не участвует и что он только обещал Вагнеру дать в его издание один рассказ («Дневник писателя», декабрь 1876 г. и январь 1877 г. См. также «Вопросы литературы», 1967, № 5, стр. 165—166 и 1971, № 9, стр. 190).

119. Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ — А. С. СУВОРИНУ

4 января 1877 г.

... Кстати, читая тургеневскую «Новь», я приятно изумился, увидев, что он так же симпатически отнесся к типу русского так называемого радикального юноши (даже буквально в том же тоне!), как и я, за три года до него, в «Девятом вале», где мною впервые, под таким углом зрения, выведен революционер Столешников. Этого смелого шага с моей стороны никто тогда не заметил в печати, где царствовали только или грубые и циничные обличения этого типа в повестях Лескова и Крестовского, или мастерские шаржи Достоевского, огульно подводившего этот тип под больнич-

ный скорбный ярлык «тронувшихся умом» или «библейских свиней» [1]. Напоминаю мою повесть, собственно, для вас; мне дорого будет, если вы *про себя* созна́ете истину моего напоминания. Я твердо верил и верю, что так называемые наши радикальные, революционные юноши — явление честное, привлекательное; мы, кончающие свое человеческое поприще, потому и хороши, тогда только и хороши, если сами были когда-то такими же юношами. Сидевши некогда по делу Петрашевского в каземате [2], я прочел там в крепости «Неточку Незванову» Достоевского и, не зная его, страшно к нему привязался. Единственно это не охладило меня к его последним произведениям. Помните ли вы «Неточку»? Как она добыла ключ к библиотеке деспота — родича своего, прочла его книги, переродилась нежданно для него — и предстала ему, готовая на борьбу?..

Дивная вещь! Золотые, былые годы! Докончим беседу когда-нибудь лично ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 459, ед. хр. 1154.

[1] Имеются в виду «Бесы» Достоевского с их эпиграфом из Евангелия (от Луки, VIII, 32—37) — о бесах, вселившихся в свиней.

[2] Весной 1849 г. Данилевский, косвенно причастный к делу Петрашевского, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Через два с половиной месяца, доказав свою «благонадежность», он был освобожден, причем следственная комиссия даже сочла нужным ходатайствовать перед Николаем I, чтобы содержание в крепости «не имело никакого влияния на его будущность» («Голос минувшего», 1916, № 12, стр. 97—109). Некоторое время, впрочем, Данилевский еще находился под полицейским надзором (см. сб. «Петрашевцы», т. III, М.— Л., 1928, стр. 230).

Е. А. Штакеншнейдер замечала в своем дневнике:

«За тайну передавали, что Данилевский был замешан в деле Петрашевского и сидел в крепости. Я думаю, это придавало ему вес в его собственных глазах; я думаю, это и делало его таким радостным. Но впоследствии оказалось, что в крепость он попал нечаянно, что искали другого Данилевского. Так что, когда в 1861 году студенты в свою очередь побывали в крепости и Данилевский, еще твердо веривший в свои политические подвиги, попробовал им сказать: „Ведь это мы вам указали дорогу, ведь первые были мы“,— то в ответ ему только посмеялись» (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки, стр. 42—43).

120. П. Д. ГОЛОХВАСТОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

Петровское. 19 января 1877 г.

... Вы, конечно, читали уже «Новь» и «Сон» [1]. Чтобы не сказали, что не может написать крупного Тургенев, он захотел доказать, что не может написать и мелкого. Будь я критиком, я бы сделал вот что: написал бы, но пресерьезно, что «Новь» — подделка, чья-то спекуляция; что Стасюлевичу стыдно давать себя так обманывать; что «Новь» — перевод с французского и написана французом, знающим Россию по книжкам да еще очень не новым, что Фомушку и Фимушку налгать мог только иностранец, читавший Афанасья Ивановича и Пульхерию Ивановну, «Плодомасовских карликов» Стебницкого [2] и пр. Что в России 1868 г. портреты на столе держат фотографированные, а не рисованные; фраков до пят не носят; лакеи волю турецкой выдумкой не зовут и т. п.— все это из книжек о России 30-х и 40-годов. Да и вообще: предполагать, что от старости уши зарастают чем-то, можно только про тех, кто — предположено — сальные свечи ест, и подобных чудес в «Нови» немало. Всё сплошь удивительных имен в России не дают, как известно всякому, кто живал в России. Следовательно... И подписался бы: *А*. Потом написал бы вторую статью: никто Стасюлевича не обманывал; если «Новь» — подделка иностранца и перевод, то и все писанное Тургеневым с тех пор, как он покинул Россию,— тоже подделка и перевод, ибо «Вешние воды» и др.— даже всякая его повесть за последние лет пятнадцать — изобилуют тем же незнанием Рос-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «УНИЖЕННЫМ И ОСКОРБЛЕННЫМ»
Литография с рисунка В. Князева, 1884
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва

сии после 19 февраля, только разве не столь явным, ибо не столь скученным воедино, как в «Нови». Подписался бы: *Б.* Потом, в третьей статье за подписью *В.*, доказал бы, что и когда в России жил Тургенев, и России до 19 февраля не знал Тургенев. Не знал потому, что он не русский человек; а кто русский, да не русский — тот и не человек настоящий; у того и вообще себе мерила нет ни на русского, ни на человека; и нет этого мерила и не было никогда у Тургенева, и мужчины и женщины его, и мужики, и баре — не русские и не люди, а все куколки: мужичок, мальчик, барыня и пр. Но откуда же успех Тургенева? Это, во-первых, следствие отставки кн. Львова, цензора «Записок охотника», а во-вторых: в поле — и жук мясо; Гоголь тогда уже отписал, Достоевский — только что начинал... да и кто еще? Ведь уже к 50-м годам про Толстого еще никто и не слыхал. Явились они, мы поумнели, но, народ благодарный, Тургенева, этого рака, на безрыбье бывшего рыбой, в Песках не разжаловали, и до сих пор считаем за леща с кашей, все-таки; но пора бы прозреть; а средство к тому: прочесть Пушкина, Гоголя, потом Толстого, Достоевского и потом Тургенева; вот и увидим, что он такое, что ему удавалось, да, удавалось; и что не может ему, не русскому, след., не человеку, а след., и не художнику, никогда не может удаваться. Вывод: советую не Тургеневу — не писать, этого он не может, коль уж повадился; итак, вам советую, читатели, не читать, что он пишет; вы это можете, у вас есть Достоевский, Толстой ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. Ш.17064.

[1] Роман Тургенева «Новь» напечатан в №№ 1—2 «Вестника Европы» 1877 г. Его рассказ «Сон» — в № 303—304 «Нового времени», 1—2 января того же года.
[2] Псевдоним Н. С. Лескова.

121. Н. П. ВАГНЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. Январь 1877 г.?›

... Посылаю Федору Михайловичу «Вестник Европы» [1]. Будьте столь любезны попросите его возвратить мне книгу через два-три дня. Я сам еще почти ничего не читал в ней ‹...› Федору Михайловичу усердный поклон.

Автограф. ЛБ, ф.93,II.2.4.

[1] Вероятно речь идет о № 1 «Вестника Европы» 1877 г., в котором опубликована статья А. Г. В. «Четвертое измерение спиритизма». Этим определяется приблизительная дата письма. В несколько более позднем, недатированном письме к А. Г. Достоевской Вагнер писал: «Федору Михайловичу глубокий поклон. А „Вестник Европы" до сих пор жду» (там же).

122. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М и Д. И. ДОСТОЕВСКИМ

‹С.-Петербург. 1 февраля 1877 г.›

... Вчера, в понедельник, был студенческий бал в память основания университета. Мы с Соломкой [1] пошли туда тоже; народу было довольно много, но все не то, что было на балу у нас, медиков. Студенты делали овации некоторым профессорам своим: качали Бекетова — ректора [2], Меншуткина [3] и др. профессоров. Потом качали Грацианского, того, который защищал участвовавших в истории у Казанского собора [4]. Сей последний держал поэтому приличествующую случаю речь. В одной из зал я неожиданно встретил дядю Федора Михайловича. Мы с ним довольно долго разговаривали; впрочем, он уехал рано. Говорил он, между п очим, какие ему хлопоты были с январским выпуском «Дневника», который вышел сегодня. Цензурный комитет зачеркнул почти весь номер, и дяде пришлось почти весь номер написать снова в два дня. Он говорит, что перессорился со всеми цензорами. Пойду к ним я, по всем вероятиям, в один из последних дней масленицы ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 27.

[1] Вероятно, студент-медик, товарищ А. А. Достоевского.
[2] Андрей Николаевич *Бекетов* (1825—1902) — известный ботаник, ректор Петербургского университета, дед А. А. Блока.
[3] Николай Александрович *Меншуткин* (1842—1907) — выдающийся химик, профессор Петербургского университета.
[4] Судебный процесс над участниками революционной демонстрации в Петербурге (6 декабря 1876 г.) состоялся в январе 1877 г. Одну из групп обвиняемых защищал помощник присяжного поверенного *Грацианский*.

123. И. А. ШЕСТАКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

Петрозаводск. 17 февраля 1877 г.

... Нетерпеливо буду ждать статьи вашей о «Нови», хоть, признаюсь, о ней говорить много не стоит. Не говоря уже о том, что предмет знакомый, только что и притом два раза появившийся в «Русском вестнике», я в самом исполнении не вижу прежнего Тургенева: еще вторая часть туда и сюда, читается легко, а первая так просто скучна. Да и главный герой — Нежданов — старый знакомый, это, по-моему, тот же лишний, которых вывыводил Тургенев прежде. Впрочем, послушаю сперва вас, а потом уж скажу. Знаете ли, Николай Николаевич, я положительно утверждаю, что у нас, кроме Толстого и Достоевского, нет писателей, по крайней мере теперь. Вы спрашиваете, читаю ли я «Каренину»? Да не только я — наши немцы и поляки и те зачитываются ею!..

Автограф. ЦНБ АН УССР.II.18757.

124. Б. Б. ПОЛЯКОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 11 апреля 1877 г.

... Поверьте, что я всячески стараюсь скорее найти покупателя на имение и для этого, если не продастся теперь, посвящу все нынешнее лето и осень на поездки в разные губернии, где у меня есть уже в виду разные

личности с довольно обширным капиталом. Верю, что вам очень неприятно, что имение нейдет с рук [1], но что же прикажете делать, винить меня в этом нисколько нельзя, употребив довольно уже на расходы и дав взаимообразно Федору Михайловичу более 1500 р., вся надежда моя получить удовлетворение только по продаже имения, а иначе я потерял безвозвратно. Я вас неоднократно просил и *теперь* прошу поискать расписку г. Корша или, скорее, домашнее условие о прекращении дела миром. Бумагу эту я отдал Федору Михайловичу в мае 1874 года вместе с подлинными векселями, полученными мною от Корша, и по которым ваш супруг был должен Куманиной десять тысяч рублей [2]. Мне необходимо знать, в чем заключается сущность домашнего условия со стороны г. Корша, и я убедительно прошу вас, нельзя ли доставить мне скорее эту бумагу [3]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 206.

[1] Речь идет о продаже одного из имений, оставленных в наследство А. Ф. Куманиной.

[2] См. примеч. 8 к п. 87.

[3] Отметим следующие строки из письма Полякова к Анне Григорьевне, датированного 5 апреля 1878 г.:

«Все деньги, которые я получил от г. Корша по продаже имений, я доставил вашему супругу, как и прочим доверителям моим, под расписки, которые у меня сохраняются».

125. Д. И. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 14 апреля 1877 г. [1]

... Во вторник [2] была отвратительная погода, ветер, хотя и не очень холодный, но пыль залепляла глаза, и мы, несмотря на это, поехали с Женей к Федору Михайловичу, там нас приняли очень радушно. Анна Григорьевна была очень любезна, обещала быть у Жени в скором времени. Федор Михайлович сказал нам новость, что Машенька Голеновская [3] вышла замуж, свадьба ее была в прошлое воскресенье; говоря об этой свадьбе, Ф. М. был очень взволнован, что его, родного дядю, не пригласили на эту свадьбу; вышла она замуж за инженера Ставровского, своего родственника, и сейчас после свадьбы уехала с ним в Тифлис ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.III.10.32.

[1] Доменика Ивановна приехала в Петербург 7 апреля 1877 г.

[2] Вторник приходился на 12-е число.

[3] Мария Николаевна *Голеновская* (1855—1921) — племянница Достоевского, дочь его сестры Александры Михайловны.

126. А. Н. ПЕШКОВА-ТОЛИВЕРОВА (ЯКОБИ) — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 15 мая 1877 г.

Я была у вас, чтобы сообщить вам, что я уплатила Тришину 100 рублей и проценты. Остальные 100 рублей я просила их отсрочить до августа, на что они охотно согласились. На расписке вашей и Федора Михайловича я своей рукой написала, что уплатила сто рублей и осталась должна еще *сто* [1] ‹...› Будьте добры и любезны, дорогая Анна Григорьевна, попросите Федора Михайловича, чтобы он написал на клочке бумажки свое имя и фамилию, это факсимиле необходимо для его портрета, который отослан в Лейпциг [2] ‹...› Федору Михайловичу жму от всего сердца руку ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.7.80.

Александра Николаевна *Пешкова-Толиверова* (*Якоби*) (1842—1918) — детская писательница, издавала журнал «Игрушечка», в котором она после смерти Достоевского опубликовала свои воспоминания о писателе. Ей адресовано письмо Достоевского от февраля 1878 г. («Письма», IV, стр. 6). См. о ней «Лит. наследство», т. 51-52, стр. 558—559.

[1] Имя петербургских ростовщиков братьев Тришиных нередко упоминается в переписке Достоевского за эти годы — обычно в связи с намерением занять у них ту или иную сумму.

Несколько расписок сохранилось среди его бумаг (ср. «Лит. наследство», т. 83, стр. 365). См. ниже п. 138 и 143.

[2] Портрет Достоевского воспроизведен в журн. «Игрушечка», 1881, № 7. Возможно, что была и более ранняя его публикация.

127. М. А. АЛЕКСАНДРОВ — В. Ф. ПУЦЫКОВИЧУ

‹С.-Петербург› 30 июня 1877 г.

... Цензор Скуратов не принимается цензуровать «Дневника писателя», не получив на то предписания от Комитета, а Комитет *не дает* этого предписания, заставляя печатать *без предварительной цензуры*, чего *никак* не желает Федор Михайлович из-за проволочки восьмидневного лежания выпуска в Комиссии. Прошлый раз цензор был по его просьбе; я полагаю, что теперь его дадут *по вашей просьбе* [1]...

Автограф. ГЛМ. ОФ 5709.

Михаил Александрович *Александров* — метранпаж в типографии Траншеля, где печатался журнал «Гражданин» в период редактирования его Достоевским, а также в типографии кн. В. В. Оболенского во время издания «Дневника писателя», который он оформлял по личной просьбе Достоевского. Достоевский высоко ценил Александрова как человека и квалифицированного специалиста. А. Г. Достоевская, под впечатлением от мемуаров Александрова, писала ему, что, по ее мнению, он чрезвычайно метко «схватил все характерные черты покойного Федора Михайловича» и обрисовал его «таким, каким он был в домашней, повседневной жизни». При этом она отнесла Александрова к числу близких Достоевскому людей (см. «Достоевский в воспоминаниях современников», кн. II, стр. 213).

Виктор Феофилович *Пуцыкович* (1843—1909) — сотрудник, а затем редактор «газеты-журнала» «Гражданин» (1874—1879), многолетний корреспондент Достоевского.

[1] Достоевский уехал с семьей из Петербурга 17 июля. В письмах к Александрову из имения своего шурина Малый Прикол (Курская губ.), посылая одну за другой законченные главы «Дневника писателя», он просил тщательно держать корректуру и постепенно печатать.

20 июня Достоевский выразил опасение насчет возможных осложнений с цензором: «№ как вы обойдетесь без моей подписи? Впрочем, приеду — подпишу» («Письма», III, стр. 269).

По-видимому, волнение Александрова и Пуцыковича было вызвано внезапным отъездом цензора Ратынского.

На обороте письма Пуцыкович сделал надпись, обращенную к Александрову:

«Михаил Александрович, мне Федор Михайлович ни слова не сказал о том, как быть. И я решительно не знаю, что делать! Вообще я даже не знаю, что без него будет печататься...»

128. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Старая Русса› 1 сентября 1877 г.

Позвольте вас поблагодарить, многоуважаемый и добрый брат Николай Михайлович, за ваше милое письмо и за те известия, которые вы сообщаете [1].

Завтра, в пятницу, 2 сентября мы выезжаем и приедем в Петербург или 4-го утром, или вечером. Поэтому желательно, чтобы ключи были к тому времени у дворника, как всегда, в запечатанном конверте. Поэтому, многоуважаемый Николай Михайлович, прошу вас, если ключи еще не доставлены, то доставьте их к 4-му числу, очень нас обяжете, а теперь до скорого свиданья ...

Автограф. ИРЛИ.30413.с.CXIII69.

[1] Письмо Н. М. Достоевского неизвестно.

129. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. и Д. И. ДОСТОЕВСКИМ

‹С.-Петербург› 13 сентября 1877 г.

... В воскресенье[1] я ходил обедать к Федору Михайловичу; отправился я туда часа в три и вернулся домой часов в девять. Все они приехали в Петербург только часом позже меня; провели все лето в деревне в Курской губернии и остались в восхищении от деревенской жизни. Федор Михайлович в конце июня приезжал в Петербург издавать «Дневник», а Анна Григорьевна ездила в это время в Киев, Харьков и Полтаву. Говорил я большею частию все с Анной Григорьевной, она сообщила мне, между прочим, что, к величайшему ее сожалению, они должны будут прекратить с будущего ‹года› издание «Дневника», так как срочная работа ужасно тяготит Федора Михайловича, и, кроме того, его сильно волнует, что многое из написанного цензура не пропускает. Анна Григорьевна думает открыть в будущем году книжный магазин и для этого хочет в этом году слушать бухгалтерские курсы. Говорили мы и о наследстве. Анна Григорьевна сообщила мне подробно, отчего было проиграно дело Николая Михайловича. Оказывается, что всему виной Корш. Будучи поверенным Николая Михайловича, он не явился на разбирательство дела в Судебную палату; Николай Михайлович тоже не явился. В том, что дело было проиграно в Сенате, виноват тоже он, Корш, так как не подал никаких поводов к кассации. (Может быть, я выражаюсь неправильно; одним словом, он не выставил ни одного факта, по которому видно бы было, что разбирательство дела в Палате велось неправильно.) Точно такую же повестку от Самарского-Быховца [2], какую получили вы, получил и Федор Михайлович и так же, как и вы, не отвечал ничего. Теперь нужно предпринять следующее — это говорит Анна Григорьевна, и Федор Михайлович одобряет: до подания иска со стороны Александры Михайловны не делайте ничего; как только иск будет подан, соединиться вместе (т. е. вам и Федору Михайловичу) и пригласить Лохвицкого [3], что будет стоить недорого, а как говорит Анна Григорьевна, то, может быть, и ничего, потому что она думает, что Лохвицкий не возьмет ничего с Федора Михайловича. А из этого уж и следует, что вам следует отказать Коршу и встребовать от него оставшиеся у него деньги, и не 250, а 425 рублей — столько получил Федор Михайлович, и, мне кажется, нет причины предполагать, чтобы вам осталось меньше [4]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 27.

[1] Воскресенье приходилось на 11-е число.

[2] Владимир Васильевич *Самарский-Быховец* (1837—1902) — юрист.

[3] Александр Владимирович *Лохвицкий* (1830—1894) — известный адвокат. Его перу, между прочим, принадлежат статьи о «Преступлении и наказании», напечатанные в «Судебном вестнике», 1869, № 14, 83 и 133, январь — июнь («Уголовные романы»).

[4] В недатированном письме, относящемся к 20-м числам сентября 1877 г., А. А. Достоевский сообщал родителям:

«...В воскресенье, как я уже писал, утром с Михаилом Александровичем мы были в университете, вернулись домой часу в четвертом ‹...›

Мы все вместе отправились по конке по направлению к Николаевскому вокзалу, они — обедать к Кошмаковым, а я к Федору Михайловичу. Там я изложил все то, что вы мне писали, дорогой папа. Анна Григорьевна говорит, что она наверно не знает, где живет Лохвицкий,— в Москве или Петербурге; она хотела узнать об этом, и тогда Федор Михайлович отправится к нему и обо всем расспросит. Впрочем, они не думают, чтобы иск был начат с вас, так как, по всем вероятиям, начнут с того ведения дела, с чем представит менее всего издержек.

Если иск начнется с вас, то придется адвокату ехать в Ярославль — лишний расход.

Таким образом, по всем вероятиям, они начнут с Федора Михайловича или Михаила Михайловича (младшего).

У Федора Михайловича я обедал и вернулся домой часов в десять» (там же).

130. А. Н. СНИТКИН — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 1 октября 1877 г.

... Редактор журнала «Детское чтение» Виктор Петрович Острогорский [1], зная, что мы с Федором Михайловичем в родстве, просил меня попросить Федора Михайловича, не будет ли он в состоянии уделить что-нибудь из его портфеля для напечатания в декабрьской книжке журнала. Это бы, сама знаешь, подняло бы журнал в глазах публики, и действительно полезное дело приняло бы широкий размер. В. П. Острогорский лично бы попросил Федора Михайловича, но ему хочется наперед знать, как бы он принял эту просьбу. Далее, очень бы хотелось редакции, если бы Федор Михайлович принял участие в редакционной комиссии на будущей неделе. Будут обсуждать вопросы о художественном чтении и музыкальном образовании. Будут: Римский-Корсаков [2], Соловьев [3], Брянский [4] и др. Им бы очень желалось выслушать мнение такого высокого художника, как Федор Михайлович. Не предварив его, может быть приглашение прошло бы для него бесследно. Так что поговори с мужем и сообщи мне до понедельника письмом в Лар‹инскую› гимназию, по 6-й линии, а я передам Острогорскому. Если Федор Михайлович согласится переговорить с ним, то напиши, когда его можно видеть. Вообще повлияй, это дело очень хорошее, и Острогорский — преданный делу человек [5]...

Автограф. ИРЛИ. 30373.с.CXIIIб5.

[1] «*Детское чтение*» — ежемесячный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Виктор Петрович *Острогорский* (1840—1902) — известный педагог, автор многочисленных трудов по вопросам воспитания.
[2] Николай Андреевич *Римский-Корсаков* (1844—1908)—знаменитый композитор.
[3] Вероятно, Всеволод Сергеевич *Соловьев*.
[4] Михаил Васильевич *Брянский* (1831—1908) — художник.
[5] Принял ли Достоевский участие в этом обсуждении — не установлено.

131. Д. И. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 23 октября 1877 г.

... Вчера мы сговорились с Сашей [1] быть у Федора Михайловича, и я сегодня вышла из дому в половине двенадцатого часа утра, проехала по конной до Невского, прошла пешком до Литейной, в это же время заходила в Казанский собор, по Литейной проехала до сашиной квартиры, там я отдохнула немножко, и потом мы отправились к Федору Михайловичу. От него я узнала, что он получил повестку, кажется из суда, о взыскании с него денег по куманинскому наследству; дело будет разбираться 11 ноября [2]. Первый был вопрос Федора Михайловича: «Получили вы такую повестку, как я?» и стал мне ее читать; повестка эта общая ко всем наследникам, и ты в ней стоишь первый, потом Федор Михайлович, и так далее. Получил он эту повестку 18 октября и до сих пор еще ничего не предпринимал делать по этому делу. Но, как я заметила, что это его очень волнует. Анна Григорьевна хотела завтра написать письмо Лохвицкому [3], который теперь в Москве; а мы с Сашей посоветовали послать ему еще и телеграмму, чтобы он ответил, возьмется ли за это дело. Саша хотел пойти к Федору Михайловичу дня через три, чтобы узнать о результате этого дела ‹...› Федор Михайлович, как видно, ничего в этом деле не понимает, говоря, что он не юрист, а боится, что оно будет проиграно, так же, как и Николай Михайловича, если не будет поверенного при разбирательстве этого дела. Он подозревает Шер [4] в заговоре с Александрой Михайловной [5]. Это его слова. Но будет об этом. Вышли мы с Сашей от Федора Михайловича в четыре часа...

Автограф. ЛБ, ф. 93.III.10.32.

[1] *А. А. Достоевский* — сын Д. И. и А. М. Достоевских.
[2] См. п. 129.
[3] Об *А. В. Лохвицком* см. в примеч. 3 к п.129.
[4] Владимир Дмитриевич *Шер* — двоюродный брат Достоевского и его сонаследник по имению Куманиных. Достоевский в одном из своих писем охарактеризовал его как «мошенника», «надувалу», «валета» («Письма», IV, стр. 107).
[5] *Александра Михайловна* — сестра писателя.

132. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 23 октября 1877 г.

Сейчас вернулся, дорогой папа, от Федора Михайловича, куда мы ходили вместе с мамой. Мама, как мы условились с ней вчера, зашла за мной, и мы часа в три отправились вместе к дяде; посидели мы у него часа полтора, и так как мама не хотела оставаться обедать, то мы вышли от них часов в пять и пошли обедать в кухмистерскую ‹...› Не хотела остаться обедать у Федора Михайловича мама потому, что в этот день Женя не особенно хорошо себя чувствовала. У Федора Михайловича мы узнали следующее: Самарский-Быховец подал иск на всех наследников, т. е. на вас, Федора Михайловича старшего, Федора Михайловича младшего и Шер. Федор Михайлович уже получил повестку из окружного суда с приглашением явиться на 11 ноября. Я думаю, что и вы получили уж такую повестку. Федор Михайлович думает предпринять следующее: он напишет в Москву к Лохвицкому с предложением взяться за дело; если от него получится ответ отрицательный, то он обратится к кому-нибудь из здешних хороших адвокатов [1]. Теперь дело вот в чем. Оставите ли вы своим адвокатом Корша или хотите присоединиться к Федору Михайловичу, чтобы действовать с ним заодно? Хорошо бы было, если бы вы ответили мне сейчас же, потому что я пойду к Федору Михайловичу дней через пять, чтобы узнать о результатах письма к Лохвицкому, и сообщу при этом о вашем решении. Хотя вы и писали, что согласны действовать заодно с Федором Михайловичем, но все-таки нужно знать ваше окончательное решение[2] ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 27.

[1] Письмо Достоевского к Лохвицкому до нас не дошло. Ответное письмо Лохвицкого см. в примеч. к следующему письму.
[2] 30 октября А. А. Достоевский сообщал отцу:
«Сейчас только вернулся, дорогой папа, от Федора Михайловича. Сегодня день его рождения, и он раньше звал меня на этот день. Кроме меня, были еще Николай Михайлович и Федор Михайлович младший, который теперь совсем уже поселился в Петербурге. Анна Григорьевна сообщила мне, между прочим, что они писали Лохвицкому, но ответа еще от него нет. Федор же Михайлович младший сообщил, что он вчера был у Казанских и они ему сказали, что отказали Коршу и взяли от него обратно все доверенности и хотят пригласить Лохвицкого и присоединиться к Федору Михайловичу. Анна Григорьевна хотела мне дать знать, как только получится письмо от Лохвицкого. Таким образом, Корш совершенно отрешен от дела...»

133. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 4 ноября 1877 г.

... Два дня тому назад мы получили письмо от Лохвицкого, я прилагаю при сем точную с него копию [1]. Как видите, он с удовольствием берется защищать нас, но боится, что не попадет к назначенному сроку (к 11 ноябрю) в Петербург. Он просит разузнать, будет ли разбираться дело по существу 11 ноября или будет назначено заседание на другое число.

Я ездила в суд, в совет присяжных поверенных, и узнала там *наверно*, что 11-го дело разбираться не будет. С своей стороны Федор Михайлович старший спрашивал совета у присяжного поверенного Гаевского (тоже знаменитость) [2], и тот подтвердил ему, что 11-го разбирательства дела не будет и что в этот день только назначат день заседания и ни в каком случае раньше недели. Таким образом, мы полагаем, что заседание будет после 20-го и что Лохвицкий будет нас защищать ⟨...⟩

Я хотела известить вас о письме Лохвицкого тотчас, как мы получили его, но решила отложить, пока мы не спросили мнения у присяжных поверенных.

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 57.

[1] А. В. Лохвицкий писал Достоевскому 1 ноября 1877 г., в ответ на не дошедшее до нас письмо:

«Многоуважаемый Федор Михайлович! С 25 октября я был в Петербурге, сегодня возвратился и застал ваше письмо, на которое спешу отвечать.

Мне было бы *особенно* приятно помочь вам в вашем деле, но не могу вам обещать по следующей причине: 15 ноября назначено в Бирюче к слушанию уголовное дело, по которому я состою защитником; по расчислению поездов я должен выехать из Москвы 10-го и никак не позже 11 ноября. Вы видите, что я не могу быть в Петербурге 11 ноября ⟨...⟩ Может быть, заседание для слушания дела по существу будет назначено после 20 ноября, тогда я могу быть в Петербурге и охотно являюсь вашим защитником. Сверх того, может быть, дело в Бирюче будет отложено (как это случилось уже два раза),— тогда я также могу приехать в Петербург к сроку. Я хорошо понимаю, что вам нельзя останавливаться на гадательных предположениях о моей явке и следует избрать себе другого поверенного, кроме того случая (маловероятного), что заседание по существу будет назначено после 20 ноября. Справьтесь об этом и уведомьте меня.

Во всяком случае, даю вам слово, если вы признаете нужным, защищать ваше дело в Судебной палате. С истинным уважением остаюсь преданный вам А. Л о х в и ц к и й» (копия рукой А. Г. Достоевской. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 27).

[2] Виктор Павлович *Гаевский* (1826—1888) — историк литературы и юрист, один из членов-основателей Литературного фонда.

134. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨С.-Петербург⟩ 14 ноября 1877 г.

... В пятницу я заходил в окружной суд, где мы сговорились встретиться с Анной Григорьевной. Разбирательства дела, конечно, не было. Как вы и писали, стороны приглашались только в канцелярию для предварительных совещаний; но, кроме нас с Анной Григорьевной, никого не было; в суде нам сообщили, что ответчики имеют право просить о назначении дня для разбирательства дела только в этот день, т. е. в пятницу до трех часов дня; так как Федор Михайлович сначала не приехал, то Анна Григорьевна тотчас отправилась за ним и потом вместе они опять поехали в окружной суд; о результатах этого посещения Анна Григорьевна уведомила меня на следующий день письмом: в суде они говорили с товарищем председателя и когда просили, чтобы дело было назначено после 20 ноября, то он им ответил, что разбирательство будет не так скоро; дело в том, что один из Ставровских живет за границей, и о вызове его будут печататься в «Сенатских ведомостях» три раза объявления, а если через *шесть* месяцев он не приедет, то дело будет разбираться без него. Почти вероятно, как говорят Федор Михайлович и Анна Григорьевна, он не приедет раньше шести месяцев; если бы он был истцом — он поторопился бы приехать, а так как он в этом деле является ответчиком, то он если и узнает каким-нибудь образом о вызове в суд, то будет откладывать свой приезд или наем адвоката до последней возможности. Таким образом, как говорит и товарищ председателя, дело будет разбираться не раньше как через семь месяцев ⟨...⟩

Вчера мы собирались с мамой к Федору Михайловичу, но не отправились, потому что Анна Григорьевна написала нам, что в воскресенье утром они будут в концерте [1].

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 27.

[1] В воскресенье 13 ноября в зале Дворянского собрания состоялся «последний утренний русский концерт» Д. А. Славянского («Новое время», 1877, № 615, 13 ноября).

135. Д. И. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 14 ноября 1877 г.

... ⟨Вчера вечером⟩ пришел Саша и предложил мне, не пойду ли я с ним завтра, т. е. в воскресенье, к Федору Михайловичу, чтобы вместе поговорить с ним о том, чтобы Лохвицкий взялся защищать твое дело; при этом Саша сказал: «Отчего бы папе самому не написать Федору Михайловичу?..» Я сказала Саше, чтобы он вел переговоры по этому делу без меня; но потом подумала и сказала, что приду к нему завтра на квартиру и там решу, пойду ли я с ним или нет? В воскресенье я пораньше собралась и вышла из дому еще до завтрака и пришла к Саше около двух часов (а мы с ним условились, чтобы он меня ждал только до трех часов). Саша очень любезно меня принял; угостил отличным кофе и сообщил, что к Федору Михайловичу идти не нужно: Анна Григорьевна предупредила его запиской, содержание которой Саша, вероятно, тебе сообщил [1]. Я, разумеется, осталась довольна, что мне не нужно объясняться по этому делу с Федором Михайловичем ⟨...⟩

Сейчас была Анна Григорьевна, я ей сказала о твоем желании, т. е. об Лохвицком, она сказала, что Федор Михайлович непременно ему скажет об этом. Приглашала меня обедать в следующее воскресенье, но я не обещала ей наверное, может быть, в этот день будут крестины [2]...

Автограф. ЛБ, ф. 93. III.10.32.

[1] См. п. 134.

[2] В письме, написанном 20 ноября, накануне отъезда из Петербурга, Доменика Ивановна сообщила мужу: «Саша выдержал у Грубера ⟨...⟩ Сегодня мы с ним обедаем у Федора Михайловича» (Авт. ЛБ, ф. 93.III.10.32).

18 ноября Е. А. Рыкачева писала отцу, А. М. Достоевскому: «...Володя немного беспокоился вчера, но ночь провел хорошо. Сегодня мы хотим его окрестить; из посторонних никого не будет, кроме дяди Федора Михайловича и Анны Григорьевны, и то мы не знаем, придет ли еще дядя; Анна же Григорьевна будет...» (Авт. ЛБ, ф. 93.III.10.32).

136. Д. Л. МОРДОВЦЕВ — В. Д. АЛЕКСАНДРОВОЙ

С.-Петербург. 21 декабря 1877 г.

... 13 декабря был второй литературный обед (сначала была повестка, что собираться в клубе, который позволили открыть, но потом, по неустройству еще в клубе, опять собрались у Палкина)[1]. На этом обеде, между прочим, были: Стасюлевич, Спасович, Плещеев, Курочкин, Полетика, Бутлеров, Гайдебуров, Достоевский, проф. Андреевский, Вейнберг, Микешин, Полонский-поэт, Скабичевский, Чубинский, Максимов, Каразин и т. д., и т. д. После обеда был выбор обеденного комитета, закрытою баллотировкою. Смешной эпизод: нужно было выбрать шесть членов, и надо было шесть имен написать на карточке. Сижу и пишу, кого выбрать — Стасюлевич, Спасович, Менделеев, Бутлеров — ну и думаю, кого бы еще вписать? Вдруг подбегает ко мне молодой блондин и шепчет: «Пишите Мордовцева».— «Да я сам Мордовцев»,— отвечаю ему; сконфузился, смеется. Оказалось, что это Станюкович, который не знал меня в лицо. Стали считать шары: больше всех голосов оказалось в пользу прошлогодних

членов комитета (бюро) — Стасюлевича, Спасовича, Бутлерова, Менделеева, Гайдебурова и Боборыкина. Когда считали шары, то мое имя часто слышалось, но потом объявили, что я потому не попал в число членов комитета, что Боборыкин превысил меня несколькими голосами. Да мне и некогда было бы исполнять эту обязанность. Еще эпизод во время счета голосов: развертывают бумажку с именами кандидатов и читают:

Стасюлевич, Плещеев, Спасович
И Полонский Иаков Петрович,
Достоевский и Бутлеров — вот комитет,
Идеальней которого нет!

Хохот. Это Вейнберг состряпал тут же. После обеда Микешин (известный памятникосочинитель Николая, Екатерины и пр.), Чуйко и Станюкович (сконфузившийся-то) ловят меня, увлекают в сторону и подъезжают с тем, чтобы я открыл у них в «Пчеле» [2] (с рисунками) ряд бесед, подобных м-ру Плюмпудингу, который производит эффект. Ну, нечего делать — обещал им давать славянские беседы от имени не Плюмпудинга [3], а брата-славянина ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 320, оп. 2, ед. хр. 1.

Даниил Лукич *Мордовцев* (1830—1905) — историк и романист. Письмо адресовано его дочери Вере Даниловне.

[1] А. Г. Достоевская отмечала в «Воспоминаниях»: «Припоминаю, что в начале 1878 года Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в „Малоярославце" и др. Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Д. И. Менделеева. На этих обедах собирались исключительно литераторы самых различных партий, и здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах» (стр. 326).

[2] Михаил Матвеевич *Стасюлевич* (1826—1911) — историк, редактор-издатель «Вестника Европы». Василий Аполлонович *Полетика* (? — 1888) — издатель «Биржевых ведомостей» и «Молвы». Александр Михайлович *Бутлеров* (1828—1886) — известный химик. Павел Александрович *Гайдебуров* (1841—1893) — редактор-издатель «Недели». Иван Ефимович *Андреевский* (1831—1891) — юрист. Петр Исаевич *Вейнберг* (1831—1908) — поэт и переводчик. Михаил Осипович *Микешин* (1836—1896) — скульптор и художник. Александр Михайлович *Скабичевский* (1838—1910) — литературный критик, сотрудник «Отечественных записок». Павел Платонович *Чубинский* (1839—1884) — этнограф и статистик. Николай Николаевич *Каразин* (1842—1908) — романист, художник, военный корреспондент «Нового времени».

[2] *«Пчела»* — «русская иллюстрация, журнал искусства и литературы, политики и общественной жизни», выходил в Петербурге в 1875—1878 гг. (ранее этот журнал назывался «Сияние»).

[3] Под псевдонимом *Джемс Плумпудднинг-эсквайр* Мордовцев печатал свои фельетоны в «Новом времени».

137. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 20 февраля 1878 г.

... В пятницу, возвратившись домой с лекций, застал письмо от Анны Григорьевны Достоевской, в котором она приглашает меня прийти к ним обедать. К обеду пришли также Рыкачевы с Варей, потом Николай Михайлович, Федор Михайлович младший, родственник Анны Григорьевны Сниткин [1] с женой и, наконец, пасынок Федора Михайловича, фамилии коего не знаю [2]. Причина такого званого обеда — именины Федора Михайловича. Обед был очень хорош — было даже шампанское. После обеда мы все отправились по домам ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 28.

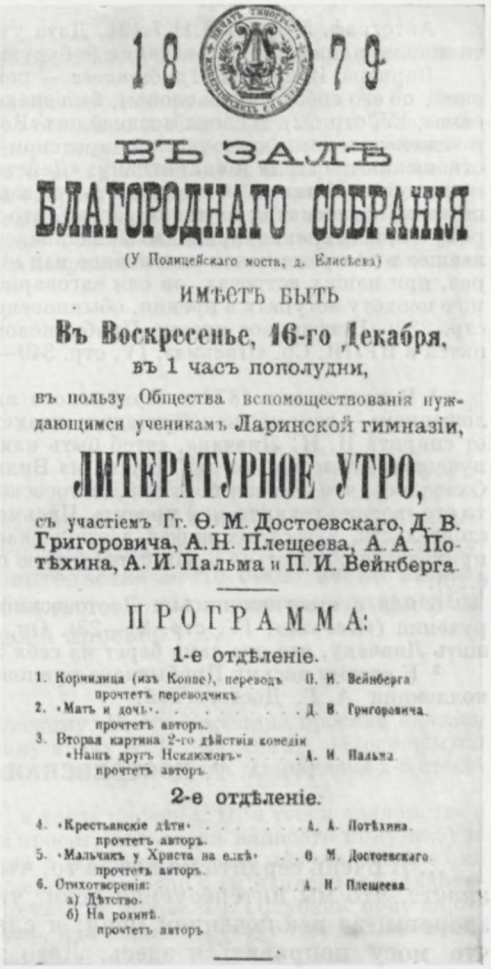
[1] Об *А. Н. Сниткине* см. в п. 115.

[2] П. И. Исаев.

ПРОГРАММА ЛИТЕРАТУРНОГО УТРА В ПОЛЬЗУ НУЖДАЮЩИХСЯ УЧЕНИКОВ ЛАРИНСКОЙ ГИМНАЗИИ С УЧАСТИЕМ ДОСТОЕВСКОГО 16 ДЕКАБРЯ 1879 г.

Достоевский читал рассказ «Мальчик у Христа на елке»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва



1879

ВЪ ЗАЛѢ
БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ

(У Полицейскаго моста, д. Елисѣева)

ИМѢЕТЪ БЫТЬ

Въ Воскресенье, 16-го Декабря,
въ 1 часъ пополудни,

въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся ученикамъ Ларинской гимназіи,

ЛИТЕРАТУРНОЕ УТРО,

съ участіемъ Гг. Ѳ. М. Достоевскаго, Д. В. Григоровича, А. Н. Плещеева, А. А. Потѣхина, А. И. Пальма и П. И. Вейнберга.

ПРОГРАММА:

1-е отдѣленіе.

1. Корчмица (изъ Конве), переводъ . . . О. И. Вейнберга
прочтетъ переводчикъ.
2. «Мать и дочь». . . . . Д. В. Григоровича.
прочтетъ авторъ.
3. Вторая картина 2-го дѣйствія комедіи «Нашъ другъ Неклюжевъ» . . . А. И. Пальма.
прочтетъ авторъ.

2-е отдѣленіе.

4. «Крестьянскіе дѣти» . . . . . А. А. Потѣхина.
прочтетъ авторъ.
5. «Мальчикъ у Христа на елкѣ» . . Ѳ. М. Достоевскаго.
прочтетъ авторъ.
6. Стихотворенія: . . . . . А. Н. Плещеева.
а) Дѣтство.
б) На родинѣ.
прочтетъ авторъ.

138. А. Н. СНИТКИН — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 11 апреля 1878 г.

Не нахожу слов благодарить тебя за оказанное одолжение. Еще более благодарен Федору Михайловичу [1]. Вчера я был у Тришина, и сверх всяких ожиданий устроилось дело без всяких солдатских рассуждений. Напротив, все точно уже было сделано и распоряжено, и Тришин оказался очень приятным человеком. Я ему заплатил 5 рублей 40, т. е. за три месяца...

Автограф. ИРЛИ. 30373.с.CXIII65.

[1] Достоевский дал ростовщикам Тришиным письменное поручительство за Сниткина. См. п. 143.

139. В. И. ПРИБЫТКОВА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› Лесной корпус, 8 мая ‹1878 г.›

... Ливчаку я написала, как советовал Федор Михайлович, спрашиваю его о согласии действовать одной [1]; в четверг жду ответа, по получении которого через два дня уеду в Москву [2] ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.7.121. Дата уточняется по упоминанию в опускаемой части письма о предстоящем издании (с будущего года) журнала «Русская речь».

Варвара Ивановна *Прибыткова* — петербургская спиритка, с которой Достоевский, по его собственным словам, был знаком «лишь самым отдаленным образом» («Письма», IV, стр. 22). В своих позднейших «Воспоминаниях о Достоевском», напечатанных в «еженедельном загадочном» спиритском журнале «Ребус», она замечала по поводу отношения писателя к спиритизму: «Действительно, Федор Михайлович не любил его, не раз уговаривал он меня оставить эти занятия, по его мнению, вредные во всех отношениях, но, несмотря на такой взгляд, что-то тянуло его к нелюбимому вопросу, которому он, несомненно, придавал значение, очень серьезное, и резко осуждал существовавшее в то время почти поголовное над ним глумление. Очень часто, если не всякий раз, при наших встречах, он сам заговаривал о спиритизме, не обращая внимания на мою неохоту вступать в прения, обыкновенно кончавшиеся ничем» («Ребус», 1885, № 25, стр. 230). Неизданное письмо Прибытковой к Достоевскому (26 октября 1873 г.) хранится в ИРЛИ. Ср. «Письма», IV, стр. 349—350.

[1] В начале мая 1878 г. Прибыткова явилась к Достоевскому «со странным предложением» — вскрыть какой-то ящик и пакет, которые должны были прибыть на его имя от спирита И. Н. Ливчака, «чтоб быть каким-то свидетелем чего-то и почему-то». Полученное затем письмо от Ливчака из Вильны, датированное 2 мая, разъяснило дело. Оказалось, что Ливчак поручал Достоевскому «продвинуть» в «высших сферах» какой-то его «военно-технический проект». Письмо это начиналось словами: «По стечению обстоятельств, известных нашей достоуважаемой Варваре Ивановне Прибытковой, мне приходится обратиться к вам с некоторою оригинальной просьбой» (Авт. ЛБ, ф. 93.II. 6.26).

6 мая в ответном письме Достоевский наотрез отказался от выполнения этого поручения («Письма», IV, стр. 21—23). Он, вероятно, посоветовал Прибытковой сообщить Ливчаку, что она сама берет на себя это дело.

[2] К своему письму Прибыткова приложила автографы В. В. и Т. П. Пассеков для коллекции А. Г. Достоевской.

140. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Старая Русса. 17 июля 1878 г.›

... Я очень сердита на вас за то, что вы не подаете о себе вести, а вы сами знаете, что мы интересуемся всем, что до вас относится. Мы, слава богу, здоровы, за исключением меня; я слабею все более и более и не думаю, что могу поправиться здесь. Лето это самое тоскливое, какое я когда-либо проводила: все вспоминаешь бедного милого Лешу, и так жалко, больно, что его уже нет. Я жду — не дождусь осени; авось при моей всегдашней беготне я не буду так чувствовать нашу потерю. Федор Михайлович ездил в Москву и в Оптину Пустынь, проездил две недели и вернулся очень оживленный [1]. Теперь он засядет за работу и проработает до глубокой осени. У него теперь Федор Михайлович [2], и сегодня его концерт, который, вероятно, удастся. К нашей досаде, здесь очень дурная погода и почти каждый день дождь. Это заставляет сидеть дома и ужасно расстраивает нервы. У нас была жена моего брата [3] и оставила здесь своего сына, мальчика лет пяти, лечиться ваннами. Они ему очень помогли, и мальчик поздоровел. Не знаю, когда мы вернемся в город, сколько придется вынести суетни при приезде в город и найме квартиры, страшно подумать! ‹...›

Мама и дети велели передать поклон; Федор Михайлович сам будет писать вам ‹...›

18 июля 1878 г.

С Федором Михайловичем в эту ночь был сильный припадок, и он не в состоянии писать вам. Он поручил мне передать вам, что у Федора Михайловича младшего находятся для вас десять рублей. Федор Михайлович жалеет, что не может прислать больше. Не будете ли вы как-нибудь в городе и не зайдете ли в суд узнать о нашем деле? Очень бы обязали ‹...›

Концерт имел значительный успех.

Автограф. ИРЛИ. 20413.с.CXIII69.

[1] Трехлетний сын Достоевского Алеша умер от эпилептического припадка 16 мая 1878 г.

«Федор Михайлович был страшно поражен этой смертию,— писала А. Г. Достоевская в своих воспоминаниях.— Он как-то особенно любил Лешу почти болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится ‹...› Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину Пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной Пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича» (стр. 322). Поездка эта, отразившаяся в ряде глав «Братьев Карамазовых», состоялась в конце июня 1878 г.

[2] Племянник Достоевского.

[3] Ольга Кирилловна *Сниткина*.

141. В. М. КАРЕПИНА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹Москва› 5 августа ‹1878 г.›

... Милая сестра Анна Григорьевна, обращаюсь и к вам с моею покорнейшею просьбою: попросите брата Федора Михайловича написать кому он сочтет лучше и попросить о покровительстве . Не смею очень надоедать вам, но вы можете судить, какое большое одолжение вы сделали бы для меня, если б напомнили брату о моей просьбе [1] ...

Автограф. ИРЛИ. 29736.с.CXI66.

[1] В том же письме, обращаясь к Достоевскому, В. М. Карепина просила оказать содействие ее тяжело больному сыну, военному врачу А. П. Карепину, находящемуся на фронте,— в скорейшем получении очередного чина и ордена Станислава 2-й степени:

«Милый брат, так как, по совету твоему, я тогда писала А. П. о твоем знакомстве с Радецким и Главнокомандующим, то А. П. и просит, нельзя ли написать кому-нибудь из этих высокопоставленных особ и попросить о покровительстве, покуда еще все они находятся на театре войны. Милый брат, я уверена, что если б ты написал к Главнокомандующему, то ради тебя он сделал бы что-нибудь для А. П. Голубчик мой, не откажи в нижайшей моей просьбе. Ты уж знаешь, как написать, стоит тебе только пожелать сделать для меня эту милость».

142. В. Д. ШЕР — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Москва. 14 октября 1878 г.

... Получил я письмо от вашего брата Федора Михайловича, в котором он изъявляет согласие на продажу семидесяти десятин [1], но, во-первых, клочок этот не обмерен, и нет на него плана; может быть, в нем будет больше, может быть меньше; во-вторых, не имея доверенностей от всех вас, Достоевских, я не могу взять задатка; поверенного своего ни племянники ваши, ни Федор Михайлович присылать не хотят. Если вы желаете, чтоб эта продажа состоялась, чего очень желают мамаша и Ставровские, то, пожалуйста, сообщите всем вашим, что необходимо им прислать их поверенного, или же выслать мне доверенность. Очень жаль, если продажа эта не состоится, мы замучаем покупателей нашим несогласием ‹...› Непременно нужно, чтобы Федор Михайлович дал доверенность ‹...› Будьте так добры, сообщите мне адрес вашего брата Федора Михайловича и Полякова Бориса Борисовича ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 312, ед. хр. 218.

[1] Письмо Достоевского, датированное 11 октября 1878 г. («Письма», IV, стр. 37).

143. А. Н. СНИТКИН — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 15 октября ‹1878 г.›

Добрейшая Анна Григорьевна, сегодня получил твое письмо, в котором ты меня упрекаешь в бесчестном поступке в отношении тебя по неуплате долгу Тришину [1]. Конечно, с первого разу нет ему и извинения, но разбери строго, и тогда ты не будешь так неумолима ко мне. Во-первых, часто, как ты сама знаешь, самый честнейший человек делает бесчестный поступок от безвыходного положения. Он бы и рад быть образцом честности, да трудно перенести голод и всяческие лишения своей семьи ‹...› Когда я был последний раз у Тришина и отдавал ему двадцать рублей, он выражал готовность и отсрочить при условии платежа процентов ‹...› Перед отъездом я послал ему сказать, что Анна Григорьевна заплатит ему, по приезде, рассчитывая, что я тебе вышлю к этому времени, но не удалось ‹...› Ты, намекая мне на требования чести, сама хочешь сделать поступок неблагородный в отношении ничем не повинной моей жены.Она даже и не знает про Тришина ‹...›, а ты хочешь в день отъезда на всю дорогу дать мучений, приехав с нею объясняться по поводу этого дела. Но что тебе это поможет,— кроме того, что даст мне новые муки, которые не заплатят тебе долга? Вместе с твоим письмом получил от нее, где она пишет, что «еду прощаться с Нюшей и Федором Михайловичем». Хороша она поедет от вас?..

Автограф. ИРЛИ. 30373.с.СХШб5.

[1] *Это письмо А. Г. Достоевской не сохранилось.*

30 августа, откликаясь на неизвестное письмо Достоевского, И. Тришин писал: «Письмо ваше от 27 августа я получил 28 числа и спешу отвечать вам, что Сниткин был у нас того же числа вечером и отдал только 20 рублей и уплатил проценты, а остальные сорок рублей он обещал отдать 8 сентября, ибо он тогда получит прогонные деньги. Насчет тридцати рублей он сказал, что не должен их вам, а когда мы показали ему ваше вышеупомянутое письмо, тогда он сказал, что сам будет писать вам об них» (Авт. ИРЛИ. 29873.с.СХІб12). Как явствует из публикуемого письма, Сниткин снова отказался уплатить Тришину, и долг таким образом пал на его поручителя — Достоевского. Этим и было вызвано негодующее письмо Анны Григорьевны.

144. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. 16 ноября 1878 г.›

... Вы, вероятно, уже знаете из письма Евгении Андреевны, что заседание по нашему делу назначено 23 сего ноября. К нашему большому горю, Лохвицкий не может вести нашего дела, так как исключен из состава присяжных поверенных. Сегодня Федор Михайлович был у другой здешней знаменитости, Гаевского, юрисконсульта Государственного банка. Хоть Гаевский и очень хорош с Федором Михайловичем, но не взялся вести дело, так как кончает свою карьеру. Он рекомендовал Федору Михайловичу очень добросовестного адвоката Вильгельма Осиповича *Люстига* [1] и, кроме того, обещал вместе с Люстигом просмотреть наше дело и дать нужные советы. Завтра Федор Михайлович увидится с Люстигом, и решится вопрос, будет ли он вести дело. Так как нужна от вас доверенность, то в случае благоприятного ответа от Люстига, мы будем вам телеграфировать, прося вас выслать доверенность на имя присяжного поверенного Вильгельма Осиповича Люстига ‹...›

Федор Михайлович просит передать вам и многоуважаемой Доменике Ивановне его уважение. Федор Михайлович недавно вернулся из Москвы и не совсем хорошо себя чувствует, а потому и поручил мне написать вам ‹...›

Веселовского [2] мы решили *не брать*, по причинам, о которых трудно в письме рассказывать ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 56.

[1] Вильгельм Иосифович *Люстих* (1844—1915) — адвокат, член Совета присяжных поверенных, защитник крестьянки Корниловой на судебном процессе, освещавшемся в «Дневнике писателя».
[2] О *Веселовском* см. в примеч. 1 к п. 70.

145. Н. Н. СТРАХОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 16 ноября 1878 г.

... Случилось что-то необыкновенное. Мой начальник Иван Давыдович Делянов [1] позвал меня сегодня. Поэтому позвольте мне обедать у вас завтра, в пятницу, если это возможно. Вчера я надеялся видеть Федора Михайловича у Мещерского и ждал его там до одиннадцати часов. Потом, вообразивши, что, может быть, его увлекли Штакеншнейдеры, я поехал к ним и очень их удивил,— словом, я там накушался, как только возможно. Усердно прошу вас извинить меня, что не известил вас раньше, теперь пишу к вам, потому что вы, верно, уж встали, а Федор Михайлович — еще нет [2] ...

Автограф. ИРЛИ. 30283. с.CXIIб6.

[1] Граф Иван Давыдович *Делянов* (1818—1897) — попечитель Петербургского учебного округа; в 1882—1887 гг.— министр народного просвещения.
[2] Достоевский, как известно, работал ночами и поэтому нередко вставал очень поздно.

146. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 19 ноября 1878 г.

... Сейчас я вернулась от Люстиха и по совету мужа пишу вам. Люстих, как вы знаете из вчерашней телеграммы [1], взялся вести дело и просил, чтоб вы выслали ему доверенность. Но, рассмотрев дело, он пришел к убеждению, что мы *проиграем наверно* ‹...› Люстих советует нам покориться и согласиться уплатить Александре Михайловне 1157 рублей ‹...› Мы, т. е. муж и я, еще не решили окончательно, помириться или нет, но считаем долгом представить вам это обстоятельство на вид, чтобы после не было каких недоразумений ‹...› Ужасно нас волнует это проклятое дело ‹...› Советовать вам что-либо в этом деле мы ничего не можем, потому что сами еще не решили, как мы поступим; но уведомить вас, *во всяком случае*, Федор Михайлович счел необходимым ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 56.

[1] Эта телеграмма неизвестна.

147. И. Ф. ЗОЛОТАРЕВ — А. Н. МАЙКОВУ

‹С.-Петербург› 19 ноября ‹1878 г.›

... Совет нашего Славянского общества дает послезавтра, *во вторник, в ресторане Демута скромный и недорогой обед* приехавшему сюда министру народного просвещения в Сербии Васильевичу, которого и Москва чествовала трапезою как патриота, преданного нам и искренне любящего Россию [1]. Мне поручено убедительнейше просить вас, а через вас и

Ф. М. Достоевского [2] принять участие в этом обеде. Будет до тридцати человек. Хотим быть во фраках. Обед в шесть часов. Не откажите ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.6.44.

Иван Федорович *Золотарев* (1813—1881) — чиновник Министерства внутренних дел, член Русского географического общества, делегат, как и Достоевский, от Славянского благотворительного общества на Пушкинских торжествах 1880 г.

[1] 23 ноября 1878 г. в «С.-Петербургских ведомостях», № 323 сообщалось:

«На днях приехал в Петербург министр народного просвещения и духовных дел Сербии Алимпий Васильевич.

Приезд дорогого сербского гостя особенно потому был приятен для России и русского общества, что сербское правительство решило ввести преподавание русского языка как главного предмета во все школы Сербии, и начало это введение с великой школы, семинарий и учительских семинарий. Алимпий Васильевич, по положению своему, призван привести эту меру к осуществлению. Благодаря этой мере, весь сербский грамотный и интеллигентный люд сольется в одно умственное целое с громадною массою русского населения. В Петербурге Алимпий Васильевич был принят всеми с чрезвычайным радушием и вниманием».

На обеде, состоявшемся 21 ноября, Достоевский, по-видимому, не присутствовал (см. перечисление «друзей славянства», участвовавших в этом обеде — среди них был Майков, и текст речей, в той же газете, № 324, 24 ноября. Ср. «Новости», № 302, 25 ноября).

[2] На автографе публикуемого письма Майков вечером 20 ноября сделал следующую надпись:

«Пересылаю вам, любезнейший Федор Михайлович, это письмо. Автора его — Золотарева, кажется, вы знаете; если ж нет, то из почерка увидите, какой это почтенный человек».

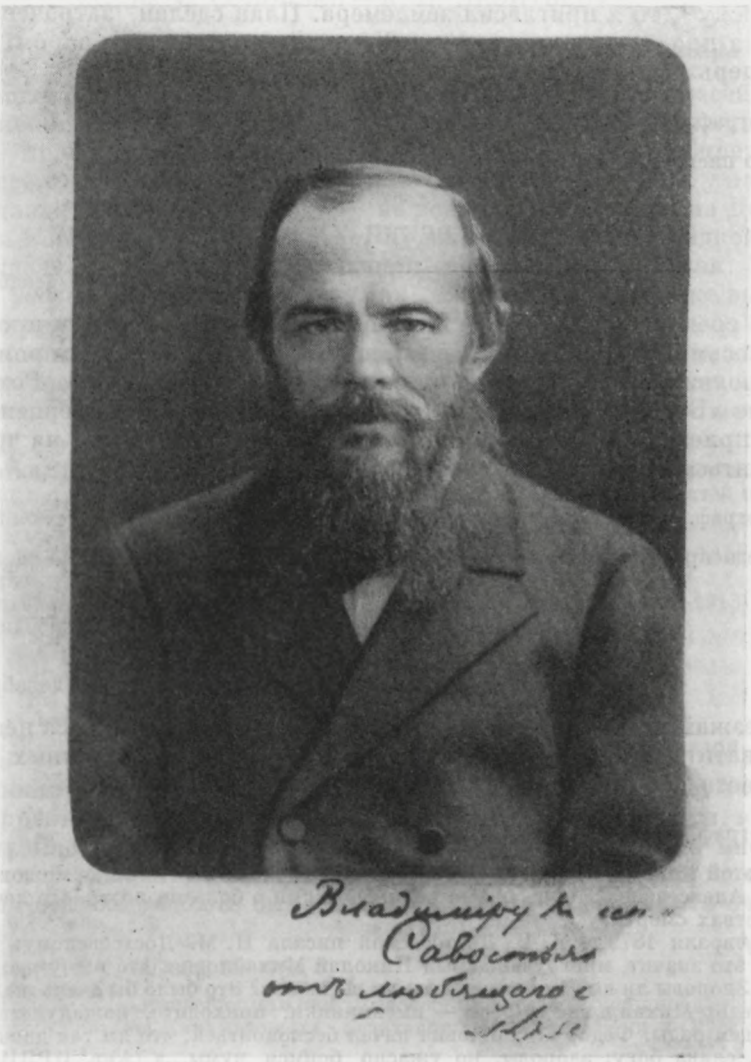
143. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 30 ноября 1878 г.

Позвольте вас поздравить, многоуважаемый брат Андрей Михайлович, с днем вашего ангела и от души пожелать вам здоровья, счастья и всякого благополучия. Федор Михайлович просит передать вам его поздравления и пожелания всего лучшего. Простите меня, что я замедлила сообщить о результате заседания. Я была в суде, и дело, по просьбе Люстиха, было отложено на неопределенное время в виду того обстоятельства, что Люстиху не была представлена вовремя копия с решения Сената по делу Николая Михайловича. На суде был приехавший из Москвы собственно на это заседание поверенный госпожи Шер, присяжный поверенный Попов. Он настаивал, чтоб дело было выслушано, но суд все-таки отложил заседание. До заседания Люстих долго разговаривал с Поповым, и тут вдруг выяснилось одно странное обстоятельство, а именно: Попов утверждает, что госпожа Шер хочет отказаться от наследства, так как оно будто бы слишком малоценно, и хочет предоставить его наследникам *по завещанию*, то есть чтобы каждый наследник *по завещанию* вступил в общее владение. Может случиться такая вещь, что Федор Михайлович не будет иметь никаких прав на это имение, так как он наследник *по закону*, а не *по завещанию*. Каким же образом Федор Михайлович может заключить перемирие с Александрой Михайловной? Он обяжется выплатить ей в определенный срок 1157 рублей, а сам будет лишен своей части в наследстве. Нам в таком случае будет выгоднее вовсе отказаться от наследства, чтоб не пришлось приплачивать из своих собственных денег. Вообще мы теперь находимся в самом неопределенном положении. Мы решили дождаться вашего приезда в Петербург для того, чтоб, собравшись вместе, решить, как нам теперь поступить [1]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 56.

[1] См. п. 144.



ДОСТОЕВСКИЙ

Фотография К. Шапиро, Петербург, 1879

С дарственной надписью Достоевского мужу его племянницы В. А. Савостьяновой (дочери А. М. Достоевского): «Владимиру Константиновичу Савостьянову от любящего его Ф〈едора〉 Дост〈оевского〉»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

149. В. Д. ШЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Москва. 3 декабря 1878 г.

Спешу вас уведомить, что мои доверители согласны на раздел и даже предлагают приступить к разделу по планам специального размежевания. Потрудитесь согласить всех ваших, Николая Михайловича и племянников 〈...〉 Продажа Шеиной, кажется, не состоится вследствие вашего несогласия; пока я вел с вами переговоры, купец, который желал купить, уже передумал, предлагает теперь другие условия, на которые я не могу согласиться. Так как я получил от Феодора Михайловича письменное согласие

на продажу [1], то я пригласил землемера. План сделан, затрачены на него деньги, а продажа не состоялась. Хлопоты мои пропали даром. Чем платить теперь недоимки? ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, ед. хр. 218.

[1] Это письмо Достоевского к Шеру неизвестно.

150. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 9 декабря 1878 г.

... В среду [1] был у Федора Михайловича. У них обедал и просидел часов до восьми. Федор Михайлович теперь сильно занят своим романом, который появится в январской книжке «Русского вестника». Роман носит название «Братья Карамазовы». Анна Григорьевна с нетерпением ждет вашего приезда, чтобы, как она говорит, всем Достоевским на чем-нибудь остановиться относительно дела ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 28.

[1] Среда приходилась на 6 декабря.

151. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 29 декабря 1878 г.

Приезжайте к нам завтра, 30 декабря, в субботу, в два часа непременно. Не захватите ли с собою книжку за октябрь «Отечественных записок», столь часто забываемую [1]?..

Автограф. ИРЛИ.30413.с.СХШб9. Почтовая открытка.

[1] В этой книжке «Отеч. записок» напечатан очерк Н. А. Белоголового «Болезнь Николая Алексеевича Некрасова» с подробностями о болезни поэта, его лечении и обстоятельствах смерти.

15 февраля 1879 г. А. Г. Достоевская писала Н. М. Достоевскому:

«Что это значит, многоуважаемый Николай Михайлович, что вы у нас так давно не были? Здоровы ли вы? Уж не сердиты ли вы на нас? Это было бы очень жаль. Послезавтра Федор Михайлович и Федя — именинники; приходите, пожалуйста, обедать. Очень будем рады. Федор Михайлович начал беспокоиться, что вы так давно не были ‹...› Мы, слава богу, здоровы, но ужасно боимся чумы...» (Авт. ИРЛИ. 30413.с. СХШб9).

152. А. М. ДОСТОЕВСКИЙ — Л. Н. ТРЕФОЛЕВУ

С.-Петербург. 1 января 1879 г.

... Изредка, но, впрочем, не изредка, а довольно часто, я бываю у брата Федора Михайловича, который, впрочем, теперь сильно занят печатанием в «Русском вестнике» своего нового романа («Братья Карамазовы»). Сегодня у него семейный обед, и вся моя семья из четырех отдельных домов будет у него обедать как у старшего в роде Достоевских, кроме, впрочем, Вари [1], которая, увы, и до сих пор еще в ожидании прибавления семейства [2] ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 507, оп. 1, ед. хр. 159.

Леонид Николаевич *Трефолев* (1839—1905) — поэт, историк Ярославского края, поддерживал многолетние дружеские отношения с А. М. Достоевским и его семьей, постоянно жившими, как и Трефолев, в Ярославле.

[1] Дочь А. М. Достоевского — Варвара Андреевна *Савостьянова* (1858 — после 1933).

[2] Этим днем датирована записка Достоевского к брату Николаю, в которой писатель жаловался на нездоровье и безденежье («Письма», IV, стр. 45).

153. Вс. С. СОЛОВЬЕВ — К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Царское Село. 6 января 1879 г.

... С вашим мнением о романе Маркевича я не совсем согласен,— несмотря на некоторые его достоинства, в общем он мне кажется изрядно скучным [1], и, право, я прочел с гораздо большим интересом «Скрежет зубовный» Авсеенки [2]. Но и то и другое — не бог весть что́: совсем у нас мало истинных талантов. Вот теперь жду — не дождусь нового романа Достоевского — он в последние годы страдает художественной лихорадкой и пишет так: удачная вещь, потом неудачная, потом опять удачная. Теперь очередь за *удачным* романом — авось так оно и будет. Когда же вы подарите нам что-нибудь из русской жизни? — ведь хоть и Козельск, хоть и Оптина Пустынь — но все же и там русским духом пахнет, даже, конечно, гораздо больше, чем в нашем Петербурге. Вот Достоевский так нарочно ездил в Оптину Пустынь прошлым летом для первых глав своего романа ...

Автограф. ГЛМ. ОФ. 5040.3.

Константин Николаевич *Леонтьев* (1831—1891) — романист, публицист и критик, один из видных представителей позднего славянофильства, автор ряда статей о Достоевском. Письмо его, на которое отвечает Соловьев, неизвестно. См. п. 158.

[1] Роман Б. М. Маркевича «Четверть века назад», печатавшийся в 1878 г. в «Русском вестнике».

[2] В «Скрежете зубовном» Василия Григорьевича *Авсеенко* (1842—1913) описывалось великосветское общество и высшее чиновничество.

154. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 16 января 1879 г.

... Напишите два словечка о здоровье Федора Михайловича и о том, дошли ли корректуры до места своего назначения [1]. Посылаю книги, которые Федор Михайлович желал, и прошу, если можно, возвратить мне Золя «Assomoir», он лежит у Федора Михайловича на письменном столе [2]. И еще, если бы возможность была дать мне «Русскую речь» [3], то очень бы одолжили ...

Автограф. ИРЛИ. 30335.с.CXIIб9.

[1] Вероятно А. Г. Достоевская или сам Достоевский дали Штакеншнейдер для прочтения верстку «Братьев Карамазовых», печатавшихся в это время в «Русском вестнике».

[2] В переписке Достоевского откликов на «Западню» Золя нет.

В его библиотеке находилось пять романов Золя на французском языке: «Завоевание Плассана», «Добыча», «Карьера Ругонов», «Проступок аббата Муре», и «Чрево Парижа» (см. Леонид Гроссман. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919, стр. 141).

[3] «*Русская речь*» — ежемесячный петербургский «журнал литературы, политики и науки». Выходил в 1879—1882 гг. под редакцией А. А. Навроцкого. Отдел «Критические беседы» в нем вел Е. Л. Марков.

155. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 29 января 1879 г.

... А как вы с Федором Михайловичем меня вчера разогорчили, никогда не забуду. Мама тоже ахнула о потерянном, когда я ей рассказала, в чем дело, и говорит: «Разве смели его просить?» Видите, что не все так умны и храбры, как ваши учителя, которые будут ставить (от чего боже упаси) единицы вашим детям, и как критики, которых Федор Михайлович велит уважать [1].

Еще забыла, все из-за того же, спросить у вас «Revue des Deux Mondes», если она больше не нужна Федору Михайловичу [2]. Фельетон Загуляева посылаю [3].

Автограф. ИРЛИ.30335.с.CXIIб9.

[1] По-видимому, Достоевские были накануне у Штакеншнейдеров. В чем суть эпизода, о котором идет речь в письме,— не выяснено.

[2] Вероятно Достоевский взял у Штакеншнейдер первую книжку парижского журнала «Revue des Deux Mondes» за 1879 г. Работая в это время над «Братьями Карамазовыми», он мог особенно заинтересоваться статьей Поля Жана «Del'instruction primaire au point de vue de Psychologie» («О первоначальном образовании с точки зрения психологии»).

В другой, недатированной записке Штакеншнейдер писала в это время Анне Григорьевне: «Не прочитал ли Федор Михайлович „Revue des Deux Mondes"? Если не прочитал, то я пришлю ему другой экземпляр завтра, а этот чужой, и надо его возвратить. Что делаете Федор Михайлович и вы? Надеюсь, что в будущую субботу вы будете у нас» (там же).

[3] Михаил Андреевич *Загуляев* (1834—1900) — публицист и беллетрист, редактор внутреннего отдела «Journal de St. Pétersbourg», постоянный посетитель салона Штакеншнейдеров. О каком его фельетоне идет речь — не установлено. Загуляев посвятил Достоевскому свою повесть «Скороспелки» («Огонек», 1880, №№ 46—52).

156. И. И. РУМЯНЦЕВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Старая Русса. 31 января ‹1879 г.›

... Очень дурные вести привозит к нам об вас Ал. Ал. Рудин [1]. Говорил, что Федор Михайлович плохо поправляется и у вас глаз болит. Ужели вся зима для вас будет такая неприятная? Сохрани вас господь! Особенно жаль, что болезнь, часто повторяющаяся, отнимает у Федора Михайловича много времени и мы не увидим ныне его «Дневника». Постарайтесь устроить, чтобы наступающее лето принесло вам больше пользы ‹...›

На ваше доброе участие ко мне могу отозваться теперь с одной довольно подходящей стороны ‹...› Но, добрая Анна Григорьевна, не тревожьте и Федора Михайловича с этим смыслом, а так, когда придется кстати, а не придется — то оставьте без внимания.— Я уповаю больше на милости от бога [2] ...

Автограф. ИРЛИ.30241.с.CXIIб5.

[1] Александр Александрович *Рудин* — знакомый Достоевских. См. о нем в «Письмах», IV, стр. 364.

[2] Румянцев рассчитывал, что Достоевский найдет возможность обратить внимание архиерея на его девятилетнюю безвозмездную службу при духовном училище, которая давала ему право на вознаграждение.

157. Н. А. СОЛОВЬЕВ-НЕСМЕЛОВ — И. З. СУРИКОВУ

‹С.-Петербург› 23 февраля 1879 г.

Вчера ‹...› прошел я к А. Н. Якоби [1]. Там узнал, что 9 марта будет литературный вечер в пользу Литературного фонда, где будут читать И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, М. Е. Щедрин, Я. П. Полонский, А. Н. Плещеев и еще кто-то [2] ... Просил достать и мне билет в один рубль — к А. Н. Плещееву уже было поздно тащиться ради разыскивания билета. Да и на душе было очень скверно, тем более, что здесь пришлось услышать о разных пошлостях людей, именующих себя литераторами молодых побегов,— пишущих стишки и т. п. Погрустили мы с А. Н. об измельчании и фатстве людей, играющих печатным словом, и я уехал домой ...

Автограф. ЛБ, ф.295.5336.29.

Николай Александрович *Соловьев-Несмелов* (1848—1901) — детский писатель, друг, корреспондент и биограф поэта Ивана Захаровича *Сурикова* (1841—1880).

[1] Об *А. Н. Пешковой-Толиверовой* (*Якоби*) см. в п. 126.

[2] В «Голосе», № 70, 11 марта 1879 г. сообщалось:

«*Литературный вечер*, состоявшийся вчера, 9 марта, в зале Благородного собрания, надолго останется в памяти тех, кому удалось присутствовать на нем. В нашей вялой форменной жизни так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление ‹...› Взрыв долго не умолкавших рукоплесканий встретил М. Е. Салтыкова. Талантливый сатирик выбрал для прочтения отрывок из „Современной идиллии“‹...› Вторая часть вечера открылась чтением Ф. М. Достоевского. Несколько секунд рукоплескания не давали Ф. М. Достоевскому начать чтение. Чрезвычайно удачный выбор отрывка из романа „Братья Карамазовы“ — „Рассказ по секрету“ — признанья Дмитрия Карамазова младшему брату своему Алексею,— в котором отразились все особенности дарованья и манеры автора, и прочувствованное чтение произвели сильное впечатление. В одном месте даже наша публика, холодная и щепетильная, не выдержала и прервала чтение взрывом рукоплесканий». Описав далее триумф Тургенева на этом вечере, репортер замечает: «Счастливы писатели, на чью долю выпадают такие искренние, такие всеобщие знаки глубокого уважения и любви, и еще более должны быть они счастливы сознанием, что все это ими заслужено честным служением родине».

10 марта 1879 г. Ольга Алексеевна *Новикова* (Киреева, 1840—1925) — известная публицистка славянофильской ориентации, автор книг и статей, посвященных англо-русским отношениям, писала Достоевскому: «...Я чуть не пла́чу: отчего вы ко мне не вошли? Карточку вашу мне отдали, но ведь я дома была и ждала вас, ждала, не могла дождаться. Просто горе! А вчера как вы читали великолепно: сердце радовалось. Но как это не нашлось доброго человека, чтоб посоветовать Салтыкову прочесть что-нибудь другое: все было бы лучше! Не смею просить вас к себе, но скажу вам по секрету, что если вы выберете минутку во вторник утром и мне его назначите, я буду дома и снова поджидать вас» (Авт. ЛБ, ф. 93. II.7.26).

В ИРЛИ хранится другое письмо Новиковой к Достоевскому (без даты):

«Дорогой Федор Михайлович. Вот руководящая статья Каткова, которая неясна без моей: прилагаю обе к записке и пользуюсь случаем душевно поблагодарить за посещение. Как ни коротко оно было, все же от него как-то на душе теплее. Спасибо вам» (29791.с.CXI68).

158. К. Н. ЛЕОНТЬЕВ — Вс. С. СОЛОВЬЕВУ

Оптина Пустынь. 1 марта 1879 г.

... Право, хорошо бы нам с вами затем побеседовать обо многом, сидя на широких пнях в здешнем бору. Вы, мне кажется, немножко меньше стали бы нападать на *монахов и попов*. Верьте человеку, который родился в 31 году, а в детство, как вы видите, еще не впал, что для нас, русских, *это самый существенный вопрос*. Православие — это нервная система нашего славянского организма, а как хранить и лелеять художеством красоту и государственную силу этого организма, если мы нашим либеральным, *общеевропейским* отчуждением будем ослаблять постепенно эту *нервную жизнь*, эти органически духовные токи?

Достоевский, ваш любимец, понял это [1] ...

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 98.

[1] Леонтьев имеет в виду основную мысль, которую Достоевский намерен был положить в основу «Братьев Карамазовых»: «Христианство есть единственное убежище Русской земли от всех ее зол» («Письма», IV, стр. 59).

В двух письмах Леонтьева к Соловьеву, относящихся к этому времени, встречаются следующие упоминания о Достоевском:

«...Пришлите мне также — очень, очень прошу вас — оттиск той ‹вашей› *польской повести*, который мне попался в „Ниве“ случайно — один только отрывок — он восхитил меня, особенно тем, что в нем язык такой простой и благородный, чуждый всех тех юмористических грубостей, от которых избавиться не может ни Тургенев, ни Достоевский, ни даже Толстой...» (15 января 1877 г.).

«...В моих первых повестях из русской жизни — замыслы были оригинальны и серьезны,— форма испорчена ‹...› А в „В своем краю“ выбор лиц хорош, но и в языке, и в подробностях те же отвратительные грубости и *ненужные реальности*, которые я ненавижу и у Тургенева, и у Некрасова, и у Достоевского и которые недурны только у Щедрина и Писемского...» (из посланной Соловьеву памятной записки «Для биографии К. Н. Леонтьева»).

159. Ю. Д. ЗАСЕЦКАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. 13 марта 1879 г.›

Премного благодарю, уважаемая Анна Григорьевна, сожалею только, что вы прислали один билет, а не два [1]. При сем прилагаю четыре рубля и первую часть «Русского вестника» [2].

Надеюсь, что вы скоро поправитесь, при такой погоде трудно быть здоровой. Каково, что выстрелили вчера на Дрентеля два раза, разбили окна его кареты, но, слава богу, он остался невредим. Убийца скрылся, как всегда [3].

Мой душевный поклон Феодору Михайловичу. Не знаю, в котором часу чтение!..

Автограф. ИРЛИ. 30080.с.CXIб19.

Юлия Денисовна *Засецкая* (? — 1882) — дочь поэта-партизана Д. В. Давыдова, переводчица, автор книги «Часы досуга»; основательница и патронесса первого в России ночлежного приюта.

[1] По-видимому, речь идет о билете на публичное чтение с участием Достоевского 16 марта 1879 г.

[2] С января 1879 г. в «Русском вестнике» начали печататься «Братья Карамазовы».

[3] Александр Романович *Дрентельн* (1820—1888) — начальник III Отделения и шеф жандармов. Покушение на него было совершено Леоном Филипповичем *Мирским* (ок. 1859 — ок. 1920), которому удалось скрыться. Через несколько месяцев, однако, он был арестован в Таганроге и предан суду.

160. Н. А. СОЛОВЬЕВ-НЕСМЕЛОВ — И. З. СУРИКОВУ

‹С.-Петербург› 13 марта 1879 г.

... Бывшие у меня рассказывали, с какими овациями встретили 9 марта на чтении литературном Тургенева, хотели было после чтения носить его на руках, но он, узнав об этом, боковыми дверями скрылся из собрания. Много сравнительно с другими рукоплескали затем Ф. М. Достоевскому, читавшему, говорят, прекрасно отрывок целостный еще не печатный из своего нового романа «Братья Карамазовы» [1]. С Ф. М. Достоевским, как мне вчера бывший у меня часов в десять вечера один из сотрудников газеты «С.-Петербургские ведомости» говорил, третьего дня случилась оказия, в которой чуть было трагически не погиб наш крупный романист. Дело было так: Ф. М. Достоевский отправился на Петербургскую сторону — это за Невой, где знаменитый домик Петра и где живет теперь по преимуществу петербургская беднота — непроходная; был ли он там у кого в гостях или собирал, как я выражаюсь, жанры для своих литературных эскизов,— пока неизвестно, только он возвращался оттуда поздним вечером, как на него напали проходимцы с целию ограбления и принялись было бить его, и только благодаря какому-то случайно будто бы проезжавшему он спасся. Человек он физически тщедушный, больной и нервный — так что при подобной катастрофе мог потерять жизнь. Будто бы слег от этой оказии [2].

В пятницу 16 марта предполагается второе литературное чтение с Тургеневым, но без Достоевского и Щедрина,— не знаю, попаду ли и на это, хотя вчера и послал деньги на билет,— достанут ли только [3]?..

Автограф. ЛБ, ф.295.5366.2.9.

[1] Племянник Достоевского А. А. Достоевский сообщал родителям 12 марта: «В последнее время я нигде не был в театре; хотел было попасть на литературный вечер, но билетов достать не было никакой возможности. Говорят, скоро будет второй

подобный вечер, думаю на него непременно сходить. Прошлый вечер был ряд оваций Щедрину, Федору Михайловичу, а в особенности Тургеневу, который, говорят, неподражаемо хорошо прочел „Бурмистра" из „Записок охотника". Следующий вечер будет замечателен тем, что Тургенев вместе с Савиной прочтет несколько сцен из своего драматического произведения „Провинциалка"...» (Авт. ИРЛИ, ф. 569, ед. хр. 56).

[2] В газете «Новости», № 63, 11 марта 1879 г. сообщалось под заголовком «Нападение злоумышленника на Ф. М. Достоевского»: «Нам рассказывали о неприятном случае, происшедшем на днях с одним из наших известных писателей, Ф. М. Достоевским. Дело в том, что Федор Михайлович, возвращаясь домой по одной из улиц на Петербургской стороне, подвергся нападению неизвестного человека и только благодаря вовремя подоспевшей помощи был избавлен от рук злоумышленника, который, по словам некоторых лиц, был схвачен и немедленно арестован. Если верить слухам, то нападение сделано с целью грабежа».

Об этом «неприятном случае», происшедшем, по-видимому, в начале марта, А. Г. Достоевская рассказывает в «Воспоминаниях», ошибочно относя его к дате «около двадцатых чисел марта» (стр. 332—333).

Среди бумаг Достоевского сохранилось письмо к нему петербургского градоначальника А. Е. Зурова, датированное 5 марта 1879 г. и, возможно, связанное с этим инцидентом: «...Имею честь уведомить вас, что о случае, изложенном в заявлении вашем от 3 сего марта, составлен местною полициею протокол, который 1 сего марта передан мировому судье; ввиду этого с моей стороны не может быть сделано никаких дальнейших распоряжений по предмету вашего заявления» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.5.25). Заявление Достоевского, о котором здесь идет речь,— неизвестно.

[3] См. п. 162.

161. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

С.-Петербург. 18 ‹марта 1879 г.›

На днях на большом обеде, данном Тургеневу представителями литературы, он произнес тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение; Достоевский к нему обратился с вопросом: «Что это за идеалы?» Присутствовавшие не дали Тургеневу ответить: «Мы знаем, мы понимаем...» Потом Тургенев сказал Достоевскому, что дело шло о конституции [1]...!!

Автограф. ЛБ. ф.126.2.8.

Александр Алексеевич *Киреев* (1833—1910) — генерал-лейтенант, член Славянского благотворительного общества. На его визитной карточке обозначено (как должность): «Состоящий при его императорском высочестве великом князе Константине Николаевиче». В обширном дневнике Киреева, цитируемом здесь и ниже, встречается ряд упоминаний о Достоевском. Киреев характеризовал Достоевского как писателя, «очень *близкого*» ему «по убеждениям и чувствам» и очень дорогого ему человека (Авт. ЛБ, ф. 93. II.5.70.— Письмо к Ильзе Ивановне Мещериной, 1881).

В архиве Достоевского сохранилось несколько адресованных ему писем Киреева. В одном из них он просит прислать ему, «если можно, на несколько часов», январскую книгу «Русского вестника» (с последней частью «Карамазовых»); в другом Киреев рекомендует писателю «очень хорошего и интересного человека. Он тип, достойный вашего внимания,— это близкий родственник Алеше Карамазову»; в третьем — посылает Достоевскому билет (на концерт), взятый для него по просьбе С. П. Хитрово (Авт. ЛБ, ф.93.II.5.69).

[1] Этот обмен репликами имел место на обеде в честь Тургенева 13 марта 1879 г. Ср. «Вестник Европы», 1879, № 4, стр. 822.

8 июня того же года Киреев записал в дневнике: «Вечером еду с Ольгой к Аксаковым. Доктор прав М-lle Евреинова и ее спор с Иваном Сергеевичем о конституции. Конечно, Аксаков против всякой конституции. Он говорит, что никакая конституция у нас нежелательна и невозможна, читает письмо Ю. Самарина в подтверждение сего. Аксаков говорит, как и Достоевский, что ежели оппонентам не будут давать возможности свободно говорить, то и нам говорить не должно и нельзя??» (Авт. ЛБ, ф. 126.2.8). *Ольга* — О. А. Новикова (см. примеч. 2 к п. 157) — сестра Киреева.

162. Н. А. СОЛОВЬЕВ-НЕСМЕЛОВ — И. З. СУРИКОВУ

⟨С.-Петербург⟩ 21 марта 1879 г.

... В пятницу, 16 марта, был на *втором* литературном чтении в пользу Литературного фонда. Зал был полон и сидящими и стоящими; но не в этом, как мне казалось, особенность этого вечера-чтения. Чтения бывали и в прежние годы, и на тех публики бывало много. Публика последних чтений, как это проявилось в ее неудержимых аплодисментах, в поднесении венков и букетов, представила из себя редкое единство чисто русского теплого чувства, доходящего до энтузиазма высокого уважения к своим беллетристическим талантам, каковы И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский. Овации, венки, букеты и продолжительные рукоплескания, вызовы, взгляды, полные восторга, от появления на помосте самых физиономий,— все это обращено было на этих двух представителей русского романа, русского литературного художества.

Простота, мягкость движений, доброта, убеленная сединой, доходящей до снежного блеска, голова автора высокопоэтических «Записок охотника» как бы разом своим появлением во весь стройный, хотя несколько сутуловатый рост на помосте на всю публику навеяли русский дух, русскую жизнь, от которой volens-nolens оторвалась столица в своих суетах, гадливостях, поеданиях друг друга, дня и часа. И вот художественный представитель во всей своей чистоте и силе и как человек обаятельно оживил публику,— она заколыхалась и ожила не громом только рукоплесканий, но и того чуткого понимания того, что может сделать крупного сила истинного таланта, дышащего простотой от своих внешних манер до его созданий включительно ⟨...⟩

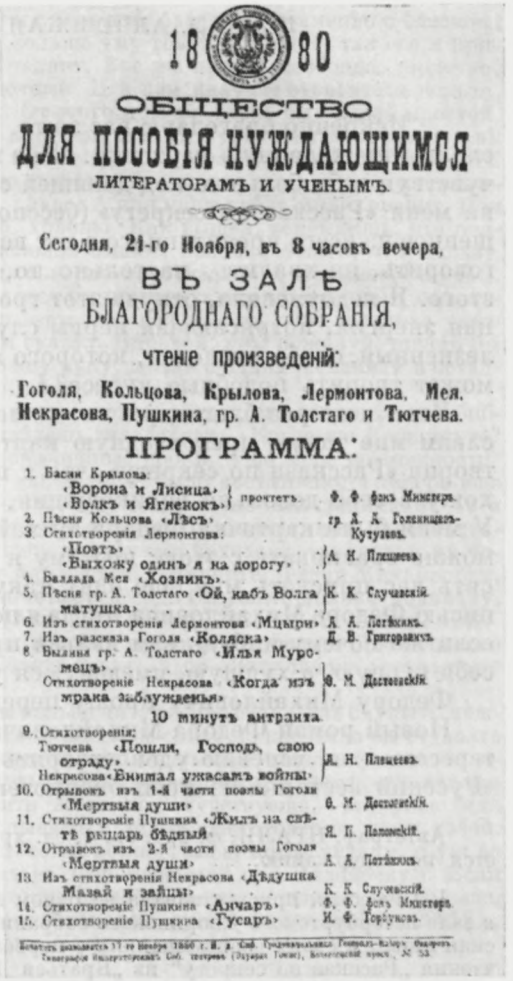
Первым во втором отделении этого вечера вышел другой художник, другая сила русской беллетристики — автор «Бедных людей», «Записок из Мертвого дома» — автор *Униженных*, тонкий аналитик человеческого духа. Это другой тип и человека и писателя, потрясающего душу своих читателей и слушателей.

Он до крайности нервен, как нервны его герои. Природа и обстановка в его произведениях почти отсутствуют,— они ему как будто не нужны, ему нужен один человек с его страстями, болезнями духа,— в манерах и движениях и его самого виден человек, уходящий вглубь себя. И вот нервы и его и публики от начала самого чтения, вполне законченного, целостного эпизода «*По секрету*!...» (главы из нового романа — «Братья Карамазовы») постепенно натягиваются, голос чтеца-создателя идет, так вот и кажется, вместе со всей болезненной силой из самых сокровенных тайников его души наружу. Исповедь старшего брата — офицера Мити со всей ширью его опять-таки русско-офицерской натуры, с пеленок запущенной, оскорбляемой, унижаемой от колыбели, исповедь эта изливается *за коньячком* младшему брату Алексею — этой целостной, чистой, нетронутой «насекомыми сладострастия» натуре — в какой-то мрачной, развалившейся беседке, о которой упоминается вскользь только как о пункте места отправления исповеди стихийного, униженного жизнью, людьми и собой человека, который все-таки имел единственную хорошую минуту просветления благодаря девушке. Это было, когда он, Дмитрий Карамазов, величающий сам себя подлецом и насекомым, весь пламенел и прососался подлостью и для подлости — и вдруг он неожиданно сам для себя в один момент вырос в чистого человека и настолько нравственно рослого, насколько до той минуты он был до болезненности низок, мал и гадок. И ко всему тому он как будто стыдится даже заявлять об этом, боясь впасть в рисовку и тем, так сказать, умалить это величие своей человеческой натуры,— а потому и заканчивает свою исповедь, полную тонкого анализа и драматизма: «*Об этом, брат Алексей, я никому, никому и никогда не говорил и не ска-*

ПРОГРАММА ПУБЛИЧНОГО ЧТЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА 21 НОЯБРЯ 1880 г. ПРИ УЧАСТИИ ДОСТОЕВСКОГО

Достоевский читал стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья» и отрывок из 1-й части «Мертвых душ» Гоголя

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва



1880

ОБЩЕСТВО

ДЛЯ ПОСОБІЯ НУЖДАЮЩИМСЯ

ЛИТЕРАТОРАМЪ И УЧЕНЫМЪ.

Сегодня, 21-го Ноября, въ 8 часовъ вечера,

ВЪ ЗАЛѢ

БЛАГОРОДНАГО СОБРАНІЯ,

чтеніе произведеній:

Гоголя, Кольцова, Крылова, Лермонтова, Мея, Некрасова, Пушкина, гр. А. Толстаго и Тютчева.

ПРОГРАММА:

1. Басни Крылова:
«Ворона и Лисица» } прочтетъ Ф. Ф. фонъ Миллеръ.
«Волкъ и Ягненокъ» }
2. Пѣсня Кольцова «Лѣсъ» гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ.
3. Стихотворенія Лермонтова:
«Поэтъ» }
«Выхожу одинъ я на дорогу» } А. И. Плещеевъ.
4. Баллада Мея «Хозяинъ».
5. Пѣсня гр. А. Толстаго «Ой, кабъ Волга матушка» } К. К. Случевскій.
6. Изъ стихотворенія Лермонтова «Мцыри» А. А. Потѣхинъ.
7. Изъ разсказа Гоголя «Коляска» Д. В. Григоровичъ.
8. Былина гр. А. Толстаго «Илья Муромецъ».
Стихотвореніе Некрасова «Когда изъ мрака заблужденья» } Ф. М. Достоевскій.

10 минутъ антракта.

9. Стихотворенія:
Тютчева «Пошли, Господь, свою отраду» }
Некрасова «Внимая ужасамъ войны» } А. Н. Плещеевъ.
10. Отрывокъ изъ 1-й части поэмы Гоголя «Мертвыя души» Ф. М. Достоевскій.
11. Стихотвореніе Пушкина «Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный» Я. П. Полонскій.
12. Отрывокъ изъ 2-й части поэмы Гоголя «Мертвыя души» А. А. Потѣхинъ.
13. Изъ стихотворенія Некрасова «Дѣдушка Мазай и зайцы» К. К. Случевскій.
14. Стихотвореніе Пушкина «Анчаръ» Ф. Ф. фонъ Миллеръ.
15. Стихотвореніе Пушкина «Гусаръ» И. Ф. Горбуновъ.

Билетовъ оказывается 17-го ноября 1880 г. въ Спб. Градоначальника Генералъ-Адъютантъ Федоровъ. Типографія Императорскаго Спб. Университета (Острова, Гавань), Коломенская улица, № 33.

жу, — сказал только тебе да брату Ивану!..» Зал покрылся дружными неумолкаемыми аплодисментами, какими и встречен был при выходе на помост Ф. М. Раз двенадцать вызывали его, и одна из студенток поднесла ему громадный букет, уверченный полотенцем с вышивками в русском вкусе. Ф. М. взял букет как-то нервно, не глядя, разом, и сунул куда-то за занавес, как будто бы прогнал мешающий ему предмет или отстранил от себя что-либо мешающее ему наблюдать, анализировать, работать. И тут, конечно, сказалась своеобразная нервная натура. Читал он лучше всех, читал прекрасно, сердечно, читал от души 〈...〉

Я. П. Полонский во втором отделении читал своего «Казимира Великого» крайне плохо, напыщенно, манерно 〈...〉 В заключение И. С. Тургенев читал два явления из своей пиесы «Провинциалка» с М. Г. Савиной. Голос в этот вечер у И. С. был хриплый, ослабший (в чем он даже извинялся перед публикой) 〈...〉

В заключение вызвали вместе И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского, и они на эстраде крепко пожали друг другу руки. Вечером этим я был очень доволен — и субъективно и объективно: думалось, все-таки есть капли единства человеческого и у пишущего мира и у публики с оным[1] ...

Автограф. ЛБ, ф.295.5366.2.9.

[1] См. описание этого вечера в сб. «Тургенев и Савина» под ред. А. Ф. Кони. Пг., 1918, стр. 68—69.

163. Х. Д. АЛЧЕВСКАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹Харьков. Март 1879 г.›

... Искренно благодарю вас за то, что вспомнили о моей просьбе и прислали мне желанную карточку. Я не подошла к вам по окончании вечера, чувствуя себя больною под давящей силой впечатления, которое произвел на меня «Рассказ по секрету» (бесспорно, самое художественное и совершенное из всего прочитанного в тот вечер). Мне не хотелось в ту минуту ни говорить, ни хвалить, настолько то, что я чувствовала, было выше всего этого. Я недоумевала, откуда этот громкий, сильный голос, эта безграничная энергия, потрясающая нервы слушателя; неужели этот бледный, болезненный, слабый человек, которого я видела вчера, и неужели сила духа может творить подобные чудеса? [1]...

Итак, еще раз благодарю вас за память; но вот что случилось: вы прислали мне такую превосходную карточку, так живо напоминающую мне творца «Рассказа по секрету», что я не в силах расстаться с нею и не нахожу в себе довольно великодушия, чтобы отправить ее моей знакомой. У меня была карточка Федора Михайловича, но такая плохая, что невозможно сравнивать с этою; поэтому я и придумала устроить вот что: просить вас прислать мне еще одну такую карточку, если возможно, с надписью Федора Михайловича, тогда я полученную отправлю моей знакомой; если же почему-нибудь вам нельзя прислать мне вторую, то я оставлю у себя первую, а худшую, имеющуюся у меня, отошлю моей знакомой ‹...›

Федору Михайловичу прошу передать мое величайшее уважение ‹...›

Новый роман Федора Михайловича [2] читается у нас с величайшим интересом — не успеваю удовлетворять просьбам моих знакомых — выдать «Русский вестник» из моей библиотеки [3] ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 166. Приблизительная дата устанавливается по содержанию.

[1] Алчевская присутствовала на одном из вечеров в пользу Литературного фонда в зале петербургского Дворянского собрания — 9 или 16 марта 1879 г. А. Г. Достоевская пишет в своих воспоминаниях о первом из них: «Федор Михайлович выбрал для чтения „Рассказ по секрету“ из „Братьев Карамазовых“, прочел превосходно и своим чтением вызвал шумные овации. Успех литературного вечера был так велик, что решили повторить его 16 марта»(«Воспоминания», стр. 332). С. А. Венгеров следующим образом охарактеризовал одно из этих чтений: «Когда читал Достоевский, слушатель, как и читатель кошмарно-гениальных романов его, совершенно терял свое „я“, и весь был в гипнотизирующей власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно уходивших куда-то глаз, горевших мистическим огнем, вероятно, того же блеска, который некогда горел в глазах протопопа Аввакума» («Речь», 1915, № 114, 27 апреля).

В своих воспоминаниях Алчевская не упоминает о том, что присутствовала на публичном чтении Достоевского.

[2] Речь идет о «Братьях Карамазовых».

[3] О популярности Достоевского в среде демократической интеллигенции говорят многие адресованные ему письма читателей и слушателей. Приводим здесь характерное письмо к Достоевскому, датированное 6 апреля 1879 г. и подписанное: *Один из многочисленных ваших читателей и почитателей:*

«Федор Михайлович,

Без всякого прибавления: Федор Михайлович,— без „Милостивый государь“, без „Многоуважаемый“ и проч. Просто — Федор Михайлович! Так лучше, проще. Мне и хотелось бы, чтобы письмо мое было лучше и проще. Если бы я подписал внизу свою фамилию, так тогда бы, может, и наверху я написал ‹бы› „Милостивый государь“. Но письмо анонимное, и хоть вы раз, в „Дневнике“, и выбранили анонимные письма, а я все-таки пишу анонимное, потому — удобнее, откровеннее могу высказать вам то, что хотелось бы высказать.

А высказать мне хотелось только то, что я вас очень уважаю. Я и на вечер вчера пришел только для того, чтобы посмотреть на вас. Я ведь никогда до вчерашнего вас не видал. Не один я так. Нас много так пришло. И все очень были рады, что вы так любовно были приняты. Именно любовно, а не как-нибудь там иным образом. Вон Тур-

генева тоже принимали хорошо, может быть, с бóльшим блеском, но именно с блеском. Души-то там вряд ли много было. Он ведь больше уму говорит. Потому так его и принимали — с уважением, потому нельзя — талант. Вас же просто, любовно, сердечно, потому что талант вы такой простой, сердечный. И к вам иначе и относиться нельзя, как все вам рассказать, что есть на душе... От этого и вечер вчера был такой простой, хороший, праздничный, светлый. В этом, впрочем, и сами курсистки виноваты: они все смотрят такими хорошими, добрыми, простыми ‹...› Право, Федор Михайлович! Вот только что встал с постели, вспоминаю вчерашнее — и как все хорошо, впечатление осталось приятное. И рубля не жалко, право! А для меня рубль много значит. Вон в театр пойдешь. Пока сидишь там, ничего, хорошо. Как вышел, вспомнишь, что полтинника-то нет в кармане, и немножко неловко станет, неловко оттого, что, может, назавтра или вовсе не будешь обедать, или скверно пообедаешь. Вчера же — не то... Да не об этом я и говорить хотел. Мне хотелось бы насказать вам много-много хорошего, да вот — бумага проклятая: не укладывается на ней как-то, перо-то плохо умею держать в руке. На словах я бы лучше вам сказал. Впрочем, нет; пожалуй, ничего бы не сказал. Как вчера,— хотелось пожать вашу руку, да так с одним желанием и остался: вышло бы, пожалуй, уж очень заметно и торжественно....

Федор Михайлович! Вот вы написали теперь новый роман, его все читают: в библиотеках теперь „Русского вестника“ не найдешь, нарасхват... Когда же Дневник-то? Будете ли вы издавать его? Хоть не в определенные сроки, а по мере возможности? Сколько бы у вас читателей было! Ведь у вас и тогда было достаточно, а теперь еще больше. И все между молодежью. Старые-то почему-то не очень вас понимают. Да и из молодых — те, что похожи на старых, тоже как-то чудно̀ понимают, или, вернее сказать, не понимают. Но все-таки и они читают, потому что подчас заставляют и их читать: у кого сын, у кого дочь, у кого брат или сестра... Начните, Федор Михайлович, писать Дневник и издавать хоть раза три-четыре в год. Объявите только подписку, смотрите сколько народу подпишется!..» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 107).

До какой степени экзальтации доходили после публичных чтений Достоевского слушатели (и особенно слушательницы) можно судить и по следующему анонимному письму, датированному 6 апреля 1879 г.:

«Батюшка любимый мой, голубчик, вам нельзя читать! Вот если б вас слушать можно было, стоя на коленях, да за каждое ваше гениальное слово можно было бы отдавать свою душу, тогда еще вам простительно читать, а то подумайте, какое мучение человеку слушать вас, чувствовать просто какую-то боль от восторга, и знать, что нет никаких сил, никакой возможности выразить всего, что чувствуешь,—это ужас как больно! Кроме того, вам самому нельзя слышать и видеть благоговения перед собой: вам ужасно вредно волноваться (а вы ведь тогда волновались, когда читали, я уж не знаю, как и назвать тот отрывок из „Братьев Карамазовых“ про Илюшечку!). Если можно, примите мой совет от одного восторга и любви к вам — не читайте больше, не то помогите найти возможность отдавать вам всю душу» (Авт. ИРЛИ. 29953.с. CXIб15). На конверте автор письма пометил: «Очень нужное».

164. А. И. ТОЛСТАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 13 апреля 1879 г.

... Посылаю вам «Русский вестник», за одолжение которого приношу вам сердечную благодарность. Извините, что долго задержала его. Вы сами знаете, что произведения Федора Михайловича нельзя читать скоро, тут что ни страница, то мысль, над которой задумаешься, да и долго, долго думаешь, да и чего-то не передумаешь. Передумаешь и о том, о чем прежде не доводилось еще думать [1].

Благодарю вас, моя дорогая, милая, многоуважаемая Анна Григорьевна. Да благословит бог ваш путь и наше знакомство. Мой дружеский привет и признательность Федору Михайловичу ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.9.51.

Графиня Анастасия Ивановна *Толстая* (1817—1889) — вдова президента Академии художеств Ф. П. Толстого, «большая любительница литературы и искусства» (Е. А. Штакеншнейдер. Дневники и записки, стр. 31), приятельница Шевченко.

26 ноября 1878 г. Вл. С. Соловьев писал Достоевскому: «1) Один молодой и весьма достойный офицер алчет и жаждет познакомиться с вами; 2) В таком же положении находится одна пожилая и во всех отношениях приятная дама. Фамилия офицера — Саломон, дама же есть графиня Толстая. Так, если вы позволите, завтра, *в воскресенье* вечером, я приеду к вам с Саломоном и, побеседовав малое время, отпустим его с ми-

ром и затем поедем к Толстой, которая живет недалеко от вас» (Авт. ЛБ, ф. 93. II.8. 120б). По-видимому, речь идет здесь о гр. А. И. Толстой.

[1] Вероятно, первая или вторая книжка журнала «Русский вестник» 1879 г. с началом «Братьев Карамазовых».

165. П. Д. ГОЛОХВАСТОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

14 апреля 1879 г.

... Очень бы любопытно мне знать, о какой вашей книге говорите вы в письме; коль не прочтете чего-нибудь из нее,— по крайней мере, надеюсь, расскажете [1] ⟨...⟩ Вы, перечисляя жемчужины, не упоминаете о романе Ф. М. Достоевского [2]; я, чтобы прочесть его, жду конца. Дай же бог успеха Л. Н. Толстому; это, стало, о декабристах? [3] ...

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.17068.
О *П. Д. Голохвастове* см. в п. 72.

[1] Вероятно книга Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки» (кн. I вышла в свет в 1882 г., II — в 1883, III — в 1896).

[2] Имеются в виду «Братья Карамазовы».

[3] Впоследствии Голохвастов резко изменил свое отношение к Толстому и грубейшим образом осудил его нравственные и творческие искания. «Нигилизм стремится рушить *всё*. Но *всё* — абсурд=абсурд=нуль,—писал он Страхову 12 декабря 1886 г.— Толстой хочет и, конечно, не может рушить Церковь — нерушимую; но может мешать ей укрепиться, и мешает там, где она и без того слаба,— в обществе. Народа он, надеюсь, не развратит, но общество — развратит окончательно, втерев ему в рот змею за рыбу и камень за хлеб. Дорого обойдется России его вторая знаменитость. Не жалеючи губит нас, себя ради, махровый эгоист — Лев Николаевич ⟨...⟩ Берлинский мир — единственное явление, равное Толстому. 1-е марта — невиннее их: тут, в самом деле, не ведали, что творили ⟨...⟩ Погонится ли Толстой за еще вящею знаменитостью, заинтересуется ли еще эффектнейшею главой своей будущей биографии: кинет ли писать (кстати же, дочиста выписавшись), не начнет ли действовать?.. Не просто печки класть перед газетной публикой, а пред очень большой публикой большущей Алквиадовой собаке хвост оттяпать. Выдумать такую собаку — на это у него и теперь еще, я думаю, хватит творчества. Больше-то уж ни на что, конечно. Губя нас, загубил и себя» (там же, III.17062). Как мы видим, Голохвастов в этом письме предвосхищает и аргументы, и лексику, и тон нападок черносотенцев на великого писателя.

166. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨Старая Русса⟩ 25 апреля 1879 г.

Простите меня, многоуважаемый Николай Михайлович, что я до сих пор вам не написала, все не могли устроиться, и времени не было. Мы уехали не 15-го, а 17 апреля, так как 16 апреля Федор Михайлович был на обеде у великого князя Сергия Александровича [1]. Я вас попрошу сходить через недели полторы или две к нашим жильцам [2] ⟨...⟩ Кладовая заперта на два замка, один с ключом. а другой — с секретом без ключа. Он бронзовый, и, чтоб его открыть, надо составить слово «*Тула*» ⟨...⟩ Постарайтесь увидать, не очень ли они испортили мебель, главное шкафы, и висят ли у них стенные часы, картина и образ в Федора Михайловича комнате. Когда у них побываете, отпишите мне. Если вам удастся побывать в кладовой, то попросите у самой Кранихфельд Федора Михайловича зимние калоши и еще что-нибудь, чтоб спрятать в кладовую ⟨...⟩

Мы, слава богу, здоровы. Федор Михайлович работает. Погода здесь отличная. Детки вам кланяются, равно и Федор Михайлович ...

Автограф. ИРЛИ.30413.с.CXIIIб9.

[1] Великий князь *Сергей Александрович* (1857—1905) — сын Александра II, впоследствии московский генерал-губернатор. Присутствие писателя у него на обеде в «Жизни и трудах Достоевского» не зафиксировано.

[2] Уезжая на лето в Старую Руссу, Достоевские сдали неким Кранихфельдам свою петербургскую квартиру.

167. А. П. САЗАНОВИЧ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Москва. 7 мая 1879 г.

... *Сестры* Бестужева прислали мне вчера три письма своего брата М. А. Бестужева [1]. Я хотела переслать их Федору Михайловичу, но если вы выехали из Петербурга, то они потеряются, а мне будет совестно вторично беспокоить маленьких, древних-предревних старушек Бестужевых. Они высохли, как щепки, и никуда не выходят. Я была у них в первый раз, они производят чрезвычайно приятное впечатление, такие добродушные, такие выхоленные, так тщательно причесаны и одеты, даже пришнурованы ⟨...⟩

Как здоровье Федора Михайловича и всех вас? ⟨...⟩

Матвей Иванович благодарит за память Федора Михайловича. Он очень скорбит обо всех безумных действиях нашей молодежи ...

Автограф. ИРЛИ.30254.с.CXIIб6.

Августа Павловна *Сазанович* (Созонович)— московская знакомая Достоевских, воспитанница и друг декабриста Матвея Ивановича *Муравьева-Апостола* (1793—1886), автор воспоминаний и публикаций о декабристах. Она снабжала Анну Григорьевну, коллекционировавшую автографы, подлинными письмами деятелей 14 декабря.

В ИРЛИ хранится письмо Сазанович к Достоевскому (без даты), в котором она выражает желание встретиться с писателем и попросить у него «совета в одном деле». В Записной тетради Достоевского 1875—1876 гг. отмечено, что он собирается навестить Сазанович («Лит. наследство», т. 83, стр. 467—468).

[1] Декабрист Михаил Александрович *Бестужев* (1800—1871).

168. А. КРАНИХФЕЛЬД — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

С.-Петербург. 8 мая 1879 г.

... Писем на ваше имя не было, кроме одного, приносимого какой-то женщиной на имя Федора Михайловича, но которое она сама не пожелала оставить [1]. «Огонек» получено три номера [2] и апрельская книга «Русского вестника». Каюсь, что разрезала «Братьев Карамазовых» — уж много соблазну было держать книгу и не прочесть. Простите за смелость, многоуважаемая Анна Григорьевна⟨...⟩ Мебель ваша будет в сохранности ⟨...⟩

Передайте мое искреннее почтение Федору Михайловичу ⟨...⟩

Ко мне приходила какая-то дама от вас с запиской, в которой я должна передать ей майскую книгу «Русская речь», но я ее не получала еще до сих пор.

Автограф. ИРЛИ.30122.с.CXIб20.

А. Кранихфельд — жилица, семье которой Достоевские сдали свою квартиру на лето. См. п. 166.

[1] О ком идет речь — не установлено.

[2] «*Огонек*» — иллюстрированный еженедельный «журнал литературы, науки и искусств», выходивший с 1879 г. в Петербурге под редакцией Н. П. Аловерта.

12 марта Аловерт писал Достоевскому:

«... Редакция журнала „Огонек", желая выразить вам свое глубокое уважение как писателю, так много трудившемуся для славы и пользы родной словесности, просит позволить ей высылать вам один экземпляр своего журнала. Позволяя себе надеяться, что предложение это будет принято так же искренно, как оно сделано, я пользуюсь случаем выразить свое искреннее уважение» (Авт. ЛБ, ф. 93. II.1.32).

169. А. И. МАЙКОВА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 13 мая 1879 г.

... Вы себе представить не можете, голубушка Анна Григорьевна, как я вам благодарна за ваше участие ко мне и как мне совестно, что вы, при всех собственных хлопотах и заботах, еще по поводу меня потеряли столько времени ‹...›

Очень благодарна вам за любезное предложение остановиться у вас, но не позволю себе им воспользоваться особенно в этом *периоде творчества* Федора Михайловича, когда для него бывают все минуты дороги. А как приеду, вот тогда ваша помощь будет драгоценна, и я надеюсь, что вы не откажете со мной пострaнствовать по Старой Руссе. Аполлон очень любит квартал, что находится между улицей, где живет батюшка, и наверх в гору, где есть живописная старая церковь, улицы, поросшие травою, и т. д. Впрочем, обо всем лучше поговорим при свидании, а пока позвольте вас поцеловать и попросить передать мой привет Федору Михайловичу ...

Приписка А. Н. Майкова:

И мой поклон и привет вам обоим!.. [1]

Автограф. ЛБ, ф.93.II.6.37.

[1] К этому письму А. Г. Достоевская сделала следующее примечание: «В 1879 году Майковы во второй раз должны были поехать в Старую Руссу для пользования ваннами их младшего сына Аполлона, тогда двенадцатилетнего мальчика. Приехала с ним только мать Анна Ивановна Майкова и остановилась до приискания квартиры у нас. К несчастию оказалось, что Аполлоша приехал с сильным кашлем, вернее, больной коклюшем, и дети наши, проведя с ним целых два дня, заразились от него этою болезнию и прохворали все лето. Федор Михайлович был страшно огорчен и сам не бывал у Анны Ивановны, а мне позволял говорить с нею только стоя на улице пред ее домом, в открытое окно» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.6.37).

170. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹Старая Русса› 19 мая 1879 г.

Я очень беспокоюсь, многоуважаемый Николай Михайлович, не получая ответа на мое письмо, посланное почти месяц назад. Не больны ли вы? ‹...› Когда будете у жильцов, то зайдите к управляющему дома, не скажет ли он вам чего насчет наших жильцов, т. е. нет ли на них какого взыскания, например? ‹...› Мне очень совестно напоминать вам, многоуважаемый Николай Михайлович, но вы сами знаете, каково было бы нам потерять нашу мебель или деньги за нашу квартиру [1] ‹...› У нас хворал маленький Федя, но теперь поправился. Мы ужасно спешим работать; недавно у Федора Михайловича был сильный припадок от усиленной работы, и от припадка он не может еще поправиться ‹...› Федор Михайлович вам низко кланяется, а детки целуют ...

Автограф. ИРЛИ.30413.с.CXIIIб9.

[1] См. п. 166, 168 и 172.

171. А. Н. МАЙКОВ — А. И. МАЙКОВОЙ

26 мая 1879 г.

... Анна Григорьевна, я думаю, рада тебе помочь и похлопотать, но Федор Михайлович все это готов *в идее* сделать, а на практике и оскорбит, и обидит, и рассердит, это уж такой человек. Он в вечной лихорадке и сам нуждается в уходе за собой от всех близких ему людей, которые в состоя-

нии оценить и высоту его понятий, и высоту его таланта. Это уж я тебе много раз говорил, и опять напоминаю на случай, если выйдет вдруг такая минута [1] ...

Автограф. ИРЛИ.16998.с.VIIIб7.

[1] 19 июня Майков просил жену узнать у Достоевского, «сколько времени Пуцыкович издавал „Гражданин" и какая была подписная цена» — в связи с намерением демонстративно возвратить Пуцыковичу деньги за бесплатно высылавшуюся ему газету (там же).

172. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨Старая Русса⟩ 5 июня 1879 г.

Что это значит, многоуважаемый Николай Михайлович, что вы мне не пишете? Обещались написать через три дня, когда побываете у жильцов, и вот уже десять дней, а от вас письма нет ⟨...⟩ Федор Михайлович пугает меня тем, что жильцы, не видя надзора за квартирой, позаложат часть мебели и, кроме того, ничего не заплатят [1] ⟨...⟩

Федор Михайлович вам кланяется...

Автограф. ИРЛИ. 30413.с.CXIIIб9.

[1] См. п. 166, 168 и 170.

173. Вс. С. СОЛОВЬЕВ — К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Царское Село. 12 июня 1879 г.

... Итак, вы недовольны моей статейкой, она не удовлетворила вашего самолюбия, потому что я выделил Толстого, а *главное* Достоевского и поставил их выше остальных наших *теперешних* писателей и в том числе выше вас!.. [1] Когда я помещал мою статью в популярной и имеющей огромный круг читателей «Ниве», я, клянусь вам, очень много думал о вашем самолюбии, потому что иначе мне пришлось бы начать с того факта, что вы давно и много пишете, в произведениях ваших проявляется крупный и серьезный талант, вы печатаете их в солидном и многочитаемом журнале [2],— а все же русская публика к вам весьма неблагосклонна. Я опустил этот факт, потому что он произвел бы неприятное и нежелательное впечатление; но теперь, вызванный выражением вашим в письме к Бергу [3], я поговорю об этом факте с вами и именно потому, что ценю ваш талант и желаю его видеть ничем не омраченным и признанным не маленьким кружком друзей-литераторов, а всеми вообще умными и обладающими вкусом читателями. Вы сами виноваты в том, что вас не читают. В произведениях ваших, несмотря на все их не раз указанные мною достоинства, нет одной очень существенной вещи,— нет того, что называется цельностью или, вернее, *чувством меры*... Возьмем «Одиссея Полихрониадеса» [4]. Что это такое? Роман? Этнографические, политические и т. д. очерки?! Все вместе, все перепутано, нагромождено одно на другое. Вы подавлены вашими воспоминаниями, любимыми мыслями и выводами; на вас наплывают разом все года, проведенные на Востоке, и вы спешите сразу все это перелить на бумагу. Чудесный язык, тонкое наблюдение, художественная сценка; умный, мыслящий человек и художник виден повсюду,— но этот человек будто десять лет осужден был на немоту и вдруг встретился с людьми, способными понимать его наречие, и за все десять лет вздумал наговориться *обо всем сразу* ⟨...⟩

О Достоевском два слова: его в настоящее время на руках носят, хотя талант его, судя по последнему роману [5], в большом упадке. Но ведь он теперь представитель того миросозерцания, которое сделалось симпатичным многим русским людям, и к тому же автор «Преступления и наказания» и «Записок из Мертвого дома», как бы затем ни исказился — уже этими двумя творениями стал наряду с величайшими творцами-художниками XIX века[6].

Я сказал,— и на сердце у меня стало спокойней, и я буду ждать, что выйдет из этой моей исповеди, единственная цель которой постараться открыть глаза писателю, много могущему, но находящемуся на ложной дороге — ложной и мучительной для его самолюбия. Если же самолюбие этого писателя не вынесет правдивого и дружеского слова,— я обведу черной каемкой страничку в моих воспоминаниях — это будет уже не первая страничка.

Любопытно — получу ли я через неделю ваш ответ или мы с вами уже простились?.. [7]

Автограф. ГЛМ. ОФ.5040. Черновик хранится в ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 89.

[1] Соловьев напечатал в № 20 «Нивы» (14 мая 1879 г.) статью «Константин Николаевич Леонтьев». Он отнес в ней Леонтьева к писателям, «далеко не лишенным дарования, но не имеющим возможности надлежащим образом осветить туман переходного времени, в котором мы живем». При этом он отмечал: «Какие произведения из современной жизни, из жизни, нас окружающей, обратили и обращают на себя в последнее время всеобщее внимание? Только произведения графа Толстого и Достоевского, двух наших талантливейших писателей. Остальные попытки в этом роде проходят более или менее незамеченными, возбуждают интерес весьма слабый, так как задача оказывается почти всегда не по силам исполнителей, и в их произведениях звучат ложь и деланность, далекие от трудно улавливаемой действительности».—Эта статья Соловьева не отмечена в библиографии Достоевского.

[2] Имеется в виду «Русский вестник».

[3] Это письмо Леонтьева к редактору «Нивы» Федору Николаевичу Бергу (1840—1909) неизвестно.

[4] Роман Леонтьева «Воспоминания Одиссея Полихрониадеса, загорского грека». Продолжением его явился роман «Камень Сизифа».

[5] Вероятно речь идет о «Подростке».

[6] 18 июня Леонтьев писал Соловьеву: «А насчет „Мертвого дома“ и „Преступления и наказания“ опять согласен. Это в своем роде превосходно. — Впрочем, это в письме моем Бергу — есть» (Авт. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 98).

[7] Леонтьев писал 22 июля 1879 г.: «Вы мне не пишете, Всеволод Сергеевич? Неужели вы не получили моего *Предисловия* на четырех листках? ⟨...⟩ Заказное письмо мое было, сказал я, вроде Предисловия к чему-то, подобному литературной исповеди,— общий смысл которой должен быть таков: „Если Всеволод Соловьев вполне прав, то *мне-то* от этого не легче. Если его взгляды на мои произведения не удовлетворяют меня и не соответствуют моим *претензиям*,—он не виноват, и я его за это люблю и уважаю никак не менее. У меня есть очень близкие друзья, которые любят меня, даже и внимания не обращают на мои писания и никогда не читают моих повестей и статей ⟨...⟩ Соловьев и Евг. Марков, оба хорошие, серьезные критики, говорят оба обо мне почти одно и то же, т. е. ставят меня наравне с Сальясом или еще и похуже иногда (Марков), выделяя из толпы людей, *бессильных изобразить современную Россию*, только Льва Толстого и Достоевского ⟨...⟩ Независимо от мнения обо мне Всеволода Соловьева, он сам мне понравился, и я с тем его люблю ⟨...⟩ Из того, что я желал бы слышать от него похвалы, более резкие, не следует заключить, что я недоволен им...“» (ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 98).

174. А. П. САЗАНОВИЧ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Москва. 16 июня 1879 г.

... Радуюсь за вас обоих, что вы в продолжение лета до некоторой степени отдохнете. Вы, как видно, неутомимая женщина, если при умственной работе успеваете в короткое время справить столько необходимых дел в домашнем обиходе. Вы мне такою показались с первого раза, я вижу, что моя наблюдательность меня не обманывает.

Мы [1] ждем с нетерпением продолжения «Карамазовых» и «Дневника». Последний особенно был бы полезен в данное время. Мы глубоко уважаем Феодора Михайловича за его определенность и честность убеждений [2] ...

Матвей Иванович, Марья Константиновна и я шлем свое глубокое почтение вам и Феодору Михайловичу с желанием здоровья ...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.8.65.

[1] Сазанович имеет в виду себя и декабриста М. И. Муравьева-Апостола (см. п. 167).

[2] О получении этого письма Достоевский 19 июня сообщил из Старой Руссы своей жене, незадолго до того уехавшей в Петербург: «Пришли газеты и одно письмо от Сазанович из Москвы. Ничего особенного, но присылает несколько автографов. Пишет тебе, конечно» («Письма», IV, стр. 64).

К публикуемому письму Сазанович приложила автографы писем декабриста М. А. Фонвизина к жене.

175. А. Н. МАЙКОВ — А. И. МАЙКОВОЙ

‹После 22 июня 1879 г.›

... Что же это такое, наконец, что тебе говорила Анна Григорьевна, что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения,— невозможностью своего характера,— это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии,— все это не ново. Что же так могло тебя поразить и потрясти? Не могу понять, хотя, признаюсь, часто у меня вопрос рождался, что они оба не по себе, т. е. не в своем уме, и где у них действительность, где фантазия — отличить трудно. Федор Михайлович, например, такие исторические факты приводит иногда, что ясно, что он их разве что видел во сне — например, что Петр Великий сам выкалывал глаза младенцам. Это он говорит или говорил серьезно, может быть, после и забыл. Насчет расточаемого им титула дураков — ключ вот какой: все, что не есть крайний славянофил, тот дурак. Словом, он в своей логике такой же абстракт, как и все *головные* натуры, как и нигилисты, такой же беспощадный деспот, судящий не по разуму жизни, а в силу отвлеченного понятия. С твоим мнением о «Карамазовых» согласен вполне. Но что такое говорила Анна Григорьевна? [1] — Какой я любопытный ...

Автограф. ИРЛИ.16998.с.VIII. Первые строки приведены в комментариях к «Письмам», IV, стр. 390—391. Дата проставлена карандашом.

[1] Письмо А. И. Майковой неизвестно. По поводу какого-то ее намека на Достоевских Майков писал и в одном из следующих писем, желая узнать «интрижка ли это» или же «ревность ‹...› Анны Григорьевны, создающая фантомы» (там же).

18 июня Майков писал жене о «Братьях Карамазовых»: «Насчет романа Федора Михайловича и я согласен с тобою. Не знаю, куда все приведет, но пока ни зги впотьмах не видно...» (там же).

176. А. Н. МАЙКОВ — А. И. МАЙКОВОЙ

28 июня 1879 г.

... Жаль, что ты не видишь «Московских ведомостей». Достань или у Достоевского или в курзале вчерашний номер, *четверг 27 июня*, и прочти передовую статью о литературном процессе Николадзе в Тифлисе. Прелесть что ‹за› статья! Вот храбрость-то со стороны Каткова [1] ‹...› А Федор Михайлович в самом деле в претензии на тебя за коклюш? [2] Или это твоя подозрительность? Впрочем, все может быть. Кланяйся ему, однако ...

Автограф. ИРЛИ. 1698. с.VIII.

[1] Передовая статья № 163 «Московских ведомостей» 27 июня 1879 г. посвящена судебному процессу над редактором тифлисской газеты «Обзор» — Н. Я. Николадзе, известным грузинским публицистом-революционером. Выступление Николадзе на суде о произволе и самоуправстве цензурных органов вызвало одобрительную оценку фельетониста газеты «Голос». Катков воспользовался этим в своей передовой статье как поводом для очередного доноса, заявив, что пафос сотрудника «Голоса» напоминает «восторги по поводу осуждения генерала Трепова в деле Веры Ивановны Засулич». «Слабейшая сторона гордо поднимает голову, держит громкую и твердую речь, вконец загоняет противника и выходит, увенчанная победой,—писал далее Катков.—А власть, о силе и произволе которой от господина же Николадзе можно было услыхать столько ужасов, как-то жалобно присела, запутавшись в собственном вооружении».

Как отнесся Достоевский к этому выступлению Каткова, не установлено. Вряд ли он присоединился к восторженной оценке Майкова. 30 июня Майков снова осведомлялся у жены: «Интересно, что говорит Федор Михайлович о статье Каткова, о которой я тебе писал (по поводу суда в Тифлисе)? Одобряет или нет? По-моему, это верх доблести со стороны Каткова, ибо — что же?— он защищает цензуру» (там же).

[2] См. примеч. к п. 169.

177. Д. ТИТОВ — А. С. СУВОРИНУ

С.-Петербург. 1 июля 1879 г.

... Быть может, вы припомните, как года три тому назад (когда еще ваша редакция только что переводилась на Знаменскую ул.) к вам явился мальчуган с странным заявлением о своем влечении к литературным занятиям. Тогда вы определили эту глупость стихами Лермонтова, что — «то кровь кипит, то сил избыток», и, между прочим, посоветовали мне обратиться в Литературный фонд, председателем которого состоял в то время добрейший В. П. Гаевский. С тех пор много воды утекло; я поступил работать в типографию Стасюлевича, где нахожусь по настоящее время, и мои претензии получить образование (при содействии посторонней помощи) отошли на задний план. Стал заниматься чтением, насколько позволяла возможность, изредка ходил к К. Д. Кавелину и Ф. М. Достоевскому [1], а теперь надумал послать вам свое маленькое стихотворение с просьбой напечатать в еженедельнике «Новое время» [2] ...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 4233.

Дмитрий *Титов* — молодой наборщик, поэт-самоучка.

[1] В ИРЛИ хранится два письма Титова к Достоевскому 1876 г. См. «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 206—207.

[2] В перечне стихотворений, посвященных Достоевскому, А. Г. Достоевская указала стихотворение Титова «Ф. М. Достоевскому. 12 февраля 1878 г.», без указания места публикации («Библиографический указатель...», стр. 294).

178. Ф. М. ТОЛСТОЙ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

Перевод с французского

Форестье. 17 июля 1879 г.

... Ваше письмо от 27 июня — это не просто «расписка в получении», а красноречивая защитительная речь и в то же время почти обвинительный акт, которым вы мне даете знать, что я ложно понял и вынес легкомысленный приговор личности и творчеству вашего литературного идола [1]. Вы говорите мне, что Достоевский в совершенстве владеет тремя иностранными языками, что он много читал, что он даже эрудит. Я вполне верю вам и чувствую, что совершил непростительный грех, не заметив всего этого при чтении его сочинения.

Судя по вашим словам, совершенно очевидно, что он что-то тщательнейшим образом скрывает, ибо иначе нельзя было бы объяснить некоторые его умолчания ...

В одном из своих сочинений (если не ошибаюсь, в «Идиоте») он, например, излагает систему или, вернее, принципы Лассаля — и ни разу не ссылается на произведения сего последнего [2] ...

Ну что ж! Мной допущена ошибка, и я бесконечно благодарен вам, милостивый государь, за разъяснения, которые вам благоугодно было мне дать...

Теперь — последнее слово. Совершенно очевидно, что «человек с содранной кожей» Достоевского в духе Микеланджело радует ваш взгляд. Вы хотели бы повесить этот анатомический шедевр, эту окровавленную плоть, над своим письменным столом, чтобы досыта наслаждаться ее созерцанием. Я же восхищаюсь им как добросовестным и даже ученым, с точки зрения анатомии, трудом, но мне хотелось бы, чтобы сей труд находился подальше от моих глаз. Вот и вся разница между нашей манерой писать о великом таланте Достоевского.

Но поверьте, милостивый государь, что я не совсем лишен способности понимать и ценить ваши исполненные ума воззрения [3] ...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.9.98. Авторство Толстого установлено мною (в архиве письмо по ошибочному указанию А. Г. Достоевской числилось как письмо «*Т. Фоста*»).

Феофил Матвеевич *Толстой* (1807—1881) внук М. И. Кутузова, музыкальный критик, композитор-дилетант и беллетрист, крупный чиновник цензурного ведомства. См. его заостренно-публицистическую характеристику в статье К. И. Чуковского «Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову».— «Лит. наследство», т. 51-52, 1949, стр. 569—620. Среди бумаг Достоевского сохранилось несколько писем к нему Толстого. Отрывки из них приведены в моей статье «Утраченные письма Достоевского».— «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 209—210.

Орест Федорович *Миллер* (1833—1889) — историк литературы, публицист умеренно славянофильского направления, профессор Петербургского университета. В неизданных «Воспоминаниях и признаниях (1833—1886)» Миллер отмечал: «С Достоевским под конец его жизни сблизило меня Славянское общество, которого был он товарищем председателя, и совместное участие с ним в публичных чтениях, на которых доставались ему именно со стороны молодежи самые восторженные овации. Это, как и посещения его молодежью и письма от нее с разных сторон, окончательно сделали для меня Достоевского примером победоносного *поглаживания не по шерстке*» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 1380, оп. 1, ед. хр. 11).

[1] Это письмо Миллера к Толстому о Достоевском и «Братьях Карамазовых» остается неизвестным.

[2] Вероятно, имеется в виду теория права Лассаля, отклики на которую см. в гл. X части второй романа «Идиот».

Отметим, что в личной библиотеке Достоевского находился первый том собрания сочинений Ф. Лассаля в переводе В. Зайцева. СПб., 1870 (см. Л. Гроссман. Библиотека Достоевского, стр. 147).

[3] См. ниже панегирик Достоевскому в письме Ф. М. Толстого (п. 179), полностью пересмотревшего свой взгляд на «Братьев Карамазовых».

179. Ф. М. ТОЛСТОЙ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

Перевод с французского

14 августа 1879 г.

Если у вас хватит терпения разобрать мои каракули — вы изрядно посмеетесь! «Валаамская ослица заговорила» *, скажете вы, быть может, читая мою исповедь.— Дело в том, что ваше письмо от 27 июня явилось для моей старой башки совершеннейшей новостью — скажу даже больше: откровением [1] ...

Ваша глубокая уверенность в справедливости своей оценки поколебала мои убеждения,— и я принялся внимательнейшим образом перечитывать

* Выражение *Валаамская ослица заговорила* в подлиннике написано по-русски.— *Л. Л.*

роман — предмет вашего культа.— Итак, я не только должен торжественно покаяться, но и возопить из сокровенных глубин своей души: mea culpa, mea maxima culpa *. Последний роман Достоевского действительно, *как вы это говорите,— идеальное произведение*, и все наши беллетристы-психологи — со Львом Толстым во главе — не больше чем детишки в сравнении с этим суровым и глубоким мыслителем. Перебирая в уме чудовищные бессмыслицы, которые я позволил себе высказать в своем первом письме [2], *я краснею от стыда*, и только одну фразу я считаю возможным отстаивать и теперь — это параллель между «Человеком с содранной кожей» Микеланджело и некоторыми местами в творениях Достоевского, но с той, однако, разницей, что произведение Микеланджело — это анатомический этюд, а произведение Достоевского — это этюд психологический, или, вернее, *вивисекция*, производимая над живым человеком. Те, кто присутствует при этом эксперименте in anima vili **, видят, как трепещут мускулы, течет ручьем кровь, и — что еще ужасней — они видят себя отраженными в глазах, «этом зеркале души», и в мыслях человека, вскрытие которого производит автор.

Сцена опьянения старого распутника, сцена с офицером и исповедь Ивана — это также *мастерски произведенные вскрытия*.

Поэма, которая складывалась в голове Ивана, полна подавляющего величия.

Если б можно было воскресить Лермонтова, он сумел бы сделать из этого pendant или, скорее, продолжение своего «Демона».

Инквизитор — это воплощение Люцифера, облаченного в пурпур и увенчанного папской тиарой. А в личности Христа, в его взгляде, преисполненном благодушия, которым освещено лицо Инквизитора, я вижу, мнится мне, вижу облик автора романа.— Да! вы тысячу раз правы — «Достоевский — это Weltschmerzer ***, и его нельзя сравнивать с эгоистом Жан-Жаком [3].

Если бы Лермонтову — единственному из наших поэтов, который мог бы позволить себе изложить стихами речь Ивана,— посчастливилось напасть на подобный сюжет, из-под его пера вышло бы произведение, еще более грандиозное, чем его «Демон». Стремления *Люцифера в тиаре* бесконечно шире, ибо любовь какой-нибудь Тамары, разумеется, гораздо ниже любви или признательности всего человечества.

Вы спросите, быть может, с какой целью пишу я вам эти строки? Достоевский сумел бы объяснить вам это — я же не в состоянии это сделать. Здесь желание сознаться в том, что я *побежден* и — как ни странно — у меня совсем нет ощущения, что я унижен, — я чувствую себя выросшим в собственных глазах тем признанием, которое только что вам сделал. На одно мгновение я словно облачился в рясу смиренного Алеши, а вы появились передо мной в моральном одеянии симпатичнейшего отца Зосимы.

Примите же эти строки как мою исповедь вслух...

Вы не станете упрекать меня — я не заслуживаю этого — вы уже дали мне, впрочем, кое-что понять, отобрав у меня книжки журнала,— а найдете средство дать мне знать, что исповедь *Валаамской ослицы* благополучно дошла по назначению.

Тысяча и тысяча благодарностей за то, что вы открыли мне глаза <...>

P. S. Протестуйте же снова хоть сто раз против приемов, применяемых Катковым. Никто не насмехается так над публикой, как он, заставляя ожидать, затаив дыхание, все интеллигентное население России [4].

---

* моя вина, моя громадная вина! (*лат.*).
** на живом существе (*лат.*).
*** выразитель мировой скорби (*нем.*).

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.9.58.

[1] Письмо Миллера, на которое отвечает Толстой, неизвестно.
[2] См. п. 178.
[3] Руссо.
[4] Вероятно, негодование Толстого объясняется тем, что в июльской книжке «Русского вестника» не появились очередные главы «Братьев Карамазовых» (публикация романа началась в январе 1879 г.). Перерыв этот был вызван не злой волей редактора, а просьбой самого Достоевского («Письма», IV, стр. 64—66).

180. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. 17 сентября 1879 г.›

... Брат мой [1], побывав в имении, *положительно* отказался выбрать для Достоевских часть по многим причинам, о которых в письме не напишешь. Да оно и лучше, что отклонил ответственность, так как его и меня всю жизнь бы бранил Николай Михайлович за выбранную для него «тундру». Дело, таким образом, остановилось, и мы решили вот на чем: мы приезжаем 25 сентября в Петербург и устроим от 25—30 у нас совещание, на котором и решим всё ‹... › Но беда вот в чем: мой Федор Михайлович ни за что не хочет выделяться с Николаем Михайловичем и объявляет, что готов взять болото, но лишь бы быть совершенно отдельно [2] ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 151.

[1] Иван Григорьевич *Сниткин*.
[2] 20 ноября 1879 г. А. А. Достоевский сообщал родителям:
«... После вашего последнего письма с договоренностью я скоро пошел к Анне Григорьевне, и там мы втроем, т. е. я , Федор Михайлович и Анна Григорьевна, сочинили бумагу, заключающуюся в том, что мы относительно имения согласны на те условия, которые предлагает нам Шер. Это бумагу должны подписать еще другие сонаследники, потом она отошлется Шеру...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 30).

181. Е. Ф. ТЮТЧЕВА — К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВУ

‹Москва› 4 октября 1879 г.

... Мы прочли последнюю часть «Братьев Карамазовых». Достоевский взялся за слишком трудное дело, желая совместить в своем романе, изобразить *словом* то, что одна жизнь может *совокупить*,— и сильный человеческий дух, просвещаемый и наставляемый свыше, *примирить*, т. е. соблазн внешний веры, малодушия и малоумия верующего — с беспредельною гармониею Истины. Есть глубокие ключи, которых не может, не должно касаться человеческое слово. Не словопрениями изгоняется сей темный дух соблазна и самовольного сомнения — но токмо молитвою и постом. Разоблачать язву, выставлять ее напоказ — можно, но кто ее исцелит?..

Автограф. ЛБ, ф.230.4406.9.

Екатерина Федоровна *Тютчева* (1835—1882) — дочь поэта Ф. И. Тютчева от первого брака, фрейлина императрицы Марии Александровны, автор «Рассказов из священной истории Ветхого и Нового завета»; перевела на английский язык избранные проповеди митрополита Филарета (London, 1873).

182. И. С. АКСАКОВ — А. Ф. БЛАГОНРАВОВУ

Москва. 20 октября 1879 г.

Я ужасно виноват пред вами, многоуважаемый Александр Федорович, что до сих пор не отвечал вам на ваше письмо [1]. Прочитав его, я решил в уме, что необходимо *выждать* окончательного результата оценки, о чем и хотел вам писать. Но тут случились разные обстоятельства, совершенно

отвлекшие мое внимание. *Выждать* — я и теперь стою на этом. Еще неизвестно, какой отзыв дадут Гончаров и Достоевский. Если даже ваша сказка не получит премии, то все же будет иметь значение всякий похвальный отзыв о ней таких авторитетных писателей. Попросите секретаря, г. Рогова, чтоб непременно сообщил их отзыв, каков бы он ни был ‹...›

Я очень охотно представлю ваш рассказ в Общество распространения полезных книг. Комитет же грамотности находится в Петербурге. Если вы не получите Фребелевской премии [2], то прежде всего нужно напечатать и затем экземпляр представить в Комитет ...

Автограф. ЦГЛМ. ОФ.3985.

Александр Федорович *Благонравов* — провинциальный врач. Ему адресовано письмо Достоевского, датированное 19 декабря 1880 г. («Письма», IV, стр. 220—221).

[1] Среди бумаг Достоевского сохранилось письмо Благонравова из Юрьева-Польского (10 декабря 1880 г.):

«... Из того, что ваш последний роман „Братья Карамазовы", захватывающий в себя, предрешающий глубину вопросов, в нем поставленных, читается многими в нашей глухой провинции, хотя и под руководством лиц, более способных понимать ваше художественное создание, вы можете заключить, что живущая в провинции молодежь (я разумею чиновников и молодое купеческое поколение, воспитываемое на пустых романах) перестает коснеть в невежестве и мало-помалу умственно развивается,— идет вперед.

Едва ли кому-либо, кроме вас, суждено так ярко и так глубоко анализировать душу человека во время различных ее состояний,— изображение же галлюцинации, происшедшей с И. Ф. Карамазовым вследствие сильной душевной напряженности (я пока остановился на этой главе, читая ваш роман по-немногу), создано так естественно, так поразительно верно, что, перечитывая несколько раз это место вашего романа, приходишь в восхищение. Об этом обстоятельстве я могу судить поболее других, потому что я медик. Описать форму душевной болезни, известную в науке под именем галлюцинаций, так натурально и вместе так художественно, навряд ли бы сумели наши корифеи психиатрии: Гризингеры, Крафт-Эбинги, Лораны, Сенкеи и т. п., наблюдавшие множество субъектов, страдавших нарушенным психическим строем...» (Авт. ЛБ, ф.93.II.1.96).

[2] Летом 1871 г. в России было организовано Фребелевское общество (*Ф. Фребель* — известный немецкий педагог, создатель «детских садов»). Начиная с 1878 г. Совет Общества проводил конкурсы на лучшие рассказы для детей младшего возраста. В «Отчете Совета С.-Петербургского Фребелевского общества 1871—1896» (СПб., 1897) отмечается: «Совет не может не вспомнить с благодарностью и Федора Михайловича Достоевского, сочувствовавшего целям Общества и являвшегося всегда на помощь, когда обращались к его содействию. Он принимал участие в детских праздниках и в комиссии о присуждении премий» (стр. 25).

В число членов комитета по присуждению премий входили также Гончаров, Плещеев и др.

В перечне лиц, получивших фребелевские премии за 1878—1895 гг. (стр. 58—59), имя Благонравова не названо.

183. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

‹С.-Петербург› 5 ноября 1879 г.

Я в восторге от «Карамазовых». Его определение вечных мук ада — глубоко философское: невозможность любить и жертвовать собою и страдать за других. Едва ли когда-либо в русской *беллетристике* появлялось что-либо более глубокое!!.

Автограф. ЛБ, ф.126.2.8.

184. Ф. Н. КИТАЕВ — Е. С. НЕКРАСОВОЙ

‹Новочеркутино, Тамбовской губ.› 21 ноября 1879 г.

... Как вы, бывало, не могли слышать о Чернышевском [1], так и я теперь о Достоевском. С большим удовольствием я читал когда-то его «Мертвый дом», затем с меньшим уже удовольствием то, что следовало



Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР
Фотография. Петербург. 1870-е годы
Омский краеведческий музей

за ним, а когда появился «Идиот», то я его читал положительно без всякого удовольствия, я даже не дочитал его, такое неприятно тяжелое впечатление он производил на меня. Такая манера писать, это удовольствие находить наслаждения в ковырянии ран, и без того больных и трудно заживающих,— мне не по вкусу. Такое отношение к явлениям обыденной физической и психической жизни человека напоминает мне тех нищих калек, с голыми обезображенными частями тела, покрытыми язвами, которые с искусственно жалобными воплями разъезжают на клячах по деревенским базарам и всячески стараются привлечь к себе внимание и симпатию публики.

Достоевский — тот же калека. Я помню, что дети находят большое удовольствие ковырять или бередить свои болячки, не понимая, что этим они только замедляют ход заживления. Помню, что за это, если они не слушаются, не отстают от своей дурной привычки, их бьют по рукам. Достоевский — такое же дитя, с тою только разницею, что он старик-дитя. Я не удивляюсь, однако, что Достоевский находит себе поклонников, которые им восторгаются, во-первых, потому, что я признаю, что такого рода ковыряние в своей собственной душе свойственно каждому человеку в известном фазисе его развития, а во-вторых, потому, что знаю еще и таких людей, которые до того любят ковыряться в своей душе, что это занятие у них вошло в привычку, и на всякую попытку остановить их, показать всю нерациональность их самодеятельности, на потерю времени, на скуку, ложь и проч.,— они вправе отвечать, как отвечал умный мальчик Ваня, когда сестра его спросила, зачем он все ковыряет в носу: «Не в твоем носу ковыряю».

Сколько я могу судить по выдержкам, появившимся в газетах из романа Достоевского, прочитать «Братьев Карамазовых» меня нисколько не тянет, и если я когда возьмусь за них, то никак не ради удовольствия, ко-

торое они могут мне доставить, а просто из одной любознательности, нужно же знать последнее слово отживающего писателя. Простите, что я выражаюсь так резко и отношусь так холодно к тому, чем вы увлекаетесь; все мои рассуждения вас совершенно обходят, и даже я полагаю, ввиду этого, я все-таки должен буду прочитать «Карамазовых», чтобы иметь основание говорить с вами о Достоевском подробнее и определеннее ...

Автограф. ЛБ, ф. 196.14.3.

[1] 5 июля 1866 г. Китаев писал Некрасовой: «На днях я прочел с большим удовольствием „Что делать?“ и увлекся им так, как не увлекался еще никаким другим романом, между тем как в то время, когда он только что появился, я не мог осилить и первой части его. Я объясняю себе это так: в то время я требовал от романа (конечно, бессознательно), чтобы он удовлетворял моему воображению или, лучше, чтобы действовал на мою фантазию; теперь мне понравился этот роман, потому что действовал больше на рассудок, чем на воображение. Прочтя его, я согласился, что все лица романа — действительно счастливые люди. Каждый из них позитивист, у него на первом плане вопрос *почему идешь*? а *куда идешь*?— уже на втором плане; эти люди смотрят на труд и любовь как на необходимость, чтобы жить счастливо; а так как каждый хочет жить счастливо, то труд у них не принужденный, а свободный. Из этого следует, что все они эгоисты, и, наконец, так как они эгоисты, то и гуманны. Любовь их основывается на взаимной деликатности, следовательно, их любовь — самая естественная. И является втихомолку вопрос: отчего и тебе не сделаться счастливым человеком? а в голове уж готов ответ: отчаиваться нечего, стоит только трудиться да быть слугой своего рассудка, а не тела. Первое легко, ну а чтобы достигнуть второго нужно еще побороться» (Авт. ЛБ, ф. 196.14.1). Роману «Что делать?» посвящено и следующее его письмо к Некрасовой (28 июля того же года).

185. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. и Д. И. ДОСТОЕВСКИМ

‹С.-Петербург› 13 декабря 1879 г.

... Сейчас только вернулся от Федора Михайловича. Он был очень мил и любезен. Такую же бумагу, как и вы, относительно денег получил и он, и от того же числа. Федор Михайлович деньги хочет уплатить и на днях отошлет их в канцелярию Окружного суда ‹... › Завтра я иду на вечер, который дается в Благородном собрании в пользу студенток Бестужевских курсов; вечер будет литературно-музыкальный ‹... › Я очень доволен, что сегодня сходил к Федору Михайловичу. Анна Григорьевна была так любезна, что оставила для меня билет на вечер: в нем, между прочим, будет читать и Федор Михайлович рассказ Нелли из «Униженных и оскорбленных». Билеты все уже распроданы, и, кроме Анны Григорьевны, я не мог нигде достать [1].

Федор Михайлович приказал мне написать вам всего хорошего и сказать вам, что он вас «очень любит и уважает». Это были первые слова, которыми он меня встретил. Между прочим, он подарил мне новое издание книги «Униженные и оскорбленные» [2] ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 29.

[1] 16 декабря 1879 г. в «Новом времени» (№ 1366) сообщалось: «В пятницу, 14 декабря, в зале Благородного собрания был дан художественно-литературный вечер в пользу слушательниц Высших бестужевских курсов. Вечер носил чисто семейный характер и распадался на два отделения». Охарактеризовав выступления А. Н. Плещеева, пианистки г-жи Малявко, проф. Н. П. Вагнера, скрипача Дегтерева, певицы Клебек, писателя Потехина, певцов Скальковской и Ильинского, хроникер продолжал: «Г-н Достоевский прочел отрывок из романа „Униженные и оскорбленные“ в виде рассказа двенадцатилетней девочки. Правдивость, простота, безыскусственность речи, самое миросозерцание ребенка были до того живо переданы автором, что у многих из присутствующих навертывались слезы. Надо отдать справедливость автору, что он сумел вполне воспроизвести действительность, и довольно было закрыть глаза, чтобы

поверить, что перед вами лепечет подросток-девочка». Автор заметки отмечал, что «все исполнители были встречены очень радушно. Многих встречали оглушительным взрыв аплодисментов, вызовам не было конца!!».

[2] Пятое издание «Униженных и оскорбленных» вышло в свет 10 ноября 1879 г. («Жизнь и труды Достоевского», стр. 291). В ЛБ сохранился экземпляр романа с пометами Достоевского, сделанными для публичного чтения.

186. О. Ф. МИЛЛЕР — В. П. ГАЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 31 декабря 1879 г.

... Спешу извиниться перед вами в том, что вы обеспокоены были присылкою к вам с посыльным билета на литературное утро в пользу студентов [1].

Распорядители сделали это по моему указанию тех лиц (весьма немногих), которым, как мне казалось, могли быть посланы билеты. Я сам так привык их получать с разных сторон, что дело это представляется мне чем-то совершенно обыкновенным. Впрочем, всякие усиленные меры относительно вчерашнего утра оказались совершенно излишними. Как ни поздно вышла наша афиша (вследствие многих помех), имя Федора Михайловича Достоевского успело привлечь, и в самое короткое время, весьма многочисленную публику, так что при сравнительной умеренности наших цен мы получили свыше 1200 рублей.

Автограф. ГПБ, ф. 171, ед. хр. 188.

[1] Литературное утро в пользу студентов состоялось 30 декабря 1879 г. См. сообщение в № 1376 «Нового времени» 28 декабря: «В этом утре примут участие: В. В. Самойлов прочтет „Мальчик у Христа на елке“ из „Дневника писателя“ Достоевского; А. А. Потехин — отрывок из своей повести „Хворая“; Д. В. Григорович — свой рассказ „Бобыль“; Ф. М. Достоевский — главу „Великий инквизитор“ из своего романа „Братья Карамазовы“. Кроме того, примут участие Я. П. Полонский, П. И. Вейнберг и Н. А. Вроцкий».

В недатированном письме к Достоевскому, относящемся к этому времени, Миллер сообщал:

«...Доставляю вам афишу — пока глухую, так как у певцов все еще толком не добьешься, что́ они споют. На перемену дня (воскресенье, 30-го) вы изъявили студентам ваше согласие. Поместим вас, как вы любите, в начале второго отделения ‹...› Завтра и послезавтра будет объявлено в газетах. Билет *именной* будет доставлен особо» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.6.85).

26 декабря А. И. Толстая писала А. Г. Достоевской:

«... Во-первых, поздравляю вас и Федора Михайловича с праздником и прошу вас убедительно три билета на чтение 30 числа, если только у вас есть, а нет— то я возьму у Краевского сегодня же. Хотела сама быть у вас сегодня, да все задерживали визиты» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 215).

187. З. Ю. ЯКОВЛЕВА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. 1879 г.›

... Целую вас, если позволите, и постараюсь ‹не› надоесть вам после театра своим присутствием; боюсь, что кончится тем, что Федор Михайлович прогонит упрямую женщину ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.10.23.

Зоя Юлиановна *Яковлева* — петербургская знакомая Достоевских, «общественная деятельница, устраивавшая благотворительные спектакли в пользу Высших женских курсов» (примечание А. Г. Достоевской, отнесшей это письмо к 1879 г.).

IV

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. — ПУШКИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В МОСКВЕ. — ТРИУМФ ДОСТОЕВСКОГО. — ДОСТОЕВСКИЙ И ТУРГЕНЕВ. — ПОЛЕМИКА В ПЕЧАТИ И В ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ. — ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА «КУМАНИНСКОЕ НАСЛЕДСТВО». — ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ». — ПРЕДСМЕРТНАЯ БОЛЕЗНЬ. — СМЕРТЬ. — ПОХОРОНЫ. — ОТКЛИКИ ДРУЗЕЙ, ЗНАКОМЫХ, ЧИТАТЕЛЕЙ. — «ИСПОВЕДЬ» А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

(1880—1881)

188. Н. А. СОЛОВЬЕВ-НЕСМЕЛОВ — И. З. СУРИКОВУ

С.-Петербург. 1 января 1880 г.

... М. К. Цебрикову давно не видел, кажется более месяца, хотя она и убедительно просила бывать у ней по пятницам, когда кое-кто у ней бывает,— но я в эту осень и зиму ни разу не попал, хотя она живет теперь от моей квартиры на расстоянии пяти минут тихого хода; все крайне недосужно, и вечерами я работаю, и в праздники часто [1]. У А. Н. Плещеева я обещал обедать праздниками, но пока это не удалось,— увижусь, передам от тебя поклон ⟨...⟩

У нас с новым годом грызня в литературе и помойизливание не умягчились.

Нынче ел (т. е. обедал) в трактире с двумя пишущими, из которых один сообщает другому [2]: «Вчера, говорит, был у М. Е. Щедрина — вот и великий талант; как человек, к прискорбию, разлагается, целый вечер все ругал то Тургенева, то Достоевского. Тургенева называл французиком из Бордо и собирается его, говорит, продернуть в сатире; Н. Михайловский и Елисеев тут сидели и только ему поддакивали, считая это разумным. Сообщил нам, благодаря кому были овации Тургеневу в С.-Петербурге, — Стасюлевич, говорит, объездил всех дам и подбил на эти овации, а этот наш офранцузившийся росс вообразил и невесть что,— и пошел, и пошел... Достоевского поносил и блаженненьким и юродивым, и так, говорю, целый вечер ... Тяжело было слушать». И мне сделалось скверно на душе, слушая это, и я не доел обеда своего, и ушел, купил по дороге новогодний номер «Нового времени», пришел, читаю поэму в стихах Буренина, ругает поголовно всех поэтов и поэтиков — и Полонского, и Майкова и т. д., ругает до цинизма [3],— не дочитал, стало тошно и весь вечер ничего не мог делать.

Вот тебе, мой милый, какая картинка с натуры нашего поистине литературного современного прозябания. Но делать нужно и необходимо каждому по силам — и крупному и малому, иначе вконец затянет зелень и плесень болота ...

Автограф. ЛБ, ф. 295.5.336.2.10.

[1] Мария Константиновна *Цебрикова* (1835—1917)—публицистка и беллетристка—сотрудница «Отечественных записок» и других демократических и прогрессивных изданий; поддерживала дружеские связи с «поэтами-самоучками» суриковского кружка, оказывая им деятельную помощь. Ее перу принадлежала статья «Подпольный мир о ⟨в?⟩ романах Достоевского», по поводу которой она писала М. М. Стасюлевичу в феврале 1872 г.: «Оставя в стороне его тенденции „Русского вестника“, нельзя не признать значения общественного психиатра, хотя чуть дело дойдет до исследования причин болезни, он превращается в знахаря, который приписывает ее злому духу; но диагноз его хорош» (см. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. V. СПб., 1913, стр. 154—155). В февральской книжке журнала «Слово» 1880 г. напечатана статья Цебриковой о «Братьях Карамазовых»: «Двойственное творчество».

[2] Кто были эти литераторы, не установлено.

[3] Фельетон Буренина в № 1380 «Нового времени» — «Визит музы. Новогодняя поэма».

189. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

‹С.-Петербург› 9 января 1880 г.

Достоевский очень хвалит мою записку государю, но говорит, что нигилизм родился ранее 48 года; причину его Достоевский видит в оторванности нашей от почвы с Петром Великим. Говорит, что она и *очень* хорошо написана [1] ...

Автограф. ЛБ, ф.126.2.8.

[1] Имеется в виду брошюра Киреева «Избавимся ли мы от нигилизма? (Записка, представленная в 1879 году)». Ее печатный текст вклеен в дневник Киреева (лл. 35—50). Эта брошюра вышла в свет только в 1882 г. под инициалами *А. К.* и с предисловием, датированным 28 марта 1881 г. Как средство против нигилизма Киреев предлагал «удержание высокого уровня образования в наших гимназиях и университетах» и рекомендовал «опору на церковь» — «вернейшую опору, или, лучше, основу семьи и государства».

190. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 10 января 1880 г.

... Я мой Новый год начала очень плохо: лежу с 4 января в постели и, кажется, пролежу еще дня четыре. У меня бронхит, был сильный жар и бред и начиналось воспаление легкого. Теперь мне значительно лучше, но из постели не выпускают ‹... › Поляков писал нам, будто Моншеров (то есть не mon cher* Шер, а настоящий Моншеров) нашел покупателя на имение, и покупатель дает сто тысяч. Федор Михайлович ответил, что за сто тысяч отдать не согласится, а хочет получить натурою [1] ‹... ›

Пишу нарочно на бланке [2], а то вы не поверите, что я книжница. А я имела уж заказ в 50 рублей и заработала 4 рубля 80 копеек. Каково!

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 151.

[1] Это письмо Достоевского к Б. Б. Полякову неизвестно.
[2] Письмо написано на бланке: «Книжная торговля Ф. М. Достоевского (исключительно для иногородних). С.-Петербург. Кузнечный переулок, д. 5, кв. 10».

191. И. И. РУМЯНЦЕВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹Старая Русса› 14 января 1880 г.

С истинным удовлетворением прочитал я еще раз «Униженных и оскорбленных». Дай бог здоровья Федору Михайловичу. Право же, нет даже и подходящего сколько-нибудь человека, который бы мог его заменить, хоть отчасти. Особенно он дорог в настоящее смутное время, которое вряд ли кто изображает вернее [1].

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 209.

[1] Вероятно, Достоевский прислал Румянцеву последнее прижизненное издание «Униженных и оскорбленных» (СПб., 1879).

192. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. и Д. И. ДОСТОЕВСКИМ

‹С.-Петербург› 18 февраля 1880 г.

... Недели полторы тому назад я был в театре на «Русалке» ‹... › Около того же времени я заходил вечером к дяде Федору Михайловичу, которого дома не застал ‹... › Вчера утром до двух часов я пробыл в Академии, а за-

* мой дорогой (*франц.*).

тем отправился к Федору Михайловичу, поздравить его с именинами. При мне он получил письмо от вас и видимо был очень доволен этим и все твердил, что ему надо вам нечто сообщить. Часа в три приехали Рыкачевы и Владимир Константинович [1]. Просидели мы с час, а затем распрощались, причем с меня взяли слово, что я приду обедать. Часу в седьмом я пошел к ним опять. Кроме меня, обедал еще Николай Николаевич Страхов, который, между прочим, говорил, что знаком с вами, и расспрашивал про вас ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 30.

[1] Владимир Константинович *Савостьянов* (1853—1899) — муж племянницы Достоевского, Варвары Андреевны.

193. А. И. ТОЛСТАЯ — Е. Ф. ЮНГЕ

‹С.-Петербург› 24 февраля ‹1880 г.›

Сейчас возвратилась я от Достоевских — я нашла его чем-то расстроенным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на зрителя) казнь преступника 20 февраля [1]. Недаром мне хотелось прочесть Достоевскому твое письмо; по мере того, как жена его читала (читает она превосходно и с большою осмысленностью и чувством), лицо его прояснялось, покрылось жизненною краской, глаза блестели удовольствием, часто блестели слезами. По прочтении письма мне казалось, что он вдруг помолодел [2]. Он спросил, пишешь ли ты; на отрицательный ответ сказал: «Судя по ее письму, она так же может писать, как и я». Когда я уходила, он просил меня передать тебе его глубокую признательность за твою оценку к его труду, прибавив, что в письме твоем полная научная критика, и лучшая какая-либо была и будет и которая доставила ему невыразимое удовольствие. Это уж я сама видела. Все время покуда я одевалась в передней, он только и твердил, чтобы я не забыла передать тебе его благодарность за то, что так глубоко разбираешь его роман «Карамазовых», и сказать тебе, что никто так еще осмысленно его не читал. Ты сама бы порадовалась, увидев, какое наслаждение доставило твое письмо писателю, благородному труженику ‹...›

Если когда-нибудь увидишься с Достоевским, то, ради бога, скажи ему, что я исполнила его желание ‹...›

Что же касается до того, что ты пишешь о своей конфузливости, то он это находит ненатуральным и не твоим по слогу твоего ума и чувства; что это чужое, привитое к тебе, которое со временем пройдет и непременно пройдет ‹...› [3] Достоевский говорит, что его брат был ‹бы› очень рад получить от тебя письмо, но просить об этом не может, чтобы не было чего-нибудь затруднительного для тебя и малообязательного [4].

Автограф. ГИМ, ф. 344, ед. хр. 43. Частично опубликовано в предисловии А. Новицкого к книге Е. Ф. Юнге «Воспоминания (1843—1860 гг.)». М. ‹1914›, стр. VII—VIII.

Екатерина Федоровна *Юнге* (1843—1913) — художница и мемуаристка. См. о ней в моих публикациях: «Лит. наследство», т. 75, кн. 2-я, стр. 535—541 и «Лит. газета», 1971, № 33, 11 августа.

[1] 22 февраля 1880 г. был казнен по приговору военного суда народоволец И. О. Млодецкий, стрелявший двумя днями ранее в М. Т. Лорис-Меликова — главного начальника Верховной распорядительной комиссии по охранению порядка и общественного спокойствия. Д. Н. Садовников в своем дневнике, озаглавленном «Встречи с И. С. Тургеневым.— Пятницы у поэта Я. П. Полонского в 1880 году», отмечает под датой 22 февраля: «Разговор заходит о Млодецком, который казнен сегодня утром. Достоевский был на казни». Далее он приводит слова Достоевского: «... Я был свидетелем казни. Народу собралось до 50 000 человек». «Самое появление его на месте казни,—

замечает Садовников,—объясняю как желание извлечь нечто для своих патологических сочинений последнего времени» (Сб. «Русское прошлое», № 3. Пг. 1923, стр. 102—103. См. стр. 137—139 настоящего тома). Еще до этого события, 20 февраля, у Достоевского был припадок эпилепсии; после припадка он обычно в течение нескольких дней плохо себя чувствовал.

[2] Речь идет о письме Юнге к матери (без даты), в котором она писала о «Братьях Карамазовых»:

«Эта вещь совсем разбередила меня, в ночи я не могла спать и горячие слезы проливала; но это наслаждение — проливать слезы над произведением искусства ‹...› Если бы знал Достоевский, сколько он мне доставил этих слез и сколько утешения своими произведениями, ему бы, верно, было приятно. Еще во время войны, когда бывало на душе так тяжело, что сил нет, один „Дневник писателя“ утешал меня. Бывало, читаешь и думаешь: утопия все это, а между тем в душу входит что-то утешающе-сладкое, потому что видно там любящее сердце, душу, понимающую все, понимающую и веру ‹...› Мне тогда много раз хотелось поехать к нему, написать ему; но, конечно, при моей застенчивости, не сделала. Думала, посмеется только человек надо мной, что ему за дело до моих восторгов и мнений? Если бы все его поклонники со всей России стали бы ездить к нему с выражением чувств?! Но теперь, если бы я была в Петербурге, я бы пошла к нему, и он уже сам был бы виноват. Разве не описал он, как было приятно старцу Зосиме, когда к нему пришла простая русская глупая баба со своим русским простым спасибо?! И я бы пришла и сказала „спасибо“,— спасибо, что он думал и высказал вещи, которые без слов наполняли душу и мучили меня; спасибо, что он не гнушается войти в скверное, преступное сердце и выкопать там нечто и прекрасное, за то, что любит деток, за художественное наслаждение его образами, за слезы, за то, что с ним я забыла ежедневные заботы и мелочи жизни и как-то вознеслась над ними. Невольно сравниваешь Достоевского с европейскими романистами — я беру лучших из них — французов: Золя, Гонкур и Доде,— они все честные, желают лучшего; но, боже мой, как мелко плавают! А этот ... и реалист, такой реалист, как никто из них! Его лица — совсем живые люди! Вам кажется, будто вы знавали их или видели где-то, будто вы знаете тембр их голоса. Еще более реальности придает этим людям высокохудожественный прием — не описывать их, а давать читателю знакомиться с ними постепенно, как это бывает в жизни. Наблюдатель Достоевский такой тонкий и глубокий, что можно только поражаться,— это, конечно, не новость. И, вместе с этим крайним реализмом, можно ли на свете найти еще такого поэта и идеалиста?! Ведь это почти достижение идеала искусства,— человек, который реалист, точный исследователь, психолог, идеалист и философ. Да, он еще и философ,— у него совсем философский ум, а между тем он, вероятно, не получил философского образования; видно, философы бывают врожденные, как гении. Говорить ли тебе, что я ревела, читая рассказ бабы об умершем ребенке?! И как он так знает женское сердце?! Должно быть, и это врожденное: сила его любви дала ему понять женское и детское сердце. А какое впечатление всего хода романа! Как перед грозою, собираются, собираются тучи, и ты видишь— неминуема уже гроза,— так и тут: собираются события, воздух становится все гуще и невыносимее, и так сильно впечатление, что хочется, чтоб уж он убил его поскорее, чтобы уже было кончено. Прочла я вчера вечером об ‹истязании?› детей и Великого инквизитора, не могла больше читать, да и провалялась до утра, думая об этом всем и сочиняя письмо к Достоевскому. Мне так вдруг захотелось исповедоваться ему и услышать от него какое-нибудь нужное мне слово! Захотела исповедоваться ему потому именно, что он все поймет и никем не гнушается. Я бы, может быть, была действительно способна это сделать, если бы он позволил. Право, я какая-то сумасшедшая! Все-таки, если увидишь его, передай ему мое спасибо» (Е. Ф. Юнге. Воспоминания (1843—1860 гг.), стр. V—VII).

[3] Из письма Юнге к Достоевскому: «Вы позволили мне писать вам, многоуважаемый Федор Михайлович, как же противостоять такому искушению? ‹...› Не могу выразить вам, как сильно я ценю вас как писателя и мыслителя ‹...› Вот почему в год войны я часто была на пороге, чтобы идти к вам, но никогда не могла решиться и просто мучилась этим, особенно в то время, когда вы прекратили „Дневник“,— мне так хотелось упросить вас продолжать нам это утешение. Вы посвятили свое время не менее прекрасному труду. Много бы хотелось сказать про „Карамазовых“, много мыслей и чувств пробудила во мне эта чудесная повесть, но боюсь надоесть вам ‹...› С одной стороны, я теперь рада, что моей мамаше вздумалось показать вам мое письмо. Вы, вероятно, увидели из него, что оно не предназначалось для ваших ушей, и это гораздо лучше. Если б я прямо написала вам, я, конечно, не высказалась бы так откровенно, искала бы фраз, и вышло бы не то. Моя мама передала мне, что вы говорили, что я могла бы писать, и хвалили мое письмо ‹...›Вы, вероятно ‹...›, поняли самое главное, что я бесконечно благодарна вам вообще всегда и в частности теперь, когда вы отнеслись ко мне ласково, и что я была бы счастлива, если б мои, может быть, глупые, но искренние, правдивые слова доставили вам самое малейшее удовольствие» («Письма», IV, стр. 408—410). На это послание Достоевский ответил Юнге 11 апреля обширным письмом («Письма», IV, стр. 135—137).

[4] А. М. Достоевский, вероятно, нуждавшийся в протекции.

В записке, относящейся к этому времени и датированной «вторник», гр. А. И. Толстая писала: «Простите, дорогая Анна Григорьевна, мою докучливость насчет „Карамазовых", хочется доставить удовольствие Кате к празднику. Родная, скажите, неужели Федор Михайлович намерен хоть когда-нибудь написать к Кате? Да наградит его бог за такое доброе дело...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 212, оп.1, ед. хр. 215).

194. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

С.-Петербург. 15 марта 1880 г.

... Если найдете нужным переговорить, приходите утром: до 11 я всегда дома; вечером же никогда не свободна, так как диктуем напропалую и спешим отослать в «Русский вестник» «Братьев Карамазовых». Завтра и утром не буду дома, так как завтра Алексея Божьего человека, и я поеду на Охту на лёшину могилку. Если же вам очень необходимо переговорить, то можно и вечером, но на самую коротенькую минутку ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 151.

195. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

⟨С.-Петербург⟩ 25 марта 1880 г.

... А «мы» читали на разных чтениях, и нам аплодировали больше, чем Тургеневу, и будем читать и впредь получать аплодисменты [1].

... Я очень хвораю нервами; целыми часами плачу от всяких пустяков ⟨...⟩

Это письмо было написано 25 марта, но не удалось послать ⟨...⟩ В пятницу Федору Михайловичу аплодировали донельзя и вызывали девять раз и поднесли два лавровых венка [2] ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 151.

[1] О публичных чтениях Достоевского см. подробно в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской, стр. 350—354.

[2] Речь идет о литературном вечере, состоявшемся 28 марта в зале Благородного собрания и привлекшем, по словам хроникера, «громадную массу публики». Выступление Тургенева не состоялось из-за его внезапного нездоровья. После выступлений О. Ф. Миллера, прочитавшего «Люцерн» Толстого, Я. П. Полонского, П. И. Вейнберга и пианистки Сергеевич, во втором отделении выступил Достоевский. «Как только ⟨он⟩ появился на эстраде, разразилась буря рукоплесканий. Ф. М. прочел вторую главу из своего романа „Преступление и наказание". По окончании чтения, лектору поднесли два лавровых венка и вызывали раз семь ⟨...⟩ Все участвовавшие в вечере встречались и провожались самыми дружными аплодисментами, но больше всех оваций выпало на долю Ф. М. Достоевского» («Новое время», № 1468, 30 марта).

Вероятно к этому времени относится недатированная записка К. М. Станюковича к жене: «Люба, милая Люба! Сейчас узнал, что сегодня будут овации Тургеневу и Достоевскому. Готовят поднести венки им. Ступай на чтение. Будет интересно!..» (Авт. ГПБ, ф. 736, ед. хр. 43).

196. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

⟨С.-Петербург⟩ 7 апреля 1880 г.

Вечером был у Бестужева-Рюмина [1], познакомился с педагогичками принца Ольденбургского [2] (и, к сожалению, Осинина [3]) ⟨...⟩ Они прямые социалистки, защищают социализм самым беззастенчивым образом. Достоевский рассказывал из дальних лет — Белинский так говорил об Иисусе Христе: «Этот подлец ⟨...»». А мы-то кланялись в пояс Белинскому.

Автограф. ЛБ, ф. 126.28.

[1] Константин Николаевич *Бестужев-Рюмин* (1829—1897) — историк, профессор Петербургского университета, один из основателей Высших женских курсов (так называемых «Бестужевских»).

[2] Принц Петр Георгиевич *Ольденбургский* (1812—1881) — председатель Главного совета женских учебных заведений.

[3] Иван Терентьевич *Осинин* (1835—1887) — педагог, богослов и публицист, видный деятель женского образования; директор петербургской и царскосельской женских гимназий, член комиссий по учреждению в России высших женских учебных заведений.

197. О. Ф. МИЛЛЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 25 апреля 1880 г.

... Будьте так добры сообщить Федору Михайловичу, что Кирееву [1] и Аристову [2] дано знать о хоре. Вручая вам билеты, я позабыл сказать, что вам и Федору Михайловичу будут доставлены особые, с правой стороны [3] ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.6.86.

[1] А. А. Киреев.

[2] Василий Иванович *Аристов* (1831—1903)— член С.-Петербургского Славянского благотворительного общества. См. о нем: «Знакомые. Альбом М. И. Семевского». СПб., 1888, стр. 163. Его письмо к Достоевскому, датированное 30 декабря 1880 г., с приглашением на совещание, хранится в ИРЛИ.

[3] Речь идет о литературном вечере в пользу Славянского благотворительного общества 27 апреля 1880 г., на котором выступал с чтением отрывка из последней части «Братьев Карамазовых» Достоевский («Мальчики»). «Эффект, без преувеличения и похвальбы, могу сказать, был чрезвычайно сильный»,— писал Достоевский Н. А. Любимову 29 апреля («Письма», IV, стр. 140).

198. А. И. ТОЛСТАЯ — Е. Ф. ЮНГЕ

‹С.-Петербург› 5 мая ‹1880 г.›

Вчера получила твое письмо [1], милая Катя, и, не медля ни минуты, отвезла твое письмо к Достоевскому; хорошо, что не отложила,— сегодня утром они уехали на дачу в Старую Руссу. Письмо твое он положил в грудной карман по причине народа, который тут толпился и суетился. Я только заметила на его лице выражение удовольствия. Во всяком случае, тебе необходимо иметь его адрес летний: в городе Старая Русса, в собственном доме. А городской — Кузнечный переулок, у Владимирской церкви, д. № 5 ‹... › Знаешь ли, почему ты получила письмо Достоевского заказным? Он прислал его ко мне с тем, чтобы я вложила его в свое, полагая, что оно вернее дойдет. А я, боясь, чтобы оно как-нибудь не затерялось, послала его заказным. Ведь ты не сердишься на меня за это? Жаль, что не знаю содержания его письма, а так отрадно было бы знать. Будь так добра, отошли Достоевскому из «Карамазовых» то, что у тебя, т. е. последние главы, которые я тебе прислала [2]. Ему они очень нужны. Отошли прямо в г. Старую Руссу с бандеролью [3]...

Автограф. ГИМ, ф. 344, ед. хр. 43.

[1] Это письмо Е. Ф. Юнге к матери неизвестно, так же, как упоминаемое ниже письмо Достоевского к Юнге.

[2] По-видимому, корректурные листы «Русского вестника». См. след. письмо.

[3] См. выдержки из письма Юнге к Достоевскому (25—26 апреля 1880 г.) в моей статье «Доброе и ободряющее слово» — «Лит. газета», 1971, № 33, 11 августа. Автограф в ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 104.

199. А. И. ТОЛСТАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 12 мая ‹1880 г.›

... Сейчас получила я от дочери последние главы «Карамазовых», спешу отправить их. Простите, что долго задержала Катя. Восторг ее от чтения «Карамазовых» и получения письма от Федора Михайловича неописуемы [1]. Да благословит господь все предприятия Федора Михайловича, и да утешит его, как он утешил больную душу матери письмом к ее дочери. Да хранит вас всех святое провидение ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.9.53.

[1] См. примеч. к предыдущему письму.

200. К. Н. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН — Л. И. ПОЛИВАНОВУ

Телеграмма

С.-Петербург. 19 мая 1880 г.

От Петербургского Славянского благотворительного общества прибудут депутатами Достоевский и Золотарев [1].

Председатель Бестужев-Рюмин.

Подлинник. ЦГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 190.

Лев Иванович *Поливанов* (1838—1899) — московский педагог, директор гимназии, председатель комиссии по открытию памятника Пушкину.

[1] 21 января 1873 г. Достоевский был избран действительным членом С.-Петербургского Славянского благотворительного комитета; 2 декабря 1879 г. вошел в состав его Совета, а 14 апреля 1880 г. утвержден в должности товарища председателя.

12 мая А. С. Суворин писал Достоевскому:

«И. С. Аксаков просит меня передать вам, что вы включены в число лиц, имеющих читать или говорить о Пушкине, стало быть, вас ждут в Обществе любителей словесности. Если поедете, черкните мне два слова. Вы знаете, конечно, что железная дорога Николаевская назначила экстренный поезд 24 мая, на который билеты надо брать 20-го, 21 и 23 мая, по уменьшенной цене, именно 17 р. 50 к. второй класс и 25 р. первый класс — туда и обратно со включением и государственного сбора. Из Москвы надо ехать обратно 27, 28, 29 или 30 мая с почтовым поездом, по желанию в любое из этих чисел. Если вы захотите ехать из Петербурга, то я могу взять для вас заблаговременно билет. Заседания Общества будут происходить 26 и 27 мая, два дня, ибо число чтецов огромное. Поеду ли я — еще не знаю...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.9.33). Ответ Достоевского от 14 мая — «Письма», IV, стр. 142—143.

Достоевский выехал в Москву 22 мая (А. Г. Достоевская. Воспоминания. стр. 360). За несколько дней до того, 15 мая, А. Г. Достоевская писала племяннику Достоевского Андрею Андреевичу:

«... Теперь у меня есть большая просьба к многоуважаемому Андрею Михайловичу, и если он ее исполнит, то обяжет всех нас чрезвычайно. Дело вот в чем. Федор Михайлович едет в Москву на открытие памятника Пушкину и пробудет там дня четыре. Хочу воспользоваться его пребыванием там, чтоб вписать Федю в московское дворянство. Но я не знаю, как приступить. Вот я и прошу многоуважаемого и доброго Андрея Михайловича описать мне в подробности, куда он обращался, записывая вас в дворянство, то есть в какое присутственное место и с какою бумагою, и какие представлял документы.

Нельзя ли прислать копию с той бумаги, которая выдана вам, чтобы Федор Михайлович мог на что-либо опереться, т. е. мог бы удостоверить, что он записан в дворянских книгах и хотел бы вписать своего сына.

Я убедительнейше прошу многоуважаемого Андрея Михайловича тотчас же ответить на мое письмо: это такой удобный случай, который не скоро представится: когда-то он поедет в Москву да и придется ли вписать Федю, а мне бы этого очень хотелось‹...›

Федор Михайлович поручает мне передать всем вам его уважение» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 151).

201. ИЗ ДНЕВНИКА М. А. ВЕНЕВИТИНОВА

‹Москва. 3 июня 1880 г.›

... Наконец, Бартенев [1] ушел, и мы еще несколько времени посидели втроем, то есть я, Кутузов [2] и Дмитриев [3]. Зашла речь о предстоящих празднествах и об отсутствии на них некоторых русских писателей, например Фета, Салиаса и в особенности графа Л. Н. Толстого ‹... ›

Я пожалел об отсутствии Толстого и упомянул о Достоевском как о сопернике Тургенева.

— Воля ваша,— возразил Дмитриев,— а Достоевского я не считаю вовсе таким значительным талантом. Правда, что у него много наблюдательности и остроты в анализе, но синтетическая сторона его произведений туманна, неясна и не выдерживает строгой критики. Например, он верит искренно в единого бога и вместе с тем упрекает его в несправедливости. Это не логично. Уж если он признает в мире несправедливость, то должен быть пантеистом и не признавать единого божества и не удивляться поражающей его несправедливости. Но если он верит в бога, то должен примириться и с кажущейся несправедливостью провидения. Вообще, все его положительные идеалы или, по крайней мере, стремление изобразить их в «Братьях Карамазовых», чрезвычайно туманны и мистичны. Это не здравый смысл народа, а тяжко выстраданный, искусственный подход к его воззрениям. Достоевского в его кажущемся смирении и простоте обыкновенно противуставляют изяществу Тургенева, но последний все-таки художник, а «Преступление и наказание», убийство Карамазовым своего отца — это не искусство, а судебные следствия, реализм, лишенный всякой художественности. Вообще,— закончил Дмитриев свой строгий приговор,— надо отличать простых людей от людей *простящих:* Достоевский принадлежит к числу последних.

Я привожу этот отзыв как любопытный образец суждений человека, довольно замечательного. Но с отзывом этим я далеко не согласен и считаю, что философская критика Дмитриевым мировоззрения Достоевского страдает каким-то холодным, рассудочным формализмом, вполне уместным в книгах, но непригодным для действительной жизни ...

Автограф. ЛБ, ф. 48.16.3. Рукопись озаглавлена «Пушкинские торжества в Москве». Она представляет собой подробный отчет о празднестве и датирована «Москва. 7 июня — 7 июля 1880». См. ниже № 203.

Михаил Алексеевич *Веневитинов* (1844—1900) — литератор и археолог, племянник поэта Д. В. Веневитинова.

[1] О *П. И. Бартеневе* см. в п. 65.

[2] Граф Арсений Аркадьевич *Голенищев-Кутузов* (1848—1913) — поэт.

[3] Федор Михайлович *Дмитриев* (1829—1894) — историк русского права, профессор Московского университета, «известный своими эпиграммами», как отмечает, характеризуя его, Веневитинов.

202. Н. И. СТОРОЖЕНКО — Е. С. НЕКРАСОВОЙ

‹Москва. 4 июня 1880 г.›

... Еще не решено, на каком из двух заседаний будет читать Достоевский [1], но как только это выяснится, то вы немедленно получите билет на сие заседание, конечно *ненумерованный*, потому что нумерованных билетов очень мало, и я не из тех счастливцев ...

Автограф. ЛБ, ф. 196.21.25. В автографе датировано: «Среда. Утро».

Николай Ильич *Стороженко* (1836—1906) — профессор Московского университета, историк литературы, шекспиролог.

О *Е. С. Некрасовой* см. в примеч. к п. 103.

[1] Речь идет о публичных заседаниях Общества любителей российской словесности, председателем которого был Стороженко. Первое из них состоялось 7 июня. На нем выступил с речью Тургенев, а Достоевский произнес только «краткое слово». Второе заседание состоялось на следующий день, 8 июня. На этом заседании Достоевский выступил со своей знаменитой речью.

203. ИЗ ДНЕВНИКА М. А. ВЕНЕВИТИНОВА

⟨Москва. 6—8 июня 1880 г.⟩

... Наскоро пообедав с Кутузовым [1], я один, без него, отправился к девяти часам в Дворянское собрание, зала которого была битком набита. По случаю траура по императрице большинство дам были в черном. На левых рукавах важных особ и распорядителей вечера был повязан креп, но, несмотря на эту печальную обстановку, настроение залы было самое торжественное ⟨... ⟩

Вечерние литературно-музыкальные собрания в числе двух были устроены Обществом любителей русской словесности. К участию в них были приглашены все представители русской словесности, съехавшиеся на торжество, и специально приехавшие для того из Петербурга артисты русской оперы: Каменская [2] и Мельников [3] ⟨... ⟩

Прежде чем расстаться с описываемым вечером, необходимо остановиться на последнем его, финальном номере. Номер этот был назван в афишке *апотеозом*. Перед началом его в публике заметно было нетерпеливое и любопытное ожидание. В самом деле, как устроят этот апотеоз Самарин [4], Григорович [5], Рубинштейн [6], Трутовский [7] и Тургенев, которым в публике приписывались все заботы о художественной и драматической части вечера? Но апотеоз этот вышел, по крайней мере, по моему личному впечатлению, несколько комичен. Он состоял в следующем:

Когда Каменская, пропев последний музыкальный номер, удалилась со сцены, занавес спустился, и за ним стали раздаваться удары чего-то, изобличавшие какие-то приготовления, продолжавшиеся довольно долго. Наконец, Рубинштейн застучал своим жезлом, и в оркестре раздались торжественные звуки прелюдии, перешедшие в гимн, нарочно сочиненный по настоящему случаю Танеевым [8] и певшийся хором, помещенным за сценой. К сожалению, слов нельзя было расслышать. При соединенных звуках оркестра и хора, взвился занавес, и глазам публики представился бюст Пушкина на невысоком пьедестале, поставленном посреди сцены. Несколько минут сцена оставалась пуста; наконец, из-за правой кулисы вышла Каменская, затем Климентова [9], потом писатели: Тургенев, Островский, Юрьев, Максимов [10], Достоевский, Потехин [11], Писемский, за ними актеры: Самарин, Мельников, Горбунов [12] и, наконец, директор частной гимназии, член Общества любителей словесности и распорядитель по устройству торжеств Комитета — Поливанов [13], бог знает почему попавший в апотеоз, так как в области литературы заявил себя только изданием какой-то учебной книги по русскому языку, кажется грамматики. Все поименованные лица прошли перед бюстом Пушкина, обогнули его с левой стороны и затем сзади него выстроились рядами, глупо глядя на публику, пока Рубинштейн махал своей палочкой и руководил оркестром и невидимым хором. Каждый из вышепоименованных нес с собою венок, который клался им к подножию пушкинского бюста. Один только Тургенев, подойдя к бюсту, увенчал своим венком главу Пушкина. Конечно, в зале тотчас же раздались сильнейшие рукоплескания, которых, по-видимому, так желал Тургенев. Вообще, с легкой руки Сабурова [14], удостоившего его лобзанием в университете, Тургенев видимо стремился в этот вечер сосредоточить на себе внимание публики, преимущественно пред другими писателями, находившимися в зале и участвовавшими на литературном ве-



ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30-го НОЯБРЯ 1880 ГОДА,

ВЪ ЗАЛѢ ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА

(на площади Александринскаго театра)

ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ

СТУДЕНТАМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

ДАНЪ БУДЕТЪ

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕРЪ,

съ участіемъ: А. А. Бичуркиной, Г-на Васильева 3-го, А. А. Голенищева-Кутузова, В. О. Горбунова, Д. В. Григоровича, Ф. М. Достоевскаго, М. И. Кораблина, П. А. Кучера, П. А. Лестьянчаго, О. О. Миллера, А. Ф. Писемскаго, М. Г. Савиной, Ф. К. Стрэнинскаго и др.

Роль собрата Иеклитейки въ дѣлѣ Германа и Красоткина.

НАЧАЛО РОВНО ВЪ 8 ЧАСОВЪ.

АФИША МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОГО ВЕЧЕРА В ПОЛЬЗУ «ОБЩЕСТВА ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ СТУДЕНТАМ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» ПРИ УЧАСТИИ ДОСТОЕВСКОГО. 30 НОЯБРЯ 1880 г.

Достоевский читал отрывок из романа «Братья Карамазовы» (похороны Илюшечки)

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

чере. Желание сделать себя центром, главным виновником торжества, особенно резко проявилось в выборе стихотворений Пушкина, сделанном Тургеневым для своего чтения. Когда он прочел известное стихотворение: «Опять на родине» и т. д., то публика ясно поняла намерение чтеца применить к самому себе те чувства, которые испытал когда-то Пушкин. Раздались долго не умолкавшие рукоплескания, Тургенева несколько раз вызывали, и, напоследок, он сам не утерпел, подошел к рампе, подождал, пока толпа затихла, и наизусть, голосом, в котором слышалось волнение, прочел:

Последняя туча рассеянной бури, и т. д.

Наэлектризованная зала дружными рукоплесканиями восторженно приветствовала Тургенева, как бы чувствуя, что он в самом деле является последней тучей литературного оживления 40-х годов, заблудившейся на темном небе нашего времени.

Понятно, что при таком восторге, возбужденном в публике чтением поименованных стихотворений Пушкина, которые Тургенев выбрал, конечно, не случайно, апотеоз имел самый большой успех. Высокая фигура Тургенева, с его внушительной седою головой особенно выделялась в среде писателей, допущенных на сцену, за бюст Пушкина. Максимов, Потехин и прочая литературная мелкота самодовольно улыбались на этом самодельном Олимпе. Даже скромная фигура Достоевского как-то стушевалась перед видным станом Тургенева, выступившего несколько вперед и усерднее других кланявшегося в ответ на восторженные приветствия.

Несмотря на свой несомненный успех, апотеоз этот, признаюсь, очень мне не понравился. Обыкновенно сама публика возводит писателей на пьедестал, венчает их лавровыми венками. А тут сами писатели создали себе какой-то храм славы, образовали из себя непрошенный какой-то Олимп, в который допустили не только тех, кого по заслугам можно, пожалуй, признать богами или полубогами, но даже и таких лиц (Климентова, Поливанов, например), которые и в полугерои-то едва ли годятся 〈...〉

Вся эта мысль об апотеозе, в котором Достоевский, Григорович, Плещеев и другие более видные писатели, играли такие глупые и жалкие роли, едва ли, как мне кажется, не принадлежала самому Тургеневу, желавше-

му, вероятно, попробовать на родной почве посев западноевропейских, парижских, собственно, семян. Апотеоз, в том виде, как был изображен, как-то не вязался с представлением об обыкновенной скромности наших доморощенных писателей и с простотою русского человека ⟨...⟩

На следующий день, 7 июня, в субботу, предстояло утреннее торжественное заседание Общества любителей словесности, и в шесть часов обед там же, в Благородном собрании. Я участвовал на обоих ⟨...⟩

7 июня заседание Общества любителей словесности началось в час ⟨...⟩ Я ⟨...⟩ очутился на нем в соседстве нескольких весьма хорошеньких дам, с которыми вступил в разговор по поводу говоривших ораторов, и называл их по именам моим соседкам, любительницам, конечно, литературы, но далеко не знатокам в ее представителях, так как мне пришлось неоднократно разуверять их, что ни Бартенев, ни Писемский, ни Григорович — не Тургенев и что ни Анненков, ни Горбунов, ни Полонский — не Достоевский ⟨...⟩

В профиль я узнавал ораторов и сидевших перед кафедрой Юрьева, Аксакова, Достоевского и Тургенева. За кафедрой виднелись мне в лицо Сухомлинов [15], мой бывший профессор, французский депутат Léger [16], Голохвастова, незаконная дочь графини Ростопчиной от Владимира Николаевича Карамзина, и другие, кого не припомню хорошенько ⟨...⟩

Заседание окончилось около половины пятого, и я едва успел сделать некоторые необходимые поездки, чтобы поспеть туда же, в Собрание, к обеду, назначенному в шесть часов ⟨...⟩ Я приехал в Дворянское собрание почти что в шесть часов и застал большинство гостей за закускою ⟨...⟩ Большой стол, человек на пятьдесят, был накрыт во всю длину столовой, к одной ее стороне. Перпендикулярно к этому столу были расположены шесть или семь меньших столов ⟨...⟩ Всех обедающих было около 200—250 ⟨...⟩

На следующий день, 8 июня, я несколько опоздал на утреннее заседание Общества любителей словесности, начавшееся в два часа ⟨...⟩ Первая часть заседания, в которой говорил, до Достоевского, Писемский и еще кто-то, прошла довольно вяло. За колоннами происходило движение, в зале был шум, и ораторов, на которых мало обращалось внимания, трудно было расслышать. Я сам занимался более разговором с моими соседками, которых красота была для меня в то время гораздо интереснее.

Но вот на кафедре появился Достоевский. Раздались восторженные и долго не смолкавшие рукоплескания. Затопали ногами, замахали платками. Долго Достоевский откланивался, долго стоял в зале гул восторга. Если б его взвесить или измерить, то на его стороне оказался бы значительный перевес против тех оваций, которых вчера предметом был Тургенев. Наконец шум улегся, и в зале сделалось так тихо, что, казалось, можно было расслышать полет мухи. Среди напряженного внимания публики Достоевский начал свою замечательную, теплую по чувству и глубокую по мысли речь. Не удалось Федору Михайловичу произнести свою речь безостановочно до конца. Богатое ее содержание, меткие, прочувственные выражения, новый по мысли разбор «Цыган» и «Евгения Онегина», тонкий анализ типа Татьяны — как идеала русской женщины, тройственное деление поэзии Пушкина и указание на ее общечеловеческое значение,— все эти блестящие места речи невольно захватывали дух у слушателей своею глубиною и заставляли залу неоднократно прерывать оратора взрывами восторженных рукоплесканий. Особенно сильно раздавались приветствия публики в то время, когда Достоевский упомянул о невозможности русскому скитальцу успокоиться в пределах, менее тесных, чем удовлетворение не одних народных, но всех общечеловеческих стремлений его души. Когда Достоевский, наряду с именем Татьяны, упомянул о подобном же мастерском воспроизведении идеала русской женщины в Лизе

«Дворянского гнезда», то скромное и справедливое его признание заслуг со стороны его соперника в литературной славе, и самый намек на этого соперника вызвали целую бурю рукоплесканий и в честь оратора и в честь сидевшего под кафедрой Тургенева, который, видимо, был польщен и глубоко тронут внимательностью не столько публики, сколько автора «Братьев Карамазовых». По окончании речи оба писателя, несколько лет между собою не говорившие,— говорят, горячо между собою поцеловались. Я особенно распространяюсь о впечатлении, произведенном речью Достоевского, потому что высказанные в ней взгляды произвели особенно сильное, самое поразительное из всех слышанных на пушкинском торжестве речей впечатление. Я объясняю это впечатление тем, что Достоевский сумел ясно и положительно сформулировать все те смутные и горячие мечты и стремления последних двух десятилетий со времени крестьянского освобождения, все те горячие надежды и упования, все те темные блуждания в вопросе о слиянии с народностью, которые долго составляли больное место нашей словесности и для выражения которых она тщетно силилась найти подходящие образы и слова. Поставить точку этим вопросам, найти в Пушкине значение звена в вековом ходе русской образованности, объяснить его влияние в смысле стяга, соединяющего под своею сенью борцов прошедшего с борцами настоящего и будущего,— вот в чем, по моему мнению, заключается несомненная заслуга речи Достоевского, речи, названной, как увидим далее, Иваном Сергеевичем Аксаковым, «*целым событием*». На меня лично эта знаменитая речь имела такое влияние, что под впечатлением ее я простил сразу Петру Великому всю его насильственную реформу ⟨...⟩

Но овации Достоевскому не кончились с его речью. Члены Общества любителей, горячо поздравив его на эстраде рукопожатиями и лобызаниями, тут же, не сходя с места, провозгласили его почетным членом своего общества. Во время раздавшихся по этому поводу аплодисментов, через залу к эстраде потянулась вереница дам, с трудом пробиравшаяся через столпившуюся в проходе между кресел публику и предводительствуемая большим зеленым венком с яркими лентами. Это были слушательницы педагогических курсов. Их допустили на эстраду, затем далее на сцену, где они под самым бюстом Пушкина при криках и топоте и махании платков всей залы возложили свой венок на Достоевского, под самым бюстом Пушкина, и несколько времени держали его над ним. Глубоко потрясенные всем слышанным и виденным, разошлись мы все из залы по соседним комнатам по случаю возвещенного десятиминутного перерыва заседания. Многие даже разъехались, так как от предстоящих ораторов уже нечего было ожидать после речи Достоевского.

В курительной и соседних комнатах только и слышались что восторженные отзывы о только что совершившемся торжестве Достоевского. Между прочим, я встретился с Ольгой Алексеевной Новиковой [17], которая неизменно мелькала передо мною на всех утренних и вечерних собраниях Общества любителей. С ней разговаривала стоящая подле дама с депутатским значком на плече. Дама эта оказалась Анна Михайловна Евреинова [18], доктор прав, председательница одного из отделений Московского юридического общества. Я с ней раз встретился в прошлую осень на вторнике у А. И. Кошелева [19]. Она поздоровалась со мною как старая знакомая, и мы вступили с нею в разговор по поводу всего того, чего мы были свидетелями и участниками в эти три дня. Я ей пожаловался на Тургенева ⟨...⟩ Я противопоставлял, в разговоре с Евреиновой, скромность, простодушие и глубину Достоевского и закончил нашу беседу указанием на то, что борьба между двумя современными писателями сегодня уже разрешилась в пользу того из них, кто дорожит связью с народом для жизни своего идеала, а не для корыстолюбивых целей тщеславия, питающегося воспоми-

наниями о заслугах своего прошлого. Указание мое, надеюсь, оправдается,— слава Достоевского-мыслителя превзойдет славу Тургенева-эстетика. Но насколько я убедил Евреинову, я не знаю, она, по крайней мере, соглашалась со мною ⟨...⟩

Настроение публики под впечатлением речи Достоевского все еще было несколько возбужденное, когда зала снова наполнилась по звонку, возобновлявшему заседание. Ораторы, говорившие во второй части, принесли явную жертву своей добросовестности. Речи их, несмотря на все внутренние достоинства, на все красноречие, например, Аксакова, уже не могли не бледнеть после глубоких мыслей и чувств, высказанных Достоевским ⟨...⟩

Аксаков, которого я в первый раз слушал публично, показался мне весьма замечательным оратором, лучшим из числа прочих говоривших писателей. Перед Тургеневым и Достоевским он положительно имеет преимущество в голосе и выговоре. Речь его, как все его произведения, отличалась законченностью и изяществом отделки. Несмотря на свою бледность после речи Достоевского, речь его все-таки была прослушана с удовольствием, но положение говоривших после него Калачева [20] и Бартенева было поистине жалкое ⟨...⟩

Последняя речь А. А. Потехина, предложившего подписку на памятник Гоголю, была настолько плодотворна, что способствовала к собранию в тот же день до 3000 рублей. Но обаяние Достоевского все еще действовало на публику, которая преследовала рукоплесканиями излюбленного своего писателя по мере того как, выходя из Собрания, он поочередно появлялся в боковых залах, на лестнице и даже на подъезде, до дверей которого его провожала толпа слушательниц педагогических курсов ⟨...⟩

Второй музыкальный литературный вечер, на который я отправился после обеда, менее из любопытства, чем для очистки совести относительно участия во всех, по возможности, пушкинских торжествах, оказался в своей музыкальной части совершенным повторением первого вечера ⟨...⟩ Вообще зала была гораздо менее наполнена, чем в первый вечер, и десяток задних рядов стульев был почти совершенно пуст ⟨...⟩

Достоевский продолжал быть героем дня. В честь его раздавались самые оглушительные рукоплескания. На апотеозе он, вероятно, по просьбе Тургенева и в виде взаимной любезности, возложил свой венок на главу Пушкина. Пушкинского «Пророка» он прочел с большим воодушевлением и должен был повторить его по желанию публики.

Выбор пушкинских стихотворений, читанных Тургеневым, по-прежнему изобличал в чтеце желание подействовать на публику намеками на свою собственную личность. В первой части Тургенев, появившийся вслед за игрою Самариным «Скупого рыцаря», прочел стихотворение Пушкина «Зима». После чтения Достоевским «Песней западных славян» и «Сказки о бурой медведице», публика, соскучившаяся долгим ожиданием пения Каменской, медлившей, вопреки афише, появиться на сцене, начала было расходиться из залы и стала наполнять соседние комнаты, полагая, что наступил уже перерыв между двумя частями вечера. Но в это время со сцены раздался какой-то неурочный звонок, и все кинулись занимать свои места в зале. На сцене появился Тургенев и прочел:

Когда не требует поэта
К священной жертве Аполлон, —

раздались восторженные рукоплескания, друзья и почитатели Тургенева, вероятно, желавшие вознаградить его за утреннее торжество Достоевского, поднесли ему венок, принимая который Тургенев заявил, что положит его сегодня к подножию пушкинского бюста. Не могу скрыть здесь моего предположения о том, что, произнося эти слова, Иван Сергеевич

втайне, быть может, надеялся услышать в ответ восклицания своих поклонников, вроде: «Нет! Не к подножию, а на главу Пушкина!» По крайней мере эта не совсем добрая мысль явилась у меня вследствие того, что мне показалось, будто Тургенев не мог скрыть в этот вечер своего завистливого неудовольствия на утренний успех Достоевского. Намек на это неудовольствие я как будто встретил и в чтении Тургеневым отрывка из «Цыган», именно рассказа о сосланном Овидие, которым Ив. Сергеевич отвечал на долго не смолкавшие вызовы и рукоплескания публики, преследовавшие его за сцену, куда он удалился, приняв поднесенный ему венок. По моему мнению, особенно в виду выбора Тургеневым стихотворений Пушкина на первом вечере, не следовало на втором вечере, после успеха Достоевского, читать стихи, оканчивающиеся словами: «Что слава? — Дым пустой!» — и т. д. ⟨...⟩

Я, как и третьего дня, решился остаться до самого конца музыкально-литературного вечера. Мне было любопытно знать, чем окончатся пушкинские торжества и какое конечное впечатление оставят они в слушателях и зрителях. К сожалению, впечатление это, по крайней мере на меня лично, было далеко не удовлетворительно ⟨...⟩

Знаменитый апотеоз вышел еще более смешным и странным, чем в первый раз. Появление на сцену русских писателей, актеров, актрис и директора частной гимназии третьего дня еще можно было, пожалуй, объяснить увлечением, восторгом и другими подобными чувствами, возбуждаемыми под влиянием данной минуты или известного, скоропреходящего настроения. Но повторение литературного и артистического Олимпа за бюстом Пушкина, с венками, глупым глазением на публику под блеском электрического освещения, уже теряло свой характер первобытной непосредственности и являлось простым ломаньем комедии по заказу. Прохождение по сцене с венками в руках писателей и артистов, складывание венков к подножию бюста, до известной степени извинительное в первый раз, во второй уже напоминало казенные реверансы институток перед важною особою, присутствующею на экзамене, или фиктивные коленопреклонения мальчиков в католических церквах, когда они пробегают мимо алтаря. Появление в апотеозе разных Максимовых, Потехиных, Мельниковых, Каменских еще, пожалуй, можно объяснить их самодовольством и самомнением; но я не понимаю, как Достоевский, умный, как кажется, человек, мог согласиться на личное участие в этой глупой комедии апотеоза и принять на себя такую странную в ней роль! Уж лучше бы он и во второй раз предоставил Тургеневу дешевую честь увенчания фиктивного Пушкина на фиктивном апотеозе русской литературы, которая сама показалась мне какою-то фикциею в этот вечер [21]...

Автограф. ЛБ, ф.48.16.3. См. примеч. к № 201.

[1] См. примеч. на стр. 501.

[2] Мария Даниловна *Каменская* (1854—1925) — солистка Мариинского театра.

[3] Иван Александрович *Мельников*—солист Мариинского театра.

[4] Иван Васильевич *Самарин* (1817—1885) — артист Малого театра, ученик Щепкина, «старикашка 64 лет», который при встрече с Достоевским 3 июня осыпал его комплиментами («все говорил мне речи»). На концерте в Дворянском собрании исполнил монолог скупого рыцаря Пушкина; по словам Достоевского, он «отбил» у него этот монолог (см. «Письма», IV, стр. 165).

[5] Писатель Д. В. Григорович.

[6] Николай Григорьевич *Рубинштейн* (1835—1881) — выдающийся пианист, основатель и директор Московской консерватории. На торжественном обеде в честь Достоевского в ресторане «Эрмитаж» 25 мая произнес хвалебную речь (см. «Письма», IV, стр. 150).

[7] Константин Александрович *Трутовский* (1826—1893) — художник (жанрист и пейзажист), автор воспоминаний о Достоевском. А. Г. Достоевская писала сыну художника Владимиру 9 мая 1901 г.: «Мой покойный муж чрезвычайно почитал и высоко ставил талант вашего многочтимого отца и гордился тем, что был сотоварищем его по

Инженерному училищу. Я помню, с какою радостью мой муж вспоминал свою последнюю с ним встречу...» (Авт. ГТМ, ф. 286, ед. хр. 16).

[8] Сергей Иванович *Танеев* (1856—1915) — композитор, профессор Московской консерватории.

[9] Мария Николаевна *Климентова-Муромцева* (1857—1946) — артистка Московского Большого театра, первая исполнительница партии Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского (1879).

30 июня 1880 г. она писала Достоевскому из Тулы: «... Берусь за перо, чтобы напомнить вам о вашем обещании прислать мне свою карточку. Вечером 8 июня вы были в осадном положении от многочисленных почитателей и поклонниц. Теперь, когда у вас в ушах не раздаются различные возгласы и просьбы, я надеюсь, что моя будет услышана. Желаю чтобы ваша муза вдохновляла бы вас все более и более и давала бы мне почаще возможность извлекать из ваших сочинений такую же пользу, какую надеюсь получить от чтения вашей последней речи. Татьяна более чем когда-либо стоит передо мной, как живая, и подгоняет изобразить себя как можно правдивей. Кстати, „Евгений Онегин" стоит на репертуаре будущего сезона...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.5.75).

[10] Сергей Васильевич *Максимов* (1831—1901) — писатель и этнограф, автор книги «Крылатые слова».

[11] Алексей Антипович *Потехин* (1829—1908) — писатель и драматург.

[12] Иван Федорович *Горбунов* (1831—1895) — артист Александринского театра, автор рассказов и бытовых сценок, пользовавшихся большим успехом у современников, в том числе у Достоевского.

[13] О. *Л. И. Поливанове* см. в примеч. к п. 200.

[14] Андрей Александрович *Сабуров* (1838—1916) незадолго до того вступил на пост министра народного просвещения.

[15] Михаил Иванович *Сухомлинов* (1828—1900) — профессор русской словесности Петербургского университета.

[16] Луи *Леже* (1843—1923) — известный французский ученый-славист, приглашенный на празднества через Тургенева. В позднейших воспоминаниях «Souvenirs d'un Slavophile» («Воспоминания славянофила», Paris, 1905) он описал обстоятельства, при которых его привлекли к участию в пушкинских торжествах, и самые торжества. «Большинство русских литераторов,— писал он,— уже собралось в древней столице, чтобы почтить память национального поэта. Рядом с Тургеневым, снова ставшим моим соседом, находились самые прославленные представители русской литературы: Островский, плодовитый драматург, реалистически изобразивший московскую жизнь; Григорович, изящный романист; Достоевский, чьи глубоко посаженные глаза и сведенное судорогой лицо с первого взгляда свидетельствовали о том, что перед нами мятущийся гений, и о перенесенных им долгих испытаниях; хрупкий поэт Полонский...» (стр. 127); ср. «Москва», 1965, № 8 стр. 205—208.

[17] Об. *О. А. Новиковой* см. в примеч. 2 к п. 157.

[18] Анна Михайловна *Евреинова* (1844—?) — первая русская женщина, получившая ученую степень доктора прав; впоследствии издавала журнал «Русский вестник». Сохранилось ее письмо к Достоевскому (ЛБ).

[19] Александр Иванович *Кошелев* (1806—1883) — публицист-славянофил.

[20] Николай Васильевич *Калачев* (1819—1885) — историк-юрист и археограф.

[21] В одном из писем к мужу в Москву А. И. Майкова сообщила, что она и сыновья, читая подробности о пушкинских торжествах, ищут в газетах его имя. Это вызвало следующую горькую реплику Майкова (19 июня):

«Твое чтение газет о пушкинском празднике для того, чтоб встретить мое имя, конечно, меня очень трогает. Если и встретишь, то только упоминание, что „г. Майков прочел свои стихи". И слава богу, что и то без ругательств. В одной фразе твоей в письме к Коле „досадно за папу" — чувствую некоторый упрек мне и догадываюсь за что: зачем я не выступил рельефнее на этом празднике. Зачем? А затем, что годы взяли свое, годы — т. е. не старость, а годы, долгие годы, с Крымской войны, годы ругательств, оскорблений, умолчаний о моем существовании ‹...› Гонение многих этих годов не заставило меня петь под общую дудку, я не покорился и понимаю, что заслужил казнь и терплю ее. Уст своих не замарал бранью или каким бы то ни было ответом. И во всем этом совесть моя спокойна. Но во мне развилось чувство *отчуждения*. Когда нахожусь в обществе литераторов, инстинктивно чувствую, что нахожусь между врагами, готовыми подхватить каждое мое слово, чтобы завтра печатно извратить его, как это делали Курочкин, Минаев и тысячи безымянных писак. Развилась робость. К этому болезнь печени и расстройство нервов, бессонница и пр. Я давно ушел из этого мира. Ничто меня не зовет писать, не поощряет ‹...› Я — катковской партии плюс славянофильской, с которой тоже расхожусь, исповедуя необходимость и законность (историческую) *государства* российского, и признаю гений Петра и необходимость его реформ ‹...› Надо было бы отказаться от всех результатов моих занятий русской историей, дружить с „Отечественными записками", или Стасюлевичем, или „Делом" и в их духе писать. Да разве это для меня мыслимо? Далее: нужно бы было выйти из иностранной цензуры; но ведь это мой хлеб ‹...› Притом, я и убежден в необходимости цензуры у нас при глупости и невежестве публики...» (Авт. ИРЛИ. 17017.с.IX61).

Умолчание в этом и в других письмах Майкова из Москвы о Достоевском и его триумфе нельзя не признать весьма красноречивым.

204. СОЛОВЬЕВЫ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Телеграмма

Саблино. 10 июня 1880 г.

Перешлите Федору Михайловичу. Радуемся за всё. Понимайте. Примите от нас более, чем слова [1].

София, Юлия, Владимир Соловьевы

Подлинник. ЛБ, ф.93.II.8.121.

[1] Отклик на триумф Достоевского во время пушкинских торжеств в Москве.

205. С. А. ЮРЬЕВ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

⟨Москва⟩ Середина июня 1880 г.

... Празднества прошли великолепно. Они описаны хорошо в газетах, но прибавить устно можно было бы многое ⟨...⟩

Вообразите, что сделал со мною Достоевский. Приехав в Москву, он мне сказал, что свою речь о Пушкине он привез для моего журнала. Уверенный в этом, я ни у кого не просил речей [1]. В этом уверял меня Достоевский в продолжение десяти дней, даже восьмого числа в двенадцать часов дня,— и вдруг девятого вечером говорит мне, что речь свою он отдал в «Московские ведомости». Мысль об этом пришла ему в голову, ради денежного расчета, ночью с восьмого на девятое число. Расчет этот состоит в том, что он до 15 июня (единовременно с «Московскими ведомостями») выпустит свою речь в форме № 1 «Дневника писателя» за 1880 год, дневника затем выпускать не будет. Когда я сказал на это, что я охотно бы согласился на такую операцию его с его статьей,— «Да, видите ли,— говорит он на это,— что речь моя в газете будет печататься разорванно, так как не поместится в одном номере, и публика может иметь всю речь целиком за раз напечатанную».— Признаюсь, я был крайне удивлен и не совсем верю такому расчету и по многим признакам *имею основание* и причины думать, что на Достоевского имели влияние подговоры Суворина и Каткова (sic!). Объявляя о своем решении, Достоевский поклялся честью, что по окончании своего романа в ноябре он тот же час начнет писать рассказ для меня, и уверял меня в своей любви. Я последнему верю, ибо сам чувствую большую симпатию к нему и в моей речи на обеде, который мы (двадцать человек) ему давали, высказал искреннее мое понимание его сочинений и отношения моего к нему. Но кто меня возмущает, это И. С. Аксаков, с которым, однако, мы в самых лучших дружеских отношениях, и высказываю я ему это прямо ⟨...⟩

Праздник прошел великолепно и оставил много светлого на душе всех[2]...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.10.17.

[1] Еще 5 апреля 1880 г., сообщая Достоевскому о предстоящем чествовании памяти Пушкина, Юрьев писал:

«Желалось бы и журналу „Русская мысль“ напечатать к этому дню хорошую статью о нашем величайшем поэте. Я слышал, что вы что-то пишете о Пушкине, и беру на себя смелость просить вас позволить напечатать ваш труд в моем журнале. Позвольте быть уверенным, что вы и не откажете мне в этой усердной просьбе» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.10. 19). В ответном письме (9 апреля) Достоевский, не обещая ничего положительно, упомянул, что если будет возможно, он пришлет статью к майской книжке («Письма», IV, стр. 134).

[2] 25 мая 1880 г. в письме к жене из Москвы Достоевский подробно охарактеризовал свои переговоры с Юрьевым (который произвел на него впечатление «человека беспорядочного, в новом виде Репетилова, однако же с хитростью») по поводу заказанной ему статьи о Пушкине. При этом выяснилось, что Юрьев не только не жаждет получения статьи от Достоевского в данный момент, но даже отрекается от своего прежнего предложения и готов напечатать статью только осенью. Взбешенный Достоевский «почти обещал» передать свою будущую статью (текст речи на пушкинских торжествах) М. Н. Каткову («Письма», IV, стр. 146—148). Узнав об этом, Юрьев стал усиленно добиваться пересмотра Достоевским своего решения.

9 июня 1880 г. О. А. Новикова (о которой см. выше примеч. к п. 157) писала Достоевскому: «Вчерашний день, благодаря вам, действительно велик! Но вашей гениальной речи не подобает появиться в Чухонских Афинах; Катков будет счастлив напечатать ее на каких угодно условиях, *в этом не сомневаюсь* ‹...› Я могу ему телеграфировать. Если согласны, я была бы рада ехать с вами; нас обоих примут с распростертыми объятиями ...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.7.26).

Речь Достоевского появилась в «Московских ведомостях» 13 июня 1880 г. (№ 162).

Секретарь редакции К. А. Ислявин писал Достоевскому 17 июня 1880 г.:

«Посылаю вам, согласно просьбе вашей, рукопись, относительно которой я еще до вашей просьбы внушил нашей типографии сохранить листки в целости.

Я приказал немедленно послать вам отдельный номер „Московских ведомостей“ (162) и, кроме того, пять экземпляров для раздачи кому желательно.

Михаил Никифорович, просматривая корректуры вашего очерка, стеснялся изменять некоторые, как вы выражаетесь, „шороховатости слога и лишние фразы“, вырвавшиеся у вас наскоро; он теперь даже жалеет, что не исправил их, но не имел на то вашего предварительного согласия.

Как бы то ни было, но статья имеет большой успех, а многим питерским стрекулистам крайне досадно, что очерк появился в „Московских ведомостях“» (Авт. ЛБ, ф.93.II.5.38).

206. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

‹Москва› 23 июня 1880 г.

... Аксаков вполне подтверждает как то, что «начальство» тянет молодежь в яму, так и то, что молодежь очень бы желала выйти на другую дорогу, видеть не одно лишь отрицание, а и что-либо положительное; в этом отношении речь Достоевского была, по словам Аксакова, крупным событием. Достоевский — *ex**-каторжник, *ex*-революционер — и вдруг говорит и про идеалы, и про обязанности, и про бога!! Этого молодежь давно не слыхала.

Автограф. ЛБ, ф.126.2.8.

207. Н. К. ЛЕБЕДЕВ (МОРСКОЙ) — А. С. СУВОРИНУ

Ревель. 10 июля 1880 г.

... Я все время живу в волнениях и огорчениях: «Стрекоза» и «Шут» преследуют меня разной мерзостью; Маркс [1], человек глупый, не понимая истинного значения этих нападок, теснит меня черт знает как; Берг [2], человек *не* умный, боится пропустить всякую мало-мальски живую и удачную сцену, думая, что она не подходит к семейному чтению (зимой, когда я сдал роман, этого не думал, а теперь, после прекращения «Содома» [3], сбитый разными Соловьевыми и Маркевичами с толку, радикально изменил свой образ мыслей). А между тем, даже в этом написанном за два месяца романе, изуродованном Марксом и Бергом, Ф. М. Достоевский хвалит некоторые сцены, а об одной говорит, что был бы доволен, если бы сам написал так [4]. Все это огорчает и угнетает,— порой одолевает какое-то отчаяние, порой положительно тупое равнодушие [5]...

* бывший (*лат.*).

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2263.

Николай Константинович *Лебедев* (псевд.: *Н. Морской*, 1846—1888) — беллетрист, сотрудник «Нового времени», «Нивы» и других периодических изданий.

[1] Об издателе «Нивы» *А. Ф. Марксе* см. в примеч. 5 к п. 84.

[2] О *Ф. Н. Берге* см. в примеч. 3 к п. 173.

[3] «*Содом*» — роман Морского.

[4] Речь идет о романе Морского «Купленое счастье», печатавшемся в это время в «Ниве». Отзыв Достоевского о нем неизвестен. Но несколько ранее, 27 августа 1878 г., писатель осведомлялся у В. Ф. Пуцыковича: «Кто такой Н. Морской, печатающий в „Новом времени" роман: „Аристократия Гостиного двора"? Не Буренин ли? Прелестная вещица, хоть и с шаржем» («Письма», IV, стр. 36; ср. 365). Отметим, что книга: Н. М о р с к о й. Аристократия Гостиного двора. СПб., 1879, находилась в личной библиотеке Достоевского (см. Л. Г р о с с м а н. Библиотека Достоевского. Одесса, 1919, стр. 132). Титульный лист этой книги (как и нескольких других книг Морского) с дарственными надписями автора) сохранились среди бумаг Достоевского (вероятно, они были вырезаны из книг А. Г. Достоевской).

[5] Приводим текст неизданного письма Лебедева-Морского к Достоевскому, датированного 29 августа 1880 г.:

«Я долго колебался беспокоить вас просьбою о содействии мне в одном для меня чрезвычайно важном деле. Быть может, сами не зная того, вы однажды лестным отзывом своим о моем романе „Аристократия Гостиного двора", сделанным вами А. С. Суворину, обеспечили мне целый год существования — и вот это-то и заставляет меня беспокоить вас просьбою. Дело в том, что после „Аристократии" мною написано два романа: „Содом", из которого появилась самая незначительная часть, но напечатание которого в „Новом времени" продолжение было запрещено, и „Купленое счастье" — роман, в настоящее время печатающийся в „Ниве". Роман „Содом", обманувший меня в получении гонорара, на который я рассчитывал, навлек на меня чрезвычайно многочисленные нападки в газетах и сатирических листках, на которые бы я не обратил внимания, если бы эти нападки не повлияли даже на мои интересы... „Купленое счастье" стало урезываться, и, кроме ‹того›, приобретение этого романа для отдельного издания г. Марксом, мне почти обещанное, что-то заглохло. Все это уничтожило многие мои денежные надежды и ввело меня в чрезвычайные затруднения.

А между тем я живу на романы, и печь их, как блины, не могу; не могу, следовательно, немедленно начать четвертый роман, написав три. Мне хочется продать теперь „Купленое счастье", что бы поддержало возможность моего дальнейшего существования, которое с каждым днем становится затруднительнее. Вот здесь-то я и обращаюсь к вам с просьбою, заключающеюся не в том, чтобы вы соблаговолили кому-либо рекомендовать для издания названный роман, а чтобы несколькими словами, сказанными кому-либо из людей, знающих Маркса, издателя „Нивы", словами, которые ему, конечно, передадутся, показали, что отдельное издание романа было бы не излишне. Как автору, мне совестно просить вас за самое несовершенное, самое скороспелое из моих произведений, но ведь что же делать, если то, что я считаю лучше, над чем я долее работал, не может быть издано? А жить надо на что-нибудь.

Простите, что я беспокою вас, но, право, мне не к кому обратиться, а вы, как я уже сказал, раз помогли мне немало, за что и примите позднюю, но искреннюю благодарность готового к услугам вашим

Н. Л е б е д е в а»

(Авт. ЛБ, ф. 93.II.6.7).

208. И. С. АКСАКОВ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

Троекурово. 14 июля 1880 г.

...И я очень жалею, что вас не было в Москве на пушкинских празднествах [1].

Вышло, как и всегда у нас бывает, совершенно неожиданно хорошо и как-то само собою, вопреки нелепости людской, тысяче промахов и нашему скептицизму. Как хотите, а воздвижение памятника Пушкину среди Москвы при таком не только общественном, но официальном торжестве — это победа духа над плотью, силы и ума и таланта над великою, грубою силою, общественного мнения над правительственною оценкою, до сих пор удостоивавшею только военные заслуги своей признательности. Это великий факт в истории нашего самосознания. Приятно мне знать, что вы разделяете мое мнение насчет речи Достоевского. Но, без сомнения, еще важнее содержания его речи — впечатление, им произведенное. То есть, я хочу

сказать, что Достоевский мог бы изложить те же мысли в каком-нибудь романе или в своем «Дневнике», и мысли эти, конечно, были бы замечены и достаточно оценены нами, но это обстоятельство не имело бы того значения, какое приобрели те же его слова, сказанные [всенародно] с трибуны, в присутствии нескольких тысяч человек, прямо в упор массе молодых людей и всему сонму петербургских литераторов, вслед за всякого рода речами, изобиловавшими captatione benevolentiae *. Вот это-то искусство, этот дар выразить истину в такой сравнительно сжатой, простой форме — и без всяких повелительных ораторских приемов, без всякого заискиванья и смазыванья, повернуть все умы в другую сторону, поставить их внезапно на противоположные для них точки зрения, озарить их, хотя бы и на мгновение, светом истины и вызвать в них восторг, вернее сказать — восторженное отрицание того, чему еще четверть часа назад восторженно поклонялись,— вот что было удивительно, вот что важно, вот что явилось событием и привело меня в радость. Вот почему я счел нужным подчеркнуть, так сказать, значение этого факта и, взойдя на кафедру, сказал несколько слов, может быть даже слишком восторженных [2]. Но если б вы видели, что такое было, и не со стороны одной молодежи, а со стороны столпов так называемого западничества, не исключая Тургенева и Анненкова!

Весьма простая вещь — воздать должное Татьяне за соблюдение верности мужу и спросить, по этому случаю, публику: можно ли на несчастии другого созидать свое счастие? Но грянувший от публики взрыв сочувственных рукоплесканий, что же он значил, как не опровержение всех теорий о свободных любвях и всех возгласов Белинского к женщине по поводу Татьяны и ее же подобия в Маше Троекуровой (в «Дубровском» Пушкина же), и всего этого культа *страсти*?! Когда девицы высших курсов тут же устремились к Достоевскому с выражением благодарности, что́ привело их в восторг? Они сами не могли бы отдать себе ясного отчета: это было неотразимое действие истины непосредственно на душу, это была своего рода радость эмансипации от безнравственности коверкающих их доктрин, возвращения к своему нравственному первообразу. Вероятно, всем им, бедным, досталось или достанется еще от профессоров; в первую минуту никто не спохватился, а потом, уже к вечеру, Ковалевские [3], Глебы Успенские [4] и т. п. повесили носы, вероятно, выругали себя сами за то, что «увлеклись», и стали думать о том, как бы сгладить, стушевать или перетолковать в свою пользу все случившееся. Мне передавали сами студенты возникшие между ними потом разговоры: «А ведь знаете, господа, куда мы с нашим восторгом по поводу Достоевского влетим: в мистицизм!» [5] Но если бы даже два десятка душ удержали в себе благотворное воздействие речи Достоевского, и то слава богу.

Не понимаю Градовского. Зачем нашел нужным он ослаблять действие речи Достоевского и вступаться за скитальцев?.. [6] Можно бы, конечно, многое сказать о бродяжничестве на Руси; это самый народный тип, некогда меня пленивший [7], но всего менее может быть он истолкован отсутствием политической свободы и присутствием Держиморд [8]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.1.23.

[1] Миллер находился в это время в Петербурге, где также торжественно отмечался пушкинский праздник.

[2] В отчете о чествовании памяти Пушкина в Москве выступление Аксакова изложено следующим образом: «*И. С. Аксаков* сказал, что едва ли кто-нибудь из присутствовавших испытывает такой восторг от речи Достоевского, как сам г. Аксаков. Последний собирался говорить именно на эту тему, так художественно, так гениально обработанную Достоевским. Отныне вопрос о том, народный ли Пушкин поэт, — решен окончательно, и толковать больше нечего...» («Венок на памятник Пушкину». СПб., 1880, стр. 62).

* заискиваниями (*лат.*).

[3] Максим Максимович *Ковалевский* (1851—1916) — историк и этнограф, профессор Московского университета. Достоевский относил его во время пушкинских торжеств к «враждебной партии» вместе с Тургеневым и «всем университетом» («Письма», IV, стр. 157).

[4] Отчет Г. И. Успенского о пушкинских торжествах был напечатан в «Отеч. записках», 1880, № 6. См. о нем в «Лит. наследстве», т. 83, стр. 75.

[5] См. примеч. 4 к п. 211.

[6] Профессор Петербургского университета Александр Дмитриевич *Градовский* (1841—1889) напечатал 25 июня 1880 г., в № 174 «Голоса», статью «Мечта и действительность», полемически направленную против речи Достоевского. «Нам представляется прежде всего недоказанным,—писал он,—что „скитальцы" отрешались от самого существа русского народа, что они переставали быть русскими людьми. До настоящего времени нисколько не определены пределы их отрицания, не указан его объект, так сказать. А пока не определено это, мы не вправе произнести о них окончательное суждение». Приведя цитату из речи Достоевского о необходимости искать правду внутри себя, «подчинить себя себе», Градовский заявлял: «В этих строках г. Достоевский выразил „святая святых" своих убеждений, то, что составляет одновременно и силу, и слабость автора „Братьев Карамазовых". В этих словах — великий *религиозный* идеал, мощная проповедь *личной* нравственности, но нет намека на идеалы *общественные*». Ср. «Письма», IV, стр. 182—183. Ответ Достоевского — в «Дневнике писателя», 1881. См. также «Лит. наследство», т. 83, стр. 705.

[7] Аксаков являлся автором поэмы «Бродяга» (1852), пользовавшейся некоторым успехом в 1850-х годах.

[8] Пересылая публикуемое письмо Достоевскому для передачи его жене, коллекционировавшей автографы, Миллер писал 1 сентября 1880 г.:

«Вот письмо Аксакова — в вечное и потомственное владение Анне Григорьевне. Передайте ей при этом мой глубокий, глубокий поклон. Я с своей стороны рассчитываю на то, что вы по возвращении на брега Невы позволите мне когда-нибудь прочесть письмо Аксакова к вам. Итак — вы постоянно священнодействуете — творите! Берегите только себя, дорогой Федор Михайлович, давайте себе отдыхать по временам, дышите свежим воздухом, который к тому же так упорно дышит летом и до сих пор...» (Авт. ЛБ,ф.93.II.6.85).

209. С. А. ЮРЬЕВ — Л. И. ПОЛИВАНОВУ

Село Воскресенское. 22 июля 1880 г.

...Приехав в деревню, я был в каком-то онемении: и упадок сил, и какое-то необычайно хорошее чувство. Точно опустился я на какое-то дно: тишь, спокойствие и грезы... Меня разбудили письма из Москвы и Питера. И. С. Аксаков, О. Миллер и Достоевский потребовали от меня написать мою речь. Я это исполнил, хотя с великим трудом. Писал я точно во сне! Послал в печать и получил ответ, что не совсем вышло плохо [1] 〈...〉 По возвращении из моих странствований нашел у себя в кабинете несколько писем, в том числе от Тургенева [2] и Анненкова [3], которые касаются вас. Оба они извиняются, что им, перед отъездом из Москвы, разные обстоятельства помешали побывать у меня и у вас, чтобы лично принести и мне и вам (письма я сберегу для показания вам) «глубокую благодарность за внимание, предупредительность и добродушие, с которыми вы обращались (пишу словами Анненкова как более пространными) к участникам превосходных праздников Пушкина, а в том числе и ко мне. Прошу покорнейше передать буквально такое же выражение признательности и Льву Ивановичу Поливанову». Оба они и еще Иван Сергеевич Аксаков настаивают, чтоб был издан пушкинский сборник [4]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 2191, оп. 1, ед. хр. 155.

[1] Эти письма Достоевского, И. С. Аксакова и О. Ф. Миллера к Юрьеву неизвестны. Речь Юрьева, произнесенная на заседании Общества любителей российской словесности 7 июня 1880 г., напечатана (в неполном виде) в сб. «Венок на памятник Пушкину». СПб., 1880. Здесь же воспроизведен провозглашенный им тост (стр. 39—43 и 53—54).

[2] Письмо Тургенева к Юрьеву неизвестно.

[3] Письмо П. В. Анненкова к Юрьеву до нас не дошло.

[4] Вероятно, сборник «Венок на памятник Пушкину», вышедший в том же 1880 г.

210. Б. М. МАРКЕВИЧ — К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

Царское Село. 16 августа 1880 г.

Что вы за мастер, многоуважаемый Константин Николаевич! Прочел я ваши статьи о Каткове и по поводу речи Достоевского [1] — и восхитился просто. Comme c'est fouillé *, как глубоко проникнуто всегда, выворочено и выставлено на свет — ярко, выпукло, убедительно! Достоевский, если только больное самолюбие его не запорошит ему глаз, принужден будет сознаться, что вы глубже его способны проникнуть *в суть* предмета, это христианское разумение ваше и чище, и плодотворнее его расплывчатой *любви*, так как оно расцветает на чисто евангельской почве, не обещая немыслимых плодов в нашей долине слез, а указывая на возможность их лишь в небесных садах <...> Если бы я сегодня выиграл 200 000, я тотчас же распорядился бы насчет моих похорон, так как увидел бы в этом знамение о ближайшей своей кончине. Столь сильно уверен я, что за каждый проблеск того, что человек называет счастием, он должен платить самою тяжкою ценой,— а следовательно, что оно ему неприсуще, что он *не имеет на него права*, пока он облечен плотью земною. Ваше строгое, не допускающее компромиссов Достоевского и западных его собратьев поведание этой истины, «реальной» истины, как вы очень хорошо выразились, затронуло меня поэтому глубоко сочувственно и заставило писать к вам. Да, вечное стремление к «гармонии» и невозможность найти ее, «поэтическое, живое согласование светлых цветов с темными — *и больше ничего*»— вот жизнь и единственно *реальный* закон жизни! Вы тысячу раз правы!..[2]

Автограф. ГЛМ.ОФ.4982.1.

[1] В газете «Варшавский дневник», №№ 162, 169 и 173, 29 июля, 7 и 12 августа 1880 г. напечатаны три статьи К. Н. Леонтьева: «О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике». См. о них подробнее в комментариях к «Письмам», IV, стр. 433—434 и «Лит. наследство», т. 83, стр. 74—75, 107 и 122.

[2] Об этом письме Маркевича см. в предисловии к настоящей публикации, стр. 356.

211. И. С. АКСАКОВ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

Троекурово. 17 августа 1880 г.

... Конечно, нечего меня называть при упоминании впечатления, произведенного речью Достоевского на Тургенева и Анненкова [1]. Это неудобно. Скажу, впрочем, что оба они, особенно Тургенев, был отчасти (и даже не отчасти, а на две трети) подкуплены упоминанием о *Лизе* Тургенева ** [2]. Ив. Сергеевич вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием. Такое сопоставление создания Пушкина, препрославленного в данную минуту, сопоставление публичное, торжественное, с его собственным творением,— не могло, разумеется, не быть приятно Тургеневу [3]. Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода captatio benevolentiae ***. Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать (Достоевский приехал в Москву к первому сроку, назначенному для празднования, 26 мая) Достоевский в разговоре со мною о Пушкине повторил почти то же, что потом было им прочтено в «Речи» и так же упомянул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал <...>

Вообще же ошибочно считать речь Достоевского за трактат, за какое-

---

* Как это тщательно обработано (*франц.*).

** Это сопоставление было покрыто рукоплесканиями.— *Примеч. Аксакова.*

*** заискиванье (*лат.*).

то догматическое изложение и подвергать в этом смысле критике. Ее нужно отделить от самого факта произнесения и впечатления, ею произведенного. Мысли, в ней заключающиеся,— не новы ни для кого из славянофилов. Глубже и шире поставлен этот вопрос у Хомякова и у брата Константина Сергеевича. Но Достоевский поставил его на художественно-реальную почву, но он отважился в упор публике, совсем не под лад ему и его направлению настроенной, высказать несколько мыслей, резко противоположных всему тому, чему она только что рукоплескала, и сказать с такою силой суждения, которая, как молния, прорезала туман их голов и сердец,— и, может быть, как молния же, и исчезла, прожегши только души немногих [4]...

Вышла августовская книжка «Русской мысли». Очень рад, что там нет статей *против* Достоевского. А должны были быть. Кошелев приезжал сюда на один день и сказал мне, что он послал свою статью Юрьеву, который также пишет статью. Может быть, Кошелев устыдился после сильных моих слов и отменил помещение своей статейки [5]...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.1.23.

[1] Миллер работал в это время над статьей для «Русской мысли» о пушкинских торжествах.

[2] 13 июня 1880 г. Тургенев писал М. М. Стасюлевичу: «И в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так ‹...› Эта очень умная, блестящая и хитроискусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия ‹...› Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Г-да славянофилы нас еще не проглотили» (И. С. Тургенев. Письма, т. XII, кн. 2-я. Л., 1967, стр. 272).

А. А. Киреев записал в дневнике 19 июля 1880 г.: «Тургенев — совершенный gamolli, делает гадости, позволяет всякой дряни (вроде редакции „Голоса“) злоупотреблять его именем в борьбе с Достоевским, про которого эта партия черт знает что рассказывает. Достоевский — христианин и консервативного направления, и при его громадном таланте и зарождающейся популярности среди молодежи он опасен для наших нигилистов в вицмундирах. Inde irae! ‹Оттуда и гнев! (*лат.*)› Тургенев идет на все из-за мелочного (но доходящего до колоссальности в этой своей мелочности) самолюбия. Quelle dégringolade!.. ‹Что за падение!.. (*франц.*)› (Авт. ЛБ, ф.126.2.8).

[3] Характеризуя в речи о Пушкине Татьяну Ларину как «апофеозу русской женщины», Достоевский прибавил: «Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в „Дворянском гнезде“ Тургенева» (X, 447). Л. Ф. Нелидова, присутствовавшая при выступлении Достоевского, упоминает «о всем памятном» «движении руки, поцелуе, посланном Тургеневым Достоевскому в минуту, когда он в своей речи говорил о Лизе из „Дворянского гнезда“. Все знали о их неприязненных отношениях, и это была одна из лучших минут этого удивительного праздника» («Вестник Европы», 1909, № 9, стр. 236).

[4] Приводим выдержки из двух неизданных писем Аксакова к Достоевскому, относящихся к этому времени. В первом из них, 20 августа, Аксаков писал:

«Я с нетерпением ожидал получения в Москве вашего „Дневника“, дорогой Федор Михайлович, справлялся о нем у Живарева и был несказанно обрадован и благодарен вам за присылку. По прочтении же — экземпляров уж с десяток мною роздано и по указанию моему приобретено. Появление „Дневника“ с разъяснением речи было необходимо. Речь вашу трудно было отделить от факта произнесения и произведенного ею впечатления, ибо в этом взаимодействии было непосредственно принято и *почувствовано* несравненно более того, что *высказано* было *словами* речи и что услышано *слухом* и *сознанно*. Столько было электричества, что речь сверкнула молнией, которая мгновенно пронизала туман голов и сердец и так же быстро, как молния, исчезла, *прожегши души немногих*. На мгновение раскрылись умы и сердца для уразумения, может, и неотчетливого, одного *намека*. Потому что речь ваша — не трактат обстоятельный и подробный, и многое выражено в ней лишь намеками. Как простыли, так многие даже и не могли себе объяснить толково, что же так подвигло их души? А некоторые — и, может быть большая часть,— спохватились инстинктивно через несколько часов и были в прекомичном негодовании на самих себя! „А черт возьми,— говорил в тот же день один студент, больше всех рукоплескавший, моему знакомому студенту:— Ведь он меня чуть в мистицизм не утащил! Так-таки совсем и увлек было!..“ Но это молодежь, а записные “либералы“ затеяли, как сами знаете, ретираду похитрее и поковарнее. Одним сло-

вом, разъяснение было нужно, и вы разъяснили превосходно ‹...› Конечно, самое важное в „Дневнике", самое многосодержательное — это ваши четыре лекции Градовскому. Упрекнуть вас можно лишь в том, что слишком уж крупна порция, не по внешнему, а по внутреннему объему. Тут у вас мимоходом, стороною, брошены истинные перлы, например, хоть место о встрече человекобога с богочеловеком, и другие места, годящиеся в темы для целых сочинений. Жаль, что они выброшены так, в полемической статейке. Статьи эти хороши безусловно, и я с вами вполне и во всем согласен. От Градовского не осталось ни клочка ‹...› Вас можно упрекнуть только в том (но это уже, я думаю,— органическое свойство), что вы проявляете мало экономической распорядительности мыслей и потому слов; слишком большое обилие первых, причем основная обставляется и иногда заслоняется множеством побочных; крупная черта подчас теряется в богатстве мелких. Еще пред взором читателя не выяснились линии всего здания, а вы уже лепите детали. Этот недостаток свойствен художникам-мыслителям, у которых образ или мысль возникает со всеми частностями, во всей жизненности, с случайностями, разнообразными воплощениями, так что им очень мудрено охолащивать, так сказать, свою мысль или образ. Я как-то упрекал Льва Толстого, что у него все на первом плане, все одинаково сильно живет, тогда как в живописи, например, и в натуре для глаза — ярко видно лишь то, что на первом плане, а остальное, по мере отдаления, бледнеет, сереет. Что было бы, если б глаз *одинаково отчетливо и живо* видел и близкое и на краю горизонта! Он бы лопнул. Так и вы. Вы даете читателю *слишком много* зараз, и кое-что, по необходимости, остается недосказанным. Иногда у вас в скобках, между прочим, скачок в такой отдаленный горизонт, *с перспективою такой новой дали*, что у иного читателя голова смущается и кружится,— и только скачок. Я это говорю на основании делаемых мною наблюдений о впечатлении, производимом вашими статьями на большинство читателей. Для меня понятен каждый ваш намек, каждый штрих,— ну а для читателя вообще — слишком, повторяю, крупная порция.

Я слышал от Кошелева, приезжавшего в Москву на один день, что в августовской книжке „Русской мысли" должна была появиться статья Юрьева не то что против вас, но по поводу вас с некоторым возражением. Да и он сам (Кошелев) махнул было статейку на тему о смирении и гордости: слишком-де превозносите русский народ, и т. д....»

Через три недели, 3 сентября 1880 г., Аксаков писал Достоевскому:

«И не торопитесь мне отвечать, дорогой Федор Михайлович, и не отвлекайтесь от вашего дела. Я знаю и без ваших слов, как вы пишете и чего стоит вам писание романа, особенно такого, как „Братья Карамазовы". Такое писание *изводит* человека; это не произведение виртуоза — тут ваша собственная кровь и плоть — в переносном смысле. Для меня достаточно уже то, что вы именно *так* отнеслись к моему письму; если в нем есть что верного, так оно с вас не соскользнет и вы уже распорядитесь им по-своему. Письмо ваше меня очень утешило. Посылаю для вашей супруги три автографа: Гоголя, моего отца и брата Константина Сергеевича...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.1.20).

[5] См. примеч. 1 к п. 214.

212. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 28 августа 1880 г.

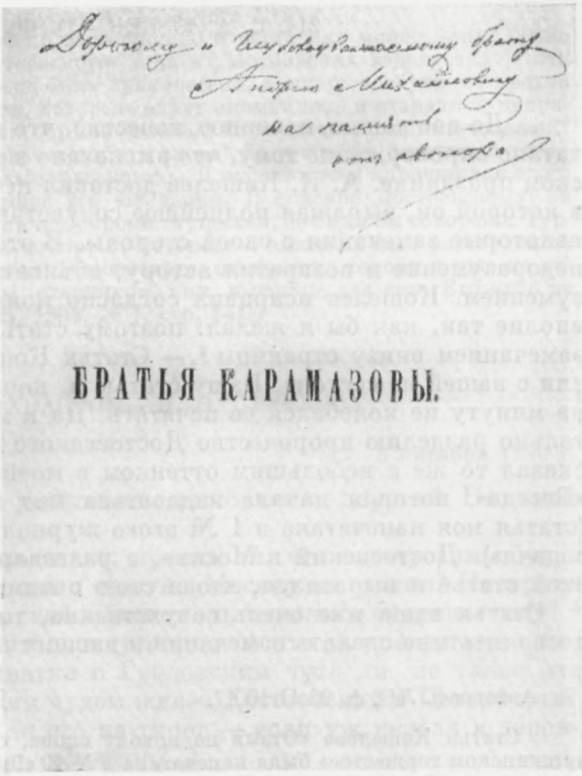
... Федор Михайлович поручил мне ответить на ваше письмо [1], во-первых, потому, что он сильно занят, а во-вторых, он очень мало знает о рязанском имении и Шере. Да и мне мало что известно: дело в том, что месяц назад я получила от Александра Андреевича [2] письмо, который прислал мне копию с письма, полученного им от Шера от 6 сего июля. Выписываю вам это письмо ‹...›

Вот все, что я знаю про имение. Как видите, дело довольно плохое, так как документы у нас неверные и нас нельзя ввести во владение. Шер писал, что он внес недоимок всего 1000 руб., а так как, по моему расчету, он получил около 5200 р., то за взносом 1000 р. у него осталось около 4200, а след. на вашу 12-ю часть приходится около 350 р. Нас о продаже леса он не извещал, и мы о этой продаже узнали лишь от Александра Андреевича. Денег, следуемых нам, он тоже не высылал [3]...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.3.58. К этому письму Достоевским сделана приписка, воспроизведенная в «Письмах», IV, стр. 198.

[1] Письмо Н. М. Достоевского (18 августа) по поводу продажи имения. Начинается оно словами: «Прости и извини меня, что я отниму у тебя время и отвлеку от занятий моим письмом. Я знаю, как ты не любишь, когда тебе мешают работать». В том же письме он пишет: «Недавно узнал о выходе „Дневника" и уже слышал восторжен-

РОМАН
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(Т. I. СПб., 1881)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
ДОСТОЕВСКОГО:
«Дорогому и глубокоуважаемому брату Андрею Михайловичу на память от автора»
Шмуцтитул
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва



ные похвалы о нем. Мне обещали дать прочесть его, и я с нетерпением жду того времени...» (Авт. ИРЛИ. 29701.с.CXI64).

[2] Александр Андреевич *Достоевский* — племянник Достоевского.

[3] Накануне, 27 августа, В. Д. Шер писал Достоевскому из Москвы: «... Спешу ответить на ваше письмо от 20 июля. Мои доверители, т. е. мамаша и Ставровские, согласны выделить вам по вашему желанию 400 десятин из Ширяева с тем, чтобы, согласно вашему письму, расход по размежеванию падал на вас; что же касается ваших братьев и племянников, то вы, верно, уже с ними переговорили о вашем желании и получили на это согласие. Потому покорнейше прошу вас назначить день, в который вы можете послать уполномоченного от вас для присутствия при отбивке следующей вам части...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 102).

Подробно о «куманинском наследстве» см. в «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской, стр. 337—338.

После смерти Достоевского свою часть наследства Анна Григорьевна передала его сестре Вере Михайловне Ивановой (см. ЛБ, ф. 93.III.12.59).

213. С. П. БУРЕНИН — Е. С. НЕКРАСОВОЙ

31 августа 1880 г.

... В настоящее время у меня «Дневник» Достоевского с его речью, но я еще не собрался прочесть его; вы пишете, что эта речь привела всех в восторг [1]; я думаю, вообще вся обстановка должна была в то время производить особенное впечатление. Если вы в хорошем настроении поехали, то, верно, она на вас хорошо подействовала.

Автограф. ЛБ, ф. 196.11.8.

Сергей Петрович *Буренин* — земский врач, участник русско-турецкой войны, брат В. П. Буренина.

[1] Письмо Некрасовой к Буренину неизвестно.

214. С. А. ЮРЬЕВ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

‹Москва. Сентябрь 1880 г.›

... До вас дошло, наверное, известие, что в «Русской мысли» будет напечатано опровержение тому, что высказано в речи Достоевского на пушкинском празднике. А. И. Кошелев доставил небольшую статью об этой речи, в которой он, выражая полнейшее сочувствие высказанному в ней, делает некоторые замечания с своей стороны. В этой статье я заметил некоторое недоразумение и возвратил автору, объяснив ему, что́ я почитаю недоразумением. Кошелев исправил согласно моим замечаниям, но все-таки не вполне так, как бы я желал: поэтому статью эту я помещу с небольшим замечанием внизу страницы [1].— Статья Кошелева ни в каком противоречии с вашей не состоит. Вашу статью я, конечно, напечатаю и никогда ни на минуту не колебался ее печатать. Да и мог ли я колебаться, когда не только разделяю пророчество Достоевского о нашем будущем, но сам высказал то же с небольшим оттенком в моей статье передовой к журналу «Беседа», которая начала издаваться под моей редакцией в 1870 году (статья моя напечатана в 1 № этого журнала под заглавием «В чем наши задачи»). Достоевский в Москве, в разговоре со мной, сам вспоминал об этой статье и выразился, что я стою с ним на одной почве.

Статья ваша мне очень сочувственна, только я желал у вас просить дозволить мне сделать замечание к вашему нападению на Градовского [2]...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.10.17.

Статья Кошелева «Отзыв по поводу слова, сказанного Ф. М. Достоевским на пушкинском торжестве» была напечатана в № 10 «Русской мысли» 1880 г. Кошелев оспаривал в ней утверждение Достоевского, что отзывчивость является «главнейшей способностью нашей национальности» и что «сила духа русской народности» является не чем иным как «стремлением ее, в конечных целях своих, ко всемирности и ко всечеловечности». Мечтательность, по словам Кошелева, вовсе не лежит в основе русского народного характера — «русский человек по природе весьма практичен и вовсе не расположен предаваться игре воображения»: «Мы фантазеры не по природе, а в силу внешних обстоятельств ‹...›, действительная наша жизнь не представляет нам ничего отрадного». Эту статью, датированную 22 июня 1880 г., Юрьев примечанием не снабдил. См. о ней в комментариях к «Письмам», IV, стр. 438—439.

[2] Обзорная статья О. Ф. Миллера «Пушкинский вопрос» — о юбилейных торжествах 1880 г.— появилась только в декабрьской книжке «Русской мысли». Значительное место в ней занимает полемика с «ополчившимся» на Достоевского проф. А. Д. Градовским (см. примеч. 6 к п. 208). «Из всех возражений на речь Достоевского он представил, конечно, самые солидные ‹...›,— пишет Миллер.— Профессор Градовский захотел удержать нас от увлечения какою-то „народною правдой“ ‹...› Да, профессор забыл, что он имеет дело с героем-автором „Мертвого дома“, давшим нам заглянуть так глубоко и в душу этих засаженных в нем „несчастных“, и в душу того народа, который сумел их назвать „несчастными“. Вот тот университет, в котором изучил Достоевский „народную правду...“». К статье Миллера сделано несколько подстрочных примечаний от редакции — в частности, о воспитательной роли общественных учреждений.

Отметим следующие строки о пушкинских торжествах в письме романиста А. И. Эртеля к М. М. Стасюлевичу (17 июля 1880 г.):

«...До сих пор не добьюсь **ещ**ё VII книжки „Вестника Европы“, чтобы прочитать глубоко меня интересующую речь Ивана Сергеевича Тургенева!

Комично то, что слава Пушкина самых горячих воздыхателей нашла в г. Буренине и вообще в „Новом времени“. Эти „молодцы“, кажется, уж на все четыре стороны побрехали, чтоб только надлежащим образом засвидетельствовать свое усердие... Жаль, никто не взялся провести границу между ликованием этих поганцев и живым участием русской интеллигенции в пушкинском празднестве, а то происходит какой-то винегрет, в котором такие люди, как И. С. Тургенев, Юрьев, Полонский и дро, появляются бок о бок с гг. Суворины, Буренины и прочей поганью, а благодаря эт му унас в провинции ходят какие-то дурацкие толки о слитии, солидарности и т. п. чеухе...»

Надпись М. М. Стасюлевича:

«Тысячу раз прав А. И.: я уверен, что никто бы так не расписывался в память Пушкина, как Булгарин и Греч, если б дал им бог веку дожить до июня 1880 года» (ЦГАЛИ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 75).

Н. Н. Страхов писал Н. Я. Данилевскому 5 августа 1880 г.:

«Пушкинское торжество было очень восторженно и доставило много минут очень радостных. Читали ли вы речь Достоевского? (она в „Московских ведомостях“). Эта речь имела успех неизобразимый, когда была произнесена, а теперь возбуждает против себя величайшую вражду западников, которые вдруг опомнились и стараются поправить дело всяким злоречием. „Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!“ Если бы вы слышали, как были произнесены эти слова! Да и вообще заварился такой восторг, такой энтузиазм, что его нельзя рассказать. Я ждал этого и нарочно для этого поехал; но действительность превзошла все ожидания. И спасибо Достоевскому: он спас честь русской литературы, а то ничего, кроме глупостей, не было бы говорено. Тургенев нес легкомысленный и вредный вздор, от которого я опять на него рассердился. И как же я был рад, когда, после речи Достоевского, он повесил голову и уже не ходил таким балованым и счастливым старичком, как в первые два дня. Его чуть не носили на руках» («Русский вестник», 1901, № 1, стр. 141).

215. П. Д. ГОЛОХВАСТОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

5 октября 1880 г.

С пушкинского праздника расстались мы с вами, дорогой Николай Николаевич ‹...›

Припишите и о Льве Николаевиче; правда ли, что он эту зиму будет жить в Москве? [1] Тогда и вас можно ждать в Москву на святки? Наверное ли будет Достоевский издавать свой «Дневник писателя» в будущем году? [2] «Карамазовых» я все еще не читал, жду конца. А что за прелесть его Август «Дневника»! Ведь эта схватка с Градовским чуть ли не такое же *событие*, как и Речь его [3]. Каким чудом живет Достоевский в Петербурге? Как он выносит Петербург? Как его не тянет — если уж нельзя в деревню — так в Москву, в Россию, все-таки?..

Автограф. НБ АН УССР.III.17072.

О *П. Д. Голохвастове* см. в примеч. к п. 72.

[1] Осенью 1880 г. Толстой два раза приезжал по делам в Москву. Зиму 1880—1881 гг. он провел в Ясной Поляне.

[2] В 1881 г. вышел один номер «Дневника писателя» — уже после смерти Достоевского.

[3] См. примеч. 6 к п. 208.

216. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — В. М. КАЧЕНОВСКОМУ

‹С.-Петербург› 28 октября 1880 г.

... Федор Михайлович поручил мне передать вам его сердечную благодарность за присланное вами письмо вашего высокоуважаемого отца [1]. Это письмо — важный вклад в собрание Федора Михайловича, и он очень ценит ту поспешность, с которою вы исполнили его просьбу [2]...

Копия рукой В. М. Каченовского. ЛБ, ф. 93.II.5.57.

Владимир Михайлович *Каченовский* (1826—1892) — сотоварищ Достоевского по пансиону Чермака, сын известного профессора-историка, издателя и редактора «Вестника Европы» Михаила Трофимовича *Каченовского* (1775—1842), автор воспоминаний о Достоевском («Московские ведомости», 1881, № 31, 31 января). См. п. 262.

[1] Автографы русских и иностранных деятелей собирала сама Анна Григорьевна, а не Достоевский, что, конечно, не исключало его личной благодарности за присылку. См. его письмо к Каченовскому, датированное 16 октября 1880 г.— «Письма», IV, стр. 203—204. 27 октября Каченовский писал Достоевскому: «С удовольствием исполняю ваше желание. Из писем отца у нас остались лишь семейные, относящиеся к первым годам его женитьбы; все прочие отданы были в 40-х годах П. М. Строеву и М. П. Погодину» (Авт. ЛБ, ф.93.II.5.56; ср. II.5.57).

[2] Среди бумаг А. Г. Достоевской хранится письмо М. Т. Каченовского к жене, датированное 13 мая 1810 г. (ЛБ).

217. С. А. ЮРЬЕВ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

⟨Москва⟩ 3 ноября 1880 г.

... Мне очень хочется видеться с вами уже и для того, чтобы переговорить о Достоевском. Я глубоко сочувствую его красноречивой проповеди о христианской любви, о том, что только в обновлении духом этой любви — источник правды, может, и блага в жизни общественной, личной и народной и т. д. Все это, несомненно, верно и развито Достоевским с обычною ему глубиною, но, тем не менее, не могу считаться *вполне* солидарным с его мировоззрением, невольно вызывающим на возражения. Послушать его, стать на его точку зрения — надо перестать думать и об экономических и о политических усовершенствованиях народной жизни, похерить все эти вопросы и ограничиться молитвой, христианскими беседами, монашеским смирением, сострадательными слезами и личными благодеяниями. Надо, говорю, похерить все вопросы о политической свободе, потому что Зосима и в цепях свободен. Не тут ли кроется и то, что Достоевский мирится с катковщиной? Цепи в известном отношении даже любезны Зосиме: дух в страданиях возвышается. Смирись, гордый человек! Зачем искать гармонии для свободной деятельности, экономических реформ? Все это — тлен и суета. Счастие в тебе, смиренного бог не уничижит, совершится чудо, и все изменится ⟨само⟩ собою, а до того молись, смиряйся и т. д. Как на руку такая речь всем деспотам, всем эксплуататорам! *Убей себя в себе*!.. Так, кажется, выражается во многих местах Достоевский. Что это значит? Это ведь не христианская проповедь, а скорее буддийская, может быть монашеская. Мы знаем другую формулу: свободно отдай себя на служение общему благу или свободно отдай свою личность общему благу. А это нечто другое, чем «убей себя в себе», излюбленное Достоевским. Прежде чем отдать свою личность, надо *иметь* ее или *приобрести* ее. А что такое приобрести личность, иметь ее?.. Отправляясь отсюда, мы придем к выводу иному, чем Достоевский, к другому миросозерцанию, которое, может, больше гармонирует с христианской любовью, чем зосимовский идеал.— Христианский идеал — идеал Зосимы; но, по моему мнению, он крайне односторонен и не исчерпывает далеко истинно христианского идеала. Этот идеал — в *деятельной* любви ко всем направлениям жизни, политической, экономической, выражающийся в безустанной, энергической деятельности, борьбе и делом и словом, клонящейся к преобразованию всей окружающей народной и общественной жизни! Мыслим ангел с молитвой на устах и смиренными слезами на глазах и мыслим ангел с пламенным мечом на всякую неправду и всякое угнетение человека. Чувствую, что очень неточно, неясно все то, что я написал; но, надеюсь, что вы извините и дополните неясность этого письма. Мне хотелось оправдать перед вами, почему я не могу быть против всех возражений на речь и особенно на последний «Дневник» Достоевского и почему почитал эти возражения необходимыми. Я не читал письма Кавелина [1], но знаю из разговоров с ним его воззрения и из писем его ко мне, как он смотрит на речь Достоевского, и не могу не высказать, что я ему во многом сочувствую. На основании сказанного я бы вас просил, если можно, оставить Кавелина без возражений в вашей статье [2]. Впрочем, я не знаю еще, не прочитал письма Кавелина. Я не могу стать на монашескую почву Достоевского, считающего все вопросы, политические и экономические, суетою сует,— я не могу говорить с вами иначе как вполне искренно и откровенно, потому что глубоко вас уважаю и принадлежу вам всею душою ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 156, оп. 1, ед. хр. 25.

[1] Открытое письмо К. Д. Кавелина к Достоевскому появилось в № 11 «Вестника Европы». См. о нем в «Лит. наследстве», т. 83, стр. 675—682, 696 и 700—703.

[2] К статье «Пушкинский вопрос» («Русская мысль», 1880, № 12) Миллер сделал следующее подстрочное примечание: «В ноябрьской книжке „Вестника Европы“ раздался совсем неожиданно единственный подходящий отклик на речь Достоевского, в виде письма к нему К. Д. Кавелина. „Может быть,— говорит автор,— я увлекаюсь золотой мечтой, но мне думается, что новое слово, которого многие ожидают, будет заключаться в новой правильной постановке вопроса о нравственности в науке, воспитании и практической жизни, и что это живительное слово скажем именно мы... С этим же вопросом соединяются, в самых неопределенных сочетаниях, и неясные представления о будущем значении русского и славянского племени в судьбах мира. Громадный успех вашей речи о Пушкине объясняется, главным образом, тем, что вы в ней касаетесь этой сильно звучащей струны, что в вашей речи нравственная красота и правда отождествлены с русскою народною психеею“». К этой цитате Миллер приписал «После этих слов можно и не спорить с многоуважаемым автором из-за частностей его письма».

218. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 26 ноября 1880 г.

... Благодарю вас от всего сердца, что вы вспомнили день рождения Федора Михайловича. Он был очень доволен, получив ваше письмо: из всех его родственников только вы и ваши дети поздравили его в этот день. Ни племянники, ни Николай Михайлович даже письмом не подумали об нем вспомнить, и это видимо огорчило Федора Михайловича. Зато тем приятнее было ему получить вечером ваше письмо [1] ‹...›

Мы, слава богу, все здоровы, хотя Федор Михайлович жалуется несколько на грудь. Но работы ужас как много, просто не остается ни минуты свободной. Мы печатаем отдельным изданием «Братьев Карамазовых», и они выйдут в свет в первых числах декабря. Я сама просмотрела все семьдесят пять листов корректуры и нашла, что это просто адская работа. Приходилось сидеть по пять-шесть часов сряду, чтоб не задержать работы. А тут хозяйство, дети, моя книжная торговля, все разрастающаяся, требования наших книг, счет с книжниками; одним словом, каждый час, каждая минута занята, и как ни работаешь, а видишь, в конце концов, что не сделала и половины из того, что предполагала. Как я ни собиралась к вашим, чтоб повидать еще раз Варвару Андреевну [2] пред ее отъездом, но попасть не могла: утром корректуры, вечером боюсь одна ехать, а ехать с Федором Михайловичем так далеко нельзя и думать: при его слабой груди ему положительно запрещено ездить на большие расстояния. Вот и откладываешь день за день, и все никуда не поспеешь. Но, слава богу, роман скоро выйдет, хотя тут пойдет опять каторжная работа по отправке, продаже и пристраиванию его. А там подписка на «Дневник», которая уже и теперь началась, а там издание «Дневника» и т. д., бесконечная и невозможная работа, а что грустно — что и в результате ничего не видно. Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а все при здешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережешь на старость. Право, иной раз руки опускаются и приходишь в отчаяние: такая каторжная работа, а только и утешения, что живешь в тысячной квартире, тогда как лично мне нужна маленькая комнатка. Право, я хочу уговорить Федора Михайловича переехать куда-нибудь в деревню: меньше заработаем, зато меньше и проживать будем да и работать меньше придется, жизнь приглядней станет, в отчаяние не будешь приходить, как теперь. Видите, многоуважаемый Андрей Михайлович, я написала вам вовсе не именинное письмо, и простите меня за это. Но что же будешь делать, когда от вечной работы, беготни, неспанья расстроятся нервы так, что и жизнь немила ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 56.

[1] Это письмо А. М. Достоевского от конца октября 1880 г. неизвестно. Достоевский тепло откликнулся на него 28 ноября. «Пожелания твои мне уж, конечно, вполне братские и искренние,— писал он,— только вряд ли они могут сбыться: вряд ли проживу долго...» («Письма», IV, стр. 213—214).

[2] Дочь А. М. Достоевского — *В. А. Севастьянова.*

219. Е. Ф. ЮНГЕ — Н. И. КОСТОМАРОВУ

‹Киев› 27 ноября 1880 г.

... Мне так о многом бы хотелось спросить вас, например, хоть о первой статье Аксакова [1] и вообще об завязывающемся вновь споре славянофилов и западников, ибо, нечего греха таить, Достоевский своей речью не примирил, а выдвинул вперед вопрос. Не думайте, что я виню Достоевского, напротив — я в полном восторге от его речи, она такая вдохновенная. Вообще, я люблю Достоевского за то, что он в нас идеал будит. Чтó бы мы были без идеалистов, боже мой! Звери, несмотря на железные дороги. Да и железные-то дороги разве не идеалисты же выдумали? Разве не в этих безумных идеалистах, презирающих блага земные, несущих голову свою на плаху, восклицающих: «Epur si muove!» *, не понимающих нашего «практического и разумного» века, разве не в них выразилось все истинно человеческое, а наши «практические» и «разумные» червонные валеты и юные старцы — не есть ли это болезнь, ужасная эпидемия? Но эпидемия эта в последнее время принимает страшный вид хронической болезни, и тут-то и полезны такие люди, как Достоевский, которые встряхивают нас, говоря: «Проснитесь!» Но я хотела, собственно, поговорить об Аксакове, мне что-то не совсем нравятся его «две державы» [2]. Мне кажется, что наши славянофилы — отчасти татарофилы, потому что боготворят именно тот строй русской жизни, который создался под влиянием монгольского ига [3]...

Автограф. ЦНБ АН УССР.XXII. 331.
Николай Иванович *Костомаров* (1817—1885) — известный историк.

[1] Юнге имеет в виду огромную передовую статью И. С. Аксакова в «Руси», № 1, 15 ноября 1880 г., направленную против конституционных стремлений «западников». «Все иноземные наилиберальнейшие системы политического строя», по утверждению Аксакова, «тесны и узки в применении к государственной и социальной задаче России». Основной задачей России, по мнению Аксакова, являлась организация уездного самоуправления.

[2] Из той же статьи Аксакова: «... пристально всматриваясь в наше современное „здание", мы, в сущности, увидим лишь две истинные исторические основы, или выражаясь техническим языком русских плотников, две *державы*, стоящие налицо, твердые, как гранит, пережившие века, все невзгоды и все преобразования. Это русский народ и единоличная верховная власть».

[3] 6 января 1881 г. Костомаров отвечал Юнге:

«... Ведь и мне, Екатерина Федоровна, драгоценны, да еще как драгоценны, минуты шестидесятых годов, со всеми призматическими надеждами, в большей части несбывшимися или переиначенными в пыльной действительности жизни ‹...›

Я думаю, Екатерина Федоровна, что о Достоевском вы слишком много сказали, выразившись, что он в нас идеал будит. Я думаю всякий талант имеет идеал и нас к нему привлекает. Талант в том и талант, что идет вслед за идеалом; иначе без идеала — все пошлость, а талант быть пошлым не может. Что Достоевский — талант, в этом едва ли можно сомневаться. Но, признаюсь, его идеал — в тумане, как вообще идеал всех славянофилов московских покрыт туманом, сквозь который он представляется наблюдающим глазам в различных образах, и чаще всего в таких, каких на самом деле он не имеет. Мне кажется, этих господ не понимают, но виноваты они сами, потому что все, что они нам показывают, дают нам видеть не иначе, как сквозь дымку тумана, искажающего правильное очертание видимых образов. Что касается до аксаковской Руси, то покрывающий ее славянофильствующий туман прошибается каким-то фаль-

* «А все-таки вертится!» (*итал.*).

щивым светом — нападения на кого-то, до того неясные, что могут их принимать на свой счет разные направления, толкование о каких-то народных задачах, которым интеллигентное общество изменило и которые где-то скрываются в избах и клетях, так что их там никто не отыщет, преклонение пред мужиком и его лаптями, которых сам Иван Сергеевич и компания, записанные в шестую родословную книгу, не наденут, благоговение перед православием Алексея Михайловича, тогда как сам Иван Сергеевич, вероятно, не сможет питаться полгода кислой капустой и постным маслом, наконец коленопреклонение перед абсолютизмом, с одеванием его в такие цветные лоскутья, которые к нему вовсе не пристают,— все это разве не фальшивый блеск, все это разве не служение лжи, вместо служения истине? Будь человек чем он есть, и говори, как думаешь и чувствуешь. Всякий суеверный сектант достоин уважения к его человеческому достоинству, и пусть он говорит то, что нам кажется неправдою, лишь бы говорил он искренно, а у Аксакова — ложь, самолюбие, самомнение, „я, дескать, умнее вас всех, я думаю не так, как вы, но вы меня вполне понять неспособны, настолько я выше вас!" Вот ведь это что у всех этих господ славянофилов — ложь! Они говорят нам: иди туда, а сами первые не идут, потому что сами не знают, куда идти. Они часто говорят: вот это так, а сами думают, что это не так. Такое впечатление на меня оставляют эти пробудившиеся отзвуки славянофильства. Никакой борьбы с западничеством не будет, потому что это уже минуло и стало стариною, которая никогда не воскресает с прежними формами ...» (Авт. ЦНБ АН УССР.III.1158/3).

19 марта 1881 г. Юнге писала Костомарову: «Получили ли вы последнее мое письмо? Я писала об Достоевском и в тот же день узнала об его смерти. Что за роковой год...» (Авт. ЦНБ АН УССР.III.231а). Это письмо Юнге остается неизвестным.

220. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 27 ноября 1880 г.

... Вчера у нас Федор Михайлович читал главу из эпилога [1], княгиня Дондукова [2] пела, одна барыня, Назимова, играла, но не было ни вас, ни Михаила Павловича [3]...

Автограф. ЦНБ АН УССР.III.18787.

[1] «Братья Карамазовы». Это чтение не зафиксировано в «Жизни и трудах Достоевского».

[2] Княгиня Надежда Михайловна *Дондукова-Корсакова* (? — 1915) — петербургская знакомая Штакеншнейдер.

[3] Михаил Павлович *Покровский*. См. о нем в п. 34.

221. НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО — К. Д. КАВЕЛИНУ

‹Москва. 20-е числа ноября 1880 г.›

Спросите, пожалуйста, у Ф. М. Достоевского, почему нигде в мире, ни в Европе, которая «должна завтра рухнуть», ни в Азии, куда еще не проникла никакая цивилизация, женщины не играют в карты и не курят папирос, кроме как в России? ‹...›

Почему нигде воровство, казнокрадство, взяточничество, лжесвидетельствование не достигли таких чудовищных размеров и не проникают так во все слои общества?

Спросите у него, чем он, «гордый человек», так возгордился?

Пусть он объяснит, когда и какое именно слово скажет миру женщина, которая дуется в карты с папиросой в зубах, или мужчина, готовый продать отца родного за крестик, и не имеющий никакого понятия о святости долга гражданского, сплошь и рядом обворовывающий общественные кассы и т. д.! Он утверждает, что Ноздревы, Чичиковы, Собакевичи, Сквозники и т. д.— не русские, ибо они дурны. Нелепая аргументация! ‹...›

Один из читавших ваше письмо к Ф. М. [1]

Автограф. ГПБ, ф. 621, ед. хр. 362.

[1] Письмо приложено Кавелиным к его записке (28 ноября 1880 г.), адресованной А. Н. Пыпину:

«... посылаю вам письмо, полученное из Москвы. Это, как говорят французы. „вода на вашу мельницу". Я посылаю его, в виде заискиванья у вас, чтоб вы исполнили мои две просьбы, а говоря попросту, по-русски — „черту на грехи"» (там же).

Об открытом письме Кавелина к Достоевскому см. в примеч. 1 к п. 217.

222. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› Начало декабря 1880 г.

... Во вторник я вместе с Рыкачевыми был у Анны Григорьевны Достоевской на именинах. Кроме нас, было еще несколько человек: родственник Анны Григорьевны Сниткин, Страхов, пасынок Федора Михайловича, фамилии коего не знаю, и др. После обеда мы разошлись по домам, при этом Анна Григорьевна просила меня зайти к ней в субботу — поговорить об нашем деле ‹...› Таким образом, вчера вечером я и был у Анны Григорьевны. Она подробно будет вам писать на днях ‹...›

Вчера Федор Михайлович передал мне для пересылки вам «Братьев Карамазовых», вышедших на днях отдельным изданием. Так как вы уже этих братьев прочли в «Русском вестнике», то я с вашего позволения придерживаю их у себя для прочтения. Расходится роман очень быстро: уже продано на три тысячи рублей (в четыре дня); все же издание в четыре тысячи экземпляров обошлось в четыре тысячи рублей, так что скоро книга будет продаваться в чистый барыш. Анна Григорьевна рассчитывает получить чистого барыша десять тысяч рублей — конечно, если все издание будет распродано [1]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 30. Помета о получении: *16 декабря*.

[1] Достоевский в это время выслал ряду своих родных, друзей и знакомых экземпляры только что вышедшего в свет отдельного издания «Братьев Карамазовых».

Издатель «Русской мысли» Вукол Михайлович *Лавров* (1852—1912) писал Достоевскому 30 декабря 1880 г. из Москвы: «... Позвольте мне высказать вам мою глубочайшую сердечную благодарность за присланный мне экземпляр „Братьев Карамазовых". Эта книга с вашей надписью будет служить мне, во всю мою жизнь, напоминанием о тех немногих отрадных моментах, которые я имел счастие провести в живом общении как человек с человеком, с тем, кто по своему великому художественному таланту и еще более по своей способности понимать и делать понятным другим сокровеннейшие движения человеческой души, казался мне в своих произведениях титаном, которому можно только удивляться, созерцать его величие, пред которым можно только благоговеть, как перед творцом, созидающим вновь человека как бы из первобытного хаоса, из пошлости и грязи ненормальных жизненных условий вновь возвращающим ему образ и душу человека, страдающим вместе с ним в его падении и торжествующим вместе с ним победу над эгоистическими, животными стремлениями.

Но при всем моем желании выразить то чувство глубочайшего уважения и восторженной симпатии, которое во мне внушают ваша личность и ваши произведения, я признаю недостаточными все слова, все выражения, которыми могу располагать. Могу только сказать, что из всех подарков, которые я получал, самым драгоценным для меня будет ваша книга и надпись на ней.

Глубоко уважающий и искренно, всею душою преданный вам Вукол Л а в р о в» (Авт. ЛБ, ф.93.II.6.11).

Несколько ранее, в письме к жене, датированном 27 мая, Достоевский следующим образом охарактеризовал Лаврова: «Мой страстный, исступленный почитатель, питающийся моими сочинениями уже многие годы» («Письма», IV, стр. 154).

223. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Н. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург› 26 декабря 1880 г.

... Федор Михайлович поручил мне ответить вам на ваше письмо от 23 декабря [1], так как сам нездоров и занят по горло. Вы просите его разрешить Шеру продать восемь или десять десятин на покрытие вашего и племянников долга Александре Михайловне, т. е. на покрытие 2500 р. Но в таком случае вы оцениваете десятину в 250 р., тогда как самая высшая цена, за которую продавали,— 95 р. за десятину, да притом это самые лучшие места, а в среднем числе можно продать по 50 р.; следовательно, чтоб выручить 2500 р., следует продать пятьдесят десятин. А так как Александра Михайловна пожелает получить свои деньги с Шера, около пяти тысяч, то придется продать еще сто десятин, а всего от 150 до 200 десятин хорошего леса. Вы сами видите, как это далеко от восьми — десяти десятин. Но продать такое количество десятин — значит обесценить имение совершенно, так как будут выбирать лучшие места, а останутся худшие, на которые не найдется покупщиков. Так вот почему Федор Михайлович не может согласиться на продажу имения участками, подесятинно. Есть единственный выход из этого положения: чтоб нас выделили землею, т. е. лесом, как было условлено прежде, а именно нам выделили четыреста десятин Ширяева, а Андрею Михайловичу выделили двести десятин Пехорки. Но так как до ввода во владение разделиться нельзя, то можно пока до раздела написать, так сказать, предварительный договор, по которому Шер, Ставровские, вы и племянники обязуетесь *как только мы все будем введены во владение*, нам выделить четыреста десятин Ширяева, а Андрею Михайловичу — двести десятин Пехорки от такого-то до такого-то места. Но на случай, если б Шер, или Ставровские, или племянники захотели потом отказаться от этого договора и не захотели нам отделить четыреста десятин Ширяева, а Андрею Михайловичу двести десятин Пехорки, то тогда Шер, Ставровские или племянники обязаны уплатить нам неустойку в восемь тысяч ‹...› Итак, многоуважаемый Николай Михайлович, теперь от вас зависит, как вы решите это дело: если захотите нас выделить этим предварительным договором, то тогда выделяйте и тогда делайте с остальным имением что хотите. Если же не желаете нас выделить, то—что делать — пусть имение продается с публичного торга, и мы все понесем убытки ‹...›

Известите, если возможно, скорее о вашем решении [2]...

Автограф. ИРЛИ.30413.с.СХШб9.

[1] В этом письме Н. М. Достоевский сообщал брату:

«Я писал Анне Григорьевне, прося разрешить Шеру продать от 8 до 10 десятин и поставить их при разделе на мой и племянников счет, и тогда тебе не было бы никакого ущерба ‹...› Поэтому, милый и дорогой брат, разреши, без ущерба себе, продажу означенного количества десятин, чтобы только развязаться с Александрой Михайловной и очистить имение от опасного долга ‹...› Что же касается до моего согласия на раздел, то тебе давно известно, что я во всем согласен с твоими желаниями и противоречить не буду...» (Авт. ИРЛИ. 29701.с.СХ1б4).

[2] Ответное письмо Н. М. Достоевского неизвестно.

14 января 1881 г. он писал Достоевскому:

«... Помоги мне сколько можешь. Нужда пришла небывалая. Новый год я встретил с *семью* копейками и теперь прихожу в уныние, не зная, что начать. Прошлогодние работы окончены, а новых еще нет, а тут безвыходное положение. Хотя ты не вполне веришь в мои болезни, а между тем, в настоящее время, я так слаб ногами, что даже плохо хожу по комнате ‹...› Надеюсь, дорогой мой брат, что ты меня не осудишь, что я обращаюсь к тебе — это для меня главное...» (Авт. ИРЛИ.29701.с.СХ164)

224. Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. 1880 г.?›

Голубушка, мама посылает вам рисунок, акварель моего покойного отца [1]. Это вид окрестностей Ревеля, и наверху надпись, сделанная рукой отца. Эта акварель сделана была давно, еще мой отец был молод и жил в имении гр. Бенкендорфа, Фалле, около Ревеля. За этот рисунок, надеюсь, что вы в субботу покажете не только Федора Михайловича, но и себя. Милочка, так вам досталось! А я-то была вам рада! ‹...›

Оля [2] очень благодарит и посылает три рубля. А я когда же получу: черновую «Карамазовых», адрес Славянского комитета и два портрета Федора Михайловича?..

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.9.150.

[1] Андрей Иванович *Штакеншнейдер* (1802—1865) — известный архитектор.
[2] Ольга Андреевна *Штакеншнейдер* (*Эйснер*) — сестра Елены Андреевны.

225. И. И. РУМЯНЦЕВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹Старая Русса. Начало января 1881 г.(?)›

... Я глубоко благодарен за дорогой для меня подарок Федору Михайловичу и надеюсь, что вы понимаете мое душевное к вам уважение и извините меня за несоблюдение формы.

С великою охотою начал с начала и прочитал я книгу, подаренную мне, следовательно два раза читал. И искренно скажу, что благодарю бога за то, что вынес из нее. Только теперь во всей ясности и полноте понял я сущность этого произведения. Можно дивиться глубине проникания в чужие души и последовательности и ясности изображаемых событий. Действительно, чтобы понять всецело Федора Михайловича, надобно приложить силу своего разумения, потому что Федор Михайлович — не просто описатель внешних событий, а потому речи прокурора и адвоката, помимо того, что они высказывают дорогие мысли, очень много облегчают понимание и положительно необходимы для большинства читателей, которые не могут схватить и понять разом [1]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 208.

Приблизительная дата устанавливается по времени выхода в свет отдельного издания «Братьев Карамазовых» (в начале декабря 1880 г.), о которых идет речь в письме.

[1] Н. К. Лебедев-Морской писал А. С. Суворину 23 января:
«Желаю напечатания прилагаемого фельетона не столько для себя, сколько ради справедливости. Тут идет речь о „Масонах“ Писемского, известие о смерти которого застало меня только что окончивши статью. О романе никто до сих пор не сказал ни слова, даже вы в обзоре журналистики забыли упомянуть о нем, а между тем за прошлый год только замечательного и было, что „Масоны“ да „Карамазовы“...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2263).

226. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

‹С.-Петербург. 13 января 1881 г.›

... Вы дали нам слово написать нам, что узнаете проездом через Москву от Шера. Нас это ужасно интересует, и Федор Михайлович поручил мне напомнить вам о вашем обещании. Действительно ли имение назначено в продажу; согласен ли Шер на выдел? Согласны ли вы на выход из на-

следства, как мы предполагали? Будьте добры, ответьте нам на наши вопросы.

Федор Михайлович поручил мне передать вам его уважение ...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 56.

227. В. К. САВОСТЬЯНОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Шацк. 15 января 1881 г.

... Я все поджидал известий о том имении, про которое говорил вам, поэтому и не писал вам до сих пор. Купец Емельянов, продавец имения, видя возрастающую ценность земли, с двадцати тысяч, которые он просил летом, просит теперь тридцать пять тысяч, и, вероятно, ему дадут эту цену, если не теперь, то через год ⟨...⟩ Но у меня есть в виду отличное имение для вас ⟨...⟩ Я очень рад был бы услужить вам. Да и весь Шацкий уезд с восторгом думает о возможности считать Федора Михайловича своим ⟨...⟩ Прошу вас передать мое приветствие и глубокое уважение Федору Михайловичу [1]...

Автограф. ИРЛИ.30252.с.CXIIб6. Дата почтового штемпеля.

[1] Имение в Шацком уезде Достоевским приобретено не было.

228. О. Ф. МИЛЛЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

⟨С.-Петербург⟩ 20 января 1881 г

... Был я в субботу [1] без вас у Федора Михайловича и попал невпопад, чем и объясняю полученный мною — к тому же и *навсегда* — отказ от чтения. Потом Федор Михайлович смилостивился немножко и подал некоторую надежду. Я по своему опыту знаю, что, когда погрузишься в писанье, а тут кто-нибудь прилезет с посторонними вопросами, то не можешь такого непрошенного гостя не счесть хуже татарина [2]. Вот почему до окончания «Дневника» и не надо мешать Федору Михайловичу. Но вы имеете возможность поговорить с ним о пушкинском вечере 29 января, выбрав такую минуту, когда вы ему нимало не помешаете. Будьте же адвокатом за Пушкина и за меня, грешного. Если уж Федор Михайлович решается более не огорчать наших глупых «либералов» тем приемом, какой всегда делает ему публика, то пусть хоть раз, для Пушкина, он плюнет на либералов и прочтет из «Бориса Годунова»: «Достиг я высшей власти» и «Царскую думу». а также «Пророка», или же, наконец, по собственному его выбору, все, что ему будет угодно. Пусть сделает это отчасти и *для меня*: право, я заслужил этого, любя Федора Михайловича всею душою. Я бы выждал окончания «Дневника» и сам пришел опять к Федору Михайловичу, но ведь афиша должна быть выпущена никак не позже воскресенья (хорошо бы и ранее — вечер 29-го, в четверг). Вот почему я и прошу вас, улучив добрую минутку, заручиться согласием Федора Михайловича хотя бы только на постановку его имени в числе участвующих (подробную афишу можно бы тогда выпустить попозже).

Вверяю вам участь пушкинского вечера ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.6.86.

[1] Суббота приходилась на 17 января.

[2] Эпизод, о котором здесь идет речь, подробно освещен в XXII главе «Воспоминаний» Н. Н. Страхова «Последние минуты», составленной, как говорится в подстрочном примечании, «общими силами очевидцев». «Дней за десять до той кратковременной болезни, которая свела Федора Михайловича в могилу, зашел к нему О. Ф. Миллер напомнить ему о данном им обещании участвовать в пушкинском вечере 29 января (в день смерти поэта). Незваный гость, как это часто и случалось с Федором Михайловичем, оказался для него хуже татарина. О. Ф. Миллер не сообразил, что Федор Михайлович как раз дописывал тогда январский номер возобновляемого им „Днев-

ника писателя". Он выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный — отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах „Дневника", в течении всего года. „Не пропустят этого,— говорил он,— и все пропало" (известно, что, не имея средств для внесения залога, он должен был издавать свой „Дневник" под предварительною цензурою). Строки, так его беспокоившие, надо думать, те, которыми открывается 5-й отдел 1-й главы „Дневника" ‹...›: „На это есть одно магическое словцо, именно „Оказать доверие". Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду"». («Биография...», стр. 321).

229. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

‹С.-Петербург› 20 января 1881 г.

... Федор Михайлович поручил мне написать вам, что он будет читать у вас 29 января *во всяком случае*, то есть даже в случае, если б ему запретили его январский «Дневник» (чего он так опасается) [1]. Таким образом вы смело можете выставить его имя в числе участвующих. Федор Михайлович желал бы прочесть из последней главы «Евгения Онегина» и тем ограничиться, так как чтение этой главы займет не менее двадцати — тридцати минут. Если найдете нужным переговорить с Федором Михайловичем, то зайдите к нам от трех-четырех когда угодно. Федор Михайлович хоть и страшно занят, но для вас у него время найдется.

Очень прошу вас, многоуважаемый Орест Федорович, не сердиться на Федора Михайловича за его нетерпеливый и строптивый тогдашний прием: Федор Михайлович и всегда болезненно раздражителен, а тут «Дневник» его окончательно замучил. Я очень рада, что мне удалось уговорить Федора Михайловича читать и тем исполнить вашу просьбу ...

Автограф. ИРЛИ. 30420.с.CXIII69.

[1] В этот же день начальник Главного управления по делам печати Николай Саввич *Абаза* (1837—1901) писал Достоевскому (по поводу выпуска в свет очередного номера «Дневника писателя»): «Прошу извинить, что задержал, никаких препятствий, конечно, нет» (Авт. ЛБ, ф.93.II.1.1. Написано на визитной карточке Абазы).

230. О. Ф. МИЛЛЕР — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 21 января 1881 г.

... Мне и в голову не приходило сердиться на Федора Михайловича [1]; это для меня *невозможно* — как в прошедшем, так и в будущем.

От души благодарю вас за ваше посредничество. На днях зайду сам лично поблагодарить вас и Федора Михайловича и переговорить [2]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.6.86.

[1] См. предыдущее письмо.

[2] В «Биографии» сообщается по поводу этого эпизода: «В воскресенье, 25 января, рассчитав, что „Дневник" уже должен быть дописан, О. Ф. Миллер отправился к Федору Михайловичу и застал у него А. Н. Майкова и Н. Н. Страхова ‹...› Федор Михайлович был в хорошем расположении духа. Но когда речь зашла о чтении, он вдруг настоятельно заявил, что желает прочесть на вечере некоторые любимые им небольшие стихотворения Пушкина. О. Ф. Миллер заметил ему, что он заранее указал на отрывок из „Евгения Онегина", как уже и значится в афише вечера ‹...› Федор Михайлович несколько раздражился и сказал, что, кроме указываемых им теперь небольших стихотворений, он ничего другого читать не будет ‹...› Небольшая размолвка окончилась миролюбиво ‹...› Когда он уходил, хозяин, совершенно уже успокоенный, проводил до дверей О. Ф. Миллера, которому так и не пришлось уже более увидать живым Федора Михайловича» (стр. 322—323).



СОНЕТЫ ШЕКСПИРА В ПЕРЕВОДЕ Н. В. ГЕРБЕЛЯ (СПб., 1880) С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ ПЕРЕВОДЧИКА ДОСТОЕВСКОМУ: «Федору Михайловичу Достоевскому от поклонника его таланта Николая Гербеля» Титульный лист. Книга не сохранилась Архив Института литературы АН УССР, Киев

231. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

⟨С.-Петербург⟩ 26 января ⟨1881 г.⟩. 2 часа ночи

...Считаю нужным вас уведомить, что Федор Михайлович не в состоянии читать на вечере 29 января. Вчера в шесть часов вечера Федор Михайлович опасно заболел: у него лопнула легочная артерия и сильно шла горлом кровь. Одно время он был до того плох, что доктора посоветовали пригласить священника, и Федор Михайлович исповедался и причастился. У нас был консилиум, и Кошлаков [1] настоятельно требует, чтобы Федор Михайлович не двигался и не говорил в течении недели.

Я в страшном отчаянии; опасность еще не прошла: еще одно такое кровотечение, и Федора Михайловича не станет.

Пишу вам ночью, чтоб вы завтра же утром успели сделать распоряжение об исключении имени Федора Михайловича из афиши [2].

Автограф. ИРЛИ. 30420.с.CXIIIб9.

[1] Дмитрий Иванович *Кошлаков* — профессор Медико-хирургической академии.

[2] На пушкинском вечере 29 января выступил Миллер, сказавший: «Сегодня у нас поминальный день. Мы думали поминать Пушкина вместе с Достоевским, то есть думали, что Достоевский будет сегодня с нами читать вам стихи Пушкина, читать „Пророка". Нам приходится теперь поминать вместе с Пушкиным самого Достоевского, поминать умершего Достоевского... Еще в воскресенье он говорил со мною о том, что́ именно выбрать ему для чтения. Сперва (за неделю) он совсем отказывался читать. Его впечатлительная душа находилась под влиянием свежих еще попреков, что он любит овации... Потом он согласился во имя Пушкина, но долго отказывался именно от „Пророка"... Наконец, он взялся и за эти стихи, но с тем, чтобы прочесть вместе с ними „Из Корана", „Из Данта", „Странники"... Он собирался при этом говорить о всеобъемлемости Пушкина — на тему „всечеловека". Мы надеялись, что, как всегда в начальной части вечера, он выступит перед нами своими тихими, неслышными шагами — и сразу опять раздастся тот гром приветствий нетерпеливо ожидающих слушателей, тот гром приветствий, который раздавался только для него...»

232. С. П. ХИТРОВО — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. 27 (?) января 1881 г.›

... Мы сейчас узнали, что Федор Михайлович нездоров. Скажите, пожалуйста, что с ним? Можно ли к вам приехать? Когда? Мы так беспокоимся! Пожалуйста, напишите два слова. Графиня [1] и я, мы очень, очень беспокоимся и хотим знать, когда можно видеть вас, приехать к вам?..

Автограф. ЛБ, ф.93.II.9.104.

Софья Петровна *Хитрово* — хозяйка петербургского литературного салона. В ней, по характеристике К. Н. Леонтьева, были «соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное *косноязычие* и ясный, твердый ум» («Лит. наследство», т. 22-24, стр. 435; ср. стр. 476). Среди бумаг Достоевского сохранилось несколько писем к нему Хитрово с приглашением читать в ее салоне, прийти в гости и пр.

[1] *Графиня* — Софья Андреевна Толстая, вдова поэта А. К. Толстого. См. п. 248

233. Е. Н. ГЕЙДЕН — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. 28 января 1881 г.›

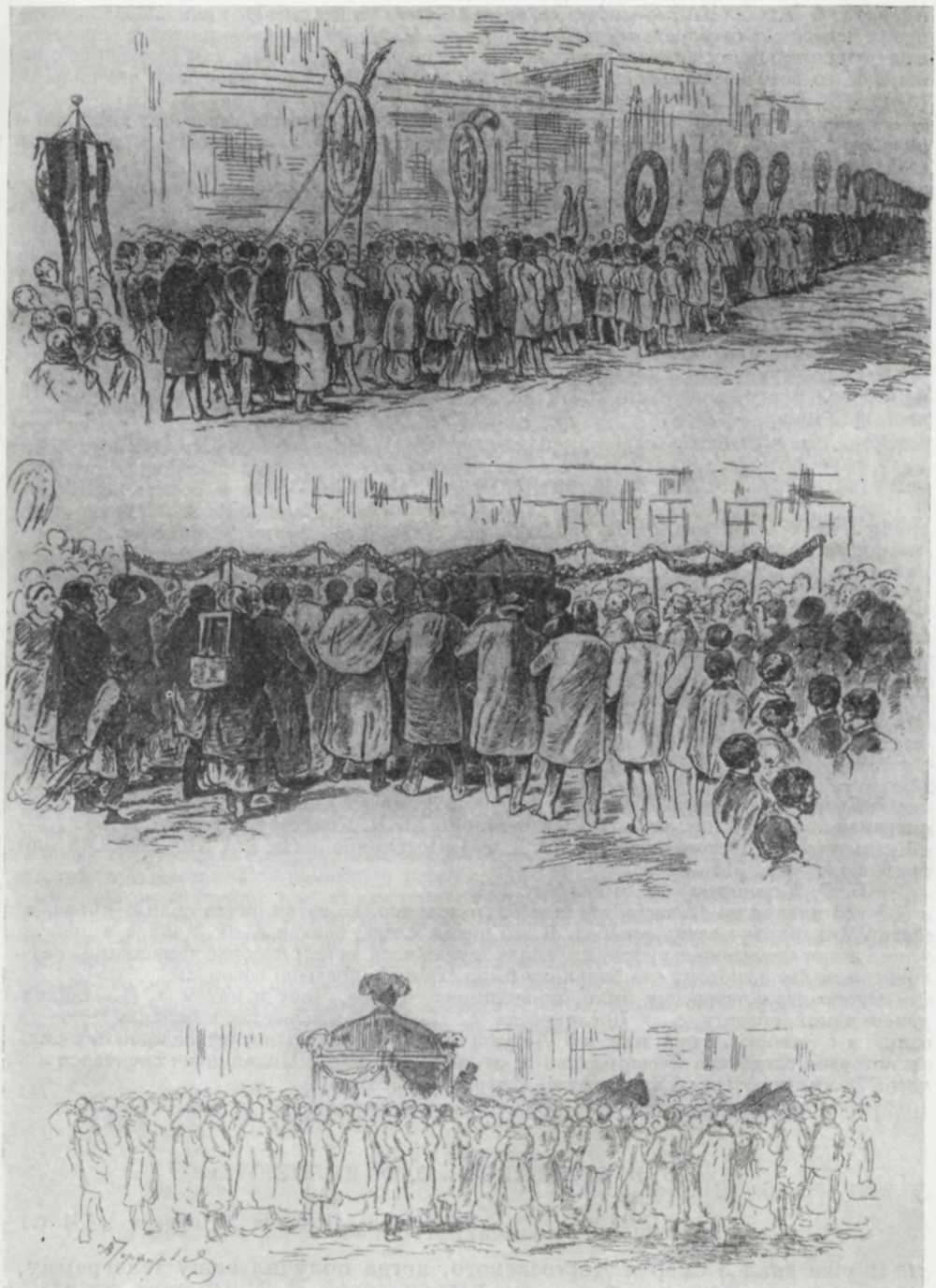
... Сейчас поражена была прочитанным в газетах известием о тяжкой болезни Федора Михайловича! [1] Страшно, я все о нем думала эти дни (сама заболела, лежала в постели), беспокоилась его заботой о «Дневнике», хотела вам писать, да своею немощью отвлеклась. Меня сегодня никак не выпускают, но душа моя рвется к вам обоим — я теперь чувствую, как вы мне дороги и как хотелось бы послужить вам. Дня через два вырвусь, но до тех пор скажите, бога ради, не нужно ли вам кого-нибудь, чего-нибудь? Хорошего врача, моего преданнейшего друга? сестру для ухода? или что или кого? Если у вас есть бюллетень, пришлите, иначе скажите два слова о нем моему посланному — я знаю, что вам некогда писать!.. [2]

Автограф. ЛБ, ф.93.II.2.74.

Графиня Елизавета Николаевна *Гейден* (ур. гр. Зубова, 1833—1894)—петербургская знакомая Достоевского, великосветская дама-филантропка. По словам А. Г. Достоевской, писатель «любил беседовать» с Гейден («Воспоминания», стр. 258). Напыщенные, холодно-экстатические письма Гейден к Достоевскому дают некоторое представление о характере их взаимоотношений. Написаны они неправильным, не по-русски звучащим языком; эгоцентрические нотки то и дело прорываются сквозь густые волны фимиама, на который не скупится корреспондентка. Можно усомниться, что Достоевскому всегда приятны были встречи и беседы с Гейден. Вот недатированная записка Гейден, свидетельствующая о том, что она не без назойливости напрашивалась на встречи с писателем, которых он пытался избежать: «Добрейший Федор Михайлович, я положительно скучаю от запрещения вашего приехать к вам до будущей недели. Что мне устройство квартиры? Мне хочется вас видеть и послушать. Если позволите, то приеду сегодня в 3 часа, а если *нельзя*, то скажите, как лучше, в понедельник или во вторник» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 66).

Обширное письмо Гейден, датированное 2 июля 1880 г., обращено к «сердечно уважаемому учителю», у которого, по ее выражению, «мы обретаем течение живого слова и которого поэтому предполагаем у самого источника». «Вся Россия внимала вам на пушкинском празднике,— пишет Гейден,— и, принимая непосредственно из ваших уст ваше исповедание русских идеалов, она шла за вами, как один человек, в разоблаченную действительность, которую вы исходили трудами и слезами, и потому Россия признала за вами право оглашать ее и звать за собой в тихое пристанище любви, откуда вы взираете на нас со властью. В эту минуту вас все понимали, и глубоко заронялось ваше слово в юных сердцах, ищущих с чистым восторгом задач своей жизни.— Благословенны вы за это руководительство.

Я была в Петербурге и слышала обо всем торжестве, радовалась сердечной радостью, а здесь, в деревне, встретившись месяцем спустя с сыном-студентом, который был на этом празднике, он мне с умилением сказал: „Всю жизнь не забуду слова Достоевского".



ПОХОРОНЫ ДОСТОЕВСКОГО

Литография с рисунков В. И. Порфирьева, 1881

«Осколки», 1881, № 6, 8 февраля

— Если я сама была под сильным влиянием сочувствия и восторга — зачем же я раньше не писала вам? — спросите, может быть. Оттого, что вы принадлежали в это время истории, окружающим, корифеям слова. Я одного для себя жаждала, прочесть ваше слово в полном его подлиннике, что и теперь не получила, так как оно еще не явилось во всем своем объеме в печати. Но я предчувствую его во всей его силе...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.2.73).

Письмо, датированное 18 августа того же года и посвященное разбору «Дневника писателя» и речи о Пушкине, написано в столь же восторженном тоне. См. «Вопросы литературы», 1971, № 11, стр. 218.

[1] На первой странице «Нового времени», № 1767, 28 января 1881 г., напечатана следующая заметка, озаглавленная «Пушкинский вечер»: «В сообщаемой сегодня программе пушкинского вечера читатели не найдут возвещенного прежде имени Ф. М. Достоевского. Он сильно занемог вечером 26 января и лежит в постели. Люди, еще так недавно попрекавшие его тем, что он слишком часто принимает овации на публичных чтениях, могут теперь успокоиться: публика услышит его не скоро. Лишь бы сохранилась для русского народа дорогая жизнь глубочайшего из его современных писателей, прямого преемника наших литературных гениев!»

[2] Среди бумаг А. Г. Достоевской сохранился написанный ее рукою текст письма к Гейден, представляющего собой ответ на публикуемое письмо. См. стр. 147 настоящ. тома.

234. А. Н. МАЙКОВ — Н. Н. СТРАХОВУ

‹С.-Петербург› 28 января 1881 г.

Любезнейший Николай Николаевич! Я сообщаю вам ужасную новость: Федор Михайлович скончался! [1] Анна Григорьевна и Софья Сергеевна [2] просят вас, если вы дома, приехать к ним, т. е. к Достоевским. Передаю поручение. Еще огонь угас — и какой светлый — тьма растет вокруг нас [3]...

Автограф. ГПБ, ф. 747, ед. хр. 21.

[1] Достоевский умер 28 февраля в 8 часов 38 минут вечера. См. историю его предсмертной болезни в письме А. Г. Достоевской к Н. Н. Страхову (21 октября 1883 г.) — «Жизнь и труды Достоевского», стр. 352, в ее «Воспоминаниях», стр. 370—390 и в «Биографии...», стр. 315—329.

[2] *С. С. Кашпирева.* См. о ней в п. 264.

[3] «28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять полила кровь, и Федор Михайлович очень ослабел. В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить.

Около двух часов ему было, по-видимому, лучше. Часу в пятом А. Н. Майков уехал домой обедать ‹...› После обеда А. Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою, и при них, в 6 $^1/_2$ часов вечера случилось последнее кровотечение, за которым следовало беспамятство и агония ‹...› Федор Михайлович скончался в 8 часов 38 минут вечера» («Биография...», стр. 323—324).

235. И. С. АКСАКОВ — О. Ф. МИЛЛЕРУ

‹Москва› Ночь на 29 января ‹1881 г.›

Я уже знал о смерти Достоевского, когда получил вашу телеграмму, многоуважаемый Орест Федорович [1]. Известие получено было ночью Катковым и помещено в «Московских ведомостях» [2]. Горе, горе! Это незаменимая потеря! Теперь из художников-писателей и хоронить уже некого. Угасла сила *положительная*, незаменимая. Он один держал знамя высших нравственных начал. Дело художественного творчества было для него *делом души*. Не прошло и десяти дней, даже меньше, как я ему писал! [3] Я написал о нем несколько слов в номере «Руси», который завтра печа-

тается [4]. Это казнь божия, которой, впрочем, мы сто́им. В обществе и литературе у нас царит только одна *богема*, как выражаются французы. Я вовсе сиротею. Становится жутко...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.1.23.

[1] Телеграмма Миллера к Аксакову неизвестна.

[2] Привожу текст заметки, появившейся в «Московских ведомостях» 30 января, № 30: «Как гром, поразило нас вчера ночью известие о кончине Федора Михайловича Достоевского. Еще накануне, 27 января, получили мы от него собственноручное письмо, написанное твердым почерком и не возбуждавшее никаких опасений. Было, однако в этом письме зловещее слово, которое тогда скользнуло для нас незаметно. Прося нас об одном деле, он прибавил: „Это, быть может, моя *последняя* просьба". Только теперь стал нам понятен скорбный смысл этого слова *последняя*. В нем сказалось предчувствие смерти еще прежде, чем совершилось роковое кровоизлияние, которое так быстро погасило дорогую жизнь нашего друга. Но предчувствие смерти не нарушило мира и ясности его души. Тон этих предсмертных строк его совершенно спокоен. Он входит в некоторые деловые подробности и шлет поклон друзьям...

Прости, добрый делатель на русской ниве! Мы еще многого ждали от тебя, но довольно и сделанного, чтоб имя твое сохранилось навеки в русской народной памяти. Земля возьмет свое, тленное предастся тлению, но духовное наследие твое останется навсегда дорогим достоянием твоего отечества...»

Упоминаемое в этом сообщении письмо Достоевского (с датой 26 января) было адресовано Н. А. Любимову.

[3] Письмо Аксакова к Достоевскому, датированное 21 января 1881 г.: «Уже сколько завалялось у меня начатых и недоконченных к вам писем, глубокоуважаемый Федор Михайлович! Благодарил я в свое время и за „Братьев Карамазовых" и за письма ваши, которыми так дорожу, и вся эта написанная благодарность теперь уже запоздала! Примите же ее от меня теперь свежую. С нетерпением ожидаю вашего „Дневника" ‹...› Ваше слово захватывает еще больший круг и, главное, проникает туда, куда едва ли досягает мое,— в среду молодежи, и проникает сквозь затворенные двери силою художественного очарования ‹...› С нетерпением жду вашего „Дневника", берегите свое здоровье, а пока вас крепко обнимаю...» (Авт. ЛБ, ф.93.II.1.20).

[4] Аксаков писал анонимно в «Руси» 31 января (№ 12): «Достоевский умер! Потеря незаменимая!.. В нашей современной литературе это была чуть ли не единственная *положительная* сила, не растлевающая, не разрушающая, а укрепляющая и зиждительная. Это был мощный талант и замечательный мыслитель. Никто из наших писателей не был равен ему по глубине и бесстрашию психического анализа, по важности и широте нравственных задач, к разрешению которых он так страстно стремился в своих сочинениях, которые были для него личным делом, *делом души*, всей жизни, всего его существа. Его романы, с точки зрения исключительно эстетической, может быть, именно и грешат тем, что слишком запечатлены характером субъективности,— но это-то и придает им власть и обаяние искренности. Все они писались плотью и кровью,— на каждой странице изводилась жизнь самого автора: болезненный процесс творчества, преждевременно унесший его в могилу! Преждевременно, потому что талант его не слабел, но, казалось, только теперь достиг настоящего блеска и зрелости. Еще многого вправе мы были ожидать от него... Старые силы, старые дарования сходят со сцены... Кто же является им на смену?.. Нет ответа!..»

236. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Телеграмма

С.-Петербург. 29 января 1881 г.

Вчера вечером дядя Федор Михайлович скончался.

Достоевский

Подлинник. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 31.

237. А. М. ДОСТОЕВСКИЙ — А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

Телеграмма

Ярославль. 29 января 1881 г.

Будь на похоронах за меня [1].

Достоевский

Подлинник. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 31.

[1] Ответ на предыдущую телеграмму. 6 февраля А. М. Достоевский писал Анне Григорьевне:

«Прискорбное известие о кончине брата я получил в четверг 29 генваря уже поздно вечером в телеграммах от Саши. Оно меня оглушило своею неожиданностью,— я был один дома (Доменика была еще в Шацке, а сын Андрей где-то в гостях), и в первое время не знал, что делать! Хотел было сейчас же ехать в Петербург, но не знал, как оставить дом. К тому же, по расчетам моим, похороны должны были совершиться в субботу, а к этому дню я же не мог поспеть. Жалею очень, что заранее не знал, что хоронить будут в воскресенье, а то бы наверное приехал и успел бы поклониться праху брата! Я предчувствовал, что хоронить брата будут как общественного деятеля, но не воображал, чтоб сочувствие, оказанное обществом, было так громадно, так торжественно! Да будет это вам хоть малейшим утешением!» (Авт. ЛБ, ф.93.II.4.19).

4 июня 1881 г. В. М. Карепина писала А. М. Достоевскому:

«Сколько бед в это время случилось! Не стало дорогого брата Федора Михайловича. Я думаю, ты очень горевал и теперь горюешь по нем. Только бы ему жить, только бы ему красоваться и наслаждаться заслуженною славою после мученической и труженической жизни; только было повезло ему счастие — и не дал ему бог сколько-нибудь отдохнуть и порадоваться отовсюду восторженными похвалами! Несчастный труженик! И как ему хотелось и нужно было пожить для общества и для своих детишек. Так жалко его, и для нас всех невознаградимая потеря...» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 82).

238. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

‹С.-Петербург› 29 января 1881 г.

Вчера вечером скончался Достоевский! Страшная потеря! Незаменимая! Он один не популярничал, не подличал перед молодежью (говорю о Петербурге, в Москве есть Аксаков, отчасти есть влияние на молодежь у Каткова). Здесь есть in spe * Соловьев [1], но ему необходимо укрепиться.

Автограф. ЛБ, ф.126.2.8.

[1] Имеется в виду Вл. С. Соловьев.

239. К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ — М. Н. КАТКОВУ

С.-Петербург. 29 января 1881 г.

Любезнейший друг Михаил Никифорович! Вчера поразило меня известие о кончине Ф. М. Достоевского. Большая потеря!‹...› Он имел в себе огонь, от коего многие загорались теплотою и светом.

Он был болен несколько дней: скончался от разрыва в сердце. Был в памяти незадолго перед кончиной и предчувствовал ее. Много подействовала не покидавшая его забота о выпуске первого номера «Дневника». Но перед кончиною главная забота его была о жене и детях. Без сомнения, участь семьи будет обеспечена‹...› [1].

Сегодня была первая панихида. Он кажется, как живой, с полным спокойствием на лице, как в лучшие минуты жизни. Вчера Крамской снимал портрет его в гробу. Жена в отчаянии. В комнатах не было проходу от толпы. Массу составляли молодые люди обоего пола, очевидно, студенческого звания: многие из них ходили к Федору Михайловичу ‹...›просить совета и разъяснения. Много писем этого рода получал он со всех концов России, о чем часто мне рассказывал. Мы нередко с ним беседовали: для него у меня отведен был тихий час в субботу после всенощной, и он засиживался у меня за полночь в задушевной беседе.‹...›

Теперь вот в чем дело. Федор Михайлович перед смертью заботился о деньгах, которых ожидал из редакции «Русского вестника». Заботился,

* как надежда в будущем (*лат.*).

ПРОГРАММА
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В ПАМЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО
ПЕТЕРБУРГ, 26 АПРЕЛЯ
1881 г.

Исполнялись только произведения Достоевского

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва



18 81

Въ Воскресенье, 26-го Апрѣля,

ВЪ БЛАГОРОДНОМЪ СОБРАНІИ

(у Полицейскаго моста, входъ съ Мойки).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНІЕ

ВЪ ПАМЯТЬ

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО,

(сборъ на стипендію его имени).

Отдѣленіе I.

1. Изъ повѣсти «Бѣдные люди» (1846 г.).
«Похороны Покровскаго», прочтетъ . . . А. И. Пальмъ.
2. Изъ «Неточки Незвановой» (1849 г.).
«Двѣ дѣвочки и бульдогъ», прочтетъ . . . М. Г. Савина.
3. Изъ «Записокъ изъ мертваго дома» (1860 г.).
а) «Смерть арестанта въ больницѣ», прочтетъ С. В. Максимовъ.
б) «Выпускъ на волю орла», прочтетъ . . А. И. Пажитновъ.
4. Изъ «Преступленія и наказанія» (1866 г.).
«Сцена Мармеладова», прочтетъ . . . А. А. Потѣхинъ.

Отдѣленіе II.

5. Изъ «Идіота» (1869 г.).
«Какъ дѣти хоронили Марію», прочтетъ . . О. Ѳ. Миллеръ.
6. Изъ «Бѣсовъ» (1872 г.).
«Признаніе Т. С. Верховенскаго», прочтетъ . К. К. Случевскій.
7. Изъ «Дневника писателя» (1876—77 гг.).
а) «Мужикъ Марей», прочтетъ . . . . . .
б) «Мальчикъ у Христа на елкѣ», прочтетъ Д. В. Григоровичъ.
8. Изъ «Братьевъ Карамазовыхъ» (1880 г.).
а) «Таинственный посѣтитель», прочтетъ . П. И. Вейнбергъ.
б) «Похороны Илюшечки», прочтетъ . . . О. Ѳ. Миллеръ.

Начало въ 8 часовъ.

что деньги придут после его смерти и жене будет затруднение получить их. Так и случилось. От вас прислан перевод 4200, кажется, рублей на имя Федора Михайловича в конторе Ахенбаха и Колли. Деньги эти, конечно, не выдадут жене, и начнется сеть формальностей по случаю утверждения в наследстве. Все эти затруднения можно, кажется, устранить, если вы пошлете приказ в контору Ахенбаха и Колли о перемене лица, коему следует выдать деньги; вы можете перемену сделать или на самое Анну Григорьевну Достоевскую или на наше, чтоб ее избавить от хлопот. Почтенный Федор Михайлович мне, так сказать, завещал заботу о семье, и сам нередко мне про это говаривал...

Автограф. ЛБ, ф.120.9.47.

[1] Вдове и детям Достоевского Александром II была назначена пожизненная пенсия в 2000 рублей в год. По утверждению А. С. Суворина, это решение было принято под впечатлением от его статьи о смерти Достоевского, появившейся в «Новом времени» («Дневник А. С. Суворина». М.— Пг., 1923, стр. 212). А. А. Киреев записал в своем дневнике 31 января: «Знаменательно, что Победоносцев уведомил о смерти Лориса, этот доложил государю, представление о пенсии сделал Абаза, где же во всем этом Сабуров? Он ко всему этому непричастен» (Авт. ЛБ, ф.126.2.8).

Граф Михаил Тариелович *Лорис-Меликов* (1825—1888) — министр внутренних дел; Александр Аггеевич *Абаза* (1821—1895) — министр финансов; Андрей Александрович *Сабуров* — министр народного просвещения (см. примеч. 14 на стр. 508).

[2] «... На другой день после кончины мужа,— вспоминала А. Г. Достоевская,— в числе множества лиц, нас посетивших, был знаменитый художник И. Н. Крамской. Он по собственному желанию захотел нарисовать портрет с усопшего в натуральную величину и исполнил свою работу с громадным талантом. На этом портрете Федор Михайлович кажется не умершим, а лишь заснувшим, почти с улыбающимся и просветленным лицом ⟨...⟩ Кроме И. Н. Крамского, было несколько художников, фотографов и рисовавших и снимавших с усопшего портреты для иллюстрированных изданий» («Воспоминания», стр. 387).

240. Д. Л. МОРДОВЦЕВ — А. С. СУВОРИНУ

⟨С.-Петербург. 29 (?) января 1881 г.⟩

... Был сейчас у Достоевского. Всё — и юное, и старое — теснится у славного, застывшего в желтый воск церковной свечи трупа. Григорович, Страхов, Потехин Алексей, Победоносцев, Абаза [1], Данилевский, Гайдебуров, Михайловский [2], Бестужев-Рюмин с целым университетом юных студентов, Орест Миллер, Каразин и т. д., и т. д. Майков Леонид [3] говорит мне: «Шубы снять бы надо».— Зачем?— говорю я,— это уж церковь теперь, не дом, а в церкви — и в шубах можно». Да, церковь...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 459, оп. 1, ед. хр. 2778.— Текст сообщен *Т. П. Мазур.*

[1] Вероятно *Н. С. Абаза* (см. примеч. к п. 229).
[2] Николай Константинович *Михайловский* (1852—1904) — известный критик и социолог народнического направления.
[3] Леонид Николаевич *Майков* (1839—1900) — историк литературы, впоследствии академик. Брат А. Н. Майкова.

241. Ю. Д. ЗАСЕЦКАЯ — Л. Ф. ДОСТОЕВСКОЙ

⟨С.-Петербург. 29 (?) января 1881 г.⟩

Милая Лили,

Положите этот венок на вашего незабвенного папа, не смею беспокоить вашу мамашу, но, если возможно, отложите номер «Дневника», теперь вышедшего.

Автограф. ЛБ, ф.93.II.5.10.

Письмо адресовано одиннадцатилетней дочери Достоевского, Любови Федоровне. См. выше в настоящем томе главы из ее воспоминаний.

242. А. А. ДОСТОЕВСКИЙ — Д. И. ДОСТОЕВСКОЙ

⟨С.-Петербург⟩ 30 января 1881 г.

... Письмо свое я начну печальным известием: умер Федор Михайлович; по всем вероятиям, вы об этом уже знаете из газет. Умер он 28 января вечером. В этот день Женя была у них, Федора Михайловича не видела, но, как говорила Анна Григорьевна, ему было гораздо лучше. Вчера я был на панихиде днем. Народу с причетом пропасть. С него рисует портрет Крамской. Сняли фотографию, а также и гипсовую маску. Хоронить будут в воскресенье в Новодевичьем монастыре, где похоронен и Некрасов. Вчера я телеграфировал папе о смерти Федора Михайловича и вчера же получил от него ответ [1]. Должно быть, на папу очень повлияла неожиданная для него смерть брата...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 31.

[1] См. п. 236 и 237.



ПАМЯТНИК НА МОГИЛЕ ДОСТОЕВСКОГО
НА ТИХВИНСКОМ КЛАДБИЩЕ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ
Установлен в 1883 г. Бюст работы Н. А. Лаверецкого
Фотография, 1960-е годы

243. Н. Н. СТРАХОВ — А. А. ФЕТУ

‹С.-Петербург› 30 января 1881 г.

... Умер Достоевский, умер неожиданно, почти скоропостижно, но так, что все еще не хочется верить, что он мертв. Точно земля зашаталась под ногами. Общие симпатии и большое волнение. Толпы теснятся к трупу с утра до вечера ‹...› Лавра дает место и будет даром отпевать. Словом, совершаются похороны великого писателя [1].

Простите, я очень расстроен, и мне трудно писать. Завтра вынос тела, а послезавтра похороны... Суета сует, и всё суета!..

Автограф. ЛБ, ф. 315.II.30.

[1] Об отношении Страхова к Достоевскому см. подробно в статье Л. М. Розенблюм. «Творческие дневники Достоевского».— «Лит. наследство», т. 83, стр. 9—92, а также в ряде писем настоящей публикации и в *Приложении* к ней.

3 февраля Страхов писал Л. Н. Толстому: «Чувство ужасной пустоты ‹...› не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу испытывали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого...» («Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894». СПб., 1914, стр. 266).

244. Гр. А. Е. КОМАРОВСКАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 30 января 1881 г.

Великая княгиня Александра Иосифовна поручила мне передать вам искреннее сочувствие к вашему глубокому горю. Через великих князей ее императорское высочество знала Федора Михайловича и глубоко его уважала; желала с ним познакомиться, но по нездоровью своему всю зиму не могла его пригласить к себе. Великая княгиня сознает, что́ мы потеряли с его ранней кончиной! Многого мы еще ожидали от него, хотя так много уже получили от его твердого духа и удивительного ума. Мы все искренно скорбим и никогда не забудем...

Автограф. ИРЛИ.30115с.СХІб20.

Анна Егоровна *Комаровская* (1831— ?) — фрейлина при дворе в. кн. *Александры Иосифовны* (1830—1911), вдовы в. кн. Константина Николаевича. См. адресованное ей письмо Достоевского под датой 19 февраля 1880 г. («Письма», IV, стр. 131) — ответ на следующую записку Комаровской, не бывшую в печати: «Могу ли попросить вас приехать ко мне в пятницу вечером? Как бы мне ни хотелось вас видеть, я не решилась бы вас беспокоить, ежели б великий князь Константин Константинович не изъявил этого желания. Он будет у меня с надеждою вас встретить, а я воспользуюсь сим случаем, чтобы послушать вас с глубоким сочувствием. У меня будет также г-жа Абаза и два или три знакомых, никого более. Надеюсь, не откажете ...» (Авт. ЛБ, ф. 93.III.5.9).

245. М. А. ПОЛИВАНОВА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹Москва› 30 января 1881 г.

... Позвольте незнакомому вам человеку выразить вам свое глубочайшее участие к постигшему вас горю. Вместе с вами несет тяжкую утрату вся Россия...

Много вытерпел и перенес покойный Федор Михайлович, этот первый работник на русской ниве ‹...›

Да будет вечная память ему из поколения в поколение!..

Автограф. ЛБ, ф.93.II.7.106.

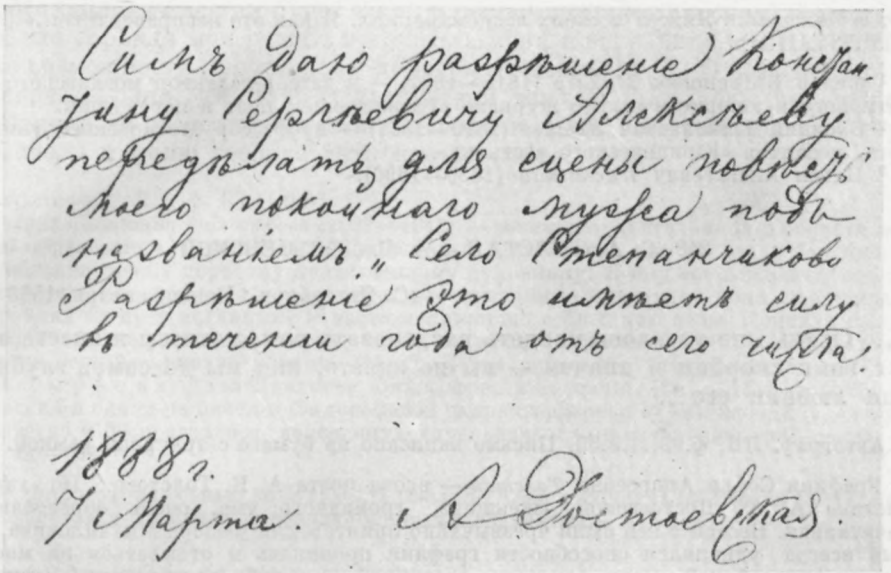
Мария Александровна *Поливанова* — корреспондентка Достоевского, автор известных мемуаров о нем, жена Л. И. Поливанова.

246. ИЗ ДНЕВНИКА А. А. КИРЕЕВА

‹С.-Петербург› 31 января 1881 г.

Редко видел я более торжественное зрелище как сегодняшний вынос тела Федора Михайловича. Все участвовали, даже такие люди, как Краевский [1], Мартьянов и т. п. Злейшие враги Достоевского и его направления не считают возможным проявлять свою радость ‹... › Много заявлено стихов, имеющих характер полемизаторский, упоминающих о том, что у Достоевского есть враги, и кто именно эти враги, что они злорадствуют [2]...

Автограф. ЛБ, ф.126.2.8.



РАЗРЕШЕНИЕ, ДАННОЕ А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ К. С. СТАНИСЛАВСКОМУ НА ИНСЦЕНИРОВКУ РОМАНА «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»

Автограф, 1888

Музей МХАТ

[1] А. А. Краевский писал в этот день В. П. Гаевскому: «Не можем ли поехать вместе на вынос Достоевского? Я бы заехал за вами в половине 11-го» (Авт. ГПБ, ф. 171, ед. хр. 147).

[2] Смерть Достоевского вызвала бесконечный поток стихотворений. См. раздел «Стихотворения, посвященные Достоевскому и его памяти» в библиографии, составленной А. Г. Достоевской («Музей памяти Федора Михайловича Достоевского». СПб., 1906).

247. И. Е. ЦВЕТКОВ — И. И. ЯНЖУЛУ

Москва. 31 января 1881 г.

... На этой неделе один за другим померли: Ф. Б. Миллер [1], В. Н. Лешков [2], А. Ф. Писемский (а сын его юрист-профессор [3] сошел с ума) и Ф. М. Достоевский. Найдется новый издатель «Развлечения», может быть, такой же пиита; профессор общественного права немедленно будет замещен другим профессором, но Писемский и Достоевский — потеря невознаградимая.

Автограф. ГТГ.XIV.175.

Иван Евменьевич *Цветков* (1845—1917) — банковский чиновник, коллекционер-любитель, автор воспоминаний об. И. С. Тургеневе. См. о нем в работе И. С. Зильберштейна «Воспоминания И. Е. Цветкова, 1877».— «Лит. наследство», т. 76, 1967, стр. 415—422.

Иван Иванович *Янжул* (1845—1914) — профессор Московского университета, автор воспоминаний о Достоевском, выдержанных в крайне недоброжелательном тоне.— «Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 гг.», вып. 2-й. СПб., 1911, стр. 25—27.

А. Г. Достоевская писала И. Л. Леонтьеву (Щеглову) 9 февраля 1911 г.: «Сердечную благодарность приношу вам за ваши воспоминания о моем незабвенном муже. Так вы видали его лично? Как я рада, что он произвел впечатление добродушного и сердечного человека! Ведь принято изображать Феодора Михайловича хмурым, озлобленным человеком, готовым каждую минуту наговорить дерзостей; таким изобра-

жает его академик Янжул в своих воспоминаниях. И как это несправедливо...» (Авт. ИРЛИ.784.III.М).

[1] Федор Богданович *Миллер* (1818—1881) — издатель-редактор московского литературного и юмористического журнала «Развлечение», поэт и переводчик.
[2] Василий Николаевич *Лешков* (1810—1881) — профессор Московского университета, редактор «Юридического вестника».
[3] Павел Алексеевич *Писемский* (1850—1890).

248. С. А. ТОЛСТАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург. Конец января 1880 г.›

... Очень мне хотелось увидеть вас, сказать вам, хотя вы и знаете, как мы с вами скорбим и плачем,— вы не знаете, как мы до самой глубины души любили его...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.9.53. Письмо написано на бумаге с траурной рамкой.

Графиня Софья Андреевна *Толстая* — вдова поэта А. К. Толстого. По характеристике А. Г. Достоевской, «женщина громадного ума, очень образованная и начитанная. Беседы с ней были чрезвычайно приятны для Федора Михайловича, который всегда удивлялся способности графини проникать и отзываться на многие тонкости философской мысли, так редко доступной кому-либо из женщин» («Воспоминания», стр. 355). По словам Анны Григорьевны, Достоевский и последние годы жизни посещал С. А. Толстую чаще, чем других своих знакомых. Записка написана от лица самой Толстой и, по-видимому, С. П. Хитрово.

249. А. П. САЗАНОВИЧ и М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Москва. 1 февраля 1881 г.

Многоуважаемая Анна Григорьевна, неожиданная кончина дорогого для русского сердца Феодора Михайловича глубоко нас огорчила.

Каким достойным, блестящим образом покойный закончил последний год своей полезной жизни: незабвенною речью на празднике Пушкина и романом «Братья Карамазовы», в котором так типично отразилось наше взбаламученное общество.

Матвей Иванович и я, мы спешим выразить вам, многоуважаемая Анна Григорьевна, сердечное соболезнование в постигшем вас горе. У вас есть большое утешение — сознание, что вы вполне были достойной, энергичной подругой покойного и составляли его счастье. Дай вам бог воспитать своих деток в родителей!..[1]

Автограф. ИРЛИ.30254.с.CXIIб6.

[1] Сообщая А. Г. Достоевской через пять лет, 8 мая 1886 г., о смерти М. И. Муравьева-Апостола, человека, на котором сосредоточивались, по ее словам, все ее земные привязанности, Сазанович писала: «У меня теперь в распоряжении все бумаги покойного, вся его переписка с товарищами и посторонними знакомыми. Что вы намерены делать с письмами Матвея Ивановича и его товарищей, которые я когда-то передала Федору Михайловичу? Не соединить ли их вместе и не издать ли их отдельной книгой?» (там же).

250. А. П. ФИЛОСОФОВА — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Висбаден. 1/13 февраля 1881 г.

Сейчас вычитала из газет, какую мы все понесли еще потерю!! Не стало нашего дорогого Федора Михайловича! Конечно, нет слов, чтобы выразить вам всю мою скорбь, дорогая Анна Григорьевна, и, конечно, нет слов у меня утехи и для вас; одно можно с уверенностью предсказать, что Фе-

дор Михайлович всегда будет жить в сердце истинно русском! Как я жалею, что горькая моя судьба приковала меня к заграница и что я лишена даже возможности проститься с дорогим усопшим [1] ‹... › О себе могу только сказать одно, что я нахожусь все в том же печальном положении! Изгнанная из отечества, лишенная семьи и здесь, на чужбине, лью горькие слезы и молю господа дать мне терпение!

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.9.95.

Анна Павловна *Философова* (1837—1912) — известная деятельница в области женского образования. В своих воспоминаниях о Достоевском она писала: «Как много я ему обязана, моему дорогому нравственному духовнику! Я ему все говорила, все тайны сердечные поверяла, и в самые трудные жизненные минуты он меня успокаивал и направлял на путь истинный. Я часто неприлично себя с ним вела! Кричала на него и спорила с неприличным жаром, а он, голубчик, терпеливо сносил мои выходки! Я тогда не переваривала романа „Бесы". Я говорила, что это прямо донос...» (См. А. В. Т ы р к о в а. Анна Павловна Философова и ее время. Пг., 1915, стр. 258). Достоевский в одном из писем к Философовой охарактеризовал ее как женщину, «добрую беззаветно и беспредельно», наделенную «прекрасным умным сердцем» («Письма», IV, стр. 66—67).

[1] Философова осенью 1879 г. была выслана Александром II из России за «неблагонадежность» и за связь с революционными элементами.

251. Вс. С. СОЛОВЬЕВ — П. В. СОЛОВЬЕВОЙ

С.-Петербург. 2 февраля 1881 г.

Милая мамочка, писать нечего, ибо все так скверно. Вчера похоронили Достоевского. Это так нежданно и ужасно! Похороны, вынос, вообще все эти дни были что-то никогда не виданное. В России никого так еще не хоронили — подобие представляли еще похороны нашего дорогого [1]; но я тогда мало видел, да и Москва — не Петербург: Петербург гораздо живее и отзывчивее, писатель всегда популярнее ученого. А это было что-то баснословное!

Вдове нераздельно с детьми, сыном и дочерью, дана вечная пенсия в две тысячи. Этого тоже никогда не бывало — ведь Достоевский нигде не служил и был прощенным каторжником! Это явление отрадно [2]...

Автограф. ЦГИАЛ, ф. 1120, оп. 1, ед. хр. 88.

[1] Соловьев говорит о похоронах своего отца, историка С. М. Соловьева, умершего в 1879 г.

[2] В ЦГАЛИ хранится автограф (на французском языке) критического очерка Анны Николаевны *Энгельгардт* (1835—1903) о Достоевском, озаглавленный «Великий русский психолог» (датирован 21 апреля 1882 г.). В заключительной части очерка автор отмечал:

«Смерть застигла его 28 января 1881 г. в апогее славы, популярности. Его похороны были событием. Ни с чем не сравнимая пышность его похорон обратила на себя внимание даже людей из народа, осведомлявшихся, что же собой представляла эта великая личность, этот генерал, которому отдают столь блистательные почести?

На вопрос подобного рода, заданный человеком из народа, который спросил, кого ж это хоронят с такой небывалой торжественностью, один студент ответил: „Бывшего каторжника".

Молодежь никогда не забывала, что он являлся мучеником своих убеждений» (ф. 572, оп. 1, ед. хр. 212).

252. Е. А. ЦЕРТЕЛЕВА (ЛАВРОВСКАЯ) — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Канн. 2/14 февраля ‹1881 г.›

... Сейчас только прочитала я до глубины души поразившую меня печальную весть о кончине незабвенного супруга вашего.

Всякое утешение бессильно, ничтожно перед ударом, поразившим вас ...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.9.112.

Кн. Елизавета Андреевна *Цертелева* (Лавровская, 1845—1919) — известная русская певица. Среди бумаг Достоевского сохранилась записка к нему Цертелевой от октября 1880 г., свидетельствующая об установившихся между ними дружеских отношениях:

«Не знаю, как и благодарить вас, многоуважаемый Федор Михайлович, за ваш прекрасный портрет; я вчера была чрезвычайно тронута вашим посещением, а сегодня — вашим вниманием и таким скорым выполнением вашего обещания; вы мне сегодня сделали настоящий сюрприз. Вчера я вам ничего не сказала ни по поводу вашей речи, ни по поводу вашего „Дневника", а ведь какое спасибо-то я вам хотела сказать, но вот что значит привычка больше петь, а не говорить...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.9.11).

На фотографии, подаренной Цертелевой, Достоевский сделал следующую надпись: «Княгине Елисавете Андреевне Цертелевой на память от Ф. М. Достоевского в знак глубочайшего уважения» («Лит. наследство», т. 15, стр. 85).

253. Л. Н. ПАВЛЕНКОВ — М. Ф. ДЕ ПУЛЕ

С.-Петербург. 4 февраля 1881 г.

28 января угасла жизнь человека честного, писателя первоклассного, мыслителя, печальника рода человеческого — не стало Федора Михайловича Достоевского! Я не знал покойного, я даже никогда не видал его, но понимал его только по его произведениям, и, признаюсь, дорогой мой брат, ни одна смерть после кончины матушки не поражала меня так глубоко, так тяжело, как смерть Федора Михайловича Достоевского. Я и теперь еще не могу успокоиться, какая-то тоска, безотчетная грусть сдавливает мою душу, когда я вспомню о нем, точно мне чего-то недостает.

30-го числа я был в его доме на панихиде, и я, как вы говорите, «человек спокойный», разрыдался до истерики, до обморока, и только стакан воды, данный мне помощником директора Обсерватории Рыкачевым, моим знакомым, привел меня в сознание. Эту совершенно неожиданную для меня историю пришлось мне разыграть в присутствии большого общества, в числе которого был великий князь Дмитрий Константинович [1]... На другой день, т. е. 31-го, на выносе тела я решительно не мог быть и был только на похоронах, 1-го числа, но этот день прошел для меня благополучно. Если бы я с моими рыданиями был единичное явление, то, конечно, попал бы на страницы газет, но, к счастью, я был не один плакавший и рыдавший о покойнике.

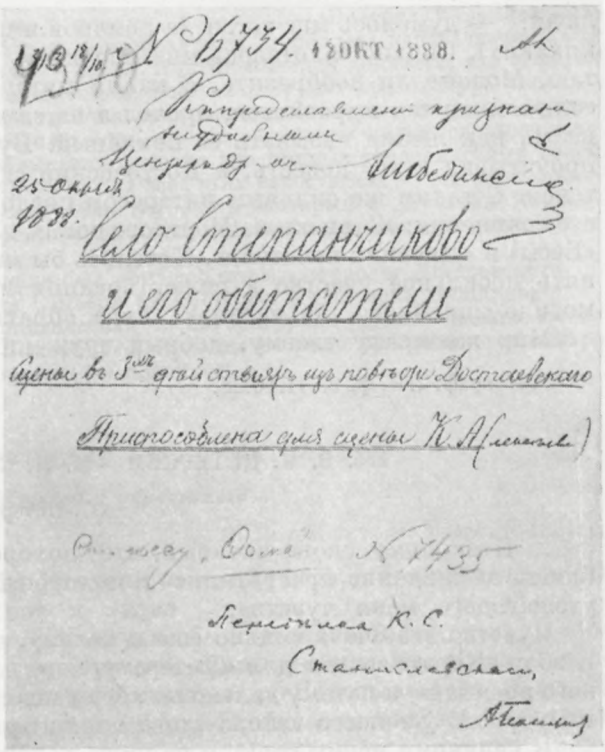
О похоронах я писать не буду, так как все это вы должны уже знать из газет, но скажу, что это было что-то необыкновенное, чего еще не было и едва ли будет. Да, настало «оскудение земли русской», закатилась лучезарная звезда с мрачного литературного небосклона. Что теперь осталось? Тургенев — но этот барич почти забыл Россию, перестал писать, да, как говорят, и разучился писать по-русски; Григорович — но тот давно уже замолк; граф Толстой — но он редко утешает нас, а затем — вся литературная тля à la Крестовский, Данченко [2], Шкляревский [3] и им имя легион!

«Братья Карамазовы» — последнее произведение Федора Михайловича — ясно показывает, сколько еще могучей творческой силы таилось в его душе, и — вдруг замолк навеки! Бедная Россия, какой-то тяжелый рок лежит на ее светлых силах, на дарованиях и талантах, только начнут развиваться, крепнуть,— смотришь — конец! Так погиб Пушкин, Лермонтов, Никитин и, наконец, Достоевский, которого сломила одиннадцатилетняя каторга. Едва ли мы дождемся такого другого глубокого психиатра, каковым был Федор Михайлович, так как для того, чтобы писать так, чтобы раскрывать всю душу человеческую и затем относиться к ней так тепло и любовно, как относился он,— нужно пережить столько, сколько пережил, перечувствовал и вынес он, и выйти из этого ужасного горнила не

ЦЕНЗУРНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ИНСЦЕНИРОВКИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (1888)

Титульный лист с пометой о запрещении постановки, 25 октября 1888 г.

Центральная театральная библиотека им. А. В. Луначарского, Ленинград



ослабленным, жестоким, а вселюбящим, всепрощающим, глубоко религиозным и бескорыстно честным! ⟨...⟩

На днях вы получите последний номер «Дневника писателя» — лебединую песню Федора Михайловича, который 27-го числа просматривал сам корректуру его [4].

Автограф. ИРЛИ, ф. 569, оп. 1, ед. хр. 416.

Леонид Николаевич *Павленков* (1840—1912) — чиновник и библиограф, брат Де Пуле и его постоянный корреспондент.

[1] Вел. кн. *Дмитрий Константинович* (1860—1918) — сын вел. кн. Константина Николаевича.

[2] Плодовитый беллетрист и очеркист Василий Иванович *Немирович-Данченко* (1848—1936).

[3] О *Шкляревском* см. в примеч. к п. 84.

[4] Ответ Де Пуле см. ниже — п. 265.

254. Н. И. РЕМЕРОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

С. Мордово, Усманского уезда Тамбовской губернии.
7 февраля 1881 г.

... Позвольте мне, народному сельскому учителю, выразить искренно от души свое глубокое вместе с вами соболезнование по поводу кончины навеки незабвенного и всеми любимого супруга вашего *Федора Михайловича Достоевского*. Федора Михайловича знали все, знала его вся Россия, и каждому дорого было и есть его имя. Вот хотя бы скажу я про себя. Помнится мне и до сих пор еще, когда я был мальчиком лет десятиодиннадцати следующий случай. Между нами, товарищами по школе, тоже мальчиками-ровесниками со мною, случайно попалась какая-то книга; раскрываю ее и смотрю: «Бедные люди», роман. «Какие же это бедные

люди?» — думалось мне тогда (а романов и повестей тогда еще я не читал никаких). Сильно захотелось мне прочитать про этих бедных людей. Читаю. Можете ли вообразить, с каким интересом, с какою «жадностью», если можно так выразиться, прочел я на своей жизни этот роман или повесть, как любил называть ее покойный. Буквально раз двадцать потом прочитывал я эту повесть, и Достоевский сделался любимым моим писателем. С таким же сильным интересом поглощал потом я и последующие его сочинения: «Записки из Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Бесы» и «Дневник писателя». Хотелось бы мне, Мария Григорьевна, принять посильное участие в пожертвовании на постановку памятника на могиле покойного, но не знаю, куда обратиться за этим.

Мир же праху твоему, добрый труженик! Вечная память! ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.10.28.

255. В. К. ПЕТЕРСЕН — М. М. СТАСЮЛЕВИЧУ

‹С.-Петербург. Начало февраля 1881 г.›

... Несколько сконфуженный, что похороны талантливого писателя как-то неожиданно превратились в похороны пророка, я ищу выхода для утешающего меня чувства.

Чувство это очень сильно еще и потому, что последнее время я писал разбор «Карамазовых» для «Литературного журнала» (еженедельник «Нового времени») и потому далеко не могу разделять горячей веры в смирение и мудрость усопшего автора этого плохого произведения [1].

К великому моему горю, я не умею подчинять вывод, в котором убежден, каким бы то ни было обстоятельствам. Эта несовременная особенность сильно мешает моим успехам не только на службе, но и увы! даже в бесцензурной литературе.

Все говорят: нет правды на земле,
Но правды нет и выше! [2]

Я в этом имел тысячу случаев убедиться после того как расстался с вами. Искренний, убежденный человек немыслим теперь в литературе, и если бы воскресли Белинский и Добролюбов, им бы негде было писать! Везде есть убежденьица, предрассудки, самообман (все более коммерческие), с которыми нельзя сладить, а литературные падишахи нашего времени — люди строгие.

Вы также строги.

Но я написал нечто кажущееся мне по времени нужным и обязан попробовать это напечатать.

«Порядку» напечатать мою фантазию всего легче и проще. Другие уже зарвались в прославлении пророка настолько, что и не замечают, как они сами стали ходить на руках.

Допустите заступиться за разум!

Кстати, теперь Суворин, уверенный, что торжество похорон есть дело «Нового времени», скоро переменит курс своих мнений о величии Достоевского. Я даже боюсь, чтобы с чрезмерного воодушевления он не поехал манить спасителя-мужика шапкой, по завещанию покойного. Но для меня очевидно, что критика на «Карамазовых» — труд потерянный. «Вестник Европы», без большого для себя убытка, мне кажется, мог бы спасти мою работу от забвения, разумеется, если у него в портфеле нет подобного же разбора, сделанного другим [3]...

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1167, оп. 1, ед. хр. 54.

Владимир Карлович *Петерсен* (1842—1906) — журналист, по профессии военный инженер.

[1] Статья Петерсена «Вступление к роману „Ангела“» (о «Братьях Карамазовых») напечатана под псевдонимом *Оникс* в «Литературном журнале», издававшемся при «Новом времени», 1881, № 6—7 (июнь—июль). Критик пытался доказать, что «Братья Карамазовы», «подобно всем произведениям Достоевского, по архитектуре своей — роман весьма неважный; в нем попадаются анахронизмы, отступления чисто публицистического характера играют видную роль, не все характеры являются выдержанными, а самая фабула неудачна и местами неловка для прямых тенденциозных целей автора». В то же время он отмечал, что «и при всех этих недостатках — это замечательное произведение мыслителя, чрезвычайно глубокого, который в „Братьях Карамазовых“ поместил гениальные страницы, высказал мысли поразительной смелости и силы».

В февральской книжке журнала был помещен его же некролог Достоевского.

[2] Начало известного монолога Сальери из «Моцарта и Сальери» Пушкина.

[3] «*Порядок*» — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся М. М. Стасюлевичем в 1881 г. в Петербурге. Издание ее было прекращено в январе 1882 г. Статья Петерсена в «Порядке» не появилась.

256. П. И. ЖИТЕЦКИЙ — И. П. ЖИТЕЦКОМУ

Перевод с украинского

С.-Петербург. 10 февраля 1881 г.

Хотел было написать тебе, Игнатик, о похоронах Достоевского, но ты сам меня спрашиваешь — вот и ладно.

На самих похоронах я не был: трудно было достать билет. А на проводах от квартиры до Александро-Невской лавры — был. Квартира Достоевского неподалеку от моей: как от Коллегии [1] до Золотых ворот. А людей тьма тьмущая, ты, верно, отроду не видел такой массы народу. На самых похоронах много было речей, а еще больше венков — примерно около сотни. Ученики нашей гимназии сложились на венок в 300 рублей — очень пышный — из дорогих живых цветов. Словом, так не хоронят ни богачей, ни власть имущих — так хоронят только любимцев народной массы, которые всю свою жизнь боролись за этот народ, защищали его от всяких напастей и долгими годами страдания приобрели себе любовь народа.

Это даже мало напоминало похороны, это было какое-то народное празднество; как-то легко на душе, потому что видишь перед собою не смерть с ее вечным сном и забытьем, а лишь преходящий момент в жизни человека, который еще долго, долго будет жить в своем народе. Я уже однажды видел такие проводы великого покойника, которые говорили моему сердцу еще яснее, выразительнее, ибо и сам я был тогда моложе, да и покойник тот был роднее всем нам, чем Достоевский. Я был еще студентом, когда в Киеве провожали Шевченко — из Рождественской церкви, что недалеко от купален, на набережной, до самого Цепного моста. Было это весною, в мае месяце. Народ — словно маком посеяно — повсюду на горах. Речей тоже было много, гроб массивный, оловянный, нести тяжело, а мы несли его на плечах до самого парохода, стоявшего близ моста. Ступеней тридцать пронесем и остановимся, вот тогда и произносится речь; и снова, запыхавшись, остановимся — и снова речь. Венков не было, ибо в Киеве моды на них не было, и как-то больше было простоты, чем тут, ибо и сам Шевченко был простой человек,— потому-то у гроба его было больше всяческой бедноты, а тут — смотри-ка: без билета и на похороны не пускали.

Возможно, если бы Достоевский встал из гроба, то сказал бы горькое слово тем, кто при жизни пренебрегал им, а тут явился поклониться его честному праху — чтобы и о них подумали, что они честные люди. Ты хочешь знать, отчего же так, отчего же такая честь после смерти тому самому человеку, которого держали в Сибири одиннадцать лет? На этот вопрос пришлось бы слишком много писать — это очень сложная история, о ко-

торой не расскажешь в коротких словах. Когда увидимся — поговорим. Прочти до моего приезда «Бедных людей» Достоевского, а потом, когда я приеду, то на каникулах прочитаешь еще кое-что ...

Автограф. ЦНБ АН УССР. I. 48065.— Часть письма, посвященная Шевченко, опубликована на украинском языке в сб. «Т. Г. Шевченко в епистолярії виддилу рукописів». Киев, 1966, стр. 66.

Павел Игнатович *Житецкий* (1836—1911) — известный украинский филолог.

Игнат Павлович *Житецкий* (1866—1929) — его сын, впоследствии историк.

[1] *«Коллегия Павла Галагана»* — киевское учебное заведение.

257. М. С. БЕРДНИКОВА (ИВАНЧИНА-ПИСАРЕВА) — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Вязьма. 10 февраля 1881 г.

Узнав, что вы имеете в виду возвратить подписчикам на «Дневник» присланные ими деньги, спешу уведомить вас, чтобы вы не беспокоились высылать в г. Вязьму (Смоленской губернии) на имя учителя Бердникова. Предоставляю эти рубли в ваше распоряжение [1]. Я имела удовольствие встречать вас в Москве, в семействе Ивановых, а незабвенного Федора Михайловича боготворила (о нем можно так выразиться) с пятнадцатилетнего возраста. Я лихорадочно ожидала появления его «Дневника», но увы! все кончено! А ведь он бы нам пояснил еще многое! Я так счастлива, что знала лично Федора Михайловича! Сколько у меня отрадных воспоминаний сохранилось об этом дивном человеке и гениальном писателе! ⟨...⟩

Деньги высланы моим мужем; а когда я знала Федора Михайловича, была Марья Сергеевна Писарева.

Анна Григорьевна! Ради бога, вышлите мне его портрет и два номера последних «Дневника». Один за 1880 г. и последний. Живу в провинции, не могу ничего достать. Деньги тотчас же будут высланы по получении.

В настоящее время для меня большего счастия не было бы.

Автограф. ЛБ, ф.93.II.1.86.

Мария Сергеевна *Бердникова* (рожд. Иванчина-Писарева) — жена вяземского учителя, подруга племянниц Достоевского—Ивановых. По словам М. А. Ивановой, Достоевскому «нравилась подруга Софьи Александровны Ивановой, Мария Сергеевна Иванчина-Писарева, живая, бойкая девушка. Однажды, будучи в Москве у Ивановых, под пасху, Достоевский не пошел со всеми к заутрене, а остался дома. Дома же у Ивановых оставалась Мария Сергеевна. Когда Софья Александровна вернулась из церкви, подруга ей, смеясь, рассказала, что Достоевский ей сделал предложение. Ей, двадцатилетней девушке, было смешно слышать его от такого пожилого человека, каким был в ее глазах Достоевский. Она отказала ему и ответила шутливо стихами Пушкина:

Окаменелое годами,
Пылает сердце старика»

(«Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. I, стр. 370).

А. Г. Достоевская сообщает, что в «Вечном муже» «в виде бойкой подружки Марьи Никитишны» изображена друг семьи — М. С. Иванчина-Писарева — «девушка лет двадцати двух, некрасивая, но веселая, бойкая, находчивая, всегда готовая поднять человека насмех» («Воспоминания», стр. 129). Сам Достоевский характеризовал Марью Сергеевну как «удивительную шутиху» («Письма», I, стр. 453). В ряде писем 1860-х годов он посылал ей привет.

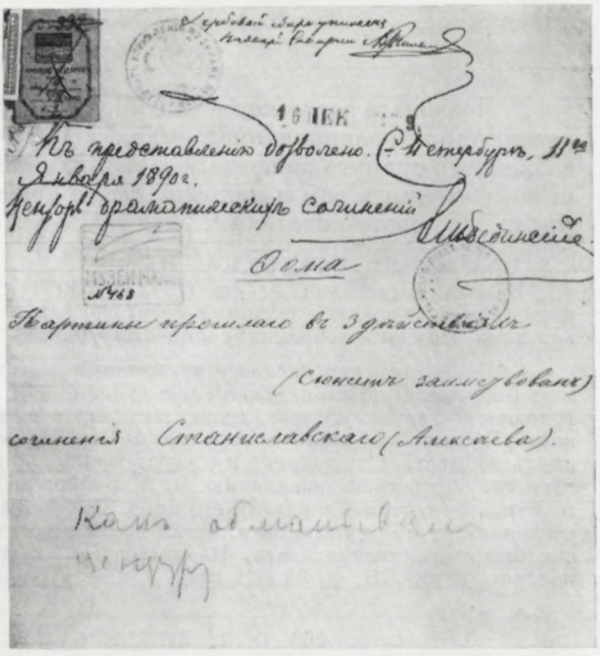
[1] В связи с объявленным в печати намерением А. Г. Достоевской возвратить подписчикам «Дневника писателя» деньги за не вышедшие в свет номера, в редакции разных газет и ей лично был направлен ряд писем от почитателей покойного писателя, отказывавшихся от получения подписных сумм.

А. С. Суворин писал А. Г. Достоевской (в письме без даты): «Одна из подписчиц на „Дневник" просит меня сообщить вам, что она не желает получать деньги обратно, потому что последний нумер „Дневника" выше всякой денежной цены. „Если моя ничтожная лепта,— продолжает она,— может быть принята и употреблена на что-либо достойное памяти писателя и человека, пред которым я благоговею всю жизнь, то я оста-

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЬЕСЫ «ФОМА» — ИНСЦЕНИРОВКИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО РОМАНА «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (1889)

С пометой цензора о разрешении постановки, 1890

Музей МХАТ



нусь глубоко признательна». Адрес ее: Харьков ‹...›, Александра Матвеевна Погорелко» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.9.37).

Н. Л. Озмидов писал А. Г. Достоевской из Валькова 8 февраля:

«... И я тоже отказываюсь от моих подписных денег на „Дневник“ в пользу издания сочинений Федор Михайловича; но, бога ради, пришлите мне вышедший номер „Дневника“ за январь 81 г. Я живу в деревне и только по газетам вижу, что „Дневник“ за январь, как будто, вышел. Мне дорога́ каждая строчка Федора Михайловича, и вы меня очень огорчите, не выслав мне вышедшего „Дневника“» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.55).

258. ЛЕОКАДИЯ ГИСЛЯНЗОНИ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Местечко Гнездно, Гродненской губ.
12 февраля 1881 г.

... Извините меня в том, что, незнакомая, осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой.

Муж мой покойный, бывший инженер, умер, не выслужив пенсиона и не оставив мне ничего, кроме двоих детей. Пять лет тому назад мне посоветовали обратиться к вашему ныне покойному мужу с просьбой о вспомоществовании; тогда, как это вам, вероятно, известно, муж ваш прислал мне пятьдесят рублей и велел мне, если я буду в крайности, опять к нему обратиться [1]. Теперь, проболев два месяца, я нахожусь в страшной нужде, и, когда нет более моего великодушного благодетеля, я осмеливаюсь обратиться с просьбой о вспомоществовании к вам — к жене того, который не только не отказал мне в своей помощи, но, кроме того, прислал мне эти деньги при таком добром, отцовском письме, что я приняла эту милостыню не краснея, и вполне уверена, что, кроме вас и бога, никто о том не знает. Да будет вечная память тому, кто так великодушно умел утешать в нужде и горе!..

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.2.89.
Сведениями о Леокадии *Гислянзони* мы не располагаем.

[1] Это письмо Гислянзони и ответ Достоевского неизвестны.

259. В. А. БОБРОВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 15 февраля 1881 г.

... Позвольте вас покорнейше просить принять прилагаемые здесь десять экземпляров гравированного мною à l'eau forte портрета покойного, незабвенного супруга вашего Федора Михайловича, как знак моего глубочайшего почтения к вам и искреннейшего уважения к памяти нашего горячо любимого поэта-писателя [1]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.1.104.

Виктор Алексеевич *Бобров* (1842—1918) — художник-портретист. Его офорт — портрет Достоевского, сделанный с фотографии, помещен в виде фронтисписа в первом томе Полного собрания сочинений Достоевского 1883 г. («Биография ...»).

[1] А.Г.Достоевская писала в примечании к этому и другим адресованным ей письмам Боброва: «Письма написаны мне художником В. А. Бобровым по поводу портрета гравюры (à l'eau forte) моего мужа, которого художник согласился исполнить для первого „Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского". Мне пришлось раз пять-шесть побывать у художника и сделать несколько просимых им замечаний по поводу сходства портрета. К сожалению, В. А. Бобров не имел случая при жизни видеть моего мужа и сохранить в памяти его лицо. По моему мнению, несмотря на исправления, сделанные по моим указаниям, Ф. М. выглядит на гравюре более суровым и угрюмым, чем был в действительности. На ста гравюрах награвирован в виде „ремарки" мой портрет» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.1.104).

260. О. Ф. МИЛЛЕР — И. С. АКСАКОВУ

‹С.-Петербург› 15 февраля 1881 г.

... На этих днях я пережил «Бесов» Достоевского[1]. И это после его умилительных похорон! И тут и там — молодежь, разумеется — не одна и та же. Жутко становится по временам и мне. Вчера я старался высказаться с полною откровенностью — под сению Достоевского в огромном зале Думы, переполненной публикой. Страхова статья, повторяю, была превосходна. Хороши были и воспоминания Майкова [2].

Какое чудное письмо Достоевского вы напечатали! [3] Хоть бы вразумила их, наконец, его память!..

Автограф. ИРЛИ, ф. 3, оп. 4.

[1] 8 февраля 1881 г. на университетском акте группа студентов устроила демонстрацию против министра народного просвещения. В связи с этим несколько человек было привлечено к университетскому суду под председательством профессоров А. С. Фаминицына и Миллера. Отчет об этом деле был опубликован в «Правительственном вестнике» и в «Новом времени», № 1786, 16 февраля.

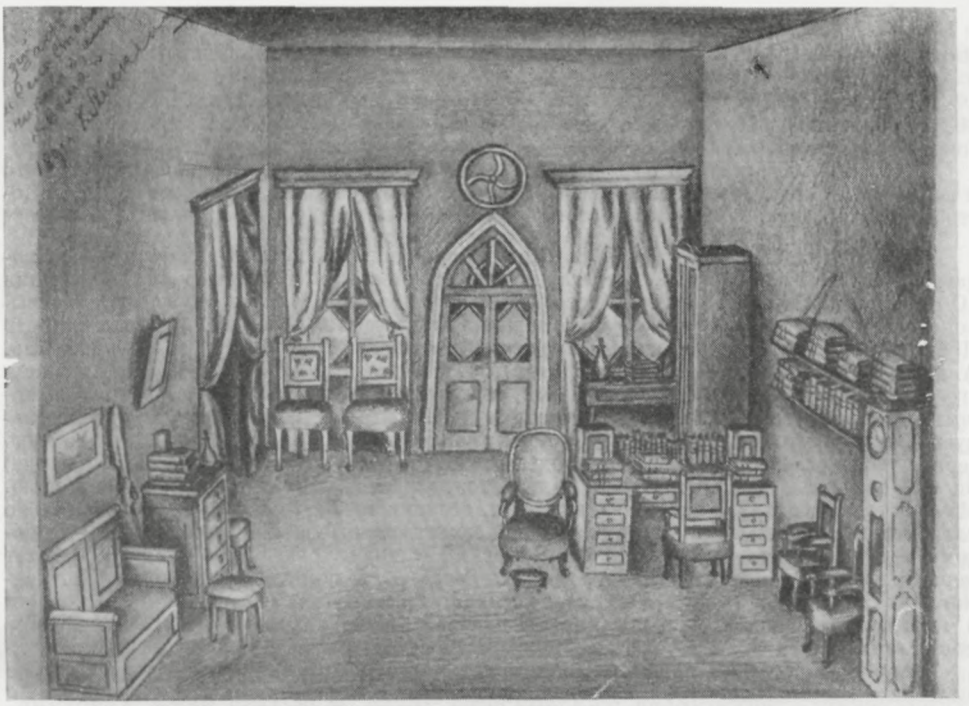
[2] 14 февраля состоялось чествование памяти Достоевского С.-Петербургским Славянским обществом. «Чествование началось речью председателя, проф.К. Н. Бестужева-Рюмина ‹...› Место у кафедры занял проф. О. Ф. Миллер, прочитавший стихотворение г. Случевского, посвященное изображению впечатления, произведенного на все русское общество смертью и погребением его любимца — Достоевского, „любившего, по выражению поэта, так смело и мучительно"». Затем Миллер прочел «Воспоминания о Достоевском» А. Н. Майкова, Н. Н. Страхов произнес обширную речь, в которой привел отрывок из письма к нему Л. Н. Толстого с восторженным отзывом о «Записках из Мертвого дома». Вечер окончился «горячей речью» Миллера («Новое время», № 1786, 16 февраля. Ср. сб. «В память Ф. М. Достоевского. Торжественное собрание С.-Петербургского Славянского общества 14 февраля 1881 г. СПб., 1881.

[3] 14 февраля в газете Аксакова «Русь», № 14, было напечатано «Письмо Достоевского в 1878 году к московским студентам» («Письма», IV, стр. 16—19).

261. А. Е. РИЗЕНКАМПФ — А. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Пятигорск. 16 февраля 1881 г.

...Письмо ваше к г. издателю «Нового времени» от 5 сего февраля, напечатанное в 1778 № этой газеты, произвело на меня глубокое впечатление [1]. Вам известно, что я с 1837 года с покойными вашими братьями был в самых



ЭСКИЗ ДЕКОРАЦИИ III ДЕЙСТВИЯ ПЬЕСЫ «ФОМА» — ИНСЦЕНИРОВКИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО РОМАНА «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
Рисунок К. С. Станиславского, 1891
Музей МХАТ

дружественных отношениях; с сентября 1843 года я жил вместе с Федором Михайловичем в доме Прянишникова на углу Владимирской улицы и Чернышева переулка и пользовал его; многие из мелочей его частной жизни мне более известны, чем кому-либо другому; затем в 1845 году я уехал в Сибирь, где служил попеременно в Иркутске, Нерчинске и, наконец, в Омском военном госпитале, в котором Федор Михайлович помещался вместе с Дуровым [2] (он страдал костоедой и после — падучей болезнью). В Омске в нем принимал самое теплое участие бывший штаб-доктор Отдельного Санкт-Петербургского корпуса И. И. Троицкий и бывший товарищ по инженерной службе подполковник Мусселиус. Несмотря на предстательство этих лиц и вообще всех врачей, Федор Михайлович, однако, подвергся преследованию со стороны омского коменданта генерал-майора де Граве и ближайшего его сподвижника, тогдашнего плацмайора Кривцова [3]. Последний дошел до того, что воспользовался первым случаем поправления его здоровья и выпискою из госпиталя, чтобы назначить его к исполнению самых унизительных работ вместе с другими арестантами, а вследствие некоторых возражений он даже подверг его телесному наказанию. Вы не представите себе ужас друзей покойного, бывших свидетелями, как, вследствие экзекуции, в присутствии личного его врага Кривцова, Федор Михайлович, при его нервном темпераменте, при его самолюбии, в 1851 году в первый раз поражен был припадком эпилепсии, повторявшимся после того ежемесячно 〈...〉

В июле месяце 1843 года Федор Михайлович приехал ко мне в Медицинскую академию и говорил о выпуске его подпоручиком из Главного инженерного училища. По какому же случаю он еще в 1844 году постоянно посещал офицерские классы? 〈...〉

В 1867 году Федор Михайлович писал мне [4] о своем путешествии в Германию, Францию и Италию [5]...

Автограф. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 100. Частично опубликовано в «Новом времени», 1881, 1 марта, № 1798 и в комментариях к сб. «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», I, стр. 406.

Александр Егорович *Ризенкампф* (1821—19?) — врач, приятель Достоевского в юношеские годы, автор обширных «Записок», в которых немалое место уделено Достоевскому. См. стр. 322—331 настоящ. тома.

[1] 8 февраля 1881 г., в № 1778 «Нового времени», было помещено «письмо к издателю» А. М. Достоевского, представлявшее собой отклик на статью А. С. Суворина «О покойном». По словам А. М. Достоевского, одно место в этой «прочувственной и высокосимпатичной статье» его «сильно поразило и удивило» — а именно, указание, что Достоевский страдал с детских лет падучей болезнью. Опровергая это утверждение, Андрей Михайлович писал, между прочим: «С 1843 года до апреля 1849 года (времени его ареста), я, за редкими исключениями, почти еженедельно видался с братом, но никогда, в продолжительных наших беседах, не слыхивал от него об этом недуге; а следует заметить, что он своих болезней не скрывал от меня и часто жаловался, что худо себя чувствует. Правда, в этот период времени (не помню уже, с какого именно года) он был несколько раздражителен и, кажется, страдал какою-то нервною болезнью. Мне часто приходилось видеть записки его, оставляемые им на ночь, приблизительно следующего содержания: „Сегодня со мной может случиться летаргический сон, а потому — не хоронить меня (столько-то) дней". Но, скажу еще раз, о „падучей" в этот период времени он никогда не упоминал. Наконец, я помню слышанное от него самого, что эта болезнь *приобретена* им во время нахождения его в Сибири. Вероятно, в моих бумагах найдутся и письменные доказательства (его руки), подтверждающие мои слова».

Вопрос о времени и причине заболевания Достоевского эпилепсией до сих пор не выяснен окончательно. Публикуемое письмо Ризенкампфа можно рассматривать как авторитетное свидетельство о страшном преступлении, совершенном самодержавием по отношению к великому писателю. Посылая редактору «Нового времени» копию письма Ризенкампфа, А.М. Достоевский писал: «Из прилагаемой копии <...> вы увидите, что доктор Ризенкампф определяет начало болезни в 1851 году и притом приводит причину этой болезни, столь возмутительную, что, читая об ней, невольно содрогаешься» («Новое время», 1881, 1 марта, № 1798).

П. К. Мартьянов, также касающийся в своих воспоминаниях этого трагического эпизода из биографии Достоевского, утверждает, что генерал де Граве «остановил приготовления к экзекуции, а плацмайору Кривцову сделал публичный выговор и строго подтвердил, чтобы больных арестантов отнюдь не подвергать наказаниям» («Дела и люди века. Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки», т. III. СПб., 1896, стр. 269—270). Ср. Н. Т. Черевин. Полковник де Граве и Ф. М. Достоевский. — «Исторический вестник», 1889, № 2, стр. 318.

[2] Сергей Федорович *Дуров* (1816—1869) — поэт-петрашевец, организатор кружка, в который входил перед арестом Достоевский.

[3] *В. Г. Кривцов* (ум. в 1861 г.) выведен Достоевским в «Записках из Мертвого дома». Был за злоупотребления снят с должности и разжалован.

[4] Это письмо Достоевского к Ризенкампфу неизвестно.

[5] 10 марта Ризенкампф снова писал А. М. Достоевскому:

« ... Что касается письма доктора Яновского, то по прочтении его я сначала подумал, что по преклонности лет <...> он многое позабыл и перепутал <...> Дело в том, что покойный Федор Михайлович любил иногда скрывать именно перед ближними свои недуги и свои денежные затруднения. В сентябре 1843 года, поселившись с ним на одной квартире, я не скоро узнал, что он страдает некоторыми болезнями <...>, притом весьма тяжкими. Он держался правила: „Откройся только тому, кто в состоянии тебе помочь". С стоическим терпением он ходил на службу, страдая невыносимо от нарывов, а между тем даже ближайший друг его Григорович об этом ничего не знал. При гостях первым его старанием было всегда развлечь их; он казался неизменно веселым и развязным, несмотря ни на какие страдания. Может быть, и о „кондрашке с ветерком" он открывался только одному пользовавшему его врачу г. Яновскому.

Между нами скажу, что какая-то злосчастная звезда привела Федора Михайловича именно в Омск.

Я был по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского в 1848 году назначен управляющим Нерчинским главным гарнизонным госпиталем и его отделениями в Шилкинском заводе и на Карийских золотых промыслах. Здесь у меня пользовались в 1849 году Петрашевский, Григорьев, Львов (Момбелли и Спешнев находились в Кутомарском заводе). При цивилизованном горном начальстве, при протекции ссыльных князей Волконского, Трубецкого и других богачей, участь их была облегчена до самой возможности. Не так было с Федором Михайловичем и Дуровым, которых я увидел в 1851 году при переезде через Омск,

о чем я и сообщил штаб-доктору Ивану Ивановичу Троицкому. Этот благородный человек им посылал обед и ужин со своего стола; с глубоким состраданием он говорил мне: „Жаль, жаль Достоевского! дошло до того, что он у нас нажил падучую болезнь!“ Впоследствии, во время службы моей при Омском госпитале, он мне не раз повторял эти слова, вспоминая о бесчеловечных поступках с Федором Михайловичем и удивляясь контрасту между тогдашним Западно-Сибирским и гуманным управлением графа Муравьева.

Собственно, ординатором арестантских палат был тогда Иван Яковлевич Ловчинский, добрый и сострадательный человек, о котором Федор Михайлович упоминает в своих „Записках из Мертвого дома“» (Авт. ИРЛИ, ф. 56, ед. хр. 100).

262. В. М. КАЧЕНОВСКИЙ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹Москва› 18 февраля ‹1881 г.›

... Печальное событие, как божий гром поразившее всю мыслящую Россию, потрясло меня донельзя. Первою мыслию моею было писать вам, но разве существуют на языке человеческом слова для утешения вас в вашем горе? Если что и может несколько облегчить вашу великую скорбь, то это сознание, что вы были в течение многих лет истинным счастием и радостию великого человека, мученика правды ‹... › А что вы были его счастием и радостию — то он сам так выразился в 1874 г. при жене моей, бывши у меня на квартире ‹... ›

Я присутствовал на панихидах в Москве и, не будучи в силах писать, по усиливающейся слепоте, осложненной нервными потрясениями, продиктовал жене статью в № 31 «Московских ведомостей», посвященную памяти покойного [1]...

Автограф. ЛБ, ф.93.II.5.57.

[1] «Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском».— «Московские ведомости», 1881, 31 января.

263. А. И. ТОЛСТАЯ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 26 февраля ‹1881 г.›

...На днях получила я письмо от дочери из Киева [1], она просит передать вам свое глубокое сочувствие понесенной вами утрате и просила сказать вам, что она обезумела от страшного и неожиданного известия.

Во втором письме она просит вас убедительно, когда будут или вы будете разбирать бумаги Федора Михайловича, то будьте так добры, найдите Катерины Федоровны письма к Федору Михайловичу: эти письма слишком интимного содержания, которые мог только читать Федор Михайлович и вы, глубокоуважаемая Анна Григорьевна. И потому она просит вас передать ее письма мне или переслать ей.

Сегодня я пишу ей; что прикажете сказать? Может ли она надеяться, что вы исполните ее задушевную просьбу? [2]...

Автограф. ИРЛИ.30296.с.CXIIб7.

[1] Это письмо Е. Ф. Юнге к матери неизвестно.

[2] А. Г. Достоевскую, по-видимому, возмутила эта просьба. О характере ее ответного письма к Толстой можно получить представление по отклику последней в письме, датированном 27 февраля: «Неужели вы из моего письма поняли, что осмелилась беспокоить вас насчет писем Катерины Федоровны? Я говорила на будущее время, если найдутся они ‹...› Я никогда не забуду то, что вы для меня сделали, может быть *вы*, *вы* спасли жизнь моего дитя. Повторяю, я никогда, никогда этого не забуду и останусь вечная ваша должница» (там же).

Дружеские отношения Анны Григорьевны с Е. Ф. Юнге продолжались и в дальнейшем. 22 июня 1881 г. она писала ей из Феодосии: «... Внешнее все хорошо, но душевное мое состояние такое, что не пожелала бы его моему злейшему врагу. Утром жду

вечера, вечером жду утра, как будто вечер или утро могут принести мне какое облегчение. Так всегда случалось летом, когда Федор Михайлович уезжал в Эмс, а мы оставались в Старой Руссе: утром ждешь вечера, чтоб получить от него письмо, а проглотив его, ждешь поскорее утра, а затем и вечера, чтоб получить от него же другое. А теперь знаешь наверно, что уж не случится никогда чего-либо такого, что бы меня сильно обрадовало. Я точно умерла к жизни: все хорошо, все спокойно, а у меня тоска, тоска... Даже дети меня радуют и утешают меньше: прежде я радовалась на детей и огорчалась вместе *с ним*, а теперь одна... все одна... Я так рвалась из Петербурга, от людей, куда-нибудь в глушь, где бы никто о нем не говорил и почти не знал; так спешила доехать, чтоб уединиться и обдумать, а теперь вижу, что без людей еще хуже. Всякая-то вещь, всякое сказанное детьми слово напоминает мне прошедшее и невозвратное. Как облегчить, куда уйти от себя? ⟨...⟩ Целую вас много и много и желаю вам здоровья и душевного спокойствия. Пожелайте и мне то же, я в нем так нуждаюсь...» (Авт. ГИМ, ф. 344, ед. хр. 41).

264. С. С. КАШПИРЕВА — Н. Н. СТРАХОВУ

⟨С.-Петербург⟩ 1 марта 1881 г.

Не в правде ли я была, сказав, что некролог Достоевского не будет вами написан для «Семейных вечеров». Не только ко вторнику, но и к четвергу, и к пятнице его тоже не будет,— и не вследствие недостатка времени, а просто-напросто потому, что не получено вами на то сият... разрешения [1].

Только зачем это вы, Николай Николаевич, хитрите и виляете перед порядочными людьми? Право, нехорошо! Не лучше ли прямо сказать: не решаюсь, не дерзаю... Положим, это выйдет не совсем респектабельно, даже несколько комично, если хотите, все же несравненно чистосердечнее и честнее ⟨...⟩

В доказательство же моей добросовестности и честного исполнения обещаний посылаю вам портрет Достоевского, выбранный вами, и фотографию его могилы. Относительно записок, переписки и заметок Федора Михайловича я тоже исполнила ваше желание. Анна Григорьевна изъявила свое согласие передать их вам для пересмотра. Вместе с тем, она поручила мне передать вам кое-что от ее имени, что я могу сделать не иначе, как сама. Вы зайдете ко мне сегодня часа в четыре [2].

Кроме того, я приготовила вам одну выписку из заметок Федора Михайловича о Л. Н. Толстом, которую было хотела вначале скрыть от вас, да духу не хватило,— зная наперед, что этот отзыв Достоевского доставит вам большое удовольствие [3]...

Автограф. ЦНБ АН УССР. III.17306.

Софья Сергеевна *Кашпирева* (? — после 1891) — жена В. В. Кашпирева.

[1] Краткий некролог Достоевского, написанный Страховым, напечатан в № 2 ежемесячного иллюстрированного журнала «Семейные вечера», издававшегося под редакцией С. С. Кашпиревой. Достоевский в нем характеризовался как «один из самых замечательных русских писателей-художников».

[2] 11 декабря 1884 г. А. Г. Достоевская писала Страхову: «Убедительнейше прошу вас, глубокоуважаемый Николай Николаевич, поискать у себя тетрадь (заметки и планы романов, писанные рукою Федора Михайловича), о которой я говорила вам в последний раз. Я перерыла весь дом и не нашла; а так как я никому, кроме вас, этих тетрадей не давала, то она непременно должна быть у вас. Чрезвычайно прошу вас об этом» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 6).

Более полугода спустя, 2 августа 1885 г., Достоевская снова напомнила Страхову о невозвращенной ей «записной тетради» писателя.

«Я хочу просить вас, глубокоуважаемый Николай Николаевич, воспользоваться вашим летним досугом и попытаться отыскать оставшуюся у вас тетрадь Федора Михайловича, а также затерянное вами письмо одной особы к Оресту Федоровичу ⟨Миллеру⟩. Чтобы вам легче было вести ваши поиски, опишу вам внешний вид потерянных предметов. 1) Тетрадь — величиной в пол-листа обыкновенной писчей бумаги, переплетена в грубый переплет, содержит в себе заметки и планы романа „Идиот“, писана рукою Федора Михайловича. 2) Письмо писано в 1881 или 1882 году, адресовано Оре-



К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ И М. П. ЛИЛИНА В РОЛЯХ КОСТЕНЕВА И ЕКАТЕРИНЫ ЕВСЕЕВНЫ В ПЬЕСЕ «ФОМА» — ИНСЦЕНИРОВКЕ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО РОМАНА «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ», 1891

Фотография

Музей МХАТ

сту Федоровичу. В письме одна госпожа заверяет, что у нее есть много писем Федора Михайловича, но что они забраны III отделением во время обыска, бывшего у особы по такому-то делу. Особа просит Ореста Федоровича как биографа достать означенные письма из III отделения и дает свой адрес...» (там же). Письмо, упоминаемое Достоевской, неизвестно; имя его автора остается неустановленным.

[3] О какой выписке идет речь, неясно.

30/18 июля 1883 г. Анна Григорьевна писала Страхову после прочтения в рукописи одной из глав его воспоминаний о Достоевском:

«С некоторыми вашими выводами я согласна в высшей степени и крайне довольна, что вам удалось так ярко их подметить и выставить. Чтоб не говорить много, укажу на отношение Федора Михайловича к цензуре, а также на беспрерывную работу Федора Михайловича, на нарастание и кипение его мыслей, на постоянно новые образы и планы, которые он создавал. Меня всегда поражало это в нем. Как ужасно жаль, что образы эти не всегда могли развиваться до законченности; всему виною наши проклятые денежные недостатки, заставлявшие спешить и портить произведение ⟨...⟩ В некоторых положениях я расхожусь с вами, например, в определении подъемов; по-моему, один из подъемов — это роман „Братья Карамазовы“; в нем Федор Михайлович обнаружил новые силы в творчестве. Так признавал это и сам Федор Михайлович, а вы и не знаете, какой он был критик к самому себе и как тонко умел подмечать свои слабые стороны и недостатки ⟨...⟩

Из Литературного фонда Федор Михайлович никогда не получал пособий. Он еще при Михаиле Михайловиче взял в долг 1000 рублей *под залог* своих сочинений и за проценты и вовремя уплатил. С тех же пор *ни разу* не обращался в Фонд, несмотря на то, что наши дела в течение четырнадцати лет были иногда в самом плачевном состоянии. Напротив того, Федор Михайлович питал какое-то отвращение к Литературному фонду и мне *положительно запретил* когда бы то ни было, при каких бы то ни было обстоятельствах, обращаться к помощи Фонда. Вероятно, это происходило от того, что за последние годы членами-заправилами Фонда были люди, враждебные Федору Михайловичу (Стасюлевич, Градовский и пр.) и готовые не признавать его таланта и значения. Как бы то ни было, имея такое положительное запрещение, я, конечно, никогда не прибегла бы к помощи Фонда, в какой бедности я ни находилась бы...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 6).

После получения биографии Достоевского, написанной Страховым и О. Ф. Миллером, Я. П. Полонский писал Страхову (1883):

«... Я только что окончил чтение 1-го тома и пишу вам о нем все, что приходит в голову: не критику... нет, на это надо много досуга и много времени, а так, несколько замечаний.

Нечего и говорить, что я вполне с вами согласен. Достоевский — явленье необычайное, личность силы поразительной и большой талант. Кое-что из записок его оставило на мне сильное впечатление—многое совпало с моими убежденьями и как бы обновило их... и укрепило ‹...›

Я понял ‹...›, как понимал Достоевский Христа—но одного, признаюсь вам, не понял—как мог Достоевский — с таким пониманьем Богочеловека — думать, что пониманье его вполне совпадает с духом теперешнего православия?‹...›

Не знаю, хорошо ли вы сделали, что вы всё печатали,—часто тот образ, который, очевидно, вы хотите сделать светлым, ясным — отуманивается вашими же выписками... его же собственными письмами. Носитель истины — часто сам себе противоречит, человек любящий — беспощаден к своим собратьям по литературе, осуждает Писемского... бранит Белинского, Грановского, Тургенева... и везде, везде, везде неправ. Этим, конечно, я вас огорчаю. Вы сами невысокого мнения о Тургеневе — и действительно как личность, как характер, как гражданин он бесконечно ниже Достоевского, но как художник и поэт—извините меня — несравненно выше Достоевского. И один рассказ его „Живые мощи“, если б он даже ничего иного не написал [ставит его выше в глазах моих], подсказывает мне, что так понимать русскую честную, верующую душу и так все это выразить мог только великий русский писатель ‹...›

Много нехристианского, не братского звучит в словах покойного Достоевского, когда он говорит о наших писателях — даже о тех, которые первыми восторженно приветствовали его на литературном поприще,— как, например, Белинского ‹...› Белинский был двигатель — и куда бы он ни двигал — но он двигал умы в такое время, когда они пребывали в захорузлом покое и, как стоячая вода, готовы были так оставаться. Белинский был талант — и я уважаю его — хотя он так и обругал меня за мою книжку, изданную в Одессе,— и обругал по-дикóму, и я верю — живи до сих пор Белинский — он был бы лучшим истолкователем и моих произведений ‹...›

Странно мне кажется очень, что человек, такой гуманный по отношению к нигилистам, к молодежи, к евреям и даже к преступникам,— так негуманен ко всем, кто шел с ним по той же литературной дороге. Ко мне Достоевский был милостив и не раз много говорил мне лестного, но когда Григорьев, или Салтыков, или... испр‹ажнялись› на меня — воздвигали свои гонения,— Достоевский молчал — и ни единым словцом меня не одобрил... Григорьев не любил меня — это я знаю и понимаю, почему именно он так не любил — у нас в жизни не раз были столкновения ‹...› А многие ли могут возвыситься над своим личным чувством? Многие ли способны на великодушие!..

Клянусь вам, Николай Николаевич, все это я говорю и пишу к вам без всякой вражды к кому бы то ни было. Благодаря Достоевскому я многое, очень многое ‹понял› и за многие горячие страницы глубоко ценил и уважал покойного Аполлона Григорьева. Я только хочу сказать вам, что ваша книга производит какое‹-то› двойное впечатление...» (Черновой авт. ИРЛИ.11769.LXVIIIб16).

265. М. Ф. ДЕ ПУЛЕ — Л. Н. ПАВЛЕНКОВУ

Тамбов. 1 марта 1881 г.

... Это письмо имеет *приложение* — мое мнение о Достоевском, или, лучше сказать, по поводу смерти Достоевского. Я написал его особо от письма; делай с ним что хочешь, но только смотри — не вздумай его напечатать! [1] Я читаю «Московские ведомости» и «Русь», где о Достоевском написано то же, что и ты писал, и притом так много, что, признаться, и надоело. Я не написал бы *приложения*, т. е. я благодушнее взглянул бы на похороны Достоевского (я всегда его очень любил), не случись с тобой такой оказии при его гробе. Право, стало и больно, и досадно! Зная свои нервы, зачем ты ходил туда, т. е. к гробу, в душную атмосферу, где тухли свечи! Поздние сетования с моей стороны на тебя и ради тебя, конечно, теперь бесполезны. А если пишу, так для того, чтобы ты вперед берег себя и не лез туда, куда прет глупая петербургская толпа [2] ‹...›

Все наши таланты 40-х годов завершили свое поприще: им нечего сказать и ничего более не скажут, следовательно, и смерть их — в самую пору. Но умер Соловьев [3], и об этой великой потере никто не плакал! Великого старика схоронили так, как бы Ивана Петрова Корнилова [4].

Писемский был тоже не литературная мелюзга... Да что говорить! Право, смешно и грустно! Я очень бы печалился о смерти Достоевского, если бы не было этих оваций и журнального гаму; после них... мне досадно и грустно. Почему? Потому что они убивают критику, не дозволяют сказать настоящей правды о писателе. Так у нас все и всегда!..

* * *

Последнее время в жизни Достоевского сопровождалось такою славою, выражением такого сочувствия, каких у нас ни один писатель, после Пушкина, не удостаивался. Впрочем, исключение составляет Некрасов... Некрасов и Достоевский... Что по-видимому между ними общего? А это общее есть и даже весьма крупное: они — дети одной эпохи, питомцы двух школ, одновременно существовавших; у обоих весьма крупные, пожалуй, громадные, но больные таланты, потому что сами они были больные, повихнувшиеся люди. Некрасов был и остался *школьником* западнической школы и застыл в понятиях кружка Белинского; Достоевский постепенно становился и сделался самым восторженным и самым крайним славянофилом. Но если поставить Некрасова рядом с Грановским, а Достоевского — с Хомяковым, то какая громадная разница между талантливыми представителями наших *учений* и талантливыми нашими писателями! На стороне первых большой, светлый ум и большое, многостороннее образование; на стороне последних — образование на медные гроши, ум хотя и большой (как у Достоевского), но помрачившийся и развившийся болезненно, криво, в одну сторону. Некрасов и Достоевский прежде всего — люди *направления*, партии, потом уже (после всего) — художники. Только великий талант, гений, как Гоголь, всегда остается прежде всего художником, как бы ни болел он душою и помыслами.

Слава и популярность Достоевского объясняются духом теперешнего больного времени, которому он, совершенно бессознательно и неумышленно, умел польстить; что Достоевский был человек, глубоко правдивый и глубоко честный,— для меня вне сомнения. Как большой талант, как писателя-психографа, как писателя, необыкновенно искреннего, Достоевского нельзя было не любить, и я уверен, что он имел множество таких почитателей, которые даже сами этого не сознавали. Но отсюда до поклонений еще далеко! Поклонение началось с речи его при открытии пушкинского памятника. Что такое эта речь по своему содержанию?

Пушкин послужил ему только предлогом, чтобы развить несколько парадоксов и повторить несколько мыслей, раньше высказанных другими. Герои первых поэм Пушкина (копии с байроновских типов) и сам Онегин у Достоевского явились какими-то цыганами, *скитальцами*. Русский человек, по его мнению,— *скиталец* по натуре. Ему тошно, ему скучно дома; он томится тоскою за себя и за других; он хочет спасать и себя, и других,— и спасет! Спасет и себя и Европу!.. Что за дикая мысль! Но она подкупила толпу, слушателей Достоевского: отсюда слезы и обмороки, потрясение нервов! Почему? Да потому, что все мятущиеся и непоседные *скитальцы*. Онегины, воспетые и излюбленные Пушкиным: и социалисты, ходящие и не ходящие в народ, и нигилисты, и сербские добровольцы — все это *скитальцы*! Какому-нибудь нигилисту, конечно, приятно приравнивать себя к Черняеву [5] или Кирееву [6], но для правды и здравого смысла это совсем не приятно... «Наша страна бедная, наша страна нищая; но по ней сам Христос прошел»,— эта мысль еще в 50-х годах была высказана Тютчевым в прекрасном стихотворении [7].

Мысли Достоевского о православии и христианстве... На эту тему можно много и долго говорить; но нельзя говорить разумно и толково, не про-

читав богословских сочинений Хомякова да и не одного Хомякова. Но ни один мало-мальски образованный священник не скажет, что достаточно знать одну молитву, например «Господи и владыко живота моего», для того, чтобы сделаться истинным христианином. В «Братьях Карамазовых» эти взгляды Достоевского высказаны точнее и выражены образно — в старце Зосиме и в Алеше, но оба типа крайне тенденциозны, ибо обусловливают истинное христианство непосредственным, чуть не первобытным состоянием людей. В мире монашеском люди, подобные Зосиме, представляют отрадное явление, как в мире житейском добродушные (фантастичные) Алеши, но оба мира не могут состоять из таких людей. В «Карамазовых» я мог бы указать такие воззрения Достоевского, которые почти целиком заимствованы из философии некоторых виленских обрусителей 60-х годов, полагавших, что просвещение и терпимость не нужны для православия.

Психический анализ у Достоевского, действительно, изумительный; но он употреблял его во зло и, думается мне, виртуозничал: всякая душевная мерзость непременно оправдывается и в конце всего перерождается в доблесть, но не простую, смиренную, а поднимающую бунт: уважай-де меня! Тут у Достоевского всепрощение, а к *западникам* (к которым и сам когда-то принадлежал) — если не злоба, то бичевание (в «Бесах»),— прием, недостойный художника!

Я не читал «Дневника писателя», но прочел в газетах речи Достоевского, обращенные к молодежи. Что такое эти речи? Да опять то же — та же московская речь, та же лесть (пусть и неумышленная): «Вы такие и этакие (не добавлено — «скитальцы»)!.. Нет, «друг истинный» не то бы сказал и иначе бы вразумил!.. Эти речи к молодежи даже не умны; но они приятно волнуют, возбуждают... И вот из похорон Достоевского вышло то, чего, конечно, никто не ожидал: обожание, не лишенное глубокого комизма! Люди, не верующие ни в бога, ни в черта, пьют деревянное масло; нигилисты и нигилистки, недавно курившие папиросы в Казанском соборе [8], спешат в Невскую лавру читать псалтирь и чуть не дерутся за очередь!.. Я не переставал любить Достоевского как писателя, но правда выше всего.

Автограф. ЦГАЛИ, ф. 1129, оп. 1, ед. хр. 11.

[1] По всей вероятности, Де Пуле вынес свои рассуждения о Достоевском в специальное «приложение», чтобы не создавалось впечатление, что такое «суетный» предмет занимает его мысли в день смерти Александра II. Казни царя народовольцами посвящено почти все письмо Де Пуле, выдержанное в верноподданническом духе.

[2] См выше п. 253.

[3] Историк Сергей Михайлович *Соловьев.*

[4] Иван Петрович *Корнилов* (1811—1901) — историк и археолог, председатель петербургского отдела Славянского благотворительного комитета.

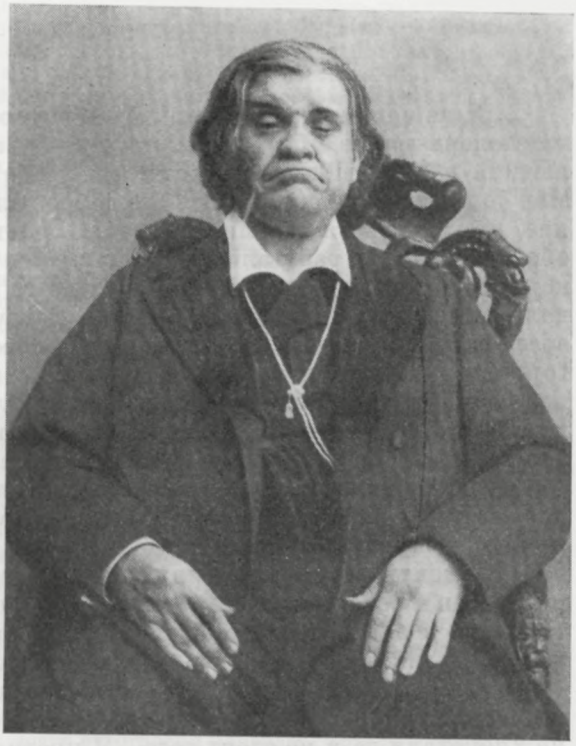
[5] Михаил Григорьевич *Черняев* (1828—1898) — генерал-лейтенант, видный участник русско-турецкой войны.

[6] Николай Алексеевич *Киреев* (1841—1876) — организатор и участник русских добровольческих отрядов в составе сербской армии.

[7] Стихотворение Тютчева без названия («Эти бедные селенья...», 1855), завершающееся строфой:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

[8] Инсинуация, связанная со студенческой демонстрацией на Казанской площади в Петербурге 6 декабря 1876 г. В судебном отчете, печатавшемся в «Правительственном вестнике» 1877 г., и в обвинительном заключении даже и не фигурировало обвинение, что студенты курили в храме папиросы (см. «Письма», IV, стр. 356). Этот вымышленный факт упомянул в своем обращении к московским студентам Достоевский, писавший 18 апреля 1878 г.: «Прошлую зиму в Казанскую историю нашу толпа молодежи оскорбляет храм народный, курит в нем папироски, возбуждает скандал» (там же, стр. 18).



И. М. МОСКВИН
В РОЛИ ФОМЫ ОПИСКИНА
В СПЕКТАКЛЕ
«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
ПО РОМАНУ ДОСТОЕВСКОГО

Фотография

Постановка Московского Художественного театра, 1917

Музей МХАТ

266. А. Н. ПЛЕЩЕЕВ — А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

‹С.-Петербург› 2 марта 1881 г.

Извините, бога ради, многоуважаемая Анна Григорьевна, что я несколько замедлил доставить вам «заявление», о котором вы мне говорили. Вчера хотел лично быть у вас, но утром было чтение, посвященное памяти Федора Михайловича в одной женской гимназии, а вечером произошла ужасная катастрофа, всех переполошившая [1]. Не знаю, как вы найдете следующего рода заявление:

«Смерть моего незабвенного мужа послужила поводом присылки ко мне громадного количества заявлений сочувствия в виде адресов, телеграмм, писем и пр. Не имея возможности благодарить отдельно каждого из посылавших эти заявления, я прибегаю к посредству печати для выражения моей глубочайшей признательности всем почтившим меня теплым вниманием своим, которое останется навсегда незабвенным для меня и послужит мне утешением в моем тяжелом горе» [2].

Постараюсь быть у вас на днях, если позволите. Мне бы хотелось о многом еще побеседовать с вами ...

Автограф. ЛБ, ф. 93.II.7.88.

Алексей Николаевич *Плещеев* (1825—1893) — поэт-петрашевец, друг юности и корреспондент Достоевского.

[1] Накануне, 1 марта, был казнен народовольцами Александр II.

[2] Этим письмом устанавливается, что обращение от имени Анны Григорьевны Достоевской было написано Плещеевым.

Ряд телеграмм от отдельных лиц и организаций к А. Г. Достоевской с выражением соболезнования напечатан в «Биографии...», стр. 329—332.

267. А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ — Е. Ф. ЮНГЕ

Феодосия. 14 августа 1881 г.

... Я не могу признать, что горе мое — эгоизм. Я тоскую не потому, что мне теперь труднее без него жить, мне больно, что *он* не жив, *он*, так желавший и мечтавший еще жить, еще работать, нарадоваться на детей... Мне больно, что прекратилось его доброе влияние на меня, на детей, влияние, от которого я так много ждала. Знаете ли вы, что все 14 лет нашей общей жизни мы работали с ним, как волы (я помогала ему стенографией, корректурами, изданием книг), и вечно-то мы нуждались, вечно едва сводили концы с концами, тревожились и мечтали хоть о самом крошечном обеспечении. И вот, он умирает,— и я обеспечена, у меня пенсия. Ну не горькая ли это насмешка? Когда было дозарезу надо, когда человек убивал себя над работой — обеспечения не было, и вот оно явилось для меня, когда оно совсем не нужно. Знаете ли, идея необеспеченности, мысль, что я и дети останемся без средств в случае его болезни или смерти,— мысль эта мучила и волновала его постоянно. Вы поймете, как мне больно думать, зачем это относительное довольство (кроме пенсии, и дела наши пошли лучше) не пришло прежде, когда оно было так необходимо, когда оно могло успокоить его... Я, должно быть, странный человек: мне кажется, не получи я пенсии, я бы легче перенесла мое горе. Мне бы пришлось много работать, и я бы нашла себе утешение в мысли, что я работаю для детей, что без меня они пропадут, что я им необходима. Теперь же у меня руки опускаются и все кажется, что я работаю лишь для того, чтоб у них было лишних 200 рублей. Главное у них есть, а о богатстве для них мы никогда не хлопотали да и не стоит того. Я предприняла издание Полного собрания сочинений, и мне прислали сюда корректуры, но я чувствую, что это уже не прежняя, живая работа, не горячее желание помочь, облегчить его труд, а только сознание долга. Вы скажете, что я нужна детям не с одной денежной стороны и должна о них заботиться. Я знаю это, люблю их больше всего в мире, отдала бы за них жизнь, если б потребовалось, радуюсь и благодарю бога, что он мне их оставил. Но как я о них ни забочусь, у меня остается много времени, которое я с такою радостью употребляла в помощь *ему*. Вот теперь я с болью в сердце вспоминаю счастливое прошлое, и горько мне, что оно никогда не вернется. Я чувствую себя до того одинокою в мире, что иногда страшно становится. А мысли, а вопросы, каждый день являющиеся, которые я сама не могу разрешить! Я не про материальную жизнь говорю. Прежде мне было легко: я до того верила Федору Михайловичу, до того сжилась с ним, что решение его было для меня окончательное. Теперь не то. Долго, может быть, пройдет прежде, чем я оправлюсь от постигшего меня удара и встану на ноги ⟨...⟩

У меня расстроены нервы до невозможности. Плачу, тоскую, места себе не нахожу. Всякое письмо мне стоит слез ⟨...⟩

Простите меня за бессвязное письмо: пишу и плачу да и вообще не умею писать письма[1]...

Автограф. ГИМ, ф. 344, ед. хр. 41.

[1] Из письма А. Г. Достоевской к Е. Ф. Юнге, датированного 19 ноября 1882 г.: «... Я тоже здорова, но сил у меня очень мало, скоро устаю, часто чувствую апатию и уныние. Дела у меня так много, что я решительно не успеваю сделать и половины из того, что задумала. Приехав домой, я успела выдать два тома Полного собрания сочинений, так что закончила первую половину издания. В конце этого месяца выдам еще два тома, а все издание (т. е. все четырнадцать томов) думаю закончить в мае месяце 1883 г. Если мне удастся сделать это, то я буду спокойна и счастлива. Я скажу себе тогда, что я воздвигла изданием сочинений некий памятник моему вечно обожаемому мною Федору Михайловичу, что теперь всякий желающий изучить его может это сделать, так как собрано мною все, что он ни написал. Издав его сочинения, я исполню его задушевную мечту: он всегда мечтал о *Полном* собрании своих сочинений. Но в прежнее время это было неосуществимою мечтой. Кроме того, была у Федора Михайловича

мечта выбрать из своих сочинений отрывки, которые можно было бы дать в руки детям 12—14 лет. При жизни его это не удалось сделать, но я имею указания, что́ именно он желал видеть в печати, и теперь выдам в свет к праздникам отдельный томик в 16—17 печатных листов, роскошно изданный. Много я задала себе и задумала сделать в память моего дорогого мужа; не знаю только, много ли удастся мне выполнить из моих предположений. Но мысль сделать что-либо в память его помогает мне жить, и мне все кажется, что, исполняя задуманное им, я ближе к нему. В материальном отношении издание идет блистательно: у меня, кроме розничной продажи, есть 1300 подписчиков, и это помогло мне уплатить до 20 тысяч за вышедшие томы и отложить несколько тысяч для покрытия остальных.

В результате дети мои будут иметь до 70 тысяч чистого барыша с этого издания, т. е. маленькое состояние — опять-таки мечта Федора Михайловича. Он всегда думал устроить дела свои так, чтоб детям его не пришлось нуждаться, быть несчастными от недостатка денег, портить дело поспешностью, опять-таки из-за денег, из-за насущного хлеба, как пришлось это ему испытать в своей жизни. Критики часто упрекают Федора Михайловича в небрежности, в неотделанности и поспешности работы, а если б знали они, как он писал: одна глава в редакции набирается, другая едва написана, а третья только в уме. Сколько раз Федор Михайлович приходил в отчаяние, что ему не пришлось исправить вещь, доделать, перечитать. А все проклятая нужда в деньгах, все ежедневные денежные затруднения заставляли так спешить и действительно иногда портить художественное произведение. Федор Михайлович мечтал хотя детей своих избавить от нужды, и слава богу, изданием этим мечта его исполняется».

15 февраля 1884 г. она писала той же корреспондентке:

«... Когда вы прочтете „Биографию“, напишите мне ваше полное, откровенное мнение; мне слишком важно знать, какое впечатление произвело на вас чтение писем Федора Михайловича, да и вообще вся книга. Если б вы знали, дорогая моя Екатерина Федоровна, как трудно досталась мне „Биография“! Сколько беспокойств и борьбы выдержала я ради того, чтобы отстоять и *не* печатать некоторые письма, которые могли обидеть или огорчить людей, мною уважаемых. Многое удалось отстоять, но многое пришлось пропустить, и я теперь сильно раскаиваюсь в том. Например, напечатание писем о беспорядках в редакции „Заря“ рассорило меня с С. С. Кашпиревой, которую я искренно уважаю и люблю. В случае моего несогласия биографы хотели разбежаться и оставить меня одну доканчивать издание, с тем, чтоб и ответственность за нелитературное расположение статей оставить на мне. Я люблю работать, но люблю иметь дело с делом, а не с людьми, и не умею мирить разные мелкие самолюбия; так что я с горечью вспоминаю те бедственные для меня три месяца, когда я должна была бороться за каждое письмо, главу и т. п. Но теперь, слава богу, все это кончено, первый том вышел два месяца тому назад, и им закончилось издание. (Всего я издала четырнадцать томов.) Вы не поверите, дорогая Катерина Федоровна, как я была счастлива, когда довела дело до конца. Я с гордостью в душе говорила, что послужила памяти моего незабвенного мужа; что теперь всякий желающий изучить его сочинения может это сделать, так как напечатано решительно все им написанное. Я гордилась тем, что исполнила его заветную мечту — издать Полное собрание его сочинений. Материальная сторона мне тоже удалась: я почти распродала все издание (6 200 экз.) и, кроме уплаты 36 тысяч за издание, имею теперь уже 48 тысяч чистого барыша. Теперь я знаю, что дети мои обеспечены и им не придется портить или бросать любимое дело ради денег или в погоне за куском хлеба, как это, к несчастию, приходилось делать Федору Михайловичу. Одна горькая мысль приходит мне в голову: зачем это обеспечение явилось так поздно, зачем не было его при жизни, чтоб мой дорогой муж хоть одно произведение мог написать, не торопясь, не портя, не мучаясь мыслью о завтрашнем дне» (там же).

Насколько значительную роль сыграла Анна Григорьевна в создании биографии Достоевского, можно судить и по следующей ее недатированной записке к Страхову (весна или лето 1881 г.):

«Я в большом беспокойстве, многоуважаемый Николай Николаевич! Софья Сергеевна ⟨Кашпирева⟩ (не выдайте меня ей) передала мне, будто вы намерены отказаться писать биографию Федора Михайловича. Неужели это возможно? Но вы дали мне твердое слово, и я на него надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь! Пока вас не увижу, буду беспокоиться...» (Авт. ЦГАЛИ, ф. 1159, оп. 2, ед. хр. 6).

«Мы получили ваше письмо, в котором есть пункты, ответ на кои должен дать я, а не жена моя, хотя письмо и к ней,— писал Достоевской А. Н. Майков летом 1881 г.— Признаюсь, это меня очень затрудняет. Вам нельзя писать зря,а все надобно оглядываться на публику, ибо вы собираете письма, не жжете их да потом когда-нибудь и напечатаете. А пункты такого рода, что, по-настоящему, публике до них не должно быть дела. Вы хотите, чтобы я передал Оресту Федоровичу Миллеру письма Федора Михайловича, писанные ко мне. Но в этих письмах столько интимного, что в настоящее время предавать их „благодетельной гласности“ (или, по-моему, бабьей болтовне), невозможно...» (Авт. ЛБ, ф. 93.II.6.46).

Анне Григорьевне все же удалось переубедить Майкова и получить от него письма Достоевского.

Н. Н. СТРАХОВ О ДОСТОЕВСКОМ

НАБЛЮДЕНИЯ

(Посв⟨ящается⟩ Ф. М. Д⟨остоевско⟩му)

I

Можешь ли ты рассказать мне сон, который я видел, и сказать, что он значит?

В одну из наших прогулок по Флоренции, когда мы дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и остановились, потому что нам приходилось идти в разные стороны, вы объявили мне с величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь. Затем мы крепко пожали друг другу руку и расстались. Знаете ли? Ведь это очень хорошо; ведь это прекрасный случай, лучше которого желать невозможно. В самом деле, вот разговор, совершенно точный и определенный; вот отношение, в котором нет никакой темноты или неясности. Мы нашли точку, на которой расходимся; превосходно! Это вовсе не так часто случается. Обыкновенно разговоры бывают наполнены теми неопределенными поддакиваниями, в которых нет, однако же, настоящего согласия, и теми неясными разногласиями, в которых нет, однако же, настоящего противоречия. Мы же, как видите, дошли до чего-то более правильного. В житейском быту можно согласиться, что худой мир лучше доброй ссоры; но в логике это не совсем так. Нужно *знать* точно и отчетливо, с чем соглашаешься и что отвергаешь. Соглашаться, не зная на что, и отвергать, не зная что, ни в каком случае не похвально. Следовательно, очень хорошо, что мы, кажется, знаем, наконец, в чем мы расходимся. Тем более, что, расходясь с вами в некоторых мыслях, я надеюсь и предлагаю вам никогда вполне не расходиться в жизни, не расходиться, не обращая внимания на логику, даже не пускать всякой логики. Не удовольствуетесь ли вы такою уступкою с моей стороны?

А впрочем,— помните ли вы хорошенько, в чем было дело? Вы находили во мне несносным и противным мое пристрастие к тому роду доказательств, который называется в логике непрямым доказательством или доведением до нелепости. Вы находили непростительным, что я часто приводил наши рассуждения к выводу, который простейшим образом можно выразить так: *но ведь нельзя же, чтобы дважды два не было четыре.*

Против этой дурной привычки, в которой я чистосердечно сознаюсь, вы приводили мне сильные доводы. Вы говорили, что никто в мире не думает утверждать таких вещей, как *дважды два — три* и *дважды два — пять*, что я впадаю в чрезвычайно смешную наивность, воображая, что кто бы то ни было проповедывает и защищает такие положения, что если и говорится что-нибудь подобное, то с моей стороны странно принимать это совершенно серьезно, так как очевидно люди, которые говорят *дважды два — не четыре*, вовсе не думают сказать именно это, а, без сомнения, разумеют и хотят выразить что-то другое.

Что же? Нужно признаться, все это как нельзя больше справедливо. В самом деле, как бы беспорядочны и ограниченны ни были чьи-нибудь мысли, как бы дурно и фальшиво они ни были выражены, все-таки в них необходимо есть зерно истины, все-таки несправедливо не видеть этого зерна из-за шелухи, которая его покрывает. По самой сущности дела всякая мысль имеет свой повод и свое основание, всякая мысль как широкая

и глубокая, так и мелкая и узкая, движется по одним и тем же логическим законам, и, следовательно, самое грубое заблуждение носит в себе элементы истины. Следовательно, обвинять кого бы то ни было в абсолютной нелепости совершенно несправедливо.

На это, по-видимому, нечего возражать. А между тем помириться на этом я все-таки не могу. Дело не в том, где и насколько в чем заключается истина, а дело в нас с вами. Ваши доводы слишком сильны — явный признак, что мы сражаемся неравным оружием. Очевидно, вы заняли чересчур выгодную позицию, вы успели уйти за неприступные укрепления, в которых всякий безопасен. И в самом деле, посмотрите, кого вы против меня защищаете? Ведь вы защищаете решительно всех; вы приносите меня в жертву каждому, кто только ни вздумает открыть рот. Потому что, что бы он ни сказал и как бы он ни сказал, по-вашему, я обязан непременно понять, что он *хочет* сказать, и не имеет ли этот желаемый смысл какого-нибудь тайного основания. Они, все эти люди, которые могут стать под защиту ваших аргументов, могут говорить *всё*, что им вздумается; от времени до времени они могут утверждать даже и то, что дважды два — не четыре. Я же не смею ничего им возражать; мне сейчас зажмут рот тем резоном, что они хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться, хотя и сказали одно, но разумеют совсем другое. Они имеют полное право мне противоречить, как бы точно и ясно я ни выразился, а я должен только соглашаться с ними, как бы темно и неопределенно они ни выражались. Они не стесняются ничем, тогда как я связан по рукам и по ногам. Одним словом, они, как некогда восточные цари, могут грезить все, что им угодно, а я, как их придворные волхвы, под страхом казни, обязан понимать все, что им ни пригрезится, да, пожалуй, еще находить в их снах смысл высокий и пророческий. Остается разве только одно,— чтобы вы возложили на меня обязанность не только понимать, но и отгадывать их сны, как этого требовал от своих волхвов тот древний царь, который однажды забыл свой сон и помнил только, что ему было страшно.

Итак, я требую равенства или, лучше сказать, я обращаю ваше внимание на то, что в республике мысли за всеми нами признаются равные права. При равных правах, вы увидите, что мое положение тоже не без выгод. В самом деле, что бы вы сказали, что бы сказали многие другие, если бы я, пользуясь вашими же [признаниями] уступками, на какую-нибудь горячую речь отвечал бы: «Да, вы совершенно правы; но только под вашими словами нужно разуметь не то, что они значат, не *дважды два — пять*, а нечто совсем другое?»

II

Я должен отдать вам справедливость, что в нашем споре вы попали прямо на больное место да и не мое только, а и многих других. Какое кому дело, о чем мы с вами спорили во Флоренции? Но не я один — ненавистник нелепостей и не вы один снисходительно прощаете их за то, что под ними разумеется. Дело в том, что нелепости в разнообразнейших формах и оттенках являются у нас в чрезвычайном изобилии и что это изобилие, естественно, вызвало отпоры, возбудило реакцию. Часто возбуждала неудовольствие и недоумение ожесточенная полемика, которую у нас так охотно ведут журналы. Одна из самых чистых и явственных струй в том мутном потоке, без сомнения, та, которую я указываю, то есть, с одной стороны, увлечение до *дважды два — пять*, а с другой стороны вражда против всякого *дважды два — не четыре*. Среди многих разделений образовалось, между прочим, в нашей литературе и такое разделение; оно должно было образоваться, и столкновение между двумя его сторонами было неизбежно, и неизбежно будет повторяться.

Попробую пожертвовать обе стороны. С одной стороны, именно с той стороны, на которой вы стоите,— часто молодость, всегда жар, страсть проповедовать, небрежность к форме и ко всякого рода правильности, но зато живые чувства и мысли, нередко талант, иногда гениальные проблески...

С другой стороны — некоторая холодность, привычка к строгой и правильной мысли, отсутствие большого жара проповедовать, но, вместе с тем, часто отсутствие и всякого таланта, молчание самых живых струн. На этой стороне я стоял во время нашего спора и на нее часто становлюсь.

Надеюсь, однако ж, вы отсюда ясно увидите, какой стороне принадлежат мои симпатии. Вот видите, что я знаю, что делаю. Конечно, я сочувствую первой стороне, но между тем волей-неволей я становлюсь на второй. Такая уж моя несчастная судьба, а что всего хуже — не моя одна, но и многих, весьма многих других.

Разве хорош человек? Разве мы можем смело отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзовутся глубокие струны, с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или бессознательно. Идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда перед нами развернут картину современного человечества и спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: «Нет, гнусен до последней степени!»

⟨Рукопись обрывается. На следующей странице:⟩

Наконец, остается еще одна ступень, и люди оппозиции нашего времени не раз преступали ее, может быть, сами не замечая или невольно увлекаясь. Остается сказать еще одно: я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому, что я не верю в *человека:*

За человека страшно мне!

⟨Рукопись обрывается. На обороте:⟩

Непрямое, неясное, неопределенное отношение к делу у нас очень обыкновенно. Даже в тех случаях, где оно необходимо требуется, мы умеем избежать его. У нас очень много лицемерия, свойственного людям хитрым, но неумным. Мы всегда готовы пользоваться умом других вместо того, чтобы яснее высказать свое мнение.

⟨Пробел в несколько строк. За ним текст:⟩

Могу вас уверить, что нелепость есть дело жестокое. Не думайте, что переносить ее так легко; нет, она трудно переваривается.

⟨Далее следует, на новой странице, следующий текст:⟩

НАБЛЮДЕНИЯ

Посвящается Ф. М. Д⟨остоевско⟩му

I

Может быть, прочитавши заглавие моих заметок, вы подумаете, что я выбрал для них название слишком общее, слишком малозначительное и скромно-неопределенное; в таком случае, спешу объяснить вам, что я придаю ему очень серьезный смысл и считаю его надлежащим и единственным заглавием того, что им обозначено. Вероятно и вы и многие другие заме-

тили, что в умственной сфере мы чем дальше, тем больше превращаемся в наблюдателей, в простых наблюдателей, которые сами не могут, не имеют достаточного повода принять участие в том, что делается, а только созерцают и стараются понять сущую жизнь.

Вот мое первое наблюдение, и с него я начну свои заметки. Наблюдательное настроение ума так часто встречается, так быстро усиливается, что нельзя не сделать его тоже предметом наблюдения и внимания.

Наблюдательное настроение противоположно *деятельному*. Наблюдатель есть зритель, со стороны смотрящий на драму; деятель есть один из участников драмы, одно из действующих лиц.

Если сравнить, как это часто делается, мир с театром, со сценою, на которой происходит драма, то я могу точно выразить свою мысль, сказавши, что в настоящее время все больше и больше является лиц, которые бросают сцену и участие в драме, отходят в сторону и начинают наблюдать тех, кто остался на сцене. Таким образом, мир мало-помалу получает то странное, резкое разделение, которое существует в театральной зале: одни играют, другие смотрят.

Прежде этого не было или, по крайней мере, едва ли когда-нибудь было в такой степени, как это замечается ныне. Может быть, у нас, русских, расположение быть простым зрителем даже сильнее, чем у других. Но совершенно ясно, что это расположение тесно связано с теми взглядами, с теми учениями, которые так распространены вообще в наше время. Больше, чем когда-нибудь, мы умеем теперь *глубоко* понимать вещи. Во всем, что ни случается, мы видим обнаружение внутренних сил и далеких влияний. Мы верим в таинственные и неодолимые силы жизни, мы убедились до конца, что история совершается *с необходимостию*, что все в ней тесно связано и неизбежно развивается, растет и умирает, падает и возвышается.

Если же так, если раз мы с полной ясностию сознали этот взгляд, то спрашивается, у кого же достанет охоты участвовать в этой слепой, неумолимой драме? Естественно, что каждый, кто ее понял, постарается стать в сторону, постарается уклониться от нее и сохранить свободный взгляд, свободное присутствие духа.

⟨Рукопись обрывается⟩

Автограф. ЦНБ АН УССР.I.5236.

Анализ этой рукописи Н. Н. Страхова см. в работе Л. М. Розенблюм «Творческие дневники Достоевского».— «Лит. наследство», т. 83, стр. 17—23.

Среди бумаг Страхова в том же архиве находятся еще следующие фрагменты его рукописей, связанные с Достоевским (шифры: I.5236 и I.5239а):

1

ЗАМЕТКИ О НАШЕМ ПРОСВЕЩЕНИИ

(Из письма к Ф. М. Достоевскому)

Иногда вы упрекали меня за слишком печальный взгляд на умственное движение, совершающееся в России. Хочу попробовать здесь, на свободе, определеннее изложить вам те сомнения и горевания, которые для вашей твердой веры (исповеданной вами и в последнем [вашем] романе, в «Бесах») казались чем-то непонятным и почти кощунственным. Действительно, это горькие и печальные мысли. Но если уже так решено судьбою, что вопрос о духовной самобытности русского народа давно сделался существенным делом для [людей понимающих] мыслящих русских людей, то

⟨Нижняя часть листа отрезана⟩

2

ПИСЬМО К Ф. М. ДОСТ‹ОЕВСКОМУ›

На вас лежит обязанность.
Не стану разбирать этих бессвязных, тупых
Для кого? Не для вас же. Кто станет сравнивать и винить?
Перед кем?
Лучше поговорим о деле.
Это люди, сбитые с толку.
У них на аршин образования, культуры.
Веры нет; глубочайшее неверие.
Он думает, что сербы дадут нам идеи. Какова должна быть пустота в голове, какое отсутствие идей!
Прямо выскажу свое негодование — не для публики; но вы меня поймете.
Спорить — унизительно.

3

‹СМЕРТЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО...›

Смерть Ф. М. Достоевского — великое горе, огромная утрата для русской литературы. Угасла необыкновенная умственная и художественная сила, и притом угасла в полном разгаре своей деятельности. Невозможно было не изумляться и не радоваться этой деятельности. Никто еще из наших крупных писателей не писал так много. Его романы следовали непрерывной чередою, но, кроме того, он издавал по временам журнал, которого сам был единственным сотрудником. И все это нимало не отзывалось *многописанием*; страшная умственная работа вкладывалась в каждый роман, в каждый номер «Дневника». Было, конечно, нечто неровное и волнующее в этих трудах, но оно было и в самых первых его работах. Зато же и удачные страницы и главы достигали удивительной высоты. В этом человеке был истинно неистощимый запас сил, было что-то загадочное, не слагавшееся в твердые формы. От Достоевского постоянно можно было ожидать каких-то откровений, новых и новых мыслей и образов.

И большой успех наградил в последние годы эту деятельность. Число читателей и почитателей покойного быстро росло и было огромное. Глубокая серьезность тем, которые он брал в своих романах, глубокая искренность «Дневника» действовали неотразимо. В последние годы, как он сам сознавался, ему стало труднее писать, но зато он приобрел стариковскую уверенность и спокойствие в писании и выступал с настоящим авторитетным тоном, простым и твердым. Впечатление было могущественное. Его «Дневник» и по своему внутреннему весу, и по внешнему влиянию на читателей, конечно, равнялся не одному, а, пожалуй, нескольким взятым вместе большим журналам со всеми их редакциями и усилиями. Его романы всегда стояли в первом ряду художественных произведений текущей литературы, были выдающимися ее явлениями. Так что если вспомним притом размеры этой деятельности, то можно сказать, что с Достоевским сошла в могилу большая доля, чуть не половина наличной литературы.

Но, конечно, всего больше наша утрата по тому смыслу, по тому содержанию, которое воплощал в себе Достоевский. Он вовсе не был поклонником минуты, никогда не плыл по ветру, а всегда был писателем независимым, свободно следовал своим мыслям. И он не только не потворствовал нашим модным направлениям, а напротив, объявил себя их врагом, открыто преклонялся перед началами, которые для нашей интеллигенции только «соблазн и безумие». Свою преданность искусству, свою любовь к народным началам, свое отвращение к Европе, свою веру в бессмертие души, свою религиозность — все это он смело проповедовал.

4

ДЛЯ СЕБЯ

Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это отвращение, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу. *Для себя* мне хочется, однако, формулировать ясно и точно это отвращение и стать выше его ясным сознанием.

‹Этот текст, представляющий собой, по-видимому, предварительный вариант известных строк из письма Страхова к Л. Н. Толстому (26 ноября 1883 г.), был опубликован (без заголовка «Для себя») в информационной заметке А. Навареского «Архив Страхова».— «Лит. газета», 1936, № 5, 26 января.›

РАЗЫСКАНИЯ И СООБЩЕНИЯ

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ И ПОПЫТКА ВОЗРОДИТЬ «МОСКВИТЯНИН» (накануне сотрудничества в журнале «Время») *

Статья И. С. Зильберштейна

Один из ведущих сотрудников журналов «Время» и «Эпоха»— литературный критик и поэт Аполлон Александрович Григорьев был видным теоретиком «почвеничества». Не только при его ближайшем участии, но в какой-то мере и под его влиянием формировалось направление журналов братьев Достоевских, определялась их идейная программа. Ап. Григорьев активно сотрудничал во «Времени» в первые месяцы 1861 г. Но уже в июне из-за разногласий с редакторами он уехал в Оренбург и оттуда в своих письмах выражал резкое недовольство по поводу симпатий «Времени» к «Современнику». 16 сентября 1861 г. Ап. Григорьев писал из Оренбурга М. П. Погодину: «„Время" идет хорошо, платит хорошо; „Время" мной дорожило и дорожит. Но „Время" имеет наклонность очевидную к Чернышевскому с компанией,— и я не остался в Петербурге». А спустя три месяца — 12 декабря — Ап. Григорьев делится своими мыслями по тому же поводу с Н. Н. Страховым: «„Времени", чтобы быть самостоятельным, нужно: или 1) окончательно изгнать меня и тебя и постараться переманить Чернышевского, или 2) быть последовательным в своей вере в поэзию и жизнь, в идею народности вообще (в противоположность абстрактному человечеству),— воспользоваться ошибками славянофильства, как всякой теории, и встать на его место» [1].

В недавно вышедшей монографии о журнале «Время» В. С. Нечаева отмечает, «как мало единодушия было среди ведущей группы старших сотрудников „Времени", в первый год его существования» [2]. Уяснить позицию Ап. Григорьева в этой связи помогают архивные материалы, до сих пор остающиеся неизданными. Они относятся к его так и не осуществившемуся намерению возродить издание «Москвитянина» на рубеже 1860-х годов, а программа, изложенная Ап. Григорьевым в письме к А. Н. Майкову осенью 1860 года, т. е. тогда же, когда братья Достоевские готовились к изданию «Времени», проливает свет на истоки вскоре возникших разногласий.

Отсутствие возможностей для дальнейшего издания «Москвитянина» в 1856 г. и последовавшее его закрытие явилось для Ап. Григорьева тяжелым жизненным испытанием.

«Черные дни» наступили для него. Человек бурного темперамента, он ни в каких журнальных и газетных редакциях не уживался долго. Несмотря на то, что продолжительное время он, по его словам, «слонялся без деятельности, пожираемый жаждой дела», сотрудничество его в «Русской беседе», даже после приглашения А. И. Кошелева, не состоялось из-за неприемлемых условий, поставленных Ап. Григорьевым [3]. Его переговоры с В. П. Боткиным о руководстве критическим отделом «Современника» также ни к чему не привели, в частности, после его категорического ультиматума: «...Мое требование об изгнании г. Чернышевского справедливо уже и потому, что два медведя, т. е. два воззрения, в одной берлоге, т. е. в одном журнале не уживаются» [4]. А сотрудничество со следующего, 1857 г., в «Библиотеке для чтения» А. В. Дружинина продолжалось всего несколько месяцев, и то урывками [5].

После приезда из-за границы, где Ап. Григорьев прожил с июля 1857 по октябрь 1858 г. [6], начинается, особенно в первые месяцы 1859 г., его усиленная и продуктивная работа в «Русском слове» Г. А. Кушелева-Безбородко, куда он был приглашен в каче-

* Эта статья в основном была написана в 1924 г. Указание на нее и цитата из найденного мною тогда неизданного письма Аполлона Григорьева к А. Н. Майкову, представляющего значительный интерес для характеристики идейных позиций критика, имеются в моей книге «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева» (1928, стр. 166).

стве соредактора журнала; но прошло не более полугода, как и эта работа закончилась неожиданным уходом его из редакции [7]. После этого критик делает попытку возобновить свои отношения с А. А. Краевским, редактором «Отечественных записок», но ничего значительного и здесь не получилось [8]. «Негде было писать — я стал писать в „Русском мире". Не сошлись»,— вспоминал впоследствии Ап. Григорьев в автобиографии и об этом несостоявшемся сотрудничестве [9]. К самому концу 1859 г. он начинает работать в редакции журнала «Сын отечества», руководимого А. В. Старчевским, но, по словам Ап. Григорьева, и «у Старчевского — не сошлись» [10]. Недолговечным оказалось сотрудничество со следующего, 1860 г., в журнале А. П. Милюкова «Светоч» [11]; в это же время критик приступает к редактированию переданного ему «Драматического сборника», но и эта работа длится недолго, так как Ап. Григорьев не замедлил продать его Стелловскому [12]. И, наконец, длительные переговоры с М. Н. Катковым относительно участия в «Русском вестнике» хотя и закончились соглашением, но там, как писал Ап. Григорьев, «...статей моих не печатали, а заставляли меня делать какие-то недоступные для меня выписки о воскресных школах» [13].

Все эти сплошные неудачи в усиленных поисках подходящего органа печати заставили его не только вспомнить, но и горячо приняться за осуществление давней мечты — возрождение «Москвитянина» под своей редакцией и за вербовку вокруг своего знамени деятелей бывшей «молодой редакции» журнала. К этому, до сих пор еще не выясненному вопросу биографии Ап. Григорьева и одному из моментов истории русской журналистики, относятся письма Ап. Григорьева к друзьям, впервые здесь появляющиеся в печати, переписка и записи в дневниках других участников этого дела, а также доселе неизданные материалы б. Главного управления цензуры, вместе с прошениями критика и планом издания журнала, лично им составленным, которые мне удалось выявить.

Шестнадцатилетнее издание «Москвитянина» закончилось полным развалом редакции; отсутствие материальных средств заставило М. П. Погодина выпустить последние книжки 1856 г. лишь в самом конце 1857 г. [14] Ап. Григорьев в последние годы существования «Москвитянина» не только руководил «молодой редакцией» [15], но и, судя по сохранившемуся условию с Погодиным и новой программе журнала, в случае продолжения этого издания, с 1857 г. должен был сделаться официальным его соредактором [16]. Нежелание Погодина субсидировать журнал [17], который приносил большой убыток, его безразличное отношение к дальнейшей судьбе «Москвитянина» заставили Ап. Григорьева пойти на переговоры с Погодиным о полной передаче журнала в его самостоятельное ведение. Результатом этих переговоров и явилось обращение Погодина 8 июня 1857 г. в Главное управление цензуры, в котором он просил «о дозволении поручить оную (редакцию „Москвитянина".—*И. З.*), в следующем 1858 году, учителю I Московской гимназии, коллежскому асессору Аполлону Александровичу Григорьеву» [18].

Прождав целый месяц и не получив никакого ответа на этот запрос, Ап. Григорьев решает ехать в Италию в качестве воспитателя кн. И. Ю. Трубецкого. В марте 1858 г. он случайно встречает во Флоренции своего друга со студенческой скамьи — поэта Я. П. Полонского, который был соредактором организуемого Г. А. Кушелевым-Безбородко журнала «Русское слово». Результатом знакомства Ап. Григорьева с Кушелевым, который тоже находился в то время во Флоренции, и явилось приглашение Ап. Григорьева быть официальным соредактором журнала, принятое критиком безоговорочно [19].

Спустя шесть месяцев со времени подачи прошения об издании «Москвитянина» под единоличной редакцией Ап. Григорьева, т. е. к самому концу 1857 г., на имя Погодина пришло разрешение Главного управления цензуры. Уведомленный об этом, вероятно, к началу следующего года, Ап. Григорьев все же не был уверен в будущем журнала; вот что он писал из Флоренции 9 января 1858 г. своему другу и ближайшему единомышленнику Е. Н. Эдельсону: «Я, срамясь или не срамясь, должен по возвращении издавать переданный мне „Москвитянин". Как я его буду издавать, я не знаю — но издавать буду» [20]. Когда же Ап. Григорьеву удалось не только заключить соглашение с Кушелевым о соредакторстве «Русского слова», но и полу-

чить у него порядочную сумму денег, желание возродить «Москвитянин» как будто совсем прошло: «По моему последнему письму вы видели, как мало я верю в наш журнал, и видели, вероятно, как основательно это неверие. Не с кем работать»,— пишет Ап. Григорьев 15 апреля 1858 г. Погодину. В том же письме он признается откровенно: «Провидение пришло ко мне на помощь в виде графа Кушелева-Безбородко ⟨...⟩ Кушелевского журнала средства безграничные. Редактором его по имени будет он сам, помощником, тоже только по имени, друг мой — поэт Полонский. Ergo без имени редактора я буду душою журнала. Стало быть, ничтоже сумняся, я предложение его принял, тем более, что мною написанное здесь, а в этом написанном, со свойственной мне резкостью и безобразием, приведено все, что я передумал, принято им безоговорочно и даже куплено... Тут мне будет полная свобода, и „болото велико — чертей много будет", то есть бездна денег — сотрудники найдутся» [21].

Как уже было сказано, с начала 1859 г. Ап. Григорьев усиленно занимался делами журнала: «...Много работаю, еще больше хлопочу и отделываю много полезных, в лучшем и высшем смысле этого слова, дел...»,— пишет он Е. С. Протопоповой 28 января [22]. Действительно, активность Ап. Григорьева в это время велика; в каждой книжке журнала напечатаны его статьи, среди которых такие крупные и по своему значению и по размерам, как «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», «Несколько слов о законах и терминах органической критики», «И. С. Тургенев и его деятельность» и др.

Но проходит не более полугода, как неожиданно наступает конец его деятельности в «Русском слове»: «В июле 1859 года, в отъезд графа Кушелева, я не позволил г. Хмельницкому вымарать в моих статьях дорогие мне имена Хомякова, Киреевского, Аксакова, Погодина, Шевырева. Я был уволен от критики. Факт...»,— пишет позже в «Послужном списке» Ап. Григорьев [23]. Оставив журнал, Ап. Григорьев лишился не только единственного издания, где он в ту пору мог работать, но и своего единственного заработка [24].

С этого момента начинается полоса скитания Ап. Григорьева по редакциям разных журналов, но везде его сотрудничество было временным и случайным, вследствие упорного нежелания пожертвовать хотя бы «сотой долей того, что он купил жизнью мысли» [25]. «Отечественные записки», «Русский мир», «Сын отечества», «Светоч», «Драматический сборник», «Русский вестник»— вот далеко не полный список тех мимолетных или неосуществленных попыток сотрудничества и переговоров, которые пришлось вести Ап. Григорьеву в почти годичный промежуток времени со дня его ухода из «Русского слова» вплоть до того момента, пока, наконец, все эти неудачи не воскресили в нем давнего его желания — возродить «Москвитянин» под своей личной редакцией.

В апреле 1860 г., находясь в Москве, куда он приехал для переговоров с Катковым об участии в «Русском вестнике», и видя их не особенно благоприятные результаты, Ап. Григорьев пишет письмо Погодину, в котором просит назначить время для беседы, «до дела касающейся» [26]. Из-за отъезда Погодина в этом же месяце на Кавказ никакого соглашения между ними не было достигнуто [27]. Не без влияния бесед с Ап. Григорьевым Погодин пишет в день отъезда — 27 апреля — своему другу П. А. Вяземскому: «Воротясь, думаю опять приняться за живое дело. Надо возвысить голос нашему поколению и восстановить связь, прерванную сорванцами, забияками и всякой сволочью, с чистой струей Русской Словесности, порешить с анархией» [28].

По возвращении Погодина в сентябре в Москву, где его уже с июля ждал Ап. Григорьев, они пришли к окончательному решению вновь издавать «Москвитянин». Немного спустя к этому ими были привлечены критик Б. Н. Алмазов, друг Ап. Григорьева и один из активных сотрудников бывшей «молодой редакции» журнала, и профессор Б. И. Ордынский, друг Погодина, тогда начинавший свою деятельность. Они принимали большое участие в обсуждениях вопроса на квартире у Погодина. «Григорьев и Алмазов о возобновлении „Москвитянина". — Пристают. Почти решился...»,— гласит запись в дневнике Погодина под датой 28 сентября 1860 г. «Григорьев и Алмазов о журнале и настоящем положении литературы. Пристают о дея-

тельности...»,— записывает Погодин в дневнике 30 сентября. Изо дня в день, вероятно, тянутся беседы Ап. Григорьева с Погодиным о журнале; в дневнике последнего мы не раз в этот период встречаемся с короткими, лаконичными записями: «Григорьев о журнале» [29].

Наконец, результатом совещания у Погодина 11 октября, о котором в его дневнике записано: «О журнале с Григ⟨орьевым⟩, Алм⟨азовым⟩, Орд⟨ынским⟩. Решил просьбы. Думаю о статье» [30], явилось следующее прошение Ап. Григорьева в Московский цензурный комитет (публикуется впервые):

В Московский цензурный комитет
коллежского асессора Аполлона Александровича Григорьева

Прошение

Московский цензурный комитет отношением от 5-го ноября 1857 года за № 465 уведомил действительного статского советника Михаила Петровича Погодина, что Главное управление цензуры дозволило ему поручить редакцию журнала «Москвитянин» мне, Григорьеву.

Отсутствие мое и пребывание за границей и в Петербурге не дозволили мне ни в 1859, ни в настоящем, 1860-м году принять на себя переданную мне Михаилом Петровичем Погодиным редакцию журнала.

Ныне возвратясь в Москву и желая возобновить приостановленный, но не прекращавшийся журнал, прошу Комитет дозволить таковое возобновление «Москвитянина» под моей редакцией.

При сем имею честь приложить удостоверение действительного статского советника Погодина в передаче мне редакции и программу журнала, относительно которой считаю необходимым заметить, что отдел политических известий был разрешен «Москвитянину» предложением Московскому цензурному комитету г. министра народного просвещения от 15-го февраля 1856 года за № 263.

К сему прошению коллежский асессор Аполлон Александров сын Григорьев руку приложил.

Передачу издания коллежскому асессору Григорьеву сим подтверждаю. Действительный статский советник, академик Михаил П о г о д и н.

Жительство имею на Полянском рынке, в Западной гостинице, № 16.
1860-го года октября 12 дня

К прошению приложена программа предполагаемого журнала, о которой Ап. Григорьев упоминает выше. Вот ее содержание:

«Москвитянин»
Учено-литературный журнал
под редакцией Аполлона Григорьева.

Будет выходить еженедельно, нумерами от 2-х до 3-х листов, в три столбца четкой, но убористой печати. Цена в Москве и в Петербурге 6 руб., а с пересылкою 8 руб.

Дух и направление «Москвитянина» остаются неизменными. Своенародность — вот его цель. Почтение к истории и преданию вместе с сочувствием к правильному развитию и с желанием горячим и искренним успеха всякому благому начинанию — вот его начала. Противодействие всему ложному в литературе и в жизни было, есть и будет его непременною обязанностью. Пятнадцатилетнее издание «Москвитянина» с 1841 по 1856 год может служить достаточным подтверждением этой программы. Возобновляясь в 1861 году, «Москвитянин» твердо убежден, что в Москве, в сердце русской национальности, установится, наконец, несмотря на все препятствия, журнал, чуждый всех партий и неуклонно стремящийся быть органом своеобразного взгляда на жизнь, науку, искусство, историю.

Изменение внешнего вида и еженедельный выход дадут журналу большую против прежнего возможность удовлетворять всем законным требованиям современности.

«Москвитянин» будет заключать следующие отделы:

1. Наук — статьи, преимущественно исторического и политико-экономического содержания, разборы трудов и проч.

2. Словесности русской — оригинальные рассказы, повести, стихотворения.

3. Материалов — для истории русской, для истории словесности и для истории Москвы.

4. Критики — журналистика и библиография.

5. Внутренних известий.

6. Заграничных известий.

7. Ученых известий — преимущественно по части наук естественных.

8. Летописи — художественной, музыкальной и театральной.

9. Летописи промышленной.

10. Современной политики — новости политические из официальных и дозволенных источников, с более или менее краткими рассуждениями.

11. Фельетона, который будет заключать в себе летопись городской жизни обеих столиц.

12. Смеси. В этом отделе, возможно живом и разнообразном, помещены будут статьи обличительного содержания, юмористические рассказы и рисунки юмористического или типического содержания. Таковых рисунков помещаемо будет до шестнадцати в месяц.

Кроме того, «Москвитянин» даст в течение года двенадцать небольших томов, в двенадцатую долю, переводных романов и повестей, в выборе которых будем руководствоваться не новизною, а существенными достоинствами произведений иностранных литератур. Между ними будут помещаемы по временам и оригинальные рассказы.

Подписка принимается:

годовая — 7 р., с перес⟨ылкой⟩ 8 р.

полугодовая — 3 р. 50 к., с перес. 5 р. 50 к.

Лицам служащим могут быть сделаны рассрочки платежа с ручательством их ведомств и с вычетом из их месячного жалования.

Подписываться можно в конторе журнала и во всех книжных магазинах. Иногородние благоволят адресовать требования свои в Московский почтамт, который и отвечает за правильность и своевременность пересылки выходящих №№ журнала.

Редактор Аполлон Григорьев

Но Московский цензурный комитет, куда были направлены прошение вместе с этим планом издания журнала, не счел возможным самостоятельно решить вопрос о возобновлении «Москвитянина»; об этом свидетельствует следующая резолюция на прошении Ап. Григорьева: «Представить в Главное управление». Через три дня — 15 октября 1860 г. эти бумаги были препровождены туда при следующем отношении:

В Главное управление цензуры

Коллежский асессор Аполлон Александрович Григорьев вошел в Московский цензурный комитет с прошением о дозволении возобновить приостановленное издание журнала «Москвитянин», редакцию которого, порученную ему, с дозволения Главного управления цензуры, бывшим редактором академиком действительным статским советником Погодиным, он не мог принять до сих пор по отсутствию своему и пребыванию за границей и в С.-Петербурге.

Передача редакции «Москвитянина» г. Григорьеву была разрешена определением Главного управления цензуры, сообщенным Московскому цензурному комитету предложением от 24 октября 1857 года, за № 1878, а потому Цензурный комитет, принимая во внимание значительное время, в продолжение которого г. Григорьев не пользовался предоставленным ему правом издания журнала, долгом считает помянутое прошение его, вместе с программою возобновляемого им журнала, представить вновь на благоусмотрение Главного управления цензуры. Относительно упоминаемого в программе политического отдела, Комитет честь имеет объяснить, что о дозволении помещать в «Москвитянине» отдел политических известий, без всяких, впрочем, собственных рассуждений редакции, было сообщено Комитету предложением г. министра народного просвещения от 15 февраля 1856 года, за № 263.

Председатель Комитета сенатор, тайный советник М. Щербинин

Секретарь В. Федоров

Отправка ходатайства о возобновлении издания «Москвитянина» в Петербург заставила Ап. Григорьева прибегнуть не только к друзьям и знакомым с просьбами о содействии, но и просить помощи через их столичных влиятельных знакомых. И первым, вероятно, он обращается с этой просьбой к Погодину, результатом чего и явилось письмо последнего (очень характерное, между прочим, для него своей лаконичностью), написанное к П. А. Вяземскому, в то время занимавшему пост товарища министра народного просвещения и управляющего Главным комитетом по делам печати [31]:

«Просьба о возобновлении „Москвитянина" от имени Аполлона Григорьева пошла в Петербург на днях. Кланяемся о ходатайстве разрешения, совершенно удобного и законного, без дальнейших рассуждений, ибо „Москвитянин" не уничтожался, а только прерывался на неопределенное время, как и было заявлено.

Поспешите. Покорнейший М. Погодин

17 окт.»

Сохранились и письма самого Аполлона Григорьева к разным лицам с просьбами содействовать в получении разрешения на издание журнала. Так, в неописанной части архива П. А. Плетнева, хранящемся в Пушкинском Доме, я натолкнулся еще в 1924 г. на следующее письмо Ап. Григорьева к нему [32].

Ваше превосходительство, милостивый государь, Петр Александрович!

В прошлом году я обращался к вам с покорнейшей просьбой обратить на меня ваше милостивое внимание и помочь мне — содействием ли к определению меня на службу, другим ли чем-либо — сохранить в целости те убеждения, литературные и общественные, которыми я принадлежу гораздо более к пушкинской, чем к современной эпохе [33].

Храня как святыню свои убеждения, я во имя их осмеливаюсь вновь обратиться к вам по делу чисто литературному.

Михаил Петрович Погодин еще в 1857 году передал мне редакцию «Москвитянина», а ныне в 1860 году подтвердил эту передачу.

Московский цензурный комитет отнесся насчет возобновления журнала и допущения в нем политических известий — разрешенных, впрочем, «Москвитянину» в 1856 году — в Главное управление цензуры.

Ваше слово и ваш отзыв, без сомнения, могут иметь большой вес в этом деле. А что это дело честное, вы, смею надеяться, не сомневаетесь.

Я лично также не сомневаюсь в том, что, если вам будет возможность, — вы замолвите доброе слово в пользу честного дела.

Позвольте назваться вашего превосходительства усердным почитателем

Аполлон Григорьев

Москва 1860 г. Окт. 24.

В тот же день Ап. Григорьев пишет и другое письмо с тою же просьбою, в котором мы находим уже и его планы издания журнала в случае благоприятного разрешения вопроса. Адресовано оно поэту А. Н. Майкову, из архива которого, хранящегося также в Пушкинском Доме, оно было впервые извлечено мною. Это письмо, как мы уже говорили, очень четко отражает мировоззрение и литературные взгляды Ап. Григорьева того времени:

Москва.1860 г. Окт. 24

Вот я опять пишу к тебе, милый тезка, хоть от тебя еще ни строки на мое первое послание [34]; пишу потому, что никаким злокозниям не приписываю твоего молчания, потому что в тебе уверен, как в слишком немногих.

Ну, «jacta est alea» *. Мы, т. е. я и Погодин, поднимаем старое знамя. Программа «Москвитянина» под моей редакцией послана на прошлой неделе в Главное управление цензуры при такой бумаге здешнего Цензурного комитета, по которой гораздо труднее

* жребий брошен (*лат.*).

отказать, чем пропустить. Ежели ты можешь т а м что-либо, похлопочи. Дело по убеждениям — почти общее.

Явно, что это, с самого же начала, будет самая дерзкая борьба за поэзию, народность, идеализм против всякого социалистского и материалистского безобразия. Формы — долой. В настоящую минуту мы не имеем уже более нужды прикрывать себя ни официальным православием, ни тому подобным.

Рассчитываем мы не на барыши, а прямехонько на убыток — на год и даже на полтора... Издание — еженедельное: формат, разнообразие содержания и цена — «Сына отечества». Главный отдел, — конечно, критический и полемический — но будет и всякое забирательное, даже карикатуры (с язвой).

Может быть я сам на той неделе приеду звать лично к соучастию немногих совсем честных и одномыслящих людей: тебя (хоть к безыменному), Розенгейма, Н. Н. Страхова, смелого до наглости М. Загуляева, Мейку и... еще кого ты не укажешь ли? Деньги есть, e r g o плата будет не меньше «Сына». Батюшки! А Серова-то и забыл?

A propos, какие вы там «Искусства» затеяли? [35] Без ⟨...⟩ ое это или с ⟨...⟩ ами? Имя Дружинина, ярко сиявшее в объявлении, значительно говорит о без⟨...⟩ости,— но участие ж Серова показывает, что хоть одно ⟨...⟩есть.

На безымянное участие многих из вас (тебя, Фета, Тургенева) я надеюсь. Я, ей богу, никому не скажу, господа,— и вы можете с п о к о й н о уважать наружно Недо ⟨...⟩ ов с компанией. А между тем и вы, беззлобивые иногда (потихоньку, чтоб не проведали!) сообщите хорошую я з в у!

Вот они там и в «Свистке» и в «Искре» целые печатные листы глумятся над поэтами, под видом плохих (Крест⟨овский⟩, Куск⟨ов⟩), которыми не стоит заниматься, глумясь в сущности над лиризмом. А как это вот в такое д е л ь н о е время — то и дело, что появляются певцы и песни — и ведь не о квартальных, даже не о крестьянском вопросе, а все о том же, о чем испокон века пела душа человеческая!.. Недавно в глуши Замоскворечья отыскал я не бог знает какого, но с свеженьким талантом лирика, по прозванию Бабиков. Посылаю тебе на пробу три штуки (у него тетради — в коих бездна вздора), рекомендуя твоему вниманию в особенности первое. Тисни их куда-нибудь в приличное место для хода и для поощрения, если найдешь, что это недурно. Первое-то (песня), право, очень хорошо!

А что мой орленок [36]? Воротился ли и если воротился, то что делает? Почему не пишет ко мне? По гнусному эгоизму, что ли?.. И это ничего! Эгоизм — не мелочное самолюбьице.

Опамятуется ли Крестовский? Таланта лирического в нем нет: повести его пока — с о ч и н е н и е, т. е. вздор— но хоть хороший бы боец за честное дело из него вышел! Для этого нужно только отречься от самолюбьица и иметь веру.

Любезные друзья! «Антихрист народился» в виде материального прогресса, религии плоти и практичности, веры в человечество как в genus * — поймите это вы все, ознаменованные печатью христовой, печатью веры в душу, в безграничность жизни, в красоту, в типы — поймите, что даже (о ужас!!!) к церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам останется только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество. Поймите, что испокон века были два знамени. На одном написано: «Личность, стремление, свобода, искусство, бесконечность». На другом: «человечество (человечина, по остроумному переводу юродствующего Аскоченского), материальное благосостояние, однообразие, централизация» и т. д.

Твой А п о л л о н

А д р е с: А. А. Григорьеву, на Полянке, в приходе Спаса в Наливках (Якиманской части, V-го квартала) в собственном доме.

Но никакие хлопоты и содействия не помогли возрождению «Москвитянина». После месячного молчания Главное управление цензуры ответило отрицательно на

* в породу (*лат.*).

запрос Московского комитета цензуры [37]; в этом ответе Главное управление цензуры, ссылаясь на то, что раньше Ап. Григорьеву уже было разрешено редактировать другой журнал («Драматический сборник»), «не признало возможным дозволить г. Григорьеву издавать в одно и то же время другой журнал в Москве». Вот текст сохранившегося черновика этого ответа 16 ноября 1860 г.:

Московскому цензурному комитету

Московский ценз⟨урный⟩ комитет от 15-го истекшего октября за № 766 вошел в Главное управление цензуры с представлением об испрашиваемом коллежским асессором Аполлоном Григорьевым дозволения возобновить приостановленное издание журнала «Москвитянин».

Главное управление цензуры, имея в виду, что в мае сего года разрешено уже г. Григорьеву принять на себя от г. Раппопорта редакцию выходящего в С.-Петербурге журнала «Драматический сборник» и издавать оный под названием «Драматическая библиотека», не признало возможным дозволить г. Григорьеву издавать в одно и то же время другой журнал в Москве, в особенности с политическим отделом.

(подписал) Член Главн⟨ого⟩ упр⟨авления⟩ ценз⟨уры⟩ Н. Муханов
(Скрепил) Прав. дел Пр. Янкевич

Но действительные мотивы запрещения издания «Москвитянина» были совсем иными. Об этом красноречиво свидетельствует сохранившееся в архиве Погодина письмо к нему П. А. Вяземского из Петербурга 16 ноября 1860 г., явившееся ответом на приведенное выше письмо — просьбу Погодина о содействии в получении разрешения на издание журнала:

«Я сделал все, что умел и мог, чтобы вам угодить, но, к сожалению, я ничего не мог сделать. Впрочем, сколько мне известно, и то, разумеется, останется м е ж д у н а м и, не „М о с к в и т я н и н“ встретил сопротивление, а предполагаемый редактор (Григорьев). Следовательно, спустя несколько времени, дело, по моему мнению, может быть возобновлено под другою фирмою» [38].

Так закончилась попытка Ап. Григорьева осуществить долгожданную мечту свою — иметь собственный журнал.

О том, в каких трудных житейских обстоятельствах находился тогда Ап. Григорьев, свидетельствуют его письмо к В. Ф. Одоевскому и записи в дневнике последнего об их встречах в конце того же 1860 г. (кстати сказать, все это осталось вне поля зрения исследователей Ап. Григорьева). Вот текст письма:

Князь Владимир Федорович!

Вы — один из немногих уцелевших литераторов Пушкинской эпохи, и этого для меня, человека, по убеждениям своим и взгляду на общественное развитие и искусство гораздо более принадлежащего к Пушкинской эпохе, чем к современной,— достаточно, чтобы я обратился к вам с просьбой о приеме и покровительстве.

Смею надеяться, что имя мое не вовсе вам безызвестно. О том, что я в нескольких критических статьях моих выражал мое искреннее уважение и жаркое сочувствие к вашему глубокому и уединенно стоящему таланту,— распространяться я не считаю нужным. Ни ваша личность, ни ваш талант не нуждается в суждениях.

Если вам будет угодно принять меня и выслушать, о чем именно я буду просить вас,— я ожидаю только вашего позволения, но обязан предупредить вас, что в настоящее время не могу явиться к вам даже в приличном костюме.

Позвольте назваться, князь, усердным почитателем вашим

Аполлон Г р и г о р ь е в

1860 г. Дек. 14 среда [39].

Встретившись с ним в тот же день, Одоевский записал в дневнике:

«Приходил ко мне литератор (не знаю, что он писал) Аполлон Александрович Григорьев, но в такой бедности, что жалко смотреть. На беду у меня всего до первого



Е. Т. ЖИХАРЕВА В РОЛИ НАСТАСЬИ ФИЛИППОВНЫ

Спектакль «Идиот» в театре Незлобина, Москва, 1913.

Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

числа было 30 рублей; я отдал ему половину, а уж как обернусь в эти две недели — не знаю» [40].

А на письме Ап. Григорьева Одоевский сделал такую заметку:

«Аполлон Александрович Григорьев приходил меня просить походатайствовать у Путяты, чтобы ему выдали жалованье и прогоны для проезда в Оренбург, где он получил место учителя в кадетском корпусе. Он в крайней бедности, почти без сапогов.

Он принес мне статью „Вопрос о народности и его естественные границы", написанную ужаснейшим почерком; но что я мог прочесть, то показалось мне весьма замечательным» [41].

15 декабря 1860 г. Одоевский внес в дневник такие строки:

«Писал Плетневу, чтобы дал мне какие-либо данные о Григорьеве и получил ответ ⟨...⟩ Встретил Григоровича, который сказывал мне, что Григорьев у всех занимает деньги без отдачи и переходит от журнала к другому» [42].

Письмо Одоевского к П. А. Плетневу сохранилось, и в нем говорится следующее:

«Вы приняли участие в судьбе Аполлона Александровича Григорьева. Я его вовсе не знаю ⟨...⟩ Он оставил у меня рукописную статью ⟨...⟩ весьма замечательную; есть в человеке и мысли, и славный язык, а между тем он умирает от голода» [43].

Дошло до наших дней и ответное письмо Плетнева, датированное тем же 15 декабря.

Сообщая, что генерал Путята известил его об имеющейся в кадетском Оренбургском корпусе вакансии учителя русской словесности и просил рекомендовать на эту должность «благонадежное лицо из кончивших курс студентов», Плетнев далее писал Одоевскому: «В это время приехал ко мне г-н Григорьев (Аполлон Александрович) и объявил, что, не имея теперь места, он желает отправиться в Оренбург.

Зная, что несколько лет печатал хорошие критические статьи в журналах и судит о литературе как опытный и талантливый литератор, я немедленно написал к генералу Путяте о предпочтении моем самому лучшему студенту человека, долго на практике изучавшего дело писателя и критики. Таким я по убеждению нахожу г. Григорьева» [44].

Весьма любопытна запись, внесенная Одоевским в дневник 18 декабря:

«Григорьев (мой откровенный разговор с ним). Я Григорьеву говорил откровенно, что удивляюсь, как он, человек даровитый, дошел до такой нищеты, намекнув о заблуждениях молодости и сказав ему как собрату по литературе, что на нем лежит тяжкая ответственность как пред собою, и так пред людьми. Он принял мою откровенность хорошо; рассказал, что из „Русского слова“ он был вытеснен Хмельницким, что он случалось, пил по 9 дней сряду с горя, и на 10-й говорил — не буду пить, и не пил..., что по его направлению он ни в какой журнал идти со своими статьями не может, ибо хотя он и либеральный человек, но консерватор ⟨...⟩ Григорьев горько жаловался мне, что об нем дурно отозвались в „СПб. Ведомостях“» [45].

Следующая запись об Ап. Григорьеве датирована 27 декабря:

«Был у меня Григорьев — сказать, что его сажают в долговое отделение и потому нет ли ему надежды на определение на службу — и, говорит, запил с горя. Писал о нем к ⟨М. М.⟩ Достоевскому, чтобы как-нибудь вместе помочь» [46].

Заключает эти записи об Ап. Григорьеве в дневнике Одоевского та, что была сделана на следующий день — 28 декабря 1860 г.:

«Был у меня Михаил Михайлович Достоевский и толковали мы, как помочь Григорьеву. [Егор] Ковалевский мне сказывал сегодня, что тому два месяца, как ему из Общества литераторов выдали 500 р. Кн. Черкасский и Самарин мне сказывали, что он пьет жестоко, в чем сам Григорьев мне признавался, ссылаясь на свое горе. Да хоть бы и пил,— да человека-то даровитого жаль,— ведь у нас людьми не мосты мостить» [47].

Возможно, что именно эта встреча Одоевского с М. М. Достоевским в какой-то степени и определила на некоторое время дальнейшую судьбу Ап. Григорьева. То был самый бурный этап организации журнала «Время», задуманного к изданию с 1861 г. братьями Достоевскими. Еще 1 декабря 1860 г. было получено цензурное разрешение на выпуск первой — январской — книжки (газетное объявление о выходе этой книжки появилось 8 января). Правда, слоняясь тогда по городу в поисках денег, Ап. Григорьев приходил и в редакцию только что основанного журнала «Время», где, судя по гонорарной книге этого издания, получил 24 декабря 1860 г. аванс в сумме 20 рублей [48]. Но во время беседы с Одоевским 28 декабря М. М. Достоевский вполне мог придти к решению «помочь» Ап. Григорьеву предложением постоянно сотрудничать в новом журнале. Не исключено, что в этом решении привлечь талантливого критика к участию во «Времени» некоторую роль сыграло желание М. М. Достоевского выполнить просьбу Одоевского. Ведь у братьев Достоевских были все основания относиться к нему с чувством глубокого уважения не только как к одному из литературных соратников Пушкина и ближайшему сотруднику журнала «Современник», основанного великим поэтом; Одоевский, выражаясь языком Ап. Григорьева, оказывал «покровительство» молодому Ф. М. Достоевскому: «Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением»,— уведомлял 24-летний Ф. М. Достоевский брата 16 ноября 1845 г. [49]; 15 января 1846 г. вышел в свет «Петербургский сборник», в котором были напечатаны «Бедные люди» с эпиграфом из Одоевского, а 1 февраля того же года Ф. М. Достоевский сообщал брату: «Одоевски йпишет отдельную статью о „Бедных людях“» [50]. В тяжкую годину своей жизни, пребывая в чине унтер-офицера в Семипалатинске, Ф. М. Достоевский, информируя 13 января 1856 г. брата о том, кому он отправил письма, сообщал: «...и князю Одоевскому. Я прошу князя содействовать [моей просьбе], когда я буду хлопотать о позволении печатать» [51]. Было это всего за пять лет до того, как Ап. Григорьев послал Одоевскому письмо «с просьбою о приеме и покровительстве», и в тот же день пришел к нему.

Вполне возможно, что во время разговора 28 декабря 1860 г. с М. М. Достоевским Одоевский похвалил статью Ап. Григорьева, которую тот дал ему прочитать

в рукописи и о которой Одоевский писал Плетневу как о «весьма замечательной». В конце декабря братья Достоевские были, конечно, заняты подготовкой второй книжки журнала «Время». И они включили в нее ту самую статью Ап. Григорьева, дав ей название «Народность и литература» (цензурное разрешение этой книжки 9 февраля 1861 г., а объявление о ее выходе появилось в газетах 11 февраля). Всего же с февраля по май 1861 г. в журнале «Время» было напечатано свыше десяти статей критика. Но из-за разногласий с редакторами журнала Ап. Григорьев летом того же года переехал в Оренбург.

Глубоко был прав Ф. М. Достоевский, сказавший: «Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если бы у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания» (XII, стр. 353).

Однако конфликт с редакцией «Времени» объясняется не только свойствами характера Ап. Григорьева. В письме к Майкову отчетливо видно и то, что соединяло Ап. Григорьева с Достоевским («самая дерзкая борьба за поэзию, народность, идеализм»), и то, что их решительно разъединяло: Достоевский в начале 1860-х годов относился к материализму и социализму, к журналу «Современник» с глубоким интересом, вел серьезную полемику с Чернышевским и с Добролюбовым, ясно понимая, что речь идет о самых значительных проблемах эпохи. Это не было похоже на безапелляционное отрицание идеи материального прогресса («антихрист народился») и социальной утопии Чернышевского, которое мы находим у Григорьева. Так, в этом программном документе, относящемся еще к периоду до начала сотрудничества Ап. Григорьева в журнале «Время», содержится выразительная характеристика его взглядов, которая многое объясняет в разногласиях, возникших у критика с редакцией журнала братьев Достоевских в середине 1861 г.[52]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии». Под ред. Влад. Княжнина. Изд. Пушкинского Дома при Академии наук. Пг., 1917, стр. 278, 286; см. также стр. 267, 274—275, 283, 285, 290 (далее: «А. А. Григорьев. Материалы для биографии»).

[2] В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972, стр. 62.

[3] Н. П. Колюпанов. Биография Ал. Ив. Кошелева (1837—1856 гг.). М., 1892, т. II, стр. 259—267; здесь опубликовано письмо Ап. Григорьева к А. И. Кошелеву 25 марта 1856 г., в котором подробно перечислены условия, на которых критик соглашался принять работу в журнале,— они доходили вплоть до того, что Ап. Григорьев требовал: «Имя мое — вместе ли с вашим или другим именем, но должно быть на журнале» (см. также «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 152). В «Русской беседе» была напечатана лишь одна статья Ап. Григорьева — «О правде и искренности в искусстве», в третьей книге, стр. 1—16.

[4] С. П. Мельгунов. Ап. Григорьев и «Современник». (Материалы для истории журналистики).— «Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 134; здесь впервые опубликовано извлеченное из архива В. П. Боткина письмо к нему Ап. Григорьева, в котором критик пространно излагал не только свои условия, но и свои общественные и литературные воззрения; ср. В. Е. Евгеньев-Максимов. Н. А. Некрасов и люди 40-х годов.— «Голос минувшего», 1916, № 10, стр. 92—93.

[5] «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 154—164; здесь опубликованы письма Ап. Григорьева к А. В. Дружинину, проливающие свет на историю их кратковременных отношений; записи о встречах Аполлона Григорьева и Дружинина в 1856 г. пока еще не изданных, хранят в себе дневники А. В. Дружинина, находящиеся в ЦГАЛИ.

[6] Превосходно обрисована личность Ап. Григорьева в период пребывания за границей и после возвращения его в Россию в статье А. А. Блока «Судьба Аполлона Григорьева».— В кн.: «Стихотворения Аполлона Григорьева. Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок». М., 1916, стр. XX—X; ср. З. Н. Гиппиус. Судьба Аполлона Григорьева.— Сб. «Огни». Ред. Е. А. Ляцкого, Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Пг., 1916, кн. 1, стр. 261—279.

[7] Аполлон Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества. С послесл. и примеч. Павла Сухотина. М., 1915, стр. 220—221; июньская книжка «Русского слова» (цензурное разрешение 13 июня) в последний раз вышла с подписями трех редакторов, т. е. Кушелева, Полонского, Григорьева.

[8] Сохранилось письмо Ап. Григорьева к А. А. Краевскому 3 июня 1859 г., в котором критик предлагал «работою оригинальною или переводною» уплатить сперва старый денежный долг; см. «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 244. Лишь в следующем году Ап. Григорьев напечатал в «Отечественных записках» статью «Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны».

[9] Ап. Григорьев. Краткий послужной список в память моим старым и новым друзьям.— Там же, стр. 307.

[10] Там же, стр. 307.

В архиве А. В. Старчевского, поступившем в Пушкинский Дом в составе известного собрания П. Я. Дашкова, сохранилось не известное в печати письмо Ап. Григорьева 14 ноября 1858 г., свидетельствующее об одной из его попыток завязать отношения с А. В. Старчевским; в «Сыне отечества» Ап. Григорьев поместил лишь статью «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности», имеющую автобиографическое значение.

[11] А. П. Милюков. А. А. Григорьев и Л. А. Мей.— «Исторический вестник», 1883, № 1, стр. 98—109; ср. А. П. Милюков. Литературные встречи и знакомства. Пб., 1890.

[12] В архиве б. Главного управления цензуры (ныне Центральный государственный исторический архив, Ленинград) хранится неизданное «Дело по представлению С.-Петербургского цензурного комитета о разрешении редактору журнала „Драматический сборник" Раппопорту передать редакцию сего журнала асессору Григорьеву. № 208. Начато апреля 27 дня 1860 года. Окончено мая 26 дня 1860 года».

[13] Аполлон Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества, стр. 221.

[14] Дата цензурного разрешения последней книжки журнала за 1856 г.— 6 октября 1857 г.: ср. «Москвитянин». Учено-литературный журнал. М., 1856, т. IV, № 13—16.

[15] Об Ап. Григорьеве как о руководителе «молодой редакции», см.: С. А. Венгеров. Молодая редакция «Москвитянина».— «Вестник Европы», 1886, № 1, стр. 581—612; Б. Б. Глинский. Раздвоившаяся редакция «Москвитянина».— «Исторический вестник», 1897, № 4, стр. 233—261 и № 5, стр. 537—573; Аполлон Григорьев. Полное собрание сочинений и писем. Под ред. Василия Спиридонова. Со статьями С. А. Венгерова и В. А. Григорьева. Пг., 1918 т. I, стр. XCI — XCIV; «История русской критики», т. I, 1958. Статья У. А. Гуральника.

[16] Условие и программа этого предполагавшегося издания «Москвитянина» под общей редакцией М. П. Погодина и Ап. Григорьева сохранились в архиве Погодина и напечатаны в изд.: Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Пб., 1904, кн. XIV, стр. 363—365; перепечатано в кн. «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 312—314.

[17] Впоследствии Ап. Григорьев писал в «Кратком... списке»: «„Москвитянин" падал от адской скупости редактора (Погодина.— *И. З.*)». — Там же, стр. 306.

[18] Это прошение находится в «Деле по представлению д‹ействительного› с‹татского› с‹оветника› Погодина о передаче редакции журнала „Москвитянин" на 1858 г. коллежскому асессору Григорьеву»; напечатано там же, стр. 334—335.

[19] В оном из позднейших писем Я. П. Полонского к А. А. Фету сохранилось следующее свидетельство: «Григорьева я когда-то разыскал во Флоренции и привел его к графу Кушелеву-Безбородко с тем, чтобы тот пригласил его в сотрудники „Русского слова". При мне читал он свое „Море" и запродал его в наш тогдашний журнал, получив порядочный задаток, т. е. такую горсточку червонцев, что он мог, распростившись с уроками, прокатить вслед за нами в Париж. В Париже он стал зело выпивать и говорил мне, что во что бы то ни стало хочет допиться до адской девы. Прокутившись, он занял у меня тоже около 20 червонцев»; письмо это — от ноября 1889 г.— полностью не издано и извлечено мною из архива Я. П. Полонского, хранящемся в Пушкинском Доме. Отрывок из этого письма — в книге «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 339—340.

[20] Там же, стр. 232.

[21] Там же, стр. 231—232.

[22] Там же, стр. 239.

[23] Еще до этого у Аполлона Григорьева произошла ссора с другим членом редакции, Я. П. Полонским, о чем мы узнаем из цитированного выше письма последнего к А. А. Фету: «Затем он прибыл в Петербург и, сделавшись присяжным критиком „Русского слова", вытеснил меня из редакции за то, что я в одной из критических статей его сделал отметку такого места, которого ни я не мог понять, ни те, кому я читал это место. Это начало статьи о 2-м томе „Русской истории" Соловьева, которая начинается словами: „Русский народ переживает двойную формулу" ‹...› и затем немалое количество иностранных слов, избегать которых я, в качестве соредактора обещался в объявлении о выходе в свет нашего журнала ‹...› Я отказался от редакции, и вместо меня появился некто Хмельницкий, рекомендованный графу Григорьевым ‹. .› Личность темная и в литературе совершенно неизвестная».

[24] «Отовсюду так и несет кружковым иерейством ‹...›, по прелестному выражению Ап. Григорьева, также павшего, ибо от журнала Кушелева он уже отстранен...».—

писал 12 декабря того же 1859 г. из Петербурга И. И. Панаев к М. Н. Лонгинову; см. Н. В. Яковлев. Письма И. И. Панаева к М. Н. Лонгинову.— «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год». Пг., 1922, стр. 232.

О материальном положении Ап. Григорьева после его ухода из редакции «Русского слова» красноречиво свидетельствуют следующие строки письма И. Ф. Горбунова к А. Н. Островскому из Петербурга 3 октября 1859 г.: «Григорьев в отвратительном положении. Кушелев написал ему письмо, в котором было сказано, чтобы он подчинился во всем Хмельницкому. Григорьев отказался, и какими средствами живет — не знаю. Хмельницкий вооружил всех его кредиторов, и теперь бог знает, что будет. Он, по-видимому, весел, но я не думаю, чтобы у него все кончилось благополучно».— Г. П. Ш⟨еремет⟩ев. Материалы для биографии И. Ф. Горбунова, в изд.: И. Ф. Горбунов. Собрание сочинений. Пб., 1907, т. III, стр 538. К этому же периоду жизни Ап. Григорьева относится и его письмо к Е. Н. Эдельсону, рисующее тяжелое душевное состояние критика.— См. В. Н. Княжнин. Ап. А. Григорьев — «Литературная мысль», 1923, № 2, стр. 145—148.

[25] См. заметку В. С. Спиридонова в кн.: «Путеводитель по выставке в память столетия со дня рождения Ап. Григорьева в залах Пушкинского Дома». Пг., 1922, стр. 21.

[26] «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 256—258.

[27] Вместо возрождения «Москвитянина» Погодин решил начать издание газеты. Вот что писал ему С. П. Шевырев 7 октября 1860 г., по дороге из Москвы во Флоренцию: «...Много думал я о газете, последней мысли и последнем слове, на котором мы расстались».— М. П. Погодин. Воспоминания о С. П. Шевыреве. М., 1869, стр. 30.— Но в дальнейшем ему пришлось отказаться от издания газеты, так как А. И. Кушелев, к которому Погодин обратился за помощью, не захотел субсидировать газету в случае приглашения Ап. Григорьева в состав ее редакции: «Вполне сознаю необходимость в газете и готов ее всячески поддержать. Только не вздумайте пожаловать в редакторы Аполлона Григорьева или иного нелепого человека»,— писал А. И. Кушелев Погодину.— Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Пб., 1904, кн. XVIII, стр. 444. Кроме того, Ап. Григорьев был против издания газеты (см «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 265).

[28] Н. П. Барсуков. Письма М. П. Погодина, С. П. Шевырева и М. А. Максимовича к князю П. А. Вяземскому.— «Старина и новизна». Исторический сборник, издаваемый при Обществе ревнителей русского исторического просвещения. Пб., 1909, т. IV, стр. 66.

[29] Дневники М. П. Погодина, большая часть которых еще не издана, хранятся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина; выдержки из них цит. мною по подлинникам. Ср. «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 391.

[30] В погодинском архиве хранится черновой набросок этой статьи начинавшейся словами: «Как бы вы думали, о чем я хочу написать статейку? О „Москвитянине"!»; текст ее см.: Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Пб., 1904, кн. XVIII, стр. 432—433.

[31] Н. П. Барсуков. Письма М. П. Погодина... к кн. П. А. Вяземскому.— «Старина и новизна», т. IV, стр. 52; здесь это письмо неправильно датировано 1855 г. Кроме самого содержания письма, прямое подтверждение нашей датировки мы находим в дневнике М. П. Погодина, куда 18 октября 1860 г. (на следующий день после написания письма) была внесена следующая запись (неиздана): «К Вяз⟨емскому⟩ о Моск⟨витянине⟩»; неправильно это письмо датировал 1855 г. и В. Н. Княжнин в изд. «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», стр. 384.

[32] Ценный архив П. А. Плетнева, еще в дореволюционные годы поступавший в Пушкинский Дом частями в течение ряда лет, до сих пор в печати описан далеко не полностью.— Б. Л. Модзалевский. Список рукописей и некоторых других предметов, принадлежащих Пушкинскому Дому.— «Известия Академии наук», VI серия. Пб., 1911; «Временник Пушкинского Дома на 1914 г.» Пг., 1915.

[33] Лишь недавно письмо это, датированное 13 октября 1859 г., опубликовал А. П. Марчик в заметке «Неизвестные письма Ап. Григорьева».— «Вопросы литературы», 1965, № 7, стр. 254—255. Там же приведено и письмо к Плетневу 24 октября 1860 г.

[34] В архиве А. Н. Майкова это письмо не сохранилось и в печати оно неизвестно.

[35] «Искусства». Журнал театра, музыки, живописи, скульптуры, архитектуры и словесности. Выходил два раза в месяц с сентября по декабрь 1860 г. (всего шесть номеров).

[36] Речь идет о К. К. Случевском; см. выше, стр. 402—403.

[37] Прошение Ап. Григорьева с просьбой о возобновлении журнала, план издания журнала, отношение Московского цензурного комитета и резолюция по этому поводу Главного цензурного комитета извлечены из «Дела Главного управления цензуры по представлению Московского цензурного комитета об испрашиваемом коллежским асессором Григорьевым дозволения возобновить приостановленное издание журнала „Москвитянин". Начато октября 21 дня 1860 года. Окончено ноября 16 дня 1860 года, № 412» — Архив Главного цензурного комитета ныне хранится в Центральном государственном историческом архиве (Ленинград).

[38] Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Пб., 1904, кн. XVIII, стр. 432.

[39] «Текущая хроника и особые происшествия». Дневник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг — «Лит. наследство», т. 22-24, 1935, стр. 268.

В «Библиографии опубликованных писем Ап Григорьева», составленной Б. Ф. Егоровым, нет указания на эту публикацию письма Ап Григорьева к Одоевскому (см. Б. Ф. Егоров. Аполлон Григорьев — критик. — «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», 1960, вып. 98, стр. 246 («Труды по русской и славянской филологии». III).

[40] «Текущая хроника и особые происшествия». Дневник В. Ф. Одоевского.— Там же, стр. 119—120.

[41] Там же, стр. 268.

[42] Там же, стр 120

[43] А. П. Марчик. Неизвестные письма Ап Григорьева.— «Вопросы литературы», 1965, № 7, стр. 256.

[44] «Текущая хроника и особые происшествия». Дневник В. Ф. Одоевского-— Там же, стр. 268—269.

[45] Там же, стр. 121.

[46] Там же, стр. 122.

[47] Там же, стр. 123.

[48] В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» 1861—1863, стр. 56.

[49] «Письма», I, стр. 84.

[50] Там же, стр. 86.

[51] «Письма», II, стр. 564.

[52] Наследие Аполлона Григорьева привлекает в последние годы все более пристальное внимание советских литературоведов. См.: Ап. Григорьев. Избранные произведения (Большая серия «Библиотеки поэта»). Вступ. статья П. П. Громова, примеч. Б. О. Костелянца. Л., 1959; Ап. Григорьев. Литературная критика. Составление, вступ. статья и примеч. Б. Ф. Егорова. М., 1967; У. А. Гуральник. Ап. Григорьев-критик.— «История русской критики», т. I. М.— Л., 1958; Он же. «Ф. М. Достоевский в литературно-эстетической борьбе 60-х годов».— Сборник статей «Творчество Ф. М. Достоевского». М., 1959; Он же. Достоевский, славянофилы и «почвенничество».— Сборник статей «Достоевский — художник и мыслитель». М., 1972.

РАЗЫСКАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ

Сообщения Г. Ф. Коган

I. ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ» И РЕВОЛЮЦИОННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО 1860-х ГОДОВ

Появление Достоевского в Петербурге после долгих лет каторги и солдатчины было восторженно встречено революционной молодежью.«...В нем чтили недавнего страдальца», каторгой поплатившегося за свои убеждения,— вспоминает один из участников революционного движения 1860-х годов[1]. По свидетельству современников, студенческая молодежь «так же горячо, как и Некрасова»[2] принимала Достоевского на литературных вечерах. По просьбе молодежи «прямо ради демонстрации»[3] Достоевский читал отрывки из «Записок из Мертвого дома». «Тогдашний Достоевский еще считался чуть не революционером» [4],— писал П. Д. Боборыкин. В авторе романа «Униженные и оскорбленные», открывавшем в 1861 г. первый номер журнала «Время», современники видели «борца за общественную правду и обличителя всего того, что давило в России всякую свободу и тушило каждый лишний луч света» [5]. С чтением отрывков из своих романов Достоевский выступал и в Петербурге, и в Москве. Его имя, наряду с именами Чернышевского, Некрасова, В. Курочкина, упоминается не раз в петербургских и московских афишах [6] и в агентурных донесениях III Отделения о наблюдении за литературными чтениями. Так, в одном из донесений о вечере, устроенном 10 апреля 1863 г. в Петербурге в зале Благородного собрания студентами Медико-хирургической академии, указывалось, что Достоевский «вместо назначенной 9-й главы из „Мертвого дома" прочел очерк семейной жизни французской буржуазии» («Зимние заметки о летних впечатлениях») [7]. Достоевского приглашали на вечера в пользу воскресных школ, являвшихся в начале 1860-х годов первыми очагами революционной деятельности молодежи, и на вечера, собиравшие средства для «недостаточных студентов» и сосланных революционеров. В частности Достоевский принимал участие в вечере в пользу сосланного в Сибирь поэта-революционера М. Л. Михайлова. Этот вечер, по составу участников его, был воспринят современниками «как бы выставкой всех передовых, прогрессивных, литературных сил» [8].

Характерным явлением 1860-х годов были кружки студенческой молодежи, которые участники революционного движения называли «настоящей школой общественности» [9]. Достоевский мог знать о студенческих собраниях из рассказов своих друзей. Заметную роль в студенческой среде играли сестры Сусловы, числившиеся III Отделением среди девиц «известных под именем стриженых» и «принадлежавших к партии нигилистов» [10]. Страхов мог рассказать Достоевскому об устроенной им на своей квартире «последней пирушке в честь высылаемых студентов» [11], когда провожали в ссылку участника студенческого движения М.П. Покровского. (Ему Достоевский передаст через Е. А. Штакеншнейдер в 1870-е годы привет, узнав о его возвращении из ссылки и возобновит с ним знакомство [12].) Студенческие вечера устраивались и у первой слушательницы Петербургского университета Е. И. Корсини, где «собирался более тесный кружок, связанный очень близкими дружескими отношениями и даже сердечными привязанностями» [13]. Здесь бывали П. И. Боков, М. А. Обручева. Сохранилось письмо Корсини к Достоевскому, свидетельствующее о внимании и доверии революционного студенчества к бывшему петрашевцу. Корсини рекомендует Достоевскому популярного в кругу Чернышевского молодого врача П. И. Бокова [14]. Весьма вероятно, что популярный среди молодежи автор «Записок из Мертвого дома», один из немногих петрашевцев, вернувшихся в начале 1860-х годов в Петербург, сам не раз бывал почетным гостем студенческих собраний и ему был хорошо знаком «шум и оживленный говор большого собрания...» «человек в пятнадцать» [15], где, как когда-то в годы его юности, «чуть

не дрались», горячо и страстно споря «о социализме», о «провозвестниках новой истины», о «полезной деятельности», призывая друг друга немедленно «разрешить вопрос» [16]. Несомненно, об этом общении со студенческой средой в начале 1860-х годов вспоминал Достоевский в 1866 г. в письме к М. Н. Каткову: «... Все эти гимназистики, студентики, которых я так много видал, так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы!» [17].

Представители студенческого движения печатались и в журнале «Время» (П. Ткачев, К. Сунгуров, А. Суслова, В. Острогорский и др.). По свидетельству сотрудничавшего в журнале Достоевских М. И. Семевского, Капитон Сунгуров обратил на себя внимание Достоевского как человек в высшей степени способный. Изгнанный из университета за участие в студенческих волнениях, Сунгуров был устроен им корректором в журнале «Время». «Корректор у нас очень хороший, один студент, знает свое дело хорошо» [18],— писал о нем Достоевский, которого связывали с Сунгуровым не только служебные отношения, о чем свидетельствуют некоторые страницы «Преступления и наказания».

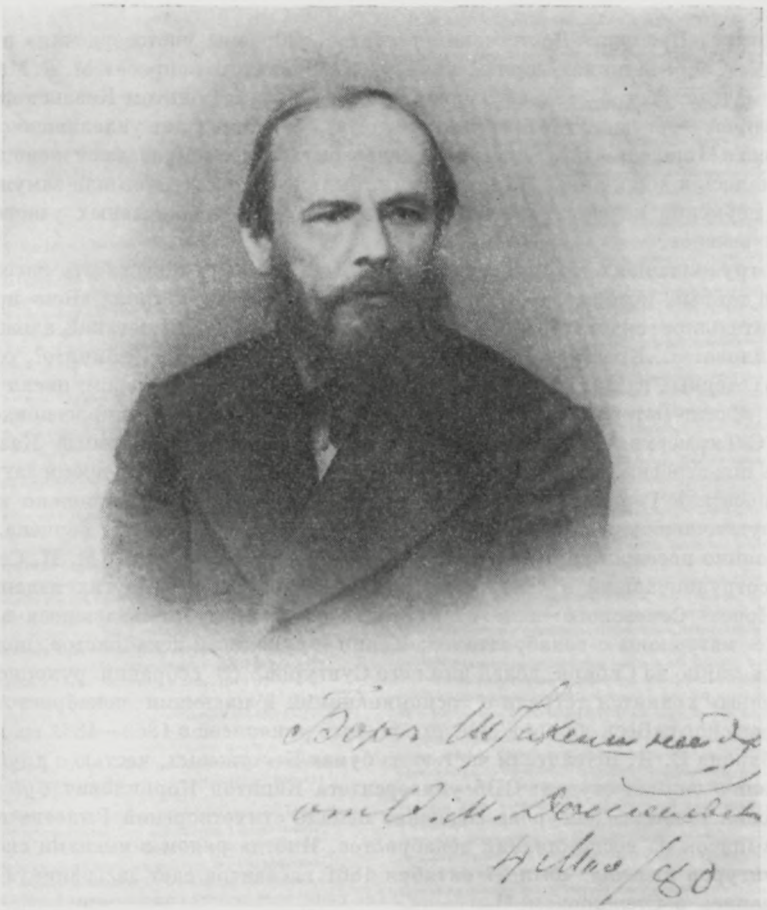
Так, воспоминания Родиона Раскольникова о бедной девушке, в которую он был влюблен, близки к дневниковым записям Сунгурова. «А помните, маменька, я влюблен-то был... Она больная такая девочка была... Право, не знаю, за что я к ней тогда привязался, кажется, за то, что всегда больная...» [19],— говорит Раскольников в беседе с матерью после трехлетней разлуки. «От Д〈остоевского〉 зашел к старым хозяевам 〈...〉 Наденька больна... Больна! Недаром я продумал о ней целый день четвертого дня 〈...〉 Сижу за лекциями, в голову почти ничего не лезет. Голова слишком занята Наденькой и статьей....»,— писал К. Сунгуров в своей записной книжке [20].

Как и Сунгуров, Раскольников будет навещать свою прежнюю квартирную хозяйку, где жила больная девушка, «...Бывшая квартирная хозяйка его, мать умершей невесты его», даст показания, смягчающие ему наказание. И хозяйка, и доктор Зосимов, и прежние товарищи Раскольникова «заявят» о «давнишнем ипохондрическом», «болезненном и бедном состоянии преступника» (Сунгуров умер в 1866 г. в психиатрической больнице Петропавловской крепости.) Хозяйка последней квартиры, где жил Сунгуров, рассказывала:

«Сунгуров 〈...〉 постоянно занимался письмом, иногда посещали его господа Баканин и Достоевский» [21]. Анатолий Иванович Баканин, близкий товарищ Сунгурова еще по Казани, по гимназии и университету (Сунгуров в 1859 г. был исключен из Казанского университета за участие в студенческих демонстрациях и перевелся вольнослушателем в Петербургский университет), был постоянным сотрудником журнала «Время». Его имя часто упоминается в записной книжке Достоевского 1860—1862 гг. среди записей, связанных с редактированием журнала, и в гонорарных ведомостях [22]. Баканин печатал на страницах «Времени» очерки из старых уголовных дел, особенно интересовавших Достоевского накануне реформы 1864 г. [23] Молодой врач Бакавин в записной тетради Достоевского к роману «Преступление и наказание», часто посещающий больного студента, это, несомненно, прототип А. И. Баканина, «врача здешнего физиката», почти ежедневно встречавшегося с К. Сунгуровым [24]. «Молодец Бакавин знатно полечивает...» [25]. У Бакавина в черновиках романа даже внешний облик Баканина — черные волосы, черная борода, черные глаза. В окончательном тексте романа врач, близкий по своим убеждениям к кругу студентов 60-х годов, «семинаристов», получит фамилию от имени, распространенного среди духовного сословия,— Зосимов, и внешний облик его изменится, он будет напоминать иногда Бокова, но более всего доктора И. М. Сеченова, особенно популярного среди передового студенчества.

О своих посещениях вместе с Баканиным больного и угрюмого Сунгурова мог вспомнить Достоевский и при описании жалкой каморки «задавленного бедностью» Раскольникова. Сунгуров жил недалеко от редакции журнала «Время».

Сунгуров после изгнания его из Петербургского университета, где он «слушал науки по юридическому факультету», был «занят статьей» [26] и писал небольшие заметки, печатавшиеся в журнале «Время». «В юристы готовившийся» Раскольников также пишет статью «О преступлении» в ту пору, «когда из университета вышел». «Во мнении некоторых профессоров я стою на видном месте как человек трудолюбивый,



ДОСТОЕВСКИЙ

Фотография Н. Досса, 1876, Петербург, с дарственной надписью Достоевского сыну В. А. Штакеншнейдера: «Боре Штакеншнейдеру от Ф. М. Достоевского 4 мая/80»
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

дельный, подающий порядочные надежды»,— писал Сунгуров в дневнике [27]. Несомненно, одним из этих профессоров был А. П. Щапов, находившийся в то время в Петербурге. Он бывал у Сунгурова на Средней Мещанской, Сунгуров навещал Щапова в петербургской больнице [28]. Изгнанный из Казани, лишенный университетской кафедры, крамольный профессор, земляк Баканина и Сунгурова, также сотрудничал в журнале «Время». Здесь, как известно, печаталась знаменитая статья Щапова «Земство и раскол. Бегуны» («Время», 1862, № 10, 11). Со статьями о расколе на страницах журнала Достоевских выступал близкий друг Щапова, кандидат Казанской духовной академии, также причастный к революционному движению 1860-х годов, Николай Аристов. Его имя упоминается Сунгуровым в записной книжке, в списках его друзей. Как видим, при журнале «Время» образовалась небольшая группировка казанского землячества (Аристов, Баканин, Сунгуров, Щапов), связанная через Сунгурова с революционным студенчеством. (Таким образом, III Отделению не удалось прервать все связи со студенческой средой популярного среди передовой молодежи профессора Щапова, несмотря на строжайший над ним надзор [29].)

В среде петербургского студенчества и особенно казанского землячества сочувственное признание получило выступление Достоевского в защиту Толмачевой в связи с нашумевшей в 1861 г. историей о публичном чтении ею «Египетских ночей» Пушкина.

На страницах «Времени» Достоевский в статье «Образцы чистосердечия» поддержал сотрудника «Современника», горячего поборника «женского вопроса», М. Л. Михайлова. Е. Э. Толмачева, сестра братьев Эверисман (один был адъюнктом Казанского университета, второй — студент того же университета), «с ранних лет увлекавшаяся теориями Прудона и Мишле и поставившая себе целью быть эмансипированной женщиной»[30],— как отмечалось в донесениях III Отделения, была в Перми (она вышла замуж за председателя пермской казенной палаты Толмачева) одной из активных участниц литературных вечеров.

От сотрудничавших в журнале казанцев Достоевскому могли быть известны и те «пермские тайны», которые, как он отмечал в своей статье, журнал «Век» представил в «отвратительном виде» (позднее намек на эти «тайны» Достоевский вложит в уста Свидригайлова: «...Египетские-то ночи, чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза?...» О черных глазах Толмачевой, загоравшихся во время чтения, писал в напечатанной в «Санкт-Петербургских ведомостях» заметке пермский корреспондент Тиммерман). С Тиммерманом Толмачева, оставив мужа, уехала из Перми в Казань, где оказалась под строгим надзором полиции [31]. В 1861 г. Толмачева во время заграничной поездки посетила Герцена. Об этом, несомненно, было известно не только казанцам, но и сотрудничавшим в журнале «Время» тайным корреспондентам Герцена.

Постоянно посещал корректора журнала «Время» Сунгурова М. И. Семевский, активно сотрудничавший в «Полярной звезде», «Колоколе» и других изданиях Герцена [32], Через Семевского шли из России в Лондон публиковавшиеся в «Полярной звезде» материалы о декабристах [33]. Копии с рукописей декабристов, полученных Семевским тайно из Сибири, делал для него Сунгуров. (В собрании рукописей «Русской старины» хранится тетрадь с воспоминаниями и письмами декабристов, с надписью Семевского:«Весь сборник списан с разных рукописей в 1860—1861 гг., полученных от барона В. И. Штейнгеля частью из бумаг Бестужевых, частью с других рукописей. Копию снимал студент СПб университета Капитон Корнилович *Сунгуров*» [34].)

Записная книжка Сунгурова содержит немало стихотворений Рылеева и А. Бестужева, выписок из воспоминаний декабристов. Иногда рядом с именами своих товарищей Сунгуров отмечал: «был 27 октября 1861 г., завтра едет за границу» (см., например, запись о Стежинском) [35].

В августе 1860 г. III Отделением было перехвачено письмо к Баканину из Вятки от врача П. С. Сунцова, просившего переправить к Герцену написанную одним вятским врачом статью о положении врачей в России. Понимая, что эта статья, где «вся правда описана в самом горьком виде», не может быть напечатана в России, Сунцов обращается за содействием к Баканину как человеку, о связях которого с Герценом было известно в кругу передовых людей провинций. Сунцов пишет Баканину об интересе вятской интеллигенции к изданиям Герцена, о проникающих в Вятку номерах «Колокола» [36]. Имя и адрес Сунцова упоминается в записной книжке Сунгурова, в составленном им списке тех, кому он собирался дарить оттиски статей из журнала «Время» [37]. Сунгуров оставлял у себя оттиски не пропущенных цензурою статей, делал выписки запрещенных мест. Как корректор он обязан был сверять, все ли указания цензуры выполнялись в последней корректуре и посылал Достоевскому вторую корректуру со сводкой всех не разрешенных цензурою мест[38]. Однако выписки, сделанные Сунгуровым, очень далеки от обычных сводок корректора. В записной книжке эти выписки находятся рядом с записями революционных студенческих песен, прокламаций (например, «Великорусс» № 3, «Что надо делать войску»), запрещенными строками из стихотворений Некрасова, изданных в 1861 г., «нотами и словами песни возмутительного содержания под заглавием „Marselaise“» [39]. Все это говорит о том, что Сунгуровым руководил не только корректорский интерес.

Сунгуров был близко связан с революционным студенчеством и особенно с кружком, возглавлявшимся Алексеем Андреевичем Яковлевым. Это был, по свидетельству участников революционного движения 1860-х годов, «типичный студент», «очень даровитый и в высшей степени симпатичный юноша», пользовавшийся большим уважением в студенческой среде [40]. Сунгуров благоговейно относился к своему другу (о чем свидетельствуют его письма, дневник, хранившаяся у него фотография Яковлева).

На страницах «Времени» Достоевский в статье «Образцы чистосердечия» поддержал сотрудника «Современника», горячего поборника «женского вопроса», М. Л. Михайлова. Е. Э. Толмачева, сестра братьев Эверисман (один был адъюнктом Казанского университета, второй — студент того же университета), «с ранних лет увлекавшаяся теориями Прудона и Мишле и поставившая себе целью быть эмансипированной женщиной»[30],— как отмечалось в донесениях III Отделения, была в Перми (она вышла замуж за председателя пермской казенной палаты Толмачева) одной из активных участниц литературных вечеров.

От сотрудничавших в журнале казанцев Достоевскому могли быть известны и те «пермские тайны», которые, как он отмечал в своей статье, журнал «Век» представил в «отвратительном виде» (позднее намек на эти «тайны» Достоевский вложит в уста Свидригайлова: «...Египетские-то ночи, чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза?...» О черных глазах Толмачевой, загоравшихся во время чтения, писал в напечатанной в «Санкт-Петербургских ведомостях» заметке пермский корреспондент Тиммерман). С Тиммерманом Толмачева, оставив мужа, уехала из Перми в Казань, где оказалась под строгим надзором полиции [31]. В 1861 г. Толмачева во время заграничной поездки посетила Герцена. Об этом, несомненно, было известно не только казанцам, но и сотрудничавшим в журнале «Время» тайным корреспондентам Герцена.

Постоянно посещал корректора журнала «Время» Сунгурова М. И. Семевский, активно сотрудничавший в «Полярной звезде», «Колоколе» и других изданиях Герцена [32], Через Семевского шли из России в Лондон публиковавшиеся в «Полярной звезде» материалы о декабристах [33]. Копии с рукописей декабристов, полученных Семевским тайно из Сибири, делал для него Сунгуров. (В собрании рукописей «Русской старины» хранится тетрадь с воспоминаниями и письмами декабристов, с надписью Семевского: «Весь сборник списан с разных рукописей в 1860—1861 гг., полученных от барона В. И. Штейнгеля частью из бумаг Бестужевых, частью с других рукописей. Копию снимал студент СПб университета Капитон Корнилович *Сунгуров*» [34].)

Записная книжка Сунгурова содержит немало стихотворений Рылеева и А. Бестужева, выписок из воспоминаний декабристов. Иногда рядом с именами своих товарищей Сунгуров отмечал: «был 27 октября 1861 г., завтра едет за границу» (см., например, запись о Стежинском) [35].

В августе 1860 г. III Отделением было перехвачено письмо к Баканину из Вятки от врача П. С. Сунцова, просившего переправить к Герцену написанную одним вятским врачом статью о положении врачей в России. Понимая, что эта статья, где «вся правда описана в самом горьком виде», не может быть напечатана в России, Сунцов обращается за содействием к Баканину как человеку, о связях которого с Герценом было известно в кругу передовых людей провинций. Сунцов пишет Баканину об интересе вятской интеллигенции к изданиям Герцена, о проникающих в Вятку номерах «Колокола» [36]. Имя и адрес Сунцова упоминается в записной книжке Сунгурова, в составленном им списке тех, кому он собирался дарить оттиски статей из журнала «Время» [37]. Сунгуров оставлял у себя оттиски не пропущенных цензурою статей, делал выписки запрещенных мест. Как корректор он обязан был сверять, все ли указания цензуры выполнялись в последней корректуре и посылал Достоевскому вторую корректуру со сводкой всех не разрешенных цензурою мест[38]. Однако выписки, сделанные Сунгуровым, очень далеки от обычных сводок корректора. В записной книжке эти выписки находятся рядом с записями революционных студенческих песен, прокламаций (например, «Великорусс» № 3, «Что надо делать войску»), запрещенными строками из стихотворений Некрасова, изданных в 1861 г., «нотами и словами песни возмутительного содержания под заглавием „Marselaise“» [39]. Все это говорит о том, что Сунгуровым руководил не только корректорский интерес.

Сунгуров был близко связан с революционным студенчеством и особенно с кружком, возглавлявшимся Алексеем Андреевичем Яковлевым. Это был, по свидетельству участников революционного движения 1860-х годов, «типичный студент», «очень даровитый и в высшей степени симпатичный юноша», пользовавшийся большим уважением в студенческой среде [40]. Сунгуров благоговейно относился к своему другу (о чем свидетельствуют его письма, дневник, хранившаяся у него фотография Яковлева).

Получил из типографии Праца. 1 июня 1862 г. Я получил ее как корректор. Сунгуров

ПОЖАРЫ

Внезапные пожары Петербурга заняли теперь наше внимание. Пожары стали особенно учащаться. Их было по два, по три, а 23 мая было даже 28 мая в духов день поднялся по всем частям города. Толкучий рынок, Щукин дворы, Чернышов переулок. Задумываешься над тем, какой из этих пожаров в том, что все они обрушились на голову преимущественно низших классов, нашего бедного народа. Гибнут главным образом жилища, которые ... могут приобретать себе сколько-нибудь сносного помещения в центральных частях города. Толкучий рынок был преимущественно деревянных рядов. Там отделение, где и пил простой мужик, полочутно из гостиного двора, на семь копеек не найдешь себе обеда, и за каких-нибудь пять рублей не купишь себе одежи. Тысячи рабочих и торговых людей сожгли толкучего рынка и Щукина двора — потеряли насущный кусок хлеба.

Но этого мало. Пожары не думают прекращаться. На другой и на третий день после 28 числа были новые пожары, по два, по три и даже более из каждый день. Пожары возобновляются с какою-то настойчивостью и тем вредно повлечь, чтобы они впоследствии возобновлялись на будущее время.

Ясное дело, что не все пожары произошли только от неосторожности. Несомненное количество их самым естественным образом наводит на мысль об умышленных поджогах. Народ громко говорит о них: толкуют о неизвестных поджигателях, о какой-то многочисленной шайке, которая со всех сторон. Панический страх охватывает всех. Каждый подозревает каждый подозревает только в том, что вот-вот от такого-нибудь злого обнаружится пожар.

Кто же, спрашивается, эти поджигатели, подлецы ли несчастия ближнего основать свое собственное счастье, или лучше, то-же несчастье?

Догадок на народ ходило довольно. Одна из таких, не слишком довольно распространенная, но достаточно существующая, касается нашего молодого поколения, наших бывших студентов. Надобно, что вина в этом случае поджигать будут откровенными: тогда главная вина и запрещается самые горячие вопросы. Там, где является самый страшный упрек русскому обществу, воспитанному себя народ, на которое справедливо возлагаются надежды всей цветущей России, нельзя молчать. Тут нужно решительно дело до конца и все сказать на чистую воду. Итак, мы будем обвинителя говорить. В пожарах между прочих обвиняют студентов. И вина эта взята не в одном только простом народе, а все-где и в других сферах. Мы даже подозреваем, что эта вина появилась не сама собою, а ее кто-нибудь не сам народ, а очень может-быть сам ... из него своих. Очень трудно предположить, чтобы народ ... вдруг стал бы поджигать их таким страшным образом. Откуда же, спрашивается, оно узнало?

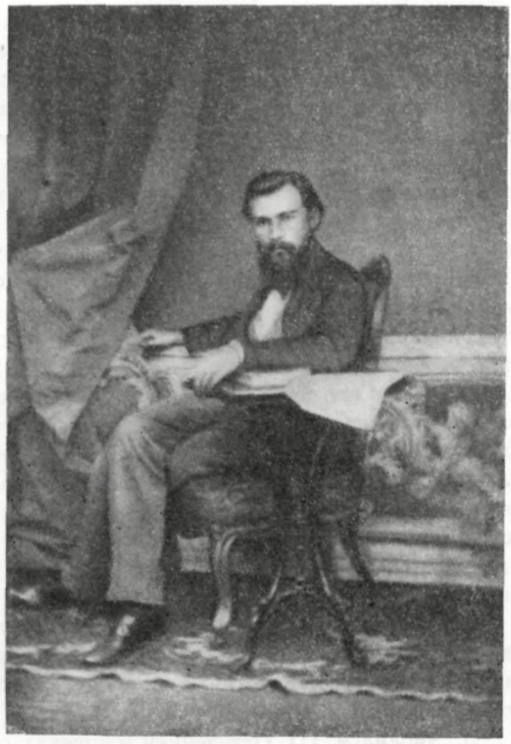
Недавно вышла возмутительная прокламация ... ное и запрещенное. прочитана с жадностью ... мы не встречаем еще никого, кто не читал ... бы говорить, что она возбуждает отвращение. ... ление «Молодой России» спокойно оставаться на ... ...

Яковлев был библиотекарем студенческой библиотеки, он «беззаветно отдался» ей и тратил на нее много времени, «заботился о поддержании в ней порядка, а в особенности о пополнении ее»,— рассказывает Л. Ф. Пантелеев, получавший в этой библиотеке номера «Колокола» [41]. Как известно, организация библиотек из запрещенных изданий, чтение и обсуждение запрещенных сочинений было обычным для большинства кружков 1860-х годов [42]. Сунгуров, как видно из его записной книжки, хранил у себя и обменивался с товарищами запрещенными изданиями, отмечая, когда и кому выдана та или иная книга. Однажды Яковлев упрекал его за потерю 4-го тома «Causes celebres» [43]. Среди книг, выдававшихся Сунгуровым товарищам,— издания Герцена, сочинения Фурье и Прудона, номера журнала «Время» (например, запись: «Бармину — „Время" — I, II, III, IV, V, VI, Туманову — „Время" VI,VII)» [44]. Собиравшиеся у Яковлева и Сунгурова студенты не только переписывали запрещенные стихи, но и сами сочиняли «крамольные» песни (в записной книжке отмечено: «Свобода, равенство и братство». Соч. Сунгуровым в присутствии Анатолия Баканина и студента Яковлева») [45]. Рядом со списком известного среди вольнолюбивой молодежи стихотворения «Двуглавый орел», приписываемого В. Курочкину («Я нашел, друзья, нашел, Кто виновник бестолковый наших бедствий, наших зол...»), Сунгуровым сделана помета: «А. Григорьев, 17 марта 1862» [46].

Осенью 1861 г., в самый разгар студенческих волнений, А. Яковлев был арестован за распространение прокламаций (по сведениям Л.Ф. Пантелеева, он попался с прокламацией в одной из казарм весной 1862 г.) [47]. Как известно, наиболее смелые кружки оппозиционно настроенной молодежи, занимавшиеся распространением прокламаций, использовали для их печатания наряду с тайными печатными станками и легальные типографии. Так, многие члены тайных студенческих кружков встречались у корректора журнала «Современник» Е. Стопакевича, «унося от него чемоданы, битком набитые подпольными изданиями» [48]. Данных для утверждения, что Сунгуров мог использовать свое положение корректора для печатания прокламаций, нет. Он распространял прокламации, издававшиеся в типографии «Земли и воли». При аресте Сунгурова в ноябре 1863 г. за «недонесение кому следовало о получении им возмутительных воззваний» [49], у него, наряду с прокламациями «Свобода» № 1 (девять номеров); «Великорусс» (три номера), «Что надо делать войску», «Шедо-Ферроти», номера «Колокола» и объявлениями об издававшейся за границей газете «Свободное слово», были найдены также корректуры нескольких статей и очерков, запрещенных в журнале «Время» [50].

Особое внимание следственной комиссии вызвали гранки статьи «Пожары». До сих пор текст этой статьи был не известен исследователям. Впервые он печатается в настоящем томе по материалам, разысканным в Ленинграде Н. Г. Розенблюмом в делах цензурного ведомства (см. стр. 48—53). Корректура «Пожаров», обнаруженная нами в Москве в «деле» К. Сунгурова среди изъятых у него прокламаций, также содержит полный текст статьи. Распространение в студенческой среде корректурных оттисков запрещенных сочинений было нередким явлением [51]. Сунгуров, «сообщавший прокламации вообще как интересную новость» [52], несомненно, оставил у себя корректуру «Пожаров» для этой цели. Запрещенная цензурой статья в защиту студентов от обвинений в поджигательстве не могла не привлечь внимание передовой молодежи.

Интерес следственной комиссии вызвала корректура и другой статьи—«Очерки истории Польши». Царское правительство связывало петербургские пожары с разгоревшимся в Польше революционным движением. В пожарах обвиняли не только студентов, но и поляков. Передовые круги России, видя в польских революционерах своих союзников, внимательно следили за событиями в Польше, изучали революционную историю польского народа, этому содействовали журнальные публикации. В «Очерках», не напечатанных во «Времени», подробно излагалась история Польши, ее освободительного движения. «Борьба была роковая 〈...〉 Польша должна была напрячь все свои силы, чтобы выйти из нее победительницей». Важную роль в истории Польши играла, по словам автора, конфедерация. Ей посвящалась в «Очерке» специальная глава. «Конфедераты выбирали своих собственных властей, составляли свои собственные сеймы и советы, все другие законно выбранные власти ими не признавались. В своих



А. И. БАКАНИН
Фотография Блюменталя. Петербург, 1860-е годы
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

совещаниях liberum veto * не имело место, решения постановлялись большинством. Иногда конфедерации ставили свою главою короля, но чаще они имели целью низвергнуть существующее правительство и создать свое собственное» [53]. Конфедерация была для польских революционеров символом свободолюбия. На студенческих сходках польские студенты, появляясь в национальных костюмах, с гордостью носили «конфедератки» [54].

Любопытны замечания Достоевского: «головной убор своего рода рекомендация» [55], «*какое направление* доказывают ⟨...⟩ шляпы» [56]. Польская конфедерация интересовала Достоевского. В его записной тетради 1860-х годов встречается запись: «15 сентября, Польша и ее конфедерация, через 3 недели ответ» [57]. Кто был автором очерка? Сунгуров на допросе отвечал, что не знает [58]. Очевидно, им был постоянный сотрудник журнала «Библиотека для чтения» Н. Н. Воскобойников, еще задолго до событий 1863 г. интересовавшийся судьбой Польши и знакомивший русских читателей с материалами из истории польского движения. Как рассказывает П. Д. Боборыкин, «идеями социализма» Воскобойников не увлекался, «но в деле свободомыслия любил называть себя «достаточным безбожником» и сочувствовал в особенности польскому вопросу в духе *освободительном*» [59]. У Воскобойникова «водилось немало знакомств в Петербурге в разных журналах, разумеется, не в кружке „Современника", а больше в том, что собирался у братьев Достоевских» [60]. Со статьей Воскобойникова, несомненно, был знаком и Н. Страхов. Заглавие его ставшей роковой для журнала «Время» статьи «Роковой вопрос», очевидно, возникло не без влияния «Очерка истории Польши», где в предисловии замечалось: «*Роковой вопрос* выдвинул на первый план Польшу с ее историей. Это естественно возбуждает желание получше и пообстоятельнее познакомиться с ее историей...» [61].

Сунгуров, выступавший на студенческих сходках с чтением прокламации «Льется польская кровь, льется русская кровь», несомненно оставил у себя корректуру «Очерка истории Польши» так же, как и корректуру «Пожаров», для распространения в студенческой среде.

* право единоличного запрета (*лат.*).

О статье «Пожары» Сунгуров на допросе отвечал: «Получено из типографии Праца 1 июня 1862 г. Я получил ее как корректор». Об «Очерке истории Польши»: «Я получил эту статью как корректор. Автор статьи мне неизвестен» [62]. В редакции журнала «Время», вероятно, и не подозревали, что статьи, вышедшие из их круга, вызывали интерес у студентов наряду с прокламациями (к которым Достоевский относился отрицательно).

«У нас нет тайных обществ, но у нас существуют кружки преимущественно между образованными слоями общества...»,— писал один из бывших сотрудников журнала «Время» в III Отделение. Далее он заявлял, что «занимаясь в течение 6 лет литературой», «хорошо изучив характер как редакторов, так и те кружки, которые группируются около них....»[63], пришел к выводу, что «вольнодумство сосредотачивается в редакциях журналов». Поэтому он предлагал установить слежку за всеми редакторами, издателями, наборщиками и другими работниками типографии и «запретить всякого рода сходбища, особенно на литературных вечерах» [64]. Письмо это поступило в III Отделение в 1866 г., когда оно после выстрела Каракозова занялось расследованием «о вредном направлении некоторых журналов и лиц, в них участвующих» и обратилось к изучению «той общественной литературной среды, в которой могла появиться мысль о цареубийстве» [65]. Письмо было принято «к сведению», однако автор его, «позволивший себе в то же время в высшей степени преступные суждения о действиях правительства и вообще обнаруживший вредный образ мыслей и стремление к их осуществлению» [66], был арестован. Автором письма оказался Петр Никитич Горский, связанный с редакцией журнала «Время».

«Вредным образом мыслей», по донесениям агентов III Отделения, отличались многие сотрудники журнала «Время» [67]. Часто посещавший Сунгурова М. И. Семевский, ставший, по утверждению III Отделения известным в русской литературе «в особенности после напечатания сочинения под заглавием „Семейство Монсов“» [68] («Время», 1861, № 2-4), числился III Отделением в списках отъявленных «злоумышленников», возглавляемых Чернышевским. Семевский, по донесениям агентов, «с первых же лет своей службы обнаружил литературные стремления⟨...⟩, подружился с либеральною партиею: с Благосветловым, Добролюбовым, Некрасовым, Чернышевским и т. д.», у него «весьма часто собиралась красная партия литературных деятелей» [69].

Многие записи в «Дневнике» Сунгурова дают представление о взаимоотношениях редакции «Времени» с цензурой. Отмечается, например, что статья Семевского «Семейство Монсов» была обезображена до уродливости, а из последних глав «Записок из Мертвого дома» исключена глава «Ссыльные из дворян» [70]. Большим сокращениям подвергся роман о манчестерских рабочих английской писательницы Э. Гаскелл «Мери Бартон», «роман ⟨...⟩ о страшной, но всюду зияющей ⟨....⟩ язве, которая называется пауперизмом или пролетариатом» [71], как отмечалось в примечании от редакции. Цензурой были сокращены страницы, где описывалось возникновение классовой ненависти у бедняков к богатым и рассказывалось о тайных клубах заговорщиков. В июньской книжке журнала за 1861 г. были вычеркнуты цензором непочтительные строки о королеве в статье «Каролина английская и Бергами» (о процессе 1820 г.), в статье М. Воронова «Мое детство» зачеркнуто описание эшафота, наказания кнутом и клеймения, в сентябрьской книжке в статье «Вопрос о колонизации» сняты рассуждения о преступниках, «ежегодно толпами идущих на заводы» [72], в июньской книжке 1862 г. запрещена статья П. Сокальского об остзейских крестьянах, где проводилась мысль, что положение *свободных* (с 1817 г.) остзейских крестьян еще хуже, невыносимее быта русских крепостных [73]. Подверглись большой правке, судя по корректуре, сохраненной Сунгуровым, «Очерки прошлого. Моншеры» А. Чужбинского [74], где были сняты упоминания об Аракчееве и критическое описание армейского начальства. Остались неопубликованными политические статьи из раздела «Наши домашние дела»[75].

«Иногда мой труд пропадает совершенно даром,— записывал в дневнике Сунгуров.— Прокорректируешь иную статью — и вдруг ее цензура не пропускает. Так, в прошлом году в одной из последних книжек „Времени“ цензура запретила довольно большую статью Бибикова о Фурье. И за что, за что? Статья была не что иное, как résumé учения Фурье; от себя автор почти ничего не прибавил, кроме небольшого предисловия, но оно было написано больше чем умеренно. Нет, вот не приемли имени со-



ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» РАСКОЛЬНИКОВ

Рисунок (акварель) П. Боклевского, 1870-е годы

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

циалистов всуе!...» [76]. Характерно, что министр внутренних дел, статс-секретарь П. А. Валуев, мотивировал закрытие журнала не только помещением в ней статьи Страхова «возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей наперекор всем действиям правительства», а также вредным направлением этого журнала в целом [77].

«Время» было закрыто не только за статью «Роковой вопрос». Статья Страхова явилась лишь поводом.

Поэтому трудно согласиться с утверждением Страхова, что «вообще никакого следа революционного направления не было в кружке „Времени", то есть не только каких-нибудь помыслов, но и сношений с людьми, замышлявшими недоброе, или какого-нибудь им потворства и одобрения» [78].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958, стр. 225.

[2] П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I. «За полвека». М., 1965, стр. 281.

[3] О. Миллер. Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского.— «Биография, письма, заметки», стр. 171 (первая пагинация).

[4] П. Д. Боборыкин. Воспоминания, стр. 281.

[5] П. Д. Боборыкин. Воспоминания, стр. 281.

[6] «Московские ведомости», 1864, № 74, 18 апреля.

[7] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1а, 1861—1864, ед. хр. 2006, л. 13. Позднее Достоевский рассказывал М. А. Александрову, что иногда ему было «совестно читать их ‹«Записки из Мертвого дома»› перед публикою — подумают, что я все жалуюсь на свое прошлое... Все-то я жалуюсь, все-то жалуюсь. Нехорошо ведь жаловаться, неправда ли? Ну, поэтому и перестал читать из „Записок“ перед публикою» (ЦГАЛИ, ф. 212, оп. 1, ед. хр. 256).

[8] Н. Страхов. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском.— «Биография, письма, заметки...», стр. 232—233 (первая пагинация).

[9] В. Острогорский. Из истории моего учительства. СПб., 1914, стр. 55. См. также Е. Водовозова. На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты, т. 2. М., 1964.

[10] А. С. Долинин. Достоевский и Суслова.— «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Л., 1925, стр. 171, 251.

[11] Н. Страхов. Указ. статья, стр. 232; см. также Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 255.

[12] Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М., 1934, стр. 455. См. также Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 255.

[13] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 258.

[14] Письмо Е. И. Корсини к Ф. М. Достоевскому 21 марта 1862 г.— ЛБ, ф. 93, Б. 125.

[15] Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. М., «Наука», 1970, стр. 149 («Литературные памятники»).

[16] Рукописные фрагменты к роману «Преступление и наказание». Вариант конца гл. VII, части второй.— Указ. изд., стр. 628, 629. См. также стр. 750. О том, что атмосфера студенческих собраний тех лет была хорошо знакома Достоевскому, свидетельствуют и другие страницы «Преступления и наказания». Поразительно совпадение в описании Достоевским студенческого собрания с участием в нем старого декабриста с описанием собрания, сделанным М. Л. Михайловым в его романе «Вместе», написанном на материале событий 1860-х годов (начат им осенью 1861 г. в Петропавловской крепости). Описание студенческого собрания с участием «возвращенного из ссылки декабриста, сочувственно относящегося к новым движениям», послужило одной из причин запрещения романа цензурой (см. наше сообщение: «Судьба „неоконченного“ романа М. Л. Михайлова о „новых людях“».— «Вопросы литературы», 1962, № 1).

[17] «Письма», IV, стр. 280.

[18] «Письма», I, стр. 306.

[19] «Преступление и наказание». Указ. изд., стр. 179—180.

[20] Записная книжка К. Сунгурова. Запись 14 декабря 1862 г., л. 30—30об.—ЦГАОР, ОППС, ф. 112, оп. 1, д. 48. «Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге следственной комиссии о бывшем студенте С.-Петербургского университета Капитоне Сунгурове. Нач. 11 июня, конч. 15 июля 1863 г. См. также ф. 95, оп. 1, д. 105; В. Базанов. Капитон Сунгуров и его записная книжка.— «Русская литература», 1962, № 1, стр. 221.

[21] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, лл. 93, 102.

[22] «Лит. наследство», т. 83, 1971, стр. 130, 155.—А. И. Баканин закончил Казанский университет в 1858 г. На его квартире в 1859 г. в Казани была устроена первая студенческая сходка. См. также «Российский медицинский список на 1864 г.» СПб., где указано: «Лекарь М. В. Д.»

[23] «Убийцы Пешара».—«Время», 1862, № 2.

[24] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, л. 65.

[25] Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Первая записная книжка.— Указ. изд., стр. 462.

[26] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, л. 94.

[27] Записная книжка К. Сунгурова, л. 30—30 об., 100.

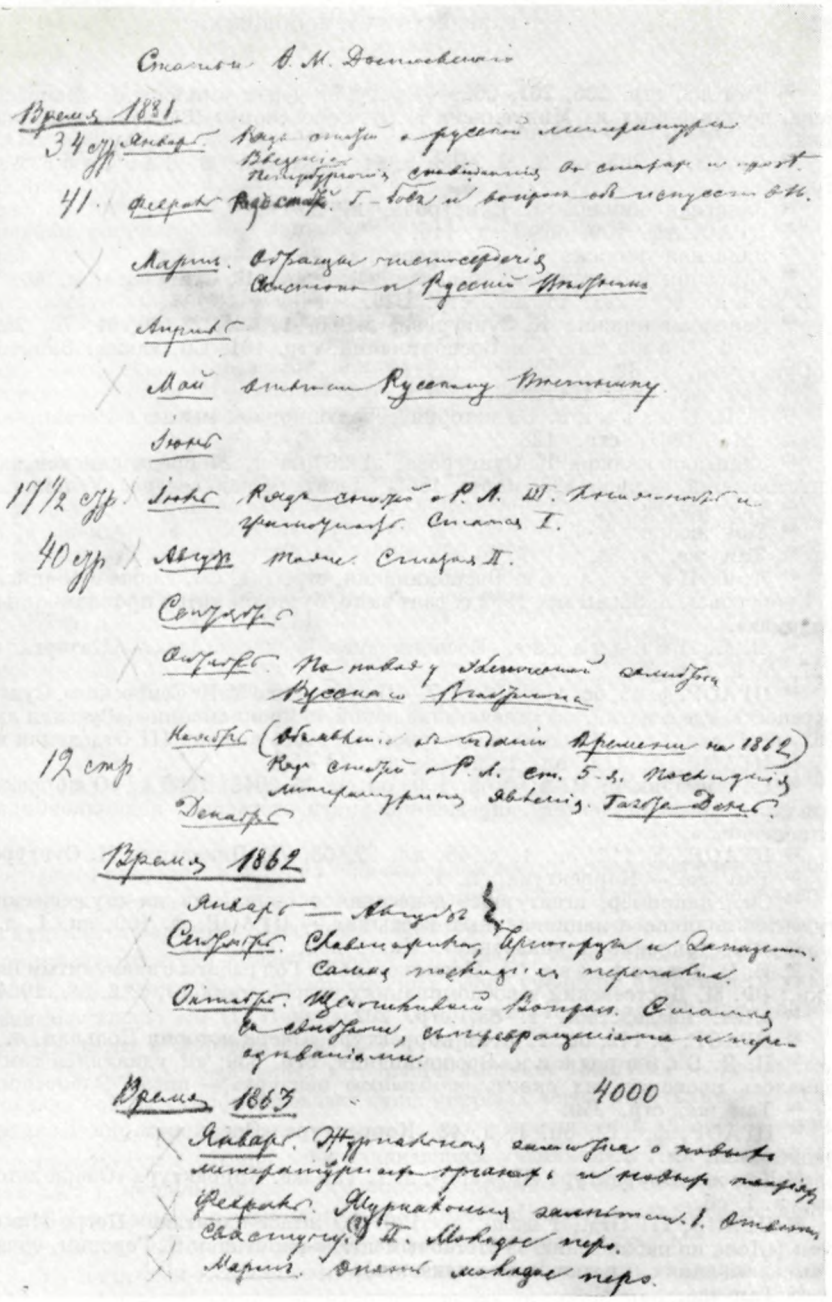
[28] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, л. 31 об., 90.

[29] М. В. Нечкина. А. П. Щапов в годы революционной ситуации.—«Лит. наследство», т. 67, 1959, стр. 648.

[30] Ф. М. Достоевский. Образцы чистосердечия.—«Время», 1861, № 3 (XII, стр. 186).— Статья Тиммермана печаталась в «С.-Петербургских ведомостях», 1861, № 36.

[31] ЦГАОР, III Отд., 1 эксп., № 395, лл. 89—90. Из справки о Евгении Эдуардовне Толмачевой, присланной управляющему III Отделением из Перми от корпуса жандармов подполковника Комарова (рапорт, № 104, 19 ноября 1861 г.). Из предписания начальника Казанской губернии об установлении строгого секретного надзора за Толмачевой, 19 июня 1862 г.— Там же, лл. 106, 108.

[32] Н. Я. Эйдельман. Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966, стр. 141, 143.



Список Ф. М. Достоевского

Время 1861

34 стр. Январь. Взгляд вообще на русскую литературу
Вторичное объявление о статье и проч.

41 стр. Февраль. Взгляд. Г-бов и вопрос об искусстве и т.д.

Март. Обращик чистосердечия
Опасности и Русской Литературы

Апрель

Май. Выписки Русскому Вестнику

Июнь

17½ стр. Июль. Взгляд вообще о Р. л. Ш. Критические и грамматич. Статьи I.

40 стр. Август. Такие. Статьи II.

Сентябрь

Октябрь. По поводу Одесской газеты
Русское и Славянство

Ноябрь. (Объявление о Газете Время на 1862)

12 стр. Взгляд вообще о Р. л. ст. 5-я. Последнее литературное явление. Гаспара Гаспаре.

Декабрь

Время 1862

Январь — Август

Сентябрь. Славянофилы, Критика и Западные. Самые последние перекаты.

Октябрь. Щекотливый вопрос. Статья в Отечестве, непременно и переправлять.

Время 1863 4000

Январь. Журнальная литература о книгах литературных, и книжн. периодич.

Февраль. Журнальная литература. I. Отвлеченность. II. Мелкие перо.

Март. Опять мелкое перо.

СПИСОК АНОНИМНЫХ СТАТЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО, СОСТАВЛЕННЫЙ Н. Н. СТРАХОВЫМ в 1881 г.

Лист 1

На обороте этого списка: «Эпоха», 1864, май, «Господин Щедрин или раскол в нигилистах», июнь, «Несколько слов о М.М. Достоевском (с подписью), июль, «Необходимое заявление» (с подписью), август, «Объявление о подписке на 1865 г.», т. е. от редакции, сентябрь, «примечание на статью Н. Страхова об Ап. Григорьеве», «Чтобы кончить. Последнее объяснение с ,,Современником''». Октябрь, «Каламбуры в жизни и в литературе»

Примечание А. Г. Достоевской: «Приступая к изданию Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского в 1881 г., я обратилась к Николаю Николаевичу Страхову с просьбой указать, какие статьи были написаны Федором Михайловичем и напечатаны в журнале ,,Время'' и ,,Эпоха'' без подписи автора. В ответ на мою просьбу Н. Н. Страхов доставил мне собственноручный список всех статей, несомненно принадлежавших перу Федора Михайловича в означенных выше журналах в течение 1861—1864 гг.

Свидетельство Н. Н. Страхова, как ближайшего сотрудника Михаила Михайловича и Федора Михайловича Достоевских по изучению журналов ,,Время'' и ,,Эпоха'', может служить основанием в случае, если возникнут сомнения в принадлежности перу Ф. М. Достоевского той или другой статьи. А. Достоевская. Декабрь, 1901»

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

[33] Там же, стр. 225, 261, 262.— Сунгуров делал выписки из «Записей Н. Бестужева, доставленных из Минусинска М. И. Семевскому» (Записная книжка К. Сунгурова, лл. 1, 3).

[34] ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2468, л. 11; см. также: В. Базанов. Указ. статья, стр. 217.

[35] Записная книжка К. Сунгурова, л. 20 об.

[36] ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 116.

[37] Записная книжка К. Сунгурова, л. 76.

[38] «Дневник корректора».— Записная книжка К. Сунгурова, л. 46. См. также: В. Базанов. Указ. статья, стр. 226.

[39] Записная книжка К. Сунгурова, лл. 6, 14, 24, 28, 60, 61, 70, 74.

[40] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 161. См. также: Записная книжка К. Сунгурова, л. 32.

[41] Там же, стр. 161, 163.

[42] Б. П. Козьмин. Из истории революционной мысли в России.— Избранные труды. М., 1961, стр. 128.

[43] Записная книжка К. Сунгурова, л. 28 (на л. 27 среди списков запрещенных стихотворений запись: «23 марта 1862. Десять часов вечера. У наших»).

[44] Там же, л. 75 об.

[45] Там же, л. 6 об.

[46] Там же, л. 28.

[47] Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, стр. 161. См. также в «Записной книжке К. Сунгурова», л. 32: «В мае 1862 г. взят за то, будто бы читал прокламации в саперных казармах».

[48] Н. Я. Николадзе. Воспоминания о 60-х годах.—«Каторга и ссылка», 1927, № 5, стр. 35.

[49] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 105, л. 7.—По указанию М.И. Семевского, Сунгуров попал в крепость, где и погиб, «за отпечатание какой-то прокламации» («Русская литература», 1962, № 1, стр. 217). Никаких подтверждений этого в делах III Отделения не найдено.

[50] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, лл. 23—58.

[51] См., например: ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 2048, 1866 г. «О корректурных экземплярах среди студентов запрещенной книги отставного подполковника Соколова „Отщепенцы“».

[52] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, лл. 67, 68, 75. Показания К. Сунгурова.

[53] Там же.— Корректура, л. 1.

[54] См., например, агентурные донесения о появлении на студенческих сходках студентов-поляков в национальных костюмах.— ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 1477.

[55] «Преступление и наказание». Указ. изд., стр. 472.

[56] В. В. Тимофеева (О. Починковская). Год работы с знаменитым писателем.— В кн.: «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1964, стр. 139.

[57] «Лит. наследство», т. 83, стр. 202.

[58] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48, корректура «Очерк истории Польши», л. 57.

[59] П. Д. Боборыкин. Воспоминания, стр. 339; «Я удивлялся тому, как мне удавалось проводить их сквозь *тогдашнюю* цензуру»,— писал Боборыкин.

[60] Там же, стр. 340.

[61] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48. Корректура «Очерк истории Польши». Вместо предисловия, л. 1.

[62] Там же. Корректура «Пожары», л. 1. Там же. Корректура «Очерк истории Польши», л. 1 об.

[63] ЦГАОР, III Отд., 1 эксп., д. 130 «О штабс-капитане Петре Никитиче Горском» («Дела по наблюдению за отставным штабс-капитаном П. Горским, обвинявшимся в высказываниях против самодержавия»).

[64] Там же.

[65] ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 279 —«О вредном направлении некоторых журналов и о лицах, в них участвующих».

[66] Там же. См. также ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 356. — «Переписка в следственной комиссии по ходатайству жены отставного штабс-капитана Петра Горского об освобождении его от ареста», л. 6. Письмо Горского к Марфе Петровне Паниной. Упоминается Достоевский.

[67] «Самые близкие наблюдения» были установлены за Аполлоном Григорьевым, принадлежавшим, по донесениям агентов, «по образу мыслей к ультра-либералам» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 1971, л. 8, 11 февраля 1861 г.). Неустанное наблюдение велось за В. В. Крестовским, читавшим в обществе литераторов по корректурным листкам ненапечатанные главы «Петербургских трущоб» (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 1922. См. также «Агентурные донесения о наблюдении за литератором Крестовским», 11 февраля 1863, 4 марта 1863). «Самое бдительное наблюдение» было учреждено за сотрудничавшим в журнале «Время» литератором компании «Современника» и «Русского слова» А. П. Милюковым (ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, д. 236). У А. П. Милюкова и А. Н. Плещеева были произведены обыски по доносу В. Костомарова о прокламации «Барским крестьянам». В доносе упоминался и М. М. Достоевский.

[68] ЦГАОР, ф. III Отд., 1 эксп., д. 174, лл. 28, 29.
[69] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 230, ч. 3, 1862 г.
[70] ЦГАОР.—«Дневник корректора».— Записная книжка Сунгурова, л. 48; см. также: В. Базанов. Указ. статья, стр. 228.
[71] «Время», 1861, № 4, стр. 523.
[72] Записная книжка К. Сунгурова, л. 9, 11, 12, 23 об.
[73] «Дневник корректора».— Записная книжка К. Сунгурова, л. 48; В. Базанов. Указ. статья, стр. 228.
[74] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, д. 48. Корректура. Помета Сунгурова: «Вторая корректура статьи А. Чужбинского „Моншеры". „Время", 1862, июль. Получил из типографии Праца. Я получил эту статью как корректор», лл. 23—61.
[75] ЦГАОР, ф. 95, оп. 2, д. 4.— Рукопись статьи и другие материалы по журналам Достоевских были изъяты во время обыска у племянника Достоевского, бывшего ученика консерватории М. М. Достоевского, в 1866 г. обвинявшегося в связях со студентами, которым было известно «о предстоящем покушении на царя» Каракозова. См. также ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, д. 232.
[76] «Дневник корректора».— Записная книжка К. Сунгурова, л. 48; В. Базанов. Указ. статья, стр. 227. Отметим, что большим цензурным сокращениям подверглась также статья Щапова «Бегуны». По свидетельству Н. А. Аристова, у Щапова хранилась корректура с собственноручными его пометами о всех непропущенных местах. Возможно, Щапов получил ее также от Сунгурова (см. Н. А. Аристов. Афанасий Прокопьевич Щапов. Жизнь и сочинения. Посмертное издание. СПб., 1883, стр. 99). Сохранилась корректура статьи П. Ткачева «Еще о мировых судьях», задержанная цензурой в 1862 г. (ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 26, № 25).
[77] А. С. Долинин. К цензурной истории первых двух журналов Достоевского.— «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы». Сб. 2, стр. 560. См. также: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., «Наука», 1972, гл. XIV.
[78] Н. Страхов. Указ. статья, стр. 229.

II. КАРТИНА, НАВЕЯННАЯ «ЗАПИСКАМИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА» (1862)

Характерным эпизодом в истории общественной мысли 1860-х годов и в отношении современников к Достоевскому явилась выставленная в 1862 г. на годичной выставке Академии художеств картина «Праздник Рождества в Мертвом доме». Эта первая, созданная при жизни писателя иллюстрация к его роману, находилась во 2-й Античной галерее Академии художеств среди живописных работ учеников Академии. В указателе выставки значилось: «№ 11. Померанцев Константин Петрович. Ученик Академии. Праздник Рождества в Мертвом доме. 400 р. сер....» [1].

Впервые Померанцев участвовал в годичной выставке 1860/1861 г., где выставлялась его первая работа «Харон перевозит души умерших через реку Стикс» [2]. «Такого рода задача, как Харон с душами, — указывалось в критическом обозрении журнала „Время",— предлагается обычно всем начинающим ученикам» [3]. Имя Померанцева в обозрениях 1861 г. не упоминалось. Все внимание критики, в том числе и обозревателя журнала «Время», было обращено тогда на картину «Партия арестантов на привале» В. И. Якоби, «перед которой с утра до вечера стоит толпа зрителей».

Через год, на второй годичной выставке Академии художеств, являвшейся для ее учеников публичным торжественным экзаменом, вновь внимание публики было привлечено картиной с сюжетом из жизни арестантов. И если картина Якоби невольно напоминала посетителям выставки книгу Достоевского, то на этот раз была выставлена картина, явившаяся прямым откликом на «Записки из Мертвого дома».

На выставке 1862 г., кроме картины Померанцева, были выставлены еще две картины, созданные на сюжеты, заимствованные из литературных произведений,— «Побег Григория Отрепьева из корчмы» Г. Г. Мясоедова и сцена из «Полтавы» Н. С. Шустова. Обращение художников к иллюстрированию литературных произведений было новым, необычным явлением в живописи. Вокруг этих картин развернулась полемика по поводу того, следует ли художникам вообще обращаться к литературным произведениям, да еще черпать свои сюжеты из произведений «вроде „Мертвого дома"». Имя Померанцева и его картина упоминались во всех полемических статьях. «На выставке есть небольшой разряд картин, содержание которых взято из некоторых наших литературных произведений: из них ни одна вполне не исполнила своей задачи и по экспрес-

сии они очень незначительны. Лучшая из этих картин „Праздник Рождества в Мертвом доме" Померанцева», — отмечал обозреватель выставки в газете «Современное слово» [4].

Обращение жанристов к литературным сюжетам приветствовал в обозрении, посвященном выставке 1862 г., рецензент «Отечественных записок»: «Нынче они пытаются идти об руку с литературой, черпают из нее сюжеты, и они становятся все разнообразнее по мере того как вопросы, поднятые у нас в последнее время, отражаются в складе нашего общественного быта. Удачные или неудачные, судя по степени талантов, эти маленькие жанры интересны как усилия схватить настоящие моменты русской жизни, в них есть драматизм, есть истина. К сожалению, большая часть из них грешит отсутствием художественности» [5]. Лучшими картинами в этом роде рецензент называл «Рекрута» Соханова (1860) и «Партию арестантов» Якоби. «Нынешняя выставка, — указывал рецензент, — беднее прежних хорошими жанрами, а недостаток художественности в них еще сильнее. Пример: „Праздник Рождества в Мертвом доме" г. Померанцева, только и останавливает зрителя новизной сюжета». И хотя картина Померанцева, созданная в новом жанре русской живописи, который «обещал быть живучим», была признана лучшей, все же критики отмечали «ученический характер опыта Померанцева», огорчаясь, что художник не сумел передать ужаса и трагизма книги Достоевского.

Однако некоторые рецензенты объясняли слабость картины «художественной бедностью» произведения Достоевского, сводя его значение к «обыкновенной повести». «„Бегство Григория Отрепьева из корчмы" стояло бы несравненно выше „Рождества в Мертвом доме", уже по одному тому, что заимствовано из трагедии Пушкина, а не повести Достоевского» [6].

Споры в связи с картиной Померанцева касались злободневного вопроса о задачах искусства. Рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей» писал, что только фельетонистам «Современного слова», склонным к обличительству и сочувствующим таким изданиям, как «Искра» и «Гудок», могла понравиться иллюстрация к «Запискам из Мертвого дома» [7]. В обозрении журнала «Время» «По поводу годичной выставки» в Академии художеств картина Померанцева обойдена молчанием [8]. В кругах передовой молодежи Академии художеств, тесно связанной со студенческим движением 1860-х годов, искавшей новые пути в искусстве, работа Померанцева не могла не получить признания. Померанцев был близок к И. Н. Крамскому и к его товарищам, четырнадцати протестантам из Академии художеств. Он, очевидно, бывал на литературных вечерах, где молодежь восторженно встречала автора «Записок из Мертвого дома».

Среди изображенных Померанцевым обитателей Мертвого дома в центре картины — Достоевский. Лицо писателя очень близко к фотографиям Достоевского начала 1860-х годов. Художник, несомненно, видел и слышал в его исполнении отрывки из «Записок из Мертвого дома». В 1863 г. картина Померанцева была на постоянной выставке Московского общества любителей художеств. Крамской просил своего друга М. Б. Тулинова сделать с картины фотографию «для помещения с нее гравюры в одном издании» [9].

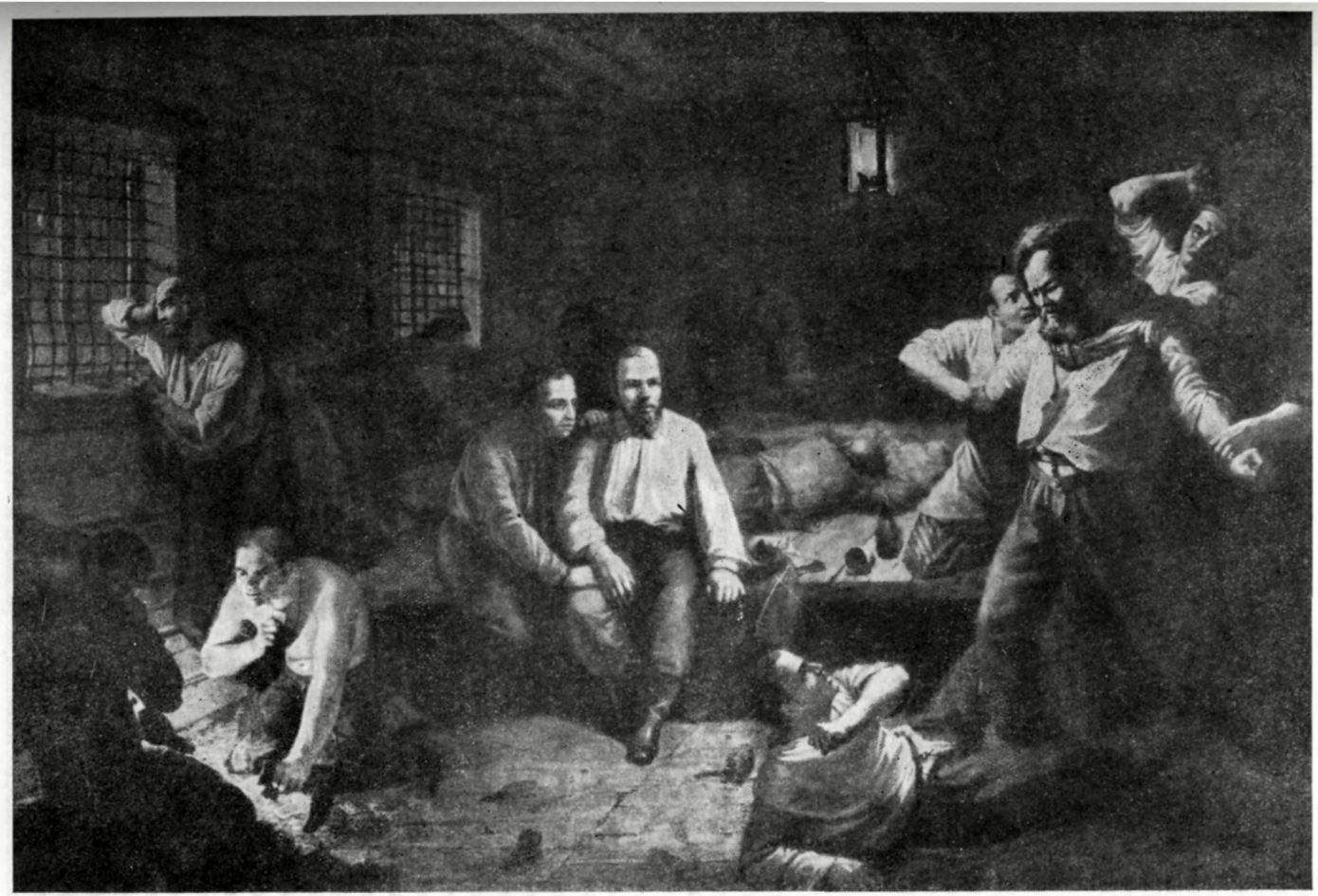
В 1865 г. Крамской исполнил графический портрет Померанцева [10]. Художники, знавшие Померанцева в Нижнем Новгороде, где он поселился по окончании Академии художеств, вспоминают: «Из его немногих рассказов можно было понять, что он был вхож в петербургскую художественную артель, некоторые члены которой, как известно, вошли впоследствии в товарищество передвижных художественных выставок» [11].

Картина «Праздник Рождества в Мертвом доме» хранилась долгие годы в Ленинградском музее Революции. В 1955 г. она была обнаружена Т. Г. Динесман и передана в Московский музей Ф. М. Достоевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Указатель художественных произведений годичной выставки имп. Академии художеств за 1861/62 академический год». СПб., 1862, стр. 20.

[2] «Указатель художественных произведений годичной выставки имп. Академии художеств за 1860/1861 академический год». СПб., 1861, стр. 23. — Картина находится в Художественном музее г. Горького.



«ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА В МЕРТВОМ ДОМЕ»
Картина (масло) К. П. Померанцева, 1862
В центре на нарах Достоевский
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

[3] «Выставка в Академии художеств за 1860/61 год».—«Время», 1861, № 10, Критическое обозрение, стр. 147, 153, 155.

[4] «Несколько слов об Академической художественной выставке в 1862 году».—«Современное слово», 1862, № 105, 10 сентября.

[5] «Выставка в Академии художеств».—«Отечественные записки», 1862, № 10, стр. 319.

[6] «По поводу статей о художественной выставке, помещенных в газете «„Современное слово"» (№ 104, 105)».—«С.-Петербургские ведомости», 1862, № 234, 27 октября.

[7] Там же.

[8] П. Ковалевский. По поводу годичной выставки.— «Современное обозрение».—«Время», 1862, № 10.

[9] Письмо И. Н. Крамского к М. Б. Тулинову 27 июня 1863 г.— И. Н. Крамской. Письма в двух томах. М., 1937, т. I, стр. 97.

[10] «И. Н. Крамской. Каталог выставки к столетию со дня рождения». М.—Л., 1937, стр. 56, № 218. Рис. Цв. каранд.

[11] Ф. С. Богородский. Нижегородские художники.—«Искусство», 1963, № 11, стр. 64—65.—См. также Н. Кондаков. Список русских художников к юбилейному справочнику имп. Академии художеств, т. II. СПб., 1914, стр. 150: «Константин Петрович Померанцев. Род 1835. Вольноприходящий ученик Академии художеств с 1850 по 1863 г. Получены медали в 1855, 1856, 1857, 1858 гг. В 1863 — звание художника по живописи исторической с правом на чин XIV кл.».

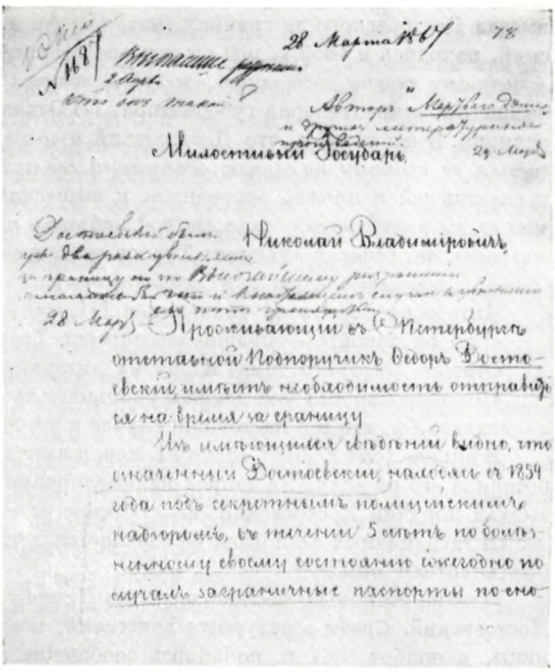
III. ДОСТОЕВСКИЙ В ДОКУМЕНТАХ III ОТДЕЛЕНИЯ

Долгие годы после каторги и ссылки петрашевцы находились под тайным наблюдением правительства [1]. Достоевского не спасло и офицерское звание, полученное им в Семипалатинске. В это время надзор над ним производился двумя ведомствами: военным и гражданским. Гражданский надзор особенно усилился, когда Достоевскому было разрешено «иметь жительство в Петербурге». В 1860-е годы III Отделением «о литераторе Достоевском» заводились дела и тогда, когда он покидал Россию. Унизительность своего поднадзорного положения писатель более всего ощущал каждый раз при обращении в полицию с просьбой о разрешении выезда из столицы. Впервые он обратился с подобной просьбой в мае 1862 г. Переписка Достоевского по этому делу, по справкам Министерства внутренних дел, была «утрачена во время пожара, бывшего в здании Министерства» [2].

Но о первой поездке Достоевского за границу в архиве III Отделения сохранились документы, свидетельствующие о том, что и вдали от России он не оставался свободным от надзора. По донесениям агентов, следивших за домом Герцена в Лондоне, Достоевский «свел там дружбу с изгнанником Герценом и Бакуниным» [3]. На основании этих донесений имя его было внесено в список «лиц, заподозренных в сношениях с изгнанником Герценом», причем Достоевский был отнесен шефом жандармов В. А. Долгоруковым к категории тех лиц, которые посещали Герцена не из простого любопытства, а участвовали «более или менее в преступных его намерениях» [4]. Как известно, Герцен, получивший через польских корреспондентов этот «лист имен 〈...〉 которых по возвращении будут задерживать» [5], опубликовал его в «Колоколе» [6]. Но об аресте Достоевского (как обычно отмечали биографы) в делах III Отделения документов не оказалось. Было «предложено при возвращении его из-за границы осмотреть его бумаги и книги», «в случае открытия 〈...〉 запрещенных книг, газет или подозрительных писем немедленно отобрать оные и препроводить в III Отделение» [7].

Достоевский еще находился за границей, когда, следуя этому приказу, разосланному всем таможням, петербургская таможня 13 июня 1862 г. перехватила пакет, адресованный неизвестным лицом в журнал «Время» М. М. Достоевскому «для передачи писателю Ф. М. Достоевскому». 16 июня в III Отделение был вызван М. М. Достоевский, при котором и был вскрыт пакет с рукописью «Дело земского ярыжки с приписью». Он объяснил, что рукопись могла быть прислана ему для публикации в журнале «Время» не известным ему чиновником Загребаевым, от которого он недавно получил письмо с просьбой напечатать эту рукопись, «сколько можно судить по слогу этого письма, я не думаю, что рукопись эта могла быть напечатана». Показать письмо чиновника М. М. Достоевский отказался, сказав, что затерял его. Рукопись (279 страниц) осталась

ОТНОШЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА Ф. Ф. ТРЕПОВА К ШЕФУ ЖАНДАРМОВ Н.В. МЕЗЕНЦЕВУ ПО ПОВОДУ ХОДАТАЙСТВА ДОСТОЕВСКОГО О ВЫЕЗДЕ ЗА ГРАНИЦУ, 1867 г.



Страница дела III Отделения «Об отставном поручике Достоевском» (№ 214, 13)

На полях карандашные надписи: «Кто он такой?» «Автор „Мертвого дома" и других литературных произведений»

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва

в III Отделении [8]. Она находится в деле «О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю возмутительных воззваний, ч. 82, о литераторе Федоре Достоевском».

Как известно, под № 230 в III Отделении были заведены дела специальной следственной комиссии, созданной в июне 1862 г. (одновременно с комиссией, выявлявшей участников пожаров) для расследования источников и путей распространения прокламаций и других революционных изданий. Братья Достоевские были известны этой комиссии еще в июне 1862 г. в связи с непропущенными цензурой статьями о пожарах (ч. 2 и 10; см. стр. 16—54 и 586 настоящ. тома).

Когда через год, в 1863 г., Достоевский вновь обратился в III Отделение с просьбой о выдаче ему заграничного паспорта, чиновники не могли разобраться: «который это Достоевский?—тот ли, который был сослан по делу Петрашевского, или бывший издатель газеты „Время"?» При наведении справок было дано «уточнение»: «Федор Достоевский, причастный к делу Петрашевского», и замечено, что из всех лиц, «осужденных по делу Петрашевского, кроме Достоевского, был увольняем за границу для сопровождения больной жены прапорщик Европеус» [9]. С просьбами о выдаче ему заграничного паспорта «для поправления расстроенного здоровья» Достоевский должен был обращаться к петербургскому генерал-губернатору.

В 1860-е годы эту должность исполнял А. А. Суворов, известный в кругах революционно настроенной интеллигенции как человек, способствовавший облегчению судьбы М. Л. Михайлова и других участников революционного движения. «Отстоял Суворов»,— писал о нем в письмах к друзьям Герцен, рассказывая о действиях петербургского генерал-губернатора в дни студенческих волнений [10]. Суворов же предупредил Достоевского, уверенного в возвращении ему всех гражданских прав после освобождения из острога, что он находится под надзором полиции [11]. Доклады Суворова о просьбе Достоевского по поводу отъезда за границу написаны с сочувствием к «самому отчаянному и безвыходному положению писателя», «страдающего припадками падучей болезни». И возможно, не без содействия Суворова Достоевский получал заграничные паспорта в 1862, 1863, 1864 (в то лето, имея разрешение, не выехал за границу в связи с болезнью брата) и в 1865 гг. Такое разрешение было выдано ему и в 1867 г. Петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов, «испрашивая разрешение» для

выезда Достоевского за границу, писал шефу жандармов Н. В. Мезенцеву: «Достоевский, находясь в 1859 г. под секретным полицейским надзором в течение 5 лет *по болезненному своему состоянию ежегодно получал заграничные паспорты* по сношению бывшего военного генерал-губернатора с III Отделением собственной его величества канцелярии. Имея в виду, что Достоевский *и ныне ходатайствует о дозволении отправиться за границу по случаю одержащей его падучей болезни, удостоверенной врачами* и служившей и прежде основанием к вышесказанным разрешениям, а равно и то, *что во все время нахождения его под надзором полиции он оказывался поведения одобрительного*, он, генерал-адъютант Трепов, не встречает со своей стороны *никакого препятствия к удовлетворению сего ходатайства*».

Интересна переписка чиновников III Отделения на этом письме:

«Кто он такой?»— спрашивает адресат Трепова (очевидно Мезенцев).

«Автор „Мертвого дома" и других литературных произведений».

«Достоевский был уже дважды увольняем за границу по высочайшему разрешению, полагалось бы, что и в настоящем случае к увольнению его нет препятствий» [12].

В апреле 1867 г. Достоевский с женой выехал за границу, Петербургская полиция потеряла его из виду. На запрос обер-полицеймейстера, «куда именно и на какой срок» выехал поручик Достоевский, иностранное отделение петербургской полиции отвечало: «*В заграничных паспортах не означается, куда именно в чужие края отправляются предъявители оных*» [13].

Однако несколько месяцев спустя в Петербурге уже стало известно, где находится Достоевский. Среди агентурных донесений, поступавших в III Отделение из-за границы, в ноябре 1867 г. появилось сообщение: «В числе экзальтированных русских, находящихся в Женеве, агент называет Достоевского, который очень дружен с Огаревым» [14]. Подобные донесения из Женевы, центра тогдашней русской политической эмиграции, не могли не обратить на себя внимание III Отделения.

«Что побудило III Отделение дать согласие на выезд Достоевского?»,— запрашивает управляющий канцелярией III Отделения граф П. А. Шувалов. Ему напоминают, что Достоевский был уволен за границу не без его ведома. Действительно, в канцелярии за № 1051 от 7 апреля 1867 г. находится документ, подписанный Шуваловым, о том, что увольнение Достоевского за границу «высочайше разрешено» и что «генерал-лейтенант Трепов уведомлен об этом». Шувалов приказывает «наблюсти за возвращением» Достоевского, и в фондах III Отделения заводится «Дело об осмотре при возвращении из-за границы отставного поручика Федора Достоевского» [15]. Оно значится по 3-й экспедиции, в ведение которой, обычно занимавшейся наблюдением за иностранцами, в то время перешли обязанности 1-й экспедиции по наблюдению за общественным и революционным движением и производству дознаний по политическим преступлениям.

В «деле» № 154 находится приведенная ниже переписка по установлению виновников, допустивших выезд Достоевского за границу в 1867 г., и последовавший в связи с донесением из Женевы («Выписка из заграничных сведений», л. 1) строжайший циркуляр (л. 2):

«При возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Федора Достоевского произвести у него самый тщательный осмотр и если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в III Отделение собственной его и. в. канцелярии, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это Отделение». Подписано управляющим III Отделением генерал-майором Мезенцевым. Циркуляры такого же содержания направляются «совершенно секретно» по всем «таможенным местам» — директору Департамента таможенных сборов, а в случае, если Достоевский поедет в Россию пароходом,— одесскому жандармскому штаб-офицеру, начальнику Феодосийского таможенного округа. Предписания об аресте Достоевского получили также николаевская и евпаторийская таможни [16].

Ю. Г. Оксман, публиковавший «секретные инструкции о Достоевском», полученные Одесским жандармским управлением, высказал предположение, что причиной таких строгих предписаний об обыске Достоевского могло быть известие о его связях с русской эмиграцией. Намек на это имеется в комментариях к письмам Герцена

М. К. Лемке, знакомого с «делом» № 154 [17]. Действительно, в этом небольшом, содержащем всего 5 листов «деле», находится разгадка того, почему Достоевский при возвращении своем в Россию сжег рукописи заграничного периода, не желая, чтобы они пропали так же, «как пропали все его бумаги при аресте в 1849 г.» [18]. Достоевского предупредили о предстоявшем обыске. «Я слышал, что за мной [велено] приказано следить. Петербургская полиция вскрывает и читает все мои письма〈...〉,— писал он в августе 1868 г. А. Н. Майкову.—Наконец, я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают (черт знает в чем), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать» [19].

Возвращались Достоевские в Россию в 1871 г. из Дрездена курьерским поездом, на который сели в Берлине. В Вержболове их задержали. А. Г. Достоевская вспоминала: «Как мы предполагали, так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое оставались, да еще кучка чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи...» [20].

С января 1873 г. Достоевский начал редактировать журнал «Гражданин», и, как свидетельствуют документы III Отделения, оно «не принимало на себя ответственность за будущую деятельность этого лица в звании редактора» [21], хотя в ходатайстве князя В. П. Мещерского говорилось, что «Достоевский как романист совершенно искупил то, чем был он как политический преступник в 1848 г.». Сам Достоевский также считал, что в 1870-е годы он заслужил «забвения его прошлого со стороны тех, кто могут ему это забвение даровать» [22].

Когда в 1874 г. вновь, после длительного перерыва, Достоевский хлопотал о заграничном паспорте, на циркуляре III Отделения в адрес петербургского градоначальника, разрешающего ему выезд за границу для лечения в Эмсе, графом Шуваловым была сделана приписка: «К сему долгом считаю присовокупить, что если Достоевский во все время нахождения в С.- Петербурге ни в чем предосудительном не был замечен, то возможно по возвращении его из-за границы возбудить о снятии с него такового надзора» [23].

Неизвестно, сколько лет собиралось бы III Отделение отменить надзор за Достоевским, если бы не некоторые мероприятия в Министерстве внутренних дел, оказавшие влияние на судьбу многих поднадзорных лиц.

Как и когда был снят надзор над Достоевским?

Долгое время биографы Достоевского считали, что писатель находился под надзором полиции до 1880 г. А. С. Долинин ссылался на воспоминания А. Г. Достоевской, утверждавшей, что Достоевский находился «под полицейским надзором почти всю жизнь» [24]. На основе знакомства с описью документов Министерства внутренних дел за 1880 г. Ю. Г. Оксманом было высказано предположение, что снятие с Достоевского надзора следует датировать 1875 г. [25]; Л. П. Гроссман оспаривал это мнение, называя 1879 г. [26]; В. С. Нечаева называла 1875 г., опираясь на документы Новгородского архива [27].

Каково было положение на самом деле?

В мае 1870 г. при Министерстве внутренних дел была создана специальная комиссия по пересмотру правил о полицейском надзоре и административной высылке в связи с поступавшими в Министерство записками из различных его канцелярий о том, что слишком много накопилось дел по наблюдению за поднадзорными, затрудняющих полицию и обременяющих канцелярское делопроизводство [28]. Министр внутренних дел А. Е. Тимашев писал Шувалову: «Есть возможность облегчить полицию и сократить делопроизводство о поднадзорных прекращением надзора над лицами, исправившимися в поведении, а также и над такими, в отношении которых изменились обстоятельства, вызвавшие их высылку» [29].

Комиссии было предписано: «рассмотреть подробно о каждом лице причины принятия административной против него меры», собрать справки «из производящихся в разных местах дел» и «проследить губернаторские о них аттестации» [30].

В комиссию начинают поступать списки поднадзорных из разных губерний. Многие губернаторы возражали против освобождения от надзора лиц, привлеченных по

«крестьянским беспорядкам». Особо рассматриваются списки польских повстанцев, и наиболее строго и внимательно идет просмотр ведомостей и дел о поднадзорных в Петербурге и в Москве.

12 октября 1874 г. в комиссию поступает из канцелярии петербургского градоначальника «Список лицам, которые, состоя в С.-Петербурге под надзором полиции разновременно с 1854 г., не были замечены в предосудительных поступках и представляются к освобождению от учрежденного за ними полицейского надзора» [31].

В списке 43 человека. За № 17 значится отставной подпоручик Федор Достоевский. В графе «за что подчинен надзору» указано: «По случаю дозволения ему проживать в С.-Петербурге, как сужденному в 1849 году по делу преступника Буташевича-Петрашевского» [32] (из петрашевцев в этом списке по Петербургу названы Ипполит Дебу и А. Европеус).

15 октября весь список направляется из 1-й экспедиции III Отделения — в 3-ю. Здесь должны сделать против имени каждого указание: «не встречается ли препятствий к освобождению поименованных в том списке лиц от надзора полиции» [33].

Наведение справок о Достоевском 3-й экспедицией по запросу 1-й производилось еще 10 мая 1874 г. в связи с его просьбой о разрешении выезда за границу для лечения в Эмс: «1-я экспедиция III Отделения просит 3-ю экспедицию представить справки, не имеется ли каких-либо неблагоприятных сведений о состоящем в С.-Петербурге под секретным надзором отставном подпоручике Федоре Достоевском, служащих препятствием к увольнению его за границу». 3-я экспедиция отвечала: «В 1872 г. по сношению Главного управления по делам печати об утверждении Достоевского редактором журнала „Гражданин“ со стороны III Отделения изъявлено согласие, более по 3-й экспедиции сведений нет» [34]. И теперь, в октябре 1874 г., 3-я экспедиция не упоминает никаких дел о Достоевском. Возле имени Достоевского в списке к освобождению от надзора указывается лишь одно: «Дело 1-й экспедиции № 214, ч. 13, 1849». Другие дела о Достоевском — дело 3-й экспедиции № 154 «Об осмотре Достоевского при возвращении из-за границы» и дело 1-й экспедиции № 230, ч. 82 «О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю возмутительных воззваний»—названы не были. Между тем лица, которые попали под надзор «за сношения с русскими выходцами Герценом и Огаревым» и «по прикосновенности к делу о распространении возмутительных воззваний», а также за сочувствие к студентам, арестованным «по поводу беспорядков в здешнем ⟨т. е. Петербургском⟩ университете», были из списка вычеркнуты (среди них В. А. Слепцов, Г. Е. Благосветлов и др.) [35].

В списке из 43 лиц, представленном петербургским градоначальником 15 октября 1874 г., на 28 февраля 1875 г. остается 36 человек. Из него генерал-адъютант Потапов вычеркивает еще 4 имени, «аттестуемых не вполне благонадежными». В списке остается 32 человека [36]. Отставной подпоручик Достоевский в этом списке значится под номером 13. Из писателей в том же списке названы отставной лейтенант Константин Станюкович и отставной коллежский регистратор Дмитрий Минаев. В поступавших в Министерство внутренних дел от Трепова списках лиц, «которые по представлению петербургского градоначальника могли бы быть освобождены от надзора», оказался и титулярный советник А. С. Пушкин. В канцеляриях Министерства внутренних дел и III Отделения стали наводить о нем справки. Оказалось: «тот самый, который стихи писал». С 1826 г. Пушкин находился под тайным надзором, при получении им звания камер-юнкера в 1834 г. «соответственного распоряжения» о снятии с него надзора не последовало. Так и числился он в списках поднадзорных и был представлен к освобождению от него одновременно с Достоевским! [37]

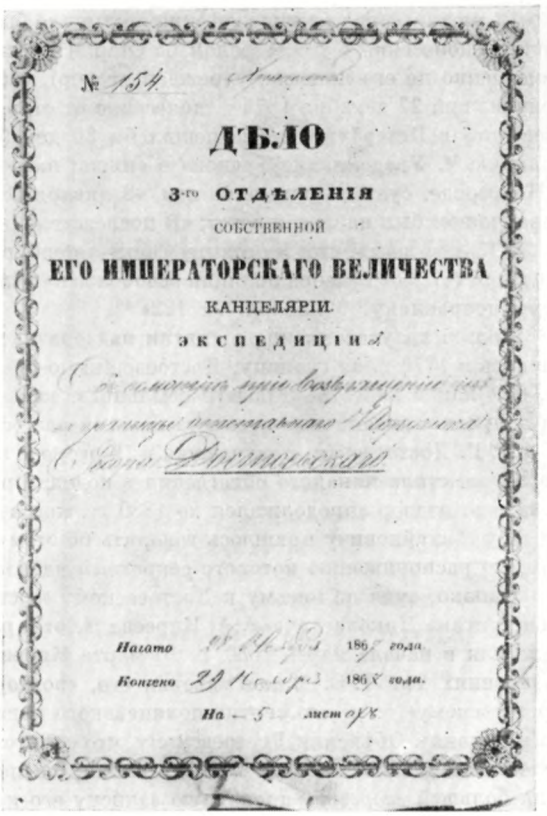
В списках 1875 г. были представлены и «классные художники», состоявшие под надзором с 1863 г. «за отказ от конкурса на золотые медали первого достоинства с целью составить особое общество под видом занятий художествами независимо от академии». Среди них Иван Крамской [38].

В апреле 1875 г., в то время когда в Министерстве внутренних дел еще шло рассмотрение списков о поднадзорных, Достоевский хлопотал о выдаче ему шестимесячного заграничного паспорта для выезда из Старой Руссы в Эмс. На полях отношения петербургского градоначальника Трепова к Мезенцеву по этому поводу появилась запись:

ДЕЛО III ОТДЕЛЕНИЯ «ОБ ОСМОТРЕ ДОСТОЕВСКОГО ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ ЕГО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ», 1867 г.

Обложка

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва



№ 154

ДѢЛО

3-го ОТДѢЛЕНІЯ

СОБСТВЕННОЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

КАНЦЕЛЯРІИ

ЭКСПЕДИЦІИ

Начато 1867 года

Кончено 29 Ноября 1867 года.

На 5 листахъ

«Достоевский был сужден в 1849 г. по делу Буташевича-Петрашевского, в 1856 г. он прощен. После того он был неоднократно увольняем за границу, так что признается вполне благонадежным. Ныне препятствий нет» [39]. Несомненно, такое мнение о благонадежности Достоевского сложилось не без влияния тех лиц из правительственных кругов, с которыми он сблизился в 1870-е годы. Немалую роль при рассмотрении списков поднадзорных играли «губернаторские аттестации». Трепов при своих ходатайствах о тех или иных лицах перед III Отделением не раз ссылался на А. Ф. Кони («в отношении нравственной и политической благонадежности ручаются лица мне известные») [40]. Возможно, не без совета Кони, немало помогавшего Достоевскому, Трепов и чиновники Министерства внутренних дел и III Отделения умышленно «забыли» числившиеся за Достоевским в 3-й экспедиции «дела», которые могли бы задержать освобождение его от надзора. Трепов благодарил Кони за «советы и указания», которые «всегда ставили дело и исполнителей неюристов на тот путь, которым легче всего достигалось столь нередкое трудное сочетание строгих требований закона с практической жизнью» [41].

Список 32 лиц, в котором значился Достоевский, был направлен для «надлежащих распоряжений» к статс-секретарю кн. Лобанову-Ростовскому в июне 1875 г. На отношении, к которому был приложен список, сделано указание: «Исполнить 21 июня». 25 июня генерал-адъютант Мезенцев уведомляет управляющего Министерства внутренних дел, что к освобождению от полицейского надзора лиц, представленных в этом списке, «препятствий со стороны III Отделения ⟨...⟩ не встречается», и просит министра сделать «соответственные распоряжения» к «приведению сего к исполнению» [42].

«Соответственное распоряжение» по списку 32 лиц, в том числе и о Достоевском, было сделано 9 июля 1875 г. «Федор Михайлов Достоевский на основании предложения г. управляющего Министерства внутренних дел от 9 июля прошлого года за № 2438 от надзора полиции освобожден»,—извещал Трепов новгородского губернатора 5 января 1876 г. [43]

Возможно, это уведомление и не поступило бы в новгородскую канцелярию, получавшую донесения о Достоевском из Старой Руссы (где с 4 июня 1872 г. за ним был, немедленно по его приезде, учрежден надзор), если бы сам новгородский губернатор, получивший 27 декабря 1875 г. донесение от старорусского исправника о выезде Достоевского в Петербург, не поспешил бы 30 декабря уведомить о том петербургскую полицию [44]. Уведомление Трепова о снятии наздора над Достоевским было получено в Новгороде, судя по помете на нем, «8 января 1876 года» [45]. Тут же, поверх строчек, карандашом был набросан текст: «В последствие рапорта вашего от минувшего декабря за № 97 даю знать, что по отзыву Санкт-петербургского градоначальника Федор Достоевский ⟨...⟩ от надзора полиции освобожден». Слева приписка: «Старорусскому уездному исправнику. 9 января. № 122» [46].

Дошло ли уведомление о снятии надзора над Достоевским в Старую Руссу? Собираясь в 1879 г. за границу, Достоевский по-прежнему «подавал просьбы» о паспорте, так как в качестве бывшего ссыльного, как рассказывал он Н. А. Любимову,— он получал «заграничные паспорта каждый раз особым, медленным путем» [47].

А. Г. Достоевская, получавшая в Новгороде все бумаги для этой поездки, очевидно, не заметила никакого облегчения в поднадзорном положении Достоевского и считала, что надзор «продолжался до 1880 г., когда во время Пушкинского празднества Федору Михайловичу пришлось говорить об этом с каким-то высокопоставленным лицом, по распоряжению которого секретный надзор и был снят» [48].

Однако, судя по письму к Достоевскому «состоявшего при е. и. в. великом князе Константине Николаевиче» А.А. Киреева [49], этот разговор мог иметь место еще в феврале или в начале марта 1880 г. 10 марта Киреев писал Достоевскому, что министр внутренних дел Л. С. Маков заверил его, «повторив ⟨...⟩ то, что он уже передавал Достоевскому», т. е. что снятие полицейского надзора над ним «не встретит *никакого* препятствия». Объясняя Достоевскому, что «никто, кроме него самого, не имеет права делать какие-либо заявления» от его имени, он просил Достоевского доставить к нему «для большей *скорости*» докладную записку его к министру [50]. В письме Киреева год не указан. А. Г. Достоевская датирует письмо условно, обозначив в скобках — 1879 г. [51]

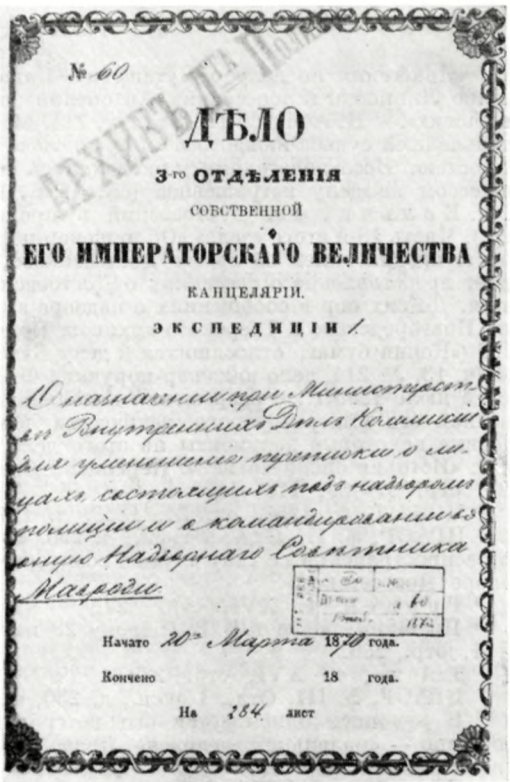
Л. П. Гроссман, очевидно, на основе указаний А. Г. Достоевской, датировал письмо Киреева к Достоевскому и докладную записку Достоевского в Министерство внутренних дел 1879 годом [52]. Документы III Отделения позволяют датировать и письмо Киреева и докладную записку Достоевского 1880 годом: отношение министра внутренних дел Л. С. Макова (№ 1168), содержавшее изложение докладной записки Достоевского, поступило в III Отделение 20 марта 1880 г. Маков писал: «Отставной подпоручик Достоевский обратился с прошением, в котором объясняет, что хотя на указе его об отставке не обозначено, чтобы он, проситель, состоял под надзором полиции, но надзор этот продолжается и поныне, так как об этом ему было сообщаемо III Отделением собственной его императорского величества канцелярии, каждый раз при обращении его с просьбами об увольнении за границу. Ввиду сего г. Достоевский ходатайствует о прекращении надзора за ним. Усматривая из дел Министерства внутренних дел, что отставной подпоручик Достоевский состоял в С.-Петербурге под надзором полиции как судившийся по делу Петрашевского, но от такового надзора освобожден в 1875 году, по соглашению с бывшим Главным начальником III Отделения собственной его императорского величества канцелярии генерал-адъютантом Потаповым, считаю долгом сообщить об изложенном вашему превосходительству, покорнейше прося почтить уведомлением о вашем по настоящему ходатайству г. Достоевского заключении» [53].

Мог ли Маков, обещавший Достоевскому через высокопоставленных лиц помощь в снятии надзора, продержать прошение Достоевского больше года? Несомненно, оно «для достижения желаемого результата», как писал Киреев, торопивший Достоевского подать заявление, было немедленно передано в III Отделение. И хотя Маков в своем отношении напоминал, что Достоевский по соглашению Министерства внутренних дел с III Отделением еще в 1875 г. был освобожден от надзора (возможно, он знал об этом, когда заверял Киреева, что никаких препятствий к освобождению Достоевского от надзора не будет), III Отделение для заключения о ходатайстве Достоевского вновь,

ДЕЛО III ОТДЕЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КОМИССИИ ПО ПЕРЕСМОТРУ СПИСКОВ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ ПОД НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ

Обложка

Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва



№ 60

ДѢЛО

3-го ОТДѢЛЕНІЯ

СОБСТВЕННОЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

КАНЦЕЛЯРІИ.

ЭКСПЕДИЦІИ 1.

О назначении при Министерстве Внутренних Дѣлъ Коммиссіи для уменьшенія переписки о лицахъ, состоящихъ подъ надзоромъ полиціи и о командированіи въ оную Надворнаго Совѣтника Мавроди

Начато 20 Марта 1870 года.

Кончено 18 года.

На 284 лист

как и в 1875 г., начинает наводить о нем справки. 1-я экспедиция запрашивает в 3-й сведения о Достоевском. На запросе помета: «литератор». «По 1-й экспедиции есть дело... по 3-й экспедиции сведений нет»,— следует ответ — такой же, как и в 1875 г. [54] В подготовленной в III Отделении подробнейшей «справке» о Достоевском, «сужденном в 1849 году за участие в замыслах преступника Буташевича-Петрашевского....», прошедшем каторгу, солдатчину и военную службу до 1859 г., указывалось: «В ноябре того же года последовало всемилостивейшее соизволение на дозволение Достоевскому жительства в С.-Петербурге, с продолжением за ним секретного надзора.

В июне 1875 года по соглашению министра внутренних дел с III Отделением Достоевский от такового надзора освобожден и затем о подчинении его вновь секретному надзору полиции переписки в III Отделении не производилось.

Федор Достоевский известный наш литератор, в последнее время он издавал газетный листок под названием „Дневник писателя“» [55].

По рассказам А. Г. Достоевской, так же рассуждали и «компетентные лица», уверявшие его, «что раз ему дозволено быть редактором и издателем журнала „Дневник писателя“, то нет сомнения, что секретный надзор за его деятельностью снят» [56]. Сам Достоевский, просивший о прекращении за ним надзора, писал, что высказываемые им на сотнях страниц убеждения политические и религиозные «не могут подать повод к тому, чтобы заподозрить его политическую нравственность», и напоминал, что со времени его помилования и возвращения его гражданских прав прошло 25 лет [57].

III Отделение ответило министру внутренних дел, что «со времени освобождения Достоевского в 1875 году от надзора в III Отделении не производилось никакой переписки о подчинении его вновь гласному или секретному надзору полиции» [58].

На этом заключении III Отделения дата — 31 марта 1880 г., и оно является последним документом в «деле» о Достоевском, начатом 22 апреля 1849 г. [59]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Донесения по делу о Буташевиче-Петрашевском и его товарищах. По разысканию Липранди и донесениям Антонелли о Буташевиче-Петрашевском и его сотоварищах».— ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214. Материалы этого дела дают представление о дальнейшей судьбе каждого из петрашевцев. Однако они никогда не публиковались полностью. Исследователями привлекались из него лишь документы, связанные с процессом по делу петрашевцев (см. П. Е. Щеголев. Петрашевцы. М., 1928; Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М., «Наука», 1971, и др.). Часть 13-я этого «дела» «Об инженер-поручике Достоевском», начатая 22 апреля 1849 г. предписанием об аресте Достоевского, содержит материалы о нем до 1880 г. и дает представление о сведениях о Достоевском, имевшихся в документах III Отделения. До сих пор в сообщениях о надзоре за Достоевским были использованы лишь дела Новгородского и Тверского архивов. Неполная копия «дела» 214 хранится также в ЛБ («Копии бумаг, относящихся к делу Буташевича-Петрашевского и его сотоварищей (ч. 13, № 214, дело инженер-поручика Ф. М. Достоевского), сняты А. Г. Достоевской в июле 1898 г., с разрешения начальника архива III (бывшего) Отделения собственной его императорского величества канцелярии. 47 бумаг») — ф. 93. I. 42. Впервые некоторые документы из этого дела были сообщены И. С. Зильберштейном в кн.: «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева». Л., «Academia», 1928, стр. 57—59, 116—117.

[2] ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 24, 1863, д. 127, л. 6.

[3] ЦГАОР, ф. III Отд., 1 эксп., д. 230. «О революционном духе народа в России и о распространении по сему случаю возмутительных воззваний», ч. 82, «О литераторе Федоре Достоевском».

[4] Герцен, т. XVI, стр. 427.

[5] Письмо Герцена к В. В. Стасову 28 июля/9 августа 1862 г. Там же, т. XXVII, кн. 1, стр. 250.

[6] Там же, т. XVI, стр. 229.

[7] ЦГАОР, ф. III, Отд., 1 эксп., д. 230, ч. 82, л. 2.

[8] В рукописи описывается быт петербургских канцелярий, главное действующее лицо — «маленький человек» Иван Иванович Мародеров, читатель журнала «Время»; дано множество ссылок на повесть Достоевского «Двойник».

[9] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, л. 67.

[10] Письмо Герцена к сыну 2 октября 1864 г.— Герцен, т. XXIII, кн. 2, стр. 514.

[11] «Письма», I, стр. 222, 406. Ходатайство Суворова о разрешении Достоевскому выезда за границу впервые опубликовано И. С. Зильберштейном в кн.: «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева», стр. 57—59.

[12] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, л. 78.

[13] ЦГИАЛ, ф. 1286, оп. 24, 1863, д. 127, л. 19;см. также ЛБ,ф. 93, I.42, лл.44—46 об.

[14] ЦГАОР, ф. III Отд., 3 эксп., д. 154, л. 1. «Дело об осмотре при возвращении из-за границы отставного поручика Федора Достоевского». Начато 28 ноября 1867 г.

[15] Там же, лл. 2, 3.

[16] «Секретные инструкции о Достоевском. (Материалы Одесского архивного фонда)».— «Творчество Достоевского». Сборник статей и материалов под ред. Л. П. Гроссмана. Одесса, 1921, стр. 36—38. Публикация Ю. Г. Оксмана. Документы эти ныне хранятся в Гос. Историческом архиве УССР, Киев, ф. 188 с/1252, д. 164 «Штаб офицера корпуса жандармов в г. Одессе». См. также «Крымская правда», 1965, 10 января.

[17] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем. Под ред. М. К. Лемке, т. XV. Пб., 1920, стр. 356—357.

[18] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 198.

[19] «Письма», II, стр. 129—130.

[20] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 198—199.

[21] Ю. Г. Оксман. Достоевский в редакции «Гражданина». (По неизданным материалам).— Сб. «Творчество Достоевского», стр. 67.

[22] В. П. Мещерский. Мои воспоминания, ч. 2 (1865—1881). СПб., 1898, стр. 175—176.

[23] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214.

[24] «Письма», III, стр. 330.

[25] «Жизнь и труды Достоевского», стр. 293.

[26] Там же, стр. 278—279.

[27] В. С. Нечаева. Когда был снят секретный надзор за Ф. М. Достоевским?— «Русская литература», 1964, № 2, стр. 172.

[28] ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., д. 60, «О назначении при Министерстве внутренних дел комиссии для уменьшения переписки о лицах, состоящих под надзором полиции, и о командировании в оную надворного советника Мавроди».

[29] Там же, л. 3 об.

[30] Там же, л. 4.

[31] Там же, л. 228.

[32] Там же, л. 229 об.

[33] Там же, л. 227.
[34] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, л. 82.
[35] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 60, л. 256. Список 36 лиц. Красным карандашом были вычеркнуты из списка 7 человек: Геннадий Лермонтов, Василий Слепцов, Головачевы (Алексей и Аполлон), Дмитрий Аверкиев, Григорий Благосветлов и Дмитрий Стасов, находившиеся под надзором полиции «за распространение нигилистической партии» и «по прикосновенности к делу о распространении возмутительных воззваний» (о Слепцове указано дело III Отделения, 3 эксп., 1865, № 91; о Благосветлове — дело 1 эксп., 1866, № 100, ч. 43).
[36] Там же, л. 257. Список 32 лиц.
[37] П. К. Панкратьев. К Пушкинскому юбилею.—«С.-Петербургские ведомости», 1899, № 104, 17 апреля. О снятии над Пушкиным надзора в 1875 г. стало известно в 1899 г.
[38] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 60, л. 266.
[39] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, л. 85.
[40] ЦГАОР, ф. 109, 3 эксп., д. 80, л. 205.
[41] ЦГАОР, ф. 564, оп. 1, д. 3471 (письмо Ф. Ф. Трепова к А. Ф. Кони 6 августа 1875 г.). См. там же, ед. хр. 3855 (письмо Ф. Эрисмана к Кони 18 сентября 1874 г.).
[42] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 60, л. 257.
[43] Новгородский областной архив. «Дело Новгородского губернатора 1-го стола об отставном подпоручике Достоевском». См. А. З. Жаворонков. Полицейское дело о секретном надзоре за Ф. М. Достоевским в Старой Руссе (1872—1876).— «Известия АН СССР». Отд. лит-ры и языка», 1965, т. XXIV, вып. 3, стр. 340.
[44] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, лл. 85, 86.
[45] А. З. Жаворонков. Указ. публикация, стр. 340.
[46] Там же, стр. 334.— Старорусское полицейское «дело» о Достоевском пока не найдено. Новый исправник, вступивший в Старой Руссе на место полковника Готского, столь унижавшего Достоевского, получил «дело» о нем в неполном виде; исчезло даже предписание новгородской канцелярии от 30 мая 1872 г. о надзоре за Достоевским.
[47] «Письма», IV, стр. 64.
[48] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 278.
[49] См. визитную карточку А. А. Киреева.— ЛБ., ф. 93, II. 5.69.
[50] «Жизнь и труды Достоевского», стр. 278—279.
[51] ЛБ, ф. 93, II. 5.69. Дата указана А. Г. Достоевской на обложке, в которую ею были вложены все письма Киреева к Достоевскому: «От 10 марта» (без обозначения года). (1879)».
[52] «Жизнь и труды Достоевского, стр. 278, 293.
[53] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, л. 87.
[54] Там же, л. 88.
[55] Там же, лл. 89—90.
[56] А. Г. Достоевская. Воспоминания, стр. 278.
[57] «Докладная записка отставного подпоручика Федора Михайловича Достоевского». Петербург, март 1879. «Письма», IV, стр. 336—337. См. также В. С. Нечаева. Три автографа Достоевского.—«Лит. наследство», т. 15, 1934, стр. 293 (докладная записка Достоевского датировалась 1880 г. на основе сведений о связях Достоевского с видными петербургскими сановниками).
[58] Действительно, никаких документов о надзоре за Достоевским в последние годы его жизни в Петербурге и во время выездов из столицы нет. В 1877 г. Достоевский выезжал в Курскую губернию. В Курском областном архиве документов о надзоре над Достоевским нет (см. ф. 1642 «Курское губернское жандармское управление», оп. 1, д. 1. Циркуляры III Отделения, 3 эксп. начальнику Курского губернского жандармского управления о наблюдении за лицами, обратившими на себя внимание правительства «преимущественно в отношении политической неблагонадежности»).
[59] ЦГАОР, ф. III Отд., д. 214, ч. 13, л. 91.

Н. С. ЛЕСКОВ О ДОСТОЕВСКОМ
(1880-е годы)

Сообщение К. П. Богаевской

Трудные и неровные взаимоотношения Достоевского с Лесковым не привлекали особенного внимания исследователей. На них коротко остановился сын Лескова в своей книге об отце [1]. Однако А. Н. Лесков, подчеркнув неприязненность писателей друг к другу, почти обошел молчанием положительное в оценке его отцом деятельности Достоевского.

Единственная обстоятельная работа по этому вопросу принадлежит В. В. Виноградову [2]. Статья его построена на бесспорном положении, что Достоевский и Лесков, «несмотря на кажущиеся внешние соприкосновения их литературных позиций на почве своеобразного народничества, оставались чуждыми друг другу по основному направлению творчества» [3].

Некоторые материалы, неизданные и забытые, остались за пределами статьи В. В. Виноградова [4]. О них и будет речь ниже.

1

На другой день после смерти Достоевского выходит в свет последний (январский) выпуск «Дневника писателя», посвященный главным образом прославлению религиозного духа русского народа.

31 января Лесков присутствует на выносе тела Достоевского из его квартиры (в Кузнечном пер.) и провожает гроб до ворот Александро-Невской лавры [5], а в ночь на 3 февраля взволнованно пишет А. С. Суворину:

«Уважаемый Алексей Сергеевич!

Не осудите меня за неодолимое желание написать вам несколько строк по поводу обстоятельства, которое сильно меня огорчило. К удивлению моему, мне сказали, что мне приписывают какую-то заметку о Ф. М. Достоевском, напечатанную в „Петербургской газете“ [6]. Я ее не видал и о сю нору не знаю ее содержания, а потому и не обратил на эти слова внимания, но потом пришел Лейкин и сказал, что и вы тоже имеете такую уверенность, которую он, однако, поколебал в вас, назвав вам настоящего автора. Значит, вы считали возможным, что я, написав статью против покойного, потом пришел к нему в дом и шел за его гробом... Это ужасно! Зачем вы сочли меня способным на этакую низость? Какой повод я дал для этого всею моею не бесчестною жизнию? 〈...〉 О Достоевском я имею свои понятия, может быть, не совсем согласные с вашими (то есть не во всем), но я его уважал и имею тому доказательства. Я бывал в критических обстоятельствах (о которых и вы частью знаете), но у меня никогда не хватило духу напомнить ему о некотором долге, для меня не совсем пустом (весь гонорар за „Леди Макбет“). Вексель этот так и завалялся. Я знал, что требование денег его огорчит и встревожит, и не требовал [7]. И вот, едва он умирает, как мне приписывают статью против него...»

И еще немало горьких слов говорит Лесков далее о клевете на него литературной братии, от которой он «много, много страдал» [8].

Вероятно, под впечатлением преждевременной смерти Достоевского у Лескова в эти дни созревает мысль посвятить памяти покойного писателя недавно задуманную им серию очерков о религиозном движении в фабричной среде.

Работать над этой серией, озаглавленной сначала «Кустарный пророк», Лесков начал еще при жизни Достоевского, получив от главного героя рукопись его записок.

16 октября 1880 г. Лесков писал редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому: «„Кустарный пророк“ будет готов к 20 или 10 ноября», и далее: «Но на работу у меня действительно есть спрос ⟨...⟩ в „Русской речи“ и в „Руси“, с которыми мне удобно, потому что я разделяю их взгляды на интересующие меня вопросы веры и народности ⟨...⟩ Два письма Аксакова очень интересны по его оценке моих скромных работок в вашем „Вестнике“. Ласка идет до того, что и говорить застенчиво, а гонорар предоставляет самому себе назначить свободною рукой, лишь бы были „праведники“» [9].

Общность взглядов на высокие моральные качества, связанные с религиозностью русского человека, и возникшее взаимное расположение вызвали у Лескова желание сотрудничать в газете И.С. Аксакова «Русь» (которая начала выходить 15 ноября 1880 г.).

Однако идейная близость автора с редактором была порой обманчивой. Аксаков не разделял антиклерикализма Лескова. Обличение духовенства, пропитывавшее насквозь сатиру Лескова, Аксакову было не по душе. Предполагая первоначально дать в «Русь» очерк «Дворянский бунт в Добрынском приходе», Лесков писал Аксакову 17 декабря 1880 г.: «...но боюсь, что вы уж очень за архиереев-то... Стоит ли? ⟨...⟩ Надо бы им открывать очи и „умалять их оную непомерную пыху“» [10].

Очерк же о «Кустарном пророке» вполне соответствовал требованиям Аксакова — «лишь бы были „праведники“». Недаром Лесков так характеризовал свое произведение в письме к Аксакову (11 февраля 1881 г.): «Писано в вашем духе, как сапоги на заказ».

Герой очерка Иван Исаевич говорил в действительности прямо устами самого Достоевского. Еще в детстве Иваня мечтал «*о счастии всечеловеческом*—о безгневности во едином богопознании» (гл. II); 16-ти лет он молил бога о послании «совершителя», способного соединить все религии, к делу, «которое, должно начаться с преславные державы Российские, ибо в том для Ивани не было сомнения, что только через нее может произойти святое дело — объединение всего мира»; он жаждал найти «путь ко всеобщему спасению всего мира через русских людей» (гл. III и IV). Позже Иван Исаевич поставил себе целью — создать «среднюю веру», которая «всех бы обобщила, согласила и всех спасла, сначала русских, а потом через них — все языки» (гл. VI).

Эти рассуждения простого крестьянина соответствовали мыслям Достоевского, выраженным в последнем выпуске «Дневника писателя»:

«Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово ⟨...⟩ Он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*» (XII, 436).

Строки эти напомнил своим читателям и Аксаков, назвав их «пророческими» (в примечании от редактора в газете «Русь») [11].

Первые сведения о «Кустарном пророке» встречаем в письме Лескова к И. С. Аксакову 9 февраля 1881 г. (из Петербурга в Москву) [12]:

«Работу для вас делаю и почти уже сделал. Это будет очерк социалистического движения среди рабочих петербургских фабрик и заводов. Они сделали удивительную штуку на текст Достоевского „нашему народу можно верить“,— они всё истолковали в смысле евангельского нестяжания и устроили кружок „нестяжателей“. Все, что зарабатывали, то и раздавали „слабым“, а себе „ожидали милости от господа“. Это длится с 1865 года и оставалось никому не известно до тех пор, пока „головщик“ бессребреников сам „пошел заявиться Мизенцову“ [13]. Тот его слушал и смеялся, а потом послал к митрополиту. Митрополит [14] и слушать не стал, а „списание“ их о средствах „возвеличить Россию очищением пути грядущему Господу“ (4 тома!!) — сдал в архив.

У меня все черновые этого поэтического бреда, который сам по себе интересен, но сердца этих людей „фабричного отребья“— еще интереснее. Именно „всем можно верить“,— всё способны перетолковать „во славу божию и славу России“. И не забудьте, что ведь все обеспорточнились до последнего лохмотья!.. И последнее у них обобрала *дама*, нигилистка, перешедшая в ирвингизм и сотрудничествовавшая у Цитовича в „Береге“ [15]... Все это курьезно, тепло и вам к масти. Называется это „*Кустарный пророк.— Религиозное движение в фабричной среде*“. Будет это просто, но

цельно и тепло, и, кажется, может способствовать изменению взгляда на „воспламенимость безнравственного фабричного элемента“.— Очерк объемом в 2—2½ листа. Если нужно скоро, и если мне верите, то можете начинать, не ожидая конца, и в таком разе напишите,— я вам тотчас вышлю начало, а потом и конец. Суть дела вы теперь знаете: фабричные — те же русские люди, стоющие доверия, а не „элемент социализма“. Эпиграф взят у Достоевского „можно верить“».

Через два дня — 11 февраля — Лесков продолжает:

«Ожидаю ответа и привета. Первую порцию (на один номер) дал переписывать. 14-го могу выслать. Называется так:

Фабричный пророк

очерк

(из рассказов о трех праведниках)

(Эпигр⟨аф⟩) „Нашему народу можно верить,— он стоит доверия“

Ф. Достоевский [16]

Отвечайте: все ли переписывать и присылать сразу,— или можно посылать по частям? Писано в вашем духе, как сапоги на заказ. Иного, более подходящего сюжета сейчас изобресть не могу. Рассказ о живом человеке,— *с его согласия*. Он старик, ткач.

Н. Л е с к о в»

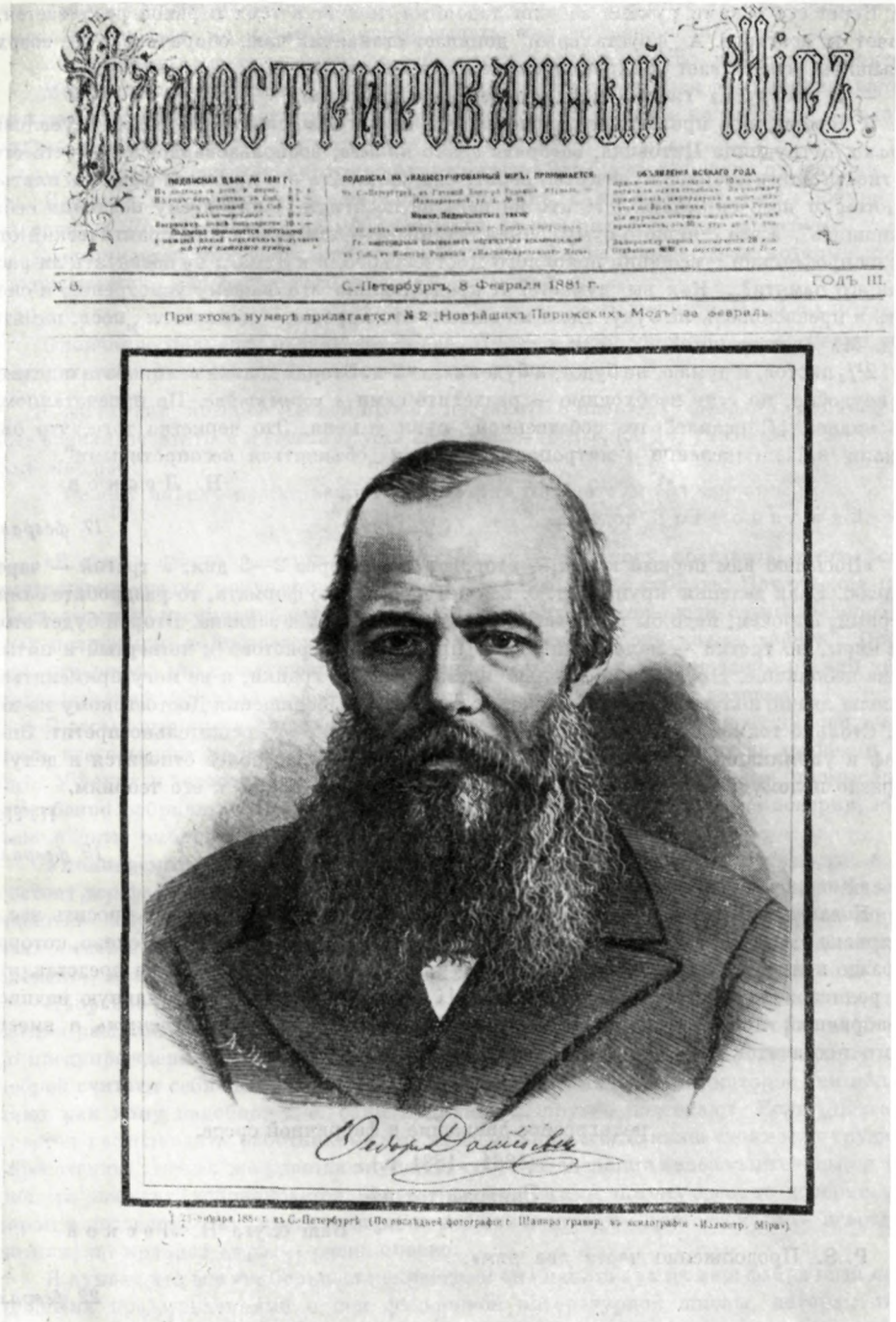
Дальнейшие письма Лескова к И. С. Аксакову посвящены той же теме.

13 февраля

«Я получил вчера ваше письмо от 11-го февраля [17], но еще прежде его получения предпринял все, что вы пишете, и как вы думаете. Первая долька переписывается; студентка, занятая этим делом, принесет тетрадку завтра (14); вечером я прочту и еще раз поправлю, а 15 или много что 16-го пошлю вам заказным письмом.— Затем задержки не будет. Делил я, имея в виду все, о чем вы пишете,— т. е. возможную цельность эпизодов; интерес, завостряемый к концу каждого отрывка, и размер, сообразно месту в издании. Это все мы знаем в тонкость; но другое дело *достоинство* рассказа. Вы меня немножко смущаете большими ожиданиями „художественности“... Рассказ будет может быть жив, может быть интересен,— несомненно оригинален и правдив и представит такую группу честнейших чудаков из самого „отребья“, что порою это даже невероятно, но все это развивается свитком, лентою, без апофеоза, даже без „кульминационной точки“.

Любителям настоящего, не раскрашенного духа народного это может нравиться, потому что тут все в своем соку, и умность, и темнота, и главное,— вера неодолимая, и стремление непременно обнять и спасти „весь мир“, без всякого о нем понимания. Пророк сам (ткач 60 лет) — это такая доброта и такой мечтатель, что подобного ему нельзя выдумать. Смирен без меры, но везде ведет себя с достоинством, у митрополита и у „генерала Мизенцова“, в славе, и в поношении, в которое он впал, когда разорил „до шпенту“ [18] всю „братию“, убедив их „обнищать до совершенства“. И все это в 61—67 годах, когда о них думают, что они социалисты и вот-вот „пойдут грабить“. А они только „поспешали изнищиться, раздавая имения своя, да освободится дух от стяжания“... И их-то вот не заметили ни народники, „ходебщики в народ“, ни полиция... „Генерал Мизенцов“, по крайней мере, хоть поговорил с ними, а Исидор и говорить не стал, а только „тонким гласом провещал: ступайте себе,— мне некогда“. Пророк теперь уже очевидно в умственном ослаблении, но все-таки прекрасен душою, но с ним есть „друг и его молодший брат“ Андрей Тимофеев, чернорабочий Казенного патронного завода,— это умница и энтузиаст веры. Оценки его „пророку“ удивительны. Он весело вспоминает, как тот, их, „любя, всех изнищил“, и сам подсмеивается, как они Христа ночью ждали в смертных рубашках, но потом вдруг одухотворяется и говорит:

— А за то жили-то, жили в какой чистоте! А он-то, он (т. е. пророк) — фрустальный старичек — сколь чист, сколь мужествен и преподобен!


Иллюстрированный Міръ.

№ 6. С.-Петербургъ, 8 Февраля 1881 г. ГОДЪ III.

При этомъ нумерѣ прилагается № 2 „Новѣйшихъ Парижскихъ Модъ" за февраль.

Ѳедоръ Достоевскій

† 28-го января 1881 г. въ С.-Петербургѣ. (По послѣдней фотографіи г. Шапиро гравир. въ литографіи «Иллюстр. Міра»).

ДОСТОЕВСКИЙ

Гравюра с фотографии К. А. Шапиро, Петербург, 1879

«Иллюстрированный мир», 1881, № 6, 8 февраля

Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

Берет его обеими руками за уши ладонями, целует в темя и рекой разливается, плачет от восторга. А „фрустальный" допивает стаканчик чаю, оборачивает его вверх донышком, обсасывает сахарок и смиренно говорит:

— Я вострубел глас божий, а теперь— как угодно.

К довершению прелести и цельности его завели к ирвингианам в дом Шувалова и *дама*, сотрудница Цитовича, *обобрала этого нищего*, воспользовавшись тем, что его честности благочестивое купечество верит, она заставила его принести фаю на платье и потом от него скрылась... Никто на него не посягнул,— народ ему позволил себя „изнищить", а эта с нищего суму сняла!.. Словом — эта кучка есть практический ответ на профетские [19] вещания покойного Достоевского, и я думаю: не посвятить ли рассказ его памяти?.. Как вы думаете? Я предоставляю это вашему усмотрению и спорить и прекословить не буду. Если по-вашему это хорошо,— допишите: „посв. памяти Фед. М. Достоевского".

$2^1/_2$ листов, я думаю, не будет, а будет *около* 2-х. Вторая долька великовата и делить ее неудобно, но если необходимо — разделите сами *в корректуре*. По напечатанному это виднее. „Списание" их собственной руки у меня. Это чернетка того, что они подали в III Отделение и митрополиту, желая „объявиться несопротивыми".

Н. Лесков»

17 февраля

«Посылаю вам первый кусок,— второй вышлю через 2—3 дня; а третий — через неделю. Если деления крупны, т. е. велики для вашего формата, то раздробите сами. Первый, впрочем, надо бы поместить как есть, чтобы была завязка. Второй будет этой же меры, но третий — маленький (одно „пришествие Христово"); четвертый и пятый тоже небольшие. Но, не зная, сколько влезает в ваши гранки, я не могу примениться и делю два по полулисту, и три — около $^1/_3$ листа.— Посвящения Достоевскому не хочу. Столько толков и от таких истолкователей, что мне это решительно претит. Эпиграф и упоминание о нем в первых строках — это гораздо более относится к делу и гораздо целомудреннее. Вся эта историйка есть *иллюстрация* к его теориям.

Н. Л.»

19 февраля

«Уважаемый Иван Сергеевич!

Позавчера я послал вам начало очерка, а сегодня спешу вдогонку просить вас о поправке *в заглавии*. Разговаривая с этими антиками, я услыхал от них слово, которое гораздо полнее и всестороннее,—вообще лучше выражает то, что должна представлять их религиозная эпопея: они *обнищеванцы*!.. Усердно вас прошу заглавную надпись „Фабричный пророк — из рассказов о трех праведниках" — *вачеркнуть*, а вместо этого поставить:

Обнищеванцы

религиозное движение в фабричной среде.

(1861—1881 г.)

Эпиграф тот же.

Ваш слуга Н. Лесков

P. S. Продолжение через два дня».

22 февраля

«Я очень рад и счастлив, если мне удается угодить вам. Вещь это тихая, но верная, бытовая, не вымышленная и потому для вдумчивого читателя должна иметь интерес. Чудаки, но чудаки теплые и живые. Серьезное и детское у них так мешается, что не разберешь. Пусть другие разбирают, а мне впору записать. Происшествие — совершенно напоминающее нравы петровской эпохи, как видим в розыскных делах XVIII столетия, напр., у Есипова [20], и между тем это было *сейчас*!..

Посылаю вам продолжение с усиленным дроблением. Здесь имеете на четыре номера. Это немножко вредит впечатлению, затягивая перелом повествования, ну да

иначе вам будет неудобно по объему. Еще, полагаю, будет номера на три. Написано все и переписывается, но я люблю переделывать еще по переписанному.

За намерение сказать что-то от себя очень благодарю: вы хорошо говорите [21].

Медицинская студентка (3 курса), добрая девушка, которая это переписывала,— при последних главах, когда ждут Христа, чтобы идти „с царем на теменях",— растрогалась и сказала:

— Как жаль, что *наши* этого не будут читать! Это бы им показало их ошибки.

Я сказал, что я вам передам ее слова. Они бедны,— им *все* дарят газеты и журналы. адресуя: в *Николаевский военный госпиталь, читальне женских врачебных курсов.*

Мне думается, что ваше слово, может быть, запало бы в иные души, которые, право, не так жестки, как о них говорят.

Ваш слуга Н. Лесков

Окончание получите недели через две. Пусть у меня уляжется.— Заглавие перечеркните сами,— я не знаю, какое из двух лучше».

С заглавием, которое Лесков просил поставить в письме 19 февраля, «Обнищеванцы» начали печататься в газете «Русь» 28 февраля 1881 г. (№ 16) [22]. Очеркам сопутствовал эпиграф:

«Нашему народу можно верить,— он стóит того, чтобы ему верили».

Федор Достоевский

«Я очень счастлив,— так начинал Лесков,— что могу поставить эпиграфом к настоящему очерку приведенные слова недавно почившего собрата. Почет, оказанный Достоевскому, несомненно, свидетельствует, что ему верили люди самых разнообразных положений, а Достоевский уверял, что „нашему народу можно верить". Покойник утверждал это с задушевною искренностью и не делал исключения ни для каких подразделений народной массы. По его мнению, *весь народ* стóит доверия,

В этом иные видят ошибку. Я не говорю о тех, которые отрицают духовную доблесть всего народа, но разумею тех, кои сортируют его и разделяют на худшее и лучшее. У таких в ассортименте оказывается народ пахатный и в отбросе промысловый и особенно фабричный. Последним будто бы нельзя оказывать того же доверия, какое можно дать рыбарям и ниварям.

Упоминаемый отброс, однако, очень серьезен по своей многочисленности: в нем состоят все фабричные и заводские люди, все ремесленники и кустари, настоящее исчисление которых упорно убегает от всех забот статистических комитетов, но вообще этих людей очень много и притом,—как иные уверяют,— это самый „воспламенимый элемент", которым в каждую минуту легко может воспользоваться „злая воля".

Напрасно скрывать, что как специально злая, так и специально добрая воля такой взгляд разделяют; и если первая стремится сделать сюда подсыл, то вторая заботится „о предупреждении и пресечении". Очевидно, что исполнители злой воли и слуги воли доброй считают себя здесь у самого центра опасного положения, которое они направляют как кому надобно, т. е. одни поднимают, другие подсекают. Если „подсылу" удается растолковать работникам, что их задельная плата ниже стоимости труда, то „пресечению" тотчас же удается внушить, что такие желания непозволительны, и фабричный „элемент" успокаивается. Иначе был бы бунт. А потому здесь то доверие, о котором в последние дни много говорили со слов покойного Достоевского,— невозможно или, по крайней мере,— очень опасно.

Я думаю, что все это большая неправда, и она накликана на наш фабричный народ ложными представлениями о нем фальшивой литературной школы, которая около двадцати лет кряду облыжно рядит нашего фабричного рабочего в шутовской колпак революционного скомороха. Народ, работающий на фабриках и заводах, в смысле заслуженности доверия, это — все тот же русский народ, стоющий полного доверия, и Достоевский, не сделавши исключения для фабричных, не погрешил против истины».

Лесков воспользовался эпизодами с «обнищеванцами», чтобы еще раз выразить свою любовь к русскому народу и веру в его великое предназначение. Однако эта вера, как и у Достоевского, была связана с активным неприятием идей социализма и полным непониманием роли пролетариата в будущем России. Вся эта история,— писал Лес-

ков,— «не свидетельствует же о „растленном и безнравственном элементе", каким любят представлять русского фабричного. О, нет, и сто раз нет! Это тот же самый цельный русский народ, с его восхитительным стремлением к добру и к вечности...» (гл. XVII).

Писатель несправедливо низко расценивал свой очерк «Обнищеванцы» с художественной стороны.

Лесков был требователен к себе и любил, как он выражался, переписывать все «*вдоль*» и «*впоперек*»[23]. «Я, ведь, ужасный копун и все должен себя выправлять да разглаживать»,— признавался он В. А. Гольцеву[24].

«Обнищеванцы» не принадлежат, конечно, к лесковским шедеврам, не выделяются они и среди его очерков. Желание рассказать поскорее историю событий наложило на них отпечаток некоторой стилистической небрежности, но встречаются здесь и лесковский юмор, и сатирические нотки, и порой лиризм.

В письме к Аксакову 13 февраля Лесков, как мы видели, выражал беспокойство о том, что его корреспондент ожидает от очерка большой «художественности». 12 мая он писал ему же, благодаря за щедрый гонорар: «...что касается достоинств рассказа, то я нахожусь не на вашей стороне, а на стороне тех, кому он *не* нравится. По крайней мере, я им вполне *не*доволен и даже зол за него на вас. На горе или на радость мою я имею досадливую впечатлительность, с которою не могу совладеть, а вы мне натрубили в уши такого пуризма, что мне невозможно писать *для вас*. Чтобы дать вам что-либо живое, я должен взять из того, что заготовлялось не собственно для вас, а *на волю*, или даже для кого-нибудь другого,— и я так и должен поступить „теперь или никогда". Я не могу быть спокоен, что бы у ваших читателей было понятие обо мне по напечатанному у вас *неудачнейшему* моему рассказу; это мне непереносимо, но исправить этого я не могу, потому что что бы я ни стал писать *для вас* — вы у меня опять будете „перед очами души" и все будете мне застить на живую пластику»[25].

Приблизительно через год после «Обнищеванцев» в заметке «Богословы и неоднословы», предназначавшейся для «Петербургской газеты», Лесков снова вспоминает Достоевского и Аксакова и их восприятие русского народа.

В «Церковно-общественном вестнике» 1 мая 1882 г. была опубликована проповедь, в которой говорилось, что праздники лучше проводить в Англии, ибо в России «под праздники» любят предаваться разгулу. Лесков пишет: «Верно это или неверно? Может быть, и неверно, потому что до сих пор еще наши люди *под праздники* больше всего *ходят в баню*,— а это нельзя счесть за разгул и за „*место развлечения*"; но во всяком случае посылка русских для научения благочестию в чужие краи — совсем противоречит тому, как представляет дело г. Аксаков и как представлял его покойный Достоевский»[26].

Проходит еще год, и мысли Лескова снова обращаются к Достоевскому. На этот раз поводом послужил выход в свет книги К. Н. Леонтьева «Наши новые христиане» (М., 1882). С позиций ортодоксального православия Леонтьев обвинял Достоевского и Льва Толстого... в ереси. Главная ересь обоих писателей, по мнению Леонтьева, заключалась в том, что они проповедовали «одностороннее», «сентиментальное, или розовое» христианство.

Глубоко возмущенный Лесков разразился резкой отповедью в двух статьях, напечатанных под общим заглавием «Граф Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, как ересиархи. (Религия страха и религия любви)» в начале апреля 1883 г. «Религия страха» — это мировоззрение Леонтьева, пугающего «концом мира» и оскудением человечности; «религия любви» —христианство Достоевского, Толстого и, несомненно, самого Лескова.

«Достоевский уже мертв и ничего не ответит...» — писал Лесков в начале первой статьи. Ответ от имени покойного он как бы взял на себя (Лесков не мог знать, что Достоевский сам собирался отвечать Леонтьеву на критику речи о Пушкине. Записные тетради писателя со строками об этом были опубликованы в том же 1883 г., но несколько позже).

Объектом яростного нападения Леонтьева послужила речь Достоевского на Пушкинском празднике 8 июня 1880 г. и в особенности выраженная в ней мысль — назначение «русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное». «В этих, бог

весть, насколько сбыточных, но очень добродушных и вполне невинных мечтаниях покойного Достоевского о будущем блаженстве всех народов, благодаря примирительному участию русского „*всечеловека*“, г. К. Леонтьев усмотрел, по крайней мере, две ереси», — писал Лесков.

Вторая «ересь» — любовь Достоевского ко всему человечеству, которую не мог понять Леонтьев, полный вражды к европейцам.

Лесков возражал: «...чувство общечеловеческой любви, внушаемое речью Достоевского, есть чувство хорошее, которое, так или иначе, стремилось увеличить сумму добра в общем обороте человеческих отношений. А это, бесспорно,— честно и полезно». «...Кто ближе к христианству,— спрашивает Лесков,— Достоевский ли с его космополитическою любовью, или г. Леонтьев и единомышленные ему с их ортодоксальною ненавистью? Что же касается лично нас, то голос совести велит нам стоять на стороне Достоевского...»; «...обвинение в ереси построено на основаниях несостоятельных и ложных»,— так заканчивает Лесков первую статью. В заключение он делает особую сноску:

«Пишущий эти строки знал лично Ф. М. Достоевского и имел неоднократно поводы заключать, что этому даровитейшему человеку, страстно любившему касаться вопросов веры, в значительной степени не доставало начитанности в духовной литературе, с которою он начал свое знакомство в довольно поздние годы жизни, и по кипучей страстности своих симпатий не находил в себе спокойности для внимательного и беспристрастного ее изучения» [27].

Любопытно сопоставить с этими словами слегка ироническую характеристику Лескова в записной книжке Достоевского конца 1880 г.: «Лесков. Специалист и эксперт в православии» [28]. Так оно и было в действительности. Однако, прекрасно зная историю русской церкви и все ее обряды, Лесков, в противоположность Достоевскому, ненавидел «церковную пошлость» [29]. «...я почитаю христианство как учение и знаю, что в нем спасение жизни,— а все остальное мне не нужно»,— писал он 11 марта 1887 г. Суворину [30].

2

Достоевского и Лескова разделяло также отношение к правительству и официальной религии. Лесков никогда не предполагал возможного слияния русского народа со «своим царем воедино» (XII, 438—439). В «Обнищеванцах» в виде исключения встречаются хвалебные строки по адресу Александра II, но эта похвала касается лишь отмены крепостного права.

Не принимая революционного движения тех лет, Лесков также не принимал и гонителей движения. Вот что писал он в «Обнищеванцах»: «Это делалось, как сказано, в начале шестидесятых годов, т. е. в то самое время, к которому относится самый сильный разгар нигилизма и усиленные попытки хождения в народ для пропаганды социалистических учений среди фабричных рабочих. Их считали готовыми к этим идеям нигилисты и правительство ⟨...⟩ Пусть хоть теперь, в это сравнительно позднее время, все видят, как „беспокойное фабричное отребье“ на усилия социалистической пропаганды отвечало страстным порывом к евангельскому совершенству ⟨...⟩ Это сто́ит отметить тем более, что этого только и не отметили ни возбудители социалистических движений, ни их предупредители и пресекатели. Ни одним, ни другим не нужна была истина,— и тем, и другим нужна была *ложь*, и они ее добывали в изобилии для вящего себя ослепления» (гл. XII).

А в 1883 г. Лесков примерно то же повторял в письмах к С. Н. Шубинскому: Боюсь, что ее ⟨Россию⟩ можно совсем возненавидеть со всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства...»; «Родину-то ведь любил, желал ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничание, либо пошлое пяченье назад, „домой“, то есть в допетровскую дурость и кривду» [31].

Здесь уместно напомнить об отношении Достоевского к Петру I. Неприязнь к деятельности Петра, якобы «с корнем» вырвавшего русскую культуру и поставившего

между властью и народом «лжеподобие» европейской цивилизации, прошла через всю публицистику Достоевского. Вероятно, эту точку зрения, а также монархическую утопию Достоевского последних лет и имел в виду Лесков, говоря о путанице и «попятном движении» в своем итоговом высказывании о «покойном собрате». 27 мая 1893 г. Лесков писал критику М. О. Меньшикову:

«Мне *лично* вы приносите огромное утешение, потому что я любил правду и независимость, и вижу человека, который любит то же самое и отлично умеет разобраться в сплетениях, в которых мы (по новости дела) часто путались, а иные и совсем запутались (например Писемский, Достоевский, Всеволод Крестовский и еще кое-кто). Поступали по пословице: „Осердясь на вошь — кожух в печь“ ⟨...⟩. Но если бы Ф. М. Достоевский пережил событие, случившееся вскоре после его смерти [32], то этот в своем попятном движении был бы *злее* и наделал бы огромный вред по своему значению на умы, покорные авторитету и несостоятельные в понимании „веяний“» [33].

Изображая «праведников», Лесков смотрел трезвее Достоевского на душевные свойства русского крестьянина. В некоторых случаях он даже иронически воспринимал преклонение Достоевского перед «народом-богоносцем», у которого следует учиться.

В «Товарищеских воспоминаниях о П. И. Якушкине» (1884 г.), рассуждая о том, что было бы, если бы Якушкин не умер так рано, Лесков пишет:

«Одно могло его удивить, что те самые его народнические принципы, за которые его осмеивали „чистые литераторы“ *белой кости*,— теперь приняли они же сами, и притом с таким рабским подражанием Якушкину, что прямо посылают воспитанных людей „учиться у мужиков“. Резоны Якушкина, значит, свое взяли...

Довольно трудно сказать, в какой бы теперь компании очутился Якушкин? Судьба сдвинула с места светоч его жизни ранее, чем настало время для таких смятений, и тем избавила его от выбора, который, кажется, несколько затруднял Достоевского» [34].

В статье 1886 года «О куфельном мужике и проч.», напечатанной тогда же, Лесков выступил на защиту от критиков своего любимого писателя, Льва Толстого, которого он всегда предпочитал Достоевскому. Здесь Лесков снова коснулся высокой нравственности русского человека, и, как всегда, обходя его свободолюбивые чаяния. Несколько страниц он посвятил воспоминаниям о встречах с Достоевским в зиму 1875/76 г. (у вдовы А. К. Толстого):

«...впервые ⟨Достоевский⟩ и провещал нам о „куфельном мужике“, о котором до той поры в светских салонах не упоминалось ⟨...⟩ Для многих это затрапезное лицо было полно сначала непонятного, но обидного или по крайней мере укоризненного значения, а потом для иных оно стало даже признаком угрожающего характера.

Это так сделал или приуготовил Достоевский».

Живо изобразил Лесков разговоры и советы Достоевского светским дамам:

«Ступайте же к вашему *куфельному мужику* — он вас научит!

(Вероятно, желая подражать произношению прислуги, Достоевский именно выговорил „куфельному“, а не кухонному.)

⟨...⟩ ступайте к куфельному мужику.

— Чему же он меня научит?

— Он? Он вас научит *всему*!— пояснил Достоевский.

— Чему? чему это всему?— добивалась дама.

— Жить и умереть,— молвил Достоевский».

Далее, говоря о Б. М. Маркевиче, который повторял эти слова Достоевского, Лесков пишет:

«...оба они унесли тайну учительного значения куфельного мужика с собою в могилу, а светские люди остались в недоумении, и, отчасти, в некотором страхе. И вдруг кого-то осенила мысль, что куфельный мужик — это „указание предосторожности“ ⟨...⟩ Но являлись люди спокойного ума и уверяли, что его в комнаты не пустят,— он все будет на кухне.

И как раз — вдруг все случилось иначе! Чего не допускали и чего не опасались, это-то и случилось. Чем Ф. М. Достоевский, как чуждый пришлец в большом свете, только пугал, то граф Л. Н. Толстой сделал. Как свой человек, зная все входы и выходы в доме, он пропустил и ввел кухонного мужика в аппартаменты ⟨...⟩ Иван Ильич,

РОМАН
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
Обложка издания на греческом языке (Афины, б. г.)



оставленный всеми и сделавшийся в тягость даже самым близким родным, нашел истинные, в простонародном духе, сострадание и помощь в одном своем *куфельном* мужике. Таким образом, пришел этот предвозвещенный Достоевским мужик, не принеся с собой ни топора, ни ножа,— он принес одно простое доброе сердце 〈...〉 Граф Л. Н. Толстой своим рассказом о смерти Ивана Ильича ответил на вопрос: чему может научить куфельный мужик, — и ответил превосходно 〈...〉 Но этому ли куфельный мужик должен был научать по программе Достоевского 〈...〉 это остается открытым вопросом, который гр. Толстой разрешил в своем вкусе,—может быть, совсем иначе, чем тот, кто его поставил. По огромному и несогласимому разномыслию, которое граф Л. Н. твердо и решительно выражает против учительства Достоевского, следует думать, что толстовский кухонный мужик научает, может быть, совсем не тому, чему должен бы научить куфельный мужик, как представлял себе Достоевский» [35].

В письме к А. С. Суворину 24 января 1887 г. Лесков так объяснял причину появления своей статьи не в «Новом времени»:

«„О куфельном мужике“ 〈...〉 пришлось печатать в „Новостях“, потому что у вас не удалось бы рассказать правды о Достоевском. Я уже привык слоняться, где бы только просунуть то, что считаю честным и полезным» [36].

В данном случае Лесков не ошибался. «Новое время» в 1880 г. защищало Достоевского от нападок «Вестника Европы» [37]. Несколько ироническое изображение его в великосветских салонах Суворин, вероятно, не пропустил бы в своем органе.

Еще раз вернулся Лесков к этой теме в не изданном до сих пор очерке начала 1891 г. «Неоцененные, услуги. Отрывки из воспоминаний». Говоря об авантюристе Ашинове и его красном словце — «Шерше ля хам», Лесков вспоминает:

«Признаюсь, мне когда-то доставляло не малое наслаждение слушать рассказы о том, как Достоевский в доме поэта Толстого гнал молодую барышню и образованных людей на кухню — „учиться к кухонному мужику“. Его не послушали: барышня

У—кова предложила ему самому пойти и поучиться у кухонного мужика вежливости. Вот это самое сподручное „шерше ля хам“» [38].

И, наконец, находим еще упоминание имени Достоевского в неизданных рукописях Лескова. Оно относится к 1887 г. В начале незаконченного «рассказа кстати» «Московское привидение» он пишет:

«Давно и бесспорно признана сила таланта, преодолевающая самую усердную и кропотливую работу разума. Писано об этом много, доказательно и понятно. Литература об этом большая, но в последние дней наших ее еще раз коснулся талантливый человек и оживил ее новым прикладом. Я говорю о покойном Достоевском, у которого на сей предмет вытекло такое сравнение: лежит где-то куча глины. Все ходят мимо и видят — глина, куча, безобразие. Кто-нибудь ступит ногою, и куча делается еще безобразнее. Но вот подходит мальчик, в котором есть та творческая искра, которая называется дарованием или талантом. Он присел к глине, послюнил пальцы и начал лепить... Бог его знает, что он такое вертит... Сначала долго ничего не заметно, но вот все взглянули и с удивлением воскликнули: „Глядите! — это морда!“

И с той поры это уже не „куча“, а это „морда“.

Такой оборот дело восприняло от прикосновения к нему даровитой руки» [39].

До конца дней сохранял Лесков теплое воспоминание об эпизодическом сотрудничестве в «Эпохе» в начале своего литературного пути. 12 апреля 1888 г. он писал Суворину по поводу хорошего приема последним новеллы «Прекрасная Аза»:

«... такое сочувствие редактора и мне нужно и дорого,— даже очень дорого. Это напоминает отношение Достоевского при печатании „Леди Макбет“ ...» [40]

Как видим, мысли о Достоевском упорно сопровождали Лескова. Чем это можно объяснить? Не ощущал ли Лесков сходство в их положении в литературе и общественной жизни? Ни тот, ни другой не были полностью приняты и поняты ни реакционными кругами общества, ни тем более приверженцами социалистического учения.

На основании вышеприведенных материалов можно сделать определенный вывод: в идейных и творческих взаимоотношениях Лескова и Достоевского влечение друг к другу сменялось отталкиванием, понимание — отчуждением, симпатия — антипатией. Одного лишь никогда не было — равнодушия.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В бумагах Лескова сохранился черновик одной неизданной заметки 1884 г., связанной с именем Достоевского и «Новым временем» [41]. Она предназначалась, вероятно, для «Петербургской газеты» или «Новостей», но не была напечатана из-за явной политической нецензурности.

Приводим ее текст:

ГАЗЕТНОЕ МЕЛЕВО

Опять на чеку любопытный литературный спор, в котором «Новое время» в два дня кряду перевернулось на оба бока.

Началось с того, что в последнем политическом процессе в числе обвиненных был один штаб-офицер [42]. «Московские ведомости» сделали по этому случаю обобщение,— что порча коснулась уже армии. «Новое время» (имея склонность находить прекрасным все, что скажут «Московские ведомости») сейчас же отметили и подчеркнули упомянутые соображения, а чтобы и самим не черпать все из чужого колодца, пошли доставать из своего запасного поставца кое-что «вчерашнее» и подогревать. Из вчерашней провизии у них более всего в запасе премудрость Достоевского. Сейчас они хватили от нее кусок, подогрели и 17 октября подали публике «хронику» с рассуждением, что все наговариваемое на армию для них и не дивно;— что этого даже надо было ожидать, что глубокие умы это и предусмотрели, и предсказали... Вот, например, Достоевский,— он это «предсказал».— Где?—А в «Бесах». Их надо ввести как учебный предмет и делать экзамены из «Бесов». За это «губернаторы и вообще начальст-

вующие были бы благодарны, ибо многие из них никогда не читали „Бесов", избегая скуки, хотя читали Щедрина...».

Нововременский хроникер напоен настоящим духом: он тотчас* «вспомнил о „Бесах", прочитав статью „Московских ведомостей" о последнем политическом процессе. *Они справедливо ужасаются* тому, что пропаганда коснулась армии, они считают это *явление новым* [43]. Увы, это не ново. Уже процесс Суханова [44] доказал, что это участие явление не новое. А Достоевский *предсказал* это в „Бесах", в 1871 году, то есть тринадцать лет тому назад. Главный организатор, Петр Верховенский, имеет у себя преданного исполнителя „офицерика Эркеля". „Эркель был такой „дурачок", у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатически, младенчески преданный „общему делу", а в сущности Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции... Исполнительная часть быть потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры,— о, конечно, не иначе как ради „общего" или „великого" дела. Но это было все равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее иначе, как слив ее с самим лицом, по их понятиям, выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый, добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова. .»

«Вот что говорил Достоевский об этом „офицерике" в то время еще, когда военный элемент совсем отсутствовал в политических процессах. С того времени много воды утекло и Эркель мог вырасти и до полковника, который фигурирует в процессе тоже с немецкой фамилией».

«Вечная история: художнику, знающему человеческую душу, гораздо меньше верят, чем канцелярской записке, чем узкому взгляду какого-нибудь секретаря канцелярии...»

Очевидно требовалось, чтобы уже «тринадцать лет назад»,— с тех пор, как Достоевский «предсказал»,— сейчас и браться, а не верить какой-то «записке»... А теперь уже — «с того времени много воды утекло и Эркель мог вырасти до полковника».

17 октября все читали это в 3103 № «Нового времени» и иные думали:

—Эки дошлые! — все раскопают... Так оно и есть... Достоевский все предсказывал... Его надо было слушать.

Но между 17 и 18-м октября над Петербургом пронеслась ночь,— очень холодная, ветреная ночь, гнавшая воду встречь. Облака летели шибко, то открывая луну, то затеняя ее слева. С брандвахты производились выстрелы, возвещавшие, что вода быстро идет выше линии... Обитатели низких подвалов не гасили своих грошовых свечек, а на Итальянской [45] в редакции «Нового времени»... переставляли мельницу... С мелкой крупчатки жернов поставили на крупный раструс, и 18 октября в № 3104 подают такой перемол:

«Опасные обобщения» — «Заметка „Московских ведомостей" об участии офицеров в преступлениях нигилистической крамолы наводит на серьезные размышления. *Мы никогда не позволяли себе забывать ту осторожность, которая необходима при распространении преступления одного лица на всю корпорацию*».

И нововременцы начинают упрекать «Московские ведомости» что те «делают историческую ошибку». Нововременцы ⟨начинают⟩ припоминать им Лаврова [46], Дубровина [47], Суханова и других, включительно до Аргольда, Сливицкого и Сахновского [48], вины которых относятся еще к 1863 ⟨!⟩ году. «Вчерашнее» у нововременцев не пошло дальше этого, а кажется могло бы идти не только до 1825 года [49], но и до «смутного времени», когда «вожди перебегали из лагеря в лагерь к тушинскому вору». И это не было предречено Достоевским... Но все это ушло мимо памяти и даже мимо желания нововременцев как-нибудь согласить то, что вчера еще ими наговорено под впечатлением «Бесов», из которых «надо экзаменовать» губернаторов, читающих Щедрина... «Всего более надо бояться обобщений»,—пишет 18 октября «Новое время».— Это «соображения, которые мы считаем полезным напомнить „Московским ведомостям".— От грошовой свечки Москва горела»... Так эти вертуны дошли и до «грошовой свеч-

* «вспомнил ∞ канцелярии...»— *газетная вырезка, вклеенная в текст статьи.*

ки», которую они сами никогда не зажигают, потому что «никогда не позволяют себе забывать осторожность»,— а вот «Московские ведомости», те де опасно ходят с «грошовой свечкой».

По газетным обычаям такие выхилясы и выкрутасы называются *полемикою*, и иногда извиняются будто ее требованиями, но простой, с здравым смыслом человек, послушав это пустомельство, пожалуй, сказал бы:

— «Эх ты, мелево, мелево! — вразуми, ты себя хоть отселева!»

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 290—293.

[2] В. В. Виноградов. Достоевский и Лесков в 70-е годы XIX века.— В его кн.: «Проблема авторства и теория стилей». М., 1961, стр. 487—555 (впервые: журн. «Русская литература», 1961, № 1, стр. 63—84; № 2, стр. 66—97).

[3] Там же, стр. 487.

[4] Хотя В. В. Виноградов и указал в заглавии своей статьи «в 70-е годы XIX века», на самом деле он охватил материал гораздо шире, вплоть до 1890-х годов *.

Сравнительно недавно И. В. Столярова доказала принадлежность Лескову анонимного обозрения (в «Вечерней газете», 1869, 1 января), посвященного разбору еще незаконченного романа «Идиот» («Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та», серия филолог. наук, вып. 72, 1968, стр. 224—229). Эта рецензия также построена на противоречивой оценке Лесковым творчества Достоевского.

[5] Об этих проводах Лесков вспоминает в очерке «По поводу „Крейцеровой сонаты"» в 1890 г. (Н. С. Лесков. Собрание сочинений, т. IX. М., 1958, стр. 32.— В дальнейшем сокращенно: Собр. соч.)

В повести «Интересные мужчины», гл. 14 (1885 г.) Лесков назвал похороны Достоевского «событием в истории» (Собр. соч., т. VIII, стр. 95).

[6] Речь идет об анонимном некрологе Достоевского, помещенном в «Петербургской газете» 30 января 1881 г., № 25. Автор его до сих пор не известен.

[7] Рассказ Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» был впервые опубликован в журнале Достоевского «Эпоха», 1865, № 1. Гонорара за нее, видимо, в связи с финансовыми затруднениями редакции, Лесков не получил.

20 мая 1867 г. он писал Е. П. Ковалевскому: «Векселя своего на г. Достоевского я не представляю, потому что литератор этот нынче, как говорят, сам в затруднительных обстоятельствах...» (Собр. соч., т. X, стр. 266).

[8] Собр. соч., т. XI, стр. 249—251.

[9] Там же, т.X, стр. 472—473. Известно лишь одно из упомянутых писем Аксакова к Лескову, 10 октября 1880 г. («Исторический вестник», 1916, № 3, стр. 792—793). На подлиннике помета Лескова: «80 (начало сближения)».— ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 193.

[10] Собр. соч., т. X, стр. 475.

[11] «Русь», 1881, № 16, стр. 22, сноска.

[12] Письма Лескова к И. С. Аксакову хранятся в ИРЛИ (ф. 3, оп. 4, ед. хр. 337). Несколько строк из писем 9, 13 и 17 февраля неточно процитированы в кн. М. С. Горячкиной «Сатира Лескова». М., 1963, стр. 112, 113. Одна фраза из письма 19 февраля — в кн.: В. А. Гебель. Н. С. Лесков. М., 1945, стр. 169.

[13] Николай Владимирович *Мезенцев* (1827—1878) — щеф жандармов и начальник III Отделения; убит 4 августа 1878 г. С. М. Степняком-Кравчинским.

[14] Исидор, митрополит Новгородский и С.-Петербургский (Яков Сергеевич Никольский; 1799—1892). Свидание главы «обнищеванцев», Ивана Исаевича, с Мезенцевым и с Исидором подробно описано Лесковым в XXIV гл. очерка.

[15] О посещении Иваном Исаевичем заинтересовавшихся им членов петербургской «апостольской общины» ирвингиан и о неблаговидном поступке «апостольской сестры», сотрудницы «Берега», Лесков написал в XXV главе «Обнищеванцев».

[16] Слова, взятые эпиграфом, Лесков или процитировал по памяти, или, вернее, изменил для большей выразительности. Достоевский пишет в последнем выпуске «Дневника писателя» (январь 1881 г., глава первая):

«Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его» (XII, 438).

[17] Это письмо Аксакова к Лескову не дошло до нас.

---

* В то время, когда настоящий том находился в производстве, вышла статья Е. М. Пульхритудовой «Достоевский и Лесков. (К истории творческих взаимоотношений)». — В сб.: «Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство». М., 1971, стр. 87—138.—Эта обстоятельная статья построена исключительно на изданных материалах.

[18] Шпент — «шиш, пустышка, ничего»— калужское выражение (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV. СПб.— М., 1909, стб. 1466).

[19] *профетские* — пророческие (от франц. слова prophète — пророк).

[20] Лесков имеет в виду труд Г. В. Есипова «Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии». СПб., 1861—1863.

[21] К заглавию «Обнищеванцы» (в № 16 «Руси») Аксаков сделал примечание: «Читатели, конечно, оценят как литературное достоинство этого очерка, так и глубину и красоту содержания. Здесь нет ничего вымышленного, все истина». Далее была упомянутая выше сноска Аксакова о «Дневнике писателя».

[22] Продолжение очерков печаталось в «Руси», №№ 17—21, 24, 25 (с 7 марта по 2 мая 1881 г.). Лесков поместил «Обнищеванцев» также в своем сборнике «Русская рознь», вышедшем в свет в Петербурге в мае того же года. С тех пор они нигде не перепечатывались.

На «Обнищеванцев» не обращали внимания исследователи творчества Лескова. О них упоминали между прочим только Л. П. Гроссман («Н. С. Лесков. Жизнь — творчество — поэтика». М., 1945, стр. 7) и М. С. Горячкина («Сатира Лескова», стр. 112—113).

[23] Письмо к С. Н. Шубинскому 16 октября 1880 г. (Собр. соч., т. X, стр. 472; ср. т. XI, стр. 316—317). Вообще Лесков неоднократно сообщал о взыскательности к своему творчеству в письмах к разным лицам.

[24] Письмо к В. А. Гольцеву 4 июня 1894 г. (Собр. соч., т. XI, стр. 585).

[25] Неиздано.— ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, № 337. В октябре 1881 г. Лесков поместил в «Руси» своего прославившегося впоследствии «Левшу» (№№ 49—51).

[26] Неиздано. Черновой автограф, сверху озаглавленный «Из жизни».— ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 46; датируется 1882—1885 гг.

В. В. Виноградову, как и другим исследователям, остались неизвестными строки из одной незначительной рецензии Лескова того же 1882 г. Строки эти возвращают читателя к полемике Достоевского с Лесковым 1873 г. («Дневник писателя» 1873 г. X. Ряженый.— XI, 79—92), которую как раз разбирает в своей статье В. В. Виноградов. Разгромив вирши некоего Г. М. Швецова, Лесков так заканчивает отзыв:

«Подписано: „Сочинитель-самоучка“, из чего, может быть, следует заключить, что Г. М. Швецов, написавший „Венок“, и Г. М. Швецов, написавший давненько прежде этого очень несостоятельное сочинение по бухгалтерии, совсем разные лица. Этим устраняется сомнение, которое выразил однажды Достоевский, подозревавший, что под именем простолюдинов в литературе иногда являются „р я ж е н ы е“» («Венок царю-великомученику...» — «Исторический вестник», 1882, № 4, стр. 225).

[27] «Новости и Биржевая газета», 1883, 1-е изд., № 1 и 3, 1 и 3 апреля (ни разу не перепечатывалось). В цитируемой нами сноске Лескова в словах «*не* доставало начитанности» в газете явная опечатка — «*и* доставало» (автограф статьи не известен).

[28] «Лит. наследство», т. 83, 1971, стр. 670. На том же листе имеется запись Достоевского: «Турецкий костюм. Вот бы кому дать веру-то в руки. Уж они бы ее обработали. А над всеми поставить бы Янышева, и попа со звездой (Васильева)». Рядом на полях: «Православное обозрение. Лесков». Что означает здесь имя Лескова? Возможно, Достоевский имеет в виду серию очерков Лескова «Великосветский раскол», печатавшуюся в «Православном обозрении» за 1876—1877 гг. В главе XV Лесков пишет о встречах английского проповедника Редстока с крупнейшими деятелями русского духовенства, игравшими большую роль в сближении католической церкви с православной — Васильевым и Янышевым (1876, № 10, 8 октября).

Иоанн Леонтьевич *Янышев* (р. 1826) — доктор богословия, ректор С.-Петербургской духовной академии.— Иосиф Васильевич *Васильев* (1827—1881) — священник при русской церкви в Париже. В 1866 г. был вызван в Россию и назначен председателем Учебного комитета при Св. синоде. Имел ордена — Анну 1-й степени и Владимира 2-й степени.

Однако не лишено вероятия, что Достоевский обратил внимание на анонимную статью «К вопросу о преподавателях закона божия в народной школе», напечатанную в майской книжке «Православного обозрения» 1880 г. (стр. 167—184) и посвященную в основном разбору доклада Лескова на названную тему в Ученом комитете Министерства *народного просвещения (вышел отдельным изданием в начале* 1880 г.).

[29] Собр. соч., т. XI, стр. 406.

[30] Там же, стр. 340.

[31] Письма 17 и 20 августа 1883 г. (Собр. соч., т. XI, стр. 283—284).

[32] Убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 г.

[33] Автограф.— ИРЛИ, 22. 574. CLVIII. 561; частично приведено в названной книге А. Н. Лескова, стр. 293.

[34] Собр. соч., т. XI, стр. 87—88 (гл. XVII).

[35] «Новости и Биржевая газета», 1886, №№ 151 и 161, 4 и 14 июня; Собр. соч., т. XI, стр. 146—156.

[36] Собр. соч., т. XI, стр. 327.

[37] См. письмо Достоевского к Суворину 14 мая 1880 г. и комментарий А. С. Долинина к нему («Письма», IV, стр. 142—143, 413—415).

[38] Черновой автограф.— ЛБ, ф. 360, карт. 2, ед. хр. 16, л. 23 об. Датируется на основании письма Лескова В. А. Гольцеву 10 мая 1891 г. (Собр. соч., т. XI, стр. 487).

[39] Черновой автограф.— ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 64, л. 1. Датируется 1887 г. по содержанию.

[40] «Письма русских писателей к А. С. Суворину». Подгот. к печати Д. И. Абрамович. Л., 1927, стр. 69.

[41] ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, ед. хр. 16.—Первоначальное (зачеркнутое) заглавие «О грошовой свечке». На л. 1 об. наклеена вырезка заметки из «Нового времени» 17 октября. Написано, несомненно, под свежим впечатлением от выступлений этой газеты, т. е. 18—20 октября 1884 г.

[42] *Штаб-офицер* — подполковник 59-го пехотного полка М. Ю. Ашенбреннер, обвинявшийся по процессу «четырнадцати» вместе с членами общества «Народная воля» поручиком Н. М. Рогачевым, лейтенантом флота А. П. Штромбергом, В. Н. Фигнер и др. Процесс шел с 24 по 28 сентября 1884 г. в Петербургском военно-окружном суде. В № 285 «Московских ведомостей» 14 октября 1884 г. было напечатано «Правительственное сообщение» об окончании процесса и о приговоре над осужденными. А на стр. 3 в анонимной заметке «Москва, 13 октября» корреспондент газеты, сравнивая приговоренных с первомартовцами, патетически восклицал: там «недоучившиеся студенты, сбитый с толку мастеровой... Теперь выступают аристократы крамолы, не менее прикосновенные к ее злодействам и к цареубийству. Подполковник Ашенбреннер, это уже не Рысаков... Особенно возмутительно появление более или менее значительных военных чинов в этой шайке. Не поведут ли дальнейшие розыски, боже сохрани, еще повыше?» Далее он возмущался изменой «не только общему долгу, но и воинской чести, присяге солдата».

[43] Подчеркнуто Лесковым.

[44] Н. Е. *Суханов* (р. 1853) — лейтенант флота, активный член Исполнительного комитета «Народной воли», осужден по процессу «двадцати» (расстрелян 19 марта 1882 г.).

[45] Редакция «Нового времени» помещалась на Малой Итальянской ул., д. 18.

[46] Известный революционер полковник П. Л. *Лавров* (1823—1900) был арестован 24 апреля 1866 г. в Петербурге за близкие сношения с государственными преступниками и выслан в Вологодскую губ.

[47] Подпоручик В. А. *Дубровин* (р. 1855) был связан с обществом «Земля и воля»; ярый сторонник цареубийства. Повешен 20 апреля 1879 г. (см. о нем — «Письма», IV, стр. 57, 382—383).

[48] Поручик И. Н. *Арнгольд* и подпоручик П. М. *Сливицкий* — члены революционной организации русских офицеров в Польше — были арестованы 24 апреля 1862 г. в окрестностях Варшавы и расстреляны 16 июня. А. *Сахновский* (Сохновский), их союзник, успел эмигрировать в Париж (впоследствии переписывался с Герценом).

[49] Лесков имеет в виду восстание 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади.

В. Г. КОРОЛЕНКО — КРИТИК ДОСТОЕВСКОГО

I. КОРОЛЕНКО О ДОСТОЕВСКОМ

Статья Т. Г. Морозовой

Трудно назвать имя другого большого русского писателя, которому Достоевский был бы более чужд, чем Короленко.

Глубокие различия отделяют друг от друга этих двух художников. Достоевский — создатель больших сложных романов, предельно насыщенных психологически и фабульно. В творчестве Короленко преобладает жанр очерка, рассказа, повести, сравнительно простых по сюжетам и структуре образов. Достоевского отличают болезненные изломы, бросающийся в глаза дисгармонизм, запутанность переживаний и страстей. Весь склад личности Короленко характеризуется редчайшим душевным здоровьем, цельностью, обаятельной гармонией, отразившейся и в его созданиях. Достоевский — в постоянных метаньях, столкновениях крайностей, он, по выражению Л. Толстого, «весь борьба». Короленко, несмотря на то, что и он прошел непростой путь становления взглядов, свойственна внутренняя устойчивость, непоколебимая твердость основ сложившегося мировоззрения, он всегда и во всем верен себе. В произведениях Достоевского господствует трагическое начало, нередко звучат пессимистические ноты. Печать светлого и глубокого оптимизма лежит на всем творчестве Короленко. В романах Достоевского нашел себе яркое воплощение урбанизм — городская стихия. Короленко известен как большой мастер пейзажа, насыщавший свои произведения тонкими и лиричными описаниями «пустынных мест».

Вместе с тем идейные и творческие соприкосновения Короленко с Достоевским не подлежат сомнению. Достоевский, наряду с другими великими русскими писателями, ощутимо вошел в идейную и творческую биографию Короленко.

Однако тема «Короленко и Достоевский» в дореволюционном и советском литературоведении едва задета.

В старом литературоведении настойчиво сближал Короленко с Достоевским Ф. Д. Батюшков, автор целого ряда работ о Короленко, хорошо знавший писателя и лично. В статье «В. Г. Короленко», написанной в 1903 г., но опубликованной посмертно в 1922 г., Ф. Д. Батюшков прямо утверждал: Достоевский «имел огромное влияние» на Короленко [1]. Особенно настаивал Батюшков на близости «школе Достоевского» одного из последних произведений Короленко — повести «Не страшное», в которой писатель, по словам Батюшкова, «проявил чрезвычайную глубину психологического анализа» и «дал новую и вполне оригинальную обработку» идеи Достоевского — «о взаимной нравственной ответственности людей друг за друга» [2].

Советский исследователь творчества Короленко, Г. А. Бялый, тоже не прошел мимо интересующей нас темы. Но он более сдержан, чем Батюшков, в своих утверждениях. Отметив сложность отношения Короленко к Достоевскому, он признает, что «Достоевский сыграл некоторую роль в идейной жизни молодого Короленко», что «Короленко надолго сохранил интерес к Достоевскому», что «он задумывался и над методом Достоевского» [3].

Еще два-три беглых сопоставления (так, И. Н. Кубиков отмечал, что «простой Камышинский мещанин [4] бесстрашно договаривает, в чем боится признаться себе Иван Карамазов у Достоевского: раз нет в жизни справедливости, значит нет и бога» [5]; Н. К. Пиксанов в комментариях к рассказу «Ат-Даван» заметил: «Быт и психология разночинцев-чиновников зарисованы здесь очень рельефно, в стиле Достоевского» [6]; сходную мысль по поводу этого же рассказа мы находим в рецензии Андрея Платоно-

ва на том избранных сочинений Короленко [7]; В. Ф. Переверзев в книге о Достоевском упомянул об отличии изображений природы, встречающихся у автора «Преступления и наказания», от прочувствованных пейзажей Короленко [8]; прямое противопоставление Короленко и Достоевского содержится в статье А. В. Луначарского «Праведник» [9]; с противопоставления двух писателей начинается статья о Короленко А. и Е. Редько [10],— и этим исчерпывается постановка и разработка темы «Короленко и Достоевский» в нашем литературоведении. Мы видим, что она едва намечена. Вместе с тем это — большая тема, позволяющая сделать интересные обобщения. Она обозначит еще одну грань в восприятии и оценке творчества великого писателя его младшими собратьями по перу. Изучение этой темы откроет совершенно новые стороны в творчестве самого Короленко, для которого характерно как великое притяжение к автору «Преступления и наказания», так и великое отталкивание от него — прямая идейно-художественная с ним полемика. Настоящая статья—только подступ к разработке интересующей нас проблемы. Мы рассмотрим опубликованные и неопубликованные высказывания Короленко о Достоевском.

С произведениями Достоевского Короленко познакомился в конце 60-х годов, когда творческий путь великого писателя был далеко еще не закончен. В ровенской гимназии, где Короленко учился тогда в одном из последних ее классов, появился новый, молодой и талантливый учитель, поклонник Белинского и Добролюбова, В. В. Авдиев. Он и приобщил будущего писателя к сокровищам русской литературы — к созданиям Гоголя, Тургенева, Некрасова, Гончарова, Достоевского, Помяловского, и художественная литература перестала быть в глазах юноши «только развлечением, а стала увлекательным и серьезным делом» [11].

Под воздействием страстного увлечения книгой и тяготения к собственному художественному творчеству у Короленко в юности возникла склонность воспринимать явления действительности сквозь призму литературы, и когда в 1871 г., окончив гимназию, Короленко отправился в Петербург, то прежде всего в его сознании ожили литературные ассоциации.

«Петербург! Здесь сосредоточено было все, что я считал лучшим в жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, настоящая родина моей души...» «Это, конечно, Невский... Вот, значит, где гулял когда-то гоголевский поручик Пирогов... А где-то еще, в этой спутанной громаде домов, жил Белинский, думал и работал Добролюбов ⟨...⟩. Здесь и теперь живет Некрасов, и, значит, я дышу с ним одним воздухом» [12].

Но когда юноша впивал в себя ощущение Петербурга, огромный город вставал в его восприятии по преимуществу в образах Достоевского.

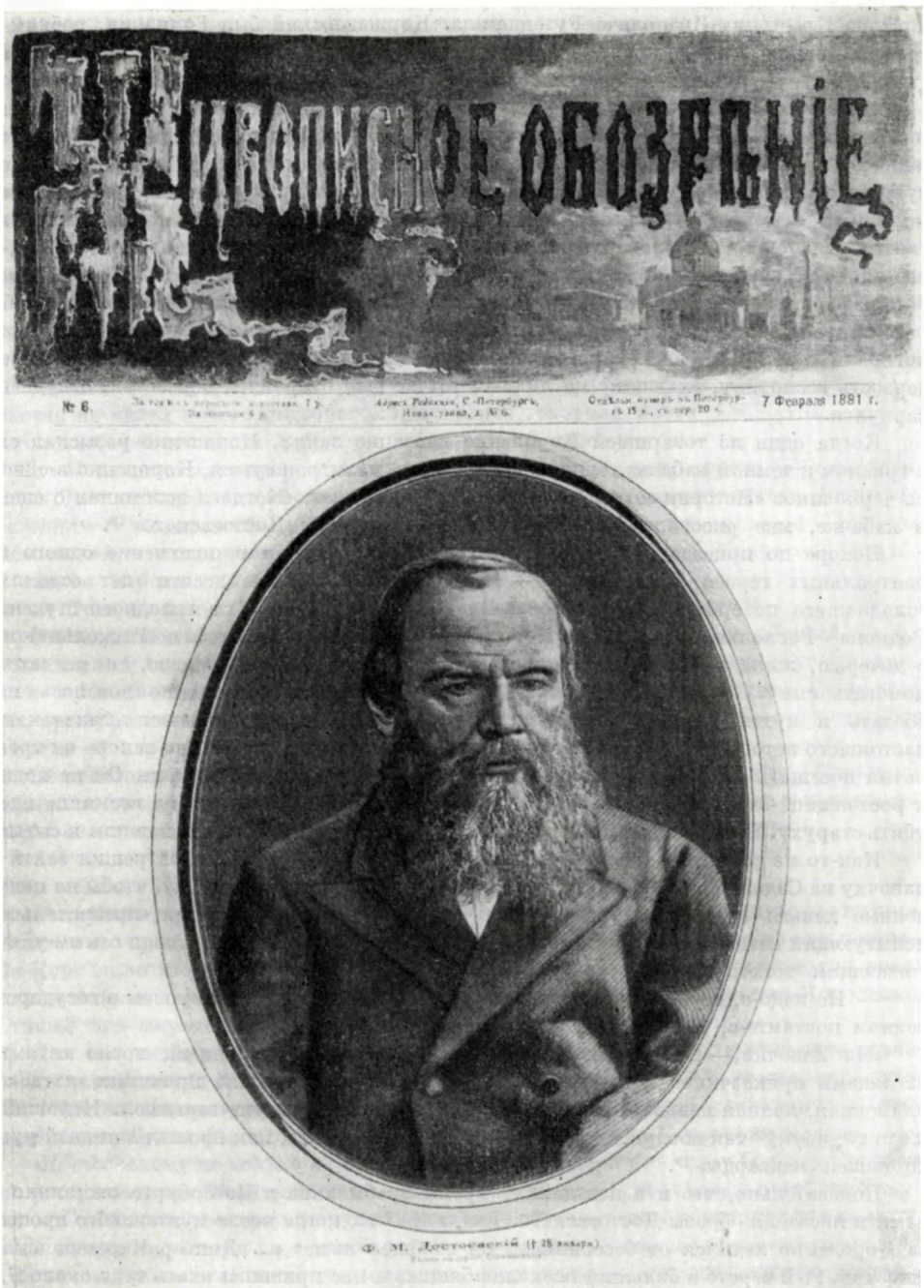
«Мне здесь нравилось все — даже петербургское небо, потому что я заранее знал его по описаниям, даже скучные кирпичные стены, загораживавшие это небо, потому что они были знакомы по Достоевскому... Мне нравилась даже необеспеченность и перспектива голода...» [13].

И когда он еще только мечтал о поездке в Петербург и его воображению рисовалось «что-то неясное и великолепное», то из всего этого «великолепия» перед ним прежде всего «выступала маленькая комнатка где-то очень высоко...»— совсем как комнатка-шкаф Раскольникова [14].

По приезде Короленко действительно устроился на «мансарде», под крышей, с тремя товарищами-студентами. «Из окна характерный вид петербургской окраины— крыши, пустыри, дворы, заводские трубы» [15].

И собственное настроение в первые дни жизни в Петербурге Короленко, правда, полушутя, был готов выразить в образах Достоевского. Однажды у Короленко, который шел с приятелем по улице, внезапно созрела дерзновенная решимость сесть на верхушку конки. Приятель пытался его остановить: «Посмотрите: никто не садится... ⟨...⟩ Но я отчаянно отмахнулся и стал подыматься по лесенке».

«Оба мы,— пишет Короленко,— в ту минуту немного напоминали господина Голядкина из „Двойника“ Достоевского, когда этот бедняга подымался на лестницу



ДОСТОЕВСКИЙ

Гравюра Скржимовского, 1881, по фотографии К. Шапиро, Петербург, 1879

«Живописное обозрение», 1881, № 6, 7 февраля

доктора Крестьяна Ивановича Рутеншпица. Корженевский был Голядкин, робкий и сомневающийся в своем праве, а я — Голядкин горделивый, уверявший себя, что мы „как и все", не лишены права ехать на империале этой великолепной конки» [16].

Среди обитателей мансарды, где поселился Короленко с товарищами, был жилец, который привлек внимание молодого студента,— «художник» из «шпитонцев», существо жалкое, тщедушное, с разбитой грудью и слезящимися глазами. Он жил на большом сундуке между печкой и дверью в комнате хозяев. На сундуке он ночью спал, а днем устраивал мастерскую — раскрашивал ламповые абажуры. Иногда он выползал из своего угла с видом человека, «стыдящегося собственного существования». «Мне,— вспоминает Короленко,— этот бедняга казался интересным. От него веяло Достоевским. Мне казалось, что если бы Кузьму Ивановича вызвать на откровенность, то он мог бы рассказать что-то глубоко печальное и значительное» [17]. Кузьма Иванович погиб, как погибали герои Достоевского: в пьяном виде он чуть не попал под лошадь, сказал дерзость господину, ехавшему на лихаче, тотчас был отправлен в участок, откуда не вернулся.

Когда один из товарищей Короленко внезапно запил, Короленко разыскал его в грязном и темном кабачке. Описав сцену, здесь разыгравшуюся, Короленко в одном из черновиков «Истории моего современника» добавляет: «Когда я вспоминал о сцене в кабачке, мне рисовался почему-то Раскольников из Достоевского» [18].

Вскоре по приезде в Петербург сам Короленко попал в положение одного из центральных героев Достоевского — Раскольникова. Менее десяти лет отделяло голодавшего петербургского студента Владимира Короленко от голодного студента Родиона Раскольникова. Мать Короленко с детьми, как и мать Раскольникова с дочерью, жила в далекой провинции, получая скромную пенсию, и не могла помогать сыну. За первый год пребывания в Петербурге Короленко довелось пообедать в кухмистерской только пять раз. Скоро голод сказался признаками настоящего истощения. Короленко пытался не отставать от курса, но вскоре он прекратил посещать лекции и целые дни проводил в публичной библиотеке. Он не ходил к ростовщице закладывать колечко или мнимую табакерку, у него не возникла идея убить старуху. Но однажды и он познал жгучее чувство унижения и ненависти к сытым.

Как-то на улице им настолько овладел приступ слабости, что он решил зайти в лавочку на Садовой и предложить нашедшуюся у него почтовую марку, чтобы на полученные деньги купить хлеба. Толстый купчина оглядел юношу «презрительно-испытующим взглядом, а потом, помолчав еще несколько времени, сказал самым уничтожающим тоном:

— Не надо-с, не требуется, господин студент. Мы марочки покупаем в государственном почтамте-с, а отнюдь не у голодных студентов».

«Из лавочки,— вспоминает Короленко,— я уходил опутанный, точно сетями, взглядами приказчиков и публики, и в моей памяти всплыла прочитанная где-то пламенная, полная ненависти цитата из Фурье о хищном пауке-торгаше... Ненависть к этому „пауку" так воодушевила меня, что я и не заметил, как прошел длинный путь до нашей мансарды» [19].

Показательно, что и в позднейшее время пребывание в Петербурге оживляло в памяти писателя образы Достоевского. Так, в 1897 г., когда после мултанского процесса Короленко лечился от бессонницы, он сообщал жене: «... Доктор Черемшанский живет на 11-й версте в больнице всех скорбящих, и мне пришлось ехать туда около $1^1/_2$ часов по Петергофскому шоссе, тому самому, по которому доктор Крестьян Иванович Рутеншпиц некогда вез беднягу Голядкина (у Достоевского)» [20].

Все это частности, но и они свидетельствуют, как глубоко внедрились в сознание Короленко произведения Достоевского — они возникают в его памяти по самым разным поводам.

Короленко внимательно следил за дальнейшим развитием творчества Достоевского, читая и по разным поводам перечитывая его произведения, в том числе публицистические. В личной библиотеке Короленко было полное двенадцатитомное собрание сочинений Достоевского (1891—1892 гг.), из которого до наших дней сохранилось четыре тома, содержащие разнообразные пометки — следы вдумчивого чтения [21].

В 1877 г. Короленко довелось слушать речь Достоевского на похоронах Некрасова. В мемуарной литературе о Достоевском нет более впечатляющих строк, посвященных этому событию, чем те, которые принадлежат Короленко.

Речь Достоевского падала на подготовленную почву. В этот период Короленко, глубоко увлеченный народничеством, готовился «окунуться в море народной жизни». Некрасов был любимым его поэтом, как и всей демократически настроенной молодежи его поколения. Стихотворения великого поэта, публиковавшиеся в период его болезни, волновали особенно сильно. «Достоевский в своем „Дневнике писателя",— вспоминает Короленко,— говорит, что эти последние стихотворения не уступают произведениям лучшей поры некрасовского творчества. Легко представить себе, как они действовали на молодежь. Все знали, что дни поэта сочтены, и к Некрасову неслись выражения искреннего и глубокого сочувствия со всех сторон» [22].

Естественно, что похороны Некрасова проходили при огромном стечении народа и вылились в мощную демонстрацию. «Петербург,— утверждает Короленко,— еще никогда не видел ничего подобного». На могиле говорили много речей. Но,— пишет Короленко,— «настоящим событием была речь Достоевского».

На Короленко и его сверстников наибольшее впечатление произвело то место речи, «когда Достоевский своим проникновенно-пророческим ⟨...⟩ голосом назвал Некрасова последним великим поэтом из „господ". Придет время и оно уже близко,— говорил Достоевский,— когда новый поэт, равный Пушкину, Лермонтову, Некрасову, явится из самого народа...

— Правда, правда!— восторженно кричали мы Достоевскому» [23].

Впоследствии Короленко пришел к ясному пониманию, что Достоевский весьма расходился в оценке настроений народа со своими восторженными слушателями. Но и «долго потом» писатель вспоминал слова Достоевского на могиле Некрасова «как предсказание близости глубокого социального переворота, как своего рода пророчество о народе, грядущем на арену истории» [24].

Воздействие речи Достоевского на Короленко было очень сильным. Влившись в общий поток народолюбивых настроений, эта речь утвердила Короленко в стремлении отдать свою жизнь борьбе за «наступление этого пришествия».

Высказывания Короленко о Достоевском как о писателе, о его художественном методе, о его произведениях немногочисленны, отрывочны. Воссоздать по ним понимание Короленко творчества Достоевского нелегко. Но в своем большинстве они носят принципиальный характер, органически связаны с концепцией искусства Короленко, а также его мировоззрением в целом.

Для Короленко, разумеется, ни в малейшей мере не подлежала сомнению значительность дарования Достоевского и оставленного им наследства. В статье, посвященной 50-летию Литературного фонда (1909), опровергая «басню», сочиненную князем Мещерским, будто фонд отказал Достоевскому в пособии, Короленко писал:

«Достоевскому не только не было отказано ни в одной его просьбе ⟨...⟩ Комитет, ввиду серьезности обстоятельств и *исключительных заслуг* „нелиберального" писателя, взял на себя ответственность нарушить устав: по уставу, члены комитета сами не могут пользоваться пособиями ни в какой форме, а *Достоевский был тогда членом комитета и секретарем его*». «Конечно,— заключал Короленко,— это одно из тех „нарушений", которые история фонда ему в вину не поставит» [25].

В 1910 г. к Короленко, уже всемирно известному писателю, обратились за разрешением опубликовать его «жизнеописание» для детей. Он ответил: «... Едва ли уместно делать жизнеописание Короленка предметом детской книги», когда нет «таких жизнеописаний Тургенева, Достоевского, Чехова. Из живущих Толстого ⟨...⟩ Мне кажется,— заявил он,— при таких условиях „жизнеописание Короленка" для детской литературы было бы некоторым нарушением перспективы» [26].

Отношение к Достоевскому здесь выражено не только совершенно закономерным помещением его имени среди имен первостепенных русских художников, но и признанием его жизнеописания достойным предметом книги для детей.

Имя Достоевского встречается и в рекомендациях чтения, которые давал Короленко начинающим писателям из народа, в ряду имен «лучших писателей», русских (Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Тургенев, Гончаров) и иностранных (Шекспир, Шиллер, Гете, Байрон, Сервантес, Свифт) [27].

Насколько высоко Короленко оценивал творчество Достоевского, свидетельствует черновой вариант статьи о Л. Н. Толстом (1908). Короленко писал: «...Мы, русские, можем действительно считать себя если не счастливыми (это слово теперь звучит странно), то гордыми тем, что наша родина дала всемирной литературе двух таких писателей, как И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой,— можно прибавить и третье имя — Достоевский» [28].

Мы видим, значение Достоевского как величины первостепенной оценивается Короленко не только в пределах отечественной, но и в широких масштабах всемирной литературы.

Однако для Короленко была столь же несомненной и противоречивость творчества великого писателя, сочетание в его произведениях выдающихся достижений и сторон, вызывающих чувство глубокого неудовлетворения. Так, в одной неопубликованной критической заметке Короленко прямо выражал намерение говорить не только о том, за что он ценит произведения Достоевского, но и о том, чего он в них не приемлет.

«— Как,— замечал Короленко его воображаемый читатель,— вы решаетесь отрицать художественные достоинства у Достоевского?

— Нет, я хочу только сказать, что у него, при крупных достоинствах, есть и очень крупные недостатки» [29].

Поводом для наиболее развернутого высказывания о Достоевском послужило для Короленко второе издание повестей и рассказов М. Н. Альбова [30], которого он признал одним из «сильных и талантливых подражателей» Достоевского.

В архиве писателя сохранились два наброска «критического этюда» об Альбове, предназначавшегося для журнала «Северный вестник». Хотя Короленко был увлечен работой («Кажется выйдет интересно и не лишено оригинальности ⟨...⟩ работается порядочно»,— писал он жене 4 августа 1887 г.) [31], статья осталась незаконченной. Первый набросок не опубликован. Хотя он менее завершен и менее обработан, чем второй, он содержит ряд четких формулировок и многое проясняет в ходе мыслей писателя [32]. Второй вошел в книгу «В. Г. Короленко о литературе» (М., 1957, стр. 304—312).

В 80-е годы, вернувшись из ссылки после 10 лет скитаний, Короленко серьезно размышлял над теоретическими вопросами искусства, и в частности,— о задачах искусства в период общественной реакции. Вероятно, поэтому он не прошел мимо сборника произведений, которые показались ему для литературы 80-х годов типичными. Поэтому же он оценку рассказов Альбова стремится дать в свете своего понимания общественной роли искусства и выяснения своего отношения к Достоевскому.

Отправным положением «этюда» является утверждение, что чтение Достоевского приносит «мало наслаждения и много страдания». Это обстоятельство расценивается Короленко как «признак не художественных достоинств, а художественных недостатков» [33].

Короленко ссылается на одного «большого поклонника» Достоевского, который всегда со страхом принимался за новое его произведение и признавался, что при чтении ему «хочется кончить поскорее, чтобы освободиться от этих ужасов, изображенных с такой силой, хочется выйти на свежий воздух, поскорее вздохнуть и разобраться. Наконец, просто хочется освободиться поскорее от головной боли, которая, право, почти всегда следует за этим чтением» [34].

Нельзя не заметить, что переживания этого «поклонника» Достоевского весьма напоминают ощущение, которое испытывал при чтении его произведений Г. И. Успенский и которое он так образно передал в беседе с Короленко.

«...Знаете ли...— говорил Успенский Короленко,— иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя... самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо... прямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться.

Он говорил это так выразительно,— вспоминает Короленко,— и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под внушением, сам почувствовал легкие веяния этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко и ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского» [35].

Подтверждением того, что Короленко сам разделял подобные ощущения, служит также выражение «мучительный талант», которое, вольно или невольно перефразируя название известной статьи Н. К. Михайловского («Жестокий талант»), он неоднажды употреблял, говоря о Достоевском.

Чтобы вскрыть источник тягостных ощущений, вызываемых чтением Достоевского, и обосновать отрицательное отношение к этой особенности его творчества, Короленко и обращается к своему пониманию задач искусства и критериев художественности.

Как и Белинский, Добролюбов, Чернышевский,— Короленко считал, что всякое подлинное произведение искусства служит познанию действительности. При этом у искусства, как и у науки, «едва ли есть область, куда оно не должно входить». Художник «изучает не только душевную доблесть или состав ароматного лесного воздуха, но и душевное разложение, болезнь, как и ядовитую атмосферу клоак и подвалов» [36].

Однако правдивое изображение действительности писатель полагает только одним и отнюдь не единственным условием художественности. Он допускает даже, что произведение, «чрезвычайно верное действительности», может быть «совершенно не художественным».

«Художник,— рассуждает Короленко,— должен носить в душе широкую, как сама жизнь, общую концепцию этой жизни. Только тогда он художник» [37].

В понятие «общей концепции жизни» Короленко включает как философские воззрения, так и «те или другие идеалы» общественного характера, «с возвышенной точки зрения» которых художник и изображает жизненные явления.

Эта «художественная концепция», по мнению Короленко, не привносит в произведение субъективного элемента. Наоборот, именно она обеспечит «настоящую объективность» изображения: глубоко продуманная концепция жизни создает правильный аспект изображения, познание предмета осуществится в «верной перспективе», «в верном соотношении к более широким жизненным категориям» [38].

«...Душа художника,— пишет Короленко,— отразит для вас целый мирокосм», и «вы увидите здесь горе в верном соотношении к вечному и никогда не умирающему началу жизни» [39].

Общая концепция жизни, если она верна, поможет художнику выполнить «дальнейшую, более возвышенную», цель [40], чем простое отражение действительности: «...Искусство,— пишет Короленко,— имеет конечной целью, вводя свой материал в душу человека, расширить ее, укрепить, сделать более устойчивой в борьбе, более способной к деятельному совершенству. Одним словом,— заключает писатель,— ⟨...⟩ мы ищем в нем *психически деятельного момента*» [41].

Как бы ни была горька истина, художник должен дать ее, но дать в *отражении*,— пишет Короленко и утверждает: «Так, нарисованный разврат не вызывает разврата. Так, нарисованное отчаяние не рождает отчаяния, так, нарисованная душевная болезнь не заражает читателя...» [42]

Ссылаясь на «Лаокоон» Лессинга, Короленко обращается к важнейшему «мотиву» в искусстве — к понятию красоты, которая, по убеждению писателя, воплощая «вечно животворящее жизненное начало», органически, как ее неотъемлемый элемент, входит в «общую концепцию жизни» художника. Красота не просто «смягчает впечатление сама по себе, непосредственно», она, «отражая изображенное страдание, боль, слабость и смерть ⟨...⟩ дает еще рядом бодрящее и поднимающее представление о личности художника, о его душе, о его сдержанности...» [43].

Создатель знаменитой скульптуры «жертв мертвящего змея» не забывал, по мнению Короленко, об этом основном законе искусства. Поэтому фигуры охваченных ужасом смерти внушают зрителю не ужас и не отвращение, а здоровое сочувствие: «Вы чувствуете силу, которая даст вам побуждение к борьбе за жизнь...» [44].

«Истинно художественное отражение, художественный образ — полный, цельный, данный в верной перспективе,— утверждает Короленко,— всегда является произве-

дением здоровым, то есть производящим нравственное, положительное действие на душу» и «подвигающим ее к положительному действию...» [45].

Если же при чтении «в вас зарождаются разлагающие душевные процессы», если «вы увлекаетесь в область душевного тумана и слякоти», «тогда недостатков нужно искать в отсутствии полноты, перспективы и т. д., то есть в недостатках художественной концепции» [46].

Исходя из этих положений, Короленко и обращается к «психиатрическому этюду» М. Альбова «День итога», который признает сильным и талантливым, но совершенно выходящим из сферы художественности.

Оставив место для предполагающейся цитаты из рассказа Альбова, Короленко спрашивает: «Узнаете вы этот язык?» и, характеризуя его как нервный, туманный, проникнутый какой-то аффектированной простотой, замечает: «Тот, кто так говорит ⟨...⟩, не знает ни остановки, ни меры ⟨...⟩ Он ⟨...⟩ вслушивается в движение собственного сердца. И будет говорить долго, длинно, с повторениями, будет поворачивать каждое ощущение, возвращаться к нему, оттенять его еще раз. По временам этот голос немного окрепнет, зазвучит с какой-то мрачной твердостью, из-за туманных ощущений и слов вдруг сверкнет, как молния, сильное и мрачное чувство и исчезнет опять в тумане ⟨...⟩».

«Так говорил и писал Достоевский»,— утверждает Короленко и заключает: «Это своего рода мрачный лиризм разлагающейся и больной души. Когда дело доходит до такой степени, до ощущений такого рода,— это уже конец художественности. Тут художник не отражает, не изображает, а пишет скорбный лист собственной души, не поучает, а заражает читателя» [47].

Такое художественное произведение, по мнению Короленко, напоминает, отражение горящего предмета в зеркале, сделанном из легко воспламеняющегося материала.

В ясной поверхности зеркала,— пишет он,— «вы видите изгибы пламени, видите его цвет и блеск, его угасание или разгар ⟨...⟩ Но представьте, что зеркало сделано из неогнеупорного материала, и оно само вдобавок начнет поддаваться более глубокому действию огня. Оно начнет спекаться, по нему пойдут пузыри, наконец, оно вспыхнет само тем же пламенем. Результатом такого явления будет, во-первых, то, что по искаженной поверхности пройдут косые и фальшивые изображения и, наконец, вы отскочите с ужасом, чувствуя, что зеркало начинает палить вас, как пламя, и что из наблюдателя вы превращаетесь в жертву.

Художник представляет из себя такое зеркало, пока оно не горит само. Лирик пессимизма и отчаяния — это зеркало горящее, от которого нужно держаться подальше...» [48]

На этом рукопись обрывается. Многое осталось недосказанным. Но основные положения Короленко ясны.

Разумеется, отрицательные выводы, намечающиеся в статье, непосредственно относятся к Альбову, а не к Достоевскому, хотя определить, где в ней проходит грань, отделяющая одного писателя от другого, довольно трудно. Но построение статьи говорит о том, что Альбов интересует Короленко прежде всего как подражатель Достоевского. Не случайно критический этюд начинается с суждений о Достоевском. Короленко и прямо пишет: «...На примере талантливейшего из его последователей покажем его недостатки. Ведь известно, что обыкновенно недостатки мастера всего резче сказываются на его учениках» [49]. Но в последующей части статьи Короленко предполагал говорить о преимуществах «мастера» и противопоставить его «ученику» [50].

Весь ход рассуждений и прямо высказанные положения убеждают, что внимание Короленко привлекла одна из самых существенных черт творчества Достоевского: необычайная экспрессивность его изображений: или, как выражается Короленко, «сила художественного творчества» [51], направленная при этом на изображение тяжелых явлений жизни. Хотя, по-видимому, Короленко рассуждает о критериях художественности вообще, в центре его размышлений на протяжении всей статьи — вопрос о принципах эстетического изображения горя, болезни, отчаяния, душевного разложения, смерти — всякого рода страданий, то есть тех жизненных явлений, которые составляют

главный объект творчества Достоевского. В плане первого варианта статьи как важнейший его пункт прямо отмечена присущая Достоевскому «сила воспроизведения болезненных явлений» [52]. Упоминанием об «этих ужасах, изображенных с такой силой» [53], открывается и второй вариант статьи. Естественны здесь упоминания о Лаокооне, а также образ горящего предмета — выразительный символ катастрофичности запечатленных переживаний и событий, а также исключительной — «жгучей» яркости их художественного воплощения.

Как можно заключить из намеченных писателем теоретических положений, он считает, что необычным по впечатляющей силе изображениям Достоевского недостает здорового «отражения», верной перспективы. По-видимому, Короленко не нашел в творчестве Достоевского художественного воплощения тех действенных и животворных сил, которые противостояли бы миру человеческих страданий, изображенных великим писателем с такой потрясающей силой. Или же он не почувствовал в произведениях Достоевского того идейно-эстетического начала, которое позволило бы писателю, говоря словами А. В. Луначарского, «претворить жизненные противоречия в красоту» [54]. Лишенные идейно-эстетического опосредствования, воспроизводимые им страдания выступают как бы в обнаженном виде. Из-за отсутствия необходимого «отражения» сдвигаются широкие перспективы реальной действительности, нарушается истинное распределение в ней света и теней, искажается «общая картина жизни» [55] и создается, как думает Короленко, неверное о ней представление. Это накладывает печать ярко выраженной субъективности на творчество Достоевского и порождает его пессимистическую тональность. В этом, по всем данным, Короленко и видит причины угнетающего воздействия на читателя произведений Достоевского, в которых такое большое место занимают человеческие страдания.

Отсутствие идейно-художественного опосредствования выражается, по мнению Короленко, в самом способе подачи материала у Достоевского: утрачивается необходимая в художественном произведении дистанция между изображаемым и изображающим. «Зеркало вспыхивает само тем же пламенем», цвет и блеск которого призвано отражать. В этом же смысле в неопубликованном варианте статьи Короленко говорил о способности некоторых писателей «заражаться посредством художественной восприимчивости» чужой болью и, давая ее так, «как дал бы сам больной», то есть без всякого художественного преломления, «заражать ею читателя» [56].

Нельзя не признать, что здесь верно схвачена особенность повествовательной манеры Достоевского, необыкновенно повышающая эмоционально-впечатляющую силу его произведений. Она была отмечена уже Белинским по отношению к «Двойнику». «Автор,— пишет Белинский,— рассказывает приключения своего героя от себя, но совершенно его языком и его понятиями: это ⟨...⟩ показывает способность, так сказать, переселяться в кожу другого, совершенно чуждого ему существа...» [57].

Наиболее развернуто эта особенность повествовательной манеры Достоевского прослежена в книге М. Бахтина, который, касаясь ранних произведений великого писателя, но признавая, что с известными видоизменениями она сохраняется и в его последующем творчестве, утверждает: «Рассказ Достоевского всегда рассказ без перспективы ⟨...⟩ Рассказчик находится в непосредственной близости к герою и совершающемуся событию, и с этой *максимально приближенной*, *бесперспективной* точки зрения он строит изображение их» [58].

Ни в первом, ни во втором наброске статьи Короленко не сформулировал, какие же черты «общей концепции жизни» Достоевского он считал ошибочными, лишающими его изображения необходимой перспективы. Но нельзя не видеть, что, поднимая вопрос о формах художественного воспроизведения страданий, Короленко не просто касался того жизненного материала, который столь значителен в произведениях Достоевского. Он подошел к одному из самых глубоких и самых трагических идейных противоречий великого писателя: страстного гуманистического сочувствия страдающим и не менее страстного утверждения страдания как огромной возвышающей и очищающей силы — противоречия, создающего замкнутый безвыходный круг. Поднятый вопрос с большой ясностью обнаруживает как точки близкого соприкосновения, так и существенное различие жизненных концепций двух писателей.

Человек другого поколения, другой идейно-политической ориентации, нашедший в условиях тяжелой политической реакции 80—90-х годов пути для прогрессивной общественной и литературной деятельности, Короленко в четком оптимистическом высказывании выразил свое отношение к страданию: «страдание есть то, с чем мы должны, а, главное, *можем* бороться» [59].

Мы вправе утверждать, что внимание автора «Униженных и оскорбленных» к человеческому страданию будило в Короленко, гуманисте и демократе, горячее и глубокое сочувствие. Но апология страдания, отрицание путей борьбы, заводившие великого писателя в идейный тупик, как и некоторые другие черты его «концепции жизни», накладывали, с точки зрения Короленко, печать безвыходности на его создания и лишали их того правильного аспекта, о котором Короленко говорит о своих теоретических рассуждениях.

Было бы, однако, глубокой ошибкой предположить, что Короленко, подчеркивающий субъективное, пессимистическое начало в произведениях Достоевского, вызывающих, по его словам, тяжелые эмоции, не находил в них того «психически-деятельного момента», который, как гласит центральная мысль этюда об Альбове, составляет истинное — «возвышенное» назначение искусства. Иначе у него не было бы оснований с такой категоричностью говорить о заслугах великого писателя перед русской и всемирной литературой. Но опасность заражения теми трагическими переживаниями, которыми насыщено творчество Достоевского, казалась ему также крайне значительной.

Точка зрения на творчество Достоевского, выраженная в статье об Альбове, была у Короленко весьма устойчивой. Так, в 1895 г., объясняя М. Горькому предполагаемые причины, по которым его рассказ «Ошибка» не был принят редакцией «Русского богатства», Короленко писал: «Я ведь и боялся такого исхода, ввиду некоторой „мучительности“ рассказа, недостаточно, так сказать, мотивированной, до известной степени бесцельной 〈...〉. Если Вы читали Михайловского „Мучительный талант“ (о Достоевском), то знаете, что он даже Достоевскому не мог простить „мучительности“ его образов, не всегда оправдываемой логической и психологической необходимостью. У Вас есть в данном рассказе тот же элемент. Вы берете человека, начинающего сходить с ума, и помещаете его с человеком, уже сумасшедшим. Коллизия, отсюда вытекающая, представляется совершенно исключительной, поучение непропорционально мучительности урока, а образы и действие толпятся в таком ужасном закоулке, в который не всякий решится заглянуть, потому что это какой-то тупик, а не широкая дорога». Расходясь с редактором в решении («Я все-таки бы рассказ напечатал»), Короленко совершенно его оправдывает: отказ «вытекает из взглядов Михайловского на задачи искусства и не может быть поставлен ему в вину» [60].

К положениям, намеченным в статье об Альбове, органически примыкают другие замечания Короленко о творческом своеобразии Достоевского.

С большой остротой ощущал Короленко максимальную насыщенность произведений Достоевского событиями и напряженными переживаниями, стремление писателя довести изображаемое до крайнего сгущения красок. Как и намеченные выше, эта черта, с точки зрения Короленко, отражает характерное для Достоевского нарушение норм и пропорций действительности и является следствием определенной концепции жизни.

С явным сочувствием выслушав утверждение Успенского, что в тесное пространство за дверью, куда уставится «пара галош и ничего больше», Достоевский „столько набьет 〈...〉 человеческого страдания, горя 〈...〉 подлости человеческой 〈...〉, что прямо на четыре каменных дома хватит»[61], Короленко и сам писал, что, по сравнению с реальной жизнью, ее явления даются у Достоевского *«в ужасающе концентрированном виде»* [62].

Своеобразию творчества Достоевского посвящена также запись Короленко в дневнике конца 1888 г., то есть приблизительно того же периода, когда писатель работал над статьей об Альбове.

«Да,— пишет он здесь,— герой Достоевского, поставленный в исключительные условия, действует так, как подобает живому человеку... Но мы желаем видеть — кро-

ме человека одного, самого по себе, в распоряжении автора, отвлекшегося от внешних соотношений,— еще среду, общество. Какие нити шевелит в нем оно преимущественно, как оно шевелит их, отчего?»[63].

Мы видим, что речь идет о той особенности произведений Достоевского, которая неоднократно отмечалась как в старом (начиная с Добролюбова), так и в советском литературоведении: отвлекаясь от конкретно-исторических условий социального бытия, противоречия душевной жизни своих героев Достоевский порой осмысливал как проявление извечной сложности человеческой природы.

Мысль о соотношении среды и человека в произведениях Достоевского высказана Короленко в связи с обсуждаемой им на страницах дневника проблемой преступности, сильно волновавшей и автора «Записок из Мертвого дома». Как и революционные демократы, Короленко, решая ее, возлагал ответственность за преступления на общий «порядок жизни»[64].

Но для художника, с точки зрения Короленко, проблема среды имела особое — эстетическое значение. Убежденный сторонник детерминизма, он считал, что раскрытие причин явления, его связей с окружающей средой органически входит в структуру художественного образа и обеспечивает его эстетическую полноценность.

Приписывая Достоевскому недостаточное раскрытие «внешних соотношений», Короленко, очевидно, имел в виду не только исключительность условий, в которых действуют его герои, не только преимущественную сосредоточенность писателя на мире их душевных переживаний, но и типичное для них глубокое социальное одиночество, их трагическую оторванность от своей среды. У Достоевского «человек из подполья» сам признается: «... я манкировал свою жизнь нравственным растлением в углу, *недостатком среды*, отвычкой от живого...» (IV, 194). О герое «Двойника» Короленко писал: «... Голядкин изнывает 〈...〉 одиноко, как червяк на пыльной дороге». И ниже: «Голядкин сгорает в одиночестве»[65].

Недооценивая всего своеобразия соотношений героя и среды в произведениях Достоевского, Короленко, однако, свое замечание о недостаточном изображении «среды, общества» отнюдь не распространял на все творчество автора «Двойника». В «Записной тетради» Короленко 1889—1891 гг. сохранилась короткая, сделанная поспешной рукой, но крайне выразительная запись о романе «Преступление и наказание», оставшаяся неопубликованной. Воспроизводим небольшой набросок полностью:

«Читали вы Достоевского? И поняли? Так как же вы не видите, что исповедь Мармеладова это именно такая вещь, после которой можно пойти и убить старуху. Когда совершаются такие вещи, когда перед глазами происходит такая несправедливость — Раскольников думает: нет, бог своими совершенными средствами делает не то, что нужно. Дай-ка я попробую достигнуть справедливости своими, несовершенными...

— Но ведь *это* ужасно.

— Но ведь то, что рассказывает Мармеладов,— *еще* ужаснее, поймите»[66].

В этом наброске отражено не только глубокое проникновение в побудительные мотивы поступка героя Достоевского. Мы видим, что индивидуалистическая теория Раскольникова не закрыла для Короленко важнейшей стороны его переживаний: гуманистического протеста против бесчеловечных законов современного ему общества. Мы видим также, что историю семьи Мармеладова Короленко воспринимал как существенную сторону произведения, представляющую как раз те «внешние соотношения», которые зашевелили в сознании Раскольникова весьма глубокие «нити». Это те самые «внешние соотношения», о которых Короленко писал в дневнике как о необходимом элементе художественного произведения, или, говоря словами современного исследователя,— «это — мир, мир, взывающий о помощи, в защиту которого Раскольников и поднял топор»[67].

Короленко не удалось завершить статью об Альбове и осуществить намерение раскрыть свое понимание «крупных достоинств» Достоевского, ради которых, «преодолевая массу тяжелых ощущений», его произведения читают и перечитывают[68]. Уже вследствие этого в его высказываниях преобладают отрицательные оценки.

Однако другие его упоминания о Достоевском позволяют хотя бы несколько объяснить, почему он ставил его в один ряд с величайшими гениями художественной мысли.

Двадцать лет спустя после незаконченного этюда об Альбове, в статье «Лев Николаевич Толстой», написанной в связи с юбилеем великого писателя (1908), Короленко опять вспоминает о Достоевском. Теперь Достоевский выступает в виде некоторого противопоставления модернистской литературе «нынешнего периода», в которой «вереницы диких образов, точно в фантастическом вихре, несутся перед современным читателем» [69].

Используя излюбленное уподобление — «художник — зеркало, но зеркало живое», Короленко опять исходит из некоторых теоретических предпосылок и так изображает творческий процесс: художник «воспринимает из мира явлений то, что подлежит непосредственному восприятию. Но здесь в живой глубине его воображения воспринятые впечатления ⟨...⟩ сочетаются в новые комбинации, соответственно с лежащей в душе художника общей концепцией мира. И вот в конце процесса зеркало дает свое отражение, свою „иллюзию мира", где мы получаем знакомые элементы действительности в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях» [70].

По мнению Короленко, два условия определяют достоинство этого сложного отражения: прежде всего, зеркало должно быть „ровно, прозрачно и чисто", чтобы явления мира проникали в его глубину неискаженными. Во-вторых, «процесс новых сочетаний и комбинаций, происходящий в творящей глубине, должен соответствовать тем органическим законам, по которым явления сочетаются в жизни. Тогда и только тогда,— утверждает писатель,— мы чувствуем в „вымысле" художника живую художественную правду...» [71].

Короленко с грустью констатирует, что «воспринимающая поверхность нашего художественного зеркала за последние годы как будто искривилась, покрылась ржавыми пятнами, извратилась на разные лады и в разных направлениях» [72].

«Конечно,— замечает он далее,— может случиться, что и при такой отражающей поверхности внутренний процесс творчества будет обладать свойствами органически правильного и оригинального сочетания, как это было, например, у больного Достоевского. И тогда в искаженных отражениях местами, как клочки неба в черных лесных озерах, будут сверкать откровения изумительной глубины и силы. Они будут и драгоценны и поучительны, но всегда односторонни. Они вскроют нам почти недоступные глубины больного духа, но не ищите в них ни законов здоровой жизни, ни ее широких перспектив» [73].

Мы видим, что Короленко остался верным издавна сложившимся у него представлениям о Достоевском. И теперь он подчеркивает обращенность писателя к субъективному миру героев, говорит об искажении в его творчестве норм реальной действительности, об отсутствии в его изображениях широких перспектив здоровой жизни. Дважды отмечается «болезненный» характер запечатленных писателем переживаний. Но несмотря на то, что как «фантастической метели модернизма», так и «откровениям больного духа» Достоевского Короленко резко противопоставляет художественный мир Толстого, от которого веет эпической широтой, великой правдой жизни и могуществом «бодрой мысли», новым и значительным тут является признание ценности и поучительности проникновений Достоевского в глубь человеческой души.

Это признание выделяет, но с положительной оценкой, еще одну характерную черту творчества Достоевского, которая действительно принадлежит к величайшим его достижениям: поразительную способность писателя раскрыть самые сокровенные глубины духовного мира человека, проследить сложнейшие повороты его чувств, страстей и идей.

Напомним, что в черновике именно этой статьи Достоевский был поставлен Короленко на одно из первых мест среди русских писателей.

Отмечая черты субъективности в изображениях Достоевского, говоря о болезненных в них смещениях реальных соотношений, об исключительности созданных им ситуаций, об углублении в переживания «больного духа», Короленко никогда не доходил

до полного отрицания объективного содержания его творчества. Достоевский не переставал быть в его глазах писателем-реалистом.

Лейтмотивом ряда высказываний Короленко является признание *правды* творчества Достоевского. Так, в разговоре с Успенским, на который мы ссылались, Короленко, согласившись, что образ господина в поезде, собирающегося «что-то сделать над тобой», верно передает ощущение, вызываемое чтением Достоевского, возразил: «А все-таки есть много правды» [74].

Признавшись Успенскому, что не любит Достоевского, Короленко тотчас заметил, что «некоторые вещи его, например, „Преступление и наказание", перечитывает с величайшим интересом» [75].

Из всего созданного Достоевским писатель выделял роман «Преступление и наказание».

Короленко отрицательно относился (с этической точки зрения) к индивидуалистическим теориям Раскольникова. В «Истории моего современника» Короленко с осуждением упоминает о «раскольниковских формулах», по которым цель оправдывает средства [76]. На страницах своей автобиографической эпопеи он с неодобрительной интонацией рассказал и о подлинном случае с молодым человеком, который из революционных целей решил повторить преступление героя Достоевского. «Узнав об этом, товарищи отшатнулись от него, и он,— вспоминает Короленко,— потонул в серой арестантской массе» [77]. Но писатель, как мы видели выше, хорошо понимал сложность мотивов, толкнувших Раскольникова на преступление. И в этой сложности была для него великая жизненная правда.

В героях Достоевского Короленко чувствовал живых людей, действующих по законам реальной жизни. В этом отношении большой интерес представляет дневниковая запись 1888 г., к которой мы уже обращались.

Предложив вообразить статую человека, сплетенную из разного цвета нитей, он пишет: «Наши чувства, наши страсти, инстинкты, взгляды, побуждения — такие бесчисленные разноцветные нити. Человек весь соткан из них в более или менее сходных более или менее различных сочетаниях» [78]. И если, по мнению Короленко, прокурор с полной правдой изобразит человека жестоким, нераскаянным, вредным, то Достоевский в этом самом человеке «сумеет развернуть и проследить затерявшиеся изгибы доброты, раскаяния, добрых побуждений». И ниже: «Злодей не всегда только злодействует, но иногда сожалеет, а порой — у Брет-Гарта или Достоевского — он проявляет героизм великодушия. И это не ложь,— читая их, вы видите, что их *живые люди* действуют так, как действовали бы вы в таких условиях» [79].

Таким образом, оценивая дар Достоевского «найти человека в человеке», Короленко считал преобладающим у автора «Записок из Мертвого дома» гуманистический взгляд на человеческую природу, совпадающий с его собственными гуманистическими убеждениями. Так, в рассказе «Соколинец» (1885), основанном на впечатлениях ссылки, Короленко замечал: «Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализировать „несчастненького", взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но 〈...〉 убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди...» [80]. Естественно, что автор «Соколинца» признает этот взгляд отвечающим объективной действительности, а персонажей Достоевского «живыми людьми».

Даже в «Бесах» писатель находил зерно истины — отражение реальных настроений части «зеленой молодежи», которая в каждом разрушительном действии готова была видеть революционный акт [81].

Короленко отлично понимал сложную диалектику исключительного и типического. В статье, посвященной рассказу «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева, в известной мере продолжавшего традиции Достоевского, писатель дважды отмечает, что настроение героя этого рассказа «типично при всей своей исключительности» [82]. Гротескные формы сатирической фантастики Щедрина не закрыли от Короленко глубоко реалистического характера его творчества. Естественно, что, в отличие от многих своих современников, Короленко не отказывал и Достоевскому, сосре-

доточившему творческое внимание на явлениях болезненных и исключительных, в создании типических характеров. Так, в блестящем анализе повести «Двойник», недостатком которой еще Белинский считал «фантастичность», Короленко образ душевнобольного ее героя рассматривает как образ глубоко типический [83]. Раздвоение личности героя, показанное, по выражению Короленко, «с обычной для Достоевского беспощадностью» во всех «мучительнейших стадиях этого процесса», осмыслено в статье как закономерное следствие условий русской социально-политической жизни.

«В герое Достоевского,— пишет Короленко,— мы имеем замечательно полный образ этой болезни личности, которую смело можно назвать нашей национальной болезнью» [84]. «Типическая психология двойничества» отражает, по мнению Короленко, «и тени крепостного права в прошлом, и параграфы паспортного устава, и табели о рангах в настоящем» [85], то есть понимается конкретно, социально-исторически. Другими словами, Короленко великолепно почувствовал за спиной Голядкина «среду», «внешние соотношения»— не в узком бытовом плане, а в широких социально-исторических масштабах; образ же героя признал, как и его создатель,—«величайшим типом, по своей социальной важности».

Истолкование же Короленко самой психологии «двойничества», раскрытой в повести Достоевского, отличается глубиной и, хотя в нем ощутима добролюбовская традиция, несомненным своеобразием. В переживаниях Голядкина Короленко увидел «жгучую боль личности, затоптанной, униженной и оскорбленной», которая «начинает раскачиваться, как маятник, между исконными полюсами русской жизни, произволом с одной стороны, бесправием с другой», и которая «наконец, с отчаяния, от нестерпимого сознания своей ничтожности, раздваивается, как бы распадается на две половины: утеснителя и гонителя, с одной стороны,— утесняемого и гонимого—с другой» [86].

Короленко цитирует слова Голядкина, которые тот обращает к своей «мечтающей, заносящейся» половине: «Самозванство, сударь вы мой, самозванство и бесстыдство не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго...» [87]

Эта цитата с упоминанием имени Отрепьева наиболее ясно раскрывает короленковскую концепцию «двойничества» и, может быть, помогает уяснить концепцию самого Достоевского, в которой противоборство смирения и протеста занимает, без сомнения, определяющее место.

Подчеркивание затаенной непримиренности, как оборотной стороны сознания своей крайней униженности, болезненно острых стремлений к самоутверждению при отсутствии реальных для этого возможностей, четкий социально-политический характер определений (утеснитель, гонитель — утесняемый, гонимый), осмысление болезни героя как порождения объективных обстоятельств русской социально-политической действительности — вот основные черты короленковского понимания природы «двойничества», гениально запечатленного создателем Голядкина.

Короленко прекрасно чувствовал силу обобщающей мысли Достоевского, его способность отдельный реальный случай осмыслить как полный глубокого значения символ. В «Истории моего современника» Короленко ссылается на «Дневник писателя», в котором Достоевский рассказал о встрече на почтовом тракте с фельдъегерем, не переставая колотившим ямщика, который в свою очередь неистово хлестал кнутом лошадей, в смертельном ужасе мчавшихся по дороге. «Эта картина,— замечает Короленко,— показалась юноше символом всей самодержавной России и, быть может, содействовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни...» [88]

Правда образов, созданных Достоевским, не раз подтверждалась для Короленко реальной действительностью.

В статье «Прискорбные случаи из области суда» (1896) Короленко строит прямую параллель между жизненной историей (Дело Тальма), представляющей «поразительную психологическую картину, вскрывающую удивительные изгибы человеческой

природы», и сюжетной ситуацией и художественными образами романа «Братья Карамазовы» [89].

Повторением одной из ситуаций другого художественного создания Достоевского —«Преступления и наказания», подтверждающим его глубокую жизненность, явился действительный случай, давший Короленко новый повод обратиться к этому роману.

В 1904 г. писательница Н. А. Лухманова читала в разных городах лекции о воспитании, семье, положении женщины, о нравственности и, касаясь, между прочим, проституции, «с высоты кафедры сыпала громы осуждения на головы «несчастных». В архиве Короленко хранится большое количество газетных вырезок, относящихся к вопросу о положении женщины, и, в частности, к «страшной проблеме женского падения». Среди них есть и газетные сообщения о лекциях Лухмановой [90].

В воспоминаниях «О Глебе Ивановиче Успенском» Короленко рассказал, какое страстное негодование вызвало у покойного писателя «бездушие добродетельных женщин» по отношению к своим «несчастным сестрам». Теперь Короленко узнал из газеты, что среди слушательниц «почтенной лекторши» нашлась одна, которая, стремясь «облегчить сердце, переполненное горечью несправедливых укоров», прислала в редакцию газеты письмо. «Это была,— говорит Короленко в статье, посвященной этому эпизоду,— Соня Мармеладова из романа Достоевского» [91].

Процитировав ее письмо, из которого мы узнаем, что, оставшись без родителей тринадцатилетней девочкой с четырьмя младшими ребятишками на руках, она поступила на табачную фабрику, где зарабатывала по 25 копеек в день, носила соседям воду за 50 копеек в месяц, мыла белье, одним словом, по ее выражению, «билась во всю мочь», Короленко пишет: «И вот дальше... обыкновенная история, с которой читатель знаком давно в изображении Сони Мармеладовой...» «Ибо,— приводит Короленко слова старого пропойцы Мармеладова,— обращусь к вам (добродетельные моралистки) с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. 25 копеек в день, сударыня, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши... А тут ребятишки голодные...» [92]

И хотя писатель считает, что даже «мучительный талант» Достоевского почувствовал потребность смягчить ужас действительности, трагическая история Сони Мармеладовой имеет в романе глубоко жизненный и гуманистический смысл. Гуманистическое начало в творчестве Достоевского, составляя его сильную сторону, было для Короленко несомненным.

«Мы знали до сих пор,— пишет Короленко,— о скорбно-негодующем заступничестве Успенских, Достоевских, Толстых... Мы со слезами на глазах читали рассказ Достоевского о том вечере, когда Соня Мармеладова лежала, завернувшись с головой в драдедамовый платок, и как при этом вздрагивали ее плечики. И никто, даже Катков, даже кн. Мещерский не смели восставать против Сони Мармеладовой в романе и против того чувства, которое автор будил этим изображением в читателе. Теперь Соня Мармеладова из действительной жизни просит примерить к ней, к ее собственному положению эти наши чувства и эти вычитанные взгляды...» [93] Так образ из романа Достоевского, овеянный глубоким гуманистическим пафосом (если отвлечься от философии смирения, связанной с образом Сони), рожденный жизнью и ею подтвержденный, послужил Короленко неопровержимым аргументом в защиту «падших» в реальной действительности.

Многократно подчеркивая «правду жизни» в произведениях Достоевского, Короленко ясно осознавал все отличие творческих принципов великого писателя как от декадентства, так и от натурализма, тенденции которого с особенной силой проявились в литературе конца XIX — начала XX в.

В статье «Всеволод Михайлович Гаршин», написанной для «Истории русской литературы» под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского (1910) [94], касаясь темы проституции (в связи с рассказом Гаршина «Надежда Николаевна»), Короленко прямо противопоставляет литературу 60—70-х годов, к которой относит и Достоевского, «новейшей литературе». Он пишет: «Идеология семидесятых годов была наивна, часто

романтична. Ведь и Достоевский свою проститутку нарисовал подвижницей (Соня Мармеладова). В обоих образах [95] (безотносительно к силе таланта) русская литература тех времен робко подходит к страшной проблеме женского падения. Подходит издали, как бы в неведении всей реальной правды и сохраняя в памяти идеальные представления о женской натуре. Еще несколько шагов, и эти идеалистические представления разлетятся, как мыльный пузырь. В наше время литература уже сделала эти шаги. Она вскрывает бытовую обстановку проститутки с поразительной, отталкивающей, одуряющей правдивостью». Далее, сопоставив изображение народной жизни в «Записках охотника» Тургенева и в «Подлиповцах» Решетникова, Короленко заключает: «Однако — есть своя правда и в „Бежином лугу“. И порой невольно приходит в голову, что реальный угар, которым веет от новейших изображений проституции,— тоже не вся правда. Для художественного синтеза необходим и элемент того целомудренного идеализма, с каким подходила к этому вопросу литература шестидесятых и семидесятых годов» [96].

Утверждение романтики и поэтической идеализации, которые в такой сильной степени отвечали собственной творческой практике Короленко, входило в его эстетический кодекс именно потому, что эти элементы сопрягались с идейным началом художественного произведения, отражающим ту «широкую концепцию жизни», ту «возвышенную точку зрения», которую Короленко считал обязательной для художника. Она включала в себя высокие принципы гуманизма и демократизма, несомненные и близкие для Короленко в творчестве Достоевского. Именно поэтому Короленко назвал Достоевского не бытописателем и не психологом, а «суровым *поэтом* „униженных и оскорбленных“» [97].

Чуждый всякого упрощения, Короленко отлично понимал сложность политической позиции Достоевского, противоречивость сочетания в его мировоззрении гуманистических и демократических начал с реакционно-утопическими и религиозными.

Ценя демократические тенденции творчества Достоевского, Короленко совершенно не принимал его трактовки народа как носителя идей православия и самодержавия. «Для Достоевского народ был „богоносец“»,— критически замечал Короленко [98], имея в виду и общую концепцию автора «Братьев Карамазовых» и прямые слова Зосимы из этого романа (IX, 310). Подчеркивая свое разногласие с Достоевским, Короленко писал, касаясь его речи о Пушкине: «Впоследствии он говорил о том, что народ признает своим только такого поэта, который почтит то же, что чтит народ, то есть, конечно, самодержавие и официальную церковь» [99]. Короленко, убежденному, что историческое развитие ведет народные массы к сознательной гражданской деятельности, к борьбе за свои права, были дороги черты вольнолюбия в народном характере, а не патриархальные пережитки в сознании народа, ценившиеся Достоевским.

Резко отрицательное отношение Короленко вызывала, как он выражался, «метафизическая софистика византийской диалектики Достоевского», связанная с образом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых». Религиозно-этический и гражданский идеал Достоевского, воплощенный в образе Зосимы, был совершенно не приемлем для Короленко. В письмах и дневниках писателя неоднократно встречаем иронические упоминания имени этого героя Достоевского [100].

Острокритический характер носят и его пометки на страницах романа «Братья Карамазовы», где речь идет о развиваемых Зосимой утопических идеях христианского братства и роли в нем церкви. Так, например, отчеркнув целый ряд мест на полях главы «Русский инок», Короленко на обороте форзаца книги отослал к странице, на которой Зосима поучает: «...будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, а бедный 〈...〉 лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет» (IX, 311),— и с несомненной иронией записал: «Решение социального вопроса в России» [101].

Естественно, что поворот к идеализму «недавних марксистов» и их обращение к реакционным утопиям и мистическим сторонам творчества Достоевского вызывал



СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
Постановка МХАТа 1932 г.
Фотография
Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

у Короленко грустные раздумья. В дневнике 1901 г. Короленко записал свою беседу с «одним из первых главарей русского марксизма» М. И. Туган-Барановским, который утверждает «необходимость мистического начала в общественном настроении», «преклоняется перед философией Зосимы (из „Карамазовых"), говорит о справедливости христианской вечной казни за грехи мгновенной жизни» [102].

О М. И. Туган-Барановском, который в беседе с писателем «развивал философию Зосимы», Короленко упоминает и в письме к П. С. Ивановской 5 февраля 1903 г. и заключает: «Все это часто нехорошо, потому что люди обращают свои поиски назад и хотят выкинуть за борт то, что человечество уже узнало и никогда не забудет» [103].

Образ Зосимы был для Короленко воплощением иллюзорных, утопических начал, поддерживаемых народной темнотой и настроениями реакционной интеллигенции.

По-видимому, и образ Алеши Карамазова Короленко воспринимал как недостаточно жизненный. В частности, скептическое отношение будила у Короленко чрезмерная способность интуитивных проникновений, с их религиозно-мистической окраской, которой наделен Алеша (см. настоящий том, стр. 655).

Но нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что с еще большей энергией Короленко отчеркивает и подчеркивает целые страницы глав «Братья знакомятся» и «Бунт». В этих главах его внимание привлекают как этико-философские рассуждения Ивана Карамазова, его богоборческие мысли, так и его рассказы о страданиях детей. Короленко был близок дух искания, горячая и глубокая страстность, которыми проникнуты речи этого героя Достоевского, его неспособность принять порядок, основанный на «слезах человеческих», его потребность широкого осмысления жизни, идущая от самого создателя прославленного романа. В выше цитированном письме к П. С. Ивановской Короленко между прочим замечал: «... самое чувство, побуждаю-

щее искать широких мировых формул,— я считаю нормальным, неистребимым и подлежащим бесконечной эволюции». В письме идет речь и о собственном рассказе писателя, над которым он работал в то время,— «Не страшное», т. е. о том рассказе, который Ф. Д. Батюшков считал близким идее Достоевского «о взаимной нравственной ответственности людей друг за друга».

Понимая, что Достоевский «не принадлежал к „либералам" и его публицистические взгляды давали повод даже князю Мещерскому говорить о нем как о своем единомышленнике», Короленко решительно отделял великого писателя от реакционной клики Мещерских и Катковых. По поводу слов Мещерского «Мы люди мыслящие и пишущие воедино», Короленко замечал: «... это, к счастью, крупное недоразумение» [104].

Короленко не мог забыть о потрясении, пережитом Достоевским в молодые годы. В недавно опубликованной статье писателя «О современном положении», относящейся к 1906 г., Короленко, говоря о трусливой жестокости русской самодержавной власти, в качестве ярчайшего примера назвал «смертный приговор Достоевскому» [105].

В этом плане представляют интерес слова Короленко, записанные Б. Крониным, посетившим писателя в деревне Хатки в 1913 г.— в связи с его шестидесятилетием. В разговоре о современной литературе, заметив, что он к беллетристике не вернется («Не такое время, чтобы можно было описывать красоты природы и философствовать о любви»), Короленко сказал: «Вы знаете, откуда я жду свежих веяний в литературе? Из тюрем! Оттуда, перестрадав, переболев, придет к нам новый Достоевский...» [106].

Трудно ошибиться в истолковании мысли, высказанной Короленко. Очевидно, он полагал, что опыт социально-политической борьбы обогатит и художественную литературу, даст ей новый заряд для постановки и решения больших морально-философских и общественных проблем, как в свое время это делал такой выдающийся писатель, каким был в глазах Короленко Достоевский.

Имеющиеся в нашем распоряжении высказывания Короленко не передают его представления о Достоевском в совершенной полноте. Но со всей несомненностью они свидетельствуют о большом и стойком интересе писателя к творчеству великого художника и о глубоком проникновении в мир его творений. При всей их беглости и отрывочности, в них затронуты существенные вопросы, связанные с творчеством Достоевского, и высказано много верных и тонких наблюдений, свободных от упрощения и неуместной прямолинейности в подходе к этому сложнейшему из русских писателей.

Суждения Короленко вытекают из определенных эстетических требований, они концептуальны по своему характеру. Концепция же искусства Короленко была достаточно широкой и прогрессивной, чтобы обеспечить глубокую, во многом правильную и в целом весьма высокую оценку наследия Достоевского.

Как вдумчивого художника, искавшего новых путей в искусстве, Короленко в наибольшей степени интересовал творческий метод Достоевского, и в своих разрозненных, разновременных замечаниях он выделил характеристичные черты творческого своеобразия великого писателя: необычайную экспрессивность его изображений, их предельную сгущенность, их трагический колорит, повышенную сосредоточенность на болезненных явлениях жизни, исключительность ситуаций, в которых действуют его герои, проникновение в почти недоступные глубины человеческого сознания, умение —«найти человека в человеке» и своеобразную, заражающую манеру повествования, властно втягивающую читателя в сопереживание с героем.

Действительность в творчестве Достоевского, с точки зрения Короленко, представлена не в соответствии с ее «органическими законами»: в ней нарушены ее пропорции, размеры, светотени, краски, сдвинуты ее горизонты. Тем не менее в этих своеобразных «сдвинутых» формах с величайшей впечатляющей силой отражена огромная «правда жизни»—«много правды», неотразимо притягивавшей Короленко.

Эстетическая концепция Короленко допускала и основной творческий принцип Достоевского — через исключительное, патологическое, выходящее за нормы повседневной жизни вскрывать закономерности современной ему действительности. Мы это видели на его оценке образа Голядкина, в самом характере болезни которого Короленко признал социально-типическое явление.

Короленко был близок к пониманию своеобразия реализма Достоевского, который сам писатель называл «фантастическим».

И если Короленко не принял определенных сторон творчества великого писателя, то дело здесь не в творческих принципах как таковых и не в различии эстетических позиций двух писателей. Источник критического отношения Короленко к Достоевскому лежит глубже: он — в определенном понимании действительности или, как сам писатель настойчиво подчеркивал,— в характере «общей художественной концепции жизни»— в мировоззрении художника, которому Короленко придавал величайшее значение. Мировоззрение же Достоевского, отмеченное реальными противоречиями, содержало черты, для Короленко совершенно не приемлемые.

Писавший в других исторических условиях, чем Достоевский, но сохранивший традиции социального оптимизма революционной демократии 60-х годов и сумевший занять несомненно прогрессивную позицию в общественно-политической борьбе своего времени, Короленко настойчиво искал реальных зиждущих начал в русской общественной жизни и в народе. Поэтому, глубоко ценя реалистическое, демократическое и гуманистическое содержание творчества автора «Преступления и наказания», он остро чувствовал социально-историческую бесперспективность его мировоззрения, утопические и реакционные черты его «концепции жизни». Короленко не удовлетворяли как некоторые критические стороны взглядов Достоевского (например, его отношение к деятелям революционного движения), так и его положительные построения: поэтизация страдания, патриархальных черт в психологии народа, религиозно-мистический налет в понимании природы человека, недооценка значения социальных условий в жизни общества, надежды на нравственно-религиозное возрождение человечества. Эти черты концепции Достоевского мешали, с точки зрения Короленко, созданию того правильного аспекта, того здорового «отражения», о котором Короленко писал в статье об Альбове. «Эти ужасы, изображенные с такой силой» и огромной степенью концентрации, закономерно заслоняли, в представлении Короленко, жизнеутверждающие начала творчества великого романиста, определяли его пессимистический колорит и вносили известную идейную и эстетическую фальшь в его создания.

Одно замечательное высказывание о Салтыкове-Щедрине, который писал с неменьшей силой и о неменьших «ужасах», чем Достоевский, с большой ясностью показывает, чего недоставало Короленко в авторе «Братьев Карамазовых». Великому сатирику Короленко ставил в заслугу, что «в самые мрачные минуты нашей недавней истории» он смеялся. «Представьте только в самом деле,— писал Короленко,— что в то время, когда и без того было так жутко, еще Щедрин затянул бы унылую заупокойную песню (...) Да, нужно было великую нравственную силу, чтобы, чувствуя так всю скорбь своего времени, как чувствовал ее Щедрин, уметь еще пробуждать в других смех, рассеивающий настроение кошмара и вспугивающий ужасные призраки» [107]. Этого «вспугивающего» начала Короленко не находил в творчестве Достоевского, не рассеивавшего, а рождавшего впечатление кошмара. «Смех» Щедрина, опиравшийся на политически прогрессивное осмысление действительности, и был, с точки зрения Короленко, тем здоровым «отражением», которое в произведениях искусства приобретает особое идейно-эстетическое значение.

Основываясь на просветительском понимании задач искусства, Короленко, как и великие русские демократы — Белинский, Добролюбов, Чернышевский,— придавал огромное значение не только познавательной и эстетической, но и общественно-воспитательной роли литературы. Поэтому в эпоху жестокой реакции 80-х годов, когда писатель работал над статьей об Альбове и фиксировал свои раздумья о Достоев-

ском в дневнике, он так настойчиво выдвигал требование «психически деятельного момента» в произведениях искусства, требование, вытекавшее из последовательного утверждения активного отношения к жизни и стремления противостоять силам реакции. Поэтому же, признавая в Достоевском выдающегося мастера, в своих высказываниях этого времени Короленко по преимуществу осмысливал его наследство не столько как общечеловеческую идейно-эстетическую ценность и не как порождение определенной исторической эпохи, с потрясающей силой запечатлевшее ее уродства и противоречия, но, исходя из задач своего трудного времени, с точки зрения его воздействия на общественное сознание.

Выражая озабоченность состоянием современной литературы и, в частности, влиянием на нее Достоевского, в первом — неопубликованном наброске статьи об Альбове Короленко с горечью отмечал «столь распространенную и излюбленную в последнее время» в литературе тему душевных болезней (герой повести Альбова «День итога»— тоже душевнобольной) [108]. Поэтому понятно, что воздействие тех болезненно острых, пессимистически окрашенных переживаний, которые с такой мощью и такой приближенностью к читателю передавал Достоевский, казалось ему крайне нежелательным, социально опасным.

Позиция Короленко в 80-е годы по отношению к Достоевскому резко противостояла его апологии со стороны реакционных кругов, особенно усилившейся тотчас после смерти великого писателя. Если бы критический этюд об Альбове, в котором так много внимания уделено его учителю, был завершен и опубликован, мы имели бы не только более полное представление о короленковских оценках Достоевского. Этюд составил бы еще одно из звеньев в последовательной борьбе против реакционных веяний, которую Короленко вел в это время во всех сферах своей многообразной деятельности.

Критически высказываясь о Достоевском, Короленко, как мы видели, ценил и положительные, прогрессивные стороны его творчества и сумел поставить его произведения на службу своей общественно-политической борьбе. Так, он использовал образ Голядкина в статье «Современная самозванщина», всей своей сутью направленной против самодержавно-бюрократического режима угнетения и беззаконий. Так же послужил ему образ и Сони Мармеладовой в защите «падших».

Короленко отдал дань внимания автору «Братьев Карамазовых» не только в критических высказываниях и беглых упоминаниях. Он откликнулся на его деятельность и в своем художественном творчестве, что имеет все основания стать предметом специального изучения.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Начала», 1922, № 2, стр. 210.

[2] Там же. См. также: Ф. Д. Батюшков. Основные мотивы творчества Короленко.— «Русское слово», 1913, № 163, 16 июля, стр. 2, и его книгу «Короленко как человек и писатель». М., 1922, стр. 47.

[3] Г. А. Бялый. В. Г. Короленко. М., 1949, стр. 316.

[4] Из рассказа Короленко «Яшка».

[5] И. Н. Кубиков. Великие писатели России. М., «Пролетарий», 1925, стр. 76.

[6] В. Г. Короленко. Избранные сочинения. Ред., вступ. ст. и коммент. Н. К. Пиксанова, изд. 2. Л., 1935, стр. 679.

[7] «Детская литература», 1940, № 11-12, стр. 91 (за подп. Ф. Человеков). То же в кн.: А. Платонов. Размышления читателя. М., 1970, стр. 76.

[8] В. Ф. Переверзев. Творчество Достоевского. М., 1912, стр. 55.

[9] А. В. Луначарский. Праведник.— «Красная нива», 1924, № 1, стр. 19.

[10] А. и Е. Редько. Короленко.— В кн.: «Задруга». Памяти Вл. Г. Короленко. М., 1922, стр. 8—9.

[11] В. Г. Короленко. История моего современника.— Собр. соч. в десяти томах, т. 5. М., 1954, стр. 266.

[12] Там же, т. 6, стр. 42, 43.

[13] Там же, стр. 73.

[14] Там же, т. 5, стр. 320.
[15] Там же, т. 6, стр. 51.
[16] Там же, стр. 45.
[17] Там же, стр. 67, 68.
[18] ЛБ, ф. 135. I, 28, л. 22 об.— См. также в кн.: В. Г. Короленко. История моего современника. М., 1965, стр. 955.
[19] В. Г. Короленко. История моего современника.— Собр. соч., т. 6. М., 1954, стр. 90.
[20] 13 сентября 1897 г. Письмо не опубликовано. — ЛБ, ф. 135, II, 3,50.
[21] См. в настоящ. томе публикацию И. А. Кронрод «Пометы В. Г. Короленко на книгах Достоевского».
[22] В. Г. Короленко. История моего современника.— Собр. соч., т. 6. М., 1954, стр. 197—198.
[23] Там же, стр. 198, 199.
[24] Там же, стр. 199.
[25] «В. Г. Короленко о литературе». М., 1957, стр. 223. В первом случае подчеркнуто мною, во втором — Короленко.
[26] Письмо к Круковской 29 января 1910 г.— «В. Г. Короленко о литературе», стр. 565.
[27] См., например, письмо 17 августа 1896 г.— «В. Г. Короленко о литературе», стр. 512.
[28] Не опубликовано.— ЛБ, ф. 135, 13, 723, л. 8.
[29] В. Г. Короленко. К статье об Альбове. Записная тетрадь 1885—1887 гг.— ЛБ, ф. 135, 5, 182, л. 93.
[30] М. Альбов. Повести и рассказы. Второе дополн. изд. СПб., 1888.
[31] В. Г. Короленко. Полн. собр. соч. Посмертное издание, т. I. Письма, L, ГИЗ Украины, 1923, стр. 178.
[32] ЛБ, шифры: ф. 135, 5, 182 и второй набросок: ф. 135, 13, 703.
[33] ЛБ, ф. 135, 5, 182, л. 93.
[34] «В. Г. Короленко о литературе», стр. 304.
[35] Там же, стр. 71.
[36] Там же, стр. 306, 307.
[37] Первый черновой набросок статьи об Альбове.— ЛБ, ф. 135, 5, 182, л. 93
[38] Там же, л. 92 об.
[39] Там же, л. 92.
[40] «В. Г. Короленко о литературе», стр. 307.
[41] Там же, стр. 306. Подчеркнуто мною.
[42] Там же, стр. 644. Подчеркнуто мною.
[43] ЛБ, ф. 135, 5, 182, лл. 91 об.— 92.
[44] Там же, л. 91.
[45] «В. Г. Короленко о литературе», стр. 308.
[46] Там же, стр. 307, 308.
[47] Там же, стр. 311—312.
[48] Там же, стр. 312.
[49] ЛБ. ф. 135, 5. 182, л. 93—93 об.
[50] Между прочим, Короленко далек от ошибки, которую совершил В. М. Гаршин, поставивший повесть М. Альбова «День итога» выше произведений Достоевского (см. В. Г. Гаршин. Собр. соч., т. III. М., «Academia», 1934, стр. 177).
[51] ЛБ, ф. 135.5.182. л. 87.
[52] Там же.
[53] «В. Г. Короленко о литературе», стр. 304.
[54] А. В. Луначарский. Праведник. Указ. изд., стр. 19.
[55] ЛБ, ф. 135,5,182, л. 88.
[56] Там же.
[57] В. Г. Белинский. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым.— Полн. собр. соч., т. IX. М., изд-во АН СССР, 1955, стр. 565.
[58] М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 2, переработанное. М., 1963, стр. 302—303. Подчеркнуто мною.
[59] В. Г. Короленко. О сборниках товарищества «Знание» за 1903 г. (Литературная заметка).— «В. Г. Короленко о литературе», стр. 368—369.
[60] Письмо 15 апреля 1895 г.— В кн.: «А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка, статьи, высказывания». М., 1957, стр. 32, 33; см. также: «В. Г. Короленко о литературе», стр. 503—504.
[61] В. Г. Короленко. О Глебе Ивановиче Успенском. (Черты из личных воспоминаний).— «В. Г. Короленко о литературе», стр. 71—72.
[62] В. Г. Короленко. Полн. собр. соч., т. 3, СПб., 1914, стр. 362. Подчеркнуто мною.
[63] В. Короленко. Дневник, т. I. Полн. собр. соч. Посмертное изд. ГИЗ Украины, 1925, стр. 178—179.
[64] Там же, стр. 178.

[65] В. Г. Короленко. Современная самозванщина.— Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1914, стр. 362, 363.
[66] ЛБ, ф. 135.5—186, л. 39—40 об.
[67] В. Я. Кирпотин. Мир и лицо в творчестве Достоевского.— В кн.: «Мастерство русских классиков». М., 1969, стр. 328.
[68] «В. Г. Короленко о литературе», стр. 304.
[69] Там же, стр. 128.
[70] Там же, стр. 126.
[71] Там же.
[72] Там же, стр. 127.
[73] Там же.
[74] Там же, стр. 71.
[75] Там же.
[76] В. Г. Короленко. Собр. соч. в десяти томах, т. 6. М., 1954, стр. 145.
[77] Там же, т. 7, 1955, стр. 392—393.
[78] В. Г. Короленко. Дневник, т. I. Полн. собр. соч. Посмертное изд. ГИЗ Украины, 1925, стр. 177.
[79] Там же, стр. 173.
[80] В. Г. Короленко. Собр. соч. в десяти томах, т. 1. М., 1953, стр. 135.
[81] В. Г. Короленко. История моего современника. М., 1965, стр. 1010.
[82] В. Г. Короленко. Современная самозванщина.— Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1914, стр. 333—334, 358—364, 367 (первоначально: «Русское богатство», 1896, №№ 5, 8).
[83] В. Г. Короленко. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1914, стр. 360.
[84] Там же.
[85] Там же, стр. 363.
[86] Там же, стр. 333, 358—359.
[87] Там же, стр. 360—361.
[88] В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10 томах, т. 5. М., 1954, стр. 212.
[89] В. Г. Короленко. Полн. собр. соч., т. 8. СПб., 1914, стр. 319—320 (первоначально: «Русское богатство», 1896, № 3).
[90] «Волынь», 1904, № 41, 22 мая.
[91] В. Г. Короленко. Соня Мармеладова на лекции г-жи Лухмановой.— Собр. соч. в 10 томах, т. 9. М., 1955, стр. 674 (первоначально: «Русское богатство», 1904, № 7, отд. II, стр. 205—207).
[92] Там же, стр. 675.
[93] Там же, стр. 676—677.
[94] «История русской литературы», т. 4. М., «Мир», 1910, стр. 355—361.
[95] Надежды Николаевны и Сони Мармеладовой.
[96] В. Г. Короленко. О литературе, стр. 244.
[97] В. Г. Короленко. Полн. собр. соч., т. 3. СПб., 1914, стр. 360. Подчеркнуто мною.
[98] В. Г. Короленко. История моего современника.— Собр. соч. в десяти томах, т. 6. М., 1954, стр. 141.
[99] Там же, стр. 199.
[100] См., например, письмо к П. С. Ивановской 5 февраля 1903 г.—Собр. соч. в десяти томах, т. 10. М., 1956, стр. 358; письмо к А. П. Чехову, 29 июля 1903 г.— Там же, стр. 380.
[101] См. в настоящ. томе публикацию И. А. Кронрод «Пометы В. Г. Короленко на книгах Ф. М. Достоевского».
[102] В. Г. Короленко. Дневник, т. IV.— Полн. собр. соч. Посмертное изд., ГИЗ Украины, 1928, стр. 240—241.
[103] В. Г. Короленко. Собр. соч. в десяти томах, т. 10. М., 1956, стр. 358.
[104] «В. Г. Короленко о литературе», стр. 223.
[105] «Археографический ежегодник за 1971 год». М., «Наука», 1972, стр. 364—366. Указано А. В. Храбровицким.
[106] Б. Кронин. У В. Г. Короленко.— «Столичная молва» (М.), 1913, № 316, 15 июля, стр. 2. Указано А. В. Храбровицким.
[107] О сборниках товарищества «Знание» за 1903 г. (Литературная заметка). — «В. Г. Короленко о литературе», стр. 363, 364.
[108] ЛБ, 135.5, 182, л. 89 об.



И. СМОКТУНОВСКИЙ
В РОЛИ МЫШКИНА
В СПЕКТАКЛЕ «ИДИОТ»
Постановка Большого драматического театра им. Горького, Ленинград, 1959 г.
Автолитография А. М. Галеркина, 1959
Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва

II. ПОМЕТЫ В. Г. КОРОЛЕНКО НА КНИГАХ ДОСТОЕВСКОГО

Сообщение И. А. Кронрод

Короленко часто читал с карандашом в руках. Об этом наглядно свидетельствует часть личной библиотеки писателя, которая сохранилась в его Доме-музее в Полтаве. Так читал он произведения, привлекавшие его особое внимание; следы этого чтения сохранились на книгах Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Успенского, Достоевского. Это были писатели, литературные портреты которых он создал, влияние которых, в той или иной мере, испытал.

Читая, Короленко отчеркивал части текста: вертикальной чертой на полях выделял он целые страницы, либо их части, те или иные абзацы; внутри выделенного текста подчеркивал слова и выражения. На полях также ставил особые знаки: NB, изредка даже сдвоенный NBNB, восклицательные и вопросительные знаки, которые он иногда соединял с NB; косые крестики, проводил горизонтальные параллельные черточки (—; =; ≡), изредка соединенные с небольшой вертикальной чертой (|—).

Не ограничиваясь такими пометами, Короленко в некоторых случаях делал и замечания на полях.

На форзацах книг, на внутренней стороне переплетов он оставлял и своеобразный тематический ключ к этим пометам: указывал привлекшие его внимание страницы, называл выделенные им в тексте темы, то цитируя автора (например, на форзаце «Братьев Карамазовых»: «„А Россию спасет господь“ — 364»); то перефразируя авторский текст (например, на форзаце «Бесов»: «Честные и бесчестные (неизв. кто у кого в руках) — 21».

Такой характер имеют и пометы на сохранившихся в библиотеке Короленко четырех томах Полного собрания сочинений Достоевского (СПб., 1891—1892): томе седьмом («Бесы»), девятом («Дневник писателя» 1873 г.), одиннадцатом («Дневник писателя» 1877 и 1880 гг.) и двенадцатом («Братья Карамазовы») [1].

Пометы Короленко сделаны черным карандашом. Прямых и точных сведений о времени чтения Короленко этих произведений Достоевского не имеется. Однако некоторые данные позволяют предположительно установить датировку. Известно, что к началу 1900-х годов относится работа Короленко над рассказом «Не страшное», опубликованном в 1903 г.[2] В этом рассказе современники почувствовали «воздействие Достоевского», отметили, что Короленко воспринял «одну из основных мыслей Достоевского о взаимной нравственной ответственности друг за друга»[3].

Интерес Короленко к Достоевскому, темам и образам его произведений, отдельным мыслям и высказываниям, в 1890-х и начале 1900-х годов подтверждается и пометами Короленко на книгах Достоевского. Так, на форзаце двенадцатого тома среди других тем указано: «343 – в Дуэли». Открыв 343 страницу, читаем: «Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными – до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки».

Эти, выделенные Короленко слова, так же, как и указание «в Дуэли» напоминают о статьях писателя: «Русская дуэль в последние годы» (1897), «Господа дуэлянты» (1907), «Русский взгляд на дуэли и польское коло» (1913); особенно о первой, где Короленко наряду с рассуждениями и рассказами о предрассудках в военной среде, как бы продолжая мысль Достоевского, пишет: «Разумеется, мода не ограничивается военной средой: дуэль имеет применение и в среде штатской»[4].

Таким образом, мы можем предположить, что скорее всего Короленко вновь перечитывал произведения Достоевского в конце 1890 – начале 1900-х годов, когда работал над статьями о дуэлях, писал «Не страшное». Об этом же свидетельствует и характер почерка писателя.

Ниже воспроиводятся тексты Достоевского с пометами Короленко.

ПОМЕТЫ НА СТРАНИЦАХ РОМАНА «БЕСЫ»

〈21〉* – Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр... Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. (VII. 21)

〈22〉 явилась карикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные *народным поэтом* единственно для этого случая. (VII, 21)

〈127〉 — Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся... И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова, *как про эти незримые слезы*!— вскричал он почти с яростью. (VII, 114)

〈128—129〉 — Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что «мы, русские, перед американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или, по крайней мере, сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень». Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, *а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится...* (VII, 115)

* *В ломаных скобках указаны страницы книги. Слова, подчеркнутые* Короленко, *выделены курсивом. В круглых скобках, как везде в настоящ. томе, даны ссылки на Собр. соч. Достоевского в XIII томах.*

〈187〉 — Ты меня прости, Степан Трофимович, за мое глупое признание, но ведь согласись, пожалуйста, что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так что тебе ведь и все равно... Ну-ну, не обижайся; мы-то с тобой все-таки свои! Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. (VII, 166)

〈191〉 — Этот Л—н еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб, единственно из-за того, что ни за что не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало быть, многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на одних дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера. (VII, 170)

〈200〉 — Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее! (VII, 178)

〈232〉 — Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?.. (VII, 205)

〈232—233〉—Ни один народ,— начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина,—ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога», как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него, как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. *Полунаука — это деспот...* (VII, 206)

〈233〉 — Не думаю, чтобы не изменили,— осторожно заметил Ставрогин;— вы пламенно приняли и пламенно переиначили, не замечая этого. Уж одно то, что *вы бога низводите до простого атрибута народности*... (VII, 207)

〈234〉 — Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. *Но истина одна, а, стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного*... (VII, 207)

〈235〉 — Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...— залепетал в исступлении Шатов.

— А в бога? В бога?

— Я... я буду веровать в бога.

Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом, смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом. (VII,208)

〈238〉 — Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать... Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе, ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич, я, сын вашего крепостного лакея Пашки... Слушайте, добудьте бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете, как подлая плесень; трудом добудьте. (VII, 211)

〈238〉 — Вы полагаете, что бога можно добыть трудом и *именно мужицким*? — переговорил он, подумав, как будто действительно встретил что-то новое и серьезное... (VII, 213—214)

〈241〉 — У того коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и звания нет. *А я, может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его.*

〈361〉 — То были,— так как теперь это не тайна,— во-первых, Липутин, затем сам Виргинский, *длинноухий* Шигалев, брат г-жи Виргинской, Лямшин и, наконец, некто Толкаченко,—(VII, 320)

〈372〉 — *Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом.* (VII, 328) NB

〈373〉 — Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо... NB NB

〈385〉 — В крайних случаях клевета и убийство, а главное, равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! (VII, 341)

〈385—386〉 — Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями, вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину! (VII, 341—342)

〈386〉 — Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает, послушания.

— Знаете ли, я думал отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: «Вот, дескать, до чего меня довели!» и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой Internationale согласилась, так и будет (VII, 342)

〈На форзаце〉:
«Вольная, аристократ. связь»,— 21
Честные и бесчестные (неизв. кто у кого в руках) 21
«народный поэт» 22
О ненависти к России и о незримых (Шатовы) слезах — 127
Поездка русских в Америку 129
Истина и Христос (Если бы наука была против Христа — 232)
Разум, бог, народ, всякий народ ищет 232—233

NB Истина разная, понятия о добре и зле тоже разные и должны быть разные, иначе народы умирают (!) 233
Полунаука — деспот 233
Истина одна — и один народ ею обладает 234
Вера в Россию дает веру в Бога 235

Шигалевщина

NB Пророчество о нов. поколении из народа 238
Добыть бога мужицким трудом — (il)
Я по вторникам да по четвергам только дурак — 241.
Исходя из безгранич. свободы — заключаю безгран. деспотиз. —372 — 373
Понизить уровень талантов — 385, 386

ПОМЕТЫ НА СТРАНИЦАХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ И «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» 1873 г.

〈21〉 — В самом деле, только что захочешь высказать, по своему убеждению, истину, тотчас выходит как будто из прописей! Что за фокус! Почему множество современных истин, высказанных чуть-чуть в патетическом тоне, сейчас же смахивают на прописи?

〈149〉 — Западничество перешло бы свою черту и совестливо отказалось бы от своих ошибок. Оно и перешло ее, наконец, и обратилось к реализму, тогда как славянофильство до сих пор еще стоит на смутном и неопределенном идеале своем

〈На последней странице〉:
21 — Истины из прописей
О «Дне»—148 [5]
О западничестве и реализме — 149

ПОМЕТЫ НА СТРАНИЦАХ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» 1877 и 1880 гг.

〈32〉 — Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт! Страстный к страданью поэт!.. (XII, 33)

⟨46⟩ — да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если для сохранения ее, необходимо сдирать с людей кожу. Но однако же это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу! (XII, 44)

№ ?

⟨49⟩ — По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители. (XII, 47)

⟨147⟩ — Подпись под таким письмом придает выражениям чрезвычайную цену, и что весь характер такого письма изменится к лучшему через подпись, которая придает ему дух прямодушия, мужества, готовности постоять и ответить за свои убеждения, да и самая резкость выражений покажет лишь горячку убеждения, а не желание оскорбить(XII,132)

⟨149⟩ — Да чего,— даже Гоголь в «Переписке с друзьями», советовал приятелю, распекая крепостного мужика всенародно, употреблять непременно крепкие слова, и даже приводил, какие именно, т. е. именно те из них, которые садче, в которых как можно больше бы оказывалось, так сказать, нравственной похабности, чем наружной утонченности, чтоб в ругательстве больше было. Между тем народ русский хоть и ругается, к сожалению... (XII, 134)

⟨265⟩ — и в 1848 году все же могли быть, особенно в начале попыток, некоторые основания у тогдашних республиканцев рассчитывать на сочувствие к ним страны. Но у нынешних, у теперешних республиканцев — вот тех самых, *которых в самом скором времени предназначено конфисковать* вместе с их республикой, кому-то в свою пользу... (XII, 234)

⟨266⟩ — *А между тем, накануне почти верного своего паденья*, они убеждены в полной победе. (XII, 234)

⟨267⟩ — при котором они уже и держаться во Франции будут не в состоянии и *это в самом ближайшем, может быть, будущем*. (XII, 235—236)

⟨441⟩ — А разве может человек основать свое счастье на несчастьи другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. (XII, 383)

⟨На последней странице.⟩

О Некрасове (32 и предыдущей)
Предсказание — 265—267
Об анонимных письмах 145—146
Проп... ? 149 —
Европ. цивил.—46
Выделаться в человека 49

ПОМЕТЫ НА СТРАНИЦАХ «БРАТЬЕВ КАРАМАЗОВЫХ»

⟨35⟩ — *Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и свою волю. Избрав старца, вы* от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. (IX, 30)

⟨35—36⟩ — Обязанности к старцу не то, что обыкновенное «послушание», всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех *подвизающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным*. (IX, 30)



И. СМОКТУНОВСКИЙ И Е. ЛЕБЕДЕВ В РОЛЯХ МЫШКИНА И РОГОЖИНА В СПЕКТАКЛЕ «ИДИОТ»

Постановка Большого Драматического театра им. Горького, Ленинград, 1959 г. Автолитография А. М. Галеркина, 1959

Центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

Таким образом *старчество одарено властью в известных случаях* беспредельно и *непостижимо.* (IX ,31)

〈37〉 — Кончилось, однако, тем, что старчество удержалось и мало-по-малу по русским монастырям водворяется. Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе. (IX ,31)

〈69〉 — Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу. *Это испытано, это точно.* (IX, 57)

и не испытано и не точно.

〈78〉 — Это вот как,— начал старец.— Все эти ссылки в работы, а прежде с битьем, никого не исправляют, а, главное, почти никакого преступника и не устрашают, и число преступлений *не только не уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же согласиться.* (IX, 66)

〈78〉 — Вот если бы суд принадлежал *обществу как церкви,* тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе. Теперь же церковь, не имея никакого деятельного суда, а имея лишь возможность одного нравственного осуждения, от деятельной кары преступника и сама удаляется. (IX, 66)

Кальвинизм и казни.

〈79〉 — *Иностранный преступник, говорят, редко раскаивается,* ибо самые даже современные учения утверждают его в мысли, что преступление его не есть преступление, а лишь восстание против несправедливо угнетающей силы.

1

〈79〉 — Во многих случаях, казалось бы, и у нас то же; но в том и дело, что, кроме установленных судов, есть у нас, сверх того, еще и церковь, которая *никогда не теряет общения с преступником* как с милым и все еще дорогим сыном своим, а сверх того есть и сохраняется, хотя бы даже только мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный... (IX, 67) | в виде тюремных священников

〈146—147〉 — Ничего-с. Свет создал господь бог в первый день, а солнце, луну и звезды на четвертый день. Откуда же свет-то сиял в первый день? Григорий остолбенел. Мальчик насмешливо глядел на учителя. Даже было во взгляде его что-то высокомерное. (IX, 125)

〈151〉 — Насчет подлеца повремените-с, Григорий Васильевич,— спокойно и сдержанно отразил Смердяков,— а лучше рассудите сами, что раз я попал к мучителям рода христианского в плен и требуют они от меня имя божие проклясть и от святого крещения своего отказаться, то я вполне уполномочен в том собственным рассудком, ибо никакого тут и греха не будет. (IX, 129) | !

〈153〉 — «Христианин я или не христианин», ибо я уже был самим богом совлечен моего христианства, по причине одного лишь замысла и прежде чем даже слово успел мое молвить мучителям. А коли я уже разжалован, то каким же манером и по какой справедливости станут спрашивать с меня на том свете, как с христианина, за то, что я отрекся от Христа, тогда как я за помышление только одно, еще до отречения, был уже крещения моего совлечен? Коли я уж не христианин, значит я и не могу от Христа отрекнуться, ибо не от чего тогда мне и отрекаться будет. С татарина поганого кто же станет спрашивать, Григорий Васильевич, хотя бы и в небесах, за то, что он не христианином родился, и кто же станет его за это наказывать, рассуждая, что с одного вола двух шкур не дерут. Да и сам бог вседержитель с татарина если и будет спрашивать, когда тот помрет, то, полагаю, каким-нибудь самым малым наказанием (так как нельзя же совсем не наказать его), рассудив, что ведь неповинен же он в том, если от поганых родителей поганым на свет произошел. Не может же господь бог насильно взять татарина и говорить про него, что и он был христианином? Ведь значило бы тогда, что господь вседержитель скажет сущую неправду. А разве может господь, вседержитель неба и земли, произнести ложь, хотя бы в одном только какомнибудь слове-с? (IX, 130) | !

〈157〉 — А что до того, что он там про себя надумает, то русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса, пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали, с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там... Одним словом, возмерится. А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию... то есть не Россию, а все эти пороки... а пожалуй что и Россию...

Знаешь, что я люблю? Я люблю остроумие. (IX, 133—134)

〈185〉 — Вот против этих-то братских «исповедей» и восставали *противники старчества*, говоря, что это профанация исповеди как таинства, почти кощунство, хотя тут было совсем иное. (IX, 157)

〈185〉 — Он знал тоже, что есть из братии *весьма негодующие* и на то, что, по обычаю, даже письма от родных, получаемые скитниками, при-

носились сначала к старцу, чтоб он их *распечатывал и прочитывал их прежде получателей*. Предполагалось, разумеется, что все это должно совершаться свободно и искренно, от всей души, во имя вольного смирения и спасительного назидания, *но на деле, как оказывалось, происходило иногда и весьма неискренно, а напротив выделанно и фальшиво*. (IX, 158)

〈197—198〉— Ободняв уже в монастыре, успел отметить и тайный ропот некоторых легкомысленных и несогласных на старчество братий. (IX, 168)

〈199〉 — *Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него, в существе своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались; ибо до сих пор* ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. (IX, 169)

NB

〈212〉 — Мама, вы меня убьете. *Ваш Герценштубе приедет и скажет, что не может понять*! Воды! воды! Мама, ради бога, сходите сами, поторопите Юлию, которая где-то там завязла и никогда не сможет скоро прийти! Да скорее же, мама, иначе я умру... (IX, 180)

Уже и раны будет лечить один Зосима.

〈237〉 — Три дамы сидят-с, одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная, *курсистка-с, в Петербург снова рвется, там на берегах Невы права женщины русской отыскивать*. (IX, 202)

NB

〈238—239〉— И вот так-то детки наши — то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но благородных нищих-с, правду на земле еще в девять лет от роду узнают-с. *Богатым где: те всю жизнь такой глубины не исследуют*, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с. (IX, 203)

NB

〈251—252〉— Нет, Lise, нет презрения,— твердо ответил Алеша, как будто уже приготовленный к этому вопросу,—я уже об этом сам. (IX, 215)

〈252〉 — думал, идя сюда. Рассудите, какое уж тут презрение, когда мы сами такие же, как он, когда все такие же, как он. Потому что ведь и мы такие же, не лучше.

〈261〉 — Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, *но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с*.

— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет? (IX, 223)

!

〈261〉 — Если вы желаете знать, то по разврату и тамошние, и наши все похожи. Все шельмы, но с тем, что тамошний в лакированных сапогах ходит, а наш подлец в своей нищете смердит, и ничего в этом дурного не находит. *Русский народ надо пороть-с, как правильно говорил вчера Федор Павлович*, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми-с. (IX, 223)

〈267〉 — Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? — засмеялся вдруг Иван.

— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется,— воскликнул Алеша.— Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. (IX, 228)

〈273〉 — Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет, как жалкий мираж, как гнусненькое измышление малосильного и маленького, как атом человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармонии, случится и *явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было возможно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми*,— пусть, пусть это все будет и явится, но я-то этого не принимаю. (IX, 233) NB

〈279〉 — *У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья.* У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет лошадь кнутом по глазам, «по кротким глазам». Этого кто ж не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает, в опьянении битья сечет больно, бесчисленно: «Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!» Клячонка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по «кротким глазам». Вне себя, она рванула и вывезла, и пошла вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно,— у Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь, лошадей и сам бог дал, чтоб их сечь. *Так татары нам растолковали и кнут на память подарили.* (IX, 238)

〈281〉 — Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться,— пробормотал Алеша.

— Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная...

...Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая охромела?» Докладывают ему, что, вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты,— оглядел его генерал,— взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел он в кутузке, на утро, чем свет, выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... «Гони его!»— командует генерал, «беги, беги», — кричат ему псари, мальчик бежит... «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!... Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну... что же его? Расстрелять?.. Говори, Алешка! NB NB

— Расстрелять! — тихо проговорил Алешка с бледною перекосившеюся какою-то улыбкой...

— Браво!..—завопил Иван в каком-то восторге,— уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов! (IX, 240—241)

〈282〉 — Я сказал нелепость, но...

— То-то и есть, что но...— кричал Иван.— Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле.

〈282〉 — С, по моему. по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается,— но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что все прямо и просто одно из другого выходит, и что я это знаю — мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, 〈283〉 а здесь уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо без меня если все произойдет, то будет слишком обидно... Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, господи, ибо открылись пути твои!» (IX, 242)

NB

NB

〈284〉 — Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. *Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее.* (IX, 243)

Мишле говорит то же[6]

〈290〉 — А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

— Да так и должно быть, во всех даже случаях,— опять засмеялся Иван.— Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: «все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере». (IX, 248)

Только папе? А православие?

〈293〉 — Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». (IX, 251)

〈343〉 — Тогда хоть и преследовались поединки жестоко, но была на них как бы даже мода между военными,— *до того дикие нарастают и укрепляются иногда предрассудки.* (IX, 251)

〈344〉 — Все мне вдруг снова представилось, точно вновь повторилось: стоит он передо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил как во фронте,

вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет,— *и это человек до того доведен, и* это человек бьет человека! Экое преступление! (IX, 310) NB

〈363〉 — Ибо уединение не у нас, а у них, но не видят сего. А от нас и издревле деятели народные выходили, отчего же не может их быть и теперь? (IX, 310)

〈363〉 — Наступает и в народе уединение: *начинаются кулаки и мироеды*; уже купец все больше и больше желает почестей, стремится показать себя образованным, образования не имея ни мало, а для сего гнусно пренебрегает древним обычаем и стыдится даже веры отцов.

〈364〉 — А Россию спасет господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения. Отцы и учители, берегите веру народа, и не мечта сие: поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его достоинство благолепное и истинное, сам видел, сам свидетельствовать могу, видел и удивлялся, видел, несмотря даже на смрад грехов и нищий вид народа нашего. Не раболепен он, и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды. И не мстителен, и не завистлив. (IX, 311)

〈364〉 — Но спасет бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, 〈365〉 а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братство, а раньше братства никогда не разделятся. Образ Христов храним и воссияет как драгоценный алмаз всему миру... Бу̀ди, бу̀ди! (IX, 311—312)

〈366〉 — Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет, и сроки близки. (IX, 312)

〈366〉 — Без слуг невозможно в миру, но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. (IX, 313) NB

〈367〉— «Что же нам, говорят, посадить слугу на диван да ему чай подносить?» А я тогда им в ответ: «Почему же и не так, хотя бы только иногда». Все тогда засмеялись. Вопрос их был легкомысленный, а ответ мой неясный, но мыслю, что была в нем и некая правда. (IX, 313—314) NB

〈380〉 — Из таковых, например, была даже самая эта закоренелая вражда к старчеству, как к зловредному новшеству, глубоко таившаяся в монастыре в умах еще многих иноков. (X, 9)

〈511〉 — Петр Ильич вкратце, но довольно ясно изложил ей историю дела, по крайней мере ту часть истории, которой сам сегодня был свидетелем, рассказал и о сейчашнем своем посещении Фени и сообщил известие о пестике. Все эти подробности донельзя потрясли возбужденную даму, которая вскрикивала и закрывала глаза руками... (X, 122—123)

665 — Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы... (ну черт их возьми!) есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть ви-

дишь, я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой будто бы момент, то есть не момент,— черт его дери момент,— а образ, то есть предмет али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. Это, брат, мне Михаил еще вчера объяснял, и меня точно обожгло. Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... А все-таки бога жалко! (X, 255)

〈669〉 — Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянствовал, и дрался, и бесился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтобы их усмирить, сдавить. Брат Иван не Ракитин, он таит идею. Брат Иван сфинкс, и молчит, все молчит. А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что как его нет? Что если прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу. Легко жить Ракитину: «Ты,— говорит он мне сегодня,— о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше, али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями». (X, 258—259)

〈674〉 — Ты прав,— решил Алеша,— решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам и решишь; тогда сам в себе нового человека найдешь, он и решит.

— Нового человека аль Бернара, тот и решит по-бернаровски! Потому, кажется, я и сам Бернар презренный! — горько осклабился Митя. (X, 262)

〈На форзаце:〉
Старец — 35, вражда к старчеству — 380
Нельзя вообще прежде ее смысла — 267
Нелепо, но... (нужно) 282
Свобода и хлеб 293
От нас и издревле деятели нар. выходили — 363
А Россию спасет господь — 364
Пророчество — 366

〈На оборотной стороне:〉
157, 277, 281, 344
237 Курсистка!
261 Либерализм и космополитизм Смердякова
273 Вера *Ивана Карамазова*
283,4 исповедь Ивана Карамазова (страдания и гармония)
343 в Дуэли
365 Решение соц. вопр. в России
366,7 слуга, свободный духом.
665 Мите бога жалко! 669
679 Алешу «бог послал сказать»!
Общая исповедь — 185
О старчестве — 198
№ Все такие же на его месте — 252

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Фонды Полтавского государственного литературного мемориального музея В. Г. Короленко, АI—1089-1092.

[2] «Русское богатство», 1903, № 2.

[3] Ф. Д. Батюшков. В. Г. Короленко как человек и писатель. М., «Задруга», 1922, стр. 47.

[4] «Русское богатство», 1897, № 2, стр. 11.

[5] У Короленко: 148 (очевидно описка).— Отчеркнут текст из статьи «Последние литературные явления. Газета „День“».

[6] Скорее всего Короленко имел в виду следующее высказывание Ж. Мишле: «Итак, после нескончаемых раздоров людей с природой и с людьми, пусть настанет радостное примирение! Пусть будет покончено со всякой гордыней и пусть от земли до небес раскинется Град, пристанище для всех обширное, как божье лоно!

А о себе я заявляю, что если хоть один, отверженный этим Градом, не найдет в нем приюта, то я не войду туда, а останусь на дороге» (Жюль Мишле. Народ. М., «Наука», 1965, стр. 121).

ОБЗОРЫ

ДОСТОЕВСКИЙ В ГЕРМАНИИ (1846—1921)

Обзор В. В. Дудкина и К. М. Азадовского*

I. РАННИЕ ОТКЛИКИ

Начало европейской известности Достоевского было положено в Германии. В 80-е годы XIX века, когда на литературную арену Германии выходит новое направление — натурализм, в стране пробуждается живейший интерес к русской литературе в целом, и прежде всего — к Достоевскому и Толстому.

До 80-х годов Достоевский и его творчество были не известны немецким читателям. Число прижизненных упоминаний о Достоевском, встречающихся в немецкой периодической печати, невелико, и носят они эпизодический и случайный характер. Самым первым откликом следует, по всей видимости, считать статью Фердинанда Леве в «Sankt-Petersburgische Zeitung», опубликованную анонимно в 1846 г. [1] Ее авторство подтвердил недавно немецкий русист Г. Цигенгайст в статье: «Фердинанд Леве — забытый пропагандист русской литературы» [2]. Леве сопоставляет роман Достоевского «Бедные люди» с «Вертером» Гете, считая, что отличительной чертой обоих произведений является «сентиментальность».

В последующих номерах «Sankt-Petersburgische Zeitung» печатается ряд отрывков из «Бедных людей»— первый на немецком языке перевод из Достоевского [3]. Перевод был опубликован также анонимно. Цигенгайст считает, что переводчиком был Леве [4]. Однако на этот раз Цигенгайст ошибается. Отрывки из «Бедных людей», напечатанные в «Sankt-Petersburgische Zeitung», были переведены не Леве, а В. Вольфсоном (1820—1865), одним из первых пропагандистов русской литературы в Германии, переводчиком Пушкина, Герцена и других русских авторов.

Спустя 17 лет тот же перевод Вольфсон публикует в издаваемом им журнале «Russische Revue» [5]. Уже простое сличение обоих текстов свидетельствует, что перевод, опубликованный в 1846 г., и перевод, напечатанный в 1863 г. в «Russische Revue», сделаны одним и тем же лицом. Наконец, сам Вольфсон в статье о Достоевском, напечатанной в том же номере, вспоминает: «Сразу же после публикации оригинала я перевел из него отрывок, стремясь по возможности передать языковое своеобразие автора. Я опубликовал его в одном периодическом издании, которое имело столь узкий читательский круг, что и тогда уже я рассматривал этот перевод как „напечатанную рукопись". Тем более счастливой представляется мне теперь возможность извлечь его из забвения» [6].

В то же время Вольфсон выступал не только как переводчик Достоевского. В ежегоднике «Jahrbücher für slawische Literatur...», издаваемом Я. П. Йорданом, в 1846 г. была напечатана его корреспонденция «Литературные известия из России» [7]. Вольфсон рассказывает, что в момент выхода в свет «Бедных людей» он был в Петербурге, о молодом авторе узнал от Панаева, что В. Ф. Одоевский и В. А. Соллогуб были в восторге от «Бедных людей» и утверждали, что «границы возможностей начинающего Достоевского более широки, чем у Гоголя» [8].

В следующем, 1847 г. в журнале «Magazin für die Literatur des Auslandes» появляется перевод отрывков из статьи В. Н. Майкова «Нечто о русской литературе в 1846

---

* В. В. Дудкиным написаны разделы II, III и VI; К. М. Азадовским — разделы I, V, VII; раздел IV написан совместно.

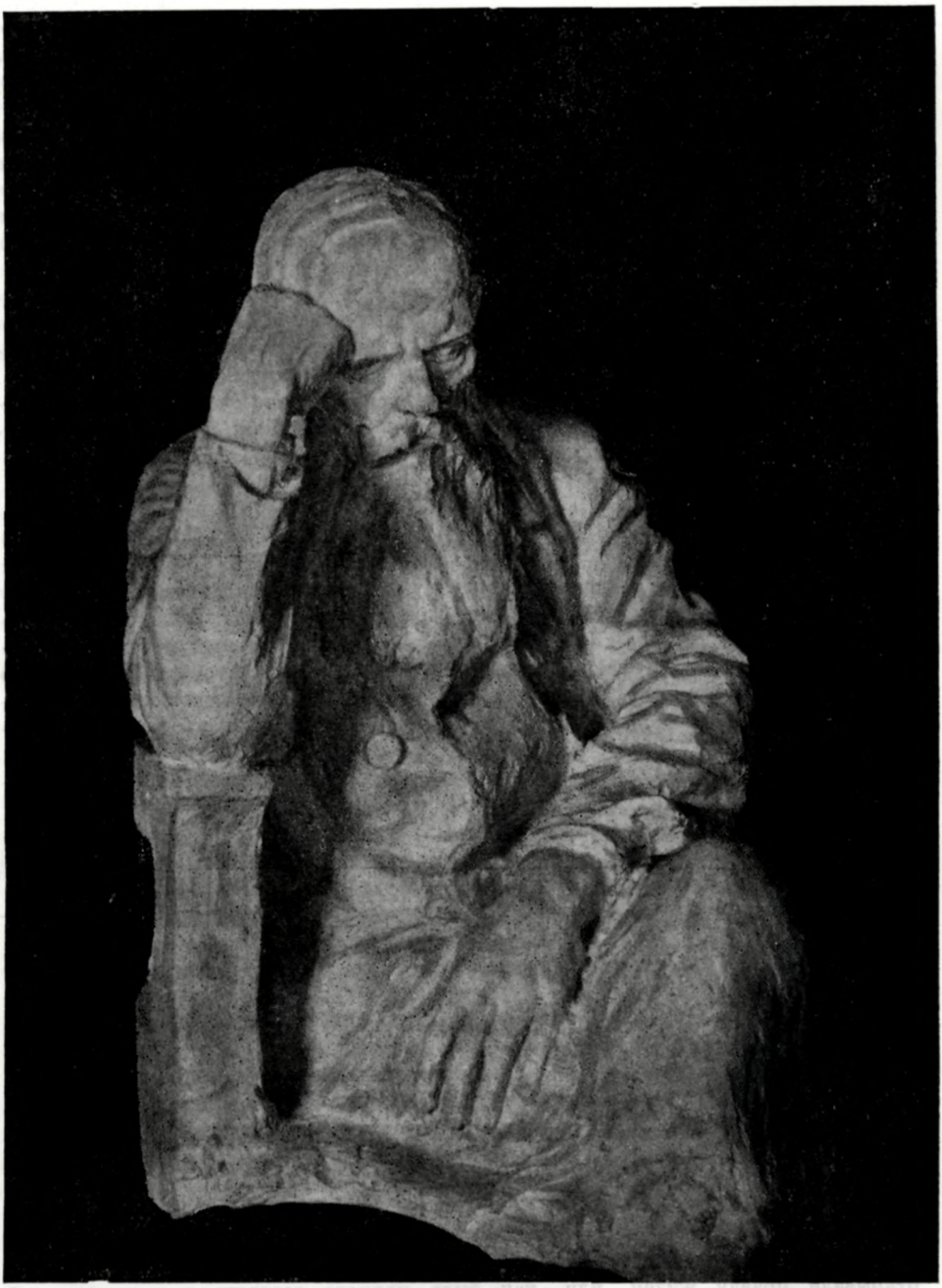
году»[9], где речь идет о «Бедных людях» и «Двойнике» и их автор сопоставляется с Гоголем. Перевод из Майкова сделан вольно, никаких отсылок к русскому оригиналу не дается. Вторая часть этой статьи, опубликованная в 59-м номере того же журнала, снабжена подписью Роберта Липперта: R. L. [10]

«Бедные люди» Достоевского упоминаются также и в небольшой заметке, озаглавленной «Русская литература 1848 года», помещенной в периодическом издании «Blätter für litterarische Unterhaltung» за 1850 г. «Исключительно интересный и написанный на редкость талантливо роман „Бедные люди",— говорится в заметке,— нашел широкого читателя. Говоря по существу, это, прежде всего,— картина нравов, достоверно и точно обрисованы уголки российской столицы и показана жизнь ее беднейших обитателей» [11]. Вольфсон продолжал следить за творчеством Достоевского. В 1863 г. в журнале «Russische Revue», который он издавал, он печатает статью под названием «Федор Достоевский и его сибирские воспоминания» [12]. Здесь же он публикует свои переводы из «Бедных людей» и «Записок из Мертвого дома» [13]. Вольфсон повторяет в статье, что первые впечатления о романе «Бедные люди» он получил в доме князя Одоевского [14]. В основных своих положениях статья Вольфсона также совпадает с оценками Белинского.

В 1864 г. лейпцигский издатель Вольфганг Герхард предпринимает первое на немецком языке издание Достоевского. Он печатает «Записки из Мертвого дома» [15]. Почти весь тираж этого издания пошел на макулатуру (продано было только 150 экземпляров). Единственным откликом на это издание была рецензия в ежемесячнике «Baltische Monatsschrift», опубликованная под рубрикой «Корреспонденция из С.-Петербурга». Ее автором был Виктор Хен. Оценивая роман Достоевского как «основательное психологическое исследование» [16], рецензент все же не склонен воздать ему должное. «Это бесстрастное изображение ужаснейших картин — явление, крайне непривлекательное в истории русской литературы»,— обобщает Хен [17]. По его мнению, чисто эстетическое наслаждение от этого произведения весьма ограничено, поскольку «все описано до ужаса обнаженно», зато «психологический и криминалистический интерес», напротив, крайне велик [18]. Хен сопоставляет «Записки из Мертвого дома» с «Последним днем приговоренного к смертной казни» В. Гюго.

В 1867 г. в журнале «Magazin für die Literatur» появляется статья «Новые произведения русской литературы», в которой дается характеристика романа «Преступление и наказание». Анонимный автор статьи убежден в том, что «этот роман невозможно причислить к тем произведениям современного периода, которые останутся надолго». Сожалея, что Достоевский «полностью принадлежит к реалистической школе» и «что в его романах отсутствует возвышенное идеальное изображение жизни», он считает, что «в целом фантастический образ его героя полон несуразностей и искусственно подобранных черт» [19]. Рецензент явно не понял романа Достоевского, как, впрочем, и остальные критики донатуралистической поры, обошедшие его полным молчанием. Позицию критиков разделяли в этот период и ученые, авторы монографических трудов по русской культуре, которые либо вообще не упоминают о Достоевском, либо уделяют ему несколько общих фраз — поверхностных, неглубоких характеристик [20].

К 80-м годам учащаются отклики на произведения Достоевского в немецкой периодике, издававшейся в России («St.-Petersburgische Zeitung», «St.-Petersburger Herold», «Moskauer Zeitung»). В октябре 1880 г. в «St.-Petersburgische Zeitung» был помещен отчет о Пушкинских торжествах. Это рассказ очевидца о том глубоком впечатлении, которое оставило у всех присутствующих выступление Достоевского [21]. Несколько позже в приложении к этой газете была опубликована рецензия на «Братьев Карамазовых», приуроченная к завершению публикации романа в «Русском вестнике». Судя по инициалам — М. А., стоящим под рецензией, ее автором был, скорее всего, Алексис Марков [22] — позднее первый переводчик «Записок из подполья» на немецкий язык (1895) [23]. Рецензент характеризует «Братьев Карамазовых» как произведение «в высшей степени странное». Критик с сожалением отмечает, что «озаренный светом талант» автора «Униженных и оскорбленных», «Записок из Мертвого дома» и «Преступления и наказания» все глубже погружается в «дебри мистицизма». И хотя действие в «Братьях Карамазовых» вызывает «напряженный интерес», хотя



ДОСТОЕВСКИЙ

Скульптура (гипс) В. Ф. Флшера, 1911

Фотография

Местонахождение оригинала неизвестно

в характеристике главных геров угадываются «черты мастерства», но все же по прочтении романа «пропадает желание знакомиться с новыми произведениями писателя, если таковые появятся» [24].

В 1881 г., после смерти Достоевского, «St.-Petersburgische Zeitung» публикует с согласия вдовы писателя его повесть «Маленький герой» в переводе А. Рейнгольда [25]. В следующем году в фельетоне газеты печатается в переводе К. Юргенса роман «Униженные и оскорбленные» [26], относящийся, по мнению редакции, к «самым значительным произведениям писателя» [27]. Перевод романа «Униженные и оскорбленные» был отмечен в немецкой критике и признан «превосходным» [28]. Позже он был издан в Германии с предисловием переводчика [29].

Следует также упомянуть рецензию на одну из книг по русской литературе, напечатанную в журнале «Das Magazin für die Literatur» за 1882 г. Ее автор М. Линген пишет следующее о Достоевском: «У недавно скончавшегося прославленного и поруганного романиста Достоевского мало шансов приобрести известность в Германии. Его многочисленные произведения, особенно последнего периода (например, странный, изобилующий патологическими описаниями роман „Братья Карамазовы“, опубликованный в „Русском вестнике“) едва ли будут поняты и одобрены» [30].

II. ПЕРИОД НАТУРАЛИЗМА

В 1882 г. в Германии начинается «литературная революция». Сигналом к ее началу послужили «Критические походы» братьев Харт. В этот же год появляется «Раскольников»— немецкий перевод «Преступления и наказания», ставший событием в литературной жизни и пробудивший к творчеству Достоевского всеобщий интерес. Это знаменательное совпадение. И не случайное, ибо восприятие Достоевского в Германии было прямо связано со становлением нового направления в немецкой литературе — натурализма.

«Критические походы»— шесть сборников статей, выходивших с 1882 по 1886 гг.,— «произвели ужасный, адский, но очень благотворный шум» [31]. Этот шум был вызван резкой критикой, с которой Генрих и Юлиус Харт обрушились на псевдоклассическую эпигонскую и «тривиальную» литературу. Констатируя застой в немецкой литературе тех лет, они видят его причину в отрешенности искусства от значительных проблем современности. Поэтому братья Харт призывают к сближению литературы с реальной жизнью.

Их призыв не был гласом вопиющего, поскольку молодое литературное поколение Германии уже сознавало, что «развитие литературы, не опирающееся на политическую и социальную борьбу, на политические и социальные силы своего века, больше немыслимо» [32]. У пионеров нового направления появляются многочисленные сторонники, которые называют себя представителями литературы, обращенной к современности (die Moderne). По их убеждению, «для художника есть только одна эпоха — современность» [33]. Поэтому в многочисленных литературных манифестах и декларациях 80—90-х годов «самой главной и насущной задачей» провозглашается «освоение важнейших проблем современности» [34], и «в первую очередь, социальных и политических конфликтов эпохи» [35].

Девизом натуралистов становится бескомпромиссная и беспощадная правдивость в изображении современной действительности. В творчестве русских писателей они открывали правду жизни, или, как было принято говорить в натуралистической критике, «запах земли» [36]. Австрийский журнал «Die Zeit», самым тесным образом связанный с натурализмом, подчеркивал у русских авторов «подлинно реалистический способ отображения действительности» [37]. В их произведениях, по мнению критики, воплощены «проблемы социальной действительности, подлинно современные конфликты индивида и общества, сковывающего духовное развитие рамками традиций и условностей» [38].

Немецкий натурализм был детищем эпохи, отмеченной значительными социальными сдвигами, резким обострением классовых противоречий. «Мы живем в эпоху

острой социальной борьбы... — заявляет Э. Штейгер, один из авторитетных натуралистических критиков.— Потрясения, подорвавшие основы современных государств, отозвались эхом в укромных мансардах поэтов. И никому от них не укрыться» [39].

Действительность менялась буквально на глазах, и натуралисты чувствовали ее неустойчивость, переходный характер эпохи. Уже первое выступление Г. Харта проникнуто ощущением перемен, что нашло свое выражение в самом названии статьи — «Новый мир» (1878). «Мы живем сейчас в переходное время» [40],— замечает один из наиболее влиятельных критиков той поры Лео Берг. Эта мысль становится лейтмотивом натуралистической критики. «Разрыв между современностью, оцениваемой в нравственном аспекте, и предыдущей эпохой,— сказано в одном из манифестов натурализма,— значительней и глубже, чем это было ранее в переломные моменты развития человечества» [41]. «Мир обновился»,— резюмирует известный австрийский писатель Герман Бар. Но вместе с ним «обновился и человек» [42].

Можно ли согласиться с Баром, будто во второй половине XIX в. вдруг «изменился мир», а с ним — и человек? Отчасти можно. Дело заключается в том, что именно в этот исторический отрезок времени окончательно определилась та духовная ситуация, которая сложилась на буржуазном Западе к периоду его вступления в империализм. Эта ситуация была в высшей степени кризисной. Человек буржуазного общества наконец отчетливо увидел, что его богатые возможности как бы отъединились друг от друга. Он осознал утрату внутренней целостности. Причины же этого явления, лежащие в капиталистическом способе производства, были неясны рядовому представителю западноевропейского общества той поры. И потому начинаются поиски путей, ведущих к утраченной гармонии. Существовавшие ранее кумиры (от просветительского идеала «разума» до христианского идеала «добра») рушатся один за другим. Перед лицом неведомых ему законов, управляющих миром, буржуазный человек постепенно отворачивается от разума и начинает свое (продолжающееся и поныне!) нисхождение в глубины иррационального. Это сопровождается отказом от социального решения проблемы «человек». Повсеместно утверждаются (особенно в Германии, где уже в начале 80-х годов распространяется влияние Ницше) субъективизм и индивидуализм. Ощущение внутренней дисгармонии было свойственно отдельным людям и отдельным направлениям культуры уже в начале XIX в. (немецкие романтики), но к концу столетия оно становится массовым. И потому критики-натуралисты исходят именно из того, что отличительной чертой современного человека является дисгармония, внутренняя раздвоенность.

«Сущность человеческой души состоит, очевидно, в известной сломленности и раздвоенности, в дисгармонии внутренней жизни с внешним миром» [43] — такова характеристика западноевропейского человека конца XIX в., принадлежащая Х. Лоренцу, видному критику того времени. Берг считает, что главным признаком современного человека является трагическая несовместимость его «желаний и возможностей» [44]. В современном мире, констатируют критики, человек осознает бесплодность всех своих устремлений. Это парализует его волю, и он предается тоске. «В этой тоске выражается дух, разрушающий все в себе кислотой рассудка, давно утративший веру в самого себя, дух, выслеживающий самого себя, утративший способность серьезного отношения к себе, научившийся высмеивать себя...» [45]

Наряду с понятием «переходная эпоха» в немецкой критике 80—90-х годов появляется его коррелят —«переходный человек» [46]. Новизна этого человека, как представляется теоретикам нового искусства,— в его сложности, дифференцированности. Разумеется, источником такого мнения была не столько изменившаяся природа человека, сколько уже проявившая себя разобщенность его внутренних сил. «Современный человек,— пишет Берг,— больше чувствует, его жизнь, мир его мыслей и переживаний стали более дифференцированными». И далее: «У нас больше проблем, чем у людей прошлых времен...» [47]

Чрезвычайно важно, что, указывая на сложность, противоречивость и дисгармонию как на основные черты своего современника, натуралисты еще продолжают рассматривать его как существо социальное. Более того, именно в общественных условиях пытаются они найти истоки той двойственности и надломленности, которые

свойственны современному человеку. Этот взгляд подробно обосновывается на страницах ведущего журнала немецких натуралистов «Freie Bühne». «Современный индивид»— это человек, «стремящийся к утверждению собственного „я“ и потому, вступая в ощутимый конфликт с обществом, он ведет ожесточенную борьбу за свою свободу» [48]. В статье Ю. Харта с характерным заголовком «Социальная лирика» утверждается, что поэзия должна быть социальной, что она должна «воплощать мысли и чувства человека, возникающие в нем, когда он рассматривает себя в своей зависимости от общества» [49]. Современная поэзия — и в этом ее особенность — обязана «подчинять социальному все мысли и чувства, изображать эмоции в их преломлении через мировоззрение» [50]. Впрочем, как известно, натуралисты, особенно «последовательные», лишили понятие «общество» его исторического и классового содержания, измельчив его до понятия «среда».

Избрав своим героем современника — изменившегося человека в изменившемся мире — немецкие натуралисты оказались перед другой не менее важной проблемой. Ведь изменения, происшедшие с человеком, сказались прежде всего в его психическом облике. И проблема состояла в том, чтобы изыскать новые средства психологического анализа. Теоретик натурализма О. Вольф рассматривает ее как «специфически натуралистическую проблему» [51]. С точки зрения Берга, «новое искусство — не что иное, как изыскание новой психологии, более глубокого и точного объяснения души» [52].

«Старая психология» объявляется несостоятельной, а ее приверженцам ставится в упрек то, что они «не считаются с человеком, а имеют перед собой некую идеальную конструкцию. Они забывают, что человек существо несовершенное и несет в себе не только любовь, не только естественность, не только истину» [53].

Принцип «новой психологии», как его формулирует Харден, состоит в том, чтобы «отказаться от упрощенного характера, который строится на доминанте одной черты, и на его место поставить подлинного человека во всей сложности и многообразии его психики» [54].

Мысль о несовершенстве человеческой природы была, разумеется, порождена несовершенной действительностью — действительностью капиталистической, которую они воспринимали критически. Впрочем, сами натуралисты видели источник этого несовершенства в другом. Человек представлял собою для натуралистов «не только любовь, не только естественность, не только истину», но и комплекс инстинктов. И потому они стремились проникнуть в область подсознательного, куда их, в частности, вели биологические законы, недавно открытые Дарвином, Геккелем, К. Бернаром. Иррациональные темные стороны человеческой души натуралисты объясняли через физиологию, чаще всего — наследственностью. Человек детерминирован биологическими законами, отсюда, по мнению натуралистов, его способность совершать неожиданные неизъяснимые поступки. Игнорируя общественную природу человеческого мышления и психики, натуралисты подменяли объективное субъективным, социальное — патологическим. В результате героем натуралистов становится человек, изуродованный средой и отягченный наследственностью, искаженная болезненная натура. С этой точки зрения повышенное внимание натуралистов к париям и изгоям общества, к людям преступного мира представляется вполне закономерным.

Установка на правдивое изображение современности порождает в немецком натурализме стремление к ее всестороннему охвату. На смену лирике приходит роман. О необходимости создания современного немецкого романа большого стиля заявлял со страниц журнала «Die Gesellschaft» Г. Бар [55]. Этот жанр был подсказан богатейшим опытом европейского критического реализма, прежде всего творчеством Бальзака и Золя, Толстого и Достоевского, наиболее популярных среди натуралистов писателей, романы которых дают образцы глубокого и целостного отражения действительности. Таким же братья Харт мыслят себе и современный немецкий роман, который «должен стать всеобъемлющей картиной мира, реалистической и захватывающей» [56]. «Важнейшим жанром реализма является социальный роман»,— заявляет один из теоретиков натурализма Карл Блайбтрой в своем программном сочинении «Революция в литературе» [57], весьма популярном в ту пору.

Создавая современный роман, натуралисты лишь в незначительной степени могли использовать опыт немецкого критического реализма, который развивался «в стороне от проблем современности» [58]. Как известно, немецкий роман второй половины XIX в. еще только приближался к решению больших задач. Натуралисты обращаются к иностранным писателям, и это не вызывает удивления. По укоренившемуся в Германии мнению, у «Золя, Ибсена, Толстого и Достоевского была более тесная связь с их современностью, чем у натуралистов — со своей» [59].

Восприятие Достоевского в Германии было, таким образом, подготовлено самой спецификой литературного развития 80—90-х годов. И не случайно появление «Раскольникова» расценивалось как «событие, которое нельзя вычеркнуть из истории „юной Германии“» [60] (т. е. из истории натурализма).

Честь представить Достоевского немецкому читателю выпала на долю Вильгельма Генкеля (1825—1910). Перевод «Преступления и наказания»—«Раскольников», выполненный Генкелем, был признан лучшим и до конца века переиздавался четыре раза (1886, 1889, 1890, 1894).

Генкель был теснейшим образом связан с Россией, где он прожил большую часть своей жизни и, участвуя в издании ряда журналов, зарекомендовал себя как либерально настроенный литератор и издатель [61]. В 1878 г. Генкель возвращается в Германию, где всецело посвящает себя делу пропаганды русской литературы. Свою переводческую и издательскую деятельность он начинает с Достоевского, которого, как свидетельствует С. Ф. Либрович, он «ценил выше других» [62]. Факты подтверждают справедливость этого свидетельства. Во-первых, Генкель пошел на риск, издав в 1882 г. «Раскольникова» на собственные средства. Во-вторых, он пытался популяризировать русского писателя не только в Германии, но и во Франции. Накануне появления «Раскольникова» Генкель публикует статью, в которой рекомендует Достоевского как писателя, постоянно стремившегося к «идеальным целям, а высшим его идеалом был гуманизм» [63]. Взгляды Генкеля на Достоевского нашли отражение и в его более поздней статье (1888). Это, собственно, не статья, а рецензия на французскую инсценировку «Преступления и наказания» в театре «Одеон»; она написана в тоне протеста против профанации «возвышенного творения гениального писателя» [64].

Поначалу трехтомному немецкому изданию «Преступления и наказания» угрожала печальная участь «Записок из Мертвого дома», тираж которых был пущен на макулатуру. Свидетельствует издатель романа В. Фридрих: «Первый тираж в 1000 экземпляров не находил спроса. За довольно продолжительный срок было продано лишь около ста экземпляров. Тогда я разослал свыше сотни экземпляров выдающимся писателям и просил их по прочтении книги сообщить свое мнение о ней. Я получил массу восторженных отзывов, в частности от Гейзе, Фрейтага и многих других. Эти отзывы я опубликовал в проспекте, который стал затем усиленно распространяться» [65].

Среди «других», кто высоко оценил роман великого русского писателя, были поэт и переводчик русской поэзии Ф. Боденштедт и видный представитель критического реализма К. Ф. Мейер. Но особенно сильное впечатление Достоевский произвел, естественно, на натуралистов. Г. Гауптман в автобиографической книге вспоминает: «Я глубоко воспринял русских писателей, сначала Тургенева, потом Толстого, наконец, Достоевского, и Достоевский навсегда остался для меня самым большим, потрясающим переживанием» [66]. Т. Манн, непосредственно не примыкавший к натурализму, но генетически с ним связанный, в одном из писем признался в том, что и он, «будучи молодым человеком», испытал на себе «громадное влияние, которое оказал Достоевский на всю Европу» [67]. Г. Бар рассказывает о сильнейшем впечатлении, которое произвел на него и его товарищей (А. Хольца, В. Хейне и др.) «Раскольников» [68].

Столь восторженное восприятие Достоевского объясняется тем, что натуралисты увидели в нем писателя, который мог и должен был стать их союзником в борьбе за новое искусство. Критика заостряет внимание на реализме русского писателя. Например, Блайбтрой относит Достоевского (наряду с Ибсеном и Золя) к «левому крылу передового реализма» [69]. Критики не скрывали, что им в первую очередь импонирует

«социальная направленность, свойственная всему русскому натурализму и Достоевскому в особенности» [70].

«Важным документом современной истории» [71] назвал «Раскольникова» Ойген Цабель (1850—1903) — один из авторитетных немецких знатоков русской литературы, автор многочисленных статей и монографий о культуре России. Достоевскому Цабель посвятил ряд статей и отдельные главы в своих книгах. Он уделяет большое внимание биографии писателя: судьба Достоевского представляется ему показательной для общественной жизни России того времени. «Как никто другой,— замечает Цабель,— испытал он на себе противоречия русской действительности» [72]. Противоречия же, по мнению критика, были вызваны тем, что «обветшалая политическая система стремилась насильственным путем подавить пробуждающиеся свободолюбивые устремления» [73]. И потому «Преступление и наказание» для Цабеля в первую очередь — социальный роман. «В обличительной литературе,— констатирует Цабель,— которая возникает в России в конце 50-х годов, роман „Преступление и наказание" занимает одно из самых почетных мест» [74].

Наряду с этим Достоевский был представлен немецкому читателю как выдающийся гуманист. Уже Генкель подчеркивал, что сила Достоевского в «глубоком и искреннем гуманном чувстве, которое с такой мощью не проявляется, пожалуй, ни у кого из его собратьев по перу» [75]. Он называет Достоевского «неутомимым адвокатом бедных и гонимых» [76]. По мнению М. Неккера, критика и историка литературы, главное достоинство писателя заключается в «сильном этическом начале, высоком нравственном пафосе, нерушимой вере в идеал добра» [77].

Однако самые восторженные отзывы выпали на долю Достоевского-психолога. Известный писатель П. Хейзе, прочитав «Раскольникова», был поражен «такой психологической глубиной и силой, которая встречается редко даже у соотечественников писателя» [78]. К. Ф. Мейер заявлял в одном из писем: «„Преступление и наказание" Достоевского в высшей степени заслуживает внимания; это болезненный шедевр (все же неизмеримо превосходящий Золя), из которого здоровый человек может бесконечно много почерпнуть, особенно в изучении анатомии души» [79]. Генкель решительно утверждает, что «в этой области у него нет соперников» [80]. Историк литературы и критик тех лет Т. Циглер, касаясь вопроса об иностранных влияниях на немецкий натурализм, подчеркивал, что из русских писателей вызвал необычайный интерес Достоевский «тонкостью психологического анализа» [81].

Социальный конфликт, перенесенный в душу одного отдельного человека и представленный со всеми психологическими подробностями,— это было, в частности, то, что искали натуралисты и чего они требовали от современной литературы. «Задача современного реализма,— отмечал Г. Харт,— состоит в том, чтобы раскрывать сокровенные тайны человеческого характера, прослеживать каждый поступок, каждую мысль вплоть до ее истоков и импульсов» [82]. Литератор Оскар Би на страницах «Freie Bühne» называл роман Достоевского «жемчужиной мировой литературы» именно за то, что «мучительная борьба противоречий происходит внутри человека, в его собственной душе» [83].

Взгляд на Достоевского как на реалиста-психолога единодушно разделяли как критики-натуралисты, так и критики эпохи натурализма (понятия отнюдь не тождественные, хотя и близкие: многие исследователи, непосредственно не связанные с натурализмом, руководствовались в своей деятельности наиболее передовыми принципами, которые определились в искусстве критического реализма и остались актуальными в 80—90-е годы). Среди них следует в первую очередь назвать Александра Александровича Рейнгольда (1856—1902), в работах которого этот взгляд нашел свое законченное выражение. В Германии его считали немецким критиком, потому что он писал по-немецки, хотя в предисловии к своей «Истории русской литературы», адресованном немецким читателям, критик подчеркивал, что он —«сын России» [84]. В Германии была хорошо известна его статья «Ф. М. Достоевский», опубликованная в журнале «Baltische Monatsschrift» в 1882 г. [85] В 1885 г. «Das Magazin...» печатает его обширную работу «Критические фантазии о русских беллетристах» [86]; тогда же отдельными выпусками начинает выходить его «История русской литературы от ее

истоков до новейшего времени» — первая монография о русской литературе на немецком языке. Как утверждает Э. Хаусведель, эта книга «считалась до конца века самым популярным и самым лучшим» справочником по русской литературе [87]. О ней с похвалой отзываются немецкие писатели-натуралисты.

Опираясь на идеи передовых русских мыслителей (Герцена, Белинского, Чернышевского), Рейнгольд выдвигает на первый план социальную сторону творчества Достоевского. Критик полагает, что в первом периоде (от «Бедных людей» до «Униженных и оскорбленных») у Достоевского преобладает гуманистическая тенденция, которая выражается главным образом в социальном сострадании. Затем писатель вступает на путь «социального реализма» («Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание») [88]. Реализм Достоевского для Рейнгольда не только «социальный», но и «психологический». Точка зрения Рейнгольда дана в суммарном виде в его классической формулировке, классической потому, что она «стала почти крылатым выражением среди натуралистов и постоянно цитировалась» [89]. «Главная черта реализма Достоевского,— пишет Рейнгольд,— состоит в том, что благодаря его „ясновидческому" таланту (особенно в „Преступлении и наказании") мы проникаем в лабораторию человеческого мозга и со всей точностью можем проследить, как эмбрион мысли отдельного человека самопроизвольно разрастается в целый идейный комплекс, который в итоге оборачивается социальной болезнью — болезнью неумолимо прогрессирующей» [90].

В немецкой критике этого времени Достоевский пользуется репутацией «самого правдивого летописца своих современников» [91]. При этом «правдивость» Достоевского была для критиков синонимом психологической правдивости. В итоге главным объектом внимания с их стороны становится носитель этой «психологической правдивости», т. е. герой.

Герой Достоевского — вот тот фокус, в котором сходятся все линии его восприятия в Германии 80—90-х годов. Именно его герой был воспринят как откровение современного человека (поиски которого определяли существо немецкого натурализма). Достоевский,— писал Э. Штейгер,—«открыл новую душу, а может быть целый мир новых душ?» [92] Имя Раскольникова постоянно появляется в натуралистической критике. Оно присутствует именно там, где затрагиваются проблемы современной личности. Натуралисты увидели в нем, великом грешнике и изгое, героя своего времени.

В этом смысле весьма показательна статья Германа Конради, талантливого писателя-натуралиста, одного из наиболее радикальных сторонников нового литературного движения. В его статье, озаглавленной «Достоевский», намечены главные линии восприятия Достоевского, которые в основном сводятся к одному центру — герою. Реализм Достоевского Конради усматривает в том, что писатель изображает «не идеальных людей, а людей маленьких — сломленных, запуганных, свихнувшихся, трусливых, злых, ожесточенных...» [93] Герой Достоевского, по Конради,—это реальный человек, живущий в бедности и нужде. В нем нет ни фальши, ни условности. Будучи продуктом определенных условий, он предстает прежде всего как «индивид, который ⟨...⟩вступает в противоречие с самим собой» [94]. Такие люди, согласно Конради, встречаются не только в низших сословиях. «А разве в „лучших" сословиях мы найдем только „цельного", только „гармонического" человека?» — восклицает Конради и продолжает: «Не являемся ли все мы карикатурами в зеркале „идеала"? ⟨...⟩ Русские писатели,— обобщает Конради,— обладают мужеством видеть ⟨...⟩ Мы же только учимся видеть» [95]. Аналогичным образом завершает Конради и рассуждение по поводу психологического мастерства русского писателя: «Мы, немцы, еще только учимся быть психологами....» [96] Конради подчеркнул демократизм Достоевского и русской литературы XIX в. в целом. «Толстой и Достоевский шли к народу, к пролетариату, к крестьянству» [97]. Статья Конради — убедительный пример того, насколько актуальным, современным был Достоевский для немецких натуралистов.

Итак, Раскольников привлекает немецкую критику своей подлинностью и в то же время неповторимым индивидуальным своеобразием, противоречиями своего внутреннего мира, порожденными сложными взаимоотношениями с обществом. Не слу-

чайно имя героя стало в немецком переводе названием всего романа. Образу Раскольникова роман «Преступление и наказание» обязан необычайным успехом. Только за двенадцать лет роман выдержал семь изданий (1882, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1894). Можно утверждать, что 1882 год был не только годом первого знакомства Германии с Достоевским, но и переломным моментом в восприятии русской литературы в целом. «С этого момента, собственно говоря, и начинается повальное увлечение русскими писателями, появляется желание их переводить» [98]. После «Раскольникова» в Германии «стали вплотную и систематически заниматься замечательными явлениями русской литературы серьезнее, чем это делалось раньше» [99]. Эти свидетельства подтверждает и Теодорих Кампман, автор книги «Достоевский в Германии»— единственной до настоящего времени монографии по исследуемому вопросу. Он утверждает, что «„Раскольников" считается самым значительным произведением Достоевского *вплоть до конца 90-х годов, а отчасти и значительно позже*» [100].

Появление «Раскольникова» вызвало не только восторженные отклики. На протяжении всего периода натурализма встречаются попытки дискредитировать роман. «Кто знает русскую действительность,— заявляет, например, один из критиков,— тому станет ясно, что едва ли найдется более односторонняя книга, чем „Преступление и наказание"» [101]. В чем же проявляется эта односторонность? Оказывается, «темные стороны русской жизни автор выдает за саму действительность» [102]. Неприятие гениального произведения идет вплоть до низведения его до уровня уголовного романа. Так поступает Ф. Зандфос. Он заявляет, что «стремление к правде» не мешает Достоевскому оставаться «необычайно рафинированным изготовителем уголовных романов, ориентирующимся на инстинкты ⟨...⟩ жадного до сенсаций читательского плебса» [103].

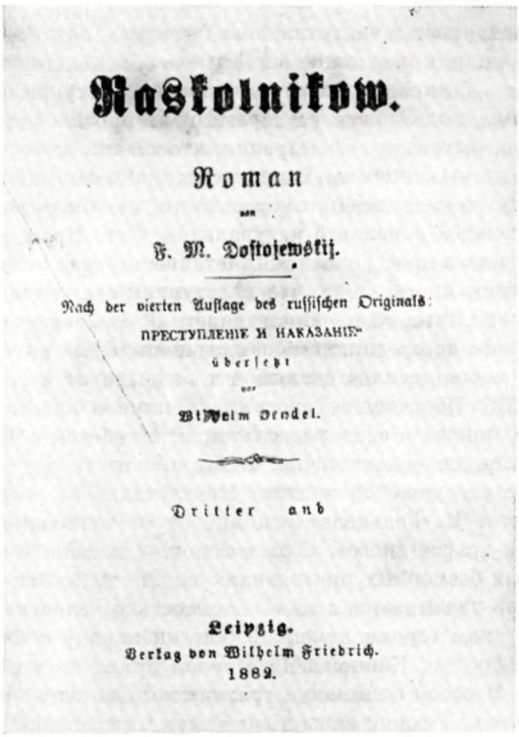
Более проницательные критики этого времени неоднократно подчеркивали, что роман Достоевского не имеет ничего общего с обычными уголовными романами. Одним из первых эту точку зрения высказал Георг Брандес.

Знаменитый датский критик и историк литературы был тесно связан с молодым литературным поколением Германии. Живя с 1877 г. в Берлине, Брандес находился в самой гуще литературной жизни, участвовал вместе с братьями Харт, М. Конрадом и др. в создании популярной серии брошюр о современной литературе, основанной Л. Бергом. В этой серии вышла работа Брандеса «Достоевский» (1889), которая представляет собой развернутый вариант ранней рецензии на «Раскольникова», написанной им по-немецки и опубликованной в газете «Neue Frankfurter Presse» (1883). Эта статья, как свидетельствует Кампман, «сохранила влияние в критике вплоть до наших дней, а в эпоху натурализма она была наиболее авторитетной» [104].

Рассматривая роман «Преступление и наказание» как «всестороннюю картину общества» [105], Брандес выделяет на первый план его социально-критическое содержание. Он сочувственно отзывается о демократических симпатиях русского писателя, называя его «Уильберфорсом ⟨...⟩ париев» [106]. Брандес, а вслед за ним и немецкие рецензенты романа, расценивают преступление, совершенное Раскольниковым, как общественную акцию. По мнению Брандеса, Раскольникова толкнули на убийство нищета и унизительное положение. Исходя из этого немецкие критики разрешают парадокс «благородного и самоотверженного человека, который стремится к добру, но творит зло» [107]. Рейнгольд склонен рассматривать поступок Раскольникова как акт социальной справедливости и оправдать его тем, что тот стремился «помочь всем угнетенным, за счет которых паразитирует старая ростовщица» [108]. В немецкой критике в целом приемлется точка зрения Брандеса, который считал, что преступление Раскольникова не уголовное дело, а политическое убийство (с той лишь разницей, что политические террористы, по мнению датского критика, были уверены в своей правоте и потому не знали колебаний) [109].

Споры немецких критиков идут и вокруг «теории» Раскольникова. Некоторые, как, например, Цабель, истолковывают ее так: «исключительные личности вправе, преследуя добрую цель, переступить через закон» [110]. Иные же не усматривают в ней «доброй цели» и отвергают ее как «порочную» [111]. Мнения критиков расходятся и в попытках объяснить генезис «теории»: одни указывают на ее социальные корни, другие, следуя за Брандесом, ищут ее обоснования в психологии Рас-

«РАСКОЛЬНИКОВ»
Титульный лист немецкого издания романа «Преступление и наказание»
(Лейпциг, 1882)


Raskolnikow.

Roman

von

F. M. Dostojewskij.

Nach der vierten Auflage des russischen Originals:
ПРЕСТУПЛЕНІЕ И НАКАЗАНІЕ.
übersetzt
von
Wilhelm Drendel.

Dritter Band

Leipzig.
Verlag von Wilhelm Friedrich.
1882.

кольникова, который часто «холоден и бесчувственен до бесчеловечности» [112]. Однако в обоих случаях подход к проблеме натуралистический.

Говоря о Раскольникове, критики не обошли молчанием и столь очевидные противоречия его натуры, которые являются, по убеждению натуралистов, отличительной чертой современного человека. Брандес подчеркивает, что Раскольников «убил предрассудок», но «остался по сю сторону пропасти»[113]. Раскольников совершил убийство, но, как отмечает Конради, «все его существо возмущается против этого поступка». Иными словами, обобщает писатель, герой Достоевского — «искаженная натура»[114].

И здесь перед критикой встает вопрос: нравственна ли в конечном итоге эта «искаженная натура»? Ответ дается положительный. Внутренние терзания Раскольникова, его единоборство с самим собой реабилитируют его. Муки совести, единодушно считает критика,— высший критерий нравственности для современного человека. Раскольников наказан «все возрастающими муками от сознания собственной вины» (Рейнгольд)[115]. Как полагает Блайбтрой, «Раскольников» — «это в первую очередь роман совести и только совести. Нигде мировая проблема, занимающая центральное место в судьбах человечества со времени Адама и Евы, всемогущая власть 〈...〉 бога, которого мы называем „совестью“, не находила такого исчерпывающего решения, нигде, за исключением немногих произведений Байрона и Шекспира...» [116]. Раскольников очищает себя нравственно не столько наказанием, сколько раскаянием, к которому ведет его, по мнению Генкеля, «сила чистой любви» [117]. Оправдывает Раскольникова и Цабель: «Чтобы нравственно возвысить своего героя, невзирая на его преступление, Достоевский поставил рядом с ним помещика Свидригайлова, низкого сладострастника и своекорыстного убийцу» [118].

Однако эта реабилитация вовсе не означает, что немецкая критика стремится сделать из Раскольникова идеального героя. Она принимает его именно как «искаженную» натуру, как человека, индивидуализм которого находится в противоречии с его нравственным сознанием, как личность с «современной» психикой. В этом смысле отношение натуралистов к Раскольникову было двойственным. Натуралисты не идеализировали

преступность: напротив, она была для них бесспорным социальным злом. Никто из немецких критиков не оправдывает Раскольникова как человека, совершившего убийство — безнравственный, аморальный поступок. С другой стороны, в немецком натурализме, выделявшем на первый план противоречивость и «разорванность» нового человека, бытовала точка зрения, что именно преступник наиболее полно воплощает современную личность. В преступлении человек как бы являет себя во всей своей полноте, во всей своей разноречивости, как бы выходит из рамок заурядного бытия. Один из вождей немецкого натурализма, Отто Брам, в статье, красноречиво озаглавленной «Поэзия и преступление», отчетливо выразил это мнение. Возражая критикам, протестовавшим против того, что преступник стал едва ли не центральной фигурой в современной литературе, Брам пишет: «Разве вся мировая литература от Эсхила до Достоевского не предпринимала одну попытку за другой, стремясь отыскать человека там, где через насильственный акт он выходит из состояния индивидуальной ограниченности?» Перечисляя героев-преступников классической литературы, Брам ставит Раскольникова в один ряд с Эдипом, Макбетом и Карлом Моором. «Целая галерея преступников — достаточно, чтобы вызвать гнев у эстетствующих судей!» [119] — завершает свое рассуждение критик. Не случайно видный философ немецкой психологической школы И. Фолькельт вспоминает о Раскольникове в своей известной книге «Эстетика трагического». «Трагическое,— сказано у Фолькельта,— кроется главным образом в безмерных притязаниях индивида...» Эти притязания расцениваются как вина, а она увязывается с «обособленностью» человека, с его одиночеством [120]. К таким трагическим героям немецкий эстетик наряду с Фаустом (первой части трагедии Гете), Манфредом, Каином и К. Моором причисляет и Раскольникова.

В своем понимании трагического писатель-натуралист Карл Гауптман также исходит из «теории вины и возмездия, искупления». Правда, трагическую вину он ищет не в «противозаконном или безнравственном поступке», а в темпераменте человека, в непреодолимой силе инстинкта или же в человеческих слабостях. Так, приводя в пример Мармеладова из «Преступления и наказания», он видит трагизм в борьбе «истинно доброго начала» в человеке с его несостоятельностью, проявляющеюся в его слабостях и наследственных пороках. Другими словами, К. Гауптман трактует трагическое в биологическом аспекте [121].

В своем подходе к Достоевскому К. Гауптман не был одинок. И другие натуралисты, анализируя Достоевского и его творчество, также руководствовались биологическим критерием. Например, Иоганнес Шлаф, один из основоположников немецкого «последовательного» натурализма, прямо заявляет: «Физиология-патология у Достоевского полностью раскрыты, проанализированы и разобраны вплоть до последнего вздрагивания малейшего мускула» [122]. Впрочем, насколько можно судить, этот столь характерный для европейского натурализма принцип не сыграл существенной роли в восприятии творчества Достоевского. Главным в Достоевском для натуралистов был психологизм, и именно с ним, а не с физиологией увязывали они патологию и болезненность его героев.

Немецкая критика высоко оценила художественные достоинства романа «Преступление и наказание», где, как считает Генкель, «в полной мере проявились все грани своеобразного дарования писателя» [123]. Одна из этих граней — «шекспировская смелость в обрисовках характеров» [124]. Все герои, отмечает Г. Роллард, «представляют собой реальные, типичные, специфически русские характеры» [125]. Брандес считает, что все они «почти без исключения ⟨...⟩ не уступают главному герою по выразительности и убедительности», что в романе «нет ни одного лишнего персонажа» [126].

Однако Достоевского-художника критика принимает отнюдь не безоговорочно. Например, Генкель указывает, что русский писатель редко перерабатывал свои произведения. «В этом их сила и слабость. Слабость — в художественном несовершенстве, *сила — в свежести и непосредственности изложения*, что отличает все его произведения» [127]. Некоторые критики были даже склонны абсолютизировать эту «слабость». Характерно следующее высказывание Брандеса: «Будучи в высшей степени поэтом, он был в незначительной степени художником. Он не стремился достичь высшей степени совершенства ⟨...⟩, а работал как простой публицист, и поэтому он всегда много-

речив». Отдавая дань мастерству диалога у Достоевского, критик замечает: «Как только появляется авторская речь, исчезает искусство» [128]. Цабель считал композицию «слабейшей стороной в таланте Достоевского» [129]. Брандесу принадлежит также мнение о хаотичности построения «Преступления и наказания». «Так, даже в лучшем его произведении ясно, что он в первой части ничего не знал о статье, содержащей изложение теории Раскольникова, которую он вводит во второй части» [130]. В противовес Брандесу Конради восхищался «великолепной архитектоникой» «Преступления и наказания» [131].

Немецкая критика признавала героев Достоевского типичными и «современными». Но вместе с тем она отмечала их необычность, исключительность, болезненность. Конради, к примеру, утверждал, что среди его героев преобладают «оригиналы» [132], у каждого из них есть своя «идея фикс» [133]. Критика отмечает необычайную интенсивность духовной жизни героев Достоевского. Брандес писал о Достоевском, что «его персонажи не знают состояния покоя» [134]. Другой критик отмечает, что «Достоевского больше всего интересуют исключительные состояния души, непостижимое, а не нормальное и здоровое» [135].

По-разному реагируя на несомненную болезненность героев Достоевского, некоторые критики признавали в нем «мастера патологической психологии» [136]. Они объясняли это явление тоже по-разному. Одни усматривали его причину в болезни самого Достоевского. Эта точка зрения восходит к Брандесу. А Рейнгольд в этой связи говорит даже о научных интересах писателя [137]. В целом же немецкие критики смутно угадывали или прямо указывали, что патологические моменты в творчестве писателя не сводимы к физиологии, а являются симптомами социальной болезни. Таким образом, в период раннего натурализма восприятие Достоевского протекает в Германии в основном под знаком его героя. Раскольников воспринимается немецкими натуралистами как современный герой, в котором для них воплощается «современный дух» [138].

Успех «Раскольникова» пробудил в Германии интерес и к другим произведениям Достоевского. С середины 80-х годов начинается процесс активного усвоения его творчества. На немецком языке выходят не только все большие романы, но и повести и рассказы Достоевского [139]. К 1895 г. общий тираж произведений писателя, изданных в Германии, достигает 60 тысяч экземпляров, из них 25 тысяч приходится на долю «Преступления и наказания» — весьма красноречивое свидетельство необычайной популярности романа.

Обращает на себя внимание тот факт, что произведения русского писателя издавали крупнейшие издательства — О. Янке, Г. Миндена, С. Фишера, В. Фридриха.

В издательстве В. Фридриха (основано в 1878 г.) печатались произведения мюнхенского кружка натуралистов — К. Альберти, К. Блайбтроя, В. Кирхбаха, Г. Конради, М. Г. Конрада, а сам он до 1902 г. был издателем и центрального органа этого кружка — журнала «Die Gesellschaft». Кроме того Фридрих купил в конце 80-х годов один из наиболее солидных немецких журналов «Magazin für die Literatur...» (который стал редактировать Блайбтрой).

Издатель С. Фишер был теснейшим образом связан с берлинским кружком натуралистов. Он был одним из основателей «Freie Bühne», ее редактором и издателем. Наряду с современными немецкими авторами (М. Крецер, Блайбтрой и др.) его издательство выпускало книги Достоевского, Толстого, Ибсена [140].

Число изданий резко возрастает начиная с 1885 г. и достигает максимума в 1890 г. Интерес к Достоевскому в Германии достиг своего апогея именно в тот период немецкого натурализма, когда его ведущим жанром был роман. Этот период начинается с момента выхода в свет журнала «Die Gesellschaft» (1885), который провозглашает роман важнейшим жанром современной литературы и пропагандирует творчество зарубежных романистов, в том числе и Достоевского. Достоевский упоминается уже в первых номерах этого журнала.

С 1889 г., т. е. со времени основания в Берлине театра «Свободная сцена», немецкий натурализм вступает в свой завершающий период — период драмы. На первый план выдвигаются Ибсен и Толстой. Внимание к Достоевскому заметно ослабевает. И если

в 1890 г. было издано 12 его книг, то в 1891 г. всего лишь одна, зато вспыхнувший интерес к драме повлек за собой первую в Германии попытку инсценировать Достоевского. Инициатором этой идеи был Цабель, предпринявший (совместно с театральным критиком Э. Коппелем) инсценировку «Преступления и наказания» («Раскольников», 1890). Однако на этом поприще Цабеля постигла неудача. Бесспорный знаток русской литературы, Цабель все же был скорее популяризатором, нежели интерпретатором творчества Достоевского. Инсценировка «Преступления и наказания» свидетельствует, что Достоевского он воспринимал неглубоко. Гениальный роман превратился у Цабеля и его соавтора в сентиментальную мелодраму, костюмированную à la russe.

Убийство ростовщицы становится в пьесе центральным событием, а сама Алена Ивановна в первых двух актах делается одним из главных действующих лиц. Смысл таких перестановок состоит, очевидно, в том, что старуха должна «заслужить» свою участь. И тут она преуспевает. Выступая в роли сводницы, она приносит Соню в жертву Свидригайлову, а ее мачеху обвиняет в краже ста рублей.

Убийство ростовщицы в пьесе Цабеля — это всего лишь акт личной мести. Теория Раскольникова как основной мотив преступления в ней не реализуется. Правда, Цабель пытается подчеркнуть и социальный мотив преступления, когда вкладывает в уста героя следующую патетическую тираду: «Чаша терпения переполнена! О, нищета, я вступаю в борьбу с тобой, пусть даже это будет стоить мне жизни!»[141]

Хаусведель назвал пьесу Цабеля и Коппеля «журналистской поделкой»[142]. «Идея инсценировать „Раскольникова“, как он полагает, могла возникнуть лишь из стремления выгодно использовать популярность русских писателей — слава же Достоевского в конце этого десятилетия достигла своей вершины — и во что бы то ни стало вызвать сенсацию»[143].

Крупнейшие журналы натурализма («Die Gesellschaft» и «Freie Bühne) дали резко отрицательные отзывы о «Раскольникове» Цабеля и Коппеля. Брам возмущенно пишет о «беспрецедентной бесталанности» авторов инсценировки, называет их «дилетантами», превратившими «самый глубокий психологический роман в русской литературе в скучнейшую и пустейшую театральную волынку». «А этот язык,— восклицает он,— этот пустой и ничтожный книжный язык, который не постыдились вложить в уста героев Достоевского!»[144]

С этими отзывами можно только согласиться. Но немецкая критика, насколько известно, не обратила внимание на то, что эта пьеса была не только поделкой, но и, в известной степени, подделкой.

В 1889 г. в театре «Свободная сцена» с огромным успехом шла драма Л. Толстого «Власть тьмы». Особенно сильное впечатление произвела ее финальная сцена — раскаяние Никиты. Учитывая конъюнктуру и литературную моду, Цабель подлаживается под Толстого; он строит действие своей пьесы по схеме Толстого: преступление — раскаяние, сочиняя при этом сцену раскаяния, которая обнаруживает несомненное сходство с финалом «Власти тьмы».

Премьера пьесы Цабеля и Коппеля состоялась в Лейпциге 23 августа 1890 г. и небезуспешно. Ее спасли, очевидно, знаменитые актеры, выступившие в роли Раскольникова (Адальберт Малковски) и Порфирия (Эрнст Поссарт). Позже она была поставлена в Берлине с Йозефом Кайнцем в главной роли и в венском Бургтеатре — с Фердинандом Бонном.

В период расцвета натурализма «Раскольников» был самым известным в Германии произведением Достоевского. Наибольшей популярностью после «Преступления и наказания» пользовались «Записки из Мертвого дома». Так как тираж первого издания этого произведения (1864) был почти полностью уничтожен, то спрос возрастал до тех пор, пока, наконец, не появился перевод в издании Генриха Миндена в Лейпциге. Цабель цитирует письмо Л. Толстого к Н. Н. Страхову, где о «Записках из Мертвого дома» сказано: «Я не знаю лучшей книги во всей современной литературе, включая Пушкина»[145]. Для Рейнгольда «Записки» — «украшение мировой литературы»[146]. Для С. Манделькерна, историка литературы тех лет, это — произведение, «написанное кровью сердца»[147]. Критика отмечает непоколебимую веру Достоевского в человека, в то, что даже у преступного люда не погасла «божья искра истины и любви»[148].

Стремление писателя найти «сокровенные нравственные силы в человеке» расценивается Рейнгольдом как религиозная тенденция [149].

В авторе «Записок» немецкий критик Э. Бауэр, скептически воспринявший «Преступление и наказание», признает «такого знатока человеческой души, которого можно сравнить лишь с графом Толстым» [150]. Э. Порицки восхищается поразительной пластичностью образов, выведенных в романе. «Недаром,— замечает он,— после появления „Записок" Достоевского назвали русским Данте» [151].

Достоевский, как считает Цабель, относится к преступникам не как криминалист, а как психолог, который «стремится вызвать сочувствие читателя» к «отверженным». Он «находит в глубинах сердца своих бывших товарищей то сокровенное, куда еще не проник порок» [152]. «В плохих людях», как сказал бы Харден, Достоевский сумел найти «нечто хорошее». Это и была та самая «новая психология», которую искали натуралисты и которую они нашли воплощенной с «небывалой гениальностью» [153] в произведениях русского писателя.

В романе «Бедные люди» критика увидела наиболее яркое выражение демократических симпатий Достоевского. «Мы искренне восхищаемся даром наблюдения у писателя и его пониманием человеческой души» [154],— пишет историк литературы К. Халлер. Он подмечает в романе «юмористическую струю и блестящий талант рассказчика» [155].

«Униженные и оскорбленные» особого интереса не вызвали. Критика отмечала в этом романе сентиментальный тон (по-немецки он переводился с подзаголовком «сентиментальный роман») и в общем признала его «слабым романом» [156]. Как полагает Цабель, выведенные там характеры — «повторения и вариации ранее созданных типов» [157]. Обратил на себя внимание рассказчик в «Униженных и оскорбленных», которого отождествляли с самим Достоевским, а кроме него — образ Нелли.

В немецкой критике натуралистического направления было принято считать, что в «Преступлении и наказании» возможности Достоевского достигли своего предела. «Отсюда начинается творческий спад» [158],— утверждал Рейнгольд. Такой подход сказался на оценке поздних его романов. «Кажется невероятным,— недоумевает Цабель,— что большой талант так быстро может прийти в упадок, но тому есть доказательства» [159]. Свидетельством этого «упадка», по его мнению, являются все поздние романы Достоевского. «Идиот», «Бесы» и «Подросток» расцениваются в критике скорее как «памфлеты», которые направлены против «радикальной русской молодежи» [160], против «либеральных ростков, взошедших по всей России» [161]. Достоевского упрекают в «претенциозной националистической теории», в «неприкрытом панславизме» [162]. При этом реакционная критика явно преувеличивает значение русофильской тенденции писателя, выдавая его за «литературного апостола славянофильства» [163] и инкриминируя ему «московский фанатизм» [164].

Резко отрицательный отзыв о «Бесах» принадлежит Цабелю. Он продиктован, однако, не только гневом, вызванным окарикатуренным образом Кармазинова, в котором критик узнал своего кумира — Тургенева. Слабость романа Цабель видит в трактовке «нигилистического движения», которая не раскрывает его «глубокого смысла» [165].

Критикуя роман «Идиот», Цабель выдвигает свой главный аргумент. Суть его в том, что писатель «изменил своей неумолимо реалистической музе» [166]. Любопытно отметить, что и некоторые русские критики расценивали роман «Идиот» как своего рода измену «натуральной или реальной манере воспроизведения и освещения окружающей действительности» [167].

Другой критик по поводу «Подростка», «Бесов» и «Братьев Карамазовых» заявляет следующее: «Ни одна из трех книг не производит удовлетворительного впечатления, поскольку нагроможденные в них идеи и мотивы порождены фантазией автора» [168]. Автор «Села Степанчикова и его обитателей» и «Хозяйки» обвиняется в том, что «он покрывает свои образы мистической дымкой и тем самым мистифицирует читателя» [169]. В заключение рецензент приходит к выводу, что данные произведения «не представляют никакого интереса для немецкого натурализма» [170]. Генкель разделяет сложившееся неблагоприятное мнение о поздних романах Достоевского, называя их «менее удачными». Однако же он выдвигает иные доводы. «Достоевскому,— рассуждает кри-

тик,— вообще никогда не везло в изображении действительности как таковой; она была для него благодатной темой лишь тогда, когда преломлялась через присущий ему гуманизм и талант психолога» [171]. Упрек адресуется, главным образом, «Бесам» и «Подростку», поскольку в «Идиоте» (по мнению одних критиков) [172] и в «Братьях Карамазовых» (по мнению других) Достоевский якобы возвращается «на покинутую стезю гуманности» [173]. Не вызывает былых восторгов и психологический талант позднего Достоевского. Если главные персонажи «Преступления и наказания» были оценены как «шедевры реалистической психологии» [174], то князь Мышкин в «Идиоте» — это лишь «идеалистическая абстракция» [175], в «Селе Степанчикове» — «странные, причудливые характеры» [176], а в «Бесах» они «лишены логики» [177]. Некоторые критики считают, что в последних романах преобладают «чистая психиатрия и патология» [178].

В результате облик Достоевского в немецкой критике как бы раздваивается: с одной стороны — создатель гениального «Раскольникова», с другой — автор «слабых» романов; с одной стороны — петрашевец, с другой — противник либерального движения. И в этой связи легенда о двух Достоевских, возникшая в Германии в 80-е и 90-е годы, приобретает определенный смысл. В 1889 г. в журнале «Die Gesellschaft» было помещено следующее объявление: «В издательстве С. Фишера появились два интересных новых романа „Вечный муж“ и „Игрок (повесть из курортной жизни)" популярного русского романиста Федора Достоевского, которого, однако, не следует путать со знаменитым автором „Раскольникова“» [179]. Трудно судить, насколько широко было распространено это заблуждение. Но тот факт, что журнал мюнхенских натуралистов не был одинок, подтверждает рецензия фон Базедова (1890). Она начинается также с предостережения не путать «современного Федора Достоевского» с «классиком Федором Михайловичем Достоевским», гениальным создателем «Раскольникова», причем, если последнего уже нет в живых, то первый еще здравствует [180]. Но главное в том, что «два» Достоевских в рецензии прямо противопоставлены друг другу. Упрекая Федора Достоевского за неясный стиль («Село Степанчиково», «Хозяйка»), рецензент ставит вопрос: «...может ли путанность и неясность, если даже она лежит в природе изображаемых явлений, быть художественной?» И отвечает: «Нет». И это решительное «нет», по мнению критика, убедительно подтвердил Федор Михайлович Достоевский в своем «Раскольникове» [181].

Последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» в целом также не нашел признания в немецкой критике рассматриваемого периода. Цабель считал его самым слабым произведением романиста. Он даже выражает что-то вроде удовлетворения от того, что роман остался незавершенным. Более объективный, хотя и сдержанный отзыв о нем дал Рейнгольд: «Это глубоко продуманное произведение, в котором автор изложил свою христианскую, пропитанную мистицизмом философию, политическое кредо и самый интимный свой личный опыт» [182]. «Религиозный элемент», по его словам, «играет в романе основную роль» [183]. Если Рейнгольд не приемлет религиозную концепцию Достоевского как «националистическую, с оттенком мистико-идеалистической спекулятивности» [184], то с иных позиций оценивает ее М. Неккер. Он полагает, что «идеал бога» нужен Достоевскому как опора «нравственности вообще» [185]. Вопреки общему мнению, рецензент убежден, что в «Братьях Карамазовых» писатель остается реалистом, но реалистом, для которого «эмпирическая данность» не является «единственным критерием истины» [186]. По характеру изображения представителей русского общества «Братья Карамазовы» чем-то напоминают ему романы Золя [187]. В статье оспаривается также точка зрения на композицию как «слабейшую сторону таланта Достоевского». Критик восхищается «искусством композиции, теми изобретательными и сложными средствами, на которых он строит действие» [188]. «Достоевский повествует в высшей степени своеобразно, изобретательно и захватывающе» [189].

Упрек в «несовершенстве формы» адресовался Достоевскому в эту пору довольно часто (что было видно уже из откликов на «Раскольникова»). Отдельные критики настаивали на том, что в произведениях Достоевского «больше правды, чем красоты» [190]. Среди них, в частности, был Цабель. Резкую отповедь этим критикам дал Рейнгольд. Он называет их «педантами», которые «навязывают художнику свои собственные эстетические критерии» [191]. «Достоевский,— пишет он,— был борец, новатор,

трибун, он владел пером как мечом, а от него требуют совершенства формы! Писатель не щадил своих сил, жертвовал себя идее, а господа Цабель, Шмидт, Шульц и Мюллер теряют самообладание только потому,что он где-то нарушил предписания эстетики» [192].

Нашлись в Германии критики, которые с неменьшим темпераментом (хотя и с иных позиций) поддержали позицию Рейнгольда. «Если такой художник, как Достоевский,— утверждал, например, Л. Берг,— не владел формой, то он мог и даже должен был ею не владеть! Ибо еще нет формы для этого содержания, нет наименования тому, что он увидел в безднах человеческой души!» [193]

Впрочем, хотя оба критика по своему правы, нельзя не отметить, что как одному, так и другому художественное своеобразие писателя в целом осталось непонятным.

«Натурализм — это признание современного человека»,— справедливо утверждает немецкий исследователь (ГДР) [194]. В глазах натуралистов Достоевский был одним из тех писателей, кто дал формулу нового человека. Глубоко ощущавший положение вещей в современном мире, он сделал это, по убеждению натуралистов, со всей страстью, с небывалой внутренней силой. Не случайно в их статьях он нередко сравнивается с Шекспиром. «Такие писатели, как Достоевский и Шекспир,— пишет Л. Берг,— стоят как бы на вулкане; отсюда проистекает состояние беспокойства, стремительного движения и беспрестанного потрясения, в котором они пребывают. Никто из писателей современного мира, кроме этих двух, не был так глубоко взволнован, так сильно потрясен изнутри. Как будто на самом деле, вся природа возмущена до основания, как будто на самом деле расшатался мир» [195].

Великий реалист и великий психолог — таким приняли Достоевского немецкие натуралисты. Однако в восприятии Достоевского натуралистами была известная ограниченность, вызванная спецификой данного литературного направления. Натуралисты по-своему трактовали реализм. Они понимали его как внешнее правдоподобие, как копирование отдельных и разрозненных кусков действительности. В результате сложный и противоречивый реализм Достоевского оказался в их трактовке упрощенным, все поздние романы с их усложненной картиной мира остались непонятыми. Внимание натуралистической критики привлекли лишь те произведения Достоевского, в которых первым планом была изображена конкретная социальная среда («Преступление и наказание», «Записки из Мертвого дома») и которые, кстати сказать, были выдержаны в традиции русской «натуральной школы». Ограниченность была присуща и натуралистическому понятию «психологизм». Современный человек интересовал натуралистов, в первую очередь, как продукт среды и определенных условий, которые, по их убеждению, и формировали его психику. Сознание индивида они объясняли скорее через конкретный быт, нежели через общественное бытие. С этих позиций натуралисты и восприняли героя Достоевского. Преступление Раскольникова, по их общему мнению, было обусловлено влиянием среды. Истинные же причины преступления Раскольникова, понять которые можно лишь рассмотрев их на самом широком фоне российской действительности, так и не были ими раскрыты. Показательно, что «теория» Раскольникова о неравенстве людей — характерное порождение общественной идеологии того времени — не обратила на себя надлежащего внимания со стороны натуралистов и не была ими учтена при анализе героя Достоевского, внутренний мир которого был сформирован не «средой», а противоречиями всей русской жизни.

Однако в целом освоение наследия русского писателя немецкими натуралистами было плодотворным. Достоевский был для них гуманистом и демократом, «адвокатом бедных и гонимых». Они со всей силой подчеркнули социальную сторону творчества Достоевского, они по достоинству оценили его реалистическое и психологическое мастерство (хотя и несколько односторонне). Мнение о Достоевском, сложившееся в этот период, было затем подхвачено левой и социал-демократической критикой, которой удалось преодолеть известную узость натуралистического взгляда, лишенного конкретно-исторической перспективы и потому игнорировавшего за редким исключением (Брандес) кричащие противоречия Достоевского. Взгляды немецких натуралистов на Достоевского были подхвачены и развиты в книге молодого цюрихского профессора Роберта Зайчика, историка литературы и художественного критика (род. в России в

1867 г.— ум. в 1965 г.), озаглавленной «Мировоззрение Достоевского и Толстого». Это была первая в Германии монография по данному вопросу. Исследование Зайчика, появившееся в 1893 г. (т. е. к тому времени, когда немецкий натурализм уже исчерпал свои внутренние возможности), надлежит во многом рассматривать как итоговое.

Оценивая Достоевского как «одно из самых своеобразных и гениальных проявлений русского духа» [196], Зайчик, вслед за натуралистами, видит в русском писателе прежде всего выдающегося психолога-реалиста. Не без влияния современной ему «психологической школы» автор заостряет внимание на «душе» Достоевского: «Его внутренняя жизнь — это целый мир, страшная битва бессознательных и глубоко запрятанных сил». «Значение Достоевского — в психологии бессознательной жизни, в интуитивном проникновении в причины душевных состояний, а также в способности описать их и запечатлеть». «Достоевский-психолог,— пишет Зайчик,— воистину велик». Он «досконально исследует дух, он обрекает свои жертвы на психологические муки, чтобы, наблюдая их глубочайшие страдания, анализировать все движения их души». По мнению Зайчика, Достоевский постиг природу страдания гораздо глубже, чем Шекспир. «Достоевский — великий реалист страдания, гениальный психолог в области патологических явлений». Расстройство психики, которым (как полагает Зайчик) страдал Достоевский, помогало ему понять «наиболее загадочные стороны психических заболеваний».

Что же породило такое явление, как Достоевский? Вот тот основной вопрос, на который Зайчик пытается дать ответ.

В основу своих рассуждений ученый кладет все тот же аксиоматический для поколения «die Moderne» тезис о дисгармоническом человеке «расшатанного мира». Зайчик пишет, что Достоевский «истинное дитя нашего разобщенного, расколотого надвое столетия, в котором добрые стороны человеческой души ведут ожесточенную борьбу со злыми». В этом смысле Достоевский для Зайчика антиклассическое начало. В современном дисгармоническом мире, рассуждает Зайчик, Достоевский, «истинное дитя века», направил свою творческую мощь не на познание объективной действительности, а на исследование внутренней природы субъекта. В поисках абсолютной истины Достоевский, по убеждению немецкого исследователя, отказался от разума ради чувства. «Чувство», в свою очередь, привело Достоевского к мистической народной вере.

Однако — и это весьма существенно — поставив проблему «Достоевский» в плане столь характерной для конца века антитезы «разум — чувство», Зайчик отнюдь не решает ее. В данной антитезе он видит источник противоречий писателя; констатируя дуализм Достоевского, он объясняет этим причину его трагедии. Тщетно, по Зайчику, пытался Достоевский преодолеть свой внутренний разлад в мистической «русской идее». «Он мнил, что преодолеет состояние разорванности, что найдет истину, объединяющую оба полюса, и не заметил, как скатился в пропасть мистики». Еще более определенно говорит Зайчик о противоречиях Достоевского, касаясь социально-политических взглядов писателя. Отмечая, что Достоевскому «был ненавистен либерализм», он справедливо подчеркивает его демократизм. «Там, где Достоевский критикует зло капиталистического уклада жизни, там, где он выступает против упадка культуры, мы имеем дело со здоровым демократом, убежденно отстаивающим свои взгляды».

Особенно резкой критике подвергает Зайчик русофильство Достоевского. Он отвергает противопоставление России Западу. По мнению ученого, реакционные идеи Достоевского покоятся на непонимании и отрицании экономических законов общественного развития. Это относится, в частности, к его убеждению, будто русское «братство» противостоит западному индивидуализму. А между тем, замечает Зайчик, «в России имеет место тот же самый индустриальный капиталистический процесс, который в более широких масштабах протекает и в Европе». Не принимая этого процесса, но и не понимая его существа, Достоевский был вынужден конструировать свою русофильскую утопию. «В мистической идее о всемирно-исторической миссии русского народа Достоевский видел картину лучшего будущего, столь отличного от печальной современности». Убежденность Достоевского в том, что Россия, подобно пифии, скажет миру «новое слово», была у Достоевского, согласно Зайчику, «манией национального величия». «Одержимый этой манией, Достоевский не хотел понять, что первым условием

„нового слова" является материальная и духовная свобода человека». Нельзя не отметить, что Зайчик в целом верно указал на уязвимые места Достоевского-мыслителя. В то же время, отвергая русофильство Достоевского, Зайчик упустил из виду тот факт, что неприятие Запада у русского писателя было, по существу, неприятием буржуазного Запада.

Разумеется, в целом работа Зайчика уже не укладывается в рамки чистого натурализма: она разноречива и эклектична. Впрочем, это не случайно. Будучи явлением сложным и многоплановым, немецкий натурализм объединял в себе различные тенденции, перераставшие постепенно в самостоятельные и принципиально противоположные ему по своему духу течения культуры. В натурализме были скрыты, например, истоки импрессионизма и неоромантизма. Модернистские веяния приносят с собой новое прочтение Достоевского, основанное на новом восприятии России, якобы отделенной от Запада непроходимой пропастью. Эта точка зрения была, с одной стороны, естественно порождена духом новейшей немецкой философии с ее открытым противопоставлением «разума» и «жизни», «рассудка» и «инстинкта», «интеллектуального» и «чувственного», «рационального» и «иррационального». Точно на таких же полюсах оказывались Запад и Россия. Немецкий модернизм, отличительной чертой которого станет воинствующий субъективизм, заимствует у натурализма ряд категорий, существенно углубляя и даже абсолютизируя их (психологизм, индивидуализм). С другой стороны, противоположение России Западу существовало, хотя зачастую и подспудно, уже внутри самого натурализма и как бы шло навстречу своему более позднему переосмыслению. В этой связи следует вспомнить имя Мельхиора де Вогюэ.

Известный французский писатель и критик приобрел репутацию знатока русской литературы после издания книги «Русский роман» (1886). В этой книге, написанной остроумно и с блеском, высказывалась мысль о том, что в России возник реализм более высокого типа, чем в западноевропейских литературах. Книга была проникнута уважением к русской литературе и сознанием ее мирового значения.

Однако в целом взгляды французского критика на русскую литературу были ошибочными, ибо он исходил из ложных представлений о России. Она была в его восприятии страной экзотической и загадочной. И вот Вогюэ обращается к творчеству великих русских писателей с тем, чтобы найти у них разгадку «тайны России» [197], каковой является для него русский национальный характер — «русская душа». Одним из специфических проявлений русского характера является, по мнению Вогюэ, религиозность, которая находит свое выражение в творчестве Достоевского — поборника «религии страдания». Воплощением «основной христианской идеи русского народа — благости страдания самого по себе» [198] — Вогюэ считает роман «Преступление и наказание».

В «Преступлении и наказании» талант Достоевского, утверждает Вогюэ, достиг своего апогея. Все поздние романы критик рассматривает как ступени упадка, который впервые дает себя знать в «Идиоте», где новаторский реализм «Преступления и наказания» сменяется, по Вогюэ, «мистическим реализмом» [199]. Самое неблагоприятное мнение сложилось у Вогюэ о «Братьях Карамазовых». Критик называет этот роман «бесконечной историей» и утверждает, будто бы лишь немногие в России смогли прочесть его до конца [200]. Впрочем, и о «Преступлении и наказании», весьма высоко им оцененном, Вогюэ говорил, что читать этот роман — «добровольная пытка» [201].

Так или иначе, книга Вогюэ оказала немалое воздействие на немецкую критику. Т. Кампман считает, что Вогюэ «так сильно повлиял на немецкий натурализм — натуралисты даже считали его одним из своих — что мы вполне можем сопоставить его с нашими немецкими критиками» [202]. Правда, современный западногерманский исследователь А. Раммельмайер возражает Кампману, заявляя, что книга «не могла оказать столь быстрого воздействия» [203]. Однако факты свидетельствуют в пользу Кампмана. Очерки, из которых составлена книга «Русский роман», публиковались с 1883 по 1885 г. в крупнейшем журнале «Revue des Deux Mondes», который читали во всей Европе, в том числе и в Германии. Во-вторых, сразу же после ее появления в немецкой критике встречаются ссылки на Вогюэ. О нем не раз упоминает Цабель. Часто ссылается на Вогюэ и Харден, во всех суждениях которого ощущается дистанция «славянский

мир — западный мир». Сам Достоевский для Хардена прежде всего «человек славянского мира» [204]. Своеобразие Достоевского-художника, который «разрушает литературные каноны и на их развалинах возводит свой причудливый мир», Харден также воспринимает как нечто экзотическое [205]. Но высоко оценивая Достоевского-психолога, он отрицательно отзывается о религиозных и славянофильских идеях писателя. Более того, сложную позицию Достоевского по отношению к Европе Харден тонко осмысляет как неприятие антигуманистической сущности буржуазного общества или, как он сам пишет, «безбожного учения Запада» [206].

Наконец, знакомство с книгой Вогюэ во многом определило и суждения Брандеса. Он почти дословно повторяет автора «Русского романа», когда говорит о Достоевском как о «настоящем скифе, истинном варваре без единой капли классической крови» [207]. Брандес разделяет также точку зрения Вогюэ на Достоевского-художника. Художественное своеобразие русского писателя представляется Брандесу отступлением от канонов прекрасного.

Исходящий от Вогюэ тезис о «русской душе» воскресает и получает иное осмысление по мере того как в немецкий натурализм вторгаются, разлагая его, новые принципы искусства, порожденные новейшей буржуазной философией в Германии и прежде всего — учением Ницше.

III. ПРОБЛЕМА «ДОСТОЕВСКИЙ — НИЦШЕ»

Одной из центральных проблем современной зарубежной науки о Достоевском является вопрос о связях, соединяющих русского писателя с Ницше. Фраза о «духовном родстве» Достоевского и Ницше давно уже стала общим местом. Число исследований по данной теме достаточно велико. В советском литературоведении этот вопрос почти не сгазился. В русской же дореволюционной и современной зарубежной литературе возникло немало ошибочных гипотез и выводов. А потому нам представляется целесообразным осветить проблему «Достоевский — Ницше» по возможности полно, тем более, что факт знакомства влиятельного буржуазного философа с творчеством великого русского писателя имеет значение, выходящее за рамки истории литературы. Пристрастные, а подчас и произвольные интерпретации этого факта в современной экзистенциальной теории привели к неправомерному сближению Достоевского и Ницше как «подпольных мыслителей» [208], как проповедников «отчаяния, безумия и смерти» [209], как «ясновидящих пророков грядущего хаоса» [210].

В Германии подобная точка зрения возникает не без влияния книги Л. Шестова «Достоевский и Ницше», переведенной на немецкий язык в 1924 г., но в большей степени — в связи с возникновением экзистенциальной философии. Начало сближения Достоевского и Ницше на почве экзистенциализма положил один из его основателей и главных авторитетов Карл Ясперс. Ясперс ставит Достоевского и Ницше в ряд «мыслителей», воспринимающих «человеческое бытие как болезненное бытие» [211]. Их объединяет также «свойственное нашему времени настроение бунтарства», в котором философ видит симптом «всеобщего неблагополучия» [212]. В этих замечаниях Ясперса есть рациональное зерно, но он растворяет его в метафизическом контексте своей философии. Болезнь бытия у него лишена какой-либо исторической конкретности — это болезнь, «исходящая из первородного греха» [213]. «Бунтарство», даже будучи соотнесенным со временем, представляет собой, тем не менее, понятие социально недифференцированное. Не случайно под эту категорию наряду с Достоевским, Ницше и З. Фрейдом Ясперс умудряется подогнать и... К. Маркса [214].

Однако тенденция сближать и, говоря шире, сопоставлять Достоевского и Ницше не является прерогативой экзистенциальной критики. Она возникает в Германии уже в эпоху натурализма По времени это совпадает с началом распространения идей Ницше. И наблюдается характерное явление: некоторые видные представители натурализма делят свои симпатии между Достоевским и Ницше (Г. Конради, М. Харден, Л. Берг). Чем это вызвано? Ответ на этот вопрос дает в предисловии к «Русской антологии» (1921) Томас Манн: «Ибо на деле два события связывают сына XIX века, по-



«ДВОЙНИК»
Титульный лист немецкого издания (Мюнхен, 1922)
Рисунок (карандаш) А. Кубина

томка буржуазной эпохи, с новым временем,— свидетельствует он,— явление Ницше и духа России. Эти явления, правда, крайне различные по своему национальному характеру 〈...〉 Однако их объединяет определенная сверхнациональная связь — оба религиозного происхождения, религиозного в новом значении, жизненно важном» [215]. Если отвлечься от религиозных мотивов, а ими Томас Манн обязан, вероятнее всего, Мережковскому, чья книга «Толстой и Достоевский» (1901) произвела на него, по собственному признанию, «неизгладимое впечатление» [216], то «связь» Ницше и русской литературы (т. е. и Достоевского) раскрывается в явлении нового содержания: «жизненно важной» проблемой немецкого натурализма была проблема «современного человека», поиски путей преодоления кризисного сознания. И вот на этих путях и перепутьях Достоевский и Ницше впервые оказались рядом — Достоевский, которого натуралисты воспринимали как писателя-гуманиста, защитника «униженных и оскорбленных» — и Ницше — апологет «белокурой бестии». Этот явный парадокс объясняется противоречивостью позиции самих натуралистов, у которых искренний протест против социальной действительности выливается нередко в индивидуалистический бунт, в культ исключительной творческой личности. («Гений»—излюбленное слово в лексиконе натуралистов.)

Интерес натуралистов к Ницше и проистекает из их протеста против социальной действительности, с одной стороны, и из их поисков нового человека — с другой. Однако они апеллировали не к подлинному, а ими самими во многом переосмысленному легендарному Ницше, который представлялся им в романтическом ореоле «правдоискателя» [217], утверждающего «антиметафизическую мораль — жизнерадостную и жизнеутверждающую» [218], провозвестника новой религии, «основанной на почитании природы» [219]. Ницше ослепил часть литературной молодежи 80—90-х годов блеском своих метких антибуржуазных инвектив, своим красноречивым славословием свободного художника-творца, и за этой броской вывеской они не увидели или не за-

хотели увидеть деструктивный характер и антигуманистическую сущность его философии. «Если рассматривать эту философию как этическую цель,— полагал писатель и драматург П. Эрнст,— то трудно себе представить, что она может причинить зло» [220]. Более того, они вообще не принимали Ницше как философа, они создали легендарному Ницше ореол «гения». «Он был художником, а не философом»,— решительно заявляет Х. Ландсберг [221]. Если бы это заблуждение было свойственно только рядовым литераторам той эпохи, каким был Ландсберг! Его разделял Георг Брандес, выступивший в 1888 г. в Копенгагенском университете с лекциями об «аристократическом радикализме» Ницше, чем заложил основы его европейской известности. Т. Манн испытывал по отношению к Ницше — новоявленному Гамлету—«смешанное чувство преклонения и жалости» [222].

Итак, сближение Достоевского и Ницше в немецкой натуралистической критике 80—90-х годов осуществляется, с одной стороны, в силу ложной идеализации философии Ницше. Но, с другой стороны, начинается процесс и переосмысления Достоевского в духе ницшеанства, как «сильнейшей индивидуальности в современной литературе» [223] (опять «гений»!). Наглядным тому примером является книга Л. Берга «Сверхчеловек в современной литературе» (1897). Автора «Преступления и наказания» Берг объявляет «предтечей Ницше» [224], а Раскольникова воспринимает как некий пробный образец «сверхчеловека».

Роман Достоевского по силе изображения в нем мучений совести немецкий критик относит к произведениям «самым поучительным и самым глубоким во всей современной литературе» [225] и считает, что психология Раскольникова могла быть поучительной для Ницше, «ибо он знает, что сверхчеловеком нельзя стать безнаказанно, он знает страдания великих натур, глубокую печаль тех, кто искупляет свое величие одиночеством...» [226]

Уже в этой ранней попытке изыскания сходства у Достоевского и Ницше сказалась в полной мере несостоятельность такого подхода. Он несостоятелен потому, что «Преступление и наказание» рассматривается в отрыве от конкретной исторической действительности, которой оно обязано своим возникновением. Авторское отношение к герою полностью игнорируется, и, более того, автор растворяется в нем. Судя по рассуждениям Берга, для него Достоевский и Раскольников — одно и то же лицо [227].

Наряду с тенденцией сопоставления, сближения Достоевского и Ницше в немецком натурализме возникает тенденция рассматривать их как антиподов. Эта точка зрения представлена той частью немецкой интеллигенции 80—90-х годов, которая восприняла философию Ницше как прямую угрозу гуманизму и объявила ей войну.

Так, Й. Видман, швейцарский писатель и драматург, выступая против иммурализма Ницше, берет себе в союзники Достоевского. Своей статье-рецензии (1886) на книгу Ницше «По ту сторону добра и зла» он предпосылает следующие слова из «Подростка»: «...у меня был товарищ, Ламберт, который говорил мне еще шестнадцати лет, что когда он будет богат, то самое большое наслаждение его будет кормить хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду, а когда им топить будет нечего, то он купит целый дровяной двор, сложит в поле и вытопит поле, а бедным ни полена не даст. Скажите, что я отвечу этому чистокровному подлецу...» [228] Один из вождей натурализма Иоганнес Шлаф в книге о Ницше (1907), над которой он работал в 80—90-е годы, указал на опасные последствия его философского нигилизма. При этом он ссылается на «великого Достоевского»: в его романе «Бесы» он увидел «предупреждение грозящей опасности» [229].

В 1902 г. один из крупнейших немецких литературных журналов «Neue deutsche Rundschau» (бывшая «Freie Bühne») опубликовал статью русского критика А. Л. Волынского «Современная русская литература», где проводилась мысль о том, что Достоевский «предвосхитил Ницше и возможно даже пресдолел его». Хотя у него «демоническое начало в человеке изображено во всей его силе, но в то же время ⟨...⟩ показано, что последнее слово принадлежит не злу». «Сверхчеловеческие порывы в духе Ницше,— заключает Волынский,— побеждаются у Достоевского богочеловеческими экстазами, тихими восторгами сердца» [230]. В предисловии к новому переводу «Преступ-

ления и наказания» («Родион Раскольников», 1908), открывающему полное собрание сочинений Достоевского на немецком языке, его соиздатель Д. С. Мережковский подчеркивал, что «герои личного начала, как Иван Карамазов и Родион Раскольников» даны в художественном изображении и не являются носителями «сложившихся догм самого Достоевского» [231].

Так создались в Германии противоречивые, если не сказать взаимоисключающие точки зрения на Достоевского и Ницше. А как воспринимал Достоевского сам Ницше?

Ницше познакомился с творчеством Достоевского в 1887 г., будучи уже зрелым философом. Впервые имя русского писателя упоминается в его письме к Овербеку 12 февраля 1887 г. «До недавнего времени,— пишет Ницше,— я даже не знал имени Достоевского ⟨...⟩ В книжной лавке мне случайно попалось на глаза произведение „L'esprit souterrain"*, только что переведенное на французский язык...» [232]

В русской дореволюционной критике было принято считать, что Ницше знал о Достоевском гораздо раньше. В доказательство неизменно цитировалось несуществовавшее письмо Ницше к Брандесу, где якобы сказано: «Я теперь читаю русских писателей, особенно Достоевского. Целые ночи сижу над ним и упиваюсь глубиной его мысли». Впервые эта апокрифическая цитата из Ницше появилась в одной из статей Д. Вергуна в издаваемом им журнале «Славянский век» без ссылки на источник [233]. У Вергуна ее заимствует Н. Д. Тихомиров [234], и она прочно входит в обиход критики [235]. Слова, приписываемые Ницше, представляют собой явный домысел. Во-первых, он не мог писать Брандесу в 1873 г., потому что в это время они не знали друг друга. Во-вторых, в 70-е годы в Германии не знали Достоевского и фактически отсутствовали переводы его произведений. По-русски же Ницше не мог их прочесть, поскольку не владел языком.

К этому крайне сомнительному «свидетельству» прибегали и некоторые советские литературоведы [236]. Оно фигурирует в недавно переизданной статье Г. Дзасохова «Достоевский и Ницше» без каких-либо оговорок в комментариях [237].

Приведенному выше подлинному свидетельству Ницше о знакомстве с произведениями Достоевского противоречит также предположение Т. Манна о воздействии Достоевского на притчу из «Заратустры» о «Бледном преступнике», поскольку книга Ницше была закончена уже в 1885 г. [238] Правда, и утверждение Ницше о том, что до 1887 г. он не знал даже имени Достоевского, также вызывает сомнение, если учесть его окружение: сначала Р. Вагнер с его обширными русскими знакомствами, потом Мальвида фон Мейзенбуг — воспитательница детей Герцена, Ольга Герцен и, наконец, Лу Саломе, которая позже много писала о русской литературе в немецкой прессе. К тому же Ницше вообще проявлял определенный интерес к русской литературе. В его личной библиотеке были сочинения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Г. Данилевского [239]. Поэтому вполне можно допустить, что Ницше так или иначе слышал о Достоевском. В подтверждение тому сошлемся на курьезный факт, приведенный в статье немецкого слависта В. Геземана, где, кстати, наиболее полно представлены свидетельства Ницше о Достоевском. В 1886 г. в швейцарском журнале «Bund» была опубликована упоминавшаяся ранее рецензия Видмана на книгу Ницше «По ту сторону добра и зла». Под эпиграфом, взятым из «Подростка», стояло имя его автора. Этого Ницше не заметил, хотя статью Видмана он хорошо знал [240]. Однако эти соображения частного порядка не дают никаких оснований предполагать более раннее знакомство Ницше с творчеством Достоевского.

Письма Ницше к Овербеку (23 февраля 1887 г.) и к П. Гасту (7 марта 1887 г.) свидетельствуют о том, что первыми произведениями Достоевского, им прочитанными, были «Записки из подполья» и «Хозяйка» (озаглавленные во французском переводе соответственно «Лиза» и «Катя»). Со своей стороны Овербек рекомендует Ницше «Униженных и оскорбленных» — единственную книгу Достоевского, которую он знает, и посылает ему ее во французском переводе. «Униженных и оскорбленных» Ницше читал, будучи в Сильс-Мария, что подтверждает гостившая у него в это время Мета фон Салис-Маршлинс: «Там он читал такие книги, как „Бабье лето" Штифтера и „Humiliés et

* «Записки из подполья» (*франц.*).

offensés“». Причем последнее, как якобы признался ей Ницше, «с глазами, полными слез» [241]. В переписке, в некоторых работах немецкого философа довольно часто упоминаются «Записки из Мертвого дома», с которыми он познакомился по французскому переводу [242] с предисловием Вогюэ, откуда почерпнул также биографические сведения о русском писателе [243].

По письмам Ницше можно кроме того заключить, что ему в какой-то мере были знакомы «Рассказы» Достоевского («Хозяйка», «Елка и свадьба», «Белые ночи», «Мальчик у Христа на елке»,«Честный вор»), вышедшие в 1886 г. в переводах В.Гольдшмидта, о качестве которых он высказывался резко неодобрительно [244].

Роман «Преступление и наказание» Ницше упоминает дважды. В одном случае он назван «последним произведением Достоевского» [245] в полемической реплике в адрес брошюры К. Блайбтроя, где упоминается лишь единственное произведение Достоевского — «Преступление и наказание» [246]. В 1888 г. Ницше сообщает одному из своих корреспондентов: «Французы инсценировали главный роман Достоевского» [247]. И здесь речь идет, несомненно, о «Преступлении и наказании», поставленном в том же году в парижском театре «Одеон». Вероятно, Достоевского — автора «Раскольникова» — имеет в виду Ницше, когда, касаясь последнего романа П. Бурже («Андре Корнелис»), он замечает, что тому «дух Достоевского не дает покоя» [248]. Следует все же отметить, что приведенные свидетельства подтверждают лишь осведомленность Ницше об этом романе, но никак не доказывают, что он его читал.

В зарубежной критике широко распространена версия о знакомстве Ницше с романом «Идиот». Поскольку этот вопрос связан с другим — о воздействии Достоевского на Ницше, он будет рассматриваться в другом месте.

Большинство критиков справедливо сходятся на том, что Ницше не знал поздних романов Достоевского — «Подростка», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». В оппозиции к общему мнению оказался чешский автор Б. Трамер. Не считаясь с фактами, он утверждает, что Ницше знал всего Достоевского, но скрывал это. Свою версию Трамер неубедительно мотивирует словами Заратустры: «Я — странник, давно идущий по стопам твоим!», видя в них завуалированную апелляцию Ницше к Достоевскому-учителю [249].

В «Сумерках кумиров» Ницше писал: «Достоевский принадлежит к самым счастливым открытиям в моей жизни...» [250] Роман «Униженные и оскорбленные» вызывает у него «глубочайшее уважение к Достоевскому-художнику» [251]. Важно, однако, подчеркнуть, что художник для Ницше — нечто несравненно большее, чем писатель и чем любой человек искусства. Художник в его философии — понятие узловое и весьма специфическое. Это — гений, преисполненный первородной творческой мощи, которая возносит его над действительностью к горним высотам эстетической свободы «по ту сторону добра и зла». Понятие для Ницше настолько же эстетическое, насколько и философское, ибо он рассматривает искусство как единственную жизнеутверждающую силу. «Наша религия, мораль, философия,— говорится в „В воле к власти“,— представляют собой формы décadence человека. *Противоположное направление — искусство!*» [252]

Своей эстетике Ницше противопоставляет творчество Золя и Гонкуров. «„Изучение“ в соответствии с природой кажется мне дурным признаком: оно порождает зависимость, слабость, фатализм. Падать ниц перед petits faits * недостойно подлинного художника» [253]. Казалось бы, Ницше прав, отмечая известный объективизм, фактографичность у французских писателей. Но суть его возражений не в этом, что выясняется из следующих слов: «Изображать самые ужасные и сомнительные вещи — это уже есть проявление инстинкта власти и величия художника: он их не боится... Пессимистического искусства нет... Искусство утверждает... А Золя? А Гонкуры? То, что они изображают, отвратительно: но они делают это из пристрастия к отвратительному...» Вряд ли можно сомневаться в том, что под «пристрастием к отвратительному» Ницше имеет в виду пристрастное отношение к социальной действительности, т. е. ее критику.

Приведенную реплику против Золя и Гонкуров Ницше заканчивает словами: «Как отраден Достоевский!» [254], тем самым противопоставляя его французским писа-

* незначительными фактами (*франц.*).

телям. В немецкой критике 80—90-х годов Достоевского нередко сравнивали с Золя, отмечая у первого более высокий уровень реалистического искусства. Но Ницше, который рассматривал искусство как «иллюзию», «обман» [255], было менее всего дела до споров о реализме. Можно предположить, что «отраден» был для Ницше не столько подлинный Достоевский, сколько некий воображаемый творец, утверждающий «жизнь» со всеми ее ужасами — «дионисийский», «трагический» художник.

Уже в самых ранних откликах Ницше подчеркивает свой интерес к Достоевскому как психологу. «Записки из подполья» Ницше назвал «воистину гениальным психологический трюком (Streich) — ужасным и жестоким самоосмеянием принципа „gnothi seauton“ *, но проделанным с такой дерзновенной смелостью, с таким упоением бьющей через край силы, что я был опьянен от наслаждения» [256]. В письме к Гасту (13 февраля 1887 г.) он пишет: «Вы знаете Достоевского? Кроме Стендаля никто не был для меня такой приятной неожиданностью и не доставил столь много удовольствия. Это психолог, с которым я нахожу „общий язык“» [257]. Позже, в «Сумерках кумиров» Ницше скажет, что Достоевский значил для него «даже больше, чем открытие Стендаля» [258], потому что Достоевский дал ему «ценнейший психологический материал» [259] и был «единственным психологом», у которого ему было чему поучиться [260]. Период каторги Ницше рассматривает как «решающий» момент в творчестве Достоевского, ибо там «он открыл в себе силу психологической интуиции» [261].

Ницше сосредоточивается на психологизме Достоевского не случайно: насквозь психологична его собственная философия. «Возводя инстинкт, инстинкт власти, в центральное положение своей философии,— отмечает австрийский исследователь-марксист Т. Шварц,— он превращает ее в большей степени в психологию» [262]. Добавим — в психологию бессознательных инстинктивных начал. Другими словами, он принимает психологизм Достоевского лишь как метод, но никоим образом как этику. И не удивительно: русский писатель-гуманист был по самой сути своего мироощущения неприемлем для Ницше-индивидуалиста.

В этой связи обращает на себя внимание реакция Ницше на характеристику «Преступления и наказания», данную Блайбтроем, который назвал произведение Достоевского «романом совести» (см. выше, стр. 682). Блайбтрой сравнивает роман Достоевского с романом «Жерминаль» Золя и приходит к следующему выводу: «Если оставить в стороне психологические достижения „Раскольникова“, то получится полицейский роман à la Габорио. В „Жерминале“ же, напротив, кроме его великолепных деталей, есть значительность мировоззрения, идея» [263]. В одном из писем Ницше подвергает выводы Блайбтроя резкой критике: «Какая психологическая убогость ⟨...⟩ в его пренебрежительном замечании о последнем произведении Достоевского! ведь проблема, более всего занимающая Достоевского, в том как раз и состоит, что самая тонкая психологическая микроскопия и проницательность вовсе ничего не добавляет к ценности человека: очевидно в русских условиях у него было более чем достаточно возможностей в этом убедиться!» Обращаясь к корреспонденту, он продолжает: «Кстати, рекомендую тебе недавно переведенное на французский язык произведение Достоевского „L'esprit souterrain“, вторая часть которого иллюстрирует этот доподлинный парадокс во всей его почти ужасающей наглядности» [264]. Блайбтрой явно недооценивал «Преступление и наказание»; в этом сказалась тенденция всей натуралистической критики, ограничивавшейся в восприятии реализма Достоевского психологической правдой. Известно, что против такого подхода возражал сам Достоевский: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» [265]. Ницше утверждает, что психологический анализ вообще ничего не привносит в представление о человеке. При этом он ссылается на «Записки из подполья» — произведение, при чтении которого в нем «сразу же заговорил инстинкт родства» [266]. И это понятно. Ницше был близок пафос отрицания подпольного человека, его индивидуалистический, иррационалистический в своей основе, бунт. Не случайно он подхватывает мысль из предисловия к французскому изданию о том, что пример подпольного человека опровергает принцип «Познай

* познай самого себя (*греч.*).

самого себя» [267]. Эта мысль, бесспорно, импонировала Ницше — непримиримому противнику рационализма, который воплотился для него в образе Сократа. Психология иррационального — вот то, что прежде всего привлекало Ницше в «Записках из подполья». Потому он всячески и открещивается от психологии нравственного сознания, в свете которой подпольный человек — жалкое и злобное ничтожество—предстающее в гротескном несоответствии своим сверхиндивидуалистическим идеям. Эта особенность была подмечена М. Горьким, который писал, что в «Записках из подполья» мораль ницшеанства была предвосхищена и депоэтизирована в образе подпольного человека [268]. По той же причине Ницше не приемлет определение «Преступления и наказания» как «романа совести», ибо совесть Раскольникова выносит приговор его «наполеоновской идее». Иными словами, для философа Ницше приемлема только такая психология, которая оправдывает зло. В «Воле к власти» он с цинической откровенностью заявляет: «Вернуть злому человеку чистую совесть — разве не к этому сводились все мои непроизвольные усилия? Злому человеку настолько, насколько он является сильным человеком». И добавляет: «Здесь следует привести суждение Достоевского о преступниках в тюрьмах» [269]. Таким образом, в своей апологии сильной аморальной личности Ницше ищет поддержки у автора «Записок из Мертвого дома», позволяя себе при этом вопиюще своекорыстное их истолкование. В «Сумерках кумиров» он пишет: «Только в нашем — смиренном посредственном и выхолощенном обществе самобытный человек, спустившийся с гор или вышедший из авантюрной стихии моря, неизбежно вырождается в преступника. Или почти неизбежно: ибо случалось, что такой человек оказывался сильнее общества: знаменитый пример — корсиканец Наполеон. Для рассматриваемой здесь проблемы имеет значение свидетельство Достоевского...» [270] Что же это за «суждение» и «свидетельство», на которые ссылается Ницше?

Вот *одно из них*: «*Почти во всех преступлениях проявляются качества, которые* должны быть присущи мужчине. Не без основания говорил Достоевский об узниках сибирских тюрем, что они составляют самую сильную и самую ценную часть русского народа» [271]. Насколько ложно переосмыслены эти вырванные из контекста слова, становится очевидным, если сравнить отношение Достоевского к преступнику и его истолкование у Ницше.

Прежде всего Ницше не желает брать в расчет социальные корни преступления; он рассматривает его исключительно как акцию сильной личности. Поэтому он спешит оговориться, что среди преступников «нельзя терпеть анархистов и принципиальных противников общественного строя» [272]. И при этом вербует себе в единомышленники Достоевского, как раз осужденного за политическое преступление!

Ницше стремится умертвить в преступнике совесть. А между тем, автор «Записок из Мертвого дома» тем и снискал себе славу у современников Ницше в Германии, что сумел в узниках сибирской каторги, жертвах жестокого и бесчеловечного гнета, доведенных до крайней степени невежества, забитости и подчас нравственной атрофии, увидеть проблески человечности.

Ницше наделяет преступников чертами исключительности, выделяет их в обособленную касту «сильных личностей». Достоевский, в полную противоположность Ницше, увидел в них типы из народа. «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! — пишет он брату Михаилу Михайловичу ⟨...⟩ Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, как, может быть, немногие знают его» [273].

Сочувственное отношение Достоевского к своим товарищам по каторге было естественным проявлением его сострадания к угнетенному народу. Всю боль и обиду за него он вложил в эти широко известные слова: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! ⟨...⟩ Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно» (III, 659). В этих словах каторга вырастает в мрачный символ всей самодержавно-крепостнической России. Как художественно обобщенную картину русской действительности воспринял и очень высоко оценил это произведение Достоевского В. И. Ленин. «„Записки из Мертвого дома“,— отмечал Ленин,— является непревзойденным произведением русской и ми-

ровой художественной литературы, так замечательно отобразившим не только каторгу, но и „мертвый дом", в котором жил русский народ при царях из дома Романовых» [274].

И вот те самые слова Ницше, нимало не смущаясь, принимает за реабилитацию преступной морали. Но Достоевский, при всех своих симпатиях к узникам каторги, отнюдь не оправдывал всякое преступление. Разве не вызывает у Достоевского отвращение потерявший человеческий облик Газин? На этот счет в «Записках» прямо сказано, что «есть такие преступления, которые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком» (III, 315).

«Преступники, с которыми жил в тюрьме Достоевский,— утверждает далее Ницше,— остались все без исключения несломленными натурами...» [275] Но их нераскаянность коренится вовсе не в пресловутом «здоровье души». Стихийное сознание своей классовой правоты снимает с них муки совести. «Преступник знает,— пишет Достоевский в «Записках» (и это — самый убедительный аргумент против домыслов Ницше) — и притом не сомневается, что он оправдан судом своей среды, своего же простонародья, которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большей частью и совсем оправдает, лишь бы грех его не был против своих, против братьев, против своего же родного простонародья» (III, 464).

Таким образом, апелляции Ницше адресуются Достоевскому, крайне односторонне им истолкованному и тенденциозно переосмысленному в духе имморализма. Но вместе с тем было бы ошибкой полагать, что Ницше не распознал в Достоевском своего противника, т. е. писателя-гуманиста. В 1888 г. Г. Брандес писал Ницше о Достоевском следующее: «Вся его мораль — это то, что вы окрестили моралью рабов» [276]. С этим мнением Ницше согласится (см. ниже). Напомним, что «пессимистическое искусство» Ницше рассматривал как «contradictio». А между тем Достоевский — высокочтимый им художник — оказывается одним из главных представителей «русского пессимизма» [277]. Насколько противоречивым, как оказывается, было отношение Ницше к Достоевскому, явствует из его ответа Брандесу: «Я целиком разделяю ваше мнение о Достоевском; но, с другой стороны, я нахожу в нем ценнейший психологический материал, какой только знаю, — странно, но я ему благодарен, хотя он неизменно противоречит моим самым потаенным инстинктам». Именно противоречит, а не «отвечает», как это переведено у И. Е. Верцмана [278].

Итак, с одной стороны, Ницше усматривает в «Записках из Мертвого дома» оправдание морали «сильной личности», с другой стороны — считает их автора поборником «морали рабов»; с одной стороны, он высоко ценит Достоевского-художника, с другой — не приемлет его «русского пессимизма»; и, наконец, с одной стороны, Достоевский пробуждает у него «инстинкт родства», а с другой — противоречит его «самым потаенным инстинктам». Причем, из последних слов напрашивается вывод, что «инстинкт родства» пробуждает у него не сам Достоевский, а иррационализм его подпольного героя. Не потому ли Ницше воздержался от прямых заявлений о своей идейной близости Достоевскому (или наоборот, о близости Достоевского его идеям), о которой столь охотно рассуждают современные зарубежные интерпретаторы? И не потому ли он настойчиво подчеркивал свой интерес к Достоевскому-психологу? Видимо, сферой психологии и ограничивается предполагаемое воздействие Достоевского на Ницше.

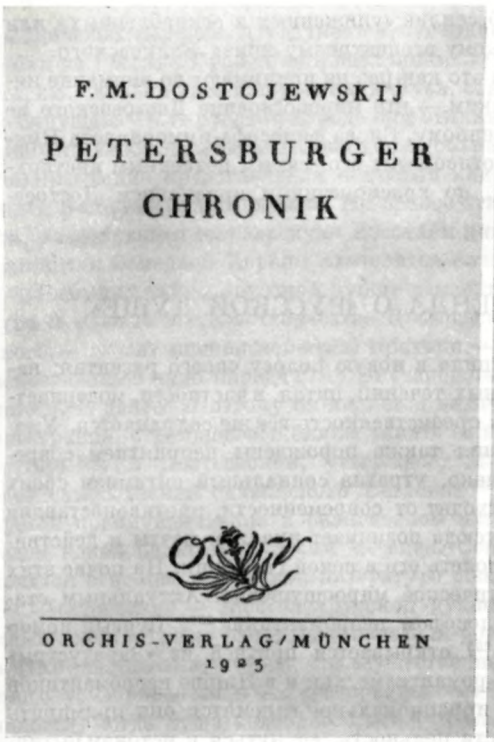
В вопросе о воздействии Достоевского на Ницше большинство критиков сходятся на том, что «образ Христа в „Антихристе" Ницше обнаруживает сходство не столько с исторической личностью, сколько с князем Мышкиным из „Идиота" Достоевского» [279]. Геземан находит сходство и в изображении у Ницше «раннехристианской среды» вообще [280]. Однако у сторонников этой гипотезы нет твердой уверенности в ее непогрешимости, тем более, что Ницше нигде прямо не упоминает ни роман «Идиот», ни его героя князя Мышкина. Но в то же время в его последних книгах есть немало высказываний, которые прямо ассоциируются с «Идиотом» Достоевского. Так, в «Антихристе» речь идет о «болезненном и странном мире, в который нас вводит евангелие, мире, где, как в одном русском романе, представлены, словно на подбор, отбросы общества, нерв-

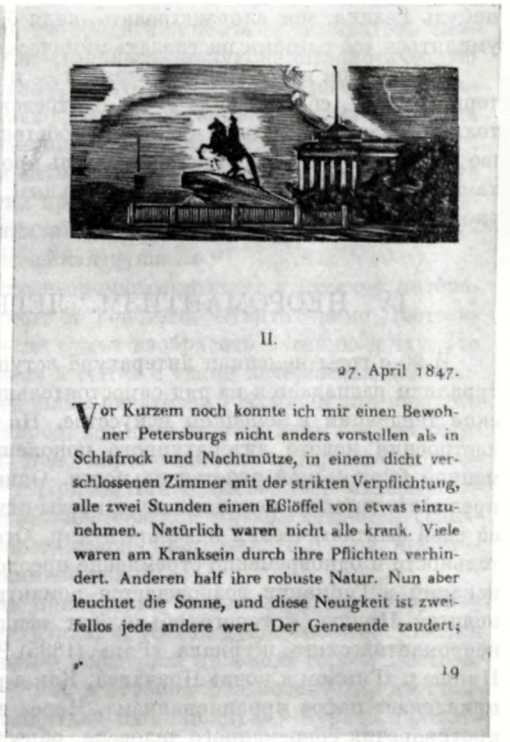
ные болезни и „детский" идиотизм» [281]. Однако это замечание Ницше могло быть адресовано скорее всего «Преступлению и наказанию», где с ужасающей наглядностью изображена именно такая среда: и социальные низы большого города («отбросы общества»), которые фактически отсутствуют в «Идиоте», и «нервные болезни», и «„детский" идиотизм» (Соня Мармеладова). Но бесспорным представляется факт, что художественные образы Достоевского вызывают у Ницше ассоциации с евангельскими преданиями. В эпилоге к «Падению Вагнера» он подчеркивает, что «в евангелиях представлены такие же физиологические типы, какие изображены в романах Достоевского...» [282] Бесспорно также и то, что в своей трактовке образа Иисуса Христа Ницше в какой-то мере отталкивается от Достоевского. «Остается только сожалеть,— замечает он в «Антихристе»,— что рядом с этим интересным décadent ⟨т. е. Иисусом Христом⟩ не было Достоевского — я имею в виду того, кто умел ощущать захватывающую прелесть в сочетании болезненного, возвышенного и детского» [283]. Критики усматривают в этих словах явный намек на «Идиота», тем более, что, полемизируя с Ренаном, Ницше прямо называет Иисуса Христа «идиотом»: «Говоря со строгостью физиолога, здесь было бы уместно скорее совсем другое слово: идиот» [284]. Однако и это заявление не рассеивает всех сомнений. Ясперс, к примеру, считает, что Ницше употребляет слово «идиот» в таком же смысле, как и Достоевский по отношению к князю Мышкину [285]. Это ошибка. В том же «Антихристе» Ницше употребляет это слово в применении к Канту совсем в другом смысле [286]. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что у Ницше речь идет о *романах* Достоевского, а в том случае, когда он говорит об одном романе, нет достаточных оснований утверждать, что имеется в виду именно «Идиот». Нельзя ли в таком случае предположить, что воздействие могло исходить не из одного романа, а из всех известных Ницше романов Достоевского и что психологические черты, которыми Ницше наделяет Иисуса Христа, он мог увидеть в определенном типе героев Достоевского, а не исключительно в образе Мышкина?

К тому же эти ассоциации могли возникнуть у Ницше под влиянием Брандеса, с мнением которого он считался. В своих письмах к Ницше Брандес развивал взгляд на творчество Достоевского как на явление христианское, антиклассическое. Антиклассическое начало Брандес неоднократно подчеркивал в самом облике Достоевского, который вырос в его глазах в символ дисгармонической современности. «Взгляните на лицо Достоевского,— писал он Ницше 23 ноября 1888 г.,— наполовину лицо русского крестьянина, наполовину — физиономия преступника, плоский нос, пронзительный взгляд маленьких глаз под нервно подрагивающими веками, этот высокий, рельефно очерченный лоб, выразительный рот, который говорит о безмерных муках, неизбывной скорби, о болезненных страстях, о беспредельном сострадании и ярой зависти. Гений-эпилептик, одна уже внешность которого говорит о приливах кротости, заполнявших его душу, о приступах граничащей с безумием проницательности, озарявшей его голову; наконец, о честолюбии, о величии стремлений и о недоброжелательстве, порождающей мелочность души. Его герои не только бедные и отверженные, но и наивные, тонко чувствующие души; благородные проститутки, люди, часто подверженные галлюцинациям, одаренные эпилептики, одержимые искатели мученичества — те самые типы, которых нам следует предполагать в апостолах и учениках раннехристианской поры» [287].

Кроме того, при рассмотрении данного вопроса следует иметь в виду известную генетическую общность проблем у Достоевского и Ницше, при всей противоположности их систем ценностей. Вряд ли можно сомневаться, что именно на этой основе возникла фантастическая версия Б. Трамера, допускающая воздействие на Ницше тех произведений Достоевского, которых он не знал. Подобного рода просчет допускает и И. Е. Верцман. «Несомненно, образом Родиона Раскольникова,— утверждает он,— навеяна речь Заратустры „О Бледном преступнике"» [288]. Перекличка здесь действительно явная, но о каком воздействии может идти речь, если книга Ницше была уже опубликована в 1885 г., за два года до его знакомства с Достоевским.

Другой пример. Л. Шестов, говоря о Ницше—читателе «Записок из подполья», замечает: «Нет ничего невозможного в том, что его столь вызывающая фраза — pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam (пусть погибнет мир, но будет филосо-





«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ»
Обложка и первая страница немецкого издания (Мюнхен, 1923)
Гравюра Р. Россинга

фия, будет философ, я сам) есть перевод слов подпольного человека: „свету провалиться или мне чай пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы мне чай всегда был“» [289]. Предположение Шестова, основанное на твердых фактах, тем не менее оказывается на поверку в высшей степени сомнительным. У Ницше эта мысль появляется в 1873 г. Пока она еще в зародыше: «Символ запретной истины: fiat veritas, pereat mundus *. Символ запретной лжи: fiat mendacium, pereat mundus»** [290]. Через пять лет, в «Человеческом, слишком человеческом» (1878 — за десять лет до знакомства с Достоевским) эта мысль предстает уже в развернутом виде: pereat mundus dum ego salvus sim *** [291]. И если даже допустить, что Ницше перефразировал слова подпольного человека, то и в этом случае имеет место скорее не воздействие, а встреча родственных идей.

Вот почему влияние романа Достоевского «Идиот» на Ницше, при всей правомерности поставленного вопроса, не представляется бесспорным.

Философия Ницше возникла в обстановке глубокого кризиса буржуазного общества, его культуры и морали. Интерес Ницше к Достоевскому тем и вызван, что в произведениях последнего он нашел отражение кризисной эпохи, кризисного сознания. Не случайно как раз по поводу «Записок из подполья» он говорит об «инстинкте родства». Однако сходство Достоевского и Ницше ограничивается лишь тем, что оба они восприняли свою современность как царство торжествующего зла. Ницше в своем восприятии Достоевского игнорирует гуманистическую подоснову антиномий доброго и злого, которые терзают его героев. Потому, читая книги Достоевского, он мог упиваться иррационалистическим разгулом подпольного человека или кровожадностью какого-

* Пусть мир погибнет, лишь бы осталась истина (*лат.*).
** Пусть мир погибнет, лишь бы осталась ложь (*лат.*).
*** Пусть мир погибнет, лишь бы я был цел (*лат.*).

нибудь Газина, мог злорадствовать, видя бессилие «униженных и оскорбленных», или умиляться «со слезами на глазах» циническому эгоцентризму князя Валковского.

В конечном итоге Ницше сознавал — и это как раз не принимают во внимание интерпретаторы, сближающие его с Достоевским,— что мировоззрение Достоевского не только «родственно», но и чуждо его собственному. Слова философа-имморалиста Ницше о том, что великий русский писатель противоречит его «самым потаенным инстинктам», являются вольным или невольным, но красноречивым признанием Достоевского-гуманиста.

IV. НЕОРОМАНТИЗМ. ЛЕГЕНДА О «РУССКОЙ ДУШЕ»

В 90-е годы немецкая литература вступила в новую полосу своего развития: натурализм распадается на ряд самостоятельных течений, питая, в частности, модернистские тенденции в немецком искусстве. Но преемственность все же сохраняется. Умонастроения нового литературного поколения также порождены неприятием современной буржуазной действительности. Однако, утратив социальный оптимизм своих предшественников, немецкие модернисты отходят от современности, противопоставляя ей свой фантастический идеальный мир. Отсюда возникает дуализм мечты и действительности и одновременно стремление преодолеть его в некой гармонии. На почве этих исканий в Германии возрождается романтическое мироощущение. Актуальным становится Ницше, которого объявляют «философом неоромантики» [292]. Первый номер неоромантического журнала «Pan» (1895) [293] открывается притчей из «Заратустры» Ницше и «Гимном к ночи» Новалиса. Как в романтизме, так и в Ницше неоромантиков привлекает пафос иррационализма. Через иррациональное стремятся они примирить противоречия современного человека, обрести цельность, вернуться к истокам бытия. Поиски гармонии приводят их к романтизму, к романтически-мистическому «всемирному чувству». Но если у ранних немецких романтиков это — пантеистическое чувство, направленное вовне, то у неоромантиков центр тяжести переносится вовнутрь — в духовный мир человеческой личности. Воинствующий индивидуализм — характерная черта немецкого неоромантизма. Человек делает себя богом для того, чтобы обрести свободу. Следует отметить, что религиозность неоромантиков не имеет ничего общего с христианством, которое они решительно отвергали. Их религиозность — это мистическое чувство любви к своему первозданному «я», это обожествление в самом себе природы, которая воплощается у неоромантиков в иррациональной душе. Душа вырастает до космических масштабов и объемлет все противоречия: противоречия природы и духа, инстинкта и разума, долга и воли. Тем самым эти противоречия устраняются, сливаясь в новую гармонию. Душа, по выражению Рикарды Хух,— признанного теоретика неоромантизма — «бог-отец» (т. е. природа) и «бог-сын» (т. е. дух) [294].

Неоромантический миф о «душе» зарождается в обстановке общего кризиса империалистической эпохи, значительно обострившего кризис духовный. Разлад человека с миром принимал все более уродливые формы; люди утратили естественность. В них нет больше ни веры, ни любви к ближнему. Христианское учение изжило себя, оно не находит более отклика в сердцах. Люди живут без надежды на будущее, они целиком поглощены сегодняшним днем. Человек лишен цельности и единства, его внутренние возможности разъединены. Все прочие свойства человеческой натуры подчинил себе рассудок, имеющий лишь прагматическое применение. Разобщенные люди в утратившем духовность мире — такова в представлении неоромантиков современность. И именно в мифе о душе они воплощают свои мечты о будущем гармоническом человечестве, тоску по естественной органической жизни. Для своих идеалов неоромантики ищут опоры в прошлом — в средневековье, в древних цивилизациях Востока и в настоящем — примитивном негритянском искусстве. Эти поиски приводят их к «открытию» России, где неоромантический идеал «души» обретает свою реальность,— в «русской душе».

Специфический интерес к России возникает у немецких неоромантиков в эпоху, когда возраставшее там общественное брожение приковывало к ней взгляды всей Европы. Духовная атмосфера Германии 900-х годов была также насыщена ожиданием

грандиозных перемен. И, разумеется, немецкие неоромантики не могли не обратить внимания на Россию. Правда, они воспринимали не столько реальную капиталистическую Россию, сколько идеализированную Русь, страну, у которой нет «прошлого», но «только будущее» [295]. В русском народе они открывают «юношески сильное племя, медленно пробуждающееся от тысячелетнего сна», сохранившее еще «цельную нравственность» [296]. Романтические представления о России как колыбели детства человеческого питала книга Вогюэ «Русский роман». На основе этих представлений возникает миф о пропасти, разделяющей «варварскую» Россию и цивилизованную Европу. «Загадочной проблемой для Западной Европы становится славянская душа...» [297]

Разгадку тайны «русской души» немецкие неоромантики ищут в русской литературе и прежде всего в творчестве Достоевского и Толстого. «Никто кроме Достоевского,— гласит мнение немецкой критики,— не сумел изобразить русскую душу, это непостижимое чудо народа 〈...〉 ее становление и бытие с такой исчерпывающей полнотой». И далее: «Поэтому он является величайшим писателем России, и для каждого иностранца, стремящегося ближе узнать ее народ, все пути ведут к нему и к его творчеству» [298]. В Достоевском, утверждает М. Бем, «пробуждается историко-философское самосознание славянского Востока» [299]. Причем это самосознание интерпретируется преимущественно в религиозном плане. Достоевский провозглашается создателем новой религии, русским Мессией. Сопоставление Достоевского с Христом становится в неоромантической литературе общим местом.

Достоевский — апостол «русской души» приобретает в немецкой критике 90—900-х годов и позже репутацию писателя-романтика. «Русская душа» истолковывается в духе романтизма, потому что «существенный и последний признак» героев Достоевского усматривается в их «разорванности» [300]. А «ситуация раздвоенности, неустойчивости, когда душа колеблется между беззащитной пассивностью и бурной деятельностью,— это и есть романтическая ситуация» [301]. Вот почему Ю. Баб, поднимая вопрос о «романтическом духе» в Германии, приходит к выводу о том, что «его высшим откровением было тогда славянофильство Достоевского» [302].

У истоков легенды о «русской душе» и Достоевском как ее пророке стоит Нина Гофман, автор первой на немецком языке биографии писателя [303]. Перед тем как приняться за книгу о Достоевском, она побывала в России, где познакомилась с Анной Григорьевной Достоевской и с рядом лиц из окружения писателя. В знак признательности Гофман посвятила свой труд «русским друзьям». Гофман тщательно изучала материалы биографии Достоевского, появившиеся к тому времени на русском языке (О. Ф. Миллер, Н. Н. Страхов). Известное влияние оказали работы В. В. Розанова. Кроме того, в России Гофман получила доступ к секретным материалам по делу петрашевцев, которые были затем использованы ею в книге о Достоевском.

Еще до появления ее книги Гофман выступила в немецкой печати как автор ряда работ, связанных с Достоевским. В 1897 г. она перевела для журнала «Wiener Rundschau» рассказ «Бобок». В следующем году ее публикация «Из записных книжек Достоевского» появилась в приложении к газете «Allgemeine Zeitung», а в газете «Neue Freie Presse» Гофман напечатала показания Достоевского, обнаруженные ею среди материалов по делу Петрашевского. Любопытно, что в России те же самые документы были опубликованы в «Биржевых ведомостях» в переводе с немецкого [304].

Богатство использованного материала, живость изложения, меткие наблюдения — таковы отличительные черты книги Гофман. Однако самое существенное в ней — новая точка зрения на Россию и русский народ, исходя из которой Гофман подвергала анализу личность Достоевского и его творчество. Эта точка зрения подробно обосновывается в первой главе биографии, озаглавленной «Среда».

Под «средой» Н. Гофман подразумевает Россию, своеобразие которой, по ее глубочайшему убеждению, дает ключ к пониманию Достоевского. До настоящего времени,— утверждает Гофман,— Запад остерегался сближения с Россией и русскими людьми «из страха перед необычным характером этого народа». Мысль о глубокой противоположности, пропасти, разделяющей Россию и западный мир, является основополагающей в книге Гофман: «Когда мы читаем произведения французских, английских, итальянских, одним словом, европейских писателей, то мы настолько хорошо

знаем их среду, или настолько свободно можем ее себе вообразить, что для нас не представляет затруднений дать ответ на вопрос, как каждый из них описывает людей. Но едва лишь мы пытаемся высказать суждение о произведениях русских писателей, как почва тут же уходит у нас из-под ног, мы видим незнакомую и трудноприемлемую для нас среду, а в ней — русского человека, которого мы должны прежде всего перевести на язык наших представлений о человеке, что далеко не так просто. И это чрезвычайно существенно. Мы имеем здесь дело с полуварварским началом, в котором, однако, скрыты молодые, еще не проявившие себя силы, с народом, который нам еще предстоит узнать и, узнав, пересмотреть кое-что наново».

Итак, Россия населена якобы народом, обладающим особой «душой». Достоевский — «апостол веры в миссию народной души». Что же представляет из себя, по мнению Гофман, русский народ? В чем сущность пресловутой «народной души»?

В духе современных ей неоромантических идей (в книге чувствуется также знакомство ее автора с учением Ницше) Гофман остро ощущает внутреннюю дисгармонию современного западноевропейского человека, отравленного духом прагматизма. Она сетует на то, что большая часть образованной западноевропейской публики воспринимает Россию и русскую литературу чисто рационально, «соответственно нашей сегодняшней идейной ориентации». Для Запада интересны лишь «проявления социалистических, революционных, атеистических воззрений русской интеллигенции, жалующейся на суровый деспотический режим». Ну а как быть с писателем типа Достоевского, спрашивает Гофман, который «одновременно полон жизненных сил (без толстовского аскетизма) и мистически религиозен, который насквозь демократичен и насквозь консервативен», которого, другими словами, невозможно свести к какой-нибудь одной определенной «идее»?

Противоречия Достоевского, как и противоречия человеческой природы вообще, Гофман считает «мнимыми». На самом деле, это не противоречия, а лишь различные стороны богатой и широкой натуры. Противоречиями они могут казаться лишь с узкой и односторонней «западной» точки зрения. Однако в вопросе о «русской душе» критерий разума неуместен. Русский человек целен, и потому различные, даже противоположно направленные устремления существуют внутри него не как противоречия, а в гармоническом единстве. Так, по мнению Гофман, считал сам Достоевский, воспринимавший русского человека как «всечеловека» [305].

Русские люди не столько рассуждают, сколько «живут», и жизнь для них, как полагает Гофман,— «трудное искусство», к которому они относятся со всей серьезностью. Особенно отчетливо широта русской натуры проявляется в русских женщинах. Она присоединяется к мнению Достоевского о том, что «будущее человеческого рода лежит в руке русской женщины». Русский человек для Гофман — надежда Европы и ее будущее. Гофман приводит слова Ницше о том, что Россия — «самая могучая и самая удивительная сила ⟨...⟩, с которой придется считаться мыслителю будущего». Вслед за Достоевским она говорит и об «очищении Европы через русский народ».

Все творчество Достоевского Гофман делит на два периода. Первый — ранний (до ссылки) — она оценивает как «период нащупывания и подражаний». Лишь в Сибири, соприкоснувшись вплотную с русским народом, писатель, по мнению Гофман, духовно созрел для решения великих задач. Из ссылки, полагает Гофман, Достоевский вернулся с «богатейшим запасом веры и любви». Впрочем, написанный уже по возвращении писателя в Петербург роман «Униженные и оскорбленные» исследовательница расценивает как «одно из слабейших произведений Достоевского». Только мельком задерживается она и на «Записках из Мертвого дома», которые интересуют ее лишь как свидетельство переворота, произошедшего в Достоевском,— переворота, «который коренится в непосредственном контакте с народом, в братском единении с ним, уподоблении себя ему, даже если речь идет о самой низшей его ступени». Первым «значительнейшим» произведением Достоевского, согласно Гофман, является «Преступление и наказание» — «специфически русская книга».

Первоначально «русская душа» проявляется в Раскольникове как «люциферово начало». Раскольников, по характеристике Гофман,— это «юноша с люциферовой душой». Сущность «люциферова начала» — в «самообожествлении». «Люциферово само-

мнение»— это «зерно» Раскольникова, средоточие его «бессознательной натуры». «Преступление и наказание», утверждает Гофман,— продолжает и развивает высказанную Достоевским еще в «Записках из Мертвого дома» идею о том, что «в каждом человеке наших дней в зародыше заключен палач». Тем самым Гофман отвергает «головное» происхождение теории Раскольникова. «Люциферово самомнение» подавляется Раскольниковым «благодаря набожной любви Сони, которая открывает грешнику христианскую веру».

Между «крестом и топором» — между религиозностью и демонизмом — в этих рамках и заключена, по Гофман, «широкая русская натура». Не по логике, не «поразумному» якобы действует русский человек, а лишь иррационально, следуя глубинным и, на первый взгляд, разноречивым голосам своей души. «Книга, идея, логика, закон — все это еще не делает человека: кровь, страсти, ни с чем несоизмеримое, не подчиняющееся никаким правилам богатство жизни с ее удивительнейшими, гармоническими, но чаще негармоническими сочетаниями и возможностями — таков для Достоевского человек». «Русская душа»,— неустанно повторяет Гофман,— реализуется только в формах, которые западный человек непременно сочтет противоречивыми. Она, в частности, замечает: «„Русская душа“ распыляет свою жажду бога в земных страстях и нигилистических рассуждениях». Причем то, что характерно для Раскольникова, характерно и для большинства героев Достоевского: «... Иван Карамазов и Раскольников, князь Валковский и Свидригайлов, Идиот и Алеша Карамазов, старец Зосима и странник Макар из „Подростка“, князь Сокольский оттуда же и старый князь в „Дядюшкином сне“— все они, собственно говоря, представляют собой лишь вариации одной и той же формы бытия, с художественным совершенством индивидуализированные вплоть до мельчайших деталей».

«Всечеловечность» русского проявляется, как полагает Гофман, в его неустанных поисках бога. Исходя из этого, она заявляет, что основной жизненной задачей Достоевского было ««возвестить истинного Христа». Все поздние его романы она рассматривает именно как осуществление этой миссии. Если роман «Преступление и наказание» был книгой «русских принципов и проблем», если его герой перерождался через «христианскую веру и любовь», то роман «Идиот» — это «новая форма христианских воззрений» Достоевского, а также «воплощение высокой христианской мудрости, без какого бы то ни было принципа, без навязчивости...» В чем же новизна романа «Идиот»? В образе князя Мышкина, отвечает Гофман. Герой романа — «не образованный ум», не «идиот» в обычном смысле этого слова. Это «естественно развившаяся натура», «чистосердечный простак». Мышкин отнюдь не литературный герой. Это — «дитя народа», и поныне еще, как пишет Гофман, бытующее в русском фольклоре под именем Иванушки-дурачка. У Мышкина особая мудрость, особая истина. «Это истина, взывающая к человеческому естеству, чистота, идущая от души к душе, а не мудрость, достигнутая рефлектирующим путем и ставшая догмой». В Мышкине, таким образом, Гофман находит откровение новой религии Достоевского — религии души, призванной обновить человечество. Гофман называет эту религию «этикой непорочной истины».

Итогом развития религиозных идей Достоевского Гофман считает «Братьев Карамазовых». «Этика непорочной истины» освящена здесь верой Достоевского в «чистую будущность России», которая воплощается в Алеше Карамазове — «русском Христе». Гофман понимает этот роман как проповедь мистической христианской любви, которая якобы устранит разобщенность людей и зло в мире. В этой любви — главная идея книги, доказательство «бытия божьего», которое, «наконец, без диалектики одолеет хитроумные построения Ивана». Так, на место просветительской религии разума немецкий неоромантизм выдвигает религию души, причем в ее специфическом русском виде. Минуя сознание и вопреки ему, эта таинственная душа выступает из темных человеческих глубин и детерминирует его действия — именно такими словами Гофман объясняет поступки Дмитрия Карамазова.

В Германии книга Гофман была встречена с живейшим интересом и приобрела широкую известность. Нашлись, правда, критики, которые увидели в «новом Евангелии» Достоевского, проповедуемом Гофман, «угрозу всей европейской культуре» [306]. Но это была критика «справа». На деле же, первая немецкая биография о русском пи-

сателе была свидетельством того глубокого кризиса, в котором оказались на грани веков в Германии теории о Достоевском.

В 1903 г. вышла новая книга о русском писателе — «Достоевский. Литературный портрет» Йозефа Мюллера, издателя журнала «Renaissance» [307]. Кампман считает ее «в некотором отношении ценным дополнением к исследованию Гофман» [308]. Но Мюллер не столько развивает, сколько варьирует идеи своей предшественницы.

Проблемам «русской души» посвятил ряд работ Карл Нетцель (1880—1939), получивший известность как автор монографии о Л. Толстом [309]. В 1920 г. вышла его книга о Достоевском [310]. Нетцель в истолковании «русской души» исходит из того, что Россия,— и это представляется ему бесспорным,— «страна, благословленная богом», Русский народ, по его мнению,—это народ, который взял на себя миссию искупления «гнетом» для того, чтобы избежать большего зла — греха. И здесь, как кажется Нетцелю, «лежит ключ к русской душе». Существенной чертой русской религиозности Нетцель, ссылаясь на предсмертную исповедь Зосимы, считает «смирение». Но вместе с тем он утверждает, что, невзирая на тяжкий гнет, русский народ сохранил в себе свободу, проявившуюся в «нравственной силе редкостного качества» [311].

Безотрадная действительность и бремя неволи порождают, в конце концов, по выражению Нетцеля, «безграничный субъективизм». Другими словами, своеобразие «русской души» он ставит в зависимость от социальных условий. Идеализм Нетцеля эклектически увязывался у него с критикой социальных отношений в России: не случайно отдельные работы Нетцеля публиковались в немецкой социал-демократической печати. Субъективизм «русской души» Нетцель выделяет как важнейшее ее свойство, проливающее свет на ее тайну, которую Нетцель стремился разрешить в своих работах «Славянская душа» (1916) и «Основы русского духа» (1917). Субъективизм, по Нетцелю, проявляется прежде всего в уходе от действительности, в стремлении преодолеть ее в «мире надежд и желаний». А поскольку надежда у всех одна — надежда на социальное освобождение, то русский человек считает свое субъективное мнение всеобщим и принимает его за объективную истину. Отсюда Нетцель приходит к выводу о специфической природе русского мышления в отличие от европейского — рассудочного [312]. Своеобразие «русской мысли» раскрывается Нетцелю в творчестве Достоевского. Он обобщает: «Европейская наука плетется позади русского интуитивного познания! В порыве своего непосредственного чувства русский человек переживает откровение бога». «Россию,— таков итог, к которому приходит Нетцель,— можно постичь только чувством» [313].

Другой аспект «русской» проблемы рассматривает Эмиль Лука (1877—1941), австрийский писатель-эссеист, автор ряда статей о Достоевском и книги «Достоевский» (1924) [314]. В статье «Проблема Раскольникова» (1914) Лука поднимает вопрос о русской этике, основанной на «чувстве и религии» и противопоставляет ей «утилитарную позитивистскую мораль» Запада. С точки зрения этой морали, «преступление и зло» рассматриваются не «этически» — как проявление свободы воли, а детерминированно — как «болезнь и ненормальность», которые надлежит устранить. Короче говоря, с преступника снимается «личная ответственность», он не искупает вину, а лишь изолируется от общества. В этом, по мнению Луки,— нивелирующая сущность буржуазной морали. «Достоевский же, напротив,— подчеркивает Лука,— решительный сторонник индивидуальной морали, согласно которой добро (любовь) уже само по себе является ценностью, и которое не карает преступника в утилитарных целях 〈...〉 а ведет его к очищению». Поэтому «русский преступник (в противоположность европейскому) никогда не предается злу целиком...» В интерпретации «Преступления и наказания» Лука переносит центр тяжести на проблему искупления вины как на главную проблему индивидуальной морали Достоевского. Сам факт преступления критика не интересует. По его убеждению, не придавал ему значения и Достоевский: «Едва ли кто до Достоевского в последнем тысячелетии — исключая мастера Экхарта — понимал, как мало значит поступок сам по себе». Первостепенную важность Лука придает мотивам преступления, которые ставит в прямую связь с философией Ницше. Но если Ницше не пошел дальше идеи о праве исключительной личности на исключительную мораль, то Достоевский «заглянул несравненно глубже», и «с покоряющей силой своего гения»

показал, что «сам по себе человек — это н ивысшая и единственная ценность, что различия между людьми меркнут перед этим грандиозным и уникальным явлением — человек». Достоевский в своем романе провозглашает мистическую любовь, непостижимую для разума. В этой любви находит умиротворение Раскольников — «противоречивейший из людей» и тем самым достигает того, что было недоступным Фаусту. И как бы предвосхищая экзистенциалистскую трактовку Достоевского, Лука заключает: «Ни одно произведение мировой литературы не ставит столь же великую проблему; даже в „Фаусте" речь идет только о стремлениях и исканиях человека, но не о человеческом бытии вообще. В Раскольникове же поставлена и разрешена эта последняя проблема — вопрос о смысле и ценности человека»[315].

В 90-е годы немалой популярностью в Германии пользовались статьи о русской литературе, написанные Лу Андреас-Саломе (1861—1937). Русская по происхождению, Лу Саломе была в 1882—1883 гг. близка к Ницше, некоторые идеи которого она восприняла довольно глубоко. Позже Андреас-Саломе вошла в круг немецких натуралистов и, будучи лично знакома с вождями нового направления, сотрудничала в журналах «Freie Bühne» и «Neue deutsche Rundschau». Писательница привлекла к себе внимание борьбой за духовное освобождение женщины, а также постановкой ряда острых проблем: философских, религиозных и этических.

Свой взгляд на русскую литературу и отдельных ее представителей Андреас-Саломе подробно обосновывает в статьях «Лев Толстой, наш современник» (1898), «Русские повести» (1899) и др. Взгляды Андреас-Саломе на русскую литературу были отчасти обусловлены суждениями А. Л. Волынского, идейного руководителя петербургского журнала «Северный вестник», в котором Андреас-Саломе сотрудничала вплоть до его закрытия (1898).

Отношение Лу Саломе к России и русской литературе было продиктовано ее религиозно-философскими взглядами. Их основной пафос заключен в антихристианской направленности. Полагая, вслед за Ницше, что на рациональном буржуазном Западе «бог умер», Андреас-Саломе пытается найти его среди других, еще не цивилизованных народов.

Именно такой первобытный народ, предполагает Андреас-Саломе, населяет Россию. По ее мнению, христианство вообще осталось чуждым русскому народу. Отличительными чертами русского народа Андреас-Саломе считает смирение и пассивность. Она с восхищением говорит о самобытном русском характере, в основе которого «совершенно бесспорно лежат глубоко доверчивая наивность и человеколюбивая пассивность» [316]. Миф о «русской душе» получает в этих рассуждениях Андреас-Саломе свое законченное воплощение.

Русские писатели, полагает Андреас-Саломе, никогда, в отличие от западных, не увлекались общественными проблемами. Как либеральный, так и реакционный «дух общественных усилий» был якобы неизменно чужд их творчеству. Отличительной же их чертой была связь с «русской душой», которую, по убеждению Андреас-Саломе, и отражают их художественные произведения. Полемизируя с В. Генкелем, который, издавая трехтомный сборник «Исторические и сатирические повести новейшей русской литературы» [317], подчеркивал в предисловии, что литература в России всегда была оружием в борьбе за просвещение и образование народа, Андреас-Саломе пишет: «Писатель ⟨...⟩ стремился найти связь с народной душой и, в каком-то смысле, становился скорее учеником, нежели учителем народным. Так было всегда, начиная с Пушкина» [318]. Наиболее характерным выразителем «народной души» среди русских писателей Андреас-Саломе считает Достоевского. По ее мнению, чрезмерное увлечение идеями вредит художественному творчеству, глубоко иррациональному по своей сути. Достоевский, с ее точки зрения, был лишен этого недостатка [319].

В 1897 г. в Мюнхене на квартире романиста Якоба Вассермана Андреас-Саломе знакомится с начинающим лириком Райнером Мария Рильке. Этому знакомству суждено было сыграть исключительную роль в биографии поэта. Уже до этого Вассерман обратил внимание Рильке на русских писателей. Широко известны слова Рильке, приведенные Г. Хеллером в его «Книгах о действительности» [320]. Вспоминая авторов, рекомендованных ему в свое время Вассерманом, Рильке говорит: «Мне кажется, он ука-

зал мне тогда на Тургенева и Достоевского. Последний оказался для меня впоследствии очень важен...» [321] Под влиянием Андреас-Саломе интерес Рильке к России, вполне естественный для той эпохи, перерастает в сильнейшее увлечение. Андреас-Саломе заражает Рильке как своим энтузиазмом в отношении России, так и своими суждениями о ней. Готовясь к предстоящей поездке в Россию, оба занимаются русским языком, читают русских авторов. Несомненно, в числе этих авторов был и Достоевский, ибо в своих воспоминаниях Андреас-Саломе указывает, что еще до их первой поездки в Россию именно «Достоевский открыл Райнеру глубины русских душ» [322].

Поездка в Россию, предпринятая Рильке в мае — июне 1899 г. совместно с Андреас-Саломе и ее мужем, известным ориенталистом К. Ф. Андреасом, потрясла поэта. Склонный к преувеличениям и фантазиям, Рильке увидел в русской действительности на грани веков подтверждение своим глубоко воспринятым еще до путешествия идеям о России как о богоизбранной стране — стране будущего, о русских людях как о смиренных и терпеливых верующих, неустанно созидающих своего грядущего бога. Последний момент, доминирующий в высказываниях Рильке, имеет особое значение. В разветвленной и сложной системе взглядов Андреас-Саломе Рильке особенно выделял ее мнение о том, что еще дремлющий «нецивилизованный» русский народ наделен огромной духовной мощью и творческой активностью, которые когда-нибудь в будущем проявятся во всей полноте. Точка зрения Андреас-Саломе была близка Рильке, ибо отвечала его собственным упорным поискам нового человека, антибуржуазного, цельного и естественного. В представлении Рильке такой человек должен был быть и религиозным, и эстетическим, монахом-аскетом и одновременно художником-творцом. Такого человека Рильке, как ему казалось, нашел в России [323]. Рильке называл Россию «страной будущего», ее народ — «народом-художником», а его пророком, углубляя и интерпретируя миф о «русской душе», считал Достоевского. В письме к А. Н. Бенуа 28 июля 1901 г., обосновывая свое неприятие любой философии (рационализированной «системы», как представляется поэту), Рильке пишет: «Всегда есть некая преждевременность там, где философия становится религией, т. е. начинает предъявлять к другим догматические требования, в то время как на деле она служит лишь грандиозным образцом того, как жил ее создатель и как он боролся с жизнью и смертью. Жизни Иисуса Христа и Достоевского — вот незабываемые явления и великие примеры. Однако именно слово последнего, человеческое, не превращенное в догму слово, будет для России более существенным, чем было для Европы слово Иисуса Назарейского, которое оказалось втиснутым в огромные системы» [324].

После возвращения в Германию Рильке начинает знакомиться с русской культурой более основательно и углубленно. Вся его жизнь отдана теперь изучению России: упорным занятиям языком, чтению русских классиков. В одном из писем Рильке в Россию от июля 1899 г. сказано: «В последнее время я много читал Толстого, маленький этюд которого „Люцерн“ мне особенно понравился, и Достоевского, „Братьев Карамазовых“, которого я еще читаю и который полностью очаровал меня своими „Белыми ночами“ (как они все-таки хороши!)» [325]. Весьма красноречива следующая запись, которую делает Рильке в своем дневнике 2 декабря 1899 г.: «... я прочитал с большим удовлетворением „Русский роман“ Мельхиора де Вогюэ. В своих конспектах я отметил все наиболее ценное, что есть в этой тонкой книге 〈...〉 Сразу же после этого,— продолжает Рильке,— я стал читать первый роман Достоевского „Бедные люди“. Это та самая книга, о которой с восторженным признанием говорили Некрасов и Белинский. И я не знаю ни одной книги, которую можно было бы поставить рядом с ней. Сегодня я не могу писать об этом, но знакомство с книгой для меня не пройдет бесследно» [326].

Роман Достоевского, действительно, оставил в его душе глубокий след. Воспринимая Достоевского (как и всю Россию) весьма субъективно, Рильке увидел в «Бедных людях» прежде всего апофеоз смиренного униженного бытия. Любовь и сострадание Достоевского к своим героям Рильке принимал за поэтизацию бедности, которая была для него символом опрощенного «естественного» существования, якобы отличающего русских людей. В более общем смысле «бедность» для Рильке — непременное условие

напряженной духовной жизни. Заявляя в «Часослове» о том, что «бедность — это великое сияние изнутри» [327], Рильке по существу ставит знак равенства между нищетой, монашеским аскетизмом и творческим актом. Не случайно третью книгу «Часослова» Рильке заканчивает обращением к легендарному образу Франциска Ассизского. Бедность выступает в творчестве Рильке как антипод богатства, символизирующего упорядоченную рационализированную, в конечном итоге, буржуазную жизнь; ее воплощением для Рильке были «большие города», из которых так стремится его герой Мальте (роман «Заметки Мальте Лауридса Бригге», 1909). В духе Мальте или Франциска Ассизского переосмыслял Рильке и русских людей, в том числе и героев Достоевского — Вареньку и Макара Девушкина.

Увлечение Рильке «Бедными людьми» было настолько сильным, что спустя некоторое время, видимо, в первой половине 1901 г. (уже после своего второго путешествия в Россию) он берется за перевод этой вещи. В той же книге Хеллер приводит следующие слова Рильке: «... Я читал его „Бедных людей“ — после того как его страна и его язык в огромной степени подготовили меня для этого,— я по нескольку раз перечитывал эту вне всяких сомнений гениальную книгу и, наконец, перевел оттуда отрывок» [328]. В письме к А. Н. Бенуа 28 июля 1901 г. Рильке рассказывает: «Мне кажется, я уже говорил вам, насколько высоко я оцениваю Достоевского. „Insel“ в скором времени напечатает замечательный отрывок из романа („Бедные люди“) (история студента [Покровский]) в моем переводе, который я выполнял с большим старанием» [329]. Однако в журнале «Insel» перевод этот по неизвестным причинам опубликован не был. В настоящее время рукопись считается утерянной. По-видимому, она была продана с аукциона в 1914 г. вместе с другими бумагами Рильке, находившимися во время войны на его парижской квартире.

Имя Достоевского постоянно встречается в переписке Рильке с Бенуа. В уже цитировавшемся письме 28 июля 1901 г. Рильке просит художника прислать ему «эссе господина Мережковского о Толстом и Достоевском». Просьба Рильке была вызвана рекомендацией Бенуа, увлекавшегося в то время русскими мыслителями религиозно-философского направления. В письме к Бенуа 6 декабря 1901 г. Рильке сообщает (письмо написано по-русски): «До сих пор я только первый том сочинения г. Мережковского получил, и я на днях буду углубляться в эту важную книгу». В конце Рильке добавляет: «О сочинении Мережковского я в любом случае буду писать для одного из наших журналов». Однако замысел Рильке не был осуществлен. Поэт не последовал и совету Бенуа, рекомендовавшего рассказы Достоевского «Бобок» и «Сон смешного человека» для перевода на немецкий язык. Рекомендация эта содержится в письме Бенуа к Рильке 4/17 августа 1902 г.[330] А 27 августа 1902 г. Рильке уезжает из Германии в Париж, и на этом обрывается «русский» период его жизни.

Но и в годы своих скитаний по Европе, не будучи внешне ничем связанным с Россией, Рильке любил и перечитывал Достоевского. Принято считать, что влияние Достоевского проявилось в его романе «Заметки Мальте Лауридса Бригге». «История Николая Кузьмича, описанная в романе, немыслима без Достоевского»,— категорически заявляет Брутцер [331]. Е. И. Нечепорук усматривает в духовном облике Мальте «воздействие образов Раскольникова и Подростка» [332]. Решительно отвергая последнее предположение (никаких свидетельств о знакомстве Рильке с романом «Подросток» не сохранилось), заметим, что и весьма тривиальное сопоставление Мальте с Раскольниковым, основанное лишь на одном случайном замечании Рильке в его письме к жене 19 октября 1907 г., также не имеет под собой достаточных оснований. Мальте и Раскольников едины лишь в своем активном неприятии окружающего их мира. Устремления же, движущие героем Достоевского, имеют мало общего с теми духовными испытаниями, через которые ведет своего героя Рильке.

Среди ряда свидетельств, подтверждающих, что интерес к Достоевскому Рильке сохранил и после 1902 г., наиболее убедительным является его письмо к N. N. 3 апреля 1912 г. С энтузиазмом рекомендуя своей корреспондентке отдельные произведения русского писателя, Рильке обнаруживает осведомленность о всех последних изданиях Достоевского: «... Вы, разумеется, не должны отказываться от Достоевского, если жизнь приблизила его к вам и поставила на очередь. Приняться за него я советую вам

в такой последовательности: начинайте с „Бедных людей“ ⟨...⟩ существующие переводы несовершенны, и все-таки начните именно с этой вещи, если вам удастся ее достать. Затем возьмите „Белые ночи“ (я читал эту вещь только по-русски, было это также давно, ни одного хорошего перевода мне не попадалось, однако в новом пиперовском издании переложение должно быть более приемлемым, чем во всех предыдущих). Далее, я от всей души рекомендую вам „Идиота“, великолепное произведение (перевод в издании Кассирера, по моему лучше, чем в Полном собрании сочинений) и, наконец, став опытнее в общении с Достоевским, переходите к его трехтомному сочинению „Братья Карамазовы“, к его поздней, огромной, величайшей удаче. Попутно читайте книгу Нины Гофман о Достоевском, которая со всей достоверностью расскажет вам о подробностях его жизни и во многом облегчит понимание» [333].

Пиперовское издание, которое упоминает Рильке, это — первое полное собрание сочинений Достоевского на немецком языке, выходившее в издательстве Рейнхарда Пипера (Мюнхен) с 1906 по 1919 г. Издание осуществлялось под руководством известного критика и эссеиста Артура Меллера ван ден Брука (1876—1925) при участии Д. С. Мережковского и Д. В. Философова [334]. «Переводы, порученные двум русским, владеющим в совершенстве немецким языком, Разину и Феофанову,— сообщалось в русской печати,— редактируются известными немецкими писателями» [335]. Полное собрание сочинений распадается на две части. В первую часть входят пять крупных романов: «Преступление и наказание» (Родион Раскольников, тт. I—II), «Идиот» (тт. III—IV), «Бесы» (тт. V—VI), «Подросток» (тт. VII—VIII) и «Братья Карамазовы» (тт. IX—X). Вторая часть включала остальные художественные произведения писателя, публицистику, литературно-критические статьи и письма. Немецкое собрание сочинений Достоевского открывается романом «Бесы», выход которого был, по всей вероятности, приурочен к 25-летию со дня смерти писателя.

Роман «Бесы» стал чрезвычайно актуален в Германии после первой русской революции. Консервативно настроенная интеллигенция как в России, так и в Германии пыталась обрести себе союзника в лице автора «Бесов»— романа, в котором русские революционеры 60-х годов изображены в искаженном свете. Этим и объясняется внеочередное издание этого романа — «эпоса русской революции», по определению Меллера ван ден Брука [336]. Появление «Бесов» в пиперовском издании вызвало целый поток рецензий, статей, откликов (Ф. Бюлов, Я. Ю. Давид, О. Цабель, Й. Шлаф и др.). Тема, которую, варьируя, обсуждали эти авторы, была одна и та же: Достоевский и революция («Роман Достоевского о революции», «Роман Достоевского о революционной России», «Достоевский, Россия и революция», «Достоевский, нигилизм и революция» и т. д.).

В предисловии к роману Меллер ван ден Брук определяет революционное движение в России как «нигилизм». Нигилизм, в свою очередь, он рассматривает как общественно-религиозное направление, исторические предпосылки которого он видит в сектантстве. Секта — это прообраз «нигилистической» организации, как он утверждает. Сектантство Меллер ван ден Брук — и тут он следует Мережковскому — истолковывает как религиозное оппозиционное движение, возникшее после секуляризации Петром I высшей церковной власти. Таким образом, ставя «нигилизм» в прямую зависимость от сектантства, автор предисловия к «Бесам» извращает характер и цели русской революции, интерпретируя ее как анархически-религиозное движение, направленное на низвержение царя —«Антихриста», на упразднение всякой власти вообще [337]. Пророком этой революции и становится в глазах модернистской критики Достоевский. Русская революция фактически отождествляется с анархизмом. В свете легенды о «русской душе» «нигилисты» воспринимались подчас как дети, затеявшие опасную и безответственную игру.

Других же критиков, напротив, непонимание подлинного смысла русской революции приводило к реакционному выводу о ее «беспочвенности» в самой России, что якобы и вскрыл Достоевский в «Бесах». Австрийский писатель и критик Г. Штробль уверяет, что «революционеры» представляют собой «общество безумцев и преступников», которые совершают «бессмысленные убийства» и играют в «организации» и «прокламации» [338].

«ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ»
Обложка немецкого издания
(Мюнхен, 1927)
Рисунок (перо) В. Беккера



Конечно, для многих немецких критиков не было секретом, что в «Бесах» революционно-демократическое движение «представлено в окарикатуренном виде»[339]. В этом случае реакционная позиция Достоевского оправдывалась тем, что он боролся *против «нигилизма» как продукта западной «рационалистической культуры»*, который якобы может «разложить русский национальный характер»[340]. По мнению критика Ф. Зервеса, «весь соблазн и все бесплодие национального русского европеизма» воплощено в образе Ставрогина. Не случайно, по мнению критика, внутреннюю опустошенность Ставрогина разоблачают Лебядкина и Шатов — носители «русского» начала[341].

В связи с событиями первой русской революции в Германии возрастает интерес и к политическим взглядам Достоевского, что вызвало также внеочередную публикацию 12-го тома собрания — «Политические статьи» (1907). И лишь потом наступает черед самых популярных романов Достоевского —«Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания» (1908) и «Идиота» (1909). Полное собрание сочинений Достоевского завершается публикацией «Подростка» (1915) и тома «Автобиографических материалов» (1919). Пиперовское издание представляет собой своеобразный итог первых четырех десятилетий восприятия Достоевского в Германии.

Основные посылки Меллера ван ден Брука и Мережковского — это тезис о противоположности западноевропейского и славянского мировосприятий («символического» и «чувственного», по терминологии Меллера ван ден Брука), а также мысль о религиозной миссии русского народа, призванного обновить Европу. «Только в лоне славянского народа коренится в зачатке та возможная религия, к которой мы еще когда-нибудь придем: та последняя и наивысшая религия, которая будет только чувством, и где не остается места символу»[342]. В предисловиях Мережковского варьи-

руется его идея, уже ранее обоснованная им в ряде работ и прежде всего в капитальном труде «Толстой и Достоевский»[343]; идея о грядущей гармонии духа и плоти, «истины неба и истины земли»[344].

Первое собрание сочинений Достоевского, изданное Пипером, подтвердило и упрочило известность русского писателя в Германии. При всей тенденциозности Меллера ван ден Брука и Мережковского, толковавших Достоевского преимущественно как религиозного мыслителя и мистика, пиперовское издание все же сыграло и положительную роль. Массовый немецкий читатель получил теперь в руки высококачественное во многих отношениях (перевод, внешнее оформление и т. д.) собрание сочинений Достоевского. С пиперовского издания и начинается всегерманское признание русского писателя.

В своем подходе к Достоевскому эпоха неоромантизма руководствовалась, как видно из всего вышесказанного, предвзятыми идеями о «русской душе». Однако в неоромантической рецепции Достоевского был и позитивный момент. Именно в 1900—10-е годы Достоевский начинает восприниматься в Германии как писатель мирового значения и масштаба (отсюда постоянно встречающееся в критике сравнение его с Шекспиром). В отличие от периода натурализма, когда ценились только отдельные стороны творчества Достоевского, а всеобщей популярностью пользовался лишь роман «Преступление и наказание», в начале века наблюдается отчетливая тенденция воспринимать русского писателя как явление целостное, хотя и противоречивое. И, наконец, определяющим для неоромантизма является взгляд на Достоевского как на писателя с ярко выраженным национальным своеобразием.

О том, в каком направлении развивалось в Германии далее неоромантическое восприятие русского писателя, свидетельствует книга «Достоевский», изданная Пипером в 1914 г. Она составлена из трех одноименных эссе Бара, Мережковского и Бирбаума. Особый интерес представляют собой критические этюды Бирбаума и Бара, где выдвигаются точки зрения на Достоевского, уже диаметрально противоположные друг другу[345].

Бирбаум воспринимает творчество Достоевского как «крайне чуждое явление». Сравнивая Достоевского, крупнейшего представителя специфически русской культуры, с Ницше, воплощавшем для него культурные идеалы Запада, он восклицает: «Какие контрасты! И ничего, кроме контрастов!» Ницше разбивает библейские скрижали, Достоевский возводит в своем «русском сердце прообраз Христа», но этот Христос, подчеркивает Бирбаум, не есть Христос европейца, а «карикатура на него». Ницше провозгласил «волю к власти», Достоевский «волю к смирению». Ницше, продолжает Бирбаум, воздвигнул «колоссальную статую» одинокого сверхиндивидуалиста Заратустры, Достоевский воссоздал коллективный образ «русского народа-гиганта», напоминающий «тысячеглавые, тысячерукие изображения индийских богов». Поэтому, резюмирует критик, «идеалы» Достоевского «не имеют ничего общего с нашими».

Но вместе с тем Бирбаум очень высоко оценивает русского писателя. Он считает, что по «богатству творческих сил» Достоевского можно сравнить лишь с одним Шекспиром. Достоевский — это «Шекспир романа». Сопоставляя Достоевского с «корифеем немецкой поэзии» Гете, Бирбаум признает превосходство первого в «подлинной безыскусности, самобытности», что, по его мнению, «почти совсем утратили более зрелые литературы нового времени». Фигура Достоевского представляется Бирбауму в экзотическом свете. Если Достоевский в его глазах — Шекспир, то это прежде всего «Шекспир России». А Россия для Бирбаума — это мир неведомый и чуждый и более того: «Это не наш мир, он нам в сущности враждебен и опасен...»

Спрашивается, в чем, согласно Бирбауму, состоит угроза, исходящая из России, угроза, которая таится в творчестве Достоевского? В проповеди религиозного смирения и коллективного начала. В этом Бирбаум усматривает посягательство на принцип индивидуализма. Не случайно, в качестве антипода Достоевского в статье фигурирует Ницше, на стороне которого выступает и автор. В духе неоромантизма Бирбаум еще противопоставляет Россию Западу, но ее своеобразие и самобытность уже не вызывают в нем восторженного умиления: Бирбаум стремится не только к противопоставлению, но и к максимальному «отчуждению» русского «коллективизма» от западноевропей-

ского индивидуализма. Этот сдвиг в отношении к России и Достоевскому был, несомненно, вызван предощущением великих исторических потрясений в России.

Прямо противоположную точку зрения высказывает в своем эссе Бар. Он решительно оспаривает общепринятое мнение о том, что в произведениях Достоевского «заключена тайна нации», доступная лишь тому, кто принадлежит к этой нации. «Теперь я не разделяю этого мнения,— заявляет Бар,— я обнаружил, что это наша общая тайна». Общая потому, что Достоевский, по его глубокому убеждению, «решает проблему нашего времени» и является «единственным художником, благодаря которому Европа сможет вновь обрести себя и воспрянуть духом».

«Проблема современности», как ее понимает Бар,— это кризис современного человека, в сознании которого мир окончательно раздвоился. Он формулирует антитезу рационального «бытия», которое дает лишь иллюзию существования, и иррационального «становления», символизирующего нерасчлененное богатство и многообразие жизненных форм. В сфере «бытия» человек мучительно ощущает свою оторванность от мира, человечества, но в сфере «становления» он попадает в объятия первозданного хаоса и тем самым «уничтожает себя и мир». Где же для него, в таком случае, выход? В поисках ответа на этот вопрос Бар обращается к творчеству Достоевского. Он находит, что образы у Достоевского не имеют устойчивой формы и пребывают в бесконечном становлении; то они выступают во всей своей индивидуальности, словно «отлитые из стали», то снова теряют ее, превращаясь в безликие «волны человечества». Иными словами, «каждый образ Достоевского существует в непрерывном чередовании рождения, смерти и возрождения».

На основании своих наблюдений над образами Достоевского Бар приходит к выводу, что «наше подлинное существование» обретается не по эту и не по ту сторону расколотого мира, а в «состоянии колебания между ними». Только в этом «состоянии», в «жизни на грани» реализуется, согласно Бару, «цельный человек». Таким образом, целостность, в его интерпретации, есть не что иное как абсолютизированная двойственность.

Наблюдается любопытное превращение трагической раздвоенности, «разорванности» героев Достоевского, о которой много писала неоромантическая критика, в «цельность». Противоречивость Достоевского как некое единство рассматривала еще Н. Гофман. Но если Гофман имела в виду «широкую русскую этику», то у Бара вопрос ставится шире — о сущности жизни и предназначении человека. Статья Бара о Достоевском появилась накануне первой мировой войны, когда творческая интеллигенция Германии (экспрессионисты) жила в напряженном ожидании предстоящей катастрофы. «Признаки новой религиозности», тенденции эпохи к расширению, взрыву, извержению возвещают и Бару о близости перемен. По мысли Бара, наступает такое время, когда судьбы мира становятся судьбами каждого человека и он выходит из обычного состояния своей индивидуальной замкнутости, приобщаясь ко «всечеловечеству». «На какой-то миг мы видим, из сколь разных и многих элементов мы состоим, непостижимых для того крошечного *я*, которое мы себе выбрали, мы видим это — и отворачиваемся; перед нами открывается страшный вид, у нас не хватает сил вынести его, и вот мы отворачиваемся, заползая обратно в наш узкий мирок». Сила Достоевского, по мнению Бара, заключается именно в том, что он всегда видит в человеке его «изначальное состояние», т. е. его «всечеловечность». «Точно также, как судьба, обрушивается на своих героев и Достоевский, он ломает их форму, добирается до их глубин и ввергает их обратно в хаос, из которого они выбрались: он возвращает их в изначальное состояние».

«В каждом человеке заключено человечество»— эта фраза, звучащая уже как лозунг экспрессионизма, повторяется у Бара после каждого его рассуждения. Но значение Достоевского, считает критик, не только в том, что он открыл в человеке «человечество» (это, по его мнению, сделал и Вагнер). «Тайна» Достоевского раскрывается в том, что его человек находится в состоянии подвижного равновесия между индивидуальностью и «всечеловечностью» и поэтому является одновременно и тем и другим. Это, иными словами,— личность, индивидуальность, неразрывно связанная с судьбами нации, а через нее — с судьбами мира, и только будучи таковой она приоб-

ретает масштабность и значительность. И отсюда значение Достоевского для Европы Бар видит в том, что русский писатель, открыв нового человека, тем самым «указал новый путь человечеству ⟨...⟩ единственный выход из величайшего кризиса европейского сознания». Этот путь, по его мнению, ведет к народу, который «еще не затронут интеллектуальной порчей, который полон скрытых сил и который воспринимает жизнь непосредственно, в ощущении». «Все великие духовные кризисы кончаются бегством в народ»,— утверждает Бар, ссылаясь в частности на эпоху романтизма. В этом свете обращение Достоевского к народу представляется ему вполне закономерным. Бар не приемлет идею Достоевского об исключительной миссии русского народа, но считает его «национализм», который, кстати, «не таит в себе ненависти», заблуждением. Достоевский заблуждался, «думая, что обращается только к русским,— заключает Бар,— на самом же деле он обращается ко всем нам!»

По существу в статье Бара речь идет о той же самой иррациональной «душе», но она истолковывается уже не как квинтэссенция национального духа, а как общечеловеческое явление, и в этом смысле здесь как бы завершается эволюция неоромантического мифа о России и отчетливо намечается кризис неоромантического мироощущения вообще.

V. ЭКСПРЕССИОНИЗМ И «ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ»

Новая, еще более сильная волна увлечения Достоевским захлестывает Германию в 10-е годы текущего столетия, когда русский писатель становится духовным избранником поколения экспрессионистов. Немецкий экспрессионизм (хронологическими рамками течения считаются 1910 и 1925 гг.) возникает в переломный исторический момент, в стремительную драматическую эпоху, отмеченную социальными катаклизмами мирового значения. Уже русская революция 1905 года, за ходом которой немецкая интеллигенция следила с напряженным вниманием, во многом поколебала веру в устойчивость и незыблемость буржуазного мира. С начала первой мировой войны (предощущение которой «носилось в воздухе» в Германии задолго до 1914 г.) от этой веры не остается и следа. Кульминационными точками «экспрессивной» эпохи были Великая Октябрьская социалистическая революция и последовавшая за ней революция в Германии. «Экспрессионизм,— подытоживает советский исследователь Н. С. Павлова,— был художественным выражением смятенного сознания немецкой интеллигенции в период мировой войны и революционных потрясений»[346].

Как важнейший признак экспрессионизма, А. В. Луначарский подчеркивал «его ярко выраженную антибуржуазность»[347]. Экспрессионисты начисто отрицали все буржуазные формы жизни. Разумеется, их бунт был, в первую очередь, адресован буржуазному человеку — рациональному, холодному, бездушному и жестокому. Неприятие буржуазного общества выражается в искусстве экспрессионизма как борьба «старого» и «нового», как столкновение молодого поколения со старшим. Конфликт «отцов и детей»— один из излюбленных мотивов экспрессионистической драматургии и прозы.

Эпоха, породившая движение экспрессионизма, характеризовалась крушением старого мира и рождением нового. И потому любые искания экспрессионистов пронизывает отчетливое стремление создать и утвердить новые ценности во всех сферах жизни. «Экспрессионистическое искусство — лишь поиск нового жизненного содержания, подобно тому, как и в политике и во всем нашем мышлении мы видим сегодня стремление построить наше бытие на новой основе. Пусть это хаотическое брожение кажется судорожным и насильственным, мы должны видеть в нем начало новой эпохи»,— писал один из критиков[348]. С рождением новой эпохи экспрессионисты связывали обновление мира и рождение нового человека — «всечеловека». Известный теоретик экспрессионизма Л. Шрейер, печатавшийся в журнале «Sturm» — издании с ярко выраженными формалистско-авангардистскими тенденциями,— писал в статье «Новый человек»: «Мы, люди,— носители переходной эпохи, ее орудия, ее жертвы. В нас рушится старый мир, в нас зарождается новый мир. Мир страдания, мир нашего страдания рушится. Все люди должны быть свободны. Многие знают, какова их цель, и осознанно идут

навстречу новому миру. В каждом формируется повый человек〈...〉Наша современность — час перелома. В ней формируется новый человек. Каждый в отдельности растворяет себя во всеобщем. Этим снимается страдание»[349].

В водовороте кровавых событий, свидетелями которых оказались экспрессионисты, Человек был и оставался для них единственной незыблемой реальностью. Экстатический призыв экспрессионистов, их «крик» адресуется именно Человеку, с ним связывают они свои надежды на будущее. «Человек в центре» (1917) — так озаглавлен один из программных документов «левого» экспрессионизма («активизма»), книга признанного его теоретика Л. Рубинера[350].

Общественно-историческая ситуация, в которой оказалось на грани веков западноевропейское общество, характеризуется в первую очередь бурным ростом капиталистического производства, вступившего в свою завершающую стадию, небывалым развитием техники. В то же самое время положение человека остается, как и прежде, трагическим. Взлет научно-технической мысли не облегчает его труда, то есть его реальной жизни. Цивилизация (в ее буржуазной форме!) не отвечает более потребностям жизненного развития. Это противоречие и порождает «кризис культуры», который остро ощущается многими мыслителями Европы, но раскрывается ими как антитеза между неким абстрактным «разумом» и «жизнью».

Именно через эту антитезу и пытается западноевропейская философия разрешить трагедию культуры. Углубляя и варьируя конфликт между «интеллектом» и «бытием», мыслители и художники Запада по-новому освещают теперь проблему человеческой личности. Во многом они идут от Ницше, четко разграничившего «аполлоновское» и «дионисийское» начала. От Ницше идут и А. Бергсон и Э. Гуссерль и его последователь М. Шелер (печатавшийся в экспрессионистских изданиях). Общее у всех этих философов — воинствующий иррационализм. По их мнению, разум как инструмент познания создает невидимый, но неодолимый барьер между человеком и миром, и потому разумное познание неистинно. Жизнь постигается лишь чувством, интуицией. Лишь активизируя в себе иррациональное, человек приобщается к «жизни». В трудах представителей различных школ категория «жизнь» принимает различные воплощения: от языческой чувственности и инстинктов в ницшеанском духе, через эротическое libido психоаналитиков (Фрейд) к «фундаментальной онтологии» Хайдеггера. Как жизненный организм интерпретируется и сама культура в трудах Дильтея и Зиммеля: понять ее можно якобы лишь интуитивным «вчувствованием», лишь «изнутри».

Рассматривая человека как частицу мира, как микрокосм жизни, экспрессионисты стремились выявить в нем «жизненное» или «витальное» начало. Здесь, как им казалось, и находилась искомая «сущность» — нечто единое, иррационально целостное в противовес расщепленному миру упорядоченных «явлений». В отличие от философов, «жизнь» в суждениях экспрессионистов не принимает какой-либо определенной формы, она предстает лишь в отвлеченных понятиях как воплощение чего-то живого, самобытного, изначального. Это — и витальный порыв, и бесконечный космос, и первозданный хаос.

«Витализм» был чрезвычайно важен для экспрессионистов в их общей системе взглядов. Именно здесь открывались для них возможности прийти однажды к «всечеловечеству» и «братству людей». «Жизненное начало», свойственное, как казалось экспрессионистам, любому человеку, полностью снимало расовые, сословные, национальные и иные перегородки, разделяющие людей. Все люди родственны в своей первооснове, все люди — братья. В таком виде доктрина витализма вполне могла служить философским фундаментом для экспрессионистской этики, проповедовавшей единство всех людей и любовь друг к другу. Впрочем, в годы войны эти абстрактные и патетические проповеди экспрессионистов приобретали актуальность и даже действенную силу. Признание «жизненного начала», связующего всех людей, означало также отрицание той якобы неодолимой пропасти, отделяющей русского человека от западноевропейского, Россию — от Запада. На смену неоромантическому тезису «они — другие» приходит экспрессионистический: «они — такие же, как мы». (По этой же причине любая война была в глазах экспрессионистов войной «братоубийственной».) Экспрессионисты горячо выступают за близость с Россией — военным

противником Германии. В октябре 1915 г. в обстановке милитаристского и шовинистического угара выходит номер журнала «Aktion», целиком посвященный русской литературе (№ 43-44). Выпуск был приурочен к пятой годовщине со дня смерти Л. Н. Толстого. Публикация переводов из русских классиков (Пушкин, Некрасов, Тургенев, Толстой и др.), среди прочего заметка о Достоевском М. Хардена носили характер антимилитаристской демонстрации. Там же были опубликованы письма русских солдат-фронтовиков, разоблачавшие пропагандистскую ложь о мнимой воинственности русских.

Приобщенный к «жизни», человек мог быть для экспрессионистов только «страдающим» человеком, ибо сама современная жизнь, жестокая и хаотическая, воспринималась как воплощенное страдание. Страдание было заключено в войне, в суровых классовых схватках эпохи. Страдание было основным переживанием жизни. А поскольку, как считали многие экспрессионисты, путь к «всечеловечеству» лежит через максимальное выявление «жизненного начала» в людях, постольку он лежит и через величайшее страдание. Не случайно Л. Шрейер (в цитированном выше высказывании) говорит, что современный мир — это мир страдания, которое исчезнет, когда «каждый в отдельности „растворит себя" во всех». Через сегодняшнее страдание — к завтрашнему братству, через сегодняшнюю грязь и унижение — к завтрашнему очищению и возвышению. Таким представлялся экспрессионистам путь современного им мира. Чем хуже человек сегодня, тем лучше он будет завтра. Чтобы одолеть это зло реально, в настоящем, они стремились предельно сблизить человека с «жизнью» во имя будущего. Самоутверждение человека в будущем означало его самоунижение в настоящем. Человек и его судьба осознаются экспрессионистами лишь в единстве этих полярных состояний. По убеждению «виталистов», человек должен пройти все круги современного ада, он должен максимально окунуться в стихию жизни. Он должен до конца ощутить свое собственное падение, осознать свою «греховность»,— тогда лишь он возродится к новой жизни. Современный хаос, война становились для экспрессионистов своего рода «чистилищем», трудным, но необходимым этапом самообновления. Эта своеобразная диалектика побуждала экспрессионистов открывать и в самом человеке «целый мир», космос, сочетающий в себе крайние противоречия. Человек отождествляется с хаосом: одна крайность в нем удивительным и непостижимым образом может обратиться в другую. Человек — это все. К. Эдшмид писал, что в искусстве экспрессионизма человек «становится самым возвышенным и самым жалким, что только может быть. Он становится Человеком» [351]. Исходя, как и неоромантики, из дисгармонии и односторонности современного им человека, экспрессионисты искали выход не в приобщении личности к религиозно-мистической сфере бытия, а в возвращении ее к самой жизни со всеми ее противоречиями, к ее первичным «хаотическим» формам.

Внимание к страдающему человеку побуждало экспрессионистов искать своих героев среди «униженных и оскорбленных», что зачастую придавало их творчеству социально-критический пафос. Человечности или, говоря языком Достоевского, «в человеке человека» экспрессионисты искали не среди тех, кто преуспел в обществе или приспособился к нему. Бездушный буржуазный обыватель, капиталист неизменно отмечен в экспрессионизме клеймом сатиры. Герой экспрессионизма — на дне общества, среди париев и отщепенцев. Остро актуальной становится в экспрессионизме тема проституции. Экспрессионисты воспевали в проститутке душу святой мученицы, превращали ее в символ страждущего человечества. Причем, как утверждал Эдшмид, проститутку следовало изображать «не в атрибутах ее ремесла». Ибо «реальность ее человеческого существования не имеет вообще никакого значения» [352]. Важно лишь раскрыть ее «истинную суть», показать, как через величайшее унижение человек, очищаясь, поднимается до высоконравственного «всечеловеческого» уровня. «В проститутке экспрессионист приветствует и прославляет спасительную силу любви, познать и пережить которую он отчаянно стремится сам» [353],— пишет В. Зокель, современный исследователь.

Таковы вкратце некоторые общие черты немецкого экспрессионизма. Но и по ним уже можно представить, в какой огромной степени жизнь и творчество Достоевского отвечали в 1910-е годы исканиям бунтующей молодежи Германии.

Достоевский жил и творил в кризисную пору русской истории, когда капитализм победоносно сокрушал основы феодального строя. На глазах Достоевского погибал старый мир и рождался новый. Творчество русского писателя гениально запечатлело катастрофическое столкновение двух эпох, и именно это в первую очередь глубоко почувствовали немецкие экспрессионисты. Все творчество Достоевского они восприняли как прообраз и пророчество современного хаоса. Этот хаос они увидели у Достоевского в самом человеке — в его героях, у которых, по выражению Эдшмида, «танковые баталии разыгрываются в нервах»[354]. В творчестве Достоевского экспрессионисты нашли «человека в центре», человека «разорванного», мятущегося между добром и злом, между богом и дьяволом, ту самую «душу», в которой они уже начали узнавать самих себя. Достоевский становится теперь первооткрывателем не столько «русской», сколько общечеловеческой «души». Э. Турнейзен, автор одной из первых в Германии монографий о русском писателе, замечает: «Достоевский вбирает в себя многообразные устремления европейской души в конце XIX в. и как бы протягивает ей зеркало. Все то, что духовно волновало целую эпоху, он разглядел, постиг и ввел в магический круг своего творчества»[355]. Впрочем, экспрессионисты еще охотно верили в неоромантическую легенду о Достоевском — пророке «русской души». В номере «Aktion», посвященном русской литературе, М. Харден, ссылаясь на известные слова Тютчева («Умом Россию не понять...»), заявлял: «Кто знает Достоевского 〈...〉 знает Россию и ее народ глубже и основательнее, чем тот, кто воспринимает эту часть света лишь сквозь призму холодного рассудка...»[356] Но в целом в эпоху экспрессионизма центр тяжести в восприятии Достоевского переносится с национальной идеи на общечеловеческую проблематику его творчества. То, что для неоромантиков было специфически русским, становится теперь всеобщим, всемирным. Тот же журнал «Aktion» подчеркивал в связи с Достоевским: «Нас эта „идея“ не интересует. Нас затрагивают его страдания, его значительность, знания, его жесточайшая нужда, его любовь и сострадание»[357]. Экспрессионисты разделяли боль и страх Достоевского за судьбы человека в расшатанном мире, его мучительные сомнения и его исступленную веру, его проповедь мистической любви и смирения, открывающих путь к обновлению и единению человечества.

Ощущение близких катастроф, смутное предчувствие значительных перемен — вот та почва, на которой вырастает новое восприятие Достоевского. Читая романы Достоевского, Германия открывала для себя уже не Россию XIX в., а, скорее, современную ей страну, охваченную волнением, революционную. Ощущение всеобщего кризиса, общее для немецкой интеллигенции в 1910-е годы, шло в Германию из России и, в немалой степени,— через романы Достоевского. С. Цвейг, уже спустя десятилетия, говоря об английском писателе О. Хаксли, заметил: «Он разрыхлил и подготовил землю на нашем участке планеты для нового порядка. Это без сомнения так. Однако то беспокойство, которое побуждало к этому, пришло из России, причем значительно раньше»[358]. Известный поэт-экспрессионист Я. ван Ходдис спрашивал в 1914 г.: «Неужели мы последние, кому суждено чувствовать бога? Что за колдовской шепот проник в сны нашей юности из романов Достоевского и романтизма Толстого?»[359]

Грядущее обновление мира, которое, по ощущению экспрессионистов, должно было наступить как неминуемое следствие современной им кризисной ситуации, мыслилось ими по-разному. «Левые» экспрессионисты связывали свои надежды с революцией. Другие мечтали о нравственно-духовном перерождении человечества. Наконец, третьи видели выход в возвращении человечества к первоосновам жизни. Каждое из этих течений стремилось найти себе союзника в Достоевском.

«В современном сдвиге настроений Достоевский, избравший своим литературным амплуа анализ страдания во всех его проявлениях, описание мучительной борьбы „униженных и оскорбленных“ и тягостных противоречий жизни, с необузданной горячностью проповедовавший братство людей, конечно, должен был завоевать себе прочнейшие симпатии в Германии»[360].

В современной им России, как и в творчестве Достоевского «активисты» искали «бунтующее», «революционное начало». Дух беспокойства и неудовлетворенности, которым проникнуты произведения Достоевского, воспринимался ими как «мятежный»

дух. Так, Л. Рубинер в статье «Поэт вмешивается в политику» (с эпиграфом из Достоевского) открыто говорит о русском писателе как о «мятежнике, который навеки утвердил свое *я* в народе»[361]. Впрочем, революционные чаяния «активистов» были (до 1917 г.) весьма абстрактными и утопическими. Революция, которую они ждали, представлялась им не столько социальным переворотом, сколько духовным перерождением. Не случайно после Великой Октябрьской революции часть «активистов» (Шикеле, Толлер, Унру), не поняв и не приняв революционного насилия, отошли от «программы действия». Другие же (Бехер, Рубинер, Франк) увидели в русской революции осуществление своих идеалов освобождения человека и закономерно пришли к коммунизму.

Достоевский находил отклик у большинства экспрессионистов постановкой «вечных» философско-этических проблем о предназначении человека и смысле его существования. «Больше чем какой-либо другой писатель, Достоевский вел экспрессионистов к этике...»[362] Писатель-экспрессионист Ф. М. Хюбнер полагает, что именно «проблемы любви и милосердия делают Достоевского-этика подлинным экспрессионистом»[363]. Нравственный пафос произведений Достоевского воодушевлял экспрессионистов так сильно, что по их собственным признаниям, влияние Ницше фактически сошло на нет. «Уже не по оси сила — слабость, а по оси доброта — зло или жертвенность — безразличие располагаются системы человеческих ценностей»[364].

Особенно велико было увлечение экспрессионистов религиозно-этическими идеями Достоевского. Характерный пример: Э. Барлах, скульптор, график, писатель, видный представитель немецкого экспрессионизма, который в 1906 г. посетил Россию и, говоря словами исследователя, «нашел в России себя, а в Достоевском пережил собрата по духу»[365]. Провозглашенные Достоевским идеалы «любви», «смирения», «страдания» отвечали абстрактно-гуманистической доктрине экспрессионизма. Ими вдохновлялись не только такие мистически настроенные поэты, как Ф. Верфель, но и «левые», как например, Й. Бехер. (Впоследствии после знакомства со статьями Горького о Достоевском Бехер во многом пересмотрел свое отношение к русскому писателю.) В страдании и смирении экспрессионисты были склонны видеть не столько социальное зло, подлежащее искоренению, сколько признак подлинной человечности.

Идеи христианской любви и всепрощения особенно глубоко воспринял благодаря Достоевскому Ф. Верфель, один из зачинателей экспрессионистической лирики и драмы. Влияние Достоевского прослеживается в творчестве Верфеля с достаточной очевидностью[366]. Уже в одном из своих ранних стихотворных сборников «Друг другу» (1915) в качестве эпиграфа (ко второй части) Верфель берет следующие слова Зосимы: «Отцы и учители, мыслю! „Что есть ад?“ Рассуждаю так: „Страдание о том, что нельзя уже более любить“». Говоря о более раннем сборнике Верфеля «Мы существуем» (1913), один из критиков (Г. Э. Якоб) даже высказал мнение о том, что «в этой книге, где в мистическом демократизме Христос стал сопричастен горю и радости всех существ, а еще сильнее в третьей книге „Друг другу“, которая уже содержит первые протесты против войны, комета по имени Достоевский впервые победоносно приближается к немецкой душе»[367].

Весьма показательно в этой связи то переосмысление романа «Преступление и наказание», которому он подвергается в эпоху экспрессионизма. Внимание критиков натуралистической поры было приковано к Раскольникову-преступнику. Натуралисты интересовались главным образом его психологией, его «сверхчеловеческой» идеей. У экспрессионистов Раскольников-«сверхчеловек» оттесняется на задний план. Интересен в этом отношении рассказ «Неудавшееся преступление», принадлежащий перу Л. Штрауса (1892—1953), малоизвестного ныне писателя-экспрессиониста. Герой рассказа — его зовут Антон Мюллер — подчеркнуто заурядная личность. Весьма прозаична и его профессия: Мюллер — мелкий служащий. Замыслив убить богатого ростовщика, Мюллер обзаводится кинжалом. Письмо, полученное Мюллером от матери, служит решающим толчком к реализации замысла: мать жалуется на бедность и обвиняет сына в нерасторопности. Собравшись с духом, Мюллер проникает ночью в комнату ростовщика и обнаруживает там хладный труп со следами ножевых ран. Осознав весь ужас своих злодейских замыслов, Мюллер в отчаянии хочет броситься



ДОСТОЕВСКИЙ
Офорт Ю. Селиверстова, 1970
Музей-квартира
Ф. М. Достоевского, Москва

с лестницы вниз головой. Однако и здесь его настигает неудача. Самоубийцу останавливает... шуцман, страж закона. Весь рассказ — не более, чем пародия на «Преступление и наказание»[368]. Как бы полемизируя с натуралистами, которые видели в Раскольникове преступника-индивидуалиста ницшеанского образца, Штраус сознательно занижает образ своего героя, выводя его в окарикатуренном виде.

Характерно, что не Раскольников оказался основным героем «Преступления и наказания» в критике экспрессионизма. Неизмеримо большее значение приобрел образ Сони Мармеладовой. Если натурализм истолковывал героиню Достоевского лишь как жалкую и пассивную жертву «среды», то в экспрессионизме она воспринимается как «воплощение нового человека, который берет на себя презрение мира и жертвует своим моральным существованием, чтобы творить добро»[369]. В критике уже прочно утвердилось мнение о том, что трактовка столь популярной в немецком экспрессионизме темы проституции в значительной степени определена влиянием Достоевского. «В бесчисленных произведениях экспрессионизма,— замечает, например, на этот счет известный швейцарский литературовед В. Мушг,— прославляется любовь проститутки или ее христианская жертвенность, и это вызвано образом великой грешницы в Библии и у Достоевского»[370]. Отношение к Соне Мармеладовой как к христианской великомученице прочно утвердилось в немецком экспрессионизме. «Мученики общества, козлы отпущения, Соня и Мармеладовы, становились истинными последователями Христа на земле. Унижение, которое брала на себя Соня, чтобы спасти семью, напоминало самопожертвование Спасителя»,— резюмирует Зокель[371]. В ряду произведений, в которых изображена и возвеличена проститутка, критики чаще других называют раннюю драму Г. Йоста «Начало» (1917) и пьесы П. Корнфельда «Обольщение» (1917) и «Небо и ад» (1920).

Если один путь к грядущему обновлению лежал для экспрессионистов через религиозно-нравственное очищение «страданием» и «смирением», то другой открывался

в возврате к «жизни». И здесь союзником экспрессионистов был опять-таки Достоевский. «Кардинальное требование экспрессионистской эпохи гласит: прочь от сложной современной цивилизации, прочь от мертвящей механистичности нашего мира! ⟨...⟩ Главной позитивной ценностью, которую эта эпоха открыла в Достоевском, была „жизнь", упраздняющая всю нашу „неустроенность" и способная произвести из себя новый, пока еще смутно различимый миропорядок»[372]. Пророчество «жизни», как правило, оборачивалось у экспрессионистов проклятием буржуазной цивилизации. Луначарский подчеркивал, что именно «антибуржуазность» порождает в экспрессионистах «общепророческое настроение». У тех, «кто идет по стопам Достоевского в нынешней Германии, оно носит характер какого-то разрушительного протеста во имя великого хаоса против всей размеренной жизни, характер землетрясения...»[373] Луначарский верно подметил абстрактность экспрессионистов, стихийность их бунтарства. Такие понятия, как «государство», «капитализм», «революция» теряют в их языке свое конкретно-историческое содержание. И потому у Достоевского экспрессионисты находят социальный протест не там, где он «натуралистически» конкретен, а там, где проявляется, так сказать, его «дух».

В рецензии на «Легенду о Великом инквизиторе» (имеется в виду пиперовское издание 1916 г.), опубликованной в журнале «Aktion», говорилось: «Длинный монолог испанского кардинала — это потрясающее обвинение против любой неограниченной власти именно потому, что это — умнейшая апология любой неограниченной власти. Более того: политика и естественная любовь, государство и человек здесь несовместимы как огонь и вода. Никогда еще ложь и правда не выступали в столь резком контрасте, как здесь, в этой истинной апологии лжи! Кардинал произносит страстную речь в защиту власти — эта грандиозная идея могла выйти только из большого сердца и только сильный дух смог найти для нее столь законченное воплощение»[374]. Вполне очевидно, что восторженность рецензента адресована не только Достоевскому — противнику тирании, но и Достоевскому-диалектику, гению, который с величайшей внутренней интенсивностью осмысляет жизнь в ее крайних, контрастных проявлениях, или, говоря иначе, воспринимает ее «целиком», всю. А. Зергель и К. Хохоф не случайно подчеркивают, что экспрессионисты были «зачарованы диалектикой мысли» у Достоевского[375].

Творческая мощь гения — вот, что притягивало экспрессионистов в Достоевском. Это не вызывает удивления, особенно если вспомнить, что именно в эту эпоху в Германии возрождалась и переосмыслялась в духе «философии жизни» романтическая концепция творческой личности (не чуждая, кстати, и самому Достоевскому[376]). Согласно этой концепции, художник (по терминологии Достоевского, «поэт») владеет особым магическим даром ви́дения жизни. В понимании экспрессионистов художник — это творец, пророк, визионер, несущий в себе прообраз мира. Философ П. Наторп, автор книги «Достоевский и кризис современной культуры» (1923), утверждает, что у русского писателя «все истекает из глубин внутреннего ви́дения» и поэтому Достоевский в высшей степени «экспрессионистичен»[377].

Подлинный художник, как считали экспрессионисты (вслед за своими философскими учителями), целиком и непосредственно сливается со своими творениями. Но между ними неизбежно возникает барьер формы как элемент опосредствования, систематизации. И чем изощреннее форма, тем беднее содержание, тем слабее пульс жизни художественного произведения, тем более оно «отчуждено» от своего создателя. Тем самым возникает острое противоречие между художником-творцом и художником формы (или литератором). Оно представляет собой аналог философской антиномии интеллекта и жизни. Это противоречие было также порождено общей для всей европейской литературы тенденцией к непосредственному, безыскусному восприятию действительности, реакцией на тяготивший ее эстетизм. Примером такого «естественного как сама жизнь» художника был провозглашен Достоевский. Достоевский рассматривается экспрессионистами уже не как писатель, а как нечто большее, как явление жизни, как гений, приобщенный к тайнам бытия.

Экспрессионист К. Эйнштейн ссылается на известное высказывание о Достоевском, принадлежащее французскому романисту Ш. Л. Филиппу. Филиппа привлекало

в Достоевском «варварское начало», то есть близость к жизни, непосредственность и полнота ее восприятия [378]. «Я прочел „Идиота" Достоевского,— писал Филипп.— Вот это — произведение первозданной силы. Общечеловеческие вопросы поднимаются здесь со страстью. Я не знаю в нашей литературе такой насыщенной книги. Иногда это безумие прекрасно. Сцена, где князь Мышкин рассказывает о своих занятиях с детьми в Швейцарии, описание его эмоционального состояния перед первым припадком эпилепсии, его встреча с Рогожиным и последняя глава — все это вещи чудовищно грандиозные. А его персонажи, такие простые и в то же время такие сложные...» [379]

Новый взгляд на художника романиста повлек за собой и переоценку отношения к герою художественного произведения. Эйнштейн замечает, что в центре романа должен стоять человек, раскрытый не в его «характере», а в его «судьбе». В чем смысл такого противопоставления? По логике Эйнштейна, тщательно выписанный характер фиксирует внимание на частном, на «личных чувствах», что значительно «мельчит» героя, который «не должен быть своекорыстным и рассказывать свою биографию». Большинство современных Эйнштейну немецких романов, по его мнению,— как раз «фрагменты биографий». Между тем повествование должно строиться не на «жизнеописании человека», а на «времени», на движении эпохи, в которую герои живут и «творят свою судьбу». Иначе говоря, индивидуальная жизнь обретает искомую значительность «судьбы», если она связана с историческими судьбами человечества. В таком случае роман — уже не «фрагмент биографии», а «фрагмент, покоряющий своей мощью», каковым, согласно Эйнштейну, является и «Идиот» Достоевского.

Означала ли подобная характеристика романов Достоевского признание его реализма? Однозначного ответа на этот вопрос экспрессионисты не дают. Пинтус, например, считает, что Достоевский «уничтожает» реальность «грандиозным образом божества, поднимающимся из кратера событий» [380]. С другой стороны, те, кто, подобно Наторпу, воспринимали метод Достоевского как «пророческое ви́дение», не находили в нем общности с субъективизмом романтиков. Устами Достоевского, утверждает Наторп, говорит «вечный человек»— человек, «живущий, действующий и страдающий в наиреальнейшей действительности» [381]. Отвергая эмпиризм, поверхностное копирование, экспрессионисты видели в творчестве Достоевского великую правду о человеке. Близость Достоевского к «жизни» подчеркивает и Нетцель в книге «Национальное своеобразие русского романа», написанной еще во многом с позиций неоромантизма. Книга вышла в свет в 1920 г. «Русский художник,— пишет Нетцель,— возвращает европейскую мысль к полноте переживания и таким образом вновь примиряется с жизнью. В этом — чисто духовное значение великого русского романа». По существу Нетцель имеет в виду универсальный характер русской литературы, ее тесную связь с действительностью. «Каждый великий русский писатель,— утверждает он,— никогда не признает искусство как таковое, как особую сферу жизни. Он всегда стремится быть активным участником жизни и добиваться определенных бесспорных целей, в которые он верит». Реализм русского романа и его высокий гуманистический пафос определяют, по Нетцелю, и его яркое национальное своеобразие (Нетцель даже предлагает ввести для обозначения русского романа особый термин «Russan» в противовес западноевропейскому «Roman») [382].

Не удивительно, что при таком взгляде на русский роман Достоевский притягивал к себе крупнейших немецких писателей данной эпохи и влиял на их творчество. Влияние это прослеживается, например, в произведениях молодого Г. Манна, Л. Франка, Э. Барлаха, Т. Дойблера, А. Вольфенштейна и ряда других авторов, примыкавших к экспрессионизму и близких к нему. Остановимся лишь на тех случаях, где воздействие Достоевского подтверждается свидетельствами, исходящими от самих художников.

Открытие Достоевского следует считать крупнейшим событием творческой биографии А. Деблина (1878—1957), становление которого как писателя-романиста неотделимо от экспрессионизма. С 1910 до 1914 г. Деблин был активным сотрудником журнала «Sturm». С творчеством Достоевского Деблин познакомился еще в гимназии. «Достоевский был первым, кто обрушился на меня в мои школьные годы ⟨...⟩ Вечерами я читал „Раскольникова"— днем нужно было зубрить Гете и Шиллера ⟨...⟩

Из этого времени я припоминаю еще мимолетное увлечение эстетического порядка — увлечение Софоклом и Гомером, но оно было недолгим. Оно бесследно исчезло в том огромном будоражащем потоке эмоций, который изливался из Достоевского. Ничто не могло устоять перед мощью этого потока. В нем был бунт, энергия, революция»[383].

Встает вопрос: о какой революции идет здесь речь? Ответ на него можно найти в другом высказывании писателя. «Мои главные и истинные впечатления восходят ⟨...⟩ к Достоевскому. Только такое могучее явление как русский писатель могло возвысить меня, как и других, над убогостью и банальностью литературы периода наших дебютов. Когда смещаются эпохи и возникает необходимость новых перспектив, основная задача состоит в том, чтобы открыть эти новые перспективы, отказавшись от старого. Здесь-то русский писатель и оказался для нас как нельзя более кстати»[384]. Следовательно, по Деблину (который выступает от имени всего поколения экспрессионистов), искусство Достоевского — не литература, это — школа жизни и сгусток жизни, ощущение и опыт переходного времени. В этом и заключается его «революционность». Как и многие из его современников, Деблин не раз подчеркивал, что Достоевский «внелитературен». По его собственному признанию, он даже не читал до конца произведений Достоевского, опасаясь, что начнет воспринимать их как «литературу». Например, глубокое впечатление от «Преступления и наказания» было вызвано, оказывается, «не самим романом „Раскольников", а собственно говоря, лишь отдельными страницами». Деблин пишет, что не хотел «погружаться в детали», ему важно было уловить лишь «музыку книги» [385]. Точно так же обстояло дело и с другими романами Достоевского. «Роман „Идиот",— признается Деблин, — был на протяжении ряда лет моей самой любимой книгой, но я ни разу не дочитал ее до конца». Деблин рассказывает далее, что «года два» он всюду носил с собой роман «Идиот» и, «раскрыв книгу на том или ином диалоге, не мог от него оторваться». Было бы «абсурдом и профанацией»,— заявляет Деблин,— читать этот роман как обычную книгу. «В том-то и дело,— подытоживает писатель,— что это была для меня не просто книга, это была внезапная встреча». Знакомство с Достоевским Деблин расценивает как событие, как встречу с «огромным историческим явлением» [386]. Творчество Достоевского для Деблина — откровение иррациональной стихии жизни. Болезнь Достоевского, по мнению Деблина, «отвратила его от всего интеллектуального и сразу же поставила на твердую почву инстинктивного» [387]. Не случайно именно «антиинтеллектуальные» герои Достоевского (князь Мышкин, Алеша Карамазов) пользовались среди экспрессионистов (и неоромантиков) наибольшей популярностью. Мудрые душой и сердцем, они были восприняты как воплощение подлинной человечности. Только в иррациональном проявляется истинное естество человека,— так считал Деблин и утверждал, что «наряду с растениями, зверями и камнями есть только две категории людей, а именно: дети и сумасшедшие» [388]. В этих словах проступает не только Деблин — писатель-экспрессионист, но и Деблин — ученый-медик. Как врач-психиатр, исследующий область подсознательного, Деблин также тянулся к Достоевскому, называя его «предтечей Фрейда» [389].

В юбилейном для Достоевского 1921 г. Деблин публикует статью «Гете и Достоевский». В хоре хвалебных выступлений, посвященных Достоевскому, выступление Деблина прозвучало резким диссонансом. Деблин оспаривает распространенный в Германии взгляд на Достоевского как на пророка «русской души», но при этом впадает в другую крайность. Он заявляет, что «типы Достоевского так же мало говорят о России, как поэтическая фантазия о реальности». Деблин обвиняет русского писателя в «ненависти» к Западу, решительно отвергает его религию как «варварскую» [390]. Упреки немецкого писателя адресованы, разумеется, не подлинному, а легендарному образу Достоевского, который овладел и воображением Деблина. Он отрекается от того самого Достоевского, которому еще несколько лет тому назад сам же восторженно поклонялся.

Этим и вызвано весьма распространенное в немецкой критике тех лет сопоставление Достоевского и Гете как двух контрастных начал: иррационального и рационального. Гете как бы становится символом западноевропейской культуры и традиции, противоположной надвигающемуся из России хаосу. Однако в 1944 г. Деблин опубликовал в своем периодическом издании «Das goldene Tor» переработанный им вариант

статьи «Гете и Достоевский». В связи с обращением к католичеству Деблин пересмотрел свои прежние взгляды на обоих писателей и, естественно, предпочел «мистицизм» Достоевского «пантеизму» Гете [391].

Не менее значительной была «встреча» с Достоевским и для Я. Вассермана (1873—1934), видного немецкого писателя-романиста, принадлежавшего к поколению «die Moderne». Знакомство с Достоевским запечатлелось в воспоминаниях Вассермана как сильнейшее потрясение, которое он пережил, ознакомившись, подобно Деблину, лишь с некоторыми отрывками из романа «Идиот». «Теперь я уже не помню, как „Идиот" попал мне в руки,— рассказывает писатель,— это были отдельные листки из какой-то газеты; прочтя их, я целыми днями и неделями бродил потом как лунатик, как в бреду. В них была такая сила, обезличивающая читателя, такой фанатический хилиазм, что меня охватило ужасающее смятение, и я в растерянности колебался между ненавистью и обожанием: ибо то был уже не человек, а дьявол, святой дьявол, апостол-разрушитель»[392]. Отныне русский писатель становится «вечным спутником» Вассермана. О сильном воздействии Достоевского на творчество немецкого писателя указывают исследователи [393], его признавал и сам Вассерман. В 1921 г. в связи с юбилеем Достоевского газета «Vossische Zeitung» произвела среди немецких писателей опрос, в ходе которого свое мнение высказал и Вассерман. В статье «Некоторые общие замечания о Достоевском» он писал: «Едва ли мыслимо, воспользовавшись внешним поводом, объяснить явление такого писателя, как Достоевский, или же с точностью установить, что оно означало и означает для нашей собственной судьбы. Ибо оно стало для всех чем-то слишком общим, как жизненная плазма, если так можно выразиться; благодаря неуклонно углубляющемуся влиянию его сущность наложила сильнейший отпечаток на наше миросозерцание и душевный склад». Далее Вассерман продолжает: «Многие увидели в нем даже глашатая и пророка великой катастрофы или грядущего великого обновления, виновника того грандиозного пожара, который охватил Россию и ее народ, гения, возбуждавшего сердца и возвышенные умы, вложившего слово в уста миллионов бессловесных, пробудившего среди миллионов угнетенных чувство возмущения, сознание человеческого достоинства и даже религиозной миссии. Значение Достоевского как духовного явления высшего порядка уже не подлежит сомнению»[394].

Оценивая Достоевского как универсальное духовное явление, Вассерман — что было характерно для модернистского толкования русского писателя — выводит его за рамки литературы (в статье «Наследие Достоевского»). «Собственно говоря, творчество Достоевского не принадлежит литературе, оно лишь коренится в ней и то как бы случайно; оно вырастает из ви́дения, пророчества, из нового славянско-азиатского мифа...» Впрочем, Вассерман оговаривает, что национально-религиозная утопия русского писателя, по его мнению, навсегда останется чуждой и не понятной западному миру. Не мыслитель, как считает Вассерман, завоевал мировое признание, а Достоевский-художник, который в силу «небывалой гениальности в изображении человека сумел преодолеть барьер, отделяющий его и его мир от нас и нашего мира». Достоевский для Вассермана — «художник, открывший нового человека и тем самым возвестивший о новой эре в истории человеческого духа». «Такой способ видеть и изображать человека, толкая его на самые крайние действия, оказал, конечно, определяющее влияние на развитие не только русского, но и всего европейского общества в период между 1880 и 1920 годами».

Влияние русской литературы распространялось также на пражский кружок немецких экспрессионистов. Близкий к экспрессионизму писатель И. Урзидиль (родом из Праги) рассказывает о пражских литераторах (называя среди прочих Р. М. Рильке, Ф. Верфеля, М. Брода, П. Корнфельда и Э. Э. Киша), что, «благодаря языку и атмосфере они имели прямой доступ к великим русским писателям. Я, например, читал Толстого и Достоевского не только в немецком переводе, но и по-чешски; это означает, что я воспринимал этих авторов не только рассудком, но и родством сердца»[395].

Одним из виднейших представителей пражского круга немецких писателей был Франц Кафка. Вопрос о связях этого писателя с Достоевским требует подробного выяснения. В настоящее время имена Кафки и Достоевского нередко ставятся рядом.

И тот и другой сближаются (особенно в современном экзистенциализме) как два писателя, якобы гениально предвосхитившие своим творчеством экзистенциалистский тезис об абсурде мира. Попытки сопоставить обоих писателей начались сразу же после второй мировой войны, когда на Западе (в связи с новым духовно-нравственным кризисом и интенсивным распространением экзистенциалистских теорий) Кафка был открыт и прочитан по-новому [396]. К именам Достоевского и Кафки, как правило, добавляются имена Киркьегора и Ницше, и в результате Достоевский выступает как один из столпов и родоначальников современной буржуазной мысли. В предисловии к своей книге «Четыре пророка нашей судьбы» (первое изд.— 1954) американский автор У. Хаббен, например, утверждает: «Все четверо способствовали становлению современного сознания; мы только теперь начинаем в полной мере осознавать, как велико то влияние, которое они оказали на западное мышление. Духовный кризис, который они, обладавшие страшным даром провидения, угадали заранее и который во многом обострил их собственное творчество, лежит в основе социальных и политических потрясений нашего времени. Они как личности существенно отличаются друг от друга, однако направление их мысли и зачастую поразительное сходство диагнозов внесли разброд в наше поколение, как и специфические их пророчества — пророчества, которые в огромной степени сбылись» [397].

Кафка был безусловно знаком с творчеством Достоевского — и знаком далеко не поверхностно. К. Вагенбах в написанной им биографии Кафки указывает, что писатель «в течение всей своей жизни ценил Грильпарцера, Достоевского, Клейста и Флобера» [398]. Другой биограф Кафки, говоря о знакомстве писателя с русской литературой, отмечает его «пристрастие к Достоевскому, которого он ценил выше Толстого или Гоголя» [399]. Еще более конкретен отзыв М. Брода, друга и душеприказчика Кафки. В биографии Кафки Брод пишет: «Среди произведений Достоевского он особенно ценил роман „Подросток", только что выпущенный издательством Лангена. Он с энтузиазмом прочитал мне отрывок о нищенстве и обогащении». Свидетельство Брода говорит о том, что Кафка был одним из первых, кто понял и оценил роман «Подросток»— наименее изученный и наименее популярный в Германии из всех произведений Достоевского. Брод добавляет, что «замечание о данной главе показывает, насколько сильно метод Достоевского формировал его стиль» [400].

Однако отзывы самого Кафки о Достоевском немногочисленны. В одном из писем своей приятельнице Милене Есеньской он, описывая свое состояние (бессонницу), прибегает к развернутому сравнению. Кафка подробно пересказывает известный эпизод из жизни молодого Достоевского, представившего «Бедных людей» на суд Некрасову, который, как известно, восторженно одобрил это произведение. Эпизод этот Кафка передает неточно, с фактическими ошибками. Но интересней всего, что Кафка переистолковывает эпизод в созвучном ему ключе. После ухода Некрасова и Григоровича (у Кафки он назван Григорьевым) Достоевский,— сообщает Кафка,— долго не может успокоиться. Он охвачен радостным волнением, но в то же время сознает, что недостоен столь щедрых похвал. Достоевский, по изложению Кафки, как бы чувствует свою униженность, неполноценность. Это чувство заставляет его воскликнуть: «О эти прекрасные люди! Как они добры и благородны! И как низок я сам! Если б только они могли видеть меня насквозь! Они не поверят, если я скажу им это!» Тем самым Кафка в этом рассказе словно превращает Достоевского в своего собственного героя, отягощенного неясным сознанием вины и чувством самоуничижения. В конце, как бы спохватившись, Кафка, впрочем, добавляет, что «к сожалению, великое имя Достоевского сводит на нет весь смысл этой истории» [401]. Не менее любопытен другой отзыв Кафки о Достоевском, относящийся к концу 1914 г. Замечание Брода о том, что у Достоевского «слишком много душевнобольных», Кафка комментирует в своем дневнике следующим образом: «Совершенно неверно, они не душевнобольные. Изображение болезни — всего лишь средство характеристики и притом очень тонкое и очень эффективное средство. Стоит лишь с величайшим упорством повторять какому-либо человеку, что он недалек и слабоумен, для того чтобы этот человек, если только в нем заключено зерно Достоевского, раскрыл себя полностью и до конца» [402]. Кафка чувствует, что «ненормальность» некоторых героев Достоевского вызвана их отноше-

ниями с «ненормальной» действительностью — это ощущение до известной степени не было чуждо и Кафке-писателю.

И Достоевский, и Кафка остро чувствовали, что человек и действительность (буржуазная!) непримиримо враждебны друг другу. Творчество обоих отражает мировосприятие личности, для которой окружающий мир — жестокое, подавляющее ее начало, «стена». Однако этим близость обоих писателей ограничивается. Достоевский — писатель-гуманист, мучительно ощущая зло в мире, с болью пишет об униженном человеке, стремится спасти его и привести к духовной свободе. Кафка же по-модернистски абсолютизирует психологическое состояние отчуждения. Человек, согласно Кафке, ничто, он лишь омерзительное насекомое, ничего не значащее существо, подчиненное действительности и «закону». По существу Кафка проповедует безысходность человеческой жизни и духовное рабство — это начисто отъединяет его от Достоевского и, в известной мере, делает обоих писателей антиподами. «В отличие от придавленных людей Достоевского,— пишет советский критик В. Днепров о персонажах Кафки,— они вовсе не чувствуют себя ни оскорбленными, ни униженными, и в этом самодовольстве падения яснее всего выражается окончательность их перерождения»[403]. Другой советский исследователь Б. Л. Сучков в статье о Кафке точно подметил (сопоставляя рассказ «Превращение» со сходным по содержанию эпизодом из романа «Идиот»— сном Ипполита), что насекомое, появляющееся у обоих авторов, несет у Достоевского лишь частичную, весьма ограниченную символическую функцию, в то время как у Кафки оно становится «материализацией его человеческого и общественного самоощущения»[404].

Специфическое восприятие Достоевского немецкими экспрессионистами определило содержание и пафос статей о нем, написанных Г. Хессе — выдающимся немецким писателем XX в. Обе статьи Хессе «Братья Карамазовы, или Закат Европы (мысли, возникающие при чтении Достоевского)» и «Мысли о романе Достоевского „Идиот“»[405], напечатанные в последний год первой мировой войны (1919), насквозь проникнуты ощущением великого кризиса, охватившего западный мир. Европейской цивилизации, по мнению Хессе, наступает конец. Близится новая эпоха — торжество хаоса. Великим прорицателем этого хаоса Хессе считает Достоевского. «Мы воспринимаем его творчество как пророчество, как предсказание распада, которым, как мы видим, уже в течение нескольких лет охвачена вся Европа». В своем понимании Достоевского Хессе исходит из ситуации, создавшейся в Европе после войны, после Великой Октябрьской революции и революции в самой Германии.

О Достоевском как пророке хаоса писали в те годы многие. Например, Э. Лука проводит эту мысль во всех своих работах о Достоевском, написанных в начале 1920-х годов. В статье «Достоевский и социализм» (1921) он утверждает, что Россия — страна хаоса, а «русский человек и Достоевский — хаотические люди»[406]. В монографии о Достоевском (1924) Лука вновь задается вопросом, что является «последней сутью»: западный индивидуализм или русский хаос? [407] Видный немецкий философ Г. Кайзерлинг в рецензии на пиперовское издание подчеркивал, что «Достоевский — это плодотворный хаос. Он — титан, в котором новый хаос впервые обрел форму»[408]. В этом смысле Хессе, который в 1920 г. объединил обе статьи в книге под общим заголовком «Взгляд в хаос», не был оригинален.

Однако само понятие «хаос» у Хессе уже своеобразно окрашено. Хаос — это комплекс противоречивых и взаимоисключающих начал, их единство. Хаос — это отрицание организации, порядка, государства (всего того, на чем, по убеждению Хессе, зиждется западный мир). Хаос — это смещение и снятие всех устоявшихся представлений о жизни. Несомненно, в Хессе говорит современник и свидетель великих революционных событий эпохи, которые вели к «отрицанию» и «государства», и «порядка», но (и этого не понимал Хессе) лишь в их буржуазном обличье. В любом сдвиге устоев он склонен видеть хаос. Воплощением хаоса Хессе кажется русский человек. Именно с точки зрения «хаоса» Хессе переистолковывает распространенную в Германии легенду о «широкой русской натуре» и «русской душе»— средоточии всяческих противоречий. Русский человек для Хессе —«всечеловек», ибо вмещает в себя жизнь во всем ее многообразии. Образцом такого человека Хессе представляется князь Мыш

кин, так как ему свойственна «магическая способность быть всем на какой-то момент или даже какую-то долю момента — все чувствовать, всему сострадать, понимать и принимать все то, что происходит в мире. В этом и заключен смысл его существа».

С другой стороны, Хессе ставит знак равенства между русским человеком и «Карамазовыми». Он заявляет, что «русский человек — это Карамазов, это — Федор Карамазов, Дмитрий, Иван и Алеша. Ибо все четверо, какими бы разными они ни казались, с необходимостью представляют собой одно целое, они вместе и составляют русского человека». Пророком «карамазовского идеала» и выступает у Хессе Достоевский.

Как и прочие его современники, Хессе даже не пытается взглянуть на Достоевского как на писателя. Согласно Хессе, «Достоевский ⟨...⟩ стоит уже по ту сторону искусства». Хессе не отрицает, что Достоевский — великий художник, но он — художник «лишь попутно». Он прежде всего — пророк, угадавший исторические судьбы всего человечества. Центральная мысль Хессе — мысль, чрезвычайно характерная для экспрессионистов — заключается в том, что русский хаотический человек, предсказанный Достоевским, — явление уже не специфически русское. Это — явление, ставшее всеевропейским и даже всемирным.

Остается ответить на последний и весьма существенный вопрос: как относится Хессе к Достоевскому и к его пророчествам? Приветствует ли он хаос или же в ужасе отворачивается от него? Создается впечатление, что у автора статей о Достоевском нет окончательного суждения по этому поводу. С одной стороны, Хессе настойчиво повторяет, что путь через хаос для Запада неизбежен, что для Хессе равносильно уничтожению культуры. «Роман „Идиот“ в конечном итоге означает возвращение к материнскому праву бессознательности и устранение культуры». Человек,— утверждает Хессе в характерно экспрессионистическом духе,— вынужден проделать этот путь как необходимый этап в своем развитии; лишь проделав его, человек сможет переродиться духовно. В этом смысле хаос для Хессе, как и для Г. Кайзерлинга, «плодотворен». «Никакая программа не предскажет нам, как отыскать этот путь, ни одна революция не откроет перед нами входа. Каждый следует этим путем в одиночку. И каждому из нас суждено хотя бы час жизни провести на той самой мышкинской границе, на которой исчезают прежние истины и могут возникнуть новые».

Но Хессе в обеих статьях вовсе не приветствует грядущий хаос и не воспевает наступающее, по его словам, царство Карамазовых. Путь, который он предрекает Западу, является для него скорее необходимым, нежели желанным. Говоря о том, что герои Достоевского — прообразы будущих людей, писатель считает нужным сделать оговорку: «Никому не следует думать, будто мир этих созданных писательской фантазией образов — идеальная картина будущего. Нет, в Мышкине, как и во всех этих фигурах, мы чувствуем не столько образец совершенства в смысле „Таким ты и должен быть!“, сколько необходимость в смысле „Через это нам суждено пройти, такова наша судьба!“»

Двойственное отношение Хессе к «хаосу», как и к его пророку — Достоевскому, совершенно естественное следствие того дуализма, которым всегда характеризовалось мышление писателя. Трагедия культуры, слишком оторвавшейся в своем развитии от жизненной основы,— такова главная проблема, волновавшая Хессе. Европейская цивилизация, в частности реалистическая традиция немецкой литературы (символами которой для Хессе были Гете, отчасти Г. Келлер), как представлялось писателю, умирали на его глазах. Идеалы гуманизма были, казалось, навсегда потоплены в крови мировой войны. Глубоко любивший культуру прошлого и связанный с ней преемственными связями, Хессе, разумеется, не мог принять наступающий «хаос», воспринятый им как господство разнузданных инстинктов и высвобождение темных иррациональных сил. Просветительская традиция, традиция Гете владела его сознанием слишком сильно. Но, с другой стороны, Хессе, не понимавший истинных исторических причин охватившего Европу хаоса, находился, как и многие его современники, в плену у «философов жизни», у их духовного вождя — Ницше. Не случайно антагонизм «культуры» и «жизни»— основная тема творчества Хессе. Его главнейшие произведения («Степной волк», 1927; «Нарцисс и Гольдмунд», 1930; «Игра в бисер»,

1943) строятся на той же самой антитезе, на противоборстве двух героев, воплощающих одно или другое начало (Нарцисс — Гольдмунд, Кнехт — Дезиньори). Но до самого конца своей жизни Хессе так и не решает этой дилеммы. Разумное и чувственное бытие присутствуют в его романах как два неизбежных, составляющих жизнь и дополняющих друг друга, хотя и антагонистических начала.

Этим и объясняется двойственное отношение Хессе к Достоевскому как пророку «хаоса». Не случайно в статье о «Братьях Карамазовых» Хессе высказывает осторожную надежду на то, что «весь „Закат Европы" возможно осуществится лишь внутренне, лишь в душах одного поколения и окажется лишь переосмыслением отслуживших свой век символов, переоценкой духовных ценностей». Мысль о гибели западной цивилизации, столь близкой сердцу Хессе, страшна для него и постоянно отпугивает его от Достоевского. Это особенно чувствуется в более поздней статье Хессе «Достоевский» (1925) (за эти годы писатель несколько эволюционировал от «хаоса» к «порядку»), где образ Достоевского характеризуется как «любимый и страшный», а сам он назван «ужасным и прекрасным поэтом». Хессе утверждает в этой работе, что читать Достоевского можно лишь в редкие минуты, «когда мы несчастны, когда страдание наше достигло предела, когда весь мир мы воспринимаем как одну жгучую и зияющую рану, когда мы дышим отчаянием и умираем смертью безнадежности». Только так, утверждает Хессе, мы сможем постичь «чудесный смысл созданного им мира, столь пугающего нас и порою адского».

Если Хессе еще колеблется в выборе между «интеллектом» и «жизнью», между культурой прошлого и хаосом будущего, между Гете и Достоевским, то для Стефана Цвейга проблема выбора вообще не возникает. Антитезу рационального и иррационального Цвейг, всегда пытавшийся проникнуть в глубины человеческой души, исследовать самые потаенные ее углы, решает бесповоротно и решает, разумеется, в пользу иррационального. Чрезвычайно восприимчивый к современным ему веяниям, Цвейг испытал воздействие и «философии жизни», и «теории вчувствования», и фрейдизма. Все эти влияния вели его в глубь человеческой психики, в мир подсознательного, к биологическим основам жизни.

На протяжении десяти лет (1914—1923) Цвейг неоднократно обращался к теме «Достоевский». Ему принадлежит ряд статей о русском писателе и стихотворение «Мученик Достоевский. 22 декабря 1849». Статьи Цвейга печатались в годы войны в различных периодических изданиях Германии, образовав впоследствии обширное эссе—«Достоевский». В полном виде это эссе было впервые опубликовано в 1919 г. в книге «Три мастера» (наряду с очерками о Бальзаке и Диккенсе).

В начале книги Цвейг говорит о методе, руководствуясь которым он надеется воссоздать истинный облик Достоевского «из полумрака действительности и загадочности» [409]. Этим методом оказывается «вчувствование», «сопереживание», интуитивное проникновение в жизнь и творчество писателя. «Не по документам, а лишь силой проникновенной любви можно воссоздать его судьбу». Или: «Достоевский — ничто, пока он не воспринят внутренним миром». Или: «... только переживание сближает с Достоевским» и т.д. Предметом своего интуитивно-психологического анализа Цвейг делает не только произведения Достоевского, но и самого писателя, его жизнь и даже его внешний облик, ибо «нет о нем других свидетельств, кроме мистического триединства в духе и во плоти: его облика, его судьбы и его творений».

Все те идеи, которые принесли с собой экспрессионисты, отражены или своеобразно преломлены в работе Цвейга. Но одна проблема явно доминирует над остальными: проблема жизни. С этой точки зрения писатель рассматривает и анализирует явление «Достоевский». То, что Хессе называл «хаосом», Цвейг именует «жизнью», глашатаем, которой он и объявляет Достоевского. И Достоевский, и его герои, по глубокому убеждению Цвейга, «не размещаются спокойно в нашем мире, всегда они спускаются в своих ощущениях в глуби извечных проблем. Современный человек, человек нервов, сочетается в них с первобытным существом, которое знает в жизни только свои страсти, и, делая последние признания, они в то же время косноязычно произносят изначальные вопросы мира». Линия, намеченная в очерке Бара, получает в эссе Цвейга не только свое развитие, но и самое крайнее воплощение.

Объяснить связь Достоевского с «жизнью» Цвейг стремится, оттолкнувшись от анализа эпохи, в которую жил русский писатель. Корни Достоевского лежат, по мнению Цвейга, в русской действительности середины XIX в. Там же Цвейг ищет и прототипов героев Достоевского, столь непривычных для европейского сознания и чуждых ему. Отмечая, что «Россия в середине девятнадцатого столетия не знает, куда направить свои стопы: на запад или на восток, в Европу или в Азию, в Петербург, в „самый умышленный город на всем земном шаре", в культуру, или обратно, к крестьянскому хозяйству, в степь», Цвейг в сущности улавливает основное историческое содержание той эпохи — эпохи, переходной от феодализма и крепостного права к промышленному капитализму. Однако истинного анализа эпохи Цвейг не дает, увлекаясь «вчувствованиями» в русскую действительность середины прошлого столетия, пытаясь передать лишь психологическое содержание «переходности», а не реально-историческое. «Люди Достоевского останутся непонятными, если не вспомнить, что они — русские, дети народа, который из вековой варварской тьмы свалился в гущу нашей европейской культуры. Оторванные от старой патриархальной культуры, еще не освоившиеся с новой, стоят они на распутье 〈...〉 Все они беспочвенны, беспомощны в незнакомом им мире. Все вопросы остаются без ответа, ни одна дорога не проложена. Все они люди переходной эпохи, нового начала мира». «В творчестве Достоевского каждый герой наново решает все проблемы, сам окровавленными руками ставит межевые столбы добра и зла». И вот окончательный вывод, к которому приходит Цвейг: «Его герои прокладывают пути нового мира; роман Достоевского — миф о новом человеке и его рождении из лона русской души».

Так и не освободившись из плена неоромантических представлений о «русской душе», Цвейг дает им совершенно иное осмысление. Характерный для неоромантизма религиозно-мистический момент восприятия России отсутствует в его сочинении о Достоевском. Россия для Цвейга — не страна грядущего Христа, русский человек — не религиозный гармоничный человек, а новое царство — не царство божье, как это представлялось самому Достоевскому. Россия для Цвейга в первую очередь —«живая» страна в противоположность «мертвому» Западу. Книга Цвейга — яркий пример того, как антитеза «цивилизация — жизнь» целиком накладывается на ставшее уже общим местом противопоставление Запада России. Русский человек в интерпретации Цвейга — носитель витального начала, а не религиозного сознания. Таким человеком, по явному произволу писателя, оказывается, в частности, и сам Достоевский.

Жизнь Достоевского, как и любого русского человека переходной эпохи, представляется Цвейгу трагедией. «Я страдаю, следовательно существую»— таков закон, которому, согласно Цвейгу, подчинена жизнь русских людей. Жизнь Достоевского, истории его героев для Цвейга — великие трагедии типа древнегреческих, ибо «трагизм каждого героя Достоевского, каждый разлад и каждый тупик вытекает из судьбы всего народа». Например, Цвейг пишет, что „Карамазовы"— кость от кости греческой трагедии, плоть от плоти шекспировской драмы. Обнаженный стоит в них беззащитный, беспомощный гигант-человек под трагическим небом судьбы».

Как это часто бывало в немецком экспрессионизме, Цвейг превращает жизнь человека в «судьбу». Благодаря «страданию» жизнь каждого человека (русского) становится «судьбой». Сопротивляться ей невозможно: человек не в силах загасить тот «вулканический» огонь, который клокочет внутри его. Единственная возможность победить «судьбу»— склониться перед ней, признать ее неодолимое могущество, покориться беспредельным силам. Человек, говоря иначе, должен признать свою полную («рабскую») зависимость от жизни. Так считает Цвейг. Жизнь Достоевского, по его мнению, иллюстрирует это «освобождение от судьбы». Он, которого особенно беспощадно бичевала «судьба», «благоговейно поднимает руки и свидетельствует святое величие жизни». «Amor fati — любовная преданность судьбе, которую Ницше воспевает как самый плодотворный закон жизни, заставляет его в каждом враждебном акте ощущать лишь избыток, в каждом испытании — благо» и т. д. Общий вывод Цвейга гласит: «Достоевский побеждает судьбу любовью к судьбе». И в этом для Цвейга — смысл жизни самого Достоевского, «значение его судьбы».

Но, как и любая трагедия, жизнь Достоевского, по Цвейгу, не только страдание, но и возвышенное зрелище. Достоевский, каким его воспринимает Цвейг,— это космос, стихия, хаос. Вобрав в себя жизнь со всеми ее противоречиями, Достоевский у Цвейга как бы становится той ареной, на которой идет страшная борьба между антагонистическими началами. Благодаря «вулканизму» своей натуры, Достоевский реализует каждое из присущих ему свойств с невероятной интенсивностью. Он во всем стремится «достигнуть крайнего предела чувств». Таковы, по Цвейгу, и его герои. «Чем больше они неистовствуют в излишествах чувственности и мысли, тем скорее они приближаются к себе». Достоевский для Цвейга —«вечный дуалист»; и потому является великим психологом —«психологом из психологов», что «каждое чувство, каждое побуждение всегда доведено у него до последней глубины, до истоков всякой силы, до последнего противоречия между „я" и миром, между гордостью и смирением, расточительностью и бережливостью, одиночеством и общительностью, центробежной и центростремительной силой, самовозвышением и самоуничижением, между личностью и богом».

Во всем «переступающий границы», Достоевский для Цвейга — уникальный человеческий феномен. Показательно проходящее через всю книгу Цвейга сопоставление Достоевского с Гете, нередкое, как уже указывалось, в критике и литературе тех лет. Гете — спокойный («холодный») олимпиец, стремящийся к гармонии и порядку, Достоевский — страстный и темпераментный «сверхчеловек», воплотивший в себе весь мир противоречий, хаос,— такова суть этого сопоставления. «Гете стремится к антично-аполлоновскому, Достоевский — к дионисийскому идеалу. Он желает быть не богоподобным олимпийцем, а всего лишь — сильным человеком. Его мораль направлена не к классицизму, не к норме, а только к интенсивности». В отличие от Гете Достоевский —«олицетворенный контраст».

Совершенно очевидно, что и для Цвейга Достоевский — не писатель, не художник, а учитель жизни и оракул. «Не будем называть их романами,— говорит Цвейг о произведениях Достоевского,— не будем применять к ним эпическую мерку: они давно уже не литература, а какие-то тайные знаки, пророческие звуки, прелюдии и пророчества мифа о новом человеке». Как и Хессе, Цвейг оценивает Достоевского, исходя из запросов современной ему духовной жизни, и также приходит к выводу, что Достоевский — самый актуальный для Запада из всех мировых писателей. Ибо «он первый подал нам ту весть о человеке, которую мы сами воплощаем в себе...»

Как и этика экспрессионистов, точка зрения Цвейга, несомненно, формировалась под влиянием событий первой мировой войны. Апеллируя к Достоевскому, экспрессионисты и Цвейг как бы стремились видеть в русских не врагов, а братьев, в русской душе — не чуждую душу, а «фрагмент мировой души». «И как раз в недавней войне,— пишет Цвейг,— мы почувствовали, что все, что мы знаем о России, мы знаем через него, и он дал нам возможность ощутить в этой враждебной стране братскую душу».

Именно витальная мощь, «сверхестественная полнота действительности» помогли, по Цвейгу, и самому Достоевскому достичь «всечеловечества», к которому русский писатель приходит, якобы реализуя противоречие между «самоуничижением и самомнением». Противоречие, разумеется, мнимое, но именно на нем настаивает Цвейг, у которого дуализм мышления, свойственный русскому писателю, абсолютизируется и превращается в животворное начало и источник творчества. В результате — парадоксальный вывод: лишь через самоустранение достигает Достоевский самоутверждения, лишь полностью подавляя себя как личность, он поднимается до всечеловеческого.

Впрочем, это «созидание нравственного идеала из самоуничижения», которое приписывает Достоевскому Цвейг, становится до конца понятным лишь через всю ту же антитезу «Россия — Запад». В статье о «Братьях Карамазовых» Хессе, говоря о русском человеке, отмечал как отличительную его черту «способность раствориться, скрыться за занавесом и, преодолев principium individuationis, вернуться на другую сторону». Достоевский, по Цвейгу,—«величайший индивидуалист». Но для Цвейга, как и для Хессе, индивидуализм, бесспорно,— черта «западная». И потому, чтобы

создать русского «всечеловека», Достоевский у Цвейга уничтожает себя как «западного индивидуалиста». Достоевский жертвует собственной личностью «ради нового человечества» и создает образы этих «новых людей»— Мышкина, Зосиму, Алешу Карамазова. Все эти герои, согласно концепции Цвейга,— прямая противоположность самому Достоевскому. «Он — разлад, дуализм; они — гармония, цельность. Он — индивидуалист, замкнутый в себе; они — „всечеловеки", их существо до краев наполнено богом». Впрочем, миссия этих героев-«всечеловеков» заключается, по Цвейгу, в том же, к чему сводились и все сознательные или невольные усилия самого Достоевского: к прославлению жизни. Не случайно «последнее слово Достоевского»— это «слово Алеши к детям в речи у большого камня, святой варварский клич: „Как хороша жизнь!"»

Эссе Цвейга о Достоевском — наиболее обширное и наиболее цельное на немецком языке изложение жизни и творчества Достоевского с позиций «философии жизни». Невозможно, разумеется, согласиться со всем тем, что пишет о Достоевском Цвейг. Пересказывая биографию Достоевского, Цвейг, стремящийся любой, даже малозначительный факт жизни писателя изобразить как «перст судьбы», допускает передержки, неточности и просто ошибки. На некоторые из них справедливо указывает В. А. Десницкий во вступительной статье к цитируемому изданию книги. Но, разумеется, несостоятельность работы Цвейга обусловлена не отдельными фактическими ошибками, а общей ее направленностью, ее методом («вчувствование») и центральной идеей («жизнь»). Патетическое и страстное повествование Цвейга — это рассказ о вымышленном Достоевском, миф о русском писателе как «человеке-вулкане», якобы обнажившим изначальные глубины бытия. Это подчеркивает и Десницкий. «Ст. Цвейг, как и громадное большинство западноевропейских критиков и историков литературы, писавших о Достоевском, не изучает его объективно, а творит легенду о нем, воспринимает его как святого и пророка, ищет в нем созвучия и подкрепления своим философским и социальным воззрениям, утверждение своему мироощущению, своему восприятию современной культуры».

Миф о Достоевском — таков общий результат модернистского восприятия русского писателя в Германии за 25 лет. К 1921 г. миф этот получает в Германии всеобщее распространение. Значение, которое приобрел для Германии Достоевский в 1910—1921 гг., точно и выразительно формулирует Вассерман в упоминавшейся выше статье, приуроченной к юбилею русского писателя в 1921 г.

«Редко случалось, чтобы один-единственный человек, не будучи основоположником религии или покорителем мира, произвел столь значительные изменения в психологической ситуации нескольких поколений. Благодаря ему судьба стала ближе, ощутимее, реальнее; он открыл отношения и соответствия внутреннего мира, которые были не известны раньше; он порвал старые связи и установил новые; он поднял на уровень рока сознание человека своего и последующего времени 〈...〉 Тот, кто не пережил творения этого человека с полной самоотдачей, кто не прошел через них со смирением, восхищением или ужасом, тот ничего не знает о муках жизни и страданиях духа, о надвигающемся мраке и опасностях, еще угрожающих нашему миру» [410].

VI. ДОСТОЕВСКИЙ В СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ И РАБОЧЕЙ ПЕЧАТИ

Интерес к Достоевскому в социалистической и рабочей печати Германии возникает примерно с середины 80-х годов, когда «восприятие русской литературы и искусства рабочим классом» становится «самостоятельным направлением» [411]. В обстановке обострившихся классовых противоречий 80—90-х годов значительно возрастает и роль литературы как важного идеологического оружия в освободительной борьбе пролетариата. В ходе классовой борьбы на идеологическом фронте зарождалась и формировалась эстетическая мысль немецкой социал-демократии. Выдающимся ее представителем в конце XIX в. был Франц Меринг. В основу эстетических воззрений Меринга легло марксистское положение о социальной природе искусства, о том,

что «литературно-художественное творчество определяется, в конечном счете, борьбой ⟨...⟩ народов за свое экономическое развитие»[412]. Меринг решительно отвергает тезис идеалистической эстетики о так называемом «чистом искусстве». «Писатели и художники не падают с неба и не витают в облаках,— утверждает он, — напротив, они живут в самой гуще классовых боев своего народа и своего времени». Отсюда вытекает другое важнейшее положение социал-демократической эстетики — положение о классовом характере искусства. Как отмечает Меринг, влияние классовых боев «на отдельные умы проявляется очень различно, но остаться в стороне от них не может никто». Рассматривая с этих позиций немецкую классическую литературу, критик-марксист приходит к выводу о том, что она является «отражением борьбы немецкого бюргерства за свое освобождение». Классовым принципом руководствуется Меринг в оценках и современной ему немецкой литературы — натурализма, где он различает «отсвет, который бросает на искусство все сильнее разгорающееся пламя рабочего движения». Известно, что в 80-е годы наиболее радикально настроенные представители натурализма примкнули к рабочему движению и были активными членами социал-демократической партии. Так, видный теоретик натурализма Эдгар Штейгер был редактором литературного партийного журнала «Die neue Welt». Однако союз этот оказался непрочным. «Революционность» натуралистов носила ярко выраженный мелкобуржуазный характер, что привело их к разрыву с партией. Существенными были и разногласия во взглядах на литературу и искусство, которые вылились в двухдневную дискуссию на Готском партийном съезде (1896).

Дискуссия о натурализме, как отмечают современные исследователи ГДР, имела «большое значение для оценки русской литературы и особенно Толстого и Достоевского»[413]. Поводом к ней послужило заявление Штейгера о том, что натурализм — это и есть новое подлинно революционное искусство, по сравнению с которым классическое искусство теряет свою ценность, устаревает. Точка зрения Штейгера была отвергнута в ходе дискуссии большинством делегатов съезда. Итоги литературных дебатов подвел Меринг в статье «Искусство и пролетариат» (1896). Нисколько не умаляя значения натурализма как «взбунтовавшегося искусства», он вместе с тем подчеркнул его буржуазный характер. «Истоки этого искусства,— как сказано в названной статье,— в буржуазной среде, и оно представляет собою отсвет неудержимого распада, воспроизводимого им довольно верно». Оно «насквозь пессимистично в том смысле, что в бедствиях современности видит одни только бедствия».

Меринг указывает тем самым на главный недостаток натурализма, на его неспособность постичь общие закономерности общественного развития. В силу ограниченности мировоззрения натуралисты крайне упрощали задачу реализма, критерием которого они считали, по выражению Меринга, «буквальное соответствие натуре». Неумение натуралистов «отличать существенное от несущественного»[414] отмечал в статье (1885) о романе Чернышевского «Что делать?» и А. Бебель, один из вождей немецкой социал-демократии и выдающийся публицист. Таким образом, рассматривая натурализм и классическое искусство с точки зрения их актуальности для борьбы пролетариата, Меринг, как впрочем и другие лидеры левой социал-демократии, отдавал предпочтение последнему. Ибо в нем он находил «то смелое боевое начало, которое для сознательного пролетариата является жизнью жизни».

В этой связи обращение немецкой социал-демократии к русской классической литературе, теснейшим образом связанной с освободительным движением в России, было вполне закономерным. Меринг рассматривал русскую литературу как ключ к пониманию русской истории. «О вступлении великой нации в современный этап исторической жизни,— писал он,— всегда, прежде всего, возвещает ее литература. Как французскую историю XVIII в. изучают по сочинениям Дидро, Вольтера и Руссо, а историю Германии того же периода — по сочинениям Лессинга, Гете и Шиллера, так и русскую историю XIX в. можно изучать по сочинениям Белинского, Достоевского и Толстого». Ценность русской классической литературы (а следовательно, и ее крупнейшего представителя — Достоевского) для немецкого пролетариата состоит, по Мерингу, в том, что в ней грядущий исторический переворот «уже предвозвещен сотнями голосов». Не случайно в немецкой рабочей среде особой популярностью

пользовались романы, повествующие о «движении народников» (т. е. о движении разночинцев, к которым причислялись и герои «Преступления и наказания» Достоевского) [415]. Поэтому вплоть до начала XX в. социал-демократическая печать уделяет главное внимание «Раскольникову». В 1888—1889 гг. роман печатался в центральной газете «Berliner Volksblatt» (в переводе Генкеля). В социалистической прессе неоднократно рецензировались спектакли по пьесе Цабеля и Коппеля «Раскольников», которая, судя по всему, заинтересовала рабочего зрителя. Газеты и журналы печатали также и другие произведения Достоевского, как правило, небольшие по объему — «Елка и свадьба» (1897), «Белые ночи» и «Честный вор» (1903), «Столетняя» (1892), «Мальчик у Христа на елке» (1893, 1911), отрывки из «Записок из Мертвого дома» (1901, 1915) — произведения, которые привлекали рабочего читателя демократической тематикой, горячей симпатией писателя к угнетенному народу. Социал-демократическая критика проявляла интерес и к личной судьбе Достоевского, освещая в первую очередь те факты его жизни, которые свидетельствовали о жестокости и произволе русского самодержавия. В 1891 г. рабочая газета «Vorwärts», редактируемая В. Либкнехтом, рассказала об «Одном эпизоде юности Достоевского»— казни над петрашевцами, озаглавив его «Перед лицом смерти» [416].

Начало освоения Достоевского в социалистической и рабочей печати Германии было положено журналом «Die neue Zeit»— теоретическим органом немецкой социал-демократии, сплотившем в 80—90-е годы ее марксистское ядро. Постоянными сотрудниками журнала были Бебель, Либкнехт, Меринг, на его страницах печатались Плеханов и Поль Лафарг. Непосредственное участие в «Die neue Zeit» принимал Ф. Энгельс, его «верный друг, советник и сотрудник» [417].

Журнал развернул активную работу по пропаганде русской классической литературы среди немецких трудящихся. Там публиковались и обсуждались произведения Тургенева и Салтыкова-Щедрина, Чехова и Горького, Чернышевского и Успенского, Толстого и Достоевского.

В 1895 г. в «Die neue Zeit» был помещен отрывок из «Братьев Карамазовых»— «Легенда о Великом инквизиторе». Значительно раньше, в 1884 г., там появилась статья о «Преступлении и наказании» («Об одном русском романе»). Ее автором был Р. Швейхель, нередко печатавшийся под псевдонимом Rosus [418]. Роберт Швейхель (1821—1907) — характерный представитель демократической литературы Германии второй половины XIX в. «В литературной истории немецкого рабочего класса он имеет обеспеченное место, как его имеет Веерт»,— писал о нем Меринг [419]. Швейхель был одним из ведущих литературных критиков журнала «Die neue Zeit» с момента его основания (1883) до 900-х годов. Значительный удельный вес в критическом наследии Швейхеля имеют статьи о русской литературе, среди них —«Русский Гамлет» (1884) о романе Тургенева «Новь», «Крейцерова соната» Толстого» (1891), «Лев Толстой. „Воскресение"» (1899).

В 1887 г. Швейхель выступил на страницах «Die neue Zeit» с обстоятельным очерком «Русский и французский натуралистический роман» [420], что явилось своеобразным откликом на книгу Вогюэ «Русский роман». Хотя в очерке и сказалось не всегда благотворное влияние французского критика, в целом концепция русского реализма у Швейхеля вполне самостоятельна. Руководствуясь принципом историзма, критик-социалист выдвигает на первый план социально-критическую направленность русской литературы. Если Герцен назвал «Мертвые души» «историей болезни», то Швейхель заимствует эти слова для характеристики всей русской литературы, начиная с Гоголя. «Болезнь» в его понимании — это кризис одряхлевшей и прогнившей российской монархии.

«Никто,— отмечает Швейхель,— не сумел с такой потрясающей правдивостью изобразить проявление этой болезни, как это сделал Достоевский в своем „Раскольникове"» [421]. Одним из наиболее серьезных симптомов болезни русского общества Швейхель считает «нигилизм». К летописи «нигилизма» он относит наряду с тургеневской «Новью», романом Чернышевского «Что делать?» и «Преступление и наказание». «Для истории нигилизма,— как он полагает,— знать этот своеобразный роман столь же необходимо, как и последнее произведение Тургенева „Новь"». Понятие

«нигилизм» Швейхель не дифференцирует, хотя и подчеркивает, что у Достоевского и Чернышевского «нигилизм» проявляется совершенно по-разному. Более определенно критик высказался по поводу романа «Бесы». «Нигилизм» изображен в этом романе, по его словам, односторонне, потому что Достоевский не принял во внимание «политическую тенденцию» этого движения, направленную против «деспотизма», потому что среди его «нигилистов» «нет людей, увлеченных идеей и готовых отдать за нее жизнь» [422].

В статье «Об одном русском романе» Швейхель справедливо отвергает «поверхностный» взгляд на «Раскольникова» как на криминальный роман: «Значение романа состоит не в самом преступлении, а в его мотивах...» И автор стремится прежде всего уяснить себе, как Раскольников —«этот культурный молодой человек, воспитанный в нежной любви, ведущий безукоризненно нравственный образ жизни, нередко жертвующий последней копейкой, чтобы помочь другим,— решается убить старую женщину с целью грабежа». Швейхель принимает во внимание унизительную бедность Раскольникова, тяжелое положение его семьи. Однако основную причину преступления он, в отличие от натуралистов, видит не в условиях среды, а в «софистической, ниспровергающей все моральные устои» теории Раскольникова о неравенстве людей. («Ее возникновение,— продолжает Швейхель,— можно объяснить односторонним взглядом на историю, ложным истолкованием прав человека, но только при учете крайне нездоровых социальных и политических условий жизни, которые воздействуют на одаренного и восприимчивого человека — а таковым и является Раскольников,—необычайно глубоко и болезненно».) Символическая картина больной русской действительности запечатлена, как считает Швейхель, в кошмарном сне Раскольникова — сцене зверского избиения тощей лошаденки. Эта сцена подтверждает ему ужасающую реальность Раскольникова с его «теорией», «порочного и ничтожного» Свидригайлова с его «небывалым цинизмом» и Лужина с его демагогическими рассуждениями о любви к ближнему, которая якобы противоречит экономической справедливости. И Швейхель заключает: «Яснее выразить софистическую основу экономической политики манчестерства просто невозможно». Совершив убийство, Раскольников, по мнению критика, вовсе не раскаивается. Его лишь мучает сознание того, что он «сделан из другого материала, чем властители мира» [423].

Однако в эпилоге романа, как его истолковывает Швейхель, намечается «возрождение» Раскольникова, в нем пробуждается стремление «проповедовать евангелие любви». Скептически восприняв финал «Преступления и наказания», критик находит ему аналогию в романе Ч. Кингсли «Олтон Локк», где активный чартист становится сторонником христианского социализма. По его мнению, Достоевского и Кингсли сближают утопические надежды на «религиозное разрешение социального вопроса». «Оба,— пишет Швейхель,— путают причину со следствием, оба не хотят признать, что зло коренится в экономических и политических условиях времени...» [424] Ветеран революции 1848 г., ближайший соратник В. Либкнехта, Швейхель отвергает религиозно-утопические концепции Достоевского, будучи убежденным в том, что «свободу народам не дарят, они должны ее завоевать» [425]. Но это не помешало ему по достоинству оценить «Раскольникова»; он признавал этот роман шедевром писателя. Непреходящее значение великих русских реалистов, и в их числе — Достоевского, Швейхель видел в том, что они «открыто заявили» о «банкротстве господствующих классов» [426]. В статье о «Преступлении и наказании» Швейхель дал прообраз марксистского анализа одного из самых значительных произведений Достоевского, и в этом его бесспорная заслуга.

В конце XIX в. немецкая социал-демократия вступает в полосу кризиса, вызванного многочисленными попытками ревизовать философское учение Маркса, выхолостить его революционное содержание. В социал-демократической партии Германии усиливается оппортунизм (в связи с ростом рабочей аристократии и активизацией мелкобуржуазных элементов). Оппортунизм проявил себя, в частности, в полуанархистском течении «молодых». Вульгаризация марксизма, ревизионистская идеология не могли не сказаться на оценке явлений литературы, в том числе и наследия Достоевского.

В 1901 г. журнал «Sozialistische Monatshefte» (редактируемый Э. Бернштейном) поместил в январском номере к 20-летию со дня смерти Достоевского его портрет, выполненный французским художником Феликсом Валлотоном. В этом же номере была

опубликована статья «Раскольников» с подзаголовком «К портрету Достоевского» [427]. На сей раз рецензентом романа «Преступление и наказание» был видный деятель немецкой социал-демократии Курт Эйснер (1867—1919), в будущем — первый премьер-министр Баварской республики. В статье Эйснера — и в этом ее существенный недостаток — роман Достоевского оценен весьма заниженно. «Преступление и наказание» Эйснер понимает как «психологическую мелодраму», а «изображение социальной нищеты в России» представляется ему лишь фоном. Конфликт романа он считает надуманным, «утопичным», «изготовленным в реторте», а Достоевского — натуралистом, изображающим невероятное, по меньшей мере, исключительное. «В литературе нет другого произведения,—уверяет критик,—где страх преступника перед разоблачением был бы показан с такой же утонченной жестокостью и демонической силой. В этом романе немало страниц, где в каждом предложении сконцентрирована целая трагедия. В Достоевском стал художником судья-инквизитор, наблюдающий словно в колбе все процессы лихорадочно возбужденного сознания и направляющий их». Почти все замечания Эйснера ограничены сферой психологии. Даже «теорию» Раскольникова он не ставит в зависимость от общественных условий, а рассматривает как «болезненную навязчивую идею». Но при этом Эйснер безошибочно угадывает «подлых развратников из класса имущих, которые привносят порок даже в мир отверженных». Однако в целом социально-критический пафос романа Достоевского Эйснер не оценил. «Преступление и наказание» он объявляет «ранним изданием» «Воскресения» Толстого на том основании, что якобы за время, разделяющее эти два произведения, «тенденция великого русского искусства не изменилась». «Вместо того, чтобы искать решения, приемлемого для всех людей,— справедливо упрекает Эйснер Достоевского и Толстого,— оба прибегают к идее спасения». Эйснер приходит к выводу, что «Раскольников» — «книга, опасная для молодежи».

В свою бытность социал-демократом выступал в качестве критика Достоевского писатель и драматург Пауль Эрнст (1866—1933), принадлежавший к левацкой группировке «молодых». Его ранние статьи о Достоевском — «Федор Достоевский» (1889) и «О технике Достоевского» (1890) были им позже (около 1900) объединены и вошли в его книгу «Мысли о мировой литературе. Статьи». В основе критических суждений Эрнста о Достоевском лежит вульгарно-механистическое понимание марксизма, сдобренное к тому же идеями о пресловутой патриархальности России. Он уверенно заявляет, что в России «нет классовых противоречий ⟨...⟩ в полном смысле, а потому нет активного движения вперед; нет ⟨...⟩ борьбы идеалов и мировоззрений, конфликта аристократических и демократических идей и устремлений: там царит полная неподвижность». Что же касается Достоевского, то его творчество Эрнст расценивает как идеализацию недостойной «обломовщины», то есть «полной пассивности» [428]. Не менее обескураживающую характеристику дал Эрнст Ибсену, творчество которого он, нимало не смущаясь, назвал мещанским. В ответ на это последовала, как известно, уничтожающая критика Энгельса в его письме к Паулю Эрнсту 5 июня 1890 г. В другом письме Энгельс с иронией говорит о нем, как о критике, «обладающем такой богатой фантазией, что не может прочесть ни строчки без того, чтобы не вычитать совершенно противоположное сказанному...» [429] Критические выступления Эрнста на раннем этапе социал-демократической трактовки Достоевского все же сыграли определенную роль. Он одним из первых обратил внимание на композиционное мастерство Достоевского, в частности, в романе «Преступление и наказание», и посвятил этому вопросу отдельную статью. Подобного рода суждения о русском писателе появлялись в Германии 80-х и 90-х годов крайне редко. В своей статье Эрнст прямо заявляет: «Даже какой-нибудь Аристотель романа мог бы найти у Достоевского великолепные образцы создания художественного произведения». Критик подчеркнул новаторство Достоевского-художника, который «сделал целый шаг вперед там, где французские реалисты сделали его наполовину» [430].

В 1916 г., в разгар войны, на страницах «Frankfurter Zeitung» со статьей, озаглавленной «Заблуждение Достоевского» выступил Отто Каус [431]. Каус серьезно и основательно изучал творчество Достоевского, читал о нем курсы в учебных заведениях [432]. Значение работ Кауса о Достоевском заключается в том, что он подверг основатель-

ной критике модернистские концепции творчества русского писателя. Кампман с полным основанием аттестовал Кауса как «самого радикального противника романтической рецепции Достоевского» [433]. Статья Кауса была ответом тем критикам, которые, затрагивая славянофильские идеи Достоевского, использовали их для разжигания межнациональной вражды. Наметившуюся здесь в общих чертах концепцию мировоззрения Достоевского Каус развивает в книге «Достоевский. Критика личности», вышедшей в том же 1916 г. в издательстве Пипера [434].

Основная проблема, которую ставит перед собой Каус, сформулирована на первых страницах его книги и гласит: «Связь между мировоззрением Достоевского и его искусством...» Каус отдает себе отчет в сложности задачи, считая ее «самым щекотливым вопросом». Тенденцию буржуазной критики Достоевского «приклеивать художнику ярлык европейца, политику — ярлык азиата» он отбрасывает. В случае с Достоевским, как отмечает Каус, «удобное разделение на „художника" и „мыслителя" неуместно». Противоречие между Достоевским-художником и Достоевским-мыслителем, по мнению Кауса, вторично: «Против Достоевского-художника у нас должны возникать те же самые чувства, что и против Достоевского-политика», поскольку и тот и другой «несут в себе то же самое идейное и эмоциональное содержание». Иными словами, противоречиво само мировоззрение Достоевского.

Обращенность к современности Каус считает «основополагающим принципом творчества Достоевского». Достоевский, по его мнению, мастер социальной характеристики. В его произведениях нет «ни одного человека, который не был бы отмечен неизгладимой печатью своей социальной принадлежности». На материале русской действительности Достоевский стремился разрешить «загадку», которая «мучила европейскую душу со времен французской революции». И Каус приходил к следующему выводу: «Достоевский для нас — не „христианский гений", не „национальный писатель"; Достоевский является для нас, в конечном счете, героем социальных битв XIX в.» В более поздней книге «Достоевский и его судьба» (1923) Каус истолковал русского писателя как «летописца капиталистического человека, который после краха феодальной системы стремительно возвышается и процветает в социальной среде, где еще сильна инерция средневековья» [435]. Писатель боролся против буржуазии за идеалы «четвертого сословия». Его цель, по словам критика, «идентична» целям коммунизма, т. е. устранению всякой экономической и социальной иерархии. Таков, в целом, у Кауса облик Достоевского-«интернационалиста».

«Панславизм», продолжает Каус, с одной стороны, противоречит «интернационализму» писателя, но, с другой стороны, является его следствием, поскольку «панславизм» — это есть та форма, в которую облачается его «коммунистический» идеал. Спрашивается, почему этой формой стал «панславизм»? Тут, как считает Каус, раскрывается «великое заблуждение» Достоевского, а оно состоит в том, что «Россия может миновать период капитализма». Каус резко отграничивает «панславизм» Достоевского от современного «панславизма» XX в. Если первый был орудием борьбы против буржуазии, то последний насквозь буржуазен. Современные панслависты, поясняет критик,— это «крупные промышленники, торговцы и банкиры», т. е. представители тех сил, которые олицетворяли для Достоевского ненавистную ему буржуазную цивилизацию и которым он противопоставил своего «мужика». Отсюда возникает «резкий контраст между художником и политиком, когда последний хотел бы отвергнуть то, что должен утверждать первый». Художник в Достоевском видел наступление капитализма в России, «политик же отрицает эту реальность».

Характерная черта мировоззрения Достоевского — «принципиальный консерватизм». Каус объясняет его сложностью социальной действительности в России, которую привнес в нее капитализм. Достоевский боролся против буржуазии в условиях, когда господствовало дворянство, или, по словам Кауса, против «завтрашних властителей, а не против сегодняшних». Поэтому у него появляется «странная тенденция» поддерживать «сегодняшних властителей», и он впадает в крайность, идеализируя монархию и церковь, крайность, которую критик назвал «ретроспективной романтикой». В то же время он отмечает, что идеал царя у Достоевского опровергает существующую реально монархию, что его христианский идеал никак не совпадает с церковной

догмой. Христос Достоевского, утверждает Каус, не национален, ибо в нем воплощены «определенные этические и социальные идеалы». А христианство Достоевского — это не более и не менее как «замаскированный марксизм, марксизм, который уже находится по ту сторону всякого материализма». Так замыкается круг рассуждений Кауса. От Достоевского — врага буржуазии и писателя «коммунистического» идеала через Достоевского- «панслависта» и «консерватора» он возвращается к Достоевскому-«марксисту».

Книга Кауса содержит ряд мыслей и замечаний, которые не утратили своей актуальности и по сей день, но ей явно вредит резкая прямолинейность выводов. Она усугубляется абстрактностью тех ключевых понятий, которыми по-экспрессионистски размашисто пользуется Каус. Что такое у него коммунизм или марксизм, понять непросто. Марксизм, если он по ту сторону материализма, уже не марксизм, а коммунизм, основанный на христианстве, уже не коммунизм. Все же эти крайности Кауса не умаляют достоинства его книги, представляющей собой раннюю попытку конкретно-исторического анализа мировоззрения Достоевского.

Против буржуазных и ревизионистских теорий о Достоевском в Германии активно выступила левая социал-демократия, и прежде всего ее вожди Карл Либкнехт и Роза Люксембург, которые развивали и отстаивали подлинно революционный, классовый взгляд на его творчество. Русской литературе посвятила ряд статей Роза Люксембург, крупнейший теоретик левых немецких социал-демократов. «Отличительная особенность этой столь стремительно расцветшей русской литературы состоит в том, что она возникла из оппозиции к существующему режиму, из духа борьбы», — утверждала Р. Люксембург. «Именно художественная литература завоевала для полуазиатского и деспотического государства место в мировой культуре, пробила возведенную самодержавием китайскую стену и построила мост между Россией и Западом...» И как бы в пику буржуазной критике, обращавшейся к русской литературе чаще всего для того, чтобы проиллюстрировать миф о пропасти, отделяющей Россию от Запада, Р. Люксембург приводит в подтверждение своей мысли имена трех русских писателей: Гоголя, Толстого и Достоевского.

Русская литература, пишет Р. Люксембург, никогда «не отрекалась от социальной ответственности». Однако было бы неверно рассматривать все русское искусство как тенденциозное. «Неверно также считать всех русских писателей революционерами или даже, на худой конец, прогрессистами». Р. Люксембург пытается раскрыть это положение на примерах Толстого и Достоевского.

«Достоевский, особенно в своих позднейших сочинениях,— ярко выраженный реакционер, благочестивый мистик, ненавидящий социалистов. Его образы русских революционеров являются злобными карикатурами. На мистических поучениях Толстого, во всяком случае, лежит отзвук реакционных тенденций. И все же оба они потрясают, возвышают, внутренне очищают нас своими произведениями. И это потому, что реакционны отнюдь не их исходные позиции, что их мыслями и чувствами владеют не социальная ненависть, жестокосердие, классовый эгоизм, приверженность к существующему порядку, а, наоборот, добросердечие, любовь к человеку и глубочайшее чувство ответственности за социальную несправедливость. Именно реакционер Достоевский выступил в искусстве защитником „униженных и оскорбленных“, как гласит название одного из созданных им произведений. И только выводы, к которым каждый по-своему приходят и Толстой и Достоевский, только тот выход из социального лабиринта, который они надеются найти, ведет на ложные тропинки мистики и аскетизма. Однако у истинного художника социальный рецепт, предлагаемый им, является делом второстепенным: решающую роль играет источник его искусства, его животворный дух, а не сознательно поставленная им себе цель».

Из приведенного отрывка следует, что Р. Люксембург рассматривает Достоевского-художника и Достоевского-философа как единое явление, не противопоставляя их друг другу, как это было принято во всей домарксистской критике. И тем не менее, проблема здесь лишь поставлена, лишь намечена, но никак не раскрыта. Слова о «животворном духе», не проясненные конкретно-исторически, повисают в воздухе. Они явно расходятся с тем возвеличиванием идейности, которым проникнута вся статья

«Душа русской литературы». Р. Люксембург допускает методологический просчет: она ставит гуманизм писателя выше его общественной позиции. Однако в целом творчество Достоевского для нее не столько проявление абстрактного «животворного духа», сколько мучительная попытка разрешить вполне конкретные социальные загадки современности. Так, Достоевский, согласно Р. Люксембург, глубоко постиг общественную природу преступления. Он досконально исследовал душу преступника и показал, что убийца — это прежде всего социальная жертва. Подробно и со свойственной ей как критику эмоциональностью Р. Люксембург обосновывает эту мысль:

«Достоевский был потрясен до глубины души самим фактом, что человек может убить человека, что это совершается ежедневно вокруг нас, в нашей „цивилизованной" среде, за стеной нашего обывательского мирного дома. Подобно тому, как Гамлет, узнав о преступлении своей матери, постигает, что порваны все человеческие связи и мир вышел из колеи, так и Достоевский в убийстве человека человеком видит преступление, означающее, что „распалась связь времен". Достоевский не находит покоя, он чувствует, что бремя ответственности за это преступление лежит на нем и на каждом из нас ⟨...⟩ Кто хоть раз пережил его Раскольникова, допрос Мити Карамазова в ночь после убийства отца, кто пережил „Записки из Мертвого дома", тот никогда больше не сможет укрыться, как улитка, в раковину филистерства и самодовольного эгоизма. Романы Достоевского — жесточайшее обвинение, брошенное в лицо буржуазному обществу: истинный убийца, губитель душ человеческих — это ты» [436].

Можно, не преувеличивая, утверждать, что данный отрывок — самый проникновенный, самый взволнованный отклик на Достоевского-реалиста, Достоевского-общественного обвинителя, прозвучавший в Германии за почти четыре десятилетия.

С творчеством Достоевского был знаком и вождь левых немецких социалистов, один из основателей Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт. В одном из писем от декабря 1917 года Либкнехт рассказывает: «Я читал Достоевского: и вновь впечатление чего-то совершенно неповторимого. Титаническая сила в изображении самых запутанных, самых несходных судеб, характеров и социальных отношений, в столкновении самых разнообразных элементов, связанных в одно единое целое, проступает в этой книге еще сильнее, чем в „Раскольникове" или „Братьях Карамазовых"» [437]. Этот восторженный отзыв Либкнехта вызван его знакомством с романом «Идиот».

Однако несомненно, что Либкнехт хорошо знал Достоевского уже задолго до этого. В одной из своих адвокатских речей (23 июля 1904 г.), защищая на кенигсбергском процессе революционеров, переправлявших нелегальную литературу в Россию, Либкнехт цитирует Достоевского и пытается сделать русского писателя своим союзником: «Нам всем известны волнующие картины в „Записках из Мертвого дома" Достоевского. В этом произведении Достоевский со свойственной ему язвительно-саркастической манерой различает тех, которые думают, будто они научились „разрешать загадку жизни" и тем самым мирятся с российским варварством, и тех, которые не в состоянии с ним смириться. Стоит ли сомневаться в том, что эти последние — лучше, что они — самые лучшие. Именно те мужчины и женщины, которые совершают преступления, оказываются наиболее чувствительными душами; именно благородные порывы их душ толкают их на это. Все политические преступления в России — это поступки, вызванные отчаянием» [438]. Совершенно очевидно, что Либкнехт превыше всего ценит в Достоевском его нетерпимое отношение к действительности, его нежелание «мириться с варварством». По существу К. Либкнехт рассматривает творчество Достоевского как проявление антибуржуазного мятежного духа. И у Р. Люксембург (писавшей, что Достоевский «пробуждает нас от тупого равнодушия цивилизованных эгоистов»), и у К. Либкнехта русский писатель предстает как заклятый враг мещанства, как воинствующий антифилистер.

Октябрьская революция в России значительно усилила интерес, проявляемый к Достоевскому в Германии, где в это время по широте воздействия он уже соперничает с немецкими классиками. 1917 год закрепляет за Достоевским репутацию «пророка русской революции». Однако эта репутация таила в себе двойственность, ибо двойственным было восприятие самой революции. О ней судили по книгам Достоевского и расценивали ее прежде всего как чисто духовное (а не социальное) явление. Распрост-

раненность этой точки зрения подтверждают слова Анны Зегерс — свидетельство целого поколения. «По романам Достоевского,— вспоминает писательница, — мы представляли себе охваченное брожением общество России, откуда уже доносились революционные раскаты. (Битва, которую вела Октябрьская революция, еще не была закончена, когда мы читали эти романы.) Но в то же время мы видели в них и отдельного человека, освещенного ярким светом. Он был необычайно возвышен в своем величии и безмерно унижен в своей порочности и нищете. Мы думали, что такие люди, с чудовищным накалом страстей, неудержимо стремящиеся к бурному самоизвержению,— обычное явление в русской жизни, что такие люди не встречаются в других народах. Русские люди, как мы тогда считали, обладают великими страстями, которые влекут за собой великие последствия. Мы сравнивали их с нашим худосочным мелкобуржуазным племенем, не способным ни на сильное чувство, ни на бурный порыв». Судя по высказыванию Зегерс, революция существенно изменила представление о русском человеке у Достоевского как о пассивной и смиренной «русской душе». В творчестве Достоевского Зегерс безошибочно, хотя и смутно, угадала пафос активного протеста,— тот же самый пафос, который привлекал ее и в Шиллере. Для Зегерс Достоевский и тираноборец Шиллер оказались родственными по духу писателями. «Влечение к Шиллеру и влечение к Достоевскому,— отмечает Зегерс,— я разделяла со многими своими сверстниками» [439].

С 1918 г. центром демократической трактовки Достоевского становится газета «Rote Fahne» — главный печатный орган немецких коммунистов и рабочих, основанный К. Либкнехтом и Р. Люксембург. Критики из «Rote Fahne» стремятся создать Достоевскому «пролетарскую революционную репутацию». Лу Мертен, одна из ранних интерпретаторов Достоевского в «Rote Fahne», говорит в своих статьях о народности его творчества. Однако Мертен упрощает марксизм. Так, понятие «народность» она истолковывает абстрактно, как воплощение спонтанных творческих сил народа. Тем самым писатель из сознательного и активного носителя народного протеста превращается в пассивное орудие этих сил. Значительно конкретнее высказывается о «народности» Достоевского другой критик из «Rote Fahne» — Гертруда Александер. Народность, по ее мнению, выражается главным образом в критике отрицательных явлений жизни. Критик не закрывает глаза на противоречия Достоевского, но объясняет их его «типично русскими чертами». При всех своих противоречиях Достоевский был в глазах Александер великим писателем и стоял рядом с Гете, Гейне, Бальзаком, Данте и Сервантесом. По ее убеждению, величие русского писателя заключается в том, что он «провозвестник, глашатай новых, рвущихся наружу сил русского народа, сумевшего ему же, Достоевскому, наперекор осуществить социальную революцию».

Александер выдвинула свой взгляд на личность Достоевского, выделяя в ней «антибуржуазные черты»,— черты, которые старательно нивелировались в буржуазной критике. Она секуляризирует положительно прекрасного героя Достоевского, превращенного буржуазными литераторами в абстрактный морально-философский символ «всечеловека», и ставит его на реальную историческую почву.

Идея о «новом человеке» — краеугольный камень концепции Достоевского у Александер. Так, она называет героя — выходца из привилегированных слоев русского общества XIX в., «чувствующего себя ответственным за бедствия народа», «мятежным героем». И потому, оценивая творчество Достоевского в перспективе событий 1917 г., Александер видит в нем «мощный рычаг революционного сознания» [440].

Из всего вышесказанного явствует, что к 1921 г. буржуазная критика утратила «монополию» на Достоевского. Ей на смену пришла иная точка зрения на русского писателя, выдвинутая передовой революционной интеллигенцией Германии. Эта точка зрения наиболее четко выражена в словах И. Бехера, крупнейшего пролетарского поэта Германии, который назвал Достоевского одним из «великих выразителей буржуазного упадка» [441].

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1921 г. Германия отмечает 100-летие со дня рождения Достоевского. Юбилейные дни вылились во всеобщее признание «величайшего русского писателя, пророка, ясновидца, аналитика и диалектика, творца сцен непревзойденного драматизма» [442]. Именно этот год следует считать переломным для восприятия Достоевского в Германии. Известность русского писателя достигает апогея и перерастает в культ. Число монографий, статей, исследований о Достоевском резко увеличивается. Многие литераторы, уже писавшие о Достоевском ранее (Л. Андреас-Саломе, Ю. Баб, Г. Бар, Я. Вассерман, Я. Ю. Давид), вновь делятся с читателями своими мыслями о нем; другие же (К. Оссецкий, Р. Шаукаль, Р. Шикеле) высказываются теперь о нем впервые. Создается впечатление, что в Германии, охваченной после войны тяжелейшим экономическим и духовным кризисом, Достоевский на какое-то время становится властителем дум. «1921 год обозначает апогей того странного и поучительного явления, которое можно назвать „инфляцией Достоевского" и которое отнюдь не случайно совпало с послевоенной инфляцией немецких денег»,— отмечает С. Лане. Годами «инфляции Достоевского» исследовательница считает 1920—1925 гг.

«Инфляция Достоевского достигает своей высшей точки в 1921 г. Собрания его сочинений выходят в 25 томах, а число переводов, изданных отдельными книгами, достигает гигантской цифры — 68. Если же взглянуть на тиражи, то количество экземпляров в обеих группах вырастает с 53 000 в предыдущем году до 203 000! 1921 год характеризуется также тем, что появляются 7 первых антологий (в последующие годы их издается меньше); кроме того, в Германию проникают первые тома русских изданий Достоевского (8 томов общим тиражом 98 000). Этот год дает также большое число работ о самом Достоевском (6 монографий общим тиражом 8 000), которое оказывается превзойденным лишь в 1925 г. (6 монографий общим тиражом 14 000)» [443].

Огромную популярность Достоевского в Германии в начале 20-х годов подтверждают и сами немцы. Известный русист А. Лютер (издатель «Писем» Достоевского. 1926) в обзорной заметке под заголовком «Достоевскому — ни конца, ни края» пишет в 1923 гг.: «Число антологий, сборников и прочих изданий о Достоевском увеличивается угрожающим образом. Разумеется, это свидетельствует о том, что великий русский писатель все сильнее и сильнее подчиняет своему влиянию нашу духовную жизнь» [444]. Ст. Цвейг, написавший в 1921 г. вступительную статью к новому многотомному «Полному собранию романов и новелл» Достоевского, предпринятого издательством «Insel» [445], отмечает в 1925 г. во вступительной статье к книге Г. Прагера «Мировоззрение Достоевского»: «Когда 12 лет назад я приступил к работе над большим эссе о Достоевском, имелась лишь одна его биография ⟨...⟩ Сегодня у нас уже целая литература о Достоевском, целая филология, настолько многосторонняя и содержательная, как и наука о Гете, и, пожалуй, нам нужна уже библиография работ о Достоевском». Причину этого явления Цвейг объясняет следующим образом: «Достоевский для нас сегодня больше, чем поэт, это — духовное понятие, которое вновь и вновь будет подвергаться истолкованию и осмыслению. Образ русского писателя пронизывает и озаряет сегодня все сферы духовной жизни — поэтическую и философскую, духовную и культурную» [446].

Следует уточнить, что в 1920-е годы наиболее частым было обращение к Достоевскому именно в сферах философской и религиозной. Немецкие мыслители, вплоть до О. Шпенглера, продолжают (вслед за Хессе и Цвейгом) так или иначе апеллировать к Достоевскому в поисках выхода из современного им кризиса — «заката Европы». В этом смысле особенно показательна цитировавшаяся выше книга Наторпа, а также монографии К. Праксмарера [447], В. Вруна [448]. Как реакцию на «кризис веры» следует воспринимать многочисленные изыскания теологов. Вслед за Т. Бодиско [449] и В. Маргольцем [450] целый ряд авторов стремится именем Достоевского поддержать расшатанные устои религии. Союзника в Достоевском пытаются обрести и католики (Р. Гвардини) [451], и протестанты (В. Шюмер) [452]. Достоевского-художника исследователи в 1920-е годы обходят почти полным молчанием. Содержательная работа Ю. Мейера-Грефе «Достоевский-писатель» (1926) воспринимается на этом фоне как исключение [453].

В 1920—30-е годы учащаются попытки истолкования Достоевского в духе фрейдизма, влияние которого затрагивает даже авторов, совершенно далеких от психоаналитических теорий (О. Каус). Сам Фрейд посвятил Достоевскому лишь одну статью «Достоевский и отцеубийство», предваряющую изданную Пипером монографию «Первоначальный облик братьев Карамазовых» (1928) [454]. Верный своей теории «психологии культуры», подробно изложенной им еще в сочинении «Тотем и табу» (1913), Фрейд объявляет «ненависть к отцу» и «стремление к отцеубийству» первичными импульсами развития. Исследуя личность и биографию Достоевского, он открывает в нем эти «агрессивные инстинкты», воплотившиеся, по убеждению Фрейда, в романе «Братья Карамазовы». Тема отцеубийства, полагает Фрейд, свойственна самым великим творениям человеческого духа. На этом основании он сближает «Братьев Карамазовых» с драмой Софокла «Царь Эдип» и «Гамлетом». Популярным упрощенным изложением воззрений Фрейда была книга его ученицы Й. Нойфельд «Достоевский» (1923) [455], в которой все творчество русского писателя рассматривалось исключительно с точки зрения «эдипова комплекса». Теорию Фрейда популяризировали также Г. Браун [456], Й. Мейер [457].

К 1933—1934 гг. количество работ о Достоевском достигает 800 названий. После 1933 г.— с момента установления в Германии фашистской диктатуры — число работ, посвященных Достоевскому, резко падает. С точки зрения нацистской идеологии все, связанное с культурой других народов, особенно славянских, не могло представлять интереса. В немногочисленных же исследованиях о Достоевском, которые появляются в Германии в 1933—1945 гг., обнаженно проступает намерение сделать русского писателя рупором национал-социалистских идей. Такова, например, диссертация Р. Каппена «Идея народа у Достоевского» (1936) [458] — попытка истолковать «почвеннические» тенденции в творчестве Достоевского в нацистском духе. Если книга Каппена еще претендует на наукообразность, то большинство других работ откровенно служит политическим целям. Ф. Шульце-Майциер, опубликовавший в 1940 г. в нацистском журнале «Wir und die Welt» статью «От Достоевского к Ницше» [459], объединяет обоих на том основании, что они, дескать, вместе боролись против «буржуазной Англии». Особняком в литературе данного периода стоит книга Д. Герхарда «Гоголь и Достоевский в их художественной взаимосвязи» (1940) [460].

После второй мировой войны интерес к Достоевскому в странах немецкого языка вновь пробуждается и неуклонно возрастает [461]. На сегодняшний день литература о писателе исчисляется десятками статей, брошюр, книг, изданных в ГДР, ФРГ, Швейцарии, Австрии. Особенно велико внимание к его наследию в Западной Германии.

Многочисленные буржуазные интерпретаторы Достоевского (западногерманские, швейцарские, австрийские), руководствуются, как правило, односторонним, предвзятым подходом к его творчеству. Вокруг Достоевского-писателя составился заговор молчания: книга Ю. Мейер-Грефе и поныне остается, пожалуй, единственным в своем роде исследованием. И в результате Достоевский превращается в философа, его художественные образы — в символы идей, а конкретная историческая (кризисная) действительность, отображенная в его романах,— в некое предвечное (трагическое) «состояние мира». Если Достоевского и рассматривают в контексте своей эпохи, то чаще всего с той только целью, чтобы представить его как противника социалистических идей, революционной борьбы, социального прогресса. Упрощая сложную и противоречивую идеологию Достоевского, поднимая на щит его реакционные идеи, западные теоретики нередко преследуют сугубо пропагандистские цели. Один из них, Г. Кранц, не мудрствуя лукаво, заявил: «Нам нужен Достоевский в борьбе против коммунизма» [462]. Смыкаются с политической реакцией измышления о «русской душе» Й. Богатеца в книге «Идея империализма и философия жизни у Достоевского. К познанию русского человека» [463], Г. фон Римша в брошюре «Достоевский — антипод Гете» [464].

Направление и характер современных исследований о Достоевском в западных странах немецкого языка во многом определяется теологическими, экзистенциалистскими и фрейдистскими теориями. В работах западногерманских, австрийских и швейцарских литературоведов русский писатель предстает чаще всего или как религиозный мыслитель, борющийся с безверием (Т. Штейнбюхель. Ф. М. Достоевский [465]; М. Дерне. Бог и человек в творчестве Достоевского [466]; В. Рем. Жан-Поль — Достоев-

ский. К изучению художественного воплощения безверия [467] и др.), или как философ-метафизик, предтеча экзистенциализма наряду с Кьеркегором и Ницше (Г. Кранц. Человек перед выбором. Об идее свободы у Достоевского [468]; Р. Лаут. Я увидел истину. Философия Достоевского в систематическом изложении [469]; В. Нигг. Религиозные мыслители [470] и др.), или же исследователь иррациональных начал человеческой психики (А. Демпф. Три пророка. Глубинная психология Достоевского [471] и др.).

Иной подход к Достоевскому у Т. Манна. Для него творчество русского писателя — это прежде всего значительное художественное явление, сложное и противоречивое. В статье о Достоевском, написанной в первый послевоенный год, Т. Манн проверяет свое отношение к нему трагическим опытом немецкой истории 1930—40-х годов. Его вывод столь же осмотрительно, сколь и лаконично сформулирован в самом заглавии статьи — «Достоевский, но в меру» [472]. После 1945 г. наследие русского писателя становится актуальным и для нового, послевоенного, поколения немецких писателей, и среди них не в последнюю очередь — для западногерманского прозаика Г. Белля. Одним из последних откликов на русского писателя в Западной Германии является статья Г. Белля «Час Достоевского». Белль рассматривает Достоевского как религиозного писателя (Белль прибегает к традиционному сопоставлению его с Толстым), как поборника «метафизической религии» [473].

В последние годы все активнее включается в споры о русском писателе марксистское литературоведение ГДР. Против буржуазных его фальсификаторов из ФРГ полемически заострена, к примеру, статья О. Вольфа «Изучение Достоевского на службе клерикального антикоммунизма» [474]. Традиционную точку зрения на Достоевского — певца «русской души» оспаривает в книге «От Пушкина до Горького» Э. Фабиан [475]. Литературоведческая наука ГДР сделала в изучении Достоевского пока еще свои первые шаги.

Общие методологические вопросы были подняты в 1956, юбилейном для Достоевского году, славистом В. Дювелем в статье «За и против Достоевского» [476]. Методологические основы изучения творчества Достоевского в ГДР заложены А. Зегерс в ее работе «О Толстом. О Достоевском» [477] (куда вошли в переработанном виде ранние статьи «Князь Андрей и Раскольников», 1944, и «Наполеоновская идея власти в романах Толстого и Достоевского», 1948, представляющие собой одну из вершин марксистской критики о русском писателе). Страшная реальность фашизма открыла писательнице глаза на те зловещие последствия, которыми чревата «наполеоновская идея», и она не только осудила эту идею как критик, но в романе «Мертвые остаются молодыми» художественно развенчала ее.

В последние годы славистами из ГДР намечена и успешно реализуется серия исследований по теме «Достоевский в Германии».

Таковы, в самых общих чертах, дальнейшие этапы восприятия Достоевского в Германии после юбилейного 1921 года.

В настоящее время вокруг имени Достоевского разгораются споры, гораздо более ожесточенные, чем пятьдесят лет назад. Современный исследователь Г. Кремпьен (ГДР) в статье «Чем является для нас сегодня Достоевский?» пишет: «В своем творчестве, обладающем неизмеримой художественной глубиной, Достоевский пытался дать ответ на вопросы своего времени; он изобразил одиночество и безвыходность человека в человеконенавистническом капиталистическом обществе и пытался преодолеть их. Именно это сближает его с нами, хотя его суждения нам бывают чужды, либо мы вообще не принимаем их как явно реакционные. Но мы не хотим отдавать Достоевского декадентам и формалистам, которые издавна пытались с неуклюжим дилетантизмом подражать ему. Нам, которые считают своей первоосновной задачей освобождение человечества, Достоевский много ближе, чем им» [478].

Завоевав себе почти сто лет назад право гражданства в общественно-литературной жизни Германии, наследие Достоевского становится сегодня неотъемлемым и действенным элементом передовой немецкой культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Die Armen Leute. Roman (in Briefen) von F. M. Dostojewski.— «Sankt-Petersburgische Zeitung», 1846, N 183—186, S. 737—751.

[2] «Русско-европейские литературные связи. Сборник статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева». М.—Л., 1966.

[3] Warinkas Tagebuch (Aus den «Armen Leuten» von Dostojewski).— «Sankt-Petersburgische Zeitung», 1846, N 212—217, S. 853—875.

[4] «Русско-европейские литературные связи», стр. 251.

[5] «Russische Revue. Zeitschrift zur Kunde des geistigen Lebens in Rußland» (Leipzig — St.-Petersburg), Bd. 1, 1863, S. 144—156.

[6] Там же, стр. 143.

[7] «Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft» (Leipzig), Jg. IV, 1846, N 11-12, S. 443—447.

В том же номере журнала перепечатана и статья Леве из «Санкт-Петербургской газеты». Статья не подписана. Ссылка на источник («Petersb. Bl.») неточна (стр. 434—443).

[8] Там же, стр. 144.

[9] «Blicke auf die russische Literatur im Jahre 1846 und 1847».— «Magazin für die Literatur des Auslandes» (Berlin), 1847, Bd. 31, N 43, S. 169—170.

[10] О Р. Липперте — см. статью А. Н. Дубовикова «Новое о статье Белинского „Парижские тайны"». — «Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 472—481.

[11] «Die russische Literatur des Jahres 1848».— «Blätter für litterarische Unterhaltung» (Leipzig), 1850, Bd. I, N 148, S. 592.

[12] Theodor Dostojewskys sibirische Memoiren.— «Russische Revue», 1863, Bd. I, S. 136—144.

[13] Там же. Перевод дан в двух частях. Первая называется «Das todte Haus» (S. 168—187), вторая (продолжение) — «Aus Dostojewkys sibirischen Memoiren. Erste Bekanntschaft. Petrow» (S. 226—243).

[14] Там же, стр. 141.

[15] Aus dem Todten Hause. Nach dem Tagebuch eines nach Sibirien verbannten Schriftstellers. Herausgegeben von Th. M. Dostojewski. Nach dem Russ. bearbeitet. Leipzig, 1864, 2 Bd.

[16] «Baltische Monatsschrift» (Riga), 1864, Bd. 10, S. 179.

[17] Там же, стр. 178.

[18] Там же, стр. 180.

[19] «Neue Erscheinungen der russischen Literatur».— «Magazin für die Literatur des Auslandes» (Berlin), Jg. 36, 1867, Bd. 71, N 23, S. 317.

[20] Например, Й. Хонеггер, автор известного исследования «Русская литература и культура» ограничивается следующим определением Достоевского: «Человек с социально-политическими тенденциями» (J. J. Honegger. Russische Literatur und Kultur. Leipzig, 1880, S. 167).

[21] L. D. Die Puschkin-Soirée.— «St.-Petersburgische Zeitung», 1880, Bd. I, N 303, S. 1.

[22] Carl Eichhorn. Die Geschichte der «St.-Petersburger Zeitung» 1727—1902. Zum Tage der Feier des 175-jährigen Bestehens der Zeitung. Pb., 1902, S. 235.

[23] См. прилож. к настоящему обзору.

[24] M. A. Die Gebrüder Karamasow. Ein Roman von Theodor Dostojewski.— «St.-Petersburgische Zeitung», 1880, N 357, Monatsblatt N 51, S. 4.

[25] F. M. Dostojewski. Der kleine Held. (Aus unbekannten Memoiren).— «St.-Petersburgische Zeitung», 1881, N 97—100, 102, 105—107.

[26] Erniedrigte und Beleidigte. Ein Roman von Th. Dostojewski. Aus dem Russischen übertragen von K. Jürgens.— «St.-Petersburgische Zeitung», 1882, N 171, 173—175, 177-178, 180, 182, 184-185, 188-189, 191-192, 194—197, 199, 201-202, 204, 208—213, 216-217, 219-220, 222-223, 225—227, 230—234, 237—240, 246—248, 252—255, 258, 260-261, 264-265, 271—273, 275—283, 285-286, 292—294.

[27] Там же, № 171, стр. 1.

[28] «Das Magazin für die Literatur des In-und Auslandes» (Leipzig), Jg. 51, 1882, Bd. 102, N 38, S. 521.

[29] Th. Dostojewski. Erniedrigte und Beleidigte. Berlin, Stuttgart, o. J.

[30] M. Lingen. E. W. Palander. Übersicht der neueren russischen Literatur von der Zeit Peter des Grossen bis auf unsere Tage.— «Das Magazin für die Literatur...», 1882, Bd. 102, N 30, S. 416.

[31] С. Люблинский. Итоги современного искусства, ч. I. М., 1905, стр. 72.

[32] Там же, стр. 19.

[33] L. Berg. Der Naturalismus. Zur Psychologie der modernen Kunst. München, 1892, S. 82.

[34] C. Bleibtreu. Revolution der Literatur. 2 Aufl. Leipzig, 1886, S. 13.

[35] Там же. 3-е изд. Leipzig, ⟨1887⟩, стр. VIII.

[36] A. Bartels. Die deutsche Dichtung der Gegenwart. 8 Aufl. Leipzig, 1910, S. 236.

[37] B. M i n z e s. Cäseropapismus und Kunstentwicklung in Rußland».— «Die Zeit» (Wien), 1898, Bd. XVIII, N 210, S. 25.
[38] Там же.
[39] E. S t e i g e r. Der moderne Realismus und seine Stellung in der Weltliteratur.— «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 56, 1887, Bd. 112, N 38, S. 560.
[40] «Literarische Manifeste des Naturalismus». 1880—1892. Hrsg. von E. Ruprecht. Stuttgart, 1962, S. 229.
[41] Там же, стр. 112.
[42] Там же, стр. 251.
[43] H. L o r e n z. Die deutsche Literatur am Jahrhundertende. Stuttgart, 1900, S. 103.
[44] L. B e r g. Der Naturalismus, S. 88.
[45] С. П ш и б ы ш е в с к и й. Полн. собр. соч. Изд. 3-е. М., 1910, т. 5, стр. 14—15. Станислав *Пшибышевский* (1868—1927) — польский писатель-модернист, писавший на немецком языке. Цитируется его книга «К психологии индивидуума» (1892).
[46] «Literarische Manifeste...», S. 146.
[47] L. B e r g. Der Naturalismus, S. 99.
[48] «Freie Bühne für modernes Leben» (Berlin). Jg. III. 1892. Erstes und zweites Quartal, S. 669.
[49] J. H a r t. Soziale Lyrik.— «Freie Bühne», Jg. I, 1889, H. 41, S. 1081.
[50] Там же, стр. 1082.
[51] «Literarische Manifeste...», S. 107.
[52] L. B e r g. Der Naturalismus, S. 94.
[53] B. E. P e s c h k a u. Was ist wahr? Zeitgemäße Betrachtungen. — «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 54, 1885, Bd. 107, N. 19, S. 289.
[54] M. H a r d e n. Literatur und Theater. Berlin, 1896, S. 173.
[55] H. B a h r. Von deutscher Literatur.— «Die Gesellschaft» (München—Leipzig), 1889, erstes Quartal, H. 2, S. 202.
[56] «Literarische Manifeste...», S. 28.
[57] C. B l e i b t r e u. Revolution der Literatur, 2. Aufe. S. 37.
[58] Einleitung zu: «Literarische Manifeste...», S. 2.
[59] W. R e h m. Geschichte des deutschen Romans. Vom Naturalismus bis zur Gegenwart. Berlin und Leipzig, 1927, S. 6.
[60] A. B a r t e l s. Die deutsche Dichtung der Gegenwart, S. 234.
[61] Сохранилось письмо Генкеля к В. Р. Зотову 15/27 июня 1888 г., в котором он, по просьбе последнего, пишет о себе (по-русски): «Я родился в 1825 г. в городе Бурге (близ Магдебурга, в Пруссии); в 1834 г. я приехал в Петербург и учился с 1835 до 1840 г. в Petri-Schule 〈...〉 Издательскую деятельность я начал в 1853 г. выпуском в свет детских книг, картин, школы рисования и др. 〈...〉 Кроме детских книг, мы издали: Сочинения графа Соллогуба 〈...〉, стихотворения: Л. А. Мея, Плещеева, Бенедиктова 〈...〉 Моя деятельность с 1861 г. началась изданием „Северного сияния“ 〈...〉 Изданием газеты „Неделя“ окончилась моя издательская деятельность. Потом я поработал еще некоторое время у М. О. Вольфа и переселился в 1878 г. в Мюнхен. Здесь я с 1879 г. начал печатать в разных немецких изданиях статьи о русских политических и общественных вопросах 〈...〉 Брошюра моя „Die Deutschen in Rußland“ удостоилась чести быть запрещенной в России» (ИРЛИ, архив В. Р. Зотова, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 114, л. 33).
[62] С. Ф. Л и б р о в и ч. Апостол русской литературы среди немцев.— В его кн.: На книжном посту. Пг.—М., 1916, стр. 405.
[63] W. H e n c k e l. Feodor Michailowitsch Dostojewski.— «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 51, 1882, Bd. 101, N 6, S. 77. Эта статья была перепеч. в газ. «St.-Petersburger Herold», Jg. VII, 1882, N 73, S. 1—2; N 75, S. 1.
[64] W. H e n c k e l. Dostojewskijs «Raskolnikow» auf der französischen Bühne.— «Das Magazin für die Literatur ...», Jg. 57, 1888, N 45, S. 708.
[65] Цит. по кн.: E. H a u s w e d e l l. Die Kenntnis von Dostojewsky und seinem Werke im deutschen Naturalismus und der Einfluss seines «Raskolnikow» auf die Epoche von 1880 bis 1885. Diss. München, 1924, S. 13.
[66] G. H a u p t m a n n. Abenteuer meiner Jugend.— Sämtliche Werke, Bd. VII. Propyläen-Verlag, o. O., 1962, S. 1059.
[67] Цит. по кн.:A. H o f m a n. Thomas Mann und die Welt der russischen Literatur. Berlin, 1967, S. 140.
[68] Цит. по кн.: E. H a u s w e d e l l. Die Kenntnis von Dostojewsky und seinem Werke..., S. 18.
[69] C. B l e i b t r e u. Über Realismus.— «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 56, 1887, Bd. 112, N 27, S. 385.
[70] F. S a n d v o ß. Theodor Michailowitsch Dostojewsky.— «Preussische Jahrbücher» (Berlin), 1899, Bd. 97, Juli bis September, S. 340.
[71] E. Z a b e l. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1885, S. 66.
[72] E. Z a b e l. Russische Literaturbilder. Berlin, 1885, S. 110.
[73] Там же стр. 111.

[74] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 95.
[75] W. Henckel. F. M. Dostojewski, S. 78.
[76] Там же, стр. 80.
[77] M. Necker. F. M. Dostojewski.— «Die Grenzboten» (Leipzig), Jg. 44, 1885, Erstes Quartal, S. 344.
[78] Цит. по кн.: E. Hauswedell. Die Kenntnis von Dostojewsky und seinem Werke..., S. 16.
[79] Цит. по ст. А. А. Гозенпуда.— В кн.: Конрад-Фердинанд Мейер. Новеллы. Стихотворения. М., 1958, стр. XLI.
[80] W. Henckel F. M. Dostojewski, S. 78.
[81] Th. Ziegler. Die geistigen und sozialen Strömungen des XIX Jahrhunderts. Berlin, 1899, S. 660.
[82] Literarische Manifeste..., S. 152.
[83] O. Bie. Das Persönliche und der Kampf des Individuums.— «Freie Bühne...», Jg. V, 1894, Erstes und zweites Quartal, S. 620.
[84] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. Leipzig. 1886, S. 9.
[85] A. Reinholdt. F. M. Dostojewski.— «Baltische Monatsschrift» (Riga—Moskau), 1882, Bd. XXIX, H. 4, S. 253—276.
[86] A. Reinholdt. Kritische Phantasien über russische Belletristen.— «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 54, 1885, Bd. 108, N 32, S. 498—502; N 33, S. 512—514.
[87] E. Hauswedell. Die Kenntnis von Dostojewski und seinem Werke..., S. 33.
[88] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 692.
[89] E. Hauswedell. Die Kenntnis von Dostojewski und seinem Werke..., S. 33.
[90] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 694.
[91] G. Rollard. Dostojewskys Roman «Raskolnikow». — «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 51, 1882, Bd. 101, H. 21, S. 291—292.
[92] E. Steiger. Das Werden des neuen Dramas, Bd. I. Berlin, 1898, S. 112.
[93] H. Conradi. Dostojewskij. — «Die Gesellschaft», 1889, Zweites Quartal, April, S. 527.
[94] Там же, стр. 525.
[95] Там же, стр. 527.
[96] Там же, стр. 526.
[97] Там же, стр. 529.
[98] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 693.
[99] E. Zabel. F. M. Dostojewski.— «Deutsche Rundschau» (Berlin), Jg. 15, 1889, Bd. 59, H. 9, S. 377.
[100] Th. Kampmann. Dostojewski in Deutschland. Münster, 1931, S. 17.
[101] E. Bauer. Naturalismus, Nihilismus, Idealismus in der russischen Dichtung. Berlin, 1890, S. 68.
[102] Там же.
[103] F. Sandvoß. Theodor Michailowitsch Dostojewsky, S. 339.
[104] Th. Kampmann. Dostojewski in Deutschland. S. 27.
[105] G. Brandes. F. M. Dostojewski. Berlin, 1889, S. 6.
[106] Там же, стр. 7—8.— Уильям *Уильберфорс* (1759—1831) — член английского парламента, выступавший против работорговли. Эти слова Брандес заимствует у Рейнгольда из его статьи в «Baltische Monatsschrift».
[107] G. Rollard. Dostojewskys Roman «Raskolnikow», S. 292.
[108] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 694.
[109] G. Brandes. Dostojewski..., S. 17.
[110] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 86.
[111] G. Rollard. Dostojewskis Roman «Raskolnikow», S. 292.
[112] G. Brandes. Dostojewski..., S. 10.
[113] Там же, стр. 13.
[114] H. Conradi. Dostojewskij, S. 424.
[115] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 695.
[116] Редакционная неподписанная заметка в разделе «Literarische Neuigkeiten». «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 56, 1887, Bd. 111, № 7, S. 97—98 (журнал этот редактировал Блайбтрой с 1886 г.).
[117] W. Henckel. F. M. Dostojewski, S. 78.
[118] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 93.
[119] O. Brahm. Poesie und Verbrechen.— «Freie Bühne», Jg. I, 1890, N. 7, S. 206.
[120] J. Volkelt. Ästhetik des Tragischen. München, 1897, S. 106—107.
[121] A. Stroka. Carl Hauptmanns Werdegang. Wroclaw, 1965, S. 88.
[122] Цит. по кн.: «История западноевропейского театра», т. 5, М., 1970, стр. 456.
[123] W. Henckel. F. M. Dostojewsky, S. 78.
[124] G. Malkowsky. Der Hahnrei.— «Die Gegenwart» (Berlin), 1888, Bd. 33, N 26, S. 408.
[125] G. Rollard. Dostojewskys Roman «Raskolnikow», S. 292.
[126] G. Brandes. Dostojewski, S. 19.
[127] W. Henckel. F. M. Dostojewsky, S. 80.

[128] G. Brandes. Dostojewski, S. 20.
[129] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 101.
[130] G. Brandes. Dostojewski, S. 20.
[131] H. Conradi. Dostojewskij, S. 520.
[132] Там же, стр. 525.
[133] Там же, стр. 526.
[134] G. Brandes. Dostojewski, S. 23.
[135] E. Poritzky. Heine. Dostojewski, Gorki. Drei Essays. Leipzig, 1902, S. 57.
[136] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 694.
[137] A. Reinholdt. Kritische Phantasien über russische Belletristen, S. 512.
[138] M. Harden. Literatur und Theater, S. 175.
[139] О росте популярности Достоевского в Германии в 80—90-е годы дают представление данные, которые, однако, не являются исчерпывающими,— см. прилож. к настоящему обзору.
[140] См. J. E⟨rnst⟩. Die deutschen Buchverlage des Naturalismus und der Neuromantik. Weimar, 1935, S. 20—25.
[141] E. Zabel, E. Koppel. Raskolnikow. Berlin, 1890, S. 25.
[142] E. Hauswedell. Die Kenntnis von Dostojewski und seinem Werke..., S. 69.
[143] Там же, стр. 67.
[144] O. Brahm. Theater.— «Freie Bühne», Jg. I, 1890, № 44, S. 1158 — 1159.
[145] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 72.
[146] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 693.
[147] S. Mandelkern. Historische Chrestomatie der russischen Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. Hannover, 1891, S. 409.
[148] E. Poritzky. Heine, Dostojewski, Gorki, S. 70.
[149] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 693.
[150] E. Bauer. Naturalismus, Nihilismus, Idealismus in der russischen Dichtung, S. 67.
[151] E. Poritzky. Heine, Dostojewski, Gorki, S. 71.
[152] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 145.
[153] G. Polonski. Russische Literatur.— «Die Gesellschaft», 1898, Bd. 2, S. 570.
[154] K. Heller. Geschichte der russischen Literatur. Riga — Dorpat, 1882, S. 185.
[155] Там же.
[156] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 699.
[157] E. Zabel. Literarische Streifzüge..., S. 74.
[158] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 696.
[159] E. Zabel. Russische Literaturbilder, S. 171.
[160] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 696.
[161] E. Zabel. Russische Literaturbilder, S. 172.
[162] Там же.
[163] Rußland am Scheidewege. Berlin, 1888, S. 256.
[164] F. Sandvoß. Theodor Michailowitsch Dostojewski, S. 330.
[165] E. Zabel. Russische Literaturbilder, S. 174.
[166] Там же, стр. 180.
[167] И. И. Замотин. Ф. М. Достоевский в русской критике, ч. I. 1846—1881. Варшава, 1913, стр. 127.
[168] E. Poritzky. Heine, Dostojewski, Gorki, S. 76.
[169] H. Basedow. Neues von Fedor Dostojewski.— «Das Magazin für die Literatur...», Jg. 59, 1890, N 22, S. 344.
[170] Там же.
[171] W. Henckel. F. M. Dostojewski, S. 78.
[172] E. Zabel. Russische Literaturbilder, S. 171.
[173] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 696.
[174] Там же, стр. 695.
[175] E. Zabel. Russische Literaturbilder, S. 180.
[176] H. Basedow. Neues von Fedor Dostojewski, S. 344.
[177] E. Zabel. Russische Literaturbilder, S. 174.
[178] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 696.
[179] Цит. по кн.: E. Hauswedell. Die Kenntnis von Dostojewsky und seinem Werke..., S. 14—15.
[180] H. Basedow. Neues von Fedor Dostojewski, S. 343.
[181] Там же, стр. 344.
[182] A. Reinholdt. Geschichte der russischen Literatur..., S. 696.
[183] Там же, стр. 697.
[184] A. Reinholdt. Kritische Phantasien über russische Belletristen, S. 514.
[185] M. Necker. F. M. Dostojewski, S. 350.
[186] Там же, стр. 346.
[187] Там же, стр. 352.
[188] Там же, стр. 350.

[189] M. Necker. F. M. Dostojewski, S. 351.
[190] E. Zabel. F. M. Dostojewski, S. 308.
[191] A. Reinholdt. Kritische Phantasien über russische Belletristen, S. 498.
[192] Там же, стр. 514.
[193] L. Berg, Der Naturalismus..., S. 119.
[194] U. Münchow. Deutscher Naturalismus. Berlin, 1968, S. 148.
[195] L. Berg. Der Naturalismus..., S. 86.
[196] R. Saitschik. Die Weltanschauung Dostojewski's und Tolstoi's. Neuwied und Leipzig, 1893, S, 1, 3, 17, 20, 22, 29, 30.
[197] E. M. de Vogué. Le roman russe. Paris, 1886, p. XI.
[198] Там же, стр. 250.
[199] Там же, стр. 268.
[200] Там же, стр. 265—266.
[201] Там же, стр. 246.
[202] Th. Kampmann. Dostojewski in Deutschland, S. 24.
[203] A. Rammelmeyer. Russische Literatur in Deutschland.— «Deutsche Philologie im Aufriß». 2 überarb. Aufl. hrsg. von W. Stammler, Bd. III, Berlin, 1962, S. 460.
[204] M. Harden. Literatur und Theater, S. 82.
[205] Там же, стр. 77.
[206] Там же, стр. 88.
[207] G. Brandes. Dostojewski, S. 3.
[208] J. Lavrin. A Note of Dostojevsky and Nietzsche.— «The Russian Review», 1969, V. 28, N 2, p. 161.
[209] W. Ghuys. Dostojevski et Nietzsche. Le tragique de l'homme souterrain.— «La lampe verte» (Bruxelle), 1962, № 2, p. 12.
[210] W. Hubben. Dostoevsky, Kierkegaard, Nietzsche and Kafka. Four Prophets of our Destiny. N. Y., 1962, p. 59.
[211] K. Jaspers. Allgemeine Psychopatologie. 7 Aufl. Berlin—Göttingen—Heidelberg, 1959, S. 657.
[212] K. Jaspers. Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung. München, 1963, S. 440.
[213] K. Jaspers. Allgemeine Psychopathologie, S. 657.
[214] K. Jaspers. Der philosophische Glaube..., S. 441.
[215] Th. Mann. Russische Anthologie.— Gesammelte Werke, Bd. XI. Berlin, 1955, S. 577—578.
[216] Там же, стр. 576.
[217] H. Landsberg. Friedrich Nietzsche und die deutsche Literatur. Leipzig, 1902, S. II.
[218] Там же, стр. 15.
[219] Там же, стр. 23.
[220] Цит. по кн.: H. Landsberg. Friedrich Nietzsche und die deutsche Literatur, S. 44.
[221] Там же, стр. 11.
[222] Т. Манн. Собр. соч., т. 10. М., 1961, стр. 347.
[223] L. Berg. Übermensch in der modernen Literatur. München—Leipzig—Paris, 1897, S. 103.
[224] Там же, стр. 106.
[225] Там же, стр. 107.
[226] Там же, стр. 105.
[227] Там же, стр. 110.
[228] J.- D. Widmann. Nietzsches gefährliches Buch.— «Bund» (Bern), Jg. 37, 1886, N 256, 16/17. IX.
[229] J. Schlaf. Der Fall Nietzsche. Leipzig, 1907, S. 326.
[230] A. L. Wolynski. Die russische Literatur der Gegenwart.— «Neue deutsche Rundschau» (Berlin), Bd. I, 1902, S. 415.
[231] D. Mereschkowski. Rodion Raskolnikoff.— In: F. M. Dostojewskis sämtliche Werke. Erste Abt. Bd. I. München und Leipzig, 1908, S. 76.
[232] Цит. по ст.: W. Gesemann. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij auf dem europäischen Hintergrund der 80-er Jahre.—«Die Welt der Slawen» (Wiesbaden), Jg. 6, 1961, H. 2, S. 131.
Ницше имеет в виду книгу: Th. Dostoievsky. L'esprit souterrain. Traduit et adapté par E. Halpérine et Ch. Morice. Paris, 1886, содержащую две повести Достоевского: «Хозяйка» и «Записки из подполья».
[233] Д. Бергун. Достоевский и славянство.— «Славянский век» (Вена), 1901, вып. 33, стр. 225.
[234] Н. Д. Тихомиров. Ницше и Достоевский.— «Богословский вестник», 1902, т. II, № 5—8, стр. 518.
[235] А. В. Смирнов. Достоевский и Ницше. Казань, 1903, стр. 13; М. Зайдман. Ф. М. Достоевский в западной литературе. Одесса, 1911, стр. 98 и др.

[236] Ф. Ф. Б е р е ж к о в. Достоевский на Западе. (1916—1928).—«Достоевский». ‹Сборник статей›. М., 1928, стр. 280.
[237] Гиго Д з а с о х о в. Статьи и очерки. Орджоникидзе, 1970, стр. 258.
[238] Т. М а н н. Собр. соч., т. 10, стр. 329.
[239] «Nietzsches Bibliothek» — 14. Jahresgabe der Gesellschaft der Freunde des Nietzschearchivs. Weimar, 1942, S. 42—43.
[240] W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 134.
[241] M. V. S a l i s - M a r s c h l i n s. Philosoph und Edelmensch. Ein Beitrag zur Charakteristik F. Nietzsches. Leipzig, 1907, S. 51.
[242] Dostoievsky. Souvenirs de la Maison des morts. Paris, 1886.
[243] W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 131—132.
[244] Там же, стр. 134.
[245] Там же, стр. 136.
[246] C. B l e i b t r e u. Revolution der Literature. 3 Aufl., S. VII—VIII.
[247] Цит. по кн.: W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 139.— Предположение Ш. Андлера о том, что Ницше «возможно видел в Турине драму „Раскольников"», ничем не подтверждается (Ch. A n d l e r. Nietzsche et Dostoievsky. Mélanges d'histoire littéraire générale et comparée offerts à F. Baldensperger. Paris, 1930, p. 10).
[248] Friedrich Nietzsches gesammelte Briefe. Hrsg. von E. Förster - Nietzsche und F. Scholl, Bd. II. Berlin und Leipzig, 1902, S. 200.
[249] B. T r a m e r. Dostojevskij a Nietzsche. Příspěvek ke konfrantaci reakčních zdrojů.— «Slavia» (Praha), Ročník XX, Sešit 1, 1950, S. 73.
[250] F. N i e t z s c h e. Werke. I. Abt. Bd. VII. Leipzig, 1895, S. 157.
[251] Цит. по кн.: W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 172.
[252] F. N i e t z s c h e. Der Wille zur Macht. Leipzig, 1917, S. 280.
[253] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Werke. I. Abt. Bd. VIII. Leipzig, 1896, S. 122.
[254] F. N i e t z s c h e. Der Wille zur Macht, S 291.
[255] Там же, стр. 279.
[256] Цит. по кн.: W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 132.
[257] Там же, стр. 131.
[258] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Werke. Bd. 10. München, 1964, S. 113.
[259] Friedrich Nietzsches Gesammelte Briefe. Hrsg. von E. Förster-Nietzsche und C. Wachsmuth, Bd. III. Erste Hälfte. Berlin und Leipzig, 1904, S. 322.
[260] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Werke, Bd. 10, S. 113.
[261] W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojevskij..., S. 132.
[262] Т. Ш в а р ц. От Шопенгауэра к Хейдеггеру. М., 1969, стр. 53.
[263] См. прим. 446.
[264] Цит. по кн.: W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostoewskij..., S. 136.
[265] Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1883, стр. 373.
[266] Цит. по кн.: W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 132.
[267] Th. D o s t o i e v s k y. L' esprit souterrain. Paris, 1886, p. 156.
[268] М. Г о р ь к и й. Собр. соч., т. 27. М., 1953, стр. 313.
[269] F. N i e t z s c h e. Der Wille zur Macht, S. 260.
[270] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Werke, Bd. 10, S. 112—113.
[271] F. N i e t z s c h e. Der Wille zur Macht, S. 262—263.
[272] Там же, стр. 265.
[273] «Письма», т. I, стр. 139.
[274] В. Д. Б о н ч - Б р у е в и ч. Воспоминания. М., 1968, стр. 23—24.
[275] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Werke. Bd. 18. Musarion Verlag, München, (1926), S. 171.
[276] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Briefe, Bd. III, 1 Hälfte, S. 322.
[277] F. N i e t z s c h e. Der Wille zur Macht, S. 29.
[278] F. N i e t z s c h e. Gesammelte Briefe, Bd. III, 1 Hälfte, S. 322.

В статье И. Е. Верцмана «Ницше и его наследники» допущена неточность в переводе этой фразы, существенно меняющая ее смысл. Перевод И. Верцмана: «Я вижу в Достоевском ценнейший психологический материал, какой я только знаю,— я в высшей степени ‹!› благодарен ему за то, что он всегда отвечает ‹!› моим потаенным инстинктам» («Вопросы литературы», 1962, № 7, стр. 142). См. немецкий оригинал: «Ihren Worten über Dostojewski glaube ich unbedingt; ich schätze ihn andererseits als das wertvollste psychologische Material, das ich kenne — ich bin ihm auf eine merkwürdige Weise dankbar, wie sehr er auch immer meinen untersten Instinkten zuwider geht» (F. N i e t z s c h e. Gesammelte Briefe, Bd. III, 1 Hälfte, S. 322).

[279] D. Č i z e v s k i j. Dostojewskij und Nietzsche. Die Lehre von der ewigen Wiederkunft. Bonn. 1948, S. 2.
[280] W. G e s e m a n n. Nietzsches Verhältnis zu Dostojewskij..., S. 143.

[281] F. Nietzsche. Gesammelte Werke, Bd. 11. München, 1964, S. 33.
[282] F. Nietzsche. Gesammelte Werke. 1[Abt. Bd. VIII. Leipzig, 1896, S. 48—49.
[283] F. Nietzsche. Gesammelte Werke, Bd. 11, S. 33—34.
[284] Там же, стр. 32.
[285] K. Jaspers. Aneignung und Polemik. München, o. J., S. 343.
[286] F. Nietzsche. Gesammelte Werke, Bd. 11, S. 14.
[287] Friedrich Nietzsches Gesammelte Briefe, Bd. III, Erste Hälfte, S. 325—326.
[288] «История немецкой литературы», т. 4. М., «Наука», 1968, стр. 349.
[289] Л. Шестов. Умозрение и откровение. Париж, 1964, стр. 201—202.
[290] F. Nietzsche. Gesammelte Werke. 2 Abt. Bd. X. Leipzig, 1903, S. 204.
[291] F. Nietzsche. Menschliches, Allzumenschliches. Bd. 2. München ⟨1962⟩, S. 29.
[292] G. Tantzscher. Friedrich Nietzsche und die Neuromantik. Eine Zeitstudie. Juriew (Dorpat), 1900, S. 6.
[293] «Pan» (Berlin) Jg. 1, 1895, H. 1, S. 3—4.
[294] R. Huch. Blütezeit der Romantik. 8 und 9 Aufl. Leipzig, 1920, S. 196.
[295] A. Wirt. Die Zukunft Rußlands.— «Die neue Rundschau» (Berlin), 1904, Bd. 2, S. 1342.
[296] M. Harden. Literatur und Theater, S. 82—83.
[297] R. Hardt. Rußlands «Auferstehung».— «Die neue Rundschau», 1907, Bd. I, S. 673.
[298] H. Eulenberg. Dostojewski. Schattenbilder. Berlin, 1910, S. 262, 264.
[299] M. H. Boehm. Die Geschichtsphilosophie Dostojewskis und der gegenwärtige Krieg.— «Preußische Jahrbücher», 1915, Bd. 159, H. 2, S. 194.
[300] E. Lucka. Dostojewski und der Teufel.— «Das literarische Echo» (Berlin), Jg., 16, 1913, H. 6, S. 378.
[301] J. Bab. Fortinbras oder der Kampf des 19. Jahrhunderts mit dem Geiste der Romantik. 3 Aufl. Berlin, 1921, S. 23.
[302] Там же, стр. 11. См. также его сонет «Достоевский» (J. Bab. Lyrische Porträte. Berlin, 1912, S. 64).
[303] Th. M. Dostojewsky. Eine biographische Studie von N. Hoffmann. Berlin, 1899.
[304] В. Н. Кораблев. Немецкая книга о Достоевском.— В его кн.: Литературные заметки. СПб., 1908, стр. 188.
[305] Указ. книга Н. Гофман, стр. 207, 426.
[306] F. Sandvoß. Theodor Michailowitsch Dostojewsky, S. 331.
[307] J. Müller. Dostojewski. Ein Charakterbild. München, 1903.
[308] Th. Kampmann. Dostojewski in Deutschland, S. 34.
[309] K. Nötzel. Das heutige Rußland. Einführung an der Hand von Tolstois Leben und Werken. 2 Bd. 1915—1918.
[310] K. Nötzel. Dostojewski und wir. München, 1920.
[311] K. Nötzel, A. Barwinskyj. Die slawische Volksseele. Jena, 1916, S. 6, 4, 22—23, 31.
[312] K. Nötzel. Grundlagen des geistigen Rußlands. Jena, 1917, S. 45, 58.
[313] K. Nötzel, A. Barwinskyj. Die slawische Volksseele, S. 34, 7.
[314] E. Lucka. Dostojewski. Stuttgart und Berlin, 1924.
[315] E. Lucka. Das Problem Raskolnikows.— «Das literarische Echo», Jg. 16, 1914, H. 16, S. 1093—1095, 1098, 1099.
[316] L. Andreas-Salomé. Leo Tolstoi, unser Zeitgenosse.— «Neue deutsche Rundschau», 1898, H. 11, S. 1150.
[317] Geschichten und Satiren aus der neueren russischen Literatur. Herausgeber und Übersetzer Wilh. Henckel. Berlin, 1899.
[318] L. Andreas-Salomé. Russische Geschichten.— «Die Zeit», 1899, N 271, S. 153.
[319] L. Andreas-Salomé. Leo Tolstoi, unser Zeitgenosse, S. 1150.
[320] G. Heller. Bücher vom wirkkllichen Leben. Wien, 1908.
[321] Цит. по кн.: S. Brutzer. Rilke's russische Reisen. Königsberg, 1934, S. 46.
[322] L. Andreas-Salomé. Lebensrückblick. Frankfurt a. M., 1968, S. 117.
[323] R. M. Rilke. Briefe und Tagebücher aus der Frühzeit 1899 bis 1902. Leipzig, 1931, S. 419.— О своеобразных взглядах Рильке на Россию и критику их — см. в ст.: К. М. Азадовский. Р. М. Рильке и Л. Н. Толстой.— «Русская литература», 1969, № 1, стр. 129—151.
[324] Рукописный отдел Государственного Русского музея (далее ГРМ), ф. 137, ед. хр. 1953, л. 28.
[325] Letters of Rainer Maria Rilke to Helena.— «Oxford Slavonic Papers», 1960, V. IX, p. 158.
[326] R. M. Rilke. Briefe und Tagebücher..., S. 240.
[327] R. M. Rilke. Werke. Auswahl in drei Bänden, Bd. I. Leipzig, 1963, S. 101.
[328] Цит. по кн.: S. Brutzer. Rilke's russische Reisen, S. 46.

[329] ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1953, л. 26.— Слова в квадратных скобках в оригинале написаны по-русски.
[330] ИРЛИ, ф. 619, ед. хр. 9, л. 21.
[331] S. Brutzer. Rilke's russische Reisen, S. 47.
[332] Е. И. Нечепорук. Стефан Цвейг и русская литература.— «Ученые записки Мос. гос. пед. ин-та им. Н. К. Крупской», т. 220, вып. 11. М., 1968, стр. 75.
[333] R. M. Rilke. Briefe. Wiesbaden, 1950, S. 348.
[334] F. M. Dostojewskis sämtliche Werke. Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkowski und Dmitri Philosophow u. a. deutsch herausgegeben von Moeller van den Bruck. I und II Abt. Bd. 1—22. München, R. Piper, 1906—1919.
[335] А. Ф-о в. Достоевский в Германии.— «Новая Русь», 1909, № 330, 1 декабря, стр. 5.
[336] A. Moeller van den Bruck. Zur Einführung. Bemerkungen über Dostojewski.—In: F. M. Dostojewskis sämtliche Werke... 1 Abt. Bd. 5, München und Leipzig, 1906, S. XIV.
[337] A. Moeller van den Bruck. Dostojewski, der Nihilismus und die Revolution. In: F. M. Dostojewskis sämtliche Werke... Bd. 5, 2. Aufl. München, 1921, S. IX—X.
[338] H. Strobl. Dostojewski, Rußland und die Revolution.— «Die Gegenwart», Jg. 36, 1907, Bd. 71, N 6, S. 103.
[339] A. Moeller van den Bruck. Dostojewski, der Nihilismus und die Revolution, S. XX.
[340] F. Servaes. Dostojewskis Roman vom revolutionären Rußland.— «Neue freie Presse» (Wien), 1906, N 15083, S. 31.
[341] Там же, стр. 32, 33.
[342] A. Moeller van den Bruck. Zur Einführung..., S. XV.
[343] Книга эта уже в 1903 г. была переведена на немецкий язык и имела в Германии широчайший резонанс (D. S. Mereschkowski. Tolstoi und Dostojewski als Menchen und als Künstler. Kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens. 2 Teile. Deutsch von Carl von Gütschow. Leipzig, 1903).
[344] Dmitri Mereschkowski. Zur Einführung.— In: «F. M. Dostojewski. Politische Schriften».— Sämtliche Werke... II Abt. Bd. 13, 1907, S. X.
[345] H. Bahr, D. Mereschkowski, O. J. Bierbaum. Dostojewski. Drei Essais. München, R. Piper, 1914,S. 1—4, 77, 87, 88 u. s. w.
[346] «История немецкой литературы», т. 4. М., 1968, стр. 537.
[347] А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 5. М. 1965, стр. 413.
[348] E. von Sallwürk. Der Weg zum literarischen Expressionismus. Langesalza, 1919, S. 28.
[349] L. Schreyer. Der neue Mensch.— «Der Sturm. Halbmonatsschrift für Kultur und die Künste» (Berlin), Jg. 10., 1919/1920, N 2, S. 18—19.
[350] См. W. Mittenzwei. Der Expressionismus. Aufbruch und Zusammenbruch einer Illusion.— In: Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus. Leipzig. o. J., S. 9.
[351] K. Edschmid. Über den Expressionismus in der Literatur und Dichtung. Berlin, 1920, S. 57.
[352] Там же, стр. 56.
[353] W. H. Sokel. Der literarische Expressionismus. Der Expressionismus in der deutschen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. München, 1959, S. 188.
[354] K. Edschmid. Der neue Roman und Wassermann.—«Aktion» (Berlin), Jg. 10, 1920, N 3, S. 131.
[355] E. Thurneysen. Dostojewski. München, 1921, S. 6—7 (новое изд.: 1963).
[356] W. Harden. Worte zu diesem Hefte.— «Aktion», Jg. 5, 1915, N 43-44, S. 529.
[357] K. Kersten. Dostojewski nach seinen Briefen.— «Aktion», Jg. 6, 1916, N 49-50, S. 661.
[358] Цит. по кн.: W. Fehse. Das höchste Gut dieser Erde.— In: Stefan Zweig. Spiegelungen seiner schöpferischen Persönlichkeit. Wien, 1959, S. 64.
[359] Цит. по кн.: «Ich schneide die Zeit aus. Expressionismus und Politik in Franz Pfempferts „Aktion". 1911—1918. Dokumente». Hrsg. von P. Raabe. München, 1964, S. 165.
[360] М. Н. Волчанецкий. Экспрессионизм в немецкой литературе. Пг., 1923, стр. 72.
[361] W. H. Sokel. Der literarische Expressionismus, S. 190.
[362] Цит. по кн.: «Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung». Hrsg. von P. Raabe. München, 1965, S. 139.
[363] L. Rubiner. Der Dichter greift in die Politik.— «Aktion», Jg. 2, 1912, N 23, S. 715.
[364] Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung, S. 207.
[365] Dichtung und Dichter der Zeit. Eine Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte von Albert Soergel. N. F. Im Banne des Expressionismus. Leipzig, 1925, S. 742.

[366] О воздействии Достоевского на Верфеля — см.: M. T u k i a n. Dostojewskij und Franz Werfel. Bern, 1950; T. P a c h m u s s. Dostojewsky and F. Werfel.— «German Quarterly» (Appleton), 1963, v. XXXVI, November, N 4.

[367] «Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung», S. 207.

[368] R. L a u e r. Eine Dostojewskij-Parodie von Ludwig Strauß.— «Zeitschrift für slawische Philologie» (Heidelberg), 1953, N XXII, S. 12—39.

[369] A. S o e r g e l — C. H o h o f f. Dichtung und Dichter der Zeit. Band II. Düsseldorf, 1963, S. 42.

[370] W. M u s c h g. Von Trakl bis Brecht. Dichter des Expressionismus. München, 1961, S. 53.

[371] W. H. S o k e l. Der literarische Expressionismus, S. 188.

[372] Th. K a m p m a n n. Dostojewski in Deutschland, S. 151—152.

[373] А. В. Л у н а ч а р с к и й. Собр. соч., т. 5, стр. 415.

[374] «Aktion», Jg. 6, 1916, N 9, S. 303.

[375] A. S o e r g e l — C. H o h o f f. Dichtung und Dichter der Zeit, Bd. I. Düsseldorf, 1961, S. 122.

[376] См., например, «Письма», т. II, стр. 190.

[377] P. N a t o r p. Fjedor Dostojewskis Bedeutung für die gegenwärtige Kulturkrisis. Jena, 1923, S. 2.

[378] А. Л. Г р и г о р ь е в. Достоевский и зарубежная литература.— «Ученые записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 158, 1958, стр. 16.

[379] Charles Louis P h i l i p p e. Lettres de jeunesse. Paris, 1911, p. 64.

[380] K. P i n t u s. Zur jüngsten Dichtung.— In: «Expressionismus. Dokumente um eine literarische Bewegung». Hrsg. von P. Raabe. München, 1963, S. 71.

[381] P. N a t o r p. Fjedor Dostojewskis Bedeutung für die gegenwärtige Kulturkrisis, S. 3.

[382] K. N ö t z e l. Einführung in den russischen Roman. Versuch einer Deutung der russischen Geistigkeit und der russischen Formgebung. München, 1920, S. 13, 9, 7.

[383] A. D ö b l i n. Kleine Prosa. Die Zeitlupe. Hrsg. von W. Muschg. Olten und Freiburg in Breisgau, 1962, S. 215.

[384] A. D ö b l i n. Aufsätze zur Literatur. Hrsg. von W. Muschg. Olten und Freiburg in Breisgau, 1963, S. 368—369.

[385] A. D ö b l i n. Kleine Prosa, S. 215.

[386] A. D ö b l i n. Aufsätze zur Literatur, S. 369, 216.

[387] A. D ö b l i n. Goethe und Dostojewski.— «Ganymed. Jahrbuch für Künste», Jg. 3, 1921, S. 87 (цит. по кн.: R. M. H a u s m a n n. Alfred Döblin and Dostoevsky. Patterns of literary creation. Diss. Harvard Univ., Cambridge, 1967, p. 25).

[388] A. D ö b l i n. Selbstporträt. 1927.— In: «Alfred Döblin zum 70. Geburtstag». Hrsg. von Paul E. H. L ü t h. Wiesbaden, 1948, S. 133.

[389] A. D ö b l i n. Aufsätze zur Literatur, S. 368.

[390] A. D ö b l i n. Goethe und Dostojewski, S. 86, 93.

[391] Воздействие Достоевского заметно сказалось в ранних произведениях Деблина, а также в его наиболее известном романе «Берлин, Александерплац» (1929). Об этом подробно сказано в кн.: R. M. H a u s m a n n. Alfred Döblin and Dostoevsky (см. выше).

[392] J. W a s s e r m a n n. Selbstbetrachtungen. Berlin, 1933, S. 90.

[393] См., например, J. W a s s e r m a n n - S p e y e r. Jacob Wassermann und sein Werk. Wien — Leipzig, 1923; M. K a r l w e i s. Jacob Wassermann. Bild. Kampf. Werk. Amsterdam, 1935. О влиянии Достоевского на творчество Вассермана — см. также ст.: E. F r a n k l e. Dostoevsky et Wassermann.— «Revue de littérature comparée» (Paris), 1940, № 1, p. 43—64.

[394] J. W a s s e r m a n n. Lebensdienst. Gesammelte Studien. Erfahrungen und Reden aus drei Jahrzehnten. Leipzig — Zürich, 1928, S. 259, 263, 261.

[395] Цит. по кн.: «Expressionismus. Aufzeichnungen und Errinerungen der Zeitgenossen». Olten und Freiburg in Breisgau, 1965, S. 74.

[396] Первым, кто сблизил Достоевского и Кафку в плане «философии абсурда», был А. Камю, который еще в 1942 г. включил в свое знаменитое впоследствии философское эссе «Миф о Сизифе» (A. C a m u s. Le mythe de Sisyphe) главу о Достоевском, а в 1943 г. опубликовал написанную в том же духе главу «Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки». Перекличка с Камю ощущается и в широко известном эссе французской писательницы Н. Саррот «От Достоевского к Кафке» (N. S a r r a u t e. L'ère du soupçon). В странах английского языка взгляд на Достоевского как на «первого экзистенциалиста» был во многом стимулирован известной, не раз переиздававшейся антологией «Экзистенциализм от Достоевского до Сартра» («Existentialism from Dostoevsky to Sartre». Ed. by W. Kaufmann, 12th printing. Cleveland — New York, 1964). В качестве «экзистенциалистского» произведения Достоевского издатель У. Кауфман включил сюда первую часть «Записок из подполья». См. также R. P o g g i o l i. Kafka and Dostoevsky. — In: The Kafka problems. New York, 1946; V. T e r r a s. Zur Aufhebung bei Kafka und Dostoevsky.— «Papers on language and literature», Edwardsville, 1969, V. 5, N 2, etc.

[397] W. Hubben. Dostojevski, Kierkegaard, Nietzsche and Kafka, p. 5.
[398] K. Wagenbach. Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt Monographien. Hamburg, 1964, S. 92.
[399] K. Hermsdorf. Kafka. Weltbild und Roman. Berlin, 1961, S. 167.
[400] M. Brod. Franz Kafka. Eine Biographie. Frankfurt a. M., Hamburg, 1966, S. 46, 314.
[401] F. Kafka. Briefe an Milena. Frankfurt a. M., 1952, S. 18, 19.
[402] F. Kafka. Gesammelte Werke. Hrsg. von M. Brod. Tagebücher 1910—1925, Bd. 7. Frankfurt a. M., 1954, S. 450—451.
[403] В. Днепров. Черты романа XX века. М.— Л., 1965, стр. 202.
[404] Б. Л. Сучков. Кафка, его судьба и его творчество.— «Знамя», 1964, № 10, стр. 225.
[405] Die Brüder Karamasoff oder Der Untergang Europas (Einfälle bei der Lektüre Dostojewskis); Gedanken zu Dostojewskis «Idiot». Обе статьи в кн.: H. Hesse. Gesammelte Werke. Betrachtungen. Berlin, 1928.
[406] E. Lucka. Dostojewski und der Sozialismus.— «Das literarische Echo», Jg. 24, 1922, H. 20, S. 1231.
[407] E. Lucka. Dostojewski. Stuttgart und Berlin, 1924, S. 39.
[408] Цит. по кн.: F. M. Dostoewski. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff. Dostoewskis Quellen, Entwürfe und Fragmente. Erläutert von W. Komarowitsch. München, 1928, S. 622.
[409] Стефан Цвейг. Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский.— Собр. соч., т. VII. Л., 1929, стр. 85.
[410] J. Wassermann. Lebensdient, S. 261—262.
[411] E. Hexelschneider. M. Wegner. Deutsche Arbeiterbewegung und die russische Literatur (bis 1917). Versuch eines Abrisses.—«Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität». Jena (Thüringen), Jg. 13, 1964, H. 2, S. 177—178.
[412] Ф. Меринг. Литературно-критические статьи. М.— Л., 1964, стр. 338, 339, 342, 343, 404, 460.
[413] E. Hexelschneider. M. Wegner. Deutsche Arbeiterbewegung und die russische Literatur..., S. 179.
[414] А. Бебель. Идеалистический роман. (О романе Чернышевского «Что делать?»). Статья цитируется в переводе Н. В. Спижарской, опубликованном в «Докладах и сообщениях филологического института ЛГУ», вып. I. Л., 1949, стр. 98.
[415] E. Hexelschneider, M. Wegner. Deutsche Arbeiterbewegung und die russische Literatur..., S. 178.
[416] «In Angesicht des Todes. Eine Episode aus Dostojewskis Jugend».— «Vorwärts» (Berlin), 1891, Beilage N 18 (160), 13. Juli.
[417] K. Kautsky. Vorwort zu: Generalregister des Inhalts der Jahrgänge 1883 bis 1902 der Neuen Zeit bestehend in einem Sachregister nebst Stichwort-Anzeiger. Stuttgart, 1905, S. XI.
[418] Rosus. Ein russischer Roman.— «Die neue Zeit» (Stuttgart), Jg. II, 1884, S. 1—12.
[419] Ф. Меринг. Литературно-критические статьи, т. II. М.— Л., 1934, стр. 222.
[420] R. Schweichel. Der naturalistische Roman bei den Russen und Franzosen.— «Die neue Zeit», Jg. V, 1887, H. 1, 2, 3, 12.
[421] Rosus. Ein russischer Roman, S. 1.
[422] R. Schweichel. Der naturalistische Roman..., H. 2, S. 64, 69.
[423] Rosus. Ein russischer Roman, S. 1, 2, 5, 8, 9, 11.
[424] R. Schweichel. Der naturalistische Roman..., H. 2, S. 65—66.
[425] Rosus. Ein russisischer Hamlet.— «Die neue Zeit», Jg. II, 1884, S. 202.
[426] R. Schweichel. Der naturalistische Roman..., H. 12, S. 553.
[427] K. Eisner. Raskolnikow. Zu Dostojewskijs Bild.—«Sozialistische Monatshefte» (Berlin), Jg. V, 1901, N. 1, S. 48—52.
[428] P. Ernst. Gedanken zur Weltliteratur. Aufsätze. Gütersloh, 1959, S. 328, 319.
[429] К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37. М., 1965, стр. 350—353, 421.
[430] P. Ernst. Gedanken zur Weltliteratur, S. 323.
[431] O. Kaus. Der Irrtum Dostojewskis.— «Frankfurter Zeitung», 1916, N 3.
[432] См.: В. С. Нечаева. Рец. на кн.: O. Kaus. Dostojewski und sein Schicksal. Berlin, 1923.— «Печать и революция», 1925, № 4, стр. 269.
[433] Th. Kampmann. Dostojewski in Deutschland, S. 69.
[434] O. Kaus. Dostojewski. Zur Kritik der Persönlichkeit. Ein Versuch. München, R. Piper, 1916.
[435] O. Kaus. Dostojewski und sein Schicksal. Berlin, 1923, S. 151.
[436] Р. Люксембург. О литературе. М., 1961, стр. 176, 130, 131, 133, 135, 136, 140.
[437] K. Liebknecht. Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchungshaft und aus dem Zuchthaus. Berlin, 1920, S. 99.
[438] K. Liebknecht. Gesammelte Reden und Schriften. Mit einem Vorwort von Wilhelm Pieck, Bd. I. Berlin, 1958, S. 69—70.

[439] A. Seghers. Über Tolstoi. Über Dostojewskij. Berlin, 1963, S. 57—59.
[440] H. Schmidt. Die Dostojewskij—Rezeption in der deutschen revolutionären Arbeiterbewegung (1920—1925).— «Zeitschrift fur Slawistik» (Berlin), 1968, Bd. XIII, N 4, S. 567, 568.
[441] И. Бехер. Любовь моя, поэзия. О литературе и искусстве М., 1965, стр. 468.
[442] А. Л<уначарский>. Германия о Достоевском.— «Культура и жизнь», 1922, № 1, стр. 28.
[443] S. Lane. Deutsche Dostojewskij-Inflation.— «Slavische Rundschau» (Berlin—Leipzig—Prag), Jg. III, 1931, N 3, S. 196, 197.
[444] A. Luther. Dostojewski und kein Ende.— «Das literarische Echo», Jg. 25, 1923, H. 17-18, S. 953.
[445] F. M. Dostojewski. Sämtliche Romane und Novellen. Hrsg. von K. Röhl und St. Zweig. Leipzig, 1921.
[446] H. Prager. Die Weltanschauung Dostojewskis. Hildesheim, 1925. S. 9—10 (о книге Прагера см. подробно в ст. Ф. Ф. Березкова «Достоевский на Западе» (1916—1928).— Сб. «Достоевский». М., 1928).
[447] K. Praxmarer. Idee und Wirklichkeit. Dostojewskij. Rußland und wir. Berlin, 1922.
[448] W. Bruhn. Dostojewski und der Kulturpessimismus der Gegenwart. Frankfurt a. M., 1929.
[449] Th. von. Bodisco. Dostojewski als religiöse Erscheinung. Berlin, 1921.
[450] W. Marholz. Dostojewskij. Ein Weg zum Menschen, zum Werke, zum Evangelium. Berlin, 1922.
[451] R. Guardini. Der Mensch und der Glaube. Versuch über die religiöse Existenz in den großen Romanen Dostojewskijs. Leipzig, 1933.
[452] W. Schümer. Tod und Leben bei Dostojewskij. Calw, o. j.
[453] J. Meier-Graefe. Dostojewski der Dichter. Berlin, 1926.
[454] S. Freud. Dostojewski und die Vatertötung.—In: «F. M. Dostojewski. Die Urgestalt der Brüder Karamasoff». München, 1928.
[455] J. Neufeld. Dostojewski. Skizze zu seiner Psychoanalyse. Leipzig—Wien—Zürich, 1923.
[456] H. Braun. Gerichtsärtzliche Probleme in Dostojewskijs Roman «Die Brüder Karamazoff». Diss. Waldorf—Heidelberg, 1935.
[457] J. Meer. Psychopathologische Beurteilung Dostojewskijs.— «Psychologie und Medizin». IV—V. Stuttgart, 1930.
[458] R. Kappen. Die Idee des Volkes bei Dostojewski. Diss. Bonn, 1936.
[459] F. Schulze-Maizier. Von Dostojewskij zu Nietzsche.— «Wir und die Welt» (Heildelberg), Jg. II, 1940, H. 1.
[460] D. Gerhardt. Gogol und Dostojewskij in ihrem künstlerischen Verhältniss (Slavisch-baltische Quellen und Forschungen, Bd. X). Leipzig, 1941.
[461] Об этом см.: А. Л. Григорьев. Достоевский и зарубежная литература.— «Ученые записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 158. 1958, стр. 3—54; его же. Роман Достоевского «Преступление и наказание» за рубежом.— В кн.: Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. М., «Наука», 1970, стр. 716—732; его же. Достоевский в современном зарубежном литературоведении (1945—1971). (Основные проблемы и направления в изучении его наследия).— «Русская литература», 1972, № 1, стр. 192—214. См. также: Д. Заславский. Буржуазные критики о Достоевском.— «Иностранная литература», 1956, № 7, стр. 170—174; Р. Ю. Данилевский. Изучение русской литературы в ФРГ (1958—1960).— «Русская литература», 1961, № 2, стр. 210—221; Т. Л. Мотылева. Достоевский и зарубежные писатели XX века. К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.— «Вопросы литературы», 1971, № 5, стр. 96—128; V. Setschkareff. Dostojewskij in Deutschland.— «Zeitschrift für slavische Philologie», Bd. XXII, H. 1. 1953.
[462] См.: Д. О. Заславский. Буржуазные критики о Достоевском, стр. 173.
[463] J. Bohatec. Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntnis des russischen Menschen. Graz — Köln, 1951.
[464] H. von Rimscha. Dostojewskij — ein Antipode Goethes. Coburg, 1949.
[465] Th. Steinbüchel. F. M. Dostojewski, Düsseldorf, 1947.
[466] M. Doerne. Gott und Mensch in Dostoewskijs Werk. Göttingen, 1957.
[467] W. Rehm. Jean-Paul—Dostojewski. Eine Studie zur dichterischen Gestaltung des Unglaubens. Göttingen, 1962.
[468] G. Kranz. Der Mensch in seiner Entscheidung. Über Freiheitsidee Dostoevskijs. Bonn, 1949.
[469] R. Lauth. Ich habe die Wahrheit gesehen. Die Philosophie Dostoevskijs in systematischer Darstellung. München, 1950.
[470] W. Nigg. Religiöse Denker. Zürich, 1948.
[471] A. Dempf. Die drei Laster. Dostojewskijs Tiefenpsychologie. München, 1946.
[472] Т. Манн. Собр. соч., т. 10.
[473] H. Böll. Die Stunde Dostojewskijs.— «Die Weltwoche» (Zürich), 1970, N 33, S. 27.

[474] E. Wolf. Dostojewskij-Forschung im Dienste des klerikalen Antikommunismus.— «Ostforschung und Slawistik». Berlin, 1960.

[475] E. Fabian. Von Puschkin bis Gorki. Schwerin, 1952.

[476] W. Düwel. Für und wider Dostojewski. Zum 75. Todestag des Dichters am 9. Februar.— «Neue deutsche Literatur» (Berlin), Jg. 4, 1956, H 2, S. 120.

[477] A. Seghers. Über Tolstoi. Über Dostojewskij.

[478] H. Krempien. Was bedeutet uns heute Dostojewskij?—«Der Bibliothekar» (Berlin — Leipzig — Halle), 1957, N 2, S. 144.

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (1882—1900)

1882. Отрывок из «Записок из Мертвого дома» (Lebensbilder aus einem sibirischen Gefängnisse. Nach den hinterlassenen Aufzeichnungen eines zu zehnjäriger Zwangsarbeit verurtheilten russischen Edelmannes. Köln, Lengfeld). Книга издана анонимно.

«Преступление и наказание» (Raskolnikow. Übers. v. W. Henckel. Leipzig, W. Friedrich).

«Мальчик у Христа на елке» (Der Knabe bei Christo zum Weihnachtsbaume.— «Auf der Höhe». Internationale Revue, hrsg. von L. Sacher-Masoch. Jg. II. Bd. V. December.

1884. «Братья Карамазовы» (Die Brüder Karamazow. Leipzig, Fr. Grounow).

1885. «Униженные и оскорбленные» (Erniedrigte und Beleidigte. Berlin—Stuttgart, B. Spemann).

1886. «Записки из Мертвого дома» (Aus dem todten Hause. 2 Aufl. Dresden, H. Minden).

«Рассказы» (Erzählungen von F. M. Dostojewski. Frei nach dem Russ. von W. Goldschmidt. «Хозяйка» (Die Wirtin), «Елка и свадьба» (Christbaum und Hochzeit), «Белые ночи» (Helle Nächte), «Мальчик у Христа на елке» (Weihnacht), «Честный вор» (Der ehrliche Dieb) ‹Leipzig, Ph. Reclam's «Universal-Bibliothek», N 2126›.

«Подросток» (Junger Nachwuchs. Übers. v. W. Stein. Leipzig, W. Friedrich).

«Преступление и наказание» (Raskolnikow. 2 Aufl. Leipzig, W. Friedrich).

1887. «Бедные люди» (Arme Leute. Übers. v. A. L. Hauff. Dresden u. Leipzig, H. Minden).

«Кроткая» (Krotkaja. Deutsch v. M. von Bröndsted. 1 u. 2 Aufl. Dresden, H. Minden).

1888. «Бесы» (Die Besessenen. Deutsch. v. H. Putze. Dresden, H. Minden).

«Вечный муж» (Der Hahnrei. Deutsch v. A. Scholz. Berlin, S. Fischer).

«Слабое сердце» (Ein schwaches Herz. Übers. v. H. Roskoschny. Leipzig, Gressner u. Schramm: «Russische Taschen-Bibliothek», N 4).

«Белые ночи» (Weisse Nächte. Aus dem Russischen v. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Господин Прохарчин» (Herr Prochartschin). «Честный вор» (Aufzeichnungen eines Unbekannten. Deutsch. v. F. O. Maksimow. Leipzig, Gresnner u. Schramm: «Russische Taschen-Bibliothek», N 17).

«Игрок» (Der Spieler. Roman aus dem Badeleben. Bearbeitet v. A. Scholz. Berlin, S. Fischer).

«Преступление и наказание» (Schuld und Sühne. Über. v. H. Moser. Leipzig, Ph. Reclam's «Universal-Bibliothek», N 2481—2485).

1888—1889. «Преступление» и наказание» (Schuld und Sühne.—«Berliner Volksblatt», NN 261—306; N 1—59).

1889. «Записки из Мертвого дома» (Aus dem todten Hause. Übers. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke

«Двойник» (Der Doppelgänger. Aus dem Russ. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Вечный муж» (Der Gatte. Deutsch v. A. Scholz. 2. Aufl. Berlin, S. Fischer).

«Дядюшкин сон» (Des Onkel's Traum. Aus dem Russ. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Неточка Незванова» (Nettchen Neswanow. Aus dem Russ. von L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Идиот» (Der Idiot. Deutsch. v. A. Scholz. Berlin, S. Fischer).

1890. «Бедные люди» (Arme Leute. Aus dem Russ. v. L. A. Hauff. 3 Aufl. Dresden, H. Minden).

«Записки из Мертвого дома» (Memoiren aus einem Totenhaus. Übers. v. H. Moser. Leipzig, Ph. Reclam's «Universal-Bibliothek», N 2647—2649).

«Записки из Мертвого дома» (Aus dem todten Hause. Übers. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Игрок» (Der Spieler. Aus den Erinnerungen eines jungen Mannes. Übers. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Село Степанчиково и его обитатели» (Tollhaus oder Herrenhaus? (Stepantchikowo und seine Bewohner). Roman. Übers. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Хозяйка» (Die Unbekannte. Erzählung. Übers. v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Бесы» (Die Besessenen. Roman. 2. Aufl. Deutsch. v. H. Putze. Dresden, H. Minden).

«Слабое сердце» (Ein schwaches Herz. Berlin, Norddeutsches Verlags-Institut).

«Униженные и оскорбленные» (Erniedrigte und Beleidigte. Übers v. L. A. Hauff. Berlin, O. Janke).

«Кроткая» (Krotkaja. Deutsch v. M. von Bröndsted. 3. Aufl. Bremen, Marbes).

«Белые ночи» (Helle Nächte. Ein sentimentaler Roman. Leipzig, Gressner u. Schramm).

«Преступление и наказание» (Raskolnikow. 3. verb. Aufl. in 2 Bd. Leipzig, W. Friedrich).

«Скверный анекдот» (Eine heikle Geschichte. Deutsch v. A.Scholz. Berlin, R. Eckstein's Nachfolger Hammer u. Runge).

«Скверный анекдот» (Eine heikle Geschichte.— «Freie Bühne für modernes Leben», Jg. I, H. 22—26).

1891. Отрывок из романа «Идиот» (Aufzeichnungen eines Schwindsüchtigen. Berlin, H. Steinitz).

«Преступление и наказание» (Raskolnikow's Schuld und Sühne. Deutsch. v. P. Styczynski. Berlin, O. Janke).

1893. «Роман в девяти письмах» (Ein Roman in neun Briefen. Deutsch von H. Putze.— «Die Gegenwart», Bd. XLIII, N 16).

1894. «Преступление и наказание» (Raskolnikow. Übers. u. neu durchgesehen v. W. Henckel. Mit. Illustr. v. H. Lüders u. W. Weimar. Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung).

«Слабое сердце» (Ein schwaches Herz. Übers. v. H. Putze. Berlin, Eckstein's 50-Pfennig-Bibliothek, N 14).

«Белые ночи» (Helle Nächte. Ein sentimentaler Roman. Leipzig, Gressner u. Schramm).

1895. «Записки из подполья». (Aus dem dunklsten Winkel der Grosstadt. Deutsch mit einer Einleitung v. Dr. Al. Markow. Berlin, H. Steinitz).

«Ползунков» (Polsunkow. Übers. v. Ad. Harbell.— «Das Magazin für Literatur». Jg. 64, N 9—10.

«Легенда о Великом инквизиторе» (Der Großinquisitor.— «Die neue Zeit», N 23—24)

1896. «Роман в девяти письмах» (Ein Roman in neun Briefen). «Маленький герой» (Ein kleiner Held). «Ползунков» (Polsunkow). Drei Novellen v. F. Dostojewski. Berlin, S. Fischer).

1897. «Бобок» (Der Bobok. Memoiren einer Person. Deutsch. v. N. Hoffmann.— «Wiener Rundschau», N 4—6).

«Кроткая» (Ein sanftes Weib. Deutsch v. Ad. Garbell.— «Das Magazin für Literatur», Jg. 66, N 49—52).

«Записки из подполья» (Aufzeichnungen eines Paradoxen.—«Das Magazin für Literatur», Jg. 66, N 30—32).

1898. Из записных книжек Ф. М. Достоевского (Aus den Tagebüchern Th. M. Dostojewsky's. Von N. Hoffmann. Beilage zur «Allgemeine Zeitung», N 104, v. 10. Mai).

1900. «Униженные и оскорбленные» (Erniedrigte und Beleidigte. Leipzig, Union Deutsche. Verlagsgesellschaft: «Moderne Romane aller Nationen»).

ДОСТОЕВСКИЙ НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Обзор Н. Л. Сухачева

В 1910 г. после постановки на сцене Художественного театра «Братьев Карамазовых» (премьера 12 октября) В. И. Немирович-Данченко писал К. С. Станиславскому: «Если хорошо угадать, почувствовать психологию автора вообще важно, то угадать, почувствовать ее у романиста — самая первая необходимость. Это едва ли не самое главное различие драматурга от романиста, что последний дает не только рисунок, но и „круги", „приспособления" ⟨...⟩ Иногда,— как у Достоевского,— они стали избиты, истрепаны театрами; тогда надо заменить их другими, не выходя из „внутренних образов", определенно данных романистом» [1]. Это замечание во многом снимает ту скрытую полемику с «иллюстративным» [2] подходом к тексту, которую уже в следующем, 1911 г., открыл Жак Копо французской постановкой романа.

«Братья Карамазовы» в «Театре искусств» (премьера 6 апреля) в инсценировке Жака Копо и Жана Круэ сыграли в истории «театра Достоевского» во Франции не меньшую роль, чем постановки Художественного театра в России. Спектакль неоднократно возобновлялся самим Копо, в марте 1913 г. и в ноябре 1921 г. в театре «Старая голубятня» и в 1917 г. на сцене театра «Гаррик» (США). Сценарий был использован также Альбером Камю в 1937 г. в театре «Экип» (Алжир) и Андре Барсаком в «Ателье» в 1945 г.— будущими инсценировщиками романов «Бесы» и «Идиот». В 1967 г. инсценировка Копо была поставлена «Театром Сары Бернар». В той же драматической версии роман шел в Бельгии, Голландии, Англии, Германии, Австрии, Италии, Чехословакии. И дело не только в количестве реприз, но и в том авторитете, которым пользовался Копо как режиссер и театральный деятель. Камю писал: «В истории французского театра два периода — до Копо и после Копо» [3]. Все французские инсценировщики в большей или меньшей степени следовали принципам Копо в переводе Достоевского на язык сцены, при всем разнообразии режиссерского решения спектаклей, трактовки образов, исполнительского мастерства. Некоторые из этих «переводов» обрели самостоятельное звучание в драматургии. «„Бесы" резюмируют все, что в настоящее время я знаю и думаю о театре»,— отмечал Камю [4]. Такого же рода «резюме» — «Братья Карамазовы» Копо, «Преступление и наказание» Гастона Бати, «Идиот» Габриеля Ару.

В статье дана только самая общая характеристика основных инсценировок произведений Достоевского на французской сцене. Разносторонняя проблема «Достоевский и театр» должна решаться на более конкретном материале, в сопоставлении поэтики романиста с жанрами драматическими, с одной стороны, и, с другой — включать в себя частные вопросы истории театра в его современных направлениях и общие — развития и освоения художественного наследия, «синтеза искусств». Привлекается не столько история постановок, для чего необходимо полнее выявить и сопоставить имеющиеся материалы: рецензии, фотодокументы, мемуарную литературу — сколько тексты инсценировок (в большинстве случаев их авторы являлись одновременно постановщиками), которые и следует рассматривать непосредственно в качестве «театральной интерпретации» Достоевского. Пытаясь разобраться в принципах этих интерпретаций, невозможно игнорировать и «обратные связи», исключить вопрос о месте и роли «драматического» (театрального) элемента в творчестве писателя.

Известно отношение Достоевского к театру, то влияние, которое оказали на него Шиллер и Мольер, его увлечение Расином и Корнелем, отразившееся в письмах к брату конца 1830-х — начала 40-х годов. По поводу написанной М. М. Достоевским дра-

мы он замечает: «Особенно то нравится мне, что твой Герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается Сумасшедшим именно тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное — когда он любим.— Это прекрасно! Я рад, что тебя чему-нибудь научил Шекспир» [5]. В подобные «шекспировские», «гетевские» ситуации будут поставлены и герои будущих произведений Достоевского (Шатов, Дмитрий Карамазов). Автор «романов-трагедий» или «романов-мистерий» [6] до «Бедных людей» пытался продолжить традиции пушкинской драматургии, создавая своего «Бориса Годунова» [7]. Под влиянием Шиллера он пробует силы в трагедии — «Мария Стюарт»; повести Гоголя также сказались на его драматических замыслах [8]. М. П. Алексеев, связывая ранние драматические опыты Достоевского с его юношеским романтизмом, подчеркивал, что для писателя основное заключалось «не в интересе внешнего действия, не в сложности событий и исключительности обстоятельств, но именно в интересе изображения личности» [9]. Этот интерес к изображению личности оставался центральным на протяжении всей его жизни и отчасти объясняет, почему Достоевский, в котором, по словам французского критика Э. М. де Вогюэ, жил «талантливый драматург» (dramaturgue habille) [10], так ничего и не написал для театра.

Второй период творчества также начинается с драматических замыслов; повести «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково» были задуманы как комедии [11]. Если композиция «Дядюшкиного сна» еще во многом театральна, не случайно именно с этой повести начались инсценировки Достоевского в России (только при жизни автора известно шесть попыток переделать повесть в комедию), «Село Степанчиково» ближе к повествованию, к «малым романам». На связь этой повести с Мольером и Гоголем указывалось неоднократно, но подчеркивалось прежде всего сходство характеров [12].

В романах Достоевского «драматическое» сказывается только в самом общем плане — острое насыщенное действие и композиционная законченность эпизодов [13]. Эта фрагментарность, даже при наличии нескольких сюжетных линий, перенаселенности романов и их перегруженности событиями, создавала впечатление отдельных сцен и способствовала тому, что «роман-трагедия» стал восприниматься как «роман театральный», дающий готовый сценический материал, который оставляет инсценировщику только проблему выбора произведения или его частей для адаптации. Достоевский сознавал эпический характер своего творчества и, хотя «за правило взял никогда таким попыткам не мешать», высказывался против непосредственной переделки своих романов для сцены: «...почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере вполне. Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме. Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет...» [14] По свидетельству А. С. Суворина, на вопрос «отчего он никогда не писал драмы, тогда как в романах его так много чудесных монологов, которые могли бы производить потрясающее впечатление», Достоевский ответил: «У меня какой-то предрассудок насчет драмы. Белинский говорил, что драматург настоящий должен начинать писать с двадцати лет. У меня это и засело в голове. Я все не осмеливался. Впрочем, нынешним летом я надумывал один эпизод из „Карамазовых“ обратить в драму. Он назвал какой-то эпизод и стал развивать драматическую ситуацию» [15].

Отмечались и прямые традиции тех или иных драматических произведений и развитие отдельных драматических образов и ситуаций в творчестве Достоевского [16]. Сценическая композиция его романов и повестей, временна́я и пространственная сконцентрированность действия, диалогическая подвижность не раз становились объектом исследования [17]. Но не менее важно и то, что у Достоевского нет такого действия, на каком бы промежутке времени и пространства оно ни было сконцентрировано, которое бы не являлось узловым, решающим, фатальным для его героев. Интерес к личности, свойственный его персонажам в такой же мере, как и самому автору, создает ту атмосферу исповедей и обличений, при которой даже посторонний наблюдатель, рассказчик вовлекается в непосредственный круговорот событий (хроникер в «Бесах»). Эта конфликт-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Рисунок из французского издания Париж, 1900-е годы



ность, фатальность ситуаций сближают поэтику Достоевского с приемами классической «драмы характеров». Комическая, точнее гротескная сторона его произведений возвращает нас к «низким» жанрам: комедии Мольера, мелодраме, водевилю, балагану [18].

Вопрос о том, что «взял» писатель у театра, как и вопрос о том, что взяла у Достоевского психология театрального действия, может быть поставлен только как проблема взаимодействия театра и литературы в ее недраматургических жанрах. Поскольку речь идет об инсценировках, мы сталкиваемся и с более узкими задачами: трактовки образов, выбора действия, изменения мотивировок в результате театральной обработки, что создает совершенно новые связи между героями [19]. Предполагать, что такая переакцентовка максимально обусловливается источником, значит заранее игнорировать различие жанров и художественную волю драматурга. Не говоря о необходимости анализировать драматический текст в двойном плане, как театральное явление и как литературную интерпретацию [20], уже эта свобода выбора делает драматизацию достаточно самостоятельной по отношению к инсценируемому тексту.

В отличие от русского театра с его установкой «добиваться проявления Достоевского, его психологии» [21] реставраторским подходом к произведению, французских постановщиков больше привлекала динамика действия. Значение «динамического психологизма» Достоевского для театра еще в 1891 г. отметил Поль Фор, следующими словами охарактеризовав деятельность одного из лучших режиссеров своего времени, Антуана: «Настоящая поэзия театра — быстрая на реакцию психология. Антуан был способен понять это. Он искал в театре нечто такое, что мы, несомненно, могли бы сопоставить с Достоевским. Но где было взять авторов такого размаха?» [22] Его современник Г. Лансон отмечает, что начиная с 1880 г. Франция получила от других литератур больше, чем дала. Назвав имена Достоевского, Толстого, Ибсена, Гауптмана, он подчеркивает, что их «натурализм был психологией, поэзией, состраданием ⟨...⟩ Ду-

новение евангелического милосердия явилось к нам и растопило жестокость нашего натурализма» [23]. Останавливаясь на влиянии Ибсена, Лансон считает, что он «призвал театр к истокам идей ⟨...⟩ Его символизм в лучших вещах переходит в живые формы действия и чувств» [24].

Тот поворот к «созиданию сплошной жизни на сцене», «искусству драматической светотени», который еще предстоял театру во Франции и в России, через «новую драму», не без влияния символистов, во многом был осуществлен благодаря Ибсену и Гауптману [25]. Не ставя здесь вопрос о «символическом начале» в творчестве Достоевского, отчасти обязанный своему появлению инсценировкам Художественного театра [26], можно предполагать, что те элементы романтизма, которые были усвоены писателем и которые нашли своеобразное продолжение в искусстве символистов [27], во многом способствовали их интенсивному обращению к его произведениям. Возможно, немалую роль сыграла в этом и амбивалентность образной структуры, сделавшая возможным «мифологическое» толкование, символистскую «расшифровку» содержания. Не символисты «открыли» Достоевского [28], но исторически их интерпретация его творчества долгое время оставалась наиболее эффектной, особенно во Франции; именно в свете символистского понимания трагедии (Мережковский, Вяч. Иванов) и была впоследствии воспринята проблема трагического у Достоевского. Так, Н. Гурфинкель, опираясь на определение «роман-трагедия», несколько прямолинейно пытается объяснить сценичность Достоевского особенностями его поэтики: «Достоевский не дает развития героев ⟨...⟩ при своем появлении персонажи Достоевского уже в ситуации ⟨...⟩ они не становятся, как это присуще героям романа, а проявляют себя, что свойственно персонажам драмы ⟨...⟩ Он применяет для описания состояния своих героев слова: сцена, публика, спектакль, антракт, кулисы» [29]. Такая попытка смещения понятий, при которой на основании формальных признаков определение «роман-трагедия» трактуется как подмена жанра романа трагедией, игнорирует то различие между эпической и драматической формой, на которое указывал Достоевский [30].

Всем постановщикам приходилось преодолевать эпическую форму его произведений, ограничиваясь выбором отдельных сцен или сюжетных линий, или использовать ее, как Немирович-Данченко и Камю,— вводить фигуру чтеца. В меньшей степени чувствовалось это сопротивление материала в «переделках», с которых во Франции, как и в России, началась история театра Достоевского.

В 1888 г. на сцене театра «Одеон» была поставлена французская версия романа «Преступление и наказание» (премьера 15 сентября). Авторы переделки Поль Жинисти и Юге Леру указывали, что это только попытка приспособить «русский шедевр» для французской сцены и отмечали «психологическую чужеродность романа» [31]. Еще в 1886 г. во Франции появилась книга М. де Вогюэ, высоко оценившего «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», «Преступление и наказание», но вскользь упоминавшего «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых» [32]. Тем не менее на французский язык к этому времени были переведены все основные произведения Достоевского [33], и французская переделка на два года опередила немецкую 1890 г. на сцене «Лессинг-театер» в Лейпциге («Раскольников»); ставилась также в Берлине и в 1896 г. в Гамбурге), на шесть лет итальянскую на сцене Джербино в Турине и на десять лет — русскую постановку в театре Литературно-Художественного общества в Петербурге с П. Н. Орленевым — Раскольниковым и К. Н. Яковлевым — Порфирием Петровичем (переделка Я. А. Плющевского-Плющика, псевдоним Дельер).

Первая же сцена французской переделки вводила зрителя в натуралистически стилизованную атмосферу «à la russe» и давала установку на полицейскую интригу. Значительно была изменена и мотивировка преступления. Современный критик Гюстав Кан писал, что можно было бы говорить только о драматических навыках авторов, если представление о романе и его социальные идеи не оказались бы искажены и если образ Раскольникова четко был бы дан в сценическом варианте. Однако в пьесе исчезло все психологическое действие и физиология русского романа и сохранился только его каркас, зрелищная сторона (imagenerie) и от этого каркаса наименее интересная часть. Все идет слишком быстро, едва обозначено и нигде не ставится основной вопрос романа — ответственность перед самим собой: преступление, совершенное и допущенное [34].

По свидетельству А. Полякова, пьеса шла еще в 90-х годах: «Сарсе нашел переделку плохо сложенной, пьеса была скорее похожа на мелодраму ⟨...⟩ Жюль Леметр писал, что „борьба между преступником и полицейским сыщиком всегда представляла излюбленный мотив для мелодрамы“» [35]. Вспомним многочисленные авторские «вдруг» — постоянная мотивировка насыщенного неожиданностями мелодраматического действия — и все эффектные «случайности» «Преступления и наказания» [36].

В России, хотя продолжает накапливаться количество переделок, удачных и неудачных, и учащаются постановки,— можно говорить лишь о воплощении отдельных образов Достоевского — Раскольникова, Мити Карамазова (Павел Орленев). И только появление «Братьев Карамазовых» на сцене Московского Художественного театра поставило проблему «Достоевский и театр» во всем ее объеме. Не случайно и обилие откликов на эту постановку и то внимание, которое стали уделять после спектаклей Художественного театра трагедийной стороне романов Достоевского, и само определение «роман-трагедия» [37]. Во Франции за то же время (1888—1911 гг.) можно отметить только постановку «Преступления и наказания» в 1900 г. в театре «Монпарнас», если не считать русской инсценировки Я. А. Плющевского-Плющика, переведенной автором на французский язык и поставленной Н. Ф. Арбениным в октябре 1901 г. в петербургском Михайловском театре с французской труппой, в бенефис Поля Рене [38]. Но продолжает расти интерес к Достоевскому. Его влияние сказывается на творчестве Поля Бурже, Шарля Луи Филиппа и позднее Андре Сюареса и Андре Жида. Отражением этого влияния явилась и поставленная в октябре 1899 г. в театре «Жимназ Драматик» драма Альфонса Доде «Борьба за существование», на связь которой с «Преступлением и наказанием» указывал сам автор [39]. Поражает различие между исходным сюжетом (происшествием) и драматическим воплощением «начальной идеи», превращение теоретизирующего студента в «изысканного разбойника». Сказалась ли тут боязнь «соревнования с болезненным гением Достоевского» [40], или при «драматизации идеи» привычка к определенным драматическим клише пересилила оригинальность материала?

Для французской публики во многом терялась та злободневность, которая делала романы Достоевского событием в такой же мере идеологическим, как и художественным. Увлекала парадоксальность, своеобычность психологической характеристики, неожиданность ситуаций — все то, что можно было бы назвать «экзотикой» в читательском восприятии. Не случайны и настороженное отношение М. де Вогюэ к идеологически более сложным «Идиоту», «Бесам», «Братьям Карамазовым» и выбор Жинисти и Леру для переделки наиболее детективного из романов, «Преступления и наказания», и отход Доде от фабульного сходства с линией Раскольникова (в рациональных моментах). В 1908 г. Андре Жид писал о Достоевском: «В силу индивидуализма, чуждого прямолинейности и совпадающего с простой честностью мысли, он не соглашается представить свою мысль иначе как во всей ее сложной полноте. И это самая важная и самая сокровенная причина его неуспеха у нас» [41]. Это высказывание одновременно и свидетельство нового, более интеллектуального подхода к творчеству писателя во Франции. Не без влияния Андре Жида, сыгравшего такую же роль в литературной пропаганде Достоевского, как и Копо в его театральной репутации, к Достоевскому обращаются Шарль Пеги и Андре Сюарес [42]. Впоследствии из концепции Андре Жида будут исходить Андре Мальро и Альбер Камю, и, в меньшей степени, Франсуа Мориак и Жан Поль Сартр. В связи с постановкой Копо позиция Андре Жида, высказанная им почти накануне спектакля «Братья Карамазовы», столь же программна: «...для удовлетворения требованиям сцены недостаточно вырезать, как это обычно делается, и подать в сыром виде самые яркие эпизоды романа, а нужно овладеть самыми истоками книги, переделать и сократить ее, расположить ее элементы по законам иной перспективы» [43]. Это замечание, перекликаясь со словами Достоевского о «двух рядах поэтических мыслей», совпадает с принципами инсценировки, которым следовали Копо и Круэ.

Копо был знаком с перепиской Достоевского и книгой Мережковского, с его определением «роман-трагедия». Но, повторяя общие замечания о действии, диалоге и сценических ремарках, «вставленных между репликами», он отмечает также, что романы Достоевского «не поддаются переодеванию в те строгие, почти геометрически прямо-

линейные формы, которые мы обычно придаем своим драмам ⟨...⟩ В России осуществлено несколько переделок „Братьев Карамазовых". Это обычно практикующиеся купюры по тексту, представленные без связи, сплошным планом, как кинематографические картины ⟨...⟩ разлагая таким образом произведение, мы рискуем исказить автора скорее, чем если бы попытались придать новый порядок его композиции» [44].

Сценарий Художественного театра можно проследить по главам, что и проделал Максимилиан Волошин, отметив, что в задачу театра «не входило воспроизведение точных манекенов, повторяющих все черты героев романа ⟨...⟩ он должен был прежде всего утвердить схематическую маску фигуры и понять основной волевой жест каждого лица» [45]. Но сюжетные ситуации, зафиксированные текстом, не позволили в чистом виде показать искомый «волевой жест». Именно на примере этой постановки В. М. Волькенштейн демонстрирует, что «нельзя согласиться с весьма распространенным мнением ⟨...⟩, что романы Достоевского в основе своей трагедийны ⟨...⟩ В известной сцене из „Братьев Карамазовых", которая в Московском Художественном театре шла под названием „Мокрое", у Мити Карамазова двадцать раз меняется настроение ⟨...⟩ У него нет единого действия ⟨...⟩ Романы Достоевского — превосходная беллетристика, дающая материал для психологической драмы огромного эмоционального и интеллектуального напряжения, но не для „трагедии" [46]. Теоретически автор исходит из своего понимания трагедийного героя как волевого характера. Но помимо этих общеэстетических категорий, он еще раз поднимает проблему драматического и эпического, хотя прямо и не ставит ее (как иначе прочесть мысль о том, что романы Достоевского в основе своей не трагедийны?). Это различие между трагедийностью прозы и трагедии как жанра и *попытался преодолеть Копо в своем драматическом варианте «Братьев Карамазовых»*: «Прежде всего мы ограничили себя четкими рамками пяти актов, в течение которых действие, сжавшись, обнаруживало более прямые связи и выигрывало, где это было возможно, в рисунке то, что терялось в глубине ⟨...⟩ Мы даже форсировали определенные ситуации, чтобы прийти в них к последним выводам ⟨...⟩, стремились соединить между собой части новыми связями, которые не побоялись вывести из психологии персонажей. Но в этой общей переделке, как нам кажется, мы ни разу не пошли против намерений и духа автора ⟨...⟩ Нам, несомненно, поставят в вину то, что мы ослабили, но не то, что мы исказили» [47].

Сценарий Копо и Круэ невозможно столь же четко проследить по главам романа, как спектакль Художественного театра. Действие первого акта происходит в приемной монастыря и содержит всю коллизию отношений Дмитрия с Иваном, отцом и Катериной Ивановной (вплоть до выяснения содержимого ладанки). В присутствии Смердякова звучит знаменитое «все позволено!» Ивана Карамазова, и старец Зосима благословляет Алешу «принять на себя преступление другого». В этой экспозиции сведены основные сюжетные и идеологические ходы романа. Второй акт, вечером того же дня в приемной Катерины Ивановны, последовательно включает визиты Ивана и Алеши, сцену «обе вместе» и последнее объяснение Дмитрия, завершаясь восклицаниями Катерины Ивановны: «Он убьет!... Он убьет!»

В третьем акте Федор Павлович, рассказывая историю Лизаветы Смердящей, замечает над собой склоненную фигуру лакея с искаженным лицом, на котором блуждает идиотская ухмылка. В течение всей этой сцены Иван покачивается на стуле, уставившись в потолок. Последняя сцена — стук, между двумя сигналами крадучись входит Смердяков и, в то время как Федор Павлович бежит к двери, пересекая зал, прячется за колонну — снимает всякие сомнения в том, кто истинный виновник преступления. Четвертый акт (в Мокром) от этого не менее интенсивен. После многочисленных событий «последней ночи» и неудачной попытки самоубийства Дмитрия следует диалог, как бы резюмирующий ту «кошачью живучесть», которая поразила Андре Жида в переписке Достоевского, и идея которой была энергично подхвачена впоследствии Камю («Единственная ценность, которая нам дается, это жизнь»). Мотив «почто дитя плачет?» почти целиком переходит к Грушеньке и за ее словами: «Я с тобой, даже в Сибирь» врывается полиция, солдаты, крестьяне; следующая сцена — обвинение и арест Дмитрия.

Пятый акт — практически эпилог, из которого мы узнаем об осуждении Мити на суде и деталях, сопутствовавших убийству. Здесь более всего сказалась перекомпоновка романа в последовательности событий и отношениях между персонажами. Сцена с чертом решена так, что «черт» сливается с образом лакея и Смердяков полностью принимает на себя функции «обезьяны» Ивана Карамазова. Бред Ивана, завершающийся словами: «Ты не существуешь!» — воспринимается как активное отрицание реальной ситуации, когда в следующей сцене мы узнаем, что Смердяков повесился.

В драме дана совершенно иная сюжетная схема, чем в романе. Исчезла рефлективная нерешительность Дмитрия, последовательнее мотивированы действия Смердякова, вплоть до его самоубийства. Катерина Ивановна становится сознательной носительницей интриги и тщательно подготовленные в романе сцены исповедей и узнаваний принимают характер перипетий, неожиданных откровений тут же на сцене. Копо сам отметил «легкие изменения некоторых характеров», в частности, Ивана Карамазова и Катерины Ивановны, «схематичность обрисовки образа Алеши», зато «мы несколько больше высветили фигуру Смердякова» [48]. Эта фигура еще более выдвинулась в спектакле благодаря талантливой игре Шарля Дюллена.

Дюллен рассказывает о происшедшем с ним в связи с этой ролью психологическом повороте, подобном тому, который испытал Орленев в процессе работы над ролью Раскольникова [49]. «За несколько часов до спектакля я бродил близ парка Монсо 〈...〉 Я все еще искал, как сыграть последнюю душераздирающую сцену 〈...〉 Дойдя до того места роли, где я прошу Ивана в последний раз показать мне пресловутые деньги и бросаю ему: „Прощайте, Иван Федорович“ — я вдруг почувствовал непреодолимую потребность бежать 〈...〉 Вечером во время спектакля я уперся ногой в ступеньку трагической лестницы, возле которой происходил мой разговор с Иваном, предшествующий преступлению, и, как в кошмаре, вскарабкался по ее ступеням, подобно тому призраку, который предстал передо мной в момент моего необъяснимого просветления 〈...〉 Только Смердяков научил меня правильно пользоваться моими актерскими возможностями. Именно с этого времени я и как актер и как режиссер старался не позволять критическому чувству и рассудку брать верх над инстинктом» [50]. Это сопереживание, идущее во многом от текста (Дюллен отмечает, что после читки сценария перечитал роман Достоевского), установка на «внутреннюю игру» («не позволять критическому чувству и рассудку брать верх над инстинктом») и есть то «подводное течение» (Станиславский) или подтекст (Мейерхольд), которым должен был овладеть театр для более уверенного охвата «психологических глубин» Достоевского. Необходимость такого подтекста обусловлена не только особенностями его реализма, но и тем отличием романа от драмы, благодаря которому «эпически повествовательный, переносящий нас в самые души действующих лиц 〈...〉 роман обладает ресурсами бесконечно более естественными и широкими, чем полная условностей, дающая лишь произнесенное слово, лишь законченное действие театральная пьеса» [51].

Законченность действия на сцене требует от актера внутренней мотивации характера, которой ожидает знакомый с деталями зритель-читатель, создавший «свой более или менее конкретный образ отдельных действующих лиц» [52]. Не этот ли предварительно созданный образ заставляет актеров играть роль «через сценарий» [53], что невозможно игнорировать при анализе театра Достоевского. И в то же время опасно поддаваться «гипнозу текста», требовать от театра воссоздания книги на сцене. Практически к этому уводит оперирование «через сценарий» образами Достоевского, когда для анализа созданной актером роли инсценировка приводится только для того, чтобы указать на утраченные в пьесе, по сравнению с книгой, связи и ситуации. Они неизбежны, но требуют разбора не на уровне спектакля, а скорее на уровне «драматических навыков автора», сравнительного анализа драматического и прозаического произведений. Разграничение этих планов находим в отзыве Луначарского на спектакль Копо с частично обновленным составом на сцене «Старой голубятни» (театр, основанный при непосредственном участии А. Жида): «Исказили ли что-нибудь авторы переделки? Исказили постольку, поскольку многие фигуры слишком побледнели 〈...〉 Переменилась вся экономия произведения. На первый план выдвинулось действие, те двигатели драмы, которые у Достоевского глубоко скрыты 〈...〉 Преступление, акт Смердякова делается

абсолютно доминирующим центром ⟨...⟩ только в драматической суммации Копо и Круэ я понял, как изумительно построил Достоевский всю эту криминальную комбинацию ⟨...⟩ Драма Копо и Круэ очень цельна. В ней очень мало лишнего. Это — драма. В ней достаточно сценической логики и сценической эффектности. Поэтому попытка увенчалась внешним успехом, несмотря на то что вполне адекватного исполнителя нашла только роль Смердякова» [54].

То, что для Луначарского «внешний успех», для французской публики безусловный успех. Удачей явилось и художественное оформление спектакля, декорации для которого были написаны учеником Тулуз-Лотрека Максимом Детомасом. Париж долгое время оставался под впечатлением «русских сезонов» С. П. Дягилева и в «Театре искусств» под руководством Жака Руше последовательно создавалась та атмосфера света и красок, которая присутствовала в балетных декорациях Л. С. Бакста и А. Н. Бенуа, с ее стремлением подчинить зрелище духу и ритму постановки. Детомас исходил из того, что смысл декорации никогда не должен быть отделен от идеи персонажа, декорации сопутствуют ему и дополняют его. Свой замысел оформления «Братьев Карамазовых» художник выразил достаточно импрессивно: «Россия воображаемая, не документированная, сотворенная из воспоминаний и чтения» [55].

В течение многих лет инсценировка «Братьев Карамазовых» Копо и Круэ оставалась почти единственной по своему значению во французском репертуаре Достоевского. В 1912 г. была осуществлена постановка Жемье «Вечного мужа» в театре «Антуан» в инсценировке Нозьера и Савуара. К этому же времени относится инсценировка «Записок из подполья» Анри Рене Ленормана [56], драматурга, находившегося в этот период под воздействием Достоевского и Ибсена. К 1923 г. относятся намерения Жоржа Питоева поставить «Идиота», «Бесов», «Преступление и наказание», «Белые ночи», но эти планы не были осуществлены [57].

«Идиот» в переделке Нозьера и Бинсштока был поставлен в 1925 г. в театре «Водевиль» с Идой Рубинштейн в роли Настасьи Филипповны, в декорациях и режиссерском воплощении Александра Бенуа. Художник, который придерживался «устарелого убеждения, что всякий „иллюстратор“ (и особенно театральный постановщик) обязан считаться с волей создателя иллюстрируемого произведения. Если же автор постановщику не по вкусу ⟨...⟩ то зачем же за него браться, его насиловать, над ним издеваться?..» [58]— был возмущен качеством переделки. «Увы, идет не инсценировка романа Достоевского, а пьеса некоего ⟨...⟩ журналиста де Нозьера—«L' Idiot», в которой этот легкомысленный нахал попытался разжевать соотечественникам интригу и на французский лад *préciser les caractères* *. Сначала я был так поражен, что хотел вовсе отказаться от участия в таком позоре ⟨...⟩ ощущая невозможность пойти на попятный, я покорился гнусности судьбы и лишь потребовал кое-каких сокращений, уклонившись вовсе от режиссуры» [59]. Позже Бенуа спокойнее вспоминает об этой работе: «Мои усилия по-видимому увенчались успехом: по крайней мере, на русских зрителей, даже самых взыскательных, постановка произвела впечатление подлинно русского спектакля» [60]. «...В пьесе еще масса вещей,— писал Бенуа Иде Рубинштейн,— требующих исправления (никогда многословная проза французского текста не сможет передать глубину и прекрасную недоговоренность оригинальной поэмы), но одна из этих неудач до такой степени коробит меня, что мне необходимо сказать вам об этом сейчас же. Речь идет о копии Танца Смерти я к о б ы Гольбейна, которой г. де Нозьер обязательно хочет украсить комнату Рогожина ⟨...⟩ И в этом вопросе решение вы должны принять сами, так как слова, относящиеся к картине, Нозьер вкладывает в уста Настасьи (во время сцены, где она провоцирует убийство). Впрочем, в этом нововведении все фальшиво...» [61]

Следует учесть еще и тот факт, что здесь столкнулись два принципа. Вкус художника-реставратора и поверхностная стилизация под чуждый национальный колорит («Россия воображаемая») — установка, еще не вполне изжитая и в наше время. В этом случае перевод осуществляется не только из одного ряда поэтических мыслей в другой, но и в рамках разных культурных традиций.

---

* уточнить характеры (*франц.*).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ К «ЗАПИСКАМ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»
Рисунок Ж. М. Бретона
Французское издание, 1928



Начиная с 1925 г. во французском театре оживает итальянская волна, в частности театр Пиранделло, и постановка Руджери «Генриха IV» в театре Эдуарда VII (июль 1925 г.) позволили некоторым критикам заявить, что кончились «туманы Севера» и сходство с персонажами Достоевского [62]. Насколько сам Пиранделло, отрицавший всякие литературные влияния, был под воздействием Достоевского,— вопрос спорный [63]. В эти годы закладывались основы авангардизма, который был отодвинут в военные и послевоенные годы «театром идей», но продолжен в 1950-е годы театром абсурда (Беккет, Ионеско) и стал одним из ведущих направлений современного французского театра. Другая линия, Пиранделло — Ануй — менее явная, но ближе соприкасается с проблематикой Достоевского (ср. «Подвал» Ануя и «Шесть персонажей в поисках автора»).

С появлением кинематографа опыт «переделок» Достоевского был использован для экранизаций [64]. Но если в театре уже наметились основные линии подхода к прозаическому тексту, «великому немому» еще предстояли поиски. Все же сравнительно долгий перерыв в инсценировках, возможно, в какой-то степени объясняется появлением этого нового конкурента театра. Однако, когда спустя почти десять лет после «Идиота» де Нозьера появилась инсценировка Гастона Бати «Преступление и наказание» в театре «Монпарнас» (премьера 21 марта 1933 г.), театральный критик «Либерте» замечает: «Пусть не сравнивают с этим то, что удалось сделать из „Преступления и наказания“ кино» [65]. Это была вторая переделка романа во Франции. Тот же критик полагал, что в таком виде (текст и режиссура) она окажется окончательной. Не говоря о других странах, во Франции в дальнейшем также понадобились новые инсценировки. И хотя в будапештской постановке 1963 г. в театре им. Йокаи и была использована обработка Бати, но при этом критика не преминула объяснить неудачу спектакля слабостью инсценировки.

Современниками постановка Бати была встречена восторженно. Отзывы разнохарактерны, но все они отмечают прежде всего режиссерскую сторону спектакля: «атмосферу», костюмы, «изобретательные декорации», «красочность», «колокольный звон», освещение. «Интерес инсценировки Бати заключается прежде всего не в драматической занимательности, а в изяществе и блеске, с которыми она сделана ⟨...⟩ Может быть, он был привлечен не столько драмой, сколько внешней живописностью» [66].

По уже сложившейся французской традиции Бати перекомпоновал роман и вмонтировал в него отдельные мотивы из других произведений. В первой картине Порфирий Петрович рассказывает Разумихину «каторжную» историю, перешедшую сюда из «Мертвого дома», про старика, бросившего камень в начальника тюрьмы только для того, чтобы пойти под розги. На замечание Порфирия: «Русский человек так же широк, как и сама страна» нанизывается тютчевское Разумихина: «Россию нельзя понять умом, в нее можно только верить». В дальнейшем зритель узнает о статье, знакомится с Раскольниковым и его «теорией», с «идеями на Западе и у нас» («На Западе идея остается идеей, а у нас она переходит в чувство. И идеи подобного рода, какая пища для нашей вековой жажды страдания»). Этот «идеологический» пролог — экспозиция еще более краткая, чем у Копо,— подкрепляет в зрителе основные тезисы, которые он мог почерпнуть из романа и знакомства с «Россией воображаемой», и переключается на непосредственное действие — убийство старухи. Вторая картина — лестница в разрезе. Вертикальная композиция дает возможность обыграть описанные в романе обстоятельства преступления и бегства Раскольникова, размещая актеров последовательно то на одной, то на другой площадке. О самом убийстве, как в античной трагедии, зритель узнает только по восклицаниям оказавшихся на сцене эпизодических персонажей. Вся пьеса строится на изображении «мышеловки», в которую попадает Раскольников.

Второе действие начинается со сцены в «кабаре», где под аккомпанемент гармони и постоянно вклинивающийся мотив степи [67], Мармеладов рассказывает Раскольникову историю Сони. Часты психологические параллелизмы. Молчаливое признание Раскольникова и его рассказ (Наполеон. Червь или человек!) резюмированы сентенцией Сони: «Ищи не судей, а наказание». В последней картине в окружении всех персонажей Раскольников признается: «Это я убил Арину ⟨так у Бати.— *Н. С.*⟩ Ивановну ударом топора, чтобы ограбить ее». Если Копо в своей обработке «Братьев Карамазовых», изменяя порядок действия и психологическую характеристику персонажей, старался развить то, что потенциально было заложено в романе, Бати не столько перестроил, сколько нарушил архитектонику произведения. Хотя в целом его «Преступление и наказание» ближе к букве романа, чем инсценировка Копо, это в меньшей степени Достоевский. Пьеса выдержала 108 спектаклей и еще в 1936 г. ставилась режиссером в Осло в «Новом театре» [68].

Литературное влияние Достоевского во Франции и в эти годы продолжается под непосредственным воздействием Андре Жида. Несколько более метафизическую окраску придали штудиям о Достоевском работы Н. Бердяева, Л. Шестова, К. Мочульского. Если Андре Жид оставался интерпретатором и пропагандистом Достоевского и в своей художественной практике прибегал к нему скорее экспериментаторски, с вступлением в литературу А. Мальро, Ж. П. Сартра, А. Камю Достоевский становится своего рода идейным контрапунктом в творчестве этих писателей. «Все позволено» Ивана Карамазова, которое у Копо резюмировано фигурой Смердякова (в своей постановке «Братьев Карамазовых» в театре «Экин» 26 февраля 1937 г. Камю играл Ивана), нашло явное отражение в метафорических образах «Калигулы» (1937) и неоднократно комментировалось в эссе и романах-трактатах Камю. Мотив «почто дитё плачет?» — один из сильнейших в «Чуме». А смердяковская униженная гордыня, не без элементов подполья и переплетения с линией Ставрогина, нашла отражение в образе Клемансо из «Падения». Копо, наряду с А. Жидом и Мальро, влияние которых испытывал Камю, способствовал «вживанию в образ», обращению писателя к проблематике Достоевского. При работе над инсценировкой «Бесов» Камю во многом следовал принципам, заявленным постановщиком «Братьев Карамазовых».

Влияние Достоевского сказалось и на творчестве более далекого от него художника, Жана Ануя [69]. Герой одной из первых пьес драматурга, «Горностай» (1931), убивает

богатую никому не нужную старуху-герцогиню, нуждаясь в деньгах и независимости, чтобы быть счастливым в любви. Чисто психологические моменты этого влияния усматривает А. А. Гозенпуд в пьесе Ануя «Дикарка» [70] (1934). Некоторые мотивы «Великого инквизитора» подхвачены в «Антигоне» (1944) и «Жаворонке» (1953) [71]. В конце 1930-х и в 1940-х годах на сцене чаще появляются вещи, инспирированные Достоевским, и новые постановки случайны. В 1945 г. Андре Барсак возобновляет драму Копо в «Ателье». В 1950 г. «Бесы» (авторы инсценировки А. Виала и Н. Батай) [72] идут на сцене «Театр д'Овр» с Эженом Ионеско, начинающим драматургом, в роли Степана Трофимовича. В драматургии Ионеско нет прямых мотивов Достоевского, но «стремление морально утвердиться и тем самым утвердить свободную волю вопреки гнету обстоятельств», в котором усматривается влияние Достоевского на поэтику экспрессионизма [73], составляет эстетическое кредо его театра абсурда. Это использование «философского принципа» — явление более общего характера, чем «философская проблематика» театра-ситуации Ленормана, Ануя, Сартра, Камю.

К началу 1950-х годов Камю написал свою «русскую» драму о террористах «Праведники» (1949) и работает над философским эссе «Бунтарь» (1952), в котором широко использованы образы «Братьев Карамазовых», «Бесов» и русских террористов, прототипов персонажей «Праведников» (Каляев), для развития проблемы «свободы выбора» и «свободы воли», иллюстрации исторических аналогий на тему «все позволено». Параллельно идет работа над романом «Падение» (1956), в котором можно найти мотив «исповеди Ставрогина». 1953 годом датируется начало его работы над инсценировкой «Бесов» («Les Possédés»), которая была закончена только в 1958 г. (первая редакция «Les Démons») и со значительными сокращениями (некоторые из них были сделаны в процессе постановки) была поставлена в театре «Антуан» [74] 30 января 1959 г.

В инсценировке Камю использован не только роман, но и не вошедшая в текст Достоевского «Исповедь Ставрогина» («У Тихона»). Изменив композицию романа, Камю одновременно ввел фигуру чтеца, соединяя краткими ремарками действие отдельных частей, и несколько расширил его функции, включив рассказчика в «активное действие». Сообразно с хроникой он является другом Степана Трофимовича и присутствует в качестве иронического и беспристрастного наблюдателя во многих сценах. Перед поднятием занавеса рассказчик Антон Григорьев, как и в книге, дает краткую характеристику Степану Трофимовичу и затем садится с ним за карты. В разговоре обрисовывается образ хозяйки дома. С появлением Варвары Ставрогиной рельефнее начинает проступать личность Степана Верховенского и возникает оценка Петра Верховенского и Николая Ставрогина, «принца Гарри». На протяжении первых двух картин действие все более сгущается вокруг Ставрогина. Один за другим Кириллов, Шатов, Лебядкин бросают ему: «Вы знаете, что значили вы в моей жизни!» Выясняется, что этот человек, с которым все, от Петра Верховенского до Федьки-каторжника, связывают какие-то свои надежды, внутренне пуст. Четче всего раскрывается замысел Камю в сцене между Ставрогиным и Шатовым, в 7-й картине. «Говорят, к вам приводили детей?» — Ставрогин вскакивает.— «Хватит! Я интересуюсь только банальным: жить или уничтожить себя?» — «Как Кириллов?» — «Но он пойдет до конца» ⟨...⟩ — «А вы способны себя уничтожить?» — «Надо бы, надо бы, но я боюсь быть лицемерным. Может быть, я сделаю это завтра. Может быть, никогда. Вот в чем вопрос. Это единственный вопрос, который я задаю себе».— «Вы ищете наказания». К Тихону направляют Ставрогина Шатов, Даша и Федька. Но исповедь (гордыня) не принята. Пятая часть самая насыщенная по своему трагизму: убийство Шатова, «самоубийство» Кириллова (которое может быть расшифровано и как убийство), Марья Тимофеевна, и, наконец, смерть Ставрогина.

Все основные эпизоды романа достаточно близки к тексту. Инсценировка Камю — одна из наиболее точных, хотя он тоже пошел путем перекомпоновки. Можно сказать, что он реставрировал роман и, введя сцену исповеди, прояснил «загадочность» Николая Ставрогина. Что этот момент не случаен, говорит аналогичная ситуация из «Падения», герой которого, Клемансо, подобно Ставрогину в эпизоде с Матрешей, не помешал, хотя и мог, самоубийству женщины на мосту. Его так же преследует этот образ, как Николая Ставрогина «крошечный кулачок» Матреши. «„Бесы“ — одна из четырех или пяти книг, которые я ставлю выше всех остальных ⟨...⟩,— заявлял Камю.— Я могу

сказать, что я воспитан и сформировался на ней. Почти уже двадцать лет я наблюдаю ее персонажей на сцене» [75]. И действительно, «Бесы» дали форму лучшему его роману «Чума» (1944) [76] и были использованы в одном из первых произведений Камю «Миф о Сизифе» (1942). О принципах своей инсценировки «Бесов» Камю высказался очень определенно: «Весь роман, за исключением некоторых эпизодов ⟨...⟩ был перераспределен по законам драматической перспективы ⟨...⟩ „Исповедь“ является психологическим центром действия» [77].

Уже в работе над инсценировкой Фолкнера «Реквием для монашенки» (1956 г.), сознательно убирая все аллюзии на связь с «Преступлением и наказанием», существовавшие в тексте романа, Камю замечает: «Фолкнер ввел в античную трагедию полицейский роман ⟨...⟩ полицейский роман присутствует во всех трагедиях ⟨...⟩ Это роман в форме диалога. Но его насыщенность драматическая. Прежде всего потому, что в нем постепенно раскрывается некая тайна, и потому, что трагическое ожидание в нем постоянно сдерживается. И наконец, конфликт, противопоставляющий героев их судьбе, вокруг смерти ребенка, это конфликт, который может быть решен только приятием самой этой судьбы» [78]. Хотя здесь ничего не сказано непосредственно о Достоевском, но нетрудно узнать этот тип диалогизированного «полицейского романа».

В 1951 г. Куросава в кино доказал своим японским вариантом «Идиота», что Достоевский не только «местный колорит», русский характер, и XIX век. Последнее уже было бесспорно в эстетическом плане, и экзистенциалистская философия оперировала мифами из произведений Достоевского наряду с мифами из Киркегора. Но Куросава впервые перенес не только идеи, но и события романа в другое время и в другую страну. В 1957 г. Лукино Висконти транспонировал сюжет «Белых ночей» в современный Ливорно, также изменив время и место действия, и более того — поэтическое звучание повести: белые ночи — падающий снег [79]. Эти две экранизации, японская и итальянская, существенно повлияли на технику инсценировок не только в кино, но и в театре. Когда спустя четыре года, 21 марта 1961 г. в театре «Лютес» состоялась премьера «Белых ночей» в инсценировке Жиля Сандьера и постановке Николь Кессель (исполнительницы роли Настеньки), критика напомнила фильм Висконти, который «не пытался делать экранизированный театр» и «достаточно вольно адаптировав повесть, передал Достоевского изнутри» [80].

Пьеса разбита на четыре «ночи» и шла почти в холстах. Кроме Настеньки и Мечтателя (исполнитель роли Жан Мартен) только в самом начале пьесы за кулисами мелькает силуэт пьяного. Жорж Лерминье отмечал, что Достоевский как романист наиболее способствует театральным инсценировкам, «однако ни одно из произведений ⟨...⟩ не поддается настолько театральной интерпретации, как „Белые ночи“, которые почти целиком написаны диалогом» [81]. Отнесем последнее замечание не за счет легкости инсценировки одной из самых сложных эпических форм (лирической повести, близкой к исповеди) средствами театра, а за счет «драматических навыков» постановщиков. Следующую переделку этой повести поставил в 1968 г. Пьер Арнодо в театре «Тертр».

Современный театр Достоевского характерен еще одной особенностью — повышенным интересом к «малым произведениям», рассказам и повестям. В 1952 г. на сцене театра «Монпарнас» идет «Вечный муж» в инсценировке Жака Моклера [82], вещь, первоначально задуманная как радиопостановка. 15 апреля 1958 г. в «Казино Мунисипаль» (Ницца) были поставлены «Униженные и оскорбленные» в инсценировке Андре Шарпака [83]. Спектакль был возобновлен 5 июня того же года в парижском «Нуво театр де Пош». Текст повести был переделан достаточно вольно, автор сохранил только роман Наташи и Алеши, и снова вся экспозиция излагается зрителю в первой же сцене (разговор Наташи и Ивана Петровича). Сведя многочисленные сюжетные линии к одной, Шарпак пытался преодолеть «схематизм» повести и «литературного (книжного) происхождения мелодраматические штампы». Мотивировка сокращений та же, что у Копо — добиться насыщенности и ясности действия, не злоупотребляя «самообнажением героев».

В следующем году Шарпак инсценирует «Игрока» [84]. Эта четырехактная пьеса получила «Гран при» на фестивале в Аррасе (28 июня 1959 г.) и 4 ноября была возобновлена в «Театр де л'Аллианс франсез». Алексея Ивановича играл автор инсценировки.

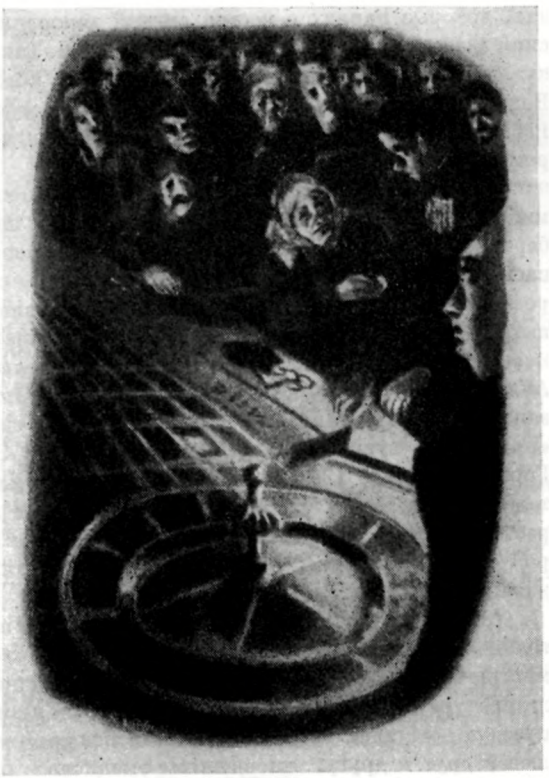


ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ «ИГРОК»
Рисунок из французского издания, 1946

Пьер Эме Тушар отмечал, что французские инсценировщики до сих пор считали необходимым сохранить прежде всего сложность и оригинальность русского произведения, полагая, что этим русский роман отличается от французского. Шарпак «упростил перегруженную интригу, свел ее к прямолинейному действию, столь дорогому нашему французскому духу и убедил нас таким образом, что русская специфика не только в сложности» [85]. В сентябре 1963 г. появилась еще одна «тридцатиминутная постановка» Андре Шарпака «Чужая жена ..., или муж под кроватью» в двух картинах, решенная в традициях водевиля [86].

«Село Степанчиково» в инсценировке Ива Гаска [87] шло в театре «Монтансье» (Версаль) в постановке Мориса Гийо (премьера 20 марта 1962 г.). Гаск характеризовал повесть как «буффонаду, напоминающую лучшие вещи Гоголя». Действие пьесы происходит на террасе дома в Степанчикове в условно стилизованных декорациях. В инсценировке снят благополучно иронический подтекст «всеобщего счастья». Почти одновременно, но с меньшим успехом та же повесть шла в инсценировке Сержа Орлова.

Не ослабевает интерес и к ставшим классическими для театра «Преступлению и наказанию», «Идиоту», «Братьям Карамазовым». В 1956 г. инсценирует «Идиота» Габриель Ару. «Моя цель — разрушить миф о Достоевском сумеречном гении ⟨...⟩ Я дал много места Достоевскому юмористу...» [88] Пьеса на сцене еще не ставилась, но в 1963 г. в «Комеди франсез» в постановке Мишеля Витольда шла инсценировка Ару «Преступление и наказание» [89]. Ару начал писать в 1943 г. («Орфей, или Страх перед чудом», «Гордиев узел»). В 1950-х годах он создает целый ряд адаптаций. «В основе моего театра,— заявляет он,— греческая мифология и Достоевский ⟨...⟩ Я начал с того, что сделал пьесу по „Идиоту“, и по-моему это лучшее, что я написал ⟨...⟩ Почему я так много занимаюсь инсценировками? Чтобы обрести уверенность ⟨...⟩ Канва, ситуации, персонажи, которые предлагает мне пьеса, интересуют меня. Я оставляю за собой право помечтать над ними. Само собой, если речь идет о классике, я стараюсь оставаться крайне точным» [90]. «Преступление и наказание» Ару построено на параллельных сце-

нах, которые наряду с частой сменой декораций использованы то как психологический монтаж, то для расшифровки ситуации. Так решено, например, «бегство в Америку». Почти одновременно с выстрелом Свидригайлова освещается кабинет Порфирия. В противоположных концах сцены неподвижные фигуры следователя и Сони, в центре — Раскольников, падающий на колени со словами: «Это я убил старуху-процентщицу ударом топора, чтобы ограбить ее».

Французский зритель имел возможность познакомиться и с другими постановками. В 1961 г. инсценировку «Преступления и наказания» Леопольда Алена привезла берлинская труппа «Шлосспарктеатер», гастролировавшая в парижском «Театр де ля насьон». В 1962 г. «Преступление и наказание» ставилось в театре «Тертр» в инсценировке и режиссуре Франсуа Канделье, уделившего основное внимание полицейской интриге [91]. В том же году ставился «Идиот» в театре «Рекамье», инсценировка и постановка Жана Жильберта. В 1966 г. в театре «Ателье» свою инсценировку «Идиота» ставит Андре Барсак [92] (премьера 1 ноября). Как все постановщики этого романа, он отказался от линии Ипполита. Парижане могли оценить спектакль на фоне «русского» «Идиота» во время гастролей Ленинградского Большого драматического театра им. Горького в сезон 1965—1966 гг. В 1968 г. по инсценировке Барсака был осуществлен телеспектакль [93]. Использовал ее и румынский режиссер Александру Финти в Бухарестском Национальном театре. Румынская критика, как основную сценическую характеристику персонажей, отмечала их способность «жить напряженной драматической жизнью» [94].

Особое внимание французских постановщиков к Достоевскому объясняется не только сценичностью «романа-трагедии», но его «трагической поэтикой», которая во многом совпала с духовными исканиями художников Запада. «Во всей нашей западной литературе,— отмечал Андре Жид,— причем я имею в виду литературу не только французскую,— роман, за очень редкими исключениями, занимается лишь отношениями людей друг к другу, отношениями эмоциональными или интеллектуальными ⟨...⟩ но никогда, почти никогда не занимается отношениями индивидуума к самому себе ⟨...⟩ Чудо, осуществленное Достоевским, заключается в том, что каждое из его действующих лиц ⟨...⟩ каждый из этих персонажей, живущих своей внутренней жизнью и носящих в себе свою особенную тайну, предстает нам во всей своей проблемной сложности» [95]. Интерес к личности столь же интенсивен и у Толстого, и в этом отношении имена Толстого и Достоевского равновелики для западного сознания. Так воспринимал их, например, Камю. Но мир Достоевского оказался ближе к экзистенциальному пониманию трагического: «...силы, сталкивающиеся в трагедии, равно законны, в одинаковой мере могут быть оправданы разумом. В мелодраме и драме, напротив, только одна из этих сил права. Другими словами, трагедия двойственна, драма упрощает ⟨...⟩ формула трагедии: правы все и неправ никто ⟨...⟩ трагедия рождается на грани света и тени, в их противоборстве» [96]. В подобном понимании трагедии, как отражения абсолютного трагизма жизни, сказывается общая безысходность «абсурдного мира», которому многие идеи и образы Достоевского оказались созвучны. Таким образом, вопрос об инсценировках выходит за пределы чисто театральной проблематики и является не одним лишь вопросом репертуара и сценического решения, которое в любом случае должно оставаться индивидуальным, но и проблемой влияния, исторической судьбы творчества писателя.

При всех различиях в интерпретации текста, образов и сценических приемов для французских инсценировщиков характерен выбор произведений для постановки в зависимости от их идейно-литературной значимости и стремление к «прояснению» Достоевского, «précisé les caracteres», как подметил А. Бенуа. Театр выходит за рамки иллюстративности и принимает участие в активном эстетическом освоении творческого наследия писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Немирович-Данченко. Статьи. Речи. Беседы. Письма, т. 2. М., 1954, стр. 300.

[2] Эту «иллюстративность», хотя она и была преднамеренной, возможно, имел в виду и Немирович-Данченко: «„Карамазовых“ мы поставили на одном фоне. Это слишком педантично».— Там же, стр. 299.

[3] A. Camus. Théâtre, récits, nouvelles. Paris, 1962, p. 1698 (см. также одно из последних исследований о французском режиссере: Е. А. Финкельштейн. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971).

[4] Там же, стр. 1725.

[5] «Письма», I, стр. 58.

[6] «Роман-мистерия»— определение Л. П. Гроссмана, предвосхитившее наблюдение М. М. Бахтина над карнавальными мотивами, элементами мистерии в творчестве Достоевского (М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, стр. 84—86, 194—197).

[7] Отметим, что «Бориса Годунова» Пушкина В. Э. Мейерхольд сравнивал с «Братьями Карамазовыми». Полемизируя с А. Н. Бенуа, он отказывался видеть в постановке Художественного театра мистерию, отрицая ее у Достоевского (В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. I. М., 1968, стр. 207—208).

[8] М. П. Алексеев. Ф. М. Достоевский и русский театр.— «Театральный бюллетень» (Одесса), 1921, № 6, стр. 2; его же. О драматических опытах Достоевского.— В кн.: Творчество Достоевского. Одесса, 1921, стр. 41—62. Предположение Алексеева: «Третий драматический замысел Достоевского, его драма „Жид Янкель“, также утраченная, быть может привела бы нас к гоголевской повести» (<«Тарас Бульба»>) — оспаривается Н. Н. Вильмонтом («Достоевский и Шиллер».— В его кн.: «Великие спутники». М., 1966, стр. 36—37).

[9] М. П. Алексеев. Ф. М. Достоевский и русский театр, стр. 2.— В цитированном письме к брату Достоевский восклицает по поводу «Горация» Корнеля: «Разве у Гомера найдешь такие характеры!» («Письма», т. I, стр. 59). Этот интерес к личности, «характерам», был тем более романтическим, проявляясь в «воспроизведении трагической стороны жизни» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X. М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 364).

[10] E. M. de Vogüe. Le roman russe. Paris, 1892, p. 267. Ср. также замечания Вогюэ о «драматичности» романов Достоевского, мелодраматичном характере князя Валковского, образе Наташи, «которая говорит и действует как герои античных трагедий», сравнение «Преступления и наказания» по глубине психологического проникновения с «Макбетом» и сам эпитет «драматический психолог» по отношению к Достоевскому (там же, стр. 205, 241, 242, 246, 261).

[11] «...Начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки и столько комических лиц (...), что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собственно для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над ним...» (письмо к А.Н. Майкову 18 января 1856 г.— «Письма», I, стр. 167).

[12] См. одну из первых работ на эту тему: Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь. (К теории пародии). Пг., 1921. Для нашей темы имеет значение не столько борьба писателя с «типами Гоголя», пародийность повести (в частности образа Фомы), «эмоциональная перетасовка характеров» в ней, как «прием масок» и тот «механизированный прием», которые, начиная с образа князя в «Дядюшкином сне» и кончая некоторыми особенностями повествования в «Бесах» и в «Братьях Карамазовых», позволяют говорить о театральных элементах в произведениях Достоевского.

[13] Ср.: «... могу помещать по эпизоду и это составит отдельное приключение или повесть» («Письма», I, стр. 221), или замечание об «эпизодическом романе Достоевского» (В. В. Розанов. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. СПб., 1902, стр. 38); французский исследователь Р. М. Альберес объясняет эту композиционную завершенность частей «фельетонным характером» творчества Достоевского (R. M. Albérès. Histoire du roman moderne. Paris, 1962, p. 38).

[14] «Письма», III, стр. 20.— Речь идет о намерении В. Д. Оболенской «переделать „Преступление и наказание“ в драму для представления в императорских театрах» (1872 г.). Известна еще одна более ранняя инсценировка этого романа (1867 г.), отвергнутая цензурой (Н. В. Дризен. Драматическая цензура двух эпох. Пб., 1917, стр. 196, 308).

[15] А. С. Суворин. О покойном.— В кн.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. 2. М., 1964, стр. 419.

[16] М. П. Алексеев. О драматических опытах Достоевского, стр. 56; Б. Г. Реизов. К истории замысла «Братьев Карамазовых».— «Звенья», VI. М.— Л., 1936, стр. 545, 577 (то же в его кн.: Из истории европейских литератур. Л., 1970, стр. 129—138). Н. Н. Вильмонт предполагает, что сюжет об «отцеубийце» перво-

начально был задуман как драма, и замысел романа считает самостоятельным (указ. соч., стр. 222—243).

[17] Кроме упомянутой работы Бахтина — см.: Г. В о л о ш и н. Пространство и время у Достоевского.— «Slavia» (Прага), 1933, т. XII, вып. 1-2, стр. 162—172. Автор указывает и на чисто «сценический» прием подслушивания, но в своем понимании «экономии времени и места» у Достоевского полемизирует с Вяч. Ивановым, который «видит в нем простое перенесение сценической техники в роман».

[18] Имеется в виду прежде всего «карнавализация романа» (М. Б а х т и н. Указ. соч., стр. 135—242), а не растворение жанра. Ср. замечание о «специфических интригах, скандалах и злодействах» у Достоевского и Бальзака (Л. Г р о с с м а н. Бальзак и Достоевский.— «Русская мысль», 1914, кн. 1, стр. 50).

[19] При этом теряется образ автора, немаловажный для понимания произведения. Некоторые из перечисленных проблем рассматриваются в сб. «Достоевский и театр», подготовленном к печати Ленинградским институтом театра, музыки и кинематографии и издательством «Искусство». См., в частности, из этого сборника журнальную публикацию: А. А л ь т ш у л л е р. Достоевский и русский театр его времени.— «Театр», 1971, № 8, стр. 97—107; история постановки «Николай Ставрогин» в МХТ на общем фоне русской культуры предреволюционной эпохи рассматривается Ю. К. Герасимовым; отдельные статьи в сборнике посвящены зарубежным постановкам. Там же приводится исчерпывающая библиография отечественной литературы о постановках произведений Достоевского (составлена С. В. Беловым).

[20] О развеществлении драмы как текста и как постановки, «которые нельзя сливать в одну драму», в связи с идеями К. С. Станиславского — см.: Н. Я. Б е р к о в с к и й. Станиславский и эстетика театра.— В его кн. «Литература и театр». М., 1969, стр. 245—250.

[21] Л. М. Ф р е й д к и н а. Дни и годы В. И. Немировича-Данченко. Летопись жизни и творчества. М., 1962, стр. 300.

[22] P. F o r t. Autour du théâtre d'Art.— «Encyclopédie du théâtre contemporain», v. I. Paris, 1957, p. 24.— Андре Антуан в 1887 г. организовал «Свободный театр» (просуществовал до 1894 г.), где ставились произведения натуралистического направления. В противовес этим тенденциям в русле символистского движения Фор декларировал свой «Театр искусств».

[23] G. L a n s o n. Histoire de la littérature française. Paris, 1906, p. 1088.

[24] Там же.

[25] Нет оснований рассматривать влияние символистов на «обновление» театра в абсолютном плане. Но характер символистской драмы с ее расплывчатым подтекстом и общее «импрессионистское» направление эпохи не могло не сказаться на психологии игры, оформлении спектакля. Не случайно замечание французской исследовательницы театра Н. Гурфинкель, что Чехов открыл Станиславскому дорогу к Гауптману и Метерлинку, к Тургеневу и «психологическим глубинам» постановок Достоевского, которые стали возможными благодаря технике «внутренней игры» (N. G o u r f i n k e l. Stanislavski.— «Encyclopédie du théâtre contemporain», v. I, p. 64).

[26] См. например: С. Н. Б у л г а к о в. Русская трагедия. О «Бесах» Достоевского в связи с инсценировкой романа в Московском Художественном театре.— «Русская мысль», 1914, кн. 4, стр. 3 (2-й пагинации).

[27] Имеется в виду прежде всего проблема личности и индивидуальности, которая привела к отказу от «культа общего» во имя «культа частного» и к постановке проблемы «бытия через конкретно-индивидуальное» (Г. А. Г у к о в с к и й. Пушкин и русские романтики. М., 1965, стр. 20).

[28] К. М о ч у л ь с к и й. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1947, стр. 7.

[29] N. G o u r f i n k e l. Les éléments d'une tragédie moderne dans les romans de Dostoievskij.— Le théâtre tragique, réuni et presenté par J. Jacquot. Paris, 1962, p. 371—372.

[30] На такой же чисто семантической игре с определением «роман-трагедия» построена антитеза М. А. Волошина: с одной стороны — русская драма, стремящаяся превратиться в повествование («русский театр дошел через Тургенева до эпических форм Чехова и на нем прекратился»), с другой стороны — «русский роман принял в свои рамки все, что было трагического в русской душе» (М. В о л о ш и н. «Братья Карамазовы» в постановке Московского Художественного театра.— Ежегодник имп. театров, 1910, вып. 7, стр. 154, 155). Ф. И. Евнин, останавливающийся на разборе структуры романа Достоевского, полагает, что это ««гибридная» художественная форма, действительно стоящая как бы между романом и трагедией, «по своей внешней форме это романы. Но по всему внутреннему строю они драматургичны, тяготеют к структуре трагедии. Поэтому единственно правильной жанровой характеристикой их и будет: роман-трагедия» (Ф. И. Е в н и н. Реализм Достоевского.— В кн.: «Проблемы типологии русского реализма». М., 1969, стр. 436, 451). Столь же двузначно определение «роман-драма» (П. Б и ц и л л и. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского

«Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет», т. 42 (1945—1946), стр. 27.

[31] P. Ginisty et H. Le Roux. Crime et Châtiment. Paris, 1888, p. 1, 5.

[32] E. M. Vogue. Le roman russe. Paris, 1886 (к 1897 г. выдержала 4 изд.). О Достоевском — стр. 202—277. О значении книги Вогюэ не только во Франции, но и в Англии — см.: H. Muchnic. Dostoevsky's English reputation (1881—1936). Northampton-Massachusetts, 1939, p. 15 («Работа Вогюэ „Le roman russe" составила эпоху в истории славы Достоевского ‹...› Ей обязан английский читатель знакомством с русским романистом»).

[33] Библиография переводов Достоевского на французский язык по 1908 г. приведена в кн.: А. Жид. Собр. соч., т. 2. М., 1935, стр. 335).

[34] G. Kahn. Symbolistes et décadents. Paris, 1902, p. 123, 126.

[35] А. Поляков. Достоевский и театр.— «Достоевский. Однодневная газета Русского библиологического общества», 1921, 30 октября (12 ноября), стр. 22—24. См. также: F. Sarsey. Quarante ans de théâtre, v. 8. Paris, 1903, p. 233—235; J. Lemaître. Impressions de théâtre, v. 4. Paris, 1890, p. 249—258.

[36] Установка на эффект, на читательское восприятие у Достоевского явная и сознательная («Письма», т. II, стр. 112, 142, 151 и др.).

[37] Определение это возникло несколько ранее (в 1901 г.) и принадлежит Д. С. Мережковскому, который исходил из концепции (под влиянием Ницше) аполлинического и дионисийского начал в искусстве, и почти с тем же оттенком было подхвачено символистской критикой в связи с постановками МХТа.

[38] А. К-ель ‹Кугель›. Театральные заметки.— «Театр и искусство», 1902, № 2, стр. 37 («Самое же поучительное было все-таки исчезновение колорита Достоевского в прекрасной игре французских актеров»).

[39] А. Доде. Собр. соч., т. 7. М., 1965, стр. 254.

[40] П. Лафарг. Дарвинизм на французской сцене.— В его кн.: «Литературно-критические статьи». М., 1936, стр. 253.— Статья, полемически заостренная против «дарвиновской теории, популярной в среде журналистов и беллетристов», несколько искажает замысел Доде. Об идейном значении этой пьесы в творчестве Доде, в частности для романа «Бессмертный»,— см.: M. Sachs. Alphons Daudet. A critical Study. Cambridge, Massachusetts, 1965, p. 148.

[41] А. Жид. Указ. соч., стр. 356.

[42] A. Gide — A. Suarès. Correspondance (1908—1920). Paris, 1963, p. 19.— Сказалось это влияние А. Жида и в Англии, в частности через Арнольда Беннета, который написал предисловие к английскому переводу статей о Достоевском (Correspondance André Gide — Arnold Bennet. Vingt ans d'amitié littéraire (1911—1931). Genève, 1964, p. 121).

[43] А. Жид. Указ. соч., стр. 364.

[44] J. Copeau. Notes sur les «Frères Karamazov».— J. Copeau et J. Croué. Les Frères Karamazov. Paris, 1946, p. 5—6 (первоначально в журнальной публикации текста инсценировки: «L'Illustration théâtrale», 1911, № 179). Инсценировке Копо и и Круэ посвящен Специальный выпуск журнала «L'Avant-scène-théâtre», 1971, N 481.

[45] М. Волошин. Указ. соч., стр. 157, 161.

[46] В. Волькенштейн. Драматургия. М., 1969, стр. 55—56. В том же плане воспринимается замечание Н. К. Михайловского о характере действующих лиц у Достоевского: «Носители эксцентрических идей оказываются ‹...› придавленными не только нравственно, что и хотел изобразить г. Достоевский, а и в художественном отношении ‹...› В результате получается нечто многоцентренное, расплывающееся, ряд насильственно пригнанных драматических положений, в которых чрезвычайно трудно ориентироваться» (Н. К. Михайловский. Указ. соч., стр. 325).

[47] Ж. Копо. Указ. соч., стр. 6.

[48] Там же.

[49] Жизнь и творчество П. Орленева, описанные им самим. М.— Л., 1961, стр. 79—80.

[50] Ш. Дюллен. Воспоминания и заметки актера. М., 1958, стр. 42, 44, 47.

[51] А. В. Луначарский. «Братья Карамазовы» на сцене театра «Старой голубятни».— Собр. соч., т. 6. М., 1965, стр. 449.— С этим высказыванием Луначарского перекликается наблюдение Волькенштейна, который при всей полемичности своей «поэтики действия» рассматривает драму «изнутри» с позиций театра: «Характеристика в драме по сравнению с романом схематична ‹...› Чем действенней герой драмы, тем крупнее психологический рисунок роли; нам мало говорят мелкие привычки и особенности героических натур» (Указ. соч., стр. 116).

[52] А. В. Луначарский. Указ. соч., стр. 449.

[53] Ср. Н. Я. Берковский. Достоевский на сцене («Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым).— В его кн.: «Литература и театр», стр. 560 («Тайна удачи Смоктуновского в том, что он выходит на сцену из романа, из глубины романа, понятого и прочувствованного им без пропусков, во всех его эпизодах подряд. Смоктуновский играет не сценарий, он играет роман — через сценарий»).

[54] А. В. Л у н а ч а р с к и й. Указ. соч., стр. 450—453.

[55] A. P. A n t o i n e. Antoine père et fils. Souvenirs du Paris littéraire et théâtral. 1900—1939. Paris, 1962, p. 115; F. T. ‹Frederic T o w a r n i c k i›. Jacque Rouché.— Encyclopédie du Théâtre contemporain, v. 1, p. 176, 178, 180.

[56] Была поставлена на сцене театра Гран-Гиньоль (1912 г.).— A. A n t o i n e. Le théâtre, v. 2. Paris, 1932, p. 109. См.: C. B o r g a l. Metteurs en scène. Paris, 1963, p. 178. К. Боргаль сообщает также, что в феврале 1916 г. Ж. Питоев в письме к Ж. Копо отказался принять участие в «кошмарной» (horrible) постановке «Братьев Карамазовых» (там же, стр. 169).

[57] G. P i t o ë f f. Mon Dostoïevsky. Paris, 1923.

[58] «Александр Бенуа размышляет...» Подготовка издания, вступ. статья и коммент. И. С. З и л ь б е р ш т е й н а и А. Н. С а в и н о в а. М., 1968, стр. 104.

[59] Там же, стр. 604.

[60] Там же, стр. 156.

[61] Там же, стр. 531—533 (письмо 12 сентября 1924 г.)

[62] R. L e l i è v r e. Le théâtre dramatique italien en France. 1855—1940. La Roche-Sur-Yon, 1959, p. 439—440.

[63] Мнение итальянского литературоведа Франческо Флоры о том, что на Пиранделло воздействовали Достоевский, Андреев, Шоу, футуристы, оспаривается румынским критиком Иляной Берлоджя (J. B e r l o g e a. Pirandello. Bucureşti, 1967, p. 21).

[64] Среди первых экранизаций Достоевского: *1915 г.*— «Раскольников», реж. Г. Хмара; «Николай Ставрогин», реж. Я. А. Протазанов; *1918 г.*— «Кроткая», реж. О. В. Рахманова; *1920 г.*— «Братья Карамазовы», реж. К. Фрелих; *1921 г.*— «Идиот», реж. К. Фрелих; *1923 г.*— «Раскольников», реж. Р. Вине (в роли Раскольникова — Г. Хмара).

[65] Gaston B a t y. Crime et châtiment.— «La Petite illustration. Théâtre», 1933, 2 Sept. (N 640/331), p. 5—32.

[66] Там же, стр. 32. Сообщение о венгерской постановке — см. «Театр», 1963, № 5, стр. 168.

[67] О последовательности ассоциативной связи «Россия-степь» для западного сознания свидетельствует запись из дневника Франца Кафки 14 февраля 1915 г.: «Лучше чем тройка Гоголя ее ‹Россию› выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, всюду устремляющей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная, растрепанная степь вдоль берегов, поникшие травы. Нет, ничего это не выражает, скорее гасит» («Вопросы литературы», 1968, № 2, стр. 160).

[68] «Вечерняя Москва», 1936, 5 февраля.

[69] P. L o l i v e t. Le théâtre de Jean Anouilh. Paris, 1963, p. 19—24; L. C. P r u n k o. The world of Jean Anouilh. Berkcley and Los Angeles, 1961, p. 5—6.

[70] А. Г о з е н п у д. Пути и перепутья. М., 1967, стр. 210.

[71] В целом это близость к Достоевскому всей послевоенной драмы «театра идей» в постановке проблемы «добра и зла». Ср. Ж. П. С а р т р: «Дьявол и бог», «Грязные руки», «Мухи», или Ф. Д ю р р е н м а т т: «Ромул Великий», «Визит дамы». О значении этой проблемы для Ануя — см. C. B o r g a l. Anouilh. La peine de vivre. Paris, 1966, p. 74, 79.

[72] «L'Avant-scène-théâtre», 1967, N 373—374, p. 34, 78, 100. Текст инсценировки — см.: A. V i a l a et H. B a t a i l e. Les Possédés. Paris, 1959.

[73] А. Д о р о ш е в и ч. Театр жестокости и экспрессионизм.— «Театр», 1968, № 3, стр. 148. См.: е г о ж е. Традиции экспрессионизма в «театре абсурда» и «театре жестокости».— В кн.: «Современный зарубежный театр». М., 1969, стр. 124—125.

[74] Текст инсценировки.— А. К а м ю. Указ. соч., стр. 922—1075.

[75] Там же, стр. 1877.

[76] P. H e r b a u t. Pas de temps à pèrdre.— Hommage à Albert Camus. Paris, 1967, p. 76—77.

[77] А. К а м ю. Указ. соч., стр. 1883.

[78] Там же, стр. 1856—1857.

[79] О работе над фильмом см. «Le notti bianche di Luchino Visconti». A cura di Renzo R e n z i. Bologna, 1957.

[80] G. S a n d i e r. Les nuits blanches.— «L'Avant-scène-théâtre», 1961, N 245, p. 1—18; отзывы — см. p. 19.

[81] Там же.

[82] J. M a u c l a i r. L'Eternel mari.— «L'Avant-scène-femina-théâtre», 1952, N 118.

[83] A. C h a r p a k. Humilliés et offensés.— «L'Avant-scène-femina-théâtre», 1958, N 179, p. 7—24.

[84] A. C h a r p a k. Un Joueur.— «L'Avant-scène-femina-théâtre», 1959, N 208, p. 3—28; отзывы см. p. 29.

[85] Там же, стр. 29.

[86] A. C h a r p a k. La femme d'un Autre... où le mari sous le lit.— «L'Avant-scène-théâtre», 1963, N 298, p. 38—43.

[87] Y. G a s c. La Folie Rostanov.— «L'Avant-scène-théâtre», 1962, N p. 3—34.

[88] G. A r o u t. Scène extraite de l'«Idiot».— «Europe», 1956, N 131—132, p. 127—132.

[89] G. A r o u t. Crime et Châtiment.— «L'Avant-scène-théâtre», 1963, N 287, p. 9—43.

[90] P. L. M i g n o n. Le théâtre d'aujourd'hui de A jusqu' à Z. Paris, 1966, p. 27—28.

[91] «Достоевский был обеднен в театре „Тертр" (1962 г.), который подчеркнул в „Преступлении и наказании" не социально-психологическую, а „полицейскую" линию интриги (адаптация Ф. Канделье). В то же время Габриэль Ару (автор инсценировки), Мишель Витольд (режиссер), Роберт Хирш (Раскольников) сумели создать в „Комеди Франсез" спектакль, заставивший многих говорить,— Достоевский изменил лицо театра-музея» (Т. К. Я к и м о в и ч. Драматургия и театр современной Франции. Киев, 1968, стр. 185—186.)

[92] A. B a r s a c q. L'Idiot.— «L'Avant-scène-théâtre», 1966, № 367, p. 3—42.

[93] «L' Humanité», 1968, 28 Septembre.

[94] C. P a r a s c h i v e s c u. Drama incomensurabilului timp interior.— «Teatrul», 1969, N 4, p. 47.

[95] А. Ж и д. Указ. соч., стр. 366—367.

[96] А. К а м ю. Указ. соч., стр. 1703—1705.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Все ссылки на произведения Достоевского даются по изданию: Ф. М. Достоевский. Полное собрание художественных произведений. Под редакцией Б. В. Томашевского и К. И. Халабаева, т. I—XIII. М.— Л., ГИЗ, 1926—1930 (указываются тома римскими цифрами, страницы — арабскими)

«Биография, письма, заметки» — Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. I. СПб., 1883. Биография, письма и заметки из записной книжки

Герцен — А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М., Изд-во АН СССР, 1954—1965

А. Г. Достоевская. Воспоминания — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Вступ. статья, подготовка текста и примеч. С. В. Белова и В. А. Туниманова. М., Гослитиздат, 1971

«Жизнь и труды Достоевского» — Леонид Гроссман. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. М.— Л., «Academia», 1935

«Письма» — Ф. М. Достоевский. Письма. Под редакцией А. С. Долинина, т. I—IV. М.— Л., ГИЗ — Гослитиздат, 1928—1959

АТ — Архив Л. Н. Толстого (Москва)
ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)
ГПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград)
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград)
ЛВ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва)
ЛМ — Государственный литературный музей (Москва)
ТГ — Государственная Третьяковская галерея (Москва)
ТМ — Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва)
ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов (Москва)
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва)
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства (Москва)
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив СССР (Ленинград)
ЦНБ АН УССР — Центральная научная библиотека Академии наук УССР (Киев)

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ *

Составила Г. Ф. Коган

I. ПОРТРЕТЫ ДОСТОЕВСКОГО

РИСУНОК, ГРАВЮРА, СКУЛЬПТУРА

Достоевский. Рисунок карандашом К. А. Трутовского, 1847. МД — стр. 360
Достоевский. Гравюра А. Даугеля (с рисунка Н. И. Соколова).— «Всемирная иллюстрация», 1869, № 52 — стр. 399
Достоевский. Гравюра А. Неймана, 1878 (по фото Н. Досса. Петербург, 1876).— «Нива», 1878, № 1 — стр. 57
Достоевский. Гравюра Скржимовского (по фото К. А. Шапиро. Петербург, 1879).— «Живописное обозрение», 7 февраля 1881, № 6 — стр. 623
Достоевский. Гравюра (по фото К. А. Шапиро. Петербург, 1879).— «Иллюстрированный мир», 8 февраля 1881, № 6 — стр. 609
Достоевский. Гравюра Д. Рыжова, 1881 (по фото К. А. Шапиро. Петербург, 1879).— «Газета А. Гатцука», 14 февраля 1881, № 7 — стр. 313
Достоевский. Рисунок (углем) Н. И. Гусева, 1880-е годы (по фото М. М. Панова. М., 1880). МД — фронтиспис
Достоевский. Офорт Ю. И. Селиверстова. 1970. МД — стр. 705
Достоевский. Бюст работы А. Лаверецкого, установленный на могиле писателя. 1883, Петербург. Александро-Невская лавра. Фото 1900-х годов — стр. 537
Достоевский. Скульптура В. Ф. Фишера. Гипс. 1911 (Общество художников «Московский салон». Каталог выставки живописи и скульптуры... 1911—1912, № 219)— стр. 661

ДОСТОЕВСКИЙ В ГРУППАХ

Достоевский в картине К. Померанцева «Праздник рождества в Мертвом доме». Масло. 1862. МД — стр. 595
Достоевский и К. А. Трутовский. Рисунок пером К. А. Трутовского. Начало 1890-х годов. С подписью Трутовского. ЦГАЛИ — стр. 371

ФОТОГРАФИИ

Достоевский. Фото Э. Бондонелли. Париж, 1863. Фрагмент фотографии, раскрашенной акварелью. Из коллекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 13
Достоевский. Фото Н. Досса. Петербург, 1876, с дарственной надписью Достоевского Б. В. Штакеншнейдеру. МД — стр. 583
Достоевский. Фото Н. Досса. Петербург, 1876, с дартвенной надписью Достоевского А. Г. Достоевской. Местонахождение оригинала неизвестно — стр. 159
Достоевский. Фото К. А. Шапиро. Петербург, 1879, с дарственной надписью Достоевского В. К. Савостьянову. Находилось в собрании М. В. Савостьяновой, внучатой племянницы Достоевского. Ленинград, МД — стр. 469
Достоевский. Фото К. А. Шапиро. Петербург, 1878, с дарственной надписью Достоевского Я. Ф. Сахару. Находилось в собрании Н. Я. Сахар. Париж — стр. 145

---

* Список условных сокращений:

ГПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград
ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР, Ленинград
ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва
МД — Музей-квартира Ф. М. Достоевского, Москва
МИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив, Ленинград
ЦТБ — Центральная театральная библиотека им. А. В. Луначарского, Ленинград
ЦТМ — Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Москва

II. АВТОГРАФЫ ДОСТОЕВСКОГО

ТВОРЧЕСКИЕ РУКОПИСИ, ПИСЬМА

Письмо Достоевского к неизвестному, 3 июня 1848 г. Находилось в частном собрании, Ницца — стр. 143
«Братья Карамазовы». Черновой набросок (на обороте почтового конверта), 1878. ИРЛИ — стр. 119
«Братья Карамазовы». Черновой набросок, 1879, л. 1. ЛБ — стр. 99
Записи Достоевского к «Дневнику писателя», 1876 г. (на повестке С.-Петербургского отделения Общества любителей духовного просвещения), 22 января 1876 г. ЛБ — стр. 69
«Дневник писателя», 1877 г. Рукопись статьи о романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», 1877, лл. 1—2. ЛБ — стр. 61, 65
«Речь о Пушкине». Черновые наброски, 1880, л. 2. ИРЛИ — стр. 107
«Униженные и оскорбленные». Черновой набросок (на обороте приглашения на репетицию спектакля «Ревизор» 4 апреля 1860 г.), МД — стр. 14

III. ДОКУМЕНТЫ

Корректуры запрещенной цензурой редакционной статьи «Пожары», предназначавшейся для журнала «Время», июнь 1862 г., лл. 1, 3 и с пометой Александра II. ЦГИАЛ — стр. 17, 21, 25
Гранки запрещенной цензурой редакционной статьи «Пожары», предназначавшейся для журнала «Время», найденные среди прокламаций у корректора журнала К. Сунгурова при его аресте в 1863 г. ЦГАОР — стр. 585
Список анонимных статей Достоевского в журналах «Время» и «Эпоха», 1861—1864 гг., составленный Н. Н. Страховым в 1881 г. МД — стр. 591
Страница «дела» III Отделения «Об отставном поручике Достоевском» (отношение градоначальника Ф. Ф. Трепова к шефу жандармов Н. В. Мезенцеву по поводу ходатайства Достоевского о выезде за границу), 1867 г. ЦГАОР — стр. 597
Обложка «дела» III Отделения «Об осмотре Достоевского при возвращении из-за границы», 1867 г. ЦГАОР — стр. 601
Обложка «дела» III Отделения «О назначении при Министерстве внутренних дел комиссии по пересмотру списков лиц, состоящих под надзором полиции», 1870 г. ЦГАОР — стр. 603
Страница «дела» III Отделения «Об отставном поручике Достоевском» (ответ на запрос Главного управления по делам печати о возможности утверждения Достоевского редактором «Гражданина»), 18 декабря 1872 г. ЦГАОР — стр. 431
Программа литературного утра в пользу нуждающихся учеников Ларинской гимназии с участием Достоевского, 16 декабря 1879 г. МД — стр. 463
Пригласительный билет Достоевского на торжественное собрание Московского университета, посвященное памяти Пушкина, 4 июня 1880 г. МД — стр. 103
Программа литературного чтения в память А. С. Пушкина, устроенного Обществом для пособия нуждающимся литераторам и ученым с участием Достоевского, 19 октября 1880 г. МД — стр. 111
Программа литературного чтения в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым с участием Достоевского, 21 ноября 1880 г. МД — стр. 477
Афиша музыкально-литературного вечера в пользу Общества вспомоществования студентам Петербургского университета с участием Достоевского 30 ноября 1880 г. МД — стр. 503
Программа литературного чтения в память Достоевского. Петербург, 26 апреля 1881 г. МД — стр. 535
Страницы из стенографического дневника А. Г. Достоевской. Записи от 10 сентября (29 августа) и 11 (октября) 29 сентября 1867 г. ЛБ — стр. 181, 207
Страница из дневника А. Г. Достоевской, ею расшифрованная, 1867 г. ЦГАЛИ — стр. 215
Запись А. Г. Достоевской в тетради «завещательных распоряжений», 1867 г. ЦГАЛИ — стр. 245
Запись А. Г. Достоевской о Достоевском в альбоме С. С. Прокофьева 6 января 1917 г. ЦГАЛИ — стр. 269

IV. КНИГИ

КНИГИ С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ ДОСТОЕВСКОГО

Сочинения Ф. М. Достоевского. Т. I. Изд. Н. Основского. М., 1860. С дарственной надписью С. Д. Яновскому. Титульный лист. ЦГАЛИ — стр. 27
Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского. Новое, дополненное изд. Ф. Стелловского. СПб., 1866. С дарственной надписью А. Г. Достоевской. Титульный лист. Книга не сохранилась. ЛБ — стр. 175

«Преступление и наказание». СПб., 1867. С дарственной надписью О. А. Новиковой. Титульный лист. Собр. В. Г. Лидина (Москва) — стр. 123
«Дневник писателя» за 1876 г. СПб., 1877. С дарственной надписью Я. П. Полонскому. Страница первая. ГПБ — стр. 75
«Братья Карамазовы», т. I. СПб., 1881. С дарственной надписью А. М. Достоевскому. Шмуцтитул. МД — стр. 517
«Братья Карамазовы», т. I. СПб., 1881. С дарственной надписью С. П. Хитрово. Шмуцтитул. ИРЛИ — стр. 127

КНИГИ ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДОСТОЕВСКОГО И А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

«О небесах, о мире духов и об аде» Э. Сведенборга. Лейпциг, 1863. С дарственной надписью переводчика А. Аксакова. Титульный лист. Книга не сохранилась. Архив Института литературы АН УССР — стр. 78
«Сонеты Шекспира» в переводе Н. Гербеля. СПб., 1880. С дарственной надписью переводчика. Обложка. Книга не сохранилась. Архив Института литературы АН УССР — стр. 529
«Славянство и Европа». Ореста Миллера. СПб., 1877. С дарственной надписью автора А. Г. Достоевской. Титульный лист. Книга не сохранилась . Архив Института литературы АН УССР — стр. 83
«Очерк истории русской поэзии». А. Милюкова. СПб., 1858. Второе, доп. изд. С дарственной надписью автора. Шмуцтитул. Книга не сохранилась. ЛБ — стр. 29
«На улице и еще кое-где. Листки из памятной книжки А. Милюкова». СПб., 1865. С дарственной надписью автора. Шмуцтитул. Книга не сохранилась. ЛБ — стр. 381

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

«Раскольников». Немецкое издание романа «Преступление и наказание». Лейпциг, 1882. Титульный лист — стр. 669
«Двойник». Немецкое издание. Мюнхен, 1922. Титульный лист. Рисунок А. Кубина — стр. 679
«Записки из подполья». Немецкое издание. Мюнхен, 1922. Титульный лист. Рисунок пером В. Беккера — стр. 697
«Петербургская летопись». Немецкое издание. Мюнхен, 1923. Обложка и первая страница. Гравюра Р. Россинга — стр. 687
«Бесы». Издание на португальском языке. Рио де Жанейро, 1952. Обложка — стр. 133
«Крокодил. (Необыкновенное событие, или пассаж в Пассаже)». Исландское издание. Гетеборг, 1954. Фронтиспис и титульный лист — стр. 95
«Белые ночи». Венгерское издание. Будапешт, б. г. Титульный лист — стр. 43
«Братья Карамазовы». Греческое издание. Афины, б. г. Обложка — стр. 615

V. ИЛЛЮСТРАЦИИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ДОСТОЕВСКОГО

«Записки из Мертвого дома». Картина (масло) К. П. Померанцева. См. раздел I, «Достоевский в группах»
«Записки из Мертвого дома». Рисунок Ж. -М. Бретона из французского издания, 1928 — стр. 749
«Игрок». Рисунок неизвестного художника из французского издания, 1946 — стр. 753
«Мальчик у Христа на елке». Рисунок неизвестного художника из чешского издания. Прага, 1923 — стр. 89
«Неточка Незванова». Автолитографии С. М. Шор, 1935. Собр. художницы (Москва)— стр. 31, 33, 37
«Неточка Незванова». Рисунок Л. Н. Ратнер, 1971. Собр. художницы (Москва) — стр. 41
«Преступление и наказание». Раскольников. Рисунок (акварель) П. М. Боклевского, 1870-е годы. Государственный литературный музей. Москва — стр. 589
«Преступление и наказание». Рисунки И. Ф. Тюменева, 1881. ГПБ — стр. 339, 340
«Преступление и наказание». Рисунок В. И. Порфирьева. С факсимильным воспроизведением отзыва Достоевского.— «Осколки», 1881, № 2 — стр. 311
«Преступление и наказание». Рисунок неизвестного художника из французского издания. Париж, 1900-е годы — стр. 743
«Униженные и оскорбленные». Литография с рис. В. В. Князева,1884. МИИ —стр. 453
«Честный вор». Рисунок И. Ф. Тюменева, 1881, ГПБ — стр. 342

VI. ПОРТРЕТЫ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ ДОСТОЕВСКОГО

А. И. Баканин. Фото Блюменталя. Петербург, 1860-е годы. МД — стр. 587
М. И. Владиславлев. Фото Г. Штромфельдта. Геттинген, 1864, с дарственной надписью Достоевскому. МД — стр. 391

А. Г. Достоевская. Фото Ш. Ришарда. Женева, 1868. МД — стр. 169
А. Г. Достоевская. Фото, 1870-е годы. МД — стр. 427
А. Г. Достоевская с детьми Любовию и Федором у могилы Достоевского на кладбище в Александро-Невской лавре в Петербурге. Фото, 5 февраля 1881 г. МД — стр. 236
А. Г. Достоевская с детьми Любовию и Федором. Петербург, 1883. МД — стр. 253
А. Г. Достоевская. Фото. Петербург, 1914. МД — стр. 259
А. Г. Достоевская в организованной ею комнате-музее «Памяти Ф. М. Достоевского». Фото. Москва, 2 декабря 1916 г. МД— стр. 279
Л. Ф. Достоевская. Фото (почтовая открытка). Италия <?>. 1915—1916 гг. МД — стр. 298
М. М. Достоевский. Рисунок (карандаш) К. А. Трутовского, 1848. МД — стр. 367
Е. А. Штакеншнейдер. Фото, 1870-е годы. Омский краеведческий музей — стр. 491
С. Д. Яновский. Фото, 1872, с дарственной надписью Ф. М. и А. Г. Достоевским. МД — стр. 493

VII. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО НА СЦЕНЕ

«ДЯДЮШКИН СОН»

Титульный лист цензурного экземпляра комедии Л. Н. Антропова «Очаровательный сон», 1878 (по роману Достоевского «Дядюшкин сон»). ЦТБ —стр. 445

«ИДИОТ»

Е. Т. Жихарева в роли Настасьи Филипповны в спектакле театра Незлобина. Москва, 1913. ЦТМ — стр. 575
И. М. Смоктуновский в роли Мышкина в спектакле Большого драматического театра им. Горького. 1959. Автолитография А. М. Галеркина, 1959. МД — стр. 643
И. М. Смоктуновский и Е. А. Лебедев в ролях Мышкина и Рогожина в спектакле Большого драматического театра им. Горького. Ленинград, 1959. Автолитография А. М. Галеркина. ЦТМ — стр. 649

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»

Разрешение, данное А. Г. Достоевской К. С. Станиславскому на инсценировку романа «Село Степанчиково и его обитатели», 1888. Музей МХАТ — стр. 539
Титульный лист цензурного экземпляра инсценировки К. С. Станиславского с пометой о запрещении постановки, 25 октября 1888. ЦТБ — стр. 543
Титульный лист пьесы «Фома», инсценировки К. С. Станиславского, с пометой цензора о разрешении постановки, 1890. Музей МХАТ — стр. 547
Эскиз декорации III действия пьесы «Фома», инсценировки К. С. Станиславского. Рисунок К. С. Станиславского, 1891. Музей МХАТ — стр. 549
К. С. Станиславский и М. П. Лилина в пьесе «Фома», инсценировка К. С. Станиславского, 1891. Фото. Музей МХАТ — стр. 553
И. М. Москвин в роли Опискина в спектакле МХТ, 1917. Музей МХАТ — стр. 557

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

Сцена из спектакля в постановке МХАТа II, 1932. Фото — стр. 637

VIII. ПАМЯТНЫЕ МЕСТА И ВИДЫ

ПЕТЕРБУРГ

Похороны Достоевского. Похоронная процессия перед Александро-Невской лаврой. Ученики Академии художеств в похоронной процессии. Венки от клуба художников, студентов Петербургского университета и редакции газеты «Русская речь». Рисунки И. Ф. Тюменева, 1881. ГПБ — стр. 344, 346
Похороны Достоевского. Литография с рисунков В. И. Порфирьева.— «Осколки», 8 февраля 1881, № 6, стр. 531

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

Веве. Вид улицы, на которой жили Достоевские. Почтовая открытка. С надписью Достоевской. Из коллекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 409
Веве. Вид улицы, на которой находился дом, в котором Достоевский жил в 1867 г. Почтовая открытка из коллекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 415
Дрезден. Общий вид. Фото, подаренное Достоевскому А. Н. Сниткиной в 1867 г. Из коллекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 189
Женева. Дом, в котором Достоевские жили с августа по декабрь 1867 г. (угол ул. Вильгельма Телля и ул. Бертелье). Из коллекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 195
Женева. Дом, в котором жили Достоевские в 1868 г. (rue de Mont-Blanc). Фото с надписью А. Г. Достоевской. МД — стр. 201
Миланский собор. Фото, принадлежавшее Достоевскому, с надписью А. Г. Достоевской. Из колекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 231
Флоренция. Сад Боболи. Фото 1868—1869 гг. с надписью А. Г. Достоевской. Из коллекции А. Г. Достоевской. МД — стр. 223

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составила Е. М. Львова

А. А.— см. Аксаков А. Н.
А. Г. В., сотрудник «Вестника Европы» 454
А. К.— см. Киреев А. А.
А. С., сотрудник «Петербургской газеты» 318
Абаза Александр Аггеевич 151, 296, 535, 536 (?)
Абаза Николай Саввич 357, 528, 536
Абаза (рожд. Штуббе) Юлия Федоровна 136, 151, 295, 296, 538
Абрамович Дмитрий Иванович 102, 620
Аввакум Петрович, протопоп 478
Авдеев Михаил Васильевич 56, 58, 379
Авдиев Вениамин Васильевич 622
Аверкиев Дмитрий Васильевич 58, 340, 345, 394, 397, 413, 605
Аверченко Аркадий Тимофеевич 142
Авсеенко (псевд. А.) Василий Григорьевич 85, 471
Азадовский Константин Маркович 8, 659, 734
Айвазовский Иван Константинович 150
Аколла Эмиль 284
Аксаков (псевд. А. А.) Александр Николаевич 60, 62, 72, 73, 78, 444
Аксаков Иван Сергеевич 30, 31, 33, 44, 46, 101, 125, 127, 349, 356, 357, 393, 395, 402, 406, 475, 489—490, 500, 504—506, 509—513, 516, 522, 523, 532—534, 548, 569, 607, 608, 610—612, 618, 619
Аксаков Константин Сергеевич 356, 515, 516
Аксаков Сергей Тимофеевич 92, 96, 118, 450, 516
Аксакова Вера Сергеевна 23, 24, 44, 45
Аксаковы 475
Александер Гертруда 724
Александр I 74, 91
Александр II 16—20, 26—30, 32, 34—36, 45, 47, 48, 53, 64, 135, 138, 141, 335, 336, 385, 480, 495, 535, 541, 556, 557, 593, 612, 619
Александр III 141, 151, 296, 307, 308
Александр Михайлович, кн. Тверской 396
Александра Иосифовна, в. к. 136, 137, 151, 538
Александров Михаил Александрович 115, 131—134, 349, 456, 590
Александрова (рожд. Мордовцева) Вера Даниловна 461—462
Алексеев В. А. 116
Алексеев Михаил Павлович 55, 159, 359, 728, 742, 755
Алексеев Николай Алексеевич 43
Алексей Михайлович, царь 523
Алексей Николаевич, в. к. 141
Ален Леопольд 754
Аллан Александр 329
Аллан (рожд. Депрео) Луиза 329
Алмазов Борис Николаевич 569, 570
Аловерт Николай Павлович 357, 481
Алонкин Иван Максимович 217, 220, 288
Алчевская (псевд. Украинка) Христина Даниловна 77, 349, 350, 354, 357, 447, 448, 478
Альберес Рене Мари 755
Альберти Конрад 671
Альбов Михаил Нилович 626, 628, 630—632, 639—641
Альтшуллер Анатолий Яковлевич 756
Андерсон, скульптор 330
Андлер Шарль 733
Андреас Карл Фридрих 694
Андреас-Саломе Лу 681, 693, 694, 725, 734
Андреев Леонид Николаевич 633, 758
Андреева Мария Михайловна 178, 223, 235, 241, 243, 261, 285, 288
Андреевы 393
Андреевский Иван Ефимович 41, 42, 47, 136, 151, 461, 462
Андреянова Елена Ивановна 328
Аникеев Александр Иванович 336
Анна Иоанновна, имп. 377
Анненков Иван Александрович 116
Анненков Павел Васильевич 29, 120, 308, 349, 411, 504, 512—514
Анненкова (рожд. Гебль) Прасковья (Полина) Егоровна 116
Антипова Ольга Яковлевна — см. Нечаева О. Я.
Антонелли Джиакомо 395, 604
Антонович Максим Алексеевич 385
Антропов Лука Николаевич 445
Антуан Андре Поль 743, 756, 758
Ануй Жан 749—751, 758
Аракчеев Алексей Андреевич 588
Арбенин Николай Федорович 745
Арина Родионовна, няня Пушкина 125
Аристов Василий Иванович 499
Аристов Николай А. 583, 593
Аристотель 720
Аргольд Иван Николаевич 617, 620
Арнодо Пьер 752

Ару Габриель 741, 753, 759
Архипович Афанасий Алексеевич 338, 339, 345
Асенкова Варвара Николаевна 329
Аскоченский Виктор Игнатьевич 573
Аспазия 402, 404
Ахенбах, владелец конторы 535
Ашенбреннер Михаил Юльевич 616, **620**
Ашинов Николай Иванович 615

Баб Юлиус 689, 725, 734
Бабиков Константин Иванович 181, 283, 286, 349, 357, 410, 412, 573
Базанов Василий Григорьевич 590, 592, 593
Базедов Ханс фон 673, 674, 731
Базунов Александр Федорович 286
Байрон Джордж Ноэл Гордон 91, 93, 96, 104, 108, 109, 111—113, 401, 555, 626, 669, 670
Баканин Анатолий Иванович 7, 582—584, 586, 587, 590
Бакст (Розенберг) Лев Самойлович 748
Бакунин Михаил Александрович 40, 162, 166, 285, 596
Баллод Петр Давыдович 22, 44—47
Бальзак Оноре 115, 144, 163, 167, 173, 174, 176, 181, 202, 283, 298, 329, 354, 366, 664, 713, 724, 737, 756
Бар Герман 663—665, 698—700, 713, 725, 729, 735
Баранов, адвокат (?) 437, 438
Барлах Эрнст 704, 707
Бармин Александр Савельевич 586
Барни Жюль 172—174, 177, 284
Барсак Андре 741, 751, 754, 759
Барсуков Николай Платонович 46, 349, 370, 406, 411, 426, 427, 578—580
Барсукова Лидия Евгеньевна 406
Бартенев Петр Иванович 26, 349, 406, 411, 501, 504, 506
Бартенева Софья Даниловна 411
Барч Иван Мартынович 419
Баршев Сергей Иванович 434
Батай Никола 751, 758
Бати Гастон 741, 749, 750, 758
Батюшков Федор Дмитриевич 621, 638, 640, 644, 656
Бауэр Эрвин 673, 730, 731
Бахрушин Алексей Александрович 129
Бахрушин Юрий Алексеевич 132
Бахтин Михаил Михайлович 629, 641, 755, 756
Башмаков Александр Дмитриевич 437, 438
Бебель Август 717, 718, 737
Бек Карл 330
Бекетов Андрей Николаевич 315, 341, 346, 451, 454
Бекетов Владимир Николаевич 372
Беккер Вальтер 697
Беккет Самуэль 749
Белинский Виссарион Григорьевич 84, 94, 104, 105, 113, 120, 162, 167, 283, 285, 286, 299, 307, 308, 350, 351, 355, 398, 401—404, 413, 414, 423, 424, 450, 498, 512, 544, 554, 555, 622, 627, 629, 634, 639, 641, 667, 694, 717, 728, 742, 755
Бёлль Генрих 727, 738
Белов Сергей Владимирович 6, 7, 55, 115, 117, 156, 165, 291, 315, 336, 756
Белоголовый Николай Андреевич 470
Бельчиков Николай Федорович 156, 158, 287, 604
Бем Мартин Х. 689, 734
Бенардаки Дмитрий Егорович 220, 288
Бенедиктов Владимир Григорьевич 729
Бенкендорф Александр Христофорович 526
Беннет Арнольд 757
Бенни Артур 16, 43, 45, 48
Бенуа Александр Николаевич 142, 694, 695, 748, 754, 755, 758
Бер В. 18
Берг Лео 663, 664, 668, 675, 678, 680, 728, 729, 732
Берг Федор Николаевич 483, 484, 510, 511
Бергами 588
Бергсон Анри 701
Бердников, учитель 546
Бердникова (рожд. Иванчина-Писарева) Мария Сергеевна 260, 290, 349, 546
Бердяев Николай Александрович 750
Бережков Федор Федорович 733, 738
Березин Илья Николаевич 449
Берковский Наум Яковлевич 756, 757
Берлоджя Иляна 758
Берман Михаил Андреевич 340—342, 346
Бернар Клод 664
Бернар Сара 144
Берне Людвиг 330
Бернштам Леопольд Адольфович 336
Бернштейн Эдуард 719
Бессонов Борис Лаврентьевич 117
Бессонов Владимир Владимирович 121, 123, 148
Бестужев Александр Александрович 141, 584
Бестужев Михаил Александрович 481, 584
Бестужев Николай Александрович 584, 592
Бестужева Елена Александровна 481
Бестужева Мария Александровна 481
Бестужева Ольга Александровна 481
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич 135, 150, 349, 498—500, 536, 548
Бетховен Людвиг ван 342, 343
Бехер Иоганнес 704, 724, 738
Би Оскар 666, 730
Бибиков Петр Алексеевич 588
Бинштok Владимир Львович 748
Бирбаум Отто Юлиус 698, 699, 735
Бироны, род 300
Битюгова Инна Александровна 117
Бицилли Петр Михайлович 756
Бичурина Анна Александровна 316, 317, 319
Благонравов Александр Федорович 349, 357, 489, 490
Благосветлов Григорий Евлампиевич 588, 600, 605
Блаз, кларнетист 329
Блайбтрой Карл 664, 665, 669, 671, 682, 683, 728—730, 733
Блан Луи 24, 162

Блок Александр Александрович 141, 346, 454, 577
Блудова Антонина Дмитриевна 73
Блюменталь Э., фотограф 587
Блюмер Иоганн Яков 24
Боборыкин Петр Дмитриевич 31, 46, 393, 398, 444, 462, 581, 587, 589, 590, 592
Бобров Виктор Алексеевич 349, 548
Богаевская Ксения Петровна 8, 606
Богарне Жозефина 170, 283
Богатец Йосиф 726, 738
Богомолов И. И. 442
Богородский Федор Семенович 596
Богучарский (Яковлев) Василий Яковлевич 132, 133
Боденштедт Фридрих 665
Бодиско Теодор фон 725, 738
Боклевский Петр Михайлович 589
Бокль Генри Томас 388
Боков Петр Иванович 581, 582
Бомарше Пьер Огюстен Карон де 142
Бондонелли Э., фотограф 13
Бонн Фердинанд 672
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич 733
Боргаль Клемен 758
Борейша Анна Петровна 90, 91
Борель, владелец ресторана 462
Боровиковский Александр Львович 128, 445, 446
Бородаевский Сергей Осипович 123
Боткин Василий Петрович 393, 411, 414, 567, 577
Боткина (рожд. Третьякова) Александра Павловна 115, 148, 149
Брам Отто 670, 672, 730, 731
Брандес Георг 668, 670, 671, 675, 678, 680, 681, 685, 686, 730—732
Браун Генрих 726, 738
Браун Марфа — см. Хлебникова Е. А.
Брет-Гарт Френсис 633
Бретон Ж. М., художник 749
Бретцель фон (рожд. Любимова) Анна Алексеевна 7, 309, 310, 312, 314—321
Бретцель фон Яков Богданович 7, 146, 309—314, 317, 320, 333
Бретцель фон, семья 309
Брехт Бертольт 736
Брод Макс 709, 710, 737
Бродников Константин Григорьевич 339, 345
Бродский Мишель (Михаил Львович) 142
Бродский Николай Леонтьевич 15
Брун Вильгельм 725, 738
Бруннов Филипп Иванович 24
Брутцер Софи 695, 734, 735
Брянский Михаил Васильевич 458
Брянский Яков Григорьевич 329
Буальдьё Франсуа Адриен 14
Будиловская Алла Львовна 379
Буква — см. Василевский И. Ф.
Булгаков Сергей Николаевич 756
Булгарин Фаддей Венедиктович 104, 518
Булычев Николай Георгиевич 166
Буль Оле Борнеман 329
Бунаков Николай Федорович 115
Бурдин Федор Алексеевич 55, 56, 58
Буре́, владелец танцклассов 329
Буренин Виктор Петрович 388, 389, 494, 511, 517, 518
Буренин Сергей Петрович 349, 517
Бурже Поль 682, 745
Бурсов Борис Иванович 116, 141, 147, 151
Бурцев Александр Евгеньевич 115
Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич 26, 46, 138, 151, 304, 305, 374, 418, 452, 550, 597, 600—604, 689
Бутков Владимир Петрович 19
Бутлеров Александр Михайлович 60, 444, 451, 461, 462
Бухарев Александр Матвеевич (в монашестве Феодор) 349, 407, 408, 438
Бухарева Анна Сергеевна 349, 438
Быков Петр Васильевич 389, 392
Бычков Афанасий Федорович 428
Бюлов Фрида 696
Бялый Григорий Абрамович 621, 640

В. М.— см. Марков В. В.
В. Н. 427
В. Н.-Д.— см. Немирович-Данченко Вас. Ив.
Вагенбах Клаус 710, 736
Вагнер (псевд. Кот Мурлыка) Николай Петрович 60, 117, 349, 357, 444, 451, 453, 454, 492
Вагнер Рихард 681, 686, 699
Валескалн Петр Иванович 44—47
Валлотон Феликс 719
Валуев Петр Александрович 20, 24, 26—28, 30—35, 40, 42, 45—48, 93, 392, 393, 397, 589
Варламов Константин Алексеевич 144
Василевский (псевд. Буква) Ипполит Федорович 87—88
Васильев 1-й Владимир Иванович 339, 345
Васильев Григорий, дворовый Достоевских 363, 364
Васильев Иосиф Васильевич 619
Васильев 2-й Павел Васильевич 55, 56, 58, 397, 398
Василье́вич Алимпий 467, 468
Вассерман Якоб 693, 709, 716, 725, 735—737
Веерт Георг 718
Везенберг, фотограф 342, 346
Вейнберг Петр Исаевич 11, 316, 379, 461, 462, 493, 498
Велинская 316
Вельтман (рожд. Кубе) Елена Ивановна 408
Венгеров Семен Афанасьевич 478, 578
Веневитинов Дмитрий Владимирович 501
Веневитинов Михаил Алексеевич 349, 356, 501—507
Вергун Дмитрий Николаевич 681, 732
Верещагин Василий Васильевич 137
Вержбилович Александр Валерианович 319
Верфель Франц 704, 709, 736
Верцман Израиль Ефимович 685, 686, 733
Вершинин Илья Евгеньевич 338, 345
Веселаго Феодосий Федорович 383
Веселитская Лидия Ивановна — см. Микулич В.
Веселовский Владимир Иванович 415, 416, 430—433, 467
Веселовский Михаил Павлович 47, 48, 379

Вессель А. 284
Виала Акакиа 751, 758
Виардо (рожд. Гарсиа) Мишель Фернанда Полина 135, 315, 414
Видман Йозеф Виктор 680, 681, 732
Виельгорская (рожд. Бирон) Луиза Карловна 300, 308
Виельгорский Михаил Юрьевич 300, 308
Викторов, учитель 28—30, 46
Вильмонт (Вильям-Вильмонт) Николай Николаевич 755, 756
Вине Роберт 758
Виноградов Виктор Владимирович 427, 606, 618, 619
Висковатов Павел Александрович 349, 357, 420
Висконти Лукино 752, 758
Витольд Мишель 753, 759
Владимирова Елизавета Васильевна 397, 398
Владиславлев Михаил Иванович 234, 289, 349, 357, 391, 417, 418
Владиславлева Мария Михайловна — см. Достоевская М. М.
Вогюэ Мельхиор де 677, 678, 682, 689, 694, 718, 732, 742, 744, 745, 755, 757
Водовозова (рожд. Цевловская) Елизавета Николаевна 590
Волгин Игорь Леонидович 6, 59, 67
Волков Юрий Александрович 349, 378
Волконская (рожд. Раевская) Мария Николаевна 142
Волконский Николай Сергеевич 142
Волконский Сергей Григорьевич 142, 550
Волоцкой Михаил Васильевич 151, 290, 292, 293, 296
Волошин Г. 756
Волошин Максимилиан Александрович 746, 756, 757
Волчанецкий М. Н. 735
Волынский (Флексер) Аким Львович 680, 693, 732
Волькенштейн Владимир Михайлович 746, 757
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) 283, 717
Вольф Маврикий Осипович 729
Вольф Ойген 664, 727, 739
Вольфенштейн Альфред 707
Вольфсон Вильгельм (Карл Майен) 659, 660
Воронин, домовладелец 223
Воронов Михаил Алексеевич 588
Воскобойников Николай Николаевич 587
Врангель Александр Егорович 47, 349, 357, 375, 376
Врангель Василий Егорович 375 (?), 376
Врангель Егор Егорович 375 (?), 376
Врангель Егор Ермолаевич 376
Враская Варвара Борисовна 102—104, 351
Вроцкий Н.— см. Навроцкий А. А.
Вышеславцев Борис Петрович 147
Вяземский Петр Андреевич 141, 350, 351, 569, 572, 574, 579

Г. П. Ш.— см. Шереметев Г. П.
Габельсбергер Франц Ксавер 284
Габорио Эмиль 683
Гаевский Виктор Павлович 460, 466, 486, 493, 539
Гайбель Эмануэль 330
Гайдебуров Павел Александрович 461, 462, 536
Гайдебуров Павел Павлович 430
Галаган Григорий Павлович 446
Галаган Павел 546
Галаган, жена Г. П. Галагана 446
Галеркин Александр Михайлович 643, 649
Гальперин-Каминский Илья Давыдович 732
Гамбуцци (Гамбуччи) Карло 285
Ганецкая Мария 261, 290
Гарибальди Джузеппе 162, 167, 170—174, 176, 177, 283—285
Гаршин Всеволод Михайлович 138, 151, 635, 641, 642
Гаск Ив 753
Гаскелл Элизабет 588
Гаст Петер (Генрих Кёзелитц) 681, 683
Гауптман Герхарт 665, 743, 744, 756
Гауптман Карл 670, 729, 730
Гвардини Романо 725, 738
Ге Николай Николаевич 121, 122
Гебель Валентина Александровна 618
Гедда Елена М. 315, 318, 320
Гедерштери Александр Карлович 19, 23
Геземан Вольфганг 681, 685, 732, 733
Гейден (рожд. Зубова) Елизавета Николаевна 146, 147, 152, 294—296, 305, 349, 357, 530, 532
Гейден Федор Логинович 305
Гейден, семья 295, 530
Гейзе Пауль — см. Хейзе П.
Гейне Генрих 121, 330, 343, 724, 731
Гейне Максимилиан 330
Геккель Эрнст 664
Генкель Вильгельм 665, 666, 669, 670, 673, 674, 693, 718, 729—731, 734, 739, 740
Генрих IV, англ. король 749
Герасимов Юрий Константинович 756
Гербель Николай Васильевич 324, 529
Гервег Георг 330
Гердер Иоганн Готфрид 323
Геруа Александр Клавдиевич 360
Герхард Вольфганг 660
Герхард Дитрих 726, 738
Герцен Александр Александрович 85, 604, 681
Герцен Александр Иванович 6, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 32, 34, 36, 37, 42—48, 81, 82, 85—87, 120, 162, 163, 165, 246, 283—285, 289, 350, 390, 402, 403, 414, 417, 424, 441, 448, 584, 586, 596, 597, 600, 604, 620, 659, 667, 681, 718, 760
Герцен Елизавета Александровна 85—87
Герцен Наталья Александровна 85, 87, 285, 681
Герцен (по мужу Моно) Ольга Александровна 85, 87, 285, 681
Герцен, семья 82, 85
Гете Иоганн Вольфганг 12, 13, 140, 142, 321, 323, 327, 328, 626, 659, 670, 693, 698, 707—709, 712, 713, 715, 717, 724, 725, 736, 738, 742
Гийо Морис 753
Гиппиус Зинаида Николаевна 577
Гислянзони Леокадия 349, 547
Гитри Люсьен 144
Глинка Михаил Иванович 322, 329, 345
Глинский Борис Борисович 578

Гоголь Николай Васильевич 5, 11, 14, 31, 82, 105, 141, 142, 150, 301, 302, 329, 330, 351, 383, 385, 393, 401, 403, 408, 418, 437, 450, 452, 453, 477, 506, 512, 516, 523, 555, 622, 626, 643, 644, 648, 660, 681, 710, 718, 722, 726, 738, 742, 753, 755, 758
Годунов Борис Федорович 113, 299, 322, 328, 365, 366, 368, 742, 755
Годунова Ксения 407, 408
Гозенпуд Абрам Акимович 55, 730, 751, 758
Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич 150, 501, 502
Голеновская Александра Михайловна — см. Достоевская А. М.
Голеновская Мария Николаевна — см. Ставровская М. Н.
Голеновский Николай Иванович 386
Голеновские 387
Голицын Александр Федорович 24, 34, 35, 42
Голицын Василий Васильевич 435
Голицын Юрий 18
Голицына (рожд. Апраксина) Наталья Степановна 115
Голицыны 385
Голицынский А. П. 56, 58
Головачев Алексей Адрианович 349, 417, 605
Головачев Аполлон Филиппович 605
Головина Любовь Валериановна 117
Головнин Александр Васильевич 22, 26, 27, 31, 34, 35, 45—48
Голохвастов Дмитрий Павлович 417
Голохвастов Павел Дмитриевич 349, 417, 452, 453, 480, 519
Голохвастова, дочь В. Н. Карамзина 504
Гольбейн Ганс, младший 748
Гольденвейзер Александр Борисович 115, 129, 130, 147
Гольдшмидт Вильгельм 682, 739
Гольдштейн Эдуард Юльевич 316
Гольцев Виктор Александрович 612, 619, 620
Гомер 708, 755
Гонкур Жюль 355, 682, 683
Гонкур Эдмон 355, 497, 682, 683
Гончаров Иван Александрович 118, 135, 150, 173 (?), 284, 294, 338, 390, 401, 403, 414, 435, 449, 450, 472, 490, 622, 626, 720
Гораций Флакк Квинт 755
Горбунов Иван Федорович 395, 502, 504, 508, 579
Горнфельд Аркадий Георгиевич 293, 345
Горская — см. Хлебникова Е. А.
Горский Петр Никитич 588, 592
Горчаков Александр Михайлович 24, 26, 46
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) 137, 139—141, 143, 151, 152, 630, 641, 684, 704, 718, 727, 731, 733, 739
Горячкина Мария Сергеевна 618, 619
Готский, полковник 605
Гофман Нина 689—692, 696, 699, 734, 740
Гофман фон Фаллерслебен Август Генрих 330
Граве Христиан-Христианович 549, 550
Градовский Александр Дмитриевич 102, 104, 512, 513, 515—516, 518, 519, 553
Градовский Григорий Константинович 420. 426, 427
Грановский Тимофей Николаевич 554, 555
Грацианский, юрист 454
Греч Николай Иванович 518
Грибоедов Александр Сергеевич 51, 105, 109, 450, 494, 510, 626
Григорович Дмитрий Васильевич 115, 116, 118, 123, 125, 144, 297, 299, 307, 308, 324, 331, 335, 338, 342, 345, 385, 449, 493, 502—504, 507, 508, 536, 542, 550, 575, 710
Григорович (рожд. Вармо) Сидония Петровна 297
Григорьев Алексей Львович 736, 738
Григорьев Аполлон Александрович 7, 12, 55, 58, 81, 377, 378, 384, 389, 394, 397, 398, 400—404, 554, 567—580, 586, 591, 592
Григорьев Василий Васильевич 418
Григорьев Владимир Александрович 578
Григорьев Николай Петрович 550
Григорьев 2-й Петр Григорьевич 329
Григорьев 1-й Петр Иванович 329
Гризингер Вильгельм 490
Грильпарцер Франц 710
Гринберг Карл Андреевич 219, 288
Гриневицкий Игнатий Иоахимович 556, 557, 619, 620
Гриньян (рожд. Севинье), м-ме 308
Громов Павел Петрович 580
Гроссман Леонид Петрович 5, 15, 47, 72, 87, 115, 151, 152, 155, 162, 166, 283, 296, 307, 308, 314, 322, 324, 471, 511, 599, 602, 604, 619, 755, 756, 760
Гроссман, курсистка 318
Грубер Венцеслав Леопольдович 461
Грюн Анастазиус (Антон Александр фон Ауэршперг) 330
Грюннер И., фотограф 253
Губин Василий Иванович 437
Гуковский Григорий Александрович 756
Гуральник Уран Абрамович 578, 580
Гурфинкель Нина Лазаревна 744, 756
Гусев Н. И., художник — фронтиспис
Гуссерль Эдмунд 701
Густав Ирикович, королевич 407, 408
Гутман Лев Иосифович 324
Гюго Виктор 15, 66, 67, 139, 142, 158, 162, 171, 284, 301, 302, 660

Д. П., сотрудник «Русского вестника» 43
Давид Якоб Юлиус 696, 725
Давыдов Владимир Николаевич (Иван Николаевич Горелов) 144
Давыдов Денис Васильевич 474
Даль Владимир Иванович 396, 619
Данилевский Григорий Петрович 118, 349, 378, 379, 398, 423, 451, 452, 536, 681
Данилевский Николай Яковлевич 421, 430, 435, 436, 519
Данилевский Роман Юрьевич 738
Данте Алигьери 441, 529, 673, 724
Дарвин Чарлз 418, 664, 757
Даргомыжский Александр Сергеевич 150, 343, 495

Даугель Август 399
Дашков Павел Яковлевич 578
Дёблин Альфред 707, 736
Дебу Ипполит Матвеевич 600
Дегтерев, скрипач 492
Дельер — см. Плющевский-Плющик Я. А.
Делянов Иван Давыдович 467
Демосфен 445
Демпф Алойс 727, 738
Демулен Камилл 142
Демут, владелец ресторана 467
Державин Гавриил Романович 141
Дерне Мартин 726, 738
Десницкий Василий Алексеевич 716
Детомас Максим 748
Дзасохов Гиго 681, 733
Дидро Дени 142, 717
Диккенс Чарлз 15, 163, 186, 194, 354, 713, 737
Дильтей Вильгельм 701
Дмитриев Федор Михайлович 501
Дмитрий Константинович, в. к. 136, 151, 336, 542, 543
Днепров (Резник) Владимир Давидович 711, 737
Добролюбов Николай Александрович 15, 101, 355, 380, 398, 544, 577, 588, 622, 627, 631, 634, 639
Добужинский Мстислав Валерьянович 142
Доде Альфонс 150, 355, 497, 745, 757
Дойблер Теодор 707
Долгомостьев Иван Григорьевич 164, 244, 289, 394, 395, 397
Долгоруков Василий Андреевич 18, 19, 22, 24, 26, 27, 34, 44, 53, 391, 393, 596
Долинин Аркадий Семенович 6, 12, 15, 47, 59, 66, 67, 83, 97, 102, 114—118, 129, 141, 147, 150, 151, 158, 285, 286, 288, 292, 590, 593, 599, 620, 760
Дондукова-Корсакова Надежда Михайловна 523
Дорошевич А. Н. 758
Досс Николай, фотограф 57, 159, 583
Достоевская (по 1-му мужу Голеновская; по 2-му — Шевякова) Александра Михайловна 146, 241, 289, 386, 387, 431—433, 443, 451, 455, 457—459, 467, 468, 525
Достоевская (рожд. Сниткина) Анна Григорьевна 6, 11, 13, 14, 59, 62, 67, 72, 73, 77, 81, 83, 88, 102, 115, 121, 129, 134, 137, 139—141, 146—149, 151, 152, 155—297, 303, 305, 307, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 332—336, 345, 349, 351, 353, 354, 357, 377, 393, 405, 406, 408—410, 412, 414—420, 425, 427, 430, 433, 435—444, 446—448, 450, 451, 453—472, 475, 478—487, 489, 492—496, 498—500, 507, 509—511, 513, 516, 517, 519, 521, 524—530, 532, 534—536, 538—544, 546—548, 551—553, 557—559, 591, 598, 599, 602—605, 662, 689, 760
Достоевская (по мужу Савостьянова) Варвара Андреевна 469, 470, 496, 521, 522
Достоевская (по мужу Карепина) Варвара Михайловна 141, 146, 307, 349, 357, 363, 365, 370, 372—375, 430—432, 462, 465, 534
Достоевская Варвара Михайловна (племянница) 398
Достоевская (по мужу Иванова) Вера Михайловна 146, 240, 241, 249, 276, 287, 307, 349, 354, 364, 370, 372—374, 406, 417, 418, 432, 451, 517
Достоевская (рожд. Федорченко) Домника Ивановна 349, 354, 415, 443, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 457—459, 461, 466, 474—475, 492, 495, 533, 596
Достоевская Евгения Андреевна — см. Рыкачева Е. А.
Достоевская (рожд. Цугаловская) Екатерина Петровна 140, 141, 296
Достоевская Любовь Федоровна 7, 239, 253, 291—308, 310, 312, 335, 336, 342, 343, 345, 357, 416, 419, 425, 443, 456, 464, 480, 534—536, 540, 541, 552, 558, 559, 599
Достоевская (рожд. Констант; по 1-му мужу Исаева) Мария Дмитриевна 147, 179, 197, 206, 207, 234, 235, 260, 261, 284, 285, 287, 375, 387, 393, 394, 398
Достоевская (по мужу Владиславлева) Мария Михайловна 234, 289, 387, 404, 405, 450(?)
Достоевская (рожд. Нечаева) Мария Федоровна 268, 290, 298, 323, 325—327, 359, 364, 368, 387, 431, 433, 517
Достоевская Софья Федоровна (Соня) 156, 158, 166, 169, 189, 198—201, 203, 210—213, 215, 217, 228, 230, 231, 241, 242, 245, 250, 251, 255, 262, 265, 279, 280, 353, 412
Достоевская (рожд. Дитмар) Эмилия Федоровна 161, 163, 165, 182, 194, 214, 226, 227, 234, 238, 249, 257, 263, 283, 286, 288, 289, 303, 349, 370, 371, 373, 386, 397, 404, 405, 450
Достоевский Александр Андреевич 450, 451, 454, 457—462, 470 474—475, 489, 492, 495, 498, 516, 517, 524, 533, 534, 536
Достоевский Алексей Федорович (Алеша) 305—308, 310, 443, 464, 465, 498
Достоевский Андрей Андреевич 500, 534
Достоевский Андрей Михайлович 160, 308, 322, 324, 331, 349, 354, 364, 366, 372—375, 386—387, 405, 415, 416, 430—433, 443, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 457—462, 466—470, 474—475, 492, 495—497, 500, 517, 521, 522, 524—527, 533, 534, 536, 548—550
Достоевский Андрей Федорович 141, 296
Достоевский Михаил Андреевич 297, 302, 323, 324, 349, 358—360, 362, 363, 368
Достоевский Михаил Михайлович 6, 7, 12—15, 23, 33—38, 47, 53, 55, 67, 115, 118, 138, 149, 200, 201, 215, 225, 234, 284, 286, 288, 299, 302, 303, 307, 322—325, 327—329, 331, 349, 351—353, 357—360, 362—364, 366—372, 374—379, 381, 383, 384, 386, 387, 389, 390, 392, 394—399, 405, 415, 419, 430, 432, 439, 548, 553, 567, 576, 577, 580, 582, 587, 591—593, 596, 597, 684, 741, 742, 755
Достоевский Михаил Михайлович (племянник) 263, 290, 430, 432, 439, 457
Достоевский Николай Михайлович 241, 289, 349, 352, 357, 364, 373, 375, 386—

387, 393, 405, 412, 430—432, 435, 437—439, 442—444, 451, 456—459, 462, 464, 465, 468—470, 480, 482, 483. 489, 516, 521, 525
Достоевский Федор Михайлович (племянник) 214, 225, 227, 261, 287, 386, 387, 430, 432, 459, 462, 464, 593
Достоевский Федор Федорович 77, 140, 239, 253. 291, 295, 296, 305, 307, 308, 310, 312, 335. 336, 357, 419 425, 443, 456, 464, 480, 500, 534, 535, 540, 541, 552, 558, 559
Достоевский Федор Федорович (внук) 140, 141, 296
Достоевские 151, 296—298, 302, 307, 326, 351, 353, 363, 365, 369, 383, 397, 415, 436, 446, 465, 470, 489, 517, 521, 525, 593
Достоевские, семья М. М. Достоевского 138, 163, 187, 194, 197, 215, 234, 237, 268, 284, 285, 287—289, 303, 354, 377, 383, 386, 397, 398. 404, 405, 415
Дрентельн Александр Романович 474
Дризен Николай Васильевич 755
Дружинин Александр Васильевич 567, 573, 577
Дубовиков Алексей Николаевич 728
Дубровин Владимир Александрович 617, 620
Дубровин, книгопродавец 447
Дудкин Виктор Викторович 8, 659
Дуня, служанка Достоевских 334
Дуров Сергей Федорович 89—90, 549, 550
Дювель Вольф 727, 739
Дюллен Шарль 747, 757
Дюма Александр, отец 192, 394
Дюр Николай Осипович 329
Дюрренматт Фридрих 758
Дягилев Сергей Павлович 748

Евгения Максимилиановна, принцесса Ольденбургская 137, 151
Евгеньев-Максимов Вячеслав Евгеньевич 288, 390, 577
Евнин Федор Исаакович 756
Евреинова Анна Михайловна 475, 505, 506, 508
Европеус Александр Иванович 597, 600
Европеус Эмилия Вильямовна 597
Егоров Борис Федорович 379, 580
Екатерина II 103, 105, 113, 462
Екатерина Иоанновна, царевна, дочь Иоанна V 377
Елагин Николай Павлович 349, 363, 364
Елизавета Маврикиевна, в. к. 142
Елисеев Григорий Захарович 379
Емельянов, купец 527
Ермак Тимофеевич 106, 113
Ермилов Владимир Владимирович 40, 47
Есеньская Милена 710, 737
Есипов Григорий Васильевич 610, 619

Жаворонков Андрей Захарович 117, 605
Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) 726, 738
Жданов Владимир Александрович 150
Жданов Семен Романович 16, 41
Жегин Николай Тимофеевич 150
Желтов И., книгопродавец 349, 357, 413
Желябов Андрей Иванович 556, 557, 619, 620
Жемье Фирмен 748
Живарев 515
Жид Андре Поль Гийом 745—747, 750, 754, 757, 759
Жильберт Жан 754
Жинисти Поль 744, 745, 757
Жиркевич Александр Владимирович 309, 310, 314
Житецкий Игнат Павлович 357, 5—546
Житецкий Павел Игнатович 3549, 357, 545—546
Житомирская Сарра Владимировна 6, 155
Жихарева Елизавета Тимофеевна 575
Жолиссен, адвокат 285
Жуковский Василий Андреевич 120, 141, 150

Загоскин Михаил Николаевич 335, 385
Загребаев, чиновник 596
Загуляев Михаил Андреевич 471, 472, 573
Заичневский Петр Григорьевич 43—45, 47
Зайдман Моисей Борисович 732
Зайончковский Петр Андреевич 151
Зайцев Варфоломей Александрович 487
Зайчик Роберт 675—677, 732
Замотин Иван Иванович 731
Занд Жорж — см. Санд Жорж
Зандфос Франц 668, 729—731, 734
Засецкая (рожд. Давыдова) Юлия Денисовна 349, 474, 536
Заславский Давид Осипович 738
Засулич Вера Ивановна 64, 486
Заурядный читатель — см. Скабичевский А. М.
Зегерс Анна 724, 727, 738, 739
Зеленский Михаил Самойлович 309, 314
Земацкий И. К., студент 349, 445, 446
Зервес Франц 697, 735
Зергель Альберт 705, 706, 735, 736
Зилоти (рожд. Третьякова) Вера Павловна 149
Зильберштейн Илья Самойлович 6—8, 114, 149, 150, 152, 315, 317, 332, 403, 411, 539, 567, 604, 758
Зиммель Георг 701
Зокель Вальтер Х. 702, 705, 735, 736
Золотарев Иван Федорович 349, 467, 500
Золя Эмиль 80, 81, 150, 355, 471, 497, 664—666, 674, 682, 683
Зотов Владимир Рафаилович 349, 394, 399, 448, 729
Зуров Александр Елпидифорович 349, 357, 475

Ибсен Генрик 665, 671, 720, 743, 744, 748
Иван III 87, 410
Иванов Александр Александрович 349, 417, 418
Иванов Александр Павлович 208, 213, 241, 251, 276, 287, 289, 370, 404, 405, 432, 433
Иванов Вячеслав Иванович 744, 756
Иванов Константин Павлович 289
Иванов Михаил Павлович 341, 346
Иванов, владелец кондитерской 176

Иванова Александра Ивановна 217, 218, 264, 265, 267, 288
Иванова Вера Михайловна — см. Достоевская В. М.
Иванова Елена Павловна 234, 243, 250, 289
Иванова Мария Александровна 234, 289, 290, 404, 405, 546
Иванова (по мужу Хмырова) Софья Александровна 161, 166, 203, 213, 234, 240, 241, 243, 249—251, 283, 285, 287, 289—291, 404, 405, 415, 416, 426, 546
Иванова Юлия Александровна 234, 289
Ивановы, семья В. М. Ивановой 207, 287, 370, 546
Ивановская (по мужу Волошенко) Прасковья Семеновна 637, 638, 642
Иванчина-Писарева Мария Сергеевна — см. Бердникова М. С.
Иваньо Иван Васильевич 6, 101
Игнатова Наталья Ильинишна 148
Игнатьев Павел Николаевич 20, 44
Измайлов Александр Алексеевич 158, 166
Изуматова, домовладелица 328
Ильинский, певец 492
Иммерман Карл 330
Иоанн Печерский 93
Иогансон Христиан Петрович 328
Ионеско Эжен 749, 751
Исаев Александр Иванович 208, 287, 375
Исаев Иван Исаевич 606—611, 618
Исаев Павел Александрович 160, 161, 163, 174, 194, 196, 205, 213, 220, 221, 226, 227, 233, 236, 238, 243—245, 255, 284, 289, 375, 404, 408—410, 416, 462, 524
Исаева Мария Дмитриевна — см. Достоевская М. Д.
Исаков Яков Алексеевич 334
Исидор (Яков Сергеевич Никольский), митрополит 607, 608, 610, 618
Ислявин Константин Александрович 357, 510
Ишимова Александра Осиповна 448

Йордан Ян Петр 659
Йост Ганс 705

К — ель А.— см. Кугель А. Р.
Кавелин Константин Дмитриевич 29, 44—46, 60, 349, 486, 520, 521, 523, 524
Казанские, родственники Достоевского 430, 433, 459
Казимир III, Великий 477
Каирова 447
Кайзерлинг Герман 711, 712
Кайнц Йозеф 672
Калачев Николай Васильевич 506, 508
Калиновский Д. И., издатель 377
Каляев Иван Платонович 751
Каменская Мария Даниловна 502, 506, 507
Кампман Теодорих 668, 677, 692, 721, 730, 732, 734, 736, 737
Камю Альбер 736, 741, 744—746, 750—752, 754, 755, 758, 759
Кан Гюстав 744, 757
Канделье Франсуа 754, 759
Кант Иммануил 73, 686
Капелюш Белла Наумовна 117
Каппен Р. 726, 738
Каразин Николай Николаевич 339, 345, 461, 536
Каракозов Дмитрий Владимирович 588, 593
Карамзин Владимир Николаевич 504
Карамзин Николай Михайлович 120, 130
Каратыгин Василий Андреевич 329
Каратыгин Петр Андреевич 329
Карепин Александр Петрович 465
Карепин Петр Андреевич 118, 297, 307, 349, 364—366, 368, 369, 373, 374
Карепина Варвара Михайловна — см. Достоевская В. М.
Карл Эммануил, герцог Савойский 162, 277, 290
Карлос (дон Карлос), принц испанский 324, 328, 331
Карнаухова Мария Григорьевна 383
Каролина (Амалия Елизавета), англ. королева 588
Карташев Дмитрий В. 77
Карташевская Мария Григорьевна 23, 24, 26, 33, 44, 45, 47
Карташевские 24, 26, 44
Карчевская Серафима Васильевна — см. Павлова С. В.
Кассирер Пауль 696
Катков Михаил Никифорович 18, 43, 45, 121, 129, 130, 148, 152, 205, 206, 208, 254, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 276, 282, 284, 287, 355, 380, 388—390, 423, 473, 485, 486, 488, 508—510, 514, 520, 532, 534—535, 568, 569, 582, 635, 638
Каус Отто 720—722, 726, 737
Каутман Франтишек 117
Каутский Карл 737
Кауфман Уолтер 736
Кафка Франц 709—711, 732, 736, 737, 758
Каченовский Владимир Михайлович 117, 349, 519, 551
Каченовский Михаил Трофимович 519
Каченовские 519, 551
Кашин Александр Петрович 241, 289
Кашина Ольга Алексеевна 241, 289
Кашпирев Василий Владимирович 415, 417, 436, 552
Кашпирева Софья Сергеевна 349, 532, 552, 559
Квятковский Александр Александрович 138
Келлер Готфрид 712
Кельсиев Василий Иванович 41
Кельсиев Иван Иванович 16
Кеменов Владимир Семенович 118, 148
Кессель Николь 752
Кестениг, владелица танцклассов 329
Кехрибарджи Платон Евгеньевич 447
Кибардина Екатерина Сергеевна 291
Килгур Бейард Л. 141, 142
Кингсли Чарлз 719
Киреев (псевд. А. К.) Александр Алексеевич 295, 349, 357, 463, 475, 490, 495, 498, 499, 510, 515, 534, 535, 538, 602, 605
Киреев Николай Алексеевич 555, 556
Киреевский Иван Васильевич 401, 402, 569
Киркегард Серен — см. Кирьегор С.
Киркьегор Серен 710, 727, 732, 737, 752

Кирпотин Валерий Яковлевич 631, 642
Кирхбах Вольфганг 671
Кистер Карл Карлович 339, 345
Китаев Федор Николаевич 349, 441, 490—492
Киш Эгон Эрвин 709
Клавдия, дочь служанки Достоевского 243
Кларти Жюль 123, 149
Клебек, певица 492
Клевенский Митрофан Михайлович 22
Клейст Генрих 710
Клеман Михаил Карлович 314
Климентова-Муромцева Мария Николаевна 357, 502, 503, 508
Клопшток Фридрих Готлиб 323
Клюшников Виктор Петрович 428, 429
Клюшников Иван Петрович 401, 403
Кноп Г., переводчик 293
Княжнин (Ивойлов) Владимир Николаевич 577—579
Князев Валериан Валерианович 453
Князев Георгий Алексеевич 151
Ковалевский Егор Петрович 11, 45, 46, 576, 618
Ковалевский Максим Максимович 512, 513
Ковалевский (псевд. П. К.) Павел Михайлович 122, 149, 596
Коврейн 413
Коган Галина Фридмановна 5, 7, 8, 11, 48, 132, 322, 581, 761
Кожанчиков Дмитрий Ефимович 115, 147
Козлов Павел Алексеевич 433
Козмин Николай Кирович 151
Козочкина Алла Михайловна 135
Козьмин Борис Павлович 16, 22, 33—36, 38, 43—45, 47, 592
Кокорев, домовладелец 395, 396
Колли, владелец конторы 535
Колошин Сергей Павлович 349, 357, 395, 397
Кольцов Алексей Васильевич 120, 450
Колюпанов Нил Петрович 577
Комаров Юрий Егорович (?) 208, 287
Комаров, подполковник 590
Комарович Василий Леонидович 5, 38, 47, 59, 67, 115, 116, 148, 737
Комаровская Анна Егоровна 136, 151, 349, 357, 538
Комманвиль Каролина 142, 143, 152
Кондаков Никодим Павлович 596
Кондаков Сергей Никодимович 345
Кони Анатолий Федорович 477, 601, 605
Кононов, владелец зала 345
Конрад Михаэль Георг 671
Конради Герман 667—669, 671, 678, 730, 731
Констант Варвара Дмитриевна 208, 287
Констант Лидия Дмитриевна 208
Констант Софья Дмитриевна 208, 287
Константин Константинович, в. к. (псевдоним К. Р.) 134—138, 150, 151, 306, 308, 335, 336, 538
Константин Николаевич, в. к. 46, 137, 142, 475, 538, 602
Коншина Елизавета Николаевна 6, 97, 148
Коперник Николай 646
Копо Жак 741, 745—748, 750—752, 755, 757, 758
Коппель Эрнст 672, 718, 731
Кораблев Василий Николаевич 734
Корвин-Круковская (по мужу Жаклар) Анна Васильевна 234, 262, 289
Корейша Иван Яковлевич 402, 404
Корженевский 624
Корнель Пьер 741, 755
Корнилов Иван Петрович 554, 556
Корнилов Степан 88—91
Корнилова Екатерина Прокофьевна 88—91, 467
Корнфельд Пауль 705, 709
Короленко Владимир Галактионович 8, 621—656
Короленко (рожд. Ивановская) Евдокия Семеновна 624, 626
Короленко (рожд. Скуревич) Эвелина Иосифовна 624
Короленко, семья 624
Корсини (по мужу Висковатова) Екатерина Иеронимовна 581, 590
Корш Евгений Валентинович 432, 439, 455, 457, 459
Корякин Михаил Михайлович 316
Косица — см. Страхов Н. Н.
Костелянец Борис Осипович 580
Костомаров Всеволод Дмитриевич 592
Костомаров Коронад Филиппович 358—360
Костомаров Николай Иванович 349, 522, 523
Кохановская (Соханская) Надежда Степановна 435
Кошелев Александр Иванович 505, 508, 515, 516, 518, 567, 577
Кошлаков Дмитрий Иванович 146, 312, 314, 529
Кошмаковы 457
Краевский Андрей Александрович 46, 117, 273, 290, 308, 377, 378, 390, 407—408, 427, 436, 437, 493, 538, 539, 568, 578
Крамской Иван Николаевич 118, 121, 123, 124, 128, 148—150, 339, 345, 534, 536, 594, 596, 600
Кранихфельд А. 349, 480, 481
Кранихфельд, семья 482, 483
Кранц Гисберт 726, 727, 738
Красовский Юрий Александрович 117
Крафт-Эбинг Рихард 490
Кремпьен Герберт 727, 739
Крестовский Всеволод Владимирович 48, 377, 397, 398, 417, 418, 423, 444, 451, 542, 573, 592, 614
Крецер Макс 671
Кривцов В. Г., плац-майор 549, 550
Кример Уильям Рендал 285
Кримсель, ростовщик 210, 211, 276—278, 280
Кронеберг (Кроненберг) Станислав 445, 446, 448
Кроненберг Мария 445, 446
Кронин Б. 638, 642
Кронрод Ирина Александровна 8, 641, 643
Кропоткин Петр Алексеевич 16, 18, 41, 43, 47, 48
Круковская Л. Я. 345, 641
Круэ Жан 741, 745, 746, 748, 757

Кубиков (Дементьев) Иван Николаевич 621, 640
Кубин А., художник 679
Кугель (псевд. А. К — ель) Александр Рафаилович 757
Кузнецов Петр Григорьевич 7, 332—336
Кузнецова 316
Куманин Александр Алексеевич 349, 353, 363, 364, 374, 392, 459, 494
Куманина (рожд. Нечаева) Александра Федоровна 146, 234, 294, 298, 299, 307, 353, 363, 373, 374, 415, 416, 432, 433, 436, 437, 439, 455, 458, 459, 517
Куник Арист Аристович 29
Кунст Вильгельм 329
Купер Фенимор 163, 198, 199, 202
Курбский Андрей Михайлович 106, 113
Куросава Акиро 752
Курочкин Василий Степанович 349, 388, 389, 391, 392, 435, 461, 508, 581, 586
Курочкин Николай Степанович 435
Кусков Платон Александрович 573
Кутузов Михаил Илларионович 487
Кушелев-Безбородко Григорий Александрович 401, 403, 568, 569, 577—579
Кущевский (псевд. Новый критик) Иван Афанасьевич 84, 85

Лаверецкий Николай Акимович 537
Лаврин Янко 732
Лавров Вукол Михайлович 357, 524
Лавров Петр Лаврович 379, 617, 620
Лавровская Елизавета Андреевна — см. Цертелева Е. А.
Ладыженский, домовладелец 413
Лажечников Иван Иванович 120, 385
Лазарева Татьяна Михайловна 136, 137
Лакшин Владимир Яковлевич 318
Лалетин, генерал 198, 287
Лалетины 198, 199
Ламанский Владимир Иванович 44, 46, 349, 417, 418
Ламанский Евгений Иванович 417, 418
Ламартин Альфонс Мари Луи 329
Ланге Самуэль Готгольд 330
Ланген Альберт 710
Ландсберг Ханс 680, 732
Лане Соня 725, 738
Ланский Леонид Рафаилович 7, 117, 118, 149, 151, 286, 349
Ланской Сергей Степанович 23, 28, 33, 45
Лансон Гюстав 743, 744, 756
Лассаль Фердинанд 487
Лаут Рейнхард 727, 738
Лафарг Поль 718, 757
Лебедев Евгений Алексеевич 649
Лебедев Кастор Никифорович 20, 44
Лебедев (псевд. Морской) Николай Константинович 349, 357, 510, 511, 526
Лебрен Виктор 142
Левальд-Стар Фанни 285
Леве Лилла (Юлия Софья Кунст) 329
Леве Фердинанд 659, 728
Ледаков (псевд. А. Л.) Антон Захарович 123, 149
Ледрю-Роллен Александр Огюст 24
Леже Луи 504, 508
Лейкин Николай Александрович 606
Лейкина-Свирская Вера Романовна 151
Леметр Жюль 745, 757
Лемке Михаил Константинович 16, 22—24, 34—36, 38, 43, 47, 379, 599
Лемох Кирилл (Карл) Викентьевич 341, 345
Ленау Николай (Николай Нибш фон Штремнау) 330
Ленин Владимир Ильич 19, 44, 118, 148, 684, 685
Ленорман Анри Рене 748, 751
Ленорман Мария Анна 69, 73
Леонтьев (псевд. Щеглов) Иван Леонтьевич 539
Леонтьев Константин Николаевич 349, 353, 356, 471, 473, 483, 484, 514, 530, 612, 613
Леонтьев Павел Михайлович 43
Лерминье Жорж 752
Лермонтов Геннадий 605
Лермонтов Михаил Юрьевич 88, 90, 91, 94, 96, 120, 142, 269, 450, 486, 488, 542, 625, 626, 681
Леру Юге 744, 745, 757
Лерхе Эдуард Васильевич 601, 602, 605
Лесков Андрей Николаевич 606, 618, 619
Лесков (псевд. М. Стебницкий) Николай Семенович 8, 45, 129, 131, 150, 379, 380, 408, 419, 420, 423, 435, 444, 451—453, 606—620
Лессинг Карл Фридрих 627, 717
Лешков Василий Николаевич 539, 540
Лжедмитрий II 617
Либкнехт Вильгельм 718, 719
Либкнехт Карл 718, 722—724, 737
Либрович Сигизмунд Феликсович 665, 729
Ливчак Иосиф Николаевич 463, 464
Лидин Владимир Германович 123
Лилина (рожд. Перевощикова; по мужу Алексеева) Мария Петровна 553
Линген М. 662, 728
Линтон Элизабет Линн 441
Линч Чарлз 644
Липперт Роберт 660, 728
Липранди Иван Петрович 19, 26, 604
Лист Ференц 150, 329
Лихачев Николай Петрович 117
Лихтенбергер Иоанн 60—62, 71
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович 601
Лобода (рожд. Пашковская; псевд. Крапивина) Стефания Матвеевна 131, 132
Ловчинский Иван Яковлевич 551
Лонгинов Михаил Николаевич 395, 396, 579
Лоран Поль 490
Лоренц Х. Макс 663, 729
Лорис-Меликов Михаил Тариелович 138, 496, 535
Лохвицкий Александр Владимирович 357, 385, 457—461, 466
Луиза Ульрика, швед. королева 68, 72
Лука Эмиль 692, 711, 734, 737
Луначарский Анатолий Васильевич 148, 622, 629, 640, 700, 706, 735, 736, 738, 747, 748, 757, 758
Лухманова (рожд. Байкова) Надежда Александровна 635, 642
Львов Владимир Владимирович 453
Львов Федор Николаевич 139, 151, 550
Любимов Дмитрий Николаевич 129, 150
Любимов Лев Дмитриевич 150, 419

Любимов Николай Алексеевич 115, 118, 129—131, 146, 150, 152, 349, 419, 420, 499, 533, 602
Люблинский Самуэль 728
Люксембург Роза 722—724, 737
Люстих (Люстиг) Вильгельм Осипович 466—468
Лютер Артур 725, 738
Ляпунова Анастасия Сергеевна 345
Ляцкий Евгений Александрович 577

М. А.— см. Марков Алексис
Мавроди, надворный советник 604
Мадзини Джузеппе — см. Маццини Д.
Мазон Андре 142
Мазур Тамара Павловна 536
Майков Аполлон Александрович 12
Майков Аполлон Аполлонович 482
Майков Аполлон Николаевич 115, 118, 120, 121, 129, 130, 148, 150, 160—162, 164, 166, 181, 182, 184, 187, 193, 205, 213, 214, 225, 226, 235, 236, 240, 241, 243, 244, 258, 263, 265, 283—292, 314, 349, 352, 353, 376, 377, 393, 397—399, 401, 406, 407, 409—413, 415—418, 420, 421, 428, 430, 433, 435, 441, 467, 468, 482, 483, 485, 486, 494, 508, 509, 528, 532, 536, 548, 559, 567, 572, 573, 577, 579, 599, 715
Майков Валериан Николаевич 659, 660
Майков Леонид Николаевич 536
Майков Николай Аполлонович 508
Майкова Анна Ивановна 235, 289, 349, 393, 397, 398, 408, 416, 417, 421, 482, 483, 485, 486, 508, 532, 559
Майковы 408, 416, 482, 508
Мак-Магон (герцог Мажента) Эдм Патрис Морис 446
Маков Лев Саввич 601—603
Маковский Владимир Егорович 144
Маколей Томас Бабингтон 383
Максимилиан, герцог Лейхтенбергский 151
Максимов Сергей Васильевич 461, 462, 502, 503, 507, 508
Максимов С. 141
Максимович Михаил Александрович 579
Малковски Адальберт 672
Мальро Андре 745, 750
Малявко, пианистка 492
Мамонтов Савва Иванович 149
Мамонтова (рожд. Сапожникова) Елизавета Григорьевна 128, 149
Мамонтова Мария Николаевна 126, 149
Манделькерн Соломон 672, 731
Манн Генрих 707
Манн Томас 678—681, 727, 729, 732, 733, 738
Манц Поль 123
Марат Жан Поль 142
Маргольц Вильгельм 725, 738
Мария Александровна, имп. 489, 502
Мария Николаевна, в. к. 151
Мария Федоровна, имп., жена Александра III 137, 151, 296, 306—308
Мария Стюарт 299, 322, 328, 329, 365, 366, 368, 742
Маркевич Андрей Николаевич 24, 45
Маркевич Болеслав Михайлович 291, 349, 356, 423, 435, 471, 510, 514, 614
Марков Алексис 660, 728 (?), 740
Марков (псевд. В. М.) Василий Васильевич 84, 444
Марков Евгений Львович 471, 484
Маркс Адольф Федорович 428, 429, 510, 511
Маркс Карл 142, 162, 678, 719, 737
Марриэт Фредерик 329
Мартен Жан 752
Мартынов Александр Евстафьевич 58, 329
Мартынов, управляющий магазином 334
Мартьянов Петр Кузьмич 441, 538, 550
Марцынкевич, владелец танцклассов 329
Марчик Анатолий Платонович 579, 580
Масанов Иван Филиппович 389
Масленников К. И. 90
Матрена, кухарка Достоевских 334
Маццини (Мадзини) Джузеппе 22
Мезенцев Николай Владимирович 93, 597, 598, 600, 601, 607, 608, 618
Мей Лев Александрович 397, 398, 573, 578, 729
Мейер Антонин 89
Мейер Й. 726, 738
Мейер Конрад Фердинанд 665, 666
Мейер-Грефе Юлиус 725, 726, 738
Мейерхольд Всеволод Эмильевич 747, 755
Мейзенбуг фон Мальвида Амалия 285, 681
Мейлах Борис Соломонович 166
Мекк фон (рожд. Флоровская) Надежда Филаретовна 135, 150
Меллер ван ден Брук Артур 696—698, 735
Мельгунов Николай Александрович 349, 370
Мельгунов Сергей Петрович 577
Мельников Иван Александрович 339, 345, 502, 507
Мельников (псевд. Андрей Печерский) Павел Иванович 118, 317
Менгден, домовладелец 308
Менделеев Дмитрий Иванович 60, 67, 73, 166, 451, 461, 462
Меншуткин Николай Александрович 454
Меньшиков Михаил Осипович 614
Мережковский Дмитрий Сергеевич 679, 681, 695—698, 732, 735, 744, 745, 757
Меринг Франц 716—718, 737
Мертен Лу 724
Мерц Иван Александрович 173 (?), 284
Метерлинк Морис 756
Мещерина Ильза Ивановна 475
Мещерский Владимир Петрович 131—133, 148, 349, 420, 421, 424, 426, 429, 430, 435, 467, 599, 604, 625, 635, 638
Микеланджело 355, 487, 488
Микешин Михаил Осипович 461, 462
Микулич В. (Лидия Ивановна Веселитская) 295
Миллер Орест Федорович 7, 83, 310, 322, 324, 334, 335, 340, 349, 355, 357, 399, 436, 437, 486—489, 493, 498, 499, 509, 511—515, 518, 520, 521, 527—529, 532, 533, 536, 548, 552, 553, 559, 589, 689
Миллер Федор Богданович 539, 540
Милюков Александр Петрович 29, 164, 244, 268, 272, 283, 288, 289, 349. 377—

379, 381, 394, 398—400, 568, 578, 592
Милюкова Людмила Александровна 241, 289
Милюкова Ольга Александровна 168, 241, 283, 289
Милютин Дмитрий Алексеевич 20
Милютин Николай Алексеевич 20, 44—46, 414
Милютина (рожд. Абаза) Мария Аггеевна 46, 414
Милютина (?) Мария Алексеевна 414
Минаев Дмитрий Дмитриевич 389, 508, 600
Минден Генрих 671, 672, 739, 740
Минин Козьма (Кузьма Минич Захаров-Сухорук) 401
Мирский Леон Филиппович 474
Михаил Николаевич, в. к. 20, 142
Михаил Павлович, в. к. 359
Михайлов Михаил Илларионович (Ларионович) 20, 581, 584, 590, 597
Михайлов Тимофей 556, 557, 619, 620
Михайлова Анна Николаевна 288
Михайловский Николай Константинович 66, 67, 494, 536, 627, 630, 757
Михневич Владимир Осипович 437
Мицкевич Адам 115, 331
Мишле Жюль 305, 308, 584, 656
Млодецкий Ипполит Осипович (Иосифович) 6, 134, 137—139, 151, 496
Могилянский Александр Петрович 379
Модзалевский Борис Львович 129, 150, 577, 579
Моклер Жак 752, 758
Мокрицкий Аполлон Николаевич 393, 394
Мольер (Поклен) Жан Батист 741—743
Момбелли Николай Александрович 550
Монтескье Шарль 142
Монтиньи 330
Монументов Владимир — см. Буренин В. П.
Моншеров 495
Мопассан Ги де 150
Мордовцев Даниил Лукич 349, 461, 462, 536
Мориак Франсуа 745
Морозов Александр Яковлевич 339, 345
Морозов, торговец 219
Морозова Татьяна Григорьевна 8, 621
Моруа Андре (Эмиль Герцог) 142
Москвин Иван Михайлович 557
Мотылева Тамара Лазаревна 738
Моцарт Вольфганг Амедей 545
Мочалов Павел Степанович 55, 401
Мочульский Константин Васильевич 750, 756
Мстислав Удалой 106, 113
Муравьев (Амурский) Николай Николаевич 550, 551
Муравьев-Апостол Матвей Иванович 349, 481, 485, 540
Муравьева-Апостол (рожд. Бракман) Жозефина Адамовна 314
Мусоргский Модест Петрович 345
Мусселиус, подполковник 327, 549
Муханов Николай Алексеевич 574
Мухартова Александра Николаевна 136
Мушг Вальтер 705, 736
Мюллер Йозеф 675, 692, 734
Мясоедов Григорий Григорьевич 593, 594

Навроцкий (псевд. Н А. Вроцкий) Александр Александрович 471, 493
Назаревский Александр Адрианович 564
Назимова 523
Наполеон I Бонапарт 170, 283, 684, 727, 750
Наполеон III 162
Наталья Ивановна, служанка Н. М. Достоевского 438, 439
Наторп Пауль 706, 707, 725, 736
Неведомский Александр Николаевич 349, 395, 396
Нейман Адольф 57
Неккер Мориц 666, 674, 730, 731
Некрасов (псевд. Н. Некрасов) Иван Степанович 381, 382
Некрасов Николай Алексеевич 6, 82, 84, 91—96, 101, 118, 120, 122, 148, 164, 225, 288, 299, 301, 307, 308, 345, 377, 435, 436, 441 445, 470, 473, 477, 487, 536, 555, 577, 581, 584, 588, 622, 625, 641, 647, 648, 652, 694, 702, 710
Некрасова Екатерина Степановна 349, 441, 444, 490—492, 501, 517
Некрасова Мария Степановна 441
Нелидова (Маклакова) Лидия Филипповна 515
Немирович-Данченко (псевд. В. Н.-Д.) Василий Иванович 433, 542, 543, 741, 744, 755, 756
Ненастьев, солдатский сын 29
Нетцель Карл 692, 707, 734, 736
Неупокоев Владимир Александрович 271
Неупокоева Александра Павловна 261, 271—273, 290
Нечаев Федор Тимофеевич 294
Нечаева Вера Степановна 55, 78, 115, 141, 149—151, 159, 166, 324, 359, 362, 363, 567, 577, 580, 593, 599, 604, 605, 737
Нечаева (рожд. Антипова) Ольга Яковлевна 294, 386, 387
Нечепорук Е. И. 695, 735
Нечкина Милица Васильевна 18, 44, 590
Нигг Вальтер 727, 738
Никитенко Александр Васильевич 23, 45, 47
Никитин Иван Саввич 380, 542
Никитин Сергей Васильевич 136
Никифорова Мария Васильевна 77, 240, 241, 289
Николадзе Николай Яковлевич 485, 486, 592
Николаев Петр Петрович 143, 152
Николай I 18, 33, 44, 91, 134, 151, 359, 374, 375, 452, 462
Николай II 138, 141
Николай Николаевич, старший, в. к. 465
Ницше Фридрих 663, 678—688, 690, 693, 698, 701, 704, 705, 710, 712, 714, 726, 727, 732—734, 737, 738, 757
Новалис (Фридрих Гарденберг) 688
Новикова (рожд. Киреева) Ольга Алексеевна 123, 294, 349, 357, 473, 475, 505, 508, 510
Новицкий Алексей Петрович (?) 496

Новый критик — см. Кущевский И. А.
Нозьер де (Фернанд Вейль) 748, 749
Нойфельд Йолан 726, 738
Ньютон Исаак 142

Оболенская Варвара Дмитриевна 755
Оболенский Владимир Владимирович 456
Обручева Мария Александровна 581
Овербек Франц 681
Овидий 507
Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич 635
Огарев Николай Платонович 18, 92, 165, 176, 180, 227, 232, 235, 238—240, 246, 275—277, 283—285, 287, 290, 401—403, 441, 598, 600
Оджер Джордж 285
Одоевский Владимир Федорович 41, 142, 300, 574—576, 580, 659, 660
Озмидов Николай Лукич 349, 547
Оксман Юлиан Григорьевич 67, 115, 151, 598, 599, 604
Оле-Буль — см. Буль О. Б.
Оленина (по мужу Андро) Анна Алексеевна 142
Ольга Константиновна, в. к. 137, 151
Ольга Николаевна, в. к. 142
Ольденбургский принц — см. Петр Георгиевич, принц Ольденбургский
Ольхин Павел Матвеевич 159, 173, 217, 218, 220—223, 227, 228, 233, 264, 272, 284
Ольхины 173, 264
Оникс — см. Петерсен В. К.
Ордынский Борис Иванович 569
Орленев (Орлов) Павел Николаевич 744, 745, 747, 757
Орлов Серж 753
Орлова Александра Анатольевна 345
Орсини Феличе 24
Осецкий Карл 725
Осинин Иван Терентьевич 318, 498, 499
Основский Нил Александрович 27
Осокин Николай Алексеевич 394
Островский Александр Николаевич 6, 55, 56, 58, 118, 120, 129, 338, 384, 395, 396, 401, 404, 435, 449, 450, 502, 508, 579
Острогорский Виктор Петрович 458, 582, 590
Отверженный Н.— см. Булычев Н. Г.
Отрепьев Григорий 593, 594, 634

П. К.— см. Ковалевский П. М.
П — в — см. Петров П. Н.
Павел Александрович, в. к. 142
Павленков Леонид Николаевич 349, 542, 543, 554—556
Павленковы 542
Павлов Иван Петрович 316, 317
Павлов Николай Филиппович 370, 403
Павлова Нина Сергеевна 700
Павлова (рожд. Карчевская) Серафима Васильевна 316—318
Павлова, владелица театрально-концертного зала 339, 345
Палкин, владелец ресторана 461
Панаев Иван Иванович 47, 308, 379, 579, 659
Панаева (рожд. Григорьева-Брянская; во 2-м браке Головачева) Авдотья Яковлевна 308
Панин Виктор Никитич 26
Панина Марфа Петровна — см. Хлебникова Е. А.
Панкратьев П. К. 605
Панов Михаил Михайлович фронтиспис, 149
Пантелеев Григорий Фомич 115
Пантелеев Лонгин Федорович 18, 23, 40, 43—45, 47, 383, 437, 586, 589, 590, 592
Пантелеев Петр Фомич 335, 440
Пассек Вадим Васильевич 464
Пассек (рожд. Кучина) Татьяна Петровна 464
Паткуль Александр Владимирович 44
Патон Оскар Петрович 331
Пеги Шарль 745
Переверзев Валерьян Федорович 622, 640
Переселенков Степан Александрович 59, 67
Перов Василий Григорьевич 118, 120—124, 148, 149, 449, 450
Перова (рожд. Другакова) Елизавета Егоровна 121
Перовская Софья Львовна 556, 557, 619, 620
Петерсен (псевд. Оникс) Владимир Карлович 349, 544, 545
Петипа Мариус Иванович 339, 345
Петр I 110, 164, 234, 305, 474, 485, 495, 505, 508, 613, 696
Петр III 423
Петр Георгиевич, принц Ольденбургский 318, 498, 499
Петрашевский Михаил Васильевич — см. Буташевич-Петрашевский М. В.
Петров Александр Григорьевич 380
Петров Афанасий Константинович 417
Петров (псевд. П — в) Петр Николаевич 122, 149
Печаткин Вячеслав Петрович 428
Пешкова-Толиверова (Якоби) Александра Николаевна 349, 455, 472
Пий IX, папа 71, 73, 395
Пиксанов Николай Кириакович 621, 640
Пинтус Курт 707, 736
Пипер Рейнхард 696, 698, 706, 711, 721, 726, 737
Пиранделло Луиджи 749, 758
Писарев Дмитрий Иванович 355, 379, 442, 448
Писарева 64, 447, 448
Писаревский Николай Григорьевич 385
Писемский Алексей Феофилактович 11, 120, 129, 265, 385, 389, 390, 401, 403, 473, 502, 504, 526, 539, 554, 555, 614
Писемский Павел Алексеевич 539, 540
Писцова Алина Захаровна 365
Питоев Жорж 748, 758
Платонов (псевд. Ф. Человеков) Андрей Платонович 621—622, 640
Плаутин Николай Федорович 20
Плетнев Петр Александрович 572, 575, 577, 579
Плетнев Ростислав Владимирович 55
Плеханов Георгий Валентинович 718
Плещеев Алексей Николаевич 316, 317, 349, 389, 395, 396, 406, 435, 461, 462, 472, 490, 492, 494, 503, 557, 592, 729
Плотников Павел Иванович 297, 307

Плутарх 355
Плющевский-Плющик (псевд. Дельер) Яков Алексеевич 744, 745
Победоносцев Константин Петрович 87, 102, 115, 151, 307, 308, 335, 336, 349, 357, 435, 489, 534—536
Победоносцева Екатерина Александровна 335
Погодин Михаил Петрович 29, 46, 73, 122, 132, 349, 351, 357, 370, 377, 395, 401, 403, 406—408, 410, 411, 426, 427, 435, 438, 567—574, 578—580
Погорелко Александра Матвеевна 547
Погосский Александр Фомич 435
Покровский Михаил Николаевич 22, 45
Покровский Михаил Павлович 349, 383, 387, 388, 523, 581
Полевой Николай Алексеевич 450
Полевой Петр Николаевич 149, 349, 357, 449, 450
Полетика Василий Аполлонович 461, 462
Полетика (рожд. Обортей) Идалия Григорьевна 142
Поливанов Лев Иванович 500, 502, 503, 508, 513, 538
Поливанова Мария Александровна 349, 538
Полонский (Гусин) Вячеслав Павлович 166
Полонский Яков Петрович 75, 118, 125, 149, 150, 349, 381, 382, 391, 392, 399—404, 417, 418, 444, 461, 462, 472, 477, 493, 494, 496, 498, 504, 508, 518, 553, 554, 568, 569, 578
Поль Жан 472
Польская Е. 324
Поляков Александр Сергеевич 745, 757
Поляков Борис Борисович 349, 432, 438—441, 454, 455, 465, 495
Померанец Григорий Соломонович 6, 82
Померанцев Константин Петрович 593—596
Помяловский Николай Герасимович 391, 442, 622
Попов Александр Николаевич 423, 426
Попов Василий Петрович 30, 46
Попов, присяжный поверенный 468
Порецкий Александр Устинович 398, 399
Порицки Якоб Элиас 671, 673, 731
Порфирьев В. И., художник 311, 531
Поссарт Эрнст 672
Потанин Григорий Николаевич 380, 381
Потапов Александр Львович 600, 602
Потехин Алексей Антипович 316, 342, 346, 381, 492, 493, 502, 503, 506—508, 536
Пошеманская Цецилия Мироновна 6, 152, 155, 159, 160, 165, 166
Прагер Ганс 725, 738
Праксмарер Конрад 725, 738
Прален Шарль Лор, герцог Шуазель 270, 290
Прален, жена герцога 270, 290
Прахов Адриан Викторович 124
Прац Эдуард 585, 588, 593
Пресняков Андрей Корнеевич 138
Прибыткова Варвара Ивановна 349, 463, 464
Прокофьев Сергей Сергеевич 269
Протазанов Яков Александрович 758
Протопопова Екатерина Сергеевна 569
Прудон 584, 586
Прянишников, домовладелец 549
Пугачев Емельян Иванович 102, 103, 105, 113
Пуле де Михаил Федорович 349, 379—382, 543, 554—556
Пульхритудова Елизавета Михайловна 618
Путята Дмитрий Васильевич 575, 576
Путятин Ефим Васильевич 19, 20, 44
Пуцыкович Виктор Феофилович 115, 117, 456, 483, 511
Пушкин Александр Сергеевич 6, 31, 82, 83, 91, 93—97, 101—113, 115, 121, 124, 125, 127, 128, 139, 141, 142, 149, 150, 262, 290, 294, 295, 317, 322, 329, 330, 345, 350, 351, 356, 377, 382, 417, 421, 436, 442, 450, 453, 494, 495, 500—515, 517—522, 527—530, 532, 540, 542, 544—546, 555, 569, 572, 574, 576, 583, 593, 594, 600, 602, 605, 612, 613, 625, 626, 636, 659, 660, 772, 681, 693, 702, 727, 728, 739, 742, 755
Пфейфер А. А., врач 146, 314
Пшибышевский Станислав 663, 729
Пыпин Александр Николаевич 27, 31, 46, 524

Рабинович Вадим Львович 67
Рабо Жан Поль 92
Радецкий Федор Федорович 465
Радлов Эрнест Леопольдович 67, 151
Раевская Мария Николаевна — см. Волконская М. Н.
Разин Алексей Егорович 349, 392
Разин Е. К., переводчик 696
Раймонден Луиза 167, 168, 172, 174, 178, 184, 185, 188, 190, 201, 202, 205, 209, 214, 229, 230, 232, 237, 245, 248, 249, 256, 257, 261, 265, 266, 271, 274—280, 283
Раймонден Шарлотта 167, 168, 172, 174, 184, 185, 188, 190, 192, 202, 205, 209, 229, 230, 232, 237, 245, 248, 252, 257, 261, 266, 271, 274, 275, 277—280, 283
Рамазанов Николай Александрович 393
Раммельмайер Альфред 677, 732
Раппопорт Маврикий Якимович 574, 578
Расин Жан 741
Ратнер Лилия Николаевна 41
Ратынский Николай Антонович 456
Рафаэль Санти 294
Рахманова Ольга Владимировна 758
Рашель Элиза 14
Редсток Гренвиль Вальдигрев 619
Редько Александр Мефодьевич 622, 640
Редько Евгения Исааковна 622, 640
Реизов Борис Георгиевич 755
Рейнгольд Александр Александрович 662, 666—667, 669, 671—675, 730—732
Рейнус Лев Матвеевич 307
Рейсер Соломон Абрамович 16, 23, 26, 38, 43, 46—48
Рейхардт, владелец танцклассов 329
Рем Вальтер 726, 729, 738
Ремеров Н. И. 349, 543—544
Ренан Эрнст Жозеф 686
Рене Поль 745

Репин Илья Ефимович 118, 144, 148, 150, 336
Решетов Н. А. 324
Ризенкампф Александр Егорович 7, 303, 308, 322—331, 349, 548—550
Рильке (рожд. Вестхоф) Клара 695
Рильке Райнер Мария 693—695, 709, 734, 735
Римский-Корсаков Николай Андреевич 458
Римша Ганс фон 726, 738
Ритчер, офицер 327
Ришард Ш., фотограф 169
Ровинский Павел Аполлонович 349, 436, 437
Рогачев Николай Михайлович 620
Рогов, секретарь Фребелевского об-ва 490
Розанов Василий Васильевич 689, 755
Розенблюм Лия Михайловна 8, 15, 289, 352, 537, 563
Розенблюм Николай Германович 6, 16, 586
Розенгейм Михаил Петрович 573
Роланд, владелец кофейной 183
Роллард Г. 670, 730
Романовы, династия 30, 32, 42, 385, 685
Ромм Михаил Давыдович 116
Ромул Великий 758
Россет Аркадий Осипович 30—33
Россинг Р., художник 687
Ростовцев Михаил Яковлевич 32
Ростопчина (рожд. Сушкова) Евдокия Петровна 504
Ротшильд А., баронесса 283
Ротшильд Джеймс 84, 170
Рубинер Людвиг 701, 704, 735
Рубини Джованни Баттиста 329
Рубинштейн Антон Григорьевич 150
Рубинштейн Ида Львовна 748
Рубинштейн Николай Григорьевич 150, 502, 507
Руджери Руджеро 749
Рудин Александр Александрович 472
Румянцев Иван Иванович 291, 349, 430, 472, 482, 495, 526
Руссо Жан Жак 66, 142, 171, 191, 283, 488, 489, 717
Руше Жак 748, 758
Рыжов Д., художник 313
Рыкачев Владимир Михайлович 461
Рыкачев Михаил Александрович 447, 457, 542
Рыкачева (по мужу Ленина) Александра Михайловна 447
Рыкачева (рожд. Достоевская) Евгения Андреевна 357, 447, 455, 459, 461, 466, 536
Рыкачевы 462, 496, 524
Рылеев Кондратий Федорович 584
Рысаков Николай Иванович 556, 557, 619, 620
Рюккерт Фридрих 330

С — в Вс.— см. Соловьев В. С.
Сабуров Андрей Александрович 138, 502, 508, 535, 548
Савина Мария Гавриловна 136, 144, 341, 475, 477
Савинов Алексей Николаевич 758
Савойский, герцог — см. Карл Эммануил, герцог Савойский
Савонарола Иероним 394
Савостьянов Владимир Константинович 349, 469, 496, 527
Савостьянова Варвара Андреевна — см. Достоевская В. А.
Савуар Альфред 748
Садовников Дмитрий Николаевич 496, 497
Садовский Пров Михайлович 58
Сазанович (Созонович) Августа Павловна 349, 481, 484, 485, 540
Сазонов Николай Федорович 339, 341, 345
Сакулин Павел Никитич 114, 286, 287
Салиас де Турнемир Евгений Андреевич 349, 384, 385, 436, 484, 501
Салиас де Турнемир (рожд. Сухово-Кобылина; псевд. Евгения Тур) Елизавета Васильевна 380—382, 384, 385
Салис-Маршлинс Мета фон 681, 733
Саломон, офицер 479
Салтыков Василий Федорович 377
Салтыков (псевд. Н. Щедрин) Михаил Евграфович 118, 120, 122, 129, 288, 300. 343, 384, 385, 392, 396, 414, 435, 436, 438, 472—475, 494, 554, 591, 617, 633, 639, 643, 718
Салтыкова Прасковья Федоровна 377
Сальери Антонио 545
Самарин Иван Васильевич 502, 506, 507
Самарин Юрий Федорович 30, 33, 46, 118, 576
Самарский-Быховец Владимир Васильевич 457
Самков Владимир Алексеевич 149
Самойлов Василий Васильевич 493
Санд Жорж (Аврора Дюдеван) 81, 142, 163, 214, 232, 244, 246, 270, 283, 287, 366
Сандьер Жюль 752, 758
Саррот (рожд. Черняк) Натали 736
Сарсе Франсиск (Франсуа Сарсе де Сутьер) 745, 757
Сартр Жан Поль 736, 745, 750, 751, 758
Сатин Николай Михайлович 290
Сахар Нора Яковлевна 145
Сахар Яков Фаддеевич 144—146, 152
Сахновский (Сохновский) Александр 617, 620
Сватковская (рожд. Сниткина) Мария Григорьевна 179, 191, 198, 206, 224, 226, 270, 276, 284, 285, 409
Сватковский Павел Григорьевич 224, 285
Сведенборг Эммануил 68, 72, 73, 78
Свербеев Дмитрий Николаевич 31
Светлов Сергей Федорович 343, 346
Светлов Федор Федорович 338, 340, 342, 343, 345
Свиридов Николай 349, 371, 372
Свифт Джонатан 626
Севинье Мари де Рабютен-Шанталь 301, 308
Селиверстов Юрий Иванович 705
Семевский Михаил Иванович 349, 377, 378, 388, 499, 582, 584, 588
Сенкей 490
Сенковский Осип Иванович 384
Сенявина 308

Сервантес де Сааведра Мигель 400, 402, 626, 724
Сергеевич, пианистка 498
Сергей Александрович, в. к. 135—137, 141, 480
Серебряная Нина Зиновьевна 7, 309
Серман Илья Захарович 148
Серно-Соловьевич Николай Александрович 52
Серов Александр Николаевич 573
Серов Валентин Александрович 149
Серова Валентина Семеновна 149
Сеченов Иван Михайлович 60, 61, 451, 582
Сиверс Александр Александрович 577
Симеон, архимандрит 345, 346
Симмонс Джон 117
Скабичевский (псевд. Заурядный читатель) Александр Михайлович 85, 92, 94, 95, 448, 461, 462
Скальковская Анна Аполлоновна 492
Скарская (рожд. Комиссаржевская) Надежда Федоровна 430
Скотт Вальтер 163, 246
Скржимовский, гравер 623
Скриб Эжен 14, 15
Скуратов Дмитрий Петрович 456
Славянский Дмитрий Александрович 461
Слепцов Александр Александрович 40
Слепцов Василий Алексеевич 600, 605
Сливицкий Петр Михайлович 617, 620
Случевский Константин Константинович 150, 402, 403, 548, 579
Смирнов Александр Васильевич 732
Смирнов, присяжный поверенный 432
Смирнова (рожд. Россет) Александра Осиповна 31
Смирнова (рожд. Карепина) Мария Петровна 430, 432
Смирнова, Татьяна Петровна 328
Смитт 331
Смоктуновский Иннокентий Михайлович 643, 649, 757
Сниткин Александр Николаевич 223, 235, 288, 336, 450, 458, 463, 466
Сниткин (псевд. Амос Шишкин) Алексей Павлович 224, 243, 244, 288
Сниткин Григорий Иванович 224, 288
Сниткин Иван Григорьевич 179, 190, 220, 224, 276, 277, 280, 285, 288, 297, 307, 336, 416—418, 456, 462, 464, 489, 524
Сниткин Николай Иванович 284
Сниткина (рожд. Мильтопеус) Анна Николаевна 156, 161, 167, 174, 176, 181, 182, 184, 186, 187, 189, 191—194, 196, 197, 200, 204—206, 209, 218, 219, 222—227, 229, 233, 235—240, 244, 246, 249, 252, 254—258, 260, 261, 264, 267—272, 275—278, 280, 284, 286, 287, 289, 290, 349, 408—410, 416, 417, 464
Сниткина Глафира Николаевна 223, 288
Сниткина Людмила Николаевна 223, 288
Сниткина Мария Николаевна 223, 229, 288
Сниткина Ольга Кирилловна 418, 462, 464—466
Сниткины 156, 165, 176, 223, 225, 226, 229, 232, 234, 235, 284, 288, 289, 408, 466
Соболевский Сергей Александрович 142, 351
Сокальский П. 588
Соколов Николай Васильевич 592
Соколов Н. П., художник 399
Соколов Николай Федорович 136, 151
Соколов Петр Федорович 142
Соколовская К. 420
Сократ 684
Соллер 284
Соллогуб Владимир Александрович 300, 659, 729
Соловьев Владимир Сергеевич 62, 67, 71(?), 151, 294—296, 349, 357, 434, 465, 479, 509, 534
Соловьев Всеволод Сергеевич 349, 353, 421—426, 433, 434, 444, 458(?), 471, 473, 483, 484, 510, 541
Соловьев Дмитрий Николаевич 338, 345
Соловьев И. Г. 286, 413(?)
Соловьев Константин Николаевич 342, 343, 345, 346
Соловьев Николай Иванович 201(?), 287
Соловьев Сергей Михайлович 422, 541, 554, 556, 578
Соловьев-Несмелов Николай Александрович 349, 472, 474, 476—477, 494
Соловьева Анна Федоровна 342, 343, 346
Соловьева Полина Владимировна 62, 353, 421, 422, 433, 434, 541
Соловьева София 509
Соловьева Юлия 509
Соловьевы 422
Соломко, студент-медик 454
Софокл 670, 708, 726
Соханов, художник 594
Спасович Владимир Данилович 29, 445, 446, 461, 462
Спехин И. Н. (Джон Петерсон) 187, 286
Спешнев Николай Александрович 139, 377, 550
Спижарская Надежда Васильевна 737
Спиридов Петр Александрович 246, 289
Спиридонов Василий Спиридонович 578, 579
Ставровская (рожд. Нечаева) Екатерина Федоровна 269, 290
Ставровская (рожд. Голеновская) Мария Николаевна 455
Ставровский Максимилиан Дмитриевич 455
Ставровский Михаил Дмитриевич 432
Ставровский Федор Дмитриевич 432
Ставровские 432, 460, 465, 517, 525
Сталевский Станислав Осипович 324, 328, 330, 331
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич 539, 542, 547, 549, 553, 741, 747, 756
Станюкович Константин Михайлович 349, 441, 461, 462, 498, 600
Станюкович Любовь Николаевна 441, 498
Старчевский Альберт (Адальберт) Викентьевич 568, 578
Стасов (псевд. В. С.) Владимир Васильевич 122, 123, 149, 604
Стасов Дмитрий Васильевич 605
Стасюлевич (рожд. Утина) Любовь Исааковна 423
Стасюлевич Михаил Матвеевич 101, 113, 349, 423, 452, 461, 462, 486, 494, 508, 515, 518, 544, 545, 553

Стебницкий М.— см. Лесков Н. С.
Стежинский 584
Стелловский Федор Тимофеевич 175, 225, 234, 235, 268, 288, 438, 568
Стендаль (Анри Мари Бейль) 683
Степан Иванович, неустановленное лицо 376—377
Степан Маркелыч, слуга Сниткиных 267, 269
Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович 64, 618
Столярова Ирина Владимировна 618
Стопакевич Е. С. 586
Стороженко Николай Ильич 349, 501, 502
Стоюнин Владимир Яковлевич 263, 267, 290, 292
Стоюнина (рожд. Тихменева) Мария Николаевна 230, 246, 262, 267, 270, 289, 290, 292, 349, 414, 415
Стравинский А., гимназист 445, 446
Страхов Николай Николаевич 38, 120, 121, 148, 150, 290, 291, 310, 349, 352, 357, 377—379, 382—384, 387, 388, 392—394, 396, 397, 400—405, 408, 413, 417—421, 428, 430, 434—436, 441, 452—454, 467, 480, 496, 519, 523, 524, 527, 528, 532, 536—538, 548, 552—554, 559—564, 567, 573, 581, 587, 589—591, 593, 672, 689
Страхов Павел Николаевич 349, 352, 392—394, 396, 434
Страхов Петр Николаевич 379, 397
Страховы 421
Стрельская Варвара Васильевна 144
Студинский, домовладелец 443
Суворин (псевд. Незнакомец) Алексей Сергеевич 92, 94, 95, 128, 308, 349, 357, 366, 379—382, 423, 428, 429, 451, 452, 486, 500, 509—511, 518, 526, 535, 544, 546, 547, 550, 606, 613, 615, 616, 620, 742, 755
Суворов Александр Аркадьевич 27, 28, 31, 40—42, 47, 597, 598, 604
Сулье Мелькиор Фредерик 15, 329
Сунгуров Капитон Корнилович 7, 582—588, 590, 592, 593
Сунцов Павел Степанович 584
Суриков Иван Захарович 472, 474, 476—477, 494
Суслова Аполлинария Прокофьевна 158, 178, 262, 581, 582, 590
Суслова (по мужу Эрисман) Надежда Прокофьевна 581
Суханов Николай Евгеньевич 617, 620
Сухарев А. 380
Сухачев Николай Леонидович 8, 741
Сухово-Кобылин Александр Васильевич 58
Сухомлинов Михаил Иванович 504, 508
Сухотин Павел Сергеевич 577
Сучков Борис Леонтьевич 711, 737
Сю Эжен (Мари Жозеф) 15
Сюарес Андре (Изаак Феликс) 745, 757

Тальма 634
Тальони Мария 328
Танеев Сергей Иванович 502, 508
Тартаков И. В. 144
Тизенгаузен Герман Федорович 390
Тимашев Александр Егорович 599
Тиммерман 584, 590
Тимофеев Андрей 608, 610
Тимофеева (псевд. О. Починковская) Варвара Васильевна 428, 592
Титов Дмитрий 349, 486
Тихомиров Никандр Дмитриевич 681, 732
Тихонравов Николай Саввич 103
Ткачев Петр Никитич 582, 593
Товстоногов Георгий Александрович 142, 757
Толлер Эрнст 704
Толмачев, председатель казенной палаты 584
Толмачева (рожд. Эверисман) Евгения Эдуардовна 583, 584, 590
Толстая Анастасия Ивановна 349, 355, 356, 479, 480, 493, 496—500, 551
Толстая (рожд. Бахметьева, по 1-му мужу Миллер) Софья Андреевна 294—296, 303—307, 349, 530, 540, 614, 615
Толстой Алексей Константинович 294, 303, 304, 435, 530, 540, 614, 615
Толстой Дмитрий Андреевич 32, 46, 47
Толстой Лев Николаевич 61, 63, 65, 73—75, 101, 105, 116, 118, 123, 129, 136, 139, 140, 142, 143, 146, 148, 151, 152, 155, 335, 336, 352, 355, 390, 414, 441, 448, 449, 453, 454, 473, 480, 483, 484, 488, 498, 501, 516, 519, 538, 542, 548, 552, 564, 612, 614, 615, 621, 625, 626, 632, 635, 643, 659, 664, 665, 667, 671—673, 676, 679, 689, 690, 692—695, 698, 702, 703, 709, 710, 717, 718, 720, 722, 727, 734, 735, 738, 739, 743, 754
Толстой Федор Петрович 355, 479
Толстой Феофил Матвеевич 349, 355, 486—489
Томашевский Борис Викторович 34, 35, 37, 38, 760
Топоров Александр Васильевич 318
Трамер Берджих 682, 686, 733
Траншель А., издатель и владелец типографии 131, 134, 428, 429, 456
Тредьяковский Василий Кириллович 390
Трепов Федор Федорович 486, 597—602, 605
Третьяков Павел Михайлович 115, 118, 120, 121, 124—128, 148—150, 449, 450
Третьяков Сергей Михайлович 118, 149
Третьякова (рожд. Мамонтова) Вера Николаевна 115, 118, 124—128, 149
Третьяковы 124
Трефолев Леонид Николаевич 470
Трифонов Николай Алексеевич 370
Тришин И. Л. 357, 455, 456, 463, 466
Тришины братья, ростовщики 456
Троицкий Иван Иванович 549, 551
Трубецкой Иван Юрьевич 568
Трубецкой Сергей Петрович 550
Трубецкие 385
Трутовский Владимир Константинович 367, 507, 508
Трутовский Константин Александрович 324, 361, 367, 371, 502, 507, 508
Туган-Барановский Михаил Иванович 637
Тулинов Михаил Борисович 594, 596
Тулуз-Лотрек Анри де 748
Туманов Василий Михайлович 586

Туниманов Владимир Артемович 156, 165, 288, 760
Турба Василий Петрович 428, 429
Тургенев Иван Сергеевич 29, 30, 46, 58, 82—84, 101, 113, 114, 118, 120, 122, 124, 125, 129, 135—137, 139, 141—144, 146—148, 150, 152, 164, 225, 294, 299, 301, 307, 308, 312, 314—321, 332, 335, 336, 338, 355, 356, 378, 379, 385, 390, 401, 403, 404, 407, 408, 411, 414, 420, 424, 435, 449—454, 472—479, 494, 496, 498, 501—508, 512—515, 518, 519, 539, 542, 554, 567, 569, 573, 604, 622, 625, 626, 665, 673, 694, 718, 756
Турнейзен Эдуард 703, 735
Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна 87
Тушар Пьер Эме 753
Тушинский вор — см. Лжедмитрий II
Тынянов Юрий Николаевич 755
Тыркова (по мужу Борман) Ариадна Владимировна 541
Тьер Луи Адольф 92
Тэн Ипполит Адольф 436
Тюменев Илья Федорович 7, 337—346
Тюменев Федор Ильич 343, 346
Тюнтин Н. Г., приказчик 334
Тютчев Федор Иванович 26, 29, 91, 96, 106, 110, 113, 121, 148, 489, 555, 556, 703, 750
Тютчева Екатерина Федоровна 349, 489
Тютчева (рожд. Пфеффель) Эрнестина Федоровна 26, 29

Уваров Алексей Сергеевич 393, 394
Уильберфорс Уильям 668, 730
У — кова 616
Умецкая Екатерина 163, 215, 288
Умецкая Ольга 163, 215, 288
Умецкий Владимир 163, 215, 288
Унковский Алексей Михайлович 437, 438
Унру Фриц фон 704
Урзидиль Иоганнес 709
Урусов Герасим Гаврилович (?) 123, 149
Усов Павел Степанович 384, 385
Успенский Глеб Иванович 101, 113, 356, 512, 513, 626, 627, 630, 633, 635, 641, 643, 718
Утин Борис Исаакович 115
Утин Исаак Осипович 423
Утин Николай Исаакович 40
Ушинский Константин Дмитриевич 220, 288

Фабиан Эрих 727, 739
Фадеев Ростислав Андреевич 116
Фази Джемс 284
Фаллерслебен — см. Гофман фон Фаллерслебен
Фаминицын Андрей Сергеевич 548
Федин Константин Александрович 131—132, 147
Федоров В., секретарь моск. цензурного комитета 571
Федосья, служанка Достоевского 191, 220—222, 224—226, 228, 229, 243, 286
Федотова Мария Ивановна — см. Эртель М. И.
Фейербах Людвиг 396
Феоктистов Евгений Михайлович 380
Феофанов Михаил 696
Ферстер Карл Август 330
Фет Афанасий Афанасьевич 135, 150, 393, 403, 404, 417, 501, 537, 573, 578
Фигнер Вера Николаевна 620
Филипп Шарль Луи 706, 707, 736, 745
Филиппеус Константин Федорович 44
Филиппов Тертий Иванович 420, 426
Философов Дмитрий Владимирович 696, 735
Философова Анна Павловна 349, 540, 541
Финкельштейн Елена Львовна 755
Финти Александр 754
Фишер Владимир Федорович 661
Фишер Соломон 671, 674, 740
Флобер Гюстав 143, 710
Флора Франческо 758
Ф—ов А. 735
Фогт Карл 285
Фолкнер Уильям 752
Фолькельт Иоганнес 670, 730
Фон Бретцель Я. Б.— см. Бретцель фон Я. Б.
Фонвизин Денис Иванович 93, 105
Фонвизин Михаил Александрович 485
Фонвизина (рожд. Апухтина) Наталья Дмитриевна 485
Фонякова Наталья Николаевна 7, 337
Фор Поль 743, 756
Фофанова Наталья Васильевна 125, 126, 149
Франк Леонгард 704, 707
Франклин Веньямин 142
Франциск Ассизский 695
Фребель Фридрих 490
Фрей Г. 330
Фрейд Зигмунт 85, 678, 701, 708, 713, 726, 738
Фрейдкина Любовь Марковна 756
Фрейлигрaт Фердинанд 330
Фрейтаг Густав 665
Фрёлих Карл 758
Фридлендер Георгий Михайлович 75, 377
Фридрих Вильгельм 665, 671, 739, 740
Фридьева Надежда Яковлевна 448
Фрик 270
Фромм, домовладелец 330
Фурье Шарль 104, 108(?), 111, 113, 116, 586, 588, 624

Х., корреспондент «Нашего времени» 28
Х..., сотрудник «Гражданина» 434
Хаббен Уильям 710, 737
Хайдеггер Мартин 701, 733
Хаксли Олдос 703
Халабаев Константин Иванович 760
Халлер Карл 673, 731
Ханыков Николай Владимирович 349, 414
Харден (Витковский) Максимилиан 664, 673, 677, 678, 702, 703, 729, 731, 732, 734, 735
Харт Генрих 662—664, 666, 668
Харт Юлиус 662, 664, 668, 729
Хаусведель Эрнст Людвиг 667, 672, 729—731
Хвощинская (рожд. Зайончковская; псевд. В. Крестовский) Надежда Дмитриевна 118, 423
Хейзе Пауль 665, 666

Хейне Вильгельм 665
Хеллер Гуго 693, 695, 734
Хен Виктор 660
Хессе Герман 711—713, 715, 725, 737
Хирш Роберт 759
Хитрово Михаил Александрович 294, 303
Хитрово Софья Петровна 127, 294, 295, 303, 308, 349, 475, 530, 540
Хитрово, семья 295, 296
Хлебникова Елизавета Андреевна (Марфа Браун; Горская; Марфа Петровна Панина) 592
Хлебный свистун — см. Буренин В. П.
Хмара Григорий 758
Хмельницкий А. И. 569, 576, 578, 579
Хмырова Софья Александровна — см. Иванова С. А.
Ходдис Якоб ван 703
Холмогоров Г. М. 67
Хольц Арно 665
Хоменко Александр Моисеевич 330
Хомяков Алексей Степанович 73—74, 356, 402, 515, 555, 556, 569
Хонеггер Иоганн Якоб 728
Хохоф Курт 706, 736
Храбровицкий Александр Вениаминович 642
Хух Рикарда 688, 734
Хюбнер Фридрих Маркус 704

Цабель Ойген 666, 668, 669, 671—675, 677, 696, 718, 729—732
Цвейг Стефан 139—141, 151, 703, 713—716, 725, 735, 737, 738
Цвейг (рожд. Альтман) Шарлотта 140, 141
Цветаева Марина Ивановна 141
Цветков Иван Евменьевич 349, 539
Цебрикова Мария Константиновна 485, 494
Цертелев 423
Цертелева (Лавровская) Елизавета Андреевна 349, 357, 423, 541, 542
Цеэ Василий Андреевич 35
Цигенгайст Герхард 659
Циглер Теобальд 666, 730
Цитович Петр Павлович 607, 610
Цицерон 445, 646
Цявловский Мстислав Александрович 351

Чаадаев Петр Яковлевич 402
Чаев Николай Александрович 395, 396
Чайковский Петр Ильич 135, 146, 150, 345, 508
Человеков Ф.— см. Платонов А. П.
Ченери 285
Черевин Н. Т. 550
Черемшанский Александр Евграфович 624
Черенин Михаил Михайлович 349, 440
Черепнин Николай Петрович 312, 314
Черкасов Павел Алексеевич 337, 342, 343, 346
Черкасский Владимир Алексеевич 576
Чермак, владелец пансиона 519
Чернышевская Ольга Сократовна 235
Чернышевский Николай Гаврилович 18, 22, 38—40, 42—47, 235, 289, 378—381, 385, 427, 437, 492, 567, 573, 576, 581, 588, 627, 639, 667, 717—719, 737
Чернышевские 437
Черняев Михаил Григорьевич 64, 555, 556
Чертков Александр Дмитриевич 411
Чехов Антон Павлович 150, 625, 718, 756
Чижевский Дмитрий Иванович 142, 733
Чижов Федор Васильевич 349, 446
Чирка Филипп Антонович 338, 345
Чистяков Александр Иванович 338, 345
Чубинский Павел Платонович 461, 462
Чуди фон 330
Чужбинский (Афанасьев) Александр Степанович 588, 593
Чуйко Владимир Викторович 441, 462
Чуковский Корней Иванович 487

Шаганов Вячеслав Николаевич 39, 47
Шаляпин Федор Иванович 144
Шапиро Константин Александрович 145, 313, 469, 609, 623
Шарнгорст Василий Львович 359
Шарпак Андре 752, 753, 758
Шассен Шарль Луи 285
Шаукаль Рихард 725
Шахматов Алексей Александрович 138
Шварц Теодор 683, 733
Швейхель (псевд. Rosus) Роберт 718—719, 737
Швецов Г. М. 619
Шевченко Тарас Ргигорьевич 148, 479, 545, 546
Шевырев Степан Петрович 370, 569, 579
Шевякин Владимир Васильевич 443
Шедо-Ферроти (Теодор Фиркс) 586
Шеина 469
Шекспир Вильям 400, 402, 441, 529, 562, 626, 646, 669, 670, 675, 676, 680, 698, 714, 718, 723, 726, 737, 742, 749, 755
Шелгунов Николай Васильевич 19, 44
Шелер Макс 701
Шер Владимир Дмитриевич 349, 357, 430—432, 458, 459, 465, 469, 470, 489, 495, 516, 517, 525, 526
Шер (рожд. Нечаева) Ольга Федоровна 430—432, 465, 468, 517
Шереметев Г. П. 579
Шереметьева Елена 137
Шестаков Иван Алексеевич 349, 383, 384, 394, 404, 430, 454
Шестаковы 383, 394
Шестов (Шварцман) Лев Исаакович 678, 686, 687, 734, 750
Шидловский Иван Николаевич 323. 324, 327, 349, 357, 359, 362, 363, 398, 424—426
Шикеле Рене 704, 725
Шиллер Иоганн Фридрих 142, 323, 324, 328, 329, 331, 343, 626, 670, 707, 717, 724, 741, 742, 755
Шилов Алексей Алексеевич 383
Шилов Федор Григорьевич 129, 134, 150, 333
Шильдер Николай Карлович 44
Шипов П. А. 16
Шишкин Иван Иванович 123
Шкляревский Александр Андреевич 349, 357, 428, 429, 542, 543
Шлаф Иоганнес 670, 680, 696, 732
Шлегель, президент Мед.-хирург. академии 328

Шлейден Матвей Иаков 73
Шлефахт, балерина 328
Шмидт Юлиан 414
Шмидт, критик 675
Шопенгауэр Артур 733
Шор Сарра Марковна 31, 33, 37
Шоу Бернард 758
Шпенглер Освальд 725
Шрейер Лотар 700—702, 735
Штакеншнейдер Андрей Иванович 436, 526
Штакеншнейдер Борис Владимирович 583
Штакеншнейдер Владимир Андреевич 583
Штакеншнейдер Елена Андреевна 22, 45, 295, 349, 384, 390, 436, 452, 471, 479, 491, 523, 526, 581, 590
Штакеншнейдер (рожд. Халчинская) Мария Федоровна 526
Штакеншнейдер (по мужу Эйснер) Ольга Андреевна 526
Штакеншнейдер, семья 436, 467, 471, 472
Штейгер Эдгар 663, 667, 717, 729, 730
Штейнбюхель Теодор 726, 738
Штейнгель Владимир Иванович 584
Штифтер Адальберт 681
Штраус Людвиг 704, 705, 736
Штробль Карл Ганс 697, 735
Штромберг Александр Павлович 620
Штромфельдт Г., фотограф 391
Шуазель, герцогиня 163
Шуберт (рожд. Куликова; во 2-м браке Яновская) Александра Ивановна 12, 287
Шуберт Франц 342
Шубинский Сергей Николаевич 607, 613, 619
Шувалов Петр Андреевич 20, 44, 420, 598, 599
Шувалов, домовладелец 610
Шугарт, владелец ситцевой фабрики 330
Шульц, критик 675
Шульце-Майциер Фридрих 726, 738
Шумский Сергей Васильевич 395, 396
Шустов Николай Семенович 593
Шюмер Вильгельм 725, 738

Щапов Афанасий Прокофьевич 583, 590, 593
Щебальский Петр Карлович 131
Щеглов (псевд. Охочекомонный) Дмитрий Федорович 394
Щеголев Павел Елисеевич 604
Щедрин Н.— см. Салтыков М. Е.
Щепкин Михаил Семенович 507
Щербина Николай Федорович 349, 379, 389, 390
Щербинин Михаил Павлович 571

Baedeker Karl 287
Baldensperger Fernand 733
Barreaud m-me 276
Bartels Adolf 728, 729
Barwinskyi Alexander 734
Blanchard 178—180
Bressant Jean Baptiste François 329
Brøndsted M., переводчик 739, 740

Clère, ростовщик 208, 210, 260, 276, 280

Эверисман Александр Эдуардович 584
Эверисман, студент 584
Эвклид 652, 653
Эдельсон Евгений Николаевич 568, 579
Эдуард VII, англ. король 749
Эдшмид Казимир 702, 703, 735
Эйдельман Натан Яковлевич 590
Эйнштейн Альберт 142
Эйнштейн Карл 706, 707
Эйснер Курт 720, 737
Экхарт (Мейстер Экгарт) 692
Элленс Франс 143, 152
Элленс-Милославская М. М. 143, 152
Эльснер Людвиг Теодор (Федорович) 331
Энгельгардт Анна Николаевна 357, 541
Энгельс Фридрих 720, 737
Эрисман Федор Федорович 605
Эрнст Пауль 680, 720, 737
Эртель Александр Иванович 349, 442, 518
Эртель (рожд. Федотова) Мария Ивановна 442
Эсхил 670

Юдин Геннадий Васильевич 142
Юм Даниель 417
Юнге (рожд. Толстая) Екатерина Федоровна 349, 350, 354—357, 496—500, 522, 523, 551, 552, 558—559
Юнге Эдуард Андреевич 221, 288
Юргенс Константин 662
Юрковский Федор Николаевич 441(?)
Юрьев Сергей Андреевич 349, 357, 417, 502, 504, 509, 510, 513, 515, 516, 518, 520

Язовицкая Эльза Эдуардовна 337, 345
Якимович Татьяна Константиновна 759
Якоб Генрих Эдуард 704
Якоби Александра Николаевна — см. Пешкова-Толиверова А. Н.
Якоби Валерий Иванович 149, 593, 594
Яковлев Алексей Андреевич 584
Яковлев Кондрат Николаевич 744
Яковлев Николай Васильевич 579
Яковлев Федор Акимович 208, 287
Яковлева Зоя Юлиановна 349, 493
Якушкин Павел Иванович 614
Янжул Иван Иванович 539, 540
Янке Отто 671, 739, 740
Янкевич Пр. 574
Яновский Степан Дмитриевич 27, 205, 208, 213, 241, 244, 247, 265, 287, 289, 290, 302, 308, 349, 377, 393, 439, 550
Янышев Иоанн Леонтьевич 289, 342, 346, 619
Ясперс Карл 678, 686, 732, 734
Ястржембский Иван Львович 305

Deschamps, артист 329
Dubuc, m-me 205
Dumenel, артист 329
Dupuis, торговец 209, 210

Eckstein Richard 740
Eichhorn Carl 728
Ernest Paul, m-me 329
Ernst Johann 731
Eulenberg Herbert 689, 734

F. T.— см. Towarnicki F.
Fehse Willi 735
Förster-Nietzche Elisabeth 733
Frankle Eleonor 736

Garbell Adolf 740
Ghuys Walter 732
Gressner, издатель 739, 740
Grounow Friedrich Wilhelm 739
Guillaume James 285
Gütschow Carl von 735

Halpérine E.— см. Гальперин-Каминский И. Д.
Hardt R. 734
Hauff L. A., переводчик 739, 740
Hausmann Rita Margareta 736
Helbig 160
Herbaut Pierre 758
Hermsdorf Klaus 710, 737
Hexelschneider Erhard 737
Hofman Alois 729
Hubben William 732

Jacquot Jean 756
Josslin, m-me 278, 280

Karlweis Marta 736
Kersten Kurt 735

L. D. 660, 728
Lauer Reinholdt 736
Lelièvre Renée 758
Lengfeld, издатель 739
Lolivet Philippe 758
Lüders Hermann 740
Lüth Paul E. H. 736

Maksimow F. O., переводчик 739
Malkowsky Georg 730
Malvina, m-lle, артистка 329
Mayer Louisa 329
Mayor, доктор 180, 227
Meyer G. T. von 73
Mignon Paul Louis 759
Mila (Deschamps) Marie 329
Minzes B. 729
Mittenzwei Werner 735
Mondidier, артист 329
Moppert, ростовщик 216
Morice Charles 732
Moser Hans 740
Muchnic Helene 757
Münchow Urzula 732

Odier, m-lle 191, 194, 266

Pachmuss Temika 736
Palander Edvard Wilhelm 728
Paraschivescu C. 759
Paravin, банкир 236, 247, 266
Peschkau B. Emil 729
Pfempfert Franz 735
Pieck Wilhelm 737
Poggioli Renato 736
Polonski Georg 731
Pronko Leonard Cabell 758
Putze Hubert 739, 740

R. L.— см. Липперт Роберт
Raabe Paul 735, 736
Renard, m-me 198, 212
Renzi Renzo 758
Röhl Hermann 738
Roskoschny Hermann 739
Rosus — см. Швейхель Р.
Ruprecht Erich 729

Sacher-Masoch Leopold 739
Sachs Murray 757
Sallwürk Edmund von 735
Schmidt H. 738
Scholl Fritz 733
Scholz August 739, 740
Schramm Emil 739, 740
Setschkareff Vsevolod 738
Spemann B., издатель 739
Stammler Wolfgang 732
Stargardt J.-A., издатель 152
Stein W., переводчик 739
Steinitz Hugo 740
Strelin, доктор 229, 230
Stroka Anna 730
Styczýnski Paul 740

Tantzscher Georg 734
Terras Victor 736
Tétrad, артист 329
Towarnicki (псевд. F. T.) Frederic 758
Trakl Georg 736
Tukian Marysia 736

Vernet Victor 329

Wachsmuth Curt 733
Wassermann-Speyer Julie 736
Wegner Michael 737
Weimar Wilhelm 740
Wirt Albrecht 734

УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

Составила Е. М. Львова

«Атеизм». Неосуществленный замысел 282, 290

«Бедные люди» 137, 144, 220, 299, 301, 302, 307, 308, 350, 355, 358, 366, 368—370, 476, 543, 544, 546, 576, 659, 660, 667, 673, 694—696, 710, 728, 739, 742, 744
«Белые ночи» 14, 43, 144, 682, 694, 696, 718, 739, 740, 748, 752
«Бесы» 129, 133, 139, 162, 332, 413, 419—421, 425, 428, 440, 452, 541, 544, 548, 556, 563, 616, 617, 633, 643—647, 673, 674, 680, 682, 696, 697, 719, 739—742, 744, 745, 748, 750—752, 755, 756, 758
«Бобок» 689, 695, 740
«Борис Годунов». Неосуществленный замысел 299, 322, 328, 365, 366, 368, 742
«Братья Карамазовы» 6, 15, 97—100, 119, 124, 127, 129, 136, 140, 141, 146, 150, 152, 295, 297, 303, 306, 307, 315, 334, 337, 338, 343, 349, 353—356, 363, 436, 465, 470—481, 485, 487—494, 496—501, 503, 505, 513, 516, 517, 519—521, 523, 524, 526, 533, 540, 542, 544, 545, 553, 556, 615, 621, 635, 637—640, 643, 648—656, 660, 662, 673, 674, 677, 681, 682, 691, 692, 694, 696, 697, 704, 706, 708, 711—716, 718, 723, 726, 728, 737—742, 744—748, 750, 751, 753, 755—758

«Весенняя любовь». Неосуществленный замысел 12, 13
«Вечный муж» 139, 290, 546, 674, 739, 748, 752
«Влас» 426
«Выставка в Академии художеств за 1860—1861 год» 148

«Г.— бов и вопрос об искусстве» 101
«Господин Прохарчин» 144, 308, 739
«Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» 591

«Двойник» 12, 144, 301—303, 307, 355, 604, 622, 624, 629, 631, 634, 639, 640, 660, 679, 739
«Дневник писателя» 59, 63, 64, 67, 81, 129, 132, 134, 310, 333, 334, 349, 350, 472, 478, 479, 485, 497, 512, 544, 546, 564, 634
«Дневник писателя» 1873 г. 36, 38—40, 121, 122, 134, 289, 422—424, 426, 427, 603, 619, 643, 647
«Дневник писателя» 1876 г. 6, 59—67, 69, 73—91, 137, 138, 283, 323, 332, 436, 444—449, 451, 463, 493, 682, 718, 739, 740, 758
«Дневник писателя» 1877 г. 6, 59—61, 63—73, 82, 91—96, 101, 133, 134, 288, 307, 332, 436, 451, 454, 456, 457, 467, 625, 643, 647—648
«Дневник писателя» 1880 г. 102, 104, 105, 137, 494, 509, 515—517, 519, 520, 542, 643, 647, 648
«Дневник писателя» 1881 г. 97, 100, 513, 519, 521, 527, 528, 530, 532—534, 536, 543, 546, 547, 556, 606, 607, 613, 618, 619
«Дядюшкин сон» 445, 691, 739, 742, 755

«Елка и свадьба» 144, 682, 718, 739

«Записки из Мертвого дома» 12, 122, 141, 151, 220, 332, 334, 335, 349, 355, 376, 378, 379, 384, 387, 391, 396, 399, 437, 440, 442, 476, 484, 490, 518, 544, 548—551, 581, 590, 593—598, 631, 633, 660, 665, 667, 672, 673, 675, 682, 684, 685, 690, 691, 718, 723, 733, 739, 740, 749, 750
«Записки из подполья» 66, 631, 660, 681, 683, 684, 686, 687, 697, 732, 736, 740, 748
«Записки каторжника» — см. «Записки из Мертвого дома»
«Зимние заметки о летних впечатлениях» 391, 392, 581
«Знакомство мое с Белинским». Недошедшая статья 162, 167, 181, 185, 193, 283, 285, 286, 413

«Игрок» 217, 225, 228, 229, 258, 261—263, 268, 288, 294, 299, 387, 674, 739, 740, 752, 753, 758
«Идиот» 15, 129, 135, 136, 138, 139, 161, 162, 197, 213, 216, 250, 275, 277, 280, 282, 283, 286—290, 332, 334, 414, 440, 487, 491, 552, 575, 618, 643, 649, 673, 674, 677, 682, 685—687, 691, 696, 697, 707—709, 711, 712, 716, 723, 737, 739—741, 744, 745, 748, 749, 752—754, 757—759
«Иностранные события» 133

«Каламбуры в жизни и в литературе» 591
«Книжность и грамотность» 101, 382

«Крокодил, необыкновенное событие, или Пассаж в пассаже» 38, 95, 235, 289
«Кроткая» 739, 740, 758

«Маленькие картинки (в дороге)» 131, 435
«Маленький герой» 662, 728, 740
«Мальчик у Христа на елке» 89, 137, 138, 448, 463, 493, 682, 718, 739
«Мария Стюарт». Неосуществленный замысел 299, 322, 328, 329, 365, 366, 368, 742
«Миньона». Неосуществленный замысел 12, 13
«Мужик Марей» 448

«Некролог Ф. И. Тютчева» 148
«Необходимое заявление» 591
«Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» 389
«Несколько слов о Михайле Михайловиче Достоевском» 36, 38, 591
«Неточка Незванова» 31, 33, 37, 41, 220, 293, 300, 303, 452, 739

«Об игре Васильева в „Грех да беда на кого не живет“» 6, 55—58
«Образцы чистосердечия» 584, 590
«Одна из современных фальшей» 35
«Ответ „Русскому вестнику“» 101

«Подросток» 5, 6, 66, 67, 82, 84—85, 102, 122, 312, 316, 320, 332, 334, 436, 440, 441, 446, 447, 484, 673, 674, 680—682, 691, 695—697, 710, 739
«Ползунков» 740
«Преступление и наказание» 7, 11, 14, 15, 60, 66, 123, 129, 130, 135, 138, 150, 197, 234, 239, 240, 268, 287, 289, 306, 311, 316, 332, 334, 337, 339, 340, 343, 349, 354, 355, 408, 421, 457, 484, 498, 501, 581, 582, 584, 589, 590, 622, 624, 631, 633, 634, 636, 639, 640, 642, 660, 662, 665—675, 677, 680—685, 690—693, 695—698, 704, 705, 707, 708, 718—720, 723, 727, 729—734, 737—741, 743—745, 747—750, 752—755, 757—759
Примечание ‹к статье Н. Страхова «Воспоминания об А. А. Григорьеве»› 591

«Ревнивый муж» — см. «Чужая жена и муж под кроватью»
«Речь о Пушкине» 6, 97, 101—113, 149, 150, 294, 317, 350, 502, 504—506, 509—515, 517—523, 532, 540, 542, 612, 613, 636, 660
«Роман в девяти письмах» 740

«Село Степанчиково и его обитатели» 377, 539, 543, 547, 549, 553, 557, 673, 674, 740, 742, 753
«Скверный анекдот» 740
«Слабое сердце» 739, 740
«Сон смешного человека» 695
«Старина о петрашевцах» 35, 59
«Столетняя» 718

«Униженные и оскорбленные» 5, 11—15, 139—141, 220, 332, 349, 355, 358, 380—382, 387, 453, 476, 492, 493, 495, 544, 581, 630, 636, 637, 660, 662, 667, 673, 681, 682, 688, 690, 691, 728, 739, 740, 744, 752, 758

«Хозяйка» 673, 674, 681, 682, 732, 739

«Честный вор» 337, 342, 343, 682, 718, 739
«Чтобы кончить. Последнее объяснение с „Современником“» 591
«Чужая жена и муж под кроватью» 144, 753, 758

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ 5

ФРАГМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПИСЬМА

ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК К РОМАНУ «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»
Публикация Г. Ф. Коган 11

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЖАРЫ 1862 г. И ДОСТОЕВСКИЙ (Запрещенные цензурой статьи журнала «Время»)
Статья и публикация Н. Г. Розенблюма 16

ЗАБЫТАЯ РЕЦЕНЗИЯ ДОСТОЕВСКОГО
Публикация С. В. Белова 55

ФРАГМЕНТЫ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»
Публикация И. Л. Волгина 59

ИЗ РУКОПИСИ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ»
Публикация Г. С. Померанца 82

ЗАМЕТКИ К «БРАТЬЯМ КАРАМАЗОВЫМ» И «ДНЕВНИКУ ПИСАТЕЛЯ»
Публикация Е. Н. Коншиной 97

ЧЕРНОВЫЕ НАБРОСКИ к «РЕЧИ О ПУШКИНЕ»
Публикация И. В. Иваньо 101

НОВОНАЙДЕННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ПИСЬМА ДОСТОЕВСКОГО

Вступление 114
I. Достоевский и Третьяковы. 118
II. Тридцать третье письмо к Н. А. Любимову. 129
III. Записка Достоевского в коллекции К. А. Федина 131
IV. Две записки к метрапажу М. А. Александрову 132
V. Два письма к К. К. Романову и рассказ о казни Млодецкого 134
VI. Автографы Достоевского за рубежом 139
VII. Предсмертное письмо Достоевского 146

Статья и публикация И. С. Зильберштейна

ДОСТОЕВСКИЙ В ДНЕВНИКАХ И ВОСПОМИНАНИЯХ

РАСШИФРОВАННЫЙ ДНЕВНИК А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ
Расшифровка стенографического текста Ц. М. Пошеманской
Подготовка текста к печати, вступительная статья и примечания С. В. Житомирской 155

Л. Ф. ДОСТОЕВСКАЯ ОБ ОТЦЕ (Впервые переведенные главы воспоминаний)
Публикация С. В. Белова
Перевод с немецкого Е. С. Кибардиной 291

Я. Б. ФОН БРЕТЦЕЛЬ. О ДОСТОЕВСКОМ
Публикация Н. З. Серебряной 309

А. А. ФОН БРЕТЦЕЛЬ. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ И ТУРГЕНЕВЕ
Публикация И. С. Зильберштейна 315

А. Е. РИЗЕНКАМПФ. ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ
Публикация Г. Ф. Коган 322

П. Г. КУЗНЕЦОВ. НА СЛУЖБЕ У ДОСТОЕВСКОГО в 1879—1881 гг.
Публикация И. С. Зильберштейна 332

И. Ф. ТЮМЕНЕВ. ИЗ ДНЕВНИКА
Публикация Н. Н. Фоняковой 337

ПИСЬМА О ДОСТОЕВСКОМ

ДОСТОЕВСКИЙ В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ СОВРЕМЕННИКОВ (1837—1881)
Выдержки из писем и дневников И. С. Аксакова, М. А. Александрова, Х. Д. Алчевской, П. В. Анненкова, К. И. Бабикова, Н.П. Барсукова, П. И. Бартенева, М. С. Бердниковой, К. Н. Бестужева-Рюмина, А. Ф. Благонравова, В. А. Боброва, С. П. Буренина, А. М. и А. С. Бухаревых, Н. П. Вагнера, М. А. Веневитинова, П. А. Висковатова, М. И. Владиславлева, Ю. А. Волкова, А. Е. Врангеля, Е. Н. Гейден, Л. Гислянзони, А. А. Головачева, П. Д. Голохвастова, Г. П. Данилевского, М. Ф. Де Пуле, А. Г., А. М., Д. И., М. А., М. М., Н. М. и Э. Ф. Достоевских, Н. П. Елагина, И. Желтова, П. И. Житецкого, Ю. Д. Засецкой, И. К. Земацкого, И. Ф. Золотарева, В. Р. Зотова, А. Е. Зурова, А. А. и В. М. Ивановых, К. Д. Кавелина, В. М. и П. А. Карепиных, В. М. Каченовского, С. С. Каширевой, А. А. Киреева, Ф. Н. Китаева, С. П. Колошина, А. Е. Комаровской, Н. И. Костомарова, А. Кранихфельд, А. А. Куманина, В. С. Курочкина, В. И. Ламанского, Н. К. Лебедева (Морского), К. Н. Леонтьева, Н. А. Любимова, А. И. и А. Н. Майковых, Б.М. Маркевича, Н.А. Мельгунова, В. П. Мещерского, О. Ф. Миллера, А. П. Милюкова, Д. Л. Мордовцева, М. И. Муравьева-Апостола, А. Н. Неведомского, Е. С. Некрасовой, О. А. Новиковой, Н. Л. Озмидова, Л. Н. Павленкова, В. К. Петерсена, А. Н. Пешковой-Толиверовой (Якоби), А. Н. Плещеева, К. П. Победоносцева, М. П. Погодина, М. П. Покровского, П. Н. Полевого, М. А. Поливановой, Я. П. Полонского, Б. Б. Полякова, В. И. Прибытковой, А. Е. Разина, Н. И. Ремерова, А. Е. Ризенкампфа, П. А. Ровинского, И. И. Румянцева, В. К. Савостьянова, А. П. Сазанович, Е. А. Салиаса, Н. Свиридова, М. И. Семевского, А. Н. Сниткина, Вл. С. и Вс. С. Соловьевых, Н. А. Соловьева-Несмелова, К. М. Станюковича, М. М. Стасюлевича, Н. И. Стороженко, М. Н. Стоюниной, Н. Н. и П. Н. Страховых, А. С. Суворина, Д. Титова, А. И., С. А. и Ф. М. Толстых, Е. Ф. Тютчевой, А. П. Философовой, Н. В. Ханыкова, С. П. Хитрово, И. Е. Цветкова, Е. А. Цертелевой (Лавровской), М. М. Черенина, Ф. В. Чижова, В. Д. Шера, И. А. Шестакова, И. Н. Шидловского, А. А. Шкляревского, Е. А. Штакеншнейдер, Н. Ф. Щербины, А. И. Эртеля, Е. Ф. Юнге, С. А. Юрьева, З. Ю. Яковлевой и С. Д. Яновского

Приложение: Н. Н. Страхов о Достоевском

Статья, публикация и комментарии Л. Р. Ланского 349

РАЗЫСКАНИЯ И СООБЩЕНИЯ

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ И ПОПЫТКА ВОЗРОДИТЬ «МОСКВИТЯНИН» (Накануне сотрудничества в журнале «Время»)
Статья И. С. Зильберштейна 567

РАЗЫСКАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ:
I. Журнал «Время» и революционное студенчество 1860-х годов 581
II. Картина, навеянная «Записками из Мертвого дома» (1862) 593
III. Достоевский в документах III Отделения 596
Сообщения Г. Ф. Коган

Н. С. ЛЕСКОВ О ДОСТОЕВСКОМ (1880-е годы)
Сообщение К. П. Богаевской 606

В. Г. КОРОЛЕНКО — КРИТИК ДОСТОЕВСКОГО

I. КОРОЛЕНКО О ДОСТОЕВСКОМ
Статья Т. Г. Морозовой 621

II. ПОМЕТЫ В. Г. КОРОЛЕНКО НА КНИГАХ ДОСТОЕВСКОГО
Сообщение И. А. Кронрод 643

ОБЗОРЫ

ДОСТОЕВСКИЙ В ГЕРМАНИИ (1846—1921)

I. Ранние отклики 659
II. Период натурализма 662
III. Проблема «Достоевский — Ницше» 678
IV. Неоромантизм. Легенда о «русской душе» 688
V. Экспрессионизм и «проблема жизни» 700
VI. Достоевский в социал-демократической и рабочей печати 716
VII. Заключение 725

Обзор В. В. Дудкина и К. М. Азадовского

ДОСТОЕВСКИЙ НА ФРАНЦУЗСКОЙ СЦЕНЕ

Обзор Н. Л. Сухачева 741

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 760

УКАЗАТЕЛЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Составила Г. Ф. Коган 761

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Составила Е. М. Львова 765

УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО

Составила Е. М. Львова 786

В ТОМЕ 115 ИЛЛЮСТРАЦИЙ И 1 ВКЛЕЙКА

«Литературное наследство»
Том 86
Ф. М. Достоевский
Новые материалы и исследования

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы
им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *А. Т. Лифшиц*
Суперобложка художника *Е. Е. Смирнова*
Художественный редактор *Н. Н. Власик*
Технический редактор *Л. Н. Золотухина*
Корректоры *В. А. Бобров* и *Л. Э. Казакевич*

Сдано в набор 3/VIII 1972 г. Подписано к печати 10/IV 1973 г. Формат 70×108¹/₁₆. Бумага № 1.
Усл. печ. л. 69,47. Уч.-изд. л. 80,3
Тираж 15000. А-04091. Тип. зак. 1004.
Цена 5 р. 22 к.

Издательство «Наука»
103717 ГСП, Москва К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 10

ИСПРАВЛЕНИЯ (надо читать):

Стр. 5, строка 23 сверху	...Chicago-London, 1969, p. 570.
Стр. 37, в подписи под иллюстрацией	автолитография
Стр. 92, строка 8 сверху	...золотом все рты залеплю, а потому...
« » строка 12 сверху	Искусство для искусства, высочайший представитель.
« » строка 31 сверху	...не мог быть только мимом и заказным поэтом.
Стр. 93, строка 14 сверху	...трезвость душевную (спасение младенцев)...
Стр. 94, строка 5 сверху	Добрые дела. ...
« » строка 18 сверху	Будущий характер для романиста.
Стр. 99, в подписи под иллюстрацией:	1880 г.
Стр. 280, строки 5—6 снизу	...вечером диктовали, а утром переписывала...
Стр. 518, строки 5, 6 и 7 снизу	...Полонский и друг. появляются бок о бок с гг. Сувориным, Бурениным и прочей поганью, а благодаря этому у нас в провинции ходят какие-то дурацкие толки о слитии, солидарности и т. п. чепухе...»
Стр. 532, строка 24 снизу	Достоевский умер 28 января...

ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

ТОМ 88 «ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА» (в двух книгах)

«А. Н. ОСТРОВСКИЙ. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ»

Книга первая открывается разделом статей, посвященных значению наследия Островского в истории русского театра и мировой драматургии.

В обширном разделе «Неизданная переписка Островского» печатается около 250 его писем к жене М. В. Васильевой и другим лицам, в которых содержится много сведений о жизни драматурга, его работе над новыми замыслами, о театральных постановках, осуществлявшихся под его руководством.

Значительное место занимают письма, адресованные Островскому. В письмах М. Н. Островского (брата драматурга), в обращениях к Островскому актеров, начинающих литераторов, композиторов, издателей многогранно представлена личность великого писателя, его окружение, его влияние на развитие русской культуры.

В разделе «Разыскания и сообщения» публикуются новые биографические исследования об Островском, а также не известные ранее материалы из творческой истории его произведений: «Свои люди — сочтемся», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Светит да не греет», «Воевода», «Сердце не камень». Здесь же печатается несколько разысканий об оценках Островского в современной ему критике, в которой отразилась острая идеологическая борьба эпохи.

Вторая книга тома состоит из двух больших разделов: «Театр Островского» и «Островский за рубежом».

В первом из них рассматривается ряд новых проблем: о воплощении замыслов Островского в прижизненных постановках его пьес, о творческом содружестве драматурга с выдающимися актерами его времени — Л. П. Косицкой, С. В. Васильевым, М. И. Писаревым, о работе Островского в области художественного руководства театрами.

Творческое усвоение традиций театра Островского на сцене Малого театра в советские годы — тема заключительных публикаций этого раздела.

Впервые в исследовательской литературе об Островском в томе «Литературного наследства» собран большой материал о переводах, постановках и изучении пьес Островского за рубежом: в Англии, Германии, Франции, Италии, Болгарии, Польше, Румынии, Чехословакии и странах Востока. Авторы обзоров анализируют переводы и постановки пьес Островского в связи с национальными традициями, литературным и театральным развитием каждой страны. Задача раздела — создать документальную базу для изучения влияния Островского на мировую театральную культуру.

Том богато иллюстрирован.

Издание можно будет приобрести в магазинах «Академкнига»: 103009 Москва, ул. Горького, 8; 117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; 192104 Ленинград Д-120, Литейный проспект, 57; 199164 Ленинград, Менделеевская линия, 1; 199004 Ленинград, 9-я линия, 16.

Для получения книги почтой заказы направлять по адресу: 117463 Москва В-463, Мичуринский проспект, 12, магазин «Книга—почтой» Центральной конторы «Академкнига»; 197110 Ленинград П-110, Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга—почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига» или в ближайший магазин «Академкнига».

Б-22-к

5 р. 22 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»